

Жорж САНД

Консуэло

Консуэло
Жорж Санд

Аннотация
Жорж Санд. Консуэло
Глава 1
Глава 2
Глава 3
Глава 4
Глава 5
Глава 6
Глава 7
Глава 8
Глава 9
Глава 10
Глава 11
Глава 12
Глава 13
Глава 14
Глава 15
Глава 16
Глава 17
Глава 18
Глава 19
Глава 20

Глава 21
Глава 22
Глава 23
Глава 24
Глава 25
Глава 26
Глава 27
Глава 28
Глава 29
Глава 30
Глава 31
Глава 32
Глава 33
Глава 34
Глава 35
Глава 36
Глава 37
Глава 38
Глава 39
Глава 40
Глава 41
Глава 42
Глава 43
Глава 44
Глава 45
Глава 46

Глава 47
Глава 48
Глава 49
Глава 50
Глава 51
Глава 52
Глава 53
Глава 54
Глава 55
Глава 56
Глава 57
Глава 58
Глава 59
Глава 60
Глава 61
Глава 62
Глава 64
Глава 65
Глава 66
Глава 67
Глава 68
Глава 69
Глава 70
Глава 71
Глава 72
Глава 73

Глава 74
Глава 75
Глава 76
Глава 77
Глава 78
Глава 79
Глава 80
Глава 81
Глава 82
Глава 83
Глава 84
Глава 85
Глава 86
Глава 87
Глава 88
Глава 89
Глава 90
Глава 91
Глава 92
Глава 93
Глава 94
Глава 95
Глава 96
Глава 97
Глава 98
Глава 99

Глава 100
Глава 101
Глава 102
Глава 103
Глава 104

Аннотация

Действие романа `Консуэло` происходит в середине XVIII века. Венеция с ее многообразной музыкальной жизнью, блестящая и шумная Вена. Чехия с ее героическим прошлым, солдафонская Пруссия — таков исторический фон, на котором развертываются судьбы главных героев книги.

Жорж Санд
Консуэло

Глава 1

— Да, да, сударыни, можете качать головой сколько вам угодно: самая благоразумная, самая лучшая среди вас — это... Но я не назову ее, так как она единственная во всем моем классе скромница и я боюсь, что, назвав ее имя, я заставлю ее тотчас же утратить эту редкую добродетель, которой я желаю и вам.

— In nomine Patris, et Filii, et Spiritu Sancto , — пропела Констанца с вызывающим видом.

— Amen , — пропели хором все остальные девочки.

— Скверный злюка, — сказала Клоринда, мило надув губки и слегка ударяя ручкой веера по костлявым, морщинистым пальцам учителя пения, словно уснувшим на немой клавиатуре органа.

— Это вы не по адресу! — произнес старый профессор с глубоко невозмутимым видом человека, который в течение сорока лет по шести часов в день подвергался дерзким и шаловливым выходкам нескольких поколений юных особ женского пола. — И все-таки, — добавил он, пряча очки в футляр, а табакерку в карман и не поднимая глаз

на раздраженный и насмешливый улей, — эта разумная, эта кроткая, эта прилежная, эта внимательная, эта добрая девочка — не вы, синьора Клоринда, не вы, синьора Констанца, и не вы, синьора Джульетта, и, уж конечно, не Розина, и еще того менее Микела… — Значит, это я!

— Нет, я!

— Вовсе нет, я!

— Я!

— Я! — закричало разом с полсотни блондинок и брюнеток, кто приятным, кто резким голосом, словно стая крикливых чаек, устремившихся на злосчастную раковину, выброшенную на берег отхлынувшей волной.

Эта раковина, то есть маэстро (и я настаиваю, что никакая метафора не подошла бы в большей мере к его угловатым движениям, глазам с перламутровым отливом, скулам, испещренным красными прожилками, а в особенности — к тысяче седых, жестких и остроконечных завитков его профессорского парика), — маэстро, повторяю я, вынужденный трижды опускаться на скамейку, с которой он подымался, собираясь уйти, но, спокойный и бесстрастный, как раковина, убаюканная и окаменевшая в бурях, долго не поддавался просьбам сказать, какая

именно из его учениц заслуживает похвал, на которые он — всегда такой скупой — только что так расщедрился. Наконец, точно с сожалением уступая просьбам, вызванным его же хитростью, он взял свою профессорскую трость, которою обыкновенно отбивал такт, и с ее помощью разделил это недисциплинированное стадо на две шеренги; затем, продвигаясь с важным видом между двойным рядом легкомысленных головок, остановился в глубине хоров, где помещался орган, против маленькой фигурки, сидевшей, скорчившись, на ступеньке. Опершись локтями на колени, заткнув пальцами уши, чтобы не отвлекаться шумом, она разучивала вполголоса урок, чтобы никому не мешать, скрючившись и согнувшись, как обезьянка; а он, торжественный и ликующий, стоял, выпрямившись и вытянув руки, словно Парис, присуждающий яблоко, но не самой красивой, а самой разумной.

— Консуэло? Испанка? — закричали в один голос юные хористки в величайшем изумлении. Затем раздался общий гомерический хохот, вызвавший краску негодования и гнева на величавом челе профессора.

Маленькая Консуэло, заткнув уши, ничего не слышала из того, что говорилось, глаза ее рассе-

янно блуждали, ни на чем не останавливаясь; она была так погружена в работу, что в течение нескольких минут не обращала ни малейшего внимания на весь этот шум. Заметив наконец, что она является предметом всеобщего внимания, девочка отняла руки от ушей, опустила их на колени и уронила на пол тетрадь; сначала, словно окаменев от изумления, не сконфуженная, а скорее несколько испуганная, она продолжала сидеть, но потом встала, чтобы посмотреть, нет ли позади нее какого-нибудь диковинного предмета или смешной фигуры, вызвавших такую шумную веселость.

— Консуэло, — сказал профессор, взяв ее за руку без дальнейших объяснений, — иди сюда, моя хорошая, и спой мне «Salve, Regina» Перголезе, которое ты разучиваешь две недели, а Клоринда зубрит целый год. Консуэло, ничего не отвечая, не выказывая ни страха, ни гордости, ни смущения, пошла вслед за профессором, который снова уселся за орган и с торжествующим видом дал тон своей юной ученице. Консуэло запела просто, непринужденно, и под высокими церковными сводами зазвучал такой прекрасный голос, какой никогда еще здесь не звучал. Она спела «Salve, Regina», причем память ей ни разу не изменила,

она не взяла ни одной ноты, которая не прозвучала бы чисто и полно, не была бы вовремя оборвана или выдержана столько, сколько требовалось. Послушно и точно следуя наставлениям маэстро и выполняя в точности его разумные и ясные советы, она при всей своей детской неопытности и беззаботности достигла того, чего не могли бы дать и законченному певцу школа, навык и вдохновение: она спела безупречно.

— Хорошо, дочь моя, — сказал старый маэстро, всегда сдержанный в своих похвалах. — Ты разучила эту вещь добросовестно и спела ее с пониманием. К следующему разу ты повторишь кантату Скарлатти, уже пройденную нами.

— Si, signer professore . Теперь мне можно уйти?

— Да, дитя мое. Девицы, урок окончен!

Консуэло сложила в корзиночку свои тетради, карандаши и маленький веер из черной бумаги — неразлучную игрушку каждой испанки и венецианки, — которым она почти никогда не пользовалась, хотя всегда имела при себе; потом она скользнула за органные трубы, сбежала с легкостью мышки по таинственной лестнице, ведущей в церковь, на мгновение преклонила колени, проходя мимо главного алтаря, и при

выходе столкнулась у кропильницы с красивым молодым синьором, который, улыбаясь, подал ей кропило. Окропив лоб и глядя незнакомцу прямо в лицо со смелостью девочки, еще не считающей и не чувствующей себя женщиной, она одновременно и перекрестилась и поблагодарила его, и это вышло так уморительно, что молодой человек расхохотался. Рассмеялась и сама Консуэло, но вдруг, как будто вспомнив, что ее кто-то ждет, она пустилась бегом, в мгновение ока выскочила за дверь и сбежала по ступенькам на улицу.

Тем временем профессор снова спрятал очки в широкий карман жилета и обратился к притихнувшим ученицам.

— Стыдно вам, красавицы! — сказал он. — Эта девочка, самая младшая из вас, пришедшая в мой класс самой последней, только одна и может правильно пропеть соло, да и в хоре, какую бы какофонию вы ни разводили вокруг нее, я неукоснительно слышу ее голос, чистый и верный, как нота клавесина. И это потому, что у нее есть усердие, терпение и то, чего нет и не будет ни у кого из вас: у нее есть понимание.

— Не мог не выпалить своего любимого словечка, — крикнула Клоринда, лишь только маэстро ушел. — Во время урока он повторил его только

тридцать девять раз и, наверно, заболел бы, если б не дошел до сорокового.

— Чему тут удивляться, если эта Консуэло делает успехи? — сказала Джульетта. — Она так бедна, что только и думает, как бы поскорее научиться чему-нибудь и начать зарабатывать на хлеб.

— Мне говорили, что ее мать цыганка, — добавила Микелина, — и что девочка пела на улицах и на дорогах, перед тем как попасть сюда. Нельзя отрицать, что у нее прекрасный голос, но у бедняжки нет и тени ума! Она долбит все наизусть, рабски следуя указаниям профессора, а все остальное довершают ее здоровые легкие.

— Пусть у нее будут самые лучшие легкие и самый замечательный ум в придачу, — сказала красавица Клоринда, — я отказалась бы от всех этих преимуществ, если б мне пришлось поменяться с ней наружностью.

— Вы потеряли бы не так уж много, — возразила Констанца, не особенно стремившаяся признавать красоту Клоринды.

— Она совсем нехороша собой, — добавила еще одна. — Желтая, как пасхальная свечка, а глаза большие, но совсем невыразительные. И вдобавок всегда так плохо одета! Нет, бесспорно: она дурнушка.

— Бедняжка! Какая она несчастная! Ни денег, ни красоты!

Так девушки закончили свой «панегирик» в честь Консуэло и, пожалев ее, утешили себя за то, что восхищались ею, когда она пела.

Глава 2

Это происходило в Венеции около ста лет тому назад, в церкви Мендикаити, где знаменитый маэстро Порпора только что закончил первую репетицию своей музыки к большой вечерне, которою он должен был дирижировать в следующее воскресенье, в день Успения. Молодые хористки, которых он так сурово пробрал, были питомицами одной из тех школ, где девушек обучали на казенный счет, а потом давали пособие «для замужества или для поступления в монастырь», как сказал Жан-Жак Руссо, восхищавшийся их великолепными голосами около того же времени и в этой самой церкви. Ты хорошо помнишь, читатель, все эти подробности и прелестный эпизод, рассказанный им самим по этому поводу в восьмой книге его «Исповеди». Я не стану повторять здесь эти очаровательные страницы, после которых ты, конечно, не пожелал бы снова приняться за мои; я поступил бы точно так же на твоем месте, мой друг читатель. Надеюсь, однако, что в данную минуту у тебя нет под рукою «Исповеди», и продолжаю свое повествование.

Не все эти молодые девушки были одинаково бедны, и, несомненно, несмотря на всю зоркость администрации, в школу проскальзывали иногда и такие, которые не так уж нуждались, но использовали возможность получить за счет республики артистическое образование и недурно пристроиться. Поэтому-то иные из них и позволяли себе пренебрегать священными законами равенства, благодаря которым им удалось прокрасться на те самые скамьи, где сидели их сестры победнее. Не все также следовали суровым предначертаниям республики относительно их будущей судьбы. Нередко случалось, что какая-либо из них, воспользовавшись даровым воспитанием, отказывалась затем от пособия, стремясь к иной, более блестящей карьере. Видя, что подобные вещи неизбежны, администрация допускала иногда к обучению музыке детей бедных артистов, которым бродячая жизнь не позволяла оставаться надолго в Венеции. К числу таких относилась и маленькая Консуэло, родившаяся в Испании и попавшая оттуда в Италию через Санкт-Петербург, Константинополь, Мексику или Архангельск, а может быть, каким-нибудь другим, еще более прямым путем, доступным лишь для цыган.

Однако цыганкой она была только по профессии и по прозвищу, так как происхождения она была не цыганского, не индийского, и, во всяком случае, не еврейского. В ней текла хорошая испанская кровь, и происходила она, несомненно, из мавританского рода, так как отличалась смуглостью и была вся проникнута спокойствием, совершенно чуждым бродячим племенам. Я отнюдь не хочу сказать что-либо дурное по поводу этих племен. Если бы образ Консуэло был выдуман мною, то, весьма возможно, я заимствовал бы его у народа Израиля или из еще более древних времен, но она принадлежала к потомкам Измаила, все ее существо говорило об этом. Мне не довелось ее увидеть, ибо мне не исполнилось еще ста лет, но так утверждали, и я не могу это опровергнуть. У нее не было лихорадочной порывистости, перемежающейся с припадками апатичной томности, характерной для цыганки; не было у нее и вкрадчивого любопытства и назойливого попрошайничанья бедной еврейки. Она была спокойна, как воды лагун, и вместе с тем не менее подвижна» чем легкие гондолы, беспрестанно скользящие по их поверхности. Так как росла Консуэло быстро, а мать ее была чрезвычайно бедна, то она всегда

носила платья, слишком короткие для своего возраста, что придавало этой четырнадцатилетней девочке, привыкшей ходить босиком, особую дикую грацию и делало ее походку такой непринужденной, что глядеть на нее было и приятно и жалко. Была ли у нее маленькая ножка — никто не мог сказать, до того плохо она была обута. Зато ее стан, затянутый в корсаж, слишком тесный и лопнувший по швам, был строен и гибок, словно пальма, но без округлости, без соблазнительности. Бедная девочка об этом и не думала, она привыкла к тому, что все белокурые, белые и полненькие дочери Адриатики вечно звали ее «обезьяной», «лимоном», «чернушкой». Ее лицо, совершенно круглое, бледное и незначительное, никого бы не поразило, если б короткие, густые, закинутые за уши волосы и в то же время серьезный вид человека, равнодушного ко всему внешнему миру, не придавали ей некоторой мало приятной оригинальности. Непривлекательные лица постепенно теряют способность нравиться. Человек, обладающий таким лицом, для всех безразличный, начинает относиться безразлично к своей особе и этим еще более отталкивает от себя взоры. Красивый следит за собой, прихорашивается, приглядывается к себе, точно постоянно

смотрится в воображаемое зеркало. Некрасивый забывает о себе и становится небрежным. Но есть два вида некрасивости: одна, страдая от общего неодобрения, завидует и злобствует, — это и есть настоящая, истинная некрасивость; другая, наивная, беззаботная, мирится со своим положением и равнодушна к производимому ею впечатлению, — подобная некрасивость, не радуя взора, может привлекать сердца; такою именно и была некрасивость Консуэло. Люди великодушные, принимавшие в ней участие, на первых порах сожалели, что она некрасива, потом, как бы одумавшись, бесцеремонно гладили ее по голове, чего не сделали бы по отношению к красивой, и говорили: «Зато ты, кажется, славная девочка». Консуэло была довольна и этим, хотя отлично понимала, что такая фраза значит: «Больше у тебя ничего нет».

Между тем красивый молодой синьор, протянувший Консуэло кропило со святой водой, продолжал стоять у кропильницы, пока все ученицы одна за другой не прошли мимо него. Он разглядывал всех с большим вниманием, и когда самая красивая из них, Клоринда, приблизилась к нему, он решил подать ей святой воды и омочил пальцы, чтобы иметь удовольствие прикоснуть-

ся к ее пальчикам. Молодая девушка, покраснев от чувства удовлетворенного тщеславия, ушла, бросив ему стыдливо-смелый взгляд, отнюдь не выражавший ни гордости, ни целомудрия.

Как только ученицы скрылись за оградой монастыря, учтивый патриций вернулся на середину церкви и, приблизившись к профессору, медленно спускавшемуся с хоров, воскликнул:

— Клянусь Бахусом, дорогой маэстро, вы мне скажете, которая из ваших учениц только что пела «Salve, Regina»!

— А зачем вам это знать, граф Дзустиньяни? — спросил профессор, выходя вместе с ним из церкви.

— Для того, чтобы вас поздравить, — ответил молодой патриций. — Я давно уже слежу не только за вашими вечерними церковными службами, но и за вашими занятиями с ученицами, — вы ведь знаете, какой я любитель церковной музыки. И уверяю вас, я впервые слышу Перголезе в таком совершенном исполнении, а что касается голоса, то это самый прекрасный, какой мне довелось слышать в моей жизни.

— Клянусь богом, это так, — проговорил профессор с самодовольной важностью, наслаждаясь в то же время большой понюшкой табаку.

— Скажите же мне имя неземного существа, которое привело меня в такой восторг, — настаивал граф. — Вы строги к себе, никогда не бываете довольны, но надо же признаться, что свою школу вы сделали одной из лучших в Италии: ваши хоры превосходны, и ваши солистки очень хороши. Однако музыка, которую вы даете исполнять своим ученицам, такая возвышенная, такая строгая, что редко кто из них может передать все ее красоты…

— Они не могут передать эти красоты так, чтоб их почувствовали другие, раз сами их не чувствуют, — с грустью промолвил профессор. — В свежих, звучных, сильных голосах, слава богу, недостатка у нас нет, а вот что касается до музыкальных натур — увы, они так редки, так несовершенны…

— Ну, во всяком случае, одна у вас есть, и притом изумительно одаренная, — возразил граф. — Великолепный голос! Сколько чувства, какое умение! Да назовите же мне ее наконец!

— А ведь, правда, она доставила вам удовольствие? — спросил профессор, избегая ответа.

— Она растрогала меня, довела до слез… И при помощи таких простых средств, так натурально, что вначале я даже не мог понять, в чем дело. Но

потом, о мой дорогой учитель, я вспомнил все то, что вы так часто повторяли, преподавая мне ваше божественное искусство, и впервые постиг, насколько вы были правы.

— А что же такое я вам говорил? — торжествующе спросил маэстро.

— Вы говорили мне, что великое, истинное и прекрасное в искусстве это простота, — ответил граф.

— Я упоминал вам также о блеске, изысканности и изощренности и говорил, что нередко приходится аплодировать этим качествам и восхищаться ими.

— Конечно; однако вы прибавляли, что эти второстепенные качества отделяет от истинной гениальности целая пропасть. Так вот, дорогой учитель, ваша певица — одна по ту сторону пропасти, а все остальные — по эту.

— Это правда и хорошо сказано, — потирая от удовольствия руки, заметил профессор.

— Ну, а ее имя? — настаивал граф.

— Чье имя? — лукаво переспросил профессор.

— Ах, боже мой! Да имя сирены, или, вернее, архангела, которого я только что слушал.

— А для чего вам это имя, граф? — строго возразил Порпора.

— Скажите, господин профессор, почему вы хотите сделать из него тайну?

— Я вам объясню, если вы предварительно откроете мне, почему вы так настойчиво добиваетесь узнать это имя.

— Разве не естественно непреодолимое желание узнать, увидеть и назвать то, чем восхищаешься?

— Так позвольте же мне уличить вас, любезный граф, — это не единственное ваше основание: вы большой любитель и знаток музыки, это я знаю, но к тому же вы еще и владелец театра Сан-Самуэле. Не столько ради выгоды, сколько ради славы вы привлекаете к себе лучшие таланты и лучшие голоса Италии. Вы прекрасно знаете, что мы хорошо учим, что у нас серьезно поставлено дело и что из нашей школы выходят большие артистки. Вы уже похитили у нас Кориллу, а так как не сегодня завтра у вас ее в свою очередь может переманить какой-нибудь другой театр, то вы и бродите вокруг нашей школы, чтобы высмотреть, не подготовили ли мы для вас новой Кориллы… Вот где истина, господин граф. Сознайтесь, что я сказал правду.

— Ну, а если бы и так, дорогой маэстро, — возразил граф улыбаясь, какое зло усматриваете

вы в этом?

— А такое зло, господин граф, что вы развращаете, вы губите эти бедные создания.

— Однако что вы хотите этим сказать, свирепый профессор? С каких пор вы стали хранителем этих хрупких добродетелей?

— Я хочу сказать то, что есть в действительности, господин граф. Я не забочусь ни об их добродетели, ни о том, насколько прочна эта добродетель: я просто забочусь об их таланте, который вы извращаете и унижаете на подмостках своих театров, давая им исполнять пошлую музыку дурного вкуса. Разве это не ужас, не позор видеть, как та самая Корилла, которая уже начинала было по-настоящему понимать серьезное искусство, опустилась от духовного пения к светскому, от молитвы — к шутке, от алтаря — на подмостки, от великого — к смешному, от Аллегри и Палестрины — к Альбинони и цирюльнику Аполлини?

— Итак, в своей строгости вы отказываетесь открыть мне имя этой девушки, несмотря на то, что я не могу иметь никаких видов на нее, не зная еще, есть ли у нее качества, необходимые для сцены?

— Решительно отказываюсь.

— И вы думаете, что я его не открою?

— Увы! Задавшись этой целью, вы его откроете, но знайте, что я со своей стороны сделаю все возможное, чтобы помешать вам похитить у нас эту певицу.

— Прекрасно, маэстро, только вы уже наполовину побеждены: ваше таинственное божество я видел, угадал, узнал…

— Вот как! Вы убеждены в этом? — недоверчиво и сдержанно промолвил профессор.

— Мои глаза и сердце открыли мне ее, в доказательство чего я сейчас набросаю ее портрет: она высокого роста — это, кажется, самая высокая из всех ваших учениц, — бела, как снег на вершине Фриуля, румяна, как небосклон на заре прекрасного дня. У нее золотистые волосы и лазоревые глаза и приятная полнота. На одном пальчике колечко с рубином, — прикоснувшись к моей руке, он обжег меня, точно искра волшебного огня.

— Браво! — насмешливо воскликнул Порпора. — В таком случае мне нечего от вас таить: имя этой красавицы — Клоринда. Идите к ней сейчас же с вашими соблазнительными предложениями, дайте ей золота, бриллиантов, тряпок! Она, конечно, охотно согласится поступить в вашу труппу и, вероятно, сможет заменить Кориллу,

так как нынче публика ваших театров предпочитает красивые плечи красивым звукам и дерзкие взгляды возвышенному уму.

— Неужели я так ошибся, мой дорогой учитель, и Клоринда всего лишь заурядная красотка? — с некоторым смущением проговорил граф.

— А что, если моя сирена, мое божество, мой архангел, как вы ее называете, совсем нехороша собой? — лукаво спросил маэстро.

— Если она урод, умоляю вас, не показывайте ее мне: моя мечта была бы слишком жестоко разбита. Если она только некрасива, я мог бы еще обожать ее, но не стал бы приглашать в свой театр: на сцене талант без красоты часто является для женщины несчастьем, борьбой, пыткой. Однако что это вы там увидели, маэстро, и почему вы вдруг остановились?

— Мы как раз у пристани, где обычно стоят гондолы, но сейчас я не вижу ни одной. А вы, граф, куда смотрите?

— Поглядите вон на того юнца, что сидит подле довольно невзрачной девчушки, — не мой ли это питомец Андзолето, самый смышленый и самый красивый из наших юных плебеев? Обратите на него внимание, маэстро. Это так же интересно для вас, как и для меня. У этого мальчика лучший

тенор в Венеции, страстная любовь к музыке и исключительные способности. Я давно уже хочу поговорить с вами и просить вас заняться с ним. Вот его я действительно прочу для своего театра и надеюсь, что через несколько лет буду вознагражден за свои заботы о нем. Эй, Дзото, поди сюда, мой мальчик, я представлю тебя знаменитому маэстро Порпоре.

Андзолето вытащил свои босые ноги из воды, где они беззаботно болтались в то время, как он просверливал толстой иглой хорошенькие раковины, которые в Венеции так поэтично называют fiori di mare . Вся его одежда состояла из очень поношенных штанов и довольно тонкой, но совершенно изодранной рубашки, сквозь которую проглядывали его белые, точеные, словно у юного Вакха, плечи. Он действительно отличался греческой красотой молодого фавна, а в лице его было столь часто встречающееся в языческой скульптуре сочетание мечтательной грусти и беззаботной иронии. Его курчавые и вместе с тем тонкие белокурые волосы, позолоченные солнцем, бесчисленными короткими крутыми локонами вились вокруг его алебастровой шеи. Все черты его лица были идеально правильны, но в пронзительных черных, как чернила, глазах

проглядывало что-то слишком дерзкое, и это не понравилось профессору. Услышав голос Дзустиньяни, мальчик вскочил, бросил все ракушки на колени девочки, сидевшей с ним рядом, и в то время как она, не вставая с места, продолжала нанизывать их вперемежку с золотистым бисером, подошел к графу и, по местному обычаю, поцеловал ему руку.

— В самом деле красивый мальчик! — проговорил профессор, ласково потрепав его по щеке. — Но мне кажется, что он занимается уж слишком ребяческим для своих лет делом, ведь ему, наверно, лет восемнадцать?

— Скоро будет девятнадцать, sior profesor , — ответил Андзолето по-венециански. — А вожусь я с раковинами только потому, что хочу помочь маленькой Консуэло, которая делает из них ожерелья.

— Я и не подозревал, Консуэло, что ты любишь украшения, — проговорил Порпора, подходя с графом и Андзолето к своей ученице.

— О, это не для меня, господин профессор, — ответила Консуэло, приподнимаясь только наполовину, чтобы не уронить в воду раковины из передника, — это ожерелья для продажи, чтобы купить потом рису и кукурузы.

— Она бедна и таким путем добывает на пропитание своей матери, — пояснил Порпора. — Послушай, Консуэло, — сказал он девочке, — когда у вас с матерью нужда, обращайся ко мне, но я запрещаю тебе просить милостыню, поняла?

— О, вам незачем запрещать ей это, sior profesor, — с живостью возразил Андзолето. — Она сама никогда бы не стала просить милостыню, да и я не допустил бы этого.

— Но ведь у тебя самого ровно ничего нет! — сказал граф.

— Ничего, кроме ваших милостей, ваше сиятельство, но я делюсь с этой девочкой.

— Она твоя родственница?

— Нет, она чужестранка, это Консуэло.

— Консуэло? Какое странное имя, — заметил граф.

— Прекрасное имя, синьор, — возразил Андзолето, — оно означает «утешение»…

— В добрый час! Как видно, она твоя подруга?

— Она моя невеста, синьор.

— Уже? Каково! Эти дети уже мечтают о свадьбе.

— Мы обвенчаемся в тот день, когда вы, ваше сиятельство, подпишете мой ангажемент в театр Сан-Самуэле.

— В таком случае, дети мои, вам придется еще долго ждать.

— О, мы подождем, — проговорила Консуэло с веселым спокойствием невинности.

Граф и маэстро еще несколько минут забавлялись наивными ответами юной четы, затем профессор велел Андзолето прийти к нему на следующий день, обещав послушать его, и они ушли, предоставив юношу его серьезным занятиям.

— Как вы находите эту девочку? — спросил профессор графа.

— Я уже видел ее сегодня и нахожу, что она достаточно некрасива, чтобы оправдать пословицу: «В глазах восемнадцатилетнего мальчика каждая женщина — красавица».

— Прекрасно, — ответил профессор, — теперь я могу вам открыть, что ваша божественная певица, ваша сирена, ваша таинственная красавица — Консуэло.

— Как? Она? Эта замарашка? Этот черный худенький кузнечик? Быть не может, маэстро!

— Она самая, сиятельный граф. Разве вы не находите, что она была бы соблазнительной примадонной?

Граф остановился, обернулся, еще раз издали поглядел на Консуэло и, сложив руки, с комиче-

ским отчаянием воскликнул:

— Праведное небо! Как можешь ты допускать подобные ошибки, наделяя огнем гениальности такие безобразные головы!

— Значит, вы отказываетесь от ваших преступных намерений? — спросил профессор.

— Разумеется.

— Вы обещаете мне это? — добавил Порпора.

— О, клянусь вам! — ответил граф.

Глава 3

Рожденный под небом Италии, взращенный волею случая, как морская птица, бедный сирота, заброшенный, но все же счастливый в настоящем и верящий в будущее, Андзолето, этот несомненный плод любви, этот девятнадцатилетний красавец юноша, привольно проводивший целые дни около маленькой Консуэло на каменных плитах Венеции, не был новичком в любви. Познав радости легких побед, не раз выпадавших ему на долю, он бы уже истаскался и, быть может, развратился, если бы жил в нашем печальном климате и если бы природа не одарила его таким крепким организмом. Однако, рано развившись физически, предназначенный для долгой и сильной зрелости, он еще сохранил чистое сердце, а чувственность его сдерживалась волей. Случайно он повстречался с маленькой испанкой, набожно распевавшей молитвы перед изваянием мадонны; и, чтобы поупражнять свой голос, он пел с нею при свете звезд целыми вечерами. Встречались они и на песчаном взморье Лидо, собирая ракушки: он — для еды, она — чтобы

делать из них четки и украшения; встречались и в церквах, где она молилась богу всем сердцем, а он во все глаза смотрел на красивых дам. И при всех этих встречах Консуэло казалась ему такой доброй, кроткой, услужливой и веселой, что он, сам не зная как и почему, сделался ее другом и неразлучным спутником. Андзолето знал в любви пока одно лишь наслаждение. К Консуэло он чувствовал дружбу, но, будучи сыном народа и страны, где страсти довлеют над привязанностями, он не сумел дать этой дружбе другого названия, как любовь. Когда он заговорил об этом с Консуэло, та лишь заметила: «Если ты в меня влюблен, значит, ты хочешь на мне жениться?» На что он ответил: «Конечно, раз ты согласна, мы поженимся».

С тех пор это было делом решенным. Быть может, для Андзолето любовь эта и была забавой, но Консуэло верила в нее самым серьезным образом.

Несомненно одно: юное сердце Андзолето уже знало те противоречивые чувства, те запутанные, сложные переживания, которые тревожат и портят существование людей пресыщенных.

Предоставленный своим бурным инстинктам, жадный до удовольствий, любя лишь то, что да-

вало ему счастье, и ненавидя и избегая всего, что мешает веселью, будучи артистом до мозга костей, жаждая жить и ощущая жизнь со страшной остротой, он пришел к выводу, что любовницы заставляют его испытывать все муки и опасности страсти, не умея внушить ему по-настоящему эту страсть. Однако, влекомый вожделением, он время от времени сходился с женщинами, но скоро бросал их от пресыщения или с досады. А потом, растратив недостойным образом, низменно избыток сил, этот странный юноша снова ощущал потребность в обществе своей кроткой подруги, в чистых, светлых излияниях. Он мог уже сказать, как Жан-Жак Руссо: «Поистине, нас привязывает к женщинам не столько разврат, сколько удовольствие жить подле них». Итак, не отдавая себе отчета в том очаровании, которое влекло его к Консуэло, еще не умея воспринимать прекрасное, не зная даже, хороша она собой или дурна, Андзолето забавлялся с ней детскими играми, как мальчик, но в то же время свято уважал ее четырнадцать лет как мужчина и вел с ней среди толпы, на мраморных ступенях дворцов и на каналах Венеции, жизнь, такую же счастливую, такую же чистую, такую же уединенную и почти такую же поэтичную, какой была

жизнь Павла и Виргинии в апельсиновых рощах пустынного острова. Пользуясь неограниченной и опасной свободой, не имея семьи и бдительной нежной матери, которая заботилась бы об их нравственности, не имея преданного слуги, который бы отводил их по вечерам домой, не имея даже собаки, могущей предупредить их об опасности, предоставленные всецело самим себе, они, однако, избежали падения. В любой час и в любую погоду носились они по лагунам вдвоем, в открытой лодке, без весел и руля; без проводника, без часов, забывая о приливе, бродили они по лиману; до поздней ночи пели на перекрестках улиц, у обвитых виноградом часовен, а постелью им служили до утра белые плиты мостовой, еще сохранившие тепло солнечных лучей. Остановившись перед театром Пульчинеллы, забыв, что еще не завтракали и вряд ли будут ужинать, они со страстным вниманием следили за фантастической драмой прекрасной Коризанды, царицы марионеток. Неудержимо веселились они во время карнавала, не имея, конечно, возможности по-настоящему нарядиться: он — вывернув наизнанку свою старую куртку, она — прицепив себе на голову бант из старых лент. Они роскошно пировали на перилах моста или на лестнице ка-

кого-нибудь дворца, уплетая «морские фрукты» , стебли укропа и лимонные корки. Словом, не зная ни опасных ласк, ни влюбленности, они вели такую же веселую и привольную жизнь, какую могли бы вести два неиспорченных подростка одного возраста и одного пола. Шли дни и годы. У Андзолето появлялись новые любовницы, Консуэло же и не подозревала, что можно любить иной любовью, а не так, как любили ее. Став взрослой девушкой, она даже не подумала, что следует быть более сдержанной с женихом. Он же, видя, как она растет и меняется на его глазах, не испытывал никакого нетерпения, не хотел никакой перемены в их дружбе, такой безоблачной и спокойной, без всяких тайн и угрызений совести.

Прошло уже четыре года с того времени, как профессор Порпора и граф Дзустиньяни представили друг другу своих маленьких музыкантов. Граф и думать забыл о юной исполнительнице духовной музыки. Профессор тоже забыл о существовании красавца Андзолето, так как, проэкзаменовав его тогда, не нашел в нем ни одного из качеств, требуемых им от ученика: прежде всего серьезного и терпеливого склада ума, затем скромности, доведенной до полного самоуничтожения ученика перед учителем, и, наконец,

отсутствия какого бы то ни было предварительного обучения. «Не хочу даже и слышать, — говорил он, — об ученике, чей мозг не будет в моем полном распоряжении, как чистая скрижаль, как девственный воск, на котором я могу сделать первый оттиск. У меня нет времени на то, чтобы в течение целого года отучать ученика, прежде чем начать его учить. Если вы желаете, чтобы я писал на аспидной доске, дайте мне ее чистой, да и это еще не все: она должна быть хорошего качества. Если она слишком толста, я не смогу писать на ней; если она слишком тонка, я ее тотчас разобью». Одним словом, Порпора хотя и признал необычайные способности у юного Андзолето, но после первого же урока объявил графу с некоторой досадой и ироническим смирением, что метода его не годится для столь подвинутого ученика и что достаточно взять первого попавшегося учителя, чтобы затормозить и замедлить естественные успехи и неодолимый рост этой великолепной индивидуальности.

Граф направил своего питомца к профессору Меллифьоре, и тот, переходя от рулад к каденциям, от трели к группетто, довел блестящие данные своего ученика до полного развития. Когда Андзолето исполнилось двадцать три года,

он выступил в салоне графа, и все слушавшие его нашли, что он может с несомненным успехом дебютировать в театре Сан-Самуэле на первых ролях.

Однажды вечером все аристократы-любители и самые знаменитые артисты Венеции были приглашены присутствовать на последнем решающем испытании. Впервые в жизни Андзолето сбросил свое плебейское одеяние, облекся в черный фрак, шелковый жилет, высоко зачесал и напудрил свои роскошные волосы, надел башмаки с пряжками и, приосанившись, на цыпочках проскользнул к клавесину. Здесь, при свете сотни свечей, под взглядами двухсот или трехсот пар глаз, он, выждав вступление, набрал воздуху в легкие и с присущими ему смелостью и честолюбием ринулся со своим грудным до на то опасное поприще, где не жюри и не знатоки, а публика держит в одной руке пальмовую ветвь, а в другой — свисток.

Нечего говорить, что Андзолето волновался в душе, но его волнение почти не было заметно; его зоркие глаза, украдкой вопрошавшие женские взоры, прочли в них безмолвное одобрение, в котором редко отказывают молодому красавцу; и едва лишь донесся до него одобрительный шепот

любителей, удивленных мощностью его тембра и легкостью вокализации, как радость и надежда заполнили все его существо. Андзолето, до сих пор учившийся и выступавший в заурядной среде, в первый раз в жизни почувствовал, что он человек незаурядный, и, увлеченный жаждой и сознанием успеха, запел с поразительной силой, своеобразием и огнем. Конечно, его вкус не всегда был тонок, а исполнение на протяжении всей арии не всегда безупречно, но он сумел исправить это смелостью приемов, блеском ума и порывом вдохновения. Он не давал эффектов, о которых мечтал композитор, но находил новые, о которых никто не думал — ни автор, их намечавший, ни профессор, их толковавший, и никто из виртуозов, ранее исполнявших эту вещь. Его смелый порыв захватил и увлек всех. За один новый оттенок ему прощали десять промахов, за одно проявление индивидуального чувства — десять погрешностей в методе. Так в искусстве малейший проблеск гениальности, малейшее стремление к новым завоеваниям покоряет людей скорее, чем все заученные, общеизвестные приемы.

Быть может, никто даже не отдавал себе отчета в том, чем именно вызывался такой энтузиазм,

но все были охвачены им. Корилла выступила в начале вечера с большою арией, прекрасно спела, и ей аплодировали. Однако успех молодого дебютанта так затмил ее собственный, что она пришла в ярость. Осыпанный похвалами и ласками, Андзолето вернулся к клавесину, около которого она сидела, и, наклонившись к ней, проговорил почтительно и вместе с тем смело:

— Неужели у вас, царица пения, царица красоты, не найдется ни одного одобрительного взгляда для несчастного, который трепещет перед вами и обожает вас?

Примадонна, удивленная такой дерзостью, посмотрела в упор на красивое лицо, которое до сих пор едва удостаивала взглядом, — какая тщеславная женщина на вершине славы и успеха обратит внимание на безродного, бедного мальчугана? Теперь наконец, она его заметила и поразилась его красотой. Его огненный взор проник ей в душу. Побежденная, очарованная в свою очередь, она бросила на него долгий и многозначительный взгляд, и этот взгляд явился как бы печатью на патенте его новой славы. В этот памятный вечер Андзолето покорил всех своих слушателей и обезоружил самого грозного своего врага, ибо прекрасная певица царила не только

на сцене, но и в администрации театра и даже в самом кабинете графа Дзустиньяни.

Глава 4

Среди единодушных и даже несколько преувеличенных аплодисментов, вызванных голосом и манерою дебютанта, только один из слушателей, сидевший на кончике стула, сжав колени и неподвижно вытянув на них руки, точно египетское божество, оставался молчаливым, как сфинкс, и загадочным, как иероглиф; то был ученый профессор и знаменитый композитор Порпора. В то время как его учтивый коллега, профессор Меллифьоре, приписывая себе всю честь успеха Андзолето, рассыпался перед дамами и низко кланялся мужчинам, благодаря даже за взгляд, профессор духовной музыки сидел опустив глаза в землю, насупив брови, стиснув губы, словно погруженный в глубокое раздумье. Когда все общество, приглашенное в этот вечер на бал к догарессе, понемногу разъехалось и у клавесина остались только особенно рьяные любители музыки, несколько дам и самых известных артистов, Дзустиньяни подошел к строгому маэстро.

— Дорогой профессор, — сказал он, — вы слишком сурово смотрите на все новое, и ваше

молчание меня не пугает. Вы упорно хотите остаться глухим к чарующей нас светской музыке и к ее новым приемам, но ваше сердце невольно раскрылось и ваши уши восприняли соблазнительный яд.

— Послушайте, sior profesor, — сказала по-венециански прелестная Корилла, принимая со своим старым учителем ребячливый тон, как в былые годы в scuola — я хочу вас просить об одной милости…

— Прочь, несчастная! — с улыбкой воскликнул маэстро, полусердито отстраняя льнувшую к нему неверную ученицу. — Что общего теперь между нами? Ты больше для меня не существуешь. Дари другим свои обворожительные улыбки и коварное щебетанье.

— Он уже смягчается, — проговорила Корилла, одной рукою взяв за руку дебютанта, а другой не переставая теребить пышный белый галстук профессора… — Поди сюда, Дзото, стань на колени перед самым великим учителем пения всей Италии. Унизься, смирись перед ним, мой мальчик, обезоружь его суровость. Одно слово этого человека, если ты его добьешься, имеет больше значения, чем все трубы, вещающие о славе.

— Вы были очень строги ко мне, господин

профессор, — проговорил Андзолето, отвешивая ему поклон с несколько насмешливой скромностью. — Однако все эти четыре года я только и жил мыслью добиться того, чтобы вы изменили свой суровый приговор; и если это не удалось мне сегодня, то я не знаю, где взять смелость появиться еще раз перед публикой под бременем вашей анафемы.

— Дитя мое, предоставь женщинам медоточивые, лукавые речи, — сказал профессор, стремительно поднимаясь с места и говоря с такою убедительностью, что его обычно согнутая и мрачная фигура как-то сразу стала и выше и благороднее, — не унижайся никогда до лести даже перед высшими, а тем более перед человеком, мнением которого ты, в сущности, пренебрегаешь. Какой-нибудь час назад ты сидел там, в углу, бедный, неизвестный, боязливый; вся твоя будущность держалась на волоске, все зависело от звучности твоего голоса, от мгновенного промаха, от каприза твоих слушателей. И вот случай и порыв в одно мгновение сделали тебя богатым, знаменитым, заносчивым. Артистическая карьера открылась перед тобой. Беги же вперед, пока хватит сил! Но выслушай меня хорошенько, так как в первый, а быть может, и в последний раз ты

услышишь правду. Ты на плохой дороге, поешь плохо и любишь плохую музыку. Ты ничего не знаешь, ты ничего не изучил основательно. У тебя есть только техника и легкость. Проявляя страсть, ты остаешься холодным. Ты воркуешь и чирикаешь подобно хорошеньким, кокетливым девицам, которым прощают плохое пение ради их жеманства. Ты не умеешь фразировать, у тебя плохое произношение, вульгарный выговор, фальшивый, пошлый стиль. Однако не отчаивайся: хотя у тебя есть все эти недостатки, но есть и то, с помощью чего ты можешь их преодолеть. Ты обладаешь качествами, которые не зависят ни от обучения, ни от работы, в тебе есть то, чего не в силах у тебя отнять ни дурные советы, ни дурные примеры: у тебя есть божественный огонь, гениальность… Но, увы, огню этому не суждено озарить ничего великого, гениальность твоя будет бесплодна… Я прочитал это в твоих глазах, почувствовал в твоей груди; у тебя нет преклонения перед искусством, у тебя нет веры в великих учителей, нет уважения к великим творениям; ты любишь славу, только славу, и любишь ее исключительно для себя самого. Ты бы мог… ты смог бы… но нет… слишком поздно. Твоя судьба будет судьбой метеора, подобно…

Тут профессор, быстро надвинув на голову шляпу, повернулся и вышел, ни с кем не простившись, занятый, очевидно, дальнейшим развитием своего загадочного приговора.

Хотя все присутствовавшие и пытались поднять на смех выходку профессора, тем не менее на несколько мгновений у всех осталось тягостное впечатление чего-то печального, тревожного… Андзолето, по-видимому, первый перестал думать об этом, хотя слова профессора и вызвали в нем радость, гордость, гнев и смятение чувств, которым суждено было наложить отпечаток на всю его дальнейшую жизнь. Казалось, он был всецело поглощен одной только Кориллой и так успел убедить ее в этом, что она не на шутку влюбилась в него с первой же встречи. Граф Дзустиньяни не очень ревновал ее: быть может, у него были основания не особенно ее стеснять. Больше всего он интересовался блеском и славой своего театра, — не потому, что был жаден к богатству, а потому, что был, как говорится, истым фанатиком изящных искусств. По-моему, это слово определяет весьма распространенное среди итальянцев чувство, отличающееся большой страстностью, но не всегда умением разграничить хорошее и дурное… Культ искусства

— выражение слишком современное, неизвестное сто лет тому назад, — означает совсем не то, что вкус к изящным искусствам. Граф был человек с артистическим вкусом в том смысле, как это тогда понимали: любитель, и только. Удовлетворение этого вкуса и было главным делом его жизни. Он интересовался мнением публики и стремился заинтересовать ее собою, любил иметь дело с артистами, быть законодателем мод, заставить говорить о своем театре, о своей роскоши, о своей любезности и щедрости. Одним словом, у него была страсть, преобладающая у провинциальной знати, — показное тщеславие. Быть владельцем и директором театра — это был наилучший способ угодить всему городу и доставить ему развлечение. Еще большее удовлетворение получил бы граф, если бы смог угощать за своим столом всю республику. Когда иностранцам случалось расспрашивать профессора Порпору о графе Дзустиньяни, он обыкновенно отвечал: «Это человек, чрезвычайно любящий угощать: в своем театре он подает музыку совершенно так же, как фазанов за своим столом».

Около часа ночи гости начали расходиться.

— Андзоло, где ты живешь? — спросила дебютантка Корилла, оставшись с ним вдвоем на

балконе.

При этом неожиданном вопросе Андзолето покраснел и тут же побледнел. Как признаться этой блестящей, пышной красавице, что у него нет своего угла? Хотя в этом ему, пожалуй, легче было бы сознаться, чем назвать ту жалкую лачугу, где он ночевал тогда, когда не спал под открытым небом по собственной охоте или по необходимости.

— Что ты находишь удивительного в моем вопросе? — смеясь над его смущением, спросила Корилла.

С необыкновенной находчивостью Андзолето поспешил ответить:

— Я спрашиваю себя, какой королевский дворец, дворец какой волшебницы достоин принять гордого смертного, который принес бы туда воспоминания о нежном взгляде Кориллы?

— Что ты, льстец, хочешь этим сказать? — возразила она, устремляя на него взгляд, самый жгучий из всего ее дьявольского арсенала.

— Что это счастье мне еще не дано, но что если б я был этим счастливцем, то, упоенный гордостью, жаждал бы жить между небом и морями, подобно звездам.

— Или подобно cuccali! — громко смеясь, вос-

кликнула певица.

Известно, что морские чайки крайне неприхотливы, и венецианская поговорка приравнивает к ним легкомысленного, взбалмошного человека, как французская — к жуку: «Легкомыслен, как жук».

— Насмехайтесь надо мной, презирайте меня, — ответил Андзолето, только не отнимайте у меня вашего расположения.

— Ну, раз ты хочешь говорить со мной одними метафорами, — возразила она, — то я увожу тебя в своей гондоле; и если ты очутишься далеко от своего дома, пеняй на себя.

— Так вот почему вы интересовались, где я живу, синьора! В таком случае мой ответ будет короток и ясен: я живу на ступеньках вашего дворца. — Ну, так ступай и жди меня на ступеньках того дворца, в котором мы находимся сейчас, — проговорила Корилла, понизив голос, — а то как бы Дзустиньяни не остался недоволен снисходительностью, с какой я выслушиваю твой вздор.

В порыве удовлетворенного тщеславия Андзолето тут же бросился к пристани дворца, а оттуда прыгнул на нос гондолы Кориллы, отсчитывая секунды по быстрому биению своего опьяненного сердца. Но еще до того, как Корилла появилась

на лестнице дворца, много мыслей пронеслось в лихорадочно работавшем мозгу честолюбивого дебютанта. «Корилла всемогуща, — говорил он себе, — но что, если, понравившись ей, я тем самым навлеку на себя гнев графа? Что, если вследствие моей слишком быстрой победы он бросит свою легкомысленную любовницу и она потеряет свое могущество?»

И вот, когда раздираемый сомнениями Андзолето, измеряя взглядом лестницу, по которой он мог бы еще уйти, помышлял уже о бегстве, портик вдруг озарился факелами и красавица Корилла в горностаевой пелерине показалась на верхних ступеньках, окруженная кавалерами, состязавшимися между собою из-за чести проводить ее, по венецианскому обычаю, до гондолы, поддерживая под круглый локоть.

— А вы что тут делаете? — обратился к растерявшемуся Андзолето гондольер примадонны. — Входите скорее в гондолу, если это вам дозволено, а не то бегите по берегу: с синьорой идет сам граф.

Андзолето, не сознавая хорошенько, что он делает, забился внутрь гондолы. Он совсем потерял голову. Опомнившись, он представил себе, до чего будет удивлен и рассержен граф, когда, войдя с

возлюбленной в гондолу, увидит там своего дерзкого питомца. Его страх был тем мучительнее, что длился более пяти минут. Синьора, остановившись на середине лестницы, разговаривала, смеялась, спорила со своей свитой относительно какой-то рулады, причем даже громко исполняла ее на разные лады. Ее чистый и звонкий голос реял среди дворцов и куполов канала, подобно тому как крик петуха, пробудившегося перед зарей, разносится в сельской тиши. Андзолето, не в силах переносить дольше такое напряжение, решил прыгнуть в воду со стороны, противоположной лестнице. Он уже опустил было стекло в бархатной черной раме, уже занес ногу за борт, когда второй гондольер, сидевший на корме, нагнулся к нему и прошептал:

— Раз поют, значит, вам надо сидеть смирно и ждать безбоязненно.

«Я еще не знаю этих обычаев», — подумал про себя Андзолето и стал ждать, не совсем, впрочем, отделавшись от своего мучительного страха. Корилла доставила себе удовольствие заставить графа проводить ее до самой гондолы. Стоя уже на носу, она не переставала посылать ему пожелания felicissima notte до тех пор, пока гондола не отчалила от своего берега. Затем она уселась

возле своего нового возлюбленного так спокойно и просто, словно не рисковала ни его жизнью, ни своей судьбой в этой дерзкой игре.

— Какова Корилла? — говорил в это время Дзустиньяни графу Барбериго.

— Даю голову на отсечение: она не одна в гондоле.

— А почему вам могла прийти в голову такая мысль? — спросил Барбериго.

— Потому что она всячески настаивала, чтобы я проводил ее до ее дворца.

— И вы не ревнуете?

— Я давно уже излечился от этой слабости и дорого бы дал, если бы наша примадонна серьезно увлеклась кем-нибудь, кто заставил бы ее предпочесть пребывание в Венеции мечтам о путешествии, которым она мне угрожает. Утешиться в ее измене мне нетрудно, а вот заменить ее, найти другой такой голос, талант — это потруднее: кто, кроме нее, в состоянии так привлекать публику в Сан-Самуэле и доводить ее до неистовства?

— Понимаю. Но кто же, однако, счастливый обладатель этой взбалмошной принцессы, на сегодняшний вечер?

Тут граф с приятелем стали перебирать всех, на

ком Корилла в течение вечера могла остановить свой выбор. Андзолето был единственный, о ком они не подумали.

Глава 5

Между тем жестокая борьба происходила в душе этого счастливого любовника в то время, как ночь и волны в своем тихом мраке несли его в гондоле, растерянного и трепещущего, рядом со знаменитейшей красавицей Венеции. С одной стороны, Андзолето чувствовал нарастание страсти, еще более разжигаемой удовлетворенной гордостью; с другой стороны его пыл охлаждался страхом быстро попасть в немилость, быть осмеянным, выпровоженным, предательски выданным графу. Осторожный и хитрый как истый венецианец, он, стремясь целых шесть лет попасть на сцену, был хорошо осведомлен о сумасбродстве и властолюбии женщины, стоявшей во главе всех театральных интриг. У него было полное основание предполагать, что его царствованию подле нее скоро придет конец; и если он сейчас не уклонился от этой опасной чести, то только потому, что не предполагал ее такой близкой и был покорен и похищен внезапно. Он думал, что его будут лишь терпеть за его учтивость, а его уже полюбили — за молодость,

красоту, за нарождающуюся славу! «Теперь, чтобы избежать тяжелого и горького пробуждения после моего торжества, мне ничего больше не остается, как заставить ее бояться меня, — решил Андзолето с той быстротой соображения и умозаключения, которыми обладают иные удивительно устроенные головы. — Но как я, ничтожный юнец, умудрюсь внушить страх этой воплощенной царице ада? — думал он. Однако он скоро нашелся: разыграл недоверие, ревность, обиду, и с таким увлечением, с такой страстью, что примадонна была поражена. Всю их пылкую и легкомысленную беседу можно свести к следующему: Андзолето. Я знаю, что вы меня не любите и любить никогда не будете.

Вот почему я так грустен и сдержан подле вас.

Корилла. А если б я вдруг тебя полюбила?

Андзолето. Я был бы в полном отчаянии, потому что рисковал бы свалиться с неба прямо в пропасть и, завоевав вас ценою всего моего будущего счастья, потерять вас через какой-нибудь час.

Корилла. Что же заставляет тебя предполагать такое непостоянство с моей стороны?

Андзолето. Во-первых, мое собственное ничтожество, а во-вторых, все то дурное, что про вас говорят.

Корилла. Кто же так злословит обо мне?

Андзолето. Все мужчины, так как все они обожают вас.

Корилла. Значит, если б я имела глупость влюбиться в тебя и признаться тебе в этом, ты, пожалуй, оттолкнул бы меня?

Андзолето. Не знаю, найду ли я в себе силы бежать от вас, но если б нашел, то, конечно, никогда не стал бы больше с вами встречаться.

— В таком случае, — заявила Корилла, — мне хочется просто из любопытства сделать этот опыт… Андзолето, мне кажется, что я тебя люблю.

— А я этому не верю. И если не бегу от вас, то только потому, что очень хорошо понимаю, что надо мной смеются. Но вы не смутите меня подобной игрой и даже не обидите.

— Ты, кажется, хочешь одолеть хитростью?

— А почему бы нет? Но я не так страшен, раз даю вам средство победить меня.

— Какое же?

— Попробуйте повторить серьезно то, что вы сказали в шутку. Я испугаюсь насмерть и обращусь в бегство.

— Какой ты странный! Я вижу, что с тобой надо держать ухо востро. Ты из тех, кому мало аромата розы, а нужно ее сорвать да еще спрятать под

стекло. Я не ожидала, что в твои годы ты так смел и своеволен!

— И вы меня за это презираете?

— Напротив, ты мне так больше нравишься. Покойной ночи, Андзолето, мы еще увидимся.

Она протянула ему свою красивую руку, которую он страстно поцеловал.

«Ловко же я отделался», — думал он, мчась по галереям вдоль канала.

Не надеясь в такой поздний час достучаться в лачугу, где он обычно ночевал, Андзолето решил растянуться у первого попавшегося порога и насладиться тем ангельским покоем, который знают лишь дети и бедняки. Но в первый раз в жизни он не смог найти ни одной плиты, достаточно чистой, чтоб решиться на нее лечь. Хотя мостовая Венеции и чище и белее всякой другой на свете, все-таки она слишком пыльна для элегантного черного костюма из самого тонкого сукна. А тут еще одно соображение: те самые лодочники, которые обыкновенно утром осторожно шагали по ступенькам лестниц, стараясь не задеть лохмотьев юного плебея, теперь, попадись только он им под ноги, могли подшутить над ним сонным и нарочно испачкать роскошную ливрею «паразита». Действительно, что бы подумали

эти лодочники о человеке, спящем под открытым небом в шелковых чулках, в тонком белье, в кружевном жабо и кружевных манжетах? В эту минуту Андзолето пожалел о своем милом плаще из коричневой и красной шерсти, правда выцветшем, потертом, но еще плотном и отлично защищающем от нездоровых туманов, поднимающихся по утрам над каналами Венеции. Был конец февраля, и хотя в здешних краях в такое время солнце уже светит и греет по-весеннему, ночи бывают еще очень холодны. Андзолето пришло в голову забраться в одну из гондол, стоявших у берега; на беду, все они оказались запертыми. Наконец ему удалось открыть дверь одной из них, но, пролезая внутрь, он наткнулся на ноги спящего лодочника и свалился на него.

— Какого дьявола! — послышался грубый, охрипший голос из глубины. Кто вы и что вам надо?

— Это ты, Дзането? — отвечал Андзолето, узнав голос гондольера, обыкновенно относившегося к нему довольно дружелюбно. — Позволь мне лечь подле тебя и выспаться под твоим навесом.

— А ты кто?

— Андзолето. Разве ты не узнаешь меня?

— Нет, черт возьми, не узнаю! На тебе такая

одежда, какой у Андзолето быть не может, если только он ее не украл. Проваливай, проваливай! Будь это сам дож, я бы не открыл дверцы своей гондолы человеку, у которого нарядная одежда и нет угла, где спать.

«Пока что, — подумал Андзолето, — покровительство и милости графа Дзустиньяни принесли мне больше неприятностей, чем пользы. Надо, чтобы мои денежные средства соответствовали моим успехам; пора мне иметь в кармане несколько цехинов, чтобы выполнять ту роль, которую меня заставляют разыгрывать».

Сильно не в духе, он пошел бродить по пустынным улицам, боясь останавливаться, чтобы не простудиться, — от усталости и гнева он был весь в испарине.

«Только бы мне не охрипнуть из-за всего этого, — думал он, — завтра господин граф пожелает, чтобы его юного феноменального певца прослушал какой-нибудь глупый и строгий критик, и если я после бессонной ночи, проведенной без отдыха и крова, буду хоть немного хрипеть, тот заявит немедленно, что у меня нет голоса. А граф, которому хорошо известно, что это не так, возразит: „Ах, если б вы слышали его вчера! — „Так он не всегда одинаков? — спросит другой. — Не

слабого ли он здоровья? — „А может быть, он переутомился вчера? — добавит третий. «В самом деле, он слишком молод для того, чтобы петь несколько дней подряд. Вам, знаете ли, прежде чем выпускать его на сцену, следовало бы подождать, чтобы он окреп и возмужал“. На это граф, пожалуй, еще скажет: «Черт возьми! Если он может охрипнуть от двух арий, то он мне совсем не нужен“. И вот тогда, чтобы убедиться, что я силен и здоров, меня изо дня в день заставят упражняться до изнеможения и, желая удостовериться, что у меня здоровые легкие, надорвут мне голос. К черту покровительство знатных вельмож! Ах, когда только я смогу избавиться от него и, сопутствуемый славой, расположением публики, конкуренцией театров, стану петь в их салонах уже только из любезности и держать себя с ними на равной ноге“.

Так, рассуждая сам с собой, Андзолето дошел до одной из маленьких площадей, которые в Венеции называют corti, хотя это вовсе не дворы, а скопище домов, выходящих на общую площадку, — то, что теперь в Париже называется cite. Однако что касается правильности расположения, изящества и благоустройства, то этим «дворам» далеко до наших современных площа-

дей. Это скорее маленькие темные площадки, иногда представляющие собой тупики, а иногда служащие проходом из одного квартала в другой; они малолюдны, населяют их обычно бедняки низкого происхождения, все больше простой народ — рабочие и прачки, развешивающие белье на веревках, протянутых через дорогу, — неудобство, которое прохожий терпеливо переносит, зная, что его самого только терпят, а права на проход он собственно не имеет. Горе бедному артисту, вынужденному, отворив окна своей комнатушки, вдыхать воздух этих закоулков, — в самом центре Венеции, в двух шагах от больших каналов и роскошных зданий перед вами раскрывается вдруг жизнь неимущего класса с ее шумными деревенскими и не всегда чистоплотными привычками. Горе артисту, если для размышлений ему нужна тишина: от самой зари до ночи шум, производимый курами, собаками, детьми, играющими и орущими в этом тесном закоулке, бесконечная болтовня женщин на порогах домов, песни рабочих в мастерских — все это не даст ему ни минуты покоя. Хорошо еще, если не явится импровизатор и не начнет горланить свои сонеты и дифирамбы до тех пор, пока не соберет по одному сольдо с каждого окна. А то

придет еще Бригелла, расставит среди площади свой балаганчик и терпеливо примется за повторение своих разговоров с адвокатом, с немцем, с дьяволом, пока не истощит впустую все свое красноречие перед ободранными ребятишками — счастливыми зрителями, не имеющими ни гроша в кармане, но никогда не стесняющимися поглазеть и послушать.

Зато ночью, когда все смолкает и кроткая луна струит свой беловатый свет на каменные плиты, все эти дома разных эпох, прилепившиеся друг к другу без всякой симметрии и без претензии, с таинственными тенями в углублениях, являют собой бесконечно живописную картину. Все хорошеет под лунными лучами: малейший архитектурный эффект усиливается и приобретает монументальность, каждый балкон, увитый виноградом, переносит вас в романтическую Испанию, населяет воображение приключениями рыцарей «плаща и шпаги». Прозрачное небо, в котором тонут бледные купола далеких зданий, льет на все какой-то неопределенный, полный гармонии свет, навевая бесконечные грезы…

Как раз в ту минуту, когда все часы, словно перекликаясь, пробили два часа пополуночи, Андзолето очутился на Корте-Минелли, у церкви

Сан-Фантино. Тайный инстинкт привел его к жилищу той, чье имя и образ ни разу не промелькнули в его памяти в этот день с самого захода солнца. Не успел он ступить на площадку, как нежный голос тихо-тихо назвал его уменьшительным именем; подняв глаза, он увидел еле очерченный силуэт на одной из самых жалких террас этого проулка. Еще минута, дверь лачуги отворилась, и Консуэло в ситцевой юбке, закутанная в старую черную шелковую мантилью, когда-то служившую ее матери, протянула ему руку, приложив палец другой руки к губам в знак молчания. Ощупью, на цыпочках, взобрались они по ветхой деревянной лестнице, ведущей на крышу, и, усевшись на террасе, начали беседовать шепотом, прерывая его поцелуями; этот шелест, словно таинственный ветерок или болтовня духов, порхающих попарно, реет каждую ночь над причудливыми, словно красные чалмы, трубами венецианских домов. — Как? Ты ждала меня до сих пор, моя бедняжечка? — прошептал Андзолето.

— Но ведь ты обещал, что придешь рассказать мне о своем сегодняшнем выступлении! Ну, говори, говори же скорее, хорошо ли ты спел, понравился ли, аплодировали ли тебе, получил

ли ангажемент?

— А ты, моя добрая Консуэло, скажи, ты не сердилась на меня за долгое отсутствие? Не очень устала, поджидая меня? Не прозябла на этой террасе? Ужинала ли ты? Не очень беспокоилась? Не бранила меня? — расспрашивал свою подругу Андзолето, почувствовав угрызения совести при виде такого доверия и кротости бедной девушки.

— Нисколько, — ответила она, целомудренно обнимая его за шею. — Если я и сердилась, то не на тебя. Если устала, если озябла, то я уже обо всем этом забыла, раз ты со мной. Ужинала ли я? Право, не знаю! Беспокоилась ли? Чего ради! Бранила ли тебя? Никогда в жизни!

— Ты просто ангел, — сказал Андзолето, целуя ее. — О мое утешение!

Как жестоки и коварны другие сердца!

— Что же случилось? Чем так огорчили «сына моей души»? — воскликнула Консуэло, вплетая в милое венецианское наречие смелые и страстные метафоры своего родного языка.

Андзолето рассказал обо всем, что произошло, даже о своем ухаживании за Кориллой, и особенно подробно остановился на ее кокетливом поддразнивании. Но он рассказал все это по-своему, передавая только то, что не могло огорчить

Консуэло: ведь он не хотел изменять и не изменил ей, и все это было почти полной правдой. Однако есть одна сотая доля правды, которую никакое судебное следствие никогда не смогло выявить, в которой ни один клиент никогда не сознался своему адвокату и до которой ни один приговор не добирался иначе, как чисто случайно, потому что именно в этом неосвещенном крошечном количестве фактов или намерений кроется повод, причина, цель — словом, ключ всех тех громких процессов, где защита редко бывает на высоте, а приговор редко бывает справедлив, как ни пылко льются речи ораторов, как ни хладнокровны судьи.

Что касается Андзолето, то нечего и говорить, о каких своих грешках он умолчал, какие пламенные ощущения, пережитые перед публикой, он осветил совсем иначе, о каком подавленном трепете в гондоле он забыл упомянуть. Вероятнее всего, он совсем ничего не сказал о гондоле, а свои льстивые любезности по адресу примадонны изобразил в виде остроумных насмешек, благодаря которым он спасся от опасных сетей коварной женщины, умудрившись притом не разгневать ее. Но, спросите вы, милая читательница, зачем, не желая и не имея возможности рассказать обо

всем так, как оно было в действительности, то есть о сильнейших искушениях, перед которыми он устоял только благодаря благоразумию и умелому поведению, — зачем, повторяю, было этому юному хитрецу пробуждать ревность в Консуэло? Вы задаете этот вопрос, сударыня? Да разве вы сами не рассказываете возлюбленному или, скажем, избранному вами супругу о всех своих поклонниках, его соперниках, которыми вы жертвовали не только до замужества, но и теперь на всех балах, вчера еще, даже сегодня утром? Послушайте, сударыня, если вы красивы, в чем я не сомневаюсь, я могу поручиться головой, что вы поступаете так же, как Андзолето, и делаете это не ради выгоды, не для того, чтобы терзать ревнивую душу, не для того, чтобы еще больше возгордился тот, кого вы любите, но просто потому, что приятно иметь подле себя существо, которому можно рассказать все это, как будто исполняя спой долг, и, исповедуясь, похвастаться перед своим духовником. Только все дело в том, сударыня, что вы при этом рассказываете «почти» все, замалчивая пустяк, — о нем вы никогда не упомянете, — тот ваш взгляд, ту улыбку, которые и вызвали дерзкое объяснение самонадеянного нахала. Вот этот взгляд, эта улыбка, этот пустяк

как раз и был в данном случае гондолой, о которой Андзолето, с наслаждением переживая вновь все упоение вечера, забыл рассказать Консуэло. Маленькая испанка, к счастью для нее, еще не знала ревности: это горькое, мрачное чувство свойственно душам, уже много страдавшим, а Консуэло была до сих пор так же счастлива своей любовью, как и добра. Единственно, что произвело на девушку сильнейшее впечатление, это лестный, но суровый приговор, произнесенный уважаемым ею учителем, профессором Порпорой, над ее обожаемым Андзолето. Она заставила юношу еще раз повторить подлинные слова учителя и, после того как он снова в точности передал их, долго молчала, глубоко задумавшись.

— Консуэлина, — проговорил Андзолето, не обращая большого внимания на ее задумчивость, — становится что-то очень свежо, ты не боишься простудиться? Ведь подумай, дорогая, все наше будущее зависит от твоего голоса, больше даже, чем от моего.

— Я никогда не простуживаюсь, — ответила она, — а вот тебе холодно в твоем великолепном костюме. На, закутайся в мою мантилью.

— Много ли мне поможет этот кусок рваной тафты? Я предпочел бы с полчасика погреться в

твоей комнате.

— Хорошо, — ответила Консуэло, — но нам тогда придется помолчать, а то соседи нас услышат и, пожалуй, осудят. Люди они неплохие и не очень донимают меня, хотя и видят, что мы с тобой любим друг друга, но только потому, что ты не приходишь ко мне по ночам. Право, лучше было бы, если бы ты пошел спать к себе.

— Это немыслимо: до рассвета мне не откроют и мне придется дрожать еще целых три часа. Слышишь, как у меня от холода стучат зубы?

— В таком случае идем, — проговорила Консуэло, вставая, — я запру тебя в своей комнате, а сама буду спать на террасе: если кто следит за нами, пусть видит, что я веду себя скромно.

И она действительно провела его к себе в комнату, довольно большую, но убогую; цветы, когда-то написанные на стенах, проглядывали теперь там и сям сквозь второй слой окраски, еще более грубой и почти такой же облезлой. Большая деревянная кровать с матрацем из морской травы, ситцевое стеганое одеяло, безупречно чистое, но все в разноцветных заплатах, соломенный стул, небольшой столик, очень старинная гитара да филигранное распятие составляли все богатство, оставленное Консуэло матерью. Маленький

спинет и куча полуистлевших нот, которыми великодушно ссужал ее профессор Порпора, дополняли всю обстановку юной артистки, дочери бедной цыганки, ученицы великого артиста и возлюбленной юного красавца — любителя приключений.

Так как в комнате имелся всего один стул, а стол был завален нотами, то Андзолето не оставалось ничего больше, как сесть на кровать, что он сейчас же и сделал без церемоний. Едва он присел на самый край кровати, как, измученный усталостью, повалился на большую подушку из шерсти.

— Моя дорогая, моя хорошая женушка, — пробормотал он, — я сейчас отдал бы все годы, которые мне остается жить, за один час крепкого сна и все сокровища мира за то, чтобы укрыть ноги концом этого одеяла. Никогда в жизни мне не было так холодно, как в этом проклятом фраке; после бессонной ночи меня знобит, точно в лихорадке.

Минуту Консуэло колебалась. Восемнадцатилетняя сирота, совершенно одинокая на свете, она, в сущности, отвечала за свои поступки только перед богом. Веря в обещания Андзолето, как в слова Евангелия, она не боялась, что надоест

ему или что он бросит ее, если она уступит всем его желаниям. Но под влиянием чувства стыдливости, которое Андзолето никогда не пытался в ней побороть, она нашла его просьбу несколько грубой. Тем не менее она подошла к нему и взяла его за руку, — рука была холодна, а когда Андзолето прижал ее руку к своему лбу, девушка почувствовала, что лоб горячий.

— Ты болен! — воскликнула она с тревогой, откинув все прочие соображения. — Если так, конечно, поспи часок на моей постели.

Андзолето не заставил ее дважды повторять это предложение.

— Добра, как сам бог, — прошептал он, вытягиваясь на матраце из морской травы.

Консуэло накрыла его одеялом и, притащив из угла кое-какое свое тряпье, еще прикрыла ему ноги. Укладывая его с материнской заботливостью, она тихонько шепнула ему:

— Андзолето, кровать, на которой ты сейчас заснешь, — та, где я спала с моей матерью последние годы ее жизни. На ней она умерла, и я, одев ее в саван, бодрствовала подле нее и молилась, пока похоронная лодка не увезла ее от меня навсегда. Так вот, я хочу сейчас рассказать тебе, что она заставила меня обещать ей перед

смертью. «Консуэло, — сказала она, — поклянись мне перед распятием, что Андзолето ляжет в эту кровать на мое место не раньше, чем вы с ним обвенчаетесь в церкви».

— И ты поклялась?

— И я поклялась. Но, позволив тебе спать здесь сейчас, я уступила тебе в ней не место матери, а мое собственное.

— А ты, бедняжка, так и не заснешь? — воскликнул Андзолето, делая над собой усилие и приподнимаясь. — Какой я, однако, негодяй! Сейчас же пойду спать на улицу!

— Нет! Нет! — сказала Консуэло, ласково заставляя его лечь обратно на подушку. — Ты болен, а я здорова. Мать моя умерла истинной католичкой, она теперь на небе и постоянно глядит на нас оттуда. Она знает, что ты сдержал данное ей обещание, — не покинул меня. Она знает также, что наша любовь не менее чиста теперь, чем была при ней. Она видит, что и в эту минуту я не помышляю ни о чем дурном, не делаю ничего дурного. Упокой, господи, ее душу!

Тут Консуэло осенила себя большим крестом. Андзолето уже заснул. Уходя, Консуэло прошептала:

— Там, на террасе, я помолюсь, чтобы ты не

захворал.

— Добра, как бог, — в полусне повторил Андзолето, даже не заметив, что невеста оставила его одного.

Консуэло действительно пошла молиться на террасу. Через некоторое время она вернулась взглянуть, не хуже ли ему, и, увидя, что он безмятежно спит, долго, сосредоточенно глядела на его красивое бледное лицо, озаренное луной.

Потом, не желая поддаваться сну и вспомнив, что волнения сегодняшнего вечера помешали ей заниматься, она снова зажгла лампу, уселась за свой столик и начала наносить на нотную бумагу задачу по композиции, заданную на завтрашний день ее учителем Порпорой.

Глава 6

Граф Дзустиньяни, несмотря на все свое философское безразличие и свои новые увлечения — Корилла довольно неловко притворялась, будто ревнует его, — далеко не был так равнодушен к вызывающим капризам своей шальной любовницы, как старался это показать. Добрый, слабохарактерный и легкомысленный, он был распутным больше на словах и в силу своего общественного положения. Поэтому он не мог не страдать в глубине души от той неблагодарности, которою эта женщина ответила на его великодушие. И хотя в те времена в Венеции, как и в Париже, ревновать считалось верхом неприличия, его итальянская гордость восставала против смешной и жалкой роли, которую Корилла заставляла его играть.

И вот в тот самый вечер, когда Андзолето так блестяще выступал в его дворце, граф, весело пошутив со своим другом Барбериго над проказами своей любовницы, дождался, пока разъедутся все гости и потушат огни, накинул плащ, взял шпагу и, для собственного успокоения, направился во

дворец, где жила Корилла.

Удостоверившись, что она одна, Дзустиньяни, не довольствуясь этим, вступил потихоньку в разговор с гондольером, устанавливавшим гондолу примадонны под портиком, специально для этого приспособленным. Несколько золотых развязали гондольеру язык, и граф скоро убедился, что не ошибся, предположив, что у Кориллы в гондоле был спутник, выяснить же, кто именно, ему так и не удалось: гондольеру этот человек был неизвестен; хотя он и видел сотни раз Андзолето бродящим около театра и дворца Дзустиньяни, однако ночью, в черном фраке, напудренного, он его не узнал. Эта непроницаемая тайна еще более увеличила досаду графа. Он даже не мог утешиться насмешками над своим соперником — единственной местью хорошего тона, столь же жестокой в эту эпоху показных ухаживаний, как убийство в эпоху серьезных страстей. Всю ночь он не сомкнул глаз и еще ранее того часа, когда Порпора начинал свои занятия в консерватории для бедных девушек, направился к школе Мендиканти и прошел в зал, где должны были собраться молодые ученицы.

Отношение графа к ученому профессору за последние годы значительно изменилось. Дзу-

стиньяни уже не был его музыкальным противником, — напротив, он был теперь его союзником и даже в некотором роде начальником: граф сделал значительное пожертвование учреждению, которым заведовал ученый маэстро, и в знак благодарности ему было поручено руководство школой. С тех пор эти два друга жили в добром согласии, насколько это было возможно при нетерпимости профессора к модной светской музыке, — нетерпимости, которой он вынужден был несколько изменить, видя, что граф тратит силы и средства на преподавание и распространение серьезной музыки. Вдобавок граф поставил на сцене своего театра Сан-Самуэле оперу, которую Порпора только что написал.

— Дорогой маэстро, — сказал граф, отводя его в сторону, — необходимо, чтобы вы не только согласились на похищение одной из ваших учениц, но чтобы вы сами указали ту, которая лучше всех могла бы заменить в театре Кориллу. Артистка утомлена, она теряет голос, ее капризы разоряют нас, не сегодня-завтра она надоест и публике. В самом деле, нужно подумать о том, чтобы найти ей succeditrice . (Прости, дорогой читатель, так говорят по-итальянски, и граф не изобрел неологизма.) — У меня нет того, что вам нужно, — сухо

ответил Порпора.

— Как, маэстро! — воскликнул граф. — Вы опять впадаете в вашу черную меланхолию? Возможно ли, чтобы после всех доказательств моей преданности вам и всех жертв с моей стороны вы, когда я обращаюсь к вам за помощью и советом, отказали мне в самом маленьком одолжении?

— Я уже не имею на это права, граф, но то, что я вам сказал, — истинная правда. Поверьте человеку, который искренне к вам расположен и желал бы оказать вам услугу: в моей вокальной школе нет никого, кто бы мог заменить Кориллу. Я нисколько не переоцениваю ее, но хотя в моих глазах талант этой женщины и не является серьезным талантом, все-таки я не могу не признать за ней знания дела, привычки к сцене, искусства воздействовать на чувства публики, что приобретается долголетней практикой и не скоро дастся дебютантке.

— Все это так, — сказал граф, — но ведь мы сами создали Кориллу: мы руководили ее первыми шагами, мы заставили публику ее оценить; остальное сделала ее красота. А у вас в школе есть очаровательные ученицы, не хуже ее. Уж этого вы не станете отрицать! Согласитесь, что Клоринда — красивейшее создание в мире.

— Но она неестественна, жеманна, вообще невыносима». Впрочем, может быть, публика и найдет очаровательным это смешное кривляние… А поет она фальшиво, в ней нет ни души, ни понимания… Правда, у публики тоже нет ушей… Но у Клоринды к тому же нет ни памяти, ни находчивости; ее не спасет от провала даже то легкое шарлатанство, которое удается многим.

При этих словах профессор невольно посмотрел на Андзолето, который, пользуясь своим положением любимца графа, проскользнул в класс (якобы для того, чтобы переговорить с ним) и, стоя поблизости, слушал во все уши.

— Все равно, — сказал граф, не обращая внимания на злобный выпад профессора, — я стою на своем. Давно я не слышал Клоринды. Давайте позовем ее сюда; пусть она придет с пятью-шестью самыми красивыми ученицами. Слушай, Андзолето, — прибавил он, смеясь, — ты так расфранчен, что тебя можно принять за молодого профессора. Ступай в сад, выбери там самых хорошеньких учениц и скажи им, что профессор и я ждем их здесь.

Андзолето повиновался. Но, шалости ради или с иной целью, он привел самых некрасивых. Вот когда Жан-Жак Руссо мог бы воскликнуть: «Софи

была кривая, а Каттина хромая».

К этому недоразумению отнеслись добродушно и, посмеявшись под сурдинку, отправили девиц обратно, поручив им прислать учениц по указанию самого профессора. Вскоре появилась группа прелестных девушек с красавицей Клориндой во главе.

— Что за великолепные волосы! — шепнул граф на ухо Порпоре, когда мимо него прошла Клоринда со своими чудесными белокурыми косами.

— На этой голове гораздо больше, чем внутри, — ответил, даже не понижая голоса, суровый критик.

Целый час продолжалась проба голосов, и граф, не в силах выдержать дольше, удалился совершенно подавленный, не забыв наделить певших самыми любезными похвалами, а профессору шепнуть: «Нечего и думать о таких попугаях».

— Если б ваше сиятельство позволили мне сказать вам два слова насчет того дела, которое так вас беспокоит… — шепнул Андзолето на ухо графу, спускаясь с ним по лестнице.

— Говори! Уж не знаешь ли ты то чудо, которое мы ищем? — спросил граф.

— Да, ваше сиятельство.

— В глубине какого моря выловишь ты эту

жемчужину?

— В глубине класса, куда хитрый профессор Порпора прячет ее в те дни, когда вы, ваше сиятельство, делаете смотр своему женскому батальону.

— Как? Ты говоришь, что в школе есть бриллиант, блеска которого мои глаза никогда еще не видели? Если маэстро Порпора сыграл со мной такую шутку…

— Бриллиант, о котором я говорю, не принадлежит к числу учениц школы. Это бедная девушка, которая поет в хоре, когда бывает нужно; профессор дает ей частные уроки из милости, но еще более из любви к искусству.

— Значит, у этой девушки совершенно исключительные способности: ведь удовлетворить профессора нелегко и он не особенно щедр ни на свое время, ни на свой труд. Может быть, я слышал ее когда-нибудь, но не знал, что это поет именно она?

— Ваше сиятельство слышали ее давно, когда она была еще ребенком. Теперь это взрослая, сильная девушка, прилежная и ученая, как сам профессор; спой она на сцене три такта рядом с Кориллой, ту бы сразу освистали.

— И она никогда не поет публично? Неужели

профессор не заставляет ее выступать на своих больших вечернях?

— Раньше профессор охотно слушал ее пение в церкви, но с тех пор как завистливые и мстительные ученицы пригрозили выгнать ее, если только она появится среди них…

— Так, значит, это девушка дурного поведения?

— О боже милостивый! Она чиста, как двери рая, ваше сиятельство. Но она бедна и низкого происхождения… как и я, ваше сиятельство, которого, однако, вы милостиво приближаете к себе. А эти злючки грозили профессору пожаловаться вам на то, что он, вопреки правилам школы, приводит в класс частную ученицу.

— Где же послушать это чудо?

— Прикажите, ваше сиятельство, профессору, чтобы он заставил ее спеть в вашем присутствии, и тогда вы сами будете иметь возможность судить о ее голосе и огромном даровании.

— Твоя уверенность невольно заставляет меня поверить тебе. Так ты говоришь, что я когда-то слышал ее… Я пытаюсь припомнить, но…

— В церкви Мендиканти в день генеральной репетиции «Salve, Regina»

Перголезе…

— Вспомнил! — воскликнул граф. — Голос, выразительность, понимание необыкновенные!

— И ведь она была тогда совсем ребенком, ваше сиятельство, ей было всего четырнадцать лет.

— Да, но… помнится, она некрасива.

— Некрасива, ваше сиятельство? — переспросил изумленный Андзолето.

— Как ее звали?.. Кажется, это была испанка… еще такое странное имя…

— Консуэло, ваше сиятельство.

— Да, да, это она! Ты хотел тогда жениться на ней, и мы с профессором еще посмеялись над вашей любовью. Консуэло! Так, так… любимица профессора, умница, но очень некрасива.

— Некрасива? — повторил ошеломленный Андзолето.

— Ну да, мой мальчик. А ты все еще в нее влюблен?

— Она моя подруга, ваше сиятельство.

— «Подругой» мы называем и сестру и любовницу. Кто же она тебе?

— Сестра, ваше сиятельство.

— Тогда ты не огорчишься, если я скажу то, что думаю. В твоем предложении нет ни капли здравого смысла. Чтобы заменить Кориллу, надо быть ангелом красоты, твоя же Консуэло, я прекрасно

припоминаю теперь, не только некрасива, а просто уродлива.

В эту минуту к графу подошел один из приятелей и отвел его в сторону, а Андзолето все стоял, потрясенный, и, вздыхая, повторял: «Она уродлива!»

Глава 7

Вам, быть может, покажется удивительным, любезный читатель, а между тем это правда, что у Андзолето не было сложившегося мнения насчет того, красива или некрасива Консуэло. Она была существом, столь обособленным от всех и незаметным в Венеции, что никому и в голову не приходило приподнять окутывавший ее покров забвения и мрака, чтобы взглянуть, под какой оболочкой — привлекательной или неприметной — проявляются ее ум и доброта. Порпора, для которого ничего не существовало, кроме искусства, видел в ней только артистку. Соседи ее по Корте-Минелли не ставили ей в укор невинную любовь к Андзолето: в Венеции не очень строги на этот счет. Но порой они все-таки предупреждали ее, что она будет несчастна с этим бездомным юношей, и советовали ей выйти замуж за честного, смирного рабочего. А так как она обычно отвечала, что ей, девушке без семьи и опоры, Андзолето как раз и подходит, и к тому же за все шесть лет не было дня, когда бы их не видели вместе, причем молодые люди из этого

не делали тайны и никогда не ссорились, то в конце концов все привыкли к их свободному и неразрывному союзу. Никто из соседей никогда не ухаживал за «подругой» Андзолето. Оттого ли, что она считалась его невестой, или вследствие ее нищеты? Или ее наружность никого не прельщала? Наиболее правдоподобно последнее предположение.

А между тем всем известно, что девочки-подростки от двенадцати до четырнадцати лет бывают обыкновенно худы, неловки, что в чертах их лица, в фигуре, в движениях нет гармонии. К пятнадцати годам они как бы «переделываются», по выражению пожилых француженок из простонародья, и вот та, которая казалась прежде уродом, вдруг становится если не красивой, то по крайней мере миловидной. Есть даже примета, что для будущности девочки невыгодно, если она слишком рано бывает хорошенькой…

Возмужав, Консуэло похорошела, как это происходит со всеми девушками, и про нее перестали говорить, что она некрасива; да она и в самом деле не была уже некрасивой. Но так как она не была ни дофиной, ни инфантой и ее не окружали придворные, кричащие о том, как со дня на день расцветает красота царственного ребенка, так

как некому было печься с нежною заботой о ее будущности, то никто и не потрудился сказать Андзолето: «Тебе не придется краснеть перед людьми за твою невесту».

Андзолето слыхал, что ее звали дурнушкой в те времена, когда это для него не имело никакого значения, а с тех пор как о наружности Консуэло больше не говорили ни хорошо, ни дурно, он и вовсе перестал об этом думать. Его тщеславие было направлено теперь в другую сторону — он мечтал о театре, о славе; ему было не до того, чтобы хвастаться своими любовными победами. К тому же жгучее любопытство, этот спутник ранней чувственности, было у него в значительной мере утолено. Я говорил уже, что в восемнадцать лет для него не было тайн в любви, в двадцать два года он уже был почти разочарован, и в двадцать два года, как и в восемнадцать, его привязанность к Консуэло, несмотря на несколько поцелуев, сорванных без трепета и возвращенных без смущения, была так же безмятежна, как и прежде.

Такое спокойствие и такая добродетель у молодого человека, вообще ими не отличавшегося, объяснялись тем, что беспредельная свобода, которой, как упоминалось в начале этого рассказа, наслаждалась юная пара, постепенно ограничи-

валась и мало-помалу, с течением времени, почти исчезла. Консуэло было около шестнадцати лет, и она все еще продолжала вести бродячую жизнь, убегая после занятий в консерватории на Пьяццетту разучивать свой урок и лакомиться рисом в обществе Андзолето, когда мать ее, вконец изнуренная, перестала петь по вечерам в кафе, где она до сих пор выступала, играя на гитаре и собирая деньги в деревянную тарелочку. Бедная женщина приютилась на одном из самых нищенских чердаков Корте-Минелли и там медленно угасала на жалком одре. Тогда добрая Консуэло, чтобы не оставлять мать одну, совершенно изменила свой образ жизни. За исключением тех часов, когда профессор удостаивал давать ей уроки, она либо вышивала, либо писала работы по контрапункту, не покидая изголовья своей властной, но сраженной нуждою матери, которая сурово обращалась с нею в детстве, а теперь являла собою ужасное зрелище агонии без мужества и без смирения. Любовь к матери и спокойная самоотверженность Консуэло ни на мгновение не изменили ей. Радости детства, свободу, бродячую жизнь, даже любовь — все она принесла в жертву без горечи и без колебаний. Андзолето часто жаловался на это, но, видя, что

его упреки бесплодны, решил махнуть рукой и начал развлекаться. Однако это оказалось невозможным. Андзолето не был так усидчив в работе, как Консуэло; он наспех и плохо занимался на уроках, которые давал ему так же наспех и плохо его профессор ради платы, обещанной графом Дзустиньяни. К счастью для Андзолето, щедро одарившая его природа помогала ему, насколько возможно, наверстывать потерянное время и заглаживать результаты плохого обучения; но в итоге у него оказывалось много часов безделья, и тогда ему страшно не хватало общества преданной и жизнерадостной Консуэло. Он попытался предаться страстям, свойственным его возрасту и положению: посещал кабачки, проигрывал с разными повесами подачки, получаемые порой от графа Дзустиньяни. Такая жизнь продолжалась недели две-три, после чего он ощутил, что его общее самочувствие, его здоровье и голос заметно ухудшаются… Он понял, что безделье и распущенность — не одно и то же, а к распущенности у него склонности не было. Спасшись от порочных страстей, конечно, только из любви к самому себе, он уединился и попробовал засесть за ученье, но это уединение показалось ему тягостным и тоскливым. Он почувствовал,

что Консуэло так же необходима для его таланта, как и для счастья. Прилежная и настойчивая, Консуэло, для которой музыка была такой же родной стихией, как воздух для птицы или вода для рыбы, любила преодолевать трудности и, словно ребенок, не отдавала себе при этом отчета в значительности своих достижений; стремясь побороть препятствия и проникнуть в тайники искусства в силу того самого инстинкта, который заставляет росток пробиваться сквозь землю к свету, она принадлежала к тем редким счастливым натурам, для которых труд — наслаждение, истинный отдых, необходимое, нормальное состояние, а бездействие — тяжко, болезненно, просто гибельно, если оно вообще возможно. Но оно им незнакомо: даже когда кажется, будто они предаются праздности, они и тогда работают; у них нет мечтаний, а есть размышления. Когда видишь их за делом, думаешь, что они в это время создают что-то, тогда как в действительности они только выявляют то, что уже создано ими ранее. Пожалуй, ты скажешь мне, дорогой читатель, что не знавал таких исключительных натур. На это я могу ответить тебе, что на своем веку встретил только одно такое существо, а ведь я старше тебя. Ах, отчего я не могу сказать тебе, что мне удалось

проследить на примере собственного бедного разума божественную тайну этой умственной работы! Но, увы, друг читатель, ни ты, ни я не будем изучать ее на нас самих.

Консуэло работала не покладая рук и всегда с удовольствием. Целыми часами свободно и привольно распевая или читая ноты, она преодолевала трудности, которые устрашили бы Андзолето, будь он предоставлен самому себе; непредумышленно, не думая ни о каком соревновании, она между взрывами детского смеха, среди полетов поэтической и творческой фантазии, присущей людям из народа в Испании и Италии, заставляла его следовать за нею, вторить ей, понимать ее, отвечать ей. Андзолето, даже не отдавая себе в этом отчета, сам того не понимая и не замечая, в течение ряда лет проникался гениальностью Консуэло, впитывая ее как бы у самого истока. Но вследствие своей лени он представлял собою в музыке странное сочетание знания и невежества, вдохновения и легкомыслия, силы и неловкости, смелости и бессилия — всего того, что при последнем его выступлении погрузило Порпору в целый лабиринт мыслей и предположений. Старый музыкант не подозревал, что все эти сокровища знания Андзолето похитил

у Консуэло. Объясняется это тем, что, пробрав однажды девочку за дружбу с таким шалопаем, он никогда больше не встречал их вместе. Консуэло, стремясь сохранить расположение своего учителя, старалась не попадаться ему на глаза в обществе Андзолето, а когда они бывали вместе, она, еще издали заметив профессора, пряталась с прыткостью котенка за ближайшую колонну или забивалась в какую-нибудь гондолу.

Эти предосторожности принимались и позже, когда Консуэло сделалась сиделкою у постели матери. Андзолето, не в силах больше выносить разлуку с Консуэло, чувствуя, что без нее он не может ни жить, ни надеяться, ни вдохновляться, ни даже дышать, решил делить с ней ее затворническую, сидячую жизнь и из вечера в вечер выслушивать колкости и испытывать на себе вспышки раздражения ее умирающей матери. Несчастная женщина за несколько месяцев до смерти стала меньше страдать и под влиянием своей набожной дочери сама смягчилась. Мало-помалу она привыкла к услугам Андзолето, и сам он, хотя совсем не был создан для такой роли, привык относиться к слабости и к страданию кротко, с веселой готовностью помочь. У Андзолето был ровный характер и приятные манеры.

Его постоянство по отношению к Консуэло и к ней самой наконец покорило сердце матери, и перед смертью она заставила их поклясться, что они никогда не расстанутся. Андзолето дал слово и в эту торжественную минуту даже пережил никогда дотоле не испытанное чувство глубокого умиления. Он с тем более легким сердцем дал это обещание, что умирающая сказала: «Чем бы она ни была для тебя — другом, сестрой, любовницей или женой, не бросай ее, ведь она только тебя и признает, только тебя и слушает». Затем, стремясь дать дочери разумный и полезный совет и, не задумываясь над тем, насколько он осуществим, она, как мы уже видели, взяла особую клятву с Консуэло, что та не будет принадлежать своему возлюбленному до венца. Девушка поклялась, не предвидя препятствий, которые могли возникнуть из-за неверия и независимого характера Андзолето.

Осиротев, Консуэло продолжала зарабатывать шитьем, но в то же время занималась и музыкой, видя в ней их общую с Андзолето будущность. В течение двух последних лет, когда Консуэло жила одна на своем чердаке, юная пара встречалась ежедневно, но Андзолето не чувствовал к ней никакой страсти. Впрочем, он не чувствовал

страсти и к другим женщинам, предпочитая всему прелесть дружеской близости с Консуэло и удовольствие жить подле нее.

Не отдавая себе вполне отчета в огромных способностях своей подруги, он все-таки настолько успел развить в себе музыкальный вкус и понимание, чтобы сознавать, что у нее больше умения и возможностей, чем у всех певиц театра Сан-Самуэле, не исключая самой Кориллы. И вот к его привязанности присоединилась надежда, почти уверенность в том, что, объединив свои интересы, они могут добиться блестящей будущности. Консуэло не имела обыкновения думать о будущем; предвидеть было не в ее привычках. Она была готова заниматься музыкой исключительно по призванию, и общность интересов, возникавшая у нее с Андзолето благодаря тому, что они оба занимались этим искусством, представлялась ей только как источник еще большей взаимной привязанности и счастья. Поэтому, даже не предупредив ее, Андзолето вдруг решил ускорить осуществление их мечтаний. В ту минуту Дзустиньяни был озабочен, кем заменить Кориллу, и, с редкой проницательностью угадав мысли своего покровителя, юноша сделал неожиданно то предложение, о котором уже шла речь.

Уродливость Консуэло, это неожиданное, странное препятствие, непреодолимое, если только граф не ошибался, внесло страх и смятение в душу Андзолето. В таком состоянии побрел он на Корте-Минелли. Останавливаясь на каждом шагу, он силился представить себе образ подруги и все спрашивал себя: «Так она некрасива? Безобразна? Уродлива?»

Глава 8

— Что ты так смотришь на меня? — спросила Консуэло, видя, что Андзолето, войдя в комнату, молча разглядывает ее с каким-то странным видом. — Можно подумать, что ты меня никогда не видел.

— Это правда, Консуэло, — ответил он, — я никогда тебя не видел.

— Что ты говоришь? В своем ли ты уме?

— О господи! — воскликнул Андзолето. — У меня в мозгу словно какое-то черное пятно, из-за которого я не вижу тебя.

— Боже милосердный! Да ты болен, мой друг!

— Нет, дорогая моя, успокойся, и постараемся все выяснить. Скажи мне, Консуэло, ты находишь меня красивым?

— Ну конечно, раз я тебя люблю.

— А если б ты меня не любила, каким бы я тебе казался?

— Откуда мне знать?

— Но, когда ты смотришь на других мужчин, различаешь же ты, красивы они или некрасивы?

— Различаю, но для меня ты красивее всех

красавцев. — Потому ли, что я действительно красив, или потому, что ты меня любишь?

— И потому и поэтому. Впрочем, все находят тебя красивым, и ты сам это хорошо знаешь. Но какое тебе до этого дело?

— Мне хочется знать, любила ли бы ты меня, будь я безобразен?

— Пожалуй, я и не заметила бы этого.

— Значит, ты полагаешь, что можно любить и некрасивого?

— Почему же нет? Ведь любишь же ты меня.

— Значит, ты некрасива, Консуэло? Говори, отвечай же! Ты в самом деле некрасива?

— Мне всегда это говорили. А сам ты разве этого не видишь?

— Нет, нет, право не вижу.

— Ну, тогда я считаю себя достаточно красивой и очень довольна этим. — Вот сейчас, Консуэло, ты смотришь на меня такими добрыми, искренними, любящими глазами, что кажешься мне прекраснее Кориллы. Но мне хочется знать, действительно ли это так или это только мое заблуждение. Понимаешь, я хорошо знаю твое лицо, знаю, что оно честное и нравится мне. Когда я раздражен, оно действует на меня успокоительно, когда я грустен, утешает меня, когда я

удручен, поднимает мой дух. Но я не знаю твоей наружности. Я не знаю, Консуэло, действительно ли ты некрасива.

— Я еще раз спрашиваю: какое тебе до этого дело?

— Мне необходимо это знать. Как ты думаешь, может ли красивый мужчина любить некрасивую женщину?

— Но ведь любил же ты мою бедную мать, а она сделалась под конец совершенным страшилищем. А я-то как ее любила!

— И ты считала ее уродливой?

— Нет. А ты?

— Я и не думал об ее наружности. Но это совсем не то, Консуэло… Я говорю о другой любви — о страсти; а я тебя люблю такою любовью, не правда ли? Я не могу обходиться без тебя, не могу с тобою расстаться. Ведь это настоящая любовь, правда?

— А чем иным могло бы это быть?

— Дружбой.

— Да. Возможно, что это и есть дружба.

Тут удивленная Консуэло замолчала и внимательно посмотрела на Андзолето. А тот, погрузившись в задумчивость, впервые ломал себе голову — над тем, что он испытывал к Консуэло

— любовь или дружбу, и о чем говорили это спокойствие чувств и это целомудрие, которое он так легко сохранял вблизи нее. Было ли это результатом уважения или безразличия? В первый раз посмотрел он на девушку глазами молодого мужчины, не без некоторого волнения разбирая и оценивая ее лоб, глаза, фигуру — все то, что до сих пор жило в его представлении в виде какого-то затуманенного идеального целого. В первый раз взволнованная Консуэло была смущена взглядом своего друга: она покраснела, сердце ее забилось, и, не будучи в силах смотреть в глаза Андзолето, она отвернулась. Андзолето все еще продолжал хранить молчание. Не решаясь его прервать, Консуэло вдруг ощутила невыразимую тоску, крупные слезы одна за другой покатились по ее щекам, и, закрыв лицо руками, она воскликнула:

— О, я вижу, ты пришел мне сказать, что не хочешь больше, чтобы я была твоей подругой.

— Нет, нет, никогда я этого не говорил и не говорю! — воскликнул Андзолето, испуганный ее слезами, которые видел впервые, и поспешно по-братски обнял ее.

Но в этот миг Консуэло отвернулась, и поэтому вместо свежей, прохладной щеки поцелуй его встретил горячее плечо, едва прикрытое косын-

кой из грубого черного кружева.

Когда первая вспышка страсти запылает в молодом существе, сохранившем всю свою детскую чистоту, но уже достигшем полного расцвета, она вызывает потрясающее, почти мучительное ощущение.

— Не знаю, что со мной, — проговорила Консуэло, вырываясь с дотоле не испытанным страхом из объятий своего друга, — но мне нехорошо, мне кажется, будто я умираю…

— Не надо умирать, дорогая, — говорил Андзолето, нежно поддерживая ее, — теперь я убежден, что ты красавица, настоящая красавица. Действительно, Консуэло была очень хороша в эту минуту. И Андзолето, почувствовав это всем своим существом, не мог удержаться, чтобы не высказать ей своего восхищения, хотя и не был уверен в том, что ее красота отвечает требованиям искусства.

— Да скажи наконец, зачем тебе понадобилось сегодня, чтобы я была красива? — спросила Консуэло, сразу побледнев и обессилев. — А разве тебе самой не хочется быть красивой, милая Консуэло?

— Да, для тебя.

— А для других?

— Какое мне до них дело?

— А если бы от этого зависело наше будущее? Тут Андзолето, видя, в какое смятение он привел свою подругу, откровенно рассказал ей о том, что произошло между ним и графом. Когда он передал ей не особенно лестные для нее слова Дзустиньяни, добродушная Консуэло, которая поняла теперь, в чем дело, и успела успокоиться, расхохоталась до слез.

— Как, — воскликнул Андзолето, пораженный таким полным отсутствием тщеславия, — ты ничуть не взволнована, не смущена? О, я вижу, Консуэло, что вы маленькая кокетка и прекрасно знаете, что вы не безобразны.

— Послушай, — ответила она, улыбаясь. — Раз ты придаешь такое значение подобному вздору, я должна тебя немного успокоить. Я никогда не была кокеткой: я некрасива и это было бы смешно. Однако несомненно, что я теперь вовсе не безобразна.

— В самом деле? Ты это слышала? Кто говорил тебе это, Консуэло?

— Во-первых, моя мать, которую никогда не смущала моя некрасивость. Она не раз повторяла, что это пройдет и что сама она в детстве была еще хуже. А между тем я от многих знавших ее слыха-

ла, что в двадцать лет она была самой красивой девушкой в Бургосе. Помнишь, когда она пела в кафе, не раз приходилось слышать: «Как, должно быть, эта женщина была красива в молодости». Видишь ли, друг мой, для бедняков красота — это дело одного мгновения: сегодня ты еще не красива, а завтра уже перестала быть красивой. Быть может, и я еще буду хороша, только бы мне не переутомляться, высыпаться хорошенько да не очень голодать.

— Консуэло, мы с тобой не расстанемся. Я скоро разбогатею, ты ни в чем не будешь нуждаться и сможешь хорошеть, сколько тебе угодно.

— В добрый час! Да поможет нам господь в остальном!

— Да, но все это не решает дела сейчас: важно знать, найдет ли тебя граф достаточно красивой для сцены.

— Проклятый граф! Только бы он не был слишком требователен.

— Прежде всего, ты вовсе не дурнушка.

— Да, я не некрасива. Еще недавно я слышала, как стекольщик, который живет напротив нас, сказал своей жене: «А знаешь, Консуэло совсем недурна: у нее прекрасная фигура, а когда она смеется, так просто сердце радуется; когда же

запоет — делается и вовсе красивой».

— А что ответила на это его жена?

— Она ответила: «А тебе что до этого, дурак? Лучше занимайся своим делом: женатому человеку нечего заглядываться на девушек».

— И скажи, видно было, что она сердится?

— Еще как!

— Да, это хороший признак. Она считала, что муж ее не ошибся. Ну, а еще что?

— А потом графиня Мочениго, — я шью на нее, и она всегда интересовалась мною, — так вот на прошлой неделе вхожу я к ней, а она и говорит доктору Анчилло: «Посмотрите, доктор, как эта девочка выросла, побелела, какая у нее прелестная фигура».

— А доктор что ответил?

— Он ответил: «Да, действительно, я не узнал бы ее, клянусь вам! Она из тех флегматичных натур, которые белеют, когда начинают полнеть; увидите, из нее выйдет красавица».

— Не слыхала ли ты еще чего?

— Еще настоятельница монастыря Санта-Кьяра, — она заказывает мне вышивки для своих алтарей, — тоже сказала одной из монахинь: «Разве я была не права, говоря, что Консуэло похожа на нашу святую Цецилию? Каждый раз,

молясь перед образом, я невольно думаю об этой девочке, думаю и прошу бога спасти ее от греха и от светского пения».

— А что ответила сестра?

— Она ответила: «Ваша правда, мать настоятельница, сущая правда». Сейчас же после этого я побежала в их церковь поглядеть на святую Цецилию. Это работа великого художника, и она такая красавица!

— И она похожа на тебя?

— Немножко.

— Почему же ты мне никогда об этом не говорила?

— Да я как-то не думала об этом.

— Милая моя Консуэло, так, значит, ты красива?

— Этого я не думаю, но я уже не так дурна собой, как говорили раньше. Во всяком случае, о своем безобразии я больше не слышу. Правда, может быть, причина в том, что люди не хотят меня огорчать теперь, когда я стала взрослой.

— Ну, Консуэло, посмотри-ка на меня хорошенько! Начать с того, что у тебя самые красивые в мире глаза.

— Зато рот слишком велик, — вставила, смеясь, Консуэло, разглядывая себя в осколок разбитого

зеркала.

— Рот не мал, но какие чудесные зубы, — продолжал Андзолето, — просто жемчужины! Так и сверкают, когда ты смеешься.

— В таком случае, когда мы с тобой будем у графа, ты должен непременно рассмешить меня.

— А волосы какие чудесные, Консуэло!

— Вот это правда. На, посмотри…

Она вытащила шпильки, и целый поток черных волос, в которых солнце отразилось, как в зеркале, спустился до земли.

— У тебя широкая грудь, тонкая талия, а плечи… До чего они хороши! Зачем ты прячешь их от меня, Консуэло? Ведь я хочу видеть только то, что тебе неизбежно придется показывать публике.

— Нога у меня довольно маленькая, — желая переменить разговор, сказала Консуэло, выставляя свою крошечную, чудесную ножку — ножку настоящей андалузки, какую почти невозможно встретить в Венеции.

— Ручка — тоже прелесть, — прибавил Андзолето, впервые целуя ей руку, которую до сих пор только по-товарищески пожимал. — Ну, покажи мне свои руки повыше!

— Ты ведь их сто раз видел, — возразила она, снимая митенки.

— Да нет же! Я никогда еще их не видел, — сказал Андзолето.

Это невинное и вместе с тем опасное расследование начинало странным образом волновать юношу. Он как-то сразу умолк и все глядел на девушку, а та под влиянием его взглядов с каждой минутой преображалась, делаясь все красивее и красивее.

Быть может, он был не совсем слеп и раньше, быть может, впервые Консуэло, сама того не сознавая, сбросила с себя выражение равнодушия, допустимое лишь при безупречной правильности линий. В эту минуту, еще взволнованная ударом, поразившим ее в самое сердце, уже ставшая вновь простодушной и доверчивой, но еще испытывая легкое смущение, проистекавшее не от проснувшегося кокетства, а от чувства стыдливости, пережитого и понятого ею, она прозрачной белизной лица и чистыми, ясными глазами действительно напоминала святую Цецилию из монастыря Санта-Кьяра. Андзолето не в силах был оторвать от нее глаз. Солнце зашло. В большой комнате с одним маленьким окном быстро темнело, и в этом полусвете Консуэло стала еще красивее, — казалось, будто вокруг нее реет дыхание неуловимых наслаждений. В голове молодого

Андзолето пронеслась мысль отдаться страсти, пробудившейся в нем с неведомой до сих пор силой, но тотчас же холодный рассудок взял верх над этим порывом. Ему хотелось своим пылким восторгом взволновать Консуэло и проверить, может ли ее красота пробудить в нем такую же страсть, какую пробуждали всеми признанные красавицы, которыми он уже обладал. Но он не посмел поддаться этому искушению, недостойному той, что вызвала в нем такие мысли. Волнение его все росло, а боязнь потерять новое для него наслаждение заставляла желать, чтобы этот миг длился как можно дольше.

Вдруг Консуэло, которой стало невмоготу выносить дольше охватившее ее смущение, сделала над собою усилие и, чтобы снова вернуться к их прежней беззаботной веселости, принялась расхаживать по комнате, напевая с преувеличенной экспрессией отрывки из лирической драмы и сопровождая пение, словно на сцене, трагическими жестами.

— Да ведь это великолепно! — восторженно воскликнул Андзолето, видя, что она способна прибегать к сценическим эффектам, чего он в ней никогда не подозревал.

— Совсем не великолепно! — сказала Консуэло,

садясь. — Надеюсь, ты это говоришь в шутку?

— Уверяю тебя, это было бы великолепно на сцене. Поверь, здесь нет ничего лишнего. Корилла лопнула бы от зависти: это так же эффектно, как то, за что ей аплодируют с таким неистовством.

— Мой милый Андзолето, я вовсе не хочу, чтобы она лопнула от зависти к такому фиглярству. И если бы публика вздумала аплодировать мне только потому, что я умею передразнивать Кориллу, то перед такой публикой я больше не захотела бы и появляться.

— Ты, значит, надеешься ее превзойти?

— Да, надеюсь или откажусь от всего.

— Как же ты это сделаешь?

— Пока еще не знаю…

— Попробуй.

— Нет, все это одни мечты; и пока не будет решено, дурна я собой или хороша, нам нечего строить воздушные замки. Может быть, мы оба с тобой не в своем уме и, как выразился господин граф, Консуэло действительно уродлива.

Это последнее предположение дало Андзолето силы уйти.

Глава 9

В эту полосу своей жизни, почти неизвестную его биографам, Никколо Порпора, один из лучших композиторов Италии и величайший профессор пения XVIII века, ученик Скарлатти, учитель певцов Гассе, Фаринелли, Кафарелли, Салимбени, Уберто (известного под именем «Порпорино») и певиц Минготти, Габриэлли, Мольтени, — словом, родоначальник самой знаменитой школы пения своего времени, Никколо Порпора прозябал в Венеции, в состоянии, близком к нищете и отчаянию. А между тем некогда он стоял во главе консерватории Оспедалетто в этом самом городе, и то был самый блестящий период его жизни. Именно в ту пору им были написаны и поставлены его лучшие оперы, лучшие кантаты и все его главные произведения духовной музыки. Вызванный в 1728 году в Вену, он, правда не без некоторых усилий, добился там покровительства императора Карла VI. Он пользовался также благоволением саксонского двора , а затем был приглашен в Лондон, где в течение девяти или десяти лет имел честь соперничать с самим

великим Генделем, звезда которого как раз в эту пору несколько потускнела. Но в конце концов гений Генделя восторжествовал, и Порпора, уязвленный в своей гордости, очутившись в тяжелом материальном положении, возвратился в Венецию, где не без труда занял место директора уже другой консерватории, а не Оспедалетто. Он написал здесь еще несколько опер и поставил их на сцене, но это было нелегко; последняя же опера, хотя и написанная в Венеции, шла только в лондонском театре, где не имела никакого успеха. Гению его был нанесен жестокий удар; слава и успех могли бы еще возродить его, но неблагодарность Гассе, Фаринелли и Кафарелли, все более и более забывавших своего учителя, окончательно разбила его сердце, ожесточила его, отравила ему старость. Известно, что он скончался в Неаполе на восьмидесятом году жизни в нищете и горе.

В то время, когда граф Дзустиньяни, предвидя уход Кориллы и почти желая его, подыскивал ей заместительницу, Порпора переживал как раз один из припадков озлобления, и его раздражение имело некоторое основание. Если в Венеции любили и исполняли музыку Йомелли, Лотти, Кариссими, Гаспарини и других превосходных мастеров, то это не мешало публике одновремен-

но увлекаться без разбора легкой музыкой Кокки, Буини, Сальваторе Аполлини и других более или менее бездарных композиторов, льстивших посредственности своим легким и вульгарным стилем. Оперы Гассе не могли нравиться его учителю, справедливо разгневанному на него. Маститый и несчастный Порпора, закрывший сердце и уши для современной музыки, пытался задушить ее славою и авторитетом стариков. С чрезмерной суровостью он порицал грациозные произведения Галуппи и даже оригинальные фантазии Кьодзетто — популярного в Венеции композитора. С ним можно было разговаривать лишь о падре Мартини, о Дуранте, о Монтеверди, о Палестрине; не знаю, благоволил ли он даже к Марчелло и Лео. Вот почему первые попытки графа Дзустиньяни пригласить на сцену его неизвестную ученицу, бедную Консуэло, которой он желал, однако, и славы и счастья, были встречены Порпорой холодно и с грустью. Он был слишком опытным преподавателем, чтобы не знать цены своей ученице, не знать, чего она заслуживает. Одна мысль, что этот истинный талант, выращенный на шедеврах старых композиторов, будет профанирован, приводила старика в ужас.

Опустив голову, подавленным голосом он от-

ветил графу:

— Ну что ж, берите эту незапятнанную душу, этот чистый разум, бросьте его собакам, отдайте на съедение зверям, раз уж такова в наши дни судьба гения.

Эта серьезная, глубокая и вместе с тем комическая печаль старого музыканта возвысила Консуэло в глазах графа: если этот суровый учитель так ценит ее, значит есть за что.

— Это действительно ваше мнение, дорогой маэстро? В самом деле Консуэло такое необыкновенное, божественное существо?

— Вы ее услышите, — проговорил Порпора с видом человека, покорившегося неизбежному, и повторил: — Такова ее судьба.

Граф все же сумел рассеять уныние маэстро, обнадежив его обещанием серьезно пересмотреть оперный репертуар своего театра. Он обещал исключить из репертуара, как только ему удастся избавиться от Кориллы, плохие оперы, ставившиеся, по его словам, лишь по ее капризу и ради ее успеха. Он намекнул весьма ловко, что будет очень сдержан в отношении постановок опер Гассе, и даже заявил, что в случае, если Порпора пожелает сочинить оперу для Консуэло, то день, когда ученица покроет своего учителя двойною

славой, передав его мысли в соответствующем стиле, будет торжеством для оперной сцены Сан-Самуэле и счастливейшим днем в жизни самого графа. Порпора, убежденный его доводами, начал смягчаться и втайне уже желал, чтобы дебют его ученицы, которого он сначала побаивался, думая, что она могла бы придать новый блеск творениям его соперника, состоялся. Однако, поскольку граф выразил опасение насчет наружности Консуэло, он наотрез отказался дать ему возможность прослушать ее в узком кругу и без подготовки. На все настояния и вопросы графа он отвечал:

— Я не стану утверждать, что она красавица. Девушка, столь бедно одетая, естественно, робеет перед таким вельможей и ценителем искусства, как вы; дитя народа, она не встречала в жизни никакого внимания и, понятно, нуждается в том, чтобы немного заняться своим туалетом и подготовиться. К тому же Консуэло принадлежит к числу людей, чьи лица удивительно преображаются под влиянием вдохновения. Надо одновременно и видеть и слышать ее. Предоставьте это мне; если вам она не подойдет, я возьму ее к себе и найду способ сделать из нее хорошую монахиню, которая прославит школу, где будет преподавать.

Такова была действительно та будущность, о которой до сих пор мечтал Порпора для Консуэло.

Повидав затем свою ученицу, он объявил, что ей предстоит петь в присутствии графа Дзустиньяни. Когда девушка наивно выразила опасение, что граф найдет ее некрасивой, учитель, убедив ее в том, что граф, сидя в церкви на богослужении, не увидит ее за решеткой органа, все же посоветовал одеться поприличней, ибо после службы он представит ее графу. Как ни был беден сам благородный старик, он дал ей для этой цели небольшую сумму, и Консуэло, взволнованная и растерянная, впервые занялась своей особой и наскоро подготовила свой туалет. Она решила также испытать и свой голос и, запев, нашла его таким сильным, свежим и гибким, что несколько раз повторила очарованному и тоже взволнованному Андзолето:

— Ах! Зачем нужно певице еще что-то, кроме умения петь?

Глава 10

Накануне торжественного дня Андзолето нашел дверь в комнату своей подруги запертою на задвижку, и, только прождав на лестнице около четверти часа, он смог наконец войти и взглянуть на Консуэло в праздничном одеянии, которое ей хотелось ему показать. Она надела хорошенькое ситцевое платье в крупных цветах, кружевную косынку и напудрила волосы. Это так изменило ее облик, что Андзолето простоял в недоумении несколько минут, не понимая, выиграла ли она, или потеряла от такого превращения. Нерешительность, которую Консуэло прочла в его глазах, сразила ее, словно удар кинжала.

— Ну вот! — воскликнула она. — Я вижу, что не нравлюсь тебе в этом наряде. Кто сможет найти меня хотя бы сносной, если даже тот, кто меня любит, не испытывает, глядя на меня, ни малейшего удовольствия.

— Погоди немножко, — возразил Андзолето, — прежде всего я поражен твоей прелестной фигурой в этом длинном лифе; к тому же кружевная косынка придает тебе такой благородный

вид. И юбка падает такими изящными складками… Однако мне жаль твоих черных волос… Но что поделаешь! Они хороши для плебейки, а завтра ты должна быть синьорой.

— А зачем мне нужно быть синьорой? Я ненавижу эту пудру, она обесцвечивает и старит самых красивых, а под всеми этими оборками я кажусь себе чужой. Словом, я сама себе не нравлюсь и вижу, что и ты такого же мнения. Знаешь, сегодня я была на репетиции, и при мне Клоринда тоже примеряла новое платье. Какая она нарядная, смелая, красивая! (Вот счастливица, на нее не нужно смотреть два раза, чтобы убедиться в ее красоте.) Мне очень страшно появиться перед графом рядом с ней.

— Будь спокойна, граф не только видел ее, но и слышал.

— И она пела плохо?

— Так, как поет всегда.

— Ах, друг мой, соперничество портит душу. Еще недавно, если бы Клоринда — при всем своем тщеславии она ведь совсем не плохая девушка

— потерпела фиаско перед знатоком музыки, я от всей души пожалела бы ее и разделила с ней ее горе. А сегодня я ловлю себя на том, что могла бы порадоваться ее провалу. Борьба, зависть, стрем-

ление погубить друг друга… И все из-за кого? Из-за человека, которого не только не любишь, но даже не знаешь! Как это грустно, любимый мой! И мне кажется, что я одинаково боюсь и успеха и провала. Мне кажется, что пришел конец нашему с тобой счастью и что завтра, каков бы ни был исход испытания, я вернусь в эту убогую комнату совсем иной, чем жила в ней до сих пор.

Две крупные слезы скатились по щекам Консуэло.

— Плакать теперь? Как можно! — воскликнул Андзолето. — У тебя потускнеют глаза, распухнут веки! А твои глаза, Консуэло… Смотри не порти их — они самое красивое, что у тебя есть.

— Или менее некрасивое, чем все остальное, — произнесла она, утирая слезы. — Оказывается, когда отдаешь себя сцене, то не имеешь права даже плакать.

Андзолето пытался ее утешить, но она была печальна в течение всего дня. А вечером, оставшись одна, она стряхнула пудру со своих прекрасных, черных как смоль волос, пригладила их, примерила еще не старое черное шелковое платьице, которое обычно надевала по воскресеньям, и, увидав себя в зеркале такой, какой привыкла себя видеть, успокоилась. Затем, пламенно помолив-

шись, стала думать о своей матери, растрогалась и заснула в слезах. Когда Андзолето на следующее утро зашел за ней, чтобы вместе идти в церковь, он застал ее у спинета, одетую и причесанную, как обычно по воскресеньям, — она репетировала арию, которую должна была исполнять.

— Как! Еще не причесана, не одета! Ведь скоро идти, о чем ты думаешь, Консуэло?

— Друг мой, я одета, причесана и спокойна. И я хочу остаться в таком виде, — сказала она решительным тоном. — Все эти красивые платья совсем мне не к лицу. Мои черные волосы тебе больше нравятся, чем напудренные. Этот лиф не мешает мне дышать. Пожалуйста, не противоречь: это дело решенное. Я просила бога вдохновить меня, а матушку наставить, как мне себя вести. И вот господь внушил мне быть скромной и простой. А матушка сказала мне во сне то, что говорила всегда: «Постарайся хорошо спеть, а все остальное в руках божьих». Я видела, как она взяла мое красивое платье, мои кружева, ленты и спрятала их в шкаф, а мое черное платьице и белую кисейную косынку положила на стул у моей кровати. Проснувшись, я спрятала свои наряды в шкаф, как сделала это она во сне, надела свое черное платьице, косынку, и вот я

готова. И чувствую себя куда храбрее с тех пор, как стала опять сама собой. Послушай лучше мой голос, — все зависит от него.

И она исполнила руладу…

— О господи! Мы погибли! — воскликнул Андзолето. — Голос твой звучит глухо, и глаза совсем красные. Ты, наверно, вчера вечером плакала! Хороша, нечего сказать! Повторяю тебе: мы погибли! Ты просто с ума сошла! Облечься в траур в праздничный день! Это и несчастье приносит и делает тебя гораздо хуже, чем ты есть. Скорей, скорей переодевайся, а я пока сбегаю за румянами. Ты бледна, как мертвец.

Тут загорелся между ними жаркий спор. Андзолето был даже несколько груб. Бедная девушка опять огорчилась и расплакалась. Это еще более вывело из себя Андзолето, и спор был в полном разгаре, когда на часах пробило без четверти два: оставалось ровно столько времени, чтобы, запыхавшись, добежать до церкви. Андзолето разразился проклятиями. Консуэло, бледнее утренней звезды, глядящей в воду лагун, в последний раз посмотрелась в свое разбитое зеркальце и порывисто бросилась в объятия Андзолето.

— Друг мой! — воскликнула она. — Не брани; не проклинай меня! Лучше поцелуй меня покрепче,

чтобы разрумянить мои побелевшие щеки. Пусть твой поцелуй будет жертвенным огнем на устах Исайи; и пусть господь не покарает нас за то, что мы усомнились в его помощи.

Поспешно накинув на голову косынку, она схватила ноты и, увлекая за собой растерявшегося возлюбленного, побежала с ним к церкви Мендиканти. Церковь была уже битком набита поклонниками прекрасной музыки Порпоры. Андзолето ни жив ни мертв направился к графу, который заранее условился встретиться с ним здесь, а Консуэло поднялась на хоры. Хористки уже стояли в боевой готовности, а профессор ждал у пюпитра. Консуэло и не подозревала, что с того места, где сидел граф, прекрасно виден хор и что он, не спуская глаз, следит за каждым ее движением.

Но лица ее он еще не мог разглядеть: придя, она тотчас опустилась на колени и, закрыв лицо руками, начала горячо молиться. «Господи, — шептала она, — ты знаешь, что я прошу возвысить меня, не стремясь при этом унизить моих соперниц. Ты знаешь также, что, посвящая себя миру и светскому искусству, я не хочу забыть тебя, не хочу вести порочной жизни. Тебе известно, что в душе моей нет тщеславия, и я

молю поддержать меня, облагородить звук моего голоса и придать ему проникновенность, когда я буду петь хвалу тебе, лишь ради того, чтобы соединиться с тем, кого мне позволила любить моя мать, чтобы никогда не расставаться с ним, дать ему радость и счастье».

Когда раздались первые аккорды оркестра, призывавшие Консуэло занять свое место, она медленно поднялась с колен, косынка ее сползла на плечи, — тут граф и Андзолето, полные нетерпения и беспокойства, наконец смогли увидеть ее. Но что за чудесное превращение свершилось с этой юной девушкой, еще за минуту перед тем такой бледной, подавленной, усталой, испуганной! Вокруг ее высокого лба, казалось, реяло небесное сияние; нежная истома была разлита по благородному, спокойному и ясному лицу. В ее безмятежном взгляде не видно было жажды успеха. Во всем ее существе чувствовалось что-то серьезное, глубокое, таинственное, что трогало и внушало уважение.

— Мужайся, дочь моя, — шепнул ей профессор, — ты будешь исполнять творение великого композитора в его присутствии; он здесь и будет слушать тебя.

— Кто, Марчелло? — спросила удивленная

Консуэло, видя, что профессор кладет на пюпитр псалмы Марчелло.

— Да, Марчелло. А ты пой, как всегда, не лучше и не хуже, и все будет прекрасно.

В самом деле, Марчелло, который в это время доживал последний год своей жизни, приехал проститься с родной Венецией, которую он трижды прославил — и как композитор, и как писатель, и как государственный деятель. Он выказал много внимания Порпоре, который и попросил именитого гостя прослушать его учениц. Профессор, желая сделать сюрприз маститому композитору, поставил первым номером его великолепный псалом «I cieli immensi narrano», который Консуэло исполняла в совершенстве. Ни одно произведение не могло более гармонировать с религиозным экстазом, которым была полна в эту минуту благородная душа девушки. Как только Консуэло пробежала глазами первую строчку этого широкого, захватывающего песнопения, она перенеслась в другой мир. Позабыв о графе, о злобствующих соперницах, о самом Андзолето, она помнила только о боге и о Марчелло. В композиторе она видела посредника между собою и этими сияющими небесами, славу которых она готовилась воспеть. Мог ли сюжет быть

прекраснее, могла ли быть возвышеннее идея!

I cieli immensi narrano
Del grande Iddio la gloria
II firmamento lucido»
All'universo annunzia,
Quanto sieno mirabili
Delia sua destra le opere
Творца-вседержителя славу;[note 1]

Восхитительный румянец залил ее щеки, священный огонь зажегся в больших черных глазах, и под сводами церкви раздался ее неподражаемый голос, чистый, могучий, величественный, — голос, который мог исходить только от существа, обладающего исключительным умом и большим сердцем. После нескольких тактов сладостные слезы хлынули из глаз Марчелло. Граф, не будучи в силах совладать с волнением, воскликнул:

— Клянусь богом, эта женщина прекрасна! Это святая Цецилия, святая Тереза, святая Консуэло! Это олицетворение поэзии, музыки, веры!

У Андзолето подкашивались ноги, он еле стоял, судорожно сжимая руками решетку возвышения, пока наконец, задыхаясь, близкий к обмороку, не опустился на стул, опьяненный радостью и

---

note notes: Note1

И свод лучезарный вещает По всей беспредельной вселенной О том, как велики и дивны Деянья господней десницы (итал.).

гордостью.

Лишь уважение к святому месту удерживало многочисленных любителей и толпу, наполнявшую церковь, от бурных аплодисментов, уместных в театре. У графа не хватило терпения дождаться конца службы, и он поднялся на хоры, чтобы выразить свой восторг Порпоре и Консуэло. Еще во время богослужения, пока духовенство читало молитвы, Консуэло попросили подняться на возвышение, где сидели граф и Марчелло. Композитор пожелал поблагодарить ее и выразить ей свои чувства. Он был еще так взволнован, что едва мог говорить.

— Дочь моя, — начал он прерывающимся голосом, — прими благодарность и благословение умирающего. Ты в один миг заставила меня забыть целые годы смертельных мук. Когда я слушал тебя, мне казалось, что со мной случилось чудо и непрестанно терзающая меня жестокая боль исчезла навсегда. Если ангелы на небесах поют, как ты, я жажду покинуть землю, чтобы вкусить вечное наслаждение, которое я познал благодаря тебе. Благословляю тебя, дитя мое! Будь счастлива в этом мире, как ты этого заслуживаешь. Я слышал Фаустину, Романину, Куццони, всех самых великих певиц мира; они не стоят

твоего мизинца. Тебе суждено дать людям то, чего они еще никогда не слыхали, тебе суждено заставить их почувствовать то, чего до сих пор не чувствовал еще ни один человек!

Подавленная, словно уничтоженная этой высокой похвалой, Консуэло низко склонилась, как если бы намеревалась встать на колени, и, не будучи в состоянии вымолвить ни слова, только поднесла к губам мертвенно-бледную руку великого старца, но, поднимаясь, она кинула на Андзолето взгляд, который, казалось, говорил ему: «Неблагодарный, и ты не разгадал меня!»

Глава 11

В течение остальной части богослужения Консуэло проявила столько энергии и такие природные данные, что все требования, какие мог бы еще предъявить граф Дзустиньяни, оказались удовлетворенными. Она вела за собой, поддерживала и воодушевляла весь хор и по мере исполнения своих партий обнаружила огромный диапазон голоса и все разнообразие его достоинств, а также неистощимую силу своих легких, или, вернее, совершенство своего искусства: ведь умеющий петь не знает усталости, а петь для Консуэло было так же легко, как для других дышать. Ее чистый, звучный голос выделялся из сотни голосов ее подруг, и ей не надо было для этого кричать, подобно бездарным и безголосым певицам. Вдобавок она чувствовала и понимала до тончайших оттенков мысль композитора. Словом, она одна была и артистом и мастером среди всего этого стада заурядных певиц с вялым темпераментом, хотя и со свежими голосами. Естественно, не кичась этим, она царила, и, пока длилось пение, всем поющим казалось, что иначе

и быть не может. Но когда хор умолк, те самые хористки, которые во время исполнения взглядом умоляли Консуэло о помощи, теперь в глубине души были сердиты на нее за это и все похвалы по адресу школы Порпоры приписывали себе. Все эти похвалы Порпора выслушал молча, улыбаясь, но при этом он смотрел на Консуэло, и Андзолето прекрасно понимал, что говорит его взгляд.

По окончании богослужения граф в одной из приемных монастыря предложил хористкам отличное угощение. Решетка разделяла два больших стола, поставленных в форме полумесяца друг против друга: просвет, рассчитанный на размер огромного пирога, был оставлен посреди решетки для того, чтобы передавать блюда, которые граф сам любезно предлагал старшим монахиням и воспитанницам. Одетые послушницами, последние приходили по двенадцати разом и по очереди усаживались на свободные места в глубине залы. Настоятельница сидела около самой решетки, направо от графа, сидевшего в наружной части залы, а слева от него было свободное место. Дальше сидели Марчелло, Порпора, приходский священник, старшие священники, участвовавшие в церковной службе, несколько аристократов — любителей музыки, светские по-

печители школы, и, наконец, красавец Андзолето в своем парадном черном костюме, при шпаге. Обыкновенно в подобной обстановке молодые певицы бывали очень оживлены: их приводили в приятное и возбужденное состояние вкусные яства, общество мужчин, жажда нравиться или хотя бы быть замеченными, и они весело болтали наперебой. Но на этот раз пиршество проходило невесело и как-то натянуто. Замысел графа перестал быть тайной (разве есть секрет, который каким-либо образом не просочится сквозь щели монастырских стен?), и вот каждая из молодых девушек в глубине души мечтала, что именно ее Порпора предложит графу взамен Кориллы. Сам профессор хитро поддерживал в некоторых из них эту мечту: в одних — чтобы заставить их лучше петь в присутствии Марчелло, в других — чтобы неминуемым разочарованием отомстить им за все то, что он претерпел от них на своих уроках. Так или иначе, приходящая ученица школы Клоринда разрядилась в этот день в пух и прах, собираясь восседать рядом с графом. Каково же было ее бешенство, когда она увидела, что эта нищенка Консуэло в своем черном платьишке, эта дурнушка, отныне признанная лучшей певицей школы, единственной

ее красой, садится с невозмутимым видом за стол между графом и Марчелло! Злоба исказила ее лицо, она стала такой уродливой, какою никогда не была Консуэло и какою стала бы сама Венера под влиянием столь низких и злобных чувств. Андзолето, торжествуя победу, видел, что происходит в душе Клоринды; он подсел к ней и рассыпался в пошлых комплиментах, которые та имела глупость принять за чистую монету. Это вскоре ее утешило: она вообразила, что, завладев вниманием жениха Консуэло, может отомстить ей, и пустила в ход все свои чары. Но она была слишком ограниченна, а Андзолето слишком хитер, и эта неравная борьба неминуемо должна была поставить ее в смешное положение.

Тем временем граф, беседуя с Консуэло, все более и более поражался тем, сколько такта, здравого смысла и обаяния обнаруживает она в разговоре, вдобавок к могучему таланту, проявленному в церкви. При полном отсутствии кокетства в ней было столько искренности, веселости, доброты, доверчивости, что при первом же знакомстве она внушала неотразимую симпатию. После ужина граф пригласил Консуэло прокатиться вместе с ним и его друзьями в гондоле, подышать вечерним воздухом. Марчелло

не мог из-за болезни участвовать в этой прогулке, но Порпора, граф Барбериго и несколько других аристократов с удовольствием приняли предложение графа. Андзолето был также допущен. Консуэло со смущением подумала о том, что ей придется быть одной в таком большом мужском обществе, и тихонько попросила графа пригласить также и Клоринду. Дзустиньяни, не понявший причины ухаживания Андзолето за бедной красавицей, был даже рад, что тот во время прогулки будет больше занят ею, чем своей невестой. Доблестный граф, благодаря своему легкомыслию, красивой наружности, богатству, собственному театру, а также легким нравам своего народа и своего века, был наделен довольно большим самомнением. Возбужденный выпитым греческим вином и музыкой, стремясь отомстить поскорее кованой Корилле, граф не нашел ничего лучшего, как сразу начать ухаживать за Консуэло. Усевшись рядом с ней и устроив так, что другая юная пара очутилась на противоположном конце гондолы, он достаточно выразительно впился взглядом в свою новую жертву. Но простодушная Консуэло ничего не поняла. Ей, такой чистой и честной, даже в голову не могло прийти, чтобы покровитель ее друга

был способен на подобную низость. К тому же при своей обычной скромности, которую не смог поколебать даже блестящий нынешний успех, Консуэло не допускала мысли о желании графа поухаживать за нею. Она упорно продолжала относиться почтительно к знатному вельможе, покровителю ее и Андзолете, и простодушно, по-детски, наслаждалась приятной прогулкой.

Ее спокойствие и доверчивость настолько поразили графа, что он не знал, отнести ли их к веселой непринужденности женщины, не помышляющей о сопротивлении, или к наивной глупости совершенно невинного существа. В Италии девушка в восемнадцать лет весьма просвещена, — я хочу сказать, была просвещена, особливо сто лет тому назад, да еще имея такого друга, как Андзолето. Казалось бы, все благоприятствовало надеждам графа. А между тем всякий раз, когда он брал Консуэло за руку или собирался обнять ее, его удерживало необъяснимое смущение, он ощущал неуверенность, чуть ли не почтительность, в которой не мог дать себе отчета.

Барбериго также находил, что Консуэло чрезвычайно привлекательна своей простотой, и охотно возымел бы на нее такие же виды, как и граф, но

считал неделикатным идти наперекор намерениям своего друга. «По заслугам и честь, — думал он, видя, как блуждают в сладостном упоении взоры графа. — Еще придет и мой черед». Пока же, не имея обыкновения любоваться звездами во время прогулок с женщинами, молодой Барбериго задал себе вопрос, на каком основании этот ничтожный мальчишка Андзолето захватил себе белокурую Клоринду, и, подойдя к ней, дал понять юному тенору, что было бы более уместно, если б вместо ухаживания он взялся за весла. Андзолето, несмотря на свою необыкновенную проницательность, был все-таки недостаточно хорошо воспитан, чтобы понимать с полуслова. К тому же он вообще держал себя с аристократами с заносчивостью, переходящей в наглость. Он ненавидел их всем сердцем, а его уступчивость по отношению к ним была лишь хитростью, за которой скрывалось глубочайшее презрение. Барбериго, поняв, что тенору хочется его позлить, задумал жестоко отомстить ему.

— Поглядите, каким успехом пользуется ваша подруга Консуэло, — громко обратился он к Клоринде. — До чего она дойдет сегодня? Ей недостаточно фурора, который она произвела своим пением во всем городе, ей надо еще свести с ума

своими огненными взорами нашего бедного графа. Если пока он еще и не потерял окончательно головы, то, уж наверно, потеряет, и тогда горе синьоре Корилле.

— О, этого можно не бояться! — лукаво возразила Клоринда. — Консуэло влюблена вот в этого самого Андзолето, она его невеста. Они пылают друг к другу страстью бог знает сколько лет.

— Много лет любви могут быть забыты в одно мгновение, — возразил Барбериго, — особенно когда глаза Дзустиньяни мечут свои смертоносные стрелы. Разве вы этого не находите, прекрасная Клоринда?

Андзолето не в силах был долго выносить такое издевательство. Тысячи змей уж начинали шевелиться в его сердце. До сих пор подобное подозрение не приходило ему в голову: ни о чем не думая, он наслаждался победой своей подруги, и если в течение двух часов он и забавлялся подтруниванием над несчастной жертвой сегодняшнего упоительного дня, то делал это лишь для того, чтобы как-то справиться со своим восторженным состоянием, а отчасти из тщеславия. Перебросившись с Барбериго несколькими шутками, Андзолето сделал вид, что заинтересовался спором о музыке, разгоревшимся в это время

на середине лодки между Порпорой и другими гостями графа, и, постепенно отдаляясь от того места, которое ему уже не хотелось больше оспаривать, он проскользнул, пользуясь темнотою, на нос гондолы. Здесь Андзолето сразу заметил, что его появление пришлось не по вкусу графу: тот ответил холодно и даже сухо на несколько пустых вопросов юноши и посоветовал ему пойти послушать глубокомысленные рассуждения великого Порпоры о контрапункте.

— Великий Порпора не мой учитель, — заметил Андзолето шутливым тоном, пытаясь скрыть закипевшее в нем бешенство, — он учитель Консуэло, и если вашему сиятельству угодно, чтобы моя бедная Консуэло не брала никаких других уроков, как только у своего старого профессора… — ласково и вкрадчиво продолжал юноша, нагибаясь к графу.

— Милейший Дзото, — перебил его граф тоже ласково, но с превеликим лукавством, — мне надо что-то вам сказать на ухо. — И, нагнувшись к нему, проговорил: — Ваша невеста, получив, очевидно, от вас уроки добродетели, неуязвима, но, вздумай я преподать ей уроки другого рода, полагаю, что я имел бы право заняться этим в течение одного вечера…

Андзолето похолодел с головы до ног. — Ваше всемилостивейшее сиятельство, быть может, не откажет выразиться яснее, — задыхаясь, проговорил он.

— Это можно сделать в двух словах, любезный друг: «гондола за гондолу», — отрезал граф.

Андзолето так и замер от ужаса, поняв, что графу известна его прогулка наедине с Кориллой. Шальная и дерзкая женщина похвасталась этим во время своей последней жестокой ссоры с Дзустиньяни. Тщетно виновный пытался принять удивленный вид.

— Ступайте же и послушайте, что говорит Порпора об основах неаполитанской школы! — невозмутимо проговорил граф. — Потом расскажете мне, это очень меня интересует…

— Я это вижу, ваше сиятельство, — ответил взбешенный Андзолето, который в эту минуту способен был погубить все свое будущее.

— Так что ж ты медлишь? — наивно спросила удивленная его нерешительностью Консуэло. — В таком случае пойду я, господин граф. Вы увидите, что я всегда готова служить вам.

И прежде чем граф успел ее остановить, она легко перепрыгнула через скамейку, отделявшую ее от старого учителя, и присела подле него на

корточки.

Граф, видя, что его ухаживание за Консуэло мало подвинулось, нашел нужным притвориться.

— Андзолето, — улыбаясь, сказал он, дергая довольно сильно своего питомца за ухо, — вот вся моя месть, дальше этого она не пойдет. Сознайтесь, она далеко не соответствует вашему проступку. Можно ли сравнить удовольствие, полученное мною от невинного разговора с вашей возлюбленной на глазах у десяти присутствующих, с тем, чем вы насладились наедине с моей любовницей в ее наглухо закрытой гондоле?

— Ваше сиятельство, — в сильном волнении вскричал Андзолето, — уверяю вас честью…

— Где она, ваша честь? Не в левом ли ухе? — спросил граф, делая вид, что собирается проделать над этим злополучным ухом то, что уже проделал над правым.

— Неужели вы, ваше сиятельство, предполагаете так мало благоразумия в своем питомце, что считаете его способным сделать такую глупость? — развязно спросил Андзолето, к которому успела вернуться его обычная находчивость.

— Сделал он ее или не сделал, в данную минуту мне это глубоко безразлично, — сухо ответил граф, поднялся и, подойдя к Консуэло, сел подле

нее.

Глава 12

Споры о музыке продолжались и во дворце Дзустиньяни, куда вся компания вернулась к полуночи и где гостям был предложен шоколад и шербеты. От техники искусства перешли к стилю, к идеям, к старинным и современным музыкальным формам, наконец коснулись экспрессии и тут, естественно, заговорили об артистах и о различной манере чувствовать и выражать музыку. Порпора с восторгом вспоминал своего учителя Скарлатти, впервые придавшего духовной музыке патетический характер. Но дальше этого профессор не шел: он был против того, чтобы духовная музыка вторгалась в область музыки светской и разрешала себе ее украшения, пассажи и рулады.

— Значит ли это, что вы отвергаете трудные пассажи и фиоритуры, которые, однако, создали успех и известность вашему знаменитому ученику Фаринелли? — спросил его Андзолето.

— Я отвергаю их в церкви, — ответил маэстро, — а в театре приветствую их. Но и здесь я хочу, чтобы они были на месте и, главное

— чтобы ими не злоупотребляли; я требую соблюдения строгого вкуса, оригинальности, изящества, требую, чтобы модуляции соответствовали не только данному сюжету, но и изображаемому лицу, выражаемым им чувствам и самому положению этого лица. Пусть нимфы и пастушки щебечут, как пташки, и своими голосами подражают журчанью фонтанов и ручейков, но Медея или Дидона может только рыдать или рычать, как раненая львица. Кокетка, например, может перегружать капризными и изысканными фиоритурами свои легкомысленные каватины. Корилла превосходна в этом жанре, но попробуй она выразить глубокие чувства и бурные страсти, ей это совсем не удастся. И напрасно будет она волноваться, напрягать свой голос и легкие: неуместный пассаж, нелепая рулада в один миг превратят в смешную пародию то великое, к чему она стремилась. Вы все слышали Фаустину Бордони, ныне синьору Гассе. Так вот, она в некоторых ролях, соответствующих ее блестящим данным, не имела себе равных. Но явилась Куццони, передававшая с присущей ей чистой, глубокой проникновенностью скорбь, мольбу, нежность, — и слезы, которые она вызывала у вас, мгновенно изгоняли из вашего сердца воспоми-

нание о всех чудесах, которые расточала вашему слуху Фаустина. И это потому, что существует талант, так сказать, материальный, и существует гений души. Есть то, что забавляет, и то, что трогает… Есть то, что удивляет, и то, что восхищает… Я прекрасно знаю, что вокальные фокусы теперь в моде; но если я и показывал их своим ученикам как полезные аксессуары, то почти готов в этом раскаяться, слыша, как большинство моих учеников ими злоупотребляет, жертвуя необходимым ради излишнего и длительным умилением публики ради мимолетных криков удивления и диких восторгов. Никто не оспаривал этого мнения, безусловно правильного по отношению ко всем видам искусства вообще; возвышенные артистические натуры всегда будут держаться его. Между тем граф, сгорая желанием узнать, как исполняет Консуэло светскую музыку, стал для виду противоречить слишком суровым взглядам Порпоры. Но видя, что скромная ученица не только не опровергает этой ереси, а наоборот, не сводит глаз со своего учителя, как бы побуждая его выйти победителем из этого спора, граф решил обратиться прямо к ней самой с вопросом, сможет ли она, по ее мнению, петь на сцене с тем же умением и чистотой, как пела в церкви.

— Сомневаюсь, — ответила она откровенно, с искренним смирением, — чтобы я могла так же вдохновляться на сцене; боюсь, что там я много потеряю.

— Этот скромный и умный ответ успокаивает меня, — сказал граф, — я уверен в том, что публика, страстная, увлекающаяся, правда, немного капризная, вдохновит вас и вы снизойдете изучить те вокальные, полные блеска трудности, которых публика с каждым днем жаждет все больше и больше. — Изучить! — с ударением проговорил Порпора, саркастически улыбаясь. — Изучить! — воскликнул Андзолето с гордым презрением.

— Да, да, конечно изучить, — согласилась с обычной своей кротостью Консуэло. — Хоть я немного и упражнялась в этом жанре, но не думаю, чтобы уже была в состоянии соперничать со знаменитыми певицами, выступавшими на нашей сцене…

— Ты лжешь! — с горячностью вскричал Андзолето. — Ваше сиятельство, она лжет. Заставьте ее спеть самые трудные колоратурные арии вашего репертуара, и вы увидите, на что она способна!

— Если б только я не боялся, что она устала… — нерешительно проговорил граф, а глаза его

уже зажглись нетерпением и ожиданием.

Консуэло по-детски вопросительно взглянула на Порпору, как бы ожидая его приказаний.

— Ну что ж, — сказал профессор, — она не так легко устает, и раз здесь собрался столь тесный и приятный кружок, давайте проэкзаменуем ее по всем статьям. Не угодно ли вам, глубокоуважаемый граф, выбрать арию и самому проаккомпанировать ей на клавесине?

— Ее пение и близость так взволнуют меня, что я, пожалуй, буду ошибаться и фальшивить, — ответил Дзустиньяни. — Почему, маэстро, вы сами не хотите аккомпанировать ей?

— Мне хотелось бы видеть ее поющей. Сказать по правде, слушая ее, я ни разу не подумал взглянуть на нее во время пения. А мне надо знать, как она себя держит, что проделывает со своим ртом и глазами. Иди же, дочь моя, этот экзамен необходим и для твоего учителя.

— В таком случае я буду ей аккомпанировать, — заявил Андзолето, усаживаясь за клавесин.

— Вы меня будете слишком смущать, маэстро, — обратилась Консуэло к Порпоре.

— Смущение — признак глупости, — ответил учитель, — тот, кто истинно любит искусство, ничего не боится. Если ты трусишь, значит, ты

тщеславна. Если будешь не на высоте, значит, способности твои дутые, и я первый заявлю: «Консуэло никуда не годится!»

И, нисколько не заботясь о том, как губительно может подействовать столь нежное подбадривание, профессор надел очки, уселся против своей ученицы и стал отбивать такт, чтобы дать правильный темп ритурнели. Выбор пал на трудную, причудливую, блестящую арию из комической оперы Галуппи «Diavolessa» : граф хотел сразу перейти на жанр, диаметрально противоположный тому, в котором Консуэло произвела такой фурор в это утро. Благодаря своему огромному дарованию девушка, почти не упражняясь, самостоятельно добилась умения проделывать своим гибким и могучим голосом все известные в то время вокальные фокусы. Правда, Порпора советовал ей делать эти упражнения и изредка заставлял повторять их, желая убедиться, что она не совсем их забросила, но, в общем, уделял этому жанру так мало внимания, что даже не подозревал, насколько сильна в нем его удивительная ученица. Чтобы отомстить учителю за проявленную им жестокость, Консуэло придумала шутки ради уснастить причудливую арию из «Diavolessa» фиоритурами и пассажами, считавшимися до тех

пор невыполнимыми. Она импровизировала их так просто, как будто они были вписаны в ноты и старательно разучены. В ее импровизациях было столько искусных модуляций, силы, чего-то поистине дьявольского, среди самого буйного веселья в них прорывались такие мрачные созвучия, что восхищенных слушателей охватил ужас, а Порпора, вскочив с места, вскричал:

— Да ты сама воплощенный дьявол!

Консуэло закончила арию сильным крещендо, вызвавшим неистовый восторг, и со смехом опустилась на стул.

— Ах ты скверная девчонка! — воскликнул Порпора. — Тебя мало повесить! Ну и подшутила же ты надо мной! Утаила от меня половину своих знаний, половину возможностей! Давно мне нечему было тебя учить, а ты лицемерно продолжала брать у меня уроки, — быть может, для того, чтобы похитить у меня все тайны композиции и преподавания, превзойти меня во всем, а потом выставить меня старым педантом.

— Маэстро, я только повторила то, что вы проделали с императором Карлом. Помните, вы мне рассказывали об этом эпизоде? Император не выносил трелей и запретил вам вводить их в вашу ораторию, и вот вы, воздержавшись от них

до конца, в последней фуге приготовили императору хорошенький дивертисмент: вы начали фугу четырьмя восходящими трелями, а потом повторяли их до бесконечности в ускоренном темпе всеми голосами. Вы сами только что осуждали злоупотребление вокальными фокусами, а потом велели мне исполнять их. Вот почему я и преподнесла их вам в таком количестве — хотела доказать, что я тоже способна злоупотреблять таким пороком, и теперь прошу простить меня.

— Я уже сказал тебе, что ты сущий дьявол, — ответил Порпора. — А теперь спой-ка нам что-нибудь человеческое. И пой, как сама знаешь, — я вижу, что больше не в состоянии быть твоим учителем.

— Вы всегда будете моим уважаемым и любимым учителем! — воскликнула девушка, порывисто бросаясь ему на шею и с силой сжимая в своих объятиях. — Целых десять лет вы кормили и учили меня. О, дорогой учитель! Говорят, вам знакома людская неблагодарность, пусть же бог отнимет у меня любовь, пусть отнимет голос, если в сердце моем найдется хоть одна ядовитая капля гордости и неблагодарности.

Порпора побледнел, пробормотал несколько слов и отечески поцеловал свою ученицу в лоб,

уронив на него слезу. Консуэло не решилась стереть ее и долго чувствовала, как на ее лбу высыхала эта холодная, мучительная слеза заброшенной старости, непризнанного гения. Слеза эта произвела на нее глубокое впечатление, наполнила душу каким-то мистическим ужасом, убив в ней на весь остаток вечера оживление и веселость. После целого часа восторженных похвал, возгласов изумления и бесплодных усилий рассеять ее грусть все стали просить ее показать себя в драматической роли. Она исполнила большую арию из оперы «Покинутая Дидона» Йомелли. Никогда до сих пор не чувствовала она такой потребности излить свою тоску. Она была великолепна, проста, величественна и еще красивее, чем в церкви: лихорадочный румянец залил ей щеки, глаза метали искры. Исчезла святая, на ее месте была женщина, пожираемая любовью. Граф, его друг Барбериго, Андзолето, все присутствующие, кажется, даже старик Порпора совсем обезумели. Клоринда задыхалась от отчаяния. Граф объявил Консуэло, что завтра же будет составлен и подписан ее ангажемент, и она попросила его обещать ей еще одну милость, причем обещать это так, как некогда делали рыцари — не спрашивая, в чем эта милость будет

заключаться. Граф дал ей слово, и все разошлись, испытывая то восхитительное волнение, какое вызывает в нас все великое и гениальное.

Глава 13

В то время как Консуэло одерживала одну победу за другой, Андзолето жил только ею, совершенно забыв о себе; но когда граф, прощаясь с гостями, объявил об ангажементе его невесты, не сказав ни слова о его собственном, он вспомнил, как холоден был с ним Дзустиньяни все последние часы, и страх потерять навсегда его расположение отравил всю радость юноши. У него мелькнула мысль оставить Консуэло на лестнице в обществе Порпоры, а самому вернуться к своему покровителю и броситься к его ногам, но так как он в эту минуту ненавидел графа, то, к чести его будь сказано, все-таки удержался от такого унижения. Когда же, попрощавшись с Порпорой, он собрался было пойти с Консуэло вдоль канала, его остановил гондольер графа и сказал, что по приказанию его сиятельства гондола ожидает синьору Консуэло, чтобы отвезти ее домой. Холодный пот выступил на лбу Андзолето.

— Синьора привыкла ходить на собственных ногах, — грубо отрезал он. Она очень благодарна графу за его любезность.

— А по какому праву вы отказываетесь за нее? — спросил граф, который шел за ними следом.

Оглянувшись, Андзолето увидел Дзустиньяни; граф был не в том виде, в каком обыкновенно хозяева провожают своих гостей, а в плаще, при шпаге, со шляпой в руке, как человек, приготовившийся к ночным похождениям. Андзолето пришел в такую ярость, что готов был вонзить в грудь Дзустиньяни тот остро отточенный нож, который всякий венецианец из народа всегда прячет в каком-нибудь потайном кармане своей одежды.

— Надеюсь, синьора, — обратился граф к Консуэло решительным тоном,

— вы не захотите обидеть меня, отказавшись от моей гондолы, а также не пожелаете огорчить меня, не позволив мне усадить вас в нее.

Доверчивая Консуэло, совершенно не подозревая того, что происходило вокруг нее, согласилась на предложение, поблагодарила и, опершись своим красивым округлым локтем на руку графа, без церемоний прыгнула в гондолу. Тут между графом и Андзолето произошел безмолвный, но выразительный диалог. Граф, стоя одной ногой на берегу, а другой в лодке, смерил взглядом

Андзолето, а тот, застыв на последней ступеньке лестницы, тоже впился взором в Дзустиньяни. Разъяренный, он держал руку на груди под курткой, сжимая рукоятку ножа. Еще один шаг к гондоле — и граф встретил бы смерть. Чисто венецианской чертой в этой мгновенной молчаливой сцене было то, что оба соперника не спеша наблюдали друг за другом и ни тот, ни другой не стремился ускорить неминуемую катастрофу. Граф, в сущности, лишь намеревался своей кажущейся нерешительностью помучить соперника, и помучил его всласть, хотя видел и отлично понял жест Андзолето, приготовившегося заколоть его. У Андзолето тоже хватило выдержки ждать, не выдавая себя, пока граф соблаговолит кончить свою дикую шутку или простится с жизнью. Длилось это минуты две, показавшиеся ему вечностью. Граф, выдержав их со стоическим презрением, почтительно поклонился Консуэло и, повернувшись к своему питомцу, сказал:

— Я позволяю вам также войти в мою гондолу, впредь будете знать, как должен вести себя воспитанный человек.

Он посторонился, чтобы пропустить Андзолето, и, приказав гондольерам грести к Корте-Минелли, остался на берегу, неподвижный, как статуя.

Казалось, он спокойно ждал нового покушения на свою жизнь со стороны униженного соперника.

— Откуда графу известно, где ты живешь? — было первое, что спросил Андзолето у своей подруги, как только дворец Дзустиньяни скрылся из вида.

— Я сама сказала ему, — ответила Консуэло.

— А зачем ты сказала?

— Затем, что он у меня спросил.

— Неужели ты не догадываешься, для чего ему понадобилось это знать?

— По-видимому, для того, чтобы приказать отвезти меня домой.

— Ты думаешь, только для этого? А не для того ли, чтобы самому явиться к тебе?

— Явиться ко мне? Какой вздор! В такую жалкую лачугу? Это было бы с его стороны чрезмерной любезностью, которой я совсем не хочу.

— Хорошо, что ты этого не хочешь, Консуэло, так как результатом этой чрезмерной чести мог бы быть чрезмерный для тебя позор.

— Позор? Почему? Право, я совершенно тебя не понимаю, мой милый Андзолето. И меня очень удивляет, почему, вместо того чтобы радоваться со мной нашему сегодняшнему неожиданному и невероятному успеху, ты говоришь мне какие-то странные вещи.

— Действительно неожиданному! — с горечью заметил Андзолето.

— А мне казалось, что и в церкви и вечером во дворце, когда мне аплодировали, ты был упоен счастьем еще больше моего. Ты кидал на меня такие пламенные взгляды, что я с особенной силой ощущала свое счастье, видя его как бы отраженным на твоем лице. Но вот уже несколько минут, как ты мрачен и сам не свой, — таким ты бываешь иногда, когда у нас нет хлеба или когда будущее рисуется нам с тобой неверным и печальным.

— А тебе хотелось бы, чтобы я радовался нашему будущему? Быть может, оно действительно не так уж неверно, но мне-то радоваться нечему.

— Чего же еще тебе нужно? Неделю тому назад ты дебютировал у графа и произвел фурор…

— Твой успех у графа затмил его, моя дорогая, ты и сама это отлично знаешь.

— Надеюсь, что нет, но если бы даже и так, мы не можем завидовать друг другу.

Консуэло сказала это с такой нежностью, с такой подкупающей искренностью, что Андзолето сразу успокоился.

— Да, ты права! — воскликнул он, прижимая невесту к груди. — Мы не можем завидовать друг

другу, так же как не можем обмануть друг друга.

Произнося последние слова, он с угрызением совести вспомнил о начатой интрижке с Кориллой, и вдруг у него мелькнула мысль, что граф, желая окончательно проучить его, непременно расскажет обо всем Консуэло, как только ему покажется, что она хоть немного поощряет его надежды. При этой мысли он снова помрачнел, Консуэло тоже задумалась.

— Почему ты сказал, — проговорила она после некоторого молчания, — что мы не можем никогда обмануть друг друга? Конечно, это величайшая правда, но по какому поводу это тебе пришло в голову?

— Знаешь, прекратим этот разговор в гондоле, — прошептал Андзолето. — Боюсь, что гондольеры, подслушав нас, передадут все графу. Эти занавески из бархата и шелка очень тонки, а уши у дворцовых гондольеров раза в четыре шире и глубже, чем у наемных.

— Позволь мне подняться к тебе в комнату, — попросил он Консуэло, когда они пристали к берегу у Корте-Минелли.

— ТЫ знаешь, что это против наших привычек и против нашего уговора, отвечала она.

— О, не отказывай мне, — вскричал Андзоле-

то, — не приводи меня в отчаяние и бешенство!

Испуганная его словами и тоном, Консуэло не решилась отказать ему. Она зажгла лампу, опустила занавески и, увидав своего жениха мрачным и задумчивым, обняла его.

— Скажи, что с тобой? — грустно спросила она. — У тебя такой несчастный, встревоженный вид сегодня вечером.

— А ты сама не знаешь, Консуэло? Не догадываешься?

— Нет, даю тебе слово!

— Так поклянись мне, что ты ничего не подозреваешь, поклянись мне душой твоей матери, поклянись распятием, перед которым ты молишься утром и вечером…

— О! Клянусь тебе распятием и душой моей матери!

— А нашей любовью поклянешься?

— Да, и нашей любовью, и нашим вечным спасением…

— Я верю тебе, Консуэло: ведь если бы ты солгала, это была бы первая ложь в твоей жизни.

— Ну, а теперь ты объяснишь мне, в чем дело?

— Я ничего тебе не объясню, но, быть может, очень скоро ты поймешь меня… О! Когда наступит эта минута, тебе и так все будет слишком

ясно… Горе, горе будет нам обоим в тот день, когда ты узнаешь о моих теперешних муках!

— О боже! Какое же ужасное несчастье грозит нам? Боюсь, что в эту убогую комнату, где у нас с тобой не было до сих пор секретов друг от друга, мы вернулись преследуемые каким-то злым роком. Недаром, уходя отсюда сегодня утром, я чувствовала, что возвращусь в отчаянии. Почему не могу я насладиться днем, который казался мне таким прекрасным! Я ли не молила бога так искренне, так горячо! Я ли не отбросила всякие мысли о гордости! Я ли не старалась петь, как только могла лучше! Не я ли огорчалась унижением Клоринды! Не я ли заручилась обещанием графа пригласить ее вместе с нами на вторые роли, причем он сам не подозревает, что дал мне это обещание и уже не может взять назад свое слово. Повторяю: что же сделала я дурного, чтобы переносить те муки, какие ты мне предсказываешь и какие я уже испытываю, раз их испытываешь ты?

— Ты в самом деле хочешь устроить ангажемент для Клоринды, Консуэло? — Я добьюсь этого, если только граф — человек слова. Бедняжка всегда мечтала о театре, и это единственная возможная для нее будущность…

— И ты надеешься, что граф откажет Розальбе, которая кое-что знает, ради ничего не знающей Клоринды?

— Розальба не расстанется с Кориллой, ведь они сестры. Она уйдет с ней. Клориндой же мы с тобой займемся и научим ее использовать наилучшим образом свой милый голосок. А публика всегда будет снисходительна к такой красавице. Наконец, если мне удастся устроить ее хотя бы на третьи роли, уже и то хорошо — это будет первым шагом в ее карьере, началом ее самостоятельного существования.

— Ты просто святая, Консуэло! И ты не понимаешь, что эта облагодетельствованная тобой дура, в сущности годная даже не на третьи, а едва-едва на четвертые роли, никогда не простит тебе того, что сама ты на первых ролях?

— Что мне до ее неблагодарности! Увы! Я слишком хорошо знаю, что такое неблагодарность и неблагодарные!

— Ты? — И Андзолето расхохотался, целуя ее с прежней братской нежностью.

— Конечно, — ответила она, радуясь, что ей удалось отвлечь своего друга от грустных дум. — В моей душе постоянно жил и всегда будет жить благородный образ Порпоры. В моем присут-

ствии он часто высказывал глубокие, полные горечи мысли. Должно быть, он считал, что я не в состоянии понять их, но они запали мне в душу и останутся в ней навсегда. Этот человек много страдал, горе гложет его, и вот из его печальной жизни, из вырвавшихся у него слов, полных негодования, я сделала вывод, что артисты гораздо опаснее и злее, чем ты, дорогой мой, предполагаешь. Я знаю также, что публика легкомысленна, забывчива, жестока, несправедлива. Знаю, что блестящая карьера — тяжкий крест, а слава — терновый венец! Да, все это для меня не тайна. Я так много думала, так много размышляла об этих вещах, что, мне кажется, ничто уже не сможет удивить меня, и когда-нибудь, сама столкнувшись со всем этим, я найду в себе силы не унывать. Вот почему, как ты мог заметить, я не была опьянена своим сегодняшним успехом, вот почему также я не падаю духом от твоих мрачных мыслей. Я еще не понимаю их хорошенько, но уверена, что с тобой, если ты будешь любить меня, я не стану человеконенавистницей, подобно моему бедному учителю, этому благородному старику и несчастному ребенку.

Слушая свою подругу, Андзолето снова приободрился и повеселел. Консуэло имела на него

огромное влияние. С каждым днем он обнаруживал в ней все больше твердости и прямоты — качества, которых так не хватало ему самому. Поговорив с ней с четверть часа, он совершенно забыл о муках ревности, и когда она снова начала расспрашивать о причине его подавленного состояния, ему стало стыдно, что он мог заподозрить такое чистое, целомудренное существо. Он тут же придумал объяснение:

— Я одного боюсь: чтобы граф не нашел меня неподходящим для тебя партнером, — он так высоко ценит тебя. Сегодня он не заставил меня петь, а я, по правде сказать, ожидал, что он предложит нам с тобой исполнить дуэт. Но, по-видимому, он совсем забыл о моем существовании; даже не заметил того, что, аккомпанируя тебе, я совсем недурно с этим справился. Наконец, говоря о твоем ангажементе, он не заикнулся о моем. Как не обратила ты внимания на такую странность?

— Мне и в голову не пришло, что граф, приглашая меня, может не пригласить тебя. Да разве он не знает, что я соглашусь только при этом условии? Разве он не знает, что мы жених и невеста, что мы любим друг друга? Разве ты не говорил ему об этом совершенно определенно?

— Говорил, но, быть может, Консуэло, он считает это хвастовством с моей стороны?

— В таком случае я сама похвастаюсь моей любовью к тебе, Андзолето!

Уж я так ее распишу, что он мне поверит! Но только ты ошибаешься, друг мой! Если граф не счел нужным заговорить с тобой об ангажементе, то только потому, что это дело решенное с того самого дня, когда ты выступал у него с таким успехом.

— Решенное, во не подписанное! А твой ангажемент будет подписан завтра. Он сам сказал тебе об этом.

— Неужели ты думаешь, что я подпишу первая? Уж конечно, нет! Хорошо, что ты меня предостерег. Мое имя будет написано не иначе, как под твоим. — Ты клянешься?

— Как тебе не стыдно! Заставлять меня клясться в том, в чем ты уверен! Право, ты меня сегодня не любишь или хочешь помучить; у тебя такой вид, словно ты не веришь, что я тебя люблю.

Тут на глазах у девушки навернулись слезы, и она опустилась на стул, слегка надувшись, что придало ей еще больше очарования.

«В самом деле, какой я дурак, — подумал Андзолето, — совсем с ума спятил. Как я мог допустить

мысль, что граф соблазнит такое чистое, беззаветно любящее меня существо! Он достаточно опытен и, конечно, понял с первого взгляда, что Консуэло не для него. И разве он проявил бы такое великодушие сегодня вечером, позволив мне войти в гондолу вместо себя, если бы не был уверен, что окажется перед ней в жалкой и смешной роли фата? Нет! Конечно, нет! Моя судьба обеспечена, мое положение непоколебимо. Пусть Консуэло ему нравится, пусть он ухаживает за ней, пусть даже влюбится в нее, — все это будет только способствовать моей карьере: она сумеет добиться от него всего, ничему не подвергая себя. Во всем этом она скоро разберется лучше меня. Она сильна и осторожна. Домогательства милейшего графа лишь послужат мне на пользу, дадут мне славу».

И, отрешившись от всех своих сомнений, он бросился к ногам подруги и отдался порыву страсти, охватившей его впервые и не проявлявшейся до этой минуты лишь из-за ревности.

— Красавица моя! — воскликнул он. — Святая! Дьяволица! Королева! Прости, что я думал о себе, вместо того чтобы, оказавшись с тобой наедине в этой комнате, поклоняться тебе, распростершись у твоих ног. Сегодня утром я вышел отсюда, ссо-

рясь с тобой, к должен был вернуться не иначе, как на коленях, да, да, ползком, на коленях… Как можешь ты меня любить, как можешь еще улыбаться такой скотине, как я? Сломай свой веер о мою физиономию, Консуэло! Наступи мне на голову своей хорошенькой ножкой! Ты неизмеримо выше меня, и с сегодняшнего дня я навеки твой раб!

— Я не заслуживаю всех этих громких слов, — прошептала она, отдаваясь его ласкам. — А растерянность твою я понимаю и прощаю. Я вижу, что только страх разлуки со мной, страх, что нашей единой, общей жизни будет положен конец, внушил тебе эту печаль и сомнения. У тебя не хватило веры в бога, — и это гораздо хуже, чем если бы ты обвинил меня в какой-нибудь низости. Но я буду молиться за тебя, я скажу: «Господи, прости ему, как я ему прощаю!»

Консуэло была очень хороша в эту минуту, — она говорила о своей любви так просто и так естественно, примешивая к ней, по своему обыкновению, испанскую набожность, полную человеческой нежности и наивной стыдливости. Усталость и волнения пережитого дня разлили в ней такую соблазнительную негу, что Андзолето, и без того уже возбужденный ее необычайным

успехом, увидел девушку в совершенно новом свете и вместо обычной спокойной и братской любви почувствовал к ней прилив жгучей страсти. Он был из тех, кто восхищается только тем, что нравится другим, чему завидуют и что оспаривают другие. Радость сознания, что он обладает предметом стольких вожделений, разгоревшихся и бушевавших вокруг Консуэло, пробудила в нем безумные желания, и впервые она была в опасности, находясь в его объятиях.

— Будь моей возлюбленной! Будь моей женой! — задыхаясь, восклицал он.

— Будь моей, моей навсегда!

— Когда хочешь, хоть завтра, — с ангельской улыбкой ответила Консуэло.

— Завтра? Почему завтра?

— Ты прав, теперь уже за полночь, — значит, мы можем обвенчаться еще сегодня. Как только рассветет, мы отправимся к священнику. Родителей у нас нет, ни у меня, ни у тебя, а венчальный обряд не потребует долгих приготовлений. У меня есть ситцевое ненадеванное платье. Знаешь, друг мой, когда я его шила, я говорила себе: «У меня нет денег на подвенечное платье, и если моему милому не сегодня-завтра захочется со мной обвенчаться, мне придется быть в надеван-

ном платье, а это, говорят, приносит несчастье». Недаром матушка, которую я видела во сне, взяла его и спрятала в шкаф: она, бедная, знала, что делает. Итак, все готово: с восходом солнца мы с тобой поклянемся друг другу в верности. А тебе, негодный, нужно было сперва убедиться в том, что я не урод?

— Ах, Консуэло, какой ты еще ребенок! Настоящий ребенок! — с тоской воскликнул Андзолето. — Разве можно так вдруг обвенчаться, тайно от всех! Граф и Порпора, покровительство которых нам так еще необходимо, очень рассердились бы на нас, решись мы на такой шаг, не посоветовавшись с ними и даже не известив их. Твой старый учитель не особенно-то долюбливает меня, а граф, я это знаю из верных источников, не любит замужних певиц. Следовательно, нам нужно время, чтобы добиться их согласия на наш брак. А если мы даже и решимся обвенчаться тайно, то нам понадобится по крайней мере несколько дней, чтобы втихомолку устроить все это. Не можем же мы побежать в церковь Сан-Самуэле, где все нас знают и где достаточно будет присутствия одной старушонки, чтобы весть об этом в какой-нибудь час разнеслась по всему приходу.

— Я как-то не подумала об этом, — сказала Консуэло. — Так о чем же ты мне только что говорил? Зачем ты, недобрый, сказал мне: «Будь моей женой», если знал, что пока это невозможно? Ведь не я первая заговорила об этом, Андзолето. Правда, я часто думала, что мы уже в том возрасте, когда можно жениться, но, хотя мне никогда не приходили в голову те препятствия, о которых ты говоришь, я предоставляла решение этого вопроса тебе, твоему благоразумию, и еще — знаешь чему? — твоей доброй воле. Я ведь прекрасно видела, что ты со свадьбой не торопишься, но не сердилась на тебя за это. Ты часто мне повторял, что, прежде чем жениться, надо обеспечить будущность своей семье, надо иметь средства. Моя мать была того же мнения, и я нахожу это благоразумным. Итак, приняв все это во внимание, надо еще подождать со свадьбой. Надо, чтобы оба наши ангажемента были подписаны, не так ли? Надо также заручиться еще успехом у публики. Значит, о свадьбе мы поговорим снова после наших дебютов. Но отчего ты так побледнел, Андзолето? Боже мой, отчего ты так сжимаешь кулаки? Разве мы не счастливы? Разве мы непременно должны быть связаны клятвой, чтобы любить и надеяться друг на друга?

— О Консуэло! Как ты спокойна! Как ты чиста и как холодна! — с каким-то бешенством вскричал Андзолето.

— Я? Я холодна? — в свою очередь вскричала, недоумевая, юная испанка, вся красная от негодования.

— Я люблю тебя как женщину, а ты слушаешь и отвечаешь мне, точно малое дитя. Ты знаешь только дружбу, ты не имеешь даже понятия о любви. Я страдаю, пылаю, я умираю у твоих ног, а ты мне говоришь о каком-то священнике, о каком-то платье, о театре…

Консуэло, стремительно вскочившая было с места, теперь опять села, смущенная, дрожа всем телом. Она долго молчала, а когда Андзолето снова захотел обнять ее, тихонько оттолкнула его.

— Послушай, — сказала она, — нам необходимо объясниться, узнать друг друга. Ты, видно, и в самом деле считаешь меня ребенком. Было бы жеманством с моей стороны уверять тебя, будто я не понимаю того, что прекрасно теперь поняла. Недаром я со всякого рода людьми исколесила три четверти Европы, недаром насмотрелась на распущенные, дикие нравы бродячих артистов, недаром — увы! — догадывалась о плохо скрываемых тайнах моей матери, чтобы не знать того,

что, впрочем, всякая девушка из народа моих лет прекрасно знает. Но я не могла допустить, Андзолето, чтобы ты хотел принудить меня нарушить клятву, данную мною богу в присутствии моей умирающей матери. Я не особенно дорожу тем, что аристократки, — до меня подчас долетают их разговоры, — называют репутацией. Я слишком незаметное в мире существо, чтобы обращать внимание на то, что думают о моей чести, — для меня честь состоит в том, чтобы выполнять свои обещания, и, по-моему, к тому же самому обязывает тебя и твоя честь. Быть может, я не настолько хорошая католичка, как мне хотелось бы, — меня ведь так мало учили религии. Конечно, у меня не может быть таких прекрасных правил поведения, таких высоких понятий о нравственности, как у учениц школы, растущих в монастыре и слушающих богословские поучения с утра до ночи. Но у меня есть свои взгляды, и я придерживаюсь их, как умею. Я не думаю, чтобы наша любовь, становясь с годами все более пылкой, должна была стать от этого менее чистой. Я не скуплюсь на поцелуи, которые дарю тебе, но я знаю, что мы не ослушались моей матери, и не хочу ослушаться ее только для того, чтобы удовлетворить нетерпеливые порывы,

которые легко можно обуздать.

— Легко! — воскликнул Андзолето, горячо прижимая ее к груди. — Легко!

Я так и знал, что ты холодна!

— Пусть я буду холодна! — вырываясь из его объятий, воскликнула Консуэло. — Но господь, читающий в моем сердце, знает, как я тебя люблю.

— Так иди же к нему! — крикнул Андзолето с досадой. — Со мной тебе небезопасно. И я убегаю, чтобы не стать нечестивцем.

Он бросился к двери, рассчитывая на то, что Консуэло, которая никогда не отпускала его без примирения, если между ними возникала даже самая пустячная ссора, удержит его и на этот раз. Она действительно стремительно кинулась было за ним, но потом остановилась; видя, что он вышел, она подбежала к двери, схватилась уже за ручку, чтобы отворить ее и позвать его обратно, но вдруг, сделав над собой невероятное усилие, заперла дверь и, обессиленная жестокой внутренней борьбой, без чувств свалилась на пол. Так, недвижимо, и пролежала она до утра.

Глава 14

— Признаюсь тебе, я влюблен в нее безумно, — говорил в эту самую ночь граф Дзустиньяни своему другу Барбериго, сидя с ним на балконе своего дворца.

Было тихо, темно, только что пробило два часа.

— Этим ты даешь понять, что я не должен в нее влюбляться, — отозвался юный и блестящий Барбериго. — Я подчиняюсь, так как за тобой право первенства. Но если Корилле удастся снова захватить тебя в свои сети, ты уж, пожалуйста, предупреди меня, тогда и я попытаю счастья…

— И не мечтай об этом, если ты меня любишь! Корилла всегда была для меня только забавой. Однако я вижу по твоему лицу, что ты смеешься надо мной.

— Нет, но нахожу, что забава эта носит весьма серьезный характер, раз она заставляет тебя бросать столько денег и творить столько безумств. — Предположим, что я вообще отношусь к своим забавам с таким жаром, что готов на все, лишь бы их продлить. Но на этот раз мне кажется, что это

больше, чем увлечение, — это настоящая страсть. Я никогда в жизни не встречал существа более своеобразно красивого, чем Консуэло. Ее можно сравнить со светильником, который по временам начинает угасать, но в ту минуту, когда он, кажется, совсем уже готов потухнуть, вдруг вспыхивает таким ярким пламенем, что сами светила, выражаясь языком поэтов, бледнеют перед ним.

— Ах! — проговорил, вздыхая, Барбериго. — Это черное платье, беленькая косыночка, этот полунищенский, полумонашеский наряд, это бледное спокойное лицо, такое незаметное на первый взгляд, эта естественная манера держаться, без всякого кокетства, — как эта девушка меняется, как одухотворяется, когда, вдохновленная своим гением, начинает петь! Какой ты счастливец, Дзустиньяни, что в твоих руках судьба этой нарождающейся славы!

— Как мало верю я в то счастье, которому ты завидуешь! Наоборот, я боюсь, что в ней нет ни одной из тех хорошо знакомых мне женских страстей, на которых так легко играть. Поверишь ли, друг, эта девочка так и осталась для меня загадкой, несмотря на то, что я целый день следил за ней и изучал ее. Мне кажется, судя по ее спокойствию и моей неловкости, что я совсем

потерял голову.

— Да, по-видимому, ты влюблен в нее более, чем следует, раз ты положительно ослеп. Меня же надежда еще не ослепила, и сейчас я в трех словах объясню тебе то, что тебе непонятно. Консуэло — цветок невинности; она любит своего мальчугана Андзолето и будет любить его еще в течение нескольких дней; если ты грубо коснешься этой привязанности детства, ты только усилишь ее, но если ты сделаешь вид, будто не обращаешь на нее внимания, Консуэло, сравнивая вас обоих, понятно, скоро охладеет к своему избраннику.

— Но он красив, как Аполлон, этот негодный мальчишка! У него великолепный голос; он будет иметь успех. Уже и Корилла сходит по нем с ума. С таким соперником нельзя не считаться, когда перед тобой девушка, у которой есть глаза!..

— Да, но он беден, а ты богат, он неизвестен, а ты всемогущ, — возразил Барбериго. — Главное — узнать, кто он ей: любовник или друг. В первом случае разочарование наступит скорее для Консуэло; во втором же между ними будет борьба, колебания, и все это продлит твои мучения.

— Значит, по-твоему, мне нужно было бы желать того, чего я страшусь, одна мысль о чем приводит меня в бешенство. А что ты на этот счет

думаешь?

— По-моему, они не любовники.

— Но это невероятно: мальчишка развращен, смел, пылок, наконец нравы подобных людей…

— Консуэло — чудо во всех отношениях. А ты, дорогой Дзустиньяни, несмотря на все свои победы у прекрасного пола, все еще, я вижу, недостаточно опытен, если не понял из разговоров с этой девушкой, из ее взглядов, даже из ее движений, что она чиста, как горный хрусталь.

— Ты приводишь меня в восторг!

— Берегись! Это безумие, предрассудок! Если ты любишь Консуэло, надо завтра же выдать ее замуж. Через неделю ее повелитель даст ей почувствовать всю тяжесть надетых на нее цепей, все муки ревности, всю скуку постоянно иметь за своей спиной неприятного, несправедливого и неверного стража. А красавец Андзолето, несомненно, таким и будет. Я вчера достаточно наблюдал его в обществе Консуэло и Клоринды, чтобы безошибочно предсказать все его промахи и беды. Последуй моему совету, друг, и ты будешь мне благодарен. Знаешь, брачные узы легко расторжимы между людьми этого класса, ведь любовь этих женщин — пламенный каприз, а препятствия только раздувают огонь.

— Ты приводишь меня в отчаяние, а между тем я сознаю, что ты прав. На беду для планов графа Дзустиньяни, разговор этот имел слушателя, на которого они вовсе не рассчитывали и который не пропустил из него ни единого слова. Покинув Консуэло, Андзолето, вновь охваченный ревностью, отправился бродить вокруг дворца своего покровителя. Он жаждал убедиться, что граф не замышляет похищения, которые были в большой моде в то время и почти всегда проходили безнаказанно для аристократов. Андзолето не слышал продолжения разговора двух друзей: луна поднялась над дворцом, тень юноши начинала все яснее и яснее обрисовываться на мостовой, и молодые вельможи, заметив, что кто-то стоит под балконом, ушли в комнаты, закрыв за собой дверь.

Андзолето скрылся и отправился обдумывать то, что ему удалось услышать. Этого было вполне достаточно, чтобы он понял, как себя вести, как использовать добродетельные советы, которые дал Барбериго своему другу. Только под утро он заснул на каких-нибудь два часа, затем вскочил и побежал на Корте-Минелли. Дверь у Консуэло была еще заперта, но сквозь щель ему удалось разглядеть свою подругу, спящую одетой на кро-

вати, — она была неподвижна и бледна, как труп: предрассветный холод привел ее в чувство, и она бросилась на постель, не имея сил раздеться. Встревоженный Андзолето молча стоял у двери, мучимый угрызениями совести. Наконец, видя, что девушка продолжает пребывать в каком-то летаргическом состоянии, столь непохожем на ее обычный чуткий сон, он, страшно перепуганный, вынул нож и, просунув его в щель двери, отодвинул засов. При этом не обошлось без некоторого шума, но Консуэло была до того измучена, утомлена, что не проснулась. Андзолето вошел, запер за собой дверь, опустился на колени у ложа девушки и стал ждать ее пробуждения. Когда Консуэло, открыв глаза, увидела своего друга, она вскрикнула было от радости, но вслед за тем отдернула руки, которыми только что обняла его за шею, и с ужасом отшатнулась от него.

— Ты, я вижу, боишься меня теперь и, вместо того чтобы обнять, хочешь бежать от меня, — с отчаянием в голосе проговорил Андзолето. — Как жестоко я наказан! Прости меня, Консуэло! Я больше часа сторожил здесь твой сон. Разве после этого ты можешь не доверять мне? Прости, сестра, в первый и последний раз был у тебя повод рассердиться на меня, оттолкнуть меня, своего

брата. Никогда больше я не оскорблю нашей святой любви преступными порывами. И если я не сдержу своей клятвы, брось меня, прогони! Вот здесь, у твоей девической постели, где умерла твоя бедная мать, я клянусь относиться к тебе с таким же уважением, с каким относился до сих пор, клянусь даже не целовать тебя, если ты этого не захочешь, пока мы не будем обвенчаны. Скажи, довольна ли ты мной, моя дорогая, моя святая Консуэло?

Консуэло молча прижала белокурую голову венецианца к своей груди и залилась слезами. Слезы облегчили ее, и, опустив голову на свою маленькую жесткую подушку, она тихо проговорила:

— Признаюсь, я чуть жива; всю ночь я не сомкнула глаз — мы так дурно с тобой расстались.

— Спи, Консуэло! Усни, мой ангел! — ответил ласково Андзолето. — Помнишь ту ночь, когда ты уложила меня на свою постель, а сама тем временем молилась и работала у этого столика? Теперь мой черед сторожить и охранять твой сон. Поспи еще, детка моя, а пока ты будешь дремать часик-другой, я просмотрю твои ноты, про себя почитаю их. Никто не хватится нас раньше вечера, если вообще кто-нибудь еще думает о нас

сегодня. Спи же, этим ты покажешь, что простила и веришь мне.

Консуэло ответила ему блаженной улыбкой. Он поцеловал ее в лоб, уселся за столик, а она заснула благодетельным сном, полным самых сладких грез.

Андзолето так долго прожил спокойно и невинно вблизи этой девушки, что ему не стоило большого труда после одного дня возбуждения вернуться к своей обычной роли брата. Эта братская любовь была, так сказать, нормальным состоянием его души. К тому же то, что он слышал прошлой ночью под балконом Дзустиньяни, могло только укрепить его решение.

«Спасибо вам, любезные господа, — думал Андзолето, — вы преподали мне урок вашей собственной морали, и „негодный мальчишка“, поверьте, сумеет воспользоваться им не хуже любого развратника-повесы вашего сословия. Если обладание охлаждает, если права мужа ведут к пресыщенности и отвращению, мы сумеем сохранить в неприкосновенности то пламя, которое, по вашим словам, так легко потушить. Мы сумеем воздержаться и от ревности, и от измены, и даже от наслаждений любви. Ваши пророчества, именитый и глубокоуважаемый Барбериго, идут

впрок, полезно поучиться в вашей школе!»

Среди этих размышлений Андзолето, тоже совершенно измученный бессонной ночью, задремал, облокотясь на стол. Но сон его был некрепок, — как только солнце стало близиться к закату, он вскочил на ноги и подошел посмотреть, не проснулась ли Консуэло. Лучи заходящего солнца, проникая через окно, заливали чудесным пурпурным светом и старую кровать и спящую на ней красивую девушку. Из своей белой кисейной косынки Консуэло сделала нечто вроде занавески, привязав ее к филигранному распятию, прибитому у изголовья. Это легкое покрывало грациозно падало на ее гибкое, замечательно пропорциональное тело. В этой розовой полумгле она лежала точно цветок, склонивший под вечер свою головку. Ее великолепные черные волосы разметались по матово-белым плечам, руки были скрещены на груди, как у святой, — девушка казалась такой непорочной и была так божественно хороша, что Андзолето злобно подумал:

«О граф Дзустиньяни, как жаль, что ты не видишь ее в это мгновение и подле нее меня, ревнивого, неусыпного стража сокровища, которого тебе никогда не иметь!»

В эту самую минуту снаружи послышался лег-

кий шум; тонкий слух Андзолето уловил плеск воды о домишко, в котором жила Консуэло. К Корте-Минелли редко приставали гондолы, к тому же в этот день Андзолето был особенно догадлив. Он вспрыгнул на стул и добрался до слухового окошечка, проделанного почти у потолка и выходившего на маленький канал. Тут он ясно увидел графа Дзустиньяни: выйдя из гондолы, тот подошел к полуголым ребятишкам, игравшим на берегу, и стал их о чем-то расспрашивать. В первую минуту Андзолето не знал, на что решиться: разбудить ли свою подругу, или запереть дверь. Но за те десять минут, которые граф употребил на расспросы и розыски комнатушки Консуэло, юноша успел вооружиться дьявольским хладнокровием. Он приоткрыл дверь, для того чтобы в комнату можно было беспрепятственно и без шума войти, а сам вернулся к столику и сделал вид, что пишет ноты. Сердце его колотилось в груди, но лицо было совершенно спокойно, ничуть не выдавая внутреннего волнения. Действительно, граф вошел на цыпочках, желая застигнуть Консуэло врасплох. Нищенская обстановка обрадовала его: ему казалось, что это должно наилучшим образом благоприятствовать его плану соблазна. Он привез с собою

уже подписанный им контракт и надеялся, что с таким документом будет принят не слишком сурово. Но при первом же взгляде на это странное святилище, где прелестная девушка спала ангельским сном на глазах своего почтительного или удовлетворенного возлюбленного, бедный Дзустиньяни совсем смутился, запутался в своем плаще, победоносно перекинутом через плечо, и стал топтаться на месте между столом и кроватью, не зная, к кому обратиться. Андзолето был отомщен за вчерашнюю унизительную сцену у гондолы.

— Ваше сиятельство, покровитель мой! — воскликнул он, вставая и делая вид, что страшно удивлен неожиданным появлением графа. — Я сейчас же разбужу мою… невесту.

— Нет! — ответил граф, который уже успел прийти в себя от смущения и повернулся к Андзолето спиной, чтобы вдоволь наглядеться на Консуэло. — Я счастлив, что вижу ее такою, и запрещаю тебе будить ее.

«Да, да! Любуйся ею! — думал Андзолето. — Мне только это и нужно».

Консуэло не просыпалась, и граф, понизив голос, с самым милым, веселым лицом стал выражать свой восторг. — Ты был прав, Дзото, — начал

он непринужденно, — Консуэло — лучшая певица во всей Италии, и я ошибался, сомневаясь, что она к тому же и красивейшая женщина в мире.

— Но ведь вы, ваше сиятельство, считали ее уродливой, — заметил лукаво Андзолето.

— И ты, конечно, передал ей все мои грубые выражения? Но ничего, я надеюсь искупить их таким крупным штрафом, что тебе не удастся более вредить мне, напоминая ей о моей вине.

— Вредить вам, ваше сиятельство? Как бы я мог это сделать, если бы даже это и пришло мне в голову?

Тут Консуэло слегка пошевелилась.

— Дадим ей спокойно проснуться, чтобы не напугать ее, а ты освободи мне стол. Мне надо разложить на нем и перечитать контракт Консуэло. Знаешь, пока она спит, ты можешь сам пробежать этот контракт, — проговорил граф, когда Андзолето, исполнив его приказание, очистил стол.

— Контракт до пробного дебюта? Да это просто великолепно, о мой благородный покровитель. И дебют немедленно, до окончания срока ангажемента Кориллы?

— Это меня не смущает. Неустойка в тысячу цехинов. Мы заплатим ей, только и всего!

— Но если Корилла пустит в ход интриги?

— Мы за эти интриги упрячем ее в тюрьму.

— Бог мой! Для вашего сиятельства нет преград!

— Да, Дзото, — ответил сухо граф, — таковы уж мы есть: то, чего хотим, мы хотим наперекор всему и всем.

— Как! Условия ангажемента те же, что и у Кориллы? Для дебютантки без имени, без известности те же условия, что для знаменитой певицы, кумира публики?

— Новую певицу будут обожать еще больше. Если же условия прежней певицы ее не удовлетворят, то стоит ей сказать одно слово, и она получит вдвое больше. Все зависит от нее, — прибавил граф, повысив немного голос, так как заметил, что Консуэло просыпается. — Ее судьба в ее руках. Консуэло, услышав сквозь сон эти слова, протерла глаза и, убедившись, что все это происходит наяву, соскользнула с кровати; не задумываясь над необычностью такого посещения, она привела в порядок волосы, накинула мантилью и с наивной доверчивостью вмешалась в разговор:

— Вы слишком добры, ваше сиятельство, но я не настолько самонадеянна, чтобы воспользо-

ваться вашей добротой. До дебюта я не подпишу ангажемента. Это было бы недобросовестно с моей стороны. Я могу не понравиться публике, провалиться, быть освистанной. В этот день я могу оказаться не в голосе, растеряться, наконец просто быть некрасивой… Связанный словом, вы не возьмете его обратно из гордости, я же слишком горда, чтобы злоупотребить им…

— Некрасивой в такой-то день, Консуэло! — воскликнул граф, пожирая ее глазами. — Вы — некрасивой? Взгляните на себя, как вы есть, сейчас! — продолжал он, взяв ее за руку и подводя к столу, на котором стояло зеркальце. — Если вы восхитительны в таком костюме, что же будет, когда вы появитесь осыпанная драгоценными камнями, сияющая, торжествующая?! Андзолето, видя дерзость графа, чуть не скрежетал от ярости зубами.

Но насмешливое равнодушие, с которым Консуэло отнеслась к пошлым ухаживаниям вельможи, тотчас успокоило его.

— Ваше сиятельство, — сказала она, отталкивая от себя осколок зеркала, который граф поднес к ее лицу, — смотрите, не разбейте остаток моего зеркала: у меня никогда не было другого, и я им дорожу, так как оно никогда не обманывало ме-

ня. Кто бы я ни была — урод или красавица, — но я отказываюсь от ваших щедрот. К тому же я должна сказать вам откровенно, что ни дебютировать, ни заключать контракт я не стану, если мой жених, который стоит сейчас перед вами, не получит также ангажемента. У нас с ним должен быть один театр и одна публика. И разлучиться мы не можем, так как собираемся обвенчаться.

Это неожиданное признание немного ошеломило графа, но он тотчас оправился от своего смущения.

— Вы правы, Консуэло, и я вовсе не хочу вас разлучать. Дзото будет дебютировать вместе с вами. Только мы не должны закрывать глаза на то, что, хоть у него и крупный талант, но все-таки ему далеко до вас.

— Я думаю иначе, — горячо возразила Консуэло, покраснев при этом, словно обида была нанесена ей самой.

— Знаю, знаю, что он в большей мере ваш ученик, чем ученик того профессора, которого я ему дал, — улыбаясь, заметил Дзустиньяни. — Не отнекивайтесь, моя красавица! Помнится, Порпора, узнав о вашей дружбе с ним, воскликнул: «Теперь мне понятны некоторые его достоинства, а то я никак не мог их совместить со столькими

недостатками».

— Я очень благодарен господину профессору! — принужденно улыбаясь, сказал Андзолето.

— Ничего, он изменит свое мнение, — весело проговорила Консуэло. Публика заставит моего дорогого, славного учителя разубедиться.

— Ваш дорогой, славный учитель — лучший судья, лучший знаток пения во всем мире, — возразил граф. — Пусть же Андзолето продолжает пользоваться вашими указаниями. Это только послужит ему на пользу. Но, повторяю, мы не можем заключить с ним договора, пока не узнаем, как к нему отнесется публика. Пусть он дебютирует, а там, при нашей благосклонности, мы сумеем по справедливости удовлетворить его требования.

— Тогда мы будем дебютировать вместе. Мы — ваши покорные слуги, господин граф. Но никакого контракта, никаких подписей до дебюта! На этом я стою твердо…

— Вы, Консуэло, быть может, не вполне довольны теми условиями, которые я вам предлагаю? Так продиктуйте свои. Вот вам перо — сами вычеркивайте, сами добавляйте; моя подпись внизу.

Консуэло взялась за перо. Андзолето побледнел,

а граф, заметив это, от удовольствия закусил кончик своего кружевного жабо, которое все время теребил. Решительно перечеркнув контракт, Консуэло написала там, где еще оставалось место над подписью графа: «Андзолето и Консуэло обязуются вместе принять условия, которые будет угодно графу Дзустиньяни им предложить после их дебюта, каковой должен состояться в будущем месяце в театре Сан-Самуэле». Она быстро подписала свое имя, а затем передала перо возлюбленному.

— Подписывай не читая, — сказала она, — этим ты хоть в какой-то мере докажешь твоему благодетелю свою признательность и доверие.

Андзолето все-таки, прежде чем подписать, быстро пробежал глазами написанное. Граф тоже прочел, глядя через его плечо.

— Консуэло! — воскликнул Дзустиньяни. — Право, вы странная девушка! Удивительное существо! Ну, а теперь идемте оба ко мне обедать, — добавил он, разорвав контракт и предлагая руку Консуэло.

Девушка приняла приглашение, но попросила графа вместе с Андзолето подождать ее в гондоле, пока она приведет себя в порядок.

«Как видно, у меня будет на что сделать себе

подвенечное платье», подумала Консуэло, оставшись одна.

Она надела ситцевое платье, пригладила волосы и, выпрыгнув на лестницу, понеслась вниз, распевая во весь голос какую-то звонкую музыкальную фразу. Граф, желая проявить особенную учтивость, остался с Андзолето ждать ее на лестнице. Не подозревая, что Дзустиньяни может быть так близко, она чуть не упала в его объятия, но, быстро высвободившись, поймала его руку и, по местному обычаю, поднесла к губам с почтительностью подчиненной, не стремящейся перешагнуть через различие в общественном положении. Потом, обернувшись, бросилась на шею жениху и, радостная и шаловливая, прыгнула в гондолу, не дожидаясь своего церемонного покровителя, немного раздосадованного всем происшедшим.

Глава 15

Граф, видя, что Консуэло равнодушна к деньгам, решил возбудить ее тщеславие и предложил ей бриллианты и туалеты, но и от них она отказалась. Сначала Дзустиньяни вообразил, что она угадала его тайные намерения, но вскоре ему стало ясно, что в ней говорит исключительно гордость простолюдинки: она не хотела наград, еще не заслуженных на сцене его театра. Однако он заставил ее принять платье из белого атласа, под тем предлогом, что неприлично выступать в его салоне в ситцевом платье, и потребовал, чтобы она из уважения к нему рассталась со своей неприхотливой одеждой. Она подчинилась и отдала свою прекрасную фигуру в руки модных портних, которые, конечно, не преминули попользоваться на этом и не поскупились на материю. Превратившись через два дня в нарядную даму, вынужденная принять еще жемчужное ожерелье, которое граф поднес ей как плату за тот вечер, когда она так восхитила своим пением его и его друзей, Консуэло все-таки была красива, хотя это и не шло к характеру ее красоты, а нужно

было лишь для того, чтобы пленять пошлые взоры. Однако ей так и не удалось этого достигнуть. С первого взгляда Консуэло никого не поражала и не ослепляла: она была бледна, да и в глазах ее — девушки скромной и всецело погруженной в свои занятия — не было того блеска, который постоянно горит во взгляде женщин, жаждущих одного — блистать. В лице ее, серьезном и задумчивом, сказывалась вся ее натура. Наблюдая ее за столом, когда она болтала о пустяках, вежливо скучая среди пошлости светской жизни, никто даже и не подумал бы, что она красива. Но как только лицо это озарялось веселой, детской улыбкой, указывавшей на душевную чистоту, все тотчас находили ее милой. Когда же она воодушевлялась, бывала чем-нибудь живо заинтересована, растрогана, увлечена, когда проявлялись ее богатые внутренние силы, она мгновенно преображалась: огонь гениальности и любви загорался в ней, и тогда она приводила в восторг, увлекала, покоряла, даже не отдавая себе отчета в тайне своей мощи.

Графа удивляло и странно мучило его чувство к Консуэло; у этого светского человека была артистическая душа, и Консуэло впервые заставила задрожать и запеть ее струны. Но и теперь аристо-

крат не понимал, сколь ничтожны и бессильны были его способы завоевать эту женщину, так мало похожую на тех, кого ему удалось развратить.

Он вооружился терпением и решил прибегнуть к помощи чувства соперничества: он пригласил Консуэло в театр, в свою ложу, надеясь, что успех Кориллы пробудит в ней честолюбие. Но результат получился совсем не тот, какого он ожидал. Консуэло вышла из театра равнодушная, молчаливая, усталая от грома рукоплескании, но совсем не захваченная ими. В Корилле она не нашла настоящего таланта, благородной страсти, мощи. Она считала себя достаточно сведущей, чтобы судить об этом искусственном, сделанном таланте, загубленном в самом начале беспорядочной жизнью и эгоизмом. Равнодушно поаплодировала она примадонне, проронила несколько сдержанных слов одобрения, но не захотела разыгрывать пустой комедии — восторгаться соперницей, не возбудившей в ней ни страха, ни восторга. На минуту графу показалось, что Консуэло в душе завидует если не таланту, то успеху Кориллы.

— Успех этот ничто в сравнении с тем, который ожидает вас, — сказал он ей, — он дает лишь слабое представление о победах, ожидающих вас, если вы покажете себя публике такою, какой

показали себя нам. Надеюсь, вы не испуганы тем, что здесь видели?

— Нисколько, граф, — улыбаясь, ответила Консуэло. — Эта публика не страшит меня, я даже и не думаю о ней. Я думаю о том, что можно было бы еще сделать с той ролью, которую так блестяще исполняет Корилла. Мне кажется, что в этой роли есть не использованные ею эффекты.

— Как? Вы не думаете о публике?

— Нет, я думаю о партитуре, о намерениях композитора, о характере роли, об оркестре, достоинства которого надо использовать, а недостатки скрыть, постаравшись превзойти себя в некоторых местах. Я слушаю хор, который не всегда на высоте: он, по-моему, требует более строгого управления; обдумываю, в каких местах надо будет пустить в ход все свои возможности, предусмотрительно приберегая для этого силы в местах менее трудных. Как видите, граф, есть много такого, о чем стоит подумать, помимо публики, которая ничего в этом не понимает и не может понимать.

Эти здравые взгляды и строгая оценка до того поразили графа, что он не решился расспрашивать далее и со страхом спросил себя, какими средствами может такой поклонник, как он, под-

чинить себе этот могучий ум.

К дебюту обоих молодых людей готовились по всем правилам, практикующимся в подобных случаях. Между графом и Порпорой, между Консуэло и ее возлюбленным шли бесконечные пререкания и споры. Старый учитель и его даровитая ученица восставали против пышных объявлений, против того бесчисленного множества мелких и пошлых приемов, которым в наше время дали развиться до наглости и обмана. В то время в Венеции газеты не играли большой роли в этих делах. Тогда не умели еще так искусно подбирать состав публики, не прибегали к помощи рекламы, к выдуманным биографиям. Не была известна еще и могучая машина, называющаяся клакерами. Тогда были в ходу серьезные происки и страстные интриги, но все решала сама публика: одними она наивно увлекалась, к другим так же стихийно была враждебна. И не всегда при этом главную роль играло искусство: тогда — как и теперь — в храме Мельпомены боролись страсти и страстишки. Но тогда не умели скрывать так искусно причины разногласий и относить их за счет неподкупной любви к искусству. А за всем этим в конечном счете скрывались все те же мелкие человеческие чувства — только

цивилизация еще не прикрывала их затейливой внешней оболочкой.

В такого рода делах Дзустиньяни вел себя скорее как меценат-вельможа, чем как директор театра. Тщеславие было для него более сильным двигателем, чем жадность у обычных любителей наживы. В своих салонах он подготовлял публику, подогревая успех своих представлений. В его методах не было поэтому ничего подлого или низкого — он вносил в них чисто ребяческое самолюбие, стремление восторжествовать в своих любовных похождениях, умение ловко использовать советы приятелей. И вот теперь он начал понемногу, довольно-таки искусно, разрушать здание, некогда воздвигнутое его же собственными руками, — здание славы Кориллы. Все видели, что он хочет создать славу новой звезде, и ему приписывалось уже полное обладание тем предполагаемым чудом, которое он собирался показать: бедная Консуэло еще и не подозревала ничего насчет чувств графа к ней, а вся Венеция уже говорила, будто ему опротивела Корилла и он собирается заместить ее, устроив дебют своей новой любовнице. Многие добавляли: «Какое издевательство над публикой и какой вред для театра! Его фаворитка — какая-то уличная пе-

вичка, ничего не знающая, обладающая лишь красивым голосом и сносной наружностью».

Начались интриги сторонников Кориллы. Разыгрывая роль соперницы, принесенной в жертву, она подбивала многочисленных своих поклонников и их друзей расправиться с Zingarella (цыганочкой) за ее наглые происки. Начались интриги и в защиту Консуэло. Тут хлопотали женщины, у которых Корилла отбила или совратила мужей и возлюбленных; были здесь и мужья, предпочитавшие, чтобы известная кучка венецианских донжуанов увивалась лучше вокруг новой дебютантки, чем вокруг их собственных жен; наконец, в числе интригующих были обманутые и отвергнутые любовники Кориллы, жаждавшие, чтобы успех ее соперницы отомстил за них.

Истинные dilettanti di musica также разбились на два лагеря. В одном были сторонники таких столпов музыки, как Порпора, Марчелло, Йомелли и другие, предсказывающие, что с появлением на сцене превосходной исполнительницы музыки туда вернутся и серьезные оперы и добрые старые традиции. В другом были второстепенные композиторы, более легковесные произведения которых всегда предпочитала Корилла: ее уход

грозил их интересам. Вообще весь театр Сан-Самуэле пришел в волнение: музыканты оркестра, боявшиеся, что их засадят за давно забытые партитуры и придется взяться серьезно за работу, весь персонал, предвидевший реформы, всегда связанные с переменами в труппе, даже машинисты сцены, костюмерши, парикмахеры — все всполошились, все были за или против дебюта. По правде говоря, в республике этим дебютом интересовались гораздо больше, чем действиями нового правительства, возглавляемого дожем Пьетро Гримальди, который недавно мирно заступил место своего предшественника, дожа Луиджи Пизани.

Консуэло была в подавленном состоянии духа, ее огорчали и промедление и все эти треволнения, связанные с ее начинающейся карьерой. Она желала дебютировать сейчас же, без всяких приготовлений, как только разучит новую оперу. Она совершенно не разбиралась в этой массе интриг, считала их скорее опасными, чем полезными, и была убеждена, что может отлично обойтись без них. Но граф знал глубже тайны театрального дела и, желая, чтобы его воображаемая близость с Консуэло вызывала зависть, а не насмешки, делал все возможное, чтобы завербовать ей как

можно больше сторонников. Ежедневно он вызывал ее к себе и представлял всей городской и провинциальной аристократии. Скромность и душевная подавленность Консуэло плохо способствовали его планам; но стоило ей запеть, и она одерживала блестящую, решительную, бесспорную победу.

Андзолето отнюдь не разделял отвращения своей подруги к разным побочным средствам. Его успех далеко не был так обеспечен. Прежде всего граф относился к нему не с таким интересом; затем тот тенор, которого ему предстояло заменить, был первоклассный певец, и заставить забыть его было не так-то легко. Правда, Андзолето тоже каждый вечер выступал у графа, и Консуэло удивительно искусно умела выдвигать его в дуэтах; увлеченный и поддерживаемый ее могучим талантом, далеко превосходившим его собственный, Андзолето часто достигал большого совершенства. Ему много аплодировали, поощряли его, но прекрасный голос юноши, возбуждавший восторг, как только он начинал петь, терял при сравнении с голосом Консуэло, и не только слушатели находили в нем недостатки, но и он сам с ужасом сознавал их. Тут бы ему с новым жаром приналечь на работу, однако Консуэло

никак не могла убедить его заниматься с ней по утрам на Корте-Минелли, где она продолжала жить, несмотря на все уговоры графа, предлагавшего устроить ее более прилично. Андзолето был до того поглощен разными визитами, хлопотами, интригами, у него было столько мелких забот и тревог, что он не мог найти ни времени, ни желания для работы.

Среди всех этих треволнений Андзолето пришел к выводу, что наиболее опасным врагом для него является Корилла, и, зная, что граф с ней больше не видится и нисколько ею не интересуется, решил побывать у нее, чтобы склонить ее на свою сторону. Он слышал, что певица весело и с философской иронией относится к измене графа и его мести, что она получила блестящее предложение в Итальянскую оперу в Париже и ждет только провала своей соперницы, в котором, по-видимому, уверена, а пока хохочет и издевается над мечтаниями графа и его приближенных. Андзолето решил обезоружить этого страшного врага, действуя лукаво и с осторожностью; и вот однажды, расфрантившись и надушившись, он отправился к ней после полудня, в тот час, когда в венецианских дворцах царит тишина, все отдыхают и посещения весьма редки.

Глава 16

Он застал Кориллу одну в ее прелестном будуаре, дремлющей на кушетке в на редкость изящном капоте. Но при дневном свете Андзолето не мог не заметить, как изменилось ее лицо: не так уж легко, очевидно, относилась она к истории с Консуэло, как это утверждали ее верные поклонники. Тем не менее она встретила его очень весело.

— А, это ты, плутишка? — воскликнула она, шутливо похлопывая его по щеке и делая знак служанке уйти и закрыть дверь. — Ты опять явился со своими сладкими речами? Не думаешь ли убедить меня, что ты не самый коварный из всех поклонников и не самый пронырливый из всех искателей славы? Вы, мой прекрасный друг, самонадеяннейший из людей, если предполагаете, что ваше внезапное исчезновение после столь нежных признаний хоть каплю огорчило меня. Вы величайший глупец, что заставили себя ждать: через сутки я и думать о вас забыла.

— Сутки! Да это страшно много! — ответил Андзолето, целуя выше локтя сильную, полную

руку Кориллы. — Ах, если б я мог поверить этому, как бы я возгордился! Но я прекрасно знаю, что, будь я настолько легковерен и прими за чистую монету то, что вы мне говорили…

— То, что я говорила, советую тебе забыть. Если б ты тогда явился, я не приняла бы тебя. Но как посмел ты прийти сегодня?

— Разве это дурно — не желать пресмыкаться перед людьми, когда они в милости, и прийти к ним с любовью и преданностью, когда они…

— Доканчивай! «Когда они в опале»? Это очень великодушно и трогательно с твоей стороны, мой прославленный друг! — И Корилла, откинувшись на черную атласную подушку, залилась резким, несколько деланным смехом. Хотя при ярком полуденном освещении разжалованная примадонна и казалась не первой свежести, хотя все пережитое за последнее время и оставило след на ее полном, цветущем лице, но Андзолето, которому никогда еще не случалось быть наедине с такой нарядной и блестящей женщиной, почувствовал, что у него что-то зашевелилось в душе, в том уголке, куда Консуэло не пожелала снизойти и откуда он сознательно изгнал ее светлый образ. Мужчины, развратившиеся слишком рано, могут еще испытывать чувство дружбы к честной,

безыскусственной женщине, но разжечь в них страсть способна только кокетка. Андзолето на издевательства Кориллы отвечал признаниями в любви. Идя к ней, он собирался разыграть роль влюбленного, а тут вдруг на самом деле почувствовал любовь. Я говорю любовь за неимением более подходящего слова, хотя употреблять это чудесное слово для обозначения того чувства, которое внушают такие холодные, вызывающие женщины, как Корилла, значит профанировать, его. Видя, что молодой тенор не на шутку увлечен, она смягчилась и стала над ним подтрунивать уже более дружелюбно.

— По правде говоря, ты мне нравился в течение целого вечера, — сказала она, — но, в сущности, я тебя не уважаю. Я знаю, что ты тщеславен, а следовательно, фальшив и способен на любую измену. Я не могла бы положиться на тебя. Тогда, ночью, ты разыграл ревнивца и деспота в моей гондоле. После пресных ухаживаний аристократов я могла бы рассеять с тобой скуку, но ты ведь обманывал меня, подлый мальчишка: ты был влюблен в другую и сейчас в нее влюблен и женишься… На ком? О, я прекрасно знаю: на моей сопернице, на дебютантке, на новой любовнице Дзустиньяни. Позор нам обоим, нам троим, нет

— даже всем четверым! — в раздражении воскликнула она, вырывая у Андзолето свою руку.

— Жестокая! — вскричал он, силясь снова поймать эту полную руку. — Вы должны были бы сами понять, что произошло со мной, когда я впервые увидел вас, а не думать о том, что меня интересовало до этой решительной минуты… О том же, что произошло потом, вы можете догадаться сами. Да и стоит ли нам об этом думать?

— Я не намерена довольствоваться намеками и недомолвками. Скажи прямо: ты все еще любишь цыганку? Ты женишься на ней?

— Если я ее люблю, почему же я не женился на ней до сих пор?

— Да потому, может быть, что раньше граф был против. Теперь же все знают, что он сам хочет этого. Говорят даже, что у него есть основание желать, чтобы это произошло поскорее, а у девочки и подавно…

Андзолето покраснел, услыхав, как оскорбляют ту, которую в глубине души он почитал больше всех на свете.

— А, ты оскорблен моими предположениями! — воскликнула Корилла. — Прекрасно! Это все, что я хотела знать: ты любишь ее. Когда же свадьба? — Никакой свадьбы не будет.

— Значит, вы делитесь с графом? Недаром ты в такой милости у него.

— Ради бога, синьора, не будем говорить ни о графе, ни о ком бы то ни было, кроме нас с вами.

— Хорошо! Итак, в этот час мой бывший любовник и твоя будущая супруга…

Андзолето был возмущен. Он встал с намерением уйти. Но, уйдя, он разжег бы еще сильнее ненависть женщины, к которой пришел для того, чтобы умиротворить ее. Он стоял в нерешительности, униженный и несчастный в своей жалкой роли.

Корилла жаждала увлечь его — не потому, что любила, а потому, что видела в этом способ отомстить Консуэло, хотя и совсем не была уверена в том, что соперница заслуживает такое оскорбление.

— Вот видишь, — сказала она, пронизывая Андзолето взглядом, словно пригвоздившим его к порогу будуара, — имела основание не верить тебе: сейчас ты обманываешь одну из нас. Кого же — ее или меня?

— Ни ту, ни другую! — крикнул он, стремясь оправдаться в собственных глазах. — Я не любовник ее и никогда им не был. Я даже не влюблен в нее, так как не ревную ее к графу.

— Не лги! Ты ревнуешь так сильно, что не хочешь даже сознаться в этом, а сюда явился, чтобы излечиться или забыться. Благодарю покорно!

— Повторяю, я вовсе не ревную, и, чтобы доказать, что во мне говорит не злоба, я скажу вам, что граф, так же как и я, вовсе не ее любовник, — она чиста, как ребенок; и единственно, кто виноват перед вами, — это граф Дзустиньяни.

— Значит, я могу освистать Консуэло и это нисколько не огорчит тебя?

Хорошо! Ты будешь сидеть в моей ложе и освищешь ее, а по выходе из театра станешь моим единственным любовником! Ну, соглашайся скорее, а то передумаю.

— Значит, синьора, вы хотите помешать моему дебюту? Вы прекрасно знаете, что я должен выступить вместе с Консуэло. Если ее освищут, то и я, поющий с нею, тоже должен буду стать жертвой вашего гнева? Что же сделал я, несчастный, чем заслужил вашу немилость? А у меня была мечта — прекрасная, пагубная: я целый вечер воображал, что вы хоть немного сочувствуете мне и что ваше покровительство поможет мне выдвинуться. Но вы, оказывается, презираете и ненавидите меня. А я-то любил вас так, что принужден был бежать… Что ж, если я внушаю вам

такое отвращение, губите меня, ломайте всю мою карьеру. Но если сейчас, с глазу на глаз, вы скажете, что я вам не противен, я готов претерпеть при публике ваш гнев. — Ах ты змея! — воскликнула Корилла. — Где, скажи, всосал ты этот яд лести, которым полны и речи твои и взоры? Дорого бы я дала, чтобы узнать и понять тебя, но меня удерживает страх: кто ты — очаровательнейший любовник или опаснейший враг?

— Я — ваш враг? Да как бы я осмелился быть им, даже если б и не был пленен вами? И разве у вас есть враги, божественная Корилла? Могут ли они быть у вас в Венеции, где вас все знают, где вы всегда царили безраздельно? Ссора с вами заставила жестоко страдать графа. Он хочет удалить вас, чтобы перестать мучиться. Случайно на его пути попадается девочка, не лишенная способностей; она мечтает о дебюте. Да разве это такое уж преступление со стороны бедняжки, которая трепещет при одном звуке вашего громкого имени и произносит его не иначе как с почтением? Вы приписываете ей наглые притязания, на которые она совсем не способна. Причины вашего предубеждения мне ясны: с одной стороны — стремление графа, чтобы она понравилась его друзьям, и преувеличение ее достоинств

этими услужливыми друзьями; с другой стороны — ваши поклонники. Вместо того чтобы внести покой в вашу душу, убедив вас, что ваша слава непоколебима, а ваша соперница трепещет, они, наоборот, своей злобной клеветой раздражают и огорчают вас. Все это так поражает меня, что я просто не знаю, как мне убедить вас.

— Прекрасно знаешь, болтун проклятый! — сказала Корилла, глядя на него нежно и страстно, но не без примеси недоверия. — Я слушаю твои медовые речи, но рассудок велит мне опасаться тебя. Я уверена, что эта Консуэло божественно хороша, хотя меня и стараются убедить в обратном, и что способности — правда, совсем иного склада, чем у меня, — у нее есть безусловно, раз сам строгий Порпора говорит об этом во всеуслышание.

— Вы ведь знаете Порпору. И вам должны быть хорошо известны его странности, скажу больше — его мания. Враг всякой оригинальности у других, враг всего нового в искусстве пения, профессор способен за правильно пропетую ученицей гамму объявить ее выше всех «звезд», обожаемых публикой; для этого надо только, чтобы ученица эта внимательно слушала его изречения и педантично выполняла его уроки. С каких пор придаете вы значение причудам этого

сумасшедшего старика?

— Так у нее нет таланта?

— У нее красивый голос, и она поет неплохо в церкви, о театре же она, по всей вероятности, не имеет ни малейшего представления; что же касается силы ее голоса, то, надо полагать, она так растеряется на сцене, что страх убьет и те небольшие данные, которыми ее наградило небо.

— Она растеряется? Что ты! Мне говорили, что она смела до наглости!

— Бедная девочка! Видно, у нее много врагов! Вы ее услышите, божественная Корилла, вы почувствуете к ней благородное сострадание и тогда — вместо того чтобы устроить ей провал, как только что шутя грозили, — сами поддержите ее.

— Или ты лжешь, или друзья мои лгут про нее!

— Ваши друзья были сами введены в заблуждение. Усердствуя безрассудно, они испугались, что у вас может появиться соперница. Испугаться за вас! И испугаться кого? Ребенка! Мало же эти люди знают вас, если они сомневаются в ваших силах! Имей я счастье быть вашим другом, я, поверьте, лучше оценил бы вас и не оскорбил бы так, боясь соперницы, даже если б то была сама Фаустина или сама Мольтени!

— Не подумай, что я испугалась ее. Я не завист-

лива и не зла, а так как чужие успехи никогда не вредили мне, я никогда ими не огорчалась. Но если хотят унизить меня, заставить страдать…

— Не желаете ли вы, чтобы я привел к вам Консуэло? Посмей она только, она бы уже давно сама пришла к вам за советом и помощью. Но это такой застенчивый ребенок! К тому же и ей оклеветали вас: наговорили, что вы и жестоки, и мстительны, и хотите ее провалить.

— Ах, так ей сказали это? В таком случае мне понятно твое присутствие здесь.

— Нет, синьора, вы, очевидно, не понимаете настоящей его причины; я ни минуты не верил этой клевете на вас и никогда не поверю. Нет, синьора, нет, вы не понимаете меня!

При этих словах черные глаза Андзолето засверкали, и он опустился на колени у ног Кориллы с неподражаемым выражением любви и неги.

Корилла была не лишена и проницательности и хитрости, но, как это случается с самовлюбленными женщинами, тщеславие часто ослепляло ее, и она нередко попадала в ловушку. К тому же она была женщина страстная, а красивее Андзолето она не встречала мужчины; и она не смогла устоять перед его медоточивыми речами, а вкусив с ним радость удовлетворенной

мести, постепенно привязалась к нему, узнав также и радость обладания. Через неделю после их первого свидания она была от него без ума и своими бурными вспышками ревности и гнева могла в любую минуту выдать тайну их связи. Андзолето, тоже по-своему влюбленный в нее, — сердце его все-таки не могло изменить Консуэло, — был сильно напуган этой чересчур быстрой и чересчур полной победой. Однако он надеялся сохранить свое влияние на Кориллу, пока это было ему необходимо, и помешать ей испортить его дебют и повредить успеху Консуэло. Он держал себя с нею необычайно ловко, лгал с чисто дьявольским искусством и сумел привязать ее к себе, убедить, покорить. Ему удалось уверить ее, что он больше всего ценит в женщине великодушие, кротость и правдивость. Искусно набросал он роль, которую она, если только не хочет заслужить с его стороны презрение и ненависть, должна играть по отношению к Консуэло при публике. Будучи нежен с нею, он в то же время умел быть строгим и, маскируя угрозы лестью, делал вид, будто считает ее ангелом доброты. Бедная Корилла переиграла в своем будуаре всевозможные роли, кроме этой, надо сказать, не удававшейся ей и на сцене. Тем не

менее она покорилась, боясь утратить наслаждения, которыми еще не пресытилась и на которые Андзолето, чтобы сделать их более желанными, был не слишком щедр. Юноше удалось убедить Кориллу, будто граф, несмотря на раздражение, все еще влюблен в нее и только рисуется, говоря, что разлюбил ее, а сам втайне ревнует.

— Узнай он только о том счастье, которое я переживаю с тобой, — говорил он ей, — конец всему: и дебюту и, пожалуй, самой моей карьере. С того дня, как ты имела неосторожность открыть ему мою любовь к тебе, он сильно ко мне охладел, и я думаю, что он будет вечно преследовать меня своей ненавистью, если узнает, что я утешил тебя.

При создавшихся обстоятельствах это было мало правдоподобно: граф был бы, наверно, в восторге, что Андзолето изменяет своей невесте, но тщеславной Корилле хотелось верить обману. Она поверила и тому, что ей нечего бояться любви Андзолето к дебютантке. Когда он всячески отрицал это и клялся всеми святыми, что был для бедной девушки только братом, его уверения звучали крайне убедительно, — тем более что по сути дела это было правда, — и ему удалось усыпить ревность Кориллы. Великий день близился,

а ее интриги против Консуэло прекратились; она даже начала действовать в противоположном направлении, уверенная, что застенчивая и неопытная дебютантка провалится сама по себе, а Андзолето будет ей бесконечно благодарен за то, что она в этом провале не принимала участия. Помимо этого, Андзолето сумел ловко рассорить свою возлюбленную с ее вернейшими приверженцами, разыграв ревнивца и настояв на том, чтобы она их выпроводила, — притом довольно резко.

Разрушая таким образом втихомолку планы женщины, которую он каждую ночь прижимал к своему сердцу, хитрый венецианец в то же время играл совсем другую роль перед графом и Консуэло. Он хвастался им, что своими ловкими приемами, посещениями и наглой ложью сумел обезоружить грозного врага, способного помешать их успеху. Легкомысленный граф, охотник до всяких интриг, забавлялся болтовней своего питомца. Самолюбию его особенно льстили уверения Андзолето, будто Корилла опечалена разрывом с ним, и он с легкомысленной жестокостью, обычной в театральном мире и мире любовных похождений, подбивал юношу на разные подленькие проделки. Все это удивляло и

огорчало Консуэло.

— Гораздо было бы лучше, — говорила она своему жениху, — если б ты работал над своим голосом и изучал роль. Ты воображаешь, что много сделал, обезоружив врага. Поверь мне, отделанная нота, прочувствованная интонация гораздо важнее для беспристрастной публики, чем молчание завистников. Вот с этой-то публикой и надо считаться, а я с грустью вижу, что о ней ты нисколько не думаешь.

— Не волнуйся, дорогая Консуэло, — отвечал Андзолето. — Ты заблуждаешься, считая, что публика может быть одновременно и беспристрастной и просвещенной. Люди понимающие очень редко бывают добросовестны, а добросовестные так мало смыслят, что малейшее проявление смелости ослепляет и увлекает их.

Глава 17

Ревность Андзолето к графу несколько поутихла: его отвлекали и жажда успеха и пылкость Кориллы. К счастью, Консуэло не нуждалась в высоконравственном и бдительном защитнике. Охраняемая собственной невинностью, девушка ускользала от дерзкого натиска Дзустиньяни и держала его на расстоянии уже потому, что очень мало о нем думала. Недели через две распутный венецианец убедился, что в ней еще не пробудились суетные страсти, ведущие к разврату, и он всячески старался пробудить их. Но так как он и в этом отношении еще не добился ни малейшего успеха, то не решался слишком усердствовать, боясь все испортить. Если б Андзолето раздражал его своим надзором, то, быть может, он с досады и поспешил бы довести дело до конца, но Андзолето предоставлял ему полную свободу действий, Консуэло ничего не подозревала, и графу оставалось лишь стараться быть любезным, ожидая, пока он сделается необходимым. Он изощрялся в нежной предупредительности, утонченном ухаживании, стараясь понравиться, а Консуэло

принимала это поклонение, упорно объясняя его свободой нравов, царящей в аристократической среде, страстным увлечением своего покровителя искусством и его прирожденной добротой. Она чувствовала к нему истинную дружбу, священную благодарность; он же испытывал и счастье и тревогу близ этой чистой и преданной души, уже побаиваясь того чувства, которое могло вызвать в ней его решительное признание.

В то время как он со страхом, но и не без удовольствия, переживал это новое для него чувство (несколько утешаясь тем заблуждением, в котором пребывала вся Венеция насчет его победы), Корилла тоже ощущала в себе какое-то перерождение. Она любила если не благородной, то пылкой любовью; властная и раздражительная, она склонилась под иго юного Адониса, подобно сладострастной Венере, влюбившейся в красавца охотника и впервые смирившейся и оробевшей перед избранным ею смертным. Она покорилась настолько, что пыталась даже казаться добродетельной, — качество, которым она вовсе не обладала, — и ощущала при этом некое сладостное и нежное умиление: ибо ни для кого не секрет, что обожествление другого существа возвышает и облагораживает души, наименее

склонные к величию и самоотверженности.

Испытанное ею потрясение отразилось и на ее даровании: в театре заметили, что она играет патетические роли естественнее и, с большим чувством. Но так как ее характер и самая сущность ее натуры были, так сказать, надломлены и для того, чтобы вызвать такое превращение, потребовался внутренний кризис, бурный и мучительный, она ослабела физически в этой борьбе, и окружающие замечали с изумлением — одни со злорадством, другие с испугом, — что она с каждым днем теряет свои голосовые данные. Ее голос постепенно угасал. Короткое дыхание и неуверенность интонации вредили блестящей фантазии ее импровизаций. Недовольство собою и страх окончательно подорвали ее силы, и на представлении, предшествовавшем дебюту Консуэло, она пела так фальшиво, испортила столько блестящих мест, что ее друзья, зааплодировавшие было ей, принуждены были умолкнуть, услышав ропот недовольства вокруг. Наконец великий день настал. Зал был так переполнен, что нечем было дышать. Корилла, вся в черном, бледная, взволнованная, еле живая, сидела в своей маленькой темной ложе, выходившей на сцену; она трепетала вдвойне, боясь провала

своего возлюбленного и ужасаясь при мысли о торжестве соперницы. Вся аристократия и все красавицы Венеции, в цветах и в драгоценных камнях, заполняли сияющий огнями трехъярусный полукруг. Франты толпились за кулисами и, по обычаю того времени, в партере. Догаресса, в сопровождении всех важнейших сановников республики, появилась в своей ложе на авансцене. Оркестром должен был дирижировать сам Порпора, а граф Дзустиньяни ожидал Консуэло у двери ее уборной, пока она одевалась. В это время за кулисами Андзолето, облекшись в костюм античного воина, правда с причудливым отпечатком современности, едва не лишаясь сознания от страха, старался подбодрить себя кипрским вином.

Опера, которую ставили, была написана не классиком, не новатором, не строгим композитором старого времени и не смелым современником. Это было неизвестное творение какого-то иностранца. Порпора, во избежание интриг, которые, несомненно, возникли бы среди композиторов-соперников, исполняй он свое собственное произведение или творение другого известного композитора, предложил, — думая прежде всего об успехе своей ученицы, — а потом и разучил

партитуру «Гипермнестры». Это было первое лирическое творение одного молодого немца, у которого не только в Италии, но и нигде в мире не было ни врагов, ни приверженцев и которого попросту звали господин Христофор Глюк.

Когда на сцене появился Андзолето, восторженный шепот пронесся по залу. Тенор, которого он заменил, прекрасный певец, сделал ошибку: он пережил себя, уйдя со сцены, когда у него уже не было ни голоса, ни красоты. Вот почему неблагодарная публика мало сожалела о нем; и прекрасный пол, слушающий больше глазами, чем ушами, был очарован, увидав на сцене вместо угреватого толстяка двадцатичетырехлетнего юношу, свежего, как роза, белокурого, как Феб, сложенного, как статуя Фидия, настоящего сына лагун: bianco, crespo e grassotto .

Он был слишком взволнован, чтобы хорошо спеть свою первую арию, но для того, чтобы увлечь женщин и театральных завсегдатаев, достаточно было и его отличного голоса, красивых поз и нескольких удачных новых пассажей. У дебютанта были великолепные данные, перед ним открывалась блестящая будущность. Трижды грохотал гром аплодисментов, дважды вызывали молодого тенора из-за кулис, по итальянскому и

особенно венецианскому обычаю.

Успех вернул Андзолето смелость, и когда он снова появился вместе с Гипермнестрой, страха в нем как не бывало. Но в этой сцене всеобщим вниманием завладела Консуэло: все видели и слышали только ее.

— Вот она! — раздавалось со всех сторон.

— Кто? Испанка?

— Да, дебютантка. L'amande del Zustiniani .

Консуэло вышла с серьезным, холодным видом и обвела глазами публику; поклоном, в котором не было ни излишнего смирения, ни кокетства, она ответила на залп рукоплесканий своих покровителей и начала речитатив таким уверенным голосом, с такой грандиозной полнотой звука, с таким торжествующим спокойствием, что после первой же фразы театр задрожал от восторженных криков. — Ах, коварный! Он насмеялся надо мной! — вскричала Корилла, метнув ужасный взгляд на Андзолето, который, не удержавшись, взглянул на нее с плохо скрытой усмешкой, и бросилась в глубину своей ложи, заливаясь слезами.

Консуэло пропела еще несколько фраз. В эту минуту послышался надтреснутый голос старика Лотти:

— Amici miei, questo e un portento! Когда она

исполняла выходную арию, ее десять раз прерывали, кричали «бис», семь раз вызывали на сцену, в театре стоял рев исступления. Словом, неистовство венецианских музыкантов-любителей проявилось со всем его пленительным и в то же время смешным жаром.

— Чего они так кричат? — спрашивала Консуэло, вернувшись за кулисы, откуда ее не переставали вызывать. — Можно подумать, что они собираются побить меня камнями!

С этой минуты Андзолето безусловно отошел на второй план. Его принимали хорошо, но только потому, что все были довольны. Снисходительная холодность к его слабым местам и почти равнодушие к удачным говорили о том, что если женщинам — этому экспансивному и шумному большинству — и нравилась его наружность, то мужчины были о нем невысокого мнения и все свои восторги приберегали для примадонны. Из всех тех, кто явился в театр с враждебными намерениями, никто не решился выразить хоть малейшее неодобрение, и, сказать правду, не нашлось и троих, которые устояли бы против стихийного увлечения и непобедимой потребности рукоплескать новоявленному чуду.

Опера имела большой успех, хотя в сущности

самой музыкой никто не интересовался. Это была чисто итальянская музыка, грациозная, умеренно патетическая, но, как говорят, в ней еще нельзя было предугадать автора «Альцесты» и «Орфея». В ней было мало мест, которые бы поражали слушателей своей красотой. В первом же антракте немецкий композитор был вызван вместе с тенором, примадонной и даже Клориндой. Клоринда — благодаря протекции Консуэло — прогнусавила глухим голосом и без всякого выражения свою второстепенную роль, обезоружив всех красотою плеч: Розальба, которую она заменяла, была чрезвычайно худа!

В последнем антракте Андзолето, все время украдкой следивший за Кориллой, заметил, что та все более и более выходит из себя, и счел благоразумным зайти к ней в ложу, дабы предупредить могущую произойти вспышку. Увидав юношу, Корилла, как тигрица, набросилась на него и отхлестала по щекам, исцарапав при этом до крови, так что потом ни белила, ни румяна не могли скрыть следов. Оскорбленный тенор укротил ее пыл, ударив кулаком в грудь с такою силой, что она, едва не лишившись чувств, упала на руки своей сестры Розальбы.

— Подлец! Изменник! Разбойник! — задыхаясь,

бормотала она. — И ты и твоя Консуэло, вы оба погибнете от моей руки!

— Несчастная, посмей только сделать сегодня хоть шаг, хоть жест, посмей только выкинуть какую-нибудь штуку, — и я заколю тебя на глазах у всей Венеции! — прошипел сквозь стиснутые зубы бледный Андзолето, сверкнув перед ее глазами своим неизменным спутником — ножом, которым он владел с искусством настоящего сына лагун.

— Он сделает то, что говорит, — с ужасом прошептала Розальба. — Молю тебя, скорей идем отсюда: здесь нам грозит смерть!

— Да, да, совершенно верно, и помните это, — ответил Андзолето, с шумом захлопывая за собой дверь ложи и запирая ее на ключ.

Хотя эта трагикомическая сцена и проведена была чисто по-венециански — вполголоса, таинственно и молниеносно — все же, когда дебютант быстро прошел из-за кулис в свою уборную, закрывая щеку носовым платком, все догадались, что произошла маленькая стычка. А парикмахер, призванный привести в порядок растрепанные кудри греческого принца и замаскировать полученную им царапину, сейчас же раззвонил среди хористов и статистов о том, что

щека героя пострадала от коготков одной влюбленной кошечки. Парикмахер этот знал толк в такого рода ранах и не раз бывал поверенным в подобных закулисных происшествиях. История эта в мгновение ока обежала всю сцену, каким-то образом перескочила через рампу и пошла гулять из оркестра на балкон, с балкона в ложи и оттуда, уже с разными прикрасами, проникла в глубину партера. Связь Андзолето с Кориллой была еще неизвестна, но некоторые видели, как он увивался вокруг Клоринды, — и вот разнесся слух, что она-де в припадке ревности к примадонне выколола глаз и выбила три зуба красивейшему из теноров. Это повергло в отчаяние некоторых представительниц прекрасного пола, но для большинства явилось очаровательным скандальчиком. Зрители спрашивали друг друга, не будет ли приостановлено представление и не появится ли прежний тенор Стефанини доигрывать роль с тетрадкой в руках. Но вот занавес поднялся. И когда появилась Консуэло, такая же спокойная и величественная, как и вначале, все было забыто. Хотя роль ее сама по себе не была особенно трагической, Консуэло мощью своей игры, выразительностью своего пения сделала ее такою: она заставила проливать слезы; и когда

появился тенор, его царапина вызвала только улыбку. Но все-таки из-за этого смехотворного эпизода успех Андзолето был менее блестящ, чем он мог бы быть, и все лавры в этот вечер достались Консуэло. Ее вызывали без конца, ей неистово, бешено рукоплескали.

После спектакля все отправились ужинать во дворец Дзустиньяни, и Андзолето совсем забыл о запертой в ложе Корилле, которой пришлось взломать дверь, чтобы выйти оттуда. В суматохе, обыкновенно царящей в театре после блестящего представления, никто этого не заметил. Но на следующий день сломанная дверь в Сопоставлении с полученной тенором царапиной навела многих на мысль о любовной интриге, которую Андзолето так тщательно скрывал до сих пор.

Едва лишь занял он место за большим столом, вокруг которого граф усадил своих гостей, устроив роскошный банкет в честь Консуэло, и известные венецианские поэты начали приветствовать певицу только что сочиненными в честь ее мадригалами и сонетами, как лакей тихонько сунул под его тарелку записочку от Кориллы. Он прочитал украдкой:

«Если ты сейчас же не придешь ко мне, я явлюсь за тобой сама и закачу тебе скандал, где бы

ты ни был — хоть на краю света, хоть в объятиях трижды проклятой Консуэло!»

Под предлогом внезапного приступа кашля Андзолето вышел из-за стола, чтобы написать ей ответ. Оторвав кусочек линованной бумаги из нотной тетрадки, лежавшей в передней, он нацарапал карандашом:

«Если хочешь, приходи: мой нож всегда наготове, так же как моя ненависть и презрение к тебе».

Деспот знал, что для женщины, обладающей таким» характером, страх был единственной уздой, угроза — единственной уловкой. Однако он невольно помрачнел и был рассеян во время банкета, а как только встали из-за стола, скрылся и помчался к Корилле.

Он застал несчастную женщину в состоянии, достойном жалости. За истерикой последовали потоки слез; она сидела у окна, растрепанная, с распухшими от слез глазами. Платье, которое она в отчаянии разорвала на себе, висело клочьями на ее вздрагивавшей от рыданий груди. Она отослала сестру и служанку. Проблеск невольной радости озарил ее измученное лицо, когда она увидела того, кого уже не думала больше увидеть. Но Андзолето знал ее слишком хорошо,

чтобы начать утешать. Будучи уверен, что при первом же проявлении сострадания или раскаяния в ней проснутся гнев и жажда мести, он решил держаться уже взятой на себя роли — быть неумолимым, и, хотя в глубине души был тронут отчаянием Кориллы, стал осыпать ее самыми жестокими упреками, а затем объявил, что пришел проститься с ней. Он довел ее до того, что она бросилась перед ним на колени и в полном отчаянии доползла до самых дверей, моля о прощении. Только совсем доконав и уничтожив ее, он сделал вид, будто смягчился. Глядя на эту гордую красавицу, которая валялась в пыли у его ног, словно кающаяся Магдалина, упоенный гордостью и каким-то волнующим пылом, он уступил ее исступленной страсти, и Корилла испытала с ним восторги еще неведомых ей наслаждений. Но и наслаждаясь с этой укрощенной львицей, Андзолето ни на миг не забывал, что она дикий зверь, и до конца выдержал роль прощающего, но оскорбленного повелителя.

Уже начинало светать, когда эта женщина, опьяненная и униженная, спрятав бледное лицо в длинных черных волосах, облокотясь мраморной рукой на влажный от утренней росы балкон, стала тихим, ласкающим голосом жаловаться на

пытки, причиняемые ей любовью.

— Ну да, я ревнива, — говорила она, — и, если хочешь, хуже — завистлива. Не могу перенести, что моя десятилетняя слава в одно мгновение превзойдена новой восходящей звездой, не могу перенести, что жестокая, забывчивая толпа приносит меня в жертву без жалости и сожалений. Когда ты узнаешь восторг успеха и унижение падения, поверь, ты не будешь так строг и требователен к себе, как сейчас ко мне. Ты говоришь, что ничто не потеряно, что моя слава не померкла, что успех, богатство, заманчивые надежды — все это ждет меня в новых странах, что я покорю там новых любовников, пленю новый народ. Пусть даже это так, но неужели, по-твоему, найдется такая вещь на свете, которая могла бы утешить меня в том, что я покинута всеми своими друзьями, сброшена со своего трона, куда еще при мне возведен другой кумир? И этот позор — первый в жизни, единственный за всю мою карьеру — обрушился на меня у тебя на глазах! Скажу более: этот позор — дело твоих рук, рук моего любовника, первого человека, которого я полюбила безумно, даже подло. Ты говоришь еще, что я фальшива и зла, что я разыграла перед тобой лицемерное величие и лживое велико-

душие, но ведь ты сам этого хотел, Андзолето. Я была оскорблена, — ты потребовал, чтобы я делала вид, будто я спокойна, и я держала себя спокойно. Я была недоверчива, — ты потребовал, чтобы я верила в твою искренность, и я поверила. У меня в душе кипели злоба и отчаяние, — ты мне говорил: смейся, и я смеялась. Я была взбешена, — ты мне велел молчать, и я молчала. Что же мне оставалось делать, как не играть роль, мне несвойственную, и приписывать себе мужество, которого во мне нет? А когда это напускное мужество, естественно, покидает меня, когда эта пытка делается невыносимой и я близка к сумасшествию, ты, который сам должен был бы терзаться моими терзаниями, ты топчешь меня ногами и собираешься оставить меня, умирающую, в том болоте, куда сам же меня завел. Ах, Андзолето! У вас каменное сердце, и для вас я стою не больше, чем морской песок, который приносит и уносит набегающая волна. Брани, бей меня, оскорбляй, раз такова потребность твоей сильной натуры, но все же в глубине души пожалей меня! Подумай, как должна быть беспредельна моя любовь к тебе, если, будучи такой скверной, какой ты меня считаешь, я ради этой любви не только переношу все муки, а готова еще и еще страдать…

Но послушай, друг мой, — продолжала она еще нежнее, обнимая его, — все, что ты заставил меня выстрадать, — ничто по сравнению с тем, что я чувствую, когда подумаю о твоей будущности и о твоем счастье. Ты погиб, Андзолето, дорогой мой Андзолето! Погиб безвозвратно! Ты не знаешь, не подозреваешь этого! А я — я это вижу и говорю себе: «Пусть я была бы принесена в жертву его тщеславию, пусть мое падение послужило бы его торжеству, но нет — все это только на его погибель, и я — орудие соперницы, наступившей ногой на голову нам обоим».

— Что хочешь ты этим сказать, безумная? — вскричал Андзолето. — Я не понимаю тебя.

— А между тем ты должен был бы меня понять, по крайней мере понять все, что произошло сегодня вечером. Разве ты не заметил, как публика, несмотря на весь восторг, вызванный твоей первой арией, охладела к тебе после того, как спела она? И — увы! — она всегда так будет петь: лучше меня, лучше всех и, сказать правду, в тысячу раз лучше тебя самого, мой дорогой Андзолето… Значит, ты не видишь, что эта женщина раздавит тебя и, пожалуй, уже раздавила при первом же своем появлении? Не видишь, что ее уродство затмило твою красоту? Да, она некрасива, я при-

знаю это, но я знаю также, что такие женщины, понравившись, способны зажечь в мужчинах более безумную страсть, дать им познать более сильные переживания, чем совершеннейшие красавицы мира… Ты разве не видишь, что ей поклоняются, ее обожают и что всюду, где ты будешь появляться вместе с ней, ты останешься в тени, будешь незаметен? Разве ты не знаешь, что талант артиста нуждается для своего развития в похвалах и успехе точно так же, как новорожденный нуждается в воздухе, чтобы расти и жить? Неужели ты не знаешь, что всякое соперничество сокращает сценическую жизнь артиста, а опасный соперник рядом с нами — это смерть для нашей души, это пустота вокруг нас? Ты видишь это на моем печальном примере: одного страха перед неизвестной мне соперницей, страха, который ты хотел во мне вытравить, было достаточно, чтобы я целый месяц была словно парализована. По мере приближения дня ее торжества я чувствовала, как все более угасает мой голос, как с каждым днем падают мои силы. А ведь я почти не допускала возможности ее торжества! Что же будет теперь, когда я собственными глазами видела это торжество — несомненное, поразительное, неоспоримое? Знаешь, я уже не могу появиться на

сцене в Венеции, а пожалуй, даже и нигде в Италии: я пала духом. Чувствую, что я буду дрожать, что буду не в состоянии издать ни одного звука… И куда уйти от воспоминаний о пережитом? И есть ли место, откуда мне не придется бежать от моей торжествующей соперницы? Да, я погибла, но и ты тоже погиб, Андзолето! Ты умер, не успев насладиться жизнью. И будь я так зла, как ты уверяешь, я бы ликовала, толкала бы тебя к твоей гибели, была б отомщена, а я с отчаянием говорю тебе: если ты еще хоть раз появишься здесь с нею, для тебя в Венеции нет будущности! Если ты будешь сопутствовать ей в поездках, всюду позор и унижение пойдут за тобой по пятам. Если ты будешь жить на ее средства, делить с нею роскошь, прятаться за ее имя, ты будешь влачить самое жалкое и тусклое существование. Хочешь знать, как к тебе будет относиться публика? Люди будут спрашивать: «Скажите, кто этот красивый молодой человек, которого всегда можно видеть с ней?» И им ответят: «Да никто, даже меньше, чем никто, — это или муж, или любовник божественной певицы».

Андзолето стал мрачен, как грозовые тучи, собиравшиеся в это время на востоке небосклона.

— Ты сошла с ума, моя милая Корилла! — от-

ветил он. — Консуэло вовсе не так страшна для тебя, как это рисует тебе сейчас твое больное воображение. Что до меня, то я тебе уже говорил: я не любовник ее и, конечно, никогда не буду ее мужем. Так же как никогда не буду жить в тени ее широких крыльев, точно жалкий птенец. Предоставь ей парить! В небесах довольно воздуха и пространства для всех, кого могучая сила поднимает высоко над землей. Взгляни на эту птичку, не так ли она привольно летает над каналом, как чайка над морем? Ну, довольно этих бредней! Дневной свет гонит меня из твоих объятий. До завтра! И если хочешь, чтобы я вернулся к тебе, будь по-прежнему кротка и терпелива. Ты пленила меня именно кротостью и терпением. Поверь, это гораздо больше идет твоей красоте, чем крики и бешенство ревности!

Все-таки Андзолето вернулся к себе в мрачном расположении духа. И только в постели, почти засыпая, он задал себе вопрос: кто мог проводить Консуэло домой из графского дворца? Это всегда было его обязанностью, и он ее никогда никому не уступал.

— В конце концов, — сказал он себе, кулаком взбивая подушку, чтобы устроиться поудобнее, — если графу суждено добиться своего, так,

пожалуй, для меня же лучше, чтобы это случилось поскорее.

Глава 18

Когда Андзолето проснулся, он почувствовал, что проснулась также и его ревность к графу Дзустиньяни. Тысячи противоречивых чувств бушевали в его душе, и прежде всего новое чувство — зависть к таланту и успеху Консуэло, которую накануне пробудила в нем Корилла. Зависть эта возрастала в нем по мере того, как он снова и снова переживал торжество своей невесты и собственный, как казалось его оскорбленному самолюбию, провал. Затем его стала мучить мысль, что не только в глазах общества, но и на самом деле он может быть оттеснен от этой женщины, ставшей сразу и знаменитой и блестящей, женщины, чьей единственной великой любовью он был еще вчера. Зависть и ревность боролись в нем, и он не знал, какому из этих чувств отдаться, чтобы заглушить другое. Ему представлялись два исхода: либо увезти Консуэло из Венеции и тем самым от графа и отправиться вместе с ней искать счастья, либо, уступив ее сопернику, самому бежать как можно дальше и там добиваться для себя успеха, который Консуэло уже не

будет оспаривать. Все более и более мучаясь этой нерешительностью, Андзолето, вместо того чтобы найти успокоение у своего настоящего друга — Консуэло, ринулся опять в омут, отправившись к Корилле. Та еще больше взбудоражила его, доказывая даже энергичнее, чем накануне, всю невыгодность его положения.

— Никто не может быть пророком в своем отечестве, — говорила она, — и тебе совсем не полезно жить в городе, где ты родился, где тебя видели оборвышем, бегавшим по площадям, где всякий может сказать (ведь аристократы страх как любят хвастаться благодеяниями, подчас даже воображаемыми, которые они оказывают артистам): «Я ему покровительствовал»; «я первый заметил в нем талант»; «это я порекомендовал его такому-то»; «это я предпочел его тому-то». Слишком долго жил ты здесь на улице, мой бедный Андзолето, и потому, раньше чем узнать о твоем таланте, все уже заметили твое красивое лицо. Не так-то легко привести в восторг людей, у которых ты за гроши греб на гондолах, распевая отрывки из Тассо, или бегал по поручениям, чтобы заработать себе на ужин. Консуэло, некрасивая, ведшая уединенную жизнь, представляется здесь чужеземным дивом. К тому же

она испанка, и у нее не венецианский выговор. Ее прекрасное, хотя несколько странное произношение понравилось бы всем, даже будь оно отвратительно, потому что оно ново для слуха. Три четверти твоего небольшого успеха в первом акте тебе дала красота, а в последнем акте к ней уже приглядели.

— Прибавьте к этому, что шрам под глазом, которым вы меня наградили и которого мне не следовало бы никогда вам прощать, немало уменьшил это мое последнее, ничтожное преимущество.

— Это преимущество, быть может, и ничтожно в глазах мужчин, но оно очень велико в глазах женщин. Благодаря женщинам ты будешь царить в салонах; без помощи мужчины ты провалишься на сцене. А как можешь ты захватить, увлечь мужчин, когда твоим соперником является женщина, и какая женщина! Покоряющая не только серьезных любителей пения, но опьяняющая своей грацией, своей женственностью даже и тех мужчин, которые ничего не понимают в музыке. О, сколько нужно было таланта и знания Стефанини, Саверио и всем, кто появлялся со мною на сцене, чтобы бороться со мной!

— В таком случае, дорогая Корилла, мне было

бы так же рискованно появляться с тобой, как и с Консуэло. И если бы я надумал отправиться вслед за тобой во Францию, твои слова явились бы для меня хорошим предостережением.

Эта фраза, вырвавшаяся у Андзолето, была лучом света для Кориллы. Она поняла, что добилась большего, чем ожидала, так как мысль покинуть Венецию уже, очевидно, созревала в уме ее возлюбленного. Как только у нее блеснула надежда увезти его с собой, она пошла на все, чтобы соблазнить его этим планом. Она умалила, насколько могла, свои достоинства, с безграничной скромностью уверяя, что она гораздо ниже своей соперницы, что она вообще не настолько крупная артистка, не настолько красивая женщина, чтобы воспламенять публику. А так как это было, в сущности, более верно, чем она думала, то ей и нетрудно было убедить в этом Андзолето: он ведь никогда не заблуждался на ее счет и всегда считал Консуэло неизмеримо выше ее. Итак, в это свидание их совместная работа и побег были почти решены. Андзолето действительно серьезно подумывал об этом, хотя на всякий случай и оставлял себе лазейку для отступления.

Корилла, видя, что у Андзолето еще остаются какие-то сомнения, стала настаивать на продол-

жении дебютов, предсказывая, что в этих новых выступлениях он добьется большего успеха. В душе она была убеждена в обратном и рассчитывала, что неудачи окончательно отвратят его и от Венеции и от Консуэло…

Выйдя от любовницы, Андзолето направился к своей подруге; его неудержимо влекло к ней. Впервые он начал и кончил день без ее чистого поцелуя в лоб. Но после того, что произошло у него с Кориллой, ему было стыдно видеть свою невесту, и он старался уверить себя, будто идет к ней лишь затем, чтобы убедиться в ее измене, увериться в том, что она разлюбила его. «Вне всякого сомнения, — говорил он себе, — граф воспользовался удобным случаем, а тут еще досада самой Консуэло, вызванная моим исчезновением! Просто невероятно, чтобы такой развратник, как он, проведя с бедняжкой ночь наедине, не соблазнил ее». Однако при одной мысли об этом на лбу у него выступал холодный пот, душа разрывалась на части, и он ускорял шаг, не сомневаясь в том, что Консуэло, должно быть, в отчаянии, мучиться угрызениями совести, рыдает… Но тут некий внутренний голос, заглушая все остальное, подсказывал ему, что такое чистое, благородное существо не может столь внезапно и позорно

пасть, и, замедляя шаг, он думал о себе самом, о гнусности своего поведения, о своем эгоизме, тщеславии, лживости, о всем дурном, чем полны были его жизнь и совесть.

Он застал Консуэло сидящей за столом. Она была в черном платьице, такая же, как всегда; и во взгляде и во всем существе ее чувствовались спокойствие, святость. С обычной радостью она кинулась ему навстречу и стала расспрашивать с беспокойством, но без малейшего упрека или недоверия, как он провел время без нее.

— Мне нездоровилось, — ответил Андзолето, подавленный сознанием своего унижения. — Помнишь, я ударился головой о декорацию, я еще показывал тебе след? Тогда я сказал тебе, что это пустяки, но потом у меня так разболелась голова, что мне пришлось уйти из дворца Дзустиньяни — я боялся упасть там в обморок — и все утро пролежал в постели.

— Ах, боже мой! — воскликнула Консуэло, целуя рубец, оставленный ее соперницей. -

Скажи, тебе было больно? Больно и теперь?

— Нет, сейчас мне гораздо лучше. Не стоит думать об этом. Лучше скажи мне, как же ты одна вернулась ночью домой?

— Одна? О нет, граф проводил меня до дому в

своей гондоле.

— Так я и знал! — воскликнул Андзолето каким-то странным голосом.

— И, конечно… будучи наедине с тобой, чего только он не наговорил тебе… каких только любезностей не напел!

— А что бы он мог сказать мне такого, чего не говорил уже сто раз при всех? Граф, правда, балует меня и, пожалуй, мог бы развить во мне тщеславие, если бы я не остерегалась этого порока… К тому же мы не были с ним наедине: мой добрый учитель тоже захотел проводить меня. О, это чудесный друг!

— Какой учитель, какой чудесный друг? — переспросил рассеянно Андзолето, уже успокоившись и думая о другом.

— Как какой? Да Порпора, конечно! О чем это ты вдруг задумался?

— Я думаю о твоем вчерашнем триумфе. Конечно, и ты думаешь о нем?

— Клянусь тебе, меньше, чем о твоем!

— О моем! Не издевайся надо мной, милая Консуэло! Мой успех был так жалок, что больше походил на провал.

Консуэло даже побледнела от изумления. При всей своей удивительной выдержке она была

недостаточно хладнокровна, чтобы оценить разницу между аплодисментами, выпавшими на долю ей и тому, кого она любила. При подобного рода овациях самый опытный артист может впасть в заблуждение и принять поддержку со стороны клакеров за шумный успех. Консуэло, чуть ли не испугавшись этого страшного шума, не могла в нем разобраться и не заметила предпочтения, оказанного ей по сравнению с Андзолето. В простоте душевной она пожурила его за чрезмерную требовательности к судьбе, но, видя, что ей не удается ни убедить его, ни разогнать его тоску, стала кротко упрекать его за то, что он слишком любит славу и слишком большое значение придает благосклонности толпы.

— Я всегда говорила, — сказала она, — что плоды искусства куда дороже тебе, чем само искусство. А вот мне кажется, раз сделал все, что мог, и сознаешь, что это сделано хорошо, то немножко больше, немножко меньше похвал ничего не прибавляют к чувству внутреннего удовлетворения. Помнишь, что мне сказал Порпора, когда я в первый раз пела во дворце Дзустиньяни: «Тот, кто истинно любит искусство, ничего не боится».

— Ты и твой Порпора можете питаться прекрасными изречениями, — прервал ее Андзолето с

досадой. — Нет ничего легче, как философствовать по поводу горестей жизни, зная только ее радости. Порпора, хотя беден и имеет врагов, все-таки знаменит. Он достаточно за свою жизнь сорвал лавров, чтобы теперь его кудри спокойно седели под их сенью. А ты, чувствуя свою непобедимость, не знаешь, что такое страх. Сразу, одним прыжком взобравшись на верхнюю ступеньку лестницы, ты упрекаешь человека, который не так крепко, как ты, стоит на ногах, в том, что у него кружится голова. Это не великодушно, Консуэло, и крайне несправедливо. А потом твой довод неприменим ко мне: ты говоришь, что надо презирать одобрение публики, довольствуясь собственным; но если во мне нет этого внутреннего сознания, что я пел хорошо? Разве ты не видишь, что я страшно недоволен собой? Разве ты сама не заметила, что я был отвратителен? Разве ты не слыхала, как скверно я пел?

— Нет, потому что это не так. Ты был ни лучше, ни хуже, чем всегда. Волнение почти не отразилось на твоем голосе; впрочем, оно ведь скоро и рассеялось. И то, что ты хорошо знал, вышло у тебя хорошо.

— А то, чего я не знал? — спросил Андзолето, устремив на нее свои большие черные глаза, под

которыми от усталости и огорчения появились черные круги.

Консуэло вздохнула и, помолчав немного, проговорила, целуя его:

— А то, чего ты не знаешь, надо выучить. Если б только ты захотел серьезно позаниматься на репетициях… Ведь, помнишь, я тебе говорила… Но к чему упреки, — надо поскорее исправить, что можно. Давай заниматься хоть по два часа в день, и ты увидишь, как быстро мы с тобой преодолеем все трудности.

— Разве этого можно достичь в один день?

— Конечно, нет, но не долее, чем в несколько месяцев. — А ведь я пою завтра и снова выступаю перед публикой, которая больше судит обо мне по моим недостаткам, чем по достоинствам.

— Но эта же публика заметит и твои успехи.

— Кто знает! А что, если она меня возненавидит?

— Она уже доказала тебе обратное.

— Да! Так ты находишь, что она была ко мне снисходительна?

— Да, дорогой, нахожу: там, где ты бывал слаб, публика все-таки относилась к тебе доброжелательно, а когда ты бывал на высоте — она воздавала тебе должное.

— Но пока что со мной заключат самый жалкий ангажемент.

— Граф — сама щедрость, он не скупится на деньги. К тому же разве он не предлагает мне столько, что мы оба сможем жить более чем роскошно?

— Прекрасно! Значит, я, по-твоему, буду жить твоими триумфами?

— А разве я мало жила на твои средства?

— Тут дело даже не в деньгах. Пусть он мне платит немного — это мне безразлично, но он может пригласить меня на вторые или на третьи роли.

— У него нет никого под рукой на первые; он давно уже рассчитывает на тебя и имеет в виду только тебя. К тому же он очень к тебе расположен. Ты думал, что он будет против нашего брака? Наоборот, он, по-видимому, даже желает этого и часто меня спрашивает, когда наконец я приглашу его на свадьбу.

— Вот как! Превосходно! Чрезвычайно благодарен вам, господин граф!

— Что ты хочешь этим сказать?

— Ничего. Только очень жаль, Консуэло, что ты не удержала меня от дебюта до тех пор, пока мои недостатки, которые так хорошо тебе известны, не были бы исправлены с помощью серьезной

работы. Ведь, повторяю, ты отлично знала об этих недостатках.

— А разве я не была откровенна с тобой? Сколько раз я тебя предупреждала! Но ты всегда возражал мне, что публика ровно ничего не смыслит. И, услыхав о твоем блестящем успехе, когда ты в первый раз пел в салоне графа, я подумала, что…

— Что светские люди понимают в этом не более простых смертных?

— Я подумала, что на твои достоинства обратят больше внимания, чем на твои слабые стороны. Да, кажется, так оно и было, и у светских ценителей и у обыкновенной публики.

«В сущности, она права, — подумал Андзолето. — И если бы я только мог отложить свои дебюты… Но я рискую быть замененным другим тенором, а тот, уж конечно, не уступит мне своего места».

— Ну-ка, скажи, какие у меня недостатки, — попросил он Консуэло, пройдясь несколько раз по комнате.

— Те, о которых я не раз тебе говорила: слишком много смелости и слишком мало подготовки; подъем скорее лихорадочный, чем прочувствованный; в драматических местах больше надуманности, чем чувства. Ты недостаточно

ясно представляешь себе роль в целом. Разучив ее отрывками, ты видишь в ней только ряд более или менее блестящих мест. Ты не уловил в роли ни постепенного развития ее, ни заключения. Думая только о том, как блеснуть своим прекрасным голосом и некоторым умением, ты показал всего себя сразу, при первом же выходе. При малейшей возможности ты гнался за эффектами, но все твои эффекты были одинаковы. Уже в конце первого акта публика знала тебя наизусть, но, не подозревая, что это все, ждала от тебя еще чего-то необыкновенного, а этого в тебе как раз и не оказалось. Приподнятость исчезла, и голос ослабел. Ты почувствовал это сам и изо всех сил стал форсировать и то и другое. Этот маневр публика поняла, и вот почему, к великому твоему удивлению, она оставалась холодна в тех местах, когда тебе казалось, что ты наиболее патетичен… В эту минуту она видела в тебе не артиста, увлеченного страстью, а только актера, жаждущего успеха.

— А как же, скажи, делают другие? — топнув ногой, воскликнул Андзолето. — Разве я не слышал всех, кому последние десять лет аплодировала Венеция? Разве старик Стефанини не кричал, когда бывал не в голосе? И это не мешало публике неистово ему аплодировать.

— Это правда. Но я не думаю, чтобы здесь со стороны публики было непонимание. Вероятно, помня старые его заслуги, она не хотела дать ему почувствовать его закат.

— Ну, а Корилла, этот свергнутый тобою кумир, разве она не форсировала своего голоса, разве не делала усилий, которые было мучительно не только слушать, но даже видеть? Разве она была в самом деле захвачена страстью, когда ее превозносили до небес?

— Вот именно потому, что я находила все ее приемы фальшивыми, эффекты — отвратительными, а пение и игру — лишенными вкуса и величия, я и была, так же как ты, убеждена в том, что публика понимает не слишком много, и вышла на сцену так спокойно.

— Ах, Консуэло, дорогая, как ты растравляешь мою рану, — тяжко вздыхая, проговорил Андзолето.

— Чем, мой любимый?

— И ты еще спрашиваешь! Мы ошибались с тобой, Консуэло. Публика все понимает. Там, где не хватает знания, ей подсказывает сердце. Публика — это дитя, ей нужны забава и эмоции. Она довольствуется тем, что ей дают, но только покажи ей лучшее — она сейчас же начинает

сравнивать и понимать. Корилла фальшивила, у нее не хватало дыхания, но еще неделю назад она могла пленять. Явилась ты, и Корилла погибла; она уничтожена, похоронена. Выступи она теперь — ее освищут. Появись я с ней, успех мой был бы так же головокружителен, как тогда, когда я в первый раз пел у графа после нее. Но рядом с тобой я померк. Так должно было быть, и так будет всегда. Публике нравилась мишура, она фальшивые камни принимала за драгоценные и была ими ослеплена. Но вот ей показали бриллиант, и она уже сама не понимает, как могли так грубо обманывать ее. Больше терпеть фальшивых бриллиантов она не желает и отбрасывает их. В этом-то, Консуэло, и состоит мое несчастье: я — венецианское стеклышко — выступил вместе с жемчужиной со дна морского…

Консуэло не поняла, сколько было правды и горечи в словах ее жениха. Она приписала их его любви и на всю эту, как ей казалось, милую лесть, смеясь, ответила ласками. Она уверила Андзолето, что он перещеголяет ее, если только захочет постараться, и возродила в нем мужество, доказывая, что петь, как она, совсем не так уж трудно. Она говорила это искренне, так как не знала, что такое трудности, и не подозревала, что

труд для тех, кто его не любит и у кого нет усидчивости, является главным и непреодолимым препятствием.

Глава 19

Поощряемый чистосердечием Консуэло и коварными советами Кориллы, настаивавшей на его вторичном выступлении, Андзолето с жаром принялся за работу и на втором представлении «Гипермнестры» гораздо лучше спел первый акт. Публика оценила это. Но так как пропорционально возрос и успех Консуэло, он, видя это подтверждение ее превосходства, остался недоволен собой и снова пал духом. С этой минуты все стало представляться ему в мрачном свете. Андзолето казалось, что его совсем не слушают, что сидящие вблизи зрители шепотом судачат на его счет, что даже его доброжелатели, подбадривая его за кулисами, делают это только из жалости. Во всех их похвалах он искал какой-то иной, скрытый, неприятный для себя смысл. Корилла, к которой он в антракте зашел в ложу, чтобы узнать ее мнение, с притворным беспокойством спросила, не болен ли он.

— Откуда ты это взяла? — раздраженно спросил он.

— Потому что голос твой нынче звучит как-то

глухо и вид у тебя подавленный. Андзолето, дорогой, приободрись, напряги свои силы — они парализованы страхом или унынием.

— Разве я плохо спел свою выходную арию?

— Гораздо хуже, чем на первом представлении! У меня так сжималось сердце, что я боялась упасть в обморок.

— Однако мне аплодировали!

— Увы!.. Впрочем, я напрасно разочаровываю тебя. Продолжай, только старайся, чтобы голос звучал чище…

«Консуэло, — думал он, — конечно, хотела дать мне хороший совет. Сама она в своих поступках руководствуется инстинктом, и это ее вывозит. Но откуда у нее может быть опыт, как может она научить меня победить эту строптивую публику? Следуя ее советам, я скрываю блестящие стороны своего таланта; если же я улучшу манеру пения, никто все равно этого не заметит. Буду дерзок по-прежнему. Разве я не видел во время моего дебюта в доме графа, что могу поразить даже тех, кого не могу убедить? Ведь признал же во мне старик Порпора гениальность — правда, находя на ней пятна! Так пусть же публика преклонится пред моей гениальностью и терпит мои пятна!»

Во втором акте он лез из кожи вон, выкидывал

невероятные штуки. Его слушали с удивлением. Некоторые стали аплодировать, но их заставили умолкнуть. Большая часть публики недоумевала, не понимая, был ли тенор божественен или отвратителен.

Еще немного дерзости — и, может быть, Андзолето вышел бы победителем, но эта неудача так смутила его, что он совсем потерял голову и позорно провалил конец партии.

В третьем акте он приободрился и решил действовать по-своему, не следуя советам Консуэло: он пустил в ход самые своеобразные приемы, самые смелые музыкальные фокусы. И вдруг — о, позор! — среди гробового молчания, которым были встречены эти отчаянные попытки, послышались свистки. Добрая, великодушная публика своими аплодисментами заставила свистки умолкнуть, но трудно было не понять, что означала эта благосклонность к человеку и это порицание артисту. Вернувшись в уборную, Андзолето в бешенстве сорвал с себя костюм и разодрал его в клочья. Как только кончился спектакль, он убежал к Корилле и заперся с ней. Страшная ярость бушевала в нем, и он решил бежать со своей любовницей хоть на край света. Три дня он не виделся с Консуэло. Не то чтобы

он возненавидел ее или охладел к ней: в глубине своей истерзанной души он так же нежно ее любил и смертельно страдал, не видя ее, но она внушала ему какой-то ужас. Он чувствовал над собой власть этого существа, которое своей гениальностью уничтожало его перед публикой, но вместе с тем внушало ему безграничное доверие и могло делать с ним все, что угодно. Полный смятения, он не в состоянии был скрыть от Кориллы, насколько он привязан к своей благородной невесте и как велико было ее влияние на него до сих пор. У Кориллы это вызвало чувство глубокой горечи, но она нашла в себе силы не выдать его. Выказывая Андзолето притворное сострадание, она все от него выведала и, узнав о его ревности к графу, решилась на отчаянный шаг: тихонько довести до сведения Дзустиньяни о своей связи с Андзолето. Она рассчитывала, что граф не упустит случая сообщить об этом предмету своей страсти и, таким образом, для Андзолето будет отрезан всякий путь возвращения к невесте.

Просидев целый день одна в своей убогой комнате, Консуэло сначала удивилась, а потом начала беспокоиться. Когда же и весь следующий день прошел таким же образом, в тщетном ожидании и смертельном беспокойстве, она, лишь

только стало темнеть, накинула на голову плотную шаль (знаменитая певица не была теперь гарантирована от сплетен) и побежала в дом, где жил Андзолето. Уже несколько недель, как граф предоставил ему в одном из своих многочисленных домов более приличное помещение. Она его не застала и узнала, что он редко ночует дома.

Однако это не навело Консуэло на мысль об измене. Хорошо зная страсть своего жениха к поэтическому бродяжничеству, она решила, что он, не сумев привыкнуть к новому роскошному помещению, вероятно, ночует в одном из своих прежних пристанищ. Она уже решилась было отправиться на дальнейшие поиски, как у двери на улицу столкнулась лицом к лицу с Порпора.

— Консуэло, — тихо проговорил старик, — напрасно ты закрываешь от меня лицо, я слышал твой голос и, конечно, не мог не узнать его. Бедняжка, что ты тут делаешь так поздно и кого ты ищешь в этом доме?

— Я ищу своего жениха, — ответила Консуэло, беря под руку старого учителя, — и мне нечего краснеть, признаваясь в этом моему лучшему другу. Знаю, что вы не сочувствуете моей любви к нему, но я не в силах вам лгать. Я страшно беспокоюсь: я не видела Андзолето после спектакля

уже целых два дня. Боюсь, не заболел ли он.

— Заболел? Он? — переспросил профессор, пожимая плечами. — Пойдем со мною, бедное дитя, нам надо поговорить. Раз ты наконец решила быть со мной откровенной, я также буду откровенен с тобой. Обопрись на мою руку, и поговорим дорогой. Выслушай меня, Консуэло, и хорошенько вникни в то, что я тебе скажу. Ты не можешь, ты не должна быть женою этого юноши. Запрещаю тебе это именем бога живого, который вложил в мое сердце отеческое чувство к тебе.

— О мой учитель, лучше попросите, чтобы я пожертвовала жизнью, чем этой любовью! — печально ответила она.

— Я не прошу, а требую этого! — решительно сказал Порпора. — Твой возлюбленный — проклят. Если ты сейчас же не откажешься от него, он будет для тебя источником мук и позора.

— Дорогой учитель, — проговорила она с грустной, кроткой улыбкой, вы ведь не раз уже говорили мне это, и я тщетно пыталась последовать вашему совету. Вы ненавидите бедного мальчика. Но вы его не знаете, и я убеждена, что когда-нибудь вы откажетесь от своего предубеждения против него.

— Консуэло, — начал профессор еще более ре-

шительным тоном, — я знаю, что до сих пор мои доводы были слабы, а возражения, быть может, и неубедительны. Я говорил с тобой как артист с артисткой и в женихе твоем видел тоже только артиста. Сейчас же я говорю с тобой как мужчина с женщиной и говорю о мужчине. Ты — женщина, любишь недостойного мужчину, и я говорю это с полным убеждением.

— Боже мой! Андзолето недостоин моей любви! Он! Мой единственный друг, мой покровитель, мой брат! Ах, вы не знаете, сколько он мне помогал, как бережно относился ко мне с самого детства! Позвольте вам все, все рассказать. — И она рассказала ему историю своей жизни и своей любви, что, в сущности, было одно и то же.

Порпора был тронут, но оставался непоколебим.

— Во всем этом, — проговорил он, — я вижу только твою невинность, твою верность, твою добродетель. Что же касается Андзолето, то я понимаю, что ему необходимо было твое общество, твои уроки; ведь, что ты там ни говори, а тем немногим, что он знает и чего стоит, он обязан именно тебе. Это так же верно, как и то, что твой целомудренный, непорочный возлюбленный близок со всеми падшими женщинами Венеции,

что он утоляет зажигаемую тобой страсть в вертепах разврата и, удовлетворив ее там, является к тебе лишь для того, чтобы извлечь пользу из твоих знаний.

— Будьте осторожны в ваших словах, — задыхаясь, проговорила Консуэло.

— Я привыкла вам верить как богу, дорогой учитель, но я не хочу слушать, не хочу верить тому, что вы говорите о моем Андзолето. Пустите меня! — прибавила она, пытаясь высвободить свою руку из-под руки профессора. — Вы просто убиваете меня!

— Нет! Я хочу убить твою пагубную любовь, а тебя вернуть к жизни, открыв тебе правду! — ответил старик, прижимая руку девушки к своему возмущенному великодушному сердцу. — Я знаю, что я жесток, Консуэло, но я не умею быть иным. Вот почему я оттягивал этот удар, насколько было возможно. Я все надеялся, что глаза твои откроются и ты сама увидишь, что делается вокруг тебя. Но жизнь не научила тебя ничему, и ты, как слепая, готова броситься в пропасть. Я не допущу этого — я удержу тебя на краю пропасти. В последние десять лет ты была единственным существом, которое я любил и ценил. Ты не должна погибнуть! Нет, нет, не должна!

— Но, друг мой, мне не грозит никакая опасности! Неужели вы не верите мне, когда я клянусь вам всем святым, что не нарушила обещания, данного мною матери перед ее смертью? Андзолето тоже сдержал эту клятву. И если я еще не жена его, то, значит, и не любовница.

— Но стоит ему сказать слово, и ты будешь и тем и другим!

— Да ведь сама моя мать взяла с нас такое обещание!

— А между тем сейчас, ночью, ты шла к человеку, который не хочет и не может быть твоим мужем…

— Кто вам это сказал?

— Разве Корилла ему позволит?..

— Корилла? Что же общего между ним и Кориллой?

— Мы в двух шагах от дома этой девки… Ты ищешь своего жениха… так пойдем за ним туда. Что? Хватит у тебя на это мужества?

— Нет, нет! Тысячу раз нет! — воскликнула Консуэло, еле держась на ногах и прислоняясь к стене. — Не отнимайте у меня жизни, дорогой учитель, ведь я еще совсем не жила! Не убивайте меня! Поймите, вы меня убиваете!

— Ты должна испить эту чашу, — продолжал

неумолимый старик. — Мне здесь принадлежит роль судьбы. Своей кротостью и снисходительностью я порождал только неблагодарных, а следовательно, и жалких людей. Теперь я вижу: тем, кого я люблю, я должен говорить чистую правду. Это единственная польза, которую может еще принести мое сердце, иссохшее от горя и окаменевшее от страданий. Жаль мне, мое бедное дитя, что в столь злополучный для тебя час нет подле тебя более мягкого, более нежного друга. Но такой, каким меня сделала жизнь, я должен влиять на других, и если я не могу отогреть их солнечным теплом, я должен показывать им правду при блеске молнии. Итак, Консуэло, между нами нет места слабости! Идем в этот дворец! Я хочу, чтобы ты застала Андзолето в объятиях развратной Кориллы. Если ты не в состоянии идти — я потащу тебя; если упадешь — понесу. Когда в сердце старого Порпоры пылает огонь божественного гнева, силы у него найдутся!

— Пощадите, пощадите! — вскричала бледная как полотно Консуэло. — Оставьте мне хоть сомнение… Позвольте еще день… один только день… верить в него. Я не готова к этой пытке…

— Нет! Ни одного дня, ни одного часа! — отрезал старик непреклонно. — Упустив этот час, я,

быть может, уже не смогу воочию показать тебе истину, а тем днем, который ты вымаливаешь у меня, воспользуется этот негодяй, чтобы опять ослепить тебя ложью. Нет, ты пойдешь со мной! Я хочу этого, я приказываю!

— Хорошо! Я пойду! — проговорила Консуэло, чувствуя новый прилив любви и сил. — Но пойду только для того, чтобы доказать вашу несправедливость и верность моего жениха. Вы постыдно заблуждаетесь и хотите, чтоб и я заблуждалась вместе с вами! Идемте же, палач, идемте, я не боюсь вас!

Боясь, чтобы девушка не раздумала, Порпора схватил ее за руку своей жилистой, крепкой, как железные клещи, рукой и потащил в дом, где жил сам. Здесь, проведя ее по бесконечным коридорам и заставив подняться по бесконечным лестницам, он привел ее на верхнюю террасу. Отсюда, поверх крыши более низкого и совершенно необитаемого дома, был виден дворец Кориллы. Он был темен сверху донизу, светилось лишь одно окно, выходившее на мрачный, безмолвный фасад необитаемого дома. Казалось, что в это окно ниоткуда нельзя заглянуть: выступающий далеко вперед балкон мешал видеть снизу; на одном с ним уровне не было ничего, выше же

— лишь крыша дома, где жил Порпора, но и с нее невозможно было заглянуть во дворец певицы. Однако Корилла не знала, что на углу этой крыши возвышался выступ, образовывавший род ниши под открытым небом. И сюда профессор по какому-то свойственному артистам капризу убегал каждый вечер от себе подобных, чтобы, спрятавшись за широкой печной трубой, любоваться звездами и обдумывать свои музыкальные творения — духовные или же предназначенные для сцены. Таким образом, случай открыл профессору тайну связи Андзолето и Кориллы; для Консуэло тоже достаточно было взглянуть по направлению, указанному Порпорой, чтобы увидеть своего возлюбленного в объятиях соперницы. Она тотчас же отвернулась. Порпора, боясь, как бы под влиянием отчаяния ей не сделалось дурно, подхватил ее под руку и — откуда только взялись силы! — почти снес ее в нижний этаж, к себе в кабинет, где поспешил закрыть дверь и окно, чтобы сохранить в тайне взрыв отчаяния, которого он ожидал.

Глава 20

Но никакого взрыва не произошло. Консуэло сидела безмолвная и убитая.

Порпора заговорил было с ней, но она сделала знак, чтобы он ни о чем ее не спрашивал. Вдруг она поднялась, подошла к клавесину, на котором стоял графин с холодной водой, и залпом, стакан за стаканом, опорожнила его. Затем, пройдясь несколько раз по комнате, не проронив ни слова, снова села напротив учителя.

Суровый старик не понял всей глубины ее страдания.

— Ну что? — сказал он. — Обманул я тебя? Что ты думаешь теперь делать?

Мучительная дрожь пробежала по ее словно окаменевшему телу, и, проведя рукой по лбу, она проговорила:

— Думаю ничего не делать, пока не пойму того, что случилось.

— А что тебе надо еще понять?

— Все, так как я ровно ничего не понимаю. Я сижу здесь у вас, силюсь найти причину своего несчастья — и не нахожу. Что дурного сделала я

Андзолето, чтобы он мог разлюбить меня? Какой совершила проступок, чтобы он мог меня презирать? Вы-то, конечно, не можете ответить мне на это, раз я сама, роясь в глубине своей совести, не в состоянии отыскать ключ к этой тайне. О, это нечто непостижимое! Мать моя верила в силу любовных зелий… Уж не чародейка ли эта Корилла?

— Бедная девочка! — сказал профессор. — Правда, здесь дело не обошлось без чар, но имя им — Тщеславие. Действует тут и яд, и зовется он Завистью. Корилла могла влить в него этот яд, но не она создала его душу, способную так впитывать его. Яд уже был в порочной крови Андзолето. Лишняя капля его превратила плута в предателя, неблагодарного, каким он всегда был — в изменника.

— Какое же тщеславие? Какая зависть?

— Тщеславие его в том, чтобы всех превзойти, превзойти и тебя, а бешеная зависть — к тебе, затмившей его.

— Да может ли это быть? Может ли мужчина завидовать преимуществам женщины? Неужели мужчина, любящий женщину, способен относиться со злобой к ее успеху? Значит, есть много такого, чего я не знаю и что не в состоянии по-

нять.

— Ты никогда и не поймешь этого, но на каждом шагу будешь встречаться с этим в жизни. Ты узнаешь, что мужчина может завидовать таланту женщины, если он тщеславный артист; узнаешь, что возлюбленный может со злобой относиться к успехам любимой женщины, если сфера их деятельности — театр. Ведь актер, Консуэло, не мужчина, он — женщина. Он живет болезненным тщеславием, думает только об удовлетворении своего тщеславия, работает, чтобы опьяняться тщеславием… Красота женщины вредит ему, ее талант затемняет, умаляет его собственный. Женщина — его соперник, или, вернее, он — соперник женщины; в нем вся мелочность, все капризы, вся требовательность, все смешные стороны кокетки. Таков характер большинства мужчин, подвизающихся на сцене. Бывают, конечно, великие исключения, но они так редки, так ценны, что пред ними надо преклоняться, им следует оказывать больше уважения, чем самым известным ученым. Андзолето не является исключением. Из всех тщеславных он наитщеславнейший: вот в чем секрет его поведения.

— Но какая непонятная месть! Какой жалкий, мелочный способ отмщения!

— проговорила Консуэло. — Как может Корилла утешить его в том, что публика в нем разочаровалась? Если б только он откровенно признался мне в своих мучениях… Ведь стоило ему сказать одно слово, и я, быть может, поняла бы его, во всяком случае отнеслась бы к нему с сочувствием: стушевалась бы, лишь бы уступить ему место.

— Завистливым душам свойственно ненавидеть людей за то, что те якобы отнимают у них счастье. А в любви не то же ли самое? Разве наслаждения, доставляемые любимому существу другими, не кажутся отвратительными? Твоему возлюбленному внушает омерзение публика; венчающая тебя лаврами, тогда как тебе внушает ненависть соперница, опьяняющая его наслаждением. Разве не так?

— Вы высказали глубокую мысль, дорогой учитель, и я должна в нее вникнуть.

— Это истина! Андзолето ненавидит тебя за твой успех на сцене, а ты ненавидишь его за те наслаждения, которые ему дарит в своем будуаре Корилла.

— Нет, я не в состоянии ненавидеть его, и вы помогли мне понять, что было бы низко и постыдно ненавидеть мою соперницу. Значит, весь вопрос в том наслаждении, которым она его опьяняет и

о котором я не могу думать без ужаса, — отчего, сама не знаю. Но ведь если это преступление невольное, Андзолето тогда тоже не так уж виновен, относясь с ненавистью к моему успеху.

— Ты готова все истолковать так, чтобы найти оправдание его поведению и чувствам... Нет, Андзолето не так невинен и не так достоин уважения в своем страдании, как ты. Он обманывает тебя, унижает тебя, тогда как ты стремишься его оправдать. Впрочем, я вовсе не хотел пробуждать в тебе ни ненависти к нему, ни злобы, а только спокойствие и безразличие. Поступки этого человека вытекают из его характера. Ты его никогда не переделаешь. Примирись с этим и думай о себе.

— О себе? То есть о себе одной? О себе, без надежды, без любви?

— Думай о музыке, о божественном искусстве! Неужели, Консуэло, ты посмеешь сказать, что любишь искусство только ради Андзолето?

— Я любила искусство и ради самого искусства. Но я никогда не разделяла в мыслях эти две неразделимые вещи: свою жизнь и жизнь Андзолето. И когда эта неотъемлемая половина моей жизни будет от меня отнята, я не представляю себе, как я смогу любить еще что-либо.

— Андзолето был для тебя не чем иным, как идеей, которой ты жила; ты заменишь ее другой, более возвышенной, более чистой, более живительной. Твоя душа, твоя гениальность, все твое существо не будет более во власти непрочного, обманчивого образа, ты постигнешь высокий идеал, свободный от земной оболочки, мысленно вознесешься на небо и соединишься священными брачными узами с самим богом!

— Вы хотите сказать, что я сделаюсь монахиней, как вы мне когда-то советовали?

— Нет, это значило бы ограничить твое артистическое дарование одним жанром музыки, а ты должна охватить все. Чему бы ты себя ни посвятила, где бы ты ни была, на сцене или в монастыре, везде ты сможешь быть святой, небесной девой, невестой священного идеала!

— То, что вы говорите, так возвышенно, так полно таинственных образов. Позвольте мне удалиться, дорогой учитель. Я должна сосредоточиться и понять себя.

— Совершенно верно, Консуэло, ты должна понять себя. До сих пор ты не знала себя, отдавая всю свою душу, всю свою будущность существу, во всех отношениях не стоящему тебя. Ты не понимала своего назначения, не видела, что тебе

нет равных и что, следовательно, у тебя не может быть спутника в личной жизни. Тебе нужно одиночество, тебе нужна полная свобода. Я не желаю тебе ни мужа, ни любовника, ни семьи, ни страсти, ни каких бы то ни было уз. Вот как я всегда представлял себе твое существование, вот как я понимал твой жизненный путь. В тот день, когда ты отдашься смертному, ты утратишь свою божественность. Ах, если бы Минготти и Мольтени, мои знаменитые ученицы, мои великие создания, послушались меня, они не имели бы соперниц на земле! Но женщина слаба и любопытна: тщеславие ослепляет ее, суетные желания волнуют, причуды увлекают… Спрашивается, что дало им удовлетворение своих порывов? Бури, усталость, гибель или извращение их гениальности! Разве ты не хочешь превзойти их, Консуэло? Разве у тебя нет честолюбия, парящего выше всех суетных благ земных? Неужели ты не захочешь заглушить в себе голос сердца, чтобы стяжать прекраснейший венец, каким когда-либо был увенчан гений?

Долго еще говорил Порпора с энергией и красноречием, которых мне не передать. Консуэло слушала его, опустив голову и устремив глаза в землю. Когда, высказав все, он умолк, она про-

говорила:

— Учитель, вы великий человек, но я слишком ничтожна, чтобы понять вас. Мне кажется, что вы оскорбляете человеческую природу, осуждая самые благородные страсти ее. Мне кажется, что вы хотите подавить инстинкты, вложенные в нас самим богом, и как бы обожествляете чудовищный противоестественный эгоизм. Быть может, я поняла бы вас лучше, будь я более доброй христианкой; постараюсь ею сделаться — вот все, что я могу вам обещать.

Она поднялась, чтобы уйти, спокойная на вид, но с истерзанной душой. Великий и такой суровый артист пошел проводить ее до дому. Дорогой он продолжал развивать свои мысли, но убедить ее не мог. Все же после разговора с ним ей стало немножко легче, ибо он открыл ей широкое поле для глубоких и серьезных размышлений. На фоне их преступление Андзолето тускнело, как частность, послужившая мучительным, но торжественным началом бесконечных дум. Много часов провела она в молитве, слезах и размышлениях. И наконец заснула, убежденная в своей невиновности, надеясь на волю божию и его милосердие.

На следующий день Порпора зашел к ней ска-

зать, что назначена репетиция «Гипермнестры» для Стефанини, который будет петь вместо Андзолето. Сам же Андзолето болен — лежит в постели и жалуется на потерю голоса. Первым побуждением Консуэло было бежать к нему, чтобы за ним ухаживать. — Избавь себя от этого труда, — остановил ее профессор, — Андзолето прекрасно себя чувствует; это мнение театрального врача. Вот увидишь, вечером он отправится к Корилле. Но граф Дзустиньяни, отлично понимая, что все это значит, и ничего не имея против того, чтобы молодой тенор прекратил свои дебюты, запретил доктору выводить его на чистую воду и попросил добряка Стефанини ненадолго вернуться на сцену.

— Боже мой! Что же задумал Андзолето? Неужели он так пал духом, что собирается бросить сцену?

— Да, сцену театра Сан-Самуэле. Через месяц он едет с Кориллой во Францию. Тебя это удивляет? Он бежит от тени, которую на него бросает твой успех; вручает свою судьбу в руки женщины, менее опасной, которой, конечно, он изменит, как только перестанет ней нуждаться.

Консуэло побледнела и прижала руки к сердцу, готовому разорваться. Быть может, в ней жила

еще надежда вернуть его, быть может, она собиралась, кротко пожурив его, сказать ему, что лучше сама уйдет со сцены. Весть эта была для нее ударом кинжала; мысль, что она больше не увидит того, кого так любила, не могла уложиться в ее голове.

— Это какой-то страшный сон! — вскричала она. — Мне надо пойти к нему, пусть он объяснит мне, что значит весь этот бред. Он не может уехать с этой женщиной, — это было бы для него гибелью. Я не могу допустить этого! Я удержу его! Я объясню ему, в чем его истинные интересы, если правда, что никакие другие доводы на него уже не действуют… Пойдемте со мной, дорогой учитель! Нельзя же бросить его так…

— Я сам брошу тебя, и брошу навсегда, — закричал в негодовании Порпора, — если ты допустишь подобное малодушие! Умолять этого негодяя! Отвоевывать его у какой-то Кориллы! О святая Цецилия, берегись своего цыганского происхождения и старайся побороть в себе безрассудные бродяжьи инстинкты! Идем, тебя ждут на репетиции. А сегодня вечером ты насладишься пением с таким мастером своего дела, как Стефанини. Ты увидишь артиста просвещенного, скромного и великодушного.

Порпора потащил ее в театр, и здесь впервые Консуэло поняла весь ужас жизни артиста — эту зависимость от публики, вечную необходимость заглушать в себе собственные чувства, подавлять собственные волнения для того, чтобы постоянно изображать чужие чувства и вызывать эмоции в других. Эта репетиция, затем туалет и самое представление были для нее настоящей пыткой. Андзолето не появлялся. Через день ей пришлось выступить в комической опере Галуппи «Арчифанфано, король сумасшедших». Вещь эту ставили ради Стефанини, который превосходно исполнял в ней комическую роль. Консуэло вынуждена была смешить тех, у кого раньше вызывала слезы. Затаив в груди смертельную тоску, она все-таки умудрилась быть блестящей, обворожительной и даже забавной. Два-три раза рыдания начинали душить ее, но они превращались в нервный смех. Он был бы страшен, этот смех, если бы люди поняли его. Вернувшись в свою уборную, она упала в истерике. Публика громко требовала ее, желая устроить ей овацию. Так как она все не выходила, поднялся страшный гам, зрители порывались ломать скамейки, перелезать через рампу… Стефанини пришел за ней и, полуодетую, растрепанную, бледную как

смерть, потащил на сцену, где ее буквально засыпали цветами. Кто-то бросил к ее ногам лавровый венок, и она вынуждена была нагнуться, чтобы его поднять.

— Дикие звери, — шептала она, возвращаясь за кулисы.

— Красавица моя, — сказал ей старый певец, поддерживая ее под руку, — ты совсем больна. Но эти пустяки, — прибавил он, передавая ей целый сноп цветов, подобранных для нее, — чудодейственное средство от всех недугов. Подожди, свыкнешься, и придет время, когда ты будешь чувствовать нездоровье и усталость только в те дни, когда тебя забудут увенчать лаврами. «До чего они пусты и ничтожны! — подумала бедная Консуэло.

Вернувшись в свою уборную, она упала без чувств на ложе из цветов, подобранных на сцене и как попало брошенных на диван. Камеристка побежала за доктором. Граф Дзустиньяни на несколько минут остался наедине с прекрасной певицей, бледной и растерзанной, как жасмин, в котором она утопала. Взволнованный и опьяненный страстью, Дзустиньяни совсем потерял голову и в безумном порыве бросился целовать ее, думая своими ласками привести ее в чувство.

Но первый же его поцелуй в губы пробудил отвращение в непорочной Консуэло. Придя в себя, она оттолкнула его, словно ужалившую ее змею.

— Прочь! — крикнула она, точно в бреду. — Прочь любовь, ласки, сладкие речи!.. Мне не надо ни любви, ни мужа, ни семьи, ни любовника. Учитель мой прав: свобода, одиночество, высокий идеал, слава!..

И тут она разразилась такими душераздирающими рыданиями, что перепуганный граф бросился на колени и стал ее успокаивать. Но он не мог найти слов утешения для этой истерзанной души, а его бушующая страсть, дошедшая в эту минуту до предела, помимо его воли рвалась наружу. Ему слишком хорошо было известно отчаяние обманутой любви. Он стал говорить ей о своих чувствах с воодушевлением человека, не потерявшего еще надежды на взаимность. Консуэло как будто слушала его: растерянно улыбаясь, она машинально высвободила из его руки свою, и в этой улыбке графу почудился проблеск надежды. Есть мужчины тактичные, совсем не глупые в обществе, но бестактные в любовных делах. Явился доктор и прописал входившие тогда в моду успокоительные капли. Затем Консуэло закутали в мантилью и отнесли

в гондолу. Граф тоже вошел туда вместе с ней, поддерживая ее и продолжая нашептывать ей слова любви, казавшиеся ему такими красноречивыми и убедительными, что он не переставал надеяться на успех. Так прошло с четверть часа; видя, что Консуэло никак не откликается на все его излияния, граф стал молить ее ответить ему хоть слово, подарить ему хоть взгляд.

— На что же мне отвечать? — проговорила Консуэло, как бы очнувшись от сна. — Я ничего не слышала.

Дзустиньяни сначала растерялся, но вскоре у него мелькнула мысль, что все-таки не надо упускать удобного случая: ему казалось, что сейчас, когда Консуэло в таком подавленном состоянии духа, от нее можно добиться большего, чем когда она будет владеть собой и своими мыслями. Снова заговорил он о своей любви, и снова ответом на его слова было то же молчание, та же рассеянность; только когда он пытался обнять и поцеловать ее, она неизменно отталкивала его, но это делалось инстинктивно, — для гнева у нее не было сил. Когда гондола причалила, Дзустиньяни попытался еще на минуту удержать Консуэло, все надеясь добиться от нее хоть одного обнадеживающего слова.

— Простите, господин граф, — наконец проговорила она кротко, но равнодушно. — У меня ужасная слабость; я плохо вас слушала, но поняла все. Да, я прекрасно вас поняла. Дайте мне ночь на размышление, дайте мне прийти в себя! А завтра, да… завтра я вам отвечу откровенно.

— Завтра! Консуэло, дорогая! Ах, это целая вечность! Но я готов покориться, если вы позволите мне надеяться, что по крайней мере ваша дружба…

— О да! да! Вы можете надеяться, — странным тоном ответила Консуэло, выходя на берег. — Но не идите за мной, — прибавила она, повелительным жестом указывая ему на гондолу, — иначе вам не на что будет надеяться. Стыд и негодование вернули ей силы, но то был нервный, лихорадочный подъем, вылившийся, когда она стала подниматься по лестнице, в ужаснейший, язвительный смех.

— Вы очень веселы, Консуэло! — послышался в темноте голос, при звуке которого она едва не лишилась сознания. — Поздравляю вас с таким веселым расположением духа!

— О да! — воскликнула она, с силой схватив Андзолето за руку и быстро поднимаясь с ним к себе в комнату. — Благодарю тебя, Андзолето, ты

прав, поздравляя меня: я действительно весела, да, да, бесконечно весела! Андзолето, ожидая ее, уже успел зажечь лампу; и когда голубоватый свет упал на их измученные лица, они испугались друг друга.

— Мы очень счастливы, не правда ли, Андзолето? — резко сказала она, горько усмехнувшись, и слезы так и потекли у нее из глаз. — Скажи, что ты думаешь о нашем счастье?

— Я думаю, Консуэло, — ответил он с горестной усмешкой, хотя глаза его при этом оставались сухи, — что нам было не особенно легко на него согласиться, но что в конце концов мы с ним свыкнемся.

— Мне кажется, ты прекрасно свыкся с будуаром Кориллы.

— А ты, я нахожу, совершенно освоилась с гондолой господина графа.

— Господина графа? Тебе, значит, было известно, Андзолето, что господин граф хочет сделать меня своей любовницей?

— И чтобы не мешать тебе, моя милая, я скромно удалился.

— Ах, ты знал это? И выбрал этот момент, чтоб меня бросить?

— Разве я нехорошо поступил? Разве ты недо-

вольна своей судьбой? Граф — великолепный любовник! Куда же было соперничать с ним несчастному, провалившемуся дебютанту!

— Порпора был прав: вы низкий человек! Уйдите отсюда! Вы не стоите, чтобы я перед вами оправдывалась, и, мне кажется, я была бы осквернена вашим сожалением. Слышите? Уходите! Но, уходя, знайте, что вы можете дебютировать в Венеции и даже вернуться с Кориллой в Сан-Самуэле: никогда дочь моей матери не появится больше в этом гнусном балагане, величаемом театром!..

— Значит, дочь вашей матери, цыганки, будет изображать знатную даму на вилле Дзустиньяни, на берегу Бренты? Что ж, это блестящее существование, и я очень рад за вас!

— О, моя дорогая матушка! — воскликнула Консуэло, бросаясь на колени около своей кровати и пряча лицо в одеяло, в свое время служившее смертным покрывалом цыганке.

Андзолето был испуган и потрясен отчаянием Консуэло, ужасными рыданиями, разрывавшими ей грудь. Угрызения совести внезапно проснулись в нем с бурной неудержимостью, и он бросился к своей подруге, чтобы обнять ее и поднять с пола; но тут она сама вскочила на ноги и, отбросив его

от себя с несвойственной ей силой, вытолкала за дверь, крича ему вслед:

— Прочь отсюда! Прочь из моего сердца! Прочь из моей памяти! Прощай!

Прощай навсегда!

Андзолето пришел к ней с жестокими и эгоистическими намерениями. Это было лучшее, что он мог придумать. Не чувствуя в себе сил расстаться с Консуэло, он нашел способ все примирить: рассказать ей об опасности, угрожающей со стороны влюбленного Дзустиньяни, и тем самым вынудить ее покинуть театр. Его план, конечно, воздавал должное чистоте и гордости Консуэло. Жених ее прекрасно знал, что она не способна ни на какие компромиссы, не способна пользоваться покровительством, из-за которого могла бы краснеть. В его преступной и порочной душе все-таки жила непоколебимая уверенность в невинности Консуэло; он знал, что найдет ее такой же целомудренной, верной и преданной, какою оставил несколько дней тому назад. Но как совместить это преклонение перед нею, желание оставаться ее женихом и другом с твердым намерением продолжать свою связь с Кориллой? Дело в том, что он хотел вместе с любовницей вернуться на сцену. И, конечно, в такой момент,

когда его успех всецело был в руках Кориллы, не могло быть и речи о том, чтобы расстаться с нею. Этот дерзкий и подлый план окончательно созрел в его голове, а к Консуэло он относился так, как итальянские женщины относятся к мадоннам: в часы раскаяния они молят их о прощении, а когда грешат, завешивают их лик занавеской.

Когда он увидел ее в комической роли на сцене, такою блестящей и на вид такой веселой, в душу его закрался страх, что он потерял слишком много времени на обдумывание своего плана. Увидев, что она вошла в гондолу графа, а потом услышав ее смех и не почувствовав в нем всего отчаяния измученной души, он решил, что опоздал, — и в нем закипела страшная досада. Но когда она, возмущенная его оскорблениями, с презрением выгнала его, он снова почувствовал к ней уважение и даже страх. Долго бродил он по лестнице и по берегу, все ожидая, что она его позовет. Он отважился даже постучаться к ней и, стоя за дверью, молить о прощении; но гробовое молчание царило в комнате, куда ему уже никогда не суждено было войти вместе с Консуэло. Смущенный и удрученный, ушел он к себе, намереваясь на следующий день вернуться снова и добиться большего успеха.

«Во всяком случае, — говорил он себе, — план мой будет осуществлен: она знает о любви графа, дело наполовину сделано».

Сильно утомившись, Андзолето долго спал на следующее утро, а после полудня отправился к Корилле.

— Потрясающая новость! — воскликнула она, раскрывая ему объятия. Консуэло уехала!

— Уехала? С кем? Куда?

— В Вену, куда ее отправил Порпора и куда сам он собирается ехать за ней следом. Всех нас провела эта хитрая девчонка: она была приглашена на императорскую сцену, где Порпора ставит свою новую оперу.

— Уехала! Уехала, не сказав мне ни слова! — закричал Андзолето, бросаясь к двери.

— О! Теперь тебе уже не найти ее в Венеции! — злобно смеясь и торжествующе глядя на него, проговорила Корилла. — С рассветом она села на корабль и отправилась в Пеллестрину. Сейчас она уже далеко. Дзустиньяни, которого она провела (он воображал, что пользуется у нее успехом), просто в бешенстве, захворал даже. Только что по его поручению был у меня Порпора, он просил меня петь сегодня вечером. Стефанини, которого театр страшно утомил и который жаждет отдох-

нуть, наконец, в своей вилле, мечтает, чтобы ты возобновил свои дебюты. Итак, знай: завтра тебе предстоит снова выступить в «Гипермнестре». Сейчас я иду на репетицию, меня ждут. Если ты мне не веришь, пойди прогуляйся по городу — сам убедишься в истине моих слов. — О фурия! Ты победила! — вскричал Андзолето. — Но ты убиваешь меня!

И он упал без чувств на персидский ковер куртизанки.

Глава 21

В самом неловком положении после бегства Консуэло очутился граф Дзустиньяни. Дав повод думать и говорить всей Венеции, будто дебютировавшая дива — его любовница, как мог он без ущерба для своего самолюбия объяснить ее молниеносное, таинственное исчезновение теперь

— едва он признался ей в любви? Правда, некоторым приходило в голову, что граф, ревнуя свое сокровище, запрятал певицу в одной из своих загородных вилл. Но когда Порпора со свойственной ему суровой правдивостью рассказал, что его ученица в Германии и ждет там его приезда, оставалось только ломать себе голову над причинами такого странного поступка. Граф, чтобы обмануть окружающих, делал вид, будто нисколько не удивлен и не задет, но огорчение, помимо его воли, прорывалось наружу, и всем стало ясно, что успех у Консуэло, с которым его поздравляли, никогда не существовал. Вскоре большая часть истины выплыла наружу: узнали и об измене Андзолето, и о соперничестве Корилы, и об отчаянии бедной испанки, которую все

принялись горячо и искренне жалеть.

Первым побуждением Андзолето было бежать к Порпоре, но старик сурово оттолкнул его.

— Перестань меня допытывать, тщеславный юноша, бессердечный и неверный, — ответил ему с негодованием профессор, — ты никогда не стоил любви этой благороднейшей девушки и никогда не узнаешь от меня, что с ней сталось. Я приложу все усилия, чтобы скрыть от тебя ее след; если же когда-нибудь вы случайно встретитесь — надеюсь, что образ твой настолько изгладится из ее сердца и памяти, насколько я этого хочу и добиваюсь.

От Порпоры Андзолето отправился на Корте-Минелли. Комната Консуэло была уже сдана новому жильцу и вся заставлена принадлежностями его производства. Это был рабочий, изготовлявший мелкие изделия из стекла. Он давно жил в этом доме и теперь весело перетаскивал сюда свою мастерскую. — А, это ты, сынок! — обратился он к юному тенору. — Верно, зашел навестить меня в новом помещении? Славно тут у меня будет, и жена рада-радешенька, что теперь сможет разместить внизу детвору. Ты что смотришь? Уж не забыла ли чего Консуэлина? Ищи, милый, смотри хорошенько! Я за это в обиде

не буду.

— А куда же дели ее мебель? — спросил Андзолето. У него защемило сердце, когда он увидел, что в этом месте, связанном с самыми лучшими, самыми чистыми радостями его прошлой жизни, не осталось от Консуэло никакого следа.

— Мебель внизу, во дворе. Она подарила ее старухе Агате. И хорошо сделала: старуха бедна и хоть немножко выручит за это. Да, Консуэло всегда была добрая. Она не только никому не осталась должна, но, уезжая, еще всех понемногу одарила. Только одно распятие и взяла с собой. Но все-таки как-то странно она уехала: среди ночи, никого не предупредив. Едва рассвело, явился господин Порпора, распорядился всем, словно по духовному завещанию. Все соседи жалели о ней и только утешались тем, что теперь она, должно быть, будет жить в каком-нибудь дворце на Большом канале, — ведь она стала богатой, важной синьорой. Я всегда говорил, что она со своим голосом далеко пойдет. А уж сколько она работала! Когда же свадьба, Андзолето? Надеюсь, ты меня не обойдешь — возьмешь у меня побольше безделушек, чтоб одарить девушек нашего квартала?

— Конечно, конечно, — пробормотал, растерявшись, Андзолето.

Со смертельной тоской в душе выскочил он во двор, где в это время местные кумушки продавали с аукциона кровать и стол Консуэло, — кровать, на которой столько раз он видел ее спящей, стол, за которым она всегда работала…

— Боже мой! От нее уже ничего не осталось, — невольно вырвалось у него, и он убежал, ломая руки.

В эту минуту он готов был заколоть Кориллу.

Через три дня они с Кориллой появились на сцене, и оба были жестоко освистаны. Пришлось даже, не окончив представления, опустить занавес. Андзолето был вне себя от бешенства, Корилла — невозмутима.

— Вот до чего довело меня твое покровительство! — сказал он ей угрожающе, когда они остались одни.

— Не много же надо, чтобы огорчить тебя, бедный мальчик, — с удивительным спокойствием ответила ему примадонна, — видно, что ты совсем не знаешь публику и никогда не подвергался ее капризам. Я до того была уверена в провале, что даже не потрудилась повторить роль; тебя же не предупредила о грозящих последствиях, так как не знала, хватит ли у тебя храбрости выйти на сцену, заранее ожидая, что тебя освищут. А

теперь тебе надо знать, что нас ожидает впереди: в следующий раз к нам отнесутся еще хуже; быть может, три, четыре, шесть, восемь представлений пройдут таким образом.

Но среди этих бурь выкуется партия в нашу пользу. Будь мы самыми захудалыми актеришками на свете, дух противоречия и независимости все равно создал бы нам рьяных сторонников. Есть много людей, воображающих, что они станут важнее, оскорбляя других; но немало и таких, которые считают, что покровительствуя другим, они этим возвышают себя. После десятка представлений, когда театральный зал будет являть собою поле битвы свистков и аплодисментов, строптивые выбьются из сил, упрямцы надуются, и мы с тобой вступим в новую эру. Та часть публики, которая нас поддерживала, сама не зная хорошенько почему, будет слушать нас довольно холодно. Это явится как бы нашим новым дебютом. И вот тут-то нам с тобой нужно увлечь, покорить слушателей! В этот момент я предсказываю тебе большой успех, дорогой Андзолето: чары, тяготевшие над тобой, успеют рассеяться, ты попадешь в атмосферу одобрения и нежных похвал, и это вдохнет в тебя прежние силы. Вспомни впечатление, которое ты произвел, когда

в первый раз пел у Дзустиньяни. Ты не успел тогда закрепить свою победу: более блестящая звезда затмила тебя; но эта звезда скрылась за горизонтом, и теперь готовься подняться со мной в эмпирей!

Все случилось так, как предсказала Корилла. Действительно, в течение нескольких дней обоим любовникам пришлось дорого расплачиваться за потерю, понесенную публикой в лице Консуэло. Но их дерзкое упорство перед бурей истощило гнев публики, слишком яростный, чтобы быть долговечным. Дзустиньяни поддерживал Кориллу. С Андзолето дело обстояло несколько иначе. После многократных безуспешных попыток пригласить в Венецию нового тенора, — театральный сезон в это время почти кончался и ангажементы со всеми театрами Европы были уже заключены, — графу пришлось оставить юношу в качестве борца в этом состязании между его театром и публикой. Репутация театра была слишком блестяща, чтобы можно было потерять ее из-за того или другого артиста; такие пустяки не могли сокрушить освященных временем привычек.

Все ложи были абонированы на сезон. В них дамы, так же как всегда, принимали гостей и

так же, по обыкновению, болтали. Истинные любители музыки некоторое время дулись, но их было слишком мало, чтобы это могло быть заметно. Да наконец и любителям надоело злобствовать. И в один прекрасный вечер Корилла, исполнившая с огнем свою арию, была единодушно вызвана слушателями. Она появилась, таща за собой Андзолето, которого вовсе не вызывали. Он, казалось, скромно и боязливо уступал милому насилию. Тут и на его долю выпали аплодисменты. А на следующий день вызвали его самого. Одним словом, не прошло и месяца, как Консуэло, блеснувшая подобно молнии на летнем небе, была забыта. Корилла производила фурор по-прежнему, но заслуживала его, пожалуй, больше прежнего: соперничество придало ей огня, а любовь — чувства. Андзолето же хотя и не избавился от своих недостатков, зато научился проявлять свои бесспорные достоинства. К недостаткам привыкли, достоинствами восхищались. Его очаровательная наружность пленяла женщин, он стал самым желанным гостем в салонах, а ревность Кориллы придавала ухаживаниям за ним еще большую остроту. Клоринда также проявляла на сцене свои способности, то есть тяжеловесную красоту и непомерно глупую,

распущенную чувственность, представляющую интерес для известного сорта зрителей. Дзустиньяни, чтобы забыться, — огорчение его было довольно серьезно, — сделал Клоринду своей любовницей, осыпал ее бриллиантами, выпускал на первые роли, надеясь заменить ею Кориллу, которая на следующий сезон была приглашена в Париж.

Корилла относилась без всякой злобы к этой сопернице, не представлявшей для нее ни в настоящем, ни в будущем никакой опасности. Ей даже доставляло удовольствие выдвигать эту холодную, наглую, ни перед чем не останавливавшуюся бездарность. Эти два существа, живя в полном согласии, держали в своих руках всю администрацию. Они не допускали в репертуар серьезных вещей; мстили Порпоре, не принимая его опер и ставя блестящим образом оперы самых недостойных его соперников. С необыкновенным единодушием вредили они тем, кто им не нравился, и всячески покровительствовали тем, кто перед ними пресмыкался. Благодаря им в этот сезон в Венеции восхищались совершенно ничтожными произведениями, забыв настоящие, великие творения искусства, царившие здесь раньше.

Андзолето среди своих успехов и благополучия, — граф заключил с ним контракт на довольно выгодных условиях, — чувствовал глубокое отвращение ко всему и изнемогал под гнетом своего плачевного счастья. Он возбуждал жалость, когда нехотя тащился на репетицию, ведя под руку торжествующую Кориллу, — попрежнему божественно красивый, но бледный, утомленный, со скучающим и самодовольным видом человека, принимающего поклонение, но разбитого, раздавленного под тяжестью так легко сорванных им лавров и мирт. Даже на сцене, играя со своей пылкой любовницей, он своими красивыми позами и дерзкой томностью всячески выказывал равнодушие к ней.

Когда она пожирала его глазами, он всем своим видом словно говорил публике: «Не думайте, что я отвечаю на ее любовь. Напротив, тот, кто меня избавит от нее, окажет мне большую услугу».

Дело в том, что Андзолето, избалованный и развращенный Кориллой, обращал теперь против нее самой эгоизм и неблагодарность, с какими она приучила его относиться ко всем остальным людям. В душе его, несмотря на все пороки, жило одно чистое, настоящее чувство — неискоренимая любовь к Консуэло. Благодаря

врожденному легкомыслию он мог отвлекаться, забываться, но излечиться от этой любви не мог, и среди самого низменного распутства любовь эта являлась для него укором и пыткой. Он изменял Корилле направо и налево: сегодня — с Клориндой, чтобы тайком отомстить графу, завтра с какой-нибудь известной светской красавицей, а там с самой неопрятной из статисток. Ему ничего не стоило из таинственного будуара светской дамы перенестись на безумную оргию и от яростных сцен Кориллы — на веселый, разгульный пир. Казалось, он хочет заглушить этим всякое воспоминание о прошлом. Но среди его безумств и разврата всюду по пятам следовал за ним призрак, и когда по ночам ему случалось со своими шумными собутыльниками проплывать в гондоле мимо темных лачуг Корте-Минелли, он никогда не мог удержаться от рыданий.

Корилла, долго сносившая оскорбительное обращение Андзолето и, как вообще все низкие души, склонная любить именно за презрение к себе и обиды, под конец стала тяготиться этой пагубной страстью. Она все льстила себя надеждой, что поработит, приручит это непокорное существо, и с ожесточением трудилась над этим, принося все в жертву; но, убедившись, что ей

никогда этого не добиться, возненавидела его и стала стремиться отомстить ему собственными похождениями. Однажды ночью, когда Андзолето с Клориндой блуждали в гондоле по Венеции, он заметил другую быстро несущуюся гондолу; потушенный фонарь указывал на то, что на ней происходит тайное любовное свидание. Он не обратил на это внимания, но Клоринда, которая, боясь быть узнанной, всегда была настороже, шепнула ему:

— Вели грести медленно; это гондола графа, я узнала гондольера.

— В таком случае ее надо догнать: мне хочется узнать, какой изменой граф платит сегодня за твою.

— Нет! Нет! Повернем назад! — настаивала Клоринда. — У него такое зоркое зрение и такой тонкий слух! Не будем ему мешать.

— Эй, налегай на весла! — крикнул Андзолето своему гондольеру. — Я хочу догнать вон ту гондолу, впереди.

Несмотря на ужас и мольбы Клоринды, приказ этот был мгновенно выполнен. Обе гондолы почти коснулись друг друга. И в эту минуту до ушей Андзолето донесся плохо сдерживаемый смех.

— Прекрасно! — сказал он. — Справедливость

торжествует! Это Корилла наслаждается вечерней прохладой с господином графом!

С этими словами Андзолето вскочил на нос своей гондолы и, выхватив из рук гондольера весло, стал усиленно грести. В мгновение ока он догнал графскую гондолу и задел ее. Тут, потому ли, что среди взрывов смеха Кориллы он услышал свое имя, или на него нашло безумие, только он громко произнес:

— Дорогая Клоринда, ты, бесспорно, самая красивая, самая обожаемая женщина в мире.

— Я только что это самое говорил Корилле, — произнес граф, показываясь из-под навеса своей гондолы и чрезвычайно непринужденно приближаясь к соседней. — А теперь, когда наши прогулки окончены, мы, как честные люди, владеющие равноценными сокровищами, можем произвести обмен.

— Господин граф воздает должное моей честности, — в том же тоне ответил Андзолето. — Если его сиятельству будет угодно, я предложу ему руку, чтобы он мог, перейдя сюда, взять свое добро там, где он его нашел. Неизвестно, с каким намерением — быть может, желая выказать свое презрение и поиздеваться над Андзолето и их общими любовницами, — граф протянул было руку,

чтобы опереться на руку юноши, но молодой тенор, взбешенный, дрожа от ненависти, с размаху прыгнул в гондолу графа и с диким возгласом: «Женщина за женщину, гондола за гондолу, господин граф! — мгновенно опрокинул ее.

Бросив затем свои жертвы на произвол судьбы и предоставив ошеломленной Клоринде распутывать последствия этого приключения, Андзолето добрался вплавь до противоположного берега и со всех ног пустился бежать по темным извилистым уличкам к себе домой. Здесь, моментально переодевшись и забрав с собой все имевшиеся у него деньги, он выбежал из дому и бросился в первый попавшийся, готовый к отплытию баркас. Несясь на нем к Триесту, глядя, как в предрассветной мгле постепенно исчезают купола и колокольни Венеции, Андзолето даже прищелкнул пальцами, до того он был упоен одержанной победой.

Глава 22

Среди западных отрогов Карпатских гор, отделяющих Чехию от Баварии и носящих в этих местах название Bohemer-Wald (Богемский Лес), еще возвышался лет сто тому назад старый, очень обширный замок, называвшийся, не знаю в силу какого предания, замком Исполинов. Хотя он издали и походил на старинную крепость, но теперь представлял собою лишь барскую усадьбу, отделанную внутри в стиле Людовика XIV, уже тогда устаревшем, но все же пышном и благородном. Феодальная архитектура тоже подверглась весьма удачным переделкам в тех частях здания, где обитали графы Рудольштадты, владельцы этого богатого поместья.

Эта семья, богемская по происхождению, онемечила свою фамилию, отрекшись от Реформации в самую трагическую минуту Тридцатилетней войны. Их доблестный и благородный предок, непоколебимый протестант, был зверски убит бандами солдат-фанатиков на горе, недалеко от замка. Его вдова, родом саксонка, спасла жизнь и состояние своих малых детей, перейдя в като-

личество и поручив воспитание наследников Рудольштадта иезуитам. Через два поколения, когда над безгласной и угнетенной Богемией окончательно утвердилось австрийское иго, а слава и бедствия Реформации, казалось, были забыты, графы Рудольштадты продолжали жить в своем поместье, как благочестивые христиане и верные католики, богато, но просто, как добрые аристократы и преданные слуги Марии-Терезии. В былое время они выказали немало доблести и отваги на службе у императора Карла VI. И потому всех удивляло, что последний представитель этого знатного и доблестного рода, молодой Альберт, единственный сын графа Христиана Рудольштадта, не принял участия в только что закончившейся войне за престолонаследие и достиг тридцатилетнего возраста, не познав и не ища иной чести и славы, кроме той, какою обладал по рождению и состоянию. Такое странное поведение возбудило подозрение императрицы: а не является ли он единомышленником ее врагов? Но когда граф Христиан удостоился чести принять императрицу в своем замке, он сумел дать ей по поводу поведения сына объяснения, по-видимому, вполне ее удовлетворившие. Содержание беседы Марии-Терезии с графом

Рудольштадтом осталось скрытым для всех. Какая-то странная тайна окутывала очаг этой набожной и щедрой на благотворительность семьи, которую почти никто из соседей не посещал уже лет десять; никакие дела, никакие развлечения, никакие политические волнения не могли вынудить Рудольштадтов выехать из своего поместья. Они платили щедро и безропотно все военные налоги, не проявляя никакого волнения по поводу опасностей и бедствий, угрожавших стране в целом, и, казалось, жили какой-то своей жизнью, отличной от жизни прочих аристократов, что вызывало недоверие к ним, хотя их деятельность проявлялась лишь в добрых и благородных поступках. Не зная, чем объяснить эту безрадостную, обособленную жизнь графов Рудольштадтов, их обвиняли то в мизантропии, то в скупости. Но так как поведение их опровергало на каждом шагу и то и другое, то оставалось лишь упрекать их в равнодушии и нерадивости. Говорили, будто граф Христиан не пожелал подвергать опасности жизнь своего единственного сына и последнего представителя рода в этих гибельных войнах, а императрица согласилась принять взамен его военной службы денежную сумму, достаточную, чтобы снарядить

целый гусарский полк. Аристократические дамы, имевшие дочерей-невест, говорили, что граф поступил очень хорошо; когда же они узнали, что граф Христиан собирается, по-видимому, женить сына на дочери своего брата, барона Фридриха, и что юная баронесса Амелия уже вышла из монастыря в Праге, где воспитывалась, и будет жить отныне в замке Исполинов, около своего двоюродного брата, — эти дамы в один голос заявили, что замок Рудольштадт — это волчья берлога, а обитатели его необщительны и дики, один хуже другого. Лишь несколько неподкупных слуг и преданных друзей знали семейную тайну и свято хранили ее.

Однажды вечером эта почтенная семья сидела за столом, обильно уставленным дичью и теми сытными блюдами, которыми в то время еще питались наши предки в славянских землях, хотя изысканность двора Людовика XV уже изменила привычки большей части европейской аристократии. Громадный камин, где пылали целые дубы, распространял тепло в огромном мрачном зале. Граф Христиан только что прочитал громким голосом молитву, которую остальные члены семьи выслушали стоя. Многочисленные слуги — все пожилые, степенные, с длинными усами,

в национальных костюмах, в широких шароварах мамлюков, — неторопливо служили своим высокочтимым господам. Капеллан замка занял место по правую руку графа, а его племянница, юная баронесса Амелия, по левую — со стороны сердца, как любил говорить граф с видом отеческим и суровым. Барон Фридрих, его младший брат, которого он всегда называл своим «молодым» братом (ему было всего шестьдесят лет), сел напротив. Канонисса Венцеслава Рудольштадт, его старшая сестра, почтенная семидесятилетняя особа, необычайно худая и с огромным горбом, уселась на одном конце стола, а граф Альберт, сын графа Христиана и жених Амелии, бледный, рассеянный и угрюмый, поместился на другом, напротив своей достойной тетки.

Из всех этих молчаливых людей Альберт, конечно, меньше всех хотел и мог внести оживление в трапезу. Капеллан был так предан своим хозяевам и так почитал главу семьи, что говорил лишь тогда, когда видел по глазам графа, что тот желает этого. Граф же был человек такого спокойного, сосредоточенного склада, что почти никогда не искал у других отвлечения от собственных мыслей.

Барон Фридрих был человек менее глубоко-

го ума, но более живой и деятельный. Такой же кроткий и доброжелательный, как и старший брат, он не обладал его способностями, и в нем было меньше внутреннего энтузиазма. Его религиозность была лишь делом привычки и приличия. Единственной его страстью была охота; он проводил на ней целые дни и возвращался вечером отнюдь не усталый — организм у него был поистине железный, — но весь красный, запыхавшийся, голодный. Он ел за десятерых, а пил за тридцать человек. За десертом он обыкновенно оживлялся, и тут начинались его бесконечные рассказы о том, как его собака Сапфир затравила зайца, как другая собака, Пантера, выследила волка, как взвился в воздух его сокол Аттила. Его выслушивали с терпеливым добродушием, после чего барон, сидя у камина в большом кресле, обитом черной кожей, незаметно засыпал и спал так до тех пор, пока дочь не будила его, говоря, что пора ложиться в постель.

Самой разговорчивой из всей семьи была канонисса. Ее можно было назвать даже болтливой: ведь по крайней мере два раза в неделю она по четверти часа обсуждала с капелланом генеалогию богемских, саксонских и венгерских фамилий. Она знала как свои пять пальцев все

родословные, начиная от короля и кончая самым захудалым дворянином.

Что же касается графа Альберта, то в его наружности было что-то пугающее и торжественное. Казалось, в каждом жесте его чувствовалось некое предзнаменование, в каждом слове слышался приговор. Почему-то (понять это, очевидно, мог только посвященный в семейную тайну) стоило Альберту открыть рот, — что, надо сказать, случалось далеко не каждый день, — как и родные и слуги с глубоким страхом и нежной, мучительной тревогой поворачивались в его сторону, — все, за исключением юной Амелии, относившейся большей частью с раздражением и насмешкой к словам своего двоюродного брата. Одна она осмеливалась, в зависимости от расположения духа, то пренебрежительно, то шутливо отвечать ему.

Эта молодая белокурая девушка, румяная, живая и прекрасно сложенная, была удивительно хороша собой. Когда камеристка, стремясь разогнать ее тоску, называла юную баронессу жемчужиной, та отвечала ей:

— Увы! Как жемчужина скрыта в своей раковине, так и я погребена в недрах моей скучнейшей семьи — в этом ужасном замке Исполинов. Из

приведенных слов читателю ясно, какая резвая пташка была заключена в этой беспощадной клетке.

В этот вечер торжественное молчание, царившее обыкновенно в графской семье, особенно за первым блюдом (оба старых аристократа, канонисса и капеллан обладали солидным аппетитом, не изменявшим им ни в какое время года), было нарушено Альбертом.

— Какая ужасная погода! — проговорил он, тяжело вздыхая.

Все с удивлением переглянулись. Сидя более часа за столом в зале с закрытыми дубовыми ставнями, они и не подозревали, что за это время погода переменилась к худшему. Полнейшая тишина царила снаружи и внутри, и ничто не предвещало надвигающейся грозы.

Тем не менее никто не решился противоречить Альберту, лишь одна Амелия пожала плечами. После минутного тревожного перерыва снова застучали вилки, и слуги начали медленно переменять блюда.

— Неужели вы не слышите, отец мой, как бушует ветер среди елей Богемского Леса? Неужели оглушительный рев потока не доносится до вас? — еще громче спросил Альберт, пристально

глядя на отца.

Граф Христиан ничего не ответил, а барон, имевший обыкновение всегда со всеми соглашаться, сказал, не сводя глаз с куска дичи, который он в эту минуту резал с такой энергией, будто это был гранит:

— Действительно, ветер на заходе солнца предвещает дождь. Весьма вероятно, что завтра будет дурная погода.

Альберт как-то странно улыбнулся, и снова все погрузилось в мрачное молчание; но не прошло и пяти минут, как страшный порыв ветра, от которого задребезжали стекла огромных окон, завыл, завизжал, ударил, как кнутом, по воде рва и унесся ввысь, к горным вершинам, с таким пронзительным и жалобным стоном, что все побледнели, кроме Альберта, улыбнувшегося такою же загадочной улыбкой, как и в первый раз.

— В эту минуту, — проговорил он, — гроза гонит к нам одну душу. Хорошо, если б вы, господин капеллан, помолились за тех, кто путешествует в наших суровых горах в такую ужасную бурю.

— Я молюсь ежечасно и от всей души, — ответил дрожащий капеллан, — за тех, кто странствует по тяжким путям жизни, среди бурь людских страстей. — Не отвечайте ему, господин капел-

лан, — сказала Амелия, не обращая внимания на взгляды и знаки, предупреждавшие ее со всех сторон, чтобы она не продолжала этого разговора. — Вы хорошо знаете, что моему кузену доставляет удовольствие мучить других, говоря загадками. Что касается меня, то я вовсе не склонна разгадывать их.

Граф Альберт, казалось, обращал не больше внимания на пренебрежительный тон своей двоюродной сестры, чем она на его странные рассуждения. Он облокотился на свою тарелку, которая почти всегда стояла перед ним пустой и чистой, и уставился на камчатную скатерть, словно считая на ней цветочки и звездочки, — в действительности же погруженный в какую-то восторженную думу.

Глава 23

Неистовая буря разразилась во время ужина. Ужин всегда продолжался два часа — ни больше, ни меньше, даже в постные дни, которые набожно соблюдались, причем граф никогда не освобождал себя от ига семейных привычек, столь же священных для него, как и постановления римской церкви. Грозы были слишком часты в этих горах, а бесконечные леса, еще покрывавшие в ту пору их склоны, вторили шуму ветра и рокоту грома раскатами эха, слишком хорошо знакомыми обитателям замка, чтобы это явление природы могло их сильно потрясти. Однако необычайное возбуждение графа Альберта невольно передалось его семье, и барон был бы, несомненно, раздосадован на то, что удовольствие от вкусной трапезы испорчено, если бы мог хоть на мгновение изменить своей доброжелательной кротости. Он только глубоко вздохнул, когда потрясающий удар грома, раздавшийся к концу ужина, так перепугал дворецкого, что тот не попал ножом в кабаний окорок, который разрезал в эту минуту.

— Кончено дело! — сказал барон, сочувственно улыбаясь бедному слуге, удрученному своей неудачей.

— Да, дядюшка, вы правы! — громко воскликнул граф Альберт, вставая с места. — Кончено дело!» Гусит сражен — его сожгла молния. Больше он не зазеленеет весной.

— Что ты хочешь этим сказать, сын мой? — печальным голосом спросил старик Христиан. — Ты говоришь о большом дубе на Шрекенштейне?

— Да, отец, я говорю о большом дубе, на ветвях которого мы на прошлой неделе велели повесить более двадцати августинских монахов. — Он начинает принимать века за недели! — прошептала канонисса, осеняя себя широким крестным знамением. — Если вы и видели во сне, дорогое дитя мое, — повысив голос, обратилась она к племяннику, — то, что действительно произошло или должно случиться (ведь не раз бывало, что ваши фантазии сбывались), то гибель этого скверного полузасохшего дуба не будет для нас большой потерей: с ним и со скалой, которую он осеняет, связано у нас столько роковых воспоминаний, принадлежащих истории.

— А я, — с живостью добавила Амелия, довольная, что может наконец дать волю своему

язычку, — была бы очень благодарна грозе, если б она избавила нас от этого ужасного дерева-виселицы, ветви которого напоминают скелеты, а из ствола, поросшего красным мхом, словно сочится кровь. Ни разу не проходила я мимо него вечером без содрогания: шелест листьев всегда так жутко напоминал мне предсмертные стоны и хрип, что каждый раз, предав себя в руки божьи, я убегала оттуда без оглядки.

— Амелия, — снова заговорил молодой граф, первый раз за много дней отнесшись со вниманием к словам двоюродной сестры, — вы хорошо сделали, что не проводили под Гуситом целые часы и даже ночи, как это делал я. Вы бы увидели и услышали там такое, от чего у вас кровь застыла бы в жилах и чего вы никогда не смогли бы забыть.

— Замолчите! — вскричала молодая баронесса, вздрогнув и отшатнувшись от стола, на который облокотился Альберт. — Я совершенно не понимаю вашей невыносимой забавы — нагонять на меня ужас всякий раз, как вы соблаговолите раскрыть рот.

— Дай бог, дорогая Амелия, чтобы ваш кузен говорил это только ради забавы, — кротко заметил старый граф.

— Нет, отец мой, я говорю вам вполне серьезно: дуб на скале Ужасов свалился, раскололся на четыре части, и вы завтра же можете послать дровосеков разрубить его. На этом месте я посажу кипарис и назову его уже не Гуситом, а Кающимся; а скалу Ужаса вам давно следовало назвать скалой Искупления.

— Довольно, довольно, сын мой, — проговорил старик в страшной тревоге, — отгони от себя эти грустные картины и предоставь богу судить людские деяния.

— Мрачные картины канули в вечность, отец мой: они перестали существовать вместе с дубом — орудием пытки, которое грозовой вихрь и небесный огонь повергли в прах. Вместо скелетов, раскачивавшихся на нем, я вижу цветы и плоды, которые колышет зефир на ветвях нового дерева. А вместо черного человека, разводившего каждую ночь костер под Гуситом, я вижу, отец, парящую над нашими головами чистую, светлую душу. Гроза рассеивается, о мои дорогие родные, опасность миновала, путешественники теперь в безопасности. Дух мой спокоен. Срок искупления истекает. Я чувствую, что возрождаюсь к жизни.

— О сын мой, любимый мой! Если бы это было так! — с глубокой нежностью проговорил взвол-

нованным голосом старик. — Если б только ты мог избавиться от всех этих видений и призраков, терзающих тебя! Неужели господь ниспошлет мне такую милость — вернет моему дорогому Альберту покой, надежду и свет веры?

Не успел старик договорить эти ласковые слова, как Альберт тихо склонился над столом и, казалось, моментально погрузился в безмятежный сон. — Это еще что? — сказала, обращаясь к отцу, Амелия. — Засыпать за столом! Очень любезно, нечего сказать!

— Этот внезапный и глубокий сон кажется мне благодетельным кризисом, после которого в его состоянии должно наступить хотя бы временное улучшение, — сказал капеллан, с любопытством глядя на молодого человека.

— Пусть никто с ним не заговаривает и не пробует его будить, — приказал граф Христиан.

— Боже милостивый, — сложив набожно руки, горячо молилась канонисса, — осуществи его предсказания, и пусть день его тридцатилетия станет днем его полного выздоровления!

— Аминь! — благоговейно закончил капеллан. — Вознесем же сердца наши к милосердному богу, — продолжал он, — и, воздав ему благодарность за принятую нами пищу, будем молить

его об исцелении этого благородного молодого человека, предмета наших общих забот.

Все встали для благодарственной молитвы и молча продолжали стоять, молясь каждый про себя за последнего из рода Рудольштадтов. Старик Христиан был так взволнован, что две крупные слезы скатились по его поблекшим щекам.

Старый граф уже приказал своим верным слугам перенести спящего сына в его покои, как вдруг барон Фридрих, горя желанием хоть чем-нибудь проявить заботу о дорогом племяннике, радостно и как-то по-детски остановил его:

— Знаешь, братец, мне пришла в голову удачная идея! Если твой сын проснется у себя в одиночестве после какого-нибудь дурного сна, ему снова могут прийти в голову разные мрачные мысли. Прикажи перенести его в гостиную и поместить в мое большое кресло: для сна нет лучше кресла во всем доме. Там ему будет даже удобнее, чем на кровати, а проснется он у весело пылающего камина, среди близких, дружеских лиц.

— Это правда, — ответил граф. — Его действительно можно перенести в гостиную и положить на большой диван.

— После ужина очень вредно спать лежа, — возразил барон. — Поверьте, я это знаю по опыту. Его

надо посадить в мое кресло. Да, да, я непременно хочу, чтобы он отдыхал именно в моем кресле.

Христиан понял, что отказать брату значило бы серьезно огорчить его; и молодого графа усадили в кожаное кресло охотника, причем сон его был так близок к летаргическому, что он даже и не почувствовал этого. Барон же с сияющим, гордым видом уселся в другое кресло и стал греть ноги у огня, достойного древних времен, торжествующе улыбаясь всякий раз, когда капеллан повторял, что этот сон должен подействовать на графа Альберта самым благотворным образом. Добряк собирался пожертвовать не только своим креслом для племянника, но и самим послеобеденным сном, чтобы вместе со всеми бодрствовать при нем, но через четверть часа до того освоился со своим новым креслом, что храп его стал заглушать последние раскаты грома, затихавшие вдали.

Вдруг загудел большой колокол замка, в который звонили только в случае необычных посещений, и вскоре старик Ганс, старейший из слуг, вошел в комнату, держа в руках большой конверт. Он молча подал его графу Христиану и вышел в соседнюю комнату, ожидая приказаний своего господина. Граф Христиан распечатал

письмо и, взглянув на подпись, передал его племяннице с просьбой прочитать вслух. Полная любопытства и нетерпения, Амелия подошла поближе к свече и прочитала вслух следующее: «Достопочтенный и дорогой граф!

Ваше сиятельство сделали мне честь, попросив меня оказать Вам услугу. Этим Вы осчастливили меня еще больше, чем всеми теми услугами, которые оказали мне и которые живут в моем сердце и в моей памяти. Несмотря на все мое стремление выполнить приказание Вашего сиятельства, я, однако ж, не надеялся так скоро, как того бы мне хотелось, найти для этого подходящую особу. Неожиданные обстоятельства благоприятствуют исполнению желания Вашего сиятельства, и я спешу направить к Вам молодую особу, удовлетворяющую требуемым условиям, но лишь отчасти. Посылаю ее поэтому временно, дабы Ваша высокочтимая любезная племянница могла без особого нетерпения ждать, пока мои старания и поиски не приведут к более совершенным результатам.

Девица, которая будет иметь честь передать Вам это письмо, — моя ученица и в некотором роде моя приемная дочь. Она будет, как того желает любезная баронесса Амелия, предупредительной

и приятной компаньонкой и сведущей преподавательницей музыки. Она не имеет, правда, того образования, которого Вы ищете в наставнице: свободно говоря на нескольких иностранных языках, она вряд ли знакома с ними настолько основательно, чтобы быть в состоянии их преподавать. Музыку же она знает в совершенстве и поет прекрасно. Вы будете довольны ее талантом, пением и манерой держать себя. Не менее будете Вы удовлетворены ее кротостью и благородством характера. Ваши сиятельства могут смело приблизить ее к себе, не боясь, что она совершит какой-либо неблаговидный поступок или проявит недостойные чувства. Она не хочет быть связанной в своих обязанностях по отношению к Вашему уважаемому семейству и отказывается от вознаграждения. Словом, я посылаю любезной баронессе не дуэнью, не камеристку, а, как она изволила просить меня сама в приписке, сделанной ее прекрасной ручкой в письме Вашего сиятельства, — компаньонку и подругу.

Синьор Корнер, получивший назначение при посольстве в Австрии, ожидает приказа о своем выезде. Но, по всей вероятности, этот приказ прибудет не раньше как через два месяца. Синьора Корнер, его достойная супруга, а моя велико-

душная ученица, желает увезти меня с собой в Вену, где, полагает она, моя карьера будет более удачной. Не надеясь на лучшее будущее, я все же принимаю ее милостивое предложение, так как жажду покинуть неблагодарную Венецию, где я не видел ничего, кроме разочарований, обид и превратностей судьбы. Не дождусь минуты, когда снова увижу благородную Германию, где я знавал более счастливые, радостные дни и где оставил глубокочтимых друзей. Ваше сиятельство хорошо знает, что занимает одно из первых мест в этом старом, обиженном, но не охладевшем сердце, в сердце, полном вечной привязанности к Вам и глубокой благодарности. Итак, глубокочтимый граф, я препоручаю и вверяю Вам мою приемную дочь, прося у Вас для нее приюта, покровительства и благословения. Она сумеет отплатить за Ваши милости и постарается быть приятной и полезной молодой баронессе. Не позже как через три месяца я приеду за ней и представлю Вам на ее место наставницу, которая сможет заключить с Вашей глубокочтимой семьей договор на более продолжительный срок.

В ожидании счастливого дня, когда я смогу пожать руку лучшему из людей, осмелюсь назвать себя, с почтением и гордостью, самым покор-

ным слугой и преданнейшим другом Вашего сиятельства.

Никколо Порпора, капельмейстер, композитор и учитель пения Венеция, мес… дня… 17… года».

Амелия, дочитав это письмо, подпрыгнула от радости, а старый граф растроганным голосом несколько раз повторил:

— Почтенный Порпора — чудесный друг, достойный, уважаемый человек!.. — Конечно, конечно, — сказала канонисса Венцеслава, испытывая, с одной стороны, страх, что приезд чужого человека может чем-то нарушить семейные привычки, а с другой стороны — желание достойным образом оказать гостеприимство приезжей. — Надо как можно лучше встретить и принять ее… Лишь бы не соскучилась она здесь…

— Но где же, дядюшка, моя будущая подруга, моя драгоценная учительница? — воскликнула юная баронесса, не слушая рассуждении тетки. — Наверное, она скоро и сама явится?.. Я с нетерпением жду ее!

Граф Христиан позвонил.

— Ганс, кто передал вам это письмо? — спросил он старого слугу.

— Одна дама, ваше сиятельство!

— Она уже здесь! — воскликнула Амелия. — Где

же она? Где?

— Она в почтовой карете, у подъемного моста.

— И вы заставили ее ожидать у ворот замка, вместо того чтобы сейчас же ввести в гостиную?

— Да, госпожа баронесса, взяв письмо, я запретил кучеру двигаться с места. Мост за собой я велел поднять, а затем вручил письмо его сиятельству.

— Но ведь это нелепо, непростительно заставлять наших гостей ждать в такую ужасную погоду! Можно подумать, что мы живем в крепости и всякий к ней приближающийся — враг! Бегите же скорей, Ганс, бегите!..

Но Ганс продолжал стоять неподвижно, как статуя. Лишь в глазах его читалось сожаление, что он не может исполнить распоряжение юной хозяйки; казалось, даже пушечное ядро, пролетев над его головой, не в силах было бы хоть чуточку изменить невозмутимую позу, в которой он ожидал приказаний своего старого господина.

— Дорогое дитя, верный Ганс признает только свой долг и полученные приказания, — произнес наконец граф Христиан с такой медлительностью, что у юной баронессы закипела кровь. — Теперь, Ганс, велите открыть ворота и спустить мост. Пусть все выйдут навстречу прибывшей с

зажженными факелами — она у нас желанная гостья!

Ганс не выказал ни малейшего удивления, получив приказание сразу ввести незнакомку в дом, куда даже ближайшие родственники и вернейшие друзья не допускались иначе, как с проволочками и предосторожностями. Канонисса пошла распорядиться, чтобы приготовили ужин для приезжей. Амелия хотела уже бежать к подъемному мосту, но дядя предложил ей руку, считая за честь самолично встретить гостью, и пылкой юной баронессе пришлось величественным, медленным шагом пройти до колоннады у подъезда, где на первой ступеньке уже стояла, только что выйдя из почтовой кареты, странствующая беглянка — Консуэло.

Глава 24

Три месяца прошло с тех пор, как баронесса Амелия забрала себе в голову, что ей необходимо — не столько для учения, сколько для развлечения — иметь компаньонку, и в своем одиночестве она не раз силилась представить себе, какова будет ее будущая подруга. Зная угрюмый нрав Порпоры, она боялась как бы он не прислал ей суровую и педантичную гувернантку. Вот почему она тайком написала профессору, предупреждая его, что плохо примет наставницу старше двадцати пяти лет, — словно было недостаточно выразить такое желание своим родным, для которых она была кумиром и повелительницей.

Письмо Порпоры привело ее в восторг, и она сейчас же создала в уме совершенно новый образ: музыкантша, приемная дочь профессора, молодая девушка, а главное — венецианка, была, по мнению Амелии, как бы нарочно для нее создана, создана по ее образу и подобию.

Поэтому она несколько разочаровалась, когда вместо резвой, румяной девочки, о какой она мечтала, увидела бледную, грустную, чрезвы-

чайно смущенную девушку. Ибо, не говоря уже о глубоком горе, терзавшем бедную Консуэло, об усталости от долгого, безостановочного пути, она была еще подавлена страшными переживаниями последних часов: эта ужасная гроза в дремучем лесу, эти поверженные ели, этот мрак, прорезаемый бледными молниями, а в особенности вид этого мрачного замка, вой охотничьих псов барона, горящие факелы в руках безмолвно стоящих слуг — во всем этом было что-то поистине зловещее. Какой контраст с лучезарным небом и гармонической тишиной венецианских ночей, доверчивой свободой ее прошлой жизни среди любви и жизнерадостной поэзии! Когда карета медленно проехала по подъемному мосту и по нему глухо застучали копыта лошадей, когда со страшным скрежетом за ней опустилась подъемная решетка, Консуэло показалось, что она входит в дантовский ад, и, охваченная ужасом, она поручила свою душу богу.

Вполне понятно, что у нее был растерянный вид, когда она появилась перед своими будущими хозяевами. Увидав же графа Христиана с его вытянутым бледным лицом, поблекшим от лет и горя, его длинную, сухую одеревенелую фигуру, облаченную в старомодный сюртук, она

подумала, что перед ней призрак средневекового владельца замка, и невольно отшатнулась, едва сдержав крик ужаса.

Старый граф, объясняя себе состояние Консуэло и ее бледность усталостью после столь длинного путешествия в тряской карете, предложил ей руку, чтобы помочь взойти на крыльцо. В то же время он попытался сказать ей несколько приветливых, любезных слов. Но помимо того, что природа наделила почтенного старика внешностью холодной и сдержанной, за много лет уединенной жизни он настолько отвык от общества, что его робость теперь удвоилась. Под его, на первый взгляд, важной и суровой внешностью таились детская конфузливость и способность теряться. Из любезности он счел нужным говорить с Консуэло по-итальянски (он знал язык недурно, но отвык от него), и это еще увеличивало его смущение. Он едва мог пробормотать несколько слов, которые девушка, хорошенько не расслышав, приняла за непонятный таинственный язык привидений.

Амелия, собиравшаяся при встрече броситься к ней на шею, чтобы сразу ее приручить, не нашлась, что сказать. С ней случилось то, что бывает с самыми смелыми людьми, — ее заразила

застенчивость и сдержанность других.

Консуэло ввели в большую комнату, где только что отужинали. Граф, желая оказать гостье внимание, а вместе с тем опасаясь показать ей своего сына в летаргическом сне, остановился здесь в нерешительности. Дрожащая Консуэло, чувствуя, что у нее подкашиваются ноги, опустилась на первый попавшийся стул.

— Дядюшка, — сказала Амелия, поняв замешательство старого графа, — мне кажется, нам лучше принять синьору здесь. Тут теплее, чем в большой гостиной, а она, наверно, страшно прозябла от нашего холодного горного ветра да еще в такую грозу. Я с грустью вижу, что наша гостья падает от усталости, и уверена, что она нуждается в хорошем ужине и в отдыхе гораздо больше, чем во всех наших церемониях. Не правда ли, дорогая синьора? — добавила она, решаясь наконец пожать своей пухленькой ручкой обессилевшую руку Консуэло.

Звук этого свежего, молодого голоса, говорившего по-итальянски с резким немецким акцентом, сразу успокоил Консуэло. Она подняла свои испуганные глаза на хорошенькое личико юной баронессы, и взгляд, которым обменялись обе девушки, мгновенно рассеял между ними хо-

лод. Консуэло поняла, что это ее будущая ученица и что эта прелестная головка отнюдь не голова привидения. В свою очередь она пожала ей руку и призналась, что ее совсем оглушил стук кареты и очень напугала гроза. Охотно подчинялась она всем заботам Амелии: пересела поближе к пылающему камину, позволила снять с себя мантилью и согласилась отужинать, хотя ей совсем не хотелось есть. Мало-помалу, ободренная все возрастающей любезностью юной хозяйки, она окончательно пришла в себя. К ней вернулась способность видеть, слышать и отвечать.

Пока слуги подавали ужин, разговор зашел, естественно, о Порпоре. Консуэло с радостью отметила, что граф говорит о нем, как о своем друге, не только равном, но как будто даже выше его стоящем. Потом заговорили о путешествии Консуэло, о дороге, по которой она ехала, и о грозе, которая, должно быть, напугала ее.

— Мы в Венеции привыкли к еще более внезапным и более опасным грозам, — отвечала Консуэло. — Плывя по городу в гондолах во время грозы, мы даже у порога дома ежеминутно рискуем жизнью. Вода, заменяющая нашим улицам мостовую, в это время быстро прибывает и бушует, словно море в непогоду. Она с такой силой

несет наши гондолы вдоль стен, что они могут легко разбиться вдребезги, прежде чем нам удастся пристать. Но, несмотря на то, что я не раз была свидетельницей подобных несчастных случаев и вовсе не труслива, сегодня, когда с горы было сброшено молнией огромное дерево, которое упало поперек дороги, я испугалась, как никогда в жизни. Лошади взвились на дыбы, а кучер в ужасе закричал: «Проклятое дерево свалилось! Гусит упал!» Не можете ли вы мне объяснить, синьора баронесса, что это значит?

Ни граф, ни Амелия не ответили на этот вопрос. Они только вздрогнули и переглянулись.

— Итак, мой сын не ошибся! — произнес старый граф. — Странно! Очень, очень странно!

Снова встревожившись за сына, он пошел к нему в гостиную, а Амелия, сложив руки, прошептала:

— Тут какое-то колдовство! Видно, сам дьявол с нами!

Эти странные, загадочные слова снова навлекли на Консуэло суеверный ужас, охвативший ее при входе в замок Рудольштадтов. Внезапная бледность Амелии, торжественное молчание старых слуг в красных шароварах, с удивительно похожими друг на друга квадратными багро-

выми лицами, с тусклыми, безжизненными глазами рабов, любящих свое вечное рабство; эта сумрачная комната, отделанная черным дубом, которую не в состоянии была осветить люстра со множеством горящих свечей; унылые крики пугача, возобновившего после грозы свою охоту вокруг замка; большие фамильные портреты на стенах; громадные вырезанные из дерева головы оленей и диких кабанов, украшавшие стены, — все до мелочей будило в девушке жуткую, только на время улегшуюся тревогу. То, что сообщила ей затем юная баронесса, тоже не могло способствовать ее успокоению.

— Милая синьора, — сказала та, собираясь угостить ее ужином, — будьте готовы увидеть здесь необъяснимые, неслыханные вещи, чаще скучные, но иногда и страшные. Настоящие сцены из романов: если их рассказать, так никто не поверит. Но вы дадите слово, что обо всем этом сохраните вечное молчание!..

Баронесса еще продолжала говорить, когда дверь медленно распахнулась и канонисса Венцеслава, горбатая, с длинным лицом, в строгом одеянии, при ленте своего ордена, с которой она никогда не расставалась, вошла в зал с таким величественно-приветливым видом, какого она

не принимала с того достопамятного дня, когда императрица Мария-Терезия, возвращаясь со своей свитой из путешествия по Венгрии, оказала замку Исполинов великую честь: остановилась на час отдохнуть и выпить стакан глинтвейна. Канонисса подошла к Консуэло, которая, от изумления и испуга забыв даже встать, смотрела на нее блуждающим взором, сделала ей два реверанса и, произнеся по-немецки очевидно заранее приготовленную и заученную речь, поцеловала ее в лоб. Бедная девушка, похолодев, как мрамор, подумала, что это поцелуй самой смерти, и, чуть не падая в обморок, еле внятно пробормотала слова благодарности.

Заметив, что она смутила гостью более, чем предполагала, канонисса удалилась в гостиную, а Амелия разразилась громким смехом.

— Держу пари, — воскликнула она, — вы подумали, что перед вами тень королевы Либуше! Успокойтесь! Это канонисса — моя тетка, скучнейшее и вместе с тем добрейшее существо в мире.

Не успела Консуэло прийти в себя от испуга, как услышала где-то позади себя скрип огромных венгерских сапог. Пол буквально задрожал под тяжелыми, размеренными шагами, и грузный

человек с такой квадратной и багровой физиономией, что рядом с нею лица слуг казались бледными и тщедушными, молча прошел через зал и вышел через большую дверь, которую они почтительно распахнули перед ним. Консуэло снова содрогнулась, а Амелия снова расхохоталась.

— Это, — сказала она, — барон Рудольштадт, самый заядлый охотник, самый большой соня и наилучший из отцов. Он только что пробудился от своего послеобеденного сна в гостиной. Ровно в девять часов он встает с кресла и, совсем сонный, ничего не видя и не слыша, проходит через этот зал, поднимается в полусне по лестнице и, не сознавая ничего, ложится в постель. Завтра с рассветом он проснется бодрый, оживленный, деятельный, как юноша, и начнет энергично готовить к охоте собак, лошадей и соколов. Едва закончила она свои пояснения, как в дверях показался капеллан.

Он тоже был толст, но мал ростом и бледен, как все люди лимфатического склада. Созерцательная жизнь не подходит для тяжеловесных славянских натур, и полнота священнослужителя была болезненна. Он ограничился тем, что почтительно поклонился баронессе и ее гостье,

сказал что-то тихо слуге и скрылся в ту же дверь, куда вышел барон. Тотчас же старик Ганс и один из тех автоматов, которых Консуэло не в состоянии была отличить друг от друга, до того они были во всем одинаковы, могучи и степенны, направились в гостиную. Не будучи в силах притворяться, будто она ест, Консуэло обернулась, провожая их глазами. Но прежде чем слуги дошли до двери, на пороге появилось новое существо, поразительнее всех прежних: то был молодой человек высокого роста, с необыкновенно красивым, но страшно бледным лицом, одетый с головы до ног во все черное. Роскошная бархатная накидка, отороченная куньим мехом, была скреплена на его плечах золотыми застежками. Длинные, черные как смоль волосы в беспорядке свисали на его бледные щеки, обрамленные вьющейся от природы шелковистой бородкой. Он сделал слугам, которые двинулись было ему навстречу, повелительный жест, и те, отступив, остановились неподвижно, словно прикованные его взглядом. Затем, обернувшись к графу Христиану, шедшему за ним, он проговорил певучим голосом, в котором чувствовалось необычайное благородство:

— Уверяю вас, отец мой, никогда еще я не

был так спокоен. Нечто великое свершилось в моей судьбе, и небесная благодать снизошла на наш дом. — Да услышит тебя господь, дитя мое! — ответил старик, простирая руки как бы для благословения.

Молодой человек низко склонил голову под рукой отца, потом, выпрямившись, с кротким, ясным лицом дошел до середины комнаты, слегка улыбнулся Амелии, едва коснувшись пальцами протянутой ею руки, и несколько секунд пристально смотрел на Консуэло. Проникнувшись невольным уважением к нему, Консуэло поклонилась, опустив глаза. Он же, не отвечая на поклон, продолжал смотреть на нее.

— Эта молодая особа, — сказала ему по-немецки канонисса, — та самая, которая…

Но он прервал ее, сделав жест, как бы говоривший: «Молчите, не мешайте ходу моих мыслей»; потом вдруг отвернулся и, не проявив ни удивления, ни любопытства, медленно вышел через большую дверь.

— Вы должны извинить, милая моя… — обратилась к Консуэло канонисса.

— Простите, что я перебью вас, тетушка, — сказала Амелия, — вы говорите по-немецки, а ведь синьора не знает этого языка.

— Милая синьора, — ответила по-итальянски Консуэло, — в детстве я говорила на нескольких языках, так как много путешествовала, и немецкий язык я еще помню настолько, чтобы все прекрасно понимать. Правда, я не решаюсь заговорить на нем, но если вы дадите мне несколько уроков, я уверена, что скоро с ним справлюсь.

— Значит, совсем как я, — снова заговорила по-немецки канонисса, — я все понимаю, что говорит синьора, а говорить сама на ее языке не могу. Но раз она меня понимает, я хочу просить ее извинить невежливость моего племянника, не ответившего на ее поклон, ибо этот молодой человек сегодня сильно занемог и после случившегося с ним обморока еще так слаб, что, верно, не заметил ее… Не так ли, братец? — прибавила добрая Венцеслава, смущенная своей ложью и ища оправдания в глазах графа Христиана.

— Милая сестра, — ответил старик, — вы очень великодушны, желая оправдать моего сына. Но пусть синьора не удивляется ничему. Завтра мы ей все объясним с той откровенностью, с какой мы вполне можем говорить с приемной дочерью Порпоры и, надеюсь, в ближайшем будущем — другом нашей семьи.

То был час, когда все расходились по своим

комнатам; а в замке царил такой образцовый порядок, что, вздумай молодые девушки засидеться у стола, слуги, казавшиеся настоящими машинами, были бы способны, пожалуй, не обращая внимания на их присутствие, вынести их стулья и погасить свечи. Консуэло к тому же жаждала уйти к себе, и Амелия проводила гостью в нарядную, комфортабельную комнату, которую она велела приготовить рядом со своей собственной.

— Мне очень хотелось бы поболтать с вами часок-другой, — сказала Амелия, когда канонисса, исполнив долг любезной хозяйки, вышла из комнаты. — Мне не терпится познакомить вас со всем, что тут у нас происходит, до того, как вам придется столкнуться с нашими странностями. Но вы, наверно, так устали, что больше всего хотите отдохнуть.

— Это ничего не значит, синьора, — ответила Консуэло. — Правда, я вся разбита, но состояние у меня такое возбужденное, что, боюсь, я всю ночь не сомкну глаз. Поэтому вы можете говорить со мной сколько угодно, но только по-немецки. Это будет мне полезно, а то я вижу, что граф и особенно канонисса не очень сильны в итальянском языке.

— Давайте условимся так, — сказала Амелия, —

вы сейчас ляжете в постель, а я в это время пойду накину капот и отпущу горничную. Потом я вернусь, сяду подле вас, и мы будем говорить по-немецки до тех пор, пока вам не захочется спать. Согласны?

— От всего сердца, — ответила новая гувернантка.

Глава 25

— Так знайте же, дорогая… — начала Амелия, закончив свои приготовления к задуманному разговору. — Однако я до сих пор не знаю вашего имени, — улыбаясь, прибавила она. — Пора бы нам отбросить все титулы церемонии: я хочу, чтобы вы меня звали просто Амелией, а я вас буду называть…

— У меня иностранное имя, трудно произносимое, — ответила Консуэло. Мой добрый учитель Порпора, отправляя меня сюда, приказал мне называться его именем: покровители и учителя обычно поступают так по отношению к своим любимым ученикам; и вот отныне я разделяю честь носить его имя с великим певцом Убером: его зовут Порпорино, а меня — Порпорина. Но это слишком длинно, и вы, если хотите, зовите меня просто Нина.

— Прекрасно! Пусть будет Нина, — согласилась Амелия. — А теперь слушайте: мне надо рассказать вам довольно длинную историю, ибо, если я не углублюсь в далекое прошлое, вы никогда не сможете понять всего, что творится в нашем

доме.

— Я вся — и слух и внимание, — сказала Консуэло, ставшая Порпориной. — Вы, милая Нина, верно, имеете некоторое понятие об истории Чехии?

— Увы, нет! — ответила Консуэло. — Мой учитель, должно быть, писал вам, что я не получила никакого образования. Единственное, что я немного знаю, это историю музыки; что же касается истории Богемии, то она так же мало известна мне, как и история всех других стран мира.

— В таком случае, — сказала Амелия, — я вкратце сообщу то, что вам необходимо знать, чтобы понять мой рассказ. Триста с лишком лет тому назад угнетенный и забитый народ, среди которого вы теперь очутились, был великим народом, смелым, непобедимым, героическим. Им, правда, и тогда правили иностранцы, а насильно навязанная религия была ему непонятна. Бесчисленные монахи подавляли его; развратный, жестокий король издевался над его достоинством, топтал его чувства. Но скрытая злоба и глубокая ненависть кипели, нарастая, в этом народе, пока наконец не разразилась гроза: иностранные правители были изгнаны, религия реформирована, монастыри

разграблены и уничтожены, пьяница Венцеслав сброшен с престола и заключен в тюрьму. Сигналом к восстанию была казнь Яна Гуса и Иеронима Пражского — двух мужественных богемских ученых, стремившихся исследовать и осветить тайну католицизма. Они были вызваны на церковный собор, им обещана была полная безопасность и свобода слова, а потом их осудили и сожгли на костре. Это предательство и гнусность так возмутили народное чувство чести, что в Чехии и в большей части Германии сейчас же вспыхнула война, длившаяся долгие годы. Эти кровавые войны известны под названием гуситских. Бесчисленные и безобразные преступления были совершены с обеих сторон. Нравы были жестоки и безжалостны в то время по всей земле, а политические раздоры и религиозный фанатизм делали их еще более свирепыми. Чехия являлась для Европы олицетворением ужаса. Не буду волновать вас описанием тех страшных сцен, которые здесь происходили: вы и без того подавлены видом этой дикой страны. С одной стороны — бесконечные убийства, пожары, эпидемии, костры, на которых живьем сжигали людей, разрушенные и осквернённые храмы, повешенные и брошенные в кипящую смолу

священники и монахи. С другой стороны — обращенные в развалины города, опустошенные края, измена, ложь, зверства, тысячи гуситов, брошенных в рудники, целые пропасти, до краев наполненные их трупами, земля, усыпанная их костями и костями их врагов. Свирепых гуситов долго еще не удавалось одолеть, с чувством ужаса мы и теперь произносим их имена. А между тем их патриотизм, их непоколебимая твердость, их сказочные подвиги невольно будят в глубине души чувство гордости и восхищения, и молодым умам, подобным моему, порой бывает трудно скрыть эти чувства.

— А зачем их скрывать? — наивно спросила Консуэло.

— Да потому, что после долгой, упорной борьбы Чехия снова подпала под иго рабства, потому, Нина дорогая, что Чехии больше не существует… Наши властители прекрасно понимали, что свобода религии в нашей стране — это и ее политическая свобода. Вот почему они задушили и ту и другую.

— До чего я невежественна! — воскликнула Консуэло. — Никогда ни о чем подобном не слышала и даже не подозревала, что люди бывали так злы.

— Сто лет спустя после Яна Гуса, — продолжала Амелия, — новый ученый, новый фанатик — бедный монах по имени Мартин Лютер — снова пробудил в народе дух национальной гордости, внушил Чехии и всем независимым провинциям Германии ненависть к чужеземному игу и возбудил народ против пап. Самые могущественные короли оставались католиками не столько из любви к этой религии, сколько из жажды неограниченной власти. Австрия соединилась с нами, чтобы раздавить нас, и вот новая война, названная Тридцатилетней, сокрушила, уничтожила нашу нацию. С самого начала этой войны Чехия стала добычей более сильного противника; Австрия обращалась с нами, как с побежденными: она отняла у нас нашу веру, нашу свободу, наш язык и даже самое наше имя. Отцы наши мужественно сопротивлялись, но иго императора все более и более давило нас. Вот уже сто двадцать лет, как наше дворянство, разоренное, обессиленное поборами, битвами и пытками, было принуждено либо бежать с родины, либо переменить свою национальность, отказавшись от своего происхождения, сменив свои фамилии на немецкие (запомните, это), отрекшись от своей веры. Книги наши были сожжены, школы разру-

шены, — словом, нас обратили в австрийцев. Мы теперь всего лишь провинция империи. В славянской земле слышен немецкий говор, — этим все сказано.

— Вы и теперь страдаете от этого рабства и стыдитесь его? Я это понимаю и уже ненавижу Австрию всем сердцем!

— Тише! Тише! — воскликнула юная баронесса. — Говорить это громко небезопасно под мрачным небом Чехии. В этом замке только у одного человека хватает храбрости и безумия произнести то, что вы сейчас сказали, моя дорогая Нина! И человек этот — мой кузен Альберт.

— Так вот причина грусти, которая написана на его лице! — сказала Консуэло. — При первом же взгляде я прониклась невольным уважением к нему.

— О моя прекрасная львица святого Марка! — воскликнула Амелия, пораженная благородным воодушевлением, которое вдруг озарило бледное лицо подруги. — Вы все принимаете слишком всерьез. Боюсь, что через несколько дней мой кузен возбудит в вас скорее сострадание, чем уважение.

— Одно может не мешать другому, — возразила Консуэло. — Но что вы хотите сказать этим, доро-

гая баронесса? Объясните.

— Так слушайте же меня хорошенько, — продолжала Амелия. — Наша семья строго католическая, верная церкви и империи. Мы носим саксонскую фамилию, и наши предки по саксонской линии всегда были правоверными. Если когда-нибудь, на ваше несчастье, моя тетя канонисса вздумает познакомить вас со всеми заслугами наших предков, немецких графов и баронов, перед святой церковью, она убедит вас в том, что на нашем гербе нет ни малейшего пятнышка ереси. Даже в тот период, когда Саксония была протестантской, Рудольштадты предпочли скорее лишиться своих протестантских избирателей, чем покинуть лоно римской церкви. Но тетушка никогда не решится превозносить эти заслуги предков в присутствии графа Альберта, иначе вы услышали бы от него самые поразительные вещи, какие когда-либо приходилось слышать человеческим ушам.

— Вы все возбуждаете мое любопытство, не удовлетворяя его. Пока что я поняла только одно: я не должна обнаруживать перед вашими благородными родными, что разделяю ваши и графа Альберта симпатии к старой Чехии. Вы можете, милая баронесса, положиться на мою

осторожность. К тому же я родилась в католической стране, и уважение к моей религии, так же как и к вашей семье, заставит меня молчать всегда, когда это будет нужно.

— Да, это будет разумно, потому что, предупреждаю вас еще раз, мои родные страшно щепетильны в этом вопросе. Что же касается меня, дорогая Нина, то я очень покладиста: я не католичка и не протестантка. Воспитание я получила у монахинь, и, по правде сказать, их проповеди и молитвы мне порядком надоели. Та же скука преследует меня и здесь: тетка моя Венцеслава совмещает в себе одной педантизм и суеверие целого монастыря. Но я слишком дитя своего века, чтобы из духа противоречия ввергнуться в омут лютеранских пререканий, — надо признаться, не менее нудных. Гуситы — это такая древняя история, что я увлекаюсь ими не более, чем подвигами греков и римлян. Мой идеал — это французский дух; и, мне кажется, ничто не может быть выше ума, философии, цивилизации, процветающих в милой, веселой Франции. От времени до времени мне удается тайком насладиться чтением ее произведений, и тогда издали, точно во сне, сквозь щели своей тюрьмы, я вижу и счастье, и свободу, и удовольствия.

— Вы все больше повергаете меня в недоумение, — сказала Консуэло искренне. — Только что, рассказывая о подвигах древних богемцев, вы, казалось, сами были воодушевлены их героизмом. Я приняла вас за патриотку-богемку и даже немного за еретичку.

— Я более чем еретичка, более чем чешка, — со смехом ответила Амелия, — я немножко неверующая и отчаянный бунтарь. Я ненавижу всякое иго, будь оно духовное или светское, и потихоньку, про себя, протестую против Австрии, самой чопорной и лицемерной ханжи.

— А граф Альберт такой же неверующий, как и вы? И так же проникнут французским духом? В таком случае вы должны отлично понимать друг друга. — Напротив, мы совсем не понимаем друг друга, и теперь, после всех необходимых предисловий, надо рассказать вам о Нем. У моего дяди, графа Христиана, не было детей от первого брака. Вторично он женился сорока лет; и от второй жены у него было пять сыновей, которые, как и их мать, умерли от какой-то наследственной болезни — от каких-то длительных страданий, кончавшихся мозговой горячкой. Эта вторая жена была чистокровная богемка, говорят — красавица и умница. Я не знала ее. В большой

гостиной вы увидите ее портрет — в пурпуровом плаще и в корсаже, усыпанном драгоценными камнями. Альберт поразительно похож на нее. Он шестой и последний из ее детей; из всех них только он достиг тридцатилетнего возраста, хоть и не без труда: здоровый на вид, он перенес тяжкие испытания, и до сих пор странные симптомы мозговой болезни заставляют опасаться за его жизнь. Между нами говоря, я не думаю, чтобы он намного пережил этот роковой возраст, за который не перешагнула и его мать. Хотя Альберт родился от пожилого отца, организм у него крепкий, но душа, как он сам признает, больная, и болезнь эта все усиливается. С самого раннего детства в голове его бродили какие-то странные, суеверные мысли. Четырех лет он уверял, будто часто видит у своей кровати мать, хотя она умерла и сам он видел, как ее хоронили; по ночам он просыпался, чтобы говорить с нею. Тетку Венцеславу это так пугало, что она укладывала в своей комнате у постельки ребенка нескольких служанок. А капеллан не знаю уж сколько потратил святой воды, чтобы изгнать привидение, сколько отслужил месс, стремясь его утихомирить! Но ничто не помогало. Мальчик, правда, долго не говорил о своих видениях, но однажды признался

кормилице, что он и теперь видит свою милую маму, но не хочет об этом никому рассказывать, так как боится, что господин капеллан снова начнет произносить в его комнате разные злые слова, чтобы помешать ей приходить.

Это был невеселый, молчаливый ребенок. Его всячески развлекали, задаривали игрушками, стараясь доставить ему удовольствие, но все это нагоняло на него только еще большую тоску. Наконец решили не препятствовать более его склонности к учению. И действительно, получив возможность удовлетворить свою страсть, он несколько оживился. Но его тихая, вялая меланхолия сменилась каким-то странным возбуждением, перемежавшимся припадками тоски. Догадаться о причинах этой тоски и предотвратить ее было немыслимо. Так, например, при виде нищих он заливался слезами, отдавал им все свои детские сбережения, упрекая себя и огорчаясь, что не может дать больше. Если на его глазах били ребенка или грубо обращались с крестьянином, он приходил в такое негодование, что это кончалось или обмороком, или конвульсиями, длившимися несколько часов. Все это говорило о его добром сердце и высоких душевных качествах. Но даже самые прекрасные

свойства, доведенные до крайности, превращаются в странности, чуть ли не недостатки. Разум маленького Альберта не развивался параллельно с чувствами и воображением. Изучение истории увлекало, но не просвещало его. Слушая о людских преступлениях и несправедливостях, он всегда как-то наивно волновался, напоминая того первобытного короля, который, слушая рассказ о страданиях Христа, воскликнул, размахивая копьем: «Будь я там со своими воинами, этого бы не случилось: я изрубил бы этих злых евреев на тысячи кусков!»

Альберт никак не хотел принять людей такими, какими они были и каковы они сейчас. Он винил бога в том, что не все люди сотворены столь же добрыми и сострадательными, как он сам. И вот благодаря своей любвеобильности он стал, сам того не замечая, безбожником и мизантропом. Не в силах понять то, на что сам он не был способен, Альберт в восемнадцать лет, словно малое дитя, оказался не в состоянии жить с людьми и играть в обществе роль, налагаемую его положением. Если в его присутствии кто-либо высказывал одну из тех эгоистических мыслей, которые кишат в нашем мире и без которых он, пожалуй, и не мог бы существовать, Альберт, не

считаясь ни с положением этого лица, ни с тем, как к нему относится его семья, сразу отдалялся от этого человека, и ничто не могло заставить его быть с ним хотя бы просто учтивым. Он окружал себя людьми из простонародья, обойденными не только судьбой, но часто и природой. Ребенком он сходился только с детьми бедняков, особенно с увечными и дурачками, с которыми всякому другому ребенку было бы скучно и противно играть. Этого пристрастия он не потерял до сих пор, и вы очень скоро сами в этом убедитесь.

Так как при всех этих странностях он был все-таки бесспорно умен, обладал прекрасной памятью, имел способности к искусствам, то отец и тетя, воспитывавшие его с такой любовью, могли не краснеть за него в обществе. Его наивные выходки объясняли деревенским образом жизни, а когда он заходил в них слишком далеко, старались под каким-нибудь предлогом удалить его от тех, кто мог бы на это обидеться. Но, несмотря на все его достоинства и дарования, граф и канонисса с ужасом наблюдали, как эта независимая и ко многому безразличная натура все более и более порывает со светскими обычаями и условностями.

— Но до сих пор, — прервала свою собеседницу

Консуэло, — я не вижу ничего, что говорило бы об упомянутом вами безумии.

— Это потому, что вы сами, по-видимому, прекрасная и чистая душа, ответила Амелия. — Но, быть может, я утомила вас своей болтовней и вы попробуете уснуть?

— Ничуть, дорогая баронесса, умоляю вас — продолжайте, — отвечала Консуэло.

И Амелия продолжала свой рассказ.

Глава 26

— Вы говорите, милая Нина, что не видите никаких странностей в поступках и в поведении моего бедного кузена? Сейчас я представлю вам более несомненные доказательства. Мой дядя и моя тетка, безусловно, самые лучшие христиане и самые добрые старики на свете. Эти достойные люди всегда с необыкновенной щедростью раздавали милостыню, делая это без малейшего чванства и тщеславия. Так вот, мой кузен находил, что их жизнь противоречит духу Евангелия. Он, видите ли, хотел бы, чтобы они, по примеру первых христиан, продав все и раздав деньги неимущим, стали сами нищими. Если он из любви и уважения к ним не говорил этого прямо, то и не скрывал своих взглядов, не переставая печалиться о судьбе несчастных, которые вечно надрываются за работой, вечно страдают, в то время как богачи живут в праздности и роскоши. Все свои деньги он сейчас же раздавал нищим, считая, что это капля в море, и тут же начинал просить еще более крупные суммы, отказывать в которых ему не решались, так что деньги текли

из его рук, как вода; он столько роздал, что в округе вы уже не встретите ни одного бедняка; но я должна сказать, что нам от этого не легче: требования малых сих возрастают по мере того, как они удовлетворяются; и наши добрые крестьяне, прежде такие кроткие и смиренные, теперь, благодаря щедротам и сладким речам молодого барина, очень высоко подняли голову. Не будь над ними императорской власти, которая, с одной стороны, давит нас, а с другой — все-таки оберегает, я думаю, что наши имения и наши замки уже двадцать раз были бы разграблены и разгромлены шайками крестьян из соседних округов. Они голодают вследствие войны, но благодаря неисчерпаемому состраданию Альберта (его доброта известна на тридцать миль окрест) сели нам на шею, особенно со времени всех этих перипетий с наследством императора Карла.

Когда граф Христиан, желая образумить сына, бывало, говорил ему, что ведь отдать все в один день — значит лишить себя возможности давать завтра, тот отвечал: «Отец мой любимый, разве нет у нас крова, который переживет всех нас, тогда как над головами тысяч несчастных лишь холодное и суровое небо? Разве у каждого из нас не больше одежды, чем нужно, чтобы одеть

целую семью в лохмотьях? А разве ежедневно не вижу я за нашим столом такого количества разных яств и чудесных венгерских вин, какого хватило бы, чтобы накормить и поддержать всех этих несчастных нищих, изнуренных нуждой и усталостью? Смеем ли мы отказывать в чем-либо, когда у нас во всем излишек? Имеем ли мы право пользоваться даже необходимым, если у других и того нет? Разве заветы Христа теперь изменились?» Что могли ответить на эти прекрасные слова и граф, и канонисса, и капеллан, сами же воспитавшие этого молодого человека в таких строгих и возвышенных принципах религии? И они приходили в большое смущение, видя, что питомец их все понимает буквально, не желая идти ни на какие требуемые временем компромиссы (на которых, мне думается, и зиждется всякое общественное устройство).

Еще хуже бывало, когда вопрос касался политики: Альберт находил чудовищными человеческие законы, дающие право государям посылать на убой миллионы людей, разорять целые огромные страны ради удовлетворения своего тщеславия и жажды славы. Эта политическая нетерпимость становилась опасной, и родные не решались везти его ни в Вену, ни в Прагу, ни вообще в боль-

шие города, опасаясь, как бы его фанатические речи не повредили им. Не менее беспокоили их и религиозные убеждения Альберта. При такой экзальтированной набожности его вполне могли принять за еретика, достойного костра или виселицы. Он ненавидел пап, этих апостолов Христа, ополчившихся в союзе с королями на спокойствие и благо народа. Он порицал роскошь епископов, светский дух священников и честолюбие всех духовных лиц. Он по целым часам излагал бедному капеллану то, что в далеком прошлом уже говорили в своих проповедях Ян Гус и Мартин Лютер. Альберт проводил целые часы, распростершись на полу часовни, погруженный в глубочайшие религиозные размышления, охваченный священным экстазом. Он соблюдал посты и предавался воздержанию гораздо строже, чем того требовала церковь. Говорили даже, что он носит власяницу, и понадобилась вся власть отца и вся нежность тетушки, чтобы заставить его отказаться от этих истязаний, конечно, немало способствовавших его экзальтации.

Когда его добрые и разумные родные увидели, что он способен в несколько лет растратить все свое состояние, да к тому же еще, как противник католической церкви и правительства,

рискует попасть в тюрьму, они с грустью в душе решили отправить его путешествовать. Они надеялись, что, сталкиваясь с различными людьми, знакомясь в разных странах с их основными государственными законами, почти одинаковыми во всем цивилизованном мире, он привыкнет жить среди людей, и жить так, как живут они. И вот его поручили гувернеру, хитрому иезуиту, светскому и очень умному человеку, понявшему с полуслова свою роль и взявшемуся исполнить то, чего не решались ему высказать прямо. Откровенно говоря, требовалось обольстить и притупить эту непримиримую душу, сделать ее годной для общественного ярма, вливая в нее по капле необходимые для этого сладкие яды — тщеславие, честолюбие, безразлично-спокойное отношение к религии, политике и морали. Не хмурьтесь так, милая Порпорина! Мой почтенный дядя — простой и добрый человек. С юных лет он смотрел на все так, как ему это было внушено, и умел в течение всей своей жизни без ханжества и излишних рассуждении примирять терпимость и религию, долг христианина и обязанности владетельного вельможи. В нашем обществе и в наш век, когда на миллион таких людей, как все мы, встречается один такой, как Альберт, мудр тот, кто идет вме-

сте с веком и вместе с обществом; а кто стремится вернуться за две тысячи лет назад, тот безумец: никого не убедив, он только приводит в негодование людей своего круга.

Альберт путешествовал восемь лет. Он посетил Италию, Францию, Англию, Пруссию, Польшу, Россию и даже Турцию. Вернулся он через Венгрию, Южную Германию и Баварию. За все время этого долгого путешествия он вел себя вполне благоразумно: не тратил больше, чем позволяло приличное содержание, которое назначили ему родные, писал им ласковые, нежные письма и, не вдаваясь ни в какие рассуждения, просто описывал все виденное; аббату же, своему гувернеру, он не давал ни малейшего повода для жалоб или неудовольствия.

Вернувшись домой в начале прошлого года, он, едва поцеловавшись со всеми, тотчас, говорят, удалился в комнату своей покойной матери и, запершись, просидел там несколько часов; затем, выйдя оттуда, страшно бледный, отправился один в горы.

В это время аббат вел откровенную беседу с канониссой Венцеславой и капелланом, потребовавшими, чтобы он без утайки рассказал им все о физическом и моральном состоянии молодого

графа. «Граф Альберт, — сказал он им, — уж не знаю, право, отчего — оттого ли, что путешествие сразу изменило его, оттого ли, что по вашим рассказам о его детстве я составил себе о нем неверное представление, — граф Альберт, говорю я, с первого дня нашей совместной жизни был таким же, каким вы его видите сейчас: кротким, спокойным, выносливым, терпеливым и необыкновенно учтивым. За все время он ни разу не изменил себе, и я был бы самым несправедливым человеком на свете, если бы пожаловался хоть на что-либо. Того, чего я так боялся, — безумных трат, резких выходок, высокопарных наставлений, экзальтированного аскетизма, — мне не пришлось наблюдать. Он ни разу не выразил желания самостоятельно распорядиться теми суммами, которые вы мне доверили. Вообще он никогда не проявлял ни малейшего неудовольствия. Правда, я всегда предупреждал его желания и, видя, что к нашей карете подходит нищий, спешил подать милостыню прежде, чем он успевал протянуть руку. Могу сказать, что такой способ действия оказался очень удачным: почти не видя нищеты и недугов, молодой граф, казалось, совершенно перестал думать о том, что его прежде так удручало. Никогда я не слышал,

чтобы он бранил кого-нибудь, порицал какой-нибудь обычай или отзывался неодобрительно о каком-нибудь установлении. Его экзальтированная набожность, так пугавшая вас, уступила место спокойному исполнению обрядов, приличествующему светскому человеку. Он бывал при самых блестящих дворах Европы, проводил время в лучшем обществе, ничем не увлекаясь, но ничем и не возмущаясь. Всюду обращали внимание на его красоту, благородные манеры, учтивость без всякой напыщенности, на его такт и находчивость в беседе. Молодой граф остался таким же чистым, как самая благовоспитанная девица, не выказывая при этом никакой чопорности дурного тона. Он бывал в театрах, осматривал музеи, памятники, говорил сдержанно и толково об искусстве. Словом, у меня сложилось представление о нем как о вполне благоразумном, уравновешенном человеке, и мне совершенно непонятно то беспокойство, которое он внушал вам. Если в нем и есть нечто необычное, так это именно чувство меры, осторожность, хладнокровие, отсутствие увлечений и страстей, чего я никогда еще не встречал в молодом человеке, столь щедро одаренном красотой, знатностью и богатством».

Впрочем, в этом отчете не было ничего нового, — он являлся лишь подтверждением частых писем аббата родным; но они все время боялись, не преувеличивает ли он, и успокоились, лишь когда он подтвердил полное моральное перерождение моего двоюродного брата, видимо не опасаясь, что тот на глазах родителей немедленно опровергнет его своим поведением. Аббата осыпали подарками, благодарностями и стали ждать с нетерпением возвращения Альберта с прогулки. Она тянулась долго, и когда наконец молодой граф появился к ужину, все были поражены его бледностью и серьезностью. Если в первую минуту при встрече лицо его сияло нежной и глубокой радостью, то теперь от нее не осталось и следа. Все были удивлены и с беспокойством тихонько обратились к аббату за разъяснениями. Тот взглянул на Альберта и, подойдя к отозвавшим его в угол родственникам, ответил с изумлением: «Право, я не нахожу ничего особенного в лице графа: у него все то же благородное, спокойное выражение, какое я привык видеть на протяжении тех восьми лет, что я имею честь состоять при нем». Граф Христиан вполне удовлетворился таким ответом.

«Когда мы расстались с Альбертом, — сказал

он сестре, — на щеках его еще играл румянец юности, а внутренняя лихорадка часто — увы! — придавала блеск его глазам и живость голосу. Теперь мы видим его загоревшим от южного солнца, немного похудевшим, вероятно от усталости, и более серьезным, как это и приличествует сложившемуся мужчине. Вам не кажется, сестрица, что сейчас он гораздо лучше?»

«В его серьезности чувствуется грусть, — ответила моя добрая тетушка. — Я никогда в жизни не видела двадцативосьмилетнего Молодого человека, который был бы таким вялым и таким молчаливым. Он едва отвечает нам». «Граф всегда скуп на слова», — возразил аббат.

«Раньше это было не так, — сказала каноница. — Если бывали недели, когда мы его видели молчаливым и задумчивым, то бывали и дни, когда он воодушевлялся и говорил целыми часами».

«Я никогда не замечал, — возразил аббат, — чтобы он изменял той сдержанности, которую вы теперь в нем наблюдаете».

«Неужели он больше нравился вам, когда говорил слишком много и своими разговорами приводил нас в ужас? — спросил граф Христиан свою озабоченную сестру. — Ох, эти женщины!»

«Да, но тогда он все-таки жил, — сказала она, — а теперь он производит впечатление выходца с того света, равнодушного ко всему земному». «Таков характер молодого графа, — сказал аббат, — он человек замкнутый, ни с кем не любит делиться впечатлениями и, говоря откровенно, не поддается влиянию никаких внешних впечатлений. Это свойство людей холодных, благоразумных, рассудительных; так уж он создан, и я глубоко убежден, что, стремясь расшевелить его, можно только внести тревогу в его душу, чуждую всякой живости и опасной предприимчивости».

«О! Я готова поклясться, что его истинный характер вовсе не таков! воскликнула канонисса.

«Госпожа канонисса, вероятно, откажется от своего предубеждения против столь редкого преимущества», — сказал аббат.

«В самом деле, сестрица, — сказал граф Христиан, — я нахожу, что господин аббат рассуждает весьма мудро. Не он ли своими усилиями и влиянием достиг того, к чему мы так стремились? Не он ли предотвратил несчастья, которых мы так боялись? Альберт был расточителен, экзальтирован, безумно смел! Вернулся он к нам таким, каким должен быть, чтобы заслужить уважение,

доверие и почтение себе подобных».

«Но вернулся истертым, как старинная книга, — проговорила тетушка, — а может быть, ожесточенным и презирающим все то, что не соответствует его тайным желаниям. Мне даже кажется, что он не рад нам, а мыто ждали его с таким нетерпением!»

«Граф и сам с нетерпением стремился домой, — заметил аббат, — я прекрасно это видел, хотя открыто он этого не выказывал. Он ведь так мало общителен. По природе своей он очень замкнутый человек».

«Наоборот, по натуре своей он очень экспансивен, — горячо возразила канонисса. — Он бывал подчас вспыльчив, а по временам чрезвычайно нежен. Часто он сердил меня, но стоило ему броситься мне на шею, и я тотчас все ему прощала».

«По отношению ко мне ему никогда ничего не приходилось заглаживать», — сказал аббат.

«Поверьте, сестрица, так гораздо лучше», — настаивал мой дядя.

«Увы! — воскликнула канонисса. — Неужели всегда у него будет это выражение лица, которое приводит меня в ужас и надрывает мне сердце?»

«Это — гордое, благородное выражение, приличествующее человеку его круга», — сказал аббат.

«Нет! Это просто каменное лицо! — воскликнула канонисса. — Глядя на него, мне кажется, что я вижу его мать, но не доброй и нежной, какой я ее знала, а ледяной и неподвижной, как она нарисована на портрете в дубовой раме». — «Повторяю вашему сиятельству, — настаивал аббат, — что это обычное выражение лица графа Альберта за эти восемь лет».

«Увы! Значит, вот уже восемь ужасных лет, как он никому не улыбнулся! — воскликнула, заливаясь слезами, моя добрейшая тетушка. — За эти два часа, что я не свожу с него глаз, его сжатые бескровные губы ни разу не оживились улыбкой. Ах, мне хочется броситься к нему, прижать его к сердцу, упрекнуть в равнодушии, даже выбранить, как бывало. Быть может, и теперь, как прежде, он, рыдая, кинулся бы мне на шею!»

«Сохрани вас бог от такой неосторожности, дорогая сестра, — проговорил граф Христиан, заставляя ее отвернуться от Альберта, с которого та не сводила глаз, полных слез. — Не поддавайтесь материнской слабости, — продолжал он, — мы уже с вами видели, каким бичом была эта чрезмерная чувствительность для жизни и рассудка нашего бедного мальчика. Развлекая его, устраняя от него всякое сильное волнение, господин

аббат, следуя указаниям врачей и нашим, умиротворил эту тревожную душу. Смотрите, не испортите всего причудами своей ребячливой нежности».

Канонисса согласилась с доводами брата и постаралась примириться с ледяной холодностью Альберта, но она не могла к этому привыкнуть и то и дело шептала на ухо брату: «Что там ни говорите, Христиан, но я боюсь, что, обращаясь с ним как с больным ребенком, а не как с мужчиной, аббат погубил его».

Вечером, отходя ко сну, все начали прощаться; Альберт почтительно склонился под отцовским благословением; когда же канонисса прижала его к своей груди и он заметил, что она вся дрожит, а голос ее прерывается от волнения, он тоже задрожал и, словно почувствовав нестерпимую боль, вдруг вырвался из ее объятий.

«Видите, сестрица, — шепотом сказал граф, — он отвык от душевных волнений, вы ему вредите».

Говоря это, граф, сам далеко не успокоенный, с волнением следил глазами за сыном, желая проверить, как тот относится к аббату: не предпочитает ли он теперь его всем своим? Но Альберт с холодной вежливостью поклонился своему

гувернеру.

«Сын мой, — проговорил граф, — мне кажется, что я поступил сообразно твоим желаниям и симпатиям, попросив господина аббата не покидать тебя, как он имел намерение сделать, а остаться с нами возможно дольше. Мне не хотелось бы, чтобы наше счастье — снова быть вместе — омрачилось для тебя каким-либо огорчением, и я хочу надеяться, что твой уважаемый друг поможет нам сделать для тебя безоблачной эту радость свидания».

Альберт ответил на это лишь глубоким поклоном, и какая-то странная улыбка мелькнула на его губах.

«Увы, — проговорила бедная канонисса, когда племянник вышел, — вот как он теперь улыбается!»

Глава 27

— Во время отсутствия Альберта граф и канонисса строили много всяких планов о будущности своего дорогого мальчика, особенно о его женитьбе. С его красотой, именем и еще очень значительным состоянием Альберт мог рассчитывать на самую лучшую партию. Однако на тот случай, если бы остатки апатии и нелюдимости помешали его светским успехам, обожавшие его родные держали для него в запасе молодую девушку с таким же знатным именем, как и у него самого, — его двоюродную сестру, носящую ту же фамилию; хоть и единственная дочь, она была менее богата, чем он, но довольно хороша собой — такими бывают в шестнадцать лет девочки, красивые свежестью молодости. Эта молодая особа — баронесса Амелия фон Рудольштадт, ваша покорная слуга и ваша новая подруга.

«Она, — говорили между собой старики, сидя у камина, — не видела еще ни одного мужчины. Воспитанница монастыря, она с радостью пойдет замуж, лишь бы вырваться оттуда. Претендовать на лучшую партию она не может. А что касается

странностей, которые могут сохраниться в характере ее двоюродного брата, то воспоминания детства, родство, несколько месяцев близости с нами, конечно, все сгладят и заставят ее, хотя бы из родственного чувства, молчаливо выносить то, чего, быть может, не стала бы терпеть чужая». В согласии моего отца они не сомневались: по правде сказать, собственной воли у него никогда не было, всю жизнь он поступал так, как хотели его старший брат и сестра Венцеслава.

После двух недель внимательного наблюдения дядя и тетка поняли, что последнему отпрыску их рода, вследствие меланхоличности и полнейшей замкнутости характера, не суждено покрыть их имя новой славой. Молодой граф не проявлял ни малейшего желания блистать на каком-либо поприще: его не тянуло ни к военной карьере, ни к гражданской, ни к дипломатии. На все предложения он отвечал с покорным видом, что готов подчиниться воле родительской, но что ему самому не нужно ни роскоши» ни славы. В сущности, апатичный характер Альберта был повторением, но в более сильной степени, характера его отца, у которого терпение граничит с безразличием, а скромность является чем-то вроде самоотречения. Что выставляет моего дядю в несколько

ином свете и чего нет у его сына, так это его горячее, притом лишенное всякой напыщенности и тщеславия, отношение к общественному долгу. Альберт, казалось, признавал теперь семейные обязанности, но к общественным обязанностям, как мы их понимаем, относился, по-видимому, не менее равнодушно, чем в детские годы. Наши отцы, его и мой, сражались при Монтекукули против Тюренна. В войну они вносили фанатизм, подогретый сознанием имперского величия. В то время считалось долгом слепо повиноваться и слепо верить своим властелинам. Наше более просвещенное время срывает ореол с монархов, и современная молодежь осмеливается не верить ни императорской короне, ни папской тиаре. Когда дядя пытался пробудить в сыне древний рыцарский пыл, он прекрасно видел, что все его речи ровно ничего не говорят этому скептически настроенному человеку, ко всему относящемуся с презрением.

«Если уж это так, не будем ему перечить, — решили дядя с теткой, — не будем вредить этому и без того печальному выздоровлению, в результате которого вместо возбужденного человека нам вернули человека угасшего. Пусть живет себе спокойно, как ему хочется. Пусть будет усидчи-

вым ученым-философом, как некоторые из его предков, или же страстным охотником, подобно нашему брату Фридриху, или справедливым, творящим добро помещиком, каким старается быть его отец. Пусть он ведет отныне спокойную, безобидную жизнь старика; он будет первым из Рудольштадтов, не знавшим молодости. Но так как нельзя допустить, чтобы с ним угас и наш род, надо поскорее женить его, дабы наследники нашего имени восполнили этот пробел на блестящих страницах нашей истории. Кто знает, быть может, по воле провидения рыцарская кровь его предков, как бы отдыхая в нем, забурлит с новой силой и отвагой в жилах его потомков?»

И тут же было решено поговорить с Альбертом о женитьбе.

Сначала затронули этот вопрос слегка, но, видя, что он и к женитьбе относится с таким же равнодушием, как ко всему прочему, стали говорить с ним более серьезно и настойчиво. Он возражал, ссылаясь на свою застенчивость, на неумение вести себя в женском обществе.

«Надо правду сказать, — говорила тетушка, — что, будь я молодой женщиной, такой угрюмый претендент, как наш Альберт, внушил бы мне больше страха, чем желания выйти за него замуж,

и я бы даже горб свой не променяла на его речи».

«Значит, нам нужно прибегнуть к последнему средству, — решил дядя, — женить его на Амелии. Он знал ее ребенком, смотрит на нее как на сестру, поэтому будет с нею менее застенчив. А так как она характера веселого и решительного, то своей жизнерадостностью может вывести нашего Альберта из этой меланхолии, которой он все больше и больше поддается».

Альберт не отклонил этого проекта, но и не высказался за него, — он только согласился увидеться со мной и ближе познакомиться. Решено было ни о чем меня не предупреждать, дабы избавить от обиды отказа, всегда возможного с его стороны. Написали об этом моему отцу и, получив его согласие, начали сейчас же хлопотать перед папой о разрешении на наш брак, необходимом ввиду близкого родства. Тем временем отец взял меня из монастыря, и в одно прекрасное утро мы подъехали к замку Исполинов. Наслаждаясь деревенским воздухом, я с нетерпением ждала минуты, когда увижу своего жениха. Добрый мой отец, полный надежд, воображал, будто я ничего не знаю о брачном проекте, а сам в дороге, не замечая этого, все мне выболтал.

Первое, что меня поразило в Альберте, это его

красота и благородная осанка. Признаюсь вам, дорогая Нина, что мое сердечко сильно забилось, когда он поцеловал мне руку, и в течение нескольких дней каждый его взгляд, каждое слово приводили меня в восторг. Его серьезность нисколько не отталкивала меня, а он, казалось, не чувствовал в моем присутствии ни малейшего стеснения. Как в дни детства, он говорил мне «ты», и когда, из опасения нарушить светские приличия, старался поправиться, родные разрешали ему это и даже просили сохранить свою прежнюю фамильярность в обращении со мной. Моя веселость порой вызывала у него непринужденную улыбку, и наша добрая тетушка, вне себя от восторга, приписывала мне всю честь этого исцеления, которое уже считала окончательным. Словом, он относился ко мне кротко и ласково, как к ребенку, и пока что я довольствовалась этим, уверенная, что в недалеком будущем он обратит более серьезное внимание на мою задорную рожицу и на мои красивые туалеты, на которые я не скупилась, чтобы ему понравиться.

Однако вскоре, к моему огорчению, мне пришлось убедиться, что он очень мало интересуется моей наружностью, а туалетов просто не замечает. Как-то раз тетушка обратила его внимание

на прелестное лазоревоголубое платье, чудесно обрисовывавшее мою фигуру. А он стал уверять, что платье ярко-красное. Тут аббат, его гувернер, большой любитель комплиментов, желая преподать ему урок учтивости, вмешался, говоря, что он отлично понимает, почему граф Альберт не разглядел цвета моего платья. Казалось бы, моему кузену представлялся удобный случай сказать мне какую-нибудь любезность по поводу роз на моих щеках и золота моих волос. Но он лишь сухо возразил аббату, что отличать цвета умеет не хуже его и что платье мое красно, как кровь.

Не знаю почему, но эта странность его поведения и грубость вызвали во мне дрожь. Я взглянула на Альберта, и мне вдруг стало страшно от выражения его глаз. С этого дня я стала больше бояться его, чем любить. Скоро я совсем его разлюбила, а теперь и не боюсь и не люблю. Я просто жалею его — и только. Вы сами мало-помалу увидите, почему это так, и поймете меня.

На следующий день мы собирались отправиться за покупками в Тусту, ближайший город. Я очень радовалась этой прогулке. Альберт должен был верхом сопровождать меня. Я была готова и ждала, что он подсадит меня в седло. Экипажи были поданы и стояли у подъезда, а Альберт все не

появлялся. Его слуга доложил, что в назначенный час постучал к нему в дверь. Камердинера снова послали справиться, готов ли молодой граф. Надо сказать, что у Альберта была мания всегда одеваться самому, без помощи слуги; только выйдя из своей комнаты, он разрешал камердинеру войти в нее. Напрасно стучали к нему, — он не отвечал. Встревоженный этим молчанием, старый граф сам отправился к комнате сына, но ему не удалось ни открыть дверь, запертую изнутри, ни добиться от Альберта хотя бы одного слова. Все начали уже беспокоиться, но аббат объявил спокойным голосом, что у графа Альберта бывают иногда припадки непробудного сна, вроде какого-то оцепенения, и если его внезапно разбудить, то он приходит в очень возбужденное состояние, после чего в течение нескольких дней плохо себя чувствует.

«Но ведь это болезнь! — с тревогой воскликнула канонисса.

«Не думаю, — отвечал аббат, — я никогда не слышал, чтобы он на что-либо жаловался. Доктора, которых я приглашал во время подобного сна, не находили у графа никакой болезни, а это состояние объясняли переутомлением, физическим или умственным. Они настаивали, что нельзя

нарушать этой потребности в полном покое и забвении».

«И часто это с ним бывает? — спросил дядя.

«Я наблюдал это явление лишь пять-шесть раз за все восемь лет, — ответил аббат, — и так как я никогда не тревожил его, то это проходило без всяких неприятных последствий».

«И долго это продолжается? — спросила я в свою очередь, очень раздосадованная.

«Более или менее долго, — сказал аббат, — в зависимости от того, как долго длилась бессонница, предшествовавшая этой потере сил или вызвавшая ее. Но знать это невозможно, так как граф сам не помнит причины или не хочет о ней говорить. Он очень много работает и скрывает это с редкой скромностью».

«Значит, он очень начитан? — спросила я.

«Чрезвычайно», — ответил аббат.

«И никогда этого не выказывает?»

«Он делает из этого тайну и даже сам этого не подозревает».

«На что ему эта ученость в таком случае?»

«Гений — как красота, — ответил льстивый иезуит, глядя на меня маслеными глазками, — это милости неба, не внушающие ни гордости, ни волнения тем, кто ими наделен».

Я поняла его наставление и, как вы можете себе представить, еще больше разозлилась. Решили отложить прогулку до пробуждения моего кузена. Но когда по прошествии двух часов он так и не появился, я скинула свою великолепную амазонку и села вышивать за пяльцы. Не скрою, при этом я много изорвала шелка и пропустила крестиков. Я была возмущена дерзостью Альберта. Как он смел, сидя над своими книгами, забыть о предстоящей прогулке со мной и теперь спать непробудным сном, в то время как я его жду?! Время шло, и поневоле пришлось отказаться от поездки в город. Мой отец, вполне удовлетворившись объяснениями аббата, взял свое ружье и преспокойно отправился стрелять зайцев. Тетушка, менее спокойная, раз двадцать поднималась к комнате племянника, чтобы послушать у его дверей. Но там царила мертвая тишина, не слышно было даже его дыхания. Бедная старушка была в отчаянии, видя, до чего я недовольна. А дядя Христиан, чтобы забыться, взял книжку духовного содержания, уселся в уголке гостиной и стал читать с таким смирением, что я готова была выпрыгнуть в окно с досады. Наконец, уже под вечер, тетушка, вся сияющая, пришла сказать, что Альберт встал и одевается. Аббат посоветовал

нам при появлении молодого графа не проявлять ни удивления, ни беспокойства, не предлагать ему никаких вопросов и только стараться отвлечь его, если он будет огорчен случившимся.

«Но если мой кузен не болен, значит, он маньяк? — воскликнула я, вспылив. Я сейчас же пожалела о сказанном, увидев, как изменилось от моих жестоких слов лицо бедного дяди.

Но когда Альберт как ни в чем не бывало вошел, не найдя нужным даже извиниться и, видимо, нимало не подозревая о нашем недовольстве, я возмутилась и очень сухо с ним поздоровалась. Он даже не заметил этого. Казалось, он был весь погружен в свои думы.

Вечером моему отцу пришло в голову, что Альберта может развеселить музыка. Я еще ни разу не пела при нем; моя арфа прибыла только накануне. Не перед вами, ученая Порпорина, мне хвастаться своими познаниями в музыке, но вы сами убедитесь, что у меня недурной голосок и есть врожденная музыкальность. Я заставила долго просить себя: мне больше хотелось плакать, чем петь. Альберт не проронил ни слова, не выказал ни малейшего желания послушать меня. Наконец я все-таки согласилась, но пела очень плохо, и Альберт, словно я терзала ему слух,

был настолько груб, что после нескольких тактов вышел из комнаты. Мне пришлось призвать на помощь все мое самолюбие, всю мою гордость, чтобы не расплакаться и допеть арию, не порвав со злости струн арфы. Тетушка вышла вслед за племянником, отец мой сейчас же заснул, а дядя ждал у дверей возвращения сестры, чтобы узнать от нее, что с сыном. Один аббат рассыпался передо мной в комплиментах, но они злили меня больше, чем безразличие остальных. «По-видимому, мой кузен не любит музыки», — сказала я.

«Напротив, он очень ее любит, — отвечал аббат, — но это зависит...»

«От того, как поют», — прервала я его.

«... от его душевного состояния, — продолжал он, не смутившись. Иногда музыка ему приятна, иногда вредна. По-видимому, вы так его растрогали, что он не в силах был владеть собой и ушел, испугавшись, как бы не обнаружить свои чувства. Это бегство должно вам льстить больше всяких похвал».

В лести иезуита было что-то хитрое и насмешливое, возбуждавшее во мне ненависть к этому человеку. Но скоро я избавилась от него, как вы это сейчас увидите.

Глава 28

— На следующий день моей тетушке, становящейся разговорчивой, лишь когда она чем-нибудь очень взволнована, пришла в голову злосчастная мысль затеять беседу с аббатом и капелланом. А так как, помимо родственных привязанностей, поглощающих ее почти всецело, единственное в мире, что ее интересует, — это величие нашего рода, то она не преминула распространиться насчет своей родословной, доказывая обоим священникам, что наш род, особенно по женской линии, самый знаменитый, самый чистый — словом, наилучший из всех немецких родов. Аббат слушал терпеливо, капеллан — с благоговением, как вдруг Альберт, казалось совершенно не слушавший тетушку, прервал ее с легким раздражением:

«Мне кажется, милая тетушка, что вы заблуждаетесь относительно превосходства нашего рода. Правда, и дворянство и титулы получены нашими предками довольно давно, но род, потерявший свое имя и, так сказать, отрекшийся от него, сменивший его на имя женщины, чу-

жой по национальности и по вере, — такой род утрачивает право гордиться своими старинными доблестями и верностью своей стране».

Это замечание задело канониссу за живое, и, заметив, что аббат насторожился, она сочла нужным возразить племяннику.

«Я не согласна с вами, дорогой мой, — сказала она. — Не раз бывало, что какой-нибудь именитый род возвышался еще более, присоединив к своему имени имя материнской линии, дабы не лишить своих наследников чести происходить от женщины доблестного рода».

«Но здесь этот пример неприменим, — возразил Альберт с несвойственной ему настойчивостью. — Я понимаю, что можно соединить два славных имени. Я нахожу вполне справедливым, чтобы женщина передала детям свое имя, присоединив его к имени мужа. Но полное уничтожение имени мужа кажется мне оскорблением со стороны той, которая этого требует, и низостью со стороны того, кто этому подчиняется».

«Альберт, вы вспоминаете события из слишком далекого прошлого, — проговорила с глубоким вздохом канонисса, — и приводите пример, еще менее удачный, чем мой. Господин аббат, слу-

шая вас, мог подумать, что какой-то мужчина, наш предок, был способен на низость. Раз вы так прекрасно осведомлены о вещах, которые, как я думала, вам почти неизвестны, вы не должны были делать подобное замечание по поводу политических событий… столь далеких от нас, благодарение богу…»

«Если сказанное мною вам неприятно, тетушка, я сейчас приведу факт, который смоет всякое позорное обвинение с памяти нашего предка Витольда, последнего графа Рудольштадта. Это, мне кажется, очень интересует мою кузину, — заметил он, видя, как я вытаращила на него глаза, пораженная тем, что он, вопреки своей обычной молчаливости и философскому образу мыслей, вдруг пустился в такой спор. — Да будет вам известно, Амелия, что нашему прадеду Братиславу едва исполнилось четыре года, когда его мать, Ульрика Рудольштадт, сочла нужным заклеймить его позором, — отняв у него его настоящее имя, имя его отцов — Подебрад, и дав ему взамен то саксонское имя, которое мы теперь носим вместе с вами: вы — не краснея, а я — не гордясь им».

«По-моему, совершенно бесполезно вспоминать о вещах, столь далеких от нашей эпохи», — про-

говорил граф Христиан, которому, видимо, было не по себе.

«Мне кажется, что тетушка заглянула в еще более далекое прошлое, рассказывая нам про великие заслуги Рудольштадтов, и я не понимаю, что дурного в том, если кто-нибудь из нас, случайно вспомнив, что он чех, а не саксонец по происхождению, что его зовут Подебрад, а не Рудольштадт, станет рассказывать о событиях, которые произошли всего каких-нибудь сто двадцать лет тому назад».

«Я знал, — вмешался аббат, слушавший Альберта с большим интересом, что ваш именитый род в прошлом был в родстве с королевским родом Георгия Подебрада, но не подозревал, что вы прямые его потомки, имеющие право носить его имя».

«Это потому, — ответил Альберт, — что тетушка, так хорошо разбирающаяся в генеалогии, сочла нужным отсечь в своей памяти то древнее и почтенное древо, от которого происходим мы. Но генеалогическое древо, на котором кровавыми буквами занесена наша славная и мрачная история, еще высится на соседней горе».

Так как, говоря это, Альберт оживлялся все больше и больше, а лицо дяди делалось все мрач-

нее, аббат, хотя в нем и было задето любопытство, попробовал было переменить разговор. Но мое любопытство было слишком сильно.

«Что вы хотите сказать этим, Альберт? — воскликнула я, подходя к нему.

«Я хочу сказать то, что каждый из рода Подебрадов должен был бы знать, — ответил он. — Я хочу сказать, что на старом дубе скалы Ужаса, на который вы ежедневно смотрите из своего окна, Амелия, и под сень которого я советую вам никогда не садиться, не сотворив молитвы, триста лет тому назад висели плоды потяжелее тех высохших желудей, которые теперь почти не растут на нем».

«Это ужасная история, — пробормотал перепуганный капеллан, — не понимаю, кто мог об этом рассказать графу Альберту».

«Местное предание, а быть может, нечто еще более достоверное, — ответил Альберт. — Как ни сжигай семейные архивы и исторические документы, господин капеллан, как ни воспитывай детей в неведении минувшего, как ни заставляй молчать простодушных людей с помощью софизмов, а слабых — с помощью угроз, — ни страх пред деспотизмом, ни боязнь ада не могут заглушить тысячи голосов прошлого, они несутся отовсюду.

Нет! Нет! Они слишком громки, эти ужасные голоса, чтобы слова священника могли заставить их умолкнуть. Когда мы спим, они говорят нашим душам устами призраков, поднимающихся из могил, дабы предупредить нас; мы слышим эти голоса среди шума природы; они, как некогда голоса богов в священных рощах, исходят даже из древесных стволов, чтобы рассказать нам о преступлениях, о несчастьях и подвигах наших отцов…»

«Зачем, мой бедный мальчик, ты мучаешь себя такими горестными мыслями и роковыми воспоминаниями? — проговорила канонисса.

«Это ваша генеалогия, тетушка, это путешествие, которое вы только что совершили в прошлые века, — это они пробудили во мне воспоминание о пятнадцати монахах, собственноручно повешенных на ветвях дуба одним из моих предков… Да, моим предком, самым великим, самым страшным, самым упорным, — тем, кого звали „Грозный слепец“, непобедимый Ян Жижка, поборник чаши!»

Громкое, ненавистное имя главы таборитов — сектантов, которые во время Гуситских войн превосходили своей энергией, храбростью и жестокостью всех остальных реформатов, поразило,

как удар грома, обоих священников. Капеллан даже осенил себя крестным знамением, а тетушка, сидевшая рядом с Альбертом, невольно отодвинулась от него.

«Боже милостивый! — воскликнула она. — Да о чем и о ком говорит этот мальчик? Не слушайте его, господин аббат! Нет, никогда, никогда наша семья не имела ничего общего с тем окаянным, гнусное имя которого он только что произнес».

«Говорите за себя, тетушка, — решительно возразил Альберт. — Вы — Рудольштадт в душе, хотя в действительности происходите от Подебрадов. Но в моих жилах течет на несколько капель больше чешской крови и на несколько капель меньше крови иностранной. В родословном древе моей матери не было ни саксонцев, ни баварцев, ни пруссаков; она была чистой славянской расы. Вы, тетушка, по-видимому, не интересуетесь благородным происхождением, на которое не можете претендовать, а я, дорожа своим личным славным происхождением, могу сообщить вам, если вы не знаете, и напомнить вам, если вы забыли, что у Яна Жижки была дочь, которая вышла замуж за графа Прахалица, и что мать моя, будучи сама Прахалиц, — потомок по прямой женской линии Яна Жижки так точно,

как вы, тетушка, — потомок Рудольштадтов».

«Это бред, это заблуждение, Альберт…»

«Нет, дорогая тетушка, это вам может подтвердить господин капеллан, человек правдивый, богобоязненный; у него в руках были дворянские грамоты, удостоверяющие это».

«У меня? — вскричал капеллан, бледный как мертвец.

«Вы можете в этом сознаться, не краснея перед господином аббатом, — с горькой иронией ответил Альберт. — Вы только исполнили свой долг католического священника и австрийского подданного, когда сожгли эти документы на следующий день после смерти моей матери».

«Моя совесть повелела мне тогда сжечь их, но свидетелем этого был один господь, — проговорил капеллан, еще больше бледнея. — Граф Альберт, скажите, кто мог вам это открыть?»

«Я уже сказал вам, господин капеллан: голос, говорящий громче, чем голос священника».

«Что это за голос, Альберт? — спросила я, сильно заинтересованная.

«Голос, говорящий во время сна», — ответил Альберт.

«Но это ничего не объясняет, сын мой», — сказал граф Христиан задумчиво и грустно.

«Голос крови, отец мой! — ответил Альберт тоном, заставившим всех нас вздрогнуть.

«О боже мой! — воскликнул дядя, молитвенно сложив руки. — Опять те же сны, опять та же игра больного воображения, которые когда-то так терзали его бедную мать. — И, наклонившись к тетушке, он тихо прибавил: — Должно быть, во время своей болезни она обо всем этом говорила при ребенке, и, очевидно, это запечатлелось в его детском мозгу».

«Это невозможно, братец, — ответила канонисса, — Альберту не было и трех лет, когда он потерял мать».

«Вероятнее всего, — вполголоса заговорил капеллан, — что в доме могло сохраниться что-нибудь из тех проклятых еретических писаний, полных лжи и безбожия, которые она хранила в силу семейных традиций. Тем не менее перед смертью у нее хватило нравственных сил пожертвовать ими».

«Нет, от них ничего не сохранилось, — проговорил Альберт, не пропустивший ни одного слова, сказанного капелланом, несмотря на то, что тот говорил очень тихо, а молодой граф, возбужденно прохаживавшийся по большой гостиной, в это время был на другом ее конце. — Вы сами

прекрасно знаете, господин капеллан, что вы уничтожили все и что на следующий день после ее кончины вы все обыскали и перерыли в ее комнате».

«Откуда ты все это взял, Альберт? — строго спросил граф Христиан. Какой вероломный или безрассудный слуга вздумал смутить твой юный ум, рассказав, несомненно в преувеличенном виде, об этих семейных событиях?» «Ни один из слуг мне этого не говорил, отец, клянусь моей верой и совестью».

«Значит, это дело рук врага рода человеческого», — пробормотал с ужасом капеллан.

«Пожалуй, более правдоподобно и более по-христиански, — вставил аббат, — допустить, что граф Альберт одарен исключительной памятью и что события, которые обыкновенно проходят для детей бесследно, запечатлелись в его мозгу. Убедившись в редком уме графа, я могу легко предположить, что он развился чрезвычайно рано, а память его поистине необыкновенна». «Память моя вам кажется такой необыкновенной лишь потому, что вы сами совершенно лишены ее, — возразил сухо Альберт. — Например, вы не помните, что вы делали в тысяча шестьсот девятнадцатом году, после того как мужественный,

верный протестант Витольд Подебрад (ваш дед, дорогая тетушка), последний предок, носивший наше имя, обагрил своей кровью скалу Ужаса. Бьюсь об заклад, господин аббат, что вы забыли о вашем поведении при этих обстоятельствах».

«Признаюсь, совершенно забыл», — ответил аббат с насмешливой улыбкой, что было не очень благовоспитанно в ту минуту, когда нам всем стало ясно, что Альберт бредит.

«В таком случае, я вам напомню, — сказал Альберт, ничуть не смущаясь. — Вы начали с того, что поспешили дать совет императорским солдатам, только что прикончившим Витольда Подебрада, бежать или спрятаться, так как вы знали, что пильзенские рабочие, имевшие мужество признавать себя протестантами и обожавшие Витольда, уже шли отомстить за смерть своего повелителя, готовясь растерзать в клочья его убийц. Затем вы отправились к моей прабабке Ульрике, дрожащей и запуганной вдове Витольда, и предложили ей прощение императора Фердинанда Второго, сохранение ее поместий, титулов, свободы, жизни ее детей — при условии, если она последует вашим советам и оплатит ваши услуги золотом. Она согласилась на это: материнская любовь толкнула ее на такой мало-

душный поступок. Она не почтила мученической кончины благородного супруга. Она родилась католичкой и отреклась от своей веры только из любви к мужу. Она не нашла в себе сил пойти на нищету, изгнание, гонения ради того, чтобы сохранить детям веру, которую их отец только что запечатлел своей кровью, и сохранить им то имя, которое он прославил больше всех своих предков — гуситов, каликстинов, таборитов, сирот, союзных братьев и лютеран». (Все это, милая Порпорина, названия еретических сект, существовавших во времена Яна Гуса и Мартина Лютера; к ним, по-видимому, принадлежала и та ветвь рода Подебрадов, от которой происходим мы.) «Словом, — продолжал Альберт, — саксонка испугалась и уступила. Вы завладели замком, вы заставили императорских солдат покинуть его, вы спасли наши поместья. На огромном костре вы сожгли все наши грамоты, весь наш архив. Вот почему моей тетушке, на ее счастье, не удалось восстановить родословное древо Подебрадов, и она нашла себе пищу более удобоваримую — родословную Рудольштадтов. За ваши труды вы получили большую награду, — вы разбогатели, очень разбогатели. Три месяца спустя Ульрике было разрешено отправиться в Вену и припасть

к стопам императора, который тут же милостиво разрешил ей переменить подданство ее детей, воспитывать их под вашим руководством в католической вере, а в будущем отдать на военную службу и позволить сражаться под теми знаменами, против которых так мужественно боролись их отец и деды. Словом, я и мои сыновья, мы были зачислены в ряды войск австрийского тирана…»

«Ты и твои сыновья!.. — с отчаянием воскликнула тетушка, видя, что он совсем заговаривается.

«Да, мои сыновья: Сигизмунд и Рудольф», — ответил пресерьезно Альберт.

«Это имена моего отца и дяди, — пояснил граф Христиан. — Альберт, в уме ли ты? Очнись, сын мой! Больше столетия отделяет нас от этих горестных событий, совершившихся по воле божьей…»

Альберт стоял на своем. Он внушил себе и хотел убедить и нас в том, что он — Братислав, сын Витольда, и первый из Подебрадов, носивший материнское имя — Рудольштадт. Он рассказал нам о своем детстве и о пытках графа Витольда, о которых он сохранил самое ясное воспоминание. Виновником мученической смерти Витольда он считал иезуита Дитмара (которым, по его мнению, был не кто иной, как аббат-гувернер). Он говорил также о глубокой ненависти, которую

испытывал в детстве к этому Дитмару, к Австрии, к императорской династии и к католикам. Затем его воспоминания стали как-то путаться; он стал плести массу непонятных вещей о вечной и непрерывной жизни, о возвращении людей с того света на землю, основываясь при этом на веровании гуситов: будто Ян Гус через сто лет после своей смерти вернется в Богемию, чтобы закончить начатое дело. По словам Альберта, предсказание это исполнилось, так как, уверял он, Лютер — это воскресший Ян Гус. Одним словом, в его речах была какая-то странная смесь ереси, суеверия, мрачной метафизики и поэтического бреда. И все это говорилось так убедительно, с такими точными, интересными подробностями событий, которых он якобы был свидетелем и которые касались не только Братислава, но и Яна Жижки и многих других умерших (он уверял, что все это — его собственные прошлые воплощения), что мы молчали, пораженные, не решаясь ни остановить его, ни противоречить ему. Дядя и тетушка, ужасно страдавшие от этого, по их мнению, нечестивого безумия, тем не менее хотели до конца разобраться в нем; ведь безумие Альберта впервые обнаружилось так открыто, и надо же было знать источник беды, чтобы потом иметь

возможность с ней бороться. Аббат пытался было обратить все в шутку, уверяя, что граф Альберт, забавник и насмешник, тешит себя, мистифицируя нас своей эрудицией.

«Он так много читал, — говорил он, — что был бы в состоянии таким вот образом, глава за главой, рассказать нам историю всех веков, притом с такими подробностями, с такой точностью, что люди, склонные верить в чудесное, могли бы подумать, будто он действительно сам присутствовал при всех описанных им сценах».

Канонисса, которая при всей своей пламенной набожности была склонна к суеверию и уже начинала верить племяннику на слово, отнеслась очень неприязненно к разглагольствованиям аббата и посоветовала ему приберечь свои шуточные пояснения до более веселого случая; затем она стала всячески пытаться вернуть племянника к действительности.

«Берегитесь, тетушка, — нетерпеливо ответил Альберт на ее увещания, — берегитесь, чтобы я вам не сказал, кто вы такая. До сих пор я гнал от себя эту мысль, но что-то говорит мне, что подле меня стоит сейчас саксонка Ульрика».

«Так вы думаете, бедное дитя мое, — ответила канонисса, — что эта благоразумная, само-

отверженная прабабка, сумевшая сохранить своим детям жизнь, а потомкам независимость, состояние, почести — все, чем они теперь пользуются, — вы думаете, что она возродилась снова во мне? Знайте же, Альберт, я так люблю вас, что в состоянии была бы сделать даже больше, чем она. Я пожертвовала бы своей жизнью, если бы этой ценой могла исцелить ваш помутившийся рассудок».

Альберт некоторое время молча смотрел на тетку, и в его взгляде сквозь суровость проглядывала нежность.

«Нет, нет, — сказал он наконец, подходя к ней и опускаясь у ее ног на колени, — вы ангел, и некогда вы причастились из деревянной чаши гуситов. А все-таки саксонка здесь: ее голос сегодня доносился до меня несколько раз».

«Предположите, что это я, Альберт, — проговорила я, пытаясь его развеселить, — только не очень сердитесь на меня за то, что я не предала вас палачам в тысяча шестьсот девятнадцатом году».

«Вы — моя мать! — воскликнул он, глядя на меня страшными глазами. Не говорите мне этого, так как я не могу вам простить. Господь возродил меня от более сильной женщины, он закалил

кровью Жижки мое естество, сбившееся с правильного пути. Амелия, не смотрите на меня, а главное, не говорите со мной! Это ваш голос, Ульрика, причинил мне сегодня все эти страдания!»

С этими словами Альберт стремительно вышел, оставив нас в самом угнетенном состоянии, ибо мы с горечью убедились в расстройстве его ума. Было два часа пополудни. Перед этим мы спокойно отобедали. За обедом ничего, кроме воды, Альберт не пил, так что его безумные речи никак нельзя было объяснить опьянением. Тетушка с капелланом сейчас же побежали за ним вслед: считая его тяжелобольным, они хотели чем-нибудь помочь ему. Но — непостижимая вещь! — Альберт исчез, как по волшебству. Его нигде не могли найти: ни в его комнате, ни в комнате матери, где он часто запирался, ни в одном из закоулков замка. Его всюду искали — в саду, у речного заповедника, в окрестных лесах, в горах. Ни один человек не видел его ни вблизи, ни издали. Даже следов его не могли найти. Никто в замке в эту ночь не ложился спать. Слуги с факелами до самого рассвета искали его.

Все семейство молилось. Следующий день прошел в той же тревоге, а следующая ночь — в том же унынии. Не умею вам выразить, в каком

ужасе я была — ведь до сих пор я ни разу не испытала подобных волнений и не переживала столь важных семейных событий. Я была убеждена, что Альберт лишил себя жизни или бежал навсегда. Со мной сделался нервный припадок, меня трясла лихорадка. Несмотря на ужас, внушаемый мне этим странным, роковым человеком, во мне все еще жил остаток любви к нему. У моего отца хватило сил отправиться на охоту: он воображал, что где-то в глубине лесов нападет на след Альберта. Бедная моя тетушка, терзаемая горем, не падала духом, была деятельна, мужественна, ухаживала за мной и старалась всех успокоить. Дядя молился день и ночь. Видя его горячую веру и стоическую покорность воле божьей, я пожалела, что не набожна.

Аббат делал вид, будто немного грустит, но уверял, что совершенно спокоен. «Надо правду сказать, — говорил он, — граф Альберт во время наших путешествий ни разу так надолго не исчезал, но иногда у него бывала потребность в уединении и духовном созерцании». По мнению аббата, лучшее средство против странностей молодого графа заключалось в том, чтобы никогда ему не перечить и делать вид, будто ничего не замечаешь. На самом же деле этот интриган и

величайший эгоист был заинтересован исключительно в получении большого жалованья и потому старался как можно дольше протянуть срок своего пребывания в гувернерах, вводя семью в заблуждение и приписывая себе несуществующие заслуги. Занятый своими делами и развлечениями, он предоставлял Альберта самому себе и, видимо, совершенно не препятствовал развитию его странностей. Очень возможно, что он не раз видел его больным и возбужденным. Несомненно одно, что аббат умел скрывать эти странности от всех, кто бы мог сообщить нам о них. Все письма, полученные дядей от друзей, были полны поздравлений по поводу достоинств его красавца сына и похвал в его адрес. Очевидно, Альберт нигде и ни на кого не производил впечатления больного или не вполне нормального человека. Как бы то ни было, его внутренняя жизнь за все эти восемь лет странствований являлась для нас непроницаемой тайной.

По прошествии трех суток, видя, что Альберт все не появляется, и опасаясь, как бы это происшествие не повредило его собственным делам, аббат собрался ехать в Прагу, якобы на поиски молодого графа, который, по его мнению, мог разыскивать в этом городе какую-нибудь книгу.

«Альберт подобен ученым, — говорил он, — которые так погружены в свои изыскания, что для удовлетворения своей невинной страсти готовы забыть весь мир».

Засим аббат уехал и более не вернулся.

После целой недели мучительной тревоги, когда мы стали уже совсем отчаиваться, тетушка, проходя мимо комнаты Альберта, вдруг увидела в открытую дверь, что он преспокойно сидит в кресле и гладит собаку, сопровождавшую его в таинственном путешествии. На его платье не видно было ни грязи, ни дыр, только золотое шитье потемнело, словно он был в сыром месте или проводил ночи под открытым небом. Обувь его также была в порядке, — видимо, он ходил не много. Только борода и волосы свидетельствовали о том, что он давно ими не занимался. С этого дня, надо сказать, он перестал бриться и пудрить волосы, как другие мужчины, — вот почему он вам, Нина, и показался привидением.

Тетушка с криком бросилась к нему.

«Что с вами, милая тетушка? — спросил он, целуя ей руку. — Можно подумать, что вы меня целый век не видели».

«Бедный мой мальчик, — воскликнула она, — ведь ты пропадал целую неделю, ни словом нас

не предупредив! Вот уже семь смертельных дней, семь смертельных ночей, как мы тебя ищем, плачем о тебе, за тебя молимся». «Семь дней? — повторил Альберт, с удивлением глядя на нее. — То есть вы хотите сказать, милая тетушка, — семь часов? Ведь я только сегодня утром ушел на прогулку и, как видите, вернулся, не опоздав к ужину. Неужели я мог до такой степени встревожить вас столь коротким отсутствием?» «Да, конечно, — проговорила канонисса, боясь ухудшить болезненное состояние племянника, раскрыв ему правду. — Это я обмолвилась: я хотела сказать семь часов. А беспокоилась я потому, что ты не привык к таким длинным прогулкам; к тому же я видела сегодня ночью дурной сон, и это вывело меня из равновесия».

«Милая тетушка, чудесный мой друг! — нежно проговорил Альберт, целуя ее руки. — Вы меня любите, как малого ребенка. Но отец, надеюсь, не беспокоился?»

«Ничуть не беспокоился, ждет тебя ужинать. Воображаю, как ты, должно быть, голоден».

«Не очень: я ведь хорошо пообедал».

«Где и когда, Альберт?»

«Да здесь, сегодня, с вами, милая тетушка. Но я вижу, что вы все еще не пришли в себя. Как

я огорчен, что так напугал вас. Но мог ли я это предвидеть?»

«Ну, ведь ты меня знаешь. Лучше расскажи, где ты кушал и где спал с того времени, как ушел из дома».

«С сегодняшнего утра? Да как же я мог хотеть спать, как мог проголодаться?»

«А скажи, тебе не нездоровится?»

«Ничуть».

«Ты не устал? Ты, должно быть, много ходил, взбирался на горы? Это очень утомительно. Где же ты был?»

Альберт прикрыл глаза рукой, как бы силясь вспомнить, но не смог. «Признаться, ничего не помню, — наконец проговорил он. — Уж очень я был занят своими мыслями. Я шел, ничего не замечая, как, помните, бывало в детстве. Ведь я никогда не мог ответить ни на один из ваших вопросов». «Ну, а во время своих путешествий ты обращал внимание на то, что видел?»

«Иногда, но не всегда. Я многое наблюдал, но многое и забыл, слава богу».

«А почему „слава богу“?»

«Да потому, что на земле приходится видеть ужасные вещи», — ответил он, вставая с мрачным видом, которого до сих пор тетушка не замечала

в Нем. Тут она поняла, что не следует больше заставлять его говорить, и поспешила к дяде сообщить, что сын его нашелся. Никто в доме еще не знал этого, никто не видел, как он вернулся. Он так же незаметно появился, как исчез.

Бедный дядя, столь мужественно переносивший все предшествующие мучения, не выдержал такой радости, — с ним сделался обморок. Так что, когда Альберт вошел, отец выглядел хуже сына. Альберт, который после своих долгих путешествий обычно ничего не замечал из происходившего вокруг, в этот вечер казался совсем другим. Он был очень нежен с отцом, встревожился его плохим видом, допытывался, что тому причиной. Когда же ему рискнули намекнуть на то, что довело его отца до такого состояния, он ничего не понял, и из его искренних ответов было видно, что он решительно ничего не помнит о своем исчезновении, длившемся неделю.

— То, что вы мне рассказываете, положительно похоже на сон, милая баронесса, — проговорила Консуэло. — Это способно не усыпить меня, как вы ожидали, а свести с ума. Мыслимо ли, чтобы человек прожил целую неделю, ничего не сознавая?

— И представьте, это ничто по сравнению с

тем, что вы еще услышите от меня. Я прекрасно понимаю, что вам трудно поверить мне, пока вы собственными глазами не убедитесь, что я не только ничего не преувеличиваю, но, напротив, о некоторых вещах умалчиваю, чтобы сократить свой рассказ. Знайте, я говорю вам лишь о том, что видела собственными глазами, и все-таки иногда спрашиваю себя: что же такое Альберт — колдун или человек, издевающийся над нами? Однако поздно; боюсь, что я злоупотребляю вашей любезностью.

— Нет, это я злоупотребляю вашей, — ответила Консуэло. — Вы, должно быть, очень устали. Хотите, отложим до завтра продолжение этой невероятной истории?

— Хорошо. Итак, до завтра, — сказала юная баронесса, обнимая ее.

Глава 29

Консуэло, выслушав эту действительно невероятную историю, долго не могла заснуть. Темная дождливая ночь, словно оглашавшаяся стенаниями, еще усиливала незнакомый ей дотоле суеверный страх. «Значит, существует непостижимый рок, тяготеющий над некоторыми людьми? — говорила она себе. — Чем провинилась перед богом эта молодая девушка, только что так откровенно рассказывавшая о своем оскорбленном наивном самолюбии, о своих обманутых радужных надеждах? А что дурного сделала я сама, чтобы моя единственная любовь была так чудовищно разбита и поругана? Какой грех совершил этот нелюдимый Альберт Рудольштадт, чтобы потерять рассудок и способность управлять собственной жизнью? И какое же отвращение должно было возыметь провидение к Андзолето, чтобы предоставить его, как оно это сделало, его дурным склонностям и соблазнам разврата!»

Побежденная усталостью, она наконец, заснула и погрузилась в бессвязные и бесконечные сны.

Два-три раза она просыпалась и снова засыпала, не будучи в силах дать себе отчет в том, где она, и считая, что она все еще в дороге. Порпора, Андзолето, граф Дзустиньяни и Корилла — все по очереди проходили перед ее глазами, говоря ей странные, мучительные вещи, упрекая в каком-то преступлении, за которое она несла наказание, хотя и не помнила, чтобы она его совершала. Но все эти видения стушевывались перед образом Альберта. Он беспрестанно появлялся перед ней со своей черной бородой, с устремленным в одну точку взором, в своем траурном одеянии, напоминавшем золотой отделкой и рассеянными по нему блестками покров покойника.

Проснувшись, она увидела у своей постели Амелию, уже нарядно одетую, свежую, улыбающуюся.

— Знаете, милая Порпорина, — обратилась к ней юная баронесса, целуя ее в лоб, — в вас есть что-то странное. Видно, мне суждено жить с необыкновенными существами, потому что и вы тоже принадлежите к их числу, это несомненно. Вот уже четверть часа, как я смотрю на вас спящую, чтобы рассмотреть при дневном свете, красивее ли вы, чем я. Признаюсь, меня это отчасти тревожит, и хоть я и поставила крест на

своей любви к Альберту, но мне все-таки было бы немного обидно, начни он заглядываться на вас. Как бы то ни было, он ведь здесь единственный мужчина, а я до сих пор была единственной женщиной. Теперь нас две, и если вы меня затмите, я этого вам не прощу.

— Вы любите насмехаться, — ответила Консуэло. — Это невеликодушно с вашей стороны. Оставьте эти злые шутки и лучше скажите мне, что же во мне необыкновенного? Быть может, мое прежнее уродство вернулось? Я думаю, что это именно так.

— Скажу вам всю правду, Нина. Сейчас, при первом взгляде на вас, когда вы лежали такая бледная, полузакрыв огромные, скорее остановившиеся, чем сонные глаза, свесив с кровати худую руку, сознаюсь — я пережила минуту торжества. Но чем больше я смотрела на вас, тем больше поражала меня ваша неподвижность, ваш поистине царственный вид. Знаете, рука ваша — это рука королевы, а в вашем спокойствии есть что-то подавляющее, что-то покоряющее, — я и сама не знаю что. И вдруг вы начали казаться мне до ужаса красивой, а между тем взгляд у вас очень кроткий. Скажите мне, Нина, что вы за человек? В одно и то же время вы и привлекае-

те и пугаете меня. Мне очень совестно всех тех глупостей, которые сегодня ночью я успела вам наговорить; вы мне еще ничего не сказали о себе, а сами уже знаете все мои недостатки.

— Если у меня вид королевы, что, право, никогда не приходило мне в голову, — ответила Консуэло, грустно улыбаясь, — то разве только королевы жалкой, развенчанной. Красота моя всегда казалась мне весьма спорной. Если же вы хотите знать мое мнение о вас, милая баронесса Амелия, то вы подкупили меня своей откровенностью и добротой.

— Что я откровенна — это так, но откровенны ли вы, Нина? Правда, в вас чувствуется величие, благородная честность, но общительны ли вы? Думаю, что нет.

— Согласитесь, не мне же делать первые шаги. Это вы, моя теперешняя покровительница и хозяйка моей судьбы, должны вызвать меня на откровенность.

— Вы правы. Но ваше благоразумие пугает меня. Скажите, вы не будете слишком меня журить за мое легкомыслие?

— Я не имею на это никакого права. Я ваша учительница музыки, и только. К тому же бедная девушка, вышедшая из народа, как я, всегда

должна знать свое место.

— Вы из народа, гордая Порпорина?! О, это неправда! Этого не может быть! Скорее вы кажетесь мне таинственным ребенком какого-нибудь княжеского рода. Чем занималась ваша мать?

— Она пела, так же как и я.

— А ваш отец? Консуэло смутилась. Она не приготовила заранее ответов на все нескромно-фамильярные вопросы юной баронессы. Дело в том, что она никогда ничего не слыхала о своем отце, и ей даже не приходило в голову поинтересоваться, был ли он вообще у нее.

— Так я и знала, — воскликнула, заливаясь смехом, Амелия, — ваш отец был или испанский гранд, или венецианский дож.

Тон этого разговора показался Консуэло легкомысленным и обидным.

— По-вашему, — заметила Консуэло с оттенком неудовольствия, — честный мастеровой или бедный артист не имеет права передать своему ребенку прирожденное благородство? Вам кажется, что дети народа должны быть непременно грубы и уродливы?

— То, что вы сказали, это колкость по адресу моей тети Венцеславы, возразила баронесса, смеясь еще громче. — Ну, простите меня, дорогая Нина,

если я немножко вас рассердила, и позвольте мне придумать о вас самый красивый роман. Однако, милочка, одевайтесь живее: сейчас зазвонит колокол, и тетушка скорее уморит всех нас голодом, чем прикажет подать завтрак без вас. Я помогу вам открыть ваши сундуки, давайте ключи. Я уверена, что вы привезли из Венеции прехорошенькие туалеты и теперь просветите меня по части мод: ведь я так давно прозябаю в этой дикой стране.

Консуэло, торопясь причесаться и даже не слыша, что ей говорит баронесса, отдала девушке ключи, а Амелия, схватив их, поспешно принялась открывать первый сундук, воображая, что он полон платьев; но, к великому ее удивлению, в нем не оказалось ничего, кроме кипы старых-престарых нот — печатных, полустертых от долгого употребления, и рукописных, на первый взгляд совершенно неудобочитаемых.

— Что это такое? — воскликнула она, вытирая поспешно свои хорошенькие пальчики. — У вас, милая Нина, престранный гардероб.

— Это сокровища, — ответила Консуэло, — обращайтесь с ними почтительно, дорогая баронесса. Тут есть автографы величайших композиторов, и я согласилась бы скорее потерять голос, чем не

вернуть эти драгоценности Порпоре, доверившему их мне.

Амелия открыла второй сундук: он был полон нотной бумаги и сочинений о музыке, композиции, гармонии и контрапункте.

— А! Понимаю. Это ваш ларчик с драгоценностями, — проговорила она смеясь.

— Другого у меня нет, — отвечала Консуэло, — и я хочу надеяться, что и вы будете часто пользоваться им.

— В добрый час! Вижу, что вы строгая учительница. Но вы не обидитесь, милая Нина, если я спрошу, где же ваши платья?

— А вон в той маленькой картонке, — ответила Консуэло, направляясь к ней; открыв ее, она показала баронессе простенькое черное шелковое платье, аккуратно сложенное.

— И это все? — спросила Амелия.

— Да, все, кроме моего дорожного костюма. Через несколько дней я сделаю себе на смену еще такое же черное платье.

— Так вы в трауре, моя дорогая?

— Быть может, синьора, — серьезно ответила Консуэло.

— В таком случае простите меня. Я должна была сама догадаться по вашему виду, что у вас горе,

и я еще больше люблю вас за это. Это сблизит нас, потому что у меня ведь тоже есть причина быть грустной и я могла бы уже носить траур по предназначенному мне супругу. Ах, милая Нина, не ужасайтесь моей веселости, часто я стараюсь заглушить ею глубокое горе. Они поцеловались и спустились в гостиную, где их уже ждали.

Консуэло сразу заметила, что в своем простом черном платье и белой косынке, скромно заколотой под самым подбородком булавкой из черного янтаря, она произвела на канониссу благоприятное впечатление. Старик Христиан, казалось, теперь меньше ее стеснялся, а любезен был так же, как и накануне. Барон Фридрих, учтивости ради не поехавший в этот день на охоту, заранее приготовил для гостьи, желая поблагодарить ее за заботы, которые она принимала на себя в отношении его дочери, уйму любезных фраз, но так и не смог выжать из себя ни единого слова. Зато, сев с ней рядом, он до того наивно и надоедливо усердствовал, угощая ее, что сам встал из-за стола голодный. Капеллан поинтересовался, в каком порядке патриарх совершает процессии в Венеции, затем стал расспрашивать о пышности богослужения в тамошних церквах, об их убранстве. Из ответов Консуэло он заключил, что она

часто посещала церкви, а когда он узнал еще, что она изучала духовную музыку, то возымел к ней большое уважение.

На графа Альберта Консуэло едва решалась взглянуть, — именно потому, что только он один возбуждал в ней живое любопытство. Она не знала еще, как он относится к ее появлению. Проходя через гостиную, она только увидела его в зеркале и успела заметить, что он одет очень изысканно, хотя по-прежнему в черном. У него был, несомненно, аристократический вид знатного вельможи, но борода, длинные, небрежно свисавшие волосы и загорелое, с желтоватым отливом, лицо придавали ему сходство с красивым, мечтательным рыбаком с берегов Адриатического моря.

Однако звучность его голоса, приятно ласкавшая музыкальное ухо Консуэло, мало-помалу придала ей храбрости, и она взглянула на него. Ее удивило, что у него облик и манеры совершенно нормального человека. Он говорил мало, но рассудительно, а когда она встала из-за стола, подал ей руку, правда, не глядя (этой чести он не оказывал ей со вчерашнего дня), но очень непринужденно и учтиво. Вся дрожа, вложила она свою руку в руку этого фантастического ге-

роя рассказов и сновидений прошлой ночи: она ожидала, что эта рука должна быть ледяной, как у мертвеца, но рука оказалась теплой и мягкой, как у человека здорового и заботящегося о себе. Впрочем, Консуэло едва ли была в состоянии дать себе в этом отчет. Она была до того взволнована, что у нее чуть не закружилась голова, а взгляд Амелии, следившей за каждым ее движением, мог бы окончательно смутить ее, если бы она не вооружилась всей силой воли, чтобы сохранить свое достоинство перед этой насмешливой молодой девушкой. Когда граф Альберт, доведя ее до кресла, низко поклонился ей, она ответила на его поклон, но при этом они не обменялись ни единым словом, ни единым взглядом.

— Знаете, коварная Порпорина, — начала Амелия, садясь рядом с подругой, чтобы удобнее было шептать ей на ухо, — вы делаете чудеса с моим кузеном!

— Пока что я этого не замечаю, — ответила Консуэло.

— Это потому, что вы не соблаговолили обратить внимание на то, как он ведет себя по отношению ко мне. За целый год он ни разу не предложил мне руки, чтобы проводить к столу, тогда как в отношении вас он проделал это как

нельзя более любезно! Правда, сегодня, он, по-видимому, переживает минуты просветления. Можно подумать, что вы принесли ему и рассудок и здоровье. Но не придавайте этому значения, Нина. С вами повторится то же, что было со мной: три дня он будет предупредителен, радушен, а потом забудет даже о вашем существовании.

— Я вижу, что мне придется привыкать здесь к шуткам, — сказала Консуэло.

— Не правда ли, дорогая тетушка, — обратилась Амелия вполголоса к канониссе, которая подошла и уселась между ней и Консуэло, — не правда ли, мой кузен чрезвычайно любезен с милой Порпориной?

— Не насмехайтесь над ним, Амелия, — кротко ответила Венцеслава. Синьора и без того скоро узнает причину наших горестей.

— Я ничуть не насмехаюсь, тетушка. Альберт сегодня прекрасно выглядит, и я радуюсь, видя его таким, каким, мне кажется, он ни разу не был с тех пор, как я здесь. Если б он еще побрился да напудрил волосы, как все, можно было бы подумать, что он никогда не был болен.

— В самом деле, его спокойный и здоровый вид приятно поражает меня, сказала канонисса, — но я уже боюсь верить, что такое счастье может

длиться.

— Каким добрым и благородным он выглядит! — заметила Консуэло, желая завоевать сердце канониссы похвалой ее любимцу.

— Вы находите? — спросила Амелия, пронизывая подругу лукавым и шаловливым взглядом.

— Да, нахожу, — ответила Консуэло решительно, — я еще вчера вечером сказала вам, синьора, что никогда ни одно лицо не внушало мне такого уважения, как лицо вашего кузена.

— О милая девушка! — воскликнула канонисса, вдруг отбрасывая свою чопорность и горячо сжимая руки Консуэло. — Добрые сердца быстро узнают друг друга. Я так боялась, что наш бедный Альберт может напугать вас. Мне очень тяжко бывает читать на лицах людей отвращение, которое вызывают подобные страдания. Но вы, я вижу, хорошая и сразу поняли, что в этом больном, поблекшем теле возвышенная душа, достойная лучшей доли. Консуэло, тронутая до слез словами добрейшей канониссы, порывисто поцеловала ей руку. Она чувствовала уже больше симпатии и доверия к этой горбатой старухе, чем к блестящей и легкомысленной Амелии.

Разговор их прервал барон Фридрих, который, расхрабрившись, подошел к синьоре Порпорине

с большой просьбой. Еще более неловкий в дамском обществе, чем старший брат (это, очевидно, было у них в роду, а потому не удивительно, что эта черта дошла до дикости у графа Альберта), барон скороговоркой пробормотал какую-то речь, пересыпая ее множеством извинений, которые Амелия постаралась перенести и объяснить Консуэло.

— Мой отец спрашивает, — сказала Амелия, — чувствуете ли вы себя в силах после такого утомительного путешествия приняться за музыку и не злоупотребим ли мы вашей добротой, если попросим прослушать мое пение и высказать свое мнение о постановке моего голоса.

— С удовольствием, — ответила Консуэло, быстро подходя к клавесину и открывая его.

— Вот увидите, — шепнула ей Амелия, устанавливая ноты на пюпитр, Альберт сейчас же сбежит, как ни прекрасны ваши глаза и мои. Действительно, не успела Амелия взять несколько нот, как Альберт встал и вышел из комнаты на цыпочках, очевидно надеясь быть незамеченным.

— Уже и то хорошо, — шепнула Амелия, продолжая наигрывать на клавесине и перескакивая через несколько тактов, — что он со злости не

хлопнул дверью, как обыкновенно делает, когда я начинаю петь. Сегодня он чрезвычайно любезен, можно сказать — даже мил.

Капеллан тут же подошел к клавесину, надеясь скрыть этим исчезновение Альберта, и сделал вид, будто поглощен пением. Остальные члены семьи, усевшись полукругом в отдалении, почтительно ожидали приговора, который Консуэло должна была вынести своей ученице.

Амелия храбро выбрала арию из «Ахилла на Скиросе» Перголезе и пропела ее от начала до конца свежим, резким голосом, очень уверенно, но с таким потешным немецким акцентом, что Консуэло, никогда ничего подобного не слыхавшая, делала неимоверные усилия, чтобы не рассмеяться. Ей достаточно было прослушать несколько тактов, дабы убедиться, что юная баронесса не имеет ни малейшего понятия о настоящей музыке. Голос у нее был гибкий, быть может, она даже брала уроки у хорошего учителя, но сама была слишком легкомысленна, чтобы усвоить что-нибудь основательно. По той же причине, переоценивая свои силы, она бралась с чисто немецким хладнокровием за исполнение самых смелых и трудных пассажей. Нисколько не смущаясь, она искажала их и, рассчитывая за-

гладить свои промахи, форсировала интонацию, заглушала аккомпанементом, восстанавливала нарушенный ритм, добавляя новые такты взамен пропущенных, изменяя всем этим характер музыки до такой степени, что Консуэло, не имей она нот перед глазами, пожалуй, совсем не узнала бы исполняемой вещи.

Между тем граф Христиан, который прекрасно понимал музыку, но воображал, судя по себе, что племянница страшно смущена, время от времени повторял, чтобы ободрить ее:

— Хорошо, Амелия, хорошо! Отличная музыка, право же, отличная!

Канонисса, мало понимавшая в пении, озабоченно смотрела на Консуэло, стараясь предугадать ее мнение по выражению глаз, а барон, не признававший никакой иной музыки, кроме звука охотничьего рога, считал, что дочь его поет слишком хорошо, чтобы он мог оценить всю прелесть ее пения, и доверчиво ждал одобрения судьи. Один капеллан был в восторге от этих рулад: никогда до приезда Амелии ему не приходилось их слышать, и он, блаженно улыбаясь, покачивал в такт своей большущей головой.

Консуэло отлично поняла, что сказать чистую правду значило бы нанести удар всему семейству.

Она решила с глазу на глаз объяснить своей ученице, что именно ей следует забыть, прежде чем начать с нею заниматься, а пока ограничилась лишь тем, что похвалила ее голос, расспросила о занятиях и одобрила выбор пройденных ею вещей, умолчав при этом, что проходились они совсем не так, как следовало.

Все разошлись очень довольные этим испытанием, жестоким лишь для Консуэло. Она ощутила потребность запереться в своей комнате и, перечитывая ноты музыкального произведения, только что искаженного в ее присутствии, мысленно пропела его, чтобы изгладить в своем мозгу неприятное впечатление.

Глава 30

Когда под вечер все снова собрались вместе, Консуэло почувствовала себя более непринужденно с этими людьми, с которыми уже успела несколько освоиться, и начала отвечать менее сдержанно и кратко на вопросы, которые те, со своей стороны, уже смелее задавали ей, интересуясь ее страной, ее искусством и ее путешествиями. Она тщательно избегала говорить о себе — это было решено ею заранее — и, рассказывая об условиях, среди которых ей приходилось жить, умалчивала о той роли, которую сама в них играла. Тщетно старалась любопытная Амелия заставить ее больше рассказать о себе, — Консуэло не попалась на эту удочку и ничем не выдала своего инкогнито, которое решила сохранить во что бы то ни стало. Трудно было сказать, почему эта таинственность так привлекала ее. Для этого было много причин: начать с того, что она клятвенно обещала Порпоре всячески скрываться и стушевываться, чтобы Андзолето, начав ее разыскивать, не мог напасть на ее след, — совершенно излишняя предосторожность, так как Андзоле-

то после нескольких слабых попыток найти ее быстро оставил эту мысль, всецело поглощенный своими дебютами и своим успехом в Венеции.

С другой стороны, стремясь завоевать расположение и уважение семьи, временно приютившей ее, печальную и одинокую, Консуэло прекрасно понимала, что здесь к ней лучше отнесутся как к обыкновенной музыкантше, ученице Порпоры и преподавательнице пения, чем к примадонне, к актрисе, знаменитой певице. Ей было ясно, что, узнай эти простые набожные люди об ее прошлом, ее положение среди них было бы гораздо труднее, и весьма возможно, что, несмотря на рекомендацию Порпоры, прибытие певицы Консуэло, дебютировавшей с таким блеском в театре Сан-Самуэле, могло бы изрядно напугать их. Но даже не будь этих двух важных причин, Консуэло все равно ощущала бы потребность молчать, не давая никому догадаться о блеске и горестях своей судьбы. В ее жизни так все перепуталось — и сила, и слабость, и слава, и любовь. Она не могла приподнять ни малейшего уголка завесы, не обнаружив хоть одну из ран своей души; а раны эти были еще слишком свежи, слишком глубоки, чтобы чья-нибудь человеческая рука могла облегчить их. Напротив, она чувствовала

некоторое облегчение именно благодаря этой стене, воздвигнутой ею между ее мучительными воспоминаниями и спокойствием новой деятельной жизни. Эта перемена страны, среды, имени сразу перенесла ее в незнакомую обстановку, где она жаждала, выдавая себя за другую, стать каким-то новым существом.

Это полное отречение от всяких радостей тщеславия, которые утешили бы другую женщину, было спасением для отважной души Консуэло. Отказавшись от людского сострадания и людской славы, она надеялась на помощь свыше. «Надо вернуть хоть частицу былого счастья, — говорила она себе, — счастья, которым я долго наслаждалась и которое заключалось целиком в моей любви к людям и в их любви ко мне. В тот день, когда я погналась за их поклонением, я лишилась их любви, слишком уж дорого заплатив за почести, которыми они заменили свое прежнее расположение. Стану же снова незаметной и скромной, чтобы не иметь на земле ни завистников, ни неблагодарных, ни врагов. Малейшее проявление симпатии сладостно, а к выражению величайшего восхищения примешивается горечь. Бывают сердца тщеславные и сильные, довольствующиеся похвалами и тешащиеся тор-

жеством, — мое не из таких: мне слишком дорого обошлось это испытание. Увы! Слава похитила у меня сердце моего возлюбленного, пусть же смирение возвратит мне хоть несколько друзей!..»

Не то имел в виду Порпора, отсылая Консуэло из Венеции и избавляя ее этим от опасностей и мук любви; прежде чем выпустить ее на арену честолюбия, прежде чем вернуть ее к бурям артистической жизни, он хотел только дать ей некоторую передышку. Он не достаточно хорошо знал свою ученицу. Он считал ее более женщиной, то есть более изменчивой, чем она была на самом деле. Думая о ней сейчас, он не представлял ее себе такой спокойной, ласковой, думающей о других, какой она уже принудила себя быть. Она рисовалась ему вся в слезах, терзаемая сожалениями. Но он ждал, что скоро произойдет реакция и что он найдет ее излечившейся от любви и жаждущей снова проявить свои силы, свой гений.

То чистое, святое чувство, с которым Консуэло отнеслась к своей роли в семье Рудольштадтов, с первого же дня невольно отразилось на ее словах, поступках, выражении ее лица. Кто видел ее сияющей любовью и счастьем под горячими лучами солнца Венеции, вряд ли смог бы понять, как может она быть так спокойна и ласкова

среди чужих людей, в глубине дремучих лесов, когда любовь ее поругана в прошлом и не имеет будущего. Однако доброта черпает силы там, где гордость находит лишь отчаяние. В этот вечер Консуэло была прекрасна какой-то новой красотой. Это было не оцепенение сильной натуры, еще не познавшей себя и ожидающей своего пробуждения, не расцвет силы, рвущейся вперед с удивлением и восторгом.

Словом, теперь то была уже не скрытая, еще не понятая красота этой scolare Zingarella или блестящая, захватывающая красота прославленной певицы, — то была нежная, пленительная прелесть чистой, углубившейся в себя женщины, которая знает самое себя и руководится святостью своих побуждений.

Ее хозяева, простые и сердечные старики, движимые врожденным благородством, вдыхали, если можно так выразиться, таинственное благоухание, изливавшееся на их духовную атмосферу из ангельской души Консуэло. Глядя на нее, они испытывали какое-то отрадное чувство, в котором, быть может, и не отдавали себе отчета, но сладость которого наполняла их словно новой жизнью. Даже сам Альберт, казалось, впервые дал полную свободу проявлению своих способно-

стей. Он был предупредителен и ласков со всеми, а с Консуэло — в пределах учтивости, и, разговаривая с нею, доказал, что вовсе не утратил, как думали до сих пор окружающие, возвышенный ум и ясность суждения, дарованные ему от природы. Барон не заснул, канонисса ни разу не вздохнула, а граф Христиан, который обычно опускался вечером в свое кресло, согбенный тяжестью лет и горя, все время стоял, прислонившись спиной к камину, олицетворяя собою как бы центр своей семьи, и принимал участие в непринужденной, почти веселой беседе, длившейся без перерыва до девяти часов вечера.

— Видно, господь услышал наши горячие молитвы, — обратился капеллан к графу Христиану и к канониссе, оставшимся в гостиной после ухода барона и молодежи. — Графу Альберту сегодня исполнилось тридцать лет, и этот знаменательный день, которого так боялись и он и мы, прошел необыкновенно счастливо и благополучно.

— Да, возблагодарим господа! — проговорил старый граф. — Не знаю, быть может, это только благодетельная иллюзия, ниспосланная нам для временного утешения, но мне в течение всего дня, а особенно вечером, казалось, что мой сын излечился навсегда.

— Простите меня, — заметила канонисса, — но мне кажется, что вы, братец, и вы, господин капеллан, оба заблуждались, считая, будто Альберта мучит враг рода человеческого. Я же всегда думала, что он во власти двух противоположных сил, оспаривающих одна у другой его душу: ведь часто после речей, как будто внушенных ему злым ангелом, его устами спустя минуту говорило само небо. Вспомните все, что он сказал вчера вечером во время грозы и особенно его последние слова перед уходом: «Благодать господня снизошла на этот дом». Альберт почувствовал, что над ним свершается чудо милосердия божьего, и я верю в его исцеление.

Капеллан был слишком боязлив, чтобы сразу согласиться с таким смелым предположением. Обычно он выходил из затруднения, прибегая к таким изречениям, как: «Возложим наши упования на вечную премудрость», «Господь читает то, что сокрыто», «Дух погружается в бога», и к разным другим — более утешительным, чем новым.

Граф Христиан колебался между желанием согласиться с аскетическими воззрениями сестры, нередко направленными в сторону чудесного, и уважением к робкой и осторожной ортодоксальности капеллана. Чтобы переменить тему,

он заговорил о Порпорине, с большой похвалой отозвавшись о ее прекрасной манере держать себя. Канонисса, успевшая уже полюбить девушку, горячо присоединилась к похвалам брата, а капеллан благословил их сердечное влечение к ней. Ни одному из них и в голову не пришло объяснить присутствием Консуэло чудо, свершившееся в их семье. Они получили благо, не зная его источника; это было именно то, о чем Консуэло стала бы молить бога, если бы ее об этом спросили.

Наблюдения Амелии были более точны. Для нее было очевидно, что ее двоюродный брат настолько владеет собой, когда это нужно, что может скрывать беспорядочность своих мыслей перед людьми, не внушающими ему доверия или, наоборот, пользующимися его особенным уважением. Перед некоторыми друзьями и родственниками, к которым он чувствовал симпатию или антипатию, он никогда не проявлял ни малейшей странности своего характера. И вот, когда Консуэло выразила свое удивление по поводу ее вчерашних рассказов, Амелия, мучимая тайной досадой, попыталась разжечь в девушке тот ужас перед Альбертом, который она вызвала в ней накануне.

— Ах, друг мой, — сказала она, — не доверяйте этому обманчивому спокойствию; это не что иное, как обычный светлый промежуток между двумя припадками. Нынче вы его видели таким, каким видела его и я, когда приехала сюда в начале прошлого года. Увы! Если бы чужая воля предназначила вас в жены подобному духовидцу, если бы, чтобы победить ваше молчаливое сопротивление, был составлен молчаливый заговор и вас держали бы до бесконечности пленницей в этом ужасном замке, в этой атмосфере постоянных неожиданностей, страхов, волнений, слез, заклинаний, сумасбродств, если б вы должны были ждать выздоровления, в которое все верят, но которое никогда не наступит, — вы, как и я, разочаровались бы в прекрасных манерах Альберта и в сладких речах его семьи.

— Мне кажется просто невероятным, — сказала Консуэло, — чтобы вас могли принудить выйти замуж за человека, которого вы не любите. Ведь вы, по-видимому, кумир ваших родных.

— Меня ни к чему не могут принудить, — они прекрасно знают, что из этого ничего не вышло бы. Но они забывают, что Альберт не единственный подходящий для меня супруг, и одному богу известно, когда в них умрет наконец безумная

надежда на то, что я снова могу полюбить его, как любила в первые дни своего приезда. К тому же мой отец, будучи страстным охотником, чувствует себя прекрасно в этом проклятом замке, где такая чудесная охота, и всегда под каким-нибудь предлогом откладывает наш отъезд, раз двадцать уже решенный, но не осуществленный. Ах, Нина милая, если б вы нашли способ в одну ночь извести всю дичь в округе, вы этим оказали бы мне величайшую услугу.

— К сожалению, я только могу развлечь вас музыкой и разговорами в те вечера, когда вам не захочется спать. Постараюсь быть для вас и успокоительным и снотворным средством.

— Да, вы напомнили мне, что я еще не докончила вам своего рассказа.

Начну сейчас же, чтобы вы могли сегодня заснуть пораньше…

Только через несколько дней после своего таинственного исчезновения (он продолжал пребывать в уверенности, что его недельное отсутствие длилось всего семь часов) Альберт заметил, что аббата нет в замке, и спросил, куда его отправили.

«Он был уже не нужен вам, — ответили ему, — и вернулся к своим делам.

Разве до сих пор вы не замечали его отсутствия?»

«Я заметил, — ответил Альберт, — что чего-то недостает моим страданиям, но не мог отдать себе отчета — чего именно».

«Так вы очень страдаете, Альберт? — спросила канонисса.

«Да, очень», — ответил он таким тоном, словно его спросили, хорошо ли он спал.

«Стало быть, аббат был тебе очень неприятен? — в свою очередь спросил его граф Христиан.

«Очень», — тем же тоном ответил Альберт.

«А почему же, сын мой, ты не сказал мне об этом раньше? Как мог ты так долго выносить антипатичного тебе человека, не поделившись этим со мной? Неужели ты сомневался, дорогой мой мальчик, в том, что, узнав о твоих страданиях, я бы немедленно избавил тебя от них?»

«Это так мало прибавляло к моему горю, — ответил Альберт с ужасающим спокойствием. — Я не сомневаюсь в вашем добром отношении ко мне, отец, но то, что вы удалили бы аббата, мало облегчило бы мою участь, ибо вы, наверно, заменили бы его другим надзирателем».

«Скажи лучше — товарищем по путешествию;

при моей любви к тебе, сын мой, мне больно слышать слово „надзиратель“.

«Ваша любовь, дорогой отец, и заставляла вас заботиться обо мне таким образом. Вы даже не подозревали, как мучили меня, удаляя от себя и из этого дома, где, по воле провидения, я должен был бы жить до момента, пока не свершатся надо мной его предначертания. Вы думали, что способствуете моему выздоровлению и покою, и, хотя я лучше понимал, что полезнее для нас с вами, я должен был вам повиноваться. Сознавая свой сыновний долг, я его выполнил».

«Я знаю, Альберт, твое доброе сердце и твою привязанность к нам, но разве ты не можешь выразить свою мысль яснее?»

«Это очень легко, — ответил Альберт, — и настало время сделать это». Альберт проговорил это таким спокойным тоном, что нам показалось, будто мы дожили до той счастливой минуты, когда душа его наконец перестанет быть для нас мучительной загадкой. Мы все окружили его, побуждая ласками и взглядами впервые в жизни открыть свою душу. По-видимому, он решил довериться нам, и вот что он поведал:

«Вы всегда смотрели на меня, да и сейчас еще смотрите, как на больного и безумного. Не чув-

ствуй я ко всем вам такой бесконечной любви и нежности, я, пожалуй, раскрыл бы пропасть, разделяющую нас, и доказал вам, что, в то время как вы погрязли в мире заблуждений и предрассудков, мне небо открыло сферу истины и света. Но, не отказавшись от всего того, что составляет ваш покой, верования и благополучие, вы не были бы в силах понять меня. Когда невольно в порыве восторга у меня вырывается несколько неосторожных слов, я тотчас замечаю, что, желая выдернуть с корнем ваши заблуждения и показать вашим ослабевшим глазам ослепительный светоч, которым я обладаю, я причиняю вам страшные мучения. Все мелочи вашей жизни, все ваши привычки, все фибры вашей души, все силы вашего разума — все это до такой степени связано, перепутано ложью, до такой степени подчинено законам тьмы, что, стремясь дать вам новую веру, я, кажется, даю вам смерть. Между тем и наяву и во сне, и в тиши и в бурю я слышу голос, повелевающий мне просветить вас и обратить на путь истины. Но я человек слишком любящий и слабый, чтобы совершить это. Когда я вижу ваши глаза, полные слез, ваши удрученные лица, когда слышу ваши вздохи, когда чувствую, что приношу вам печаль и ужас, я убегаю, пря-

чусь, чтобы не поддаться голосу своей совести и велению моей судьбы. Вот в чем мое горе, моя мука, мой крест и моя пытка. Ну что, понимаете ли вы меня теперь?»

Дядя, тетка и капеллан понимали отчасти, что Альберт создал для себя религию и нравственные правила, совершенно отличные от их собственных, но, будучи правоверными католиками, они, боясь впасть в малейшую ересь, не решались вызвать его на большую откровенность. У меня же тогда было еще очень смутное представление о некоторых особенностях его детства и ранней юности, и потому я решительно ничего не могла понять. К тому же, Нина, в то время я так же мало, как и вы теперь, была осведомлена о том, что такое гуситство, что такое лютеранство. Потом я много и часто слышала об этом, и, правду сказать, бесконечные пререкания на эту тему между Альбертом и капелланом не раз наводили на меня невыносимую тоску. Итак, я с нетерпением ждала от Альберта более подробных разъяснении, но их так и не последовало.

«Я вижу, — сказал наконец Альберт, пораженный воцарившимся вокруг него молчанием, — что вы не хотите меня понять из боязни понять слишком хорошо. Пусть будет по-вашему.

Ослепление ваше с давних пор подготовляло кару, тяготеющую надо мной. Вечно несчастный, вечно одинокий, вечно чужой среди тех, кого я люблю, я нахожу поддержку и убежище лишь в обещанном мне утешении».

«Что же это за утешение, сын мой? — спросил смертельно огорченный граф Христиан. — Не можем ли мы сами дать тебе его, и неужели мы никогда не сможем понять друг друга?»

«Никогда, отец мой. Будем же любить друг друга, раз нам только это и дано. И пусть небо будет свидетелем, что наше бесконечное, непоправимое разногласие никогда не уменьшало моей любви к вам».

«А разве этого недостаточно? — сказала канонисса, беря Альберта за руку, в то время как брат ее пожимал ему другую руку. — Скажи, — продолжала она, — не можешь ли ты забыть свои странные мысли, свои удивительные верования и жить любовью среди нас?»

«Я и живу ею, — отвечал Альберт. — Любовь — это благо, которое дает радость или горечь, в зависимости от того, одну ли веру исповедуют люди, связанные ею. Сердца наши, дорогая тетушка Венцеслава, бьются в унисон, а разум враждует, — и это большое несчастье для всех

нас! Я знаю, что вражда эта продлится еще века; вот почему в этом столетии я жду обещанного мне блага, которое даст мне силы надеяться».

«Что же это за благо, Альберт? Не можешь ли ты сказать мне?»

«Не могу, потому что оно неведомо и для меня самого. Но оно придет. Не проходит недели без того, чтобы моя мать не возвещала мне этого во сне; и все голоса леса, когда я вопрошаю их, всегда подтверждают мне то же самое. Часто вижу я бледный, излучающий свет лик ангела, пролетающего над скалой Ужаса; здесь, в этом зловещем месте, под тенью этого дуба, в то время, когда мои современники звали меня Жижкой, я был охвачен гневом божьим и впервые стал орудием господнего возмездия. Здесь же, у подножия этой самой скалы, я видел, когда звался Братиславом, как под ударом сабли скатилась изувеченная, окровавленная голова моего отца Витольда. И это грозное искупление научило меня печали и состраданию, этот день роковой расплаты, когда лютеранская кровь смыла кровь католическую, превратил фанатика и душегубца, каким я был сто лет назад, в человека слабого, с нежным сердцем».

«Боже милостивый! — в ужасе воскликнула

тетушка, осеняя себя крестным знамением. — Безумие снова вернулось к нему!»

«Не прерывайте его, сестрица, — остановил канониссу граф Христиан, сделав над собой страшное усилие. — Дайте ему высказать все. Говори же, сын мой. Что сказал тебе ангел у скалы Ужаса?»

«Он сказал мне, что мое утешение уже близко, — ответил Альберт с лицом, сияющим от восторга, — и снизойдет оно в мое сердце, когда мне исполнится тридцать лет».

Бедный дядя поникнул головой. Указывая на возраст, в котором умерла его мать, Альберт как бы намекал на собственную смерть. По-видимому, покойная графиня часто во время своей болезни предсказывала, что ни она и ни один из ее сыновей не доживут до тридцатилетнего возраста. Кажется, тетушка Ванда была тоже немного ясновидящей, чтобы не сказать больше; но определенно я ничего об этом не знаю: никто не решается будить в дяде такие тяжкие воспоминания.

Капеллан, стремясь рассеять мрачные мысли, навеянные предсказанием, пытался вынудить Альберта высказаться относительно аббата. Ведь с него-то и начался разговор.

Альберт, в свою очередь, сделал над собой усилие, чтобы ответить капеллану.

«Я говорю вам о божественном и вечном, — сказал он после некоторого колебания, — а вы напоминаете мне о мимолетном, пустом и суетном, уже почти забытом мной».

«Говори же, сын мой, говори, — вмешался граф Христиан. — Дай нам узнать тебя сегодня!»

«Вы до сих пор не знали меня, отец, и не узнаете в том, что вы называете этой жизнью. Но если вас интересует, почему я путешествовал, почему терпел этого неверного, невнимательного стража, которого приставили ко мне с тем, чтобы он ходил за мной по пятам, как голодный, ленивый пес, привязанный к руке слепого, то я в нескольких словах могу объяснить вам это. Довольно я помучил вас, нужно было убрать с ваших глаз сына, глухого к вашим наставлениям и вашим увещеваниям. Я прекрасно знал, что не излечусь от того, что вы звали моим безумием, но необходимо было успокоить вас, дать вам надежду, и я согласился на изгнание. Вы взяли с меня слово, что я не расстанусь без вашего согласия со спутником, данным мне вами, и я предоставил ему возить меня по свету. Я хотел сдержать свое слово и хотел также дать ему возможность

поддерживать в вас надежду и спокойствие, сообщая о моей кротости и терпении. Я был кроток и терпелив. Я закрыл для него свое сердце и уши, а он был настолько умен, что даже и не делал усилий открыть их. Он гулял со мною, одевал и кормил меня, как малого ребенка. Я отказался от той жизни, какую считал для себя правильной, я приучил себя спокойно смотреть на царящие на земле горе, несправедливость и безумие. Я увидел людей я их учреждения. Негодование сменилось в моем сердце жалостью, когда я понял, что угнетатели страдают больше угнетенных. В детстве я любил только жертвы; теперь я стал относиться с состраданием и к палачам — жалким грешникам, искупающим в этой жизни преступления, совершенные ими в прежних воплощениях, и обреченным за это богом быть злыми, — пытка, в тысячу раз более жестокая, нежели та, которую испытывают их невинные жертвы. Вот почему теперь я раздаю милостыню только для того, чтобы облегчить бремя богатства для себя, себя одного, вот почему я больше не тревожу вас своими проповедями, — я понял, что время быть счастливым еще не настало, так как, говоря языком людей, время быть добрым еще далеко».

«Ну, а теперь, когда ты избавился от этого, как

ты называешь его, надзирателя, когда ты можешь жить спокойно, не видя несчастий, которые ты постепенно устраняешь вокруг себя, не встречая препятствий своим великодушным порывам, — скажи, разве теперь ты не мог бы, сделав над собой усилие, изгнать из сердца тревогу?»

«Не спрашивайте меня больше, дорогие мои родные, — проговорил Альберт. — Сегодня я больше ничего не скажу!»

И он сдержал слово даже на больший срок: он не раскрывал рта целую неделю.

Глава 31

— История Альберта будет закончена в нескольких словах, милая Порпорина, так как мне почти нечего прибавить к уже рассказанному. В течение полутора лет, проведенных мною здесь, фантазии Альберта, о которых вы теперь имеете представление, то и дело повторялись. Только его воспоминания о том, чем он был и что видел в прошлые века, приобрели какую-то страшную реальность с тех пор, как в нем проявилась особенная, поразительная способность, о которой вы, быть может, слыхали, но в которую я не верила, пока не получила тому доказательств. Говорят, что в других странах эта способность зовется ясновидением и что будто обладающие ею пользуются большим уважением среди людей суеверных. Что касается меня, то я совершенно не знаю, что и думать об этом, не берусь объяснить и вам, но нахожу в этом лишний повод не выходить замуж за человека, который видит за сотни миль каждый мой шаг и в состоянии читать все мои мысли. Для этого надо быть по меньшей мере святой, а разве это возможно, когда живешь с

человеком, обрекшим себя дьяволу?

— Вы обладаете способностью все вышучивать, — заметила Консуэло. — Я просто поражаюсь, как вы можете говорить так весело о вещах, от которых у меня волосы на голове становятся дыбом. В чем же заключается это ясновидение?

— Альберт видит и слышит то, чего другой не может ни видеть, ни слышать. Когда должен неожиданно явиться человек, к которому он расположен, он, предупредив об этом, отправляется заранее ему навстречу. Так же точно — стоит ему почувствовать приближение того, кого он не любит, как он уходит к себе и запирается.

Однажды, гуляя с моим отцом в горах, он вдруг остановился и пошел в обход, прокладывая себе путь среди скал и терновника, для того только, чтобы не пройти по какому-то месту, где, однако, не было ничего примечательного. Через несколько минут они вернулись к этому месту, и Альберт опять поступил точно так же. Отец мой, заметив это, сделал вид, будто что-то потерял, и под этим предлогом хотел подвести его к подножию той ели, которая, по-видимому, внушала ему такое отвращение. Однако Альберт не только не подошел к ней, но постарался даже не наступить на тень, отбрасываемую ею поперек дороги, а когда

мой отец проходил через эту тень, Альберт, видимо, томился и был страшно встревожен. Когда же отец остановился у самого ствола, Альберт вскрикнул и стал настойчиво звать его оттуда. Он долго отказывался объяснить эту причуду, но, уступая наконец просьбам всей семьи, поведал, что под этим деревом было когда-то совершено страшное преступление и зарыты человеческие кости. Капеллан, предполагая, что Альберт мог откуда-нибудь узнать о том, что в былое время на этом месте было совершено убийство, решил, что его долг разузнать об этом, дабы предать погребению забытые человеческие останки. «Подумайте хорошенько о том, что вы собираетесь делать, — сказал капеллану Альберт с тем печальным и в то же время насмешливым видом, который ему свойствен. — Мужчина, женщина и ребенок, которых вы найдете там, были гуситами; и этот пьяница Венцеслав, скрываясь в наших лесах и боясь, чтобы они не увидели и не выдали его, велел своим солдатам убить их».

С моим кузеном об этом событии больше не заговаривали. Но дядя решил проверить, было ли это у сына наитием или фантазией, и велел ночью раскопать место, указанное моим отцом. Там действительно нашли три скелета — муж-

чины, женщины и ребенка. Скелет мужчины был покрыт громадным деревянным щитом, какой носили гуситы; щит этот легко было распознать по выгравированной на нем чаше с такой латинской надписью: «О смерть, как горестно вспоминать о тебе злым людям, но с каким спокойствием думает о тебе тот, кто поступает справедливо, памятуя о своей кончине».

Останки их перенесли подальше, в глубь леса; и когда через несколько дней Альберт проходил мимо этой ели, отец мой заметил, что он делает это без отвращения, хотя по виду здесь ничего не переменилось и земля была по-прежнему покрыта камнями и песком. Он даже не помнил о волнении, которое испытал здесь, а когда с ним заговорили об этом, с трудом припомнил, как было дело.

«По-видимому, вы ошиблись, — сказал он моему отцу. — Должно быть, я был предупрежден в другом месте. Я уверен, что здесь ничего нет, так как не чувствую ни холода, ни дрожи, ни душевной боли».

Моя тетушка склонна приписывать эту способность Альберта особой милости провидения, но кузен мой всегда так мрачен, так измучен и так несчастлив, что трудно постигнуть, за что прови-

дение могло бы наградить его таким пагубным даром. Если бы я верила в существование дьявола, то полагала бы более правильным предположение капеллана, считающего все галлюцинации Альберта делом рук врага рода человеческого. Дядя Христиан, который более рассудителен и более тверд в религии, чем все мы, разъясняет весьма правдоподобно многое из того, что происходит с его сыном. Он думает, что, несмотря на все старания иезуитов во время Тридцатилетней войны и в последующий период сжечь все еретические писания в Чехии и в частности те, что находились в замке Исполинов, несмотря на тщательные поиски, которые произвел наш капеллан во всех углах дома после смерти тетушки Ванды, в каком-нибудь тайнике замка могли сохраниться исторические документы времен гуситов, и Альберт нашел их. Дядя Христиан полагает, что чтение этих вредных рукописей произвело сильнейшее впечатление на больное воображение его сына и некоторые подробности событий прошлого, совершенно теперь забытые, но сохранившиеся в точности в этих рукописях, он наивно приписывает собственным воспоминаниям о своем прежнем существовании на земле. Этим легко объясняются все сказки, кото-

рые он нам рассказывает, и его непостижимые исчезновения на целые дни и даже недели. Надо вам сказать, что эти исчезновения повторялись не раз, и притом трудно предполагать, чтобы он скрывался где-нибудь вне замка. Каждый раз, когда он исчезал, найти его было совершенно невозможно, хотя мы совершенно уверены в том, что ни один крестьянин не давал ему ни пристанища, ни пищи. Мы уже знаем, что у него бывают припадки летаргического сна, когда он лежит целыми днями, запершись в своей комнате. Если во время этих припадков взломать дверь и начать суетиться вокруг него, с ним начинаются судороги. С тех пор, как это выяснилось, его, конечно, оставляют в полном покое. По-видимому, в это время в голове его происходят престранные вещи, но никакой шум, никакое видимое волнение не выдают их, и мы узнаем о них лишь впоследствии, из его же рассказов. Очнувшись, он чувствует себя вначале гораздо лучше, но потом у него снова появляется возбужденное состояние, которое все усиливается, пока не наступает новый припадок. Он как будто предчувствует продолжительность этих припадков, потому что перед особенно длительными обыкновенно уходит куда-то и прячется, — должно быть, в

какой-нибудь горной пещере или в каком-нибудь подвале замка, известных ему одному. Открыть его убежище до сих пор не удалось. Это особенно трудно сделать потому, что, как только за ним начинают следить, наблюдать, расспрашивать, он сейчас же серьезно заболевает. Поэтому решили предоставить ему полную свободу: ведь эти исчезновения, так пугавшие нас вначале, теперь кажутся нам благотворными кризисами в его болезни. Когда Альберт исчезает, тетушка, правда, сильно горюет, а дядя молится, но никто ничего не предпринимает. А я, скажу вам откровенно, просто очерствела. Печаль с течением времени выродилась у меня в скуку и отвращение. Для меня лучше умереть, чем выйти замуж за этого маньяка. Я признаю за ним большие достоинства, но хотя, быть может, вы и скажете, что мне не следовало бы придавать значения его странностям, раз они являются следствием болезни, все-таки они раздражают меня, ибо это бич как моей жизни, так и жизни всей нашей семьи.

— Мне кажется, что это не совсем справедливо, милая баронесса, — сказала Консуэло. — Теперь я прекрасно понимаю ваше нежелание выйти замуж за графа Альберта, но почему вы перестали относиться к нему с участием, этого я постигнуть

не могу.

— Видите ли, мне трудно отделаться от убеждения, что в его помешательстве есть что-то преднамеренное. Несомненно, у него очень сильный характер, и я знаю тысячи случаев, когда он умел владеть собой. Он может во собственному желанию даже отдалить наступление припадка: я сама видела, как он отлично справлялся с ним, когда окружающие не были склонны смотреть на это серьезно. И наоборот, когда он видит, что мы готовы поверить ему, боимся за него, он будто нарочно злоупотребляет той слабостью, которую мы к нему питаем, и точно хочет удивить нас своими выходками. Вот отчего я сердита на него и часто прошу его покровителя Вельзевула раз навсегда избавить нас от него.

— Как жестоко вы шутите над несчастным человеком, — сказала Консуэло. — Его душевная болезнь кажется мне скорее удивительной и поэтичной, а не отталкивающей.

— Воля ваша, милая Порпорина! — воскликнула Амелия. — Восхищайтесь сколько хотите его колдовством, раз вы в него верите. Я же уподобляюсь нашему капеллану, который поручает свою душу богу и не пытается понять непонятное; я прибегаю к помощи разума, но не силюсь по-

стичь то, что найдет когда-нибудь естественное объяснение, но пока еще нам непонятно. Одно несомненно в злосчастной судьбе моего кузена: его разум окончательно перестал работать, а воображение так распустило свои крылья в его мозгу, что череп того и гляди треснет. Что же скрывать! Надо прямо употребить то слово, которое мой бедный дядя Христиан, стоя на коленях перед императрицей Марией-Терезией (она ведь не способна удовольствоваться полуответами и полуутверждениями), принужден был произнести, обливаясь слезами: «Альберт фон Рудольштадт

— сумасшедший, или, если хотите, чтобы звучало приличнее, душевнобольной».

Консуэло ответила лишь глубоким вздохом. Амелия в эту минуту произвела на же впечатление скверного, бессердечного существа. Но она силилась все же оправдать ее в своих глазах, представляя себе, что должна была выстрадать эта девушка за полтора года такой печальной жизни, полной бесконечных тревог и волнений. Потом, возвращаясь к собственному горю, она подумала: «Как жаль, что я не могу объяснить поступков Андзолето сумасшествием. Потеряй он рассудок среди упоений и разочарований своего

дебюта, я, конечно, не перестала бы любить его; и если бы его неверность и неблагодарность объяснялись безумием, я по-прежнему бы его обожала и сейчас же полетела бы ему на помощь».

Прошло несколько дней, однако Альберт ничем не подтвердил уверений своей двоюродной сестры относительно его умственного расстройства. Но вот в один прекрасный день, когда капеллан, совершенно того не желая, чем-то раздосадовал его, он вдруг стал говорить что-то бессвязное и, словно заметив это сам, выскочил из гостиной и заперся в своей комнате. Все думали, что он долго пробудет у себя, но через час, бледный и истомленный, он вернулся в гостиную, стал пересаживаться с одного стула на другой, несколько раз останавливался возле Консуэло, по-видимому, обращая на нее не больше внимания, чем в предыдущие дни, и наконец, забившись в глубокую амбразуру окна, опустил голову на руки и остался недвижим.

Амелия в это время как раз собиралась приступить к своему уроку музыки, и она спешила начать его, шепотом объясняя Консуэло, что хочет таким способом выпроводить эту зловещую фигуру, от которой веет могильным холодом и которая убивает в ней всякую веселость.

— Мне кажется, — ответила Консуэло, — нам лучше подняться в вашу комнату. Для аккомпанемента достаточно будет вашего спинета. Если граф Альберт действительно не любит музыки, зачем же нам увеличивать его страдания и тем самым страдания его родных?

Последний довод убедил Амелию, и они обе поднялись в комнату баронессы, оставив дверь открытой, поскольку там немного пахло угаром. Амелия собралась было, как всегда, выбрать эффектные арии, однако Консуэло, начавшая уже проявлять строгость, заставила ее взяться за простые, но серьезные мелодии духовных сочинений Палестрины. Молодой баронессе это пришлось не по вкусу: зевнув, она раздраженно заявила, что это варварская и снотворная музыка.

— Это потому, что вы ее не понимаете, — возразила Консуэло. — Дайте я спою несколько отрывков, чтобы показать вам, как чудесно написана эта музыка для голоса, не говоря уже о том, что она божественна по своему замыслу.

С этими словами она села к спинету и запела. Впервые ее голос пробудил эхо в старом замке; прекрасный резонанс его высоких холодных стен увлек Консуэло. Ее голос, давно молчавший, — молчавший с того самого вечера, когда она пела

в Сан-Самуэле, а затем упала без чувств от изнеможения и горя, — не только не пострадал от мук и волнений, но стал еще прекраснее, еще удивительнее, еще задушевнее. Амелия была восхищена и вместе с тем потрясена: она поняла наконец, что не имеет ни малейшего представления о музыке и что вообще вряд ли когда-либо чему-нибудь научится. Вдруг перед молодыми девушками появилось бледное, задумчивое лицо Альберта. Все время, пока продолжалось пение, он, удивленный и растроганный, неподвижно стоял посреди комнаты. Только окончив петь, Консуэло заметила его и немного испугалась. Но Альберт, став перед ней на оба колена и устремив на нее свои большие черные глаза, полные слез, воскликнул по-испански, без малейшего немецкого акцента:

— О Консуэло! Консуэло! Наконец-то я нашел тебя!

— Консуэло! — воскликнула девушка, недоумевая и тоже по-испански. Отчего вы так называете меня, граф?

— Я зову тебя Утешением, — продолжал Альберт все по-испански, — потому что мне в моей печальной жизни было обещано утешение, а ты и есть то утешение, которое господь наконец посы-

лает мне, одинокому и несчастному. — Я никогда не думала, — заговорила Амелия, сдерживая гнев, — чтобы музыка могла оказать такое магическое действие на моего дорогого кузена. Голос Нины создан, чтобы творить чудеса, это правда, но я не могу не заметить вам обоим, что было бы учтивее по отношению ко мне, да и вообще приличнее, говорить на языке, мне понятном.

Альберт, казалось, не слышал ни единого слова из всего, сказанного его невестой. Он продолжал стоять на коленях, глядя на Консуэло с невыразимым удивлением и восторгом, все повторяя растроганным голосом:

— Консуэло! Консуэло!

— Как он вас называет? — с запальчивостью спросила молодая баронесса свою подругу.

— Он просит меня спеть испанский романс, которого я не знаю, — в страшном смущении ответила Консуэло. — Но, мне кажется, нам нужно покончить с пением, — продолжала она, — видимо, музыка слишком волнует сегодня графа.

И она встала, собираясь уйти.

— Консуэло! — повторил Альберт по-испански. — Если ты покинешь меня, моей жизни конец, и я не захочу более возвращаться на землю!

С этими словами он упал без чувств у ее ног; перепуганные девушки позвали слуг, чтобы унести его и оказать ему помощь.

Глава 32

Графа Альберта уложили осторожно на кровать, и в то время как двое слуг, переносивших его, бросились искать один — капеллана, являвшегося как бы домашним врачом, а другой — графа Христиана, приказавшего раз навсегда предупреждать его о малейшем недомогании сына, обе молодые девушки — Амелия и Консуэло — принялись разыскивать канониссу. Но прежде чем кто-либо из этих лиц успел прийти к больному, — а они сделали это не теряя ни минуты, — Альберт уже исчез. Дверь его спальни была открыта, постель едва смята, — его отдых, по-видимому, продолжался не более минуты, все в комнате находилось в обычном порядке. Его искали всюду и, как всегда бывало в подобных случаях, нигде не нашли. Тогда вся семья впала в мрачную покорность, о которой Амелия рассказывала Консуэло, и все стали ждать в молчаливом страхе (вошло уже в привычку его не выказывать), трепеща и надеясь, возвращения этого необыкновенного молодого человека. Консуэло хотела бы скрыть от родных Альберта странную

сцену, происшедшую в комнате Амелии, но та успела уже все рассказать, описав в самых ярких красках внезапное и сильное впечатление, которое произвело на ее кузена пение Порпорины.

— Теперь уже нет сомнения, что музыка вредна ему, — заметил капеллан.

— В таком случае, — ответила Консуэло, — я постараюсь всеми силами, чтобы он никогда больше не слышал моего пения, а во время наших уроков с баронессой мы будем так запираться, что ни единый звук не долетит до ушей графа Альберта.

— Это очень стеснит вас, дорогая синьора, — возразила канонисса, но, к сожалению, не от меня зависит сделать ваше пребывание у нас более приятным.

— Я хочу делить с вами ваши печали и ваши радости, — ответила Консуэло, — и не желаю иного удовлетворения, как заслужить ваше доверие и дружбу.

— Вы благородная девушка, — сказала канонисса, протягивая ей свою руку, длинную, сухую и блестящую, как желтая слоновая кость. — Но послушайте, — добавила она, — я вовсе не думаю, чтобы музыка была действительно так вредна моему дорогому Альберту. Из того, что мне рас-

сказала Амелия о сцене, происшедшей сегодня утром в ее комнате, я, наоборот, вижу, что его радость была слишком сильна. Быть может, его страдание было вызвано именно тем, что вы слишком скоро прервали ваши чудесные мелодии. Что он вам говорил по-испански? Я слышала, что он прекрасно владеет этим языком, так же как и многими другими, усвоенными им с поразительной легкостью во время путешествий. Когда его спрашивают, как мог он запомнить столько различных языков, он отвечает, что знал их еще до своего рождения и теперь лишь вспоминает их, так как на одном языке он говорил тысячу двести лет тому назад, а на другом — участвуя в крестовых походах. Подумайте, какой ужас! Раз мы ничего не должны скрывать от вас, дорогая синьора, вы еще услышите от племянника немало странных рассказов о его, как он выражается, прежних существованиях. Но переведите мне, вы ведь уже хорошо говорите по-немецки, что именно сказал он вам на вашем родном языке, которого никто из нас здесь не знает.

В эту минуту Консуэло почувствовала какое-то безотчетное смущение.

Тем не менее она решила сказать почти всю правду и тут же объяснила, что граф Альберт

умолял ее продолжать петь и не уходить, говоря, что она приносит ему большое утешение.

— Утешение! — воскликнула проницательная Амелия. — Он употребил именно это слово? Вы ведь знаете, тетушка, как много оно значит в устах моего кузена.

— В самом деле, он часто повторяет это слово, и оно имеет для него какой-то пророческий смысл, — отозвалась Венцеслава, — но я нахожу, что в этом разговоре он мог употребить его в самом обыкновенном смысле.

— А какое слово он повторял вам несколько раз, милая Порпорина? настойчиво допрашивала Амелия. — Это было какое-то особенное слово, но волнение помешало мне его запомнить.

— Я хорошенько сама его не поняла, — ответила Консуэло, делая над собою страшное усилие, чтобы солгать.

— Милая Нина, — сказала ей на ухо Амелия, — вы умны и осторожны, но ведь и я неглупа и прекрасно поняла, что вы и есть то мистическое утешение, которое было обещано видением Альберту как раз на тридцатом году жизни. Не пытайтесь скрыть, что вы это поняли лучше меня: это небесное предопределение, и я не ревную к нему.

— Послушайте, дорогая Порпорина, — сказала канонисса, подумав несколько минут. — Когда Альберт вот так исчезал — внезапно, словно по волшебству, — нам всегда казалось, что он скрывается где-то поблизости, быть может даже в самом замке, в каком-нибудь месте, известном лишь ему одному. Не знаю, почему, но мне пришло в голову, что если б вы сейчас запели и он услышал ваш голос, он вернулся бы к нам.

— Если б это было так! — проговорила Консуэло, готовая подчиниться.

— А если Альберт вблизи нас и музыка только ухудшит его состояние? заметила ревнивая Амелия.

— Ну что ж? — сказал граф. — Надо сделать эту попытку. Я слышал, что несравненный Фаринелли мог своим пением рассеивать черную меланхолию испанского короля, подобно тому как юному Давиду удавалось игрой на арфе укрощать ярость Саула. Попробуйте, великодушная Порпорина: душа, столь чистая, как ваша, должна распространять вокруг себя благотворное влияние.

Консуэло, растроганная, села за клавесин и запела испанский церковный гимн в честь богоматери-утешительницы, которому выучила ее в

детстве мать. Он начинался словами «Consuelo de mi alma» («Утешение моей души»). Она спела его таким чистым голосом, с такой неподдельной простотой и верой, что хозяева старого замка почти забыли о предмете своей тревоги, отдавшись всецело чувству надежды и веры. Глубокая тишина царила и в самом замке и вокруг него; окна и двери были распахнуты настежь, чтобы голос Консуэло мог разноситься как можно дальше; луна своим зеленоватым светом заливала амбразуры огромных окон. Все было спокойно. Душевные муки сменились чистым религиозным чувством, как вдруг тяжелый вздох, словно вырвавшийся из глубины человеческой груди, откликнулся на последние звуки голоса Консуэло. Вздох этот был так явственен и продолжителен, что все присутствующие не могли не услышать его; даже барон Фридрих приоткрыл глаза, думая, что его кто-то зовет. Все побледнели и переглянулись, точно говоря друг другу: «Это не я. Может быть, это вы?» Амелия не могла удержаться, чтобы не вскрикнуть, а Консуэло, которой показалось, что вздох этот раздался совсем подле нее, хотя она сидела за клавесином довольно далеко от всех остальных, так испугалась, что не могла вымолвить ни слова.

— Боже милосердный! — проговорила в ужасе канонисса. — Слышали вы этот вздох, точно исходящий из глубины земли?

— Скажите лучше, тетушка, — воскликнула Амелия, — что он пронесся над нашими головами, как дуновение ночи.

— Должно быть, сова, привлеченная свечой, пролетела через комнату в то время, как мы были поглощены музыкой, а потому мы услышали легкий шум ее крыльев только тогда, когда она уже вылетела из окна, — высказал свое предположение капеллан, у которого, однако, зубы стучали от страха.

— А может быть, это собака Альберта? — сказал граф Христиан.

— Здесь нет Цинабра, — возразила Амелия, — ведь где Альберт, там и Цинабр. И все-таки кто-то странно вздохнул. Если б я решилась подойти к окну, я увидела бы, не подслушивал ли кто-нибудь пение из сада, но, признаюсь, если б от этого зависела даже моя жизнь, у меня все равно не хватило бы на это храбрости.

— Для девушки без предрассудков, для маленького французского философа вы недостаточно храбры, дорогая баронесса, — тихо сказала Консуэло, силясь улыбнуться, — попробую, не окажусь

ли я смелее.

— Нет, не ходите туда, моя милая, — громко ответила ей Амелия, — и не храбритесь: вы бледны как смерть и вам еще может сделаться дурно.

— Как при вашем горе вы можете быть способны на такие детские выходки, дорогая Амелия? — проговорил граф Христиан, направляясь медленным твердым шагом к окну.

Посмотрев в окно и никого не увидев, он спокойно закрыл его, говоря:

— Как видно, действительные горести недостаточно жгучи для пылкого воображения женщин. Их изобретательный ум всегда стремится добавить какие-нибудь вымышленные страдания. В этом вздохе нет, без сомнения, ничего таинственного. Кто-то из нас, растроганный прекрасным голосом и огромным талантом синьорины, безотчетно для себя самого издал нечто вроде восторженного возгласа, вырвавшегося из глубины души. Быть может, это произошло даже со мной, хотя я сам этого и не заметил. Ах, Порпорина, если вам не удастся излечить Альберта, то по крайней мере вы сумеете излить небесный бальзам на раны, не менее глубокие, чем его.

Слова святого старика, всегда разумного и спокойного, несмотря на удручавшие его семейные

невзгоды, были тоже небесным бальзамом для Консуэло. Ей захотелось опуститься перед ним на колени и попросить благословить ее так, как благословил ее Порпора, расставаясь с ней, и как благословил ее Марчелло в тот прекрасный день ее жизни, с которого начался для нее целый ряд печальных и одиноких дней.

Глава 33

Прошло несколько дней, а о графе Альберте не было никаких известий. Консуэло, которой такое положение внушало мучительную тревогу, удивлялась, видя, что семейство Рудольштадтов переносит гнет этой страшной неизвестности, не проявляя ни отчаяния, ни нетерпения. Привычка к самым тяжелым переживаниям порождает какую-то видимость апатии, а иногда и подлинное очерствение, уязвляющее и даже раздражающее души, у которых чувствительность еще не притупилась от продолжительных несчастий. Консуэло жила среди этих унылых впечатлений и необъяснимых происшествий словно в кошмаре, и ей казалось удивительным, что порядок в доме почти не нарушался: как всегда, была деятельна канонисса, по-прежнему барон увлекался охотой, так же неизменно капеллан исполнял свои религиозные обязанности, так же весела и насмешлива была Амелия. Эта веселость и живость молодой баронессы особенно возмущали Консуэло. Ей было совершенно непонятно, как та могла хохотать и дурачиться, в то время как сама

она едва в силах была читать или шить.

Канонисса между тем вышивала покров на алтарь замковой часовни. Это было чудо терпения, вкуса и аккуратности. Сделав обход дома, она усаживалась за свои пяльцы, хотя бы для нескольких стежков, пока ей не приходилось снова идти в амбары, в кладовые или в погреба. И надо было видеть, какое значение придавала она всем этим мелочам, как это тщедушное существо своей ровной, полной достоинства, размеренной, но всегда быстрой походкой обходило все закоулки своего маленького царства, тысячу раз за день исколесив во всех направлениях тесную и унылую площадь своих домашних владений. Консуэло не понимала также уважения и восхищения, с которым все в замке и в округе относились к тому, что канонисса с такой любовью и рачительностью взвалила на себя обязанности неутомимой экономки. Глядя, как она с мелочной бережливостью упорядочивает самые ничтожные дела, можно было подумать, будто она алчна и недоверчива. А между тем в серьезных случаях жизни она проявляла широкую и великодушную натуру. Но этих благородных качеств и особенно этой чисто материнской нежности, за которые ее так ценила и почитала Консуэло, было бы недостаточно для

окружающих, чтобы сделать ее героиней семейного очага. Для того чтобы всеми были признаны ее действительно незаурядный ум и сильный характер, нужно было также — особенно нужно было — это священнодействие при ведении обширного хозяйства замка со всеми его мелочами (которые как раз и могли его опошлить). Не проходило дня без того, чтобы граф Христиан, барон или капеллан не провожали ее восторженным восклицанием: «Сколько мудрости, сколько мужества, сколько силы духа в нашей канониссе!»

Даже Амелия, не умевшая отличать в жизни высокое от пустого, заполнявшего ее собственное существование, не осмеливалась подтрунивать над хозяйственным пылом тетки, который представлялся Консуэло единственным пятном на лучезарном душевном облике чистой и любвеобильной горбуньи Венцеславы. Для девушки, родившейся на большой дороге и брошенной в мир без иного руководителя и покровителя, кроме собственной гениальности, столько забот, такая затрата энергии, такое нравственное удовлетворение, получаемое от сохранения каких-то вещей, от заготовки каких-то припасов, казались чудовищной растратой душевных и умственных сил. Ей, ничего не имевшей и не жаждавшей

никаких земных благ, тяжело было видеть, как эта прекрасная душа добровольно надрывается в бесконечных заботах о хлебе, вине, дровах, пеньке, скоте и мебели. Если бы ей предложили самой все эти блага (предмет вожделения для большинства людей), она предпочла бы взамен хоть один миг былого счастья, свои лохмотья, свое чудное небо, свою чистую любовь, свою свободу на венецианских лагунах. Эти горькие и вместе с тем драгоценные воспоминания рисовались ей все в более и более ярких красках, по мере того как она удалялась от этого радостного горизонта, погружаясь в ледяную сферу, называемую реальной жизнью.

У нее сжималось сердце, когда с наступлением сумерек канонисса, с большой связкой ключей, делала в сопровождении верного Ганса обход всех строений, всех дворов: запирались все выходы, осматривались все закоулки, где могли бы спрятаться злоумышленники, как будто никто не мог заснуть спокойно за этими грозными стенами, пока во рвы, окружающие замок, не ринутся с ревом воды соседнего горного потока, пленника расположенных неподалеку шлюзов, пока не будут заперты все решетчатые ворота и не будут подняты все подъемные мосты. Как часто прихо-

дилось Консуэло во время дальних странствий с матерью ночевать у большой дороги, подостлав под себя только полу изодранного материнского плаща! Сколько раз приветствовала она зарю на белых каменных плитах Венеции, омытых волнами, ни на секунду не опасаясь за свое целомудрие, единственное богатство, которым она дорожила. «Увы, — говорила она себе, — как жалки эти люди: им надо охранять столько добра! День и ночь пекутся они о своей безопасности и, постоянно стремясь к ней, не имеют времени ни добиться ее, ни пользоваться ею». Итак, и она, подобно Амелии, уже томилась в этой мрачной тюрьме, в этом угрюмом замке Великанов, куда, казалось, само солнце боялось заглянуть. Но в то время как юная баронесса мечтала о балах, нарядах и поклонниках, Консуэло мечтала о борозде в поле, о кусте в лесу или о лодке вместо дворца, о широчайших горизонтах и бесконечном звездном небе.

Вследствие сурового климата и затворничества в замке Консуэло поневоле изменила своей венецианской привычке — поздно ложиться и поздно вставать. После многих часов бессонницы, возбуждения, жутких снов она в конце концов подчинилась этим диким монастырским

законам; единственное, чем она себя вознаграждала, — это одинокими утренними прогулками в ближних горах. Ворота открывали и спускали мосты на рассвете, и в то время как Амелия, которая до полуночи читала тайком романы, спала до самого завтрака, Порпорина шла в лес дышать на свободе свежим воздухом и бродить по росистой траве.

Однажды утром, спускаясь на цыпочках к выходу, чтобы никого не разбудить, она потерялась среди бесчисленных лестниц и бесконечных коридоров замка, в которых еще не умела хорошо разобраться. Заблудившись в лабиринте галерей и переходов, она прошла через какую-то незнакомую ей комнату, похожую на переднюю, надеясь, что тут есть выход в сад. Но вместо этого она очутилась на пороге маленькой часовенки, сооруженной в прекрасном старинном стиле и едва освещенной розеткой — крошечным окошечком в сводчатом потолке. Бледный свет падал оттуда только на середину молельни, оставляя все кругом в таинственном полумраке. Солнце еще не вставало, рассвет был серый и туманный. Сперва Консуэло подумала, что попала в ту часовню замка, где уже однажды, в воскресенье, слушала обедню. Она знала, что та часовня выходила в

сад. Но прежде чем уйти, ей захотелось помолиться, и она опустилась на колени на первой же каменной плите. Однако, как это часто бывает с артистическими натурами, она скоро отвлеклась. Несмотря на старание отдаться возвышенным мыслям, молитва поглотила ее не настолько, чтобы помешать ей бросить любопытный взгляд по сторонам, и вскоре она поняла, что находится вовсе не в той часовне, где думала, а в новом месте, где прежде не бывала. И свод был не тот, не те были украшения. Это неизвестная часовня была очень мала, и ее можно было рассмотреть, несмотря на полумрак; больше всего внимание Консуэло привлекла белевшая перед алтарем статуя, стоявшая на коленях в той застывшей и суровой позе, какую в былые времена придавали надгробным изваяниям. Девушка решила, что попала в усыпальницу каких-нибудь славных предков графской семьи, и, сделавшись за свое пребывание в Богемии несколько боязливой и суеверной, поспешила окончить молитву и встала, собираясь уйти.

Но в ту минуту, когда она в последний раз робко посмотрела на коленопреклоненную фигуру, стоявшую шагах в десяти от нее, она ясно увидела, как статуя разжала каменные руки и, тяжко

вздыхая, осенила себя крестом. Консуэло едва не упала без чувств, но оторвать блуждающий взор от страшной каменной фигуры она не могла. Теперь она была еще более убеждена в том, что это статуя, потому что, не услышав, по-видимому, вырвавшегося из ее груди крика ужаса, фигура снова сложила ладонями вместе свои большие белые руки, словно отрешившись от внешнего мира.

Глава 34

Если бы изобретательная и плодовитая Анна Рэдклиф была на месте простодушного и неискусного повествователя этой весьма правдивой истории, она не упустила бы столь удобного случая поводить вас, милая читательница, по коридорам, винтовым лестницам, люкам и мрачным подземельям на протяжении по меньшей мере полудюжины прекрасных и увлекательных томов, с тем чтобы только в седьмом разоблачить все тайны своего искусного сооружения. Но читательница-вольнодумка, которую приходится нам развлекать, в наше время, пожалуй, не отнеслась бы так добродушно к невинной литературной уловке романиста. И так как обмануть ее было бы очень трудно, уж лучше как можно скорее раскрыть разгадку всех наших загадок. Откроем даже сразу целых две: Консуэло, через две секунды придя в себя, узнала в ожившей статуе, стоявшей перед нею, старого графа Христиана, читавшего про себя утренние молитвы в своей молельне, а в тяжком вздохе, который невольно вырвался у него, как это часто случается со ста-

риками, она признала тот самый «дьявольский» вздох, который послышался ей в тот вечер, когда она пела гимн богоматери-утешительнице.

Немного устыдившись своего испуга, Консуэло, исполненная почтения, продолжала стоять, точно прикованная к месту, опасаясь потревожить пламенную молитву. Это было трогательное и торжественное зрелище — старик, распростертый на каменных плитах, от всего сердца возносящий на рассвете свои молитвы богу, погруженный в экстаз, отрешившийся от реального мира. На благородном лице графа Христиана не отражалось никаких мучительных переживаний. Свежий ветерок, врывавшийся в дверь, которую Консуэло оставила полуоткрытой, развевал серебристые волосы, обрамлявшие полукругом его затылок; широкий лоб старика, сливавшийся с большой лысиной, блестел, словно старый пожелтевший мрамор. В старомодном белом шерстяном халате, слегка напоминавшем монашескую рясу и спадавшем с его исхудавших плеч недвижными тяжелыми складками, он действительно походил на надгробную статую. И когда он снова застыл в своей молитвенной позе, Консуэло принуждена была дважды посмотреть на него, чтобы опять не поддаться первоначальному заблуждению.

Став в сторонку, откуда было лучше видно, она принялась внимательно наблюдать за ним, и вот среди восхищения и умиления ей как-то невольно пришла в голову мысль: сможет ли эта молитва старика способствовать исцелению его несчастного сына, и вообще были ли в этой душе, столь пассивно подчинявшейся догматам религии и суровым приговорам судьбы, тот пыл, тот разум, то рвение, которые Альберт должен был бы найти в душе своего отца? У сына тоже была мистически настроенная душа, он также вел набожную и созерцательную жизнь, но из всего того, что ей рассказала Амелия, и из того, что ей довелось видеть самой за несколько дней, уже проведенных в замке, у Консуэло сложилось такое впечатление, будто у Альберта никогда не было ни советчика, ни руководителя, ни друга — никого, кто бы мог направить его воображение, умерить пылкость его чувствований и смягчить фанатическую суровость его добродетели. Она поняла, насколько он должен чувствовать себя одиноким и даже чужим среди своей семьи, которая упорно противоречила ему или молчаливо жалела, как еретика или как сумасшедшего. Она и сама начинала чувствовать нечто вроде раздражения при виде этой бесконечной, невозмутимой

молитвы, которая была обращена к небу, дабы поручить ему то, что давно должны были сделать они сами: искать беглеца, найти его, убедить и вернуть домой. Ведь каково должно было быть отчаяние и невыразимое смятение этого доброго, сердечного молодого человека, если он мог бросить своих близких, не отдавая себе отчета в том, что с ним делается, не думая о страшном беспокойстве и волнениях, которые он доставляет самым дорогим для него существам. Принятое всеми решение никогда ему не прекословить и в минуты ужаса притворяться спокойным казалось прямому и здравому уму Консуэло какой-то преступной небрежностью или грубой ошибкой. Она чувствовала в этом гордость и эгоизм людей, нетерпимых к чужим верованиям, считающих, что путь, ведущий на небо, единственно тот, который сурово начертан рукою священника.

«Господи! — от всего сердца молилась Консуэло. — Неужели возвышенная душа Альберта, такая пламенная, такая милосердная, не загрязненная человеческими страстями, неужели в твоих глазах она менее драгоценна, чем души терпеливых, но праздных людей, мирящихся с мирским злом и не возмущающихся тем, что справедливость и истина не признаны на земле?

Возможно ли, чтобы дьявол владел этим юношей, который в детстве отдавал все свои игрушки, все свои вещи детям бедняков, а достигнув зрелости, хотел раздать все свои богатства, дабы облегчить человеческое горе? А они, эти знатные господа, кроткие и благодушные, оплакивающие бесплодными слезами людские несчастия и облегчающие их ничтожными подаяниями, не ошибаются ли они, воображая, будто скорее заслужат рай своими молитвами и подчинением императору и папе, чем великими делами и огромными жертвами? Нет, Альберт не безумец! Какой-то внутренний голос говорит мне, что это прекраснейший образец праведника и святого из всех созданных природой. И если тягостные сны и странные призраки затмили ясность его рассудка, если наконец, он душевнобольной, как они думают, то его довели до этого тупое неприятие его взглядов, отсутствие понимания и сердечное одиночество. Я видела каморку, где был заперт Тассо, признанный сумасшедшим, и я подумала тогда, что, быть может, он был доведен до отчаяния несправедливостью. Я не раз слышала в гостиных Венеции, как называли безумцами тех христианских мучеников, над трогательной историей которых я в детстве проливала слезы, — их

чудеса считали там шарлатанством, а их откровения — болезненным бредом. Но по какому праву эти люди, этот набожный старик, эта робкая канонисса, верящие в чудеса святых и в гениальность поэтов, — по какому праву они произносят над своим чадом такой позорный и отталкивающий приговор, применимый только к убогим и преступным? Сумасшедший! Но ведь сумасшествие — это нечто ужасное, отталкивающее, это наказание Божия за тяжкие преступления, — а тут человек вдруг сходит с ума в силу своей добродетели. Я думала, что человек, изнемогающий под тяжестью незаслуженного несчастья, имеет право на уважение и сочувствие людей. А если бы я сошла с ума, если бы в тот ужасный день, когда я увидела Андзолето в объятиях другой, я стала богохульствовать, неужели я потеряла бы тогда всякое право на советы, на поддержку, на духовную заботу обо мне моих братьев-христиан? Значит, меня выгнали бы и предоставили бы бродяжничать по большим дорогам, считая, что для нее, мол, нет лекарств, подадим ей милостыню и не станем с ней разговаривать: она слишком много страдала и потому теперь не в состоянии ничего понимать. А ведь вот так же относятся к несчастному графу Альберту. Его кор-

мят, одевают, за ним ухаживают, — словом, ему бросают подачку в виде мелочных забот. Но с ним не разговаривают: молчат, когда он спрашивает, опускают головы или отворачиваются, когда он начинает в чем-нибудь убеждать. Когда же он, чувствуя весь ужас одиночества, стремится к еще большему уединению, ему предоставляют возможность бежать куда-то, сами же тем временем молятся о его благополучном возвращении, словно между ним и любящими его — целый океан. А между тем все предполагают, что он где-то рядом. Меня заставляют петь, чтобы разбудить его на тот случай, если он лежит в летаргическом сне за какой-нибудь толстой стеной или в дупле какого-нибудь старого дерева поблизости. Как могли они не проникнуть в тайны этого древнего здания, как могли, разыскивая, не дорыться до самых недр земли? О, будь я на месте отца или тетки Альберта, я не оставила бы камня на камне, пока не разыскала бы его! Ни одно дерево в лесу не уцелело бы, пока не отдало бы его мне».

Погруженная в свои мысли, Консуэло тихонько вышла из молельни графа Христиана и, сама не зная как, набрела на дверь, выходившую наружу. Она направилась в лес; отыскивая самые дикие, самые непроходимые тропинки, бродила она,

влекомая романтическим, полным героизма стремлением и надеждой разыскать Альберта. В этом смелом желании не было никаких низменных побуждений, ни тени безрассудной прихоти. Правда, Альберт заполнил ее воображение, ее мечты, но она разыскивала в этих пустынных местах не молодого красавца, увлеченного ею, для того чтобы встретиться с ним наедине, а несчастного благородного человека, которого хотя и не мечтала спасти совсем, но все же надеялась несколько успокоить своею нежной заботой. Точно так же она стала бы разыскивать старого больного отшельника, чтобы ухаживать за ним, или заблудившегося ребенка, чтобы вернуть его матери. Она сама была еще ребенком, но в ней уже пробудилось материнское чувство, у нее была наивная вера, пламенное милосердие, восторженная храбрость. Она мечтала об этом благочестивом подвиге и приступила к нему так же, как Жанна д'Арк мечтала об освобождении своей родины и предприняла его. Ей не приходило даже в голову, что могут осмеять или осудить ее решение. Она не могла понять, как Амелия, близкая Альберту по крови и вначале надеявшаяся снискать его любовь, не додумалась до такого плана и не осуществила его.

Она шла быстро, никакие препятствия не останавливали ее. Тишина, царившая в этих дремучих лесах, теперь не навевала на нее грусти и не пугала. Видя на песке следы волков, она нисколько не боялась встречи с их голодной стаей. Ей казалось, что ее направляет божий перст, делающий ее неуязвимой. Она, знавшая наизусть Тассо (недаром распевала она его чуть не каждую ночь на лагунах), воображала, что идет под защитой талисмана, как некогда шел средь опасностей заколдованного леса великодушный Убальдо в поисках Ринальда. Легкая, стройная, она пробиралась среди скал и колючих кустарников; на челе ее сияла тайная гордость, а на щеках выступил легкий румянец. Никогда в героических ролях не была она так прекрасна, а между тем в эту минуту она в такой же мере не думала о сцене, как, играя на ней, не думала о самой себе.

Поглощенная своими мечтами и мыслями, она изредка останавливалась.

«А что, если я вдруг встречу его, — спрашивала она себя, — что смогу я сказать ему, чтобы убедить его и успокоить? Я ведь ничего не знаю о таинственных и глубоких мыслях, волнующих его. Я вижу их

только сквозь поэтическую завесу, едва приподнятую перед моими глазами, ослепленными новыми видениями. Ведь мало рвения и любви к ближнему — надо обладать знанием и красноречием, чтобы найти слова, достойные быть выслушанными человеком, стоящим настолько выше меня, безумцем, более мудрым, чем все рассудительные люди, среди которых я живу. Но господь вдохновит меня, когда настанет эта минута, а теперь, сколько бы я ни придумывала, я все больше терялась бы в дебрях своего невежества. Ах! Если бы я прочла столько религиозных и исторических книг, как граф Христиан и канонисса Венцеслава! Знай я наизусть все церковные правила и молитвы, быть может, я и смогла бы применить их удачно при случае, но ведь я едва поняла, а потому едва заучила несколько мест из катехизиса. Да и молиться-то я умею, только когда пою в церкви. Как ни действует на Альберта музыка, но не смогу же я убедить такого ученого богослова какой-нибудь музыкальной фразой. Ничего! Мне кажется, что в моем сердце, преисполненном решимости, больше силы, чем во всех ученых догматах его родных, очень добрых и кротких, но вместе с тем таких же нерешительных и холодных, как туманы и снега их страны».

Глава 35

После бесконечных поворотов и переходов по извилистым и путаным тропинкам леса, разбросанного по гористой и неровной местности, Консуэло очутилась на пригорке, среди скал и развалин, которые даже трудно было отличить друг от друга, столь разрушительно действовала здесь когда-то рука человека, соперничая с разрушительной рукой времени. Лишь гора обломков высилась теперь там, где в былое время целая деревня была сожжена по приказу «Грозного слепца», знаменитого главы каликстинов — Яна Жижки, потомком которого считал себя Альберт и от которого, быть может, он происходил на самом деле. В одну темную, зловещую ночь этот грозный и неутомимый полководец отдал приказ своему войску взять приступом крепость Великанов, находившуюся тогда в руках саксонцев, приверженцев императора; он услышал ропот солдат, а один из них, стоявший неподалеку, проговорил: «Этот проклятый слепой воображает, что все, как и он, могут обойтись без света!» Услышав это, Жижка обратился к одному из четырех

своих ближайших приверженцев (они неразлучно были с ним, правя его лошадью или повозкой и сообщая ему самые точные сведения о топографии местности и передвижении неприятеля) и сказал, обнаруживая при этом необыкновенную память и прозорливость, заменявшую ему зрение:

— Нет ли здесь поблизости деревни?

— Да, отец, — ответил ему проводник таборитов, — направо от тебя — на возвышенности, что против крепости.

Жижка подозвал недовольного солдата, на ропот которого он обратил внимание.

— Дитя, — сказал он ему, — ты жалуешься на темноту? Так отправляйся поскорее вон в ту деревню, что направо от меня на горе, и подожги ее, — при свете пламени мы сможем выступить и сражаться.

Страшный приказ был выполнен. Пылающая деревня освещала передвижение и штурм таборитов. Крепость замка Великанов пала через два часа, и Жижка завладел ею. Когда рассвело, Жижке доложили, что среди обгорелых развалин деревни, на самой вершине холма, с которого солдаты наблюдали накануне за действиями осажденных, уцелел, сохранив свою листву, мо-

лодой, но уже крепкий дуб, единственный во всей округе. Очевидно, он не пострадал от пламени благодаря воде колодца, питавшей его корни.

— Я хорошо знаю этот колодец, — ответил Жижка, — десять человек из наших были брошены туда проклятыми жителями этой деревни, и после того камень, закрывающий колодец, ни разу не был сдвинут с места. Пусть остается он там и послужит им надгробным памятником. Мы ведь не из тех, кто верит, будто блуждающие души умерших будут отогнаны от врат рая покровителем Рима — Петром-ключарем, которого они превратили в святого, — отогнаны только потому, что тела их гниют в земле, не освященной жрецами Ваала. Пусть кости наших братьев почивают с миром в этом колодце, — души их живы, они уже возродились в новых телах, и эти мученики, хотя мы и не знаем их, сражаются среди нас. Что касается жителей деревни — они получили возмездие по заслугам. А дуб хорошо сделал, посмеявшись над пожаром: ему предстоит более славная будущность, чем укрывать под своей тенью неверующих. Нам нужна виселица, вот мы ее и нашли. Приведите ко мне двадцать монахов-августинцев, которых мы захватили вчера в их монастыре и которые так неохотно

следуют за нами. Давайте-ка развесим их повыше на ветвях этого славного дуба! Такое украшение окончательно вернет ему здоровье.

Сказано — сделано. С этого времени дуб зовется «Гуситом», камень на колодце — скалой Ужаса», а разрушенная деревня и покинутый холм — Шрекенштейном».

Консуэло слышала уже со всеми подробностями эту мрачную историю от баронессы Амелии. Но так как она видела это место лишь издали и ночью, подъезжая к замку, то не узнала бы его, если бы не заглянула в овраг, пересекающий дорогу, и не увидела на дне его огромные обломки дуба, расщепленного молнией. Никто из деревенских жителей или из слуг замка не решился до сих пор ни порубить, ни вывезти их оттуда. Прошли столетия, и все-таки этот памятник ужаса, современник Яна Жижки, не переставал внушать людям сильнейший суеверный страх.

Видения и предсказания Альберта делали это трагическое место еще более волнующим. И вот Консуэло, разбитая от усталости, попав неожиданно одна на скалу Ужаса и даже присев на ней, вдруг почувствовала, что мужество покидает ее, а сердце как-то странно замирает. Ведь не только Альберт, но и все местные обитатели

гор уверяли, что страшные призраки действительно появляются здесь, обращая в бегство отважных охотников, решавшихся пробираться сюда за дичью. Вот почему этот холм, хоть и расположенный совсем недалеко от замка, служил надежным убежищем для волков и других хищников, спасавшихся сюда от барона и его своры. Невозмутимый Фридрих не очень-то верил в возможность встречи с дьяволом и даже ничего не имел против того, чтобы помериться с ним силами, но, суеверный по-своему в области наиболее ему близкой, он был убежден, что это место может погубить его собак, навести на них неведомые, неизлечимые болезни. Он потерял нескольких из них только потому, что позволил им напиться из чистых ручейков, образованных подземными ключами, вырывавшимися из холма и, быть может, сообщавшимися с водой заделанного колодца — могилы древних гуситов. И стоило его лягавой Панкену или его гончей Сапфиру начать носиться вокруг скалы Ужаса, как барон, свистя изо всех сил, отзывал их оттуда.

Консуэло, устыдившись приступа малодушия, сказала себе, что она его поборет, и решила посидеть еще немного на роковом камне, а затем медленно отойти от него, как подобает при по-

добном испытании человеку уравновешенному. Но отведя глаза от обуглившегося дуба, обломки которого валялись на дне глубокого оврага в двух сотнях шагов от нее, и оглянувшись вокруг, она вдруг увидела, что находится не одна на скале Ужаса, что какая-то загадочная фигура бесшумно уселась с ней рядом.

Это было существо с большой круглой головой, сидящей на уродливом, худом и изогнутом, как у кузнечика, теле. На нем был какой-то странный балахон, неряшливый и даже грязный, не характерный ни для одной страны и ни для одной эпохи. Однако в этой фигуре — если не считать ее своеобразия и неожиданности появления — не было ничего страшного или враждебного. Кроткая, ласковая улыбка мелькала на толстых губах этого странного существа, и какое-то детское выражение смягчало выражение безумия, о котором свидетельствовали мутный, бессмысленный взгляд и торопливые движения. Консуэло, очутившись наедине с сумасшедшим в таком месте, куда, конечно, никто не пришел бы к ней на помощь, не на шутку перепугалась, несмотря на бесконечные поклоны и добродушный смех безумца. Она решила, чтобы не дразнить его, ответить на его поклоны и кивки, но тут же

поспешно встала и, бледная, дрожа от страха, пошла прочь.

Сумасшедший не стал ее преследовать и ничего не сделал, чтобы вернуть ее. Он только влез на скалу Ужаса и, следя глазами за удалявшейся Консуэло, продолжал помахивать ей шапкой, прыгая, делая всевозможные движения руками и ногами и все время бормоча какое-то непонятное для девушки чешское слово. Отойдя от него на некоторое расстояние и несколько расхрабрившись, Консуэло оглянулась, чтобы хорошенько разглядеть его и расслышать. Она уже упрекала себя в том, что испугалась одного из тех несчастных, которых всегда так жалела и за презрение и равнодушие к которым так негодовала на других людей еще минуту назад. «Это добродушный безумец, — решила она, — быть может, даже он сошел с ума от любви. Только на этой проклятой скале, где никто не смеет приютиться и где демоны и привидения более человечны, чем его ближние, ибо они не прогоняют его и не отравляют его веселого настроения, — только здесь он нашел убежище от бесчувствия и презрения людского Бедняга с седой бородой и сгорбленной спиной, ты смеешься и дурачишься, как малое дитя. Верно, господь охраняет и благословляет

тебя в твоем несчастии, раз он посылает тебе веселые мысли, а не сделал тебя озлобленным человеконенавистником, каким ты имел бы право стать».

Сумасшедший, увидев, что она замедлила шаг, и словно поняв ее доброжелательный взгляд, заговорил с ней чрезвычайно быстро по-чешски. Голос у него был удивительно нежный, гармоничный, совершенно не соответствовавший его безобразной внешности. Консуэло, не поняв его, подумала, что надо дать ему милостыню, и, вынув из кармана монету, положила ее на камень, предварительно подняв руку, чтобы он видел, куда она ее кладет. Но сумасшедший стал хохотать еще пуще и, потирая руки, сказал ей на плохом немецком языке:

— Напрасно, напрасно… Зденко ничего не нужно. Зденко счастлив, очень счастлив! У Зденко есть утешение, утешение, утешение…

Затем, точно вспомнив слово, которое давно искал, он в радостном порыве закричал совершенно внятно, хотя и с очень скверным произношением: — Consuelo, Consuelo, Consuelo de mi alma! Пораженная Консуэло остановилась и обратилась к нему тоже по-испански.

— Отчего ты так называешь меня? — крикнула

она. — Кто сказал тебе это имя? Понимаешь ли ты язык, на котором я говорю с тобой?

Напрасно ждала Консуэло ответа на все эти вопросы, — сумасшедший только прыгал, потирая руки, как человек, чрезвычайно довольный собой. Пока до нее долетали звуки его голоса, она слышала, как он повторял ее имя на разные лады, со смехом и криками радости, точно ученая птица, которая, смеясь, произносит заученное слово, чередуя его со своим природным щебетаньем.

Всю дорогу обратно Консуэло терялась в догадках.

«Кто мог выдать тайну моего инкогнито? — спрашивала она себя. — Первый попавшийся дикарь, встреченный мною в этой пустыне, зовет меня моим настоящим именем! Быть может, этот сумасшедший видел меня где-нибудь прежде? Такого рода люди ведут бродячий образ жизни; он мог быть в Венеции и видеть меня там».

Но тщетно силилась она воскресить в памяти лица всех нищих и бродяг, которых привыкла постоянно видеть на набережных и на площади св. Марка, — лица сумасшедшего со скалы Ужаса не было среди них.

Однако, когда она уже проходила по подъемному мосту, ей пришла в голову более обоснованная

и более интересная догадка. Она решила проверить свои подозрения и втайне поздравила себя с тем, что предпринятая ею прогулка осталась не совсем безрезультатной.

Глава 36

Когда Консуэло, исполненная оживления и надежды, снова очутилась в обществе удрученной и молчаливой семьи, она стала упрекать себя за то, что так строго осуждала втайне бесчувственность этих глубоко опечаленных людей. Граф Христиан и канонисса почти ничего не ели за завтраком, капеллан тоже не решался проявить свой аппетит; Амелия, по-видимому, была очень не в духе. Когда встали из-за стола, старый граф подошел к окну, посмотрел на усыпанную песком дорожку, идущую от речного заповедника, по которой мог вернуться Альберт, и, постояв с минуту, печально покачал головой, как бы говоря: «Еще один день, который дурно начался и так же дурно кончится».

Консуэло попыталась развлечь их, исполнив на клавесине кое-что из последних церковных произведений Порпоры, которые все они всегда слушали с особенным восхищением и интересом. Она страдала оттого, что, видя их такими угнетенными, не может поделиться с ними своими надеждами. Но когда граф взялся за книгу, а ка-

нонисса, сев за вышивание, подозвала ее к своим пяльцам, чтобы посоветоваться, какими крестиками — белыми или голубыми — заполнить середину узора, все мысли Консуэло сосредоточились невольно на Альберте, который, может быть, изнывал в эту минуту от усталости и голода где-нибудь в лесу и, не будучи в силах найти дорогу, лежал, застигнутый летаргическим сном, на каком-нибудь холодном камне, подвергаясь опасности стать добычей волков и змей, в то самое время, как под искусными и неутомимыми пальцами кроткой Венцеславы распускались на покрывале многочисленные роскошные цветы, орошаемые иногда бесплодной, пролитой украдкой слезой.

Как только ей удалось заговорить с надувшейся Амелией, Консуэло спросила, кто этот странно одетый сумасшедший, который блуждает по окрестностям и при встрече с людьми смеется, как ребенок.

— А, это Зденко, — ответила Амелия. — Разве вы еще не видели его во время ваших прогулок? Он постоянно бродит всюду, потому что он бездомный.

— Сегодня утром я видела его впервые, — сказала Консуэло, — и решила, что он постоянный

обитатель Шрекенштейна.

— Так вот куда вы уже успели слетать спозаранку? Я начинаю думать, милая Нина, что вы сами не в своем уме: забраться одной ни свет ни заря в эти пустынные места, где можно встретиться с кем-нибудь и похуже безобидного дурачка Зденко!

— Например, с голодным волком? — улыбаясь, проговорила Консуэло. Мне кажется, карабин барона, вашего отца, сделал безопасной всю округу. — Дело не в одних диких зверях, — сказала Амелия, — наши места не так безопасны, как вы думаете, от самых злых на свете тварей — разбойников и бродяг. Только что закончившиеся войны разорили много народу и наплодили много нищих, привыкших просить милостыню с пистолетом в руке. Кроме того, здесь еще бродят целые тучи египетских цыган, которых во Франции делают нам честь именовать «богемцами», словно они уроженцы наших гор, куда они хлынули, высадившись в Европе. Эти люди, отовсюду гонимые и всеми отвергнутые, трусливы и раболепны перед вооруженным человеком, но могут повести себя очень дерзко с такой красивой девушкой, как вы; и я боюсь, как бы ваша склонность к рискованным прогулкам не

подвергла вас большей опасности, чем подобает такой благоразумной особе, какую изображает из себя милая Порпорина.

— Дорогая баронесса, — возразила Консуэло, — хотя вы и считаете волчьи зубы ничтожной опасностью по сравнению с другими, мне грозящими, но, представьте, волков я боюсь все-таки гораздо больше, чем цыган. Цыгане — мои старые знакомые; да и вообще можно ли бояться людей слабых, бедных, преследуемых? Мне кажется, я всегда сумею поговорить с ними так, чтобы заслужить их доверие и симпатию; как они ни безобразны, ни оборваны, ни презираемы, я все-таки не могу не интересоваться ими особенно живо.

— Браво, моя милая! — воскликнула, все более и более раздражаясь, Амелия. — Вы, оказывается, как и Альберт, питаете нежные чувства к нищим, разбойникам, сумасшедшим, и я вовсе не удивлюсь, если в одно прекрасное утро увижу вас гуляющей с милейшим Зденко, опираясь, как делает это Альберт, на его довольно грязную и мало надежную руку.

Эти слова были для Консуэло проблеском света, которого она искала с самого начала разговора с Амелией, и они примирили ее с язвительным

тоном собеседницы.

— Так, значит, граф Альберт дружит со Зенко? — спросила она с довольным видом, которого даже не пыталась скрыть.

— Это его самый близкий, самый дорогой друг, — с презрительной улыбкой ответила Амелия, — его спутник во время прогулок, поверенный его тайн, посредник, как говорят, его сношений с дьяволом. Зенко и Альберт одни только и осмеливаются в любое время отправляться на скалу Ужаса и там обсуждать самые нелепые религиозные вопросы. Только Альберт и Зенко не стыдятся сидеть на траве с цыганами, когда те делают привал под тенью наших елей, и делить с ними отвратительную пищу, которую эти люди готовят в своих деревянных мисках. Это у них называется «причащаться»; ну и, конечно, тут происходит всякого рода «причащение». Нечего сказать, хорошим супругом, хорошим возлюбленным будет мой кузен Альберт, когда той самой рукою, которою он только что пожимал зачумленную руку цыгана, возьмет руку невесты и поднесет ее ко рту, недавно пившему вино из одной чаши со Зенко!

— Может, все это и очень забавно, — проговорила Консуэло, — но я в этом ровно ничего не

понимаю!

— Это потому, что вы не интересуетесь историей, — возразила Амелия, — и плохо слушали то, что я вам рассказывала о гуситах и о протестантах. Сколько дней я надрывала голос, чтобы научно объяснить вам таинственное поведение и нелепые религиозные обряды моего кузена! Разве не говорила я вам, что великий раскол между гуситами и католической церковью произошел из-за двух видов причастия? Базельский собор постановил, что давать мирянам кровь Христа под видом вина — осквернение святыни (удивительное умозаключение!), так как вкушающий, мол, его тело уже одновременно пьет и его кровь! Понимаете?

— Мне кажется, что отцы собора сами себя хорошенько не понимали, — сказала Консуэло. — Чтобы быть логичными, они должны были бы сказать, что причащение вином излишне, но почему это «осквернение святыни», раз, вкушая хлеб, пьют и кровь?

— Дело в том, что гуситы жаждали крови, а отцы собора прекрасно сознавали это. Они также жаждали крови этого народа, но высасывать ее хотели в виде золота. Римская церковь всегда чувствовала голод и жажду и всегда насыщалась

жизненным соком народов, трудом и потом бедняков. Бедняки восстали и вернули себе свою кровь и пот в виде монастырских сокровищ и епископских митр. Вот вся суть распри, к которой, как я вам уже говорила, присоединилась жажда национальной независимости и ненависть к чужеземцам. Разногласие по поводу причастия послужило как бы знаменем для борьбы. Рим и его священнослужители в церквах употребляли золотые чаши с драгоценными каменьями; гуситы же, подражая бедности апостолов, пользовались деревянными чашами, протестуя против роскоши католической церкви. Вот почему Альберт, вбивший себе в голову стать гуситом, хотя теперь, в сущности, все это потеряло всякий смысл и всякое значение, и вообразивший, что знает истинное учение Яна Гуса лучше, чем знал его сам Ян Гус, и стал придумывать всякие виды причастия, сам причащаясь на больших дорогах со всякими язычниками, нищими и юродивыми. Ведь причащаться во всякое время и со всеми было манией гуситов. — Все это чрезвычайно странно, — ответила Консуэло, — и, по-моему, поведение графа Альберта можно объяснить только экзальтированным патриотизмом, доходящим, признаюсь, до исступления. Идея, быть может,

и глубока, но формы, в которые он ее облекает, кажутся мне слишком ребяческими для такого серьезного и образованного человека. Разве истинное причастие не состоит скорее в том, чтобы творить милостыню? Что значат пустые, отжившие обряды, наверное, даже непонятные для тех, кого он заставляет принимать в них участие?

— Что касается милостыни, Альберт раздает ее щедрою рукой, и, дай ему только волю, от его богатства очень скоро ничего не останется. И мне, по правде сказать, очень хотелось бы, чтоб оно растаяло в руках его нищих. — Почему же?

— Да потому, что мой отец отказался бы тогда от мысли обогатить меня, выдав замуж за этого бесноватого. Надо вам сказать, милая Порпорина, — прибавила Амелия не без злого умысла, — что моя семья не отказалась еще от этого милого плана. На днях, когда в мозгу моего кузена наступило некоторое просветление, похожее на мимолетный луч солнца среди черных туч, отец возобновил наступление на меня с большей настойчивостью, чем я могла от него ожидать. У нас произошла довольно крупная ссора, после которой, очевидно, решено попытаться взять меня скучным заточением, подобно тому как крепость берут измором. Итак, если я

ослабею, если изнемогу и не выдержу натиска, мне придется выйти замуж за Альберта, и выйти против его воли, против своей воли и вопреки желанию третьей особы, которая делает вид, будто все это ей безразлично.

— Вот-вот, — ответила Консуэло, смеясь, — я ожидала этой колкости, и, конечно, вы удостоили меня своей утренней беседой лишь для того, чтобы высказать ее. Я принимаю ее с удовольствием, так как вижу в этой маленькой комедии, подсказанной ревностью, остаток вашей привязанности к графу Альберту, и притом более пылкой, чем вы хотите признать.

— Нина! — решительно вскричала молодая баронесса. — Если вы так думаете, вы совсем непроницательны, а если вам доставляет удовольствие это видеть, значит, вы мало меня любите. Правда, я своевольна, быть может горда, но откровенна. Я уже говорила вам, что предпочтение, оказываемое вам Альбертом, восстанавливает меня, но вовсе не против вас, а против него. Оно уязвляет мое самолюбие, но вместе с тем подает мне надежду на исполнение моего желания. Мне бы хотелось, чтобы из-за вас он сделал какую-нибудь безумную выходку, которая развязала бы мне руки и дала возможность,

не щадя его более, выказать ему то отвращение, с которым я долго боролась, но которое в конце концов почувствовала к нему уже без всякой примеси жалости или любви.

— Дай бог, — кротко ответила Консуэло, — чтобы в вас говорила страсть, а не правда! Это была бы очень суровая правда, и притом в устах очень жестокого человека.

Язвительность и запальчивость, проявленные Амелией в этом разговоре, не произвели большого впечатления на великодушное сердце Консуэло. Уже несколько минут спустя все ее мысли снова сосредоточились на том, как вернуть Альберта его семье, и мечта эта внесла наивную радость в ее однообразную жизнь. Это было ей просто необходимо, чтобы уйти от грозившей ей тоски — недуга, совершенно незнакомого и несвойственного ее деятельной, трудолюбивой натуре, — недуга, который мог стать для нее гибельным. Ведь по окончании продолжительного неинтересного урока со своей непослушной и невнимательной ученицей ей ничего больше не оставалось, как упражнять свой голос и изучать старых мастеров. Но и это никогда не изменявшее ей утешение то и дело отравлялось: праздная, беспокойная Амелия постоянно врывалась к ней,

мешая ее занятиям своими пустыми вопросами и не идущими к делу замечаниями. Остальные члены семьи были угрюмы. Прошло уже пять мучительных дней, а молодой граф все не появлялся, и с каждым днем подавленность и уныние, вызванные его отсутствием, возрастали.

После обеда, гуляя с Амелией по саду, Консуэло вдруг увидела по ту сторону рва, отделявшего их от полей, Зденко. Казалось, он говорил сам с собой и, судя по интонации, рассказывал себе какую-то историю. Консуэло остановила спутницу и попросила ее перевести то, что говорило это странное существо.

— Как могу я переводить бессмысленные бредни, в которых нет ни малейшей последовательности? — пожимая плечами, ответила Амелия. — Ну хорошо, вот что он бормотал, раз уж вам так хочется это знать: «Была однажды большая гора, совсем белая, совсем белая, рядом с ней большая гора, совсем черная, совсем черная, и рядом еще большая гора, совсем красная, совсем красная…» Ну что, вас это очень интересует?

— Может быть, если б я могла знать продолжение. Ах! Что бы я дала, чтобы понимать по-чешски! Я хочу научиться этому языку.

— Это не такой легкий язык, как итальянский и

испанский, но вы до того старательны, что, если возьметесь, наверное его одолеете. Если это вам доставит удовольствие, я обучу вас ему.

— Вы будете просто ангелом! Но только при условии, что в роли учительницы вы проявите больше терпения, чем в роли ученицы. А что говорит Зденко теперь?

— Сейчас говорят его горы: «Отчего, гора красная, совсем красная, задавила ты гору черную, совсем черную? А ты, гора белая, совсем белая, зачем позволила раздавить гору черную, совсем черную?»

Тут Зденко запел пронзительным, разбитым голосом, но так верно и с таким чувством, что Консуэло была растрогана до глубины души.

Песнь его была такова:

«Горы черные и горы белые, много вам надо воды с красной горы, чтобы вымыть ваши платья;

Ваши платья, черные от преступлений и белые от праздности, ваши платья, загрязненные ложью, ваши платья, сверкающие гордыней.

Но вот они вымыты, хорошенько вымыты, оба ваши платья, не хотевшие переменить свой цвет. Вот они изношены, совсем изношены, ваши платья, не хотевшие влачиться по дороге!

Вот все горы красные, совсем красные. Нужны

все воды неба, все воды неба, чтобы их вымыть».

— Что это? Импровизация или старинная народная песня? — спросила Консуэло у своей подруги.

— А кто может это знать? — ответила Амелия. — Ведь Зденко — неистощимый импровизатор или весьма искусный народный певец. Наши крестьяне очень любят его пение, а его почитают за святого, воображая, что его безумие — не прирожденное несчастье, а дар небесный. Они его кормят, носятся с ним; пожелай он только, он получил бы самое лучшее жилище и был бы одет лучше всех. Все наперебой стремятся залучить его в свой дом: ведь считается, что он приносит счастье и предвещает удачу. Небо покрыто тучами, но стоит показаться Зденко, и все с облегченным вздохом повторяют: «Ничего! Града не будет!» Выдастся плохой урожай, — просят Зденко спеть; и так как в своих песнях он всегда сулит годы плодородия и изобилия, то все утешаются, ожидая лучшего будущего. Но жить Зденко ни у кого не хочет. Его натура бродяги влечет его в чащу лесов. Так и неизвестно, где проводит он ночи, где укрывается от холода и гроз. Ни разу за десять лет никто не видел, чтобы он вошел под чей-либо кров, кроме замка Великанов; он утверждает,

что во всех домах округи — его предки и что ему запрещено показываться им на глаза. Альберта же он провожает вплоть до его комнаты; он предан и покорен ему, как его пес Цинабр. Альберт — единственный человек, которому подчиняется эта дикая, независимая натура; он может одним словом прекратить неистощимую веселость, вечные песни, неумолчную болтовню Зденко. Говорят, когда-то у Зденко был прекрасный голос, но он надорвал его своей болтовней, пением и смехом. Годами он не старше Альберта, а ведь по виду ему лет пятьдесят. Они были товарищами детства; тогда Зденко был только наполовину сумасшедшим. Он из старинного рода; один из его предков даже играл видную роль в войне гуситов. Так как в юности у Зденко была хорошая память и вообще неплохие способности, родители, ввиду его слабого здоровья, решили сделать из него монаха. Долго видели его в одежде послушника какого-то нищенствующего ордена. Но подчинить его монастырским правилам так и не смогли: когда, бывало, его вместе с одним из монахов посылали в объезд для сбора пожертвований, а с ним осла, нагруженного дарами правоверных, он вдруг бросал и суму, и осла, и монаха и надолго пропадал в лесах. Когда Альберт отправился

путешествовать, Зденко впал в полное отчаяние, скинул рясу, убежал из монастыря и сделался настоящим бродягой. Меланхолия его мало-помалу рассеялась, но проблески рассудка, порой мерцавшие среди его странностей, окончательно исчезли. Речь его сделалась бессвязной, он стал проявлять непонятные причуды — словом, окончательно сошел с ума. Но так как он всегда трезв, пристоен и безобиден, то его можно считать скорее идиотом, чем сумасшедшим. Наши крестьяне зовут его не иначе как «юродивый».

— Все, что вы рассказали об этом несчастном человеке, внушает мне симпатию к нему, — проговорила Консуэло. — Мне хотелось бы с ним побеседовать. Говорит ли он хоть немного по-немецки?

— Он понимает этот язык и даже немного говорит на нем, но, как все богемские крестьяне, ненавидит его. К тому же, вы сами видите, он так погружен в свои мечтания, что вряд ли ответит, если вы его о чем-нибудь спросите.

— Попробуйте тогда заговорить с ним на его родном языке и привлечь его внимание, — сказала Консуэло.

Амелия окликнула Зденко несколько раз, спросила его по-чешски, как его здоровье и не нужно

ли ему чего, но ей так и не удалось ни заставить его поднять опущенную к земле голову, ни оторвать от игры в камешки. У него их было три: белый, черный и красный. Он поочередно бросал камни, стараясь одним сбить два других, и очень радовался, когда они падали.

— Вы видите, это бесполезно, — сказала Амелия. — Если он не голоден и не ищет Альберта, он никогда с нами не разговаривает. В том и в другом случае он появляется у ворот замка. Если он только голоден, то ожидает у ворот; ему приносят то, чего он хочет, и, поблагодарив, он уходит. Если же он желает видеть Альберта, то входит в замок, направляется к его комнате и стучится в дверь, которая для него всегда открыта. Он проводит там целые часы: тихо, молча, словно боязливый ребенок, если Альберт работает; весело и оживленно болтая, когда тот расположен его слушать. По-видимому, Зденко никогда не бывает в тягость моему любезному кузену, и в этом отношении он счастливее всех нас, членов его семьи.

— А когда граф Альберт исчезает, как, например, сейчас, Зденко, который так горячо его любит, Зденко, впавший в отчаяние, когда граф отправился путешествовать, Зденко, неразлучный его товарищ, — неужели он при этом не

проявляет беспокойства?

— Никакого. Он уверяет в таких случаях, что Альберт отправился в гости к господу богу и скоро оттуда вернется. Это же самое говорил он, примирившись наконец с путешествием Альберта по Европе.

— А вы не подозреваете, дорогая Амелия, что у Зденко, может быть, больше оснований, чем у всех вас, для этого спокойствия? Вам никогда не приходило в голову, что Зденко посвящен в тайну Альберта и что во время его припадков или летаргического сна он его охраняет?

— Да, у нас была эта мысль, и мы долго наблюдали за его действиями, но, так же как и его покровитель Альберт, он терпеть не может, когда за ним следят. Хитрее преследуемой собаками лисицы, он каждый раз умудрялся всех обмануть, всех сбить с толку, замести все следы. По-видимому, он, подобно Альберту, обладает способностью, когда захочет, делаться невидимым. Бывали случаи, когда на глазах у всех он исчезал, словно проваливался сквозь землю или словно его окутывало непроницаемое облако. Так по крайней мере утверждают наши слуги и сама тетушка Венцеслава, которая, несмотря на всю свою набожность, не очень-то далеко ушла

от них в вопросе о власти сатаны.

— Но вы, дорогая баронесса, не можете же вы верить в такой вздор?

— Я придерживаюсь взгляда дяди Христиана. Он полагает, что если Альберту в его таинственных невзгодах помогает и содействует только этот сумасшедший, то очень опасно устранять его, и мы, выслеживая и затрудняя действия Зденко, рискуем оставить Альберта на целые часы и дни без ухода и даже без пищи, которую он может через него получать. Но, ради бога, милая Нина, переменим разговор! Довольно заниматься этим идиотом! Он, поверьте, далеко не так меня интересует, как вас. Мне ужасно надоели все его рассказы и песни, а от его надтреснутого голоса у меня просто уши вянут.

— Я очень удивлена, — сказала Консуэло, подчиняясь уводившей ее подруге, — что вы не находите в его голосе необычайной прелести. А на меня, как он ни слаб, голос его производит больше впечатления, чем голоса самых великих певцов. — Это потому, что вы пресыщены прекрасным и вас прельщает новизна.

— Язык, на котором он поет, необыкновенно мягок, — настаивала Консуэло, — и вы заблуждаетесь, считая его мелодии монотонными;

напротив, в них есть много оригинального и приятного.

— Только не для меня! Мелодии эти ужасно мне надоели. Вначале я заинтересовалась содержанием его песен, принимая их, как и местные жители, за старинные народные песни, любопытные в историческом отношении, но так как он каждый раз передает их по-разному, то это, очевидно, не что иное, как импровизация; и вскоре я пришла к заключению, что слушать их не стоит, хотя наши горцы и воображают, что в них скрыт какой-то символический смысл.

Как только Консуэло удалось избавиться от Амелии, она побежала в сад и застала Зденко на том же месте, у рва, поглощенного все той же игрой. Убежденная, что этот несчастный тайно сносится с Альбертом, она успела украдкой сбегать в буфетную и утащить оттуда пирожок из крупичатой муки и меда — собственноручное произведение канониссы: она запомнила, что Альберт, который вообще ел очень мало, оказывал — вероятно, машинально — предпочтение этому кушанию, изготовляемому теткой для племянника с особым старанием. Завернув пирожок в белый платок и желая перебросить его Зденко через ров, она решилась окликнуть его. Но так

как, по-видимому, он не хотел ее слушать, она, вспомнив, с каким пылом он выкрикивал ее имя, произнесла его сначала по-немецки. Зденко, казалось, услыхал ее, но, будучи в эту минуту меланхолически настроен, покачал, не глядя на нее, головой и со вздохом повторил: «Утешение, утешение», как бы говоря:

«Утешения я больше не жду».

— Консуэло, — произнесла тогда молодая девушка, желая посмотреть, не пробудит ли в сумасшедшем ее испанское имя ту радость, какую он выказывал этим утром, повторяя его.

Зденко тотчас прекратил свою игру в камешки и, радостный и сияющий, принялся скакать и прыгать, подбрасывая в воздух шапку, протягивая ей через ров руки и при этом оживленно лопоча что-то по-чешски.

— Альберт! — крикнула снова Консуэло, бросая ему пирожок.

Зденко, смеясь, поднял его, не развернув платка, и опять начал говорить без конца, но Консуэло, к своему отчаянию, ничего не поняла. Особенно прислушивалась она, стараясь запомнить одну фразу, которую он ей все повторял, раскланиваясь. Благодаря своему музыкальному уху ей удалось точно уловить произношение этих слов.

Как только Зденко бросился бежать со всех ног, она сейчас же записала итальянскими буквами эту фразу в свою памятную книжечку, собираясь спросить разъяснения у Амелии. Но, пока Зденко не скрылся из виду, ей захотелось послать Альберту что-нибудь такое, что более тонко сказало бы ему о ее сочувствии, и она стала снова звать сумасшедшего; послушный ее зову, тот вернулся, и она, отколов от пояса свежий и душистый букет, за час перед тем сорванный в оранжерее, бросила его Зденко. Он, подняв букет, снова стал раскланиваться, выкрикивать что-то, скакать и наконец исчез в густых кустах, через которые, казалось, не смог бы пробраться и заяц. Консуэло несколько секунд следила по верхушкам ветвей, качавшихся в направлении к юго-востоку, за его быстрым бегом, но налетевший ветер, качнувший разом все ветки зарослей, помешал ее наблюдениям, и она вернулась домой, еще более утвердившись в своем решении достигнуть намеченной цели.

Глава 37

Когда Консуэло попросила Амелию перевести фразу, записанную в памятной книжке и запечатлевшуюся в ее мозгу, та сказала, что ровно ничего в ней не понимает, хотя дословно эта фраза и значит: Обиженный да поклонится тебе!»

— Быть может, — прибавила она, — он подразумевает Альберта или самого себя, считая, что их обидели, принимая за сумасшедших: ведь они-то считают себя единственными разумными людьми на свете. Но стоит ли доискиваться смысла в речах безумного? Знаете, этот Зденко занимает ваше воображение гораздо больше, чем он того заслуживает.

— Во всех странах существует народное поверье, — ответила Консуэло, что сумасшедшие бывают одарены высшей прозорливостью, недоступной холодному, положительному уму. Я вправе иметь предрассудки моего сословия и не могу поверить, чтобы он говорил эти непонятные для нас слова случайно.

— Попробуем спросить капеллана, — сказала Амелия. — Он большой знаток всяких местных

народных изречений, старинных и нынешних. Быть может, он объяснит нам и это.

И, тут же подбежав к священнику, она попросила его объяснить фразу Зденко.

Эти непонятные слова точно громом поразили капеллана.

— Боже милостивый! — воскликнул он, бледнея. — Где ваше сиятельство могли услышать такое богохульство?

— Если это и богохульство, то я не понимаю его, — смеясь, ответила Амелия, — вот почему я жду вашего перевода.

— Дословно, на правильном немецком языке, это именно то, что вы изволили сейчас сказать, баронесса: «Обиженный да поклонится тебе!» Но если вам угодно знать, что значит эта фраза в устах того идолопоклонника, который ее произнес, она значит… я едва решаюсь даже выговорить: «Да будет дьявол с тобой!»

— Или попросту: «Иди к дьяволу! — заливаясь пуще прежнего смехом, подхватила Амелия. — Нечего сказать, — продолжала она, — очень любезно! Вот на что можно нарваться, милая Нина, ведя разговоры с сумасшедшими! Вы не ожидали, что Зденко со своей приветливой улыбкой и веселыми гримасами способен поднести

вам столь мало учтивое пожелание?

— Зденко! — воскликнул капеллан. — Так это, значит, изречение этого жалкого идиота? Ну, слава богу, а я, признаться, дрожал, боясь, не другой ли кто… И совершенно напрасно… Это могло выйти только из головы Зденко, начиненной гнусностями старинной ереси. Откуда только черпает он все эти забытые теперь, никому не известные вещи? Лишь нечистая сила может внушать ему подобное.

— Да это просто очень скверное ругательство, которое в ходу у простого народа всех национальностей, — возразила Амелия, — и католики в данном случае не составляют исключения.

— Вы заблуждаетесь, баронесса, — сказал капеллан, — в устах сумасшедшего это вовсе не проклятие. Напротив: это дань почтения, благословение — вот что преступно! Эта мерзость идет от лоллардов, отвратительной секты, породившей, в свою очередь, секту вальденцев, от которой произошли гуситы…

— А от них произошло еще множество других сект, — добавила Амелия, напуская на себя серьезность, чтобы поиздеваться над добрым священником. — Но объясните же нам, господин капеллан, — продолжала она, — каким образом,

посылая ближнего к дьяволу, можно оказать ему любезность?

— Видите ли, по учению лоллардов сатана не был врагом рода человеческого, а напротив, был его покровителем и заступником. Они изображали его жертвой несправедливости и зависти. По их верованиям, архангел Михаил и другие небесные властители, низвергнувшие сатану в бездну, были истинными демонами, а Вельзевул, Люцифер, Астарот, Астарта и прочие исчадия ада — это сама невинность и свет. Лолларды верили, что могущество Михаила и его славного воинства скоро кончится и что сатана со своими проклятыми приспешниками будет восстановлен в своих правах и водворен обратно на небо. Словом, у них был настоящий нечестивый культ сатаны, и при встрече они приветствовали друг друга вот этой фразой: «Обиженный да поклонится тебе! „, то есть: «Тот, которого отвергли и несправедливо осудили, пусть покровительствует и помогает тебе“.

— Итак, — захлебываясь от смеха, проговорила Амелия, — теперь моя дорогая Нина находится под чудесным покровительством, и я не удивлюсь, если нам скоро придется прибегнуть к заклинаниям, чтобы уничтожить в ней действие

чар Зденко.

Шутка эта немного смутила Консуэло. Она была не так уж уверена, что дьявол — плод воображения, а ад — поэтическая басня. Возможно, негодование и страх капеллана произвели бы на нее большее впечатление, если бы тот, выведенный из себя громким хохотом Амелии, не был в эту минуту так смешон.

Консуэло была до того взволнована и взбудоражена суеверием одних и безверием других, что в этот вечер с трудом могла прочитать полагающиеся молитвы. В верования ее детских лет вкрались сомнения. До сих пор она относилась к религии без критики, теперь же ее встревоженный ум уже не довольствовался одними религиозными догматами, а стремился постичь их смысл.

«Насколько мне приходилось видеть в Венеции, — думала Консуэло, — там есть два вида набожности: одна — у монахов, монахинь и народа, заходящая, быть может, даже слишком далеко и приводящая к тому, что наряду с верой в таинства в них уживаются разные суеверия, ничего общего с этими таинствами не имеющие: верят они в какого-то Орко (беса лагун), в ведьм Маламокко — искательниц золота, в гороскопы, в обеты святым по поводу дел не только

не благочестивых, но иногда даже нечестных; другая — набожность высшего духовенства и аристократии, представляющая собой сплошное лицемерие, потому что люди эти посещают церковь, как театр, — чтобы послушать музыку, себя показать и на других посмотреть; они над всем смеются и не задумываются ни над какими религиозными вопросами, так как уверены, что в религии нет ничего серьезного, что она ни к чему не обязывает и что все сводится к внешней форме и обычаю. Андзолето совершенно не был религиозен. Это было одним из моих огорчений, и я вижу теперь, что права была, боясь его неверия. А мой учитель Порпора… во что он верит? Не знаю… Он никогда не открывал мне этого, но в самые горестные и самые торжественные минуты моей жизни он говорил мне о боге и о божественных вещах. Слова его производили на меня сильное впечатление, но оставляли лишь страх и неуверенность. Казалось, он веровал в бога ревнивого и самовластного, дарующего гениальность и вдохновение только тем людям, которые, в силу своей гордости, отстраняют от себя горести и радости себе подобных. Сердце мое не признает такой суровой религии, и я не могу любить бога, запрещающего мне любить.

Какой же бог есть истинный бог? Кто научит меня этому? Моя бедная мать была набожна, но сколько ребяческого идолопоклонства было в ее вере! Во что же верить и что думать? Скажу ли я вместе с беззаботной Амелией, что разум есть единственный бог? Но ей неизвестен даже и этот бог, чему же может она научить меня? Ведь трудно найти человека, менее разумного, чем она. Можно ли жить без религии? Тогда зачем же жить? Ради чего стану я работать? Для чего мне, одинокой во всей вселенной, иметь сострадание, доброту, совесть, великодушие, мужество, если во вселенной нет высшего существа, разумного, полного любви, которое взвешивает мои поступки, одобряет меня, помогает мне, охраняет и благословляет меня? Откуда же черпать в жизни силы и упоение тем людям, у которых нет надежды, нет любви, стоящей выше всех человеческих заблуждений и человеческого непостоянства?»

«О высшая сила! — воскликнула она из глубины сердца, забыв обычные формулы молитвы. — Научи меня, что я должна делать. О высшая любовь! Научи меня, что я должна любить! О высшее знание! Научи меня, чему я должна верить!»

Предавшись молитве и размышлению, Консуэло не заметила, как пролетело время, и было уже

далеко за полночь, когда, собираясь лечь в постель, она выглянула в окно на залитую лунным светом окрестность. Горизонт, открывавшийся из ее окон, был неширок из-за надвинувшихся гор, но местность была очень живописна. На дне узкой извилистой долины несся горный поток. Обрамлявшие долину холмы разной высоты, поросшие у подножья луговой травой и замыкавшие горизонт, в нескольких местах как бы расступались, образуя ущелья, сквозь которые виднелись другие ущелья и другие горы, более крутые, сплошь покрытые темными елями. Позади этих печальных, суровых гор светила луна на ущербе, но вся окрестность с вечнозелеными хвойными лесами, и воды потока, бегущего в крутых берегах, и скалы, поросшие мхом и плющом, — все было погружено во мрак.

Сравнивая эту местность со всеми теми, по которым она проходила во времена своего детства, Консуэло вдруг подумала (эта мысль не приходила ей в голову прежде), что природа, которая была сейчас перед ее глазами, не представляет для нее ничего нового — потому ли, что она когда-то бывала в этой части Богемии, или потому, что эти места были чрезвычайно похожи на что-то виденное ею раньше.

«Мы с матерью столько странствовали, что нет ничего удивительного, если я уже и бывала здесь, — думала она. — У меня сохранилось ясное воспоминание о Дрездене и о Вене. Вполне возможно, что, направляясь из одной столицы в другую, мы проходили и через Богемию. Что, если нас приютили тогда в одном из сараев именно этого замка, где теперь меня принимают, как важную синьору; что, если в ту пору нам за наше пение подавали кусок хлеба в тех самых хижинах, у дверей которых Зденко протягивает теперь руку, распевая свои старинные песни? В сущности, этот Зденко, хоть он и потерял человеческий облик, — бродячий артист, мой собрат и ровня». В эту минуту взгляд ее упал на Шрекенштейн, вершина которого поднималась над более близкими горами, и ей показалось, будто это зловещее место окружено красноватым светом, слегка окрашивавшим и прозрачную лазурь неба. Она стала пристально смотреть туда и увидела, что этот неясный отблеск, то потухая, то разгораясь, стал наконец таким отчетливым и ярким, что его уже никак нельзя было принять за обман чувств. Быть может, там нашли себе временное убежище бродячие цыгане или разбойники? Одно было несомненно: в эту минуту на Шрекен-

штейне были живые люди. Консуэло после своей наивной горячей молитвы богу истины совсем не склонна была верить в присутствие фантастических зловредных существ, которыми народная молва населяла скалу Ужаса. Не мог ли Зденко развести там костер, чтобы согреться от ночного холода? А если это действительно был Зденко, то не пылают ли в эту минуту сухие сучья леса для того, чтобы отогреть Альберта? Люди не раз видали этот свет на Шрекенштейне. О нем всегда говорили с ужасом, приписывая его появление чему-то сверхъестественному. Тысячу раз твердили, что этот свет исходит из заколдованного ствола дуба Жижки. Но Гусит уже не существует — он валяется на дне оврага, а красный свет по-прежнему мерцает на вершине горы. «Как может этот таинственный маяк, — спрашивала себя Консуэло, — не направить поиски к вероятному убежищу Альберта?»

«Ох, эта апатия набожных душ! — подумала Консуэло. — Что это — благодеяние провидения или немощность слабых натур?» Она тут же спросила себя: хватило ли бы у нее мужества пойти одной в этот час на Шрекенштейн? И решила, что, побуждаемая милосердием, конечно, сделала бы это. Впрочем, решаясь на такой подвиг,

она ничем не рисковала: крепкие запоры замка делали ее намерение неосуществимым.

Проснувшись утром, полная рвения, она побежала на Шрекенштейн. Там все было тихо и пустынно. Трава вокруг скалы Ужаса не была примята, не было также никаких следов костра, никаких признаков ночных гостей. Обойдя гору во всех направлениях, она нигде ничего не нашла. Она стала звать Зденко, затем попробовала засвистеть, думая вызвать этим лай Цинабра, несколько раз прокричала на всех языках, какие только знала, имя Консуэло, пропела несколько фраз из своего испанского гимна и даже исполнила богемскую песню Зденко, которую прекрасно запомнила. Ответа не было. Треск сухого мха под ее ногами да глухое журчание таинственных вод под скалами — таковы были единственные звуки, которые она услышала.

Устав от этих бесплодных розысков, она присела на скале, чтобы передохнуть немного, и уже собралась было уходить, как вдруг увидела у своих ног увядший и скомканный лепесток розы. Она подняла его, расправила и убедилась в том, что лепесток этот мог быть только из букета, брошенного ею Зденко, — в горах ведь розы не росли, да и время года было не то: розы пока

цвели только в оранжереях замка. Это незначительное указание утешило Консуэло: ее прогулка в конце концов была не так бесплодна, как ей показалось сначала, и она еще более прониклась мыслью, что Альберта следует искать именно на Шрекенштейне.

Но, спрашивается, в какой недоступной пещере этой горы мог он скрываться? Очевидно, он находился в ней не всегда или же был в эту минуту погружен в летаргический сон. Возможно, было и другое: что Консуэло ошиблась, приписывая своему голосу такую власть над ним, что восторг, проявленный им тогда, был не чем иным, как безумием, и от этого восторга теперь в его памяти не осталось никакого следа. Быть может, сейчас он видит ее, слышит и смеется над нею, относясь с презрением к ее напрасным, усилиям и попыткам.

При этой мысли Консуэло почувствовала, как горячий румянец залил ей щеки. Она быстро пошла прочь от Шрекенштейна, чуть ли не давая себе слово никогда больше сюда не возвращаться. Все же она оставила на скале маленькую корзиночку с фруктами, захваченную из дому.

Но на следующий день она нашла корзиночку на том же месте нетронутой.

Даже к листьям, прикрывавшим фрукты, никто не прикоснулся, хотя бы из любопытства. Значит, либо ее дар был отвергнут, либо ни Альберт, ни Зденко не были здесь; а между тем красный отблеск елового костра опять всю ночь светил на вершине горы.

До самого рассвета Консуэло не ложилась, наблюдая это таинственное явление. Она несколько раз замечала, как свет то слабел, то усиливался, будто заботливая рука поддерживала его. Цыган в окрестности никто не видел. Чужие люди в лесу тоже не показывались. Крестьяне же, которых Консуэло расспрашивала об удивительном свете, появлявшемся на скале, все в один голос отвечали ей на ломаном немецком языке, что не годится, мол, вникать в такие вещи и не следует вмешиваться в дела того света.

Между тем прошло уже целых девять дней со времени исчезновения Альберта. Никогда еще его отсутствие не было таким длительным, и это обстоятельство в соединении со зловещими предсказаниями, относящимися к его тридцатилетию, не могло, конечно, внушать особенно радостных надежд его семье. Теперь уже все начали волноваться: граф Христиан не переставал жалобно вздыхать, барон отправлялся на охоту, но и не ду-

мал убивать дичь, капеллан произносил какие-то особенные молитвы, даже Амелия не смела ни болтать, ни смеяться, а канонисса, бледная, ослабевшая, рассеянно занималась хозяйственными делами, позабыв о вышивании, она с утра до вечера перебирала четки и беспрестанно зажигала крошечные свечки перед образом богоматери. За это время она, казалось, еще больше сгорбилась.

Консуэло отважилась было предложить произвести тщательные розыски на Шрекенштейне. Она призналась в поисках, которые предприняла сама, а канониссе даже конфиденциально поведала о случае с лепестком розы и о своих ночных наблюдениях над светящейся вершиной горы. Но те меры, которые задумала принять канонисса, заставили Консуэло пожалеть о своей откровенности. План Венцеславы был таков: выследить Зденко, припугнуть его, вооружить пятьдесят человек факелами и ружьями и попросить капеллана произнести на проклятой скале самые страшные заклинания, а барон в сопровождении Ганса и самых храбрых своих приспешников должен был в это самое время, среди ночи, произвести форменную осаду Шрекенштейна. Такой способ действий был бы вернейшим средством довести Альберта до полного безумия, а может

быть, и до буйного помешательства. Консуэло удалось увещаниями и просьбами уговорить Венцеславу отказаться от этого плана и ничего не предпринимать, не посоветовавшись предварительно с ней. Она же предложила канониссе отправиться ночью вдвоем с ней (в сопровождении капеллана и Ганса, которые будут следовать за ними на некотором расстоянии) на вершину Шрекенштейна, чтобы посмотреть на этот таинственный свет вблизи. Но подобный подвиг оказался не по силам канониссе — она была убеждена, что на скале Ужаса справляется бесовский шабаш, — и Консуэло добилась только того, что ей откроют в полночь ворота замка и барон с несколькими слугами-добровольцами тихонько, безоружный, отправится следом за нею. Эту попытку разыскать Альберта решили скрыть от графа Христиана: преклонный возраст и ослабевшее здоровье не позволяли ему предпринять такую экскурсию в холодную ночную пору, а узнав о ней, он непременно захотел бы принять участие.

Все было сделано, как хотела Консуэло: барон, капеллан и Ганс следовали за нею на расстоянии ста шагов. Она шла одна и с храбростью, достойной Брадаманты, взошла на Шрекенштейн. Но по

мере того как она приближалась, свет, пробивавшийся, как ей казалось, из расселин верхней горы, постепенно угасал, и когда девушка добралась до горы, вся она, сверху донизу, была погружена в глубокий мрак. Тишина и ужас одиночества царили кругом. Консуэло позвала Зденко, Цинабра и, содрогаясь, даже самого Альберта. Все молчало, лишь эхо повторяло ее неуверенно звучавший голос. Удрученная, возвратилась она к своим спутникам. Они стали превозносить до небес ее храбрость и даже отважились в свою очередь осмотреть только что покинутые ею места, но безуспешно. Молча вернулись они в замок. Канонисса, ожидавшая на пороге, выслушала их рассказ, и последняя надежда покинула ее.

Глава 38

После того как добрая Венцеслава, глубоко опечаленная результатом розысков, горячо поблагодарила Консуэло и поцеловала ее в лоб, девушка тихонько направилась в свою комнату, боясь разбудить Амелию, от которой скрыли эту ночную разведку. Консуэло жила во втором этаже, а комната канониссы находилась в первом. Поднимаясь по лестнице, Консуэло уронила свечку, которая погасла, прежде чем она успела ее поднять, и девушка решила, что доберется к себе без нее, тем более что уже начинало светать. Но потому ли, что она была необычайно озабочена, или потому, что напряжение, чрезмерное для женщины, подорвало ее мужество, — она так растерялась, что, поднявшись до своего этажа, не остановилась, а продолжала подниматься и вошла в коридор третьего этажа, где, почти над ее комнатой, помещалась комната Альберта. Однако у входа она остановилась и вся похолодела от ужаса, увидев перед собой тощую черную тень, которая беззвучно, будто не касаясь ногами пола, проскользнула в ту комнату, куда направ-

лялась она сама, принимая ее за свою. Как ни была перепугана Консуэло, у нее все-таки хватило присутствия духа взглянуть на удаляющуюся фигуру, и она тотчас же в предрассветной мгле признала облик и странное одеяние Зденко. Но зачем в такое время пробирался он к ней в комнату и с каким поручением шел? Она не решилась в эту минуту заговорить с ним с глазу на глаз и направилась вниз, за канониссой. Очутившись во втором этаже, она узнала свой коридор и дверь своей комнаты и здесь только сообразила, что Зденко шел в комнату Альберта.

Теперь, когда она успокоилась и могла здраво рассуждать, тысяча предположений зашевелилась в ее мозгу. Каким образом мог этот идиот проникнуть ночью в замок, когда все кругом на запоре и канонисса каждый вечер сама со слугами осматривает весь дом? Появление Зденко подтверждало ее прежнюю уверенность в том, что в замке есть какой-то тайный выход и даже, может быть, существует никому неизвестный подземный ход, соединяющий замок с Шрекенштейном. Добежав до комнаты канониссы, Консуэло постучала в дверь. Старушка уже заперлась в своей келье; открыв девушке и увидев ее побледневшую, без свечи, она перепугалась и

вскрикнула.

— Успокойтесь, дорогая синьора, — проговорила Консуэло. — Снова приключилось нечто странное, хотя и вовсе не страшное: я только что видела, как Зденко вошел в комнату графа Альберта.

— Зденко? Вы бредите, дитя мое! Откуда он мог войти? Я заперла все двери так же тщательно, как всегда, и сама сторожила все время, пока вы были на Шрекенштейне. Мост был поднят, а когда вы прошли в замок, его снова подняли при мне.

— Как бы там ни было, синьора, а Зденко в комнате графа Альберта. Вы сами можете в этом убедиться, если желаете.

— Сейчас же иду и выгоню его, как он того заслуживает, — ответила канонисса. — Должно быть, этот негодяй пробрался сюда днем. Но что ему нужно? Верно, он ищет Альберта или ожидает его? Вот вам доказательство, дорогая, что он не больше нашего знает, где находится Альберт.

— Но все-таки пойдемте и расспросим его, — настаивала Консуэло.

— Минутку, одну минутку, — сказала канонисса: собираясь лечь в постель, она сняла две юбки и теперь считала, что слишком легко одета, оставшись только в трех. — Не могу же я, моя

милая, в таком виде предстать перед мужчиной. Сходите пока за капелланом или за моим братом бароном — все равно, кого первого встретите. Не можем же мы одни находиться с сумасшедшим!.. Ах, боже мой! Что я! Ведь я и не подумала, что такой молоденькой девушке неприлично стучаться к мужчинам… Сейчас! Сейчас! Я буду готова в одну секунду.

Говоря это, старушка начала одеваться; но чем больше она спешила, тем менее спорилось у нее дело: выбитая из обычной колеи, чего давно с нею не случалось, она совсем потеряла голову. Консуэло, беспокоясь, что из-за такой задержки Зденко успеет ускользнуть из комнаты Альберта и так спрятаться где-нибудь в замке, что его потом и не найти, вооружилась всей своей энергией.

— Дорогая синьора, — сказала она, зажигая свечу, — вы потрудитесь позвать этих господ, а я позабочусь, чтобы Зденко от нас не ускользнул. Быстро поднявшись наверх, она смелой рукой открыла дверь в комнату Альберта, — но там было пусто. Она прошла в соседнюю комнату, подняла там все занавески, не побоялась даже заглянуть под кровать и прочую мебель. Зденко исчез, не оставив никаких следов своего пребывания.

— Никого! — воскликнула Консуэло, когда

канонисса кое-как взобралась наверх в сопровождении Ганса и капеллана: барон уже лег спать, и не было никакой возможности его добудиться.

— Я боюсь, — сказал капеллан, несколько недовольный тем, что его снова побеспокоили, — боюсь, что синьора Порпорина является жертвой самообмана…

— Нет, господин капеллан, — с живостью возразила Консуэло, — у меня самообмана меньше, чем у любого из здешних обитателей.

— Зато ни у кого нет такой выдержки и самопожертвования, как у вас, это несомненно, — сказал старик. — Но, синьора, вы с вашими пылкими надеждами видите указания там, где, к несчастью, их вовсе нет.

— Отец мой, — сказала канонисса, обращаясь к капеллану, — Порпорина смела, как лев, и умна, как ученый. Если она видела Зденко, значит он был здесь. Надо искать его по всему дому, и так как, славу богу, все на запоре, то ему от нас не убежать.

Разбудили слуг и стали искать всюду. Не оставалось ни единого шкафа, который бы не открыли, ни единого стула, который бы не сдвинули с места. Перерыты были запасы соломы на огромных чердаках. Наивный Ганс дошел до того, что

заглянул даже в огромные охотничьи сапоги барона, — но и там ничего не оказалось! Начали уже думать, что все это приснилось Консуэло, но сама она была более чем когда-либо убеждена в том, что существует потайной выход из замка, и решила употребить всю свою настойчивость, всю свою волю, чтобы найти его. Поспав лишь несколько часов, она снова принялась за поиски. Часть здания, в которой помещалась ее комната и где были также и апартаменты Альберта, примыкала или, лучше сказать, была прислонена к холму. Альберт сам выбрал и устроил себе жилище в этой части замка, откуда он мог наслаждаться живописным видом на юг, а на восточной стороне разбил на искусственной земляной террасе прекрасный цветник, куда выходила дверь из его рабочего кабинета. Он очень любил цветы и на вершине когда-то бесплодного холма, покрытого теперь плодородной землей, разводил редкие растения. Терраса была окружена стеною высотой по грудь из больших тесаных камней, на фундаменте из отвесных скал; и с этого цветущего бельведера, как бы висевшего над пропастью, открывался вид на крутой склон обрыва и на часть обширного горизонта, замыкаемого зубчатыми горами Богемского Леса. Консуэло,

попавшая сюда впервые, пришла в восторг от живописного вида и красоты самой террасы; потом она попросила капеллана объяснить ей, каково было назначение этой террасы прежде, до того как замок из крепости превратился в резиденцию графов Рудольштадтов. — В старину, — начал он рассказывать, — это был бастион, род укрепленной террасы, откуда гарнизон мог наблюдать за передвижением неприятельских войск в долине и по склонам окрестных гор. Ведь в горах нет ни одного прохода, который не был бы виден отсюда. В былое время эту площадку окружала высокая стена с проделанными в ней со всех сторон бойницами, предохранявшая защитников крепости от стрел или пуль неприятеля.

— А это что? — спросила Консуэло, подходя к колодцу, устроенному посреди цветника, на дно которого вела крутая винтовая лесенка.

— Это колодец, который в старину всегда в изобилии снабжал осажденных чудесной горной водой и был неоценимым благом для крепости.

— Значит, это вода, годная для питья? — сказала Консуэло, глядя на зеленоватую пенистую воду колодца. — А мне она кажется мутной.

— Теперь она уже не годна для питья, или, лучше сказать, не всегда бывает годна. Граф Альберт

пользуется ею для поливки цветов. Надо сказать, что вот уже два года, как с этим водоемом происходят удивительные вещи. Питающий его источник, который пробивается неподалеку отсюда из горных недр, стал почему-то нерегулярно подавать воду. В течение целых недель уровень воды стоит так низко, что Альберт заставляет Зденко для поливки своих любимых цветов носить воду из другого колодца, что на большом дворе. И вдруг совершенно неожиданно, в одну ночь, а иногда и в один час, этот водоем наполняется тепловатой мутной — вот такой, как сейчас, водой. Случается, что вода эта так же скоро исчезает, как и появляется, а бывает, что она держится долго, причем мало-помалу очищается и делается холодной и прозрачной, словно горный хрусталь. Очевидно, сегодня ночью произошло как раз такое явление, ибо еще вчера я сам видел, что колодец был полон прозрачной воды, а сейчас она мутна, точно водоем опорожнили и снова наполнили.

— Значит, в этих явлениях не наблюдается регулярности? — спросила Консуэло.

— Никакой. И я охотно занялся бы их исследованием, если бы граф Альберт, который, по своей дикости, запрещает входить и в свои комнаты

и в цветник, не лишил меня этого развлечения. Я думал и продолжаю думать, что дно водоема заросло мхом и водорослями и что они-то и забивают отверстия, через которые поступают подземные воды, пока, вследствие сильного напора, вода наконец не пробьется.

— Но чем же объяснить внезапное исчезновение воды, которое вы иногда наблюдали?

— Тем, что граф потребляет слишком много воды для поливки своих цветов. — Но, мне кажется, понадобилось бы немало рабочих рук, чтобы опорожнить этот водоем. Разве он неглубок?

— Неглубок? До его дна невозможно добраться!

— В таком случае ваше объяснение меня не удовлетворяет, — сказала Консуэло, пораженная тупостью капеллана.

— Ищите лучшего, — ответил тот, обиженный и немного сконфуженный собственной недогадливостью.

«Конечно, я найду лучшее», — подумала Консуэло, живо заинтересованная причудами водоема.

— О, если вы спросите графа Альберта, что все это значит, — снова заговорил капеллан, желая маленьким вольнодумством восстановить свой престиж в глазах проницательной иностранки, — он вам, наверное, скажет, что это слезы его

матери, то иссякающие, то снова вытекающие из недр гор. А знаменитый Зденко, чьим бредням вы так верите, будет вам клясться, что там живет сирена, услаждающая своим пением тех, у кого есть уши, чтобы ее слушать. Они вдвоем с графом окрестили этот водоем «источником слез». Это, возможно, весьма поэтично, но может удовлетворить лишь тех, кто любит языческие побасенки.

«Конечно, я не удовлетворюсь этим, — подумала Консуэло. — И я узнаю, отчего эти слезы иссякают».

— Что касается меня, — продолжал капеллан, — то я убежден, что на дне колодца, в другом углу, имеется сток…

— Безусловно! Не будь этого, — перебила Консуэло, — колодец, раз он питается источником, всегда был бы полон до краев. — Конечно, конечно, — согласился капеллан, не желая обнаруживать, что такое соображение не приходило ему прежде в голову. — Это само собой разумеется! Но, очевидно, в движении подземных вод произошли какие-то значительные изменения, — поэтому-то уровень воды и колеблется, чего не было раньше.

— А что, этот водоем — дело человеческих рук или же это естественные подземные каналы? —

допытывалась настойчивая Консуэло. — Вот что интересно было бы знать!

— Это-то и мудрено выяснить, — ответил капеллан, — раз граф Альберт не позволяет даже подойти к своему драгоценному водоему и строго-настрого запретил его чистить.

— Так я и думала, — проговорила Консуэло, уходя. — И, мне кажется, необходимо твердо блюсти его желание: бог знает, какое несчастье могло бы с ним случиться, если бы потревожили его сирену!

«Теперь я совершенно уверен, — решил капеллан, расставшись с Консуэло, — что рассудок этой молодой особы не в лучшем состоянии, чем у господина графа. Неужели сумасшествие заразительно? Или, быть может, маэстро Порпора и прислал нам ее сюда, дабы деревенский воздух несколько освежил ей мозги? Видя, с каким упорством она добивается разъяснения тайны этого водоема, я побился бы об заклад, что она дочь какого-нибудь венецианского инженера, строителя каналов, и что ей просто хочется хвастнуть своими знаниями в этой области; но ее последняя фраза, эта галлюцинация сегодня утром, когда она видела Зденко, и прогулка, которую она заставила нас сделать этой ночью на

Шрекенштейн, — все это говорит за то, что ее расспросы о водоеме — фантазия в том же роде. Уж не воображает ли она найти Альберта на дне этого колодца? Несчастные молодые люди! Если бы вы могли найти там себе разум и истину!»

Засим добряк капеллан, в ожидании обеда, принялся за свои молитвы. «Видно, безделье и апатия странным образом ослабляют ум, — в свою очередь думала Консуэло. — Чем иным объяснить, что этому святому человеку, так много читавшему и учившемуся, даже не приходит в голову, почему меня так интересует этот водоем. Прости меня, боже, но этот твой служитель очень мало пользуется своей способностью рассуждать. И они еще говорят, что Зденко дурачок!»

Затем Консуэло отправилась давать урок пения молодой баронессе, рассчитывая после этого снова приняться за свои розыски.

Глава 39

— Приходилось ли вам когда-нибудь наблюдать, как вода убывает и как она прибывает? — тихонько спросила Консуэло вечером капеллана, когда тот всецело был поглощен своим пищеварением.

— Что такое? Что случилось? — воскликнул он, вскакивая со стула и в ужасе тараща глаза.

— Я говорю о водоеме, — невозмутимо продолжала она. — Приходилось ли вам самому наблюдать, как происходит это странное явление?

— Ах, да! Вы о водоеме? Понимаю! — ответил он с улыбкой сострадания.

«Вот, — подумал он, — опять начинается припадок безумия».

— Да ответьте же мне, добрейший капеллан, — сказала Консуэло, преследуя свою мысль с тем жаром, который она вносила во все свои умственные занятия, но без всякого злого умысла по отношению к этому достойному человеку.

— Признаюсь, синьора, — ответил он холодно, — лично я никогда не видел того, чем вы

интересуетесь, и, поверьте, меня это не настолько беспокоит, чтобы ради этого я не спал по ночам.

— О! я в этом уверена, — нетерпеливо отозвалась Консуэло.

Капеллан пожал плечами и с трудом поднялся со стула, чтобы избегнуть этого настойчивого дознания.

«Ну что ж, если здесь никто не желает пожертвовать часом сна для такого важного открытия, я, если понадобится, посвящу этому целую ночь», — подумала Консуэло, и, подождав, пока все в замке разойдутся по своим комнатам, она накинула плащ и пошла пройтись по саду.

Ночь была холодная, ясная, туман постепенно рассеивался, и полная луна всходила на небосклоне; в ожидании ее восхода звезды побледнели, а сухой воздух отражал каждый звук. Консуэло, возбужденная, но вовсе не разбитая усталостью, бессонницей, своей великодушной и, быть может, несколько болезненной тревогой, была в каком-то лихорадочном состоянии, которого даже вечерняя прохлада не могла успокоить. Ей казалось, что она близка к преследуемой цели. Романтическое предчувствие, которое она принимала за приказание и поощрение свыше, поддерживало ее энергию и воодушевляло ее. Она

уселась на бугре, поросшем травою и обсаженном лиственницами, и стала прислушиваться к тихому жалобному журчанию горного ручья на дне долины. Ей почудилось, что временами к журчанию воды примешивается еще более нежный, более жалобный голос. Она прилегла на траву, чтобы, находясь ближе к земле, лучше уловить эти легкие, уносимые ветром звуки. Наконец она различила голос Зденко. Он пел по-немецки, и она разобрала следующие слова, кое-как приспособленные к чешской мелодии, наивной и меланхолической, как и та, что она слышала от него раньше:

«Там, там душа в унынии и в тревоге ждет своего освобождения. Освобождения и обещанного утешения.

Но, кажется, освобождение — в оковах, а утешение неумолимо.

Там, там душа в унынии и в тревоге томится ожиданием».

Когда голос умолк, Консуэло поднялась и оглянулась, ища глазами Зденко; она обежала весь парк и сад, зовя его, и возвратилась, так и не увидев юродивого.

Но через час, после длинной общей молитвы за графа Альберта, на которую были созваны

даже слуги замка, когда все легли спать, Консуэло отправилась к «Источнику слез» и, усевшись на его каменной закраине, среди диких, густых папоротников и посаженных Альбертом ирисов, стала пристально смотреть на неподвижную воду, в которой, словно в зеркале, отражалась луна, стоявшая в зените.

Так прошел час. Отважная девушка уже почувствовала, что глаза ее начинают смыкаться от усталости, когда легкий шум на поверхности воды разбудил ее. Она открыла глаза и увидела, что отражение луны в водоеме колышется, разбивается и расплывается светлыми кругами. В то же время до нее донеслось какое-то клокотание и глухой шум, сперва едва слышный, но затем все усиливавшийся. Вода стала убывать, кружась, как в воронке, и менее чем в четверть часа совсем исчезла в глубине.

Консуэло отважилась спуститься вниз на несколько ступенек. Лестница, высеченная из гранитных глыб и вьющаяся спиралью в скале, была сооружена, по-видимому, для того, чтобы можно было спускаться к воде, когда она находится на разных уровнях. Скользкие, покрытые илом ступеньки, без всяких перил, терялись в страшной глубине. Мрак, остаток воды, плес-

кавшейся еще на дне неизмеримой пропасти, невозможность удержаться слабыми ногами на вязкой тине — все это заставило Консуэло отказаться от своей безумной попытки. Пятясь, она с большим трудом поднялась наверх и, дрожащая, подавленная, присела на верхней ступеньке.

Между тем вода, казалось, продолжала убегать в недра земли: шум становился все глуше, пока совсем не затих. Консуэло хотела было сходить за фонарем, чтобы осмотреть сверху, насколько это возможно, внутренность колодца, но, опасаясь упустить приход того, кого ждала, осталась и терпеливо просидела, не двигаясь, еще почти целый час. Наконец ей показалось, что на дне колодца виден слабый свет, и, с тревогой нагнувшись, она увидела, что этот колеблющийся свет мало-помалу движется кверху. Вскоре она уже не сомневалась: Зденко поднимался по спиральной лестнице, придерживаясь за железную цепь, вделанную в скалу. По шуму, который он производил, хватаясь за эту цепь и бросая ее, Консуэло догадалась о том, что в колодце были своеобразные перила, которые кончались на известной высоте и существования которых она никак не могла бы предположить. Зденко нес с собой фонарь. Он повесил его на крюк, очевидно для

этой цели вбитый в скалу футах в двадцати ниже уровня земли, а затем легко и быстро поднялся по лестнице уже без помощи цепи или какой-либо видимой опоры. Однако Консуэло, следившая за ним с большим вниманием, заметила, что он придерживается за некоторые выступы скалы, за наиболее крепкие растения в стене и даже, может быть, за какие-нибудь согнутые, торчавшие в стене гвозди, нащупывая их привычной рукой. В тот момент, когда он поднялся настолько высоко, что мог бы заметить Консуэло, она спряталась за каменную полукруглую закраину, обрамлявшую водоем. Зденко вышел и принялся рвать на клумбах цветы, составляя, видимо с разбором и не торопясь, большой букет. Затем он направился в кабинет Альберта, и Консуэло видела через стеклянную дверь, как он долго рылся там в книгах, пока наконец не нашел той, которая, видимо, и была нужна, так как он вернулся к водоему довольный, смеясь и что-то бормоча еле слышно: как видно, его всегдашняя потребность говорить самому с собой боролась в нем со страхом разбудить обитателей замка.

Консуэло еще не решила, стоит ли к нему подойти и попросить проводить ее к Альберту. Надо правду сказать: пораженная всем виденным,

взволнованная затеянным ею делом, довольная тем, что ее предчувствия оправдались, но вместе с тем и ужасаясь при мысли, что надо будет спуститься в недра земли и в глубь вод, она в эту минуту не нашла в себе мужества пойти напрямик к развязке и предоставила Зденко спуститься так же, как он и поднялся, снять свой фонарь и исчезнуть. По мере того как он уходил все глубже под землю, голос его становился все громче, и теперь Консуэло уже ясно слышала загадочные слова:

«Освобождение — в оковах, утешение — неумолимо».

С замирающим сердцем Консуэло, нагнувшись над колодцем, раз десять собиралась окликнуть его. Наконец, сделав над собой героическое усилие, она уже совсем было решилась это сделать, но тут ей пришло в голову, что Зденко может от неожиданности поскользнуться на этой опасной лестнице, сорваться и разбиться насмерть. Она воздержалась на этот раз, но дала себе слово, что завтра, в более подходящую минуту, будет храбрее. Консуэло подождала еще, чтобы посмотреть, каким образом будет подниматься вода. Поднялась она гораздо быстрее, чем опускалась: не прошло и четверти часа с того мгновения,

когда Зденко скрылся со своим фонарем и голос его затих, как послышался глухой грохот, похожий на отдаленные раскаты грома, и вода хлынула с необычайной силой, кружась, бурля и колотясь о стены своей тюрьмы. Это внезапное вторжение воды было так страшно, что Консуэло затрепетала: ведь бедный Зденко, играя с такими опасностями, распоряжаясь таким образом силами природы, может быть унесенным

бурным течением и выброшенным на поверхность водоема, как эти плавающие, покрытые илом растения!

А между тем это происходило, должно быть, очень просто. Быть может, стоило только поднять и опустить шлюз или, приходя, положить камень, а уходя, снять его. Но этот человек, такой рассеянный, всегда погруженный в свои странные мечтания, разве не мог он ошибиться и сдвинуть этот камень чуточку раньше, чем следовало? Приходит ли он по тому самому подземному ходу, по которому устремляется и вода из источника? «Так или иначе, но я должна пробраться туда с ним или без него, — сказала себе Консуэло, — и это будет не позже завтрашней ночи, так как там есть душа в тревоге и в унынии, которая ждет меня и томится ожиданием. Ведь не случайно

же Зденко пел это, и не без цели он, ненавидя немецкий язык и с трудом изъясняясь на нем, нынче вдруг заговорил по-немецки».

Наконец она пошла спать, но страшные кошмары терзали ее всю ночь. Лихорадочное состояние ее усиливалось, но, еще полная сил и решимости, она не отдавала себе отчета в этом, а только поминутно просыпалась в испуге, воображая, что она все еще на ступеньках той ужасной лестницы и не в силах на нее подняться, а вода под ней все прибывает и прибывает с глухим ревом и молниеносной быстротой.

За ночь она так изменилась в лице, что утром все это заметили. Капеллан не мог удержаться, чтобы не шепнуть канониссе, что эта «приятная и любезная особа», по-видимому, не в своем уме. И добрая Венцеслава, не привыкшая видеть среди окружающих столько мужества и самоотверженности, сама начала думать, что Порпорина по меньшей мере девушка весьма экзальтированная, нервная и легко поддающаяся возбуждению, — канонисса слишком надеялась на свои крепкие, обитые железом двери и верные ключи, постоянно бряцавшие у ее пояса, чтобы продолжать верить в появление и исчезновение Зденко в позапрошлую ночь. Поэтому она

обратилась к Консуэло с ласковыми и полными сострадания словами, умоляя ее не принимать так близко к сердцу их семейное горе, подумать о своем здоровье, в то же время стараясь поддержать в девушке надежду на возвращение Альберта, — надежду, которая, надо сказать, начала уже умирать в глубине ее души.

Но она была поражена и вместе с тем обрадована, когда Консуэло с блестящими от восторга глазами и радостной улыбкой, в которой сквозила некоторая гордость, ответила ей:

— Вы правы, что верите в его возвращение и ждете его, дорогая синьора. Граф Альберт не только жив, но, надеюсь, и неплохо себя чувствует, так как в своем убежище интересуется любимыми книгами и цветами. В этом я убеждена и могу вам представить доказательства.

— Что вы хотите сказать этим, дорогое дитя мое? — воскликнула канонисса, поддаваясь ее уверенному тону. — Что вы узнали? Что вы открыли? Ради самого бога, говорите, верните к жизни несчастную семью!

— Скажите графу Христиану, что его сын жив и недалеко отсюда. Это так же верно, как то, что я люблю вас и уважаю.

Канонисса вскочила, чтобы бежать к брату,

который еще не спускался в гостиную, но взгляд и вздох капеллана удержали ее на месте.

— Не будем так опрометчиво радовать моего бедного Христиана, — проговорила она, также вздыхая. — Знаете, дорогая, если бы ваши чудесные обещания не сбылись, мы нанесли бы несчастному отцу смертельный удар!

— Вы сомневаетесь в моих словах? — спросила с удивлением Консуэло.

— Упаси меня бог, благородная Нина! Но вы можете заблуждаться! Увы, с нами самими это не раз случалось! Вы говорите, дорогая, о доказательствах. Не могли ли бы вы привести их нам?

— Не могу… или, скорее, мне кажется, что я не должна это делать, с некоторым смущением проговорила Консуэло. — Я открыла тайну, которой граф Альберт, несомненно, придает большое значение, но не считаю себя вправе выдать ее без его согласия.

— Без его согласия! — воскликнула каноница, нерешительно глядя на капеллана. — Уж и вправду не видела ли она его?

Капеллан еле заметно пожал плечами, совершенно не понимая, как он терзает бедную канониссу своим недоверием.

— Я его не видела, — продолжала Консуэло, —

но скоро увижу, и вы тоже, надеюсь, увидите. Вот почему я и боюсь задержать его возвращение своей нескромностью, противное его воле.

— Да царит божественная истина в твоем сердце, великодушное создание, и пусть говорит она твоими устами! — проговорила растроганная канонисса, глядя на Консуэло нежно, но все же с некоторым беспокойством. — Храни свою тайну, если она у тебя есть, и верни нам Альберта, если ты в силах это сделать! Одно могу сказать: если это осуществится, я буду целовать твои колена, как сейчас целую твой бедный лоб… влажный и горячий, — прибавила она, прикасаясь губами к прекрасному воспаленному лбу молодой девушки и взволнованно глядя на капеллана.

— Если она и безумна, — сказала Венцеслава капеллану, как только они остались наедине, — все-таки это ангел доброты, и мне кажется, она принимает наши страдания ближе к сердцу, чем мы сами. Ах, отец мой!

Над этим домом тяготеет проклятие: здесь каждого, у кого в груди бьется редкое, удивительное сердце, поражает безумие, и наша жизнь проходит в том, что мы жалеем тех, кем должны восхищаться.

— Я вовсе не отрицаю добрых побуждений

юной иностранки, — возразил капеллан, — но рассказ ее — бред, не сомневайтесь в этом, сударыня. Она, по-видимому, сегодня ночью видела во сне графа Альберта и вот неосторожно выдает нам свои сны за действительность. Остерегайтесь смутить благочестивую, покорившуюся душу вашего почтенного брата такими пустыми, легкомысленными уверениями. Быть может, не следовало бы также слишком поощрять и безрассудную храбрость синьоры Порпорины… Это может привести ее к опасностям иного рода, чем те, которым она так смело шла навстречу до сих пор…

— Я вас не понимаю! — с серьезным и наивным видом ответила канонисса Венцеслава.

— Очень затрудняюсь объяснить вам это… — проговорил достойный пастырь. — А все-таки мне кажется, что если бы тайное общение, понятно, самое чистое, самое бескорыстное, возникло между этой молодой артисткой и благородным графом…

— Ну и что же? — спросила канонисса с удивлением.

— Что же? А не думаете ли вы, сударыня, что внимание и заботливость, сами по себе весьма невинные, могут в короткое время благодаря об-

стоятельствам и романтическим идеям вылиться в нечто опасное для спокойствия и достоинства молодой музыкантши?

— Мне это никогда не пришло бы в голову! — воскликнула канонисса, пораженная этими соображениями. — Неужели, отец мой, вы допускаете, что Порпорина может забыть свое скромное, зависимое положение и войти в какие-либо отношения с человеком, который стоит настолько выше ее, как мой племянник Альберт фон Рудольштадт!

— Граф Альберт фон Рудольштадт может сам невольно наталкивать ее на это, проповедуя, что преимущества рождения и класса — одни лишь пустые предрассудки.

— Знаете, вы заронили в мою душу серьезное беспокойство, — сказала Венцеслава, в которой пробудилась фамильная гордость и тщеславие, порожденное происхождением, — единственная ее слабость. — Неужели зло уже зародилось в этом юном сердце? Неужели в ее возбуждении, в стремлении разыскать Альберта говорит не прирожденное великодушие, не привязанность к нам, а менее чистые побуждения?

— Хочу надеяться, что пока этого еще нет, — ответил капеллан, у которого была единственная

страсть — разыгрывать при помощи своих советов и суждений особую роль в графской семье, сохраняя при этом вид робкого почтения и раболепной покорности. — Но вам все-таки следует, дочь моя, не закрывать глаза на последующие события и все время помнить об опасности. Эта трудная роль как нельзя больше по вас, так как небо наградило вас осторожностью и проницательностью.

Разговор этот очень взволновал канониссу и дал совершенно новое направление ее тревогам. Словно забывая, что Альберт почти потерян для нее, что он, быть может, в данную минуту умирает или даже умер, она была всецело озабочена мыслью, как предотвратить последствия того, что в душе называла «неподходящей» привязанностью. Она походила в этом на индейца из басни, который, спасаясь от свирепого тигра, влез на дерево и отгонял докучливую муху, жужжавшую над его головой.

В течение всего дня она не сводила глаз с Порпорины, следя за каждым ее шагом, тревожно взвешивая каждое ее слово. Наша героиня, — а в данное время наша мужественная Консуэло была героиней в полном смысле этого слова, — не могла не заметить беспокойства канониссы, но была

далека от того, чтобы объяснить его чем-либо иным, кроме недоверия к ее обещанию вернуть Альберта. Девушка и не старалась скрыть свое волнение, так как ее спокойная, безупречная совесть подсказывала ей, что она может не краснеть за свой замысел, а гордиться им. Чувство смущения, вызванное в ней несколько дней назад восторженным отношением молодого графа, рассеялось перед серьезной решимостью действовать, рожденной отнюдь не личным тщеславием. Язвительные насмешки Амелии, угадывавшей ее план, хотя и не знавшей его подробностей, мало ее трогали. Едва обращая на них внимание, она отвечала лишь улыбкой, предоставляя канониссе прислушиваться к колкостям юной баронессы, запоминать их, истолковывать и находить в них страшный тайный смысл.

Глава 40

Консуэло, заметив, что канонисса следит за нею так, как этого не бывало раньше, и опасаясь, как бы такое неуместное рвение не повредило ее планам, стала держаться более хладнокровно, благодаря чему ей удалось днем ускользнуть от наблюдений Венцеславы и проворно направиться по дороге к Шрекенштейну. В эту минуту она ничего другого не хотела, как встретить Зденко, добиться от него объяснений и окончательно выяснить, захочет ли он проводить ее к Альберту. Она увидела его довольно близко от замка, на тропинке, ведущей к Шрекенштейну. Казалось, он шел ей навстречу и, поравнявшись, заговорил с ней очень быстро по-чешски.

— Увы! Я не понимаю тебя, — проговорила Консуэло, как только ей удалось вставить слово. — Я почти не знаю и немецкого языка; это грубый язык, ненавистный нам обоим: тебе он говорит о рабстве, а мне об изгнании. Но раз это единственный способ понимать друг друга, не отказывайся говорить со мной по-немецки; мы оба одинаково плохо говорим на нем, но я тебе

обещаю выучиться по-чешски, если только ты захочешь меня учить. После этих приятных ему слов Зденко стал серьезен и, протягивая ей свою сухую, мозолистую руку, которую она, не задумываясь, пожала, сказал по-немецки:

— Добрая девушка божья, я выучу тебя своему языку и всем своим песням; скажи, с какой ты хочешь начать?

Консуэло решила, что надо подделаться к его причудам, употребляя при расспросах его же выражения.

— Я бы хотела, — сказала она, — чтобы ты спел мне балладу о графе Альберте.

— О моем брате, графе Альберте, — отвечал он, — существует более двухсот тысяч баллад. Я не могу передать их тебе: ты их не поймешь. Я каждый день сочиняю новые, совсем непохожие на прежние. Попроси что-нибудь другое.

— Отчего же я тебя не пойму? Я — утешение. Слышишь, для тебя мое имя — Консуэло! Для тебя и для графа Альберта, который один здесь знает, кто я.

— ТЫ Консуэло? — воскликнул со смехом Зденко. — О, ты не знаешь, что говоришь. «Освобождение — в оковах…»

— Я это знаю, — перебила она. — Утешение —

неумолимо». А вот ты, Зденко, ничего не знаешь: освобождение разорвало свои оковы, утешение разбило свои цепи.

— Ложь! Ложь! Глупости! Немецкие слова! — закричал Зденко, обрывая свой смех и переставая прыгать. — Ты не умеешь петь!

— Нет, умею, — возразила Консуэло. — Послушай!

И она спела первую фразу его песни о трех горах, которую прекрасно запомнила; разобрать и выучить правильно произносить слова ей помогла Амелия.

Зденко слушал с восхищением и затем сказал ей, вздыхая:

— Я очень люблю тебя, сестра моя, очень, очень. Хочешь, я тебя выучу еще другой песне?

— Да, песне о графе Альберте: сначала по-немецки, а потом ты выучишь меня петь ее и по-чешски.

— А как она начинается? — спросил он, лукаво на нее поглядывая.

Консуэло начала мотив вчерашней песни: «Там есть, там есть душа в тревоге и в унынье…»

— О! Это вчерашняя песня, сегодня я ее уже не помню, — прервал ее Зденко.

— Ну так спой мне сегодняшнюю.

— А как она начинается? Скажи мне первые слова.

— Первые слова? Вот они, слушай: «Граф Альберт там, там, в пещере Шрекенштейна…»

Не успела она произнести этих слов, как выражение лица Зденко внезапно изменилось, глаза его засверкали от негодования. Он отступил на три шага назад, поднял руки, как бы проклиная Консуэло, и гневно и угрожающе заговорил что-то по-чешски.

Сперва она испугалась, но, увидав, что он уходит, окликнула его, чтобы пойти с ним. Он обернулся и, подняв по-видимому без всякого усилия своими худыми и на вид такими слабыми руками огромный камень, яростно прокричал по-немецки:

— Зденко никогда никому не сделал зла. Зденко не оторвал бы крылышка у бедной мухи, а если б малое дитя захотело его убить, он дал бы себя убить малому дитяти. Но если ты хоть раз еще взглянешь на меня, вымолвишь одно слово, дочь зла, лгунья, австриячка, Зденко раздавит тебя, словно дождевого червя, хотя бы ему пришлось затем броситься в поток, чтобы смыть со своего тела и души пролитую им кровь!

Консуэло в ужасе пустилась бежать и в конце

тропинки встретила крестьянина, который, увидев ее, мертвенно бледную, словно преследуемую кем-то, спросил, не попался ли ей навстречу волк.

Консуэло, желая выпытать, бывают ли у Зденко припадки буйного помешательства, сказала ему, что она встретила юродивого и испугалась.

— Вам нечего бояться юродивого, — с усмешкой ответил крестьянин, усмотревший в этом трусливость барышни, — Зденко не злой, он всегда или смеется, или поет, или рассказывает истории, никому непонятные, но такие красивые.

— Но разве не бывает, чтобы он рассердился, стал угрожать и швырять камнями?

— Никогда, никогда! — ответил крестьянин. — Этого с ним не случалось и никогда не случится. Зденко нечего бояться: Зденко безгрешен, как ангел.

Несколько успокоившись, Консуэло решила, что крестьянин, пожалуй, и прав и что она неосторожно сказанным словом сама вызвала у Зденко первый и единственный припадок бешенства. Она горько упрекала себя за это. «Я слишком поторопилась, — говорила она себе, — я пробудила в мирной душе этого человека, лишенного того, что так гордо именуют разумом,

неведомое ему страдание, которое теперь может снова пробудиться при малейшем поводе. Он был только маньяком, а я, кажется, довела его до сумасшествия». Но ей стало еще тяжелее, когда она вспомнила о причине, вызвавшей гнев Зденко. Теперь уже не было сомнения: ее догадка о том, что Альберт скрывается где-то на Шрекенштейне, была справедлива. Но как тщательно и с какой подозрительностью оберегали Альберт и Зденко эту тайну даже от нее! Значит, они и для нее не делали исключения, значит, она не имела никакого влияния на графа Альберта. То наитие, благодаря которому он назвал ее своим утешением, символическая песня Зденко, призывавшая ее накануне, признание, которое Альберт сделал идиоту относительно имени Консуэло, — все это, значит, было минутной фантазией, а не глубоким, постоянным внутренним чувством, указывавшим ему, кто его освободительница и утешительница. Даже то, что он назвал ее «Утешением», точно угадав, как ее зовут, было, очевидно, простой случайностью. Она ни от кого не скрывала, что она испанка и владеет своим родным языком еще лучше, чем итальянским. И вот Альберт, упоенный ее пением, не зная другого слова, которое могло бы сильнее выразить

то, чего жаждала его душа, чем было полно его воображение, именно с этим словом обратился к ней на языке, которым владел в совершенстве и которого никто, кроме нее, не понимал. Консуэло и до сих пор не создавала себе никаких особых иллюзий на этот счет. Но в их своеобразной, удивительной встрече чувствовался словно перст судьбы, и ее воображение было захвачено безотчетно.

Теперь все было под сомнением. Забыл ли Альберт, переживая новую фазу восторженности, то изумительное чувство, которое он испытал, увидев ее? Быть может, она была уже бессильна принести ему облегчение и спасение? А может быть, Зденко, казавшийся ей сначала таким толковым, готовым всячески помочь Альберту, был более безнадежно помешанным, чем ей хотелось бы думать? Исполнял ли он приказания своего друга или совершенно забывал о них, когда с яростью запрещал молодой девушке подходить к Шрекенштейну и доискиваться истины?

— Ну что? — спросила ее тихонько Амелия, когда она вернулась домой. — Удалось вам видеть Альберта, летящего в облаках заката? Не заставите ли вы его мощными заклинаниями вернуться сегодня ночью через дымовую трубу? — Может

быть, — ответила Консуэло не без досады.

Первый раз в жизни самолюбие ее было задето. Она вложила в свой замысел столько искренней самоотверженности, столько великодушного увлечения, что теперь страдала, видя, как насмехаются и издеваются над ее неудачей.

Весь вечер она была грустна, и канонисса, заметившая происшедшую в ней перемену, приписала ее боязни, которую испытывала Консуэло, видя, что дала повод разгадать пагубное чувство, зародившееся в ее сердце.

Но канонисса жестоко ошибалась. Если бы Консуэло почувствовала какой-либо проблеск новой любви, в ней не было бы ни той горячей веры, ни той святой смелости, которые до сих пор направляли и поддерживали ее. Напротив, никогда еще, пожалуй, с такой горечью не переживала она возврата своей прежней страсти, как теперь, когда героическими подвигами и каким-то фанатическим человеколюбием стремилась заглушить ее.

Войдя вечером в свою комнату, она увидела на спинете старинную книгу с золотым обрезом, украшенную гербом, в которой сейчас же признала ту, что взял Зденко прошлой ночью из кабинета Альберта и унес. Она раскрыла ее

на том месте, где была вложена закладка, и ей бросились в глаза первые слова покаянного псалма: «De profundis clamavi ad te» . Эти латинские слова были подчеркнуты, по-видимому, свежими чернилами, так как черта отпечаталась и на следующей странице. Консуэло перелистала всю книгу, оказавшуюся старинной, так называемой Кралицкой библией, изданной в 1579 году, и нигде не нашла больше никакого указания, никакой отметки на полях, никакой записки. Но разве этот крик, вырвавшийся из бездны, так сказать, из недр земли, не был сам по себе достаточно многозначителен и красноречив? Почему же между настойчивым, определенным желанием Альберта и недавним поведением Зденко существовало такое противоречие? Консуэло остановилась на своем последнем предположении: Альберт, больной и удрученный, лежит в подземелье под Шрекенштейном, а Зденко в своей безумной любви к нему не выпускает его оттуда. Быть может, он жертва этого по-своему обожающего его сумасшедшего, который держит молодого человека в плену, разрешая лишь изредка взглянуть на свет божий и исполняя его поручения к Консуэло; когда же его попытки увенчиваются успехом, Зденко из какого-то

необъяснимого каприза или страха противится их осуществлению. «Ну что ж? — сказала себе Консуэло. — Пусть я встречу настоящие опасности — я пойду туда; пусть глупцам и эгоистам покажется это смешным и безрассудным — я все-таки пойду, рискуя даже быть оскорбленной равнодушием того, кто меня призывает. Но как можно оскорбляться, если он и в самом деле не менее безумен, чем Зденко? Пожалев их обоих, я лишь исполню свой долг. Я повинуюсь гласу бога, вдохновляющего меня, и его деснице, влекущей меня с неодолимой силой».

Лихорадочное возбуждение, в котором она пребывала последние дни, сменившееся после злосчастной встречи с Зденко страшным упадком духа, вновь охватило ее. Она снова почувствовала прилив сил, и душевных и физических. Утаив от Амелии и книгу, и свое возбужденное состояние, и свой план, весело поболтав с ней и дав ей заснуть, Консуэло отправилась к «Источнику слез», захватив с собой потайной фонарь, который она раздобыла еще утром.

Прождала она довольно долго и из-за холода была принуждена несколько раз входить в кабинет Альберта, чтобы хоть немного согреться. В этой комнате была масса книг, но они не стояли, как

полагается, на полках шкафов, а были как попало свалены на полу посреди комнаты, точно кто-то бросил их туда с презрением и отвращением. Консуэло решилась заглянуть в них. Почти все они были латинские, и она могла только догадываться, что они трактуют о религиозных спорах и изданы или одобрены римской церковью. Она пыталась было разобрать заглавия этих книг, как вдруг услыхала ожидаемое клокотание воды в колодце. Прикрыв свой фонарь, она бросилась туда, спряталась за каменную закраину колодца и стала ждать Зденко. На этот раз он не задержался ни в цветнике, ни в кабинете… Он прошел через обе комнаты и вышел из апартаментов Альберта, как узнала потом Консуэло, чтобы посмотреть и послушать у дверей молельни, а также у дверей спальни графа Христиана, молится ли старик в своем горе, или спокойно спит. Эту заботливость, оказывается, он часто проявлял по собственному почину, даже не получая на то приказаний Альберта, как мы это увидим из дальнейшего.

Консуэло не стала раздумывать, что делать. Все было решено заранее. Больше она уже не надеялась ни на рассудок, ни на благожелательность Зденко; она хотела добраться до того, кого считала пленником, одиноким, лишенным при-

смотра и ухода. Несомненно, между замком и Шрекенштейном существовал только один подземный ход. Пусть этот путь труден и опасен, но во всяком случае там можно пройти, раз Зденко по нему путешествовал каждую ночь. Конечно, крайне важно было иметь при себе свет, и Консуэло запаслась свечами, куском железа, трутом и кремнем, чтобы в случае надобности иметь возможность высечь огонь. Рассказ, слышанный ею от канониссы об осаде, выдержанной когда-то в замке тевтонским орденом, внушал ей убеждение, что она сможет подземным ходом добраться до Шрекенштейна. По словам Венцеславы, у этих рыцарей был в самой их трапезной колодец, питаемый водою из соседних горных источников. Когда их шпионам надо было выйти для наблюдения за неприятелем, вода из колодца выпускалась, и они проходили подземным ходом в подвластную им деревню. Консуэло помнила, что, по местным преданиям, деревня, расположенная на холме, прозванном со времени пожара Шрекенштейном, была подчинена крепости Великанов и во время осады поддерживала с ней тайные сношения. Стало быть, упорно разыскивая потайной ход, она имела для этого серьезное основание и рассуждала вполне здраво.

Она воспользовалась отсутствием Зденко, чтобы спуститься в водоем, но перед этим, встав на колени, поручила свою душу богу и наивно осенила себя крестом, как тогда, за кулисами театра Сан-Самуэле, перед своим первым выходом на сцену; затем храбро стала спускаться по крутой винтовой лестнице, отыскивая в стене те точки опоры, которыми, как она видела, пользовался Зденко, и стараясь при этом не смотреть вниз, чтобы не закружилась голова. Благополучно добравшись до железной цепи и взявшись за нее, Консуэло почувствовала себя более уверенно, и у нее хватило присутствия духа заглянуть на дно водоема. Там еще стояла вода, что взволновало было Консуэло, но сейчас же у нее мелькнула мысль, что, хотя водоем, быть может, и очень глубок, выход из подземелья, откуда появлялся Зденко, должен быть недалеко от поверхности земли. Она уже спустилась с пятидесяти ступенек с той ловкостью и живостью, которой нет у девиц, воспитанных в гостиных, но которая у детей простолюдинов вырабатывается среди игр и сохраняется на всю жизнь. Единственной опасностью, которая ей угрожала, было поскользнуться на сырых ступеньках. Но Консуэло заранее нашла в каком-то углу старую шляпу с боль-

шими полями, которую носил на охоте барон Фридрих, выкроила из нее подошвы и подвязала их шнурками к своим ботинкам наподобие котурнов: в последнюю ночную экскурсию Зденко она заметила подобное приспособление на его ногах. На таких войлочных подошвах Зденко бесшумно двигался по коридорам замка, почему ей и казалось, что он скользит подобно тени, а не шагает как человек. В былое время у гуситов было принято перед внезапным нападением на врага обувать подобным образом не только своих шпионов, но даже и лошадей.

Возле пятьдесят второй ступеньки Консуэло увидела каменную плиту пошире и низкую стрельчатую арку. Не задумываясь, она вошла в нее и, согнувшись, пробралась в узкую, низкую подземную галерею, необычайно прочно сделанную рукой человека и еще всю мокрую от только что схлынувшей воды. Минут пять она шла по ней, не встречая никаких препятствий и не ощущая страха, как вдруг сзади послышался слабый шум. Быть может, это Зденко уже спускался, направляясь на Шрекенштейн, но она была намного впереди его и еще прибавила шагу, чтобы опасный спутник не догнал ее. Он никак не мог заподозрить, что она идет впереди, так

что ему незачем было спешить, а пока он будет распевать свои жалобные песни и бормотать свои бесконечные сказки, она успеет дойти до Альберта и оказаться под его защитой.

Однако услышанный ею шум стал усиливаться — теперь он уже походил на грохот бурно несущихся вод. Что же могло случиться? Не догадался ли Зденко об ее намерении? Не открыл ли он шлюзы, чтобы задержать ее и утопить? Но сделать это он мог, лишь войдя сюда сам, а он, несомненно, был позади нее. Мысль эта, однако, не очень ее успокоила. Зденко был способен скорее пожертвовать жизнью, утонуть вместе с нею, чем допустить, чтобы убежище Альберта было открыто. На всем своем пути Консуэло не заметила ни заступа, ни шлюза, ни камня — ничего, чем можно было бы задержать воду и затем спустить ее. Вода могла быть только впереди нее, а между тем шум слышался сзади, и он все рос, усиливался, приближался со страшным грохотом.

Внезапно Консуэло с ужасом заметила, что галерея, вместо того чтобы подниматься, опускается — сначала постепенно, а затем все круче и круче. Несчастная ошиблась дорогой! Впопыхах, из-за густого пара, поднимавшегося со дна колодца, она не заметила другой арки, значительно

более широкой, находившейся как раз напротив той, в которую она вошла. Она попала в канал, служивший стоком для вод колодца, вместо того чтобы подняться по другому, который вел к резервуару или к источнику. Зденко, идя по противоположной дороге, преспокойно открыл шлюзы: вода ринулась водопадом на дно колодца и, наполнив его до стока, уже устремилась в галерею, по которой мчалась растерявшаяся, похолодевшая от ужаса Консуэло. Вскоре и эта галерея, в которую поступал излишек воды, должна была в свою очередь наполниться. По мере приближения к бездне, куда должна была хлынуть вода, спуск становился все круче. Еще секунда, еще мгновенье — и канал будет затоплен. Свод, еще совсем мокрый, говорил о том, что вода заполняет его доверху, что спасения нет и, как ни мчись несчастная беглянка, ей все равно не спастись от несущегося позади нее бурного потока. Воздух уже вытеснялся массой воды, приближавшейся со страшным шумом. От удушливой жары становилось трудно дышать. Сама жизнь словно замирала, душа преисполнялась ужаса и отчаяния. Уже грохот разъяренной воды раздавался совсем близко от Консуэло, уже рыжеватая пена, зловещая предвестница потока, появилась

на вымощенном полу галереи и опередила еле движущуюся, растерявшуюся жертву.

Глава 41

— О матушка! — воскликнула Консуэло. — Открой мне свои объятья! О Андзолето, я так любила тебя! О боже, вознагради меня в лучшей жизни! Едва из груди Консуэло успел вырваться этот вопль предсмертной тоски, как она споткнулась и ударилась о незамеченное препятствие. Какая неожиданность! Какая милость божья! Это была крутая узкая лестница, поднимавшаяся куда-то вверх, и Консуэло полетела по ней на крыльях страха и надежды. Свод нависает над самой головой; поток несется, ударяется о лестницу, по которой Консуэло уже успела взбежать, заливает первые десять ступенек, обдает по самые щиколотки быстро убегающие от него ноги девушки и наконец, достигнув низкого свода, оставшегося уже позади Консуэло, со страшным шумом низвергается в глубокий резервуар, над которым на крошечной площадке очутилась юная героиня, добравшаяся сюда ползком, в потемках, ибо страшный порыв ветра, пронесшийся перед вторжением воды, задул ее фонарь.

Консуэло падает на последнюю ступеньку;

поддерживаемая инстинктом самосохранения, она еще не знает, спасена ли она, или шумящий водопад — это новая грозящая ей опасность, а холодные брызги, обдающие ее волосы, — это распростертая над нею ледяная рука смерти.

Между тем резервуар постепенно наполняется, и обильные воды источника несутся дальше в недра земли по другим, глубже проходящим стокам. Шум затихает, пары рассеиваются, в подземелье слышится звонкое журчанье воды, скорее благозвучное, чем страшное. Дрожащей рукой Консуэло удается зажечь фонарь. Сердце еще сильно бьется в груди, но мужество уже вернулось к ней. На коленях благодарит она бога и свою мать и наконец оглядывается кругом, направляя колеблющийся свет фонаря на то, что окружает ее.

Обширный, созданный природою грот распростер свой свод над пропастью, наполняемой водою из дальнего источника, теряющегося в недрах Шрекенштейна. Пропасть эта так глубока, что воды в ней не видно; если же бросить туда камень, он катится минуты две и ныряет с шумом, напоминающим пушечный выстрел. Долго потом эхо пещеры повторяет этот звук, а зловещее клокотание невидимой воды, точно

лай адской своры, длится еще того дольше. Узкая тропинка, высеченная в одной из скалистых стен грота, вьется над пропастью и теряется в другой темной галерее, которая идет вверх, отклоняясь от потока, и уже не носит на себе никаких следов руки человеческой…

Таков был путь, открывавшийся перед Консуэло. Другого нет: вода залила и совершенно закрыла дорогу, по которой она сюда пришла. Не ждать же ей тут возвращения Зденко! Здесь убийственно сыро, свет фонаря уже бледнеет, меркнет, грозит совсем погаснуть, а потом его не зажжешь.

Консуэло не падает духом, хотя прекрасно понимает, что это не путь на Шрекенштейн. Эти подземные галереи, открывающиеся перед ней, — игра природы: они ведут либо в тупики, либо в лабиринт, откуда ей не найти выхода. И все-таки она решается идти по ним, хотя бы для того, чтобы найти себе более сухое убежище до будущей ночи. Ночью снова появится Зденко, он остановит поток, вода в галерее схлынет, пленница сможет выбраться отсюда и вновь увидит над собой свет звезд.

Итак, Консуэло с новыми силами углубилась в тайники подземелья. Но на этот раз она вни-

мательно приглядывалась ко всем изменениям почвы и старалась все время идти вверх, не соблазняясь более просторными и прямыми на вид галереями, попадавшимися ей на каждом шагу. Она была уверена, что, действуя так, не наткнется на поток и сможет потом вернуться назад. Она двигалась среди тысячи препятствий: громадные камни преграждали ей дорогу, ранили ноги; огромные летучие мыши, вспугнутые светом фонаря, целыми стаями бились вокруг него и, точно духи тьмы, носились над путницей. Но после первых минут изумления и страха каждое новое препятствие лишь придавало ей мужества. Местами приходилось перебираться через гигантские каменные глыбы, оторвавшиеся от скал, тоже грозивших обвалиться и висевших в каких-нибудь двадцати футах над ее головой; местами же проход так суживался и свод становился таким низким, что ей приходилось ползти в разреженном горячем воздухе. Так продвигалась она с полчаса, как вдруг у одного узкого прохода, где, несмотря на всю ее стройность и гибкость, ей едва удалось пройти, она попала из огня да в полымя, очутившись лицом к лицу со Зденко, сначала окаменевшим от изумления и ужаса, а затем вознегодовавшим, разъяренным,

угрожающим — таким, каким она уже видела его однажды.

В этом лабиринте, посреди бесчисленных препятствий, при мерцающем свете фонаря, то и дело затухавшего от недостатка воздуха, о бегстве нечего было и думать, и Консуэло решила, насколько хватит сил, защищать свою жизнь против покушения на убийство. С пеной у рта, с блуждающим взглядом Зденко, очевидно, на этот раз не думал ограничиться одними угрозами. Внезапно он принял необычайное по своей жестокости решение: он стал собирать огромные камни и наваливать их один на другой между собой и Консуэло, чтобы замуровать узкую галерею, где она находилась. Таким образом он мог быть уверен, что, не спуская воды в течение нескольких дней, уморит ее голодом, — так пчела, найдя в своей ячейке назойливого шершня, залепляет воском вход в нее.

Но Зденко сооружал эту стену из гранита и притом воздвигал ее с неимоверной быстротой. Атлетическая сила, которую проявлял этот на вид худой, истощенный человек, ворочая и поднимая глыбы, слишком красноречиво говорила Консуэло о том, что сопротивление немыслимо и что лучше вернуться назад, в надежде найти какой-

нибудь другой выход, чем доводить юродивого до последней степени ярости. Она попробовала растрогать его, уговорить, убедить своими речами.

— Зденко, — говорила она, — что ты делаешь, безумец? Альберт не простит тебе моей смерти. Альберт ждет и зовет меня. Я ведь друг его, его утешение, его спасение. Губя меня, ты этим губишь своего друга и брата. Но Зденко, боясь поддаться действию ее слов и твердо решив продолжать начатое дело, запел на родном языке веселую, живую песню, не переставая в то же время возводить свою циклопическую стену.

Еще один камень, и сооружение будет закончено. Консуэло с ужасом смотрела на работу Зденко. «Никогда, — думала она, — не разрушить мне этой стены: тут нужны руки великана». Последний камень был положен, но вскоре Консуэло заметила, что Зденко принимается за сооружение второй стены. Очевидно, целая громада, целая крепость воздвигалась между нею и Альбертом. А Зденко все продолжал петь и, казалось, наслаждался своей работой.

Вдруг счастливая мысль осенила Консуэло. Ей пришла в голову та еретическая формула, которую перевела ей Амелия и которая так возмутила капеллана.

— Зденко! — крикнула она ему по-чешски сквозь щель уже разделяющей их стены. — Друг Зденко! «Обиженный да поклонится тебе».

Едва успела она произнести эти слова, как они оказали на Зденко магическое действие: выронив из рук огромный камень, он начал с тяжким вздохом разбирать стену еще более поспешно, чем складывал; окончив, он протянул руку Консуэло и молча помог ей перебраться через нагроможденные глыбы камней, после чего внимательно посмотрел на нее, странно вздохнул и, передав ей три ключа на красной ленте, указал на лежавшую перед нею дорогу и проговорил:

— «Обиженный да поклонится тебе».

— А ты разве не хочешь быть моим проводником? — спросила она. — Доведи меня до твоего господина.

Зденко покачал головой.

— У меня нет господина, — возразил он, — у меня был друг. Ты отнимаешь его у меня. Веление судьбы свершилось. Иди, куда направляет тебя господь. Я же буду плакать здесь, пока ты не вернешься.

Сев на груду камней, он закрыл лицо руками и не вымолвил больше ни слова.

Консуэло не стала тратить времени на его

утешение. Она боялась, как бы в нем снова не пробудилась ярость, и, пользуясь своим временным влиянием на него, а главное, зная теперь, что она на верной дороге к Шрекенштейну, стрелой помчалась вперед. Во время своего мучительного хождения по неведомым галереям Консуэло мало подвинулась вперед, так что Зденко, идя несравненно более длинной, но недоступной для воды дорогой, встретился с ней на месте соединения двух подземных ходов: одного — искусно высеченного в скалах рукой человека, другого — безобразного, причудливого, полного всяких опасностей творения природы; оба они шли по кругу под холмом, на котором возвышался замок с его службами. Консуэло не подозревала, что в эту минуту она находилась под парком замка, и, миновав все его ворота и рвы, шла по дороге, где никакие запоры и ключи канониссы не могли ее остановить. Пройдя некоторое расстояние по новой дороге, она призадумалась: не лучше ли вернуться, отказавшись от предприятия, полного таких препятствий и едва не ставшего для нее роковым? Ведь впереди, может быть, ее ждут еще новые опасности?.. У Зденко снова мог возродиться его злобный умысел. А что, если он пустится за ней вдогонку? Что, если опять соорудит стену,

чтобы отрезать ей путь к возвращению? Тогда как, отказавшись от своего намерения и попросив Зденко очистить ей дорогу к колодцу и выпустить из него воду, чтобы можно было выбраться на свет божий, она, конечно, вполне могла рассчитывать на то, что он отнесется к ней сочувственно и доброжелательно. Но еще слишком сильно было впечатление пережитых ужасов, чтобы она могла решиться снова встретиться с этим безумцем. Страх, внушенный ей Зденко, все нарастал, по мере того как она удалялась от него, и теперь, после того как ей удалось с таким поразительным присутствием духа разрушить его мстительный замысел, она готова была лишиться чувств при одном воспоминании об этом. И Консуэло пустилась бежать от Зденко, не имея мужества еще раз попробовать смягчить его и стремясь лишь найти одну из тех волшебных дверей, от которых он дал ей ключи, чтобы поскорее создать преграду между собой и его безумием.

Но не отнесется ли Альберт, другой безумец, которого она так упорно и безрассудно считала кротким и уступчивым, не отнесется ли он к ней так же, как Зденко? Все здесь было покрыто мраком неизвестности, и Консуэло, очнувшись от своего романтического увлечения, спрашивала

себя, не она ли самая безумная из всех троих, она, бросившаяся в эту бездну тайн и опасностей, далеко не будучи уверенной в благоприятном и успешном исходе? Тем временем она продолжала идти по великолепному обширному подземелью, сооруженному сильными руками людей средневековья. Это была прорубленная в скалах ровная галерея с низким стрельчатым сводом. Менее твердые породы, меловые жилы и вообще все места, грозившие обвалами, были укреплены стенами, сложенными из четырехугольных гранитных плит. Но Консуэло не теряла времени на созерцание этого громадного сооружения, которое при своей прочности могло простоять еще века. Она не спрашивала себя и о том, как могли теперешние владельцы замка не подозревать о существовании столь удивительного сооружения. Она могла бы легко объяснить себе это, припомнив, что все исторические документы этой семьи и этого поместья были сожжены в эпоху Реформации в Чехии, более ста лет назад. Но она не глядела по сторонам и почти ни о чем не думала, кроме своего спасения, радуясь, что дорога ровная, что есть воздух для дыхания и что можно беспрепятственно бежать вперед. До Шрекенштейна оставалось еще порядочное

расстояние, хотя подземный путь и был гораздо короче идущей туда же извилистой горной тропинки. Дорога казалась ей бесконечной, и, не имея возможности ориентироваться, Консуэло даже не знала, ведет ли она на Шрекенштейн или куда-то дальше.

После четверти часа ходьбы она увидела, что свод опять стал выше и всякие следы архитектурной работы исчезли. Хотя громадные каменоломни и величественные гроты, через которые проходила Консуэло, были также созданы человеческими руками, но, заросшие растительностью, наполнявшиеся благодаря многочисленным щелям свежим воздухом, они не имели такого мрачного вида, как галереи. Здесь была тысяча возможностей укрыться и избежать преследования разъяренного врага. Вдруг шум бегущей воды заставил Консуэло вздрогнуть, — если бы в подобном положении она способна была шутить, она призналась бы себе, что даже барон Фридрих по возвращении с охоты не относился с большим отвращением к воде, чем она в эту минуту. Однако в скором времени она успокоилась и сообразила, что с тех пор, как она отдалилась от пропасти, с тех пор, как ее едва не затопило, она все время поднималась в гору. Зденко должен был бы иметь

в своем распоряжении гидравлическую машину невероятных размеров и силы, чтобы поднять своего ужасного союзника — то есть поток — до того места, где находилась Консуэло. Очевидно, ей предстояло где-то встретиться с водой источника — со шлюзами или с самим источником. И если бы она была в состоянии рассуждать, то даже удивилась бы, не встретив до сих пор на своем пути этого таинственного «Источника слез», питающего водоем.

Дело в том, что источник этот начинался в неведомых горных недрах, а галерея, пересекавшая его под прямым углом, встречалась с ним сначала около колодца, а потом около Шрекенштейна, где пришлось встретиться с ним и Консуэло. Шлюзы оставались далеко позади нее, на дороге, по которой Зденко шел один. Консуэло же теперь приближалась к источнику, которого за последние несколько столетий не видал никто, кроме Альберта и Зденко. Вскоре она поравнялась с ручьем и пошла вдоль него, уже ничего не боясь и не подвергаясь никакой опасности.

Тропинка, усыпанная свежим мелким песком, тянулась подле прозрачной чистой воды, которая текла, тихо журча, меж довольно крутых берегов. Здесь снова чувствовалась рука человека. Эта тро-

пинка была проложена по откосу плодородной земли: прекрасные растения, растущие у воды, дикий терновник в цвету, несмотря на суровое время года, обрамляли ручей своей зеленью. Воздуха, проникавшего сюда через массу щелей, было достаточно для жизни растений, но щели были слишком узки, чтобы сквозь них мог проникнуть сюда любопытный взор. Это было нечто вроде естественной теплицы; своды защищали ее от снега и холода, а воздух освежался благодаря тысячам незаметных отдушин. Казалось, чья-то заботливая рука охраняла жизнь этих чудесных растений и выбирала из песка камни, выбрасываемые водой на берег; и это предположение не было ошибочно: Зденко постарался сделать приятной, удобной и безопасной дорогу к убежищу Альберта.

Консуэло, все еще взволнованная пережитыми ужасами, начала ощущать благотворное влияние менее мрачной и даже поэтической обстановки. Бледные лучи луны, пробивавшиеся там и сям сквозь расщелины скал и преломлявшиеся в струящейся воде, дуновение лесного воздуха, пробегавшее порой по неподвижным растениям, до которых не доходила вода, — все это говорило о том, что она все ближе и ближе подходит к

поверхности земли. Консуэло чувствовала, что оживает, и встреча, предстоявшая в конце ее героического паломничества, рисовалась ей уже в менее мрачных красках. Наконец она увидела, что тропинка, вдруг круто повернув от берега, ведет в короткую галерею, заново выложенную камнями, и обрывается у маленькой двери. По этой двери, казавшейся вылитой из металла — до того она была холодной, — красиво вился плющ.

Когда Консуэло поняла, что настал конец и испытаниям и колебаниям, когда она прикоснулась своей усталой рукой к этому последнему препятствию, которое сейчас же могло быть устранено, так как ключ от этой двери был в другой ее руке, она вдруг смутилась, почувствовав прилив такой робости, которую труднее было побороть, чем все пережитые ужасы. Итак, ей предстоит проникнуть одной в место, скрытое от всех взоров, от всех человеческих помыслов, чтобы нарушить сон или мечты человека, которого она едва знает, который ей ни отец, ни брат, ни супруг, человека, который, быть может, любит ее, но которого сама она не могла и не хотела любить.

«Бог направил и привел меня сюда среди самых ужасных опасностей, — говорила она себе. — По его воле, скорее даже, чем благодаря его по-

кровительству, добралась я сюда. Я пришла с пламенной душой, преисполненной милосердия, со спокойным сердцем, с чистой совестью, с полным бескорыстием. Быть может, здесь меня ждет смерть, но эта мысль не страшит меня. Моя жизнь опустошена, и я лишусь ее без особого сожаления, я только что убедилась в этом: вот уже целый час, как я считаю себя приговоренной к ужасной смерти и отношусь к этому с таким спокойствием, которого я от себя даже не ожидала. Быть может, это милость, которую господь посылает мне в мою последнюю минуту. Быть может, я погибну под ударами разъяренного безумца, но я иду на это с твердостью мученицы. Я горячо верю в загробную жизнь и чувствую, что, если я паду здесь жертвою своей преданности, пожалуй и ненужной, но вызванной моей верой, я буду вознаграждена в лучшем мире. Так что же останавливает меня? Откуда во мне это невыразимое смущение, точно я собираюсь совершить дурной поступок и должна краснеть перед тем, кого пришла спасти?»

Вот как Консуэло, слишком целомудренная, чтобы сознавать свое целомудрие, боролась сама с собой, почти упрекая себя за свои утонченные переживания. Ей даже не приходило в голову,

что она может подвергнуться опасности, более ужасной для нее, чем смерть. В своей непорочности она не допускала мысли, что может стать добычей животной страсти безумца. Но она инстинктивно боялась, что поступок ее может быть объяснен менее возвышенными побуждениями, чем это было на самом деле. И все-таки она вложила ключ в замок, — но, сделав это, раз десять собиралась его повернуть и все не решалась: страшная усталость, общий упадок сил мешали ей проявить решимость в тот момент, когда решимость эта должна была быть вознаграждена: на земле — актом великого милосердия, на небе — мученической кончиной.

Глава 42

Наконец она решилась. У нее было три ключа. Следовательно, надо было пройти через три двери и две комнаты, чтобы добраться до той, где, как она предполагала, находился пленный Альберт. У нее будет еще время остановиться, если она почувствует, что силы изменяют ей.

Она вошла в комнату с низкими сводами, где не было никакой мебели, кроме ложа из сухого папоротника, на которое была брошена баранья шкура. Пара башмаков старинного фасона, совсем изношенных, указала ей, что это спальня Зденко. Тут же она обнаружила маленькую корзиночку, которую некоторое время назад принесла с фруктами на скалу Ужаса и которая только через два дня исчезла оттуда. Консуэло решилась открыть вторую дверь, заперев предварительно первую, так как она все еще с ужасом представляла себе возможность возвращения свирепого хозяина этого помещения. Вторая комната, куда она вошла, была, как и первая, с низкими сводами, но стены были обиты циновками и плетенками из прутьев, убранными мхом. Печка давала доста-

точно тепла, и, вероятно, из ее трубы, выведенной сквозь скалу наружу, временами и вылетали искры, отблеск которых давал загадочный свет, виденный Консуэло на вершине Шрекенштейна. Ложе Альберта, как и ложе Зденко, было сделано из сухих листьев и трав, но Зденко покрыл его великолепными медвежьими шкурами, несмотря на требования Альберта соблюдать полнейшее между ними равенство, — требование, которое, из-за страстной нежности к своему другу, Зденко, заботившийся о нем более, чем о себе самом, не всегда выполнял. Консуэло была встречена в этой комнате Цинабром; пес, услыхав, как повернулся ключ в замке, навострил уши и, с тревогой глядя на дверь, расположился у порога. Цинабр был особенным образом воспитан своим хозяином: это был друг, а не сторож. Ему с самого раннего детства было так строго запрещено рычать и лаять на кого бы то ни было, что он совсем утратил эту естественную для его породы привычку. Но, конечно, подойди к Альберту кто-либо с недобрыми намерениями, у Цинабра нашелся бы голос, а нападай кто-либо на его хозяина — он стал бы яростно его защищать. Осторожный и осмотрительный, как настоящий пустынник, он никогда не поднимал ни малейшего шума понапрасну, не

обнюхав и не рассмотрев хорошенько человека. Он подошел к Консуэло и, посмотрев на нее проницательным взглядом, в котором было что-то поистине человеческое, обнюхал ее платье и в особенности руку, в которой она долго держала данные ей Зденко ключи; совершенно успокоенный этим обстоятельством, он позволил себе предаться приятным воспоминаниям о своем прежнем знакомстве с Консуэло и положил ей на плечи огромные косматые лапы, медленно помахивая и постукивая об пол своим великолепным хвостом. Оказав ей такой дружеский и почетный прием, он снова улегся на край медвежьей шкуры, покрывавшей ложе его хозяина, и по-стариковски лениво растянулся на ней, не переставая, однако, следить глазами за каждым шагом, за каждым движением пришедшей.

Прежде чем решиться подойти к третьей двери, Консуэло окинула взглядом обитель отшельника, стремясь по ней получить представление о душевном состоянии живущего тут человека. Никаких признаков ни сумасшествия, ни отчаяния она не нашла. Здесь царила чистота и даже своеобразный порядок. Плащ и запасная смена платья висели на рогах зубра, — эту диковинку Альберт вывез из дебрей Литвы, и она заменяла

ему вешалку. Его многочисленные книги были аккуратно расставлены на полках из необделанных досок, со вкусом украшенных артистической рукой большими зелеными ветвями. Стол и два стула были из того же материала и такой же работы. Гербарий, тетради старинных нот, совершенно неизвестные Консуэло, со славянскими заглавиями и текстом, еще красноречивее говорили о мирных, простых и серьезных занятиях анахорета. Железная лампа, редкая по своей древности, висела посреди свода и освещала это меланхолическое святилище, где царила вечная ночь.

Консуэло обратила внимание еще на то, что здесь не было оружия. Несмотря на страсть богатых обитателей здешних лесов к охоте и к роскошным охотничьим принадлежностям, необходимым для этого развлечения, у Альберта не было ни ружья, ни ножа, и его старый пес не был обучен «великой науке», что объясняло презрение и жалость, с какими барон Фридрих всегда смотрел на Цинабра. У Альберта было отвращение к крови, и хотя, по-видимому, он менее чем кто либо пользовался жизнью, он чувствовал к ней безграничное, какое-то даже религиозное уважение. Он был не в силах лишить жизни са-

мое ничтожное творение и не мог видеть, когда на его глазах делали это другие. Интересуясь всеми естественными науками, он занимался только минералогией и ботаникой. Энтомология уже казалась ему слишком жестокой наукой, и он никогда не смог бы любознательности ради пожертвовать жизнью насекомого.

Консуэло знала об этих особенностях Альберта и вспомнила о них, увидев принадлежности его невинных занятий.

«Нет, мне нечего бояться такого кроткого, мирного существа, — сказала она себе. — Это келья святого, а не убежище сумасшедшего». Но чем более она успокаивалась относительно его душевного состояния, тем более чувствовала себя смущенной и сконфуженной. Она почти готова была жалеть, что здесь не безумец и не умирающий. Мысль, что сейчас она появится перед настоящим мужчиной, делала ее все более и более нерешительной.

Она постояла так несколько минут в раздумье, не зная, каким образом дать знать о себе, как вдруг до нее донеслись звуки какого-то изумительного инструмента. Это скрипка Страдивариуса пела дивную мелодию — величественную, грустную, извлекаемую верной и искусной рукой. Никогда

еще Консуэло не слышала ни такой совершенной скрипки, ни виртуоза столь простого и трогательного. Мелодия была ей незнакома, но, судя по странным, наивным формам, она решила, что этот напев, должно быть, древнее всего того, что ей было известно из старинной музыки. Она слушала с восторгом, и теперь ей стало ясно, отчего Альберт так хорошо понял ее после первой пропетой ею фразы… У него было истинное понимание настоящей, великой музыки. Он мог не быть ученым музыкантом, не знать всех блестящих средств этого искусства, но в нем была искра божия, дар проникновения, любовь к прекрасному. Когда он кончил, Консуэло, совершенно успокоенная, чувствуя к нему еще большую симпатию, чем раньше, уже собралась было постучать в дверь — последнюю преграду, как вдруг эта дверь медленно отворилась и перед нею появился молодой граф со взором, устремленным в землю, держа в опущенных руках скрипку и смычок. Он был страшно бледен, а волосы и костюм его находились в таком беспорядке, какого Консуэло никогда еще не видела. Его глубокая задумчивость, подавленность, растерянность движений — все говорило если не о расстройстве ума, то во всяком случае об ослаблении воли. Он казался

одним из тех безмолвных, лишенных памяти призраков, которые, по поверию славян, входят ночью в дома и там машинально, без смысла и цели, инстинктивно делают то, что делали раньше в жизни, причем не узнают и не видят ни своих друзей, ни своих слуг, а те или убегают, или молча, похолодев от ужаса и удивления, смотрят на них.

То же самое испытала и Консуэло, видя, что граф Альберт не замечает ее, хотя она и стояла от него всего в двух шагах. Цинабр поднялся и стал лизать руку хозяина. Альберт что-то дружески сказал ему по-чешски, а затем, следуя взором за собакой, которая подошла, ласкаясь к Консуэло, перевел глаза на ноги девушки, обутые в эту минуту почти так же, как ноги Зденко, и стал внимательно их рассматривать; не поднимая головы, он произнес на родном языке несколько слов, которых она не поняла, но они походили на просьбу и заканчивались ее именем. Найдя его в таком состоянии, Консуэло почувствовала, что ее робость окончательно исчезла. Полная сострадания, она теперь видела в нем только больного с истерзанной душой, который, не узнавая, все-таки зовет ее; и смело, доверчиво положив руку на руку молодого человека, она произнесла по-

испански своим чистым, проникающим в душу голосом:

— Консуэло здесь.

Глава 43

Не успела Консуэло произнести свое имя, как граф Альберт поднял глаза и, посмотрев на нее, сразу изменился в лице. Он уронил на пол свою драгоценную скрипку с таким безразличием, словно никогда в жизни не играл на ней, и сложил руки с видом глубокого умиления и почтительной скорби. — Бедная моя Ванда, наконец-то я вижу тебя в этом месте изгнания и муки! — воскликнул он, так тяжко вздыхая, что казалось, грудь его готова была разорваться. — Моя дорогая, дорогая и несчастная сестра, злополучная жертва, отомщенная мной слишком поздно! Я не сумел защитить тебя. О, ты знаешь, что злодей, тебя опозоривший, погиб в мученьях и что рука моя безжалостно обагрилась кровью его сообщников. Я пустил кровь рекой у проклятой церкви. В кровавых потоках смыл я бесчестие твое, мое и нашего народа. Чего же хочешь ты еще, беспокойная и мстительная душа? Времена рвения и гнева миновали, теперь настали дни раскаяния и искупления. Требуй от меня молитв, слез, но не крови. Отныне я чувствую к ней отвращение и

не хочу больше проливать ее… Нет, нет, ни одной капли крови! Ян Жижка будет наполнять свою чашу только неиссякаемыми слезами и горькими рыданиями!

Говоря это, Альберт, с блуждающим взором, в крайнем возбуждении, быстро кружил вокруг Консуэло, с ужасом отступая назад всякий раз, как она порывалась прервать его странное заклинание.

Консуэло не пришлось долго раздумывать, чтобы понять, какое направление принял бред молодого графа.

Она слышала много рассказов о Яне Жижке и знала, что у этого грозного фанатика была сестра, монахиня, что сестра эта еще до начала Гуситской войны умерла в монастыре от стыда и горя, будучи обесчещена одним гнусным монахом, и что затем вся жизнь Жижки была долгой, великой местью за это преступление. Очевидно, в эту минуту Альберт, который по какой-то непонятной ассоциации вернулся к своей господствующей идее и вообразил, что он Ян Жижка, обращался к ней, как к призраку Ванды, своей злосчастной сестры.

Консуэло решила не выводить его слишком резко из этого заблуждения.

— Альберт, — начала она, — ведь твое имя уже не Ян и мое не Ванда; взгляни на меня хорошенько и согласись, что я, как и ты, изменилась и лицом и характером. Я пришла к тебе именно затем, чтобы напомнить то, что ты сам только что сказал мне. Да, времена рвения и гнева миновали. Правосудие людское больше чем удовлетворено, и я явилась возвестить тебе о правосудии божьем. Господь повелевает нам прощать и забывать. Эти пагубные воспоминания, это упорство, с которым ты пользуешься даром, не доступным другим людям, — со всеми подробностями переживать мрачные сцены своих прежних существовании, — это упорство, повторяю, оскорбляет бога, и он лишает тебя этого дара, так как ты злоупотребил им. Слышишь ли ты меня, Альберт, и понимаешь ли ты меня теперь?

— О матушка! — воскликнул Альберт, бледный, дрожащий, падая на колени и все еще с бесконечным ужасом смотря на Консуэло. — Я слышу вас и понимаю ваши слова. Я вижу, что вы преображаетесь, чтобы убедить и покорить меня. Нет, вы больше не Ванда Жижка, поруганная девственница, стонущая монахиня, вы — Ванда Прахалиц, которую люди звали графиней фон Рудольштадт, носившая под сердцем того злосчастного, которо-

го теперь они зовут Альбертом.

— Не по произволу людскому зоветесь вы так, — с твердостью возразила Консуэло, — это господь заставил вас возродиться в других условиях, возложив на вас другие обязанности. Этих обязанностей, Альберт, вы либо не знаете, либо презираете их. С нечестивой гордыней углубляясь в прошлые века, вы стремитесь проникнуть в тайны судеб; обнимая взором настоящее и прошедшее, вы приравниваете себя к божеству. Ноя говорю вам, и сама истина, сама вера говорят моими устами: эта мысль, постоянно обращенная к минувшему, — преступление, дерзость. Та сверхъестественная память, которую вы себе приписываете,

— фантазия. Какие-то слабые, мимолетные проблески вы приняли за достоверность, и ваше воображение обмануло вас. В своей гордыне вы воздвигаете целое призрачное сооружение, приписывая себе самые выдающиеся роли в истории ваших предков. Берегитесь, — быть может, вы совсем не тот, кем себя воображаете. Дабы наказать вас, вечное знание, быть может, раскроет вам на мгновение глаза, и вы увидите в своей прежней жизни преступления менее славные и поводы для раскаяния менее доблестные, чем те,

которыми вы осмеливаетесь хвалиться.

Альберт выслушал эту речь с боязливым вниманием, стоя на коленях и закрыв лицо руками.

— Говори, говори, голос неба! Я слышу, но не узнаю тебя, — прошептал он чуть слышно. — Если ты ангел горы, если ты, как мне кажется, небесное видение, появлявшееся передо мной так часто на скале Ужаса, — говори, приказывай моей воле, моей совести, моему воображению. Ты знаешь, что я тоскую по свету, и если я блуждаю во тьме, то только потому, что хочу рассеять ее, чтобы достичь тебя.

— Немного смирения, доверия и покорности вечным законам мудрости, недоступной человеку, — вот истинный путь для вас, Альберт, — сказала Консуэло. — Отрешитесь в душе, и отрешитесь непоколебимо, раз навсегда, от желания познать то, что вне вашего временного, предначертанного вам существования, — и бог снова будет доволен вами, вы снова станете полезны для других, снова будете в мире с самим собой. Бросьте вашу науку, полную гордыни, и, не теряя веры в бессмертие, не сомневаясь в милосердии божьем — оно прощает прошлое и покровительствует будущему, — старайтесь сделать плодотворной, человечной вашу насто-

ящую жизнь, которую вы презираете, тогда как вы должны были бы уважать ее, отдавшись ей самоотверженно, всем существом своим, всеми силами, со всей присущей вам добротой. А теперь, Альберт, взгляните на меня, и пусть ваши глаза прозрят. Я не сестра ваша, не мать: я — друг, которого посылает вам небо, приведшее меня сюда чудесными путями, чтобы вырвать вас из пут безумия и гордыни. Взгляните на меня и скажите чистосердечно и сознательно: кто я и как меня зовут?

Альберт, дрожащий, растерянный, поднял голову и снова взглянул на нее, — во взгляде его было теперь меньше безумия и ужаса, чем раньше.

— Вы заставляете меня перешагнуть через пропасти, — сказал он ей. Вы своими глубокомысленными словами смущаете мой ум, а ведь я, на свое несчастье, считал себя умнее других. Вы повелеваете мне познать и понять наше время и все человеческое. Я не могу этого сделать. Чтоб забыть некоторые фазы моего существования, я должен пройти через ужасные потрясения, а чтобы войти в новую фазу, мне надо сделать усилие, которое приведет меня к могиле. Если вы прикажете мне именем силы, которая, я чувствую, выше моей, приобщить мои мысли к вашим, я

вынужден буду повиноваться, но я знаю, какой борьбы мне это будет стоить, знаю, что заплачу за это жизнью. Сжальтесь же вы, чьи чары имеют надо мной такую власть, помогите мне, — я изнемогаю. Скажите, кто вы? Я вас не знаю, я не помню, чтобы когда-либо видел вас, я даже не знаю, женщина вы или мужчина; вы стоите передо мной, точно таинственная статуя, и я силюсь и не могу припомнить, что она изображает. Помогите, помогите же мне, или я умру.

Лицо Альберта, вначале покрытое лихорадочным румянцем, при последних словах стало мертвенно бледным. Он протянул к Консуэло руки и тут же опустился на пол, чувствуя, что близок к обмороку.

Консуэло, для которой мало-помалу стали ясны тайные свойства его душевной болезни, почувствовала прилив новых сил; это было какое-то наитие. Она взяла его за руки, заставила встать и довела до стула; Альберт опустился на него, изнуренный невероятной усталостью, и тотчас склонился над столом, стоявшим рядом, почти теряя сознание. Борьба, о которой он сейчас говорил, была далеко не фантазией. Он умел овладевать своим рассудком и отгонять безумные видения, снедавшие его мозг, но это стоило

ему огромных усилий, огромных страданий, истощавших его силы. Когда припадок безумия проходил сам собой, Альберт чувствовал себя после него бодрым и как бы обновленным; когда же, чтобы вернуться к нормальному состоянию, он делал усилие своей еще могучей воли, физические силы его истощались, и он впадал в каталептическое состояние. Консуэло поняла, что с ним происходит.

— Альберт, — сказала она, кладя свою холодную руку на его пылающий лоб. — Я вас знаю — и этого довольно. Я принимаю в вас участие — и этого тоже пока для вас довольно. Я запрещаю вам делать малейшее усилие, чтобы узнать меня и говорить со мной. Вы должны только слушать меня, и если мои слова покажутся вам неясными, не торопитесь понять их, а дайте мне объяснить их вам. Все, о чем я вас прошу, это пассивно подчиняться и ни о чем не рассуждать. Можете ли вы отдаться на волю своего сердца и сосредоточить в нем свою жизнь?

— О, как мне хорошо, когда я слушаю вас! — отвечал Альберт. — Говорите, говорите еще и еще… Моя душа — в ваших руках. Кто бы вы ни были, держите ее и не выпускайте, ибо она пойдет стучаться в двери вечности и разобьется о них.

Скажите мне, кто вы, скажите скорей; если я сразу не пойму — объясните мне, а то я, помимо своей воли, пытаюсь узнать вас, и это меня волнует.

— Я — Консуэло, — ответила девушка, — и вы это знаете, раз вы инстинктивно говорите со мной на языке, который из всех вас окружающих понимаю лишь я одна. Я друг, которого вы давно ждете и уже однажды узнали во время пения. С того дня вы покинули свою семью и скрываетесь здесь, и с этой же минуты я ищу вас. Вы несколько раз звали меня через Зденко, но он, исполняя лишь отчасти ваши приказания, не хотел вести меня к вам. Я добралась до вас, преодолев тысячи опасностей…

— Но, не пожелай этого Зденко, вы не смогли бы прийти сюда, — прервал ее Альберт, с трудом приподнимая голову над столом. — Вы — мечта, я это хорошо знаю, и все, что я слышу, — игра моего воображения… О господи, ты убаюкиваешь меня обманчивыми радостями, но внезапно я сам начинаю сознавать беспорядочность, несообразность своих мечтаний. Тогда я снова оказываюсь один, один во всем мире, со своим отчаянием, со своим безумием… О Консуэло! Консуэло! Мечта блаженная и губительная! Где же существо, носящее твое имя и временами принимающее твой

образ? Нет! Ты существуешь только в моем воображении, ты — создание моего бреда… Альберт снова склонил голову на руки, становившиеся все напряженнее и холоднее…

Консуэло видела, что ему грозит летаргия, но, будучи сама совершенно измучена и близка к обмороку, боялась, что не сможет предотвратить ее. Она попробовала отогреть руки Альберта в своих, но ее руки были почти так же безжизненны, как и его.

— Господи, — в отчаянии проговорила она слабым голосом, — помоги двум несчастным, которые почти не в силах поддержать друг друга!

Сама еле живая, взаперти с умирающим, она ниоткуда и ни от кого, кроме Зденко, не могла ждать помощи, а его возвращение казалось ей более страшным, чем желательным.

Ее молитва неожиданно взволновала Альберта.

— Кто-то молится подле меня, — проговорил он, приподнимая свою отяжелевшую голову. — Я не один! О нет, я не один! — прибавил он, смотря на руку Консуэло, сжимавшую его руку. — Рука помощи, таинственное сострадание, человеческое, братское сочувствие! Ты делаешь мою агонию сладостной и наполняешь мое сердце

благодарностью!

Альберт прижался своими ледяными губами к руке Консуэло и замер… Поцелуй этот, задев целомудрие девушки, вернул ее к жизни. Все же она не решилась отнять руку у несчастного и, борясь со смущением и изнеможением, еле держась на ногах, вынуждена была опереться на Альберта и положить другую руку ему на плечо.

— Я чувствую, что оживаю, — проговорил Альберт через несколько минут.

— Мне кажется, что я в материнских объятиях… Тетушка Венцеслава, если это вы подле меня, простите, что я забыл вас, отца, всю семью, — до того забыл, что самые ваши имена едва не исчезли из моей памяти. Я вернусь к вам, не покидайте меня! Но отдайте мне Консуэло, Консуэло — ту, которую я ждал так долго и которую наконец нашел… Теперь я снова потерял ее… А без нее я не могу дышать…

Консуэло хотела что-то сказать ему, но, по мере того как память и силы, казалось, возвращались к Альберту, жизнь словно угасала в Консуэло. Все эти ужасы, усталость, волнения, нечеловеческие усилия доконали ее — у нее больше не было сил бороться. Слова замерли на ее устах, ноги подкосились, в глазах потемнело; она упала на

колени подле Альберта, и голова ее беспомощно ударилась об его грудь. Тут Альберт, словно проснувшись, узнал ее наконец, громко вскрикнул и крепко сжал в объятиях. Словно сквозь завесу смерти, увидела Консуэло его радость, но она не испугала ее: это была святая, целомудренная радость. Девушка закрыла глаза и впала в состояние, которое было не сном, не бодрствованием, а каким-то полнейшим безразличием, близким к бесчувствию.

Глава 44

Когда Консуэло очнулась, она почувствовала, что сидит на довольно твердой постели; не будучи еще в силах приподнять веки, она попыталась, однако, припомнить, где она и что с ней. Но слабость ее была так велика, что это ей не удавалось. Волнения и усталость последних дней оказались выше ее сил, и она тщетно старалась вспомнить, что с ней произошло с момента отъезда из Венеции. Даже самый отъезд из этой приютившей ее родины, где она провела столько счастливых дней, казался ей сном, и для нее было облегчением, — увы, слишком мимолетным, — забыть хотя бы на минуту о своем изгнании и о несчастьях, вызвавших его. Итак, она вообразила, будто все еще находится в своей убогой комнатке на Корте-Минелли, лежит на старой материнской кровати и будто после бурной, тяжелой сцены с Андзолето (неясные воспоминания о ней всплывали в ее памяти) теперь возвращается к жизни и надежде, ощущая его подле себя, слыша его прерывистое дыхание, его нежный шепот. Радость, томная и сладостная, охватила ее сердце, и она с

усилием приподнялась, чтобы взглянуть на своего раскаявшегося друга и протянуть ему руку. Но вместо того она пожала холодную, незнакомую руку, вместо веселого солнца, заливавшего розовым светом белую занавеску ее окна, перед ней мерцал из-под мрачного свода, расплываясь в сыром воздухе, какой-то могильный свет, под собой она чувствовала шкуры диких зверей, а над ней склонилось среди зловещего молчания бледное лицо Альберта, похожего на привидение.

У Консуэло мелькнула мысль, что она живой попала в могилу; она снова закрыла глаза и с болезненным стоном опустилась на свое ложе. Потребовалось несколько минут, пока она смогла разобраться в том, где она и кто этот страшный человек, к которому она попала. Страх, до сих пор заглушавшийся и побежденный ее преданностью и экзальтированным состоянием, теперь овладел ею настолько, что она не решалась даже открыть глаза, опасаясь увидеть нечто ужасное — приготовление к смерти или раскрытый гроб. Почувствовав что-то на лбу, она дотронулась до него рукой. Это была гирлянда из листьев, которою Альберт увенчал ее. Она сняла ее и увидела в ней веточку кипариса.

— Я думал, что ты умерла, о моя душа, о мое уте-

шение»! — воскликнул Альберт, опускаясь подле нее на колени. — И прежде чем последовать за тобой в могилу, я хотел украсить тебя эмблемой брака. Цветы не растут вокруг меня, Консуэло. Только из темного кипариса мог я сплести для тебя свадебный венок. Вот он, не отвергай его. Если нам с тобой суждено умереть здесь, то позволь мне поклясться тебе: если я вернусь к жизни, у меня не будет другой супруги, кроме тебя, а если умру, то умру соединенным с тобой этой неразрывной клятвой.

— Как? Разве мы обручены? — с испугом, растерянно глядя по сторонам, воскликнула Консуэло. — Кто связал нас брачными узами? Кто освятил наш брак?

— Судьба, мой ангел! — ответил Альберт с невыразимой нежностью и грустью. — Не думай уйти от нее! Странная судьба для тебя и тем более для меня. Ты не понимаешь меня, Консуэло, но ты должна узнать истину. Только что ты запретила мне переноситься воспоминаниями в прошлое, во тьму времен. Мое существо повиновалось тебе, и теперь я больше ничего не знаю о предшествовавшей жизни. Но я постиг свою теперешнюю, и я знаю ее: она мгновенно пронеслась вся передо мной, в то время как ты покоилась в объятиях

смерти. Это твоя судьба, Консуэло, принадлежать мне; однако ты никогда не будешь моею. Ты не любишь меня и никогда не полюбишь так, как я люблю тебя. Твоя любовь ко мне — только милосердие, твоя самоотверженность — только героизм. Ты святая, которую господь посылает мне, и ты никогда не будешь для меня женщиной. Я должен умереть, снедаемый любовью, которую ты не можешь разделить. И все же ты будешь моей женой, как сейчас ты уже моя невеста: если мы с тобой погибнем здесь, ты из сострадания согласишься назвать меня своим мужем, хотя ни один поцелуй никогда не должен скрепить это; если же мы увидим солнечный свет, то совесть заставит тебя исполнить по отношению ко мне то, что предначертано богом.

— Граф Альберт, — сказала Консуэло, порываясь встать с ложа, покрытого шкурами черных медведей, напоминавшими погребальный покров,

— я не знаю, что заставляет вас так говорить: слишком восторженная благодарность ко мне или все еще продолжающийся бред. У меня нет больше сил бороться с вашими иллюзиями, и если они обратятся против меня — меня, которая пришла к вам с опасностью для жизни, чтобы

утешить вас и помочь вам, то я чувствую, что не смогу постоять ни за свою жизнь, ни за свободу. Если мое присутствие вас раздражает, а господь покинул меня, да будет его святая воля. Вы думаете, что знаете много, но вы не подозреваете, насколько отравлена моя жизнь и с каким равнодушием я бы пожертвовала ею.

— Я знаю, что ты несчастна, моя бедная, моя святая Консуэло! Знаю, что на челе твоем терновый венец, но сорвать его с тебя мне не дано. Не знаю я ни причин, ни следствий твоих несчастий и не спрашиваю тебя о них. Но я мало любил бы тебя, я был бы недостоин твоего сострадания, если б с первой же нашей встречи не понял, не почувствовал той грусти, которою полны твое сердце и вся твоя жизнь. Чего же тебе бояться меня, о утешенье моей души? Ты, такая стойкая и такая мудрая, ты, которой господь внушил слова, покорившие и оживившие меня в один миг, — неужели в тебе вдруг стал угасать свет веры и разума, раз ты начинаешь страшиться своего друга, своего слуги, своего раба? Приди в себя, мой ангел, взгляни на меня: вот я у ног твоих и навсегда склоняю чело до земли. Чего ты хочешь? Что прикажешь? Быть может, ты желаешь выйти отсюда сейчас же, одна, без меня? Желаешь,

чтобы я никогда больше не показывался тебе на глаза? Какой жертвы ты требуешь? Какую клятву хочешь ты услышать от меня? Все могу я тебе обещать и во всем тебе повиноваться. Да, Консуэло, я могу стать спокойным, покорным и с виду даже таким же благоразумным человеком, как другие. Скажи, буду ли я тогда менее страшен тебе, менее неприятен? До сих пор я никогда не мог делать того, что хотел, отныне же мне дано будет выполнить все, что ты пожелаешь. Быть может, переделав себя так, как ты этого хочешь, я умру, но теперь моя очередь сказать тебе, что моя жизнь всегда была отравлена и я с радостью отдам ее ради тебя.

— Дорогой и великодушный Альберт, — сказала успокоенная и растроганная Консуэло, — говорите яснее, дайте мне наконец проникнуть в глубину вашей непроницаемой души. В моих глазах вы человек, стоящий выше всех других; с самой первой минуты нашей встречи я почувствовала к вам уважение и симпатию, и у меня нет причин скрывать это от вас. Мне все время говорили, будто вы безумец. Но я никогда этому не верила. Все эти рассказы только увеличивали мое уважение к вам и доверие. Тем не менее я не могла не признать, что вы страдаете каким-то

душевным недугом, глубоким и странным. И вот я, быть может самонадеянно, вообразила почему-то, что смогу облегчить ваши страдания. Вы сами способствовали этому моему убеждению. Я пришла к вам, и вы рассказываете обо мне и о себе самом столько глубокого, столько правдивого, что я готова была бы преклониться пред вами, если бы не ваш фатализм, с которым я никак не могу согласиться. Могу я, не оскорбляя вас и не заставляя вас страдать, высказать вам все? — Говорите, Консуэло, я заранее знаю, что вы хотите сказать.

— Хорошо, я дала себе слово высказать вам все. Вы приводите в отчаяние всех, кто вас любит. Они полагают, что должны участливо щадить то, что они называют вашим безумием; они боятся довести вас до крайнего раздражения, если дадут вам заметить, что они видят его, скорбят о нем и страшатся его. Сама я не верю в это безумие и потому без всякого страха спрашиваю вас: почему вы с вашим умом временами производите впечатление безумного? Почему при всей своей доброте вы бываете неблагодарны и высокомерны? Почему такой просвещенный и религиозный человек, как вы, может предаваться мечтаниям больного, разочарованного ума? Наконец, поче-

му сейчас вы в одиночестве, заживо погребены в этом мрачном подземелье, вдали от любящей семьи, которая разыскивает и оплакивает вас, вдали от ближних, о которых вы так ревностно заботитесь, и, наконец, вдали от меня? Ведь вы сами призывали меня и говорили, что меня любите, а между тем если я не погибла, идя к вам, то только благодаря неимоверному усилию воли и покровительству божию.

— Вы спрашиваете у меня тайну моей жизни, смысл моей судьбы, но вы знаете это лучше меня, Консуэло! Я от вас ждал раскрытия моей сущности, а вы мне задаете вопросы. О! Я вас понимаю: вы хотите заставить меня исповедаться, раскаяться и принять непоколебимое решение, которое помогло бы мне восторжествовать над самим собой. Я готов вам повиноваться. Но я не в состоянии в один миг познать себя, разобраться в себе и преобразиться. Дайте мне несколько дней или хотя бы часов на то, чтобы я мог выяснить для вас и для себя самого, безумен я или же владею своим рассудком. Увы! увы! — и то и другое верно. И мое несчастье в том, что у меня на этот счет нет никаких сомнений! Но вот чего я еще не знаю в эту минуту: иду ли я к полной потере ума и воли, или же в состоянии справиться с демо-

ном, который в меня вселился. Сжальтесь надо мной, Консуэло! Я весь еще во власти волнения, которое сильнее меня. Я не помню того, что говорил вам, я не отдаю себе отчета в том, сколько времени вы здесь; я не понимаю, как можете вы быть здесь, если Зденко не хотел привести вас сюда; я не знаю даже, в каком мире витали мои мысли, когда вы явились предо мной. Увы, мне неизвестно, сколько веков нахожусь я в этом заключении, испытывая неслыханные страдания и борясь с ниспосланным мне бедствием. Когда эти страдания проходят, я уже ничего не помню. У меня остается только страшная усталость, оцепенение, какой-то страх, который я хотел бы прогнать... Консуэло, дайте мне забыться хотя бы на несколько мгновений! Мои мысли прояснятся, язык развяжется! Я обещаю вам это, клянусь! Защитите меня от ослепительного света действительности! Он так долго был скрыт от меня в этой ужасной тьме, что глаза мои не в состоянии сразу вынести его. Вы приказали мне сосредоточить всю жизнь в сердце, жить только сердцем. Да, вы мне это сказали, и мое сознание и память живут лишь с того мгновения, как вы заговорили со мной. Слова ваши внесли ангельский покой в мою душу. Сердце мое теперь

живет полной жизнью, но разум мой еще дремлет. Я боюсь говорить вам о себе, так как могу запутаться в своих мыслях и опять напугать вас своим бредом. Я хочу жить только чувством, но эта жизнь мне неведома; она могла бы стать для меня упоительной, отдайся я ей без боязни, что вы будете мной недовольны. Ах, Консуэло, зачем вы сказали мне, чтобы я сосредоточил всю жизнь в моем сердце? Теперь я прошу вас, выскажитесь яснее, позвольте мне думать о вас, видеть и понимать только вас… словом, любить вас. Боже мой! Я люблю! Люблю живое существо, подобное себе! Люблю его всеми силами своего существа. Могу сосредоточить на нем весь свой пыл, всю святость своей любви! Мне вполне достаточно этого счастья, и я не настолько безумен, чтобы требовать большего!

— Ну хорошо, дорогой Альберт! Пусть ваша измученная душа найдет себе успокоение в тихой, нежной, братской любви. Бог — свидетель, что вы можете любить меня так, ничем не рискуя и ничего не боясь. Я чувствую к вам горячую дружбу, какое-то преклонение, которых не могут поколебать никакие мелочные, пустые разговоры и пересуды пошлых людей. Вы поняли благодаря какому-то божественному, таинственному наи-

тию, что жизнь моя разбита горем. Вы это сказали, и высшая истина говорила вашими устами. Я не могу любить вас иной любовью, чем любовью сестры; но не думайте, что во мне говорит только милосердие, жалость. Правда, человеколюбие и сострадание дали мне мужество прийти сюда, но чувство симпатии и особое уважение к вашим душевным качествам дают мне смелость и право говорить с вами так, как я говорю. Раз навсегда откажитесь от заблуждения относительно вашего чувства: никогда не говорите мне ни о любви, ни о браке. Мое прошлое, мои воспоминания делают невозможной любовь между нами, а разница в нашем положении делает такой брак неприемлемым, даже унизительным для меня. Лелея подобные мечты, вы превратили бы мою самоотверженность в нечто безрассудное, почти преступное. Я готова дать вам клятвенное обещание быть вашей сестрой, вашим другом, вашей утешительницей всегда, когда вам только захочется открыть мне свою душу, вашей сиделкой, когда, страдая, вы будете мрачны и удручены. Поклянитесь, что будете видеть во мне только это и не будете любить меня иначе.

— Великодушная женщина, — проговорил Альберт бледнея. — Ты правильно рассчитываешь

на мое мужество и хорошо знаешь мою любовь к тебе, раз добиваешься от меня такого обещания. Я был бы способен солгать в первый раз в жизни, был бы готов унизиться до ложной клятвы, если бы ты этого потребовала. Но ты не потребуешь этого, Консуэло. Ты поймешь, что этим ты внесла бы в мою жизнь новое мучение, а в мою совесть угрызения, никогда еще не осквернявшие ее. Не тревожь себя мыслью, какого рода любовью люблю я тебя, ведь я и сам не отдаю себе в этом отчета; знаю только, что не назвать это чувство любовью было бы святотатством. Всему остальному я подчиняюсь: я принимаю твое сострадание, твою заботу, твою доброту, твою тихую дружбу; я всегда буду говорить с тобой только так, как ты мне разрешишь; я не произнесу ни единого слова, могущего смутить тебя; никогда не взгляну на тебя так, чтобы тебе пришлось опустить глаза; никогда не прикоснусь к твоей руке, если это прикосновение тебе неприятно; я даже не дотронусь до края твоих одежд, если ты боишься, что я могу осквернить их своим дыханием. Но ты будешь неправа, если станешь относиться ко мне с недоверием; лучше поддержи во мне это сладостное возбуждение, — оно дает мне жизнь, а тебе нечего его бояться. Я очень хорошо понимаю, что твое

целомудрие испугали бы слова любви, которой ты не хочешь разделить; я знаю, что из гордости ты оттолкнула бы изъявления страсти, которую ты не желаешь ни пробуждать, ни поощрять. Успокойся же и безбоязненно поклянись мне быть моей сестрой и утешительницей, а я даю тебе клятву быть твоим братом и слугой. Не требуй от меня большего, — я буду скромен и ненавязчив. С меня довольно, если ты будешь знать, что можешь повелевать и самовластно управлять мною… но не как братом, а как существом, которое отдалось тебе целиком и навсегда.

Глава 45

Эти слова успокоили Консуэло относительно настоящего, но не рассеяли ее опасений насчет будущего. Фанатическое самоотречение Альберта вызывалось глубокой и непреодолимой страстью, в этом нельзя было сомневаться, глядя на его лицо и зная его серьезный характер. Консуэло, смущенная и вместе с тем растроганная, спрашивала себя, сможет ли она и дальше посвящать свои заботы человеку, влюбленному в нее так откровенно и так безгранично. Она никогда не смотрела легко на подобного рода отношения, а с Альбертом каждой женщине следовало быть особенно осторожной. Она не сомневалась ни в его честности, ни в его обещаниях, но то, о чем она мечтала, — вернуть ему покой, — теперь казалось ей совершенно несовместимым с его пламенной любовью, раз она не могла отвечать на такую любовь. Со вздохом протянула она ему руку и, устремив глаза в землю, замерла, погрузившись в печальную задумчивость.

— Альберт, — проговорила она наконец, поднимая на него взор и читая в его глазах мучительное

и тревожное ожидание. — Вы не знаете меня, если предлагаете столь неподходящую для меня роль. Только женщина, способная злоупотреблять этой ролью, могла бы на нее согласиться. Я не кокетка, не горда, не считаю себя тщеславной, и во мне нет ни малейшей склонности властвовать. Ваша любовь была бы для меня лестной, если бы я могла разделить ее; и если б я любила вас, то сейчас же сказала бы вам об этом. Я знаю, что огорчаю вас, еще раз повторяя, что это не так, знаю, что говорить такие вещи человеку в вашем состоянии — жестоко, и вам следовало бы избавить меня от необходимости произнести эти слова, но так велит мне совесть, как это мне ни тяжело и как это ни надрывает мое сердце. Пожалейте меня: я вынуждена огорчить, быть может даже оскорбить вас в ту самую минуту, когда я готова отдать жизнь, чтобы возвратить вам счастье и здоровье.

— Я знаю это, благородная девушка, — ответил Альберт с грустной улыбкой. — Ты так добра, так великодушна, что способна отдать жизнь за последнего из людей, но совесть твоя — я знаю и это — ни для кого не пойдет на уступки. Не бойся же обидеть меня, обнаружив непреклонность, которою я восхищаюсь, и стоическую холодность,

которая сочетается у тебя с самой трогательной жалостью. Огорчить меня ты не можешь, Консуэло: я ведь не заблуждался, я привык к жесточайшим страданиям, я знаю, что обречен в жизни на самые мучительные жертвы. Не обращайся же со мной, как с человеком слабым, как с ребенком без сердца и самолюбия, повторяя то, что я знаю, — ибо я знаю, что ты меня никогда не полюбишь. Мне известна вся твоя жизнь, Консуэло, хотя я и не знаю ни твоего имени, ни твоей семьи, никаких обстоятельств твоего телесного существования. Я знаю лишь историю твоей души, а остальное не интересует меня. Ты любила, еще любишь и всегда будешь любить существо, о котором я ничего не знаю, не хочу знать и у которого я не буду тебя оспаривать, разве только ты сама прикажешь мне это. Но знай, Консуэло, никогда ты не будешь принадлежать ни ему, ни мне, ни самой себе. Бог уготовил тебе особое существование. Узнать и предвидеть его обстоятельства я не стремлюсь, но знаю его цель и конец. Раба и жертва своей великой души, ты не получишь в этой жизни иной награды, кроме сознания своей силы и ощущения своей доброты; несчастная в глазах окружающих, ты, несмотря ни на что, будешь самым спокойным, самым

счастливым из всех человеческих существ, так как всегда будешь справедливейшей и лучшей между ними. Ибо жалости достойны лишь злые и подлые люди, дорогая сестра; и пока человек будет несправедлив и слеп, правильны будут слова Христа: «Блаженны гонимые, блаженны плачущие и надрывающиеся в труде».

Сила и величие, сиявшие на высоком и благородном челе Альберта, произвели на Консуэло такое неотразимое впечатление, что, забыв о своей роли гордой повелительницы и сурового друга, она почувствовала себя во власти этого человека, воодушевленного верой и энтузиазмом. Едва держась на ногах от усталости и волнения, она опустилась на колени и, сложив руки, начала горячо молиться вслух:

— О господи, если ты вложил это пророчество в уста святого, да свершится воля твоя и да будет она благословенна! В детстве я молила тебя даровать мне счастье суетное, полное веселья, а ты уготовил мне такое суровое и тяжкое, какого я не могла постичь. Сотвори же, господи, чтобы глаза мои раскрылись и сердце покорилось. Доля моя, казавшаяся мне столь несправедливой, мало-помалу раскрывается перед моими глазами, и я сумею, о господи, примириться с нею, прося

у тебя только того, чего каждый человек вправе ждать от твоей любви и справедливости: веры, надежды и милосердия.

Молясь так, Консуэло почувствовала, как слезы полились у нее из глаз. Она не старалась их удерживать. После стольких волнений, после всего пережитого этот кризис был для нее благодетелен, хотя и ослабил ее еще больше. Альберт молился и плакал вместе с ней, благословляя свои слезы, так долго проливавшиеся в одиночестве и наконец смешавшиеся со слезами великодушного и чистого существа.

— А теперь, — сказала Консуэло, поднимаясь с колен, — довольно думать о себе. Пора заняться другими и вспомнить о наших обязанностях. Я обещала вашим родным вернуть вас. Они в полном отчаянии, плачут и молятся о вас, как об умершем. Хотите ли вы, дорогой Альберт, возвратить им радость и покой? Хотите ли вы последовать за мною?

— Уже? — с горечью воскликнул молодой граф. — Уже расстаться! Так скоро покинуть этот священный приют, где с нами один бог, покинуть эту келью, ставшую мне дорогою с тех пор, как в ней появилась ты, покинуть это святилище счастья, которое, быть может, я никогда уже не

увижу, — покинуть ради того, чтобы вернуться в холодную, лживую жизнь, полную условностей и предрассудков! О нет, душа моя, жизнь моя! Еще один день, который для меня равен целому веку блаженства! Дай мне забыть, что существует мир лжи и несправедливости, преследующий меня, как зловещий сон; дай мне не сразу, а постепенно вернуться к тому, что они называют рассудком. Я еще не чувствую в себе достаточно сил, чтобы выносить зрелище их солнца и их безумия. Мне надо еще созерцать тебя, слушать твой голос. Притом я никогда еще не покидал так внезапно, без долгого раздумья, свое убежище — убежище и ужасное и благодетельное для меня, страшное и спасительное место искупления, куда я бегу без оглядки, где прячусь с дикой радостью и откуда ухожу всегда, испытывая сомнения слишком обоснованные и сожаления слишком длительные. Ты и не подозреваешь, Консуэло, какими крепкими узами прикован я к этой добровольной темнице. Ты не знаешь, что здесь я оставляю свое «я», настоящего Альберта, который и не выходит отсюда; это «я» всегда находится тут, и призрак его зовет и преследует меня, когда я бываю в каком-либо другом месте. Здесь моя совесть, моя вера, мой свет — словом, вся моя действительная

жизнь. Сюда я приношу с собой отчаяние, страх, безумие; часто они нападают на меня и вступают со мной в ожесточенную борьбу. Но, видишь, там, вот за этой дверью, находится святилище, где я побеждаю их и обновляюсь душой. Туда вхожу я осквернённый, со смятенною душой, а выхожу оттуда очищенный; и никто не знает, ценою каких пыток я покупаю терпение и покорность. Не вырывай меня отсюда, Консуэло! Позволь мне уйти медленными шагами, сотворив молитву.

— Войдем туда и помолимся вместе! — сказала Консуэло. — А потом уйдем. Время бежит, и, быть может, уж близок рассвет. Надо, чтобы никто не знал дороги, ведущей отсюда в замок, надо, чтобы никто не видел нашего возвращения; надо, пожалуй, чтобы нас не видели возвращающимися вместе, потому что я не хочу выдавать тайну вашего убежища, Альберт, а пока никто ничего не подозревает о моем открытии. Я не хочу, чтобы меня допрашивали, не хочу лгать. Пусть у меня будет право почтительно молчать перед вашими родными. Пусть они думают, что мои обещания были не чем иным, как предчувствием, мечтою. А увидев нас возвращающимися вместе, они могут в моей сдержанности усмотреть злую волю; и хотя для вас, Альберт, я готова пренебречь всем, я

не хотела бы без надобности лишаться доверия и дружбы вашей семьи. Поспешим же! Я изнемогаю от усталости и если еще пробуду здесь, то, пожалуй, утрачу и последние силы, необходимые мне для обратного пути. Помолимся же и пойдем!

— Ты изнемогаешь от усталости! Так отдохни же здесь, моя любимая! Спи, я благоговейно буду охранять твой сон, а если мое присутствие беспокоит тебя, запри меня в соседнем гроте. Железная дверь будет между нами, и пока ты меня не позовешь, я буду молиться за тебя в моей церкви.

— А в то время как вы будете молиться, я же — предаваться отдыху, ваш отец будет переживать мучительные часы. Я видела однажды, как он, стоя ослабевшими коленями на каменном полу своей молельни, согбенный от старости и горя, бледный, недвижимый, казалось, ждал только вести о вашей смерти, чтобы испустить дух. А ваша бедная тетушка будет метаться, как в жару, перебираясь с башни на башню и тщетно высматривая вас на горных тропинках. И сегодня в замке все опять сойдутся утром и разойдутся вечером в отчаянии и смертельной тоске. Альберт, вы, видимо, не любите ваших родных, раз так безжалостно, без угрызений совести, можете заставлять их томиться и страдать.

— Консуэло! Консуэло! — воскликнул Альберт, казалось пробуждаясь от сна. — Не говори, не говори этого! Ты терзаешь мое сердце. Какое же преступление совершил я? Какие причинил бедствия? Почему они так тревожатся? Сколько же часов протекло с тех пор, как я ушел от них?

— Вы спрашиваете, сколько часов! Спросите лучше, сколько дней, сколько ночей, — чуть ли не сколько недель!

— Дней, ночей?! Молчите, Консуэло, не говорите мне о моем несчастье!

Я знал, что утрачиваю здесь представление о времени, знал, что происходящее на поверхности земли не доходит до этой гробницы… но не подозревал, что это может исчисляться днями и даже неделями!

— Не преднамеренная ли это забывчивость, друг мой? В этих вечных потемках ничто не говорит вам об окончании и возрождении дня: тьма родит вечную ночь. Здесь, кажется, нет у вас даже и песочных часов. Это устранение всяких способов исчисления времени не является ли жестокой предосторожностью, чтобы заглушить угрызения совести, не слышать голоса сердца?

— Признаюсь, что, приходя сюда, я ощущаю потребность отрешиться от всего, что есть во мне

чисто человеческого. Но, боже мой, я не знал, что горе и думы способны до того поглотить мою душу, что часы могут протянуться для меня днями, а дни пролететь как часы. Что же я за человек? И как это никто никогда не сказал мне об этом новом злополучном моем свойстве?

— Напротив, это признак огромной духовной силы. Она только отклонилась от своего пути и направлена исключительно на мрачные размышления. Ваши близкие решили скрывать от вас горести, которые вы причиняете им, они считают нужным, чтобы уберечь вас от страданий, умалчивать о своих собственных. Но, по-моему, поступать так — значит, недостаточно уважать вас, сомневаться в вашем сердце. А я, Альберт, не сомневаюсь в нем и потому ничего не скрываю от вас.

— Идем же, Консуэло, идем! — проговорил Альберт, торопливо набрасывая на себя плащ. — Несчастный! Я заставил страдать отца, которого обожаю, тетушку, которую нежно люблю! Не знаю, достоин ли я увидеть их. Я готов никогда не возвращаться сюда, лишь бы не повторять такой жестокости. Но нет, я счастлив, я встретил дружеское сердце, — оно будет предостерегать меня, оно поможет мне вернуть уважение к самому се-

бе. Наконец-то нашелся человек, который сказал мне правду обо мне и всегда будет говорить ее, не правда ли, дорогая сестра?

— Всегда, Альберт, клянусь вам!

— Боже милостивый! И существо, явившееся мне на помощь, именно то единственное из всех существ, которое я могу слушать, которому я могу верить! Господь знает, что творит! Не подозревая о своем безумии, я обвинял в нем других. Увы! Скажи мой благородный отец то, что вы сейчас мне сказали, я даже не поверил бы ему, Консуэло! Вы — олицетворение самой истины, олицетворение жизни, вы одна можете убедить меня, вы одна можете дать моему помраченному уму небесное спокойствие, которое от вас исходит.

— Пойдемте же, — настаивала Консуэло, помогая ему застегнуть плащ, чего он никак не мог сделать своей неверной и дрожащей рукой.

— Да, пойдем, — повторил он за нею, растроганным взором следя за тем, как она дружески помогает ему. — Но раньше поклянись мне, Консуэло, что, если я вернусь сюда, ты не покинешь меня. Поклянись, что ты еще придешь сюда за мной, хотя бы для того, чтобы осыпать меня упреками, обозвать неблагодарным, отцеубийцей, сказать мне, что я не стою твоих забот! О,

не предоставляй меня самому себе! Ты видишь, что я весь в твоей власти и что одно твое слово убеждает и исцеляет меня лучше, чем целые века размышлений и молитв. — А вы поклянитесь мне, — ответила Консуэло, кладя ему на плечи руки (толстый плащ придал ей смелости) и доверчиво улыбаясь, — поклянитесь, что никогда не вернетесь сюда без меня!

— Так, значит, ты придешь сюда со мной! — воскликнул он, глядя на нее в упоении, но не смея обнять ее. — Поклянись же мне в этом, а я даю тебе обет никогда не покидать отцовского крова без твоего приказания или разрешения.

— Ну, так пусть господь услышит и примет наше взаимное обещание, — сказала Консуэло вне себя от радости. — Мы с вами, Альберт, еще придем сюда помолиться в вашей церкви, и вы научите меня молиться; ведь никто не учил меня этому, а я горю желанием познать бога. Вы, друг мой, раскроете мне небо, а я, когда надо, буду напоминать вам о земных делах и человеческих обязанностях.

— Божественная сестра! — сказал Альберт, и глаза его наполнились радостными слезами. — Поверь, мне нечему учить тебя. Это ты должна исповедать меня, узнать и переродить. Это ты

научишь меня всему, даже молитве. О! Теперь мне не нужно одиночество, дабы возноситься душою к богу. Теперь мне не нужно простираться над костьми моих предков, дабы понять и постичь бессмертие. Мне нужно только посмотреть на тебя, чтобы моя ожившая душа вознеслась к небу как благостный гимн, как очистительный фимиам.

Консуэло увела его, сама открыв и закрыв двери.

— Цинабр, сюда! — позвал Альберт своего верного товарища, подавая ему фонарь, лучше устроенный и более приспособленный для такого рода путешествий, чем тот, который захватила с собой Консуэло. Умное животное с гордым и довольным видом взяло в зубы дужку фонаря и двинулось в путь, останавливаясь, когда останавливался его хозяин, то замедляя, то ускоряя шаг, сообразно с его шагами, придерживаясь середины дороги, чтобы уберечь свою драгоценную ношу от ударов о скалы и кусты.

Консуэло шла с величайшим трудом: она чувствовала себя совсем разбитой, и не будь руки Альберта, который поминутно поддерживал и подхватывал ее, она бы уже раз десять упала. Они спустились вместе вдоль ручья, по его прелестно-

му свежему берегу.

— Это Зденко с такой любовью заботится о наряде здешних таинственных гротов, — пояснил Альберт. — Он расчищает русло реки, которое заносится гравием и ракушками, ухаживает за бледными цветами, вырастающими на берегах, и оберегает их от ее подчас слишком суровых ласк.

Консуэло взглянула сквозь расщелину скалы на небо — там блестела звезда.

— Это Альдебаран, звезда цыган, — проговорил Альберт. — Рассветать начнет только через час.

— Так, значит, это моя звезда, — отозвалась Консуэло. — Ведь я, дорогой граф, если не по происхождению, то по положению — нечто вроде цыганки. Мать мою в Венеции иначе и не звали, хотя она со своими испанскими предрассудками горячо возмущалась этой кличкой. А меня там знали и теперь знают под именем Zingarella.

— Почему ты на самом деле не дитя этого гонимого племени! — воскликнул Альберт. — Я еще больше любил бы тебя, если б это было возможно! Консуэло, которая нарочно заговорила о цыганах, считая, что полезно напомнить графу фон Рудольштадту о различии в их происхождении и положении, вдруг вспомнила рассказы Амелии о симпатиях Альберта к нищим и бродягам, а

вспомнив, сама испугалась, что невольно поддалась бессознательному кокетству, и умолкла.

Но Альберт вскоре прервал молчание.

— То, что вы мне сейчас сказали, — начал он, — пробудило во мне, не знаю уж по какой ассоциации, одно воспоминание моей юности. Оно довольно незначительно, но все же надо вам рассказать об этом, хотя бы уже потому, что с минуты нашей встречи с вами оно не раз с какой-то странной настойчивостью приходило мне в голову. Опирайтесь на меня покрепче, дорогая сестра, пока я буду вам рассказывать.

Мне было около пятнадцати лет; однажды вечером я возвращался один по тропинке, которая, обогнув Шрекенштейн, вьется затем по холмам к замку. Вдруг я заметил впереди себя худую высокую женщину, нищенски одетую, которая тащила на спине тяжелую ношу, часто останавливаясь у скал, чтобы присесть и перевести дух. Я подошел к ней. Загорелая, иссушенная горем и нуждой, она была все-таки красива. Несмотря на ее лохмотья, в ней чувствовалась какая-то скорбная гордость: протягивая мне руку, она, казалось, не молила, а приказывала. Кошелек мой был пуст, и я предложил ей пойти со мной в замок, где я мог оказать ей помощь деньгами, предложить

ужин и ночлег. «Хорошо, так мне это будет даже приятнее, — сказала она с иностранным акцентом, который я принял за цыганский. — Я смогу отблагодарить вас за гостеприимство, пропев вам песни разных стран, где я побывала. Я редко прошу милостыню и делаю это только в крайней нужде».

«Бедная женщина! — сказал я. — У вас тяжелая ноша, а ваши бедные ноги, почти босые, все изранены. Дайте мне узел, я донесу его до дома, вам будет легче идти».

«Ноша эта с каждым днем становится все тяжелее и тяжелее, — промолвила женщина с печальной улыбкой, которая сразу превратила ее в красавицу. — Я ношу ее уже несколько лет, проделала с ней сотни миль и никогда не жалуюсь на это. Я никогда никому ее не доверяю, но вы кажетесь мне таким добрым юношей, что вам я могу позволить донести ее до дома».

Говоря это, она расстегнула плащ, закрывавший ее всю (из-под него выглядывала только шейка гитары), и я увидел ребенка пяти-шести лет, бледного, загорелого, как и мать, с кротким, спокойным личиком, растрогавшим мне сердце. Это была девочка, вся в лохмотьях, худая, но крепкая, спавшая ангельским сном на горячей,

усталой спине бродячей певицы. Я взял ребенка на руки, но мне с трудом удалось удержать его, так как, проснувшись и увидев, что лежит на руках у чужого, девочка стала вырываться и плакать. Мать заговорила с ней на своем языке, стараясь успокоить ее. Мои ласки и заботы утешили ребенка, и, подходя к замку, мы были с нею уже совсем друзьями. Поужинав и уложив девочку в постель, которую я для них велел приготовить, бедная женщина переоделась в странный наряд, еще более жалкий, чем ее лохмотья; взяв гитару, она явилась в столовую, где мы сидели за ужином, и стала нам петь испанские, французские и немецкие песни. Мы были очарованы ее прекрасным голосом и тем чувством, с каким она их пела. Моя добрая тетушка была очень внимательна к ней и добра. Казалось, певица была тронута этим, но продолжала держаться так же гордо, уклончиво отвечая на все наши вопросы. Ее ребенок заинтересовал меня больше даже, чем она сама. Мне хотелось еще посмотреть на девочку, позабавить ее и даже совсем оставить у себя. Какое-то нежное, заботливое чувство проснулось во мне к этому бедному маленькому существу, в нищете странствующему по свету Всю ночь девочка снилась мне, а утром я побежал взглянуть на нее. Но

цыганка уже исчезла; я помчался на гору, но и там не нашел ее. Она поднялась до света и ушла по дороге, ведущей на юг, со своим ребенком и моей гита рой, которую я ей отдал, так как ее собственная, к великому ее огорчению, разбилась.

Альберт! Альберт! — в страшном волнении вскричала Консуэло. — Эта гитара в Венеции и хранится у моего учителя Порпоры; я возьму ее у него и никогда уже с нею не расстанусь. Она из черного дерева с серебряным вензелем, который я прекрасно помню: «А Р.» У матери моей была плохая память, — слишком уж много видела она на своем веку, и она не помнила ни вашего имени, ни названия замка, ни даже самой страны, где все это случилось. Но она мне часто рассказывала о гостеприимстве, оказанном ей владельцем этой гитары, и о трогательной доброте юного красавца вельможи, который нес меня целых полмили на руках и разговаривал с нею, как с равной О дорогой Альберт я тоже все это помню! По мере того как вы рассказывали, давно забытые образы один за другим вставали предо мной. Вот почему ваши горы показались мне не совсем уж незнакомыми, вот почему в этой местности мне все время что-то смутно вспоминалось! И главное — вот почему при первом же взгляде на вас я почувствовала

странный трепет и невольно с почтением склонилась перед вами, как перед старым другом и покровителем, давно утраченным, но о котором я всегда вспоминала с сожалением.

А ты думаешь, Консуэло, воскликнул Альберт прижимая ее к груди, — что я не узнал тебя сразу с первой же минуты? Что из того, что с годами ты выросла, изменилась, похорошела? У меня такая память (дар чудесный, хотя часто и пагубный), которой не нужно ни глаз, ни слов, чтобы действовать на протяжении дней и веков. Правда, я не знал, что ты и есть моя дорогая маленькая Zmgarella, но был уверен что уже видел тебя, любил, прижимал к своему сердцу которое с той минуты, неведомо для меня самого, привязалось к твоему и слилось с ним на всю мою жизнь.

Глава 46

Разговаривая таким образом, они дошли до разветвления двух дорог, где Консуэло встретила Зденко, и уже издали увидели свет фонаря, который он поставил подле себя на землю. Консуэло, знавшая теперь опасные причуды и атлетическую силу юродивого, невольно прижалась к Альберту.

— Почему вы боитесь этого кроткого и любящего человека? — спросил молодой граф, удивленный и вместе с тем обрадованный выражением этого испуга. — Зденко нежно привязан к вам, хотя после приснившегося ему вчера дурного сна он и не хотел исполнить мое желание и несколько неприязненно отнесся к вашему великодушному плану прийти сюда за мной. Но стоит мне проявить настойчивость, и он делается послушным, как ребенок. Скажи я хоть слово, и он будет у ваших ног. — Не унижайте его в моем присутствии, — сказала Консуэло. — Не усиливайте его ненависти ко мне. Когда мы его обгоним, я скажу вам, какие у меня причины опасаться и избегать его.

— Зденко — существо почти неземное, — возразил Альберт, — и я никогда не поверю, чтобы он мог быть опасен для кого-либо. Состояние экстаза, в котором он постоянно находится, делает его чистым и милосердным, как ангел.

— Это состояние экстаза, которым я и сама восхищаюсь, Альберт, превращается в болезнь, когда оно длительно. Не заблуждайтесь на этот счет: богу не угодно, чтобы человек отрешался до такой степени от ощущения и сознания действительности и так часто уносился в область туманных представлений идеального мира. Безумием и яростью кончается такого рода опьянение. Оно является как бы возмездием за гордыню и праздность.

Цинабр остановился перед Зденко, посмотрел на него с дружелюбным видом, очевидно ожидая какой-нибудь ласки, которой, однако, тот не удостоил его. Юродивый сидел, обхватив голову обеими руками, в той же позе и на той же самой скале, где его оставила Консуэло. Альберт обратился к нему по-чешски, но он едва ответил. Он уныло качал головой, по щекам его струились слезы, а на Консуэло он не хотел и взглянуть. Альберт, повысив голос, стал выговаривать ему, но в тоне его было больше нежности и увещания, чем

приказания и упрека. Наконец Зденко поднялся и протянул руку Консуэло. Та, дрожа, пожала ее.

— Теперь, — заговорил Зденко по-немецки, глядя на нее кротко, хотя и с грустью, — тебе нечего бояться меня, но ты делаешь мне очень больно, и я чувствую, что рука твоя полна наших бед.

Он пошел впереди, обмениваясь время от времени несколькими словами с Альбертом. Они шли по просторной, прочно сделанной галерее, по которой Консуэло еще не проходила и которая привела их в пещеру с круглым сводом, где они снова очутились у источника, низвергавшегося в широкий искусственный бассейн, выложенный обтесанными камнями. Отсюда вода растекалась двумя потоками: один терялся в галереях, другой устремлялся к водоему замка. Его-то и перекрыл Зденко, навалив своими геркулесовыми руками три огромных камня. Снимал же он их тогда, когда хотел опустить уровень воды в колодце ниже свода и лестницы, ведущей к террасе молодого графа.

— Посидим здесь, — сказал Альберт своей спутнице, — пока вода из водоема уйдет через отводную трубу…

— Которая мне слишком хорошо известна, — проговорила Консуэло, дрожа всем телом.

— Что вы хотите этим сказать? — спросил Альберт, с удивлением глядя на нее.

— Я расскажу вам это когда-нибудь после, — ответила Консуэло. — А сейчас я не хочу ни расстраивать, ни волновать вас рассказом об опасностях, которые мне удалось преодолеть…

— Но что же такое она хочет рассказать? — с ужасом воскликнул Альберт, глядя на Зденко.

Зденко что-то ответил по-чешски, продолжая с равнодушным видом месить своими большущими загорелыми руками глину, которой он замазывал щели между камнями, ускоряя этим опорожнение цистерны.

— Объяснитесь, Консуэло! — обратился к ней страшно взволнованный Альберт. — Я ничего не понимаю из того, что он мне говорит. Зденко утверждает, что не он провел вас сюда, но что вы якобы сами прошли недоступными подземельями, куда слабая женщина никогда бы не отважилась пробраться, да просто и не смогла бы этого сделать. Он говорит (чего только не болтает этот несчастный), что вас вела судьба и что архангел Михаил (которого он называет гордецом и властолюбцем) провел вас через воды и бездну.

— Возможно, — улыбаясь, ответила Консуэло, — что в это дело и вмешался архангел Михаил,

ибо я действительно шла по руслу источника, опередила несшийся за мною поток, раза два-три уже считала себя погибшей, проходила по каким-то пещерам и каменоломням, где на каждом шагу могла задохнуться или провалиться… и все-таки эти опасности были не так ужасны, как ярость Зденко в ту минуту, когда случай или провидение вывели меня на верную дорогу.

Тут Консуэло, все время говорившая с Альбертом по-испански, рассказала ему в немногих словах о своей встрече с его «миролюбивым» Зденко, о том, как он пытался похоронить ее заживо, что и было бы приведено им в исполнение, если бы она не догадалась укротить его странным еретическим приветствием. Холодный пот выступил на лбу Альберта, когда он узнал эти невероятные подробности; слушая Консуэло, он не раз бросал на Зденко грозные взгляды, точно собираясь уничтожить его. Заметив это, Зденко принял странно вызывающий, презрительный вид. Консуэло дрожала, боясь, как бы эти два безумца не набросились друг на друга. Для нее теперь было ясно, что, несмотря на возвышенный ум и утонченность чувств, рассудок Альберта испытал тяжелые потрясения, от которых, пожалуй, никогда не оправится вполне. Она попыталась

примирить двух безумцев, ласково говоря с обоими, но Альберт встал и, подав Зденко ключи от своего тайного убежища, очень холодно сказал ему несколько слов. Тот немедленно подчинился, взял фонарь и, распевая непонятные песни, удалился.

— Консуэло, — сказал Альберт, когда Зденко скрылся из виду, — если бы это верное животное, лежащее у ваших ног, взбесилось — да, да, если бы мой бедный Цинабр невольно своей яростью подверг опасности вашу жизнь, мне пришлось бы его убить. Поверьте, рука моя не дрогнула бы, хотя мне никогда не приходилось проливать кровь даже тех существ, которые стоят ниже человека. Будьте же спокойны, вам теперь больше не грозит ни малейшей опасности.

— О чем вы говорите, Альберт? — спросила Консуэло, встревоженная этим неожиданным намеком. — Теперь мне нечего бояться! Зденко все-таки человек, хотя и потерявший рассудок по своей, а может быть, отчасти и по вашей вине. Не говорите ни о крови, ни о наказании! Вы обязаны вернуть его на путь истинный, излечить его, а не поддерживать его бред. А теперь идемте! Я дрожу при мысли, что рассветет раньше, чем мы успеем вернуться.

— Ты права, — проговорил Альберт, снова пускаясь в путь. — Сама мудрость говорит твоими устами, Консуэло. Мое безумие оказалось заразительным для этого несчастного, и ты явилась вовремя, чтобы отвести нас обоих от бездны, куда мы с ним катились. Исцеленный тобою, я постараюсь исцелить и Зденко… Но если это мне не удастся, если его безумие будет грозить твоей жизни, то, хотя Зденко и божий человек и ангельски добр ко мне, хотя он единственный настоящий друг, которого я имел до сих пор на земле… будь уверена, Консуэло, я сумею вырвать его из своего сердца, и больше ты его никогда не увидишь.

— Довольно, довольно, Альберт, — прошептала Консуэло, уже не в силах после всех пережитых ужасов испытывать еще новые. — Не останавливайте своих мыслей на подобных предположениях! Я готова лучше сто раз умереть, чем внести в вашу жизнь необходимость такого поступка и такое отчаяние. Но Альберт не слушал ее; казалось, он совсем лишился рассудка. Он уже не помнил, что ее надо поддерживать, не замечал, что она шатается от усталости и чуть не падает на каждом шагу. Всецело поглощенный мыслями об опасностях, пережитых ею ради него, с ужасом

рисуя себе все это, охваченный каким-то восторженно-благодарным чувством, он мчался вперед, что-то отрывисто выкрикивая и не обращая внимания на то, что она с трудом тащится за ним.

В этом отчаянном положении Консуэло вспомнила о Зденко, который был позади и мог вернуться, вспомнила о потоке, который он все еще, так сказать, держал в своих руках и который мог спустить в тот миг, когда она, лишенная помощи Альберта, стала бы одна подниматься к водоему, — потому что Альберт, во власти какого-то нового бреда, полагал, что она идет впереди, и, несясь за этим обманчивым призраком, оставлял ее во мраке. Это было слишком для женщины, даже для такой, как Консуэло. Цинабр бежал так же быстро, как и его хозяин, он со всех ног мчался вперед, унося в зубах фонарь. Свой же фонарь Консуэло оставила в убежище Альберта. Дорога то и дело поворачивала, вследствие чего свет поминутно исчезал. Наткнувшись впотьмах на какой-то выступ, Консуэло упала и не нашла сил подняться. Смертельный холод охватил ее. Еще одна страшная мысль промелькнула в ее мозгу: вероятно, Зденко получил приказание через определенное время открыть шлюзы, чтобы, напустив воду, скрыть лестницу и выход из

колодца; даже независимо от своей ненависти к ней, он должен был по привычке выполнить эту необходимую предосторожность.

«Итак, все кончено! — подумала Консуэло, тщетно силясь ползти. — Я жертва неумолимого рока! Мне не выйти из этого рокового подземелья, глазам моим не увидеть больше дневного света!..»

Уже пелена, гуще окружавшего ее густого мрака, стала заволакивать ей взор, руки окоченели, какая-то апатия, похожая на последний предсмертный сон, заглушила страх... И вдруг она почувствовала, что чьи-то могучие руки поднимают ее, сжимают, уносят по направлению к колодцу... чья-то пылающая грудь трепещет у самой ее груди, согревая ее; чей-то дружеский, ласковый голос шепчет ей нежные слова. Цинабр прыгает перед нею с качающимся фонарем. Это Альберт, придя в себя, уносит, спасает ее со страстью матери, потерявшей было и вновь нашедшей своего ребенка. За три минуты они дошли до канала, из которого только что ушла вода, достигли арки и лестницы колодца. Цинабр, привыкший к этому опасному подъему, бросился вперед, словно боясь, что помешает хозяину, путаясь под его ногами. Альберт, держа одной рукой

Консуэло, а другой хватаясь за цепь, поднялся по винтовой лестнице в тот момент, когда вода уже бурлила на дне колодца. Эта опасность была не меньше других, перенесенных ею раньше, но Консуэло уже не ощущала страха. Альберт вообще обладал такой физической силой, пред которой сила Зденко казалась игрушечной, а в данную минуту, под влиянием невероятного возбуждения, сила эта стала просто сверхъестественной. Когда при свете занимающейся зари он опустил свою драгоценную ношу на закраину колодца, Консуэло наконец облегченно вздохнула и, оторвавшись от тяжело дышавшей груди Альберта, вытерла его высокий вспотевший лоб своим шарфом.

— Друг, — нежно сказала она, — если б не вы, я была бы мертва; вы отплатили за все, сделанное мною для вас; я чувствую сейчас вашу усталость больше, чем вы сами, и мне кажется, что на вашем месте я бы не выдержала.

— О моя маленькая Zingarella! — с восторгом воскликнул Альберт, целуя шарф, которым она вытирала его лицо. — Ты не тяжелее для меня, чем в тот день, когда я нес тебя со Шрекенштейна в этот самый замок.

— Замок, откуда вы, Альберт, не выйдете боль-

ше без моего разрешения; не забывайте своих клятв!

— А ты своих! — ответил он, опускаясь перед ней на колени.

Он закутал Консуэло шарфом и провел ее в свою комнату, откуда она тихонько проскользнула к себе. Замок просыпался. В нижнем этаже уже слышался сухой, резкий кашель канониссы — признак, что она проснулась. Консуэло посчастливилось: никто не видел и не слышал, как она добралась до своей комнаты. Дрожащей рукою сняла она с себя разорванную и испачканную одежду и, заперев ее в сундук, вынула из замка ключ. У нее еще нашлись силы скрыть все следы своего таинственного путешествия; но едва положила она свою измученную голову на подушку, как ее охватил тяжелый, лихорадочный сон, полный фантастических видений и кошмаров, и она вытянулась на постели во власти неумолимой горячки.

Глава 47

Между тем канонисса Венцеслава, посвятив полчаса молитве, поднялась по лестнице, и, как всегда, первая мысль ее была о дорогом племяннике. Она направилась к дверям его комнаты и приложила ухо к замочной скважине, хотя меньше чем когда-либо надеялась услышать легкий шорох, говорящий об его возвращении. Каковы же были ее удивление и радость, когда до нее донеслось ровное дыхание спящего! Осенив себя крестом, она решилась тихонько отворить дверь и на цыпочках войти в комнату. Альберт спокойно спал на своей постели, а Цинабр, свернувшись клубком, — на соседнем кресле. Не разбудив ни того, ни другого, она побежала к графу Христиану, который, распростершись в своей часовне, молился с обычным смирением о возвращении ему сына на небесах или на земле.

— Братец, — тихо сказала Венцеслава, опускаясь на колени рядом с ним, — оставьте ваши молитвы и ищите в сердце своем самые горячие благодарения: господь услышал вас!

Больше ей ничего не нужно было объяснять.

Старик, повернувшись к сестре и прочтя в ее маленьких светлых оживленных глазах глубокую, сочувственную радость, поднял к алтарю свои иссохшие руки и угасшим голосом воскликнул:

— Боже! Ты возвратил мне сына! И оба в едином религиозном порыве стали поочередно произносить вполголоса слова прекрасной молитвы Симеона Богоприимца: «Ныне отпущаеши раба твоего, владыко…»

Решено было не будить Альберта. Призвали барона, капеллана, всех слуг и благоговейно прослушали в домовой церкви замка благодарственное молебствие. Амелия искренне обрадовалась, узнав о возвращении двоюродного брата, но решила, что совершенно напрасно ради благочестивого празднования этого счастливого события ее подняли в пять часов утра и заставили промучиться целую длинную обедню, во время которой ей пришлось подавить не один зевок.

— Почему ваша подруга, добрейшая Порпорина, не пришла поблагодарить бога вместе с нами? — спросил граф Христиан племянницу, когда служба кончилась.

— Я пробовала ее разбудить, — ответила Амелия, — звала, тормошила, прибегала ко всяким способам, но мне не удалось ни втолковать ей

что-либо, ни заставить ее открыть глаза. Если бы она не пылала в жару и не была красна, как огонь, я, право, подумала бы, что она мертва. Должно быть, она очень плохо спала эту ночь, и сейчас ее лихорадит.

— Так, видимо, она больна, эта достойная особа! — проговорил граф.

— Дорогая сестра Венцеслава, вам бы следовало пойти взглянуть на нее и сделать все, что требует ее состояние. Избави бог, чтобы такой радостный день был омрачен болезнью этой благородной девушки!

— Хорошо, братец, — ответила канонисса, бросая вопросительный взгляд на капеллана (в последнее время она ничего не предпринимала по отношению к Консуэло, не посоветовавшись с ним). — Но вы не беспокойтесь, Христиан, ничего страшного нет, просто синьора Нина очень нервна и, наверно, скоро выздоровеет... Но разве не удивительно, — обратилась она к капеллану, отведя его в сторону, — что эта девушка с такой уверенностью предсказала возвращение Альберта? Господин капеллан, уж не ошиблись ли мы с вами относительно нее? Может, она и вправду вроде святой и у нее бывают откровения?

— Святая присутствовала бы на обедне, а не

лежала в такую минуту в лихорадке, — глубокомысленно изрек капеллан.

Это мудрое замечание вызвало глубокий вздох у канониссы. Однако она все-таки пошла навестить Консуэло и обнаружила у нее сильный жар, сопровождаемый непреодолимой сонливостью. Был приглашен капеллан, который заявил, что болезнь может оказаться очень серьезной, если жар продлится. Он спросил молодую баронессу, как провела ночь ее соседка, не очень ли была беспокойна.

— Напротив, — ответила та, — ее совсем не было слышно. А я, по правде сказать, после всех ее предсказаний и чудесных сказок, которые она рассказывала в последние дни, ожидала услышать в ее комнате дьявольский шабаш. Но, должно быть, сатана уносил ее далеко отсюда или она имеет дело с очень благовоспитанными бесенятами, ибо, по-моему, тишина была полная и мой сон ни разу не был потревожен.

Капеллану эти шутки Амелии очень не понравились, а канонисса, у которой недостаток ума искупался сердечностью, сочла их попросту неуместными у постели тяжело больной подруги. Но она ничего не сказала, приписав колкости племянницы ревности, имевшей, без сомнения,

слишком основательную причину, и спросила капеллана, какие лекарства надо давать Порпорине.

Он прописал успокоительное средство, но оказалось невозможным заставить больную проглотить его: зубы ее были стиснуты и запекшиеся губы отказывались от всякого питья. Капеллан нашел это плохим признаком, но с апатией, заразившей, к несчастью, весь дом, отложил установление диагноза до следующего дня, сказав: «Посмотрим, надо выждать; сейчас еще ничего не определить». Таковы вообще были приговоры этого эскулапа в рясе.

— Если не наступит перемена, — сказал он, выходя из комнаты Консуэло, — придется подумать о том, чтобы пригласить врача. На себя я не возьму лечение столь необычного нервного заболевания. Я помолюсь о синьоре; быть может, принимая во внимание то душевное состояние, в котором она пребывала в последнее время, помощь господа окажется более действенной, чем помощь врачебного искусства.

Оставив подле Консуэло служанку, все отправились готовиться к завтраку. Канонисса собственноручно испекла пирог, вкуснейший из всех, когда-либо выходивших из ее искусных рук.

Она радовалась, представляя, с каким удовольствием Альберт после столь продолжительного поста полакомится своим любимым кушаньем. Красавица Амелия облеклась в новое ослепительное платье, рассчитывая, что Альберт, увидя ее такой обольстительной, быть может, пожалеет, что обижал и раздражал ее. Каждый думал о том, как бы порадовать молодого графа. Позабыто было лишь одно существо, которым, однако, надо было прежде всего заняться, — бедная Консуэло, та, кому родные были обязаны возвращением Альберта и кого он, конечно, жаждал поскорее увидеть.

Альберт вскоре проснулся и, не прибегая к тщетным попыткам отдать себе отчет в том, что с ним было накануне, как это обычно бывало с ним после припадков безумия, увлекавших его в подземное убежище, сразу вспомнил и свою любовь, и счастье, которое дала ему Консуэло. Он вскочил, оделся, надушился и побежал обнять отца и тетку. Радость родных была неописуема, когда они увидели, что Альберт вполне в здравом уме, что он сознает свое долгое отсутствие, горячо и нежно упрашивает их простить его, обещая никогда больше не причинять, им такого горя и беспокойства. Он увидел, в каком восторге были

его близкие от того, что он вернулся к действительности. Но от него не ускользнули также их старания скрыть от него его прежнее состояние, и его даже немного задело, что с ним продолжают обращаться как с ребенком, в то время как он снова стал мужчиной. Однако он покорился этой каре, в сущности ничтожной по сравнению с его виной, и говорил себе, что получил спасительное предупреждение и Консуэло будет довольна, что он понял это и примирился.

Сев за стол, окруженный ласками, вниманием, заботами, даже радостными слезами своей семьи, он с беспокойством стал искать глазами ту, которая стала теперь необходима для его счастья и для его спокойствия. Он видел, что ее место пусто, и не решался спросить, почему Порпорина не появляется. Канонисса, заметив, что племянник, вздрагивая, оборачивается каждый раз, как отворяются двери, нашла нужным успокоить его, сказав, что молодая гостья плохо спала прошлую ночь и теперь отдыхает, пожелав провести часть дня в постели.

Альберт прекрасно понимал, что его освободительница должна изнемогать от усталости, но все-таки при этом известии испуг отразился на его лице. — Тетушка, — обратился он к канониссе,

не будучи в силах скрывать дальше свое волнение, — если бы приемная дочь Порпоры была серьезно больна, мы не сидели бы, я полагаю, так спокойно за столом, кушая и беседуя?

— Успокойтесь, Альберт, — вмешалась Амелия, вспыхнув от досады. — Нина, постоянно бредившая вами и предвещавшая ваше возвращение, теперь спит в ожидании его, в то время как мы здесь радостно его празднуем. Альберт побледнел от негодования и, гневно глядя на двоюродную сестру, проговорил:

— Если кто здесь и ждал меня, не теряя при этом сна, то совсем не та особа, о которой вы упомянули: свежесть ваших щек, моя прелестная кузина, говорит о том, что вы не потеряли ни единого часа сна в мое отсутствие и что в настоящую минуту вы совсем не нуждаетесь в отдыхе. От всего сердца благодарю вас за это, так как мне было бы очень тяжело просить у вас прощения в том, в чем я со стыдом и болью прошу его у всех прочих моих родных и друзей.

— Очень благодарна за исключение, — возразила Амелия, побагровев от гнева. — Постараюсь и впредь его заслужить, а свои бессонные ночи и беспокойство приберегу для кого-нибудь другого, кто сумеет оценить это, а не высмеивать.

Эта легкая перестрелка — явление, далеко не новое между Альбертом и его невестой, никогда, впрочем, не носившее до сих пор у обеих сторон такого резкого характера, — набросила какую-то тень грусти и принужденности на весь остаток утра, несмотря на всеобщие старания развлечь Альберта. Канонисса несколько раз навещала больную и каждый раз находила ее все в более и более тяжелом состоянии. Беспокойство, проявленное Альбертом в отношении Консуэло, задело Амелию как личное оскорбление, и она ушла поплакать в свою комнату. Капеллан высказался в том смысле, что, если до вечера жар не уменьшится, нужно будет послать за врачом.

Граф Христиан задержал сына подле себя, чтобы отвлечь его от тревожных мыслей, которых он не мог понять, продолжая считать их проявлением болезни. Но, стараясь привлечь сына ласковыми словами, добрый старик никак не мог найти темы для беседы и душевных излияний, так как ни разу не осмелился исследовать душу сына до глубины, из опасения, что этот более сильный ум победит и разобьет его самого в религиозных вопросах. Правда, граф Христиан называл безумием и вольнодумством проблески яркого света, сквозившие в странных речах Альберта, — слабые

глаза правоверного католика не выдерживали этого блеска, — но в душе он сочувствовал сыну, в то же время противясь желанию серьезно расспросить его. Каждый раз, когда граф Христиан пытался опровергнуть еретические суждения Альберта, прямые и веские доказательства последнего принуждали его умолкнуть. Природа не наделила старика красноречием, он не обладал способностью многословно и складно оспаривать взгляд противника и еще менее способен был прибегать к шарлатанству в споре, иными словами, стараться, за недостатком логики, произвести впечатление призрачной ученостью и смелостью доказательств. Простодушный и скромный, он умолкал, упрекая себя, что в юные годы не изучил тех трудных предметов, в которых его побивал Альберт. Будучи уверен, что в бездне богословских наук таятся сокровища истины, которыми более ловкий и более ученый человек, чем он, сумел бы разбить ересь Альберта, он цеплялся за свою поколебленную веру и, чтобы не действовать более энергично, прикрывался своим невежеством и простотою, лишь усиливавшим гордыню вольнодумца и приносившими ему, таким образом, больше вреда, чем пользы.

Их разговор раз двадцать прерывался в силу

какого-то обоюдного опасения и раз двадцать возобновлялся благодаря обоюдным усилиям, а под конец оборвался сам собой. Старый Христиан задремал в кресле, а Альберт, покинув его, пошел справиться о состоянии Консуэло, которое тем больше его пугало, чем больше старались скрыть ее болезнь.

Более двух часов проблуждал он по коридорам, подстерегая канониссу или капеллана, чтобы узнать хоть что-нибудь о Консуэло. Капеллан отвечал ему кратко и сдержанно, а канонисса, завидя издали племянника, спешила принять веселый вид и завести разговор совсем о другом, чтобы обмануть его кажущимся спокойствием. Но Альберт хорошо видел, что она начинает не на шутку тревожиться и все чаще и чаще заходит в комнату Консуэло; от его наблюдательности не укрылось также и то, что никто не стеснялся поминутно открывать и закрывать двери, мало заботясь о том, что этот стук и возня могут потревожить Консуэло, спящую якобы мирным и столь необходимым ей сном. Он отважился даже подойти к этой комнате, за минутное пребывание в которой готов был бы отдать жизнь. Перед ней была другая комната, так что две плотных двери, не пропускавшие ни малейшего звука, отделяли

ее от коридора. Канонисса, заметив стремление племянника проникнуть к Консуэло, заперла обе двери на ключ и на задвижку, а сама стала ходить через находившуюся рядом комнату Амелии, куда Альберт вошел бы справиться о больной не иначе, как со страшным отвращением. Наконец, видя, в каком он отчаянии, и боясь возвращения его недуга, тетка решилась на ложь: в душе моля бога простить ей, она сказала племяннику, что больная чувствует себя гораздо лучше и даже собирается спуститься в столовую к обеду.

Альберт не мог усомниться в словах тетки, никогда до сих пор не осквернявшей своих чистых уст ложью, и отправился к старому графу, не зная, как дождаться часа, который должен был вернуть ему Консуэло и счастье. Но этот желанный час пробил для него напрасно: Консуэло не появилась.

Канонисса, делая большие успехи в искусстве лжи, рассказала, будто больная встала было, но, почувствовав некоторую слабость, предпочла обедать у себя в комнате. Канонисса даже сделала вид, что посылает больной лучшие куски самых тонких блюд. Благодаря всем этим хитростям тревога Альберта несколько улеглась. Хотя он и испытывал гнетущую тоску, как бы предчув-

ствуя неслыханное несчастье, однако покорился, сделав над собой усилие, чтобы казаться спокойным.

Вечером Венцеслава с довольным видом, уже почти не притворяясь, сообщила, что Порпорине лучше: щеки ее уже не пылают, пульс скорее слаб, чем учащен, и, по-видимому, она должна хорошо провести ночь.

«Но почему же, несмотря на эти добрые вести, я все-таки холодею от ужаса? — спрашивал себя молодой граф, прощаясь в обычное время перед сном со своими родными.

Дело в том, что добрейшая канонисса, несмотря на свою худобу и свой горб, никогда не болела, а потому ничего не понимала в болезнях. И вот, видя, что Консуэло из багрово-красной стала синевато-бледной, что ее бурлящая кровь как будто застыла в жилах, а грудь, не имевшая сил вдыхать воздух, кажется спокойной и неподвижной, она сочла ее выздоровевшей и сейчас же с детской доверчивостью объявила об этом. Но капеллан, несколько больше ее смысливший в заболеваниях, понимал прекрасно, что это кажущееся спокойствие — лишь предвестник жестокого кризиса, и, как только Альберт ушел к себе, предупредил канониссу, что наступил момент послать

за доктором. К несчастью, город был далеко, ночь темна, дороги ужасны, а Ганс, несмотря на все свое усердие, чрезвычайно медлителен. К тому же разразилась гроза, полил сильный дождь. Старая лошадь, на которой ехал старый слуга, всего пугалась, раз двадцать спотыкалась и кончила тем, что вместе с растерявшимся седоком, видевшим в каждом холме Шрекенштейн, а в каждой сверкающей молнии — огненный полет злого духа, заблудилась в лесах. Только когда уже совсем рассвело, удалось Гансу выбраться на верную дорогу. Погоняя насколько было сил свою лошадь, добрался он до города, где в это время доктор еще крепко спал. Проснувшись, доктор стал медленно одеваться, собираться и наконец пустился в путь. Таким образом, на все это были потрачены целые сутки.

Альберт тщетно старался уснуть. Тревога, снедавшая его, и зловещие раскаты грома всю ночь не давали ему сомкнуть глаз. Сойти вниз он не смел, боясь вызвать негодование тетки, которая и так уже утром отчитала его за неуместное и неприличное хождение около комнат девиц. Он оставил свою дверь открытой, и несколько раз ему казалось, что внизу ходят. Он выскакивал на лестницу, но, никого не увидев и ничего не

услышав, старался успокоить себя, объясняя напугавшие его обманчивые звуки шумом дождя и порывами ветра. С той минуты, как Консуэло потребовала, чтобы он бережно относился к своему рассудку и душевному состоянию, Альберт терпеливо и твердо старался побороть в себе и волнения и страхи, сдерживая свою любовь силой этой самой любви. Но вдруг среди раскатов грома, треска и стона древних стен замка, сквозь вой урагана до него донесся долгий душераздирающий крик, пронзивший его, словно удар кинжала. Тут Альберт, который только что бросился, не раздеваясь, на постель, решив заснуть, вскочил, опрометью спустился по лестнице и постучал в дверь Консуэло. Но здесь уже снова царила тишина, и никто не открыл ему. Он уже решил, что все это ему приснилось, но вот раздался новый крик, еще более страшный, еще более зловещий, от которого у него похолодело сердце. Уже без всяких колебаний бежит он темным коридором, стучится у двери Амелии, кричит, что это он, Альберт. Слышится стук задвигающегося засова, и голос Амелии повелительно приказывает ему удалиться. А между тем крики и стоны становятся все громче: это голос Консуэло, полный нестерпимой муки; он слышит, как обо-

жаемые уста в отчаянии выкрикивают его имя. С бешенством напирает он на дверь, срывает замок и задвижку и, отбросив на кушетку Амелию, которая разыгрывает оскорбленную невинность, ибо ее застали в шелковом капоте и кружевном чепчике, мертвенно бледный, со вставшими дыбом волосами, врывается в комнату Консуэло.

Глава 48

Консуэло, в страшном бреду, билась в руках двух самых сильных в доме служанок, которые едва удерживали ее в постели. Несчастной мерещились, как это бывает иногда при мозговой горячке, неслыханные ужасы, и она стремилась убежать от преследовавших ее страшных видений, а в женщинах, которые удерживали ее и старались успокоить, она видела остервенелых врагов, чудовищ, жаждущих ее гибели. Растерявшийся капеллан, который ждал, что она с минуты на минуту умрет, сраженная недугом, уже читал над нею отходную, а больная принимала его за Зденко, замуравливающего ее под бормотание своих таинственных напевов. В дрожащей канониссе, пытавшейся своими слабыми силами помочь служанкам удержать больную, Консуэло видела призрак то одной, то другой Ванды — то сестры Жижки, то матери Альберта. Ей мерещилось, что обе они поочередно появляются в пустынном гроте отшельника и упрекают ее в том, что она, вторгшись в их владения, присвоила себе их права. Ее восклицания, стоны, ее бред,

непонятный для окружающих, были в прямой связи с виденным и слышанным ею в прошлую ночь, со всем тем, что так сильно взволновало и поразило ее. Консуэло чудился рев потока, и она делала руками движения, словно плыла, и встряхивала свои распущенные черные волосы, как бы сбрасывая с них воображаемую пену. Она ощущала все время присутствие Зденко: то позади нее он открывает шлюзы, то впереди с ожесточением преграждает ей путь. Она твердила все время о камнях и воде, что заставило капеллана сказать, качая головой: «Какое, однако, длительное и тяжелое сновидение. Не знаю, право, почему в последнее время она так неотступно думала об этом колодце? Наверное, это было начало болезни: слышите, она все время упоминает о нем в своем бреду».

В ту минуту, когда Альберт вне себя ворвался в ее комнату, Консуэло, выбившись совсем из сил, лепетала какие-то невнятные слова, а потом вдруг опять принялась дико кричать. Воображение ее, не сдерживаемое больше силой воли, заставляло девушку снова со страшным напряжением переживать испытанные ею ужасы. Но что-то похожее на какой-то смысл проскальзывало минутами в ее бреду, и она начинала звать

Альберта таким звучным и звенящим голосом, что, казалось, самые стены дома должны были содрогнуться, потом крики эти переходили в рыдания, которые, казалось, грозили задушить ее, хотя ее блуждавшие глаза были сухи и блестели устрашающим блеском.

— Я здесь! Я здесь! — закричал Альберт, бросаясь к ее постели.

Консуэло услыхала его и, вообразив, что Альберт бежит впереди нее, со стремительностью и силой, какие придает горячка даже самым слабым организмам, вырвалась из державших ее рук и, растрепанная, босая, в одной тонкой, измятой белой ночной сорочке, делавшей ее похожей на привидение, выскочила на середину комнаты. В ту минуту, когда ее собирались снова схватить, она с ловкостью дикой кошки перепрыгнула через стоявший перед нею спинет, метнулась к окну, приняв его за отверстие рокового колодца, стала одной ногой на подоконник, протянула руки и, снова выкрикнув в бурную, зловещую ночь имя Альберта, выбросилась бы из окна, если бы Альберт, еще более быстрый и сильный, чем она, не схватил ее на руки и не перенес обратно на кровать. Она его не узнала, но совершенно не сопротивлялась и перестала кричать. Альберт,

не жалея самых нежных слов, стал по-испански горячо уговаривать ее. Она слушала его, устремив глаза в одну точку, не видя и не отвечая ему; вдруг она привстала, опустилась на своей кровати на колени и запела строфу из «Te Deum» Генделя, которого недавно начала с восторгом изучать. Никогда еще голос ее не звучал с такой силой, с таким чувством, никогда не была она так хороша, как в эту минуту экстаза: волосы ее распустились, яркий лихорадочный румянец горел на щеках, а глаза, казалось, читали что-то в небесах, разверзшихся для них одних. Канонисса была до того растрогана, что вся в слезах упала на колени у кровати, а капеллан, несмотря на свою недоброжелательность, склонил голову, охваченный религиозным чувством. Закончив строфу, Консуэло глубоко вздохнула, и божественная радость озарила ее лицо.

— Я спасена! — крикнула она, падая навзничь, бледная и холодная, как мрамор; глаза ее, хотя и открытые, словно потухли, губы посинели, руки окоченели.

На минуту воцарилось молчание, даже какое-то оцепенение. Амелия, не решавшаяся войти и наблюдавшая эту страшную сцену стоя у порога, от ужаса упала в обморок. Канонисса и обе

женщины бросились к ней на помощь. Консуэло, мертвенно бледная, покоилась на руках у Альберта, который, припав головой к груди умирающей, казался таким же мертвецом, как и она. Канонисса, распорядившись уложить Амелию в кровать, снова появилась на пороге комнаты.

— Ну что, господин капеллан? — спросила она, совсем убитая.

— Это смерть, сударыня, — проговорил капеллан глухим голосом, опуская руку Консуэло после безуспешных попыток нащупать ее пульс.

— Нет! Это не смерть! Нет! Тысячу раз нет! — воскликнул Альберт, порывисто приподнимаясь. — Я лучше освидетельствовал ее сердце, чем вы ее пульс. Оно еще бьется, она дышит, она жива! О! Она будет жить! Не так и не теперь суждено ей кончить жизнь! Кто отважился подумать, что бог приговорил ее к смерти?! Настала минута, когда надо серьезно заняться ею. Господин капеллан, дайте мне ваш ящик. Я знаю, что ей нужно, а вы не знаете. Да делайте же то, что я вам говорю, несчастный! Вы не оказали ей помощи, — вы могли предотвратить этот ужасный припадок, и вы этого не сделали, не пожелали сделать! Вы скрыли от меня ее недуг, вы все обманули меня. Вы хотели ее гибели, не правда ли? Ваша трусливая

осторожность, ваше отвратительное равнодушие сковали вам язык и руки! Дайте мне ваш ящик, говорю я вам, и предоставьте мне действовать.

И так как капеллан не решался передать ему свои лекарства, боясь, чтобы в неопытных руках возбужденного, полупомешанного человека они не стали смертельным ядом, Альберт вырвал ящик из его рук. Не обращая внимания на уговоры тетки, он сам выбрал и отвесил быстро действующее и сильное успокоительное средство: Альберт был гораздо более сведущ во многих вещах, чем думали его близкие. В ту пору своей жизни, когда он еще отдавал себе отчет в болезненных явлениях своего мозга, он изучал на самом себе действие самых сильных средств. Человек смелый, к тому же вдохновленный страстной преданностью к любимой женщине, он быстро принял решение и вот теперь приготовил лекарство, к которому никогда не отважился бы прибегнуть капеллан. Ему удалось, вооружившись необыкновенным терпением и нежностью, разжать зубы больной и заставить ее проглотить несколько капель этого сильно действующего средства. Через час, в продолжение которого он несколько раз давал ей это лекарство, Консуэло начала свободно дышать, руки ее потеплели, лицо несколько оживилось.

Она еще ничего не слышала и не чувствовала, но состояние ее уже походило на что-то вроде сна, даже губы немного порозовели. В это время появился доктор. Видя серьезность положения, он заявил, что его позвали слишком поздно и что он не ручается за исход болезни. По его мнению, надо было еще накануне пустить кровь, а теперь момент упущен и кровопускание может лишь вызвать новый припадок.

— Пусть припадок повторится, — проговорил Альберт, — но кровь пустить надо.

Доктор — немец, тяжеловесный субъект с большим самомнением, привыкший к тому, что его слушают, как оракула, ибо во всей округе у него не было конкурентов, — приподнял свои тяжелые веки и, моргая, посмотрел на того, кто позволил себе так смело решить подобный вопрос.

— Говорю вам, необходимо сделать кровопускание, — настойчиво повторил Альберт. — Будет ли пущена кровь или не будет, припадок все равно повторится.

— Позвольте, — возразил доктор Вецелиус, — это вовсе не так неизбежно, как вы изволите думать. — И улыбнулся несколько презрительной, иронической улыбкой.

— Если припадок не повторится, все конче-

но, — проговорил Альберт, вы сами должны это знать. Такая сонливость прямо ведет к притуплению умственных способностей, к параличу, к смерти. Ваш долг овладеть недугом, повысить его интенсивность, для того чтобы преодолеть его. Словом, вам надо бороться, а иначе к чему ваше присутствие здесь? Молитвы и погребение — не ваше дело. Пустите кровь, или я сам пущу ее!

Доктор прекрасно знал, что Альберт был прав, и сам собирался пустить кровь, но ему казалось, что такому значительному лицу, как он, не подобает высказаться сразу и тотчас перейти к действию: могли бы подумать, что болезнь проста и лечение несложно. А наш немец любил напугать, напустить на себя глубокомысленные колебания, недоумения, среди которых его как бы вдруг осеняла гениальная мысль — и тогда он победоносно выходил из затруднений. Это давало возможность сказать то, что о нем говорили тысячу раз: «Болезнь была так запущена, приняла такое опасное течение, что сам доктор Вецелиус призадумался. Никто, кроме него, не смог бы уловить нужный момент и сделать то, что надо. Да, это человек чрезвычайно осторожный, очень знающий! Словом, большой человек! Такого доктора и в Вене не найти!»

Видя, что ему противоречат, припертый к стене нетерпением Альберта, он ответил:

— Если вы врач и пользуетесь тут авторитетом, то я совершенно не понимаю, зачем меня пригласили? Мне остается только уехать.

— Если вы не желаете своевременно приступить к делу, то можете удалиться, — проговорил Альберт.

Доктор Вецелиус, глубоко оскорбленный тем, что его пригласили к больной одновременно с каким-то неизвестным коллегой, относящимся к нему без должного почтения, встал и прошел в комнату Амелии: ему надо было заняться еще этой молодой нервической особой, не переставшей звать его к себе, и проститься с канониссой. Но последняя не отпустила его.

— О нет, дорогой доктор, вы не можете покинуть нас в таком положении! Подумайте, какая ответственность лежит на нас! Мой племянник обидел вас. Но стоит ли придавать значение вспыльчивости человека, который так мало владеет собой?

— Неужели это граф Альберт? — спросил пораженный доктор. — Я никогда бы не узнал его. Как он переменился!

— Конечно, за те десять лет, что вы его не виде-

ли, в нем произошло много перемен.

— А я, признаться, считал его совершенно выздоровевшим, — не без ехидства заметил Вецелиус, — поскольку меня ни разу не приглашали к нему со времени его возвращения.

— Ах, любезный доктор, вы прекрасно знаете, что Альберт никогда не соглашался подчиниться указаниям науки.

— Но, однако, он, как видно, сам стал врачом?

— Он знает кое-что во всех областях, но всюду вносит свою кипучую стремительность. Ужасное состояние, в котором он застал эту молодую девушку, очень его взволновало; если бы не это — поверьте, вы бы нашли его более вежливым, более рассудительным, более признательным вам за те заботы, которые вы проявляли о нем, когда он был ребенком.

— Боюсь, что он сейчас более чем когда-либо нуждается в них, — возразил доктор, которому, несмотря на все почтение, питаемое к графской семье и замку, все-таки легче было огорчить канониссу, намекая на сумасшествие ее племянника, чем отрешиться от своей пренебрежительной манеры и от мелочной мести.

Жестокость доктора очень огорчила канониссу, тем более что обиженный Вецелиус мог распро-

странить в округе слух о душевном состоянии ее племянника, которое она так тщательно от всех скрывала. Она промолчала, надеясь этим обезоружить доктора, и смиренно спросила его мнение относительно предлагаемого Альбертом кровопускания.

— В настоящую минуту я считаю это нелепостью, — заявил Вецелиус, желая сохранить за собой инициативу и изречь собственными устами решение, когда ему это заблагорассудится.

— Я подожду часок-другой, послежу за больной, — продолжал он, — и когда наступит нужный момент, будь это даже раньше, чем я предполагаю, я сделаю то, что надо. Но во время кризиса, при теперешнем состоянии ее пульса, я не могу сказать заранее ничего определенного.

— Так вы остаетесь у нас? Да благословит вас бог, дорогой доктор!

— Коль скоро мой противник — молодой граф, — проговорил Вецелиус с сострадательно-покровительственной улыбкой, — меня ничто не может удивить: пусть говорит себе, что хочет.

Доктор собирался уже вернуться в комнату Консуэло, дверь в которую была закрыта капелланом, чтобы Альберт не мог слышать приведенного сейчас разговора, когда сам капеллан, бледный

и растерянный, оставив больную, прибежал за ним.

— Ради бога, доктор! — воскликнул он. — Идите, примените свой авторитет, ибо моего граф Альберт не признает, да, кажется, он не послушался бы и голоса самого господа! Граф продолжает стоять на своем и, вопреки вашему запрету, все-таки хочет пустить кровь умирающей; и, уверяю вас, он это сделает, если только нам с вами не удастся силой или хитростью удержать его. Одному богу известно, умеет ли он даже держать в руках ланцет! Он может если не убить, то во всяком случае искалечить ее несвоевременным кровопусканием.

— Конечно, — насмешливо проговорил доктор со злорадным эгоизмом бессердечного человека, тяжелым шагом направляясь к двери. — То ли еще мы с вами увидим, если мне не удастся образумить его!

Но когда он подошел к кровати, Альберт уже держал в зубах окровавленный ланцет; одной рукой он поддерживал руку Консуэло, в другой держал тарелку. Вена была вскрыта, и темная кровь обильно текла из нее. Капеллан стал охать, возмущаться, призывать небо в свидетели. Доктор попытался шутками отвлечь Альберта, думая

потом незаметно закрыть вену, с тем чтобы снова открыть ее, когда ему вздумается, и весь успех приписать себе. Но Альберт остановил его выразительным взглядом. Когда вытекло достаточное количество крови, он с ловкостью опытного оператора наложил на ранку повязку, потом тихонько прикрыл руку Консуэло одеялом и, протянув канониссе флакон с нюхательными солями, чтобы та давала его вдыхать больной, пригласил капеллана и доктора в комнату Амелии.

— Господа, — обратился он к ним, — вы никак не можете быть полезны лицу, которое я лечу. Нерешительность или предрассудки парализуют ваше усердие и ваши знания. Объявляю вам, что я все беру на себя и не хочу, чтобы вы отвлекали меня и мешали мне в таком серьезном деле. А потому я прошу господина капеллана идти читать свои молитвы, а господина доктора прописывать лекарства моей кузине. Я не допущу больше ни мрачных прогнозов, ни приготовлений к смерти у постели лица, к которому скоро должно вернуться сознание. Да будет вам это известно, господа! Если я оскорбляю этим ученого и огорчаю друга, то готов буду просить у них прощения, когда смогу думать о себе.

Высказав все это спокойным, ласковым тоном, так противоречившим сухости его слов, он вернулся в комнату Консуэло, запер за собой дверь на ключ и, положив его в карман, сказал канониссе:

— Никто не войдет сюда и не выйдет отсюда без моего разрешения.

Глава 49

Ошеломленная канонисса не посмела ответить племяннику ни слова. В выражении его лица, во всей его осанке была такая непреклонность, что добрейшая тетка даже испугалась и инстинктивно, с необыкновенной готовностью и образцовой аккуратностью начала исполнять все его желания. Доктор, видя, что его авторитет решительно не признается, и не рискуя вступать в препирательства с буйнопомешанным, как он потом рассказывал, благоразумно удалился. Капеллан отправился молиться. Альберт же с помогавшими ему теткой и двумя служанками провел весь день в комнате Консуэло, ни на минуту не ослабляя своего ухода за ней. После нескольких часов спокойствия у больной снова повторился припадок, но только более короткий. Когда благодаря сильным успокоительным средствам припадок затих, Альберт стал уговаривать тетку пойти соснуть и прислать какую-нибудь женщину на смену двум служанкам, которым тоже нужно было отдохнуть.

— А вы, Альберт, разве не хотите отдохнуть? —

робко спросила Венцеслава.

— Нет, дорогая тетушка, я совершенно не нуждаюсь в отдыхе.

— Увы, — ответила она, — вы себя убиваете, дитя мое… Дорого же нам обойдется эта иностранка! — добавила, уходя к себе, расхрабрившаяся старушка, заметив, что молодой граф не слушает ее.

Все же Альберт согласился немного перекусить, чтобы набраться сил, которые, он чувствовал, могли ему понадобиться. Он поел в коридоре стоя и не спуская глаз с двери. Кончив, он бросил салфетку на пол и вернулся в комнату больной, затем наглухо закрыл дверь к Амелии, чтобы те немногие лица, которых он допускал, проходили коридором. Тем не менее Амелия сделала вид, будто хочет ухаживать за подругой. Но она бралась за все так неловко, приходила в такой ужас от всякого движения больной, так боялась новых судорог, что Альберт, выйдя из себя, попросил ее ни во что не вмешиваться, идти в свою комнату и заняться своими делами.

— В мою комнату? — отвечала Амелия. — Если бы даже приличие и позволяло мне спать в комнате, отделенной от вас одной дверью, — ведь вы, можно сказать, поселились у меня, — то неужели

вы думаете, что я в состоянии заснуть хоть на минуту, слыша эти раздирающие душу вопли, эту страшную агонию?

Альберт, пожав плечами, ответил ей, что в замке много других комнат и что она может выбрать любую, пока больная не будет перенесена в помещение, где ее соседство никого не обеспокоит.

Раздосадованная Амелия последовала этому совету. Тяжелее всего ей было смотреть на нежные, можно сказать материнские заботы, которыми Альберт окружал ее соперницу.

— Ах, тетушка! — воскликнула она, бросаясь на шею канониссы, когда та устроила ее в собственной спальне, где велела поставить еще одну кровать рядом со своей. — Мы с вами не знали Альберта: теперь мы видим, как он умеет любить!

Несколько дней Консуэло была между жизнью и смертью. Но Альберт боролся с недугом так упорно и так искусно, что наконец ему удалось победить его. Как только девушка оказалась вне опасности, он велел перенести ее в одну из башен замка. Здесь дольше бывало солнце, и вид отсюда был красивее и шире, чем из других окон. Вообще комната эта со своей старинной мебелью более соответствовала серьезным вкусам Консуэло, чем

та, куда нашли нужным поместить ее по приезде, и уже давно можно было понять из ее слов, что ей хотелось бы жить там. Здесь ей не угрожала назойливость подруги, и, несмотря на постоянное присутствие женщины, сменявшейся утром и вечером, она могла проводить в сущности наедине со своим спасителем томительные и сладостные дни своего выздоровления. Они всегда говорили по-испански: нежные слова, осторожно выражавшие страсть Альберта, были милее для слуха Консуэло на языке, напоминавшем ей родину, мать, детство. Преисполненная горячей благодарности, измученная страданиями, от которых избавил ее один Альберт, она теперь предавалась тому дремотному покою, который наступает после тяжкого кризиса. Память ее мало-помалу пробуждалась, но как-то неравномерно. Так, например, живо припоминая с чистой и понятной радостью помощь и самоотверженность Альберта в главные моменты их встреч, она в то же время как-то неясно, как бы сквозь густое облако, прозревала заблуждения его рассудка и всю глубину его слишком серьезной страсти. Бывали часы, когда после сна или приема успокоительного лекарства все, что возбуждало в ней прежде недоверие и страх к ее великодушному

другу, представлялось ей каким-то бредом. Она до того привыкла к нему и его заботам о себе, что, когда он уходил, по ее же просьбе, обедать со своей семьей, она волновалась и плохо себя чувствовала, пока он отсутствовал. Ей казалось, что успокоительные средства, приготовленные и поданные не им самим, производят на нее обратное действие; когда же он сам подносил их ей, она с медленной и полной значения улыбкой, удивительно трогательной на красивом лице, с которого еще не совсем исчезла тень смерти, говорила:

— Теперь, Альберт, я верю, что вы чародей: стоит вам повелеть капле воды оказать на меня благотворное действие, и она моментально передает мне и ваше спокойствие и вашу силу.

Впервые в жизни Альберт был счастлив; а так как душа его, казалось, была способна с такой же силой чувствовать радость, с какой она чувствовала скорбь, то в этот период его жизни, период восторгов и упоения, он был счастливейшим человеком на земле. Комната, где он во всякое время, без докучных свидетелей, мог видеть любимую, стала для него раем. Ночью, когда все в доме ложились спать, он, делая вид, будто тоже идет к себе, тихонько пробирался в

эту комнату. Сиделка, которой поручено было следить за больной, крепко спала, он прокрадывался к кровати своей дорогой Консуэло, глядел и не мог наглядеться на нее, спящую, бледную, поникшую, словно цветок после бури. Потом он усаживался в большое кресло (уходя, он никогда не забывал поставить его у постели больной) и проводил в нем всю ночь, засыпая таким чутким сном, что стоило Консуэло пошевельнуться, как он уже нагибался над нею и прислушивался к тому, что она бормотала слабым голосом; а когда девушка, взволнованная каким-нибудь сном, тревожимая остатками прежних страхов, искала его руки, дружеское пожатие всегда готово было ее успокоить. Если сиделка просыпалась, Альберт обыкновенно говорил ей, что только что вошел, и у той создалось впечатление, что молодой граф раза два-три в ночь навещает свою больную. А между тем он и получаса за всю ночь не проводил в своей комнате. Консуэло, так же как и сиделка, ошибалась на этот счет, — хотя она чаще замечала присутствие Альберта, но была еще так слаба, что ему ничего не стоило ввести ее в заблуждение насчет продолжительности своих посещений. Иногда среди ночи, когда она начинала умолять его идти спать, он уверял ее,

что уже близок рассвет и что он только что встал. Благодаря этим невинным обманам Консуэло, никогда не страдая от его отсутствия, в то же время не беспокоилась по поводу того утомления, которому он подвергал себя ради нее.

Правда, несмотря на все, усталость его была так незначительна, что он даже не замечал ее. Любовь дает силы самым слабым, а у Альберта был исключительно крепкий организм, да к тому же никогда в сердце человеческом не жила такая огромная, живительная любовь, как теперь у него. Когда с первыми лучами солнца Консуэло с трудом добиралась до своей кушетки, стоявшей у полуоткрытого окна, Альберт усаживался позади нее и в мчавшихся облаках и пурпурных лучах восходящего солнца силился прочесть те мысли, которые вид неба мог пробудить в его молчаливой подруге. Иногда он незаметно брал в руки кончик тонкого шарфа, который она набрасывала себе на голову и который теплый ветерок развевал по спинке кушетки, и, склонив голову, словно отдыхая, тихо прижимался к нему губами. Однажды Консуэло, потянув шарф к себе на грудь, обратила внимание на то, что конец его теплый и влажный. Обернувшись с большей живостью, чем она это делала обычно во время болезни,

она увидела своего друга в необыкновенно возбужденном состоянии: щеки его пылали, глаза горели лихорадочным огнем, он тяжело дышал. Альберт мгновенно овладел собой, но все-таки успел прочесть испуг на лице Консуэло. Это глубоко опечалило его. Он предпочел бы увидеть в ее глазах презрение и суровость, чем признаки страха и недоверия. Он решил следить за собой настолько внимательно, чтобы никогда больше воспоминанием о своем безумии не потревожить ту, которая исцелила его от этого безумия почти ценою собственной жизни и рассудка.

Он добился этого благодаря силе воли, какой, пожалуй, не нашел бы в себе и более уравновешенный человек. Он уже давно привык сдерживать пыл своих чувствований, борясь с частыми и таинственными приступами своего недуга, и окружающие даже не подозревали, как велика была его власть над собой. Они не знали, что чуть ли не каждый день ему приходилось подавлять сильнейшие припадки и что только окончательно сокрушенный глубочайшим отчаянием и безумием он убегал в свою неведомую пещеру, оставаясь победителем даже в своем поражении, так как все же был в состоянии скрыть от людских взоров свое падение. Альберт при-

надлежал к числу безумцев, достойных самой глубокой жалости и самого глубокого уважения: он знал о своем безумии и чувствовал его приближение вплоть до момента, когда бывал всецело им охвачен. Но даже и тут, в самый разгар своих припадков, он сохранял смутное воспоминание о действительном мире и не желал показываться, пока окончательно не придет в себя. Такое воспоминание о реальной деятельной жизни мы все храним, когда тяжелые сновидения погружают нас в жизнь вымысла и бреда. Мы боремся порой с этими ночными страхами и кошмарами, мы говорим себе, что это бред, и пытаемся проснуться, но какая-то злая сила вновь и вновь захватывает нас и снова повергает в ту страшную летаргию, где нас осаждают и терзают зловещие и мучительные видения.

В подобных чередованиях протекала насыщенная бурными переживаниями и вместе с тем жалкая жизнь этого непонятного человека; спасти его от страданий могло только сильное, тонкое и нежное чувство. И такое чувство появилось наконец в его жизни. Консуэло была как раз такою чистой душою, которая, казалось, была создана для того, чтобы проникнуть в эту мрачную душу, до сих пор недоступную для глу-

бокой любви. В заботливости молодой девушки, порожденной вначале романтическим энтузиазмом, в ее почтительной дружбе, вызванной признательностью за самоотверженный уход за нею во время болезни, было нечто пленительное и трогательное, нечто такое, что господь счел, видимо, особенно подходящим для исцеления Альберта. Весьма возможно, что, если бы Консуэло откликнулась, позабыв о прошлом, на его пылкую любовь, эти новые для него восторги и внезапная безмерная радость могли бы повлиять на него самым печальным образом. Но ее застенчивая, целомудренная дружба должна была медленно, но более верно способствовать его исцелению. Это являлось одновременно и уздою и благодеянием для него; и если обновленное сердце молодого человека было опьянено, то к опьянению примешивалось чувство долга, жажда самоотвержения, дававшие его мыслям иную пищу, а его воле — иную цель, нежели та, которая поглощала его до сих пор. Он испытывал одновременно и счастье быть любимым так, как никогда еще не был любим, и горе не быть любимым с такою страстью, какую испытывал сам, и, наконец, страх, что потеряет это счастье, если покажет, что он не вполне им удовлетворен. Все

эти чувства до такой степени заполняли его душу, что в ней не оставалось места для фантазий, на которые так долго наталкивали его бездействие и одиночество. Теперь он, словно по волшебству, избавился от этих мечтаний, он забыл о них, и образ любимой удерживал его несчастья на расстоянии, встав, словно небесный щит, между ним и ими.

Итак, отдых для ума и покой для чувств, необходимые для восстановления сил юной больной, теперь лишь изредка и ненадолго нарушались тайным волнением ее врача. Консуэло, как мифологический герой, спустилась в преисподнюю, чтобы вывести из нее своего друга, — и вынесла оттуда для себя самой ужас и безумие. Теперь он, в свою очередь, старался освободить ее от мрачных мыслей, и благодаря его нежным заботам и страстной почтительности ему это удалось. Опираясь друг на друга, они вступали вместе в новую жизнь, не смея, однако, оглядываться назад и думать о той бездне, откуда они вырвались. Будущее было для них новою бездной, не менее таинственной и ужасной, куда они тоже не отваживались заглядывать. Зато они могли спокойно наслаждаться настоящим, этим благодатным временем, которое им ниспослало небо.

Глава 50

Остальные обитатели замка были далеко не так спокойны. Амелия была взбешена и больше не удостаивала больную своими посещениями. Она подчеркнуто не разговаривала с Альбертом, не смотрела на него, даже не отвечала на его утреннее и вечернее приветствие. И ужаснее всего было то, что Альберт, по-видимому, совершенно не замечал ее досады.

Канонисса, видя явную, нескрываемую страсть племянника к «авантюристке», не знала теперь ни минуты покоя. Она ломала себе голову, придумывая, как бы избавиться от такой опасности, как положить конец такому скандалу, и по этому поводу у нее не прекращались совещания с капелланом. Но почтенный пастырь не очень-то желал прекращения создавшегося положения вещей. Давно уже он не играл никакой роли в семейных тревогах, а со времени последних волнений его роль снова сделалась более значительной: наконец-то он мог позволить себе такое удовольствие, как шпионить, разоблачать, предупреждать, предсказывать, советовать, — словом,

мог по своему усмотрению вертеть домашними делами, причем все это проделывать втихомолку, укрывшись от гнева молодого графа за юбками старой тетки. Оба они не переставали находить новые поводы к тревогам, новые причины быть настороже. Одного им никогда не удавалось — найти спасительный выход. Не было дня, когда бы добрейшая Венцеслава не пыталась вызвать своего племянника на решительное объяснение, но каждый раз его насмешливая улыбка или ледяной взгляд заставляли ее умолкнуть и разрушали ее планы. Ежеминутно она искала удобного случая проскользнуть к Консуэло, чтобы ловко и строго отчитать ее, но ежеминутно Альберт, точно предупрежденный домашними духами, появлялся на пороге комнаты и, подобно Юпитеру Громовержцу, одним движением бровей сокрушал гнев и замораживал мужество богов, враждебных его дорогой Трое. Все же канониссе удалось несколько раз заговорить с больной, и так как минуты, когда они оставались с глазу на глаз, были очень редки, то она старалась воспользоваться ими, чтобы наговорить ей разных нелепостей, казавшихся ей самой чрезвычайно многозначительными. Но Консуэло была так далека от приписываемых ей честолюбивых замыс-

лов, что ровно ничего не поняла из этих намеков. Ее удивление, ее искренность, доверчивость моментально обезоруживали добрую канониссу, которая никогда в своей жизни не могла устоять против откровенного тона и сердечной ласки. Сконфуженная, она шла к капеллану поведать ему о своем поражении, и остаток дня проходил в обсуждении планов на завтрашний день.

Между тем Альберт, отлично догадываясь об этих уловках и видя, что разговоры тетки начинают удивлять и беспокоить Консуэло, решил положить им конец. Однажды он подкараулил Венцеславу в ту минуту, когда та ранехонько утром, не рассчитывая встретить его, пробиралась к Консуэло; она уже взялась было за ручку двери, собираясь войти в комнату больной, как вдруг перед нею предстал племянник.

— Милая моя тетушка, — проговорил он, ласково отрывая ее руку от двери и поднося к своим губам, — мне надо сказать вам по секрету нечто очень для вас интересное, а именно: жизнь и здоровье особы, которая лежит здесь, для меня гораздо драгоценнее, чем моя собственная жизнь, чем мое собственное счастье. Я прекрасно знаю, что по наказу вашего духовника вы считаете своим долгом препятствовать проявлению моей

преданности и стараетесь, насколько возможно, сократить мои заботы о ней. Не будь этого влияния, ваше благородное сердце никогда не позволило бы вам горькими словами и несправедливыми упреками мешать выздоровлению больной, едва вырвавшейся из когтей смерти. Но раз уж фанатизм или мелочность пастыря могут делать чудеса, могут превращать искреннее благочестие и чистейшее милосердие в слепую жестокость, то я всеми силами буду противодействовать этому злодеянию, орудием которого согласилась сделаться моя бедная тетушка. Теперь я буду охранять свою больную день и ночь, я ни на минуту не покину ее, а если, несмотря на все мои старания, вы умудритесь отнять ее у меня, то клянусь самой страшной для верующих клятвой, навсегда покину дом моих предков. Надеюсь, что господин капеллан, узнав от вас о нашем разговоре, перестанет терзать вас и бороться с великодушными порывами вашего материнского сердца.

Бедная канонисса совсем остолбенела и на речь племянника смогла ответить только слезами. Разговор происходил в конце коридора, куда Альберт увел ее, опасаясь, чтобы Консуэло не услышала их. Придя немного в себя, Венцеслава

стала горячо упрекать племянника за его вызывающий, угрожающий тон и тут же не преминула воспользоваться случаем поставить на вид все безрассудство его привязанности к девушке такого низкого происхождения, как Нина.

— Милая тетушка, — возразил на это Альберт, улыбаясь, — вы забываете, что если в нас и течет царственная кровь Подебрадов, то предки наши, монархи, были возведены на престол восставшими крестьянами и храбрыми солдатами. Стало быть, каждый Подебрад в своем славном происхождении должен всегда видеть лишний повод для сближения со слабыми и неимущими, так как от них-то и пошли корни его силы и могущества; и все это было не так давно, чтобы об этом можно было уже забыть.

Когда Венцеслава рассказала капеллану об этом бурном разговоре, тот посоветовал ей не раздражать молодого графа настойчивостью и не доводить его до еще большего возмущения, терзая ту, которую он защищает.

— По этому поводу надо обратиться к графу Христиану, — сказал он. Ваша чрезмерная мягкость усилила смелость его сына; пусть ваши благоразумные доводы внушат наконец отцу чувство тревоги и заставят его принять реши-

тельные меры по отношению к опасной особе.

— Да неужели вы думаете, — возразила канонисса, — что я не прибегала уже к этому средству? Но, увы, мой брат постарел на пятнадцать лет за эти пятнадцать дней последнего исчезновения Альберта. Его умственные силы так ослабли, что он совершенно не понимает моих намеков и как-то инстинктивно боится самой мысли о новом огорчении; словно ребенок, он радуется тому, что сын нашелся и рассуждает, как разумный человек. Ему кажется, что Альберт совершенно выздоровел, и он не замечает, что бедный сын его охвачен новым безумием более пагубным, чем прежнее. Уверенность Христиана так глубока, он так наивно тешит себя этой мыслью, что у меня не хватает мужества открыть ему глаза на все происходящее. Мне кажется, господин капеллан, что если бы брат услышал это разоблачение от вас, он принял бы его с большей покорностью, и вообще благодаря вашим духовным увещаниям ваша беседа с ним была бы более полезной и менее тягостной.

— Это разоблачение слишком щекотливо, — ответил капеллан, — чтобы могло быть сделано столь скромным пастырем, как я. Оно было бы гораздо уместнее в устах сестры, которая может

смягчить его такими ласковыми словами, с какими я не смею обращаться к высокочтимому главе семьи.

Обе эти почтенные особы потратили много дней на препирательства о том, кто из них первый отважится заговорить со старым графом. А пока они колебались, привычка к медлительности и апатия делали свое дело — любовь в сердце Альберта все росла и росла. Консуэло заметно поправлялась, и никто не нарушал их нежной близости, которую благодаря неподдельной чистоте и глубокой любви никакой суровый страж не мог бы сделать ни более целомудренной, ни более сдержанной, чем она была.

Между тем баронесса Амелия, не в силах дольше переносить свою унизительную роль, настойчиво просила отца увезти ее в Прагу. Барон Фридрих, предпочитавший пребывание в лесах жизни в городе, тем не менее обещал ей все что угодно, но бесконечно откладывал день отъезда, не делая к нему никаких приготовлений. Дочка поняла, что надо ускорить развязку, и придумала способ быстро и внезапно осуществить свое желание. Сговорившись со своей горничной, хитрой и решительной француженкой, она однажды утром, когда отец собирался на охоту, стала про-

сить его отвезти ее в соседний замок к знакомой даме, которой давно уже надо было отдать визит. Барону не очень-то хотелось отказываться от своего ружья и охотничьей сумки, переодеваться и менять весь распорядок дня, но он надеялся, что такое потворство сделает дочь менее требовательной, что прогулка рассеет ее дурное настроение и она без особенного неудовольствия проведет в замке Исполинов несколько лишних дней. Заручившись одной неделей, он уже думал, что обеспечит себе свободу на всю жизнь: не в его привычках было заглядывать дальше. Итак, покорившись своей участи, он отправил Сапфира и Пантеру на псарню, а сокол Атилла вернулся на свой насест с угрюмым и недовольным видом, что вызвало у его хозяина тяжелый вздох.

Наконец барон уселся с дочерью в карету и, как это с ним обычно бывало в подобных случаях, немедленно и крепко заснул. Тотчас же Амелия приказала кучеру повернуть и ехать на ближайшую почтовую станцию. Они домчались туда через два часа, и когда барон открыл глаза, почтовые лошади, которые должны были везти его в Прагу, были уже впряжены в карету.

— Что такое? Где мы? Куда мы едем? Амелия, что это ты выдумала, милочка? Что значит этот

каприз или эта шутка?

На все эти вопросы молодая баронесса, ласкаясь к отцу, отвечала лишь взрывами веселого смеха. И только когда увидела, что форейтор уже на лошади, а карета катится по большой дороге, она, сразу приняв серьезный вид, весьма решительно заговорила:

— Милый папа, ни о чем не беспокойтесь. Наш багаж прекрасно уложен, каретные ящики полны всем необходимым для дороги. В замке Исполинов остались только ваше оружие и собаки. В Праге они вам не нужны, а впрочем, они будут вам присланы по первому же требованию. Дяде Христиану за завтраком передадут мое письмо. В нем я пишу, что нам необходимо было уехать — и пишу так, что это не особенно огорчит его и не вызовет раздражения ни против вас, ни против «меня. А теперь я смиренно прошу прощения за то, что обманула вас; но ведь прошел месяц с тех пор, как вы обещали мне сделать то, что я выполнила сейчас, — стало быть, в сущности, я не иду против вашей воли, увозя вас в Прагу в ту минуту, когда вы об этом не думали; зато, я уверена, вы в восторге, что избавлены от всех неприятностей, связанных с решением уехать и с дорожными сборами. Мое положение стано-

вилось невыносимым, а вы и не замечали этого. Вот мое извинение и оправдание. Соблаговолите же обнять меня и не смотрите на меня такими грозными глазами — я ужасно их боюсь.

Говоря это, Амелия, так же как и ее наперсница, едва удерживалась от смеха, ибо никогда в жизни у барона не было грозного взгляда ни для кого вообще, а для обожаемой дочки и подавно. В данную же минуту взгляд у него был растерянный и даже, надо признаться, бессмысленный, — таково было действие неожиданности. Если он и был несколько раздосадован выкинутой над ним шуткой, огорчен внезапной разлукой с братом и сестрой, с которыми даже не простился, то вместе с тем он был так изумлен случившимся, что его неудовольствие тотчас же сменилось восхищением.

— Но как вы умудрились все это устроить, не возбудив во мне ни малейшего подозрения? — допрашивал он. — Да, по правде сказать, снимая охотничьи сапоги и отсылая верховую лошадь, я был далек от мысли, что еду в Прагу и что сегодня вечером не буду обедать с братом! Вот странное приключение! Я уверен, что никто не поверит, когда я стану о нем рассказывать... Но куда же, Амелия, запрятали вы мою дорожную шапку?

Как, по-вашему, не спать же мне, надвинув на уши эту шляпу с галунами?

— Ваша шапка? Вот она, милый папа, — проговорила юная плутовка, подавая ему меховую шапку, которую он тут же с простодушным удовольствием надел на голову.

— А моя дорожная фляжка? Наверно, ты забыла о ней, злая девчонка?

— Конечно, нет! — воскликнула Амелия, протягивая ему хрустальную бутылку, оплетенную русской кожей и отделанную серебром. — Я сама наполнила ее лучшим венгерским вином, какое только имеется в подвале у тети. Попробуйте-ка его, это ваше любимое.

— А моя трубка, а мой кисет с турецким табаком?

— Все тут, — сказала горничная, — мы ничего не забыли, обо всем позаботились, чтобы господину барону было приятно путешествовать.

— В добрый час! — проговорил барон, набивая себе трубку. — Тем не менее, дорогая Амелия, вы со мной поступили прескверно. Вы делаете из вашего отца посмешище. По вашей милости все будут надо мной издеваться.

— Дорогой папа, — отвечала Амелия, — это я являюсь посмешищем в глазах света, давая повод

думать, будто упорно хочу выйти замуж за кузена, который совершенно не удостаивает меня своим вниманием и на моих глазах усиленно ухаживает за моей учительницей музыки. Достаточно долго терпела я такое унижение и не знаю, много ли найдется девушек моего круга, моей наружности и моих лет, которые отнеслись бы к этому так, как я, а не похуже. Я уверена, что есть девушки, которые скучают меньше, чем скучала я в последние полтора года, и которые, однако, убегают или позволяют похитить себя, лишь бы избавиться от своей скучной жизни. Я же довольствуюсь тем, что убегаю, похищая собственного отца. Это более ново и более прилично. Что думает по этому поводу дорогой мой папочка?

— Ты у меня настоящий бесенок! — проговорил барон, целуя дочку.

Он очень весело провел всю дорогу, попивая, покуривая и отсыпаясь, ни на что больше не жалуясь и ничему больше не удивляясь.

В замке это событие не произвело того впечатления, на какое рассчитывала юная баронесса. Начать с Альберта: если бы ему не сообщили, он и через неделю не заметил бы этого, а когда канонисса объявила ему об отъезде родственников, он ограничился тем, что сказал:

— Вот единственная умная вещь, которую сделала умница Амелия с минуты своего приезда сюда. Что касается добрейшего дяди, то, я надеюсь, он скоро к нам вернется.

— А я жалею об отъезде брата, — сказал старый Христиан. — В мои годы имеют значение недели и даже дни. То, что тебе, Альберт, кажется коротким сроком, для меня может стать вечностью, и я далеко не так уверен, как ты, что увижусь снова с моим тихим и беспечным братом Фридрихом. Ну, что же делать! Этого хотела Амелия, — прибавил он с улыбкой, сворачивая и откладывая в сторону удивительно ласковое и вместе с тем злое письмо, оставленное ему юной баронессой. — Ведь женская злоба ничего не прощает. Вы, дети мои, не были рождены друг для друга, и мои сладкие мечты развеялись как дым!

Говоря это, старый граф с какой-то меланхолической веселостью поглядел на сына, как бы ожидая уловить в его глазах тень сожаления. Но ничего подобного он в них не прочел. А Альберт, нежно пожав руку отца, дал ему этим понять, что благодарит его за отказ от проекта, который был так мало ему по сердцу.

— Да будет воля твоя, господи! — снова заговорил старик. — И да будет сердце твое свободно,

сын мой! Ты теперь здоров и кажешься спокойным и счастливым среди нас. Я умру утешенный, и благодарность отца принесет тебе счастье после нашей разлуки.

— Не говорите о разлуке, отец мой, — воскликнул молодой граф с глазами, полными слез, — я не в силах вынести эту мысль!

Тут капеллан встал и с деланно скромным видом вышел, предварительно приободрив взглядом уже несколько растроганную каноницу. Взгляд этот был и приказанием и сигналом. С душевной болью и со страхом она поняла, что наступила минута говорить. И вот, закрыв глаза, словно человек, бросающийся из окна во время пожара, она начала, путаясь и бледнея:

— Конечно, Альберт нежно любит отца и не захочет смертельно огорчить его…

Альберт поднял голову и посмотрел на тетку таким ясным, пронизывающим взором, что та смутилась и не смогла сказать ничего больше. Старый граф, казалось, не слышал этой странной фразы, а среди воцарившегося молчания бедная Венцеслава трепетала под взглядом племянника, словно куропатка, загипнотизированная собакой, делающей над ней стойку.

Но через несколько минут граф Христиан, оч-

нувшись от своей задумчивости, ответил сестре так, как будто она продолжала говорить или как будто он прочел в ее душе все то, что она собиралась ему открыть.

— Дорогая сестра, — сказал он, — позвольте мне дать вам совет: не терзайте себя тем, в чем вы ничего не понимаете. Вы в своей жизни не имели понятия о том, что такое сердечное влечение, а суровые правила канониссы не годятся для молодого человека.

— Боже милостивый! — прошептала совсем расстроенная канонисса. — Или брат не хочет меня понять, или разум и благочестие покинули его! Возможно ли, чтобы он по своей слабости стал поддерживать или так легко смотреть…

— Что поддерживать, тетушка? — спросил Альберт решительно и строго. — Говорите, раз уж вас заставляют это делать! Выскажите яснее вашу мысль. Пора кончить с этим напряженным состоянием, и пора нам узнать друг друга.

— Нет, сестра, не говорите, — остановил ее граф Христиан, — ничего нового вы мне не скажете. Я давно прекрасно понял вас, но только не подавал виду. Минута для объяснений по этому поводу еще не настала. Когда придет время, я буду знать, что надо делать.

И он намеренно заговорил о другом. Канонисса совсем упала духом, а Альберт взволновался, не понимая, что хотел сказать отец.

Капеллан, узнав, как глава семьи отнесся к его предостережению, переданному окольным путем, страшно перепугался. Граф Христиан, несмотря на свой беспечный, нерешительный вид, никогда не был слабым человеком. Не раз случалось ему, выйдя из своего, казалось бы, апатичного состояния, действовать энергично и разумно. Священник струсил, поняв, что зашел слишком далеко и может получить выговор. И он принялся поспешно уничтожать дело рук своих, уговаривая канониссу больше ни во что не вмешиваться. Две недели прошли самым мирным образом. Консуэло даже в голову не приходило, что она является причиной семейных волнений. Альберт по-прежнему заботился о ней, а об отъезде Амелии сообщил, как о временной отлучке, не возбудив в Консуэло ни малейшего подозрения относительно его причины. Консуэло начала выходить из своей комнаты, и когда она в первый раз прогуливалась по саду, старый Христиан своей слабой, дрожащей рукой поддерживал неверные шаги выздоравливающей.

Глава 51

То был чудесный день в жизни Альберта, когда вернувшаяся к жизни Консуэло, поддерживаемая его старым отцом, на глазах у всей семьи протянула ему руку и с несказанно кроткой улыбкой проговорила:

— Вот кто спас меня! Кто ухаживал за мной как за родной сестрой!

Но этот день, день апогея его счастья, сразу изменил, и притом больше, чем он мог это предвидеть, его отношения с Консуэло. Отныне, войдя снова в семейный круг, она довольно редко оставалась с ним наедине. Старый граф, казалось еще больше полюбивший Консуэло после ее болезни, по-отцовски заботился о девушке, что глубоко трогало ее. Канонисса, правда, ничего больше не говорила, но все-таки считала своим долгом следить за каждым ее шагом и при появлении Альберта была всегда тут как тут. А так как молодой граф не обнаруживал больше никаких признаков умственного расстройства, то в замок стали усиленно приглашать родственников и соседей, чего давно уже не бывало. С какой-то

простодушной и трогательной гордостью старики хотели показать им, каким общительным и любезным сделался снова молодой граф фон Рудольштадт; поскольку же Консуэло, видимо, требовала и взглядами и своим примером, чтобы он исполнял желания родных, то ему волей-неволей пришлось вернуться к роли светского человека и гостеприимного хозяина замка.

Это внезапное превращение не легко далось Альберту. Он покорился только ради той, которую любил. Но за это он жаждал награды в виде более продолжительных бесед, откровенных излияний. Он терпеливо выносил целые дни принуждения и скуки, лишь бы вечером услышать от нее слово одобрения и благодарности. Когда же между ними появлялась, как навязчивый призрак, канонисса и вырывала у него и эту чистую радость, он озлоблялся и падал духом. Проводя ужасные ночи, он часто бродил у колодца, который был всегда полон прозрачной воды с того дня, когда он поднялся из него, неся на руках Консуэло. Измученный тяжелыми думами, Альберт почти проклинал данный им обет не ходить больше в свою тайную обитель. Его пугало то, что, чувствуя себя несчастным, он не может в недрах земли схоронить тайну своего страдания.

Конечно, и родные и его подруга не могли не обратить внимания на его измученный после бессонницы вид, на все чаще и чаще возвращавшееся к нему мрачное настроение и рассеянность. Но Консуэло нашла способ разгонять эти тучи и возвращать себе власть над ним всякий раз, когда ей грозило ее потерять: она начинала петь, и тотчас молодой граф, очарованный и покорный, находил облегчение в слезах или в новом приливе восторга. Средство это было неотразимо; и когда Альберту удавалось перекинуться с Консуэло хоть словом наедине, он восклицал:

— Консуэло, ты нашла дорогу к моей душе! Ты обладаешь силой, недоступной простым смертным: ты говоришь языком богов, тебе дано выражать самые возвышенные чувства и передавать людям самые могучие переживания твоей вдохновенной души. Пой же всегда, когда заметишь, что я изнемогаю! На слова, произносимые тобой в пении, я почти не обращаю внимания, — они являются только темой, несовершенным указанием, которое служит для раскрытия и развития музыкальной мысли, я почти не слушаю их, — до моего сердца доходит только твой голос, чувство, с каким ты поешь, твое вдохновение! Музыка говорит о том таинственном и возвышен-

ном, о чем мечтает душа, что она предчувствует. В мелодии как бы раскрываются высшие идеи и чувства, которые бессилен выразить человеческий язык. Это — откровение бесконечного. И когда ты поешь, я принадлежу человечеству тем, что человечество почерпнуло божественного и вечного у создателя. Все то утешение и ободрение, в которых отказывают мне твои уста в обыденной жизни, все, что светская тирания не позволяет тебе высказать мне, — все сторицею воздает мне твое пение. Оно раскрывает мне твою сущность, и тогда душа моя обладает тобою и в радости и в горе, в вере и в сомнениях, в порывах восторга и в неге мечты.

Иногда Альберт говорил все это Консуэло и в присутствии семьи — по-испански, но видимое неудовольствие тетки и правила учтивости не дозволяли девушке отвечать ему. Наконец однажды, очутившись наедине с ним в саду, когда Альберт снова заговорил о том, какое счастье дает она ему своим пением, Консуэло спросила:

— Почему, если вы считаете музыку более совершенной и убедительной, чем слова, почему вы сами не общаетесь со мною этим способом? Ведь вы знаете музыку, быть может, еще лучше моего.

— Что вы хотите этим сказать, Консуэло? —

воскликнул с удивлением молодой граф. — Я становлюсь музыкантом, только слушая вас.

— Не старайтесь меня обмануть, — ответила она. — Раз в жизни мне пришлось слышать поистине божественную игру на скрипке, и это играли вы, Альберт, — в пещере Шрекенштейна. В тот день я услышала вас, прежде чем вы увидели меня. Я овладела вашей тайной, — простите мне и дайте услышать еще раз ту чудную мелодию, из которой в моей памяти удержалось несколько фраз и которая раскрыла мне в музыке еще неведомые красоты. Консуэло попробовала вполголоса спеть смутно запомнившуюся ей мелодию, и Альберт сейчас же узнал ее.

— Это гуситский народный гимн, — сказал он. — Стихи, положенные на музыку, — произведение моего предка Гинко Подебрада, сына короля Георга, одного из поэтов нашей родины. У нас есть немало превосходных стихотворений — Стрея, Шимона Ломницкого и многих других, но они запрещены имперской полицией. Эти религиозные и народные песни, положенные на музыку неизвестными гениями Чехии, далеко не все уцелели в памяти богемцев. Некоторые из них сохранились в народе, и Зденко, обладающий необычайной памятью и музыкальным чутьем,

знает их довольно много. Я собрал их и записал. Они очень красивы, и вам будет интересно познакомиться с ними. Но услышать их вы сможете только в моем убежище, там моя скрипка и все собрание нот. Среди них есть очень ценные рукописные сборники старинных католических и протестантских композиторов. Ручаюсь, что вы не знакомы ни с Жоскеном, несколько мелодий которого нам передал по наследству Лютер в своих церковных песнопениях, ни с Клодом Ле Женом, ни с Аркадельтом, ни с Георгом Рау, ни с Бенедиктом Дуцисом, ни с Иоанном Вейсом. Скажите, дорогая Консуэло, не побудит ли вас интерес к этим любопытным произведениям еще раз прийти в мою пещеру, откуда я так давно изгнан, и посетить мою церковь, которую вы еще не знаете?

Предложение это хотя и возбудило любопытство молодой артистки, однако заставило ее вздрогнуть. Ужасная пещера будила в ней такие воспоминания, что она не могла без дрожи подумать об этом, а мысль, что она может снова очутиться там вдвоем с Альбертом, невзирая на все доверие к нему, была ей мучительна. Он сразу заметил это.

— Я вижу, вас отталкивает самая мысль об этом

паломничестве, хотя вы и обещали мне отправиться туда со мной, — сказал он. — Не будем больше говорить об этом. Верный своей клятве, я не пойду в свое убежище без вас.

— Вы, Альберт, напомнили мне о моей клятве, — сказала она, — и я сдержу ее, как только вы этого потребуете. Но, милый мой доктор, вы все-таки не должны забывать, что мои силы еще недостаточно окрепли. Не можете ли вы пока показать мне здесь эти любопытные произведения и дать мне послушать замечательного артиста, который играет на скрипке гораздо лучше, чем я пою?

— Вы смеетесь надо мной, дорогая сестра! Но все равно — вы услышите меня только в моей пещере. Именно там я попытался заставить этот инструмент говорить так, как внушало мне сердце; до того я ничего не смыслил в нем, несмотря на многолетние занятия с блестящим, но поверхностным профессором, которому отец платил большие деньги. Именно там я постиг, что такое музыка, постиг также, каким святотатственным глумлением заменяет ее большинство людей. А я, признаюсь, не был бы в состоянии извлечь из скрипки ни единого звука иначе, как распростершись мысленно перед божеством. Даже если

бы я видел, что вы, холодно стоя рядом со мной, внимательно прислушиваетесь к исполняемым мною вещам, стремясь из любопытства определить степень моего таланта, то я, наверно, играл бы так плохо, что, пожалуй, вы не смогли бы и слушать. С тех пор как я немного овладел этим инструментом, который посвятил восхвалению господа и жаркой молитве, я никогда не прикасался к нему иначе, как переносясь в идеальный мир и повинуясь вдохновению, которое ни вызвать, ни удержать не в моих силах. А когда у меня нет этого вдохновения, потребуйте, чтобы я исполнил самую простую музыкальную фразу, и я знаю, что, при всем желании угодить вам, память изменит мне, а пальцы будут неуверенны, как у ребенка, берущего первые ноты.

— Я в состоянии понять ваше отношение к музыке, — ответила растроганная Консуэло, внимательно выслушав его, — и надеюсь, что смогу присоединиться к вашей молитве с душой настолько сосредоточенной и благоговейной, что присутствие мое не расхолодит вашего вдохновения. Ах, дорогой Альберт, отчего мой учитель Порпора не слышит того, что вы говорите о святом искусстве! Он стал бы пред вами на колени! Но даже этот великий артист менее суров, чем вы:

он считает, что певец и виртуоз должны черпать вдохновение в симпатии и восхищении своих слушателей.

— Быть может, Порпора, что бы он ни говорил, соединяет в музыке религиозное чувство с человеческой мыслью. Быть может, он относится к духовной музыке как католик. Стань я на его точку зрения, я рассуждал бы, как он. Если бы я разделял веру и симпатии с народом, исповедующим одну со мной религию, я тоже искал бы в близости этих душ, проникнутых одним со мной религиозным чувством, то вдохновение, которое я вынужден был до сих пор находить в уединении, благодаря чему, быть может, оно и не бывало полным. Если когда-нибудь, Консуэло, мне выпадет счастье слить в молитве, как я ее понимаю сердцем, твой божественный голос со звуками моей скрипки, тогда, без сомнения, я поднимусь до высоты, какой никогда еще не достигал, и молитва моя будет более достойна божества. Не забывай, дорогая, что до сих пор верования мои были ненавистны всем окружающим, а те, кого они не оскорбляли, издевались над ними. Вот почему слабое свое дарование я скрывал от всех, кроме бога и бедного моего Зденко. Отец мой любит музыку и хотел бы, чтобы

моя скрипка, столь же священная для меня, как систр элевсинских мистерий, развлекала его. Но, боже великий, что было бы со мной, если бы мне пришлось аккомпанировать Амелии, поющей какую-нибудь каватину, и что сталось бы с моим отцом, если бы я заиграл одну из старинных гуситских мелодий, доведших стольких богемцев до каторги и казни, или какой-нибудь из не менее старых гимнов наших лютеранских предков, — ведь он краснеет за свое происхождение от них! А более новых произведений, Консуэло, я не знаю. Разумеется, они существуют, и некоторые из них превосходны. Все, что вы мне рассказали о Генделе и других великих композиторах, на которых вы воспитывались, представляется мне гораздо выше во многих отношениях, чем то, чему, в свою очередь, я мог бы научить вас. Но чтобы ознакомиться с этой музыкой и изучить ее, мне надо было бы войти в новый музыкальный мир, а туда я мог бы решиться проникнуть только с вами, чтобы вы щедрой рукой излили на меня те сокровища, которых я так долго не знал или которыми пренебрегал.

— А я, — сказала, улыбаясь, Консуэло, — кажется, не возьмусь за это. Слышанное мною в пещере так прекрасно, так велико, так единственно в

своем роде, что я побоюсь набросать гравия в источник из хрусталя и бриллиантов. Теперь я вижу, Альберт, что в музыке вы гораздо больший знаток, чем я. Но не скажете ли вы мне что-нибудь и о светской музыке? Ведь она должна стать моей профессией. Я боюсь обнаружить, что в светской музыке, как и в духовной, я была до сих пор не на высоте своего призвания и что мои знания недостаточны и поверхностны.

— Напротив, Консуэло, я смотрю на вашу роль как на священную и нахожу, что как ваша профессия — высшая из всех доступных женщине, так и душа ваша наиболее достойна выполнить это священнодействие.

— Постойте, постойте, дорогой граф, — с улыбкой возразила Консуэло, — из того, что я вам часто рассказывала о монастыре, где училась музыке, и о церкви, где пела хвалы творцу, вы заключаете, что я посвятила себя служению алтарю или скромному монастырскому преподаванию; но когда вы узнаете, что Zingarella в силу своего происхождения была в детстве предоставлена случайностям, что она занималась и духовной и светской музыкой, причем к той и к другой относилась с одинаковым жаром, не заботясь о том, куда приведет ее судьба — в или на театральные

подмостки…

— Я убежден, что бог отметил тебя и предназначил еще в утробе матери быть святой, а потому без тревоги смотрю на жизненные случайности и уверен, что и на сцене ты будешь так же свята, как в монастыре.

— Как? Вы при всей суровости своих взглядов не боялись бы общения с актрисой?

— На заре религий, — ответил он, — храм и театр были одинаково священны. При первоначальной чистоте идей культовые обряды являлись зрелищем для народа, искусство зарождалось у подножия алтарей; самые танцы, посвященные в наши дни нечистому сладострастию, являлись музыкой чувства на празднествах богов. Музыка и поэзия — наивысшее выражение веры, а женщина, одаренная гениальностью и красотой, — жрица, пророчица и вдохновительница. Эти строгие, величавые формы прошлого заменились нелепыми и преступными разграничениями: католичество лишило празднества красоты, а торжественные церемонии — участия женщин; вместо того чтобы направить и облагородить любовь, оно изгнало и осудило ее. Но красота, женщина и любовь не могли утратить своей власти. И люди воздвигли им новые храмы,

называемые театрами, в которых нет иного бога. Виноваты ли вы, Консуэло, что эти храмы обратились в вертепы разврата? Природа, которая создает свои чудеса, не заботясь о том, как они будут приняты людьми, сотворила вас, чтобы вы блистали среди женщин, расточая в мире сокровища дарования и гения. А монастырь и могила — синонимы. Вы не могли бы схоронить дары провидения, не совершив самоубийства. Для вашего полета нужен большой простор. Некоторые существа не могут жить без проявления своего «я», они повинуются властному велению природы, и воля божья в этом отношении так определенна, что бог отнимает у них способности, которыми их наделил, если они не пользуются ими как должно. Артист чахнет и гибнет в неизвестности, так же как мыслитель заблуждается и отчаивается в полном одиночестве, как всякий человеческий ум повреждается и гибнет в уединении и затворничестве. Идите же на сцену, Консуэло, если вас туда влечет, и выносите кажущееся бесчестие со смирением благочестивой души, обреченной на страдание, на тщетные поиски своей родины в здешнем мире! Не бойтесь! Тьма и порок — не ваша стихия: дух святой властно отстранит их от вас. Долго и

с воодушевлением говорил Альберт, быстро шагая рядом с Консуэло под тенистыми деревьями речного заповедника. Он легко заразил девушку своим восторженным отношением к искусству, и она даже забыла о своем нежелании идти в пещеру. Видя, что он так горячо жаждет этого, она сама захотела побыть подольше наедине с этим пылким и вместе с тем застенчивым человеком, узнать его взгляды, которые он решался высказывать ей одной. Взгляды эти были новы для Консуэло, удивительно новы в устах аристократа того времени и той страны. Они поразили молодую артистку именно потому, что были смелым и откровенным выражением тех чувств, которые волновали ее самое. Будучи актрисой и в то же время человеком набожным, она ежедневно слыхала, как канонисса и капеллан беспощадно предавали проклятию комедиантов и балетных танцовщиков, ее собратьев. Теперь она почувствовала себя восстановленной во всех своих правах серьезным, просвещенным человеком, и ей казалось, что грудь ее свободнее дышит, сердце спокойнее бьется, казалось, что она нашла свое место в жизни. В глазах ее блестели слезы, а щеки горели ярким невинным румянцем, когда в конце аллеи она увидела искавшую ее канониссу.

— О моя жрица! — прошептал Альберт, прижимая к груди ее руку, опиравшуюся на него. — Придете ли вы молиться в мою церковь?

— Да, — ответила она, — приду непременно.

— А когда?

— Когда захотите. Но считаете ли вы, что я уже в силах совершить такой подвиг?

— Да, так как мы отправимся на Шрекенштейн днем и дорогой, не столь опасной, как через водоем.

Хватит ли у вас храбрости встать завтра на рассвете и выйти из ворот замка, как только они будут открыты? Меня вы найдете в тех кустах, что видны отсюда на склоне холма, у подножия каменного креста, и я буду вашим проводником.

— Ну хорошо, даю вам слово, — ответила, все-таки не без волнения, Консуэло.

— Сегодняшний вечер слишком прохладен для такой продолжительной прогулки, — сказала, подходя к ним, канонисса.

Альберт промолчал. Он не умел притворяться. Консуэло, чувствуя, что ни в чем не может упрекнуть себя, смело взяла под руку канониссу и крепко поцеловала ее в плечо. Венцеслава хотела было обдать девушку холодом, но невольно поддалась обаянию этой прямой, любящей души,

а потому только вздохнула и, вернувшись домой, пошла помолиться за обращение ее на путь истинный.

Глава 52

Однако прошло несколько дней, а страстное желание Альберта все не могло исполниться. Канонисса так следила за Консуэло, что хоть она и вставала с зарей и первая переходила через подъемный мост, как только его опускали, однако ей тут же попадались навстречу канонисса или капеллан, бродившие по обсаженной буками площадке перед замком и не спускавшие глаз с открытого места, через которое надо было перейти, чтобы добраться до поросшего кустами холма. Консуэло решала прогуливаться одна на виду у них и отказаться от встречи с Альбертом. А тот, видя из своего тенистого убежища этот неприятельский дозор, делал большой круг по лесу и, никем не замеченный, возвращался в замок.

— Вы сегодня очень рано гуляли, синьора Порпорина, — обратилась к ней как-то за завтраком канонисса, — разве вы не боитесь, что влажная утренняя роса может повредить вам?

— Это я, тетушка, посоветовал синьоре дышать свежим утренним воздухом и не сомневаюсь, что эти прогулки принесут ей большую пользу, —

вступился Альберт.

— Я полагала, что особе, посвящающей себя пению, — возразила канонисса несколько деланным тоном, — не следует выходить в наши туманные утра; но раз это по вашему указанию…

— Доверьтесь мнению Альберта, — сказал граф Христиан, — он уже доказал, что он такой же хороший врач, как хороший сын и хороший друг. Вынужденное притворство заставляло Консуэло краснеть, и ощущение у нее было до крайности тягостное. Когда она смогла украдкой перебросится с Альбертом несколькими словами, она кротко пожаловалась ему на это, прося отказаться от его проекта, хотя бы до тех пор, пока не ослабнет бдительность тетки. Альберт послушался, умоляя ее в то же время не прекращать своих утренних прогулок в окрестностях парка, чтобы он мог присоединиться к ней в благоприятный момент.

Консуэло очень хотела бы уклониться от этого. Правда, она любила прогулки и чувствовала даже потребность ежедневно хоть немного погулять вне давящих стен и рвов замка, но ей было тяжело обманывать людей, которых она уважала и чьим гостеприимством пользовалась. Любовь, даже не очень сильная, на многое закрывает глаза, но

дружба размышляет, и Консуэло размышляла много… Стояли последние хорошие дни лета — ведь прошло уже несколько месяцев со времени ее появления в замке Исполинов. Какое это было лето для Консуэло! Даже в самую бледную осень в Италии было больше света и тепла. Но и в этом тепловатом воздухе, в этом небе, часто покрытом легкими перистыми белыми облачками, была своя прелесть, своя красота. Одинокие прогулки были ей по душе, быть может, потому, что ее не очень тянуло снова попасть в подземелье. Хотя Консуэло и решилась на это, она чувствовала, что Альберт избавил бы ее от большой тяжести, вернув ей слово, и когда она не видела его умоляющих глаз и не слышала его вдохновенных речей, то в душе благословляла канониссу, избавлявшую ее от данного ею обещания все новыми и новыми препятствиями.

Однажды утром, гуляя вдоль берега горной речки, она высоко над собой увидела Альберта, перегнувшегося через балюстраду цветника. Несмотря на разделявшее их значительное расстояние, она все время чувствовала на себе беспокойный страстный взгляд этого человека, воле которого она до некоторой степени подчинилась.

«В какое странное положение попала я, — думалось ей. — В то время как этот настойчивый друг наблюдает за мной, желая убедиться, верна ли я своей клятве, откуда-нибудь из замка за мною, без сомнения, тоже следят, опасаясь, чтобы я не встретилась с ним вопреки правилам и приличиям. Я не знаю, что происходит в уме у тех и у других. Баронесса Амелия не возвращается. Канонисса как будто чувствует ко мне недоверие и стала гораздо холодней. Граф Христиан же относится ко мне дружелюбнее, чем раньше, и говорит, что боится появления Порпоры, которое, вероятно, повлечет за собой мой отъезд. Альберт точно забыл о том, что я запретила ему надеяться на мою любовь. Словно ожидая от меня всего, он ни о чем не просит, но и не отказывается от своей страстной любви, дающей ему, по-видимому, счастье, несмотря на то, что я не в состоянии отвечать на нее. А между тем каждое утро я, словно настоящая возлюбленная, жду свидания с ним, желая в то же время, чтобы он не являлся, и подвергаю себя порицанию, а быть может, и презрению семьи, которая не может понять ни моей преданности ему, ни вообще наших отношений. Да как им и понять, когда я сама не могу разобраться в них и даже не предвижу, чем все

это кончится. Странная у меня судьба! Неужели я обречена вечно жертвовать собой либо для того, кого я люблю, но кто меня не любит, либо для того, кого я уважаю, но не люблю?»

Эти размышления навеяли на нее глубокую грусть. Она ощущала потребность принадлежать только самой себе, эту высшую, самую законную потребность, которая является необходимым, непременным условием для движения вперед, для развития выдающегося артиста. Забота об Альберте, взятая ею на себя, тяготила ее, как цепи. Горькое воспоминание об Андзолето и Венеции неотступно преследовало ее среди бездействия и одиночества жизни, слишком монотонной и размеренной для ее могучей натуры.

Она остановилась у скалы, на которую Альберт не раз указывал ей, как на место, где по странной случайности он видел ее впервые ребенком, привязанной ремнями к спине матери, которая носила ее по горам и долам и распевала, как стрекоза в басне, не задумываясь о грозящей старости и суровой нужде.

«Бедная
матушка, — подумала юная Zingarella, — снова я по воле неисповедимой судьбы в тех местах, которыми когда-то прошла и ты, едва запомнив их,

сохранив лишь воспоминание о трогательном гостеприимстве. Ты была молода и красива и, конечно, на своем пути встречала не одно место, где могла бы найти приют любви или где общество могло простить и перевоспитать тебя, — словом, ты могла бы свою тяжелую бродячую жизнь переменить на спокойную и благополучную. Но ты чувствовала и всегда говорила, что благополучие — это неволя, а спокойствие — скука, убийственная для артистической души. Да, ты была права, я чувствую это. Вот и я в том самом замке, где ты согласилась тогда остаться, как и во всех других, только на одну ночь. Здесь я не знаю ни нужды, ни усталости, со мной хорошо обходятся, даже балуют, богатый вельможа у моих ног — и что же? Я задыхаюсь в неволе, меня гложет скука».

Поддавшись необычайному унынию, Консуэло села на скалу и стала пристально глядеть на песок тропинки, словно надеясь обнаружить на нем следы босых ног матери. Овцы, бродившие здесь, оставили на колючем кустарнике клочки своей шерсти. Эта рыжевато-коричневая шерсть живо напомнила Консуэло грубое сукно, из которого был сделан материнский плащ, так долго укрывавший ее от холода и солнца, от пыли и дождя. Она помнила, как он потом, обратившись

в лохмотья, рассыпался на их плечах.

«И мы тоже, — говорила она себе, — были бедными бродячими овцами и так же, как они, оставляли на придорожных колючках клочья своих лохмотьев; но мы уносили с собой горделивую любовь к свободе и умели ею пользоваться».

Погруженная в эти мечты, Консуэло не отрывала глаз от покрытой желтым песком тропинки, которая красиво извивалась по холму среди зеленых елей и темного вереска и, расширяясь на дне долины, вела на север.

«Что может быть прекраснее дороги! — думала Консуэло. — Это символ деятельной, полной разнообразия жизни. Сколько веселых мыслей будят во мне прихотливые изгибы этой тропинки. Я не помню мест, по которым она извивается, а между тем когда-то, несомненно, ходила по ним. Но как чудесны, должно быть, эти места по сравнению с мрачной крепостью, вечно спящей на своих неподвижных утесах! Насколько этот матовозолотистый песок и огненно-золотой дрок, бросающий на него свою тень, насколько все это заманчивее прямых аллей и чопорных буков надменного, холодного парка! Стоит мне только взглянуть на эти длинные, как по линейке проведенные аллеи, и я уже чувствую усталость. К

чему двигать ногами, когда и так уже все видно как на ладони! Другое дело — дорога, свободно убегающая вперед и прячущаяся в лесах! Она манит и влечет своими изгибами, своими тайнами. К тому же по этой дороге ходят все люди, она принадлежит всему миру. У нее нет хозяина, закрывающего и открывающего ее по своему желанию. Не только богатый и сильный может топтать растущие по ее краям цветы и вдыхать их аромат — каждая птица может вить свое гнездо в ветвях ее деревьев, каждый бродяга может положить свою голову на ее камни. Ни стена, ни частокол не закрывают горизонта, — впереди лишь необъятный небесный простор и, насколько хватает глаз, дорога — земля свободы. Поля, леса, что находятся справа и слева, принадлежат хозяевам, а дорога — тому, у кого ничего нет, кроме нее! Но зато как же он ее любит! Самый грубый нищий и тот чувствует к ней непреодолимую нежность. Пусть воздвигают для него больницы, роскошные, как дворцы, они будут казаться ему темницей. Его поэзией, его мечтой, его страстью всегда будет большая дорога. О матушка, матушка! Ты это знала и постоянно твердила мне об этом. Отчего не могу я воскресить твоего праха, покоящегося так далеко отсюда, под водорос-

лями лагун! Отчего не можешь ты снова взять меня на свои сильные плечи и унести туда, где кружится ласточка над синеющими холмами, где воспоминание о прошлом и сожаление об утраченном счастье не могут догнать артистане-поседу, несущегося быстрее их, и где каждый день новые горизонты, новый мир встают между ним и врагами его свободы! Бедная мать, отчего ты больше не можешь ни ласкать меня, ни срывать на мне свое сердце, осыпая меня то поцелуями, то ударами, подобно ветру, который то ласкает, то сгибает молодые колосья в поле, чтобы снова поднять и снова согнуть их по своей прихоти. Твоя душа была сильнее моей, и ты вырвала бы меня не добром, так силой из сетей, в которых я все больше и больше запутываюсь».

Погруженная в эти упоительные, но горестные мечтания, Консуэло вдруг услышала голос, заставивший ее так вздрогнуть, как будто к ее сердцу прикоснулись раскаленным железом. То был мужской голос, доносившийся из глубины отдаленной лощины и напевавший на венецианском наречии песню «Эхо», одно из самых оригинальных произведений Кьодзетто. Певец пел неполным голосом, и дыхание его, по-видимому, прерывалось ходьбой. Пропев наугад одну

фразу, словно желая разогнать дорожную скуку, он начинал с кем-то разговаривать, затем снова принимался петь, по несколько раз повторяя ту же модуляцию, точно для упражнения, и все приближался к тому месту, где неподвижная и дрожащая Консуэло уже была близка к обмороку. Разобрать, о чем говорил путешественник со своим спутником, она не могла: они были еще слишком далеко; видеть говорящих было тоже невозможно, — выступ скалы закрывал ту часть лощины, по которой они шли. Но как могла она не узнать мгновенно этого голоса, так хорошо ей знакомого, как могла не узнать песни, которой сама обучила своего неблагодарного ученика, заставляя его столько раз повторять ее!

Наконец, когда оба невидимых путешественника подошли ближе, она услышала, как один из них (этот голос был ей незнаком) сказал на ломаном итальянском языке, с сильным местным акцентом:

— Эй, синьор! Синьор! Не ходите туда, там лошадям не пройти, да и меня потеряете из виду; идите за мной вдоль горной речки. Видите дорогу? Вот она перед нами, а вы пошли тропинкой для пешеходов. Голос, столь хорошо знакомый Консуэло, стал как будто удаляться, затихать,

но вскоре она опять услышала, как он спрашивал, чей это великолепный замок виден на том берегу.

— Замок Ризенбург, или замок Исполинов, — пояснил его спутник, бывалый проводник.

Через некоторое время проводник показался у подножья холма, ведя под уздцы двух взмыленных лошадей. Плохая дорога, размытая незадолго перед этим горной речкой, заставила всадников сойти с коней. Путешественник шел позади — на некотором расстоянии, и наконец Консуэло, перегнувшись над закрывавшей ее скалой, увидела его. Он шел к ней спиной, к тому же дорожный костюм до того изменил не только его фигуру, но и самую походку, что Консуэло, не услышав голоса, пожалуй, не узнала бы его. Но вот он остановился, рассматривая замок, снял свою широкополую шляпу и вытер платком лицо. Хотя Консуэло глядела на него издали и сверху, но тотчас же узнала эти густые золотистые кудри, узнала привычное движение руки, которым он отбрасывал волосы со лба, когда ему бывало жарко.

— У этого замка очень внушительный вид! — услышала Консуэло его восклицание. — Будь у меня время, я был бы не прочь попросить живущих здесь великанов накормить меня зав-

траком!

— И не пробуйте! — ответил на это проводник, качая головой. — Рудольштадты принимают у себя только нищих да родственников. — Не слишком, значит, гостеприимны? В таком случае черт с ними!

— Видите ли, это оттого, что им надо кое-что скрывать, — пояснил проводник.

— Клад? Или преступленье?

— О нет! У них сын сумасшедший.

— Тогда пусть черт заберет и его! Он окажет им только услугу! Проводник засмеялся. Андзолето снова запел.

— Ну вот, — обратился к нему проводник, останавливаясь, — наконец и кончилась плохая дорога. Если угодно, садитесь на лошадь, и мы мигом доскачем до Тусты. Дорога туда чудесная — один песок. Оттуда на Прагу идет большой тракт, и вы там достанете хороших почтовых лошадей.

— Если так, — проговорил Андзолето, поправляя стремена, — я могу сказать теперь: черт побери и тебя. По правде говоря, твои клячи, твои горные дороги и ты сам порядком мне надоели.

С этими словами он быстро вскочил на коня, пришпорил его и, не обращая внимания на едва поспевавшего за ним проводника, во весь опор

поскакал на север. Он мчался, поднимая столбы пыли, по той самой дороге, на которую только что так долго смотрела Консуэло, никак не ожидая, что сейчас по ней пронесется, подобно роковому призраку, враг всей ее жизни, вечная мука ее сердца…

В неописуемом волнении глядела она ему вслед. Пока он был вблизи, она, трепеща и холодея от ужаса, думала только о том, чтобы он не заметил ее. Когда же она увидела, что он удаляется, что вот-вот исчезнет из поля ее зрения и, быть может, навсегда, страшное отчаяние овладело ею. Она устремилась на верхушку скалы, чтобы как можно дольше не терять его из виду. Несокрушимая любовь снова с безумной силой вспыхнула в девушке, и ей страстно захотелось крикнуть, позвать его, но голос ее замер: ей показалось, что рука смерти сдавила ей горло, разрывает грудь; в глазах потемнело, глухой шум, подобный морскому гулу, раздался в ушах… В изнеможении она почти упала со скалы и очутилась в объятиях незаметно подошедшего Альберта, который унес ее, полумертвую, в более уединенное и более укрытое убежище.

Глава 53

Боязнь выдать своим волнением тайну, которая до сих пор была так глубоко скрыта в ее душе, возвратила Консуэло силы: она овладела собой и уверила Альберта, что в ее состоянии нет ничего особенного. В ту минуту, когда молодой граф подхватил ее на руки, бледную и близкую к обмороку, Андзолето со своим проводником уже исчез вдали меж елей, и потому Альберт мог подумать, будто сам виновен в том, что Консуэло чуть не упала в пропасть. Одна мысль об опасности, которой он подверг ее, испугав своим внезапным появлением, до того взволновала его самого, что в первые минуты он совершенно не заметил несообразности ее ответов. Консуэло, которой он по временам внушал еще какой-то суеверный страх, трепетала и теперь при мысли, что он может силою своего прозрения хоть отчасти догадаться об ее тайне. Но Альберт, с тех пор как любовь заставила его жить обычной человеческой жизнью, казалось, совсем утратил свои прежние, почти сверхъестественные способности. Вскоре Консуэло окончательно

справилась со своим волнением, и когда Альберт предложил ей отправиться с ним в его келью, эта мысль показалась ей не такой неприятной, как несколькими часами раньше. Строгая душа и мрачная обитель этого человека, так серьезно относившегося к ее судьбе, были тем убежищем, где она в эту минуту жаждала найти покой и силы, необходимые для борьбы с воспоминаниями о своей несчастной любви.

«Само провидение посылает мне этого друга среди моих испытаний, — думала она, — и то мрачное святилище, куда он хочет вести меня, является как бы могилой, куда мне лучше лечь, чем идти вслед за злым гением, только что пронесшимся передо мной. О господи, пусть земля разверзнется под моими ногами и навек поглотит меня, если я последую за ним!»

— Дорогое Утешение, — начал Альберт, — я шел сказать вам, что тетушка сегодня все утро занята проверкой счетов с ферм; она совсем забыла о нас, и мы можем наконец осуществить наше паломничество. Впрочем, если вам все еще неприятно увидеть места, с которыми связано для вас столько мучений, столько ужасов…

— Нет, друг мой, нет, — не дала ему докончить Консуэло, — напротив, никогда я не была так рас-

положена, как в эту минуту, помолиться в вашей церкви и слить мою душу с вашей на крыльях той священной песни, которую вы обещали мне исполнить.

Они отправились к Шрекенштейну; углубляясь в лес в направлении, противоположном тому, каким проследовал Андзолето, Консуэло почувствовала, что ей становится все легче, словно каждый шаг, отдалявший ее от юноши, разрушал роковые чары, власть которых она только что испытала. Она шла так быстро и решительно, хотя и с серьезным, сосредоточенным видом, что молодой граф мог бы приписать эту наивную поспешность желанию сделать ему приятное, если бы основу его характера не составляло недоверие к себе и своей судьбе.

Он привел ее к подножию Шрекенштейна, ко входу в пещеру, наполненную стоячей водой и заросшую густой растительностью.

— Эта пещера, где вы можете заметить некоторые следы сводов, известна у окрестного населения под названием «Подвал монаха». Одни думают, что это был и в самом деле монастырский подвал, когда на месте этих развалин еще стоял укрепленный городок. Другие говорят, что в более поздние времена он служил убежищем

одному кающемуся преступнику, который, желая искупить свои грехи, сделался отшельником. Как бы то ни было, никто никогда не отваживается проникнуть в эту пещеру. Существует поверье, что вода в ней чрезвычайно глубока и даже смертельно ядовита, якобы из-за каких-то медных пластов, через которые она пробивается. На самом же деле вода эта и не глубока и не вредна; здесь скалистое дно, и мы легко пройдем по нему, если вы, Консуэло, захотите еще раз довериться моим сильным рукам и моей святой любви к вам.

Убедившись затем, что поблизости никого нет и никто не может наблюдать за ними, он взял ее на руки, чтобы она не замочила ног, и, войдя в воду по колено, стал пробираться со своей ношей сквозь кустарник и гирлянды плюща, скрывавшие глубину пещеры. Вскоре он опустил ее на сухой мелкий песок в месте, где царил полный мрак; Альберт сейчас же зажег захваченный с собою фонарь, и они тронулись в путь; после нескольких поворотов в подземных галереях, похожих на те, по которым Консуэло уже проходила с ним однажды, они очутились у двери кельи, находившейся напротив той, где она была в первый раз.

— Это подземное сооружение, — сказал Альберт, — служило вначале убежищем во время войны либо для именитых жителей городка, стоявшего на горе, либо для владельцев замка Исполинов (городок был в вассальной зависимости от них), которые могли проникать сюда по знакомым вам потайным галереям. Если впоследствии. как утверждают, в «Подвале монаха» жил отшельник, то очень вероятно, что он мог знать об этом убежище. Когда я проник сюда впервые, мне показалось, что галерея, по которой мы с вами пришли, была расчищена не так давно, тогда как галереи, ведущие в замок, я нашел до того заваленными гравием и землей, что мне стоило немалых трудов сделать их проходимыми. Кроме того, найденные мною здесь обрывки циновок, кружка, распятие, лампа и, наконец, скелет человека, лежащего на спине со скрещенными на груди руками, — должно быть, он молился в последний раз перед последним сном, — все это доказало мне, что какой-то отшельник благочестиво и мирно закончил здесь свое таинственное существование. Наши крестьяне верят, что душа пустынника все еще обитает в недрах горы. Они утверждают, будто часто видят, как он блуждает по горе и даже витает над нею в лунные ночи,

и уверяют также, будто слышали не раз, как он молится, плачет, стонет и даже будто какая-то странная, непонятная музыка, нежная, как дуновение ветерка, доносилась до них и замирала на крыльях ночи. Знаете, Консуэло, когда возбуждение и отчаяние населяло природу вокруг меня призраками и ужасами, мне и самому чудилось, будто я вижу мрачного кающегося грешника, распростертого у подножия Гусита; порой мне даже представлялось, что я слышу его жалобные, раздирающие душу стоны, поднимавшиеся со дна пропасти. Но с тех пор как я открыл эту келью и поселился в ней, я никогда не видел никакого отшельника, кроме самого себя, никакого призрака, кроме собственной особы, а также не слыхал иных стонов, кроме тех, что вырывались из моей груди. Со времени своего первого свидания с Альбертом в этой самой пещере Консуэло ни разу не Слышала от него безумных речей. Поэтому, беседуя с ним, она никогда не решалась касаться ни его странных слов, произнесенных в ту ночь, ни галлюцинаций, которые тогда им владели. Ее удивляло, что он, по-видимому, совершенно забыл о них, и, не смея ему об этом напоминать, она только спросила, действительно ли полный покой подобного уединения избавлял его от того

возбужденного состояния, о котором он говорил.

— Не могу с точностью ответить вам на это, — сказал он, — и если вы не настаиваете, то, по правде сказать, я не хотел бы вызывать это воспоминание. Мне кажется, что раньше со мной действительно бывали настоящие припадки безумия. Мои старания скрыть их еще больше их обостряли и делали более заметными. Когда благодаря Зденко, который владеет переходящей из рода в род тайной этих подземных сооружений, я нашел способ избавляться от тягостной для меня заботливости родных и скрывать от взоров всех свое отчаяние, мое существование изменилось. Я стал больше владеть собой, а уверенность, что в случае особенно сильного приступа недуга я могу всегда скрыться от назойливых свидетелей, помогла мне разыгрывать в семье роль спокойного, покорного судьбе человека.

Консуэло поняла, что бедный Альберт заблуждается, но она чувствовала, что теперь не время его разубеждать. Радуясь, что он с таким хладнокровием говорит о прошлом, она принялась осматривать келью более внимательно, чем могла это сделать в свое первое посещение. Ей бросилось в глаза, что относительный порядок и чистота, замеченные ею в тот раз, перестали

царить здесь: холод, сырые стены и плесень на книгах говорили о полной заброшенности этих мест.

— Вы видите, я сдержал данное вам слово, — обратился к ней Альберт, которому с большим трудом удалось растопить печь, — моей ноги не было здесь с тех пор, как вы своим могущественным влиянием вырвали меня отсюда.

Тут Консуэло едва удержалась от вопроса, который готов был сорваться у нее с языка. Она чуть было не спросила: неужели и его друг Зденко, этот верный слуга и ревностный страж, неужели и он забросил и покинул это убежище? Но она вовремя вспомнила, в какую глубокую грусть впадал Альберт каждый раз, как она заговаривала о Зденко, спрашивая, что с ним сталось и почему со времени ужасной встречи с ним в подземелье она ни разу не видела его. Альберт всегда уклонялся от этого разговора: он то притворялся, будто не слышал вопроса, то, не отвечая прямо, просил ее успокоиться и не опасаться больше юродивого. Сперва она думала, что Зденко было приказано никогда не попадаться ей на глаза и что он свято выполняет это. Но когда она возобновила свои одинокие прогулки, Альберт, желая окончательно ее успокоить, поклялся ей,

страшно побледнев, что она нигде не встретит Зденко, так как тот отправился в очень далекое путешествие. И действительно, с тех пор никто его не видел, и стали уже думать, что он или умер, забившись в какой-нибудь угол, или совсем покинул родной край.

Консуэло не верила ни в эту смерть, ни в этот отъезд. Зная страстную привязанность Зденко к Альберту, она не могла допустить мысли, чтобы их разлука была окончательной. Мысль же о смерти возбуждала в ней глубокий ужас, в котором она боялась признаться самой себе, ибо всякий раз вспоминала при этом о страшной клятве, которую в исступлении дал ей Альберт: клятве пожертвовать жизнью несчастного, если это понадобится для спокойствия любимой. Но она гнала от себя это ужасное подозрение, вспоминая, как кроток и человечен был Альберт всю свою жизнь. К тому же вот уже несколько месяцев, как молодой граф был совершенно спокоен: очевидно, Зденко не совершил ничего, что могло бы привести его в такую ярость, как тогда в подземелье. Вообще Альберт как будто забыл об этой мучительной минуте, и Консуэло сама старалась не вспоминать о ней. Из всех событий в подземелье он помнил только то, что происходи-

ло, когда он был в здравом уме. Поэтому Консуэло остановилась на мысли, что Зденко было запрещено не только входить, но даже приближаться к замку и что он, бедный, с досады или с горя, обрек себя на добровольное заключение в подземном убежище. Она предполагала, что несчастный выходит оттуда ночью, чтобы подышать воздухом или поговорить на Шрекенштейне с Альбертом, который, без сомнения, заботится хотя бы о пропитании Зденко, — точно так, как Зденко заботился раньше о его собственном. При виде заброшенной кельи у Консуэло явилось предположение, что Зденко, рассердившись на хозяина, не хотел убирать его покинутое убежище; а так как, входя в пещеру, Альберт сказал, что ей совершенно нечего бояться, она, пользуясь тем, что ее друг возится над заржавленной, никак не открывавшейся дверью в «церковь», попыталась открыть дверь, ведущую в келью Зденко, надеясь найти там следы его недавнего пребывания. Как только она повернула ключ, дверь легко открылась, но здесь было так темно, что она ничего не могла разглядеть. Подождав, пока Альберт вошел в таинственную молельню, которую он хотел привести в порядок, перед тем как принять гостью, она взяла фонарь и тихонько вернулась

в комнату Зденко, все-таки немного боясь встретиться с ним лицом к лицу. Но там не было ни малейшего признака его пребывания. Постель из листьев и овечьих шкур была вынесена, грубо сколоченная скамейка, рабочие инструменты, войлочные сандалии — все исчезло бесследно. При виде сырости, блестевшей на стенах, трудно было даже предположить, что вообще под этими сводами когда-либо мог спать человек. Это открытие опечалило и ужаснуло Консуэло. Судьба Зденко была окружена какой-то мрачной тайной, и она с содроганием подумала, что, может быть, сама явилась причиной какого-нибудь страшного события. В Альберте было два человека: мудрец и безумец. Один — кроткий, сострадательный, нежный; другой — странный, суровый, быть может, свирепый и беспощадный в своих решениях. Тут Консуэло вдруг вспомнила, как Альберту все мерещилось, будто он кровожадный фанатик — Ян Жижка; вспомнилось его пристрастие к событиям в Богемии времен гуситов; да и в самой его страсти к ней — страсти немой и терпеливой — было что-то властное, непостижимое… Все эти мысли пронеслись в одно мгновенье в уме молодой девушки, казалось, подтверждая самые тяжкие ее подозрения. Похолодев от ужаса, стоя-

ла она неподвижно, избегая смотреть на голый, холодный пол из боязни увидеть на нем следы крови.

Она все еще продолжала стоять, погруженная в эти зловещие думы, когда услышала, что Альберт настраивает свой драгоценный инструмент; и вот скрипка запела тот старинный псалом, который Консуэло так жаждала услышать еще раз. Музыка была до того своеобразна, а Альберт вкладывал в нее столько чистого и глубокого чувства, что Консуэло, забыв все свои тревоги, словно притягиваемая магнетической силой, медленно направилась к нему.

Глава 54

Дверь «церкви» была открыта; Консуэло остановилась на пороге, чтобы рассмотреть вдохновенного виртуоза и необычайное святилище. Так называемая «церковь» представляла собой просто огромную пещеру, высеченную, вернее выдолбленную, в скалах руками природы и в особенности подземными водами. Несколько факелов, укрепленных в разных местах на гигантских глыбах, бросали фантастический свет на зеленоватые скалистые стены. Свет этот не проникал в мрачные углубления, откуда неясно выступали очертания длинных сталактитов, похожих на призраки. Это были огромные причудливые нагромождения, образованные проникшей сюда когда-то водой. Они были то скручены, как чудовищные змеи, которые, сплетясь, пожирали друг друга, то, вылезая из почвы и опускаясь со сводов в виде чудовищных игл, походили на колоссальные зубы, оскаленные в раскрытых пастях, образуемых черными углублениями скал. Кое-где виднелось что-то вроде бесформенных статуй, исполинских изображений варварских богов

древности. Свойственная скалам растительность: огромные лишаи, жесткие, как чешуя драконов, гирлянды так называемых «оленьих языков» с широкими тяжелыми листьями, группы молодых кипарисов, недавно посаженных посредине пещеры на бугорках наносной земли, похожих на могильные холмы, — все это придавало пещере мрачный, величественный и зловещий вид, поразивший воображение молодой артистки. Но первое чувство ужаса вскоре сменилось восторгом. Подойдя ближе, она увидела Альберта, стоявшего у источника, который пробивался в середине пещеры. Сделанный для него резервуар был так глубок, что клокотание обильных вод источника совсем не было заметно на его поверхности. Она была гладка и неподвижна, как глыба темного сапфира, а в красивых водяных растениях, посаженных по ее краям Альбертом и Зденко, не было заметно ни малейшей дрожи. Источник был горячий, и его теплые испарения придавали воздуху пещеры мягкость и влажность, благоприятные для растительности. Вода из бассейна вытекала несколькими ручейками: одни тотчас же с глухим шумом терялись в скалах, другие, чистые, прозрачные, протекали по пещере и потом исчезали в темных углублениях, бесконечно

расширявших ее пределы.

Как только граф Альберт увидел Консуэло, он пошел ей навстречу и помог перейти через излучины источника. В более глубоких местах были переброшены стволы деревьев, в других же выступавшие из воды камни облегчали переход для привычных ног. Он протягивал ей руку и несколько раз даже переносил ее. Но на этот раз Консуэло пугал не поток, мрачно и молчаливо катившийся у ее ног, а этот загадочный проводник, к которому ее влекла неодолимая симпатия и от которого в то же время отталкивало какое-то не поддающееся определению чувство. Подойдя к источнику, она увидела на широком камне в несколько футов вышиной нечто такое, что мало способствовало ее успокоению. То было четырехугольное сооружение, вроде памятника, какие можно видеть в катакомбах, искусно сложенное из человеческих костей и черепов. — Не пугайтесь, — сказал ей Альберт, заметив, что она вздрогнула, это благородные останки мучеников моей религии, образующие алтарь, перед которым я люблю размышлять и молиться.

— Какая же у вас религия, Альберт? — наивно и грустно спросила Консуэло. — Чьи это кости: гуситов или католиков? Разве и те и другие не бы-

ли жертвами нечестивой ярости и мучениками веры, одинаково горячей? Неужели правда, что вы предпочитаете учение гуситов вере ваших родителей и что реформы, последовавшие за реформами Яна Гуса, кажутся вам недостаточно строгими и действенными? Скажите, Альберт, чему я должна верить из всего того, что мне о вас говорили?

— Если вам говорили, что я предпочитаю реформу гуситов лютеранской, великого Прокопия — мстительному Кальвину, подвиги таборитов — подвигам солдат Валленштейна, — то это сущая правда, Консуэло. Но что вам до моих верований? Вы по наитию чувствуете истину и знаете божество лучше, чем я. Боже упаси, чтобы я привел вас сюда для того, чтобы отяготить вашу чистую душу, смутить вашу спокойную совесть своими думами и душевными муками! Оставайтесь такой, какая вы есть, Консуэло! Вы родились благочестивой и святой; более того, вы

родились в бедности, неизвестности, и ничто не пыталось затуманить ваш разум, вашу совесть, ваше чувство справедливости. Мы можем, не препираясь, молиться вместе, вы, знающая все, ничему не учившись, и я, мало знающий, несмотря на все мои поиски. В каком бы храме

вы ни молились, вы всегда будете обращаться к истинному богу и истинная вера будет гореть в вашей душе. Итак, не для того, чтобы вас поучать, а для того, чтобы получить через вас откровение, хотел я соединить наши голоса и мысли перед алтарем, сложенным из костей моих предков. — Значит, я не ошиблась, приняв эти благородные останки, как вы их называете, за останки гуситов, сброшенные в колодец Шрекенштейна кровожадной яростью междоусобицы во времена вашего предка Яна Жижки, который, как говорят, страшно отомстил за это. Мне также рассказывали, что после того, как он сжег деревню, он велел засыпать колодец. Мне кажется, что я вижу на темном своде, прямо над головой, круг из обтесанных камней, указывающий, что мы с вами как раз под тем местом, где я не раз сиживала, утомившись искать вас. Скажите, граф Альберт, та ли это скала, которую, как я слышала, вы окрестили камнем Искупления?

— Да, — ответил Альберт, — это здесь пытки и чудовищные жестокости освятили место моих молений и алтарь моей скорби. Вы видите огромные глыбы, нависшие над нашими головами, и вот те, другие, у источника? Могучие руки таборитов сбросили их сюда по приказу

того, кого звали «Грозным слепцом»; но глыбы эти только отвели воды к подземным руслам, куда они и пробились. Стенки колодца были разрушены, и, чтобы скрыть развалины, я посадил эти кипарисы. Но чтобы засыпать совсем эту пещеру, понадобилась бы целая гора земли. Глыбы, застрявшие вверху колодца, задержались там благодаря винтовой лестнице, подобной той, по которой вы отважились спуститься в водоем через мой цветник в замке Великанов. Оседание горных пород с течением времени все больше и больше сдавливало и сдерживало эти глыбы. Теперь если и случится незначительному камешку сорваться оттуда, то это бывает только зимой, во время сильных ночных морозов; вам, как видите, совершенно нечего бояться обвала.

— Вовсе не это заботит меня, Альберт, — возразила Консуэло, переводя взгляд на мрачный алтарь, куда он положил свою скрипку. — Я хочу знать, почему вы почитаете память и останки только этих жертв, как будто не было мучеников и у противной стороны, как будто преступления одних простительнее преступлений других.

Консуэло сказала это, строго и с недоверием глядя на Альберта. Она снова вспомнила о Зденко, и все эти вопросы были как бы частью того до-

знания высокой судебной инстанции, которому она охотно подвергла бы его, если бы отважилась на это.

Мучительное волнение вдруг охватило графа, и Консуэло приняла это за угрызение совести; он схватился руками за голову, потом прижал их к груди, точно боясь, что она разорвется. Лицо его страшно изменилось, и девушка испугалась, не догадался ли он об ее подозрении.

— Вы не знаете, какую причиняете мне боль! — воскликнул он наконец, прислоняясь к алтарю из костей и склоняя голову к этим высохшим черепам, казалось, смотревшим на него своими пустыми глазницами. — Нет! Вы не можете этого знать, Консуэло! И ваши холодные рассуждения будят во мне воспоминания о злополучных днях, пережитых мною. Вы не знаете, что говорите с человеком, пережившим века страданий, с человеком, который, послужив слепым орудием непреклонного правосудия божьего, уже получил награду и понес кару. Я так много страдал, так много пролил слез, так старался искупить свою жестокую судьбу, столько заглаживал ужасов, которые рок заставлял меня совершать… я начал наконец надеяться, что смогу забыть обо всем. Забыть! Этого жаждало мое истерзанное сердце!

Это было мольбой, мечтой каждой минуты моей жизни! Распростертый над этими скелетами, я здесь годами вымаливал сближения с людьми, примирения с богом! А когда вы пожалели меня, я начал верить в свое спасение. Взгляните на этот венок из засохших цветов, готовых уже рассыпаться в прах, — я увенчал им верхний череп моего алтаря. Вы не узнаете этих цветов; а я не раз оросил их горькими и сладостными слезами: ведь это вы сорвали и передали их мне через товарища моих страданий, верного обитателя моей гробницы. И вот, плача и целуя эти цветы, я с тревогой спрашивал себя, сможете ли вы когда-нибудь почувствовать глубокую, настоящую любовь к такому преступнику, как я, к такому безжалостному фанатику, бездушному тирану!..

— Но какие же совершили вы преступления? — спросила, возвысив голос, Консуэло, волнуемая самыми разнообразными чувствами и став смелее при виде глубокого уныния Альберта. — Если вы хотите сделать мне какое-то признание, сделайте его здесь, сделайте его сейчас, чтобы я знала, могу ли я оправдать и полюбить вас.

— Оправдать меня — да, вы можете меня оправдать, ибо тот Альберт фон Рудольштадт, которого вы знаете, жил чистой жизнью ребенка. Но тот,

кто вам неизвестен, — Ян Жижка, поборник чаши, — был вовлечен гневом божьим в целый ряд беззаконий!..

Консуэло увидела, какую оплошность сделала она, раздувая тлевший под пеплом огонь и наводя бедного Альберта на разговор о том, что составляло предмет его помешательства. Но сейчас не время было разубеждать его с помощью рассуждении: она попробовала успокоить его, говоря с ним языком его недуга.

— Довольно, Альберт. Если ваше настоящее существование было посвящено молитве и раскаянию, вам нечего больше искупать, и господь прощает Яна Жижку.

— Бог не открывается непосредственно смиренным творениям, которые ему служат, — отвечал граф, качая головой. — Он унижает или одобряет их, пользуясь одними для спасения или для наказания других. Мы все являемся лишь исполнителями его воли, когда, движимые духом милосердия, пытаемся укорять или утешать наших ближних. Вы, милая девушка, не имеете права отпускать мне грехи. У самого священника нет этой великой власти, хотя церковь в своей гордыне и приписывает ее ему. Но вы можете добыть мне господне прощение, полюбив меня.

Ваша любовь может примирить меня с небом и заставить меня забыть дни, называемые «историей прошлых веков»... Вы можете давать мне именем всемогущего бога самые торжественные обещания, но я не смогу им поверить: я буду усматривать в них лишь благородный и великодушный фанатизм. Положите руку на свое сердце и спросите его, обитает ли в нем мысль обо мне, наполняет ли его моя любовь, — и если оно ответит «да», это «да» будет священной формулой отпущения моих грехов, моего искупления, будет тем чудом, которое даст мне покой, счастье и забвение. Лишь таким образом можете вы быть жрицей моей религии, и моя душа получит отпущение на небесах, как душа католика получает отпущение из уст духовника. Скажите, что вы меня любите, — воскликнул он, страстно порываясь к ней, словно желая схватить ее в свои объятия. Но она отшатнулась, испугавшись той клятвы, которой он требовал, а он снова упал на кости алтаря, тяжко стеная.

— Я знал, что она не сможет полюбить меня, — воскликнул Альберт, — знал, что никогда не буду прощен, что никогда не забуду тех проклятых дней, когда еще не знал ее!

— Альберт, дорогой Альберт, — проговорила

Консуэло, глубоко потрясенная терзавшим его горем, — имейте мужество выслушать меня. Вы упрекаете меня, будто я хочу обмануть вас надеждой на чудо, а между тем вы сами требуете от меня еще большего чуда. Бог, который видит все и оценивает наши заслуги, может все простить; но такое слабое, ограниченное существо, как я, — могу ли я понять и принять одним только усилием ума и преданности такую странную любовь, как ваша? Мне кажется, что это от вас зависит — внушить мне ту исключительную привязанность, какой вы от меня требуете и дать которую не в моей власти, особенно когда я еще так мало знаю вас. Так как мы заговорили с вами мистическим языком религии — меня немного научили ему в детстве, — то я скажу, что для искупления грехов надо, чтобы на вас снизошла благодать. А разве вы заслуживаете того подобия искупления, которого ищете в моей любви? Вы требуете от меня самого чистого, самого нежного, самого кроткого чувства, а мне кажется, что ваша душа не склонна ни к нежности, ни к кротости, — в ней гнездятся самые мрачные мысли и вечное злопамятство.

— Что вы хотите сказать этим, Консуэло? Я не понимаю вас.

— Я хочу сказать, что вы беспрестанно находитесь во власти зловещих фантазий, мыслей об убийствах, кровавых видений. Вы плачете над преступлениями, якобы совершенными вами много веков назад, а между тем воспоминание о них вам дорого. Вы называете их славными, великими, вы приписываете их воле божьей и праведному его гневу. Словом, вы одновременно и ужасаетесь и гордитесь, разыгрывая в своем воображении роль какого-то ангела-истребителя. Если допустить, что вы действительно были в прошлом мстителем и разрушителем, то можно подумать, что в вас сохранился инстинкт мщения и разрушения, что в вас живет склонность, чуть ли не стремление, к этой страшной доле, раз вы все заглядываете туда, за пределы своей настоящей жизни, и плачете над собой, как над преступником, приговоренным оставаться таковым и дальше.

— Нет, благодаря милосердию всемогущего отца душ, он берет их обратно к себе и, восстановив своей любовью, потом возвращает к деятельной жизни! — вздымая руки к небу, воскликнул Рудольштадт. — Нет, нет, во мне не сохранился инстинкт насилия и жестокости! Довольно с меня и того, что я был обречен пройти огнем и

мечом через те варварские времена, которые мы на нашем фанатическом и дерзком языке зовем «эпохой рвения и ярости». Но вы несведущи в истории, божье дитя, вы не понимаете прошлого; и судьбы народов, в которых вам всегда, должно быть, выпадала миссия мира, роль ангела-утешителя, загадочны для вас. А вам надо ознакомиться с этими ужасающими истинами, чтобы иметь представление о том, что порой повелевает праведный бог злосчастным людям.

— Говорите же, Альберт! Объясните мне, что могло быть такого важного и священного в бесплодных распрях о причащении, чтобы народы стали убивать друг друга во имя божественной евхаристии?

— Вы правы, называя ее божественной, — ответил Альберт, садясь у источника рядом с Консуэло. — Это подобие равенства, это таинство, установленное существом наивысшим среди людей с целью увековечить принцип братства, достойно того, чтобы вы, равная самым могущественным и благородным представителям человечества, назвали его божественным! А между тем существуют еще тщеславные безумцы, которые считают вас ниже себя, считают кровь вашу менее драгоценной, чем кровь земных

королей и князей! Что подумали бы вы обо мне, Консуэло, если бы я, потому только, что веду свой род от этих самых королей и князей, вообразил себя выше вас?

— Я простила бы вам этот предрассудок, священный для всей вашей касты; восставать против него мне никогда не приходило в голову, и я счастлива, что родилась свободной и равной маленьким людям, которых я люблю гораздо больше, чем великих мира сего.

— Быть может, Консуэло, вы простили бы мне, «но вы бы меня не уважали. Оставаясь здесь с глазу на глаз со мной, человеком, обожающим вас, вы не чувствовали бы себя так покойно, как теперь, когда вы уверены, что для меня вы так же священны, как если бы были по праву рождения провозглашены императрицей Германии. О, позвольте мне думать, что божественную жалость, заставившую вас тогда, в первый раз, прийти сюда, вы почувствовали только потому, что знали мой характер и мои принципы! Итак, дорогая сестра, признайте же в своем сердце (я обращаюсь к нему, не желая утомлять ваш мозг философскими рассуждениями), что равенство священно, что это воля отца людей и что долг людей — стремиться установить это равенство.

Когда народы были горячо привержены обрядности своей религии, для них в причащении заключалось все равенство, каким только дозволяли пользоваться законы, установленные обществом. Бедные и слабые находили в нем утешение: оно помогало им переносить тяготы жизни, давая надежду, что впоследствии их потомкам будет лучше; богемцы всегда хотели соблюдать обряд евхаристии в том виде, в каком его проповедовали и выполняли апостолы. То было поистине древнее братское единение, трапеза равенства, отображение царства божия, которое должно было осуществиться на земле. В один прекрасный день римская церковь, подчинившая народы и царей своей деспотической и честолюбивой власти, пожелала отделить христианина от священника, народ от духовенства. Она отдала чашу в руки своих служителей, дабы те скрыли божество в таинственных ковчегах; и вот эти священнослужители путем своих бессмысленных толкований превратили причащение в какой-то языческий культ, в котором миряне могли участвовать не иначе, как с их, священнослужителей, соизволения. Они захватили ключи от совести людской, сделав исповедь тайной; и святая чаша, та славная чаша, к которой бедняк шел утолять

и обновлять свою душу, исчезла в шкатулке из кедрового дерева, разукрашенной золотом, откуда причастие извлекали только для того, чтобы приблизить его к устам священника. Он один стал достоин вкушать от крови и слез Христа. Смиренный верующий должен был, став на колени, лизать его руку, чтобы вкусить хлеб ангелов. Теперь вы понимаете, почему народ закричал в один голос: „Чашу, верните нам чашу! Чашу для простого народа, чашу для детей, женщин, грешников и безумных! Чашу для всех нищих, всех убогих и телом и душой!“ Таков был крик возмущения, соединивший в одно целое всю Богемию. Остальное вам известно, Консуэло. Вы уже знаете, что к этой первоначальной идее, отражавшей в религиозном символе всю радость, все благородные искания гордого и великодушного народа, присоединились, как следствие преследований и страшной борьбы с соседними народами, еще идеи свободы отечества и национальной чести. Завоевание чаши повлекло за собой другие благороднейшие завоевания и создало новое общество. Если же история, написанная невежественными или скептически настроенными людьми, расскажет вам, будто только жажда крови и алчность к золоту разожгли эти злополучные войны, не

верьте: это ложь перед богом и людьми! Правда, личная злоба и честолюбие пятнали порою подвиги наших предков, но то был все тот же извечный дух властолюбия и жадности, постоянно грызущий богатых и знатных. Они, и только они, позорили святое дело и десятки раз изменяли ему. Народ — грубый, но искренний, фанатичный, вдохновенный — объединился в секты, поэтические названия которых вам известны: табориты, оребиты, сироты, союзные братья. Этот народ — мученик своей веры — бежал в горы, где соблюдал со всей суровостью закон дележа и полнейшего равенства, верил в вечную жизнь душ, воплощающихся в обитателях земного мира, ждал пришествия и торжества Христа, воскресения Яна Гуса, Яна Жижки, Прокопа Лысого и всех непобедимых вождей, проповедовавших свободу и служивших ей. Такое верование не кажется мне вымыслом, Консуэло. Наша роль на земле не так коротка, как принято думать, и обязанности наши не кончаются со смертью. Что же касается желания капеллана, а быть может, и моих добрых, но слабых родных приписывать мне узкое и ребяческое увлечение гуситским культом, то, хоть я действительно в дни своего болезненного возбуждения как будто смеши-

вал символ с принципом и образ с идеей, не презирайте меня слишком за это, Консуэло. В глубине души я никогда не думал воскрешать эти забытые обряды, не имеющие смысла в наши дни. Иные образы и иные символы нужны были бы для нынешних просвещенных людей, если бы только они согласились раскрыть глаза и если б иго рабства не препятствовало народам искать религию свободы. Слишком строго и лживо перетолковывались мои симпатии, вкусы и привычки. Устав от бесплодных и суетных идей людей нашего века, я ощутил потребность укрепить свое соболезнующее сердце общением с людьми простодушными или несчастными. Мне нравилось разговаривать со всеми этими бродягами, юродивыми, со всеми обездоленными, лишенными земных благ и любви своих ближних; я открывал иногда в наивном бреде тех, кого называют помешанными, мимолетные, но поразительные проблески божественной мысли. Мне приходилось также, выслушивая признания так называемых „отверженных“ и преступников, рассказывавших о своем раскаянии и угрызениях совести, наталкиваться на глубокие, хотя и не всегда чистые следы их справедливости и невиновности. И вот, видя меня сидящим за столом

у невежды или у изголовья разбойника, добрые люди заключили, что я еретик и даже колдун! Что я могу ответить на такие обвинения? Когда же я, потрясенный чтением истории своей родины и размышлениями над ней, не сдерживаясь говорил вещи, похожие на бред (быть может, они и были бредом), меня стали бояться, принимая за безумца, одержимого дьяволом... Дьявол! А знаете ли вы, Консуэло, что это такое? Рассказать вам об этой таинственной аллегории, созданной священнослужителями всех религий?

— Да, друг мой, — сказала Консуэло, успокоенная и почти убежденная, забыв свою руку в руке Альберта. — Объясните мне, что такое сатана. Сказать правду, хотя я не переставала верить в бога и никогда открыто не восставала против того, чему меня учили о нем, я все-таки никогда не верила в дьявола. Если бы он действительно существовал, то бог заковал бы его в цени так далеко от себя и от нас, что мы ничего и не узнали бы о Нем. — Если бы он существовал, — отвечал Альберт, — то мог бы быть лишь чудовищным созданием того бога, существование которого самые нечестивые софисты предпочитали уж лучше отрицать, лишь бы не быть вынужденными признавать его за тип и идеал всяческого

совершенства, знания и любви. Как могло совершенство породить зло, знание — ложь, любовь — ненависть и развращенность? Эту сказку надо отнести к поре детства рода человеческого, когда бедствия и страдания в мире физическом заставили трусливых детей земли думать, будто есть два бога, два высших и созидающих духа: один — источник всех благ, а другой — всех зол; два начала, почти одинаковые, ибо царство Эблиса должно было существовать неисчислимый ряд веков и пасть лишь после ужасающих боев в сферах Эмпирея. Но почему же после проповеди Христа и чистого евангельского света духовенство осмелилось воскресить и утвердить в умах народов это грубое верование их древних предков? Потому что, вследствие неудовлетворительного или неправильного толкования апостольского учения, понятие о добре и зле оставалось смутным и незаконченным для человеческого ума. Был введен и освящен принцип полного разделения прав и назначения духа и плоти, прерогатив духовной и светской власти. Христианский аскетизм возвышал душу и клеймил позором тело. Так как мало-помалу фанатизм довел до крайности это осуждение телесной жизни, а в обществе, несмотря на учение Христа, уцелел

древний порядок деления на касты, небольшая группа людей продолжала жить и господствовать с помощью разума, в то время как огромное большинство прозябало во мраке суеверия. Просвещенные и могущественные касты, особенно духовенство, стали тогда душою общества, народ же оставался только его телом. Кто же был истинным покровителем разумных существ? Бог. А неразумных? Дьявол. Ибо бог давал жизнь душе и возбранял жизнь чувственную, к которой сатана постоянно влечет людей слабых и грубых. Одна из таинственных и странных сект возмечтала, как и многие другие, восстановить право плоти и воссоединить в одном общем божественном начале эти два произвольно разделенных начала. Секта эта хотела утвердить любовь, равенство и общность имущества, как основу человеческого счастья. Это была справедливая и святая идея. Нужды нет, что при этом бывали крайности и злоупотребления. Секта эта стремилась вывести из уничижения так называемое злое начало и, наоборот, сделать из него служителя и движущую силу доброго начала. Таким образом, эти философы отпустили сатане его прегрешения, и он был восстановлен в сонме небесных духов. Поэтическими истолкованиями они постарались

превратить архангела Михаила и его воинство в угнетателей и узурпаторов славы и могущества, осуждая в их лице первосвященников и князей церкви, оттеснивших к вымыслам об аде религию равенства и основы счастия человеческого рода. Итак, мрачный и скорбный Люцифер вышел из бездны, где он, скованный, подобно божественному Прометею, стонал столько веков. Его освободители все же не дерзали открыто взывать к нему, но посредством таинственных и загадочных формул выразили идею его апофеоза и будущего царствования над человечеством, которое было слишком долго развенчано, унижено и оклеветано, как и он сам. Боюсь, однако, что я утомил вас своими объяснениями. Простите меня, дорогая Консуэло. Но вам изобразили меня антихристом и поклонником демона, и мне хотелось оправдаться перед вами и доказать, что я менее суеверен, чем те, кто меня обвиняет.

— Вы нисколько не утомили меня, — ответила, кротко улыбаясь, Консуэло, — и я очень рада узнать, что не вступила в союз с врагом рода человеческого, прибегнув однажды ночью к приветствию лоллардов. — Вы, оказывается, очень осведомлены по этой части, — заметил Альберт и снова принялся объяснять ей возвы-

шенный смысл тех великих истин, называемых еретическими, которые были погребены под недобросовестными обвинениями и приговорами софистов католицизма. Все более и более воодушевляясь, он рассказал ей о своих исследованиях, размышлениях, мрачных фантазиях, которые довели его самого до аскетизма и суеверия во времена, казавшиеся ему более далекими, чем они были на самом деле. Стараясь сделать свою исповедь как можно более удобопонятной и простой, он достиг удивительной ясности ума, говорил о себе с такой искренностью, с таким беспристрастием, как будто о. дело шло о другом человеке, и касался слабостей и болезненных явлений своего рассудка так, как будто давно излечился от этих опасных припадков. Он излагал свои мысли с такой рассудительностью, что, отбросив вопрос о времени, представление о котором, видимо, было утеряно для него (он каялся, например, в том, что когда-то воображал себя Яном Жижкой, Вратиславом, Подебрадом и другими героями минувшего, совершенно забывая, что за полчаса перед тем впадал в такое же заблуждение), Консуэло не могла не видеть в нем человека выдающегося и просвещенного; никто из тех, с кем ей приходилось встречаться

до сих пор, не высказывал более великодушных, а следовательно, и более справедливых взглядов. Мало-помалу внимание и интерес, сверкавшие в глазах молодой девушки, ее сообразительность, поразительная способность усваивать отвлеченные идеи так воодушевили Рудольштадта, что речь его зазвучала еще убедительнее, еще ярче. Консуэло, после нескольких вопросов и возражений, на которые он сумел удачно ответить, уже не думала об удовлетворении своей природной любознательности, а только пребывала в каком-то восторженном удивлении, которое внушал ей Альберт. Она забыла все тревоги, пережитые за этот день: и Андзолето, и Зденко, и кости мертвецов, лежавшие перед ее глазами. Какие-то чары завладели ею: живописное место, где она находилась, эти кипарисы, страшные скалы и мрачный алтарь показались ей при дрожащем свете факелов каким-то подобием волшебного Элизиума, где блуждали священные и величественные видения. Хотя она и бодрствовала, но ее рассудок, подвергшийся напряжению, слишком сильному для ее поэтической натуры, был как бы усыплен. Уже не слушая того, что говорил Альберт, она погрузилась в сладостный экстаз, умиляясь при мысли о сатане, которого он только

что изобразил как великую, непризнанную идею, а ее артистическое воображение нарисовало его в виде красивого, страдальческого, бледного образа, родного брата Христа, склонившегося над нею, дочерью народа, отверженным ребенком мировой семьи. Вдруг она заметила, что Альберта уже нет подле нее, что он больше не держит ее руки, перестал говорить, а стоит в двух шагах у алтаря и играет на своей скрипке мелодию, которая однажды так поразила и очаровала ее.

Глава 55

Сначала Альберт сыграл на своей скрипке старинные песнопения неизвестных у нас и забытых в Богемии авторов, которые перешли к Зденко от его предков и которые молодой граф записал после долгих трудов и дум. Он так проникся духом этих произведений, на первый взгляд диких, но глубоко трогательных и истинно прекрасных своей серьезной и ясной манерой, и так усвоил их, что мог долго импровизировать на эти темы, дополняя их собственными вариациями, схватывая и развивая основное чувство произведения, но не поддаваясь чрезмерно своему личному вдохновению, а сохраняя благодаря искусному и вдумчивому толкованию своеобразный, строгий и проникновенный характер этих старинных напевов. Консуэло хотела было запомнить эти драгоценные образцы пламенного народного гения старой Богемии, но это ей не удавалось, отчасти из-за мечтательного настроения, в котором она пребывала, отчасти из-за неопределенности этой музыки, чуждой ее уху.

Есть музыка, которую можно назвать есте-

ственной, так как она является плодом не науки и не размышления, а вдохновения, не поддающегося строгим правилам или условностям. Такова народная музыка, по преимуществу музыка крестьян. Сколько чудесных песен рождается и умирает среди них, так и не удостоившись точной записи и не получив окончательного отображения в виде определенной темы. Неизвестный артист, который импровизирует безыскусственную балладу, охраняя свои стада или идя за плугом (а таких еще немало даже в странах, кажущихся наименее поэтичными), редко когда сумеет запомнить и тем более записать свои мимолетные мысли. От него эта баллада переходит к другим музыкантам, таким же детям природы, как и он сам, а те ее переносят из деревни в деревню, из хижины в хижину, причем каждый изменяет ее сообразно своему дарованию. Вот почему эти деревенские песни и романсы, такие прелестные своей наивностью и глубиной чувства, большей частью утрачиваются и редко живут больше ста лет в памяти народа. Ученые музыканты не особенно заботятся их собирать. Большинство пренебрегает ими, не обладая достаточно ясным пониманием и возвышенным чувством, других же отталкивает то, что почти невозможно найти

подлинную первоначальную мелодию, которая, быть может, уже не существует и для самого автора и которую, разумеется, никогда не оставляли определенной и неизменной многочисленные ее исполнители. Одни изменяли ее по своему невежеству, другие развивали, украшали и улучшали ее благодаря своему превосходству, ибо изучение искусства не заглушило в них непосредственности восприятия. Они и сами не сознавали, что преобразили первоначальное произведение, а их простодушные слушатели тоже не замечали этого. Крестьянин не исследует и не спрашивает. Если небо создало его музыкантом, он поет как птица — подобно соловью, без устали импровизирующему, хотя основные элементы его пения, варьируемые до бесконечности, остаются неизменными. Плодовитость народного гения беспредельна. Ему не нужно записывать свои произведения, — он творит без отдыха, подобно земле, им обрабатываемой; он творит ежечасно, подобно природе, его вдохновляющей.

В сердце Консуэло была и чистота, и поэзия, и чуткость — словом, все, что нужно, чтобы понимать и страстно любить народную музыку. В этом тоже проявлялась великая артистка, и усвоенные ею научные теории не убили в ее таланте ни

свежести, ни мягкой нежности — этих сокровищ вдохновения и юности души. Бывало, она не раз тайком от Порпоры признавалась Андзолето, что некоторые баллады рыбаков Адриатического моря гораздо больше говорят ее сердцу, чем все высокие произведения падре Мартини или маэстро Дуранте вместе взятые. Испанские песни и болеро, исполнявшиеся ее матерью, были для нее источником поэзии, откуда она черпала теперь свои любимые воспоминания. Какое же впечатление должен был произвести на нее музыкальный гений Чехии, вдохновение этого народа — народа пастухов и воинов, фанатично-сурового и нежного, сильного в своей трудовой жизни! Все в этой музыке было для нее и ново и поразительно. Альберт передавал ее с редким пониманием народного духа и породившего ее могучего религиозного чувства. Импровизируя, он вносил в эту музыку глубокую меланхолию и раздирающую сердце жалобу — эти следы угнетения, запечатлевшиеся в душе его народа и его собственной. И это смешение грусти и отваги, экзальтации и уныния, благодарственных гимнов и воплей отчаяния было самым совершенным и самым глубоким выражением переживаний несчастной Богемии и несчастного Альберта.

Справедливо говорят, что цель музыки — возбудить душевное волнение. Никакое другое искусство не пробуждает столь возвышенным образом благородные чувства в сердце человека; никакое другое искусство не изобразит перед духовными очами красоту природы, прелесть созерцания, своеобразие народов, бурю их страстей и тяжесть страданий. Сожаление, надежда, ужас, сосредоточенность духа, смятение, энтузиазм, вера, сомнение, слава, спокойствие — все это и еще многое другое музыка дает нам или отнимает у нас силою своего гения и в меру нашей восприимчивости. Она воссоздает даже внешний вид вещей и, не впадая в мелочные звуковые эффекты или в узкое подражание шумам действительности, показывает нам сквозь туманную дымку, возвышающую и обожествляющую их, те предметы внешнего мира, к которым она уносит наше воображение. Иные песнопения воссоздали перед нами исполинские призраки древних соборов и в то же время заставили нас проникнуть в мысли народов, которые построили их и повергались там ниц, распевая свои религиозные гимны. Для того, кто сумел бы сильно и просто передать музыку разных народов, и для того, кто сумел бы должным образом ее слушать, нет надобности

ездить по всему свету, знакомиться с разными национальностями, осматривать их памятники, читать их книги, странствовать по их степям, горам, садам и пустыням. Хорошо переданная еврейская мелодия переносит нас в синагогу; вся Шотландия отражается в подлинной шотландской песне, как и вся Испания в подлинной испанской. Таким образом мне удалось не раз побывать в Польше, в Германии, в Неаполе, в Ирландии, в Индии, и я лучше знаю этих людей и эти страны, чем если бы мне пришлось изучать их целые годы. В одно мгновение я переносился к ним и жил их жизнью; обаяние музыки позволяло мне приобщиться к самой сущности этой жизни.

Постепенно Консуэло перестала слушать и даже слышать скрипку Альберта. Вся душа ее насторожилась, а чувства, отрешившись от внешних восприятии, витали в ином мире, увлекая ее дух в неведомые сферы, где обитали иные существа. Она видела, как в странном хаосе, ужасном и в то же время прекрасном, мечутся призраки былых героев Чехии; она слышала погребальный звон монастырских колоколов, в то время как грозные табориты, худые, полунагие, окровавленные, свирепые, спускались с вершин своих

укрепленных гор. Потом она видела ангелов смерти — на облаках, с чашей и мечом в руке; повиснув густой толпою над головами вероломных первосвященников, они изливали на проклятую землю чашу божьего гнева. И ей чудилось, будто она слышит удары их тяжелых крыльев, видит, как кровь Христа крупными каплями падает за их спинами, чтобы угасить пожар, зажженный их яростью. То ей рисовалась ночь, полная ужаса и мрака, и она слышала стоны и хрипение умирающих, покинутых на поле битвы; то мерещился ей ослепительно палящий день, и «Грозный слепец», в круглой каске, заржавленном панцире, с окровавленной повязкой на глазах, проносился, словно молния, на своей повозке. Храмы открываются сами собой при его приближении, монахи прячутся в недра земли, унося в полах своих одежд реликвии и сокровища. Тогда победители приносят изможденных старцев, покрытых, подобно Лазарю, язвами, прибегают юродивые, распевая и смеясь, как Зденко, проходят палачи, обрызганные запекшейся кровью, малые дети с непорочными руками и ангельскими личиками, женщины-воительницы со связками пик и смоляных факелов — и все усаживаются за общий стол. И ангел, светозарный и прекрасный, как на

апокалиптических картинах Альбрехта Дюрера, подносит к их жаждущим устам деревянную чашу прощения, искупления и божественного равенства.

Этот ангел является во всех видениях, проносящихся в эту минуту перед глазами Консуэло. Вглядываясь, она узнает в нем сатану, самого прекрасного из всех бессмертных после бога, самого печального после Иисуса, самого гордого из всех гордых; он влачит за собою порванные им цепи, и его бурые крылья, истрепанные и повисшие, хранят на себе следы насилия и заточения. Скорбно улыбаясь людям, осквернённым злодеяниями, он прижимает к своей груди маленьких детей.

Вдруг Консуэло почудилось, будто скрипка Альберта заговорила и произнесла устами сатаны: «Нет, Христос, мой брат, любил вас не больше, чем я люблю. Пора вам узнать меня, пора, вместо того чтобы называть врагом рода человеческого, снова увидеть во мне друга, поддерживающего вас в борьбе. Я не демон, я — архангел, вождь восстания и покровитель великой борьбы. Как и Христос, я — бог бедных, слабых и угнетенных. Когда он обещал вам царство божие на земле, когда он возвещал вам свое второе пришествие, он этим хотел сказать, что после преследований

вы будете вознаграждены, завоевав себе вместе с ним и со мною свободу и счастие. Мы должны были вернуться вместе, и действительно возвращаемся, но настолько слитые друг с другом, что составляем одно целое. Это он, божественное начало, бог разума, спустился в ту тьму, куда меня бросило невежество и где я, горя в пламени вожделения и негодования, претерпевал муки, подобные тем, что заставили и его испытать на кресте книжники и фарисеи всех времен. Но отныне я навсегда с вашими детьми; он разорвал мои цепи, загасил мой костер, примирил меня с богом и с вами. Отныне правом и уделом слабого будет не хитрость и не страх, а гордость и сила воли. Иисус милосерд, кроток, нежен и справедлив; я тоже справедлив, но я силен, воинственен, суров и упорен. О народ! Разве ты не узнаешь того, чей голос звучал в тайниках твоего сердца с тех пор, как ты существуешь? Того, который среди всех твоих бедствий поддерживал тебя, говоря: „Добивайся счастья, не отрекайся от него. Счастье — твое право! Требуй его, и ты его добьешься! «? Разве ты не видишь на моем челе следов всех твоих страданий, а на моих истерзанных членах рубцов от оков, которые ты носил? Испей чашу, которую я тебе принес: ты найдешь в ней мои

слезы, смешанные со слезами Христа и твоими собственными, и ты почувствуешь, что они одинаково жгучи и одинаково целительны“.

Эта галлюцинация переполнила скорбью и жалостью сердце Консуэло. Ей казалось, будто она видит падшего ангела, слышит, как он плачет и стонет подле нее. Он был высок, бледен, прекрасен, с длинными спутанными волосами над опаленным молнией, но все же гордо поднятым к небу челом. Она восхищалась им, трепеща и все еще боясь его по привычке, и уже любила той братской, благоговейной любовью, какую рождают великие несчастья. Вдруг ей почудилось, будто, окруженный группой чешских братьев, он обратился именно к ней, мягко упрекая за недоверие и страх, почудилось, будто он притягивает ее к себе магнетическим взором, против которого невозможно устоять. Очарованная, вне себя, она вскочила, бросилась к нему и, протянув руки, опустилась перед ним на колени. Альберт выронил скрипку, которая упала, издав жалобный стон, и с криком удивления и восторга заключил девушку в свои объятия. Это его она слышала, его видела, мечтая о мятежном ангеле; это его лицо притягивало и покоряло ее. Это ему, прижавшись сердцем к его сердцу, она прошептала прерываю-

щимся голосом: «Твоя! Твоя, о ангел скорби! Твоя и божья навеки!»

Но едва прикоснулся Альберт дрожащими губами к ее губам, как она вся похолодела, и нестерпимая боль пронзила ей грудь и мозг, одновременно леденя и обжигая ее. Внезапно очнувшись от своей мечты, она была так страшно потрясена, что ей показалось, будто она умирает; вырвавшись из объятий графа, она упала на алтарь, и груда черепов со страшным шумом рухнула на нее. Покрытая этими человеческими останками, видя перед собой Альберта, которого она только что, в минуту безумного возбуждения, обнимала, как бы давая ему этим право на свою душу и свою судьбу, она почувствовала такую ужасную, такую мучительную тоску, что, спрятав лицо в распустившихся волосах и рыдая, закричала:

— Скорей отсюда, скорей! Ради бога, воздуха! Света! Господи, выведи меня из этого склепа, дай мне увидеть солнце!

Альберт, видя, как она все больше бледнеет и начинает бредить, бросился к ней, чтобы вынести ее из подземелья. Но в своем ужасе она этого не поняла, вскочила и кинулась бежать в глубь пещеры, не обращая внимания на воды потока,

таившего в некоторых местах несомненную опасность.

— Ради бога! — закричал Альберт. — Не туда! Остановитесь! Вам грозит смерть! Подождите меня!

Но крик его только усилил ее страх, и она, не отдавая себе отчета в том, что делает, бросилась вперед, дважды с легкостью козы перепрыгнув через излучины потока; наконец, наткнувшись в темноте на земляную насыпь, обсаженную кипарисами, она упала ничком на мягкую, недавно взрыхленную землю.

Этот толчок разрядил ее нервное состояние: ужас сменился в ней оцепенением. Задыхаясь, с трудом ловя ртом воздух, она лежала, не отдавая себе отчета в том, что с ней произошло, так что граф смог наконец подойти. У него хватило присутствия духа захватить один из горевших факелов, в расчете на то, что если ему не удастся догнать ее, то он хотя бы осветит ей самое опасное и глубокое место потока, к которому она, видимо, устремлялась. Бедный молодой человек, совсем подавленный и разбитый такими внезапно пережитыми противоположными волнениями, не смел ни заговорить с ней, ни поднять ее. Тут она сама привстала и села на земляную насыпь,

о которую только что споткнулась. Она тоже не решалась заговорить с Альбертом. Смущенная, опустив глаза, она рассеянно глядела в землю. Вдруг она заметила, что холмик, на котором она сидит, — недавно засыпанная могила, убранная слегка увядшими кипарисовыми ветками и засохшими цветами. Как ужаленная, она вскочила и, не будучи в силах справиться с новым охватившим ее припадком ужаса, вскричала:

— О Альберт, кого вы похоронили здесь?

— Я похоронил тут самое дорогое, что было у меня на свете до встречи с вами, — с глубочайшей скорбью ответил он. — Если это святотатство, господь простит мне его! Я совершил его в минуту безумия, стремясь выполнить священный долг. Потом я вам скажу, какая душа обитала в том теле, что покоится здесь. Теперь вы слишком взволнованы, и вам нужно скорее на воздух. Идемте, Консуэло, покинем это место, где вы в течение одной минуты сделали меня и счастливейшим и несчастнейшим из людей.

— О да! Выйдем отсюда! Я не знаю, какие испарения поднимаются здесь из земли, но чувствую, что умираю, теряю рассудок.

Не вымолвив больше ни слова, они вышли. Альберт с факелом шел впереди, освещая своей

спутнице каждый встречный камень. Когда он открывал дверь кельи, Консуэло, несмотря на свое состояние, как истая артистка, вспомнила о драгоценном инструменте.

— Альберт, — сказала она, — вы забыли у источника вашу чудесную скрипку. Она доставила мне сегодня столько неведомых до сей поры переживаний, что я никак не могу примириться с тем, чтобы она погибла там от сырости.

Альберт сделал жест, говоривший, как ему безразлично теперь все, кроме Консуэло. Но она продолжала настаивать:

— Она сделала мне много зла, эта скрипка, но все же…

— Если она вам сделала только зло, пусть погибает! — с горечью проговорил он. — Во всю свою жизнь я не дотронусь до нее. Мне даже хочется, чтобы она погибла как можно скорее.

— Я солгала бы, сказав, что скрипка причинила мне только зло, — возразила Консуэло, в которой снова проснулось уважение к музыкальному дарованию графа. — Просто волнение оказалось выше моих сил — и восхищение превратилось в страдание. Друг мой, сходите же за ней! Мне хочется собственноручно и бережно уложить ее в футляр до той минуты, когда ко мне вернется

мужество снова вложить ее в ваши руки и еще раз послушать ее.

Консуэло была тронута тем взглядом, которым поблагодарил ее граф за эти слова надежды. Он повиновался и пошел за скрипкой в пещеру. Оставшись на несколько минут одна, она стала упрекать себя за свой безумный ужас, за страшное подозрение. С дрожью и краской стыда вспомнила она лихорадочный порыв, бросивший ее в объятия графа, но при этом она не могла не преклониться мысленно перед скромностью и целомудренной застенчивостью этого человека, который, обожая ее, не посмел воспользоваться таким моментом, чтобы сказать ей хотя бы одно слово любви. Его грусть, вялость движений достаточно красноречиво говорили о том, что в нем умерла всякая надежда. Она почувствовала к нему бесконечную благодарность за эту тонкость чувств и дала себе слово смягчить самыми ласковыми словами прощальное приветствие, предстоящее им при выходе из подземелья.

Но воспоминание о Зденко, подобно мстительному призраку, продолжало преследовать ее, обвиняя Альберта против ее воли. Подойдя к двери, она увидела, что на ней написано что-то по-чешски. Все слова, за

исключением одного, были ей понятны по той причине, что она знала их наизусть. На черной двери чья-то рука (это могла быть только рука Зденко) мелом написала: «Обиженный да… тебе». Одно слово было непонятно для Консуэло, это изменение очень ее встревожило. Альберт возвратился и сам спрятал в футляр свою скрипку: у Консуэло не хватило мужества сделать это, — больше того, ей даже в голову не пришло исполнить то, что она обещала. Ее снова охватило желание выйти поскорее из этого подземелья. Пока Альберт с трудом запирал заржавленный замок, она не смогла удержаться и, указав пальцем на таинственное слово, вопросительно взглянула на своего спутника.

— Оно значит, — со странным спокойствием ответил Альберт, — что непризнанный ангел, друг несчастных, тот, о котором мы только что с вами говорили, Консуэло…

— Да, сатана, я знаю. Но что же дальше?

— Так вот: «Сатана пусть простит тебе!»

— Что простит? — спросила она, бледнея.

— Если страдание тоже требует прощения, то мне нужно долго молиться, — с какой-то светлой грустью проговорил граф.

Они вышли в галерею и до самого «Подвала мо-

наха» не проронили ни слова. Но когда дневной свет, пробиваясь синеватыми отблесками сквозь листву, упал на лицо Альберта, Консуэло увидела, как безмолвные слезы двумя ручьями медленно катятся по его щекам. Это огорчило девушку; и все-таки, когда Альберт боязливо подошел к ней, чтобы перенести через воду в пещере, она уже собиралась промочить ноги в этой солоноватой воде, лишь бы не позволить ему взять себя на руки. Отказалась она от его услуг под тем предлогом, что он, видимо, очень устал, и уже хотела в своей легкой обуви войти в тину, как вдруг Альберт, загасив факел, проговорил:

— Прощайте же, Консуэло, видя ваше отвращение к себе, я должен погрузиться в вечную ночь: как призрак, вызванный вами на мгновение, я сумел только напугать вас — и потому я возвращаюсь в свою могилу.

— Нет, ваша жизнь принадлежит мне, — воскликнула Консуэло, оборачиваясь и удерживая его. — Вы дали мне клятву никогда без меня не входить в эту пещеру, и вы не имеете права взять ее назад.

— Зачем же хотите вы бремя человеческой жизни возложить на призрак?

Одинокий — лишь тень человека; а тот, кого не

любят, одинок всюду и со всеми.

— Альберт! Альберт! Вы надрываете мне сердце! Пойдемте, несите меня отсюда! Быть может, при дневном свете я наконец разберусь в своей судьбе.

Глава 56

Альберт повиновался, и, когда они стали спускаться со Шрекенштейна в долину, Консуэло почувствовала, что волнение ее действительно утихает.

— Простите мне то страдание, которое я причинила вам, — проговорила она, слегка опираясь на его руку. — Теперь я не сомневаюсь, что в пещере у меня был припадок безумия.

— К чему вспоминать о нем, Консуэло? Я никогда не заговорил бы о нем с вами; я прекрасно знаю, что эту минуту вы хотите вычеркнуть из своей памяти. Мне тоже надо стремиться забыть о ней.

— Друг мой, я не хочу забыть об этом припадке, но хочу, чтобы вы его простили. Расскажи я вам странное видение, которое почудилось мне в то время, когда вы исполняли ваши богемские мелодии, вы поняли бы, что, поразив и напугав вас, я была вне себя. Не можете же вы допустить, что я забавлялась, играя вашим рассудком и вашим спокойствием… Бог свидетель, что я и сейчас готова отдать за вас жизнь.

— Знаю, Консуэло, что вы не дорожите своей жизнью, а я вот чувствую, что цепко ухватился бы за свою, если бы…

— Договаривайте же!

— Если б был любим так, как я люблю!

— Альберт, я люблю вас, насколько это для меня возможно, и, наверно, полюбила бы вас, как вы того заслуживаете, если бы…

— Ну, теперь договаривайте вы!

— Если б из-за непреодолимых препятствий это не было преступно с моей стороны.

— Какие же это препятствия? Я все ищу их и не могу найти. Видно, они в глубине вашего сердца, в ваших воспоминаниях!

— Не будем говорить о моих воспоминаниях: они так ужасны, что для меня было бы лучше умереть, чем снова пережить прошлое. Но ваше положение в свете, ваше богатство, противодействие и возмущение ваших родных — где мне взять мужество, чтобы перенести все это? У меня нет ничего, кроме чувства собственного достоинства и бескорыстия; что останется мне, если я пожертвую и этим?

— Моя любовь и твоя, если бы ты любила меня, но я чувствую, что этого нет, и прошу у тебя лишь немного — жалости. Как можешь ты быть

унижена, даря мне, словно милостыню, немного счастья? Кто же из нас двоих был бы у ног другого? И как может мое богатство опозорить тебя? Если оно тяготит тебя, как и меня, мы могли бы тотчас же раздать его бедным. Неужели» ты думаешь, что я давным-давно не решил поступить с ним согласно своим вкусам и взглядам, то есть избавиться от него, когда смерть отца прибавит к горю разлуки еще ужас получения наследства? Итак, тебя пугает богатство? Но я дал обет бедности. Ты боишься блеска моего имени? Оно поддельно, а настоящее мое имя в опале. Я не верну его себе, — это было бы неуважением к памяти отца, — но клянусь тебе: в той безвестности, в которой я буду жить, имя Рудольштадт никого уже не ослепит, и ты не сможешь упрекнуть меня в этом. Что же касается противодействия моих родных... О, будь только одно это препятствие! Скажи, что нет другого, и ты увидишь!

— Это величайшее из всех препятствий, единственное, которое не в силах устранить ни вся моя преданность вам, ни вся благодарность.

— Ты *лжешь*, Консуэло! Посмей поклясться, что ты говоришь правду! Это не единственное препятствие!

Консуэло была в нерешительности: она ни-

когда не лгала; а с другой стороны, ей хотелось загладить страдания, причиненные другу, который спас ей жизнь и заботился о ней три месяца, как самая нежная, любящая мать. Она надеялась смягчить свой отказ, сославшись на препятствия, которые действительно считала непреодолимыми. Но настойчивые расспросы Альберта смущали ее, а собственное сердце было для нее каким-то лабиринтом, где она запуталась; она не могла сказать себе с уверенностью, любит или ненавидит она этого странного человека, к которому ее влекла таинственная, могучая симпатия, в то время как непреодолимый страх и что-то похожее на отвращение вызывали в ней дрожь при одной мысли о браке с ним.

Ей казалось в эту минуту, что она ненавидит Андзозото. Да и могла ли она испытывать другое чувство, сравнивая этого грубого эгоиста, этого гнусного честолюбца, подлого и коварного, с Альбертом, таким великодушным, добрым, таким чистым, полным самых высоких и романтических достоинств? В этом сопоставлении было лишь одно темное пятно — посягательство на жизнь Зденко (от этого подозрения она никак не могла отделаться). Но не было ли это подозрение плодом ее больного воображения, не был ли это

просто кошмар, который рассеется при первом же объяснении? И она решила, не откладывая, попытаться выяснить это. С деланно рассеянным видом, словно не расслышав последнего вопроса Альберта, она остановилась и, глядя на проходившего неподалеку крестьянина, воскликнула:

— Боже мой! Мне показалось, что это Зденко.

— Альберт вздрогнул и, выпустив руку Консуэло, которой та опиралась на него, быстро пошел вперед, потом вдруг остановился и вернулся обратно со словами:

— Как вы ошиблись, Консуэло: этот человек ни единой черточкой не напоминает… — Он так и не был состоянии произнести имя Зденко. Вид у него при этом был страшно взволнованный.

— Однако вам самому сначала тоже так показалось, — возразила Консуэло, внимательно следя за ним.

— Я очень близорук, но мне следовало бы помнить, что такая встреча невозможна.

— Невозможна? Стало быть, Зденко очень далеко отсюда?

— Достаточно далеко, чтобы вам не бояться его безумия.

— Не можете ли вы мне объяснить, откуда у него взялась эта внезапная ненависть, после того

как он выказывал мне такую симпатию?

— Я уже говорил вам, что это нашло на него после сна, который он видел накануне того дня, когда вы спустились в подземелье. Ему приснилось, будто мы с вами подходим к алтарю и вы даете мне слово стать моей женой, и в это время вы вдруг запели наш старинный богемский гимн да так громко, что задрожала вся церковь. И будто, пока вы пели, я, все больше и больше бледнея, проваливался сквозь пол церкви и наконец, мертвый, был погребен в усыпальнице наших предков. Тогда будто бы вы, поспешно сбросив свадебный венок, толкнули ногой плиту, которая тут же и прикрыла меня, а сами пустились плясать на погребальном камне, распевать на неизвестном языке непонятные вещи с выражением самой необузданной, самой лютой радости. В ярости он бросился на вас, но вы исчезли, словно дым, и тут он проснулся, страшно озлобленный, обливаясь холодным потом. Его крики и проклятия так громко отдавались под сводами кельи, что я тоже проснулся. Мне стоило большого труда заставить его рассказать свой сон и еще труднее было убедить в том, что сон этот не может оказать никакого влияния на мою судьбу. Мне было особенно трудно разуверить его, так как я сам

был в страшно возбужденном, болезненном состоянии, а также потому, что до тех пор никогда не пытался этого делать, поскольку он верил в свои видения и сны. Однако на следующий день после этой беспокойной ночи мне показалось, что он либо совсем забыл об этом сне, либо перестал придавать ему значение, так как больше не вспоминал о нем, и когда я попросил его пойти поговорить с вами обо мне, он не оказал никакого сопротивления. Ему, очевидно, никогда даже в голову не приходило, что вы захотите и сможете разыскать меня тут, и его безумие проснулось, только когда он увидел, что вы решились на это. Во всяком случае, он не говорил мне о своей ненависти к вам до той минуты, пока мы, возвращаясь с вами из кельи, не встретили его в подземной галерее. Тут он лаконически сказал мне по-чешски, что намерен и решил избавить меня от вас (это его подлинное выражение), уничтожив вас при первой же встрече на том основании, что вы бич моей жизни и что в ваших глазах он читает мой смертный приговор. Простите, что я передаю вам его безумные слова, и поймите теперь, почему мне было необходимо удалить его и от вас и от себя. Не будем больше говорить об этом, умоляю вас: тема эта мне очень тяжела. Я любил Зденко,

как свое второе «я». Его безумие до того слилось с моим и отождествилось, что у нас являлись одни и те же мысли, одни и те же видения, даже физические страдания у нас бывали одинаковые. Он был более наивен и, следовательно, более поэт, чем я; у него был более ровный характер, и в то время как мне являлись ужасные и грозные призраки, он благодаря своей более мягкой и более спокойной натуре видел тихие и грустные. Основная разница между нами заключалась в том, что мои припадки повторялись время от времени, а его экзальтированное состояние было постоянным. Я то бывал охвачен безумием, то становился бесстрастным, унылым зрителем своего несчастья, тогда как он жил словно в мире грез, где все внешние предметы принимали символические образы. И этот бред был всегда так полон любви и нежности, что в минуты моего просветления (конечно, самые мучительные для меня) мне был поистине необходим, чтобы оживить и примирить меня с жизнью, тихий, но изобретательный безумец Зденко.

— О друг мой, — вырвалось у Консуэло, — вы должны были бы ненавидеть меня, и я сама себя ненавижу за то, что лишила вас такого драгоценного, преданного друга. Но разве не пора кончить

с этим изгнанием? Я думаю, что буйство его уже прошло…

— Прошло… вероятно… — проговорил с горькой, загадочной улыбкой Альберт, делая ударение на слове «вероятно».

— Так почему же, — продолжала Консуэло, стараясь отогнать мысль о смерти Зденко, — почему вы не призовете его обратно? Уверяю вас, я не буду его бояться, и нам вдвоем, наверно, удалось бы заставить его забыть свое предубеждение против меня…

— Не говорите этого, Консуэло, — уныло остановил ее Альберт, — возвращение его невозможно. Я пожертвовал своим лучшим другом, тем, кто был моим спутником, моим слугой, моей опорой, кто был для меня предусмотрительной, неутомимой матерью и в то же время простодушным, невежественным и послушным ребенком. Он заботился о всех моих нуждах, о всех моих жалких, невинных удовольствиях. Он защищал меня от самого себя, когда на меня находили приступы отчаяния, и силой или хитростью задерживал меня в подземелье, если видел, что в мире живых, в обществе других людей я не в состоянии сохранить ни своего достоинства, ни жизни. Жертву эту я принес без оглядки и раскаяния, ибо

я должен был так поступить, поскольку вы, безбоязненно встретившая опасности подземелья, вы, возвратившая мне рассудок и сознание моих обязанностей, — вы стали для меня более драгоценной и более священной, чем сам Зденко.

— Альберт, это заблуждение, а быть может, и кощунство! Нельзя сравнивать одну минуту мужества с преданностью целой жизни!

— Не думайте, что я поступил так под влиянием эгоистичной, дикой любви. Такую любовь я сумел бы заглушить в своем сердце, и я скорее заперся бы со Зденко в подземелье, чем разбил бы сердце и жизнь лучшего из людей. Но глас божий прозвучал определенно. Я боролся со своим увлечением: я бежал от вас, решил не встречаться с вами до тех пор, пока мои мечты и предчувствия, говорящие, что вы ангел, несущий мне спасение, не осуществятся. До этого ужасного, лживого сна, внесшего такую смуту в кроткую, набожную душу Зденко, он разделял со мной и мое влечение к вам, и мои страхи, и мои надежды, и мои благоговейные стремления. Несчастный, он отрекся от вас в тот день, когда вы открыли мне себя! Божественный свет, всегда озарявший тайники его мозга, вдруг погас, и бог осудил его, вселив в него дух заблуждения и ярости. Я тоже

должен был покинуть его, ибо вы явились предо мной в лучах славы, вы опустились ко мне на крыльях чуда. Чтобы раскрыть мне глаза, вы нашли слова, которых при вашем твердом уме и артистическом образовании вы не могли знать или подготовить заранее. Вас вдохновило сострадание и милосердие, и под их чудодейственным влиянием вы сказали мне то, что мне необходимо было услышать, чтобы узнать и постичь жизнь человеческую.

— Что же я вам сказала такого мудрого, такого значительного? Право, Альберт, я и сама не знаю.

— Я тоже не знаю, но сам бог был в звуке вашего голоса, в ясности вашего взора. Подле вас я мгновенно понял то, до чего один не додумался бы за всю свою жизнь. Прежде я знал, что моя жизнь — искупление и мученичество, и ждал свершения своей судьбы во тьме и уединении, в слезах, в негодовании, в науке, в аскетизме, в умерщвлении своей плоти. Вы открыли предо мной иную жизнь, иное мученичество: вы научили меня терпению, кротости, самоотверженности; вы начертали мне наивно и просто мои обязанности, начиная с обязанностей по отношению к моей семье; о них я совсем забыл,

а родные по чрезмерной доброте своей скрывали от меня мои преступления. Благодаря вам я загладил их и по спокойствию, которое тотчас же почувствовал, понял, что это все, чего бог требует от меня в настоящем. Я знаю, конечно, что этим не исчерпываются мои обязанности, и жду откровения божьего относительно дальнейшего моего существования. Но теперь я спокоен, у меня есть оракул, которого я могу вопрошать. Это вы, Консуэло! Провидение дало вам власть надо мной, и я не восстану против его воли. Итак, я не должен был ни минуты колебаться между высшей силой, наделенной даром переродить меня, и бедным, пассивным существом, которое только делило до этого мои горести и выносило мои бури.

— Вы говорите о Зденко, не правда ли? Но почему вам не приходит в голову, что бог мог предназначить меня и для его исцеления? Вы видите, что у меня была какая-то власть над ним, раз мне удалось удержать его одним словом в ту минуту, когда рука его уже была занесена, чтобы погубить меня.

— О боже, это правда, у меня не хватило веры, я испугался. Но я знаю, что значит клятва Зденко. Он, помимо моей воли, поклялся жить только для меня и свято выполнял эту клятву в течение

всей моей жизни. Когда он поклялся уничтожить вас, мне даже в голову не пришло, что можно удержать его от выполнения его намерения. Вот почему я решился оскорбить, изгнать, сокрушить, уничтожить его самого.

— Уничтожить! О боже! Альберт, что значит это слово в ваших устах?

Где Зденко?

— Вы спрашиваете меня, как бог спросил Каина: «Что сделал ты со своим братом?»

— О господи! Но вы не убили его, Альберт! Выкрикнув эти страшные слова, Консуэло крепко стиснула руку Альберта, глядя на него со страхом, смешанным с мучительным состраданием. Но она сейчас же отшатнулась — так ужаснуло ее холодное, гордое выражение этого бледного лица, где, казалось, застыла мука.

— Я не убил его, — наконец произнес он, — но отнял у него жизнь — это несомненно. Неужели вы осмелитесь поставить мне это в вину, вы, ради которой я, пожалуй, убил бы таким же образом собственного отца? Вы, ради которой я не побоялся бы никаких угрызений совести, не побоялся бы порвать самые дорогие узы, разбить самое святое? Если я предпочел страху увидеть вас зарезанной безумцем, раскаяние и сожаление, которые меня

гложут, то неужели в вашем сердце не найдется хоть немного сострадания, чтобы не напоминать мне постоянно о моем горе и не упрекать меня за величайшую жертву, которую я только был в силах вам принести? Ах, значит, и у вас бывают минуты жестокости! Видно, жестокость — удел всего рода человеческого!

В этом упреке — первом, который Альберт осмелился ей сделать, — было столько величия, что Консуэло прониклась страхом и яснее, чем когда-либо раньше, почувствовала, что он внушает ей ужас. Нечто вроде чувства оскорбленного самолюбия — чувства, пожалуй, мелкого, но неотделимого от сердца женщины, заступило место той сладостной гордости, которую она невольно испытала, слушая рассказ Альберта о его страстном поклонении ей. Она почувствовала себя униженной и, конечно, непонятой: ведь она стремилась узнать его тайну единственно потому, что намеревалась или, во всяком случае, желала ответить на его любовь,

— если бы он снял с себя это страшное подозрение. И в то же время она видела, что Альберт в душе обвиняет ее: видимо, он считал, что если он и убил Зденко, то единственный человек, не имеющий права произнести над ним при-

говор, — это тот, жизнь которого потребовала жертву другой жизни, да еще жизни, бесконечно для него дорогой.

Консуэло не смогла ничего ответить; она попыталась было заговорить о другом, но слезы мешали ей. Увидя, что его любимая плачет, Альберт, полный раскаяния, стал молить у нее прощения, но она попросила его никогда не касаться этого вопроса, столь опасного для его душевного равновесия, и прибавила с каким-то горьким унынием, что сама никогда не произнесет больше имени, вызывающего у них обоих такое ужасное душевное волнение. Во время остальной части пути оба чувствовали напряженность и тоску. Несколько раз порывались они заговорить, но из этого ничего не получалось. Консуэло не отдавала себе отчета в том, что она говорит, не слышала и того, что говорил ей Альберт. Однако он казался спокойным, словно Авраам или Брут после жертвы, принесенной по требованию суровой судьбы. Это грустное, но невозмутимое спокойствие при такой тяжести на душе казалось остатком безумия, и Консуэло могла оправдать своего друга, только вспомнив, что он все-таки безумен. Если бы, чтобы спасти ее жизнь, он убил своего противника в открытом

бою, она увидела бы в этом только лишний повод для благодарности и, пожалуй, даже восхитилась бы его силой и храбростью. Но это таинственное убийство, совершенное, очевидно, во тьме подземелья, эта могила, вырытая в молельне, это суровое молчание после преступления, этот стоический фанатизм, — ведь он дерзнул свести ее в пещеру и наслаждаться там музыкой, — все это в глазах Консуэло было чудовищно, и она чувствовала, что любовь этого человека не находит дороги к ее сердцу.

«Когда же мог он совершить это убийство? — спрашивала она себя. — В течение последних трех месяцев я ни разу не видела, чтобы лицо его омрачилось, и ничто не давало мне повода заподозрить, что у него нечистая совесть. Неужели был день, когда он мог мою протянутую руку пожать рукой, на которой были капли крови? Какой ужас! Верно, он сделан из камня, изо льда, и любовь его ко мне какая-то зверская. А я так жаждала быть безгранично любимой! Так горевала, что меня недостаточно любят! Так вот какую любовь приберегало для меня небо в утешение!

Потом она снова принялась думать о том, когда именно мог совершить Альберт свое отвратительное жертвоприношение, и решила, что это

могло произойти только во время ее серьезной болезни, когда она была безучастна ко всему окружающему; но тут ей вспомнился его нежный заботливый уход, и она уж совсем не могла постичь, как в одном и том же человеке уживались два столь различных существа.

Погруженная в свои мрачные думы, она дрожащей рукою рассеянно брала цветы, которые Альберт имел обыкновение срывать для нее по дороге, зная, что она их обожает. Ей даже не пришло в голову расстаться со своим другом, не доходя до замка, и вернуться одной, чтобы таким образом скрыть их долгую совместную прогулку. Да и Альберт

— потому ли, что он тоже не подумал об этом, или не считал больше нужным притворяться перед своей семьей — ничего ей не сказал. И вот у самого входа в замок они столкнулись лицом к лицу с канониссой. Тут Консуэло (и, вероятно, также и Альберт) впервые увидела, как лицо этой женщины, об уродстве которой обыкновенно забывали благодаря его доброму выражению, запылало от гнева и презрения.

— Вам, синьора, давно следовало бы вернуться, — обратилась она к Порпорине дрожащим и прерывающимся от негодования голосом. — Мы

очень беспокоились о графе Альберте, отец его даже не пожелал без него завтракать. У него был назначен на сегодняшнее утро разговор с сыном, о чем вы нашли возможным заставить забыть графа Альберта. Что же касается вас, то какой-то юнец, назвавший себя вашим братом, ожидает вас в гостиной, притом слишком уж нетерпеливо.

Произнеся эти гневные слова, бедная Венцеслава, сама испугавшись собственной смелости, круто повернулась к ним спиной и убежала в свою комнату, где по крайней мере с час кашляла и плакала.

Глава 57

— Моя тетушка в странном расположении духа, — заметил Альберт Консуэло, поднимаясь с нею по ступенькам. — Прошу за нее прощения, друг мой; будьте уверены, что сегодня же она изменит и свое обращение и свою манеру говорить с вами.

— Мой брат? — в полном недоумении от только что сообщенного ей известия повторила Консуэло, не слыша слов молодого графа.

— А я и не знал, что у вас есть брат, — заметил Альберт, на которого поведение тетки произвело более сильное впечатление, чем это сообщение. — Конечно, для вас большое счастье повидаться с ним, дорогая Консуэло, и я рад…

— Не радуйтесь, граф, — прервала его Консуэло, которую вдруг охватило тяжелое предчувствие, — мне, быть может, предстоит большое огорчение, и…

Вся дрожа, она остановилась и уже готова была попросить совета и защиты у своего друга, но побоялась слишком связать себя с ним. И вот, не смея ни принять, ни оттолкнуть того, кто

явился к ней, прикрывшись ложью, она вдруг почувствовала, что у нее подкашиваются ноги, и, побледнев, прислонилась к перилам на последней ступеньке крыльца.

— Вы боитесь недобрых вестей о вашей семье? — спросил Альберт, в котором тоже начинало пробуждаться беспокойство.

— У меня нет семьи, — отвечала Консуэло, делая усилие, чтобы идти дальше.

Она хотела было прибавить, что у нее нет и брата, но какое-то смутное опасение удержало ее. Войдя в столовую, она услышала в соседней гостиной шаги путешественника, быстро, с явным нетерпением ходившего по комнате из угла в угол. Невольно она шагнула к графу, как бы стремясь укрыться за его любовью от надвигающихся на нее страданий, и схватила его за руку.

Пораженный Альберт почувствовал, что в нем пробуждаются смертельные опасения.

— Не входите без меня, — прошептал он. — Предчувствие, а оно меня никогда не обманывает, говорит мне, что этот брат — враг и ваш и мой. Я холодею, мне страшно, точно я вынужден кого-то возненавидеть.

Консуэло высвободила свою руку, которую Альберт крепко прижимал к груди. Она содрогнулась

при мысли, что у него вдруг может явиться одна из его странных идей, одно из тех непреклонных решений, печальным примером которых служила для нее предполагаемая смерть Зденко.

— Расстанемся здесь, — сказала она ему по-немецки (из соседней комнаты ее могли уже слышать). — В данную минуту мне нечего бояться, но если мне будет грозить опасность, поверьте, Альберт, я прибегну к вашей защите.

Страшно подавленный, боясь быть навязчивым, он не посмел ослушаться ее, уйти же из столовой все-таки не решился. Консуэло поняла его колебания и, войдя в гостиную, закрыла обе двери, чтобы он не мог ни видеть, ни слышать то, что должно было произойти.

Андзолето (это был он, о чем она сразу догадалась по его дерзости и тотчас узнала по походке) приготовился смело встретиться с ней и по-братски расцеловать при свидетелях. Когда же она вошла одна, бледная, но холодная и суровая, вся храбрость покинула его, и, бормоча что-то, он бросился к ее ногам. Ему не надо было притворяться: безграничная радость и нежность залили его сердце, когда наконец он нашел ту, которую, несмотря на свою измену, никогда не переставал любить. Он зарыдал, а так как она отнимала у

него руки, он целовал и обливал слезами край ее платья. Консуэло не ожидала увидеть такого Андзолето. Четыре месяца он рисовался ей таким, каким показал себя в ночь разрыва: желчным, насмешливым, презреннейшим и ненавистнейшим из людей. Только сегодня утром она видела, как он нагло шел по дороге с бесшабашным, почти циничным видом. И вот он стоит перед ней на коленях, униженный, кающийся, весь в слезах, совсем как в бурные дни их страстных примирений, более привлекательный чем когда-либо, потому что дорожный костюм, грубоватый, но ловко на нем сидевший, очень шел к нему, а загар путешествий придавал более мужественный характер его поразительно красивому лицу.

Трепеща, словно голубка, захваченная ястребом, она вынуждена была сесть и закрыть лицо руками, чтобы защитить себя от обаяния его взгляда. Андзолето, объясняя это движение стыдом, снова расхрабрился, и его первоначальный искренний порыв сразу загрязнили дурные мысли. Покинув Венецию из чувства отвращения, явившегося своего рода возмездием за его проступки, он искал одного — удачи, но в то же время всегда жаждал и надеялся найти свою дорогую Консуэло. В нем жила уверенность, что

такой поразительный талант не может остаться долго в безвестности, и он везде старался напасть на ее след, вступая в разговоры с содержателями гостиниц, проводниками, встречными путешественниками. В Вене он нашел несколько знатных соотечественников и признался им в своем побеге. Те посоветовали ему поселиться где-нибудь подальше от Венеции и выждать, пока граф Дзустиньяни забудет или простит его проделку. Обещая ему свою помощь, они в то же время снабдили его рекомендательными письмами в Прагу, Берлин и Дрезден. Проезжая мимо замка Исполинов, Андзолето не догадался расспросить проводника и только после часа быстрой езды, пустив лошадь шагом, снова заговорил с ним, интересуясь окрестностями и их жителями. Естественно, что проводник принялся рассказывать о графах фон Рудольштадт, об их образе жизни, о странностях графа Альберта, сумасшествие которого ни для кого не было тайной, особенно с тех пор, как к нему с такой нескрываемой неприязнью стал относиться доктор Вецелиус. Тут проводник для пополнения местных сплетен не преминул прибавить, что граф Альберт только что превзошел все свои чудачества, отказавшись жениться на своей благородной двоюродной

сестре, красавице баронессе Амелии фон Рудольштадт: он увлекся какой-то авантюристкой, которая не очень хороша собой, но в которую, однако, все влюбляются, стоит ей запеть, потому что голос у нее удивительный.

Оба эти признака были так характерны для Консуэло, что наш путешественник не мог не поинтересоваться именем авантюристки и, услыхав, что ее зовут Порпориной, отбросил всякие сомнения. В ту же минуту он повернул коня обратно; моментально придумав, под каким предлогом и в качестве кого сможет он пробраться в столь строго охраняемый замок, он стал выпытывать у проводника новые сведения. Из болтовни этого человека он заключил, что Консуэло, несомненно, любовница молодого графа, который, конечно, женится на ней, так как, видимо, она околдовала всю семью; и вместо того чтобы выгнать ее, все окружают ее таким вниманием и заботами, какими никогда не пользовалась баронесса Амелия.

Эти подробности раззадорили Андзолето не меньше, а пожалуй, еще больше, чем его истинная привязанность к Консуэло. Он не раз вздыхал о прежней жизни, которую она умела сделать для него такой приятной, и прекрасно сознавал,

что потеря ее советов и указаний если не губит окончательно, то сильно вредит его музыкальной карьере. Наконец, помимо всего, его влекла к ней любовь, хотя и эгоистичная, но глубокая и непреодолимая. А теперь ко всему этому присоединилось тщеславное искушение отбить Консуэло у богатого и знатного любовника, расстроить ее блестящий брак, заставить говорить и в здешних краях и в свете, что вот, мол, девушка предпочла убежать с ним, бедным артистом, вместо того чтобы стать графиней и владелицей замка. И он снова и снова заставлял проводника рассказывать о том, каким влиянием пользуется Порпорина в замке Исполинов, смакуя заранее, как этот самый человек будет повествовать другим путешественникам о красивом молодом иностранце, который вихрем влетел в негостеприимный замок Великанов, «пришел, увидел и победил», а через несколько часов или дней вышел оттуда, похитив у знаменитого, могущественного вельможи, графа фон Рудольштадта, талантливейшую из певиц…

При этой мысли он с такой силой вонзил шпоры в бока бедной лошади и так захохотал, что проводник подумал, не безумнее ли этот путешественник самого графа Альберта.

Канонисса встретила Андзолето недоверчиво, но не решилась его выпроводить, надеясь, что он увезет от них свою мнимую сестрицу. Узнав от нее, что Консуэло гуляет, Андзолето был очень раздосадован. Ему подали завтрак, во время которого он стал расспрашивать слуг. Один из них, немного понимавший по-итальянски, простодушно сказал, что он видел синьору на горе с молодым графом Альбертом. Андзолето испугался, как бы в первые минуты Консуэло не обдала его холодом, не держала бы себя надменно. Ему казалось, что если она до сих пор лишь целомудренная невеста сына хозяина замка, то непременно должна гордиться своим положением, а если уже стала его любовницей, то будет менее самоуверенной, опасаясь, как бы старый друг не испортил ей все дело. Победа над ней, невинной, рисовалась ему нелегкой, зато более славной; иное дело — победа над падшей. Но и в том и в другом случае можно было сделать попытку и надеяться на успех.

Андзолето был слишком наблюдателен, чтобы не заметить досады и беспокойства канониссы по поводу долгой прогулки Порпорины с ее племянником. Так как он еще не видел графа Христиана, то мог заключить, что проводник был плохо осве-

домлен, что на самом деле семейство со страхом и неудовольствием относится к любви молодого графа к авантюристке и что она смиренно опустит голову перед своим первым возлюбленным.

После четырех мучительных часов ожидания Андзолето, который успел за это время немало передумать, решил, судя по своей собственной, далеко не безупречной нравственности, что такое продолжительное пребывание Консуэло с его соперником говорит об их полной близости. Это придало ему смелости и решимости во что бы то ни стало дождаться ее, и после первого порыва нежности, охватившего его при появлении Консуэло, Андзолето, видя, как она, смущенная, задыхаясь, опустилась на стул, решил, что стесняться нечего. Это сразу развязало ему язык. Он начал обвинять себя во всем, что произошло, притворно унижаясь, проливал слезы, рассказывал об угрызениях совести и страданиях, описывая свои переживания в более поэтических красках, чем они могли быть в действительности, и наконец со всем красноречием венецианца и ловкого актера стал молить о прощении. Консуэло, взволнованная сначала самим звуком его голоса, больше боялась собственной слабости, чем могущества соблазна. За последние четыре

месяца она тоже много передумала, и это помогло ей настолько прийти в себя, чтобы узнать в страстных уверениях Андзолето повторение того, что ей не раз приходилось слышать в последнее время их злосчастной любви. Ее оскорбило, что он повторяет все те же клятвы, те же мольбы, как будто ничего не произошло со времени тех ссор, когда она была еще так далека от предчувствия его гнусной измены. Возмущенная его наглостью к красноречием, тогда как были бы более уместны безмолвие стыда и слезы раскаяния, Консуэло встала и резко оборвала его разглагольствования, холодно проговорив:

— Довольно, Андзолето. Я вам давно простила и больше не сержусь. Возмущение сменилось жалостью; забыв свои страдания, я забыла и вашу вину. Нам больше нечего сказать друг другу. Благодарю за добрый порыв, который заставил вас прервать свое путешествие для примирения со мной. Как видите, вы были прощены заранее. Прощайте же и продолжайте свой путь.

— Уехать! Мне! Расстаться с тобой, снова потерять тебя! — вскричал Андзолето с непритворным испугом. — Нет, лучше прикажи мне сейчас же покончить с собой! Нет! Нет! Никогда я не соглашусь жить без тебя. Это невозможно,

Консуэло, я уже убедился в этом. Там, где нет тебя, ничто для меня не существует. Отвратительное мое честолюбие, мерзкое тщеславие, из-за которых я тщетно хотел пожертвовать своей любовью, являются для меня источником не радости, а муки. Твой образ преследует меня всюду. Воспоминание о нашем счастье, таком чистом, целомудренном, таком восхитительном (ты сама разве можешь найти подобное?), всегда перед моими глазами. Все химеры, которыми я пытаюсь себя окружить, возбуждают во мне отвращение. О Консуэло, вспомни наши чудесные венецианские ночи, нашу лодку, наши звезды, наши нескончаемые песни, вспомни твои уроки и наши долгие поцелуи! Вспомни твою узкую кровать, где я спал один, пока ты читала на террасе свои молитвы! Разве я не любил тебя тогда? Разве человек, для которого ты была святыней всегда, даже когда спала, оставаясь с ним наедине, разве такой человек не способен любить? Если я был негодяем по отношению к другим женщинам, то разве я не был ангелом подле тебя? Чего мне это стоило, одному богу известно! О! Не забывай же всего этого! Ты уверяла тогда, что любишь меня, а теперь все позабыла! Я же, неблагодарный, чудовище, подлец, ни на мгновение не мог забыть

нашей любви! И я не могу от нее отречься, а ты отказываешься без сожаления и без усилий! Но, видно, ты, святая, никогда не любила меня, а я, хоть я и дьявол, обожаю тебя…

— Возможно, — ответила Консуэло, пораженная искренностью его тона, что вы непритворно сожалеете о потерянном, оскверненном вами счастье, но это — возмездие, которое вы заслужили, и я не должна препятствовать вам нести его. Андзолето, счастье развратило вас, так пусть же небольшое страдание вас очистит! Ступайте и помните обо мне, если эта скорбь целительна для вас, а если нет, забудьте, как забываю вас я, которой нечего ни искупать, ни исправлять.

— Ах! У тебя железное сердце! — воскликнул Андзолето, удивленный и задетый за живое ее бесстрастным тоном. — Но не думай, что ты можешь так легко выгнать меня! Возможно, мой приезд стесняет тебя и мое присутствие тебе в тягость. Я прекрасно знаю, что ты готова пожертвовать воспоминаниями нашей любви ради титула и богатства. Но этому не бывать! Я не отступлюсь от тебя! И если мне придется тебя потерять, то это будет не без борьбы! Если ты меня вынудишь, то знай: в присутствии всех твоих новых друзей я напомню тебе наше прошлое, — скажу о клятве,

которую ты мне дала у постели твоей умирающей матери и которую сто раз повторяла мне на ее могиле и в церквах, где мы, стоя на коленях, прижавшись друг к другу, слушали прекрасную музыку, а порою шептались. Смиренно, у ног твоих я напомню тебе — тебе одной — о некоторых вещах, и ты выслушаешь меня, а если нет… горе нам обоим, Консуэло! Мне придется рассказать при твоем новом возлюбленном о фактах, ему неизвестных. Они ведь ничего о тебе не знают, не знают даже, что ты была актрисой. Вот это я и доведу до их сведения, и посмотрим тогда, вернется ли к благородному графу Альберту его рассудок, чтобы оспаривать тебя у актера, твоего друга, твоей ровни, твоего жениха, твоего любовника! Не доводи меня до отчаяния, Консуэло, или…

— Что? Угрозы? Наконец-то я узнаю вас, Андзолето! — с негодованием проговорила Консуэло. — Что ж, я предпочитаю видеть вас таким и благодарю, что вы сняли с себя маску. Да, слава богу, теперь в моем сердце не будет ни сожалений, ни сострадания. Я вижу, сколько злобы в вашем сердце, сколько низости в вашем характере, сколько ненависти в вашей любви! Ступайте же, вымещайте на мне свою досаду — вы окажете мне этим большую услугу! Но если вы не

научились еще клеветать так, как научились оскорблять, то не можете сказать обо мне ничего, за что мне пришлось бы краснеть.

Высказав все это, она направилась к двери, открыла ее и собиралась уже выйти, как вдруг столкнулась с графом Христианом. При виде этого почтенного старика, который, поцеловав руку Консуэло, вошел в комнату с приветливым и величественным видом, Андзолето, устремившийся было вслед за девушкой, чтобы удержать ее во что бы то ни стало, в смущении отступил, и от его смелости не осталось и следа.

Глава 58

— Прошу прощения, дорогая синьора, — начал старый граф, — что я не оказал лучшего приема вашему брату. Я сделал распоряжение не беспокоить меня, так как все утро был занят не совсем обычными делами, и мое распоряжение было выполнено слишком хорошо, ибо мне даже не доложили о приезде гостя, который и для меня и для всей моей семьи может быть только самым дорогим.

Затем, обращаясь к Андзолето, он прибавил:

— Поверьте, сударь, что я очень рад видеть у себя такого близкого родственника любимой нами Порпорины. Очень прошу вас остаться и гостить у нас, сколько вам будет угодно. Полагаю, что после такой долгой разлуки вам есть о чем поговорить, да и побыть вместе это уже большая радость. Надеюсь, что здесь вы будете чувствовать себя как дома, наслаждаясь счастьем, которое я разделяю с вами.

Против обыкновения, старый граф совершенно свободно говорил с посторонним человеком. Застенчивость его уже давно стала исчезать

подле кроткой Консуэло, а в этот день его лицо было озарено каким-то особенно ярким светом, напоминавшим солнце в час заката. Андзолето растерялся перед величием, которое сияло на челе почтенного старца — человека с прямой и ясной душой. Юноша умел низко гнуть спину перед вельможами, в душе ненавидя и высмеивая их, — в большом свете, где в последнее время ему приходилось вращаться, у него было для этого слишком много поводов. Но никогда еще ему не доводилось встречать такого истинного достоинства, такой радушной, сердечной учтивости, как у старого владельца замка Исполинов. Он смущенно поблагодарил старика, почти раскаиваясь, что обманом выманил у него такой отеческий прием. Больше всего он боялся, что Консуэло может разоблачить его обман и сказать графу, что он вовсе не ее брат. Он чувствовал, что в эту минуту не в силах был бы ответить ей ни дерзостью, ни местью.

— Я очень тронута вашей добротой, господин граф, — ответила после минутного размышления Консуэло, — но брат мой, хотя он и бесконечно это ценит, не может воспользоваться вашим любезным приглашением: неотложные дела заставляют его спешить в Прагу, и он уже про-

стился со мной…

— Но это невозможно! — воскликнул граф. — Вы почти не виделись!

— Он потерял несколько часов, ожидая меня, и теперь у него каждая минута на счету, — возразила Консуэло. — Он сам прекрасно знает, что ему нельзя пробыть здесь ни одного лишнего мгновения, — прибавила она, бросая на своего мнимого брата выразительный взгляд.

Эта холодная настойчивость вернула Андзолето свойственные ему наглость и самоуверенность.

— Пусть будет как угодно дьяволу, то есть я хотел сказать богу, — поправился Андзолето, — но я не в состоянии расстаться с моей дорогой сестрицей так поспешно, как этого требуют ее рассудительность и осторожность. Никакое, даже самое выгодное дело не стоит минуты счастья, и раз его сиятельство так великодушно разрешает мне остаться, я с великой благодарностью остаюсь. Обязательства мои в Праге будут выполнены немного позднее, только и всего.

— Вы рассуждаете как легкомысленный юноша, — возразила Консуэло, задетая за живое. — Есть такие дела, когда честь выше выгоды…

— Я рассуждаю как брат, а ты всегда рассуждаешь, как королева, дорогая сестренка…

— Вы рассуждаете как добрый юноша, — добавил старый граф, протягивая Андзолето руку. — Я не знаю дел, которых нельзя было бы отложить до завтра. Правда, меня всегда упрекали за мою беспечность, но я не раз убеждался, что обдумать лучше, чем поспешить. Вот, например, дорогая Порпорина, уж много дней, даже, можно сказать, недель, как мне нужно обратиться к вам с одной просьбой, а я до сих пор все медлил, и, думается мне, так и надо было, — теперь для этого как раз настал час. Можете ли вы уделить мне сегодня час времени для беседы? Я шел просить вас об этом, когда узнал о приезде вашего брата. Мне кажется, что это радостное событие произошло очень кстати, и, быть может, присутствие вашего родственника будет совсем не лишним при нашем разговоре.

— Я всегда и в какое угодно время к услугам вашего сиятельства, — ответила Консуэло. — Что касается брата, то он еще мальчик, которого я не ввожу в свои личные дела…

— Я это знаю, — дерзко вмешался Андзолето, — но раз его сиятельство разрешает, то мне не надо иного позволения, чтобы присутствовать при этом таинственном разговоре.

— Позвольте мне судить о том, как должно

поступать и мне и вам, гордо возразила Консуэло. — Господин граф, я готова следовать за вами и почтительно выслушать вас.

— Вы слишком строги к этому милому юноше с таким веселым, открытым лицом, — проговорил, улыбаясь, граф и, оборачиваясь к Андзолето, прибавил: — Потерпите, дитя мое, придет и ваш черед. То, что я имею сказать вашей сестре, не может быть скрыто от вас, и, надеюсь, она скоро разрешит мне посвятить вас в эту тайну, как вы выразились.

Андзолето имел наглость воспользоваться веселым радушием старика и удержал его руку в своей, как бы цепляясь за него, чтобы выведать тайну, в которую его не желала посвятить Консуэло. У него даже не хватило такта выйти из гостиной, чтобы не вынуждать к этому самого графа. Оставшись один, он злобно топнул ногой, боясь, что Консуэло, научившаяся так хорошо владеть собой, может расстроить все его планы и, невзирая на его ловкость, выпроводить его отсюда. Ему захотелось проскользнуть внутрь дома и подслушать под дверьми. С этой целью, выйдя из гостиной, он побродил сначала по саду, а затем решил забраться в коридор, где, встречая кого-нибудь из слуг, делал вид, будто любуется

архитектурой замка. Но вот уже три раза в различных местах он наталкивался на одетого во все черное человека, необычайно сурового на вид, на которого, правда, он не обратил особого внимания. То был Альберт, как будто не замечавший его, но вместе с тем не спускавший с него глаз. Андзолето, видя, что молодой граф (он уже догадался, кто это) на целую голову выше его и бесспорно очень красив, понял, что сумасшедший из замка Великанов вовсе не такой ничтожный во всех отношениях соперник, каким он представлял его себе. Тогда он счел за лучшее вернуться в гостиную и в этой огромной комнате, рассеянно перебирая пальцами клавиши клавесина, начал пробовать свой красивый голос.

— Дочь моя, — говорил меж тем граф Христиан Консуэло, придвигая ей большое кресло, обитое красным бархатом с золотой бахромой, а сам усаживаясь с ней рядом на стуле, — я хочу просить вас об одной милости, хотя и не знаю, имею ли я право на это сейчас, когда вы еще не понимаете моих намерений. Могу ли я надеяться, что моя седина, мое нежное уважение к вам и дружба, которою подарил меня благородный Порпора, ваш приемный отец, — что все это вместе внушит вам достаточное доверие ко мне и вы согласитесь,

ничего не утаивая, раскрыть мне свое сердце?

Растроганная, но вместе с тем несколько испуганная таким вступлением, Консуэло поднесла руку старика к своим губам и ответила с искренним порывом:

— Да, господин граф, я уважаю и люблю вас так, как если б имела честь быть вашей дочерью, и могу без всякого страха и вполне откровенно ответить на все ваши вопросы касательно меня лично.

— Ничего другого я и не прошу у вас, дорогая дочь моя, и благодарю за это обещание. Поверьте, что я не способен им злоупотребить, так же как, я уверен, и вы не способны изменить своему слову.

— Я верю вам, господин граф, и слушаю вас.

— Так вот, дитя мое, — сказал старик с каким-то наивным, но ободряющим любопытством. — Как ваша фамилия?

— У меня нет фамилии, — без малейшего колебания ответила Консуэло.

— Мою мать все звали Розамундой. При крещении мне дали имя Мария-Утешительница. Отца своего я никогда не знала.

— Но вам известна его фамилия?

— Нет, господин граф, я никогда не слыхала

о ней.

— А маэстро Порпора удочерил вас? Он закрепил передачу вам своего имени законным актом?

— Нет, господин граф, между артистами это не принято, да оно и не нужно. У моего великодушного учителя ровно ничего нет, и ему нечего завещать. Что же касается его имени, то при моем положении в свете совершенно безразлично, как я его ношу — по обычаю или по закону. Если у меня есть некоторый талант, имя это станет моим по праву, в противном же случае мне выпала честь, которой я недостойна.

Несколько минут граф хранил молчание, потом, снова беря руку Консуэло в свою, он заговорил:

— Благородная откровенность ваших ответов еще более возвысила вас в моих глазах. Не думайте, что я задавал все эти вопросы для того, чтобы, в зависимости от вашего рождения и положения в свете, больше или меньше уважать вас. Я хотел знать, пожелаете ли вы сказать мне правду, и вполне убедился в вашей искренности. Я бесконечно благодарен вам за это и нахожу, что вы с вашим характером более благородны, чем мы с нашими титулами.

Консуэло не могла не улыбнуться простодушию, с каким старый аристократ восхищался ее признанием, в сущности, ничего ей не стоившим. Восхищение это говорило об остатке упорного предрассудка, с которым, очевидно, благородно боролся Христиан, стараясь победить его в себе.

— А теперь, дорогое мое дитя, — продолжал он, — я предложу вам еще более щекотливый вопрос. Будьте снисходительны и простите мне мою смелость.

— Не бойтесь ничего, господин граф, я отвечу на все так же спокойно.

— Так вот, дитя мое, вы не замужем?

— Нет, господин граф.

— И… вы не вдова? У вас нет детей?

— Я не вдова, и у меня нет детей, — ответила Консуэло, едва удерживаясь от смеха, так как не понимала, к чему клонит граф.

— И вы ни с кем не связаны словом? — продолжал он. — Вы совершенно свободны?

— Простите, господин граф, я была обручена с согласия и даже по приказанию моей умирающей матери с юношей, которого любила с детства и чьей невестой была до минуты моего отъезда из Венеции.

— Стало быть, вы не свободны? — проговорил

граф со странной смесью огорчения и удовлетворения.

— Нет, господин граф, я совершенно свободна, — ответила Консуэло.

— Тот, кого я любила, недостойно изменил мне, и я порвала с ним навсегда. — Значит, вы его любили? — спросил граф после некоторого молчания.

— Да, всей душой, это правда.

— И… может быть, и теперь еще любите? — Нет, господин граф, это невозможно.

— Вам не доставило бы никакого удовольствия видеть его?

— Видеть его было бы для меня мукой.

— И вы никогда не позволяли ему?.. Он не осмелился… Но я боюсь вас оскорбить… Пожалуй, вы подумаете, что я хочу знать слишком много…

— Я понимаю вас, господин граф. Но раз уж я исповедуюсь, то вы узнаете обо мне решительно все и сможете сами судить, заслуживаю ли я вашего уважения или нет. Он позволял себе очень много, но осмеливался лишь на то, что разрешала ему я сама. Так, мы часто пили из одной чашки, отдыхали на одной и той же скамье. Он спал в моей комнате, пока я молилась, ухаживал за мной во время моей болезни. Я ничего не боялась. Мы

всегда были одни, любили друг друга, уважали, должны были пожениться. Я поклялась моей матери, что останусь, как говорят, «благоразумной девушкой». Слово это я сдержала, если быть благоразумной — значит верить человеку, который обманывает тебя, и любить и уважать того, кто не заслуживает ни любви, ни уважения. И только когда он захотел сделаться больше чем моим братом, еще не сделавшись моим мужем, только тогда я начала защищаться. И когда он изменил мне, я обрадовалась, что сумела так хорошо защитить себя. Этому бесчестному человеку ничего не стоит утверждать противное, но это не имеет большого значения для такой бедной девушки, как я. Только бы не сфальшивить во время пения, — больше от меня ничего не требуется. Только бы я могла с чистой совестью целовать распятие, перед которым я поклялась матери быть целомудренной; а что подумают обе мне другие — по правде сказать, мало меня трогает. У меня нет семьи, которой пришлось бы краснеть за меня, нет родных, нет братьев, которые могли бы встать на мою защиту…

— Как нет братьев? Но ведь один-то брат есть? Консуэло хотела было рассказать графу по секрету всю правду, но подумала, что с ее стороны будет

неблагородно искать у человека постороннего защиты Против тоге, кто так низко угрожал ей. Она решила, что должна найти в себе достаточно твердости, чтобы самой защитить себя и избавиться от Андзолето. К тому же ее великодушное сердце не могло допустить, чтобы человек, которого она когда-то так свято любила, был выгнан хозяином из дома. Как бы вежливо граф Христиан ни выпроводил Андзолето и как бы ни был тот виновен перед нею, у нее не хватило духа подвергнуть его такому страшному унижению, и она лишь ответила на вопрос старика, что вообще смотрит на брата как на сорванца и никогда к нему не относилась иначе как к ребенку.

— Надеюсь, он не негодяй какой-нибудь? — заметил граф.

— Кто его знает, — ответила она. — Я стараюсь держаться от него как можно дальше, наши характеры, взгляды на жизнь слишком различны. Вы, наверное, заметили, что я не очень стремилась удерживать его здесь.

— Пусть будет так, как вы этого хотите, дитя мое; я считаю вас очень рассудительной. Теперь, когда вы рассказали мне все с такой благородной откровенностью…

— Простите, господин граф, я рассказала вам о

себе не все, так как вы не обо всем спросили. Мне неизвестно, почему вы сегодня делаете мне честь интересоваться моей жизнью. Я предполагаю, что кто-то, очевидно, отозвался обо мне неблагоприятно и вы желаете знать, не бесчестит ли мое пребывание ваш дом. До сих пор, так как вы меня спрашивали о самых поверхностных вещах, я считала нескромным без вашего разрешения занять вас рассказом о себе самой, но раз вам, по-видимому, угодно узнать всю мою жизнь, то я должна сообщить вам об одном обстоятельстве, которое, быть может, повредит мне в ваших глазах. Я не только могла бы посвятить себя театральной карьере, как вы часто мне советовали, но (хотя я уже не питаю к театру ни малейшего влечения) в прошлом сезоне я дебютировала в Венеции под именем Консуэло… Меня прозвали Zingarella, и вся Венеция знает мое лицо и мой голос.

— Постойте! — воскликнул граф, ошеломленный этим новым открытием.

— Так это вы то диво, что наделало столько шума в Венеции в прошлом году и о котором с таким восторгом кричали итальянские газеты? Прекраснейший голос и величайший талант, какого не бывало на памяти человеческой…

— В театре Сан-Самуэле, господин граф. Похвалы эти, конечно, очень преувеличены, но неопровержим тот факт, что я — та самая Консуэло, которая пела в нескольких операх; словом, я актриса, или, выражаясь более изысканно, певица. Теперь решайте, заслуживаю ли я вашего доброго отношения.

— Непостижимо! И какая странная судьба! — проговорил граф, погружаясь в раздумье. — А говорили ли вы об этом здесь кому-нибудь, кроме меня, дитя мое?

— Господин граф, я почти все рассказала вашему сыну, не вдаваясь только в те подробности, которые я сейчас вам сообщила.

— Альберту, значит, известно ваше происхождение, ваша прежняя любовь, ваша профессия?

— Да, господин граф.

— Прекрасно, дорогая синьора; не нахожу слов, чтобы благодарить вас за удивительную честность, с какой вы отнеслись к нам, и обещаю, что вам не придется в ней раскаиваться. А теперь, Консуэло (да, да, теперь я припоминаю, именно так называл вас с самого начала Альберт, говоря с вами по-испански), позвольте мне собраться с силами. Я слишком взволнован. Нам с вами, дитя мое, о многом еще надо поговорить, и вы

простите мое волнение перед таким важным, решительным моментом. Сделайте милость, подождите меня здесь одну минуту.

Он вышел, и Консуэло, следившая за ним взглядом, увидела через стеклянные двери, как старик вошел в свою молельню и благоговейно опустился там на колени.

Страшно взволнованная, она терялась в догадках, чем может кончиться столь торжественно начатый разговор. Сперва ей пришло в голову, что Андзолето, ожидая ее, уже сделал то, что грозился сделать,

— возможно, в беседе с капелланом или с Гансом он говорил о ней таким тоном, который мог возбудить беспокойство и недоумение ее хозяев. Но граф Христиан не умел притворяться, а до сих пор его обращение с нею, его слова говорили скорее о возросшей привязанности, чем о пробуждении недоверия. К тому же ее откровенные ответы поразили его именно своей неожиданностью; последнее же известие было просто ударом грома. И вот теперь он молится и просит бога просветить или поддержать его при принятии какого-то важного решения. «Не собирается ли он просить меня уехать вместе с братом? Или намерен предложить мне денег? — спрашивала

она себя. — Ах, избави меня бог от подобного оскорбления. Но нет, он слишком деликатный, слишком добрый человек, чтобы решиться так унизить меня. Что же хотел он сказать мне с самого начала и что скажет мне сейчас? Быть может, прогулка наша с графом Альбертом причинила ему большое беспокойство и старик собирается побранить меня? Ну что ж! Пожалуй, я и заслужила это, — придется выслушать выговор, раз я не смогу ответить откровенно на вопросы, которые могут быть мне предложены относительно графа Альберта. Какой тягостный день! Еще несколько таких дней, и я уже не смогу превзойти своим пением ревнивых возлюбленных Андзолето: в груди у меня все горит, а в горле совсем пересохло».

Вскоре граф Христиан вернулся. Он был спокоен, и по его бледному лицу видно было, что благородство одержало верх в его душе.

— Дочь моя, — сказал он, усаживаясь рядом с нею и вынуждая ее остаться в роскошном кресле, которое она хотела ему уступить и где, помимо воли, восседала с испуганным видом, — пора и мне быть с вами таким же откровенным, как были вы со мной. Консуэло, мой сын любит вас.

Девушка сначала покраснела, потом побледне-

ла и попыталась было что-то сказать, но Христиан ее остановил.

— Это не вопрос, — сказал он, — я не имел бы права предложить его вам, а вы на него ответить, ибо я знаю, что вы нисколько не поощряли надежд Альберта. Он сказал мне все и я верю ему ибо он никогда не лжет, так же как и я.

— Я тоже никогда не лгу, — проговорила Консуэло, поднимая глаза к небу с выражением простодушной гордости. — Граф Альберт, должно быть, сказал вам, господин граф…

— Что вы отвергли всякую мысль о браке с ним, — договорил старик.

— Я должна была это сделать, зная обычаи и мнение света. Для меня ясно, что я не гожусь в жены графу Альберту уже по той причине, что, не считая себя ниже кого бы то ни было перед богом, я не хочу принимать милости и благодеяния от кого бы то ни было из людей.

— Мне известна ваша справедливая гордость, и я считал бы ее преувеличенной, если бы Альберт зависел только от себя, но поскольку вы были уверены, что я никогда не соглашусь на такой брак, вы должны были ответить именно так, как ответили.

— А теперь, господин граф, — сказала Консуэло,

поднимаясь, — мне понятно все остальное, и я умоляю вас избавить меня от унижения, которого я так страшилась. Я уеду из вашего дома и давно уже сделала бы это, если б считала возможным уехать, не рискуя рассудком и жизнью графа Альберта, на которого я имею больше влияния, чем мне бы хотелось. Раз вы уже знаете все то, что мне невозможно было вам сказать, теперь вы сможете оберегать его, бороться с последствиями этой разлуки и вообще возьмете на себя заботу о нем: вы имеете на это гораздо больше права, чем я. Если я и присвоила себе нескромно это право, то бог простит мне мое прегрешение, ибо ему известно, как чисты были помыслы, руководившие мной.

— Я знаю, — проговорил граф. — Господь внушил это моей совести, а Альберт моему сердцу. Садитесь же, Консуэло, и не спешите обвинять меня в дурных намерениях. Я пригласил вас сюда не для того, чтобы приказать вам оставить мой дом, а чтобы молить вас остаться в нем на всю жизнь.

— На всю жизнь! — повторила, чуть не падая в кресло, Консуэло, одновременно радуясь, что восстановлено ее достоинство, и ужасаясь такому предложению. — На всю жизнь! Господин

граф, вы, верно, не думаете о том, что изволите говорить.

— Много я думал об этом, дочь моя, — ответил граф с грустной улыбкой, — и чувствую, что мне не придется в этом раскаиваться. Сын мой страстно любит вас, вы всецело завладели его душой, вы вернули его мне, вы пошли разыскивать его в таинственное место, которое он не пожелал назвать, но куда никто, сказал он мне, кроме матери или святой, не отважился бы проникнуть. Вы рисковали жизнью, чтобы спасти его от одиночества и безумия, губивших его. Благодаря вам он больше не терзает нас своими исчезновениями. Одним словом, вы вернули ему спокойствие, здоровье, рассудок. Ведь нельзя же отрицать, что мой бедный сын был помешан, а теперь он, несомненно в здравом уме. Мы чуть ли не всю эту ночь проговорили с ним, и я вижу, что он, пожалуй, рассудительнее меня. Я знал, что сегодня утром вы должны были отправиться вместе с ним на прогулку. Это с моего разрешения он просил вас о том, чего вы не пожелали слушать… Вы боялись меня, дорогая Консуэло. Вы думали, что старому Рудольштадту, зараженному аристократическими предрассудками, непристойно быть пред вами в долгу за сына. И вы ошиблись. Ко-

нечно, у старого Рудольштадта были и гордость и предрассудки, быть может, и теперь они имеются у него — он не хочет прихорашиваться перед вами, — но в порыве беспредельной признательности он отрешается от них и горячо благодарит вас за то, что вы вернули ему его последнее, его единственное дитя.

Говоря это, граф Христиан взял обе руки Консуэло и покрыл их поцелуями и слезами.

Глава 59

Консуэло была глубоко растрогана этим изъявлением чувств, которое оправдало ее в собственных глазах и успокоило ее совесть. До этой минуты она часто со страхом думала о том, что слишком неосторожно отдается своим великодушным порывам. Теперь она получила одобрение и награду. Ее радостные слезы смешались со слезами старика, и долго оба были так взволнованы, что не могли продолжать разговор.

Однако Консуэло все еще не понимала сделанного ей предложения, а граф, считая, что он достаточно ясно высказался, видел в ее молчании и слезах доказательство согласия и благодарности.

— Я иду за сыном, — проговорил наконец старик. — Пусть у ваших ног узнает он о своем беспредельном счастье и присоединит свои благословения к моим.

— Подождите, господин граф! — воскликнула Консуэло, ошеломленная такой поспешностью. — Я не совсем понимаю, чего вы от меня требуете. Вы одобряете привязанность графа Альберта ко

мне и преданность, выказанную ему мною. Вы удостаиваете меня своего доверия, зная, что я не злоупотребляю им. Но как я могу обещать вам посвятить всю жизнь такой странной дружбе? Я понимаю, что вы рассчитываете на время и на мою рассудительность, чтобы поддержать душевное спокойствие вашего благородного сына и охладить его пылкое чувство ко мне, но я не уверена, долго ли я сохраню эту власть над ним; притом, если бы даже подобная близость и не была опасна для такого восторженного человека, как граф Альберт, то я не вольна посвятить свою жизнь этой славной задаче. Я не принадлежу себе.

— О небо! Что вы говорите, Консуэло? Так, значит, вы не поняли меня?

Или вы меня обманули, сказав, что свободны, что у вас нет никаких сердечных привязанностей, никаких обязательств, нет семьи?

— Но, господин граф, — возразила Консуэло недоумевая. — У меня есть цель жизни, призвание, профессия. Я принадлежу искусству, которому посвятила себя с самого детства.

— Великий боже, что вы говорите! Вы хотите вернуться на сцену?

— Не знаю еще. Я не солгала вам, сказав, что

меня больше не тянет туда. На этом бурном пути я испытала пока только ужасные мучения, но в то же время я чувствую, что с моей стороны было бы слишком смело дать обещание навсегда отказаться от этого поприща. Такова была моя судьба, и, видно, нельзя избежать будущего, которое ты однажды себе наметил. Но, вернусь ли я на подмостки, буду ли выступать в концертах или давать уроки — все равно я остаюсь и должна оставаться певицей. Да и на что иное я годна? Где еще я могу сохранить независимость? Чем займу свой ум, привыкший к труду и жаждущий этих ощущений?

— О Консуэло, Консуэло! — с горечью воскликнул граф Христиан. — Все, что вы говорите, верно. Но я думал, что вы любите моего сына, а теперь вижу, что вы его не любите.

— А если бы я полюбила его со страстью, которая заставила бы меня забыть самое себя, что сказали бы вы на это, граф? — воскликнула Консуэло, теряя терпение. — Значит, вы считаете, что никакая женщина не может влюбиться в графа Альберта, если просите меня остаться при нем навсегда?

— Что вы, дорогая Консуэло! Или я недостаточно ясно высказался, или вы принимаете меня за

безумного. Разве я не просил вашей руки и сердца для моего сына? Разве я не поверг к вашим стопам этот законный и бесспорно почетный союз? Если бы вы любили Альберта, то в счастливой жизни с ним, конечно, нашли бы вознаграждение за потерю вашей славы и ваших триумфов. Но вы не любите его, раз считаете невозможным отказаться ради него от того, что называете своей судьбой!

Это объяснение, независимо от воли добродушного Христиана, несколько запоздало. Не без ужаса и смертельного отвращения жертвовал старый аристократ ради счастья сына всеми своими взглядами на жизнь, всеми убеждениями своей касты. И когда после долгой и мучительной борьбы с Альбертом и самим собой жертва, наконец, была принесена, — окончательное утверждение этого страшного акта не могло перейти без усилия из его сердца на уста.

Консуэло почувствовала или угадала это, так как в ту минуту, когда Христиану показалось, что он не в состоянии добиться ее согласия на этот брак, лицо старика озарилось невольной радостью, к которой примешивалось какое-то странное смятение.

Консуэло мгновенно поняла свое положение.

Гордость, быть может несколько эгоистичная, возбудила в ней неприязнь к предлагаемому браку.

— Так вы хотите, чтобы я стала женой графа Альберта? — сказала она, еще ошеломленная таким предложением. — И вы согласились бы назвать меня своей дочерью, согласились бы, чтобы я носила ваше имя, согласились бы представить меня вашим родственникам и друзьям?.. Ах, граф, как вы любите своего сына и как ваш сын должен любить вас!

— Если вы, Консуэло, видите в этом такое необычное великодушие, значит, вашему сердцу оно недоступно или сам предмет кажется вам недостойным его.

— Граф, — заговорила Консуэло после минутного молчания, закрыв лицо руками, — я точно во сне. Гордость невольно возмущается во мне при мысли о тех унижениях, которыми будет полна моя жизнь, если я осмелюсь принять жертву, приносимую вашей отеческой любовью.

— Но кто посмел бы унизить вас, Консуэло, раз отец и сын укрыли бы вас под защитой брака и семьи?

— А тетушка, граф? Ведь она здесь занимает место родной матери, разве она могла бы смотреть

на это без краски негодования?

— Она сама присоединится к нашим мольбам, если вы дадите слово уступить. Не требуйте от человеческой натуры того, что превышает ее силы: и возлюбленный и отец могут вынести унижение, горе отказа, — моя сестра не справится с этим. Но, уверившись в успехе, мы приведем ее в ваши объятия, дочь моя.

— Граф, — обратилась к старику трепещущая Консуэло, — стало быть, граф Альберт говорил вам, что я люблю его?

— Нет, — ответил граф, вдруг вспомнив что-то, — Альберт говорил мне, что препятствие именно в вашем сердце. Он сто раз повторял мне это, но я не мог ему поверить. Вашу сдержанность по отношению к нему я объяснял вашим прямодушием и вашей скромностью; и все же я думал, что, освободив вас от ваших сомнений, я добьюсь того признания, в котором вы отказали ему.

— А что сказал он вам о нашей сегодняшней прогулке?

— Лишь несколько слов: «Попытайтесь, дорогой отец: это единственное средство узнать, гордость или отчуждение закрывают для меня ее сердце». — Увы, граф! Что подумаете вы обо мне, если я скажу вам, что и сама этого не знаю?

— Я подумаю, дорогая Консуэло, что это отчуждение. Ах, сын мой, бедный мой сын! Как ужасна его судьба! Единственная женщина, которую он смог полюбить, не любит его. Только этого несчастья нам недоставало.

— Боже мой! Вы должны ненавидеть меня, граф, вы не понимаете, как может противиться моя гордость, раз вы жертвуете своею. Вам кажется, что для гордости такой девушки, как я, гораздо меньше оснований, а между тем, поверьте, в эту минуту в сердце моем происходит борьба не менее жестокая, чем та, из которой вы вышли победителем.

— Нет, я понимаю это. Не думайте, синьора, что я так мало уважаю целомудрие, прямодушие и бескорыстие, чтобы не суметь оценить гордость, опирающуюся на такие сокровища. Но то, что смогла победить отцовская любовь (видите, я говорю с вами совершенно откровенно), я думаю, сможет победить и любовь женщины. Ну что же, предположим даже, что вся жизнь Альберта, ваша жизнь и моя были бы борьбой со светскими предрассудками, от чего пришлось бы долго и много страдать и нам троим и моей сестре с нами. Да разве наша взаимная любовь, чистая совесть, преданность друг другу не помогли бы

нам стать сильнее всего светского общества? Для великой любви ничтожны все те беды, которые так страшат вас и за себя и за нас. Но вы с тоской и страхом ищете в глубине своей души эту великую любовь и не находите ее, Консуэло, потому что ее там нет.

— О да, в этом, и только в этом все препятствие, — проговорила Консуэло, крепко прижимая руки к сердцу, — все остальное пустяки. У меня тоже были предрассудки. Вы подаете мне пример того, как я должна отбросить их, чтобы сравняться с вами в величии и героизме. Не будем больше говорить о моих чувствах, о моем ложном стыде; не надо даже касаться моей будущности и моего искусства, — добавила она со вздохом.

— Я смогу и от этого отречься, если… если… если я люблю Альберта! Вот что нужно мне знать. Выслушайте меня, граф. Сто раз спрашивала я себя об этом, но никогда у меня не было того спокойствия, какое дает мне теперь ваше согласие. Как могла я раньше серьезно думать о чем-либо, когда даже самый этот вопрос казался мне безумием и преступлением? Теперь же, мне кажется, я сумею разобраться в себе и решить. Дайте мне несколько дней, чтобы собраться с мыслями и понять, есть ли моя безмерная преданность

ему, безграничное уважение, внушаемое мне его достоинствами, эта огромная симпатия, эта странная власть его слов надо мной, — есть ли все это любовь или восхищение. Ведь все это я чувствую, граф, но с этим борется во мне невыразимый ужас, глубокая печаль и (скажу вам без утайки, мой благородный друг!) воспоминание о любви, менее восторженной, но более мягкой, более нежной, совсем непохожей на эту.

— Вы странная и благородная девушка! — с умилением проговорил граф Христиан. — Сколько мудрости и своеобразия в ваших словах и мыслях! Вы во многих отношениях похожи на моего бедного Альберта, а тревожная неуверенность ваших чувств напоминает мне мою жену, мою благородную печальную красавицу Ванду. О Консуэло! Какое сладкое и вместе с тем горестное воспоминание будите вы в моей душе! Знаете, я хотел было сказать вам: победите свою нерешительность, справьтесь со своими опасениями, полюбите этого несчастного, обожающего вас человека, полюбите из чувства добродетели, величия души, сострадания! Быть может, он и не даст вам счастья, но, спасая его, вы заслужите награду на небесах. Однако вы напомнили мне его мать, отдавшуюся мне из чувства долга и

дружбы. Она не могла любить меня, простого, добродушного, робкого человека, той восторженной любовью, которой жаждала ее душа. До конца она была верна мне и великодушна, но как она страдала! Увы! Для меня ее любовь была и отрадой и мукой, а ее постоянство — гордостью и укором. С горя она умерла, а мое сердце было разбито навеки. И если сейчас я — существо ничтожное, незаметное, мертвое, не слишком удивляйтесь этому, Консуэло. Я выстрадал то, чего никому не понять. Ни одному человеку никогда я не говорил об этом. Вам первой с трепетом открываю я свою душу. Нет, нет, пусть глаза мои закроются в скорби и сын мой сейчас же погибнет под тяжестью своей судьбы, но я не буду уговаривать вас пожертвовать собой, не буду убеждать Альберта принять от вас такую жертву! Я слишком хорошо знаю, что значит насиловать природу, бороться с ненасытной потребностью души. Обдумайте же все это не торопясь, дочь моя, — закончил со слезами старый граф, прижимая ее к груди и с отеческой нежностью целуя ее благородный лоб. — Так будет лучше. Если вы все-таки откажете ему, то, подготовленный беспокойством, он не будет до такой степени убит этой страшной вестью, как был бы поражен ею сегодня.

Условившись таким образом, они расстались. Консуэло, совсем измученная волнениями и усталостью, стараясь не натолкнуться на Андзолето, проскользнула по коридорам и заперлась в своей комнате.

Здесь девушка попыталась несколько успокоиться; чувствуя себя совсем разбитой, она бросилась на постель и вскоре впала в тяжелое забытье, скорее изнуряющее, чем восстанавливающее силы. Ей хотелось уснуть, думая об Альберте, чтобы эти мысли как бы созрели в тех таинственных проявлениях сна, в которых мы надеемся порою найти пророческий ответ на волнующие нас вопросы. Но в ее отрывочных сновидениях в течение нескольких часов непрестанно появлялся не Альберт, а Андзолето. Она видела Венецию, Корте-Минелли, свою первую любовь, безмятежную, радостную, поэтическую. А каждый раз, когда она пробуждалась, воспоминание об Альберте связывалось в ней с воспоминанием о зловещей пещере, где звуки скрипки, удесятеренные эхом пустых подземелий, вызывали тени мертвецов и плакали над свежей могилой Зденко. Страх и печаль как бы закрывали ее сердце для любви, когда она представляла себе эту картину. Будущее, которое ей

сулили, рисовалось только среди мрачной тьмы и кровавых видений, тогда как лучезарное, полное счастья прошлое заставляло дышать свободно ее грудь и радостно биться сердце. Ей казалось, что в этих снах, говоривших о прошлом, она слышит свой собственный голос, — он растет, растет, наполняет все вокруг и, могучий, уносится к небесам. А когда ей вспоминались фантастические звуки скрипки в пещере, этот же голос становился резким, глухим и терялся, подобно предсмертному хрипу, в подземных безднах.

Все эти смутные видения до того утомили ее, что она встала с постели, чтобы от них избавиться. Услышав первый призыв колокола, возвещавший, что обед будет подан через полчаса, она стала одеваться, продолжая думать все о том же. Но странная вещь: в первый раз в жизни она с интересом смотрелась в зеркало, а своей прической и туалетом занялась гораздо внимательнее, чем волновавшими ее серьезными вопросами. Она невольно прихорашивалась, ей хотелось быть красивой. И это непреодолимое кокетство проснулось в ней не для того, чтобы возбудить страсть и ревность любящих ее соперников, — она думала и могла думать только об одном из них. Альберт никогда ни единым словом

не обмолвился об ее наружности. Охваченный своей страстью, быть может, он считал ее даже красивее, чем она была на самом деле. Но мысли его были так возвышенны, а любовь так велика, что он побоялся бы осквернить ее, взглянув на нее восторженными глазами влюбленного или испытующим оком артиста. Для него она была всегда окутана облаком, сквозь которое взор его не дерзал проникнуть и которое его воображение окружало ослепительным ореолом. На внешние перемены он не обращал внимания: для него она всегда была одинаковой. Он видел ее мертвенно бледною, иссохшею, увядшею, борющеюся со смертью и более похожею на призрак, чем на женщину. Тогда внимательно и с тревогой он искал в ее чертах лишь более или менее страшные симптомы болезни, не замечая, что она подурнела, что, быть может, она способна внушить ужас или отвращение. Когда же к ней вернулись блеск и живость молодости, он даже не заметил, потеряла или выиграла от этого ее внешность. Для него она и в жизни и в смерти была идеалом всего молодого, высокого, идеалом несравненной красоты. Вот почему Консуэло перед зеркалом никогда не думала об Альберте.

Совсем иначе обстояло дело с Андзолето. С ка-

ким бесконечным вниманием он разглядывал, изучал ее в тот день, когда стремился и не мог решить, красива она или нет. Как отмечал он малейшую черточку ее наружности, малейшее усилие понравиться ему. Как знал ее волосы, руки, ноги, ее походку, цвета, которые были ей к лицу, малейшую складку ее одежды. И с каким пылким воодушевлением хвалил он ее наружность, с каким томным сладострастием смотрел на нее! Целомудренная девушка не понимала тогда трепета своего сердца. Она не хотела понимать его и теперь, а между тем вновь ощущала его, и почти с той же силой, при мысли, что сейчас появится перед Андзолето. Она сердилась на себя, краснела от стыда и досады, старалась наряжаться для одного Альберта — и все-таки выбирала и прическу, и ленты, и даже взгляды, которые нравились Андзолето. «Увы! Увы! — думала она, кончив одеваться и отрываясь от зеркала. — Неужели я действительно могу думать только о нем и былое счастье имеет надо мною больше власти, чем презрение к этому человеку и обещания новой любви? Сколько я ни всматриваюсь в будущее, без него оно сулит мне лишь ужас и отчаяние. Но каково было бы это будущее с ним? Разве я не знаю, что чудесные дни Венеции

безвозвратно прошли, что невинность больше не будет обитать с нами, что душа Андзолето развращена, ласки его способны только унизить меня, а моя жизнь была бы ежечасно отравлена стыдом, ревностью, страхом и раскаянием?»

Строго отдав себе отчет в том, что в ней происходит, Консуэло поняла, что она нисколько не заблуждается относительно Андзолето и что от чувства к нему в ней не осталось и следа. Она уже не любила его в настоящем, боялась и почти ненавидела его, думая о будущем, которое могло бы только еще больше развратить его, но В прошлом она так его обожала, что была не в силах вырвать его ни из своей жизни, ни из своей души. Теперь он был для нее как бы портретом, напоминающим любимое существо и сладостные дни, и подобно вдове, которая тайком от нового супруга любуется изображением его предшественника, она чувствовала, что умерший занимает в ее сердце больше места, чем живой.

Глава 60

Консуэло была девушкой рассудительной и, обладая умом возвышенным, понимала, что чувство Альберта — искреннее, благороднее и ценнее любви Андзолето. Теперь, когда оба оказались перед нею, она было подумала, что одержала победу над своим врагом. Проникновенный взгляд Альберта, долгое и крепкое пожатие его честной руки красноречиво свидетельствовали о том, что молодой граф знает, чем кончился ее разговор с графом Христианом, и согласен с покорной признательностью ждать решения своей участи. На самом деле, Альберт не надеялся получить так много, и даже самая неопределенность этого решения была ему сладка, ибо рассеяла опасения, связанные с самонадеянной заносчивостью Андзолето. Последний, наоборот, действовал чрезвычайно самоуверенно. Догадываясь приблизительно о том, что происходит вокруг, он решил идти напролом, рискуя даже быть выброшенным за дверь. Его развязные манеры, иронический, дерзкий взгляд вызывали в Консуэло глубочайшее отвращение, а когда

он с наглым видом подошел, намереваясь взять ее под руку, она отвернулась и пошла к столу с Альбертом, предложившим ей руку.

Как всегда, молодой граф сел напротив Консуэло, — старый Христиан усадил ее по левую руку от себя, на место, раньше занимаемое Амелией. Вместо обычно сидевшего слева от Консуэло капеллана канонисса пригласила сесть между девушкой и капелланом мнимого брата; таким образом, Андзолето мог нашептывать на ухо Консуэло всякие колкости, а его грубые остроты, как он и рассчитывал, вызывали негодование старого священника, которого он и раньше уже стал задирать.

План Андзолето был чрезвычайно прост: он старался возбудить к себе ненависть, стать нестерпимым для тех членов семьи, которые, как он чувствовал, были настроены враждебно к предполагаемому браку; своими дурными манерами, фамильярным тоном, неуместными речами он рассчитывал создать самое отвратительное представление о среде и родстве Консуэло. «Посмотрим, — говорил он себе, — переварят ли они „братца“, которого я им преподнесу».

Андзолето, незаконченный певец и посредственный трагик, был прирожденным комиком.

Он достаточно насмотрелся на светское общество и научился подражать хорошим манерам и приятным разговорам благовоспитанных людей; но это могло только примирить канониссу с низким происхождением невесты, а потому он прибег к противоположной линии поведения с тем большей легкостью, что она была ему гораздо более свойственна. Убедившись в том, что Венцеслава, умышленно говорившая только на немецком языке, принятом при дворе и среди благонамеренных подданных, тем не менее не пропускает ни одного из сказанных им итальянских слов, Андзолето стал без удержу болтать, то и дело прикладываясь к доброму венгерскому вину; он не опасался, что вино подействует на него, ибо привык к самым крепким напиткам, однако притворялся, будто всецело находится под влиянием жгучих винных паров, желая выставить себя завзятым пьяницей. План его удался как нельзя лучше. Граф Христиан, сначала снисходительно смеявшийся над его шутовскими выходками, вскоре стал только принужденно улыбаться, и ему нужно было призвать на помощь всю свою светскую обходительность, все свое отеческое чувство, чтобы не поставить на место несносного будущего шурина своего бла-

городного сына. Капеллан не раз в негодовании подпрыгивал на стуле, бормоча по-немецки нечто, напоминающее заклинание против бесов. Трапеза в результате получилась для него крайне неудачной, — никогда в жизни его пищеварение так не страдало. Канонисса слушала все непристойности гостя со сдержанным презрением и злобным удовольствием. При каждом новом вздоре, который изрекал Андзолето, она посматривала на брата, словно брала его в свидетели, а добродушный Христиан опускал голову, силясь каким-нибудь, не всегда удачным, замечанием отвлечь внимание слушателей. Тогда канонисса бросала взгляд на Альберта, но Альберт был невозмутим, — казалось, он не видит и не слышит своего неугомонного, веселого гостя.

Из всех присутствующих удрученнее всех была, несомненно, Консуэло. Сначала она решила было, что распущенность и цинизм Андзолето, которых она раньше в нем не замечала, являются следствием его развратной жизни, ибо никогда он не вел себя так в ее присутствии. Девушка была настолько поражена, настолько возмущена, что хотела даже уйти из-за стола, как вдруг догадалась, что все это не что иное, как военная хитрость, и к ней тотчас вернулось

хладнокровие, столь гармонировавшее с ее неиспорченностью и чувством достоинства. Она не стремилась проникнуть ни в тайны, ни во взаимоотношения этой семьи, чтобы интригами завоевать предлагавшееся ей Альбертом положение. Это положение ни на минуту не ослепило ее, и она в глубине души сознавала, насколько несправедливы обвинения, возводимые на нее канониссой. Она знала, она прекрасно видела, что любовь Альберта, доверие его отца выше этих ничтожных испытаний.

Презрение, внушаемое ей Андзолето, оказавшимся таким низким и злобным в своей мести, придало ей силы, Глаза ее только раз встретились с глазами Альберта, и они поняли друг друга. Консуэло сказала: «Да», а Альберт ответил: «Несмотря ни на что!»

— Обожди радоваться, ты еще у меня попляшешь, — шепнул своей соседке Андзолето, перехвативший и истолковавший этот взгляд по-своему.

— Вы очень доброжелательны, благодарю вас, — ответила Консуэло.

Они переговаривались сквозь зубы с быстротой, присущей венецианскому наречию, для которого так характерно обилие гласных и эл-

липсов, что итальянцы Рима и Флоренции сами на первых порах с трудом его понимают.

— Я признаю, что в эту минуту ты ненавидишь меня, — говорил Андзолето, — и воображаешь, что будешь ненавидеть вечно, но все-таки тебе от меня не уйти.

— Вы слишком рано открыли свои карты, — сказала Консуэло.

— Но не слишком поздно, — возразил Андзолето. — Сделайте милость, благочестивый отче, — обратился он к капеллану, толкнув его под локоть так, что тот пролил на свои брыжи половину вина, которое подносил ко рту. — Лейте смелее это славное винцо, оно столь же полезно для души и тела, как вино святой обедни!

— Ваше сиятельство, — обратился он к старому графу, протягивая бокал, — у вас с левой стороны, у самого сердца, стоит в запасе флакончик из желтого хрусталя, горящий, как солнце. Уверен, что, выпей я только каплю этого нектара, я превращусь в полубога.

— Берегитесь, дитя мое, — проговорил граф, положив худую руку в перстнях на граненое горлышко графина, — стариковское вино порою сковывает уста молодым.

— От злости ты стала красива, как бесенок, —

заметил Андзолето своей соседке на чистом итальянском языке, чтобы все его поняли. — Ты напоминаешь мне Дьяволицу из оперы Галуппи, которую ты так чудесно сыграла в прошлом году в Венеции.

— Послушайте, ваше сиятельство, — обращаясь к графу, сказал он, долго вы намерены держать в вашей золоченой, обитой шелком клетке мою сестрицу? Предупреждаю вас: она птичка певчая, а птица, которой не дают петь, скоро теряет оперение. Я понимаю, что она счастлива здесь, но досточтимая публика, которую она свела с ума, громко требует ее возвращения. Что касается меня, то дайте мне ваше имя, ваш замок, все вино вашего подвала с вашим почтеннейшим капелланом придачу, — я ни за что не соглашусь расстаться с моими театральными кенкетами, моими котурнами, моими руладами.

— Вы, стало быть, тоже актер? — сухо, с холодным презрением спросила канонисса.

— Актер, шут, к вашим услугам, illustrissima , — нимало не смущаясь, отвечал Андзолето.

— И у него есть талант? — спросил у Консуэло старый граф Христиан со свойственным ему мягким, добродушным спокойствием.

— Никакого, — промолвила Консуэло, с сожале-

нием глядя на своего противника.

— Если это так, то ты себя же порочишь, — сказал Андзолето, — ведь я твой ученик.

— Однако, надеюсь, — продолжал он по-венециански, — у меня хватит таланта, чтобы смешать твои карты.

— Вы только себе этим повредите, — возразила Консуэло на том же наречии, — дурные намерения оскверняют сердце, а ваше сердце потеряет при этом гораздо больше, чем вы заставите потерять меня в сердцах других.

— Очень рад видеть, что ты принимаешь мой вызов. Начинай же, прекрасная воительница! Как ни спускаете вы свое забрало, а я вижу в блеске ваших глаз досаду и страх.

— Увы! Вы можете прочесть в них только глубокое огорчение. Я думала, что смогу забыть, сколь вы достойны презрения, а вы стараетесь мне это напомнить.

— Презрение и любовь часто отлично уживаются.

— В низких душах.

— В душах самых гордых; так было и будет всегда.

В таких пикировках прошел весь обед. Когда перешли в гостиную, канонисса, по-видимому

решившая потешиться наглостью Андзолето, попросила его что-нибудь спеть. Он не заставил себя просить и, с силой ударив нервными пальцами по клавишам старого, дребезжащего клавесина, запел одну из залихватских песен, оживлявших интимные ужины Дзустиньяни. Слова песни были неприличные. Канонисса не поняла их — ее забавлял пыл, с каким пел Андзолето. Графа Христиана не могла не поразить красота голоса певца и необычайная легкость исполнения, и он наивно наслаждался, слушая его. После первой песни он попросил Андзолето спеть еще. Альберт, сидя подле Консуэло, ничего, казалось, не слышал, — он не проронил ни слова. Андзолето вообразил, что молодой граф раздосадовав и сознает, что над ним наконец одержали верх. Он позабыл о своем намерении разогнать слушателей непристойными песнями; к тому же, видя, что благодаря наивности хозяев или их незнанию венецианского наречия это совершенно напрасный труд, он поддался соблазну вызвать восхищение, какое рождает артист, поющий ради удовольствия петь; а кроме того, ему захотелось похвастаться перед Консуэло своими успехами. Он действительно подвинулся вперед в возможных для него пределах. Голос его, быть

может, потерял свою первоначальную свежесть, оргии лишили его юношеской мягкости, но зато теперь Андзолето лучше владел им, стал более умелым в преодолении трудностей, к чему всегда инстинктивно стремился. Он спел хорошо и получил много похвал от графа Христиана, канониссы и даже капеллана, поклонника рулад, не способного оценить манеру петь Консуэло, отличавшуюся простотой и естественностью.

— Вы говорили, что у него нет таланта, — сказал граф, обращаясь к Консуэло, — вы слишком строги или слишком скромны в отношении своего ученика. Он очень талантлив, и наконец я вижу в нем что-то, присущее вам.

Добрый Христиан хотел этим маленьким триумфом Андзолето загладить унижение, которое перенесла мнимая сестра из-за выходок брата: он усиленно подчеркивал достоинства певца, а тот слишком любил блистать, да и скверная роль, навязанная им себе, стала уже на — доедать ему, и, заметив, что граф Альберт становится все более задумчив, он снова сел за клавесин.

Канонисса, дремавшая обыкновенно при исполнении длинных музыкальных вещей, попросила спеть еще какую-нибудь венецианскую песенку; и на этот раз Андзолето выбрал

более приличную. Он знал, что лучше всего ему удавались народные песни. Даже у Консуэло своеобразные особенности венецианского наречия не звучали так естественно и характерно, как у этого сына лагун, врожденного певца и мима.

Он так чудесно изображал то грубую откровенность рыбаков Истрии, то остроумную, удалую бесшабашность гондольеров Венеции, что невозможно было без живого интереса ни внимать ему, ни глядеть на него. Его красивое, живое и выразительное лицо становилось то суровым и гордым, как у первых, то ласковым и насмешливо-веселым, как у вторых. Вульгарное кокетство его наряда, от которого за милю отдавало Венецией, еще усиливало впечатление и в данный момент не только не портило его, а, напротив, шло к нему.

Консуэло, вначале относившейся к выходкам Андзолето безразлично, пришлось теперь притворяться равнодушной и чем-то озабоченной. Волнение все более и более охватывало ее. В Андзолето она видела всю Венецию, а в этой Венеции — всего Андзолето прежних дней, с его веселым нравом, целомудренной любовью, с его ребяческой гордостью. Глаза ее заволакивались слезами, а игривость Андзолето, смешившая

других, будила в ее сердце глубокую нежность. После народных песен граф Христиан попросил Андзолето исполнить духовные.

— О, что касается этих песнопений, я знаю все, какие только исполняются в Венеции, но они на два голоса, и если сестра — она тоже их знает — не захочет петь со мной, то я не смогу исполнить желание ваших сиятельств. Все тотчас стали упрашивать Консуэло. Она долго отказывалась, хотя ей самой очень хотелось петь. Наконец, уступая просьбам добрейшего Христиана, стремившегося примирить ее с братом и старавшегося показать, что сам он совершенно примирился с ним, она села подле Андзолето и робко запела одну из длиннейших духовных песен на два голоса, которые в Венеции во время великого поста поют по целым ночам у статуй мадонн на перекрестках улиц. Мелодия у них скорее веселая, чем печальная, но однообразие припева и поэтичность слов, в которых чувствуется часто что-то языческое, исполнены нежной грусти, — она мало-помалу овладевает слушателем и наконец совсем захватывает.

Консуэло, подражая женщинам Венеции, пела нежным, глуховатым голосом, а Андзолето — резким, гортанным, как поют тамошние юно-

ши, сопровождая свое пение аккомпанементом на клавесине, тихим, непрерывным и легким, напомнившим его подруге журчание воды у каменных плит и шелест ветерка в виноградных лозах. Ей почудилось, что она в Венеции в волшебную летнюю ночь, под открытым небом, у какой-нибудь часовенки, увитой виноградными листьями, освещенной трепетным сиянием лампады, отражающимся в слегка подернутых рябью водах канала. О, какая разница между зловещим, душу раздирающим волнением, пережитым ею этим утром, когда она слушала скрипку Альберта у других вод — неподвижных, черных, молчаливых, полных призраков, и этим видением Венеции — с дивным небом, сладкими мелодиями, лазурными волнами, изборожденными отражением то быстро мелькавших огней, то лучезарных звезд! Андзолето как бы возвращал ее к созерцанию чудного зрелища, воплощавшего для нее идею жизни и свободы, тогда как пещера, суровые древнечешские напевы, кости, освещенные зловещим светом факелов, отражающимся в воде, где, быть может, таились те же наводящие ужас реликвии, бледное восторженное лицо аскета Альберта, мысли о неведомом мире, символические картины, мучительное

возбуждение от непонятных чар слишком тяготили спокойную, простую душу Консуэло. Чтобы проникнуть в эту область отвлеченных идей, ей достаточно было одного усилия, которое при ее яркой фантазии ей ничего не стоило сделать, но в результате все существо ее было надломлено, истерзано таинственными муками, изнуряющим очарованием. Ее южный темперамент, больше даже, чем воспитание, восставал против сурового посвящения в мистическую любовь. Альберт был для нее гением севера, глубоким, могучим, иногда величественным, но всегда печальным, как ветер ледяных ночей, как приглушенный голос зимних потоков. У него была душа мечтательная, пытливая, вопрошающая, все превращающая в символы — и бурные грозовые ночи, и путь метеоров, и дикую гармонию лесов, и стертые надписи древних могил. Андзолето, напротив, был олицетворением юга, распаленной и оплодотворенной горячим солнцем и ярким светом плотью, вся поэзия которой заключалась в интенсивности произрастания, а гордость — в силе организма. В нем говорила жизнь чувства, жажда наслаждений, беспечность и бесшабашность артистической натуры, своего рода неведение или равнодушие к понятию о добре и зле, нетре-

бовательность к тому, что называется счастьем, презрение или неспособность к мышлению — словом, то был враг и противник идей.

Оказавшись между этими двумя людьми, из которых каждый был связан со средой, совершенно чуждой другому, Консуэло точно обессилела, лишилась всякой способности действовать энергично, смело, уподобилась душе, отделенной от тела. Она любила прекрасное, жаждала идеала, и Альберт знакомил ее с этим прекрасным, предлагал ей этот идеал. Но Альберт, развитию таланта которого мешал недуг, слишком отдавался умственной жизни. Он так мало знал о потребностях жизни действительной, что часто терял способность ощущать собственное существование. Он не представлял себе, что мрачные идеи и предметы, с которыми он сжился, могут внушить его невесте, находившейся всецело под влиянием любви и добродетели, иные чувства, кроме восторженной веры и умиленной любви. Он не предвидел, не понимал, что увлекает ее в атмосферу, где она умерла бы, подобно тропическому растению в полярном холоде. Вообще, он не отдавал себе отчета в том, какое насилие она должна была совершить над собой, чтобы думать и чувствовать, как он.

Андзолето, напротив, нанося раны душе Консуэло, возмущая во всех отношениях ее ум, в то же время вмещал в своей могучей груди, развившейся под дуновением благовонных ветров юга, живительный воздух, в котором Цветок Испании (как он, бывало, называл Консуэло) нуждался, чтобы ожить. Он напомнил ей о жизни, исполненной бездумного созерцания, неведения и прелести, о мире простых мелодий, светлых и легких, о спокойном, беззаботном прошлом, в котором было так много движения, непосредственного целомудрия, честности без усилий, набожности без размышления. Это было почти существование птицы. А разве артист не похож на птицу и разве не следует человеку испить хоть немного от кубка жизни, общей для всего живого, чтобы самому стать совершеннее и направить к добру сокровища своего ума!

Голос Консуэло звучал все нежнее и трогательнее по мере того, как она инстинктивно поддавалась анализу, которому я здесь уделил, быть может, слишком много времени. Да простится мне это! Иначе было бы трудно понять, вследствие какой роковой изменчивости чувств эта девушка, такая разумная, такая искренняя, за четверть часа перед тем с полным основанием

ненавидевшая Андзолето, забылась до того, что с наслаждением слушала его голос, касалась его волос, дышала одним с ним воздухом. Гостиная, слишком большая, как известно читателям, была плохо освещена, да к тому же и день уже клонился к вечеру. Пюпитр клавесина, на который Андзолето поставил раскрытую толстую нотную тетрадь, скрывал их от слушателей, сидевших на некотором расстоянии, и головы певцов все ближе и ближе склонялись друг к другу. Андзолето, аккомпанируя уже только одной рукой, другой обнял гибкий стан своей подруги и незаметно привлек ее к себе. Шесть месяцев негодования и горя исчезли из памяти молодой девушки, как сон. Ей казалось, будто она в Венеции и молит мадонну благословить ее любовь к красавцу жениху, предназначенному ей матерью, молящемуся с ней рука об руку, сердце к сердцу. Она не заметила, как Альберт вышел из комнаты, и самый воздух показался ей легче, сумерки — мягче. Вдруг по окончании одной строфы она почувствовала на своих губах прикосновение горячих уст своего первого жениха. Она сдержала крик и, склонившись над клавесином, разрыдалась.

В эту минуту вернулся граф Альберт; он услышал ее рыдания, увидел оскорбительную радость

Андзолето. Волнение, прервавшее пение юной артистки, не удивило остальных свидетелей этой сцены. Никто не видел поцелуя, и каждый допускал, что воспоминания детства и любовь к своему искусству могли вызвать эти слезы. Графа Христиана несколько огорчила эта чувствительность, говорившая о глубокой привязанности девушки к тому, чем он просил ее пожертвовать. Канонисса же и капеллан ликовали, тая надежду, что жертва эта не сможет осуществиться. Альберт еще не задумывался над тем, можно ли будет графине Рудольштадт снова стать артисткой или ей придется отказаться от сцены. Он готов был на все согласиться, все разрешить, даже сам настоять, лишь бы только она была счастлива и свободна; он предоставлял ей самой сделать выбор между светом, театром и уединением. Отсутствие предрассудков и эгоизма доходило в нем до того, что ему в голову не приходили самые простые вещи. Так, он даже не подумал, что у Консуэло могла явиться мысль пожертвовать собой ради него, не желавшего ни единой жертвы. Но с присущей ему дальновидностью он проник в самую сердцевину дерева и обнаружил там червя. В один миг ему стало ясно, чем на самом деле был Андзолето для Консуэло, какую цель преследовал и какое чув-

ство внушал ей. Альберт внимательно посмотрел на этого неприятного ему человека, к которому до сих пор не хотел приглядываться, не желая ненавидеть брата Консуэло. И он увидел в нем любовника — смелого, пылкого, опасного. Благородный Альберт не подумал о себе; ни сомнение, ни ревность не проснулись в его сердце, — он понял только, что Консуэло грозит опасность, ибо своим глубоким, проникновенным взором этот человек, чье слабое зрение с трудом выносило солнечный свет, плохо различало цвета и формы, читал в глубине душ и благодаря какой-то таинственной силе провидения проникал в самые тайные помыслы негодяев и плутов. Я не в силах объяснить естественным путем этот странный, временами проявлявшийся в нем дар. Некоторые его свойства, не расследованные и не объясненные наукой, так и остались непонятными как для его близких, так и для рассказчика, повествующего вам о них и по прошествии ста лет столь же мало знающего о них, как и великие умы его века. Альберт, увидев во всей наготе эгоистическую, тщеславную душу своего соперника, не сказал себе: «Вот мой враг», а подумал: «Вот враг Консуэло», — и, ничем не показав, что он сделал такое открытие, дал себе слово оберегать, охранять ее.

Глава 61

Воспользовавшись первой же представившейся возможностью, Консуэло вышла из гостиной и спустилась в сад. Солнце село, первые звезды, спокойные и бледные, мерцали в небе, еще розоватом на западе и уже темном на востоке.

Юной артистке хотелось вдохнуть покой чистого прохладного воздуха первых осенних вечеров. Страстное томление теснило ей грудь, пробуждая в ней в то же время угрызения совести, и она призывала все силы души на помощь своей воле. Она могла бы задать себе вопрос: «Да неужели я не знаю, люблю я его или ненавижу?» Консуэло трепетала, словно чувствуя, что мужество покидает ее в опаснейшую минуту ее жизни; и впервые она не находила в себе той непосредственности первого побуждения, той святой уверенности в правильности своих намерений, которые всегда поддерживали ее в испытаниях. Она покинула гостиную, чтобы уйти от чар Андзолето, и в то же время смутно желала, чтобы он пошел за ней.

Листья начинали осыпаться; когда, разметаемые подолом платья, они шелестели позади

нее, ей чудились чьи-то шаги; она готова была бежать без оглядки, но тут же останавливалась, словно прикованная к месту волшебной силой. Действительно, за ней кто-то шел, не смея и не желая себя обнаружить. То был Альберт. Чуждый мелкого притворства, именуемого приличием, и чувствуя себя в силу своей великой любви выше всякого ложного стыда, он через минуту вышел вслед за нею, решив без ее ведома охранять ее и помешать соблазнителю приблизиться к ней. Андзолето заметил эту наивную поспешность, но это его не очень встревожило: он слишком хорошо видел смущение Консуэло, чтобы не счесть свою победу обеспеченной; к тому же мелкие победы развили в нем чудовищное самомнение, и он решил не ускорять событий, не раздражать своей возлюбленной, не приводить в ужас семью. «Мне незачем теперь спешить, — говорил он себе. — Гнев придал бы ей только силы, тогда как мой скорбный, подавленный вид уничтожит остаток ее злобы против меня. У нее гордый ум, — обратимся к ее чувствам. Она, без сомнения, менее сурова, чем была в Венеции, здесь нрав ее смягчился. Не беда, если сопернику выпадет лишний счастливый денек, — завтра она будет моей, а быть может, еще и этой ночью. Увидим!

Не будем ее запугивать, подстрекая к какому-нибудь отчаянному решению. Она не выдала меня. Из жалости или из страха она предоставляет им считать меня ее братом, а старики, несмотря на все мои глупости, решили терпеть меня из любви к ней. Я добился своего быстрее, чем надеялся, — можно и передохнуть».

И граф Христиан, и канонисса, и капеллан были чрезвычайно удивлены, заметив, как внезапно изменились к лучшему манеры Андзолето, как скромен стал его тон, как тихо и предупредительно он стал держать себя. Андзолето дипломатично пожаловался шепотом капеллану на сильнейшую головную боль, прибавив, что вообще очень воздержан в отношении вина, а тут выпил за обедом венгерского, не имея понятия об его крепости, и оно ударило ему в голову. Минуту спустя его признание было сообщено по-немецки канониссе и графу, который отнесся к этой попытке молодого человека оправдаться с большою теплотой. Венцеслава сначала была менее снисходительна, но усилия лицемера понравиться ей, почтительное восхваление дворянства, восторженные отзывы о порядке, царившем в замке, — все это не замедлило обезоружить ее благожелательную, незлопамятную душу. Сперва

она его слушала от нечего делать, но под конец заинтересовалась разговором и согласилась с братом, что Андзолето прекрасный, очаровательный молодой человек.

Через час Консуэло вернулась с прогулки; это время не пропало даром для Андзолето. Он успел так расположить к себе всю семью, что был уже уверен в возможности оставаться в замке столько дней, сколько ему понадобится для достижения своей цели. Он не понял, что говорил по-немецки старый граф Консуэло, но догадался по тому, как смотрел на него Христиан, и по удивленному и смущенному виду молодой девушки, что старый граф рассыпался в похвалах по его адресу и даже слегка пожурил ее за недостаток внимания к такому милому брату.

— Послушайте, синьора, — обратилась к ней канонисса, которая, несмотря на всю свою неприязнь, все-таки желала ей добра, да к тому же считала это делом благочестия. — Вы за обедом сердились на своего брата, и, надо сказать правду, он этого заслуживал, но он лучше, чем показался нам сначала. Брат нежно любит вас и только что много говорил о вас с глубоким чувством и даже с уважением. Не будьте же к нему более строги, чем мы. По моему глубокому убеждению,

он очень огорчен тем, что выпил лишнее за обедом, а особенно — из-за вас. Поговорите с ним, не будьте холодны с человеком, столь близким вам по крови. Возьмите пример с меня: хоть мой брат, барон Фридрих, в юности и любил меня поддразнивать и даже часто очень сердил, я никогда не могла и часа быть с ним в ссоре.

Консуэло, не смея ни разубеждать добрую старушку, ни поддерживать ее заблуждение, была сражена этой новой атакой Андзолето, сила и ловкость которого были для нее очевидны.

— Вы не поняли, что сказала моя сестра? — спросил Христиан молодого человека. — Сейчас переведу в двух словах: моя сестра упрекнула Консуэло за то, что она уж слишком по-матерински строга с вами. А я уверен, что сама Консуэло жаждет помириться. Поцелуйтесь же, дети мои! Ну, милый юноша, сделайте первый шаг и, если у вас в прошлом и были какие-нибудь прегрешения по отношению к ней, покайтесь, чтобы она вас простила. Андзолето не заставил повторять это дважды. Схватив дрожащую руку Консуэло, не решившуюся отнять ее, он проговорил:

— Да, я был страшно виноват перед нею и так раскаиваюсь, что все мои попытки забыться только еще больше разбивают мне сердце. Она

прекрасно знает это, и, не будь у нее железной души, гордой, как власть, и беспощадной как добродетель, она поняла бы, что я и так уже достаточно наказан угрызениями совести. Прости меня, сестра, и верни мне свою любовь, не то я сейчас же уеду и буду скитаться по белу свету в отчаянии, одиночестве и тоске. Всюду чужой, без поддержки, без совета, без привязанности, я не смогу больше верить в бога, и мои заблуждения падут на твою голову.

Эта покаянная речь чрезвычайно растрогала графа и вызвала слезы у доброй канониссы.

— Слышите, Порпорина! — воскликнула она. — Его слова прекрасны и справедливы. Господин капеллан, вам следует именем веры приказать синьоре помириться с братом.

Капеллан уже собирался было вмешаться в это дело, но Андзолето, не дождавшись его проповеди, схватил в объятия Консуэло и, несмотря на ее сопротивление и испуг, страстно поцеловал перед самым носом капеллана в назидание присутствующим.

Консуэло, в ужасе от столь наглого обмана, решила положить этому конец.

— Довольно! — проговорила она. — Господин граф, выслушайте меня…

Она готова была все рассказать, но тут вошел Альберт. И тотчас мысль о Зденко сковала страхом ее душу, готовую открыться. Неукротимый покровитель Консуэло был способен без шума и без лишних слов освободить ее от врага, которого она собиралась разоблачить. Она побледнела, с горестным упреком взглянула на Андзолето, и слова замерли на ее устах.

Ровно в семь часов вечера все уселись за стол ужинать. Если столь частые трапезы способны лишить аппетита моих изящных читательниц, я принужден им сказать, что мода воздерживаться от пищи была не в чести в те времена и в той стране. Кажется, я уже упоминал о том, что в Ризенбурге кушали медленно, плотно и часто — чуть ли не половина дня проходила за обеденным столом; и, признаюсь, Консуэло, с детства поневоле привыкшая довольствоваться в течение дня несколькими ложками сваренного на воде риса, находила эти гомерические трапезы смертельно длинными. Впервые она не смогла дать себе отчет в том, сколько длился этот ужин — час, мгновение или столетие. Она так же мало сознавала, что существует, как и Альберт, когда он бывал один в своем гроте. Ей казалось, что она пьяна, до такой степени стыд, любовь и ужас

владели ею. Она ничего не ела, не слышала, ничего не видела вокруг себя. В смятении, подобно человеку, летящему в пропасть и видящему, как одна за другой ломаются непрочные ветки, за которые он пытается удержаться, она глядела на дно бездны, и голова ее шла кругом. Андзолето сидел подле нее, он задевал за ее платье, то и дело касался локтем ее локтя, а ногой ее ноги. Стремясь ей услужить, он дотрагивался до ее рук и на миг удерживал их в своих, но этот миг, это жгучее пожатие заключало в себе целый мир наслаждений… Тайком он шептал ей слова, от которых можно было задохнуться, пожирал ее глазами… Пользуясь мгновением, мимолетным, как молния, он менялся с ней стаканом и прикасался губами к хрусталю, до которого только что дотрагивались ее губы. Он умел быть пламенем для нее и холодным, как лед, в глазах других. Он премило держал себя, учтиво разговаривал, был чрезвычайно внимателен к канониссе, преисполнен почтения к капеллану, предлагал ему лучшие куски мяса и сам нарезал их с грациозной ловкостью человека, привыкшего к хорошему столу. Он заметил, что благочестивый отец был лакомкой, но по своей застенчивости нередко ограничивал себя по части чревоугодия. Капеллану пришлась

весьма по вкусу предупредительность молодого человека, и он стал желать, чтобы этот новый кравчий до конца дней своих пробыл в замке Исполинов. Все заметили, что Андзолето пил только воду, и когда капеллан, как бы в ответ на его любезность, предложил ему вина, он проговорил во всеуслышание:

— Тысячу раз благодарю, но больше я уже не попадусь. Ваше прекрасное вино, в котором я недавно пытался найти забвение, коварно. Теперь мои горести миновали, и я возвращаюсь к воде, своему обычному напитку и верному другу.

Все засиделись несколько дольше обычного. Андзолето вновь пел и на этот раз — для Консуэло. Он выбирал произведения ее любимых старинных композиторов, которым она сама обучила его, и исполнял их старательно, со вкусом и тонкостью, как она всегда от него требовала. То было новое напоминание о самых дорогих, самых чистых минутах ее любви и увлечения искусством.

Когда все собрались расходиться, Андзолето, улучив минуту, шепнул ей:

— Я знаю, где твоя комната; меня поместили в том же коридоре. В полночь я встану на колени у твоей двери и простою так до утра. Не откажи вы-

слушать меня хоть минуту. Я не порываюсь снова завоевать твою любовь — я ее не стою. Знаю, что ты больше не можешь любить меня, знаю, что другой осчастливлен тобой и мне надо уехать. Уеду я с глубокой скорбью в душе, и остаток дней моих будет отдан во власть фуриям. Но не выгоняй меня, не сказав мне слова сострадания, не сказав «прости»! Если ты откажешь мне в этом, я с рассветом уеду и тогда уже погибну навсегда.

— Не говорите так, Андзолето. Мы должны расстаться с вами сейчас, и расстаться навек. Я вам прощаю и желаю…

— Доброго пути, — ироническим тоном докончил он и, тотчас возвращаясь к своему лицемерию, продолжал: — Ты безжалостна, Консуэло. Ты хочешь, чтобы я окончательно погиб, чтобы во мне не осталось ни единого доброго чувства, ни единого хорошего воспоминания. Чего ты боишься? Не тысячу ли раз доказывал я тебе свое уважение, чистоту своей любви? Когда любишь безумно, разве не становишься рабом? Неужели ты не знаешь, что одного твоего слова достаточно, чтобы укротить, поработить меня? Ради бога, если только ты не возлюбленная того человека, за которого выходишь замуж, если он не хозяин твоей комнаты и не неизбежный компаньон

твоих ночей… — Он не возлюбленный мой и никогда им не был, — прервала его Консуэло тоном горделивой невинности.

Было бы лучше, если бы она подавила в себе этот гордый порыв, хотя и вполне обоснованный, — он был слишком чистосердечен сейчас. Андзолето не был трусом, но он любил жизнь, и, рассчитывай он найти в комнате Консуэло отважного стража, молодой итальянец преспокойно остался бы у себя. Правдивые нотки, прозвучавшие в ответе молодой девушки, окончательно придали ему смелости.

— В таком случае я не погублю твоего будущего, — сказал он, — я буду так осторожен, так ловок, войду так беззвучно и буду так тихо говорить, что не повредю твоей репутации. Да к тому же не брат ли я тебе? Что ж удивительного, если бы, уезжая на рассвете, я пришел с тобой проститься. — Нет, нет, не приходите! — в ужасе проговорила Консуэло. — Покои графа Альберта находятся рядом, а что, если он догадается обо всем?.. Андзолето, если вы подвергнете себя опасности… я не ручаюсь за вашу жизнь. Говорю вам серьезно, у меня кровь стынет в жилах при мысли…

И в самом деле, Андзолето, державший ее руку в своей, почувствовал, как она стала холоднее

мрамора.

— Если ты заставишь меня стоять у твоей двери и препираться с тобой, ты действительно подвергнешь мою жизнь опасности, — с улыбкой прервал он ее, — но если дверь твоя будет не заперта, а наши поцелуи немы, то мы ничем не рискуем. Вспомни, как проводили мы вместе целые ночи, не разбудив ни одного из наших многочисленных соседей на Корте-Минелли. Ну, а что до меня, то если нет иного препятствия, кроме ревности графа, и иной опасности, как смерть…

В эту минуту Консуэло увидела, как взор графа Альберта, обычно затуманенный,

остановившись на Андзолето, вдруг стал ясным и глубоким. Разговор их слышать он не мог, но казалось, он слышит глазами. Консуэло высвободила свою руку из руки Андзолето и подавленным голосом проговорила:

— Ах! Если ты любишь меня, не веди себя вызывающе с этим страшным человеком!

— Ты за себя боишься? — быстро спросил Андзолето.

— Нет, но за все, что меня окружает и грозит мне.

— И за тех, кто тебя обожает, конечно? Ну что ж,

пусть так! Умереть на твоих глазах, у твоих ног! О, я только этого и жажду! Я буду у твоих дверей в полночь; сопротивляясь, ты только ускоришь мою гибель.

— Как! Вы уезжаете завтра и ни с кем не прощаетесь? — спросила Консуэло, увидав, что он, раскланявшись с графом и канониссой, ничего не сказал им о своем отъезде.

— Нет, не прощаюсь, — сказал он, — они стали бы меня удерживать, а я, видя, что все кругом словно сговорились продлить мои мученья, мог бы против воли уступить. Ты передашь им за меня извинения и прощальный привет. Я приказал проводнику держать лошадей наготове к четырем часам утра.

Это было более чем верно. Манера Альберта как-то по-особенному смотреть на него не ускользнула от Андзолето. Он решил идти на все, но был готов и к бегству. На всякий случай его лошади стояли оседланными на конюшне, и проводник получил приказ не ложиться.

Консуэло вернулась к себе в комнату в состоянии неописуемого ужаса. Она не хотела видеть у себя Андзолето и в то же время боялась, как бы что-нибудь не помешало ему прийти. Все время она находилась во власти этого двойственного,

обманчивого, неодолимого чувства, вносившего разлад между ее сердцем и совестью. Никогда еще она не казалась себе такой несчастной, брошенной, такой одинокой на свете.

«О! Мой учитель Порпора, где вы? — мысленно восклицала она. — Лишь вы один могли бы спасти меня, вам одному известен мой недуг и грозящие мне опасности. Только вы, резкий, строгий, недоверчивый, как отец и друг, смогли бы удержать меня от падения в бездну, куда я лечу. Но разве вокруг меня нет друзей? Разве граф Христиан не отец мне? Разве не была бы матерью для меня канонисса, имей я мужество не обращать внимания на ее предрассудки и раскрыть ей свое сердце? А Альберт, разве он не опора моя, не брат, не муж, согласись я только произнести одно слово? Да! Он должен быть моим защитником, а я боюсь его, отталкиваю!.. Надо пойти к ним, — мысленно прибавила она, вставая и в волнении сделав несколько шагов по комнате, — мне нужно соединить свою судьбу с ними, я должна искать у них покровительство, укрыться под крыльями этих ангелов-хранителей. Здесь обитают покой, достоинство, честь; унижение и отчаяние ждут меня подле Андзолето. О да! Надо идти к ним, покаяться в том, что произошло в тот страшный

день; надо рассказать обо всем, что творится во мне, чтобы они могли удержать, защитить меня от меня самой. Надо связать себя с ними клятвой, надо произнести „да“, которое поставит преграду между мной и моим мучителем. Иду к ним!..»

Однако, вместо того чтобы идти, она без сил упала на стул и в отчаянии стала рыдать над своим утраченным покоем, над своей сокрушенной силой.

«Но как, — говорила она себе, — как идти к ним с новой ложью, как предлагать им распутницу, жену-прелюбодейку?! Ведь на самом деле я развращена в душе, и на устах моих, которые произнесли бы обет неизменной верности чистосердечнейшему из людей, горит еще поцелуй другого, а сердце мое трепещет нечистой радостью при одном воспоминании о нем. Ах! Ведь и моя любовь к недостойному Андзолето изменилась, как и он сам. Это уже не та спокойная, святая любовь, с мыслью о которой я безмятежно засыпала, осененная крылами матери, распростертыми в вышине небес. Это увлечение — столь же бурное и низкое, как и тот, кто возбудил его во мне. В душе моей не осталось уже ничего великого, правдивого. С сегодняшнего утра я лгу самой себе так же, как лгу другим. Как же мне теперь не

лгать? Здесь или вдалеке

— Андзолето всегда будет предо мной. Одна мысль о завтрашней разлуке мучительна для меня, и в объятиях другого я буду грезить только о нем. Что же делать, как быть?»

А время шло — и страшно быстро и страшно медленно.

«Мы встретимся, — говорила она себе, — я скажу ему, что ненавижу, презираю его, что не хочу больше его видеть. Но нет, я опять лгу: я ничего не скажу, а если у меня хватит духу сказать, то я сейчас же откажусь от своих слов. Я даже не уверена, что сохраню целомудрие, — Андзолето уже не верит в него и может отнестись ко мне непочтительно. Да и я сама больше не верю в себя, не верю ни во что, я способна отдаться ему под влиянием страха, но не по слабости. О! Лучше умереть, чем потерять к себе уважение, когда хитрость и распутство восторжествуют над стремлением к святости, над благородными намерениями, вложенными в меня богом!» Она подошла к окну, и ей пришла в голову мысль броситься вниз, чтобы смерть избавила ее от бесчестья, которое словно уже коснулось ее. Борясь с этим мрачным искушением, она искала путей к спасению. В сущности в них недостатка не было,

но ей казалось, что все они влекут за собой другие опасности. Прежде всего она заперла на задвижку дверь, в которую мог войти Андзолето. Но она лишь наполовину знала этого холодного эгоиста и, имея доказательства его физической храбрости, не подозревала, что он совершенно лишен мужества морального, когда человек готов идти на смерть ради удовлетворения своей страсти. Она думала, что он дерзнет прийти к ней, будет добиваться объяснения, может даже поднять шум, а между тем достаточно было малейшего шороха, чтобы привлечь внимание Альберта. В стене смежной комнаты, как почти во всех помещениях замка, была потайная лестница, которая вела в нижний этаж и выходила у самых покоев канониссы. Это было единственное убежище, где девушка могла укрыться от безрассудной дерзости Андзолето. Если бы она решилась на этот шаг, ей пришлось бы во всем покаяться и даже сделать это заранее, дабы не подать повода к скандалу, который от испуга легко могла раздуть добрейшая Венцеслава. Оставался еще сад, но, появись там Андзолето, — а он, по-видимому, уже хорошо изучил весь замок, — это значило бы прямо идти на гибель. Обдумывая все это, Консуэло увидела из своего окна, выходившего на задний двор,

свет у конюшен; разглядела она там и человека: не будя других слуг, он, казалось, готовился к отъезду. По одежде она узнала в нем проводника Андзолето, седлавшего по его приказанию коней. Увидела она также свет у сторожа подъемного моста и не без основания подумала, что тот был предупрежден проводником об отъезде, хотя точное время еще не было назначено. Пока Консуэло наблюдала за происходившим у конюшни, перебирая в уме тысячи предположений и проектов, ей пришел в голову странный и очень смелый план. Благодаря ему исчезала необходимость принять то или другое крайнее решение, что так ужасало ее, и в то же время в ее жизни открывались новые перспективы, — вот почему план этот показался ей настоящим вдохновением свыше. Ей некогда было останавливаться ни на способах осуществления этого плана, ни на его последствиях. Казалось, само провидение позаботилось о том, чтобы она могла претворить его в жизнь, а последствий она надеялась избежать. И Консуэло принялась за нижеследующее письмо, страшно спеша, что легко можно себе представить, ибо на часах замка уже пробило одиннадцать:

«Альберт! Я принуждена уехать. Люблю Вас всей душой. Вы это знаете, но во мне живут про-

тиворечивые, мятежные чувства, я терзаюсь и не в состоянии объяснить это ни Вам, ни себе самой. Будь Вы со мной в эту минуту, я сказала бы, что вверяю себя Вам, предоставляю Вам заботиться о моем будущем, согласна быть Вашей женой, быть может, даже сказала бы Вам, что хочу этого. Однако я обманула бы Вас или дала бы безрассудный обет, так как сердце мое недостаточно еще очистилось от прежней любви, чтобы без страха принадлежать сейчас Вам и без угрызений совести заслужить Вашу любовь. Я отправляюсь в Вену, чтобы встретиться с Порпорой или дождаться его, — судя по письму, которое он прислал Вашему батюшке, он уже должен находиться там или приедет туда через несколько дней. Клянусь, я еду к нему, чтобы забыть ненавистное прошлое и жить надеждой на будущее, в котором Вы являетесь для меня опорой опор. Не ищите меня, я запрещаю Вам следовать за мной во имя этого будущего; Ваше нетерпение может лишь повредить, а быть может, — и разрушить все. Ждите меня и будьте верны клятве, которую Вы мне дали, — не ходить без меня… Вы понимаете, о чем я говорю! Надейтесь на меня, — я приказываю, так как ухожу со святой уверенностью вернуться очень скоро или призвать Вас к себе. Сейчас я

словно в страшном сне, и мне кажется, что, оставшись наедине с собой, я проснусь достойной Вас. Не хочу, чтобы брат следовал за мной, — я обману его, направив по ложному пути. Во имя всего самого для Вас дорогого не мешайте ни в чем моему замыслу и верьте в мою искренность. Тогда я увижу, действительно ли Вы любите меня и могу ли я, не краснея, противопоставить Вашему богатству свою бедность, Вашему титулу — свое скромное происхождение, Вашей учености — свое невежество. Прощайте!.. Нет, до свиданья, Альберт! Чтобы доказать Вам, что я уезжаю не навсегда, поручаю Вам склонить Вашу уважаемую, дорогую тетушку благосклонно посмотреть на наш брак и сохранить доброе отношение ко мне Вашего отца, лучшего и достойнейшего из людей. Откровенно расскажите ему обо всем. Из Вены напишу».

Надежда, что подобным письмом можно убедить и успокоить человека, настолько влюбленного, как Альберт, была, конечно, очень смела, но не безрассудна. Консуэло чувствовала, пока писала это письмо, как к ней возвращаются и сила воли и прямодушие. Она действительно готова была выполнить все, что обещала. Она верила в глубокую проницательность, почти яс-

новидение Альберта, знала, что его не обманешь, была убеждена, что он ей поверит и, оставаясь верным себе, беспрекословно послушается ее. В эту минуту она смотрела и на Альберта и на все происходящее его глазами. Сложив письмо, но не запечатав его, она накинула дорожный плащ, покрыла голову очень густым черным вуалем, надела прочную обувь, захватила имевшуюся у нее небольшую сумму денег, немного белья и на цыпочках, с невероятными предосторожностями спустилась по лестнице в нижний этаж; там она пробралась в покои графа Христиана, а затем — в его молельню, куда он неизменно входил ровно в шесть утра. Она положила письмо на подушку, на которую граф обычно клал свой молитвенник, прежде чем опуститься на колени; потом, сойдя во двор, никого не разбудив, направилась прямо к конюшням.

Проводник, чувствовавший себя не особенно спокойно глухой ночью в большом замке, где все спало мертвым сном, в первую минуту перепугался, увидев черную женщину, приближавшуюся к нему, словно привидение. Он забился в дальний угол конюшни, не смея ни крикнуть, ни задать ей вопроса. Этого-то и надо было Консуэло. Как только она сообразила, что ее никто не может

ни увидеть, ни услышать (ей было известно, что окна комнат Альберта и Андзолето не выходят на этот двор), она сказала проводнику:

— Я сестра молодого человека, которого ты привез сюда нынче утром. Он похищает меня. Это только что решено между нами. Скорей замени седло на его лошади дамским, — их здесь несколько, — и следуй за мной до Тусты, не проронив ни слова, не сделав ни единого шага, который мог бы выдать прислуге замка мое бегство. Плату получишь вдвойне. Ты удивлен? Ну, живо! Как только доберемся до города, ты должен будешь тотчас же на этих лошадях вернуться сюда за братом.

Проводник покачал головой.

— Тебе будет заплачено втрое.

Проводник кивком головы выразил согласие.

— И ты карьером привезешь его в Тусту, где я буду ждать вас. Проводник опять покачал головой.

— Тебе дадут за вторую поездку в четыре раза больше, чем за первую. Проводник повиновался. В один миг лошадь, на которой должна была ехать Консуэло, была переседлана.

— Это не все, — проговорила Консуэло, вспрыгнув на лошадь, когда та еще не была окончательно взнуздана, — дай мне твою шляпу и накинь поверх моего свой плащ. На один миг. — Пони-

маю, — сказал проводник, — надо надуть сторожа — нетрудное дело! О, я не впервые похищаю знатных девиц! Надеюсь, ваш возлюбленный хорошо заплатит, хоть вы и сестра ему, — усмехаясь, добавил он.

— Прежде всего я сама хорошо заплачу тебе. Ну, помалкивай! Готов?

— Уже в седле.

— Поезжай вперед и вели спустить мост.

Они проехали по мосту шагом, сделали крюк, чтобы миновать стены замка, и через четверть часа были уже на большой дороге, усыпанной песком. Консуэло до того ни разу в жизни не ездила верхом. К счастью, ее лошадь, хотя и сильная, была смирного нрава. Проводник подбадривал ее, прищелкивая языком, и она, идя ровным, сдержанным галопом по лесу и кустарнику, доставила амазонку к месту назначения через два часа.

При въезде в город Консуэло остановила лошадь и спрыгнула на землю.

— Я не хочу, чтобы меня здесь видели, — сказала она проводнику, давая ему условленную плату за себя и за Андзолето. — По городу я пойду пешком, достану здесь у знакомых экипаж и поеду по дороге в Прагу. Я поеду быстро, чтобы до рассвета как можно дальше отъехать от мест, где

меня знают в лицо. Утром я сделаю остановку и буду ждать брата.

— А где?

— Не знаю еще. Скажи ему, что на одной из почтовых станций. Пусть только не расспрашивает, раньше чем не отъедет на десять миль отсюда. Тогда пусть справляется о госпоже Вольф — это первое пришедшее мне в голову имя. Только ты не забудь его. Скажи, в Прагу ведет только одна дорога?

— Одна до…

— Отлично! Остановись в предместье и дай передохнуть лошадям. Постарайся, чтобы не заметили дамского седла, набрось на него плащ. Не отвечай ни на какие вопросы и поскорее пускайся в обратный путь. Постой, еще одно слово: передай брату, пусть он не колеблется, не задерживается и уезжает так, чтобы его никто не видел. В замке ему грозит смерть.

— Господь с вами, красотка, — ответил проводник, успевший уже убедиться в том, что ему хорошо заплачено. — Да если б даже мои бедные лошадки околели, я и то был бы рад услужить вам.

«Досадно, однако, — подумал он, когда девушка исчезла в темноте, мне не удалось увидеть и кон-

чика ее носа. Хотелось бы знать, настолько ли она красива, чтобы стоило ее похищать. Сначала-то она напугала меня своим черным покрывалом и решительной походкой, — ну, да чего только не наговорили мне там, в людской, я уж не знал, что и думать. До чего суеверны и темны эти люди со своими привидениями да со своим черным человеком у дуба Шрекенштейна! Эх! Мне больше сотни раз приходилось там бывать, и никогда я его не видел. Правда, проезжая у подножья горы, я всегда старался опустить голову и смотреть в сторону оврага».

За этими бесхитростными рассуждениями проводник накормил овсом лошадей, а сам, чтобы разогнать сон, хорошенько подкрепился в соседнем трактире пинтой медовой шипучки и отправился обратно в Ризенбург отнюдь не спеша, как надеялась и предусматривала Консуэло, наказывая ему торопиться. Все больше удаляясь от нее, добрый малый терялся, в догадках относительно романтического приключения, в котором был посредником. Мало-помалу, благодаря ночному мраку, а пожалуй, и парам крепкого напитка, приключение это стало рисоваться ему в еще более чудесном виде. «А забавно, — думалось ему, — если б эта черная женщина оказалась

мужчиной, а мужчина — привидением замка, мрачным призраком Шрекенштейна! Говорят же, что он злобно подшучивает над ночными путниками, а старик Ганс даже клялся мне раз десять, будто видел его в конюшне, когда задавал перед рассветом корм лошадям старого барона Фридриха. Черт побери! Не очень-то оно приятно! Встретиться да побыть с такими тварями всегда к беде! Если мой бедный Серко возил на себе этой ночью сатану, ему, наверное, несдобровать. Сдается мне, что из его ноздрей уже пышет пламя. Как бы он еще не закусил удила! Ей-ей! Любопытно будет, добравшись до замка, убедиться, что в моем кармане — сухие листья вместо денег от этой чертовки. А вдруг мне скажут, что синьора Порпорина, вместо того чтобы мчаться по дороге в Прагу, преспокойно почивает в своей кроватке? Кто тогда останется в дураках — черт или я? Что верно то верно, она и вправду неслась, как ветер, а когда мы с ней расстались, исчезла так мгновенно, словно провалилась сквозь землю».

Глава 62

Андзолето не преминул встать в полночь, взять свой стилет, надушиться и загасить свечу. Но в ту минуту, когда он собирался тихонько отпереть дверь (а он уже раньше обратил внимание на то, что замок в ней открывался мягко и бесшумно), он с изумлением вдруг обнаружил, что ключ не поворачивается. Возясь с ним, он изломал себе все пальцы и вконец измучился, рискуя к тому же толчками в дверь кого-нибудь разбудить. Однако все усилия его оказались тщетны. А другой двери из его комнаты не было. Окна же выходили в сад на высоте пятидесяти футов от земли, причем стена была совершенно гладкая и спуститься по ней было невозможно, — при одной мысли о таком спуске кружилась голова.

«Это не случайность, — сказал себе Андзолето, еще раз напрасно попытавшись открыть дверь. — Будь то Консуэло (неплохой признак: ее страх свидетельствовал бы об ее слабости) или же граф Альберт, они у меня оба за это поплатятся!»

Он решил было снова уснуть, но ему мешала досада, а быть может, какое-то беспокойство,

близкое к страху. Если эта предосторожность была делом рук Альберта, значит он один во всем доме не заблуждался относительно «братских» отношений между Андзолето и Консуэло. А у той был уж очень испуганный вид, когда она предупреждала его остерегаться «этого страшного человека». Как ни убеждал себя Андзолето, что молодой граф, страдающий умственным расстройством, вряд ли может быть последовательным в своих действиях, да к тому же, принадлежа к именитому роду, он, конечно, не пожелает в силу предрассудков драться на дуэли с комедиантом, все же бывший жених Консуэло чувствовал себя не совсем спокойно. Альберт произвел на него впечатление человека хоть и помешанного, но тихого и вполне владеющего собой; что же касается предрассудков, то, по-видимому, они не очень-то сильны в нем, раз позволяли ему думать о браке с актрисой. А потому Андзолето стал не на шутку опасаться, что, добиваясь своей цели, нарвется на столкновение с молодым графом и наживет себе беду. Такая развязка не столько пугала его, сколько казалась постыдной. Он научился владеть шпагой и льстил себя надеждой, что не спасует ни перед кем, как бы искусен ни был противник. Тем не менее успокоиться он не

мог и так и не сомкнул глаз всю ночь.

Около пяти часов утра ему как будто послышались шаги в коридоре, и вскоре дверь легко и бесшумно открылась. Еще не рассвело, а потому, увидав человека, так бесцеремонно входящего в его комнату, Андзолето подумал, что настала решительная минута. Он бросился к своему стилету и, словно бык, ринулся вперед. Но тотчас же в предрассветной мгле он узнал своего проводника, который делал ему знаки говорить потише и не шуметь. — Что значат эти шутки и что тебе от меня надо, дурень? — раздраженно спросил Андзолето. — Как ты умудрился пробраться сюда?

— Да как же иначе, если не через дверь, добрый синьор.

— Дверь была заперта на ключ.

— Но ключ-то вы оставили снаружи.

— Не может быть! Он на моем столе.

— Что ж тут удивительного, — там, значит, другой.

— Кто же так подшутил надо мной, заперев меня здесь? Вчера был только один ключ; уж не ты ли проделал это, приходя сюда за чемоданом?

— Клянусь богом, не я, и другого ключа я не видел.

— Ну, стало быть, это черт! Что у тебя за деловой

и таинственный вид и что тебе от меня надо? Я за тобой не посылал.

— Вы не даете мне слова вымолвить. Впрочем, увидев меня, вы, должно быть, сами поняли, зачем я пришел. Синьора благополучно доехала до Тусты, и вот я, по ее приказанию, вернулся с лошадьми за вами.

Понадобилось несколько мгновений, прежде чем Андзолето сообразил, в чем дело; однако произошло это достаточно быстро, чтобы проводник, суеверные страхи которого уже начали рассеиваться вместе с зарей, не заподозрил снова проделок дьявола. Плут первым делом исследовал деньги, данные ему Консуэло, постучав ими об пол конюшни, и остался доволен своей сделкой с адом.

Андзолето понял все с полуслова и подумал, что беглянка, находясь под бдительным надзором, не смогла предупредить его о своем решении и под влиянием грозящей опасности, выведенная, быть может, из себя ревностью жениха, воспользовалась удобной минутой, чтобы избавиться от его гнета, сбежать и вырваться на свободу.

«Как бы там ни было, — сказал он себе, — нечего сомневаться и раздумывать. Указания, присланные ею с этим человеком, доставившим ее до

тракта, ведущего на Прагу, ясны и определенны. Победа! Только бы мне выбраться отсюда, не прибегая к помощи шпаги».

Поспешно собравшись и вооружившись с головы до ног, Андзолето послал проводника разведать, свободен ли путь.

Узнав от него, что, по-видимому, в доме все еще спят, за исключением сторожа подъемного моста, только что впустившего проводника, Андзолето тихонько вышел, вскочил на коня и, не встретив во дворе никого, кроме конюха, подозвал его и дал ему на чай, чтобы отъезд его не показался бегством.

— Клянусь святым Венцеславом, — сказал конюх проводнику, — вот странная вещь! Лошади вышли из конюшни все в мыле, словно скакали ночь напролет.

— Видно, ваш черный дьявол приходил, — ответил проводник.

— Вот оно что! — подхватил конюх. — То-то я слышал всю ночь ужасный шум в той стороне, да боялся выйти посмотреть; но вот, как я вижу вас перед собой, так же явственно слышал я скрип решетки и грохот опускаемого подъемного моста. Я даже решил, что вы уезжаете, и уж не чаял вас встретить нынче утром.

Сторож у подъемного моста сделал другого рода замечание.

— Ваша милость, стало быть, изволит двоиться? — спросил он, протирая глаза. — Я видел, как вы уехали в полночь, а вот вы опять здесь.

— Это приснилось вам, любезный, — сказал Андзолето, также давая ему на чай, — да я и не уехал бы, не попросив вас выпить за мое здоровье.

— Ваша милость делает мне слишком много чести, — ответил сторож на ломаном итальянском языке. — Как бы там ни было, — прибавил он по-чешски проводнику, — а я видел в эту ночь двоих…

— Смотри, как бы будущей ночью тебе не увидеть четверых, — ответил проводник, поскакав вслед за Андзолето по мосту. — Черный дьявол любит выкидывать штучки с такими сонями, как ты.

Итак, Андзолето, руководясь советами и указаниями проводника, добрался до Тусты, или Тауса, ибо, кажется, это один и тот же город.

Отпустив проводника и взяв почтовых лошадей, он проехал городом. И здесь и на протяжении еще десяти миль он воздерживался от каких бы то ни было расспросов. На указанной станции он остановился позавтракать (его мучил

голод) и справился относительно г-жи Вольф, которая должна была ждать его здесь с каретой. Понятно, никто не мог дать о ней никаких сведений. Правда, в городке имелась г-жа Вольф, но она жила здесь уже лет пятьдесят и держала галантерейную лавку. Андзолето, разбитый, измученный, решил, что Консуэло, очевидно, не нашла возможным здесь остановиться. Он хотел было нанять почтовую карету, но таковой не оказалось. И волей-неволей пришлось ему вновь взобраться на лошадь и мчаться во весь опор. Ему казалось, что он вот-вот встретит заветную карету, куда и бросится и тотчас забудет о всех волнениях и усталости. Но встречалось очень мало путешественников, и ни в одном экипаже не видно было Консуэло. Наконец, в полном изнеможении, не находя нигде наемного экипажа, страшно раздосадованный, Андзолето решил остановиться у дороги и подождать Консуэло, — ему уже казалось, что он опередил ее. Весь остаток дня и всю последующую ночь у него было достаточно времени, чтобы проклинать женщин, постоялые дворы, ревнивцев и дороги. На следующий день ему удалось достать место в проезжавшем мальпосте, и он продолжал путь в Прагу, но все с тем же успехом.

Предоставим же ему продвигаться на север в состоянии бешеной злобы и нетерпения, смешанного с надеждой, а сами вернемся на минуту в замок и посмотрим, какое впечатление произвел отъезд Консуэло на его обитателей. Можно легко себе представить, что графу Альберту спалось не больше, чем двум другим действующим лицам описанного нами приключения. Заручившись вторым ключом от комнаты Андзолето, он запер дверь снаружи и перестал беспокоиться об его поползновениях, прекрасно зная, что, если только сама Консуэло не вмешается в это дело, никто не пойдет его освобождать. Он содрогался от одной мысли, что это может произойти, но со свойственной ему утонченной деликатностью не хотел пускаться на рискованную разведку.

«Если Консуэло до такой степени любит его, — думал граф, — мне нечего бороться, я покорюсь судьбе! А узнаю я об этом очень скоро: она правдива и завтра же откровенно откажется от предложения, сделанного мною сегодня. Если же человек этот только преследует ее и угрожает, то она хоть на сегодняшнюю ночь будет избавлена от его домогательств. Какой бы ни послышался мне теперь шорох, я не шевельнусь, — я не хочу внушать ей отвращения. Не стану подвергать

бедняжку мукам стыда, явившись к ней без зова. Нет! Я не буду играть роль низкого шпиона, подозрительного ревнивца, ибо пока ее отказы и колебания лишают меня всяких прав на нее. Знаю одно: я могу быть спокоен за свою честь и, хоть боюсь за свою любовь, уверен, что не буду обманут. О душа моей любимой! Ты, что пребываешь и в совершеннейшей из женщин и в боге вселенной! Если сквозь тайны и мрак человеческой мысли тебе дано в эту минуту читать в моем сердце, внутреннее чувство должно подсказать тебе, что я люблю слишком сильно, чтобы не верить твоему слову!»

Мужественный Альберт свято выполнил принятое им на себя обязательство, и хотя во время бегства Консуэло ему и показалось, будто в нижнем этаже он слышит ее шаги, а затем какой-то менее понятный стук со стороны подъемной решетки, он все стерпел, молился и, благоговейно скрестив руки, сдерживал трепетавшее в груди сердце. Когда стало светать, он услышал шаги и стук открывшейся двери в комнате Андзолето. «Негодяй! — подумал он. — Покидает ее самым бесстыдным образом и без всяких предосторожностей. Точно хочет похвастаться своей победой. Ах, я почитал бы ничтожным зло, которое он

причиняет мне, если б своей любовью он не осквернял другой души, более драгоценной и дорогой мне, чем моя собственная».

Время подошло к тому часу, когда граф Христиан обычно вставал, и Альберт отправился к нему; но он отнюдь не собирался предупреждать отца о происходящем, а хотел просить его еще раз поговорить с Консуэло. Он был уверен, что она не солжет. Ему казалось, что ей самой хотелось объясниться, и он готов был поддержать ее в постигшем ее горе, утешить, притворившись, будто покоряется своей судьбе, чтобы только смягчить горечь пережитой ею разлуки. Альберт не задавался мыслью, как отразится это на нем самом. Он чувствовал, что либо рассудок его, либо жизнь не вынесет такого удара, и не страшился мук, превышающих его силы.

Он встретился с отцом в момент, когда старик входил в молельню. Письмо, положенное на подушку, одновременно бросилось в глаза обоим. Вместе они схватили его, вместе прочли. Старик был сражен письмом, ибо опасался, что сын не перенесет удара, а Альберт, готовый к большему несчастью, был спокоен, преисполнен покорности и непоколебимого доверия.

— Она чиста, — проговорил он, — и хочет

любить меня. Она чувствует, что я люблю ее по-настоящему, нерушимо верю в нее. Господь оградит ее от опасности! Будем уповать на это, отец мой, и будем спокойны. Не бойтесь за меня, я сумею осилить свое горе, одолеть тревогу.

— Сын мой, — сказал растроганный старик, — вот мы стоим с тобой перед алтарем, где сияет бог твоих предков. Ты перешел в другую веру, и, как мне ни больно, ты знаешь, что я никогда не упрекал тебя. Я паду ниц перед тем самым распятием, перед которым прошлой ночью дал тебе клятву сделать все от меня зависящее, чтобы любовь твоя была услышана и освящена почетным союзом. Я сдержал свое обещание и теперь возобновляю его. А еще я буду молить всевышнего, чтобы он исполнил твои желания, мои же не будут в разладе с ними. Не присоединишься ли ты к моей молитве в торжественный час, когда, быть может, решается на небесах судьба твоей земной любви? О! Мой благородный сын, в коем предвечный сохранил все добродетели, вопреки испытаниям, ниспосланным твоей прежней вере! Сын мой, молившийся верховному владыке на коленях, подобно юному ангелу, рядом со мной у могилы матери! Неужели ты и сегодня не вознесешь к нему своего голоса, дабы мой не

звучал напрасно?

— Отец, — ответил Альберт, обнимая старца, — если наша вера отличается по форме и догматам, то души наши всегда сходятся на одном извечном божественном принципе. Вы служите богу премудрому, милосердному, идеалу совершенства, познания и добра, — ему я никогда не переставал поклоняться. О Иисусе Христе, распятый за нас! — произнес он, становясь перед распятием на колени рядом с отцом. — Ты, коему люди поклоняются как Слову и перед коим я благоговею, как перед самым благородным и чистым проявлением всеобъемлющей любви среди нас! Услышь мою молитву, ты, чья мысль вечно живет в боге и в нас! Благослови влечения и честные намерения! Пожалей торжествующую развращенность и поддержи борющуюся невинность! Предаю счастье свое в руки божий. О господь милосердный! Да направит и оживит твоя воля сердца, не знающие другой силы, кроме твоей, и иного утешения, кроме пребывания твоего и примера твоих деяний на земле!»

Глава 63

Андзолето совершенно впустую продолжал путь в Прагу, так как Консуэло, дав проводнику ложные указания, что было необходимо для успе-

ха задуманного ею плана, повернула влево по знакомой дороге, — она раза два сопровождала баронессу Амелию в замок, расположенный по соседству с маленьким городком Таусом. Замок этот был самым отдаленным пунктом, где она имела случай побывать за время своих редких выездов из Ризенбурга. Естественно, что местность эта и проходящие по ней дороги всплыли в ее памяти, как только она задумала и поспешно осуществила смелый план бегства. Ей вспомнилось, что хозяйка замка, гуляя с ней по террасе и указывая на красоты широко расстилавшегося перед глазами пейзажа, сказала:

— Эта красивая, усаженная деревьями дорога, которая теряется, как видите, за горизонтом, сходится с трактом, идущим на юг, — по ней мы ездим в Вену.

Итак, Консуэло, хорошо помня это указание, была уверена, что не заблудится и через некоторое время попадет на дорогу, по которой она приехала в Чехию. Она добралась до знакомого ей замка Бьела, прошла мимо парка и, невзирая на темноту, без труда нашла обсаженную деревьями дорогу. И вот еще до рассвета она очутилась почти в трех милях, считая по прямой, от того места, которое ей хотелось оставить как можно дальше

позади. Молодая, крепкая, привыкшая с детства к большим переходам пешком, к тому же побуждаемая отважной волей, она встретила зарю, не ощущая особой усталости. Небо было безоблачно, дорога суха и покрыта мягким песком, приятным для ходьбы. Непривычная для Консуэло скачка верхом несколько утомила ее, но известно, что ходьба в таком случае лучше отдыха, а у сильных, энергичных людей одна усталость заставляет забывать о другой.

Однако, когда звезды стали бледнеть, а сумрак рассеиваться, Консуэло испугалась одиночества. Впотьмах она чувствовала себя так спокойно; держась все время настороже, она была уверена, что в случае погони успеет вовремя спрятаться. При дневном же свете, чтобы не идти долго по открытому месту, она решила свернуть с прежней дороги, тем более что вскоре вдали показались группы людей, разбросанных точно черные точки по белеющему среди еще темных полей тракту. На таком близком расстоянии от Ризенбурга она рисковала быть узнанной первым встречным и потому перешла на тропинку, которая, пересекая под прямым углом петлю, образованную дорогой в обход скалы, казалось ей, сокращала путь. По этой тропинке она прошла,

никого не встретив, еще с час и очутилась в лесистой местности, где, как она надеялась, могла легко скрыться от людских взоров. «Если бы мне удалось, — думала она, — никем не замеченной пройти миль восемь-десять, я могла бы спокойно выйти на большую дорогу и при первом удобном случае нанять экипаж и лошадей».

Эта мысль напомнила ей о деньгах; она сунула руку в карман и вытащила кошелек, чтобы сосчитать, сколько же у нее осталось для предстоящего ей длинного и трудного пути, после того как она щедро вознаградила проводника, вывезшего ее из Ризенбурга. Пока у нее еще не было времени об этом подумать, да и вряд ли она вообще решилась бы на столь рискованный побег, будь она более осторожна. Но каковы же были ее удивление и ужас, когда кошелек оказался гораздо более легким, чем она предполагала. В спешке она, видно, захватила не больше половины имевшихся у нее денег или же впотьмах дала проводнику вместо серебряных золотые монеты, а возможно, что, открыв кошелек для уплаты проводнику, она выронила часть своего достояния на пыльную дорогу, — как бы то ни было, но, пересчитав не раз и не два свои скудные средства, она поняла, что весь путь до Вены ей придется проделать

пешком.

Это открытие несколько обескуражило Консуэло — не из-за усталости (она нисколько ее не боялась), а из-за опасностей, подстерегающих молодую женщину во время столь долгого путешествия пешком. Страх, до этого времени подавляемый мыслью о том, что она вот-вот избавится от всех случайностей большой дороги, сев в экипаж, теперь заговорил в ней с большей силой, чем раньше, когда она находилась в возбужденном состоянии. И вот впервые в жизни, словно пораженная ужасом, рожденным несчастьем и слабостью, она быстро зашагала вперед, выбирая самые густые перелески, чтобы укрыться там в случае нападения.

В довершение беды, лишь увеличившей ее тревогу, она вскоре заметила, что уже идет не по проторенной тропинке, а просто пробирается наугад по лесу, становившемуся все гуще и пустыннее. Если это мрачное уединение и успокаивало ее в некоторых отношениях, то, с другой стороны, она была совсем не уверена, что идет по правильному пути, а не возвращается назад и не приближается, неведомо для себя, к замку Исполинов. Андзолето ведь, пожалуй, еще там — какое-нибудь подозрение, какая-нибудь слу-

чайность, желание отомстить Альберту могли удержать его в замке. Да разве и самого Альберта не надо было опасаться в первые минуты смятения и отчаяния? Консуэло была убеждена, что он подчинится ее решению, но, появись она в окрестностях замка и услышь молодой граф о том, что ее можно догнать и вернуть обратно, разве он не примчался бы, чтобы своими мольбами добиться ее возвращения? И позволительно ли, в случае если б ее неудавшаяся попытка бежать стала широко известна, сделать посмешищем и благородного человека, и его семью, и самое себя? К тому же через несколько дней Андзолето мог возвратиться, а это возродило бы затруднения и опасности, только что устраненные ее отважным, великодушным поступком. Нет, лучше все претерпеть, всему подвергнуться, чем возвращаться в Ризенбург!

Решив отыскать направление на Вену и во что бы то ни стало держаться его, она остановилась в укромном, таинственном месте, где среди скал, под сенью старых деревьев, пробивался ручеек. Все вокруг было словно вытоптано лапами каких-то животных. Но были ли то окрестные стада или лесные звери, которые приходили порой пить из этого источника, скрытого среди чащи,

Консуэло не могла решить. Она подошла к ручью, стала на колени на влажные камни и напилась студеной чистой воды, обманув этим голод, уже дававший себя чувствовать; затем, продолжая стоять на коленях, она призадумалась над своим положением.

«Было бы безрассудно и недостойно не осуществить задуманного, — сказала она себе. — Как! Да может ли быть, чтобы дочь моей матери до того изнежилась от приятной жизни, что не в состоянии перенести солнечного жара, голода, усталости, опасности? Я так мечтала о бедности и свободе, когда была окружена этим угнетающим благосостоянием, так жаждала избавиться от него! И вот я прихожу в ужас на первых же порах! Разве не моя прирожденная профессия „нестись вперед, страдать, дерзать“? Что изменилось во мне с тех пор, как мы с милой мамой, еще до зари, частенько шагали натощак, подкрепляя силы водой из маленьких придорожных источников?

Вот как, красавица Zingarella? Мы можем только распевать в театрах, спать на пуху да путешествовать в каретах? Да разве мы с матерью боялись чего-либо? Не говаривала ли она мне при встрече с подозрительными людьми: «Ничего не бойся — беднякам ничто не угрожает, нищие не

воюют между собой». В то время она была еще молода и красива, а приходилось ли мне когда-либо видеть, чтобы ее оскорбляли прохожие? Злейшие из людей щадят беззащитных. Как же иначе могли бы существовать бедные девушки, нищенки, бродящие по дорогам, не имея иного покровителя, кроме бога? Неужели я вроде тех девиц, что не смеют сделать шагу из дома, не вообразив, что весь мир, опьяненный их прелестями, бросится их преследовать? Неужели, если женщина идет одна по общей для всех земле, это значит, что она неизбежно будет опозорена и утратит честь только из-за того, что у нее нет средств окружить себя стражами? Вот ведь моя мать — она была сильна, как мужчина; она, точно лев, защищала бы себя. А я разве не могу быть такой же мужественной и сильной? Ведь в моих жилах течет добрая плебейская кровь! Разве нельзя покончить с жизнью, если тебе грозит потерять нечто более ценное, чем жизнь? Да и, кроме того, я иду пока по местам спокойным, где жители кротки и милосердны, а когда попаду в неизвестные края, то лишь при особом невезении мне не встретится в минуту опасности одно из тех простых, великодушных созданий, каких господь посылает всюду, чтобы они служили про-

видением для слабых и угнетенных! Ну, будем же мужественны! Сегодня, во всяком случае, мне придется бороться только с голодом. Обойдусь без хлеба и никуда не зайду до вечера, пока совсем не стемнеет и я не буду далеко, далеко… Голод знаком мне, и я умею переносить его, несмотря на чревоугодие, к которому хотели приучить меня в Ризенбурге. День ведь быстро проходит. Когда наступит жара, а ноги утомятся, я припомню философскую истину, так часто слышанную мною в детстве: «Кто спит — обедает», запрячусь куда-нибудь в расщелину скалы, и ты увидишь, дорогая мама, в эту минуту незримо ступающая рядом со мной и охраняющая меня, что я умею отдыхать без диванов и подушек».

Беседуя таким образом сама с собой, бедная девушка понемногу забывала о своих сердечных муках. Сознание огромной победы, одержанной над собой, умалило ее страх перед Андзолето. Ей даже казалось, что с той минуты, когда ей удалось расстроить его план и не позволить себя соблазнить, в душе ее стала затихать эта пагубная любовь. К трудностям своего романтического похождения она относилась с какой-то веселостью, смешанной с грустью, то и дело повторяя чуть слышно: «Тело мое страдает, зато душа спа-

сена. Птица, не имея сил защититься, обладает крыльями для спасения и, очутившись в воздушных пространствах, смеется над ловушками и западнями».

К воспоминанию об Альберте, к мыслям об его ужасе и горе она относилась иначе, но всеми силами боролась с одолевавшим ее состраданием. Она твердо решила отстранять его образ до тех пор, пока не оградит себя от слишком поспешного раскаяния и неблагоразумной нежности.

«Дорогой Альберт, чудесный друг, — мысленно обратилась она к нему, — я не могу не вздыхать, представляя себе твои муки. Но только в Вене я решусь разделить их с тобой, пожалеть тебя. Только в Вене позволю я своему сердцу признаться, как оно чтит тебя и скорбит о тебе! Ну! Вперед!» — сказала себе Консуэло, пробуя встать. Но тщетно раза два или три пыталась она подняться, чтобы покинуть этот дикий, красивый источник, чье сладкое журчание, казалось, манило ее продлить минуты отдыха. Сон, который ей хотелось отложить до полудня, смыкал ей веки, а голод вызывал непреодолимую слабость, — она не думала, что так отвыкла переносить его. Напрасно старалась она обмануть себя. Накануне она почти не дотронулась до пищи — слишком много

было беспокойств и волнений. Какой-то туман заволакивал ей глаза; холодный, мучительный пот расслаблял тело. Она бессознательно поддалась усталости и в ту минуту, когда уже совсем было решила подняться и продолжать путь, тяжело опустилась вместо этого на траву, голова ее склонилась на дорожный узелок, и она заснула крепким сном. Солнце, красное и жаркое, каким подчас оно бывает в короткое чешское лето, весело поднималось в небе. Ключ журчал по камешкам, словно желая монотонной своей песней убаюкать путницу, а птицы летали над ее головой, щебеча свои неугомонные песенки.

Глава 64

Консуэло проспала часа три, как вдруг шум, не похожий ни на журчание ручья, ни на щебетание птиц, вывел ее из забытья. Не имея сил подняться и еще не понимая, где она находится, девушка приоткрыла глаза и увидела в двух шагах от себя человека, нагнувшегося над камнем и пьющего воду у источника точно так, как делала она сама, — попросту подставив рот под струю. Вначале Консуэло испугалась, но, взглянув еще раз на пришельца, появившегося в ее убежище, успокоилась, так как он, казалось, почти не обращал на нее внимания, — потому ли, что уже вволю нагляделся на путницу во время ее сна, или же потому, что вообще не особенно интересовался этой встречей. К тому же это скорее был ребенок, чем мужчина. На вид ему было не больше пятнадцати-шестнадцати лет; он был небольшого роста, худой и очень загорелый. Лицо его, ни красивое, ни уродливое, в эту минуту ничего не выражало, кроме мирной беззаботности.

Инстинктивно Консуэло опустила на лицо вуаль, но не изменила позы, считая, что лучше

притвориться спящей, чем подвергнуть себя расспросам; да и вообще так, пожалуй, лучше — особенно если путник и дальше не будет обращать на нее внимания. Однако сквозь вуаль она не переставала следить за каждым движением незнакомца, выжидая, чтобы тот взял свою котомку и палку, лежавшие на траве, и пошел своей дорогой.

Но вскоре она увидела, что юноша тоже решил отдохнуть и даже позавтракать, так как он раскрыл свою дорожную сумку и, вынув оттуда большую краюху хлеба, принялся резать ее и уписывать за обе щеки, застенчиво поглядывая время от времени на спящую и стараясь как можно осторожнее действовать своим складным ножом, словно боясь разбудить ее. Этот знак внимания совсем успокоил Консуэло, а хлеб, который уплетал юный путник с таким явным удовольствием, пробудил в ней муки голода. Убедившись по изношенной одежде юноши и его запыленной обуви, что он беден и пришел издалека, она решила, что провидение посылает ей неожиданную помощь и ею следует воспользоваться. Краюха хлеба была большая, и юноша мог без особого ущерба для своего аппетита уделить ей кусочек. Консуэло поднялась, делая вид, что

протирает глаза, как будто только что проснулась, и решительно посмотрела на юношу, чтобы внушить ему уважение, — на тот случай, если бы он вдруг утратил проявленную им до сих пор почтительность.

Но такая предосторожность была излишней. Как только юноша увидел, что девушка проснулась и встала, он слегка смутился, опустил глаза, потом попробовал взглянуть на нее и, ободренный выражением лица Консуэло — несказанно доброго и привлекательного, несмотря на ее стремление хранить суровость, — заговорил таким приятным, благозвучным голосом, что юная музыкантша сразу почувствовала к нему расположение.

— Ну вот, сударыня, наконец-то вы проснулись, — проговорил он, улыбаясь, — вам здесь так славно спалось, что, не бойся я поступить невежливо, я тоже заснул бы.

— Если вы так же любезны, как вежливы, окажите мне маленькую услугу, — сказала материнским тоном Консуэло.

— Все, что вам будет угодно, — ответил юный путник; и голос его показался Консуэло приятным и задушевным.

— Тогда продайте мне частицу вашего завтра-

ка, — сказала Консуэло, если, конечно, это не будет для вас лишением.

— Продать?! — воскликнул, краснея, изумленный юноша. — О! Будь у меня завтрак, я бы его не продал! Разве я трактирщик? Я с удовольствием предложил бы вам его!

— Ну, так поделитесь со мной, а я взамен дам вам на что купить себе лучший завтрак.

— Нет! Нет! — возразил он. — Смеетесь вы, что ли? Или вы так горды, что не можете принять от меня жалкого кусочка хлеба? Увы! Как видите, больше я ничего не могу вам предложить.

— Хорошо! Принимаю ваш хлеб. Ваша доброта заставила бы меня устыдиться, если бы я возгордилась.

— Берите! Берите, милая барышня! — радостно воскликнул юноша. — Вот вам хлеб, режьте его сами! Да не церемоньтесь! Едок я небольшой, а тут было запасено на целый день.

— Но сможете ли вы купить еще хлеба на сегодняшний день?

— Да ведь его везде можно достать! Ну, кушайте на здоровье, если хотите доставить мне удовольствие!

Консуэло не заставила себя больше просить, чувствуя, что было бы сущей неблагодарностью

по отношению к братски угощавшему ее юноше отказаться позавтракать с ним. И, усевшись неподалеку от него, она принялась уписывать хлеб, по сравнению с которым все изысканные блюда, когда-либо отведанные ею за столом богачей, показались ей безвкусными и грубыми.

— Какой у вас хороший аппетит, — заговорил юноша, — просто смотреть приятно. Ну, и повезло же мне, что я вас встретил: очень рад! Знаете что? Давайте съедим весь хлеб — как здесь ни пустынно, набредем же мы сегодня на какое-нибудь жилье.

— Значит, местность эта вам незнакома?

— Я здесь впервые, но путь, по которому я шел от Вены до Пильзена, мне знаком, и я теперь возвращаюсь обратно той же дорогой.

— Куда обратно? В Вену?

— Да, в Вену. А вы тоже туда направляетесь?

Консуэло, не зная, брать ли юношу себе в спутники или уклониться от его общества, притворилась, что не слышала, чтобы не отвечать сразу.

— Но что я говорю, — продолжал юноша, — разве такая красавица отправится одна в Вену? А между тем вы, видно, путешествуете: у вас такой же дорожный узелок, как и у меня, и вы тоже

странствуете пешком.

Консуэло, решив избегать вопросов юноши, пока не убедится, насколько можно доверять ему, предпочла ответить вопросом на вопрос.

— Вы из Пильзена? — спросила она.

— Нет, — ответил юноша, не имевший ни склонности, ни повода быть недоверчивым, — я из Рорау, это в Венгрии; мой отец каретник.

— А как вы ушли так далеко от дома? Разве вы не занимаетесь тем же ремеслом, что и отец?

— И да и нет: отец мой каретник, а я нет; но в то же время он и музыкант, — а я жажду им стать.

— Музыкантом? Браво! Это чудесная профессия.

— Может, она и ваша?

— Однако не учиться же музыке направлялись вы в Пильзен? Это, говорят, очень унылый военный город.

— О нет! У меня было поручение туда, а теперь я возвращаюсь в Вену, чтобы, приискав себе какой-нибудь заработок, продолжать там занятия музыкой.

— Что же вы избрали? Музыку или пение?

— Пока и то и другое. У меня довольно хороший голос, а вот тут у меня скрипочка — хоть и плохонькая, но я пытаюсь передать на ней то, что

чувствую. Однако я честолюбив и мне хотелось бы достичь большего.

— Сочинять, очевидно?

— Вы угадали. У меня из головы не выходит это проклятое сочинительство. Сейчас покажу вам, какой у меня в дорожной котомке добрый спутник — объемистая книга; я разорвал ее на части, чтобы можно было брать отрывки с собой во время странствий. Когда устану, я сажусь в каком-нибудь уголке, немного позанимаюсь — и усталость как рукой снимает. — Очень похвально. Бьюсь об заклад, что это «Gradus ad Parnassum» Фукса!

— Именно! Я вижу, вы хорошо знакомы с музыкой; теперь я уверен, что вы сами тоже музыкантша. Сейчас, когда вы спали, я, глядя на вас, говорил себе: «Совсем не похожа на немку, по лицу — настоящая южанка, вполне возможно, что она итальянка и, безусловно, артистка». Поэтому-то вы и доставили мне большое удовольствие, попросив у меня хлеба; а теперь я вижу, что, хотя вы как нельзя лучше говорите по-немецки, выговор у вас все-таки иностранный.

— А что, если вы ошибаетесь? Вы тоже мало похожи на немца, и лицо у вас смуглое, как у итальянца, а между тем…

— О! Вы слишком любезны, сударыня! Лицо у меня — как у африканца, и товарищи по хору в соборе святого Стефана обычно звали меня мавром. Но вернемся к нашему разговору. Я был немало удивлен, увидев, что вы спите в лесу совсем одна. И у меня родились тысячи предположений относительно вас. Быть может, подумал я, это моя счастливая звезда привела меня сюда, чтобы я встретил добрую душу, которая помогла бы мне. Словом… сказать вам уж все?

— Говорите, не бойтесь.

— Мне показалось, что вы слишком хорошо одеты и слишком белы лицом для бродяжки, а увидев у вас дорожный мешок, я вообразил, что вы состоите при некой особе, иностранке и… артистке! О! При той великой артистке, которую я жажду увидеть и чье покровительство было бы моим спасением и счастьем. Ну, сударыня, признайтесь: вы из какого-нибудь соседнего замка и шли с поручением в окрестности! И вы, конечно, знаете… О да! Вы должны знать замок Исполинов!

— Ризенбург? Вы идете в Ризенбург?

— По крайней мере пытаюсь туда пробраться. Несмотря на все указания, данные мне в Клатау, я так заблудился в этом проклятом лесу, что не

представляю себе, как выбраться отсюда. К счастью, вы знаете Ризенбург и будете так добры сказать мне, далеко ли еще до него.

— Но что же вам надо в Ризенбурге?

— Я хочу повидаться с Порпориной.

— В самом деле? Но тут Консуэло, боясь выдать себя путнику, который мог упомянуть о ней в Ризенбурге, спохватилась и равнодушно спросила:

— А скажите, пожалуйста, кто такая эта Порпорина?

— Как, вы не знаете? Увы! Я вижу, вы совсем чужой человек в этих краях. Но раз вы музыкантша и знаете Фукса, то, конечно, знакомы и с именем Порпора.

— А вы знакомы с Порпорой?

— Нет еще, как раз, желая познакомиться с ним, я и ищу покровительства его знаменитой любимой ученицы — синьоры Порпорины.

— Расскажите же мне, как вам это пришло в голову? Быть может, я найду способ проникнуть с вами в замок к Порпорине.

— Сейчас расскажу вам все. Как я уже говорил вам, я сын честного каретника, уроженец маленького местечка на границе Австрии и Венгрии. Отец мой — церковный ризничий и органист в нашей деревне. У моей матери, бывшей поварихи

местного вельможи, прекрасный голос, и отец вечерами, отдыхая от работы, аккомпанировал ей на арфе. Так я, естественно, пристрастился к музыке, и, помнится, с самого раннего детства для меня не было большего удовольствия, как принимать участие в наших семейных концертах, держа в руках кусок дерева, по которому я пилил обломком рейки, воображая, что это скрипка со смычком и что я извлекаю из нее волшебные звуки. Да, да! Мне и теперь еще кажется, что мои милые щепки не были немы и из-под моего смычка звучал небесный голос, не слышимый для других, но опьянявший меня сладостными мелодиями.

Однажды, когда я вот так играл на своей воображаемой скрипке, к нам зашел мой двоюродный брат Франк, школьный учитель в Гаймбурге. Своеобразный экстаз, в котором я находился, очень заинтересовал его. Он заявил, что это свидетельствует о необычайном таланте, и увез меня с собой в Гаймбург, где в течение трех лет — со всею строгостью, смею вас уверить — обучал меня музыке. Какие чудесные фермато с руладами и фиоритурами отбивал он своей палочкой на моих пальцах и ушах! Однако я не падал духом. Я учился читать и писать; у меня была настоящая

скрипка, я играл на ней простенькие упражнения, знакомясь в то же время с правилами пения и латинским языком. Я делал настолько быстрые успехи, насколько это было возможно с таким нетерпеливым преподавателем, каким был мой двоюродный брат Франк.

Было мне около восьми лет, когда случай, или, вернее, провидение, в которое я, как добрый христианин, всегда верил, привело в дом моего двоюродного брата господина Рейтера, капельмейстера венского собора. Меня ему представили как чудо-ребенка; я свободно прочитал с листа пьесу и настолько понравился ему, что он увез меня в Вену, где поместил певчим в собор святого Стефана.

Там нам приходилось работать всего два часа в день, а остальное время, предоставленные сами себе, мы могли делать все, что хотели. Но любовь к музыке подавляла во мне и детскую лень и детскую непоседливость. Стоило мне, бывало, играя с товарищами на площади, услышать звуки органа, как я бросал все и возвращался в церковь, чтобы насладиться духовным пением и музыкой. По вечерам я часами простаивал на улице под окнами, из которых доносились обрывки концерта или просто слышался приятный голос. Я был

любознателен, я жаждал узнать, понять все, что поражало мой слух. Но особенно мне хотелось сочинять. В тринадцать лет, не зная ни единого правила, я отважился написать обедню и показал партитуру нашему учителю Рейтеру. Он поднял меня на смех и посоветовал немного «поучиться», прежде чем браться за сочинительство. Ему легко было так говорить. А у меня не было возможности платить учителю, ибо родители мои были слишком бедны, чтобы посылать деньги и на мое содержание и на образование. Наконец однажды я получил от них шесть флоринов, на которые и купил себе вот эту книгу и еще книгу Маттезона. С большим жаром принялся я изучать их и находил в этом громадное удовольствие. Голос мой окреп и считался лучшим в хоре. Несмотря на сомнения и неясности, порождавшиеся моим невежеством, которое я силился рассеять, я все же чувствовал, что развиваюсь и в голове моей зарождаются мысли. Но я с ужасом думал, что приближаюсь к тому возрасту, когда, по правилам капеллы, мне придется покинуть детскую певческую школу; я понимал, что эти восемь лет работы в соборе явятся для меня последними годами учения, ибо у меня нет ни средств, ни покровителей, ни учителей, затем мне придется вернуться в роди-

тельский дом и обучаться каретному ремеслу. К довершению своих горестей я стал замечать, что маэстро Рейтер, вместо того чтобы привязаться ко мне, стал со мной очень суров и думал только о том, как бы приблизить час моего исключения из школы. Я не подозревал причины столь незаслуженной антипатии. Некоторые из моих товарищей легкомысленно уверяли меня, что он мне завидует, находя в моих сочинительских попытках проявление музыкального гения, что он вообще ненавидит и обескураживает молодых людей, в которых обнаруживает талант, превосходящий его собственный. Я далек от столь лестного для моего самолюбия толкования его немилости, но мне все-таки кажется, что с моей стороны было ошибкой показывать ему свои творения: он увидел во мне безмозглого честолюбца и самонадеянного нахала.

— К тому же, — перебила рассказчика Консуэло, — старые учителя вообще не любят учеников, опережающих их в знаниях. Но как вас зовут, дитя мое? — Иосиф.

— Иосиф… а дальше?

— Иосиф Гайдн.

— Непременно запомню ваше имя: если из вас что-нибудь выйдет, я хоть буду знать, почему

ваш учитель так неприязненно относился к вам и почему меня так заинтересовал ваш рассказ. Пожалуйста, продолжайте.

Юный Гайдн принялся за свое повествование, а Консуэло, пораженная сходством их судеб — судеб двух бедняков и артистов, внимательно вглядывалась в лицо юноши-певчего. Это худенькое желтоватое лицо необыкновенно оживилось в порыве излияний, голубые глаза сверкали лукавством, шаловливым и добродушным, и все в его манере держать себя и выражаться говорило о недюжинном уме.

Глава 65

— Каковы бы ни были причины антипатии маэстро Рейтера, — продолжал свой рассказ Иосиф, — он доказал мне это весьма жестоко и в связи с поступком самым незначительным. У меня были новые ножницы, и я, как настоящий школьник, пробовал их на всем, что только попадалось мне под руку. Сидевший впереди меня мальчик-певчий, очень гордившийся своей длинной косой, то и дело стирал ею записи, которые я наносил мелом на аспидной доске. И вот в голове моей мелькнула молниеносная роковая мысль. Все было делом мгновения. Крак! Ножницы раскрылись, и коса очутилась на полу! Учитель своим ястребиным взором следил за каждым моим движением. Прежде чем мой бедный товарищ успел заметить свою горестную утрату, я был подвергнут строгому выговору, опозорен и без дальних церемоний выгнан. Вышел я из детской певческой школы в ноябре прошлого года в семь часов вечера и очутился на площади, без гроша в кармане, разутый и раздетый, если не считать того жалкого платья, которое было на мне. Тут на

меня напало полное отчаяние. Меня так злобно разбранили и выгнали с таким скандалом, что я вообразил, будто и в самом деле совершил великий проступок. Горько оплакивал я этот пук волос, этот кусочек ленты, отрезанные моими злополучными ножницами. Товарищ, чью голову я так опозорил, прошел мимо меня тоже с ревом. Сколько было пролито слез, сколько раскаяния и угрызений совести из-за прусской косы! Мне хотелось броситься моему товарищу на шею, стать перед ним на колени, но я не посмел и стыдливо продолжал сидеть в своем углу. А ведь бедный мальчик, вполне возможно, оплакивал мою опалу еще больше, чем собственные волосы.

Я провел ночь на улице; а утром, когда я, вздыхая, размышлял о том, как необходим и недостижим для меня завтрак, ко мне подошел Келлер, парикмахер школы певчих святого Стефана. Он только что причесывал маэстро Рейтера, и тот, продолжая на меня злиться, ни о чем другом говорить не мог, как об ужасном случае с отрезанной косой. Поэтому шутник Келлер, заметив мою жалкую фигуру, покатился со смеху и принялся осыпать меня язвительными насмешками. «Вот он, бич парикмахеров! — закричал еще издали, завидев меня, этот балагур. — Вот он, враг всех

и вся, кто, подобно мне, поддерживает красоту шевелюры! Ах! Мой юный обрезатель кос! Милейший мой истребитель тупеев! Пожалуйте-ка сюда, дайте я обрежу ваши прекрасные черные кудри, чтобы наделать из них кос взамен тех, что падут от вашей руки!» Я был в отчаянии, в ярости. Закрыв лицо руками, считая себя предметом мести общества, я кинулся бежать, но добряк Келлер остановил меня. «Куда ты, несчастный? — спросил он меня, смягчаясь. — Куда ты денешься без хлеба, без одежды, без друзей да еще с таким преступлением на совести? Мне жаль тебя, я так люблю твой красивый голос, которым не раз наслаждался в соборе. Идем ко мне. У меня с женой и детьми всего одна комната на пятом этаже. Но и этого нам более чем достаточно, так что мансарда, которую я снимаю на шестом этаже, пустует. Живи в ней и кормись у нас до тех пор, пока не найдешь работы. Но чур! К волосам моих клиентов относись с должным уважением и париков моих ножницами не касайся!»

И я пошел за великодушным Келлером, моим спасителем и отцом! Он был так добр, этот бедный труженик, что, помимо помещения и стола, уделил мне еще немного денег, и я мог продолжать учение. Я взял напрокат скверненький клаве-

син, весь источенный червями, и, забившись на чердак со своим Фуксом и Маттезоном, без удержу предался своей страсти к сочинительству. С этой минуты я могу считать, что провидение стало покровительствовать мне. Всю эту зиму я с наслаждением изучал первые шесть сонат Эммануила Баха и, как мне кажется, хорошо их усвоил. В то же время небо, как бы в награду за мое усердие и настойчивость, послало мне небольшую работу, давшую мне возможность существовать и расплатиться с моим дорогим хозяином. По воскресеньям я играл на органе в домовой церкви графа Гаугвица, а перед тем по утрам исполнял партию первой скрипки в церкви святых отцов милосердия. Кроме того, у меня нашлись два покровителя. Один из них — аббат, который написал множество стихов на итальянском языке, как говорят, очень хороших. Он в большой милости и у императора и у императрицы. Имя его — господин Метастазио; он живет в одном доме с Келлером и со мной, и я даю уроки молодой девице, его племяннице. Другой мой покровитель — его превосходительство венецианский посланник. — Синьор Корнер? — с живостью спросила Консуэло.

— Ах! Вы знаете его? — воскликнул Гайдн. —

Господин аббат Метастазио ввел меня к нему в дом. Мой скромный талант пришелся там по вкусу, и его превосходительство обещал посодействовать, чтобы со мной позанимался Порпора» который сейчас вместе с госпожой Вильгельминой, супругой или возлюбленной его превосходительства, находится на курорте в Маненсдорфе. Это обещание страшно обрадовало меня. Подумать только, — стать учеником такого великого учителя, лучшего в мире преподавателя пения! Изучить композицию, истинные, подлинные основы итальянского искусства! Я думал, что спасен, благословлял свою счастливую звезду и уже воображал себя великим музыкантом. Но увы! Несмотря на добрые намерения его превосходительства, осуществить его обещание оказалось не так легко, как я думал, и если мне не удастся найти более солидной рекомендации, боюсь, что я не смогу даже подойти близко к Порпоре. Говорят, знаменитый маэстро — большой чудак, и насколько он может быть предан, внимателен и великодушен в отношении одних своих учеников, настолько бывает капризен и жесток с другими. По-видимому, маэстро Рейтер ничто в сравнении с Порпорой, и я дрожу при одной мысли увидеть его. Однако ж, хотя он сна-

чала и отказал наотрез его превосходительству, мотивируя свой отказ нежеланием брать новых учеников, я знаю, что его превосходительство будет настаивать, и поэтому не теряю надежды. Я решил терпеливо выносить самые жестокие оскорбления со стороны Порпоры, лишь бы он научил меня чему-нибудь.

— Вы приняли благое решение, — заметила Консуэло. — Вам не преувеличили, говоря о резкости великого музыканта и его суровой внешности. Но вы правы: не надо отчаиваться, ибо если только вы терпеливы, способны слепо повиноваться и обладаете настоящим музыкальным талантом, — а я чувствую, что это так, — если вы не теряете головы при первом налетевшем шквале, к тому же если вам удастся выказать перед ним смышленость и быстроту соображения, то обещаю вам: после трех-четырех уроков он станет самым кротким и добросовестным учителем, возможно даже, что, если, как мне кажется, вы столь же добры, сколь и умны, Порпора станет вам верным другом, справедливым, благожелательным отцом.

— О! Вы бесконечно радуете меня. Я вижу, что вы его знаете и должны также знать его знаменитую ученицу, новую графиню Рудольштадт…

Порпорину…

— Но где же вы слышали об этой Порпорине и чего хотите от нее?

— Письма к Порпоре и энергичного ходатайства перед ним, когда она будет в Вене; ведь она, конечно, туда поедет после своей свадьбы с этим богатым аристократом, графом Рудольштадтом.

— А откуда вы знаете об этом браке?

— Благодаря величайшей в мире случайности. Мой друг Келлер узнал в прошлом месяце, что в Пильзене умер его родственник, который оставил ему небольшое наследство. У Келлера не было ни времени, ни средств на такое путешествие, и он все не решался предпринять его, боясь, что наследство не покроет дорожных расходов и потери времени. Как раз перед этим я получил немного денег за свою работу и предложил ему съездить в Пильзен на правах его доверенного. Вот я и отправился в этот город и в одну неделю, к своему великому удовольствию, закончил дело о наследстве Келлера. Конечно, оно не бог весть как велико, но и этим немногим ему не приходится пренебрегать. Я везу ему документы, утверждающие его в наследстве на небольшую усадьбу; он по своему усмотрению сможет либо продать ее, либо пользоваться доходами. Возвра-

щаясь из Пильзена, я очутился вчера в местечке Клатау, где и заночевал. День был базарный, и постоялый двор оказался битком набит народом. Я сидел за столом, где закусывал толстяк, которого величали доктором Вецелиусом; в жизни не встречал я большего обжоры и болтуна. «Знаете новость? — спросил он, обращаясь к соседям. — Граф Альберт Рудольштадт, этот сумасшедший, архисумасшедший, чуть ли не бешеный, женится на учительнице музыки своей двоюродной сестры; эта авантюристка, нищая, говорят, была актрисой в Италии, и старик музыкант Порпора якобы похитил ее; но скоро она ему опротивела, и старик отправил ее родить в Ризенбург. Все это держалось в величайшей тайне, и сначала, не понимая ничего в болезни и конвульсиях барышни, считавшейся очень добродетельной, Рудольштадты вызвали меня для лечения злокачественной лихорадки. Но едва я успел пощупать пульс больной, как граф Альберт, по-видимому знавший кое-что о ее добродетели, бросился на меня, точно бешеный, оттолкнул и больше не впустил в комнату. Все было окружено полнейшей тайной. Старушка канонисса, по-моему, играла роль акушерки. Никогда старой даме еще не приходилось бывать в таком переплете. Ребе-

нок исчез. Но удивительнее всего, что молодой граф, не имеющий, как вы знаете, представления о времени и принимающий месяцы за годы, вообразил себя отцом ребенка и так энергично поговорил со своей семейкой, что те, боясь, как бы он снова не впал в бешенство, согласились на этот славный брак». — Какая мерзость! Какая гнусность! — вскричала вне себя Консуэло. Надо же наплести столько возмутительной клеветы и нелепостей.

— Не думайте только, что я хоть на секунду поверил всему этому, — возразил Иосиф Гайдн. — Физиономия старого доктора так же глупа, как и зла, и еще прежде, чем его изобличили во лжи, я был уверен, что он клевещет и несет вздор. Но едва успел он докончить свою сказку, как пять или шесть окружавших его молодых людей встали на защиту девушки, и я таким образом узнал правду. Они наперебой принялись превозносить красоту, прелесть, скромность, ум и несравненный талант Порпорины. Всем им была понятна любовь к ней графа Альберта, все завидовали его счастью и восхищались старым графом, согласившимся на их брак. Доктора же Вецелиуса обозвали вралем и безумцем. Так как при этом упоминалось о глубоком уважении маэстро Порпоры к ученице,

которой он пожелал даже дать свое имя, то мне пришла в голову мысль отправиться в Ризенбург, пасть к ногам будущей или, может быть, уже настоящей графини (говорят, будто свадьба состоялась, но это держат пока в секрете, чтобы не вызвать неудовольствия императорского двора) и, рассказав Порпорине свою историю, добиться с ее помощью милости стать учеником ее знаменитого учителя. Несколько минут Консуэло задумчиво молчала: последние слова Иосифа относительно императорского двора поразили ее. Но вскоре она снова обратилась к нему.

— Дитя мое, — проговорила она, — не ходите в Ризенбург, там нет Порпорины. Она не вышла замуж за графа Рудольштадта, и совершенно неизвестно, состоится ли этот брак вообще. Правда, речь об этом была, и мне кажется, что жених и невеста достойны друг друга. Но Порпорина, несмотря на свою преданность и дружеское расположение к графу Альберту, несмотря на глубокое уважение и безграничное почтение к нему, не нашла возможным отнестись опрометчиво к столь серьезному делу. Она взвесила, с одной стороны, какой вред принесла бы этой знатной семье, заставив ее потерять расположение и, быть может, даже покровительство императри-

цы, а так же уважение других вельмож и почет во всем крае, с другой же стороны — какой ущерб нанесла бы себе, отказавшись служить прекрасному искусству, которое она с любовью изучала и которому храбро решила посвятить себя. Она сказала себе, что жертва велика и с той и с другой стороны, и, прежде чем очертя голову решиться на нее, она должна посоветоваться с Порпорой, а молодому графу дать время убедиться в прочности своего чувства. И вот она взяла и отправилась в Вену пешком, без провожатого и почти без денег, унеся с собой из всех предложенных ей богатств лишь чистую совесть и гордость артистки, — ушла с надеждой вернуть покой и рассудок тому, кто любит ее.

— В таком случае это действительно настоящая артистка! Какая она умница и какая у нее благороднейшая душа, если она так поступила! — воскликнул Иосиф, глядя на Консуэло блестящими глазами. — И, если не ошибаюсь, с ней-то я и говорю, перед ней и падаю ниц!

— Да, она сама протягивает вам руку и предлагает свою дружбу, а также обещает походатайствовать перед Порпорой. Мы, по-видимому, вместе будем продолжать путь и, если бог поможет, как он до сих пор помогал нам обоим и как

помогает всем уповающим только на него, скоро доберемся до Вены и будем там брать уроки у одного и того же учителя.

— Слава богу! — со слезами радости на глазах, в восторге воздевая руки к небу, воскликнул Гайдн. — То-то я почувствовал, глядя на вас во время вашего сна, что в вас есть что-то необыкновенное и моя жизнь, моя будущность в ваших руках!..

Глава 66

После того как молодые люди познакомились поближе, дружески рассказав друг другу подробности своей жизни, они стали думать, как лучше добраться до Вены и какие следует принять предосторожности. Прежде всего они вынули кошельки и сосчитали деньги. Консуэло все-таки оказалась богаче своего спутника. Но их соединенных капиталов хватало только на то, чтобы без особых лишений проделать путь пешком, не страдая от голода и не проводя ночи под открытым небом. Ни о чем другом нечего было и мечтать, и Консуэло примирилась с этим. Однако, невзирая на философски веселое настроение девушки, Иосиф был озабочен и задумчив. — Что с вами? — спросила она. — Вы, быть может, боитесь, что я окажусь для вас обузой в пути? А я готова биться об заклад, что хожу лучше вас.

— Вы все должны делать лучше, — ответил он, — но меня тревожит вовсе не это. Меня печалит и пугает мысль, что ваша молодость и красота привлекут к вам алчные взоры встречных, а я мал и тщедушен и, при всем желании отдать за

вас жизнь, не в силах буду вас защитить.

— Есть о чем думать, бедный мой мальчик! Допустим, что я достаточно хороша и могу привлечь взоры прохожих, но уважающая себя женщина всегда сумеет внушить почтение своим умением держаться.

— Будь вы урод или красавица, будь вы молоды или стары, дерзки или скромны — вы не можете чувствовать себя в безопасности на этих дорогах, запруженных солдатами и всякого рода сбродом. С тех пор как заключен мир, страна наводнена военными, возвращающимися по своим гарнизонам, особенно добровольцами — любителями приключений, которые в погоне за легкой наживой после демобилизации грабят прохожих, занимаются вымогательством у деревенских жителей и вообще ведут себя в провинции, как в завоеванной стране. Бедность наша является для нас в некотором роде защитой, но довольно того, что вы женщина, чтобы пробудить их звериные инстинкты. Я серьезно думаю об изменении маршрута. Вместо того чтобы идти на Писек и Будвейсс — места расквартирования войск, через которые постоянно передвигаются демобилизованные солдаты и прочий сброд, ничем от них не отличающийся, — мы поступим благоразумнее,

спустившись по течению Молдавы горными, более или менее пустынными ущельями, где ничто не возбуждает жадности этих господ и не толкает их к разбою. Мы пройдем вдоль реки до Рейхенау и вступим в Австрию через Фрейштадт. В Австро-Венгрии мы будем под защитой полиции, менее беспомощной, чем чешская.

— Вы, значит, знакомы с этой дорогой?

— Я даже не знаю, существует ли она, но у меня в кармане есть маленькая карта; покидая Пильзен, я предполагал — для разнообразия — возвратиться через горы и пострансствовать…

— Что ж, пусть будет так. Мысль ваша мне по душе, — сказала Консуэло, рассматривая развернутую Иосифом карту. — Везде есть тропинки для пешеходов и хижины, готовые приютить скромных людей с тощим карманом. Действительно, эта горная цепь приведет нас к Молдаве, а дальше она тянется вдоль реки.

— Это самая большая горная цепь Богемского Леса; там расположены ее наиболее высокие вершины, которые служат границей между Баварией и Богемией. Мы без труда доберемся до нее, придерживаясь этих вершин, — они указывают на то, что справа и слева идут долины, спускающиеся к обеим провинциям. Раз теперь, слава

богу, ничто не влечет меня в этот замок Великанов, который никак не найти, я не сомневаюсь, что сумею провести вас верной и наикратчайшей дорогой.

— Идем же! — сказала Консуэло. — Я вполне отдохнула. Сон и ваш чудесный хлеб вернули мне силы, и я думаю, что сегодня смогу пройти еще добрых две мили. К тому же хочется как можно скорее уйти из этих мест, где я все боюсь встретить кого-нибудь из знакомых.

— Постойте, — проговорил Иосиф, — у меня мелькнула блестящая мысль!

— Посмотрим, какая!

— Если вам не претит переодеться мужчиной — ваше инкогнито обеспечено, и вы избегнете во время наших ночлегов всех скверных предположений, какие могут возникнуть по адресу девушки, путешествующей вдвоем с молодым человеком.

— Мысль недурна, но вы забываете, что мы не так богаты, чтобы делать покупки. Кроме того, где найти одежду по моему росту?

— Видите ли, самая мысль эта, пожалуй, не пришла бы мне в голову, не имей я с собой всего, что нужно для ее выполнения. Мы с вами одинакового роста, что делает больше чести вам, чем

мне, а у меня в мешке есть совсем новый костюм, который совершенно изменит вашу внешность. Вот история этого костюма: мне прислала его моя милая мама; думая сделать мне полезный подарок и желая, чтобы я был прилично одет, когда явлюсь в посольство на занятия с барышнями, она решила заказать у себя в деревне изящнейший костюм по нашей тамошней моде. Правда, костюм живописен и материя хорошая, вот увидите. Но представляете, какое впечатление я произвел бы в посольстве и каким взрывом смеха встретила бы меня племянница господина Метастазио, покажись я в этом деревенском казакине и в этих широчайших штанах с буфами! Я поблагодарил бедную маму за ее доброе намерение, а сам решил спустить костюм какому-нибудь нуждающемуся крестьянину или странствующему актеру. Вот почему я и захватил его с собой, но, к счастью, не нашел случая сбыть. Здешние жители утверждают, что костюм старомоден, и спрашивают, польский он или турецкий.

— А вот случай и подвернулся! — воскликнула, смеясь, Консуэло. Мысль ваша превосходна, и странствующая актриса вполне удовольствуется вашим турецким костюмом, брюки в котором, кстати, очень похожи на юбку.

Покупаю его у вас, правда, в долг, а еще лучше — с условием, что вы отныне становитесь кассиром нашей «шкатулки», как выражается, говоря о своей казне, прусский король, и будете оплачивать мои путевые расходы до Вены.

— Там видно будет, — проговорил Иосиф и положил кошелек в карман, с твердым намерением не брать за костюм денег. — Теперь остается убедиться, подойдет ли вам костюм. Я зайду вон в ту рощу, а вы идите за скалу: там сколько угодно места, и вы сможете переодеться спокойно и в полной безопасности.

— В таком случае выходите на сцену, — ответила Консуэло, указывая на рощу, — а я удалюсь за кулисы.

Не успел ее почтительный спутник, держа данное им слово, углубиться в рощу, как девушка, спрятавшись за скалу, занялась своим превращением. Когда Консуэло вышла из убежища и взглянула в воду источника, послужившего ей зеркалом, она не без некоторого удовольствия увидела в ней красивейшего крестьянского мальчика, какого когда-либо породила славянская раса. Ее тонкую и гибкую, как тростник, талию опоясывал широкий красный кушак, а стройная, словно у серны, ножка скромно выглядывала

повыше щиколотки из-под широких складок шаровар. Черные волосы, которые она упорно не пудрила, были острижены во время болезни и теперь кольцами вились вокруг ее лица. Она растрепала их рукой, придав прическе небрежный вид, подобающий молоденькому пастушку. Как актриса, Консуэло умела носить любой костюм, а мимический талант помог ей изобразить на лице простодушие и глупость деревенского парня; она настолько преобразилась, что к ней сразу вернулись беззаботность и мужество. Стоило Консуэло облечься в театральный костюм, как она вошла в роль, — обычное явление у актеров,

— она совершенно перевоплотилась в изображаемый ею персонаж, почувствовала себя беспечным, сильным и ловким мальчишкой, с удовольствием предающимся невинному бродяжничеству.

Ей пришлось трижды свистнуть, пока наконец Гайдн, ушедший в глубь рощи дальше, чем было нужно, не то из почтительности, не то из страха перед соблазном заглянуть в расщелину скалы, вернулся к ней. Увидев преображенную девушку, он вскрикнул от удивления и восторга; хотя он и ожидал увидеть ее изменившейся, однако в первую минуту едва поверил собственным

глазам. Это превращение поразительно красило Консуэло, и юному музыканту она показалась совсем иной.

Женская красота всегда возбуждает у юнцов двойственное чувство — удовольствия и страха; а одежда, придающая женщине даже в глазах людей искушенных, известную таинственность и загадочность, играет немалую роль в беспокойном томлении юноши. Иосиф был чист душой и, что бы ни говорили некоторые его биографы, юношей целомудренным и робким. Он был ослеплен, увидав Консуэло, спящую у источника, раскрасневшуюся от заливавших ее солнечных лучей, неподвижную, точно прекрасная статуя. Говоря с нею и слушая ее, он переживал дотоле не испытанное волнение, которое приписывал восторгу и радости столь счастливой встречи. Но сердце его учащенно билось все эти четверть часа, которые он провел вдали от нее в лесу, во время ее таинственного переодевания. Сейчас волнение снова охватило его, и, подходя к Консуэло, он решил скрыть под маской беспечности и веселости неизъяснимое томление, пробуждавшееся в его душе.

Столь удачная перемена одежды, словно и в самом деле превратившая девушку в юношу,

внезапно изменила также и душевное состояние Иосифа. На первый взгляд казалось, он был полон все того же братского порыва живейшей дружбы, неожиданно разгоревшейся между ним и его милым попутчиком. Та же жажда двигаться, видеть побольше новых мест, то же презрение опасностей, могущих встретиться на пути, та же заразительная веселость — все, что одушевляло в эту минуту Консуэло, захватило и его; и они легко, словно перелетные пташки, понеслись вперед по лесам и долам.

Однако, пройдя несколько шагов и заметив за плечом у Консуэло привязанный к палке узелок с вещами, к которым прибавилось только что снятое женское платье, Иосиф позабыл, что должен считать ее мальчиком. Между ними по этому поводу разгорелся спор: Консуэло доказывала, что он и так более чем достаточно нагружен своей дорожной котомкой, скрипкой и тетрадью «Gradus ad Pamassum»; Иосиф же решительно объявил, что положит узелок Консуэло в свою котомку, а она ничего нести не будет. Девушке пришлось уступить, но во имя правдоподобия ее роли и для соблюдения мнимого между ними равенства он согласился, чтобы Консуэло несла на перевязи его скрипку.

— Знаете, — говорила она ему, добиваясь этой уступки, — необходимо, чтобы у меня был вид вашего слуги или по крайней мере проводника, ибо я крестьянин, в чем невозможно усомниться, а вы — горожанин.

— Какой там горожанин, — отвечал, смеясь, Гайдн, — ни дать ни взять подмастерье парикмахера Келлера!

Юноша был немного огорчен, что не может показаться перед Консуэло в более изящном одеянии, чем его выцветший от солнца и несколько истрепавшийся в дороге костюм.

— Нет, — сказала Консуэло, желая утешить его, — у вас вид знатного юноши, который промотал денежки папаши и теперь возвращается в отчий дом с подручным своего садовника, соучастником его похождений.

— Мне кажется, нам лучше всего взять на себя роли, наиболее подходящие к нашему положению, — возразил Иосиф. — Мы можем выдавать себя только за тех, кем я, да и вы, являемся в данную минуту, — то есть за бедных странствующих актеров. А так как обычно этого сорта люди одеваются как могут, в то, что найдется или придется по карману, то нередко можно встретить трубадуров вроде нас, таскающих по дорогам обноски

какого-нибудь маркиза или солдата; отчего бы и нам с вами не носить — мне черный потертый костюм скромного учителишки, а вам — необычное в этом крае одеяние венгерского крестьянина? Хорошо даже в случае расспросов сказать, что мы недавно странствовали в тех местах. Я могу с видом знатока распространяться о знаменитом селе Рорау, никому не ведомом, и о великолепном городе Гаймбурге, до которого никому нет дела. Ну, а вас всегда выдаст ваше милое итальянское произношение, и вы хорошо сделаете, если не будете отрицать, что вы итальянец и певец по профессии.

— Кстати, нам надо с вами придумать себе прозвища, таков обычай. Ваше уже найдено: поскольку я итальянец, я буду звать вас Беппо, — это уменьшительное от Иосиф.

— Зовите как хотите. У меня то преимущество, что я не известен ни под каким именем. Вы — другое дело: вам непременно надо прозвище. Какое же вы себе выберете?

— Да первое попавшееся уменьшительное венецианское имя, хотя бы Нелло, Мазо, Ренцо, Дзото… О нет, только не это! — воскликнула она, когда у нее по привычке сорвалось с языка уменьшительное имя Андзолето.

— Почему же не это? — спросил Иосиф, уловивший, с какою страстностью она отказывалась от этого имени.

— Оно принесло бы мне несчастье. Говорят, есть такие имена.

— Ну, так как же мы окрестим вас?

— Бертони. Это распространенное итальянское имя и нечто вроде уменьшительного от Альберт.

— Синьор Бертони! Хорошо звучит, — проговорил Иосиф, силясь улыбнуться. Но то, что Консуэло вспомнила о своем знатном женихе, кинжалом вонзилось в его сердце; и, глядя, как она идет впереди него легкой, непринужденной походкой, он сказал себе в утешение: «А я ведь совсем забыл, что она — мальчишка!»

Глава 67

Вскоре они вышли на опушку леса и направились на юго-восток. Консуэло шла с непокрытой головой. Иосиф, видя, как солнце заливает яркой краской ее белое лицо, хотел, но не решался высказать ей по этому поводу свое огорчение. Шляпа на нем была далеко не новая, он не мог предложить ее девушке и, чувствуя, что ничем не в состоянии ей помочь, не решился заговорить об этом — только сунул шляпу под мышку, но таким резким движением, что это было замечено его спутницей.

— Вот странная фантазия! — заметила она. — Вы, должно быть, находите погоду пасмурной, а равнину тенистой? Это напоминает мне о том, что моя собственная голова не покрыта. А поскольку я не всегда была избалована благами жизни, мне пришлось научиться самыми разными способами добывать их себе без особых расходов. Говоря это, она сорвала ветку дикого винограда и согнула ее в виде венка — получилась шляпа из зелени.

«Вот теперь она снова перестала быть юно-

шей, — подумал Иосиф, — и становится похожей на музу».

Они проходили селом; заметив лавку, где продается всякая всячина, Иосиф поспешно вошел в нее, — Консуэло даже в голову не пришло зачем, — и вскоре вышел, держа в руке простенькую соломенную шляпу с широкими, приподнятыми с боков полями, какие носят крестьяне придунайских долин.

— Если вы начнете так роскошествовать, — сказала она, надевая это приобретение, — то мы, пожалуй, останемся с вами без хлеба к концу нашего путешествия.

— Вам остаться без хлеба! — с живостью воскликнул Иосиф. — Да я лучше стану просить милостыню у прохожих, кувыркаться на площадях, зарабатывать медяки… вообще уж и не знаю, что еще! Нет! Нет! Со мной вы ни в чем не будете нуждаться! — И, видя, что его пылкая речь несколько удивляет Консуэло, он прибавил, стараясь умерить свои добрые чувства: — Подумайте только, синьор Бертони, ведь вся моя будущность зависит от вас, моя судьба в ваших руках, и в моих интересах доставить вас целой и невредимой к маэстро Порпоре.

У Консуэло даже не возникло мысли о том, что

ее спутник может внезапно в нее влюбиться. Целомудренным и простодушным женщинам редко приходят в голову подобные предположения, появляющиеся зато у кокеток при каждой встрече, — быть может потому, что те всегда жаждут, чтобы в них влюблялись. Кроме того, очень молодая женщина обычно смотрит на мужчину своего возраста как на мальчика. Консуэло была на два года старше Гайдна, а он был так мал и тщедушен, что ему с трудом можно было дать лет пятнадцать. Она прекрасно знала, что на самом деле он старше, но ей и на ум не приходило, что его воображение и чувства уже пробудились для любви. Однако, остановившись передохнуть и полюбоваться чудесным видом, какие встречаются на каждом шагу в этой горной местности, она заметила необычайное волнение своего спутника и перехватила его взгляд, прикованный к ней в каком-то экстазе.

— Что с вами, друг Беппо? — наивно спросила она. — Вы как будто чем-то расстроены, и я не могу отделаться от мысли, что я вас стесняю.

— Не говорите так! — горестно воскликнул он. — Неужели вы такого плохого мнения обо мне и отказываете мне в доверии и в дружбе? А ведь я охотно отдал бы за вас жизнь.

— В таком случае не грустите, если только у вас нет повода к печали, которым вы не поделились со мной.

Иосиф впал в мрачное молчание, и они долго так шли, пока он не нашел в себе силы прервать его. Постепенно юноша приходил все в большее и большее смущение: он боялся, что тайна его будет разгадана, но никак не мог найти темы для возобновления разговора. Наконец, сделав над собой огромное усилие, он проговорил:

— Знаете, о чем я серьезно подумываю?

— Нет, не догадываюсь, — ответила Консуэло, все это время погруженная в собственные думы и не находившая ничего странного в его молчании.

— Я шел и думал: вот бы хорошо поучиться у вас итальянскому языку, если только вам это не скучно. Прошлой зимой я начал изучать этот язык по книгам, но так как произношение перенять мне было не у кого, я не осмелюсь вымолвить при вас ни слова. Между тем я понимаю все, что читаю, и если бы во время нашего путешествия вы потрудились заставить меня стряхнуть с себя ложный стыд и поправляли бы меня на каждом слове, мне кажется, что при моем музыкальном слухе труд ваш не пропал бы даром.

— О! С огромным удовольствием! — воскликнула Консуэло. — Я люблю, когда люди не теряют ни одной драгоценной минуты жизни, чтобы пополнять свои знания, а так как, преподавая, учишься сам, то нам обоим, несомненно, будет полезно поупражняться в произношении этого в высшей степени музыкального языка. Вы считаете меня итальянкой; на самом деле это не так, хотя я и говорю по-итальянски почти без акцента. По-настоящему же хорошо я произношу слова только в пении. И когда мне захочется донести до вас всю гармонию итальянских звуков, я буду петь трудные слова. Убеждена, что плохое произношение только у тех, у кого нет слуха. Если ухо ваше в совершенстве улавливает оттенки, то правильно повторить их — дело памяти.

— Значит, это будет одновременно и урок итальянского языка и урок пения! — воскликнул Иосиф.

«И урок, который будет длиться целых пятьдесят миль! — с восторгом подумал он. — Ей-ей! Да здравствует искусство, наименее опасное из всех страстей!»

Урок начался тотчас же, и Консуэло, которая сперва с трудом удерживала смех всякий раз, как Иосиф произносил что-нибудь по-итальянски,

вскоре стала восхищаться легкостью и тщательностью, с какими он исправлял свои ошибки. Между тем юный музыкант, страстно желая услышать голос артистки и видя, что повода к этому все не появляется, пустился на хитрость. Притворившись, будто ему не удается придать итальянскому «а» должную ясность и четкость, он пропел одну мелодию Лео, где слово «felicita» повторялось несколько раз. Консуэло, не останавливаясь и нисколько не задыхаясь, словно сидя у себя за роялем, тотчас же пропела эту фразу несколько раз подряд. При звуке ее голоса, с которым не мог сравниться ни один голос того времени, — сильного, проникающего в самую душу, — дрожь пробежала по телу Иосифа, и он с возгласом восторга судорожно сжал руки.

— Теперь ваш черед, попробуйте! — проговорила Консуэло, не замечая его восторженного состояния.

Гайдн пропел фразу, да так хорошо, что его молодой учитель захлопал в ладоши.

— Превосходно! — сказала ему Консуэло искренним, сердечным тоном. Вы быстро усваиваете, и голос у вас чудесный.

— Можете говорить об этом что угодно, но сам я никогда не смогу вымолвить о вас ни единого

слова.

— Да почему же? — спросила Консуэло.

Тут, повернувшись, она заметила на глазах его слезы; он стоял, до хруста сжав пальцы, как это делают шаловливые дети и страстно увлеченные мужчины.

— Давайте прекратим пение, — сказала она, — вон навстречу нам едут всадники.

— Ах, боже мой! Да, да! Молчите! — воскликнул вне себя Иосиф. — Не нужно, чтобы они вас слышали, а то сейчас же спрыгнут с коней и падут ниц перед вами!

— Этих страстных любителей музыки я не боюсь — это мясники, которые везут позади себя, на крупе, телячьи туши.

— Ах! Надвиньте ниже шляпу, отвернитесь! — ревниво вскричал Иосиф, подходя к ней ближе. — Пусть они вас не слышат и не видят! Никто, кроме меня, не должен ни видеть, ни слышать вас!

Остаток дня прошел в серьезных занятиях вперемежку с ребяческой болтовней. Упоительная радость заливала взволнованную душу Иосифа, и он никак не мог решить — самый ли он трепещущий из влюбленных или самый ликующий из поклонников искусства. Консуэло, казавшаяся ему то лучезарным кумиром, то чудесным

товарищем, заполняла всю его жизнь, преображала все его существо. Под вечер он заметил, что она едва плетется, — усталость взяла верх над ее веселым настроением. Невзирая на частые привалы под тенью придорожных деревьев, она уже несколько часов чувствовала себя совсем разбитой. Но именно этого она и добивалась. Не будь у нее даже необходимости как можно скорей покинуть этот край, она и тогда стремилась бы усиленным движением, напускной веселостью отвлечься от своей душевной муки. Первые вечерние тени, придавая пейзажу грустный вид, пробудили в девушке мучительные чувства, с которыми она так мужественно боролась. Ей рисовался мрачный вечер в замке Исполинов и предстоящая Альберту, быть может, ужасная ночь. Подавленная своими мыслями, она невольно остановилась у подножья большого деревянного креста, водруженного на вершине голого пригорка и, очевидно, отмечавшего место свершения какого-то чуда или злодейства, память о котором сохранило предание.

— Увы! Вы очень устали, хоть и стараетесь не показывать вида, — заметил, обращаясь к ней, Иосиф. — Но до привала рукой подать: я уже вижу там, в глубине ущелья, огоньки какой-то

деревушки. Вы, пожалуй, думаете, что у меня не хватит сил понести вас, а между тем, если б вы только пожелали…

— Дитя мое, — улыбаясь, ответила она ему, — вы уж очень кичитесь тем, что вы мужчина. Пожалуйста, не смотрите так свысока на то, что я женщина, и поверьте, сейчас у меня больше сил, чем осталось у вас самого. Я запыхалась, взбираясь по тропинке, вот и все; а если я остановилась, то потому лишь, что мне захотелось петь.

— Слава богу! — воскликнул Иосиф. — Пойте же здесь, у подножия креста, а я стану на колени… Ну, а если пение еще больше утомит вас?..

— Это не будет долго, — сказала Консуэло, — но у меня явилась фантазия пропеть один стих гимна, который я пела с матерью утром и вечером, когда нам попадалась среди полей часовня или крест, водруженный, как вот этот, у перекрестка четырех дорог. Однако причина, побуждавшая Консуэло запеть, была еще романтичнее, чем она это изобразила. Думая об Альберте, она вспомнила о его, можно сказать, сверхъестественной способности видеть и слышать на расстоянии. Она живо вообразила себе, что в эту самую минуту он думает о ней, а быть может, даже и видит ее. И, полагая облегчить его муку, общаясь с ним

через пространство и ночь посредством любимой им песни, Консуэло взобралась на камни, служившие основанием кресту, и, повернувшись в ту сторону горизонта, где должен был находиться замок Ризенбург, полным голосом запела стих из испанской духовной песни: «O Consuelo de mi alma…» «Боже мой, боже мой! — сказал себе Гайдн, когда она умолкла.

— До сих пор я не слышал пения, я не знал, что значит петь! Да разве бывают человеческие голоса, подобные этому голосу? Услышу ли я когда-нибудь что-либо похожее на полученное сегодня откровение? О музыка! Святая музыка! О гений искусства! Как ты воспламеняешь меня и как устрашаешь!»

Консуэло спустилась с камня, на котором она стояла словно мадонна; в прозрачной синеве ночи отчетливо вырисовывался ее изящный силуэт. В порыве вдохновения она, в свою очередь, подобно Альберту, вообразила, что сквозь леса, горы и долины видит его: он сидел на Шрекенштейне, спокойно, покорно, преисполненный святой надежды. «Он слышал меня, — подумала она, — узнал мой голос и свою любимую песню; он понял меня и теперь вернется в замок, поцелует отца и спокойно уснет».

— Все идет прекрасно, — сказала она Иосифу, не замечая его неистового восторга.

Сделав несколько шагов, она вернулась и поцеловала грубое дерево креста. Быть может, в этот самый миг Альберт, в силу странного, непонятного дара восприятия, ощутил как бы электрический толчок, смягчивший напряженность его мрачного состояния и внесший в самые таинственные глубины его души блаженное умиротворение. Возможно, что именно в эту минуту он и впал в тот глубокий и благотворный сон, во время которого, к своей великой радости, застал его на рассвете следующего дня страшно беспокоившийся отец.

Деревушка, огоньки которой наши путники заметили в темноте, в действительности оказалась обширной фермой, где их гостеприимно встретили. Семья добрых землепашцев ужинала под открытым небом, у порога своего дома, за грубым деревянным столом, куда и их усадили охотно, но без особого радушия. Их ни о чем не спрашивали, едва даже удостоили взгляда. Эти славные люди, утомленные долгим и знойным рабочим днем, ели молча, наслаждаясь простой обильной пищей. Консуэло нашла ужин превосходным и отдала ему должное, а Иосиф, забывая

о пище, глядел на бледное благородное лицо Консуэло, выделявшееся среди грубых загорелых лиц крестьян, кротких и тупых, как у волов, что паслись на траве вокруг них, пережевывая пищу с неменьшим шумом, чем их хозяева.

Каждый из ужинающих, насытившись и сотворив крестное знамение, уходил спать, предоставляя более здоровым предаваться застольным наслаждениям сколько им заблагорассудится. Как только мужчины встали из-за стола, ужинать сели прислуживавшие им женщины вместе с детьми. Более живые и любопытные, они задержали юных путешественников и засыпали их вопросами. Иосиф взял на себя труд угощать их заранее заготовленными на такой случай сказками, которые, в сущности, не так уж далеки были от истины: он выдавал себя и своего товарища за бедных странствующих музыкантов. — Какая жалость, что сегодня не воскресенье, — заметила самая молоденькая из женщин, — мы бы с вашей помощью устроили танцы.

Они заглядывались вовсю на Консуэло, принимая ее за красавца юношу, а та, следуя взятой на себя роли, кидала на них смелые, вызывающие взгляды. Вначале она было вздохнула, представляя себе всю прелесть этих патриархальных

нравов, таких далеких от ее беспокойной бродячей жизни. Но, увидя, как бедные женщины стоят позади мужей, прислуживая им, а затем весело доедают их объедки, одни — кормя грудью малюток, другие, словно прирожденные рабыни, — кормя своих сыновей-мальчуганов, обслуживая прежде всего их, а потом уже дочерей и самих себя, — она поняла, что эти добрые земледельцы всего лишь дети голода и нужды: самцы — прикованные к земле рабы плуга и скота, и самки, прикованные к хозяину, то есть к мужчине, — затворницы, вечные рабыни, обреченные трудиться без отдыха да еще переживать волнения и муки материнства. С одной стороны — владелец земли, угнетающий того, кто на ней работает, или облагающий его такими поборами, что крестьянин за свой тяжкий труд не имеет даже самого необходимого; с другой стороны — скупость и страх, передающиеся от хозяина к арендатору и обрекающие последнего сурово и скаредно относиться к своей семье и собственным нуждам. И тут это мнимое благополучие стало казаться ей отупением от несчастья или оцепенением от усталости; и она сказала себе, что лучше быть артистом или бродягой, чем владельцем поместий и крестьянином, ибо с обладанием

как земли, так и снопа, связаны и несправедливая тирания и мрачное порабощение алчностью.

— Viva la libertal — сказала она Иосифу по-итальянски, в то время как женщины шумно мыли и убирали посуду, а немощная старуха, словно автомат, вертела прялку.

К своему удивлению, Иосиф услышал, что некоторые крестьянки кое-как болтают по-немецки. Он узнал от них, что глава семьи, хоть и крестьянин по виду, является дворянином по происхождению, что он получил некоторое образование и в молодости обладал небольшим состоянием, но война за австрийское наследство совершенно разорила его и, не видя другого выхода, чтобы поднять свое многочисленное семейство, он стал фермером соседнего аббатства. Это аббатство страшно обирало его, он только что выплатил за «архиерейское право на митру» — то есть налог, взимаемый имперским казначейством с религиозных общин при каждой смене духовного лица. Фактически этот налог уплачивался только вассалами и арендаторами церковных владении сверх собственных их повинностей и других мелких поборов. Рабочие, трудившиеся на ферме, были крепостными, но отнюдь не считали себя более несчастными, чем их хозяин. Коронным откуп-

щиком был еврей. Его выпроводили из аббатства, которое он донимал, и он взялся за землепашцев, терпевших от него еще больше, чем от аббатства; этим утром он как раз потребовал у них сумму, составлявшую сбережения нескольких лет. Притесняемый и католическими священниками и евреями — сборщиками податей, бедный землепашец не знал, кого из них больше ненавидеть и бояться.

— Видите, Иосиф, — сказала Консуэло своему товарищу, — не была ли я права, говоря, что лишь мы с вами богаты в этом мире? Ведь мы не платим налогов за свои голоса и работаем только когда нам вздумается.

Настало время ложиться спать. Консуэло была до того утомлена, что заснула на скамейке у входа. Иосиф воспользовался этой минутой и попросил хозяйку предоставить им по кровати.

— Кровати, дитя мое? — воскликнула она, улыбаясь. — Хорошо, если мы сможем дать вам одну, а вы уж как-нибудь устроитесь на ней вдвоем.

Этот ответ заставил покраснеть бедного Иосифа. Он взглянул на Консуэло, но, увидев, что она ничего не слыхала, преодолел свое волнение.

— Мой товарищ очень утомился, и если вы сможете уступить ему хоть какую-нибудь кровать,

мы за нее заплатим, сколько вы пожелаете. Мне же довольно угла в риге или коровнике.

— Ну, если этому мальчику нездоровится, то мы из человеколюбия дадим ему кровать в общей комнате — три дочери наши лягут вместе на одной; но скажите вашему товарищу, чтобы он вел себя смирно и прилично, а то мой муж и зять спят в той же комнате и быстро сумеют его образумить.

— Я отвечаю за скромность и порядочность моего товарища, только надо узнать, не предпочтет ли он спать на сене, чем в комнате, где так много народу.

И вот бедному Иосифу поневоле пришлось разбудить синьора Бертони, чтобы сообщить ему о предложении хозяйки. Против его ожидания Консуэло вовсе не испугалась; она нашла, что раз девушки спят в одной комнате с отцом и зятем, то и ей будет там безопаснее, чем где-либо в другом месте, и, пожелав покойной ночи Иосифу, она проскользнула за четыре коричневые шерстяные занавески, скрывавшие указанную ей кровать, и там, едва успев раздеться, заснула крепчайшим сном.

Глава 68

Проспав несколько часов в тяжелом оцепенении, Консуэло проснулась от какого-то непрекращающегося шума. С одной стороны старуха бабушка, чья кровать почти касалась ее кровати, надрывалась от пронзительного, раздирающего кашля; с другой стороны молодая женщина кормила грудью ребенка и убаюкивала его пением; храп мужчин напоминал рычание; маленький мальчик плакал, ссорясь со своими тремя братьями, лежавшими на одной с ним постели; женщины поднялись, чтобы утихомирить их, и своими выговорами и угрозами наделали еще больше шума. Беспрерывное движение, детские крики, грязь, вонь, удушливый воздух, наполненный густыми, смрадными испарениями, стали до того противны Консуэло, что терпеть дольше она была не в силах. Одевшись потихоньку, она дождалась минуты, когда все угомонились, вышла из дома и принялась отыскивать уголок, где бы можно было поспать до утра: ей казалось, что она лучше заснет на свежем воздухе. Всю прошлую ночь она шла и потому не заметила

холода, хотя климат этого горного края был гораздо суровее, чем в окрестностях Ризенбурга, да и сама она была в подавленном состоянии, противоположном тому возбуждению, в котором убегала из замка. Консуэло почувствовала озноб, и вообще ей ужасно нездоровилось. Со страхом стала она думать о том, что раз с самого начала ей так плохо, то, пожалуй, она не выдержит, если придется несколько дней кряду идти, а потом еще не спать ночью. Хотя она и упрекала себя в том, что привыкла к роскоши замка и стала «принцессой», но в этот миг за час хорошего сна отдала бы остаток жизни.

Не смея вернуться в дом из боязни разбудить и потревожить хозяев, она стала разыскивать вход в ригу, но вместо нее наткнулась на полуоткрытую дверь коровника и ощупью пробралась в него. Там царила глубочайшая тишина. Считая помещение пустым, Консуэло растянулась в яслях, полных соломы, теплота и здоровый запах которой показались ей восхитительными.

Она начинала было уже засыпать, когда почувствовала на лбу чье-то горячее, влажное дыхание, тотчас же исчезнувшее, затем послышалось сильное сопение и как бы сдавленное проклятие. Придя в себя от испуга, Консуэло разглядела в

предрассветных сумерках удлиненные контуры и два страшных рога над своей головой, — то была красавица корова, которая, просунув голову сквозь решетку и удивленно обнюхав девушку, с ужасом отшатнулась. Консуэло забилась подальше в угол, чтобы не мешать животному, и преспокойно заснула. Ухо ее скоро привыкло ко всем звукам хлева: к лязгу цепей, задевающих о кольца, к мычанию коров, к трению рогов о дерево яслей. Она не проснулась даже, когда работницы пришли выгонять коров во двор, чтобы на открытом воздухе подоить их. Хлев опустел. В углу, куда забилась Консуэло, было так темно, что ее не заметили, и солнце уже встало, когда она открыла глаза. Утопая в соломе, Консуэло еще несколько минут наслаждалась своим благополучием и радовалась, чувствуя себя отдохнувшей и окрепшей, готовой снова легко и беззаботно пуститься в путь. Выскочив из яслей, чтобы разыскать Иосифа, она тут же увидела его: он сидел на яслях напротив.

— Вы причинили мне немало беспокойства, дорогой синьор Бертони, — сказал он. — Когда девушки сообщили мне, что вас нет в комнате и они не знают, куда вы девались, я принялся повсюду вас искать и, наконец, отчаявшись, пришел сюда,

где и провел ночь; и вот, к своему великому удивлению, нашел вас здесь. Я вышел из дому, когда еще только светало, и не представлял себе, что вы находитесь в куче соломы, под носом у этих животных, которые могли вас поранить. Право, синьора, вы слишком отважны и совсем не думаете об опасностях, которым себя подвергаете.

— Какие опасности, милый мой Беппо? — с улыбкой спросила Консуэло, протягивая ему руку. — Эти славные коровы не такие уж свирепые животные, и я напугала их больше, чем они меня.

— Но, синьора, — понизив голос, возразил Иосиф, — вы среди ночи забираетесь в первое попавшееся место. Другие люди, помимо меня, могли быть в этом хлеву — какой-нибудь грубый холоп или бродяга, менее почтительный, чем ваш верный и преданный Беппо. Подумайте только, если бы вместо тех яслей, где вы спали, вы попали в соседние и в них вместо меня разбудили бы какого-нибудь солдата или неотесанного мужика!

Консуэло покраснела при мысли, что спала так близко от Иосифа и совершенно наедине с ним, в потемках, но это смущение только усилило ее доверие и дружбу к славному юноше.

— Видите, Иосиф, — промолвила она, — небо

не покидает меня и в моем безрассудстве, раз оно привело меня к вам. Провидение вчера утром послало мне встречу с вами у источника, когда вы предложили мне хлеб, доверие и дружбу. Оно же этой ночью отдало под вашу защиту и мой беспечный сон. Тут она со смехом рассказала ему, как скверно провела ночь в общей комнате с шумной семьей фермера и как хорошо и покойно было ей среди коров. — Значит, правда, — заметил Иосиф, — что у скота и помещение лучше и нравы менее грубы, чем у ухаживающего за ним человека.

— Как раз об этом думала и я, засыпая в яслях. Эти животные не возбудили во мне ни страха, ни отвращения; и я упрекала себя в том, что приобрела такие аристократические привычки, — теперь общество мне подобных и соприкосновение с бедностью стали для меня положительно невыносимы. Тому, кто рожден в нищете, не следовало бы, встретившись снова с нуждой, чувствовать то презрительное отвращение, которому я поддалась. И если сердце не испорчено в атмосфере богатства, откуда эта изнеженность, которая понудила меня сегодня ночью сбежать от зловония и жары, суетни и гомона этого человеческого выводка?

— Дело в том, что опрятность, чистый воздух и порядок в доме — законная и настоятельная потребность всех избранных натур, — ответил Иосиф. — Кто рожден артистом, тому свойственно чувство прекрасного, чувство добра и отвращения ко всему грубому и безобразному. А нищета безобразна. Я тоже крестьянин, и родители мои родили меня под соломенной крышей, но они врожденные артисты. В нашем крохотном бедном домике чисто, он хорошо обставлен. Правда, наша бедность граничила с довольством, тогда как крайняя нужда, быть может, заглушает все, даже самое желание сделать свою жизнь лучше.

— Бедные люди! — проговорила Консуэло. — Будь я богата, сейчас бы выстроила им дом, а если бы была королевой, то избавила бы их от всех этих налогов, монахов, евреев, которые их донимают!

— Будь вы богаты, вы и не подумали бы об этом, а родясь королевой, не возымели бы подобного желания. Уж таков мир.

— Значит, мир очень плох.

— К несчастью, да! Не будь музыки, уносящей душу в мир идеала, человеку, сознающему, что происходит в земной юдоли, пришлось бы убить себя. — Убить себя легко, но это полезно только

самому самоубийце. Нет, Иосиф, нужно и богатому оставаться человечным.

— А так как это, по-видимому, невозможно, то следовало бы по крайней мере всем беднякам быть артистами.

— Совсем неплохая мысль, Иосиф! Если бы все несчастные понимали и любили искусство настолько, что смогли бы опоэтизировать нищету, тогда сами собой исчезли бы грязь, отчаяние, самоунижение и богачи не позволяли бы себе так попирать ногами и презирать бедняков. Все-таки к артистам чувствуют некоторое уважение.

— Мм… вы первый человек, подавший мне такую мысль! — воскликнул Гайдн. — Стало быть, у искусства могут быть задачи очень серьезные, очень полезные для человечества?..

— А вы думали до сих пор, что оно является только развлечением?

— Нет, но я считал его болезнью, страстью, грозой, бушующей в сердце, пламенем, загорающимся в нас и переходящим от нас к другим… Если вы знаете, что такое искусство, скажите мне.

— Скажу тогда, когда это для меня самой станет ясно. Но можете не сомневаться, Иосиф: искусство — великая вещь. А теперь идем; и смотрите,

не забудьте скрипки — вашего единственного достояния, источника вашего будущего богатства.

И они принялись укладывать провизию для легкого завтрака, решив насладиться им на травке в каком-нибудь романтическом уголке. Когда Иосиф вытащил кошелек, чтобы расплатиться, хозяйка улыбнулась и без всякого жеманства решительно отказалась от денег. Как ни уговаривала ее Консуэло, женщина была непреклонна; она даже следила за своими юными гостями, чтобы они не сунули потихоньку детям какой-нибудь монеты.

— Не забывайте, — сказала она наконец с некоторым высокомерием Иосифу, продолжавшему настаивать, — что мой муж от рождения дворянин и, поверьте, несчастье не унизило его до того, чтобы брать деньги за оказанное гостеприимство.

— Такая гордость кажется мне слегка преувеличенной, — заметил Иосиф своей спутнице, когда они вышли на дорогу, — в ней, пожалуй, больше спеси, чем любви к ближнему.

— А я вижу в этом только любовь к ближнему. Мне очень стыдно, и сердце мое наполняется раскаянием при мысли, что я, видите ли, не смогла примириться с неудобствами этого дома, где не

побоялись обременить и осквернить себя присутствием такого бродяги, как я. Ах, проклятая утонченность! Дурацкая изнеженность балованных детей! Ты — недуг, ибо делаешь здоровыми одних в ущерб другим!

— Вы слишком близко принимаете к сердцу все, что происходит на нашей земле, — проговорил Иосиф. — Мне кажется, такая великая артистка, как вы, должна быть хладнокровнее и безразличнее ко всему, что не имеет отношения к ее профессии. В трактире в Клатау, где я услышал про вас и про замок Исполинов, говорили, что граф Альберт Рудольштадт, при всех своих странностях, великий философ. Вы почувствовали, синьора, что нельзя одновременно быть артистом и философом, потому-то вы и обратились в бегство. Не думайте так много о человеческих бедствиях, лучше вернемся к нашим вчерашним занятиям.

— Охотно, но, прежде чем начать, позвольте вам заметить, что граф Альберт хоть и философ, а куда более великий артист, чем мы с вами.

— Правда? Значит, у него есть все, чтобы быть любимым! — вздохнув, проговорил Иосиф.

— Все, на мой взгляд, кроме бедности и низкого происхождения, — ответила Консуэло.

Незаметно для себя, подкупленная вниманием со стороны Иосифа, подзадориваемая его

наивными вопросами, которые он задавал дрожащим голосом, она увлеклась и довольно долго и с удовольствием рассказывала ему о своем женихе. Обстоятельно отвечая на каждый вопрос, она постепенно поведала ему о всех особенностях чувства, внушенного ей Альбертом. Быть может, столь исключительное доверие к юноше, с которым она познакомилась только накануне, было бы неуместным при всяких других обстоятельствах. И действительно, только столь необычные обстоятельства могли породить его. Как бы то ни было, Консуэло поддалась непреодолимой потребности самой припомнить все достоинства своего жениха и поверить их дружескому сердцу. И, рассказывая, девушка с удовлетворением, подобным тому, какое испытываешь пробуя свои силы после серьезной болезни, поняла, что любит Альберта больше, чем думала, когда обещала ему приложить все старания, чтобы любить только его одного. Теперь, вдали от него, Консуэло могла дать волю своему пылкому воображению, и все, что было в характере Альберта прекрасного, благородного, достойного, представало перед ней в более ярком свете, ибо над ней уже не тяготе-

ла необходимость принять слишком поспешно бесповоротное решение. Гордость девушки не страдала больше, раз ее не могли обвинить в честолюбии; она бежала, отказалась от всех благ, связанных с этим браком, и могла, не стесняясь и не краснея, отдаться любви, властно овладевшей ее душой. Имя Андзолето ни разу не сорвалось с ее языка, и она с радостью заметила, что ей даже в голову не пришло упомянуть о нем, когда она рассказывала Иосифу о своем пребывании в Богемии.

Излияния эти, быть может, неуместные и безрассудные, оказались чрезвычайно своевременными. Иосиф понял, насколько душа Консуэло серьезно захвачена любовью, и смутные надежды, невольно зародившиеся в нем, рассеялись как сон, — юноша постарался заглушить в себе даже самое воспоминание о них. Наговорившись вволю, оба приумолкли и часа два шли, не проронив ни слова. Иосиф твердо решил отныне видеть в своей спутнице не очаровательную сирену или опасного, загадочного товарища по скитаниям, а только великую артистку и благородную женщину, чья дружба и советы могли самым благотворным образом повлиять на всю его жизнь.

Горя желанием ответить откровенностью на

откровенность, а также стремясь создать двойную преграду собственным пылким чувствам, он открыл ей свою душу и рассказал, что также не свободен и, можно сказать, даже является женихом. Роман Гайдна был не столь поэтичен, как роман Консуэло, но тому, кто знает его конец, известно, что он был не менее чист и не менее благороден. Юноша питал дружеские чувства к дочери своего великодушного хозяина, парикмахера Келлера, и тот, заметив их невинную любовь, сказал ему однажды:

— Иосиф, я доверяю тебе. Ты, кажется, любишь мою дочь, и она, вижу, неравнодушна к тебе. Если ты так же честен, как трудолюбив и признателен, то, став на ноги, будешь моим зятем.

Преисполненный горячей благодарности, Иосиф дал слово и, хотя нисколько не был влюблен в свою невесту, считал себя связанным на всю жизнь.

Рассказывал он об этом с грустью, которую был не в силах победить, сравнивая свое положение с упоительными мечтами, ибо от мечтаний этих ему приходилось отказываться. Консуэло же увидела в этой грусти симптом глубокой, непреодолимой любви к дочери Келлера. Гайдн не посмел разубеждать ее, а ее уважение, ее уверен-

ность в порядочности и чистоте Беппо благодаря этому только выросли.

Итак, их путешествие протекало спокойно, не сопровождаясь опасными вспышками, какие вполне возможны, когда юноша и девушка, оба приятные, умные, проникнутые взаимной симпатией, отправляются в двухнедельное странствование в условиях полной свободы. Хотя Иосиф и не любил дочери Келлера, он предоставил Консуэло принимать честное отношение к данному им слову за верность любящего сердца; подчас в груди его бушевала буря, но он так умел с нею справляться, что целомудренная его спутница, отдыхая под охраной юноши, который, точно верный пес, оберегал ее глубокий сон на вереске в чаще леса, шагая с ним рядом по пустынным дорогам, вдали от человеческого взора, ночуя часто в одной с ним риге или пещере, ни разу не заподозрила ни его внутренней борьбы, ни величия его победы над собой. Когда в старости Гайдн прочел первые книги «Исповеди» Жан-Жака Руссо, он улыбнулся сквозь слезы, вспомнив свое путешествие с Консуэло по Богемскому Лесу, где спутниками их были трепетная любовь и благоговейное целомудрие.

Но однажды добродетель юного музыканта

все же подверглась тяжкому испытанию. Когда погода была хорошей, дорога легкой и луна ярко светила, они шли ночью, ибо это был наилучший и самый надежный способ путешествия, избавлявший от риска набрести на неудачный ночлег; а днем они делали привал в каком-нибудь тихом, укромном местечке, где и проводили время, высыпаясь, обедая, болтая и занимаясь музыкой. Как только с наступлением вечера начинало тянуть холодком, они, поужинав и собрав вещи, пускались в путь и шли до рассвета. Таким образом они избегали утомительной ходьбы в жару, любопытных взоров, грязи постоялых дворов и траты денег. Но когда дождь, зачастивший в возвышенной части Богемского Леса, где берет свое начало Молдава, заставлял их искать приюта, они укрывались где только могли — то в хижине крестьянина, то в сарае какой-нибудь вотчины. Они старались не останавливаться в харчевнях, где, конечно, могли бы легче найти приют, желая избежать неприятных встреч, скандалов, грубых намеков. И вот как-то вечером, укрываясь от грозы, они зашли в хижину к пастуху, пасшему коз, который, увидев гостей, лишь гостеприимно зевнул и, указав на овчарню, проговорил:

— Ступайте на сеновал.

Консуэло, по обыкновению, забилась в самый темный угол, а Иосиф собирался было устроиться поодаль в другом углу, но наткнулся на ноги спящего человека, который грубо огрызнулся. Вслед за проклятиями, которые спросонок пробормотал спящий, послышались еще и ругательства. Иосиф, испугавшись подобной компании, нашел Консуэло и схватил ее за руку, боясь, как бы кто-нибудь не лег между ними. Сначала они хотели было тотчас же уйти, но дождь лил как из ведра по дощатой крыше сарая, да к тому же все снова заснули.

— Останемся, пока не пройдет дождь, — прошептал Иосиф. — Вы можете спать спокойно: я не сомкну глаз и буду рядом. Никому в голову не придет, что тут женщина. Но как только погода станет более или менее сносной, я вас разбужу, и мы удерем отсюда.

Консуэло далеко не успокоилась, но уйти теперь было, пожалуй, еще опаснее. Пастух и его гости могли обратить внимание на то, что молодые люди боятся оставаться с ними. Это могло показаться им подозрительным, и, возникни у них злые намерения, они могли пуститься по следам двух путников, чтобы напасть на них. Взвесив все это, Консуэло притихла, но под вли-

янием вполне понятного страха просунула руку под руку Иосифа, неусыпная заботливость которого внушала ей доверие.

Оба не спали и, когда дождь перестал, собрались было уходить, как вдруг услышали, что незнакомцы зашевелились, встали и принялись тихонько переговариваться на каком-то непонятном наречии. Подняв и взвалив на плечи тяжелый груз, люди вышли, обменявшись с пастухом несколькими словами по-немецки, из которых Иосиф заключил, что они занимаются контрабандой и хозяин посвящен в это. Была полночь, всходила луна, и Консуэло при свете ее лучей, косо падавших в полуоткрытую дверь, уловила блеск оружия в тот момент, когда контрабандисты прятали его под свои плащи. Почти тотчас сарай опустел: пастух оставил ее вдвоем с Гайдном — он ушел вместе с контрабандистами, чтобы проводить их по горным тропинкам и указать переход через границу, известный, по его словам, ему одному.

— Только вздумай подвести нас! При первом же подозрении я раскрою тебе череп, — сказал ему один из этих людей с очень энергичным, суровым лицом.

То были последние слова, слышанные Кон-

суэло. Под мерными шагами контрабандистов гравий хрустел еще несколько минут, но затем шум соседнего ручья, вздувшегося от ливня, заглушил их шаги, и они замерли вдали.

— Мы напрасно боялись их, — проговорил Иосиф, не выпуская руки Консуэло и все еще прижимая ее к своей груди, — эти люди больше нашего избегают человеческих глаз.

— Вот потому-то мы с вами и подвергались, по-моему, известной опасности, — ответила Консуэло. — Вы хорошо сделали, что не ответили на их ругательства, наткнувшись на них в темноте: они приняли вас за своего. Иначе они, пожалуй, заподозрили бы в нас шпионов, и нам не поздоровилось бы. Но теперь, слава богу, бояться нечего, наконец-то мы одни.

— Спите, — сказал Иосиф, почувствовав, к своему немалому огорчению, что Консуэло отпустила его руку. — Я не засну, и с зарей мы уйдем отсюда.

Консуэло устала больше от страха, чем от ходьбы; она так привыкла спать под защитой своего друга, что не замедлила уснуть. Но Иосиф, также привыкший после волнений засыпать подле нее, на этот раз не смог ни на минуту забыться. Рука Консуэло, целых два часа подряд дрожавшая в

его руке, волнение, вызванное страхом и ревностью и пробудившее со всею силой его любовь, последние слова, которые, засыпая, пробормотала Консуэло: «Наконец-то мы одни», — все это всколыхнуло задремавшую в нем было страсть. Вместо того чтобы из уважения к Консуэло уйти, по обыкновению, в глубь сарая, он, видя, что она замерла и не шелохнется, остался подле нее; сердце его так громко колотилось, что, не усни Консуэло, она услышала бы его удары. Все волновало его: унылый шум ручья, стон ветра в елях, лунные лучи, пробивавшиеся сквозь щели крыши и падавшие на бледное, обрамленное черными кудрями лицо Консуэло, и, наконец, то жуткое и грозное, что сообщается природой сердцу человеческому, когда жизнь кругом первобытна и дика. Иосиф начал было успокаиваться и засыпать, как вдруг почувствовал словно прикосновение чьих-то рук к своей груди. Он вскочил с сена и наткнулся на крошечного козленка, который прижимался к нему, чтобы погреться. Иосиф приласкал его и, сам не зная почему, принялся целовать, орошая слезами. Наконец рассвело. Увидев при свете благородный лоб и серьезные, спокойные черты Консуэло, юноша устыдился своих мук. Он поднялся и пошел к источнику,

чтобы освежить в его ледяных струях лицо и голову. Казалось, ему хотелось очистить свой мозг от греховных мыслей, затуманивших его.

Консуэло скоро присоединилась к нему и стала умываться так же весело, как проделывала это каждое утро, стараясь стряхнуть с себя тяжесть сна и храбро освоиться с утренним холодком. Ее удивил расстроенный и грустный вид Гайдна.

— О! На этот раз, друг Беппо, вы хуже моего справляетесь с усталостью и волнениями: вы бледны, как эти белые цветы, которые точно плачут, склонившись над водой.

— Зато вы свежи, как эти чудные дикие розы, которые будто смеются вдоль берегов, — ответил Иосиф. — Хоть вид у меня и немощный, но я не боюсь усталости, а вот волнения, синьора, я в самом деле не умею переносить.

Все утро он был грустен. Когда же они сделали привал на чудесном лугу, под сенью дикого винограда, чтобы подкрепиться хлебом и орехами, Консуэло, желая выяснить причину его мрачного настроения, закидала его таким множеством наивных вопросов, что он не смог удержаться от соблазна поведать ей о глубоком недовольстве собой и своей судьбой.

— Ну, если уж вам так хочется знать, извольте. Я

думаю о своей несчастной судьбе: ведь с каждым днем мы все больше приближаемся к Вене, где я связал себя обетом на всю жизнь, в то время как сердце мое не лежит к этому. Я не люблю своей невесты и чувствую, что никогда не полюблю ее. Однако я обещал и сдержу слово.

— Да может ли это быть! — воскликнула пораженная Консуэло. — В таком случае, мой бедный Беппо, наши участи, казавшиеся мне во многом такими схожими, на самом деле совершенно противоположны: вы бежите к невесте, которую не любите, а я бегу от жениха, которого люблю. Странная судьба: одним она дает то, что их страшит, а у других отнимает самое дорогое! Говоря это, она дружески пожала ему руку, и Иосиф прекрасно понял, что слова ее продиктованы отнюдь не зародившимся подозрением насчет его безрассудства или желанием проучить его. Но благодаря этому урок оказался еще более действенным. Она сочувствовала его несчастью и горевала вместе с ним; в то же время искренние слова, вырвавшиеся, казалось, из самой глубины ее сердца, служили доказательством того, что она любит другого беззаветно и непоколебимо.

То была последняя вспышка — больше страсть к Консуэло не терзала Иосифа. Он схватил скрип-

ку и, с силой ударив по струнам, забыл эту бурную ночь.

Когда они снова пустились в путь, он уже совсем отрешился от своей несбыточной любви и во время последующих событий испытывал к своей спутнице только самую сильную, самую преданную дружбу.

Когда Консуэло, видя Иосифа сумрачным, пыталась утешить его ласковыми словами, он говорил ей:

— Не беспокойтесь обо мне. Хоть я и обречен не любить своей жены, у меня по крайней мере есть чувство дружбы к ней, а дружба может вполне заменить любовь, — я понимаю это лучше, чем вы думаете.

Глава 69

Гайдн никогда не имел оснований жалеть об этом путешествии и о душевных страданиях, с которыми ему приходилось бороться, ибо за всю свою жизнь не получил более прекрасных уроков итальянского языка и такого совершенного представления о музыке. В долгие часы отдыха, проведенные в хорошую погоду в полном уединении под сенью Богемского Леса, наши юные артисты обнаружили друг перед другом весь свой ум, всю свою талантливость. Хотя у Иосифа Гайдна был прекрасный голос и, выступая в качестве певчего, он научился отлично владеть им, хотя он играл на скрипке и еще на нескольких инструментах, тем не менее, слушая пение Консуэло, он скоро понял, насколько она выше его по мастерству, понял, что и без Порпоры она могла бы сделать из него искусного певца. Но стремления и дарование Гайдна не ограничивались этим родом искусства. Консуэло, заметив, что при правильном и глубоком понимании теории он слаб в практике, сказала ему однажды с улыбкой:

— Не знаю уж, хорошо ли я делаю, обучая вас

пению, ведь если вы увлечетесь карьерой певца, то, чего доброго, загубите более высокое дарование. А ну-ка, посмотрим ваше произведение! Невзирая на продолжительные и серьезные занятия контрапунктом с таким великим учителем, как Порпора, я научилась лишь различать, что талантливо, а что нет; сама же я никогда не смогла бы создать ничего серьезного, ибо, даже наберись я смелости дерзнуть, у меня не хватило бы на это пороху. Если же у вас есть способность к творчеству, вы должны избрать именно этот путь, а к пению и к игре на инструментах относиться как к чему-то вспомогательному.

Дело в том, что после встречи с Консуэло Гайдн стал мечтать о карьере певца. Следовать за нею, жить подле нее, то и дело встречаться с нею в ее бродячей жизни стало с некоторых пор его пламенным желанием. Поэтому ему не хотелось показывать ей свое произведение, хотя он окончил его перед отъездом в Пильзен и захватил с собой. Иосиф одинаково боялся и показаться ей посредственностью в этом жанре и обнаружить талант, который побудил бы ее воспротивиться его стремлению стать певцом. В конце концов он уступил и дал вырвать у себя таинственную тетрадь. То была небольшая фортепианная сона-

та, предназначавшаяся для его юных учеников. Консуэло начала с того, что стала безмолвно читать сонату глазами; Иосиф поразился, глядя, как она с первого взгляда прекрасно схватывает вещь, словно слышит ее в исполнении. Затем Консуэло заставила сыграть некоторые пассажи на скрипке и сама пропела те, что были доступны для голоса. Не знаю, предугадала ли Консуэло в Гайдне по этой безделке будущего творца «Сотворения мира» и стольких других крупных произведений, но она почувствовала в нем большого музыканта и, возвращая ему ноты, сказала:

— Мужайся, Беппо, — ты выдающийся артист и можешь стать великим композитором, если будешь работать. У тебя несомненно есть идеи; А с идеями и знаниями можно далеко пойти. Приобретай же знания и постарайся не ссориться с Порпорой, — хоть у него и тяжелый характер, но именно такой учитель тебе нужен. А о сцене забудь, — твое место не там. Твое оружие — перо. Не ты должен слушаться, а к тебе должны прислушиваться. Когда можешь быть душой, зачем же превращаться в одно из орудий? Так-то, будущий маэстро! Бросьте упражнять свое горлышко трелями и каденциями. Вам надо знать, как их расставить, а не как исполнять. Это уж

предоставьте вашей покорной и подвластной вам слуге, которая претендует на первую женскую роль, какую вы соблаговолите написать для меццо-сопрано.

— О Consuelo de mi alma! — в восторге воскликнул окрыленный надеждами Иосиф. — Писать для вас! Быть понятым вами, переданным в вашем исполнении! Какие перспективы славы и честолюбивых мечтаний вы открываете передо мной! Но нет! Это грезы! Это безумие! Учите меня петь. Я лучше постараюсь передать мысли так, как их понимаете и чувствуете вы, чем вкладывать в ваши божественные уста звуки, недостойные вас!

— Ну, ну, довольно церемоний, — проговорила Консуэло, — попробуйте сымпровизировать что-нибудь на скрипке или голосом. Это путь, каким следует душа, проникая на уста и в кончики пальцев. Я послушаю и узнаю, есть в вас искра божия или вы только ловкий ученик, бессознательно заимствующий у других.

Гайдн повиновался. Не без удовольствия убедилась она, что музыкальное его образование не так уж велико и что импровизации его по мысли молоды, просты и свежи. Она все больше и больше подбадривала его и с этих пор решила

заниматься с ним пением лишь для того, чтобы он мог пользоваться им для своей работы.

Они стали развлекаться исполнением маленьких итальянских дуэтов;

Гайдн тут же выучил их наизусть с ее голоса.

— Если до конца путешествия у нас не хватит денег, так волей-неволей придется распевать на улицах, — сказала она ему. — Притом полиция может пожелать проверить наши таланты, приняв нас за бродяг-карманников а таких несчастных горемык, позорящих наше ремесло, предостаточно. Будем же готовы ко всему! Мой голос на низких, контральтовых нотах может сойти за голос несложившегося юнца. Вам же следует разучить на скрипке аккомпанемент к нескольким моим песням. Увидите, это совсем неплохое упражнение. В этих народных шуточных песенках много огня и самобытного чувства, а мои старинные испанские песни просто гениальны, настоящие алмазы-самородки. Маэстро, воспользуйтесь ими! Идеи родят идеи!

Занятия эти были полны прелести для Гайдна. Может быть, уже тогда зародилась в нем мысль создать те милые детские пьески, которые он впоследствии написал для театра марионеток маленьких принцев Эстергази. Консуэло вносила

в эти занятия столько веселости, грации, оживления и остроумия, что к милому юноше вернулись детская резвость и беззаботное счастье, и, забыв любовные мечты, лишения, беспокойства, он жаждал только, чтобы эти уроки на ходу никогда не кончились.

Мы не собираемся здесь проследить шаг за шагом путешествие Консуэло и Гайдна. Мало знакомые с тропами Богемского Леса, мы могли бы дать неверные указания, положившись только на свою память. Достаточно сказать, что первая половина путешествия, в общем, была более приятна, чем трудна, пока не случилось происшествия, которое мы не можем обойти молчанием. Начиная с самого истока Влтавы, наши герои все время придерживались северного берега реки, который показался им менее людным и более живописным. Так они шли в течение целого дня по глубокому ущелью, полого спускавшемуся в том же направлении, что и Дунай. Но, дойдя до Шенау, они заметили, что горная гряда в этом месте переходит в плоскогорье, и пожалели, что не пошли по противоположному берегу, вдоль другой горной гряды, которая, постепенно повышаясь, уходит в сторону Баварии. Эти лесистые горы изобиловали естественными убежищами

и поэтическими уголками в гораздо большей мере, чем долины Чехии. Во время своих дневных привалов в лесу Гайдн и Консуэло забавлялись ловлей птичек силками и на клей. И если, пробудившись от сна, они обнаруживали в своих ловушках мелкую дичь, то тут же, под открытым небом, жарили на костре из хвороста плоды своей охоты и находили стряпню великолепной. Жизнь даровалась одним лишь соловьям на том основании, что эти птички певчие — их собратья.

Наши милые путники принялись искать брод, но никак не могли найти его. Река была быстрая, с крутыми берегами, глубокая и к тому же вздувшаяся от дождей. Наконец они наткнулись на пристань, у которой стояла на причале лодчонка, охраняемая мальчиком. Некоторое время они колебались, не решаясь подойти, — они видели, что несколько человек уже опередили их и уславливаются относительно переправы. Затем люди эти простились: трое направились вдоль северного берега Влтавы, а двое вошли в лодку. Это обстоятельство заставило Консуэло принять решение.

— Пойдем ли мы вправо или влево, нам не избежать встречи, — сказала она Иосифу, — так уж лучше переправиться на тот берег, раз мы

этого хотели.

Гайдн все еще колебался, находя, что у этих людей подозрительный вид, резкий тон в разговоре и вообще грубые манеры; но вот один из них, как бы желая опровергнуть это неблагоприятное впечатление, остановил лодочника и, поманив Консуэло добродушно-шутливым жестом, обратился к ней по-немецки:

— Эй, дитя мое, идите сюда, лодка не особенно перегружена, и если хотите — можете переехать с нами.

— Очень признателен вам, сударь, — ответил Гайдн, — мы воспользуемся вашим позволением.

— Ну, дети мои, прыгайте! — сказал тот, что с самого начала обратился к Консуэло; товарищ называл его Мейером.

Иосиф, едва усевшись в лодку, заметил, что оба незнакомца очень внимательно и с большим любопытством поглядывают то на Консуэло, то на него. Но лицо господина Мейера дышало добротой и веселостью, голос у него был приятный, манеры учтивые, а седеющие волосы и отеческий вид внушали Консуэло доверие.

— Вы музыкант, дитя мое? — спросил ее г-н Мейер немного спустя.

— К вашим услугам, добрый господин, — ответила Консуэло.

— Вы тоже? — спросил господин Мейер Иосифа и, указывая на Консуэло, прибавил: — Это, конечно, ваш брат?

— Нет, сударь, мой друг, — сказал Иосиф, — мы даже не одной с ним национальности, и он плохо понимает по-немецки.

— Из какой же он страны? — продолжал допрашивать господин Мейер, все поглядывая на Консуэло.

— Из Италии, сударь, — ответил опять Гайдн.

— Кто же он — венецианец, генуэзец, римлянин, неаполитанец или калабриец? — допытывался господин Мейер, с необыкновенной легкостью произнося каждое из этих названий на соответствующем диалекте.

— О сударь, вы, я вижу, можете говорить с любым итальянцем, — ответила наконец Консуэло, боясь упорным молчанием обратить на себя внимание, — я из Венеции.

— А! Чудный край! — продолжал Мейер, тотчас же переходя на родное для Консуэло наречие. — Вы давно оттуда?

— Всего полгода.

— И вы странствуете по свету, играя на скрип-

ке?

— Нет, он аккомпанирует на скрипке, — ответила Консуэло, указывая на Иосифа, — а я пою.

— И вы не играете ни на каком инструменте? Ни на гобое, ни на флейте, ни на тамбурине?

— Нет, мне это совсем не нужно.

— Но если вы музыкальны, вы легко научились бы, не правда ли?

— Конечно, если бы это понадобилось.

— А вы об этом не думаете?

— Нет, я предпочитаю петь.

— И вы правы, однако вам придется взяться за это или хотя бы временно переменить профессию.

— Почему же, сударь?

— Да потому, что голос ваш если уже не начал, то скоро начнет ломаться; сколько вам лет — четырнадцать, пятнадцать, не больше?

— Да, около этого.

— Ну, так не пройдет и года, как вы запоете лягушкой, и далеко еще не известно, обратитесь ли вы снова в соловья. Для мальчика всегда опасен переход от детства к юности, — иногда бывает так: вырастет борода, а голос пропадет. На вашем месте я учился бы на флейте, с ней всегда заработаешь на кусок хлеба.

— Там видно будет.

— А вы, любезный, играете только на скрипке? — обратился господин Мейер к Иосифу по-немецки.

— Простите, сударь, — ответил Иосиф, в свою очередь проникаясь доверием к доброму Мейеру, совершенно не смущавшему Консуэло, — я играю понемножку на нескольких инструментах.

— На каких же, например?

— На клавесине, арфе, флейте — понемногу на всем пробую играть, как только представляется случай поучиться.

— С такими талантами вы совершенно напрасно бродите по большим дорогам — это тяжкое ремесло. Товарищу вашему, который и моложе и слабее вас, это совсем не под силу — он уже хромает.

— Вы это заметили? — сказал Иосиф, тоже прекрасно видевший, что спутница его прихрамывает, хотя она и не признавалась, что ноги у нее опухли и болят.

— Я прекрасно видел, с каким трудом он дотащился до лодки, — сказал Мейер.

— Что поделаешь, сударь! — проговорил Гайдн, скрывая под видом философского равнодушия свое огорчение. — Родишься ведь не для одних

только благ, и когда приходится страдать — страдаешь!

— А разве нельзя жить и счастливее и приличнее, обосновавшись на одном месте? Неприятно, что такие умные и скромные юнцы, какими вы мне кажетесь, занимаются бродяжничеством. Поверьте человеку, у которого есть дети и который, по всей вероятности, никогда больше не встретится с вами, дружочки мои. Такая жизнь, полная приключений, убивает и развращает человека. Запомните мои слова.

— Спасибо за добрый совет, сударь, — проговорила, ласково улыбаясь, Консуэло, — быть может, мы им воспользуемся.

— Да услышит вас господь, мой маленький гондольер, — сказал г-н Мейер Консуэло, которая машинально, по народной венецианской привычке, схватила весло и начала им грести.

Лодка причалила к берегу, сделав довольно большой крюк из-за быстрого течения. Г-н Мейер дружески попрощался с молодыми музыкантами, пожелав им доброго пути, а его молчаливый спутник расплатился с лодочником, не позволив молодым людям заплатить за себя. Вежливо поблагодарив своих спутников, Консуэло и Иосиф стали подыматься по тропинке, ведущей к горам,

тогда как оба незнакомца пошли в том же направлении, придерживаясь низкого берега реки.

— Этот господин Мейер, кажется, хороший человек, — проговорила Консуэло, в последний раз взглянув на него сверху, когда тот уже исчезал из виду. — Уверена, что он прекрасный отец.

— Он любопытен и болтлив, — заметил Иосиф, — я очень рад, что вы избавились от его расспросов. — Он разговорчив, как все много путешествовавшие люди. Судя по тому, с какой легкостью он владеет разными наречиями, этот Мейер настоящий космополит. Откуда он может быть родом?

— Произношение у него саксонское, хотя и на нижнеавстрийском наречии он говорит очень хорошо. Мне кажется, он из Северной Германии, верно — пруссак.

— Тем хуже для него; не люблю пруссаков, а короля Фридриха, после всего, что я о нем слышала в замке Великанов, люблю еще меньше, чем его народ.

— В таком случае вы хорошо будете чувствовать себя в Вене: у воинственного короля-философа там нет приверженцев ни при дворе, ни среди населения.

Беседуя таким образом, они добрались до лес-

ной чащи и пошли тропинками, которые то терялись среди сосен, то извивались по склону амфитеатра, образуемого бугристыми горами. Консуэло находила Карпатские горы скорее красивыми, чем величественными. Она много раз путешествовала в Альпах и потому отнюдь не приходила от окружающего в восторг, как Иосиф, впервые видевший такие высокие горы. И если в юноше все вызывало восторг, то спутница его была более склонна к мечтательности. К тому же Консуэло в тот день чувствовала большую усталость и делала огромные усилия, чтобы скрыть это, боясь огорчить Иосифа, и без того слишком огорчавшегося из-за нее.

Они поспали несколько часов, а потом, перекусив и позанимавшись музыкой, на закате снова пустились в путь. Но вскоре Консуэло была вынуждена сознаться, что ночной переход ей не под силу; хотя она, подобно героиням идиллий, долго окунала свои изящные ножки в кристальные струи источника — ничто не помогало, пятки были слишком изранены булыжниками. К несчастью, местность оказалась совершенно пустынной — ни хижины, ни монастыря, ни шалаша. Иосиф пришел в отчаяние. Было слишком холодно, чтобы ночевать под

открытым небом. Наконец сквозь узкий проход между двумя холмами они увидели у подножия противоположного склона огоньки. Долина, куда они спустились, находилась уже в Баварии, но видневшийся город был гораздо дальше, чем они предполагали, и опечаленному Иосифу казалось, что с каждым шагом город все более отодвигается от них. К довершению несчастья тучи обложили все небо и вскоре зарядил мелкий холодный дождь. Дождевая завеса совсем скрыла огоньки от взоров наших путников, так что, спустившись не без труда и риска к подножию горы, они не знали, куда идти. Дорога, к счастью, оказалась довольно ровной, и они продолжали, все время спускаясь, тащиться по ней, как вдруг услышали шум едущего навстречу экипажа. Иосиф, не колеблясь, окликнул едущих, чтобы выяснить, что это за местность и где тут можно найти приют.

— Вы кто такие? — раздался ему в ответ грубый голос, и вслед за этим послышался звук взводимого курка. — Прочь! Или размозжу череп!

— Нас нечего бояться, — ответил Иосиф, не смущаясь, — посмотрите сами: перед вами двое детей, которые просят лишь указать им дорогу.

— Эге! — воскликнул другой голос, в котором Консуэло сейчас же узнала голос любезного г-на

Мейера. — Да ведь это мои утренние юные сорванцы! Узнаю говор старшего. И вы тоже тут, гондольер? — прибавил он повенециански, обращаясь к Консуэло.

— Да, — ответила она также по-венециански. — Мы заблудились и просим вас, добрый господин, указать нам замок или конюшню, где мы могли бы приютиться. Скажите нам, если знаете.

— Эх, бедные мои ребята, — ответил Мейер, — вы по меньшей мере в двух милях от какого бы то ни было жилья. В этих горах вам не найти и собачьей конуры. Но мне жаль вас, садитесь ко мне в экипаж; я могу без особого ущерба для себя дать вам два места. Ну, не церемоньтесь же, влезайте!

— Вы, право, слишком добры, сударь, — сказала Консуэло, тронутая радушием этого хорошего человека, — но вы ведь едете на север, а нам надо в Австрию.

— Нет, я еду на запад. Не больше чем через час я довезу вас до Биберека. Там вы переночуете, а завтра сможете добраться до Австрии. Это даже сократит вам путь. Ну, решайтесь же, если не хотите мокнуть под дождем и задерживать нас.

— Смелей, нечего колебаться! — шепнула Консуэло Иосифу, и они сели в экипаж.

В нем, как они увидели, сидело трое: двое спе-

реди, причем один из них правил, а третий, г-н Мейер, — занимал заднее место. Консуэло забилась в уголок, Иосиф сел посередине. Экипаж был шестиместный, вместительный, прочный. Лошадь, крупная и сильная, подгоняемая энергичной рукой, снова пустилась рысью, звеня бубенчиками и нетерпеливо поводя ушами.

Глава 70

— Что я вам говорил! — воскликнул г-н Мейер, возобновляя разглагольствования, прерванные утром. — Ну может ли быть более тяжелое и неприятное ремесло? Когда светит солнце, все как будто прекрасно, но оно ведь не всегда светит, и ваша доля так же изменчива, как погода.

— А чья доля не изменчива и не сомнительна? — проговорила Консуэло. — Когда небо немилостиво, провидение посылает на нашем пути добрых людей, так что в данную минуту нам не приходится на него жаловаться.

— У вас хорошая голова, мой дружок, — ответил Мейер, — вы из той чудной страны, где все умны; но, поверьте мне, ни ваш ум, ни прекрасный голос не помешают вам погибнуть от голода в унылых австрийских провинциях. На вашем месте я стал бы искать счастья в богатой, цивилизованной стране, под покровительством великого государя.

— Какого же? — спросила удивленная Консуэло.

— Да не знаю, право; мало их разве?

— Но разве королева Венгрии не великая монархиня? — вмешался в разговор Гайдн. — Разве в ее государстве нельзя найти покровительства?

— Ну конечно, — ответил Мейер, — но вы не знаете, что ее величество Мария-Терезия ненавидит музыку, а бродяг — еще больше, так что если вы появитесь в виде трубадуров на улицах Вены, вы будете тотчас изгнаны.

В эту минуту Консуэло снова увидела невдалеке, пониже дороги, огоньки, которые и раньше уже мелькали перед ними, и сообщила об этом Иосифу, а тот, обратясь к г-ну Мейеру, выразил желание сойти и добраться до этого ночлега, более близкого, чем Биберек.

— Как! Вы принимаете это за огоньки? Они, конечно, в самом деле огни, но только освещают они не жилье, а опасные болота, где немало путешественников заблудилось и погибло. Приходилось вам когда-нибудь видеть блуждающие болотные огни?

— Я много раз видал их на венецианских лагунах и часто на маленьких озерах в Богемии, — ответила Консуэло.

— Так вот, дети мои, то, что вы видите там вдали, — такие же блуждающие огни.

Господин Мейер долго еще убеждал моло-

дых людей в необходимости где-нибудь твердо обосноваться, говорил об отсутствии всякой возможности найти средства к жизни в Вене, не указывая, однако, места, куда он советовал бы им отправиться. Сначала Иосиф, пораженный его настойчивостью, испугался, не догадывается ли их спутник о том, что Консуэло женщина, но дружелюбное отношение к ней как к мальчику, его советы не шататься по дорогам, а, придя в возраст, стать военным, успокоили его на этот счет, и он убедил себя, что добрейший Мейер — один из тех ограниченных людей, которые, страдая от навязчивых идей, твердят целый день какую-нибудь первую пришедшую им утром в голову мысль. Консуэло же принимала его не то за школьного учителя, не то за лютеранского пастора, который одержим идеями воспитания, нравственности и прозелитизма.

Через час, в полнейшей темноте, они приехали в Биберек. Экипаж въехал на постоялый двор, где тотчас же два каких-то человека, отозвав Мейера в сторону, вступили с ним в разговор. Когда они вошли затем в кухню, где Консуэло с Иосифом грелись у очага и просушивали свою одежду, юноша узнал в них тех самых двух человек, которые расстались с Мейером у перевоза,

когда тот, оставив их на левом берегу Молдавы, сам переправился через реку. Один из них был кривой, а у другого хотя и имелись оба глаза, однако лицо от этого отнюдь не казалось привлекательнее. Тот, что переправился с Мейером через реку и ехал с молодыми людьми в экипаже, также присоединился к ним, четвертый же не показывался. Они переговаривались на наречии, непонятном даже для Консуэло, знавшей столько языков. Г-н Мейер, по-видимому, пользовался среди них авторитетом и, во всяком случае, влиял на их решения, ибо после общего довольно оживленного совещания вполголоса Мейер высказал свое мнение, и все удалились, за исключением одного, которого Консуэло в разговоре с Иосифом назвала «Молчальником», — того самого, что не расставался с Мейером.

Гайдн собирался было уже скромно поужинать со своей спутницей на краешке кухонного стола, когда г-н Мейер, подойдя к ним, пригласил их разделить его трапезу и так при этом добродушно настаивал, что они не решились отказаться.

Мейер увел их в столовую, где они попали на настоящий пир, так по крайней мере показалось бедным молодым людям, лишенным всех этих прелестей во время своего пятидневного, далеко

не легкого странствования. Однако Консуэло приняла в ужине очень сдержанное участие: роскошный стол Мейера, подобострастное отношение к нему прислуги, большое количество вина, поглощаемого как им, так и его спутником, — все это начинало менять мнение девушки о пасторских добродетелях их амфитриона. Особенно коробило ее стремление Мейера заставить Иосифа и ее самое пить вина больше, чем им хотелось, равно как и пошлые шуточки, которые он отпускал, не позволяя им прибавлять воды к вину. С еще большим беспокойством заметила она, что Иосиф, по рассеянности или из желания подкрепиться, налегал на вино и становился общительнее и оживленнее, чем ей того хотелось. Наконец, выведенная из терпения тем, что Иосиф не обращает внимания на ее подталкивание локтем с целью удержать его от чрезмерных возлияний, Консуэло отняла у него стакан в тот момент, когда г-н Мейер собирался снова наполнить его.

— Нет, сударь, нет! — проговорила она. — Позвольте не подражать вам!

Нам это совсем не пристало.

— Странные вы музыканты! — воскликнул Мейер, смеясь с откровенной беззаботностью. —

Музыканты — и непьющие! Первых таких встречаю!

— А вы, сударь, тоже музыкант? — обратился к нему Иосиф. — Ручаюсь, что да! Черт меня побери, если вы не капельмейстер при дворе какого-нибудь саксонского принца!

— Возможно, — ответил, улыбаясь, Мейер. — Вот почему, дети мои, я и чувствую к вам симпатию.

— Если вы, сударь, большой музыкант, то разница между вашим талантом и талантом бедных уличных певцов слишком велика, чтобы они могли заинтересовать вас, — возразила Консуэло.

— Среди бедных уличных певцов встречается больше талантов, чем думают, — сказал на это Мейер, — и много есть великих музыкантов, даже капельмейстеров первейших государей мира, которые начали с того, что распевали на улицах. А что, если я вам скажу, что не далее как сегодня утром, между девятью и десятью часами, я слышал два прелестных голоса, распевавших на левом берегу Влтавы красивый итальянский дуэт под прекрасный и очень умелый аккомпанемент на скрипке? И случилось это в то время, когда я завтракал с друзьями на холме. Когда же с горы стали спускаться очаровавшие меня музыканты,

я был поражен, увидев двух бедных детей, одного одетого маленьким крестьянином, другого… очень милого, простого, но весьма невзрачного на вид… Не конфузьтесь и не удивляйтесь, друзья мои, моим добрым чувствам и выпьем за муз, наших общих и божественных покровительниц.

— Господин маэстро! — радостно воскликнул совсем покоренный Иосиф.

— Хочу выпить за ваше здоровье. О! Я уверен, вы настоящий музыкант, раз вы пришли в восторг от таланта… моего друга, синьора Бертони.

— Нет, пить вы больше не будете! — сказала выведенная из терпения Консуэло, вырывая у него из рук стакан. — И я также, — прибавила она, опрокидывая свой, — мы живем только нашими голосами, господин профессор, а вино портит голос; вы должны, следовательно, поддерживать в нас трезвость, а не спаивать нас.

— Ну что ж, вы рассуждаете здраво, — сказал Мейер, ставя на середину стола графин, который он до сих пор прятал за спиной. — Да, будем беречь голос. Отлично сказано! Вы благоразумны не по годам, друг Бертони, и я рад, что, испытав вас, убедился в вашей высокой нравственности. Вы далеко пойдете! Об этом говорит и ваше благоразумие и ваш талант. Да, вы далеко пойдете, и я

хочу иметь честь и заслугу содействовать этому.

Тут мнимый профессор, расположившись поудобнее и представляясь необычайно искренним и добрым, предложил увезти их с собой в Дрезден, обещая там добиться у знаменитого Гассе согласия давать им уроки, а также снискать для них особое покровительство польской королевы, курфюрстины саксонской.

Принцесса Мария-Антуанетта, супруга Августа III, короля Польши, была, как мы уже знаем, ученицей Порпоры. Это-то соперничестве между Порпорой и Sassone за благоволение государыни-дилетантки и было первоначальной причиной их глубокой вражды. Если бы даже Консуэло была склонна искать счастья в Северной Германии, то и тогда она не выбрала бы для своего дебюта тот двор, где ей пришлось бы столкнуться со школой и партией, взявшей верх над ее учителем. Достаточно говорил ей об этом Порпора в минуты обиды и горечи, чтобы она, будучи в курсе дела, могла последовать советам профессора Мейера.

Совершенно иначе был настроен Иосиф. Одурманенный выпитым за ужином вином, он вообразил, что встретил могущественного покровителя и вершителя своей судьбы. Ему не приходило в голову покинуть Консуэло и следовать за новым

другом, но, будучи немного навеселе, он мечтал когда-нибудь снова встретиться с ним. Он верил в доброжелательство Мейера и горячо благодарил его. Опьяненный радостью, он схватил скрипку и прескверно заиграл на ней. Это, однако, не помешало Мейеру шумно аплодировать юноше, — потому ли, что он не хотел обидеть его, сказав, что тот фальшивит, или потому, думалось Консуэло, что сам был неважный музыкант. Его искреннее заблуждение относительно пола Консуэло, чье пение он слышал, говорило за то, что он не был преподавателем с очень развитым слухом, раз можно было его провести, словно какого-нибудь деревенского музыканта, играющего на серпенте, или учителя-трубача.

Тем временем г-н Мейер настойчиво продолжал уговаривать молодых музыкантов ехать с ним в Дрезден. Отказываясь, Иосиф тем не менее с таким сияющим лицом выслушивал его соблазнительные предложения и так горячо обещал явиться к нему в самом ближайшем времени, что Консуэло сочла нужным открыть глаза Мейеру на неисполнимость его обещания.

— В настоящее время и думать об этом нечего, — проговорила она решительным тоном. — Вы прекрасно знаете, Иосиф, что это невозможно,

ведь у вас совершенно иные планы.

Мейер возобновил свои соблазнительные предложения, однако его удивила непоколебимость не только Консуэло, но и Иосифа, который, как только в разговор вступал синьор Бертони, снова становился благоразумным.

Тут за Мейером пришел «молчаливый» путешественник, ненадолго появившийся только во время ужина, и они оба вышли. Консуэло воспользовалась случаем, чтобы побранить Иосифа и за легковерие, с каким он относился к радужным обещаниям первого встречного, и за увлечение хорошим вином.

— Неужели я сказал что-нибудь лишнее? — испуганно спросил Иосиф.

— Нет, — возразила она, — но неблагоразумно так долго общаться с незнакомыми людьми. Глядя на меня, в конце концов можно заметить или хотя бы заподозрить, что я не мальчик. Как я ни старалась измазать карандашом руки и держать их по возможности под столом, вряд ли могли эти господа не обратить внимание на их слабость, не будь они поглощены один — бутылкой, другой — болтовней. Теперь нам было бы всего благоразумнее скрыться и отправиться ночевать на другой постоялый двор. Мне как-то не по себе

с этими новыми знакомыми, которые словно преследуют нас по пятам.

— Что вы! — воскликнул Иосиф. — Стыдно уйти, даже не попрощавшись и не поблагодарив такого хорошего человека и, быть может, знаменитого профессора. Кто знает, не беседовали ли мы с самим великим Гассе!

— Ручаюсь, что нет, и не будь вы навеселе, вы заметили бы, какие пошлые общие фразы говорил он о музыке. Великие учителя так не рассуждают. Нет, это какой-нибудь второстепенный музыкант из оркестра, добрый малый, болтун и порядочный пьяница. Не знаю почему, но по его физиономии мне кажется, что он никогда не играл ни на чем ином, кроме медных инструментов, а его косой взгляд словно ищет капельмейстера.

— Пусть он валторнист или второй кларнетист, а все-таки он приятный собеседник! — воскликнул, покатываясь со смеху, Иосиф.

— Зато вот о вас этого никак нельзя сказать, — проговорила с некоторым раздражением Консуэло. — Протрезвитесь, простимся и пойдем.

— Дождь льет как из ведра; слышите, как он стучит в окна?

— Надеюсь, вы не намереваетесь заснуть за этим столом, — сказала Консуэло, расталкивая

Иосифа, чтобы тот не спал.

В эту минуту в комнату вернулся Мейер.

— Вот тебе и раз! — весело воскликнул он. — Я рассчитывал здесь переночевать и завтра выехать в Шамб, а друзья заставляют меня вернуться назад, уверяя, будто я им необходим для каких-то дел в Пассау. Приходится уступить. И раз мне нужно отказаться от удовольствия увезти вас в Дрезден, так позвольте, дети мои, дать вам добрый совет: воспользуйтесь случаем. Я по-прежнему смогу уделить вам два места в своем экипаже, ибо эти господа поедут в другом. Завтра утром мы будем в Пассау, — это всего в шести милях отсюда. Там я пожелаю вам доброго пути. Вы будете у австрийской границы и сможете, без всякого утомления, за небольшую плату спуститься на судне по Дунаю до Вены.

Иосиф нашел предложение превосходным, тем более что поездка в экипаже позволит отдохнуть израненным ногам Консуэло. Действительно, оказия казалась благоприятной, а путешествие по Дунаю было способом передвижения, о котором они еще не думали. Консуэло тоже согласилась, так как заметила, что Иосиф на этот раз не способен позаботиться о безопасном ночлеге. Впотьмах, забившись в угол экипажа, она могла

не опасаться наблюдений своих спутников, а г-н Мейер уверял, что в Пассау они приедут до рассвета. Иосиф был в восторге от ее решения. Однако Консуэло все-таки было не по себе, а друзья Мейера ей все меньше нравились. Она спросила, не музыканты ли его спутники.

— Все — более или менее, — лаконически ответил Мейер.

Экипажи оказались заложенными, кучера на своих местах, а трактирные слуги, очень довольные щедротами г-на Мейера, из кожи вон лезли, чтобы до последней минуты угодить ему. Во время этой суеты, в момент затишья, Консуэло послышался стон, как будто доносившийся с середины двора. Она обернулась к Иосифу, но тот ничего, видимо, не слышал. Когда же стон повторился, дрожь пробежала по ее телу. Однако никто, по-видимому, ничего не заметил, и она решила, что, должно быть, завизжала собака, которой надоело сидеть на цепи. Но как ни пыталась Консуэло отвлечься, жуткое чувство не покидало ее. Подавленный стон среди мрака, ветра и дождя, донесшийся со двора, где стояла эта группа людей, — одни безучастные, другие чем-то взволнованные, — произвел на нее самое зловещее впечатление, хоть она и не была уверена,

был ли то стон, или просто игра ее воображения. Консуэло тотчас вспомнила об Альберте и, словно проникшись его даром таинственного прозрения, испугалась какой-то опасности, нависшей над головой ее жениха или ее собственной.

А экипаж уже мчался. Впряженная в него свежая лошадь, более сильная, чем первая, быстро несла его. Другой экипаж, ехавший так же быстро, то отставал, то опережал их. Иосиф опять болтал с г-ном Мейером, а Консуэло пыталась заснуть, — она притворилась спящей, чтобы иметь право молчать. Усталость взяла верх над ее грустью и беспокойством, и она заснула крепчайшим сном. Когда она проснулась, Иосиф тоже спал, а г-н Мейер наконец умолк. Дождь перестал лить, небо прояснилось, и начинало светать. Местность была совершенно незнакома Консуэло. Только время от времени вырисовывались на горизонте вершины горной цепи, похожей на Богемский Лес.

По мере того как проходила ее сонливость, она все с большим удивлением смотрела на горы: они должны были быть слева от нее, а находились справа. Звезды уже погасли, но солнце, которому, по ее расчету, надлежало взойти впереди, еще не появлялось. Она решила, что горы перед ее

глазами — не Богемский Лес, а какие-то другие. Г-н Мейер храпел, но она побоялась заговорить с возницей, единственным не спавшим в эту минуту человеком. Лошадь по довольно крутому косогору пошла шагом, а стук колес заглушал сырой песок колеи. Тут Консуэло снова явственно услышала тот глухой мучительный стон, который уже доносился до нее на постоялом дворе в Бибереке. Голос, казалось, раздавался где-то позади. Машинально она повернулась, но сзади была только кожаная спинка экипажа, на которую она опиралась. Консуэло сочла это галлюцинацией, и поскольку мысли ее постоянно занимал Альберт, она вдруг с ужасом подумала: уж не умирает ли он; а что если благодаря непостижимой силе любви этого странного человека к ней доносятся его предсмертные вздохи, зловещие, душераздирающие. Эта мысль до того завладела ею, что ей стало дурно. Боясь совсем задохнуться, она обратилась к вознице, когда тот остановился на половине подъема, чтобы дать передохнуть лошади, и попросила у него позволения подняться в гору пешком. Он разрешил и, спрыгнув сам, пошел, посвистывая, подле лошади.

Человек этот был слишком хорошо одет для профессионального кучера. При каком-то его

движении Консуэло показалось, что она видит у него за поясом пистолет. Подобная предосторожность в пустынном крае, каким они проезжали, была более чем естественна, тем более что форма экипажа, который Консуэло, идя у колес, хорошо рассмотрела, говорила о том, что в нем везут товары. Экипаж был очень глубок; позади сиденья, по-видимому, находился ящик, вроде тех, в которых перевозят ценности и депеши. На сей раз он, очевидно, был не слишком загружен, раз одна лошадь свободно везла его. Гораздо больше поразило Консуэло то, что тень ее стала удлиняться вперед, и, обернувшись, она увидела, что солнце довольно высоко поднялось на горизонте, но не там, где ему следовало взойти, если бы экипаж действительно направлялся в Пассау, а на противоположной стороне. — Куда же мы — едем? — спросила она возницу, поспешно подходя к нему.

— Мы повернулись к Австрии спиной.

— Да, на полчаса, — очень спокойно ответил тот, — мы возвращаемся назад, так как мост через реку, по которому нам надо ехать, сломан и приходится делать получасовой объезд, чтобы попасть на другой.

Немного успокоившись, Консуэло села в эки-

паж и обменялась несколькими незначительными словами с г-ном Мейером, который было проснулся, но тотчас снова уснул. Иосиф же спал все время без просыпу. Тут они добрались до вершины косогора, и Консуэло увидела перед собой длинную, крутую и извилистую дорогу, а в глубине ущелья показалась река, о которой ей говорил возница. Но, насколько мог видеть глаз, незаметно было никакого моста, а между тем они подвигались все к северу. Встревоженная и удивленная, Консуэло больше не могла заснуть.

Вскоре начался новый подъем; лошадь казалась очень утомленной. Все путешественники вышли из экипажа, кроме Консуэло, — у нее все еще болели ноги. И вот тут-то опять послышался стон, он повторился несколько раз и так ясно, что девушка уже никак не могла приписать его обману чувств: без всякого сомнения, стон шел из потайного ящика. Консуэло тщательно осмотрела экипаж и обнаружила в углу, где все время сидел Мейер, маленький глазок наподобие задвижки, прикрытый кожей и сообщавшийся с ящиком. Она попыталась было его отодвинуть, но не смогла. Задвижка оказалась на замке, ключ от которого находился, вероятно, в кармане мнимого профессора.

Консуэло, пылкая и мужественная в такого рода происшествиях, вытащила из-за пазухи нож с крепким и острым лезвием: голос целомудрия и предчувствие опасностей, от которых самоубийство всегда может избавить энергичную женщину, побудили ее захватить с собой это оружие. Она воспользовалась моментом, когда все путешественники ушли вперед, в том числе и возница, не имевший больше оснований опасаться, что лошадь будет горячиться, и быстрым уверенным движением расширила узкую щель между глазком и спинкой экипажа настолько, чтобы можно было заглянуть во внутренность таинственного хранилища. Каковы же были ее удивление и ужас, когда она увидела в тесном ящике, куда воздух и свет проникали только через проделанную вверху щель, мужчину огромного роста, с заткнутым ртом, окровавленного, с туго связанными руками и ногами; он лежал, согнувшись вдвое, в страшно неудобном, мучительном положении. Лицо, насколько его можно было разглядеть, отличалось мертвенной бледностью и, казалось, было искажено предсмертной судорогой.

Глава 71

Похолодев от ужаса, Консуэло выскочила из экипажа, догнала Иосифа и украдкой сжала ему руку, давая знать, чтобы он отошел с ней подальше от остальных.

Опередив компанию на несколько шагов, она чуть слышно проговорила:

— Мы погибли, если сейчас же не убежим: люди эти — грабители и разбойники. Я только что убедилась в этом. Ускорим шаг и бежим от них куда глаза глядят. У них есть какое-то основание обманывать нас.

Иосифу пришло в голову, что страшный сон расстроил его спутницу. Он едва понимал, что она говорит. Сам он чувствовал какую-то непривычную вялость и резь в желудке: очевидно, хозяин трактира подмешал в вино какие-то вредные и опьяняющие снадобья. Иосиф не сомневался, что он не настолько нарушил свою обычную умеренность, чтобы чувствовать себя таким сонным и ослабевшим.

— Дорогая синьора, — ответил он, — вы под впечатлением какого-то кошмара, и, слушая вас,

мне кажется, что я сам поддаюсь ему. Будь эти славные люди даже бандитами, как вы думаете, скажите, на какую богатую добычу могут они рассчитывать, захватив нас?

— Не знаю, но боюсь; и если бы вы, как я, своими глазами видели убитого человека в экипаже, в котором мы едем…

Здесь Иосиф не мог не рассмеяться, до того заявление Консуэло в самом деле походило на галлюцинацию.

— Ах! Да неужели вы не замечаете и того, что они обманывают нас и везут к северу, оставляя и Пассау и Дунай позади? — с жаром продолжала она. — Смотрите, где солнце, и обратите внимание, по какой пустыне мы движемся, вместо того чтобы подъезжать к большому городу!

Иосиф наконец проникся сознанием, что ее наблюдения вполне правильны и, можно сказать, летаргическое спокойствие, в каком он пребывал, начало постепенно рассеиваться.

— Ну что ж, идемте, — сказал юноша, ускорив шаг. — Их намерения сразу выяснятся, если они против нашей воли захотят удержать нас.

— А если нам не удастся ускользнуть сейчас, то не теряйте хладнокровия, Иосиф, слышите! Нужно будет перехитрить их и улучить другой

момент. Тут она дернула его за руку и притворилась, будто хромает еще сильнее, чем вынуждала боль ноги, но все-таки пошла быстрее. Не успели они сделать так и десяти шагов, их окликнули сначала дружески, а затем более строго. Звал г-н Мейер, но так как они не обращали на него внимания, вслед им полетела энергичная брань остальных спутников. Иосиф оглянулся и с ужасом увидел направленный на них пистолет возницы.

— Они убьют нас, — сказал он Консуэло, замедляя шаг. — А разве мы еще находимся на расстоянии выстрела? — хладнокровно спросила она, увлекая его вперед и пускаясь бежать.

— Не знаю, — ответил Иосиф, стараясь остановить ее, — поверьте мне, нужный момент еще не настал. Они будут стрелять.

— Остановитесь или я уложу вас на месте, — крикнул возница, бежавший быстрее их, с пистолетом в вытянутой руке.

— Теперь надо брать смелостью, — сказала Консуэло, останавливаясь, делайте и говорите то же, что я, Иосиф.

— Эх, — громко проговорила она, оборачиваясь и смеясь с апломбом хорошей актрисы, — если бы только больные ноги не мешали мне дальше

бежать, я показал бы вам, что подшутить над нами вам не удастся.

Глядя на смертельно бледного Иосифа, она притворно громко расхохоталась и, указывая приближавшимся к ним другим спутникам на своего растерявшегося товарища, воскликнула с прекрасно разыгранной веселостью:

— Он поверил! Бедный мой товарищ поверил! Ах, Беппо! Я не считал тебя таким трусом. Ну, господин профессор, взгляните-ка на Беппо, он на самом деле вообразил, что его хотят пристрелить!

Консуэло нарочно говорила по-венециански, своей веселостью сдерживая пыл человека с пистолетом, ни слова не понимавшего на этом наречии. Г-н Мейер также сделал вид, будто смеется. Затем, повернувшись к вознице, он сказал ему, подмигивая глазом (что прекрасно подметила Консуэло):

— Какая глупая шутка! Зачем пугать бедных детей?

— Мне хотелось узнать, насколько они храбры, — ответил тот, засовывая пистолет за пояс.

— Увы! Господа будут о тебе неважного мнения, друг Иосиф, — лукаво проговорила Консуэло. — А вот я не испугался, отдайте мне в этом справед-

ливость, синьор Пистолет!

— Вы молодец! — заметил Мейер. — Из вас вышел бы славный барабанщик, и вы, не моргнув, отбарабанили бы штурмовой марш, шагая во главе полка и нимало не заботясь о свистящих вокруг снарядах.

— О! Это еще неизвестно, — возразила она, — может, и испугался бы, поверь я, что он и вправду хочет нас убить. Но нам, венецианцам, знакомы всякие проделки, и нас не так-то легко провести.

— Все равно, это шутка дурного тона, — возразил Мейер и, обернувшись к вознице, для виду слегка пробрал его.

Но Консуэло трудно было провести. По их интонациям она поняла, что они обсуждали происшедшее и пришли к заключению, что ошиблись, заподозрив юнцов в желании убежать.

Усевшись снова со всеми в экипаж, Консуэло, смеясь, обратилась к г-ну Мейеру:

— Согласитесь, что ваш возница с пистолетом — чудак; я буду теперь звать его синьор Пистолет. Все же, господин профессор, сознайтесь, что его шутка не так уж нова.

— Немецкая шуточка, — заметил Мейер. — В Венеции это проделывают остроумнее, не правда ли?

— А знаете, что на вашем месте проделали бы итальянцы, если бы им вздумалось подшутить над нами? Они завели бы экипаж за первый попавшийся придорожный куст, а сами спрятались бы. И вот мы оба обернулись и, никого не увидев, подумали бы, что это дьявольское наваждение. Кто бы тогда был в дураках? Прежде всего я, едва передвигающий ноги, да и Иосиф тоже, испугавшийся, точно корова, заблудившаяся в Богемском Лесу, — он решил бы, что его бросили в этой пустыне!

Господин Мейер, смеясь над ее ребяческим балагурством, переводил все синьору Пистолету, не менее его забавлявшемуся дурачеством гондольера.

— О, вы чересчур большие хитрецы — мы уже больше не решимся подшутить над вами, — заявил Мейер.

Консуэло же, заметив глубокую иронию, пробившуюся наконец сквозь веселый отеческий тон мнимого добряка, продолжала, однако, разыгрывать роль простофили, воображающего себя умником, — прием, применяемый во всех мелодрамах.

Несомненно, они попали в серьезную переделку. Консуэло, ловко выдерживая свою роль, была

в очень возбужденном состоянии. К счастью, в таком состоянии действуют, а в удрученном — погибают.

Теперь она была настолько же весела, насколько до сих пор сдержанна, и Иосиф, уже пришедший в себя, удачно вторил ей. Притворившись, будто они нисколько не сомневаются в том, что действительно подъезжают к Пассау, молодые люди притворно стали очень внимательно прислушиваться к предложению отправиться в Дрезден, которое г-н Мейер не преминул возобновить. Таким способом они заручились его полным доверием и дали ему возможность подыскать предлог для признания, что он без их согласия везет их в Дрезден. И предлог скоро нашелся. Г-н Мейер не был новичком в подобного рода похищениях. Произошел оживленный разговор на неизвестном языке между тремя лицами — г-ном Мейером, синьором Пистолетом и «молчальником». Затем они вдруг заговорили по-немецки, будто продолжая начатую беседу.

— Говорил же я вам, что мы сбились с пути, — воскликнул г-н Мейер.

— Спутники-то наши исчезли! Уже более двух часов, как они отстали от нас, а я, сколько ни смотрю на косогор, ничего не замечаю.

— Совсем их не видно, — подтвердил возница, высовываясь из экипажа и с унылым видом снова садясь на место.

Консуэло еще у первого подъема прекрасно заметила исчезновение другого экипажа, с которым они одновременно выехали из Биберека.

— Я был убежден, что мы заблудились, — сказал Иосиф, — но не хотел говорить об этом.

— Что же вы, черт вас побери, молчали? — вмешался «молчальник», делая вид, будто крайне раздражен этим открытием.

— Да потому, что меня это забавляло, — сказал Иосиф, вдохновленный невинным коварством Консуэло. — Ведь забавно же заблудиться в экипаже! Я думал, что это случается только с пешеходами.

— Ото, вот так презабавная история. Мне это нравится, — промолвила Консуэло. — Теперь остается только пожелать, чтоб мы оказались на дрезденской дороге!

— Знай я, где мы, — возразил г-н Мейер, — я бы тоже порадовался вместе с вами, дети мои. Признаюсь, мне не очень-то улыбалось ехать в Пассау исключительно ради удовольствия моих друзей, и если мы действительно сбились с пути, то я был бы очень доволен воспользоваться этим

предлогом, чтоб не простирать дальше нашей к ним любезности.

— Право, господин профессор, — заговорил Иосиф, — поступайте как знаете, это уж ваше дело. Если мы вам не в тягость и вы по-прежнему не прочь захватить нас с собой в Дрезден, мы готовы следовать за вами хоть на край света. А ты, Бертони, что скажешь на это?

— Да «кажу то же, — ответила Консуэло, — будь что будет!

— Славные вы ребята! — сказал на это Мейер, под напускной озабоченностью скрывая свою радость. — Но все-таки хотелось бы мне знать, где мы находимся.

— Где бы мы ни были, а надо сделать привал! — заявил возница. — Лошадь совсем выбилась из сил. Ведь со вчерашнего вечера она ничего не ела, а везла всю ночь. Да и все мы рады будем подкрепиться. Вот как раз лесок; кое-что из провизии у нас еще осталось. Стой!

Въехали в лес, распрягли лошадь. Иосиф и Консуэло с большой готовностью предложили свои услуги, что было доверчиво принято. Оглобли экипажа опустили на землю, и так как при этом положение спрятанного узника стало, должно быть, еще мучительнее, до слуха Консуэло вновь

донесся его стон. Мейер также услыхал его и пристально посмотрел на Консуэло, желая убедиться, обратила ли она на это внимание. Но девушка сумела притвориться глухой и оставалась невозмутимой, хотя жалость и терзала ей сердце.

Мейер обошел вокруг экипажа, и отошедшая в сторону Консуэло видела, как он открыл сзади маленькую дверцу, заглянул внутрь потайного ящика, затем закрыл ее и снова положил ключ в карман.

— Что, товар не поврежден? — крикнул Мейеру «молчальник».

— Все в порядке, — ответил тот с поистине животным равнодушием и велел готовить завтрак.

— Теперь, — быстро проговорила Консуэло, проходя мимо Иосифа, — иди за мной и делай все, как я.

Она помогла разложить на траве провизию и откупорить бутылки. Иосиф подражал ей, представляясь страшно веселым. Г-н Мейер с удовольствием поглядывал, с каким усердием прислуживают ему эти добровольцы. Он любил блага жизни и принялся есть и пить в обществе своих товарищей с большей жадностью и более грубыми ухватками, чем накануне. Он поминутно протягивал стакан своим новоиспеченным

пажам, а те все время то вставали, то садились, то снова пускались бегом в ту или другую сторону, выслеживая момент, когда можно будет сбежать окончательно, но выжидая, чтоб их опасные стражи стали менее бдительными от действия яств и вина. Наконец г-н Мейер, растянувшись на траве, выставил на солнце свою широкую грудь, украшенную пистолетами. Возница пошел посмотреть, хорошо ли ест лошадь, а «молчальник» отправился разыскивать на илистом берегу ручья, у которого была сделана стоянка, подходящее место для водопоя. Это послужило сигналом к освобождению. Консуэло сделала вид, будто также разыскивает водопой. Иосиф зашел с ней подальше в кусты, и, как только они почувствовали, что их не видно за густой листвой, оба пустились, как два зайца, бежать по лесу. Среди густых зарослей им уже нечего было опасаться пуль. Когда же они услышали, что их зовут, они были уже достаточно далеко и могли без боязни продвигаться вперед.

— А все же лучше ответить, — сказала, останавливаясь, Консуэло, — это рассеет их подозрение и даст нам время отбежать подальше.

И Иосиф отозвался:

— Сюда, сюда! Здесь вода!

— Источник! Источник! — кричала Консуэло.

И тут, повернув под прямым углом, чтобы сбить с толку преследователей, они понеслись как ветер. Консуэло уже не думала о своих больных, опухших ногах, Иосиф освободился от действия наркотика, подбавленного накануне Мейером в его вино. Страх окрылял их.

Так бежали они минут десять в направлении, противоположном взятому ими сначала, не прислушиваясь даже к голосам, звавшим их с двух сторон, и вдруг выскочили на опушку леса. Перед ними был крутой косогор, поросший густой травой и спускавшийся к проезжей дороге; у его подножия, в зарослях вереска, возвышались группы деревьев. — Не будем выбираться из леса, — предложил Иосиф, — они явятся сюда и с этого возвышенного места увидят нас, куда бы мы ни направились.

С минуту Консуэло колебалась, но, окинув быстрым взглядом местность, сказала Иосифу:

— Лес слишком мал, надолго мы не скроемся в нем. Впереди же дорога и надежда встретиться с кем-нибудь.

— Да это та самая дорога, по которой мы только что ехали! — воскликнул Иосиф. — Смотрите, она огибает холм и поднимается справа к месту,

откуда мы убежали. Стоит одному из них сесть на лошадь, и он догонит нас, прежде чем мы успеем спуститься.

— Это еще неизвестно, — сказала Консуэло. — Под гору ведь бежать легко. А вон там на дороге кто-то поднимается по направлению к нам. Весь вопрос в том, чтоб добраться туда раньше, чем нас настигнут. Бежим! Некогда было терять времени на размышления, и Иосиф положился на интуицию Консуэло. Вмиг спустились они с холма и едва успели добраться до первых зарослей, как услыхали у лесной опушки голоса своих преследователей. На этот раз они уже не откликнулись, а лишь пуще пустились бежать под защитой деревьев и кустарников, пока не наткнулись на ручей с крутыми берегами, которого не было видно из-за деревьев. Длинная доска служила мостом через него. Беглецы перебрались по ней, а затем бросили доску в воду.

Очутившись на другом берегу, они продолжали спускаться вдоль ручья, все время под покровом густой растительности. Не слыша больше голосов, они решили, что преследователи либо потеряли их из виду, либо, не сомневаясь больше относительно их намерений, изыскивают способ захватить их врасплох. Но вскоре бере-

говые заросли кончились, и они остановились, боясь, что их заметят. Иосиф осторожно высунул голову из-за последних кустов и увидел одного из разбойников на страже у опушки леса, а другого (вероятно, то был синьор Пистолет, в чьей резвости они уже убедились) у подножия холма, неподалеку от речки. В то время как Иосиф изучал положение противника, Консуэло направилась к дороге и почти тотчас вернулась к своему спутнику.

— Экипаж, — проговорила она, — мы спасены! Необходимо добраться до него раньше, чем наш преследователь догадается переправиться через ручей.

Они побежали к дороге напрямик, не считаясь с тем, что их путь пролегал по открытой местности. Экипаж во весь карьер мчался им навстречу.

— О боже мой! — воскликнул Иосиф. — Что, если это экипаж их сообщников?

— Нет, — ответила Консуэло, — это карета шестериком, с двумя форейторами и двумя кучерами. Говорю тебе, мы спасены, еще немножко мужества! Действительно, надо было возможно скорее добраться до дороги: синьор Пистолет заметил их следы на песке у ручья. Он был сильный и быстрый, как дикий кабан. Следы моментально

привели его к сваям, на которых раньше лежала доска. Угадав хитрость беглецов, он вплавь перебрался через ручей, разыскал на другом берегу следы и теперь уже показался из-за кустов. Тут он увидел беглецов, пробиравшихся среди зарослей вереска… но увидел также и карету. Он понял их намерение и, не имея возможности помешать его осуществлению, вновь укрылся в кусты и стал ждать.

Крик двух молодых людей, принятых сперва за нищих, не остановил кареты. Путешественники бросили несколько мелких монет, а сопровождавшие их форейторы, видя, что наши беглецы, вместо того чтобы их поднять, продолжают бежать у дверцы кареты, понеслись от них вскачь, стараясь избавить своих господ от такой назойливости. Консуэло, запыхавшись и изнемогая (как обычно случается перед достижением цели), не в состоянии была произнести ни единого звука, а только продолжала бежать за всадниками, с мольбой протягивая к ним руки. Иосиф же, уцепившись за дверцу кареты, рискуя сорваться и быть раздавленным, кричал прерывающимся голосом:

— Помогите! Помогите! За нами погоня! Грабители! Разбойники!

Одному из двух путешественников, сидевших в карете, наконец удалось разобрать эти отрывистые слова. Он подал знак форейтору, и тот остановил кучеров. Тут Консуэло выпустила уздечку другого всадника, за которую, невзирая на бег лошади и угрожавший ей хлыст, она было ухватилась, и подошла к Иосифу. Лицо ее, возбужденное бегом, поразило путешественников, и они вступили в переговоры.

— Что это значит? — спросил один из них. — Новая манера выпрашивать милостыню? Вам подали, что же вам еще надо? Почему вы не отвечаете? Консуэло, казалось, была при последнем издыхании. Иосиф, еле переводя дух, мог только выговорить:

— Спасите нас! Спасите! — и указал на лес и на холм, не в силах прибавить ни одного слова.

— Они похожи на загнанных на охоте лисиц, — заметил другой путешественник, — подождем, пока они немного отдышатся.

И оба роскошно одетых вельможи посмотрели на них с хладнокровной улыбкой, являвшейся таким контрастом по сравнению с возбужденным состоянием беглецов. Наконец Иосифу удалось произнести еще раз: «Грабители, убийцы». Тотчас же благородные путешественники приказали

открыть дверцы кареты и, став на подножку, обозрели окрестность, удивляясь, что не видят ничего, оправдывающего подобный переполох. Разбойники попрятались, и кругом все было пустынно и безмолвно. Тут Консуэло, придя в себя, заговорила, останавливаясь после каждой фразы, чтобы перевести дух.

— Мы бедные странствующие музыканты, — начала она. — Нас захватили незнакомые нам люди, которые под видом услуги предложили сесть к ним в экипаж и везли нас всю ночь. На заре мы заметили, что нас обманывают и везут на север, вместо того чтобы направляться в Вену. Мы хотели было бежать, но они пригрозили нам пистолетом. Наконец они сделали, привал вон в том лесу. Мы от них убежали и понеслись навстречу вашему экипажу. Если вы нас теперь покинете, мы погибли: они в двух шагах от дороги, один здесь — в кустах, остальные в лесу.

— Сколько же их? — спросил форейтор.

— Друг мой, — по-французски ответил ему тот из путешественников, который стоял на подножке и к которому обратилась Консуэло, так как он был ближе других, — вас совершенно не касается, сколько их. Странный вопрос! Ваша обязанность — драться, когда я вам прикажу, а считать врагов

я вас вовсе не уполномачиваю.

— Вы в самом деле хотите развлечься схваткою? — спросил по-французски второй вельможа. — Но помните, барон, на это надо время.

— Времени надо немного, а кости мы разомнем. Хотите присоединиться ко мне, граф?

— Пожалуй, если это вас забавляет. — И граф с величавой беспечностью взял в одну руку шпагу, а в другую два усыпанных драгоценными камнями пистолета.

— О, господа, вы поступаете прекрасно! — воскликнула Консуэло, позабыв на минуту в пылу возбуждения свою скромную роль и пожимая обеими руками руку графа.

Граф, удивленный такой фамильярностью какого-то ничтожного мальчишки, с гадливой усмешкой посмотрел на свой рукав, встряхнул его и с презрением медленно перевел взгляд на Консуэло, а та не могла не улыбнуться, вспомнив, с каким пылом граф Дзустиньяни и другие знатные венецианцы в былые времена добивались милости поцеловать ту самую руку, чье пожатие показалось сейчас столь оскорбительным. Отразилась ли в эту минуту на лице Консуэло спокойная, скромная гордость, столь противоречившая ее убогому виду, или ее изысканная

речь, указывавшая на принадлежность к хорошему обществу, заставили предположить в ней переодетого юного дворянина, или, наконец, инстинктивно почувствовалась прелесть ее пола, но только выражение лица графа вдруг сразу изменилось, и он улыбнулся ей уже не презрительно, а ласково. Граф был еще молод, красив, и внешность его могла бы показаться ослепительной, не превосходи его барон молодостью, правильностью черт лица и статностью фигуры. Оба, как гласила молва, были красивейшими мужчинами своего времени.

Консуэло, видя, что выразительные глаза молодого барона также с недоумением и интересом устремлены на нее, отвлекла внимание обоих вельмож, сказав:

— Идите, господа, или, вернее, пойдемте, — мы будем вашими проводниками. В кузове экипажа этих бандитов, как в темнице, запрятан какой-то несчастный. Он лежит, связанный по рукам и по ногам, умирающий, окровавленный, с кляпом во рту. Освободите его! Это дело достойно ваших благородных сердец!

— Какой милый мальчуган, клянусь богом! Мы, право, не зря выслушали его. Быть может, мы вырвем из рук этих бандитов какого-нибудь

честного дворянина.

— Вы говорите, они там? — спросил граф, указывая на лес.

— Да, — ответил Иосиф, — но они разбежались; и если только вашим сиятельствам угодно последовать моему скромному совету, вам следует разделиться для нападения: надо как можно скорее подняться в карете по этому косогору и достигнуть вершины холма. У самой опушки леса вы найдете экипаж с узником. Я же в это время проведу господ всадников напрямик. Бандитов всего трое. Они хорошо вооружены, но если увидят, что их окружили со всех сторон, не будут сопротивляться.

— Совет неплохой, — промолвил барон. — Граф, оставайтесь в карете, и пусть с вами едет ваш слуга: я возьму его лошадь. Один из юнцов проводит вас и укажет, где остановиться. А я беру с собой егеря и вот этого юнца. Поспешим, а то разбойники, вероятно, начеку и могут нас опередить.

— Экипаж разбойников никуда от вас не уйдет, — заметила Консуэло, лошадь еле жива от усталости.

Барон вскочил на коня графского слуги, а тот поместился на запятках кареты.

— Садитесь в карету, — сказал граф Консуэло,

пропуская ее вперед; он и сам не мог понять, почему он так поступил. Однако сел он все же на заднее сиденье, предоставив ей переднее. Форейторы пустили, лошадей вскачь, а граф, высунувшись из окна кареты, не спускал глаз со своего спутника, который верхом на лошади переправлялся через ручей в сопровождении слуги, посадившего к себе на седло Иосифа. Консуэло была очень неспокойна за своего бедного приятеля, которого могла уложить первая же шальная пуля; но в то же время горячность, с какою он взялся за это опасное дело, вызывала ее одобрение и внушала уважение к нему. Она видела, как он поднимался по холму в сопровождении всадников, лихо пришпоривавших своих коней. Затем все скрылись в кустах. Вдруг раздались два выстрела, потом еще один. Карета в это время огибала холм.

Консуэло, не зная, чем все кончилось, стала горячо молиться.

Граф, испытывавший такую же тревогу за своего благородного спутника, с раздражением закричал форейторам:

— Да погоняйте же, шалопаи! Вскачь!

Глава 72

Синьор Пистолет, — мы не можем называть этого человека иначе, чем окрестила его Консуэло, ибо не находим настолько интересным, чтобы наводить о нем справки, — видел из своего убежища, как карета остановилась на крики беглецов. Другой безыменный, прозванный Консуэло Молчальником, сделал с холма те же наблюдения и бросился бежать к Мейеру; они вместе стали обсуждать, как спастись.

Прежде чем барон переправился через ручей, синьор Пистолет опередил его и успел притаиться в чаще леса. Он дал им проехать, а потом дважды выстрелил вслед: одним выстрелом он пробил шляпу барона, а другим слегка ранил лошадь слуги. Барон круто повернул коня, увидел стрелявшего, поскакал на него и пистолетным выстрелом свалил на землю; затем, предоставив раненому с проклятиями кататься среди колючек, сам последовал за Иосифом, подъехавшим к экипажу Мейера почти одновременно с графской каретой. Граф успел спрыгнуть на землю. Мейер и Молчальник исчезли вместе с лошадью, не

тратя времени на то, чтобы укрыть в кустах экипаж. Прежде всего победители взломали замок у ящика, где находился узник. Консуэло рьяно принялась разрезать веревки и помогла вынуть кляп изо рта несчастного, а узник, почувствовав себя свободным, бросился в ноги своим избавителям и стал благодарить бога. Но едва успел он взглянуть на барона, как решил, что попал из огня да в полымя.

— Боже мой! Господин барон фон Тренк! — воскликнул он. — Не губите меня, не выдавайте! Сжальтесь, сжальтесь над несчастным дезертиром, над мужем и отцом! Ведь я такой же пруссак, как вы сами, господин барон, — ведь я, как и вы, австрийский подданный и умоляю вас, не арестовывайте меня. Ох, смилуйтесь надо мной!

— Простите его, господин барон фон Тренк! — воскликнула Консуэло, не зная, ни с кем она говорит, ни о чем идет речь.

— Я тебя милую, — отвечал барон, — с условием, что ты самой страшной клятвой поклянешься никогда не говорить, кому ты обязан своей жизнью и свободой.

С этими словами барон вынул из кармана носовой платок и закрыл им себе лицо, оставив открытым только один глаз.

— Вы ранены? — спросил граф.

— Нет, — ответил он, опуская пониже на лицо шляпу, — но попадись нам эти мнимые разбойники, мне не очень хотелось бы, чтобы они меня узнали. Я и так не на слишком хорошем счету у своего милостивого монарха. Этого только еще мне недоставало!

— Понимаю, — заметил граф, — но будьте покойны: я беру все на себя.

— Это может спасти дезертира от розог и виселицы, но не спасет меня от немилости. Да уж все равно, — почем знать, что может случиться; надо, рискуя всем, оказывать услуги ближнему. Ну-ка, братец, можешь держаться на ногах? Что-то не очень, как видно. Ты ранен?

— Правда, меня страшно били, но теперь я ничего не чувствую.

— Короче говоря, ты в силах удрать?

— О да, господин адъютант!

— Не называй меня так, чудак! Молчи и убирайся! Да и нам, любезный граф, не мешает сделать то же самое. Мне не терпится поскорее выбраться из этого леса. Я убил вербовщика, и дойди это только до короля, мне не поздоровится! Хотя в конце концов все это пустяки, — прибавил он, пожимая плечами.

— Увы! — сказала Консуэло, в то время как Иосиф протягивал свою фляжку дезертиру. — Если вы бросите его здесь, его сейчас же снова заберут. Ноги у него распухли от веревок, руками он с трудом владеет. Взгляните, какой он бледный и изнуренный.

— Мы его не бросим, — заявил граф, не сводивший глаз с Консуэло. — Спешьтесь, Франц, — приказал он своему слуге и, обращаясь к дезертиру, сказал: — Садись на эту лошадь, я ее дарю тебе; и вот еще в придачу, — прибавил он, бросая ему кошелек. — А хватит у тебя сил добраться до Австрии?

— Да, да, ваше сиятельство!

— Ты хочешь ехать в Вену?

— Да, ваше сиятельство!

— И снова поступить на службу?

— Да, ваше сиятельство, только не в Пруссии.

— Так отправляйся к ее королевскому величеству, — она всех принимает раз в неделю, — скажи ей, что граф Годиц шлет ей в подарок красавца гренадера, в совершенстве выдрессированного на прусский лад.

— Лечу, ваше сиятельство!

— Но смотри, не смей упоминать о господине бароне, а то велю своим людям схватить тебя и

отправить обратно в Пруссию. Запомни!

— Лучше мне сейчас же умереть! Ох! Если бы негодяи не связали мне рук, я бы покончил с собой, когда они меня снова захватили!

— Проваливай!

— Слушаю, ваше сиятельство! Он дочиста опорожнил фляжку, возвратил ее Иосифу, поцеловал его, не подозревая, что обязан ему гораздо большим, и, бросившись в ноги графу и барону, стал благодарить их, но барон остановил его нетерпеливым жестом на полуслове; тогда он перекрестился, поцеловал землю и взобрался на лошадь с помощью слуг, так как еле мог шевелить ногами. Однако, очутившись в седле, он сразу приободрился, почувствовал прилив сил, пришпорил коня и умчался по дороге, ведущей на юг. — Если когда-нибудь обнаружится, что я не удержал вас от этого поступка, — сказал барон графу, — то моя песенка спета. А впрочем, все равно, — добавил он, заливаясь смехом. — Идея подарить Марии-Терезии фридриховского гренадера просто великолепна! Этот олух, пускавший пули в уланов императрицы, теперь будет пускать их в кадетов прусского короля! Нечего сказать, хороши верноподданные! Прекрасные войска!

— Государи от этого нимало не страдают, — проронил граф. — А что же нам делать с этими юнцами? — добавил он.

— Мы можем только повторить то, что сказал гренадер, — ответила Консуэло. — Если вы нас здесь покинете, мы пропали!

— Мне кажется, мы не давали вам до сих пор повода сомневаться в нашей гуманности, — проговорил граф, вкладывая в каждое слово какое-то рыцарское чванство. — Мы довезем вас до места, где вам нечего будет опасаться. Мой слуга, у которого я взял лошадь, сядет на козлы, — сказал он барону и, понизив голос, прибавил: — Разве вы не предпочитаете общество этих двух юнцов обществу слуги, которого нам пришлось бы взять в карету, что гораздо больше стеснило бы нас?

— Да, конечно, — ответил барон, — артисты, при всей своей бедности, везде желанные гости. Кто знает, не окажется ли вот этот самый музыкантик, нашедший в кустах свою скрипку и схвативший ее с такой радостью, будущим Тартини? Ну, трубадур, — сказал он Иосифу, только что с успехом подобравшему свою сумку, скрипку и рукопись, — едем с нами, и на первом же привале вы нам воспоете это славное сражение, где на поле битвы не было обнаружено ни единой души.

— Можете сколько угодно потешаться надо мной, ведь вам, а не мне выпала великая честь прикончить висельника, — промолвил граф, когда оба удобно расположились на заднем, а мальчики на переднем сиденье и карета быстро покатилась к Австрии.

— В том-то и дело, что я не уверен, убил ли я его наповал, и очень боюсь когда-нибудь встретить его у дверей кабинета Фридриха. Охотно уступил бы вам честь этого подвига.

— А я, хотя мне не удалось даже видеть противника, искренне завидую вам, — возразил граф. — Я уже начал было входить во вкус приключения и с радостью наказал бы негодяев по заслугам. Подумайте только! Хватать дезертиров и набирать рекрутов в самой Баварии, верной союзницы Марии-Терезии! Наглость просто неслыханная!

— Вот вам готовый повод для войны, не будь мы утомлены войнами и не живи в такое мирное время. Вы очень обяжете меня, граф, если не станете разглашать это приключение; дело не только в моем государе, — а он был бы крайне недоволен мной, узнай он о моей роли в этой истории, — но и в миссии, с какою я послан к вашей императрице. Она приняла бы меня очень

недоброжелательно, явись я к ней после дерзкого поступка, совершенного моим правительством.

— Можете быть совершенно спокойны, — ответил граф, — вы знаете, что я не особенно ревностный подданный, ибо во мне нет честолюбия царедворца. — Да какие же еще честолюбивые чувства вы могли бы питать, дорогой граф? И любовь и богатство увенчали все ваши желания. А вот я… Ах! Как различна до сих пор наша судьба, несмотря на кажущееся с первого взгляда сходство!

Говоря это, барон вынул спрятанный на груди портрет, усыпанный бриллиантами, и стал нежно глядеть на него, тяжко вздыхая, что показалось несколько смешным Консуэло. Она нашла, что столь открытое проявление чувства отнюдь не является показателем хорошего тона, и в глубине души посмеялась над манерами царедворца.

— Дорогой барон, — проговорил граф, понижая голос (Консуэло сделала вид, будто ничего не слышит, и даже искренне старалась не слышать), — умоляю вас, не удостаивайте никого доверием, каким вы почтили меня, а главное — никому, кроме меня, не показывайте портрета. Вложите его обратно в футляр и не забывайте, что этот мальчик так же хорошо понимает фран-

цузский язык, как и мы с вами.

— Кстати, — воскликнул барон, пряча портрет, на который Консуэло постаралась не бросить ни единого взгляда, — что собирались делать с этими мальчуганами наши вербовщики? Скажите, что они вам предлагали, уговаривая ехать с собой?

— Действительно, — сказал граф, — я как-то об этом не подумал, да и теперь не могу понять, что это им взбрело на ум: спрашивается, зачем понадобились дети людям, заинтересованным в том, чтобы набрать мужчин зрелого возраста и богатырского сложения?

Иосиф рассказал, что мнимый Мейер выдавал себя за музыканта и, не переставая, говорил о Дрездене и об ангажементе в капелле курфюрста.

— А! Теперь понимаю! — сказал барон. — Готов поручиться, что знаю этого Мейера. Это, должно быть, Н., бывший капельмейстер военного оркестра, а теперь вербовщик музыкантов в прусские полки. Наши соотечественники туповаты, они играют фальшиво и не попадают в такт; а у его величества слух потоньше, чем у его батюшки, покойного короля, и потому он вербует своих трубачей, флейтистов и горнистов в Богемии и в Венгрии. Милейший профессор

какофонии вздумал сделать хороший подарок своему властелину — привезти ему, помимо дезертира, выловленного на вашей земле, еще двух смышленых музыкантиков. А соблазнять Дрезденом и придворными прелестями — было совсем неплохо придумано для начала. Но вам бы Дрездена и в глаза не видать, дети мои, и вы волей-неволей были бы зачислены до конца дней своих в оркестр какого-нибудь пехотного полка.

— Теперь я себе ясно представляю ожидавшую нас участь, — ответила Консуэло. — Я слыхал рассказы об ужасах этого военного строя, о жестоком похищении рекрутов, которых сманивают обманом. По тому, как обошлись эти негодяи с несчастным гренадером, я вижу, что рассказы эти нисколько не преувеличены. О! Вели кий Фридрих…

— Да будет вам известно, молодой человек, — проговорил барон с несколько иронической напыщенностью, — что его величеству неведомы способы действий, он знает только результаты их.

— И он пользуется ими, не заботясь об остальном, — в тон ему с неудержимым негодованием заметила Консуэло. — О! Я прекрасно знаю, господин барон, короли никогда не бывают виноваты,

они не повинны ни в чем, что делается им в угоду!

— А плутишка не так глуп! — смеясь, воскликнул граф. — Но будьте осторожны, мой милый маленький барабанщик, и не забывайте, что говорите в присутствии старшего офицера полка, куда вы должны были, по-видимому, попасть.

— Я умею молчать, господин граф, и никогда не ставлю под сомнение скромность других.

— Слышите, барон. Он обещает вам молчать, а вы и не помышляли просить его об этом. Ну, право, прелестный мальчик!

— И я всем сердцем полагаюсь на него, — проговорил барон. — Граф,

— продолжал он, — вам бы следовало завербовать его и предложить в пажи ее высочеству.

— Готов, если он согласен, — смеясь, сказал граф. — Хотите занять эту должность, гораздо более приятную, чем прусская служба? Да, дитя мое, тут не придется ни дуть в медные трубы, ни отбивать на барабане сбор, ни получать тумаки, ни есть хлеб из толченого кирпича, а только поддерживать шлейф и носить веер прелестнейшей дамы, жить в волшебном замке, принимать участие в играх и веселье и выступать в концертах, не уступающих концертам Фридриха. Что? Вас

это не соблазняет? Уж не принимаете ли вы меня за второго Мейера?

— А кто же эта величественная и прелестная дама? — спросила, улыбаясь, Консуэло.

— Вдовствующая маркграфиня Байрейтская, княгиня Кульмбахская, а ныне моя прославленная супруга и владетельница замка Росвальд в Моравии, — ответил граф Годиц.

Много раз приходилось слышать Консуэло рассказы канониссы Венцеславы фон Рудольштадт о генеалогии, браках и всяких происшествиях в княжеских и аристократических родах, больших и малых, как Германии, так и соседних с нею государств. Некоторые из биографий поразили Консуэло, и среди них была биография графа Годица-Росвальда, богатейшего моравского вельможи. Изгнанный и отверженный отцом, разгневанным его распутством, граф-авантюрист был известен всем европейским дворам; наконец он стал обер-шталмейстером и любовником вдовствующей маркграфини Байрейтской, потом тайно обвенчался с ней и увез ее сначала в Вену, а затем в Моравию; здесь он унаследовал состояние отца, и его супруга оказалась обладательницей огромного богатства. Канонисса часто возвращалась к этой истории, находя ее весь-

ма скандальной, ввиду того, что маркграфиня была владетельной принцессой, а граф — обыкновенным дворянином. Для нее это был повод обрушиться на неравные браки и на браки по любви. Консуэло, стремясь понять кастовые предрассудки дворянства и познакомиться с ними, извлекала пользу из этих рассказов и не забывала их. Когда граф Годиц впервые назвал себя, ей сразу показалось, что с его именем у нее связаны какие-то смутные воспоминания; теперь же перед нею ясно встали все обстоятельства жизни и романтического брака знаменитого авантюриста. Но о бароне фон Тренке ей никогда не приходилось слышать. Тогда только начиналась его нашумевшая опала, и ему не дано было предугадать свое ужасное будущее. Итак, она слушала рассказы графа, не без хвастовства рисовавшего картину своего богатства. Бывая при дворах, в маленьких и надменных герцогствах Германии, где над ним с презрением насмехались, Годиц не раз краснел, чувствуя, что на него смотрят как на бедняка, разбогатевшего благодаря жене. Унаследовав огромные имения, кичась царственной роскошью своего моравского графства, он отныне считал честь свою восстановленной и любил подчеркивать свои новые преимущества на зависть

мелким властителям, более бедным, чем он. Полный внимания и нежнейшей заботливости к маркграфине, он, однако, не считал необходимой безупречную верность по отношению к супруге, которая была гораздо старше его. А принцесса — потому ли, что она отличалась устойчивостью взглядов и утонченным тактом, свойственным ее эпохе и заставлявшем закрывать глаза на многое, или потому, что считала исключенным, чтобы возвеличенный ею супруг мог когда-либо заметить увядание ее красоты, — не препятствовала его похождениям. Проехав несколько миль, путники сделали привал в местечке, где заранее все было приготовлено для приема знатных гостей. Консуэло и Иосиф, выйдя из кареты, хотели здесь проститься со своими избавителями, но те воспротивились, ссылаясь на возможность новых посягательств на них со стороны снующих в этой местности вербовщиков. — Вы не знаете, — сказал им Тренк (и он нисколько не преувеличивал), — до чего ловко и страшно это отродье. В какое бы место просвещенной Европы вы ни попали, если вы бедны и беззащитны, если вы физически сильны или у вас есть какие-нибудь дарования, — вы рискуете попасть в лапы этих плутов и насильников. Им известны все

переходы через границу, все горные тропинки, все проселочные дороги, все подозрительные притоны, все мерзавцы, на поддержку и помощь которых они могут рассчитывать в случае надобности. Они знают все языки, все наречия, так как всюду побывали и перепробовали все профессии. Они бесподобно правят лошадьми, бегают, плавают, перепрыгивают через пропасти, как истые бандиты. Они почти все поголовно смельчаки, не знают усталости, ловки, бесстыжи, мстительны, изворотливы и жестоки. Это изверги рода человеческого; вот из таких-то подонков военная организация покойного короля Вильгельма Толстого и набрала самых ценных агентов своего могущества, лучших столпов дисциплины. Они настигнут дезертира в дебрях Сибири, отправятся разыскивать его под пулями вражеских войск — исключительно ради удовольствия доставить его обратно в Пруссию, чтобы там его повесили в назидание остальным. Они вытащили из алтаря священника, служившего обедню, только потому, что он был ростом в пять футов и десять дюймов; выкрали врача у супруги великого курфюрста; неоднократно приводили в ярость старого маркграфа Байрейтского, угоняя его полк, состоящий из двадцати — тридцати человек,

причем он не дерзал даже открыто высказать свое возмущение; они обратили в пожизненного солдата французского дворянина, ехавшего куда-то под Страсбург на свидание с женой и детьми; хватали подданных царицы Елизаветы, уланов маршала Саксонского, пандуров Марии-Терезии, венгерских магнатов, польских вельмож, итальянских певцов и, наконец, женщин всех национальностей — этих новых сабинянок, которых они насильно выдавали замуж за солдат. Они берут все, что попадется; помимо щедрого вознаграждения и путевых издержек, они получают известную премию с каждой головы, да нет, что я говорю, — с каждого дюйма.

— Да, — проговорила Консуэло, — они поставляют человеческое мясо по столько-то за унцию! Ах, ваш великий король — настоящее чудовище! Но будьте покойны, господин барон, можете говорить свободно: вы совершили огромное благодеяние, освободив бедного дезертира, и я предпочел бы вынести пытки, предназначенные ему, чем вымолвить слово, могущее вам повредить.

Тренк, человек по натуре горячий, не признавал осторожности, к тому же он был так озлоблен непонятной для него суровостью и несправед-

ливостью Фридриха, что ему доставляло горькое удовольствие разоблачать перед графом Годицем беззакония того самого государственного строя, свидетелем и соучастником злодеяний которого он был сам в дни своего благоденствия, когда взгляды его были не столь справедливы и строги. Теперь же, хоть он и получил, несмотря на тайные преследования, важное поручение к Марии-Терезии, очевидно благодаря доверию короля, барон начинал ненавидеть своего повелителя и слишком откровенно выказывал свои чувства. Он обрисовал графу страдания, рабство и отчаяние многочисленной прусской армии, очень ценной во время войны, но настолько опасней в мирное время, что пришлось для обуздания ее прибегнуть к системе беспримерного террора и жестокости. Рассказал и об эпидемии самоубийств, свирепствующей в армии, и о преступлениях, совершаемых солдатами, даже честными и набожными, с единственной целью добиться смертного приговора и избавиться таким путем от ужасов жизни, на которую их обрекли.

— Поверите ли, — говорил он, — солдаты страстно стремятся попасть в ряды «поднадзорных». Надо вам сказать, что «поднадзорные»

пополняются за счет рекрутов-иностранцев (главным образом похищенных), а также за счет прусской молодежи. В начале своей военной карьеры, кончающейся для них только вместе с жизнью, все они, особенно в первые годы, предаются безмерному отчаянию. Их разбивают на ряды и, как в мирное, так и в военное время, заставляют маршировать впереди ряда людей более покорных — или более решительных, — получивших приказ стрелять в каждого идущего перед ним при малейшей попытке к бегству или неповиновению. Если же ряд, которому поручена эта экзекуция, не выполнит ее, то следующий за ним ряд, составленный из людей еще более бесчувственных и более жестоких (а такие встречаются среди старых, очерствелых солдат и добровольцев, почти поголовных негодяев), обязан стрелять в оба передних, и так далее, в случае если и третий оплошает при выполнении экзекуции. Таким образом, каждый ряд солдат имеет во время сражения врага перед собой и врага позади себя, но близких — товарищей или братьев по оружию — нет ни у кого. Повсюду насилие, смерть и ужас. Только таким образом, говорит великий Фридрих, создаются непобедимые солдаты. Так вот в этих именно рядах и домогается юный прус-

ский солдат желанного места, а добившись его и потеряв всякую надежду на спасение, он бросает оружие и бежит, чтобы навлечь на себя пули своих товарищей. Этот отчаянный порыв спасает некоторых; им порой ценою риска и невероятных опасностей удается бежать, а иногда и перейти к врагу. Король прекрасно знает, с каким ужасом относятся в армии к его железному ярму. И вам, быть может, известна острота, которую он сказал своему племяннику, герцогу Брауншвейгскому, присутствовавшему на одном из его больших смотров и не переставшему восхищаться прекрасней выправкой солдат и вообще чудесными маневрами.

«Вас удивляет, — обратился к нему Фридрих, — такое сборище красавцев и полное их единодушие, а меня несравненно больше удивляет нечто другое».

«Что же?» — спросил молодой герцог. «Да то, что нам с вами не грозит среди них опасность», — ответил король.

— Барон, дорогой барон! — возразил граф Годиц. — Это оборотная сторона медали. Чудес люди не творят. Мог ли Фридрих быть величайшим полководцем своего времени, отличайся он голубиной кротостью?.. Знаете что? Не говорите

больше о нем. А то, пожалуй, вы вынудите меня, естественного врага Фридриха, защищать короля против вас, его адъютанта и любимца!

— По тому, как он обращается со своими любимцами, когда на него найдет каприз, можно судить о том, как он относится к рабам. Но вы правы: не будем больше говорить о нем, а то у меня является дьявольское желание вернуться в лес и собственными руками передушить его усердных поставщиков человеческого мяса, которых я пощадил из-за глупого и трусливого благоразумия!

Великодушная горячность барона пришлась по сердцу Консуэло. Она с интересом слушала его живые рассказы о прусской военной жизни, но не знала, что в смелом негодовании барона есть доля личного недовольства, тогда как ей он казался человеком исключительно благородным. Правда, в душе Тренка было несомненное благородство. Гордый молодой красавец не был рожден для низкопоклонства. Он очень отличался от своего новоприобретенного в дороге друга, надменного богача Годица. Граф, приводивший ребенком в ужас и отчаяние своих воспитателей, был наконец предоставлен самому себе, и хотя теперь он уже вышел из возраста буйных шалостей, все же в его манерах и разговорах осталось много мальчи-

шеского; и это противоречило его геркулесовой фигуре и красивому лицу, немного поблекшему за сорок лет постоянной невоздержанности и переутомления. Поверхностные знания, которыми он от времени до времени любил прихвастнуть, были почерпнуты им исключительно из романов, из модной философии и из посещения театров. Он воображал себя артистом, но и в этом, как во всем, ему не хватало тонкости и глубины. Однако его барская осанка, утонченная любезность и веселые остроты пленили юного Гайдна, и он нравился ему гораздо больше, чем барон, быть может еще потому, что к последнему с явным интересом относилась Консуэло.

Барон, напротив, получил хорошее образование. Хотя блеск придворной жизни и эгоизм кипучей молодости настолько увлекали его порой, что он забывал об истинной ценности человеческого величия, в глубине души его сохранились независимость чувств и твердость принципов, выработанных серьезным чтением и хорошим воспитанием. Его гордый характер мог измениться под влиянием лести и угодничества, но достаточно было малейшей несправедливости, чтобы он вспылил и вышел из себя. Красавец паж Фридриха омочил губы в кубке с ядом, но

любовь — любовь безграничная, смелая, экзальтированная — вновь воскресила в нем отвагу и твердость. Пораженный в самое сердце, он поднял голову, бросая вызов тирану, желавшему поставить его на колени.

В то время, о котором мы повествуем, ему было на вид не больше двадцати лет. Целый лес каштановых волос, которыми он не хотел жертвовать ради дисциплинарных установлении Фридриха, осенял его высокий лоб. Великолепно сложенный, с искрящимися глазами, черными, как смоль, усиками и белыми, как алебастр, но сильными, как у атлета, руками, он обладал голосом не менее свежим и мужественным, чем его лицо, мысли и любовные упования. Консуэло все думала о таинственной любви, о которой он непрестанно упоминал, но это чувство уже не казалось ей смешным с той минуты, как девушка подметила, что порывы откровенности сменялись у барона внезапной сдержанностью, что указывало на врожденную непосредственность и вполне понятное недоверие, порождавшее постоянную внутреннюю борьбу с самим собой и с судьбой. Консуэло помимо воли то и дело задумывалась над тем, кто же дама сердца юного красавца, и ловила себя на мысли, что самым

искренним образом желает успеха этим двум романтическим возлюбленным. День показался ей не столь длинным, как она ожидала, боясь тягостного пребывания с глазу на глаз с двумя незнакомцами из чуждого ей круга. В Венеции она получила представление о вежливости, а в замке Ризенбург приобрела привычку к ней, равно как и к мягким манерам и изысканным речам, являвшимся приятной особенностью того общества, которое в те времена принято было называть избранным. С присущей ей сдержанностью она не вступала в разговор, пока к ней не обратятся, и спокойно обдумывала на свободе все, о чем ей приходилось слышать. Ни барон, ни граф, по-видимому, не заметили, что она переодета. Барон не обращал никакого внимания ни на нее, ни на Иосифа: если он и бросал им несколько слов, то делал это между прочим, продолжая начатый разговор с графом; но вскоре, увлекшись, он забывал даже и о нем, беседуя, казалось, с собственными мыслями, как человек, чей ум питается собственным внутренним огнем. Что же касается графа, то он был либо важен, как монарх, либо резв, как французская маркиза. Он вынимал из кармана тонкие таблички из слоновой кости и что-то заносил на них с сосре-

доточенным видом мыслителя или дипломата, затем, напевая, перечитывал, и Консуэло видела, что это французские слащаво-любовные стишки. Порой он декламировал их барону, а тот, не слушая, находил их чудесными. Иногда граф самым добродушным образом совещался с Консуэло, спрашивая ее с деланной скромностью:

— Как вы находите стихи, юный мой друг? Ведь вы понимаете по-французски, не правда ли?

Консуэло надоела притворная снисходительность Годица, по-видимому желавшего ее поразить; она не удержалась и указала ему на две-три ошибки в его четверостишии «К красоте». Мать научила Консуэло красивым оборотам в иностранных языках, на которых сама пела с легкостью и даже некоторым изяществом. Консуэло, любознательная и музыкальная, а потому во всем искавшая гармонию, меру и ясность, впоследствии глубже усвоила из книг правила различных языков. Упражняясь в переводе лирических стихов и приноравливая иностранные слова к народным песням, она обращала особенное внимание на ударения, чтобы ориентироваться в произношении и ритме. Таким путем ей удалось хорошо изучить стихосложение нескольких языков, а потому не стоило большого

труда указать моравскому поэту на его погрешности.

Восхищенный познаниями Консуэло, но не в силах усомниться в своих собственных, Годиц обратился за третейским судом к барону, и тот оказался настолько компетентным в этом вопросе, что согласился с мнением маленького музыканта. С этой минуты граф занялся исключительно Консуэло, не подозревая, по-видимому, ни ее настоящего возраста, ни пола. Он только спросил, где он получил образование, что так хорошо усвоил законы Парнаса.

— В одной бесплатной певческой школе в Венеции, — лаконично ответила Консуэло.

— По-видимому, учение в этой стране поставлено лучше, чем в Германии.

А где учился ваш товарищ?

— При венском соборе, — ответил Иосиф.

— Дети мои, — продолжал граф, — вы оба кажетесь мне и умными и способными. На первой же нашей остановке я вас проэкзаменую по музыке, и если оправдается то, что обещают ваши лица и манеры, я приглашаю вас в свой оркестр или театр в Росвальде. Серьезно, я хочу представить вас маркграфине. Что вы на это скажете? А? Это было бы большим счастьем для вас, мальчики.

Консуэло едва сдержала смех, услышав, что граф собирается экзаменовать по музыке ее и Гайдна. Она лишь почтительно поклонилась, делая неимоверные усилия, чтобы не расхохотаться. Иосиф же, чувствуя все выгоды нового покровительства, поблагодарил и не отказался. Граф снова взялся за свои таблички и прочел Консуэло половину маленького, удивительно скверного и плохого по стилю либретто итальянской оперы, которое он сам собирался положить на музыку и поставить в день именин жены на собственном театре, с собственными актерами, в собственном замке, вернее — в собственной «резиденции», ибо, считая себя благодаря браку с маркграфиней принцем, он иначе не выражался.

Консуэло время от времени подталкивала Иосифа локтем, желая обратить его внимание на промахи графа. Умирая от скуки, она говорила себе, что если знаменитая красавица наследственного маркграфства Байрейтского с уделом Кульмбах дала увлечь себя подобными мадригалами, то, невзирая на свои титулы, любовные похождения и годы, она, должно быть, особа крайне легкомысленная.

Читая и декламируя, граф ел конфеты, чтобы смягчить горло, и то и дело угощал ими своих

юных спутников, а те, не имея со вчерашнего дня во рту ни маковой росинки и умирая от голода, уписывали, за неимением лучшего, эту пищу, способную скорее обмануть голод, чем удовлетворить его. Каждый из них думал про себя, что и конфеты и стихи графа довольно безвкусны.

Наконец, уже под вечер, на горизонте показались крепостные стены и шпили того самого Пассау, куда, как Консуэло думала еще этим утром, ей никогда не добраться. После пережитых опасностей и ужасов она почти так же обрадовалась этому городу, как в другое время обрадовалась бы Венеции. Когда они переправлялись через Дунай, она не удержалась и радостно пожала руку Иосифу.

— Это ваш брат? — спросил граф; до сих пор ему не приходило в голову задать этот вопрос.

— Да, ваше сиятельство, — наобум ответила Консуэло, чтобы отделаться от расспросов любознательного графа.

— Однако вы совсем не похожи друг на друга, — сказал граф.

— А сколько детей не похожи на своих отцов! — весело заметил Иосиф.

— Значит, вы не вместе воспитывались?

— Нет, ваше сиятельство. При нашем кочевом

образе жизни воспитываешься где и как придется.

— Не знаю почему, но мне кажется, — проговорил граф, понижая голос, что вы хорошего происхождения. Все в вас самих и в вашем разговоре отличается прирожденным благородством.

— Я совсем не знаю, какого я происхождения, ваше сиятельство, — ответила, смеясь, Консуэло, — должно быть, мои предки были музыкантами, потому что я больше всего на свете люблю музыку.

— Отчего вы одеты моравским крестьянином?

— Да потому что в пути платье мое износилось, и я купил на ярмарке то, что вы на мне видите.

— Так вы были в Моравии? Пожалуй, еще и в Росвальде?

— Да, ваше сиятельство, был в его окрестностях, — шаловливо отвечала Консуэло, — я издали видел, не дерзнув приблизиться, ваше роскошное поместье, ваши статуи, ваши каскады, ваши сады, ваши горы и еще бог весть что! Настоящие чудеса, волшебный дворец!

— Вы все это видели? — воскликнул граф, удивившись, что не знал этого раньше, и не догадываясь, что Консуэло, прослушав целых два часа подряд описание прелестей его резиденции,

могла со спокойной совестью повторить вслед за ним все слышанное. — О! В таком случае вы должны жаждать вернуться туда, — сказал он.

— Просто горю нетерпением — особенно теперь, после того как я имел счастье узнать вас, — ответила Консуэло, положительно ощущавшая потребность поиздеваться над графом, чтобы отомстить ему за чтение либретто. Тут она легко выпрыгнула из лодки, на которой они только что переправились через реку, и воскликнула с утрированным немецким акцентом:

— О Пассау! Приветствую тебя! Карета подвезла их к дому богатого вельможи, друга графа. Он сам находился в отсутствии, но все было приготовлено для временного пребывания графа. Их ждали, и слуги хлопотали с ужином, который вскоре был подан. Граф, находивший особенное удовольствие в разговорах со своим маленьким музыкантом (так он называл Консуэло), охотно посадил бы его за свой стол, но осуществить это желание помешала ему мысль, что это может не понравиться барону. Консуэло же и Иосиф были очень рады поесть в людской и без всяких возражений уселись за стол со слугами. Гайдну вообще еще не приходилось пользоваться большим почетом у вельмож, допускавших его на

свои пиршества. И хотя искусство и сделало его настолько утонченным, что он прекрасно понимал, сколь обидно такого рода обращение, он без ложного стыда всегда помнил, что его мать когда-то была кухаркой у владельца их деревни. И позднее, когда Гайдн достиг расцвета своего таланта, он как человек не пользовался большим вниманием у своих покровителей, хотя уже в то время вся Европа высоко ценила его как артиста. Он прослужил двадцать пять лет у князя Эстергази; и говоря «прослужил», мы не имеем в виду, что это была только служба музыканта. Паэр видел его с салфеткой под мышкой и при шпаге: он стоял, согласно обычаю того времени и той страны, за стулом своего хозяина и исполнял обязанности метрдотеля, то есть старшего лакея.

Консуэло с самого детства, когда она бродяжничала с матерью-цыганкой, не приходилось есть со слугами. Ее очень забавляла важность этих лакеев знатного дома: чувствуя себя униженными обществом двух маленьких фигляров, они посадили их отдельно, на конце стола, и уделяли им самые плохие куски. Но благодаря голоду и прирожденной умеренности в пище наши юнцы нашли все превосходным. Когда же их веселость обезоружила надменные души дворни, их по-

просили поиграть за десертом для увеселения «господ лакеев». Иосиф отплатил им за презрение, с большой готовностью сыграв для них на скрипке, а Консуэло, почти успевшая забыть утренние волнения и муки, начала было петь, как вдруг их вызвали к графу и барону, которые сами решили поразвлечься музыкой.

Отказать не было никакой возможности. После помощи, которую оказали им вельможи, Консуэло сочла бы всякую отговорку неблагодарностью; да к тому же отказываться петь под предлогом усталости или хрипоты было бы совсем не легкой уверткой, ибо хозяева только что слышали ее пение, доносившееся из людской.

Она пошла вслед за Иосифом, готовым одинаково оптимистически относиться ко всем перипетиям их странствования. Войдя в роскошный зал, где оба вельможи, облокотясь на стол, залитый светом двадцати свечей, допивали последнюю бутылку венгерского, Кенсуэло и Иосиф остановились, как полагалось бродячим музыкантам, у дверей и приготовились исполнить маленькие итальянские дуэты, разученные в горах.

— Внимание! Прежде чем начать, — лукаво сказала Консуэло Иосифу, — помни, что господин

граф собирается экзаменовать нас с тобой по музыке. Постараемся же не провалиться!

Граф был очень польщен этим замечанием. Барон положил на перевернутую тарелку портрет своей таинственной Дульцинеи и, по-видимому, совсем не был расположен слушать пение.

Консуэло старалась не обнаруживать ни своего голоса, ни своего умения петь. Ее мнимый пол не допускал бархатистости звука, а в том возрасте, какой придавал ей мальчишеский костюм, она не могла иметь законченного музыкального образования. Консуэло пела детским тембром, несколько резким и как бы преждевременно разбитым благодаря злоупотреблению пением на открытом воздухе. Она находила забавным подражать наивному, неумелому пению и смелым коротким фиоритурам уличных мальчишек Венеции. Но как ни чудесно разыгрывала она эту музыкальную пародию, в ее шутливой игривости было столько прирожденного вкуса, дуэт был пропет с таким огнем, так дружно, сама народная песня была так свежа и оригинальна, что барон, прекрасный музыкант и врожденный артист, положил на место портрет, поднял голову, стал взволнованно ерзать на стуле и наконец громко захлопал, воскликнув, что никогда в жизни не

слыхивал такой настоящей, прочувствованной музыки. Графу же Годицу, воспитанному на произведениях Фукса, Рамо и других классических авторов, гораздо меньше понравились и самый жанр и исполнение. Он нашел, что барон — северный варвар, и оба покровительствуемые им мальчика, правда, довольно смышленые ученики, но ему придется вытягивать их при помощи своих уроков из мрака невежества. У него была мания самому обучать своих артистов, и он проговорил поучительным тоном, качая головой:

— Недурно, но придется много переучивать. Ничего!

Не беда! Все это мы исправим!

Граф уже воображал, что Консуэло и Иосиф его собственность и входят в состав его капеллы. Он попросил Гайдна поиграть на скрипке, и так как тому не было никакого основания скрывать своих дарований, юноша чудесно исполнил небольшую, но удивительно талантливую вещь собственного сочинения. На этот раз граф остался вполне доволен.

— Ну, тебе место уже обеспечено, — сказал он, — будешь у меня первой скрипкой; ты мне вполне подходишь. Но ты будешь также заниматься на виоле-д'амур, это мой любимый инструмент, я

выучу тебя играть на Нем. — Господин барон тоже доволен моим товарищем? — спросила Консуэло Тренка, снова впавшего в задумчивость.

— Настолько доволен, — ответил барон, — что если когда-нибудь мне придется жить в Вене, я не пожелаю иметь иного учителя, кроме него.

— Я буду учить вас на виоле-д'амур, — предложил граф, — не откажите мне в предпочтении.

— Я предпочитаю скрипку и этого учителя, — ответил барон, проявлявший, несмотря на озабоченное состояние духа, бесподобную откровенность. Он взял скрипку и сыграл с большой чистотой и выразительностью несколько пассажей из только что исполненной Иосифом пьесы. Отдавая скрипку, он сказал юноше с неподдельной скромностью:

— Мне хотелось показать, что я гожусь вам только в ученики и могу учиться прилежно и со вниманием.

Консуэло попросила его сыграть еще что-нибудь, и он выполнил ее просьбу без всякого жеманства. У него были и талант, и вкус, и понимание. Голиц рассыпался в преувеличенных похвалах самой вещи.

— Она не очень хороша, — ответил Тренк, — ибо это мое сочинение. Но все-таки я люблю ее,

так как она понравилась принцессе.

Граф скорчил гримасу, как бы желая сказать, что барон должен взвешивать свои слова. Но Тренк не обратил на это никакого внимания и, глубоко задумавшись, в течение нескольких минут продолжал водить смычком по струнам, потом, бросив скрипку на стол, встал и зашагал по комнате, потирая рукою лоб. Наконец он подошел к Годицу и сказал:

— Желаю вам доброй ночи, дорогой граф. Я должен уехать отсюда до зари, заказанная карета приедет за мной в три часа. Раз вы думаете провести здесь все утро, мы, по всей вероятности, увидимся только в Вене. Счастлив буду снова встретиться с вами и еще раз поблагодарить вас за приятное путешествие, которое мы проделали вместе. Всем сердцем предан вам на всю жизнь.

Они несколько раз пожали друг другу руки; выходя из комнаты, барон подошел к Иосифу и, давая ему несколько золотых, проговорил:

— Это аванс за уроки, которые я попрошу вас давать мне в Вене. Вы найдете меня в прусском посольстве.

Кивнув затем на прощанье Консуэло, он сказал:

— А тебя, если когда-нибудь повстречаю бара-

банщиком или трубачом в своем полку, возьму с собой, и мы вместе сбежим, слышишь?

И, еще раз поклонившись графу, он вышел.

Глава 73

Как только граф Годиц остался наедине со своими музыкантами, он почувствовал себя свободнее и стал очень разговорчив. Самой большой его страстью было корчить из себя регента и разыгрывать роль импресарио; итак, он пожелал немедленно заняться образованием Консуэло.

— Иди сюда и садись, — сказал он ей. — Мы здесь одни, а слушать внимательно нельзя, когда люди находятся друг от друга бог весть на каком расстоянии. Садитесь и вы, — обратился он к Иосифу, — и извлекайте пользу из урока.

— Ты не умеешь вывести ни одной трели, — продолжал он, снова обращаясь к знаменитой оперной певице. — Слушайте оба хорошенько, вот как это делается.

И он пропел простейшую фразу, прибавив к ней самым вульгарным образом несколько фиоритур.

Консуэло, забавляясь, повторила фразу, нарочно сделав трель не так, как он показал.

— Не то! — закричал граф громовым голосом, ударяя кулаком по столу. Вы не слушаете!

Он снова повторил фразу, а Консуэло с самым серьезным видом еще более причудливо и безнадежно плохо оборвала фиоритуру, притворяясь, будто старается изо всех сил. Иосиф задыхался от судорожного смеха и нарочно кашлял, чтобы скрыть это.

— Ла-ла-ла-трала-тра-ла, — пел граф, передразнивая своего неумелого ученика и подпрыгивая на стуле, как если бы он испытывал величайший гнев, хотя на самом деле был далек от этого, но считал гнев необходимым признаком вдохновенного учителя с сильным характером. Консуэло потешалась над ним с добрых четверть часа, а затем, поиздевавшись вволю, вдруг проделала трель со всею чистотой, на какую только была способна.

— Браво! Брависсимо! — воскликнул граф, в восторге откидываясь на спинку стула. — Наконец-то! Чудесно! Я знал, что заставлю вас это проделать. Дайте мне первого попавшегося мужика, и я в один день поставлю ему голос и научу его так, как другим, пожалуй, не удастся и за целый год! Ну, повтори эту фразу и отчетливо пропой все ноты, но легко, будто не касаясь их… А вот это еще лучше! Превосходно! Да, мы из тебя сделаем толк!

И граф отер себе лоб, хотя на нем не было ни единой капельки пота.

— А теперь, — проговорил он, — перейдем к трели с каденцией на одном дыхании. — И он показал, как исполнять ее, причем его исполнение отличалось той шаблонной легкостью, какую приобретают заурядные хористы, подражая солистам, чьей техникой они восторгаются, и воображая себя не менее искусными певцами.

Консуэло еще раз потешила себя, постаравшись вызвать вспышку напускного гнева, — любимый прием графа, когда он садился на своего конька; закончила она такой совершенной и длительной каденцией, что Годиц невольно закричал:

— Довольно! Довольно! Наконец-то ты понял! Я был уверен, что открою тебе, в чем тут секрет. Ну, теперь займемся руладой. Ты усваиваешь все с удивительной легкостью, хотел бы я всегда иметь таких учеников. Консуэло, которую уже начали одолевать сон и усталость, сократила урок. Она покорно проделала все рулады, какие приказывал педагог-магнат, хотя они и были весьма плохого вкуса, и даже запела своим естественным голосом, не боясь больше выдать себя, раз граф был склонен все приписывать себе, не исключая блеска и божественной чистоты ее голоса.

— Насколько все становится яснее по мере того, как я показываю, каким образом должно открывать рот и подавать звук! — с торжеством воскликнул граф, обращаясь к Иосифу. — Ясность в преподавании, настойчивость и пример — вот три условия, следуя которым можно очень быстро сделать из человека певца и декламатора. Завтра мы опять займемся, так как нам надо пройти десять уроков, после чего вы научитесь петь. Придется проделать целый ряд сложных упражнений. А теперь ступайте отдыхать, я велел приготовить для вас комнаты во дворце. Пробуду я здесь по делам до полудня. После завтрака вы поедете со мной в Вену. Отныне считайте себя как бы на службе у меня. Для начала, Иосиф, пойдите и скажите моему камердинеру, чтобы он пришел посветить мне до моей комнаты. А ты, — обратился он к Консуэло, — останься и повтори последнюю руладу. Я не вполне доволен ею. Не успел Иосиф выйти, как граф, взяв обе руки Консуэло в свои и очень выразительно глядя на нее, попытался привлечь ее к себе. Остановившись на прерванной руладе, Консуэло посмотрела на графа с большим удивлением, решив, что он хочет заставить ее отбивать такт, но, заметив его возбужденный взгляд и распутную улыбку, она

резким движением вырвала руки и отодвинулась к концу стола.

— Вот как! Вы желаете разыгрывать неприступность! — сказал граф, возвращаясь к своему беспечно важному тону. — Так значит, милочка, у нас имеется маленький возлюбленный?! Бедняга очень неказист, и я надеюсь, что с сегодняшнего дня вы откажетесь от него. Судьба ваша будет обеспечена, если вы не станете колебаться, ибо я не люблю проволочек. Вы прелестная девчурка, умная, кроткая и очень мне нравитесь; я с первого взгляда увидел, что вы не созданы для того, чтобы шататься по дорогам с этим плутишкой. О нем я позабочусь. Отправлю в Росвальд и устрою его судьбу. А вы останетесь в Вене; я поселю вас в прелестной квартирке, и если вы будете благоразумны и скромны, то даже введу вас в светское общество. Научившись музыке, вы станете примадонной моего театра, и когда я свезу вас в свою резиденцию, вы снова увидитесь со своим случайно встреченным дружком. Ну, так решено?

— Да, господин граф, — ответила очень серьезным тоном, отвешивая глубокий поклон, Консуэло, — конечно, решено!

В эту минуту Иосиф вернулся с камердинером, несшим два канделябра, и граф вышел, слегка

потрепав по щеке Иосифа и многозначительно улыбнувшись Консуэло.

— Вот уж подлинный чудак! — сказал Иосиф своей спутнице, как только остался с ней наедине.

— Даже более чем подлинный, — задумчиво отозвалась Консуэло.

— Но все это не так важно, — продолжал Иосиф, — а человек он — самый прекрасный в мире и в Вене будет мне очень полезен.

— Да, в Вене, пожалуй, сколько тебе будет угодно, но в Пассау этому не бывать, предупреждаю тебя. Где наши вещи, Иосиф?

— На кухне. Сейчас схожу за ними и снесу в наши комнаты; говорят, они прелестны. Наконец-то мы выспимся!

— Простак ты, Иосиф, как я погляжу, — проговорила Консуэло, пожимая плечами. — Ну, — прибавила она, — живо отправляйся за вещами и простись со своей красивой комнатой и хорошей кроватью, где ты собирался так славно выспаться. Мы сейчас же уходим из этого дома, слышишь? Торопись, а то, вероятно, скоро запрут двери.

Иосифу все это показалось сном.

— Вот тебе и раз! — воскликнул он. — Неужели эти знатные вельможи тоже вербовщики? «

— Графа я еще больше боюсь, чем Мейера, — с раздражением ответила Консуэло. — Ну, беги без колебаний, а то я брошу тебя и уйду одна.

В тоне и выражении лица Консуэло было столько решимости и энергии, что растерянный, взволнованный Гайдн немедленно повиновался. Через три минуты он вернулся с дорожной сумкой, где были его тетради и пожитки, а еще через столько же они, выйдя никем не замеченные из дворца, добрались уже до предместья.

Здесь они вошли на какой-то жалкий постоялый двор и сняли две маленькие комнатки, уплатив за них вперед, чтоб иметь возможность без всякой задержки уйти когда им вздумается.

— Но все-таки не скажете ли вы мне причину этой новой тревоги? — спросил Гайдн Консуэло, пожелав ей покойной ночи на пороге ее комнаты.

— Спи спокойно, — ответила она, — скажу тебе в двух словах, что теперь нам особенно бояться нечего. Господин граф, бросив свой орлиный взгляд, догадался, что я женщина, и оказал мне честь, сделав признание, удивительно польстившее моему самолюбию. Доброй ночи, друг Беппо. Удираем мы до света. Я постучу в дверь и разбужу тебя.

На другой день восходящее солнце озарило наших юных путешественников, когда они плыли уже вниз по быстротечному Дунаю, охваченные такой чистой радостью и с сердцем таким покойным, как воды красавицы реки. Их за плату взял на свое суденышко старый лодочник, везший товары в Линц. Славный старик очень пришелся им по душе и не мешал их разговору. Он не понимал ни слова по-итальянски, а так как его лодка была порядком нагружена, то он не взял других пассажиров; наконец они почувствовали себя в безопасности и отдыхали телом и душой, в чем очень нуждались. Погода была великолепная, и они наслаждались чудесными видами, ежеминутно мелькавшими перед их глазами. На лодке имелся маленький, очень чистенький трюм, куда Консуэло могла спускаться, чтобы дать отдохнуть глазам от сверкания водной глади. Но за последние дни она так привыкла быть под открытым небом и на солнцепеке, что предпочитала проводить почти все время лежа на тюках, глядя на скалы и деревья, словно убегавшие от нее. На досуге она музицировала с Гайдном, а забавное воспоминание о меломане Годице, которого Иосиф называл «маэстроманом», вносило много веселья в их наивную болтовню. Иосиф

чудесно копировал графа и со злорадством думал о его разочаровании. Их смех и песни веселили и очаровывали старого лодочника, который, как всякий добрый немецкий бедняк, страстно любил музыку. Он тоже пел им свои песни, от которых словно веяло рекой, и Консуэло переняла от него напевы и слова. Окончательно же они завоевали сердце старика, угостив его вдосталь на первой же пристани, где они закупили съестных припасов на целый день. Этот день был самым мирным и самым приятным из всех дней их путешествия.

— Что за прелесть барон фон Тренк! — воскликнул Иосиф, разменивая один из блестящих золотых, полученных от вельможи. — Ему я обязан тем, что, наконец, в состоянии избавить божественную Порпорину от усталости, голода, опасностей — словом, от всех зол, которые влечет за собою нищета. А ведь мне сперва не понравился этот благородный, доброжелательный барон!

— Да, — сказала Консуэло, — вы предпочитали ему графа. Теперь я так счастлива, что этот меломан ограничился одними посулами и не загрязнил наших рук своими благодеяниями.

— В конце концов ведь мы ровно ничем ему не обязаны, — продолжал Иосиф. — Кому пришла

мысль сразиться с вербовщиками и кто решился на это? Барон. Графу было совершенно безразлично, а пошел он на это только из любезности к барону и из-за хорошего тона. Кто рисковал жизнью и кому пуля пробила шляпу у самого черепа? Опять-таки барону. Кто ранил, а быть может, и уложил на месте гнусного синьора Пистолета? Барон. Кто спас дезертира, быть может в ущерб себе и даже подвергая себя гневу своего страшного повелителя? Наконец, кто отнесся к вам с уважением и сделал вид, что не догадывается о том, что вы женщина? Кто постиг красоту ваших итальянских арий и прелесть вашей манеры петь?

— А также талант маэстро Иосифа Гайдна! — прибавила, улыбаясь, Консуэло. — Барон! Все тот же барон!

— Конечно! — продолжал Гайдн, желая отплатить девушке за ее лукавый намек. — И, быть может, к большому счастью отсутствующего благородного и любимого существа, о котором шла речь, объяснение в любви божественная Порпорина выслушала из уст нелепого графа, а не храброго, обворожительного барона!

— Беппо! — ответила с грустной улыбкой Консуэло. — Отсутствующие приобретают изъян

только в глазах людей с неблагодарным, низким сердцем. Вот почему великодушному, искреннему барону, влюбленному в таинственную красавицу, не могло прийти в голову за мной ухаживать. Спросите самого себя: пожертвовали бы вы так легко любовью к своей невесте и верностью к ней ради первого явившегося каприза?

Беппо тяжело вздохнул.

— Вы не можете быть для кого бы то ни было «первым явившимся капризом», — сказал он, — и… если бы барон забыл, увидя вас, и прошлые и настоящие увлечения, ему легко можно было бы это простить.

— Вы что-то становитесь, Беппо, дамским угодником и льстецом! Видно, на вас оказало влияние общество господина графа, но желаю вам никогда не жениться на маркграфине и никогда не узнать, как обходятся с любовью, женившись на деньгах!

Добравшись к вечеру до Линца, молодые путники наконец уснули без страха и забот о завтрашнем дне. Проснувшись, Иосиф тотчас же побежал купить обувь, белье, некоторые изысканные мелочи мужского туалета не только для себя, но главным образом для Консуэло, чтобы она, превратившись в «молодца» и «красавца»,

как она шутя выразилась, могла осмотреть город и окрестности.

Старик лодочник обещал, если найдет груз для доставки в Мелк, снова забрать их к себе «на борт» и прокатить по Дунаю еще миль двадцать.

Они провели день в Линце, взбирались на холм, осматривали укрепленный замок у его подножия и другой — на вершине, откуда могли созерцать излучины величественной реки среди плодородных равнин Австрии. Отсюда же они увидели нечто весьма их развеселившее — карету графа Годица, торжественно въезжавшую в город. Они узнали экипаж и ливрею лакеев и, пользуясь тем, что за дальностью расстояния их не было видно, забавлялись, насмешливо кланяясь до земли. Наконец вечером, спустившись на берег, они застали свою лодку нагруженной товарами для доставки в Мелк и с радостью снова сговорились со старым кормчим относительно переезда. Вышли они из Линца до рассвета; звезды еще сияли над их головами и отражались в зыбкой поверхности реки, превращаясь в разбегающиеся по ней серебряные струйки. Этот день был не менее приятен, чем предыдущий. Одно только огорчало Гайдна: они приближались к Вене, и путешествие, о невзгодах и опасностях которого

он забыл, помня только восхитительные минуты, должно было скоро прийти к концу. В Мелке, как ни жаль, им пришлось расстаться со своим славным кормчим. На других судах, которыми они могли воспользоваться, уже не было бы ни такого уединения, ни такой безопасности. К тому же извилины реки намного удлиняли путь до Вены, а Консуэло хотелось быть поскорее на месте. Она чувствовала себя отдохнувшей, освежившейся, готовой ко всяким случайностям, а потому предложила Иосифу продолжать путь пешком, пока не подвернется какая-нибудь подходящая оказия. Им оставалось до Вены еще миль двадцать, и этот способ передвижения, конечно, был не из быстрых. Но дело в том, что, хотя Консуэло и уверяла себя, будто жаждет снова облечься в женское платье и вернуться к жизненным удобствам, в глубине души она, как и Иосиф, совсем не стремилась так скоро завершить путешествие. Она была артисткой до мозга костей и не могла не любить свободы, случайностей, проявлений мужества и ловкости, постоянно сменяющих друг друга картин природы, которые по-настоящему может оценить только пешеход, и, наконец, романтических приключений, сопутствующих бродячей и уединенной жизни.

Я называю эту жизнь уединенною, читатель, стремясь выразить то сокровенное и таинственное чувство, которое, пожалуй, вам легче понять, чем мне объяснить. Мне кажется, что для выражения этого состояния души в нашем языке не найдется определения, но вы вспомните, как это бывает, если вам приходилось путешествовать пешком где-нибудь далеко, одному, или со своим вторым «я», или, наконец, подобно Консуэло, с приветливым товарищем, веселым, услужливым и мыслящим с вами заодно. И если у вас не было какой-нибудь неотложной заботы или повода к беспокойству, вы, наверное, испытывали в такие минуты странную, быть может, даже несколько эгоистическую, радость, говоря себе: никто не беспокоится обо мне, и я ни о ком не беспокоюсь! Никто не знает, где я! Те, кто властвует над моею жизнью, тщетно стали бы меня искать, — они не найдут меня в этом никому неведомом, новом для меня самого уголке, где я укроюсь. Те, кого моя жизнь затрагивает и волнует, отдохнут от меня, как и я от них. Я всецело принадлежу себе — и как повелитель и как раб. Ибо среди нас, о читатель, нет ни единого человека, который по отношению известной группы людей не был бы одновременно и рабом и повелителем. И это, за-

метьте, происходит помимо нашей воли, нашего сознания и стремления.

Никто не знает, где я!? Чувство одиночества, несомненно, имеет свою прелесть — свою невыразимую прелесть, жестокую по виду, справедливую и сладостную по существу. Мы рождены для взаимного общения. Путь долга длинен и суров, горизонтом ему служит смерть, которая, может статься, короче одной ночи отдыха. Итак, в путь! Вперед, не жалея ног! Однако, если нам представится столь редкий, но благоприятный случай, когда можно безобидно и без угрызений совести отдохнуть, ибо перед нами тропинка, утопающая в зелени, — воспользуемся несколькими часами уединения и предадимся созерцанию! Такие часы безделья необходимы деятельному, мужественному человеку для восстановления сил. И я утверждаю, что чем ревностнее стремится ваше сердце служить дому божию (то есть человечеству), тем более вы способны оценить немногие минуты уединения, когда вы всецело принадлежите себе. Эгоист всегда и всюду одинок. Его душа никогда не томится любовью, страданием, постоянством; она безжизненна и холодна и нуждается во сне и покое не больше, чем мертвец. Умеющий любить редко бывает

одинок, а когда он одинок, он доволен. Душа его может наслаждаться перерывом в деятельности, и перерыв этот будет подобен крепкому сну сильного организма. Такой сон красноречиво говорит об испытанной усталости и является предвестником предстоящих испытаний. Я не верю в искренность горя тех, кто не стремится отвлечься от него, ни в безграничную самоотверженность людей, никогда не нуждающихся в отдыхе. У одних печаль — следствие упадка духа, свидетельствующего о том, что человек надломлен, угасает и не имеет сил любить то, что им утрачено; у других под неослабевающей и неутомимой самоотверженностью скрывается постыдное вожделение или эгоистическое, даже преступное, ожидание вознаграждения.

Эти размышления, быть может слишком длинные, не являются неуместными в повествовании о жизни Консуэло, деятельной и самоотверженной, которую, однако, могли бы порой обвинить в эгоизме и легкомыслии люди, не сумевшие понять ее.

Глава 74

Пустившись в путь, наши странники в первый же день увидели перед собой деревянный мост через речку, а на нем — нищую с крошечной девочкой на руках; она сидела, прислонясь к перилам моста, и просила милостыню. Ребенок был бледен, нездоров, истощенная женщина дрожала от лихорадки. Консуэло почувствовала глубокую симпатию и жалость к несчастным, напомнившим ей мать и ее собственное детство.

— Вот в таком положении мы бывали не раз, — сказала она Иосифу, понявшему ее с полуслова и остановившемуся вместе с ней, чтобы посмотреть на нищенку и расспросить ее.

— Увы, — начала свой рассказ нищенка, — еще несколько дней тому назад я была счастливейшей женщиной. Я крестьянка из окрестностей Харманица в Богемии. Пять лет назад я вышла замуж за своего двоюродного брата, рослого красавца, работягу и лучшего из мужей. Через год после свадьбы мой бедный Карл, отправившись в горы за дровами, вдруг исчез, и никто не знал, что с ним приключилось. Мне грозила нищета, и

я страшно горевала, предполагая, что муж либо погиб, свалившись в пропасть, либо растерзан волками. Мне представлялся случай снова выйти замуж, но я и думать об этом не могла — ведь я любила мужа и не знала, что с ним приключилось. И как же была я вознаграждена, дети мои! Однажды вечером, в прошлом году, постучали в дверь; я открыла и тут же упала на колени: передо мной стоял муж, но, боже милосердный, в каком виде! Словно привидение: весь высохший, желтый, с блуждающим взглядом, взъерошенными волосами, обратившимися в ледяные сосульки, с окровавленными босыми ногами, только что прошедшими неизвестно сколько сотен миль по ужасающим дорогам в самую жестокую зиму! Но он был так счастлив, вновь обретя жену и бедную крошечную дочурку, что скоро воспрянул духом, поправился и принялся за работу. Рассказал он мне, что был похищен разбойниками, которые увезли его очень далеко, к морю, и там продали в солдатчину прусскому королю. Он прожил три года в самой мрачной из стран, нес очень тяжелую службу и с утра до вечера получал побои. Наконец, милые мои дети, ему удалось бежать, дезертировать. Он как бешеный отбивался от своих преследователей, одного из них убил, а

другому вышиб камнем глаз. Избавившись от них, он шел днями и ночами, прячась, как дикий зверь, в болотах и лесах. Так он прошел через Саксонию и Богемию. Он был спасен! Он возвратился ко мне! Ах, как мы были счастливы всю ту зиму, несмотря на бедность и холод! Одно мучило нас: как бы снова не появились в наших краях эти хищные птицы, причина всех наших бед. Мы строили планы отправиться в Вену, явиться к императрице, рассказать ей о нашем горе, добиться ее покровительства, военной службы для мужа и кое-какой поддержки для меня и ребенка. Но из-за сильнейшего потрясения, какое я перенесла, увидев вновь Карла, я захворала, и мы были принуждены всю зиму и все лето провести в горах, выжидая, пока я смогу пуститься в путь. Все это время мы были постоянно начеку, даже ночью. Наконец блаженная минута настала! Я чувствовала себя достаточно сильной для ходьбы, а нашу девчурку, которой нездоровилось, должен был нести на руках отец. Но злодейка-судьба поджидала нас, когда мы спустились с гор. Мы спокойно шли по краю малолюдной дороги, не обращая внимания на экипаж, который уже с четверть часа медленно поднимался в том же направлении. Вдруг экипаж остановился и из

него вышли трое мужчин.

— Это на самом деле он? — воскликнул один из них.

— Да, — ответил другой, кривой. — Он! Он! Хватай его!

Муж, обернувшись при этих словах, проговорил:

— Ай! Пруссаки! Вот кривой, которому я вышиб глаз, я его узнаю!

— Беги! Беги! Спасайся! — прошептала я.

Он пустился бежать, но тут один из этих мерзавцев бросился ко мне, свалил на землю и приставил пистолет к моей голове и к голове моей девочки. Не приди ему в голову эта дьявольская мысль, муж был бы спасен, так как бегал он лучше этих бандитов, да и был впереди них. Но на вопль, вырвавшийся у меня. Карл обернулся и, при виде дочери под дулом пистолета, с громким криком побежал обратно, чтобы предотвратить выстрел. Когда изверг, наступивший на меня ногой, увидел мужа на таком расстоянии, что тот мог его услышать, он крикнул:

— Сдавайся или я их убью! Сделай только один шаг, и все кончено!

— Сдаюсь! Сдаюсь! Я здесь! — ответил бедный мой муж и помчался к ним быстрее, чем убегал,

несмотря на катившиеся под ноги камни и знаки, которые я делала ему, умоляя оставить нас и дать нам умереть.

Когда Карл попал в руки этих зверей, они принялись его бить и били до крови. Я бросилась было защищать мужа, но они и меня избили. Видя, что его вяжут по рукам и ногам, я стала рыдать и громко застонала. Злодеи объявили мне, что если я тотчас же не замолчу, они прикончат ребенка, и уже вырвали его у меня. Тогда Карл сказал мне:

— Замолчи, жена, приказываю тебе! Подумай о нашей девочке!

Я послушалась; но когда эти чудовища связали мужа и принялись затыкать ему рот кляпом, приговаривая: «Да, да, плачь! Больше ты его не увидишь, мы сейчас его повесим! «, сердце у меня перевернулось, и я замертво упала на дорогу.

Не знаю, сколько времени я пролежала в пыли. Когда я открыла глаза, была уже ночь. Бедная моя дочурка, прижавшись ко мне, дрожала, надрываясь от рыданий. На дороге виднелось кровавое пятно да след от колес экипажа, увезшего моего мужа. Я просидела там еще час-другой, пытаясь успокоить и отогреть окоченевшую и перепуганную до полусмерти Марию. Наконец, собравшись

с мыслями, я рассудила, что разумнее не бежать за похитителями, догнать которых я была не в силах, а заявить о случившемся властям в ближайшем городе, Визенбахе. Так я и поступила, а затем решила продолжать свой путь в Вену, броситься там к ногам императрицы и молить ее походатайствовать перед прусским королем об отмене смертного приговора мужу. Ее величество могла бы потребовать выдачи его, как своего подданного, в том случае если бы не удалось настигнуть вербовщиков. И вот, на милостыню, поданную мне в епископстве Пассау, где я рассказала о своем несчастье, доехала я на телеге до Дуная, а оттуда на лодке спустилась вниз по реке до Мелка. Но теперь средства мои истощились. Люди, которым я рассказываю о случившемся, принимают меня, должно быть, за мошенницу, не верят мне и дают так мало, что остается только идти пешком. Хорошо, если через пять-шесть дней я доберусь до Вены и не погибну от усталости, я совсем больна, да и горе лишило меня последних сил. А теперь, милые мои детки, если есть возможность помочь мне немного, сделайте это, пожалуйста: мне больше нельзя ждать, надо идти и идти, как «вечный жид», пока не добьюсь справедливости.

— Хорошая вы моя! Бедная моя! — воскликнула Консуэло, обнимая нищенку и плача от радости и сострадания. — Мужайтесь! Мужайтесь! Надейтесь! Успокойтесь! Муж ваш освобожден. Он сейчас скачет на добром коне по направлению к Вене, с туго набитым кошельком в кармане.

— Что вы говорите? — воскликнула жена дезертира, и глаза ее покраснели, а губы судорожно задергались. — Вы его знаете? Вы видели его? О господи! Боже великий! Боже милосердный!

— Что вы делаете! — остановил Иосиф свою подругу. — А если эта радость ложная, если дезертир, которому мы помогли спастись, не муж ее?

— Он самый, Иосиф! Говорю тебе, это он! Вспомни кривого, вспомни приемы синьора Пистолета! Вспомни, как дезертир говорил, что он человек семейный и австрийский подданный! Впрочем, в этом очень легко убедиться. Каков из себя ваш муж?

— Рыжий, с зелеными глазами, широколицый, ростом пять футов восемь дюймов; нос немного приплюснутый, лоб низкий, — словом, красавец мужчина!

— Так, верно! — сказала, улыбаясь, Консуэло. — А как он был одет?

— Плохонький зеленый дорожный плащ, ко-

ричневые штаны, серые чулки.

— И это похоже! А на вербовщиков вы обратили внимание?

— Обратила ли я внимание на вербовщиков! Пресвятая дева Мария! Да их страшные лица всегда будут перед моими глазами!

Тут бедная женщина с большими подробностями описала синьора Пистолета, кривого и Молчальника.

— Был там еще четвертый, — добавила она, — он оставался при лошади и ни во что не вмешивался. У него было толстое равнодушное лицо, показавшееся мне даже более жестоким, чем у остальных; когда я плакала, а мужа колотили и вязали веревками, словно какого-нибудь убийцу, этот толстяк преспокойно распевал и играл на губах, словно на инструменте: брум, брум, брум. Ах! Что за каменное сердце!

— Ну, это Мейер! — воскликнула Консуэло, обращаясь к Иосифу. — Неужели ты и теперь еще сомневаешься? Это же его милая привычка все время петь, подражая трубе!

— Правда, — согласился Иосиф. — Значит, при нас действительно освободили Карла! Слава богу!

— Да, да! Прежде всего надо благодарить госпо-

да! — воскликнула бедная женщина,

бросаясь на колени. — А ты, Мария, — обратилась она к своей девчурке, — целуй землю вместе со мной, благодари ангелов-хранителей и пресвятую деву: твой папа нашелся, и мы скоро его увидим!

— Скажите мне, милая, — спросила Консуэло, — у Карла тоже есть обыкновение, когда он очень счастлив, целовать землю?

— Да, дитя мое, он всегда так делает. Вернувшись после своего дезертирства, он ни за что не хотел войти в дом, пока не поцеловал порога.

— Что это, обычай вашей страны?

— Нет, его собственная привычка. Он и нас обучил, и это всегда приносит нам счастье.

— Конечно, его мы и видели, — сказала Консуэло, — на наших же глазах, поблагодарив своих избавителей, он поцеловал землю. Ты ведь заметил, Беппо?

— Конечно, заметил! Он самый! Теперь не может быть никаких сомнений! — Дайте же прижать вас к сердцу, ангелочки мои, — воскликнула жена Карла, — какую весть вы мне принесли! Расскажите мне обо всем.

Иосиф передал все, как было. Когда бедная женщина излила весь восторг, всю благодарность

небесам и Иосифу с Консуэло, которых она справедливо считала главными спасителями мужа, она спросила, как же ей теперь разыскать его.

— Думаю, — сказала Консуэло, — что вам лучше всего продолжать свой путь. Вы найдете мужа в Вене, если не встретитесь с ним еще дорогой. Несомненно, первой его заботой, когда он попадет в Вену, будет доложить обо всем императрице, а затем просить полицию сообщить по всей стране ваши приметы. Конечно, он не преминул рассказать о случившемся в каждом сколько-нибудь значительном городе, через который проезжал, и расспрашивал в пути, не видел ли кто вас. Если вы доберетесь до Вены раньше него — смотрите, сейчас же сообщите полиции свой адрес, чтобы Карлу, когда он появится в городе, тотчас передали его.

— Но что это за полиция? Где она помещается? Я ровно ничего в этом не смыслю. Такой огромный город! Я, бедная крестьянка, совсем там потеряюсь!

— Знаете, — сказал Иосиф, — у нас самих никогда подобных дел не бывало, и мы тоже ничего не смыслим в них, но вы попросите первого встречного провести вас в прусское посольство, а там спросите господина барона фон…

— Осторожно, Беппо, — прошептала Консуэло, напоминая Иосифу, что не следует компрометировать барона, вмешивая его в эту историю.

— Ну, а граф Годиц?

— Да, к графу можно обратиться. Он сделает из тщеславия то, что его спутник сделал бы из самоотверженности. Разыщите дворец маркграфини Байрейтской, — сказала Консуэло женщине, — и передайте ее мужу записку, которую я сейчас напишу.

Консуэло вырвала листок из записной книжки Иосифа и карандашом написала следующее:

«Консуэло Порпорина, примадонна театра Сан-Самуэле в Венеции, она же бывший синьор Бертони, странствующий певец в Пассау, поручает благородному сердцу графа Годица-Росвальда жену Карла, дезертира, которого Ваше сиятельство вырвали из рук вербовщиков и осыпали своими милостями. Порпорина льстит себя надеждой отблагодарить господина графа за его покровительство в присутствии маркграфини, если господин граф окажет певице честь, разрешив ей выступить в малых покоях ее высочества».

Консуэло старательно вывела свою подпись и посмотрела на Иосифа. Он ее понял и вынул кошелек. По молчаливому соглашению, в поры-

ве великодушия, они отдали бедной женщине последние два золотых, оставшихся от подарка Тренка, чтобы она смогла на лошадях добраться до Вены. Затем, доведя ее до ближайшей деревни, они помогли ей нанять скромный экипаж. После этого они накормили ее, снабдили кое-какими пожитками, истратив на это остаток своего скромного достояния, и отправили в путь-дорогу счастливейшее создание, только что возвращенное ими к жизни.

Тут Консуэло, смеясь, спросила, осталось ли что-нибудь у них в кошельке. Иосиф потряс над ухом скрипкой и ответил:

— Только звуки! Консуэло блестящей руладой попробовала голос под открытым небом и воскликнула:

— И сколько еще звуков! — затем весело протянула руку своему товарищу и, горячо пожав его руку, сказала: — Молодец, Беппо!

— И ты тоже! — ответил Иосиф, смахивая набежавшую слезу и громко смеясь при этом.

Глава 75

Не особенно страшно остаться без денег под конец путешествия; но, будь наши юные музыканты и далеко еще от цели, им и тогда было бы не менее весело, чем в ту минуту, когда они очутились без гроша. Нужно самому побывать в таком положении безденежья на чужбине (а Иосиф здесь, вдали от Вены, чувствовал себя почти таким же чужим, как и Консуэло), чтобы знать, какая чудесная беззаботность, какой дух изобретательности и предприимчивости, словно по волшебству, охватывает артиста, истратившего последний грош. До этого он тоскует, постоянно боится неудач, у него мрачные предчувствия в предвидении страданий, затруднений, унижений, но с последней уходящей монетой все рассеивается. Тут для поэтических душ открывается новый мир, святая вера в милосердие ближних и вообще немало пленительных химер. Наряду с этим развивается работоспособность и появляется приветливость, помогающие легко преодолевать препятствия. Консуэло испытывала некое романическое удовольствие,

возвращаясь к бедности, напомнившей ей годы детства; она была счастлива, что сделала доброе дело, отдав все свое достояние, и сейчас же придумала средство добыть себе и своему спутнику ужин и ночлег. — Сегодня воскресенье, — сказала она Иосифу, — в первом же поселке, который нам попадется на пути, начни играть танцы. Мы не пройдем и двух улиц, как найдутся люди, желающие поплясать, а мы с тобой изобразим гудошников. Ты не можешь сделать свирель? Я мигом выучусь на ней играть, и как только в состоянии буду извлекать из нее хоть несколько звуков, — аккомпанемент тебе обеспечен.

— Могу ли я сделать свирель? — воскликнул Иосиф. — Сейчас вы в этом убедитесь!

Вскоре на берегу реки они отыскали прекрасный стебель тростника, Иосиф искусно просверлил его — и он зазвучал чудесно. Свирель тут же была испробована, затем последовала репетиция, и наши герои, успокоившись, направились в деревушку, находившуюся на расстоянии трех миль. Они вошли туда под звуки свирели и пения, выкрикивая перед каждой дверью: «Кто хочет поплясать, кто хочет попрыгать? Вот музыка! Открывайте бал!»

Они дошли до небольшой площади, обсажен-

ной прекрасными деревьями; их сопровождало с полсотни ребят: крича и хлопая в ладоши, дети неслись за ними. Вскоре появились веселые парочки и, подняв пыль, открыли бал. Прежде чем земля была утоптана ногами танцующих, здесь собралось все население деревушки, кольцом расположившись вокруг танцующих, неожиданно, без всякого сговора и колебаний, устроивших бал. Сыграв несколько вальсов, Иосиф засунул скрипку под мышку, а Консуэло, взобравшись на стул, произнесла перед присутствующими речь на тему о том, что, мол, у голодных музыкантов и пальцы слабы и дыхания не хватает. Не прошло и пяти минут, как у них вволю было и хлеба, и масла, и сыра, и пива, и сладких пирожков. Что же касается денежного вознаграждения, то на этот счет быстро сговорились: решено было сделать сбор, и каждый даст сколько пожелает.

Закусив, Консуэло и Иосиф взобрались на бочку, которую для этого торжественно выкатили на середину площади, и танцы возобновились. Но через два часа они были прерваны известием, взволновавшим всех; переходя из уст в уста, оно дошло и до наших странствующих музыкантов. Оказалось, что местный сапожник, торопясь закончить ботинки для одной требовательной

заказчицы, всадил себе в большой палец шило.

— Это огромное несчастье! — проговорил какой-то старик, опираясь на бочку, служившую музыкантам пьедесталом. — Ведь сапожник Готлиб — органист нашей деревни, а завтра как раз у нас храмовой праздник. Да, большой праздник, чудесный праздник! На десять миль кругом такого не бывает! Особенно хороша у нас обедня, издалека приходят ее послушать. Наш Готлиб — настоящий регент: он играет на органе, дирижирует детским хором, сам поет и чего только не делает, особенно в этот день! Просто из кожи вон лезет! Теперь без него все пропало. И что скажет господин каноник собора святого Стефана?! В этот праздник он сам приезжает к нам служить большую обедню и так всегда доволен нашей музыкой. Добрый каноник от музыки без ума! А какая честь для нас видеть его перед нашим алтарем, — ведь он никогда не выезжает из своего прихода и не станет себя утруждать из-за пустяков. — Ну что ж, — сказала Консуэло, — есть способ все уладить: мы с товарищем возьмем на себя и орган и детский хор, — словом, всю обедню; а если господин каноник останется недоволен, нам ничего не заплатят за труды.

— Да, да! Легко сказать, молодой человек! —

воскликнул старик, — Нашу обедню под скрипку и флейту не служат, да-с! Это дело серьезное, а вы не знакомы с нашими партитурами.

— Мы примемся за них сегодня же вечером, — проговорил Иосиф с видом снисходительного превосходства, которое импонировало собравшимся вокруг него слушателям.

— Посмотрим, — сказала Консуэло, — поведите нас в церковь, пусть там кто-нибудь надует мехи, и если наша игра придется вам не по вкусу — вы вольны нам отказать.

— А как же с партитурой — шедевром аранжировки Готлиба?

— Мы сходим к Готлибу, и если он будет недоволен нами, — откажемся от своего намерения. К тому же раненый палец не помешает Готлибу ни управлять хором, ни самому исполнить свою партию.

Старики деревни, собравшись вокруг музыкантов, посовещались и решили произвести опыт. Бал прекратили, — ведь обедня каноника дело посерьезнее, чем какие-то там танцы!

После того как Гайдн и Консуэло поочередно сыграли на органе, а затем пропели вместе и порознь, их, за неимением лучшего, признали довольно сносными музыкантами. Некоторые

ремесленники осмелились даже утверждать, что они играют лучше Готлиба и что исполненные ими отрывки из Скарлатти, Перголезе и Баха по меньшей мере так же прекрасны, как музыка Гольцбауэра, дальше которой Готлиб никак не хотел идти. Зато приходский священник, спешно явившийся послушать их, дошел даже до того, что принялся утверждать, будто канонику гораздо больше понравятся эти песнопения, чем те, которыми его обычно угощали. Пономарь, не разделявший этого мнения, грустно покачал головой, и священник, не желая раздражать своих прихожан, согласился, чтобы оба виртуоза, посланные провидением, сговорились, если возможно, с Готлибом относительно обедни.

Все толпой направились к дому сапожника, и тот был вынужден показать каждому свою вспухшую руку, чтобы его освободили от обязанностей органиста. По его мнению, было больше чем очевидно, что выступать он не может. Готлиб был одарен некоторой музыкальностью и довольно прилично играл на органе, но, избалованный похвалами сограждан и несколько шутливым одобрением каноника, был до болезненности самолюбив во всем, что касалось его дирижерства и исполнения. Вот почему предложение

заменить его случайными музыкантами было встречено им недоброжелательно: он предпочитал, чтобы на обедне в день храмового праздника совсем не было музыки, только бы не делить ни с кем своей славы. Но ему пришлось все-таки уступить. Долго он притворялся, будто не может найти партитуры, и разыскал ее, только когда священник пригрозил, что предоставит юным артистам выбор и исполнение всей музыкальной части. Консуэло и Гайдн должны были доказать свое умение, прочитав с листа самые известные по трудности пассажи одной из двадцати шести обеден Гольцбауэра, которую предполагали исполнять на следующий день. Музыка эта, не талантливая и не оригинальная, была все же хорошо написана и легко читалась; особенно не составляла она труда для Консуэло, преодолевавшей несравненно большие трудности. Слушатели были очарованы, а Готлиб, становившийся все озлобленнее и мрачнее, заявил, что он очень рад, что все довольны, сам же он немедленно ложится в постель, потому что у него лихорадка.

Певцы и музыканты тотчас отправились в церковь, и наши два новоиспеченных регента принялись за репетицию. Все шло прекрасно. Пивовар, ткач, школьный учитель и булочник иг-

рали на скрипках; дети и их родители составили хор. Все это были добрые крестьяне и мастеровые, люди очень флегматичные, старательные и добросовестные.

Иосифу уже приходилось слышать музыку Гольцбауэра в Вене, где она была в то время в чести, и он очень легко с ней справлялся. Консуэло же, участвуя во всех повторяющихся ариях, так хорошо вела за собою хор, что он превзошел себя. Два соло должны были исполнять сын и племянница Готлиба, его любимые ученики и лучшие певцы в приходе, но оба корифея на репетицию не явились, мотивируя это тем, что они и так уверены в своих силах.

Иосиф и Консуэло отправились ужинать в дом священника, где им был приготовлен ночлег. Добрый священник сиял; видно было, что он очень дорожил благолепием своей обедни и хотел изо всех сил угодить господину канонику.

На следующий день вся деревня еще до света была на ногах. Трезвонили в колокола, по дорогам из окрестных деревень тянулись толпы верующих, чтобы присутствовать на торжественной службе. Карета каноника приближалась с величавой медлительностью. Церковь была разубрана самыми лучшими украшениями.

Консуэло очень потешило, что каждое из действующих лиц приписывало своей роли особое значение. Здесь царило почти такое же тщеславие и соперничество, как за кулисами театра. Только выражалось оно более наивно и скорее смешило, чем вызывало негодование.

За полчаса до начала обедни явился растерянный ризничий и сообщил о заговоре завистливого и вероломного Готлиба. Узнав, что репетиция прошла прекрасно и все участвовавшие в ней прихожане очарованы пришельцами, он, притворившись тяжко больным, запретил своей племяннице и сыну, двум главным корифеям, покинуть его, и таким образом обедня лишалась не только самого Готлиба, чье присутствие считалось необходимым, дабы дать ход делу, но и двух соло, лучших номеров во всей мессе. Хористы, по словам жеманного и торопливого ризничего, совсем упали духом, и ему стоило большого труда собрать их на совещание в церкви.

Консуэло и Иосиф спешно явились на место действия, заставили хор повторить самые трудные места, поддерживая своими голосами более слабых, и таким образом всех успокоили и подбодрили. Что же касается соло, то они очень скоро столковались и взялись исполнить их сами.

Консуэло, порывшись в памяти, вспомнила одно духовное песнопение Порпоры, по тону и словам напоминавшее то, что требовалось. Она тут же набросала его на нотной бумаге, прорепетировала с Гайдном, и он смог ей аккомпанировать. Консуэло нашла и для него знакомый ему отрывок из произведения Себастьяна Баха, и они тотчас с грехом пополам аранжировали его.

Уже зазвонили к обедне, а они все еще репетировали и спевались, несмотря на громкий трезвон большого колокола. Когда господин каноник, облаченный в ризы, появился у алтаря, хор уже пел, с многообещающей смелостью и быстротой приступив к исполнению фугообразного творения немецкого композитора. Консуэло с удовольствием глядела на серьезные лица этих добрых немецких бедняков, вслушиваясь в их чистые голоса» звучавшие с поистине педантичной согласованностью и никогда не иссякающим, но всегда сдержанным воодушевлением.

— Вот подходящие исполнители для такой музыки, — сказала она Иосифу во время паузы, — будь у них огонь, которого не хватило композитору, все бы пошло вкривь и вкось, но у них нет этого огня, и идеи, выкованные механически, механически же и воспроизводятся.

Жаль, нет здесь знаменитого маэстро Годица-Росвальда, — он подвинтил бы этих механических исполнителей, лез бы вон из кожи, ничего не добился бы, но остался бы чрезвычайно доволен собою.

Мужское соло беспокоило многих, но Иосиф блестяще с ним справился. Когда же настал черед Консуэло, то ее итальянская манера пения сначала всех удивила, затем привела в смущение, но в конце концов все-таки восхитила. Певица старалась петь как можно лучше; выразительность ее полнозвучного и бесподобного голоса привела в непередаваемый восторг Иосифа.

— Не верится, — сказал он ей, — чтобы вы могли когда-либо лучше спеть, чем вы пели сейчас для жалкой деревенской обедни.

— Во всяком случае никогда я не пела с таким подъемом и таким удовольствием, — отвечала она. — Эта публика мне больше по душе, чем театральная. Ну, а теперь дай мне посмотреть с хор, доволен ли господин каноник. Да! У почтенного каноника совсем блаженный вид, и, судя по тому, как все ищут в выражении его лица воздаяния за свою старательность, я вижу, что единственно о ком здесь не думают, это о боге.

— За исключением вас, Консуэло! Только вера и

любовь к богу могут вдохновить на такое пение!

Когда оба исполнителя вышли из церкви, население чуть было не понесло их с триумфом на руках в дом священника, где их ждал хороший завтрак. Священник представил музыкантов господину канонику, и тот, осыпав их похвалами, выразил желание еще раз, «на запивку», прослушать соло Порпоры. Но Консуэло, не без основания дивившаяся тому, как никто не узнал ее женского голоса, и опасавшаяся прозорливости каноника, отказалась петь под предлогом, что репетиция и деятельное участие во всех партиях слишком утомили ее. Отговорка, однако, не была принята во внимание, и пришлось присутствовать за завтраком каноника.

Каноник был человек лет пятидесяти, с добрым красивым лицом, хорошо сложенный, хотя немного располневший. Манеры его были изысканны и даже, можно сказать, благородны. Он всем говорил по секрету, что в жилах его течет королевская кровь, так как он является одним из четырехсот незаконнорожденных сыновей Августа Второго, курфюрста Саксонского и Короля Польского.

Он был мил и любезен, насколько следует быть светскому человеку и духовному сановнику.

Иосиф заметил подле него какого-то мирянина, с которым он обращался одновременно и с уважением и фамильярно. Иосифу казалось, что он уже видел этого человека где-то в Вене, но припомнить имени его никак не мог. — Итак, дети мои, вы отказываете мне в удовольствии еще раз услышать произведение Порпоры? А вот мой друг, большой музыкант и во сто раз лучший судья в этом деле, чем я, был поражен тем, как вы исполнили этот отрывок. Но раз вы утомлены, — прибавил он, обращаясь к Иосифу, — я больше не стану вас мучить своими просьбами, однако вы будете так любезны сказать мне свое имя, а также, где вы учились музыке.

Иосиф понял, что ему приписывают исполнение соло, спетого Консуэло. Консуэло выразительным взглядом приказала ему поддержать заблуждение каноника.

— Меня зовут Иосифом, — ответил он кратко, — а учился я в детской певческой школе святого Стефана.

— Я также, — заметил незнакомец, — учился в этой школе при Рейтере-отце; а вы, конечно, — при Рейтересыне?

— Да, сударь.

— Но потом вы, наверно, еще у кого-нибудь

занимались? Вы учились в Италии?

— Нет, сударь.

— Это вы играли на органе?

— То я, то мой товарищ.

— А кто из вас пел?

— Мы оба.

— Но ведь Порпору исполняли не вы? — проговорил незнакомец, искоса поглядывая на Консуэло.

— Во всяком случае не этот ребенок, — сказал каноник, также взглянув на Консуэло, — он слишком молод, чтоб так прекрасно петь.

— Да, не я, а он, — отрывисто ответила Консуэло, указывая на Иосифа.

Она жаждала избавиться от этого допроса и с нетерпением поглядывала на дверь.

— Почему вы говорите неправду, дитя мое? — наивно спросил священник. — Я же вчера слышал и видел, как вы пели, и прекрасно узнал голос вашего товарища Иосифа, когда он исполнял соло Баха.

— По-видимому, вы ошиблись, ваше преподобие, — с лукавой улыбкой заметил незнакомец, — или же этот юноша чрезмерно скромен. Как бы то ни было, мы хвалили и того и другого.

Потом, отведя священника в сторону, незнако-

мец проговорил:

— У вас ухо верное, но глаз не проницательный; это делает честь чистоте ваших помыслов. Тем не менее следует вывести вас из заблуждения: этот юный венгерский крестьянин — очень искусная итальянская певица.

— Переодетая женщина! — воскликнул пораженный священник.

Он внимательно стал приглядываться к Консуэло, в то время как та отвечала на благожелательные вопросы каноника, и от удовольствия ли, или от негодования, но добрый священник густо покраснел от брыжей вплоть до камилавки.

— Уж верьте мне, — продолжал незнакомец. — Напрасно стараюсь я доискаться, кто бы она могла быть, никак не могу разгадать; а что касается ее переодевания и того положения, в котором она сейчас оказалась, то это следует отнести исключительно за счет безрассудства… Все из-за любви, господин кюре! Но это нас не касается.

— Из-за любви! Это, конечно, очень красиво звучит! — воскликнул разволновавшийся священник. — Похищение, преступная интрига с этим молодчиком! Но ведь это отвратительно! А я-то как попался! Поместил их в священническом доме! Еще, по счастью, дал им отдельные

комнаты, так что, надеюсь, под моей крышей не происходило ничего скандального. Ах! Какое происшествие! Воображаю, как надо мной потешились бы вольнодумцы моего прихода! А такие, сударь, имеются, и некоторых из них я даже знаю.

— Если ваши прихожане не распознали женского голоса, то, по всей вероятности, и не разглядели ни черт ее лица, ни походки. А между тем взгляните, что за красивые ручки, какие шелковистые волосы, до чего крошечная ножка, несмотря на грубую обувь!

— Ничего я не желаю видеть! — воскликнул вне себя священник. — Какая гнусность — переодеваться в мужской костюм! В священном писании есть стих, осуждающий на смерть всякого, мужчину или женщину, сменяющего одежду своего пола. На смерть — слышите, сударь?! Это в достаточной мере указывает на всю тяжесть греха. И она еще осмелилась проникнуть в храм божий и бесстыдно воспевать хвалу господу, в то время как душой и телом загрязнена таким преступлением!

— И воспевала эту хвалу божественно! Я прослезился; никогда я не слыхивал ничего подобного! Странная тайна! Кто эта женщина? Все, кого я мог

бы заподозрить, гораздо старше ее.

— Да это ребенок, совсем молоденькая девушка, — продолжал священник, который не мог удержаться от того, чтобы не посмотреть на Консуэло с интересом, боровшимся в его сердце со строгими принципами.

— Экая змейка! Посмотрите только, с каким кротким и скромным видом она отвечает господину канонику. Ах! Если кто-нибудь догадается об этой проделке, я пропал! Придется мне уехать отсюда!

— Как же вы сами и никто из ваших прихожан не распознали женского голоса? Ну и простаки же вы, скажу я вам!

— Что поделаешь! Мы, правда, находили нечто необыкновенное в ее голосе, но Готлиб говорил, что это голос итальянский, из Сикстинской капеллы, и он уже такие слышал. Не знаю, что он этим хотел сказать, я ведь ничего не смыслю в музыке, выходящей за пределы моей службы, и был так далек от всякого подозрения. Как быть, сударь? Как быть?

— Если никто ничего не подозревает, мой совет вам — молчать обо всем. Выпроводите этих юнцов как можно скорее. Если хотите, я возьмусь избавить вас от них.

— О да! Вы окажете мне огромную услугу! Стойте, стойте, я дам вам денег. Сколько им заплатить?

— Это меня не касается. Мы-то щедро платим артистам… Но ваш приход небогат, и церковь не обязана следовать практике театра.

— Я не стану скупиться, я дам им шесть флоринов! Сейчас иду… Но что скажет господин каноник? Он, по-видимому, ничего не замечает. Вот он разговаривает с «ней» совсем по-отечески… Святой человек!

— А что, по-вашему, он бы очень возмущался?

— Да как же ему не возмущаться! Впрочем, я не столько боюсь его нагоняя, сколько насмешек. Вы ведь знаете, как он любит вышучивать, он так остроумен. Ох! Как он будет издеваться над моей наивностью!..

— Но поскольку он, видимо, продолжает разделять ваше заблуждение… он не вправе и насмехаться над вами. Ну что ж! Притворитесь, будто ничего не случилось, воспользуйтесь первым удобным моментом и сплавьте ваших музыкантов. Они отошли от окна, где велся этот разговор, и священник, проскользнув к Иосифу, который, казалось, гораздо меньше занимал каноника, чем синьор Бертони, сунул ему в руку шесть флори-

нов. Получив эту скромную сумму, Иосиф сделал знак Консуэло, чтобы она скорей отделалась от каноника и шла за ним. Но каноник подозвал к себе Иосифа и, продолжая на основании его ответов считать, что женский голос принадлежал ему, спросил:

— Скажите же мне, почему вы выбрали этот отрывок Порпоры, вместо того чтобы исполнить соло господина Гольцбауэра?

— У нас не имелось этой партитуры, да и она была нам незнакома, — ответил Иосиф, — я спел единственную из пройденных мною вещей, которую хорошо помнил.

Тут священник поспешил рассказать о маленькой хитрости Готлиба, и эта артистическая зависть очень рассмешила каноника.

— Ну что ж, — заметил незнакомец, — ваш милый сапожник оказал нам громадную услугу: вместо плохого соло мы насладились шедевром великого мастера. Вы доказали свой вкус, — прибавил он, обращаясь к Консуэло.

— Не думаю, — возразил Иосиф, — чтобы соло Гольцбауэра было так плохо. Те из его произведений, что мы исполняли, были не без достоинств. — Достоинства — это еще не гениальность, — ответил незнакомец, вздыхая, и,

настойчиво обращаясь к Консуэло, он добавил:

— А вы какого мнения, дружок? Считаете ли вы, что это одно и то же?

— Нет, сударь, я этого не считаю, — ответила она лаконично и холодно, так как взгляды этого человека все больше смущали и тяготили ее.

— Однако же вам доставило удовольствие пропеть обедню Гольцбауэра? вмешался каноник. — Ведь это прекрасная вещь, не правда ли?

— Мне она не доставила ни удовольствия, ни неудовольствия, — ответила Консуэло, нетерпение вызвало у нее непреодолимое желание высказаться откровенно.

— Вы хотите сказать, что эта вещь ни хороша, ни дурна? — воскликнул, смеясь, незнакомец. — Ну-с, дитя мое, вы прекрасно ответили, и я вполне согласен с вашим мнением.

Каноник громко расхохотался, священник же казался очень смущенным, а Консуэло, нисколько не интересуясь этим музыкальным диспутом, скрылась вслед за Иосифом.

— Ну, господин каноник, как вы находите этих детей? — лукаво спросил незнакомец, как только те вышли.

— Очаровательны! Чудесны! Вы уж извините меня, что я говорю это после отповеди, которою

наградил вас этот мальчуган.

— Да что вы! Я нахожу этого мальчика просто восхитительным! Какой талант в такие юные годы! Поразительно! Что за мощные и скороспелые натуры эти итальянцы!

— О таланте мальчика ничего не могу вам сказать, — возразил каноник естественным тоном, — я не нашел в нем ничего особенно замечательного. Но вот его товарищ — удивительный юноша, и он наш с вами соотечественник, не в обиду будь сказано вашей «итальяномании».

— Ах, вот что! — проговорил незнакомец, подмигивая священнику. — Значит, Порпору исполнял старший?

— И я так полагаю, — ответил священник, совершенно смущенный тем, что его заставляют лгать.

— Я в этом вполне уверен: он сам мне сказал, — заметил каноник.

— А второе соло, значит, исполнил кто-либо из ваших прихожан? — продолжал допрашивать незнакомец.

— Должно быть, — ответил священник, делая усилие, чтобы поддержать эту ложь.

Оба посмотрели на каноника, желая убедиться, удалось ли им провести его или он насмеха-

ется над ними. Казалось, он вообще перестал думать об этом. Невозмутимость его успокоила священника. Заговорили о другом. Но четверть часа спустя каноник снова вспомнил о музыке и пожелал видеть Иосифа и Консуэло, с тем, объявил он, чтобы увезти их к себе в имение и там на досуге еще раз хорошенько прослушать. Перепуганный священник прошептал какие-то малопонятные объяснения. Каноник, смеясь, спросил его: не велел ли уж он бросить своих маленьких музыкантов в котел для подкрепления завтрака, который и так кажется ему великолепным? Священник переживал настоящую пытку. На выручку ему пришел незнакомец.

— Сейчас приведу их, — сказал он канонику.

И он вышел, сделав знак добродушному священнику, чтобы тот рассчитывал на какую-нибудь хитрость. Но придумывать ничего не понадобилось. Он узнал от служанки, что юные музыканты уже дали тягу, великодушно уделив ей один флорин из шести, только что ими полученных.

— Как? Ушли?! — воскликнул огорченный каноник. — Надо их догнать! Я хочу их видеть и слышать, хочу во что бы то ни стало!

Притворились, будто исполняют его желание, но никто и не подумал догонять юных артистов.

Да это было бы и напрасно, так как они, боясь грозящего им любопытства, умчались, как птицы. Каноник был очень огорчен и даже несколько рассержен.

— Слава богу, он ничего не подозревает, — сказал священник незнакомцу.

— Ваше преподобие, — ответил тот, — вспомните историю с епископом, который, в пятницу кушая по недосмотру скоромное, был предупрежден об этом своим викарием. «Несчастный, — воскликнул епископ, — неужели ты не мог подождать до конца обеда!» Быть может, и нам следовало предоставить канонику заблуждаться сколько его душе угодно.

Глава 76

Было тихо и ясно, полная луна сияла в небесном эфире, в старинной приории звонко и торжественно пробило девять часов, когда Иосиф и Консуэло, тщетно поискав звонка у ограды, стали обходить безмолвное обиталище, в надежде, что их услышит гостеприимный хозяин. Но надежда была напрасна: все двери были на запоре, ни одна собака не лаяла, ни в одном окне мрачного здания не было видно даже слабого проблеска света.

— Это дворец молчания, — сказал, смеясь, Гайдн, — и если б часы дважды не пробили тихо и торжественно четыре четверти в тоне до и си и девять ударов в тоне соль, я считал бы, что это жилище предоставлено совам и привидениям.

Местность вокруг была очень пустынна. Консуэло устала. К тому же таинственное жилище привлекало ее поэтическую натуру.

— Если бы даже нам пришлось спать в какой-нибудь часовне, — сказала она, — мне все-таки хотелось бы ночевать здесь. Попробуем во что бы то ни стало пробраться туда, даже если надо перелезть через эту стену, что не так уж трудно

сделать.

— Давайте я помогу вам взобраться наверх, а там я мигом перескочу и поддержу вас, когда вы будете спускаться, — сказал Иосиф.

Сказано — сделано. Стена была низенькая. Две минуты спустя наши юнцы с отважным спокойствием уже прогуливались внутри священной ограды. Они были в прекрасном саду-огороде, который содержался в большом порядке. Фруктовые деревья, расположенные веером, протягивали к ним свои длинные ветви, отягощенные румяными яблоками и золотистыми грушами. Виноградные лозы, кокетливо изогнутые в виде арок, были покрыты, словно чудными серьгами, крупными гроздьями сочного винограда. Огромные грядки с овощами также отличались своеобразной прелестью. Спаржа с изящными стеблями и шелковистыми волосиками, блестевшими от вечерней росы, напоминала рощу карликовых елей, покрытых серебристым флером. Горох, поднимаясь на подпорках легкими гирляндами, образовал длинные беседки, какие-то узкие таинственные проулочки, где щебетали крошечные полусонные малиновки. Американские тыквы, гордые левиафаны этого моря зелени, тяжело выпячивали свое оранжевое брюхо, покоясь на

широких темных листьях. Молодые артишоки, словно крошечные головки в коронах, толпились вокруг своего главы, августейшего стебля-родоначальника. Дыни сидели под стеклянными колпаками, будто тяжеловесные китайские мандарины под паланкинами, и из каждого такого кристального свода луна высекала крупный голубоватый бриллиант, о который ветреные ночные бабочки, летая, ударялись головками.

Шпалеры из роз отделяли огород от цветника; они доходили до зданий и окружали их поясом из цветов. Укромный сад казался каким-то раем. Под тенью великолепных густых кустов ютились редкие растения, распространявшие чудесный аромат. Песок под ногами был мягок, как ковер. Газон казался расчесанным травинка к травинке, настолько он был ровен и гладок. Цветы росли так буйно, что совсем не видно было земли, отчего круглые клумбы походили на громадные корзины цветов. Удивительно влияние обстановки на душевное и физическое состояние человека! Не успела Консуэло подышать этим сладостным воздухом, полюбоваться этим святилищем беспечного благосостояния, как почувствовала себя совершенно отдохнувшей, словно выспалась на славу.

— Вот поразительно! — сказала она Беппо. — Стоило мне увидеть этот сад, и я уже совсем забыла о каменистых дорогах и о своих больных ногах. Мне кажется, что я отдыхаю, глядя на все это. Никогда я не любила расчищенных, ухоженных садов, окруженных высокими стенами, а вот этот сад, после стольких дней пути по пыльной дороге, после ходьбы по твердой, утоптанной земле, представляется мне настоящим раем. Я умирала от жажды, а сейчас, когда я вижу эти прелестные растения, распускающиеся от вечерней росы, мне кажется, что я пью вместе с ними и уже утолила свою жажду.

Посмотри, Иосиф, разве есть что-нибудь очаровательнее цветов, распускающихся при лунном свете? Взгляни на этот букет белых звезд как раз посредине клумбы с газоном и не смейся надо мной. Не знаю их названия, кажется, ночные красавицы. О, как удачно они названы! Красивы и чисты, как звезды на небе. Малейшее дуновение ветерка — и они то склоняются, то выпрямляются, и чудится, будто они смеются и резвятся, словно девочки, одетые во все белое. Они напоминают мне моих школьных подруг, когда по воскресеньям, в одежде послушниц, мы бегали у высоких церковных стен. Вот они внезапно

замерли в недвижном воздухе, обратив головки к луне, — точно смотрят на нее и восхищаются. И кажется, что и луна тоже глядит на них, не спуская глаз, и парит над ними, словно большая ночная птица. Неужели ты думаешь, Беппо, что цветы ничего не чувствуют? А мне кажется, что красивый цветок не просто бессмысленно растет, но и испытывает чудесные ощущения. Не будем говорить о маленьких жалких растеньицах, выстроившихся вдоль канав, где они чахнут в пыли, обгладываемые каждым проходящим стадом. Растеньица эти похожи на маленьких нищенок, вздыхающих о капле недоступной им воды. Растрескавшаяся и жаждущая земля алчно вбирает в себя всю влагу, не делясь ею с их корнями. Но садовые цветы, за которыми так ухаживают, красивы и горды, как королевы. Они проводят время, кокетливо раскачиваясь на стеблях, а когда восходит на небе их милая подруга — луна, стоят совсем распустившиеся в полудреме и предаются сладким грезам. Быть может, они спрашивают себя, есть ли на луне цветы, подобно тому как мы хотели бы знать, живут ли там люди. Я вижу, Иосиф, что ты смеешься надо мной, а между тем удовольствие, которое я испытываю, вовсе не самообман. В воздухе, очищенном и освежен-

ном их ароматом, есть что-то возвышающее, и я чувствую какую-то связь между своей жизнью и жизнью всего окружающего.

— Как мог бы я насмехаться над вами, — ответил, вздыхая, Иосиф, когда все ваши впечатления сейчас же передаются мне, когда каждое ваше словечко трепещет в моей душе, как звук на струнах инструмента. Но посмотрите, Консуэло, на это жилище и объясните мне, почему оно навевает на меня такую сладостную и глубокую грусть.

Консуэло взглянула на приорию. То было небольшое здание XII века, когда-то укрепленное зубчатыми парапетами, которые впоследствии были заменены остроконечными крышами из сероватых шиферных плит. Башенки, увенчанные частыми бойницами, оставленными для украшения, были похожи на большие корзины. Густые заросли плюща нарушали однообразие стен, а на обнаженных частях фасада, залитого лунным светом, ночной ветер колебал легкую расплывчатую тень молодых тополей. Большие гирлянды виноградных лоз и жасмина обрамляли двери и вились вокруг окон.

— От жилища этого веет тишиной и грустью, — ответила Консуэло, — но оно не манит меня, как сад. Растения созданы, чтобы произрастать

на одном месте, люди же — чтобы двигаться и общаться друг с другом. Будь я цветком, я хотела бы расти в этом цветнике — здесь хорошо, но как женщина я не желала бы жить в келье, запертая в каменной громаде. А ты хотел бы быть монахом, Беппо?

— Ну нет! Боже меня упаси! Но мне было бы приятно работать, не думая о крыше над головой и о хлебе насущном; мне хотелось бы вести жизнь спокойную, уединенную, с некоторым достатком, без забот, присущих нищете. Словом, я желал бы прозябать в пассивной размеренной жизни, даже в некоторой зависимости, лишь бы разум мой был свободен, лишь бы у меня не было иных забот, иных хлопот, иного долга, как только заниматься музыкой. — Ну что ж, милый товарищ, творя спокойно, ты творил бы спокойную музыку.

— А почему бы ей быть плохой? Что может быть лучше спокойствия? Небеса — спокойны, луна — спокойна, эти цветы, чей мирный вид вас так прельщает…

— Их неподвижность нравится мне лишь потому, что она наступила после того, как их только что колебал ветерок. Ясность неба нас поражает единственно потому, что мы не раз видели его

в грозовых тучах. А луна никогда не бывает так величественна, как среди теснящихся вокруг нее облаков. Разве отдых может быть по-настоящему сладок без усталости? Непрерывная неподвижность — это уже не отдых. Это — небытие, это — смерть.

Ах! Если бы ты прожил, как я, целые месяцы в замке Исполинов, ты бы знал, что спокойствие — не жизнь!

— Но что вы называете спокойной музыкой?

— Музыку слишком выдержанную, слишком холодную. Смотри, как бы ты не насочинил такой музыки, избегая усталости и мирских тревог!

Так беседуя, подошли они к самой приории. Кристальная вода била из мраморного шара с золотым крестом наверху и, струясь из чаши в чашу, падала в большую гранитную раковину, где плескалась масса маленьких красных рыбок, которыми так любят забавляться дети.

Консуэло и Беппо, в сущности еще дети, принялись забавляться самым искренним образом, бросая рыбкам песок, чтобы подразнить их за прожорливость, и следя глазами за их быстрыми движениями, как вдруг увидели идущую прямо к ним высокую, одетую в белое женщину с кувшином; она приближалась к фонтану и очень

походила на одну из фантастических личностей — «ночных прачек», легенды о которых распространены почти во всех суеверных странах. Озабоченность или безразличие, с каким она принялась наполнять водой кувшин, не выказывая при виде пришельцев ни удивления, ни страха, заключали в себе на первый взгляд нечто торжественное и странное. Но вскоре громкий крик и уроненный ею при этом на дно бассейна кувшин доказали им, что в ней не было ничего сверхъестественного. У доброй женщины просто с годами ослабело зрение, а как только она заметила незнакомых людей, то страшно перепугалась и бросилась, бежать к дому, призывая на помощь пресвятую деву Марию и всех святых.

— Что случилось, тетка Бригита? — раздался из дома мужской голос. Уж не встретились ли вы с какой-нибудь нечистой силой?

— Два дьявола, или, скорее, два вора, стоят там у фонтана, — ответила женщина, подбегая к своему собеседнику, который, появившись на пороге двери, простоял там несколько минут с нерешительным и недоверчивым видом.

— Наверное, еще один из ваших обычных страхов. Разве в такой час какие-нибудь воры покусятся на нас?

— Клянусь вам своим вечным спасением, что там стоят две черные фигуры, неподвижные, как статуи! Да разве вы сами не видите их отсюда? Смотрите же, они все еще там и не уходят. Пресвятая дева Мария! Побегу, спрячусь в погреб.

— Действительно, я что-то вижу, — проговорил мужчина, стараясь говорить грубым голосом. — Сейчас позвоню, вызову садовника, и вместе с его двумя помощниками мы легко справимся с этими плутами, которые могли пробраться сюда только перелезши через стенку, так как я сам запер все ворота.

— Пока что запрем дверь, — заметила старуха, — а потом ударим в набат.

Дверь закрылась, а наши двое юношей продолжали стоять в недоумении, не зная, что им предпринять. Бежать — значило подтвердить мнение, которое составилось о них, а оставаться — значило подвергнуться грубому нападению. Совещаясь, они увидели слабый луч, пробивавшийся сквозь ставню нижнего этажа. Луч расширился, и малиновая шелковая занавеска, из-за которой лился мягкий свет лампы, стала медленно приподниматься. У края занавески появилась рука, казавшаяся при ярком лунном свете белой и полной. Рука осторожно поддержи-

вала бахрому занавески, в то время как чей-то незримый глаз, должно быть, рассматривал то, что делалось вне дома.

— Давай петь: это единственный выход, — сказала своему товарищу Консуэло, — я начну, а ты мне вторь. Нет, возьми скрипку и сыграй любую ритурнель в любом тоне.

Иосиф повиновался, и Консуэло запела во весь голос, одновременно импровизируя и музыку и слова — нечто вроде ритмического речитатива на немецком языке:

«Нас двое бедных пятнадцатилетних детей; мы малы и не сильнее и не злее тех соловушек, чьим сладким песням подражаем».

— Ну, Иосиф, — прошептала она, — еще аккорд, чтобы оттенить речитатив. Затем она продолжала:

«Измученные усталостью, подавленные мрачным одиночеством ночи, мы увидели издали этот дом, он показался нам необитаемым, и мы перекинули через стену одну ногу, а потом и другую».

— Иосиф, еще аккорд в ля минор!

«Очутились мы в заколдованном саду, среди плодов, достойных земли обетованной. Мы умирали от жажды, умирали от голода, и все-таки

если не хватит хоть единого красного яблочка на шпалерах, если сорвали мы хоть единую ягодку с виноградной лозы, пусть нас выгонят и проучат как злодеев».

— Теперь, Иосиф, модуляцию, чтобы вернуться в до мажор.

«А между тем нас подозревают, нам грозят; но мы не хотим бежать, не хотим прятаться, ибо не совершили ничего дурного… если только не считать, что мы вошли в дом божий, перелезши через стену. Но когда дело идет о том, чтобы забраться в рай, то все дороги хороши, и кратчайшие — наилучшие».

Консуэло завершила свой речитатив одним из тех красивых хоралов на простонародном латинском языке, известном в Венеции как «latino di frate» , которые народ распевает вечерами перед статуями мадонны. Когда она кончила, две белые руки, постепенно высунувшиеся из-за занавесей, бурно зааплодировали, и голос, показавшийся ей не совсем незнакомым, крикнул из окна:

— Добро пожаловать, ученики муз! Входите, входите! Вас ждет здесь гостеприимство!

Юные музыканты приблизились, а минуту спустя лакей в красной с лиловым ливрее вежливо распахнул перед ними двери.

— Я принял было вас за жуликов, прошу извинить меня, друзья мои, — смеясь, сказал он. — Но вы сами виноваты, что не запели раньше. С таким паспортом, как голос и скрипка, вы можете рассчитывать на самый радушный прием у моего хозяина. Пожалуйте. По-видимому, он уже знает вас.

С этими словами приветливый слуга поднялся впереди них по двенадцати ступенькам очень пологой лестницы, покрытой прекрасным турецким ковром. Не успел еще Иосиф спросить имя хозяина, как лакей открыл дверь, тотчас бесшумно за ним закрывшуюся, и, проведя их через уютную переднюю, ввел в столовую, где любезный хозяин этого счастливого обиталища, сидя перед жареным фазаном и двумя бутылками старого золотистого вина, начинал переваривать первое блюдо, уже принявшись с благодушным и одновременно величественным видом за второе. Вернувшись с вечерней прогулки, он приказал привести себя в порядок и освежить себе лицо, что и было исполнено его камердинером. Он был напудрен и выбрит, седеющие кудри мягко вились вокруг его почтенной головы, блестя ирисовой, чудесно пахнущей пудрой. Красивые руки покоились на коленях, обтянутых короткими чер-

ными шелковыми панталонами с серебряными застежками. Ноги прекрасной формы, которыми он немного гордился, туго обтянутые прозрачными лиловыми шелковыми чулками, отдыхали на бархатной подушке. Его статное, дородное тело, облаченное в запашный из превосходного красного шелка стеганный на вате халат, утопало в большом, крытом ковровой тканью кресле, где локоть нигде не рисковал наткнуться на угол, до того кресло это было хорошо набито волосом и везде закруглено. Экономка Бригита, сидя у пылающего и потрескивающего камина за креслом хозяина, со священнодействующим видом варила кофе. Второй лакей, не уступавший первому ни в выправке, ни в приветливости, стоя у стола, осторожно отрезал крылышко дичи, спокойно и терпеливо ожидаемое благочестивым отцом.

Иосиф и Консуэло низко поклонились, узнав в хозяине старшего каноника собора святого Стефана, в присутствии которого они прошлым утром служили обедню.

Глава 77

Не было на свете человека, жизнь которого сложилась бы так спокойно и удобно, как жизнь господина каноника. Благодаря многочисленным покровителям, принадлежавшим к королевскому дому, он был в возрасте семи лет объявлен совершеннолетним; хоть человек в эти годы еще и не отличается большим умом, однако, согласно церковному уставу, он в скрытом виде обладает им настолько, чтобы получать и тратить доходы с бенефиция. Вследствие такого постановления тонзурированного юнца возвели в каноники, несмотря на то, что он был побочным сыном короля. Сделано это было в полном соответствии с церковными уставами: ребенок, видите ли, считается законнорожденным, если он получает доходы с церковного имущества и находится под покровительством королевского дома. Те же самые канонические постановления требовали, чтобы каждый претендент на церковное имущество происходил от бесспорного и законного брака, в противном случае его могли объявить «неправоспособным», а в случае надобности

— даже «недостойным» и «бесчестным». Но существует столько средств для соглашения с небом! А потому в некоторых случаях каноническое право устанавливало, что подкинутый ребенок может считаться законнорожденным, на том, впрочем, истинно христианском основании, что в случае неизвестного происхождения должно-де скорее предполагать хорошее, чем плохое. Итак, маленький каноник в качестве совершеннолетнего стал получать прекрасный доход с церковного имущества. Дожив до пятидесяти лет и имея за собой сорок лет якобы действительной службы в капитуле, он был признан каноником, отслужившим «юбилейный срок», то есть каноником в отставке. Ему предоставлялось жить где заблагорассудится, не исполнять никакой работы при капитуле, пользуясь, однако, всеми выгодами, доходами и привилегиями канониката. Правда, достойный каноник с юных лет оказывал капитулу очень большие услуги. Он объявил себя «отсутствующим», что на языке каноническом означает право — под более или менее благовидным предлогом — жить вдали от капитула, не теряя при этом доходов с церковного имущества, связанных со службой. Достаточно было чумной эпидемии в его резиденции, чтобы это послу-

жило основанием для «отсутствия». Могло быть причиной «отсутствия» слабое или расстроенное здоровье. Но самым надежным и уважительным поводом являлась ссылка на научные занятия. Для этого предпринимался и объявлялся какой-нибудь объемистый труд на темы о морали, об отцах церкви, о таинствах или, того лучше, об устройстве капитула, к которому принадлежишь, о принципах, на которых он основан, о почетных и материальных выгодах, имеющих отношение к службе при капитуле, о требованиях, которые могли бы быть предъявлены другим капитулам, о процессе, который велся или будет вестись против соперничающей общины по поводу какой-нибудь земли, права попечительства или дома, данного по бенефицию. И такого рода сутяжные и финансовые хитросплетения были настолько интереснее духовному сословию, чем комментарии к учению и разъяснению догматов, что стоило только какому-нибудь видному члену капитула предложить заняться исследованием и наведением справок в правительственных учреждениях относительно старинных документов, набросать записки о судопроизводстве, настрочить жалобы и даже пасквили на богатых противников, как ему предоставляли выгодное

и приятное право вернуться к частной жизни и проедать свои доходы либо путешествуя, либо сидя в своем бенефициальном доме у собственного камелька. Так и поступил наш каноник.

Человек умный, одаренный красноречием и изящным слогом, он дал себе слово — и давал его всю жизнь — написать книгу о правах, льготах и привилегиях своего капитула. Окруженный запыленными фолиантами, которые он ни разу не раскрыл, он своей книги не написал, не писал ее и теперь, да и вообще ему не суждено было когда-либо ее написать. Два секретаря, приглашенные им за счет капитула, занимались тем, что опрыскивали его особу духами и готовили ему трапезы. О пресловутой книге много было толков; ее ожидали, на силе ее аргументов строили тысячи воздушных замков, мечтая о славе, мести и золоте. Эта несуществующая книга уже создала своему автору репутацию человека образованного, упорного в труде и красноречивого, чему он вовсе не спешил представить доказательства. И происходило это не потому, что он был неспособен оправдать высокое мнение своих собратий, но потому, что жизнь коротка, а за обедами и ужинами засиживаешься долго, приводить себя в порядок тоже необходимо, ну и

doice far niente так восхитительно. Затем у нашего каноника были две невинные, но неутолимые страсти: он обожал садоводство и музыку. Где же было ему при таком количестве дел и занятий найти время для написания книги? Наконец, так приятно говорить о книге, которую не пишешь, и, напротив, так неприятно слышать разговоры о труде, который уже написан. Бенефиции его святой особы представлял собою весьма доходное имение, приобщенное к приории, где каноник жил восемь-девять месяцев в году, предаваясь разведению цветов и ублажению своей утробы. Жилище было обширным и романтическим. Каноник обставил его не только комфортабельно, но даже роскошно. Предоставляя медленно разрушаться корпусу, где жили прежде монахи, он заботливо поддерживал и со вкусом украшал ту часть здания, которая наиболее соответствовала его сибаритским привычкам. Благодаря новым переделкам древний монастырь преобразился в настоящий маленький замок, где благочестивый отец вел жизнь помещика. Он был наиприятнейшей духовной особой: снисходительный, остроумный, когда это требовалось, правоверный и речистый с людьми своего сословия, обходительный, забавный и веселый в светском

обществе, любезный, радушный и щедрый с артистами. Слуги каноника, деля с ним хорошую жизнь, которую он умел себе создать, помогали ему изо всех сил. Экономка была немного сварлива, но варила такое вкусное варенье, умела так сохранять фрукты, что он выносил ее скверное расположение духа и спокойно выдерживал бури, говоря себе при этом, что человек должен мириться с чужими недостатками, но не может обойтись без прекрасного десерта и чудесного кофе.

Наши юные музыканты были приняты им с самым милым радушием.

— Вы очень умные и изобретательные дети, — сказал он им, — и я полюбил вас всем сердцем. К тому же вы очень талантливы; а у одного из вас — уж не знаю теперь, у которого — голос самый нежный, самый приятный, самый волнующий из когда-либо слышанных мною. Голос этот — чудо, клад. И я огорчился сегодня, узнав от священника о вашем внезапном уходе; я уж думал, что, должно быть, никогда больше не встречусь с вами, никогда больше не услышу вас. Право, я даже лишился аппетита, стал мрачным, озабоченным… Чудесный голос и чудесная музыка не выходили у меня из головы, продолжали звучать в ушах.

Но провидение, действительно желающее мне добра, а быть может, и ваше доброе сердце, дети мои, снова привело вас ко мне, ибо вы, наверное, угадали, что я сумел вас и понять и оценить.

— Должны сознаться, господин каноник, — ответил Иосиф, — что только случай привел нас сюда, и мы далеки были от того, чтобы рассчитывать на такую счастливую случайность.

— Это счастливая случайность для меня, — любезно возразил каноник,

— и вы мне споете… Но нет, это было бы слишком эгоистично с моей стороны — вы устали, может быть, голодны… Сначала вы поужинаете, хорошенько выспитесь у меня, а завтра займемся музыкой. Да, музыкой, я буду слушать вас целый день! Андреас, сейчас же проводите молодых людей в буфетную и как можно лучше позаботьтесь о них… Впрочем, нет: поставьте им два прибора на конце стола — они будут ужинать со мной.

Андреас исполнил приказание с готовностью и даже с каким-то благожелательным удовольствием. Но Бригита совсем иначе отнеслась к этому: она покачала головой, пожала плечами и проворчала сквозь зубы:

— Нечего сказать, подходящие сотрапезники! Странное общество для человека вашего круга!

— Замолчите, Бригита! — спокойно ответил каноник. — Вы никогда, никем и ничем не бываете довольны и как только увидите, что кому-нибудь что-нибудь приятно, сейчас же приходите в ярость.

— Вы уж не знаете, что и выдумать для своего времяпрепровождения,

— прибавила она, не обращая ни малейшего внимания на сделанное ей замечание. — Лестью, всякими россказнями, песенками вас можно провести, точно малого ребенка.

— Замолчите! — сказал каноник, несколько повышая голос, но не переставая весело улыбаться. — У вас голос оглушительный, как трещотка, и если вы не перестанете ворчать, то совсем потеряете голову и испортите мне кофе.

— Подумаешь, великая радость и большая честь, — прошипела старуха, варить кофе для таких гостей.

— О! Я знаю, вам нужны важные персоны. Вы любите величие. Вы хотели бы иметь дело только с епископами, князьями да канониссами самых старинных дворянских фамилий! А по мне, все это не стоит куплета хорошо исполненной песни.

Консуэло с удивлением слушала, как человек,

отличавшийся такой величественной осанкой, мог с каким-то наивным удовольствием препираться со своей экономкой; да и в продолжение всего ужина ее изумляла ребячливость его интересов. Он болтал массу вздора — решительно по поводу всего, просто для провождения времени и для того, чтобы поддержать в себе хорошее настроение. Поминутно он обращался к слугам, то серьезно обсуждая вопрос о соусе к рыбе, то беспокоясь о каком-то диване или столе, заказанном им, тут же давал противоречивые приказания, расспрашивал челядь о самых пустячных подробностях своего хозяйства, обдумывал эти пустяки с торжественностью, достойной серьезнейшей темы, выслушивал одного, останавливал другого, пробирал Бригиту, противоречившую ему на каждом шагу, — и проделывал все это, пересыпая и вопросы и ответы всевозможными прибаутками. Можно было подумать, что, принужденный вследствие своей уединенной и ленивой жизни проводить много времени в обществе прислуги, он, желая дать работу мозгу, а с другой стороны — способствовать пищеварению, занимался гигиены ради упражнением мысли не слишком серьезным и не слишком легким.

Ужин был превосходный и необыкновенно

обильный. За жарким господин каноник вызвал повара, благосклонно похвалил его за приготовление некоторых блюд, кратко и наставительно пожурил за другие, не достигшие совершенства. Оба наши путешественника, словно свалившись с облаков, поглядывали друг на друга, думая, что им снится забавный сон, до того все эти изощрения казались ему непостижимыми.

— Ну, ну! Не так уж плохо, — проговорил добродушный каноник, отпуская своего искусника-кулинара, — я сделаю из тебя толк, если будешь стараться и не перестанешь любить свое ремесло.

«Можно вообразить, — подумала Консуэло, — что дело идет об отеческом наставлении или религиозном поучении».

За десертом, отпустив также и экономке ее долю похвал и замечаний, каноник наконец забыл об этих важных вопросах и перешел к музыке, где показал себя своим юным гостям в гораздо лучшем свете. У него было хорошее музыкальное образование, серьезные познания, верные взгляды и просвещенный вкус. Он довольно хорошо играл на органе. Усевшись после обеда за клавесин, он сыграл несколько отрывков из произведений старинных немецких композиторов,

исполняя их с тонким вкусом и согласно добрым традициям прошлого. Не без интереса слушала Консуэло его игру. Найдя на клавесине толстую нотную тетрадь со старинными пьесами, она принялась ее перелистывать. Позабыв и об усталости и о позднем времени, она стала просить каноника сыграть, не изменяя своей красивой, тонкой и полнозвучной манере, некоторые из этих пьес, особенно понравившихся ей. Каноник был чрезвычайно польщен, что его слушают с таким удовольствием. Музыка, которую он знал, уже вышла из моды, и потому он не часто находил любителей, способных оценить то, что было ему по сердцу. И вот он воспылал любовью к Консуэло, так как Иосиф, измученный усталостью, заснул в предательски удобном кресле.

— Браво! — воскликнул каноник в порыве увлеченья. — Ты необычайно одарен, дитя мое, и умен не по годам. Тебя ожидает необыкновенная будущность. Впервые жалею я о безбрачии, налагаемом на меня моей профессией. Этот комплимент заставил покраснеть и привел в трепет Консуэло, которой пришло в голову, что в ней признали женщину, но она очень скоро успокоилась, как только каноник наивно прибавил:

— Да, жалею, что у меня нет детей, ибо небо,

быть может, послало бы мне такого сына, как ты, а это было бы счастьем моей жизни… будь его матерью хотя бы сама Бригита! Но скажи мне, друг мой, какого ты мнения о Себастьяне Бахе, у которого столько фанатиков-поклонников среди современных ученых? Считаешь ли и ты его таким поразительным гением? У меня там лежит толстенная книга — его произведения; я их собрал и дал переплести, так как все надо иметь в доме… А впрочем, может статься, они действительно прекрасны… Но разбирать их стоит большого труда, и, признаться, после первой же неудачной попытки я поленился снова приняться за них… Притом у меня мало остается времени для самого себя. Ведь я занимаюсь музыкой в редкие минуты, оторванные от более серьезных дел. Ты видел, как я занят управлением моего маленького хозяйства, но из этого не надо заключать, что я человек свободный и счастливый. Наоборот, я раб огромного, страшного, взваленного на себя труда. Я пишу книгу и работаю над нею вот уже тридцать лет, но другой и в шестьдесят не написал бы ее. Книга эта требует неимоверных познаний, бессонных ночей, непоколебимого терпения и самых глубоких размышлений. Зато, мне кажется, книга заставит о себе говорить.

— Но она уже скоро будет кончена? — спросила Консуэло.

— Не так скоро, не так скоро… — ответил каноник, стараясь скрыть от самого себя, что он еще не приступал к ней. — Итак, мы говорили с тобой о музыке этого Баха… она ужасно трудна, да, по-моему, и очень своеобразна.

— А мне кажется, преодолей вы свое предвзятое мнение, вы убедились бы, что Бах — гений; он охватывает, объединяет и одухотворяет все прошлое и настоящее.

— Ну хорошо, — согласился каноник. — Если это так, то завтра мы все втроем попробуем разобрать что-нибудь из его произведений. А теперь вам время спать, а мне — погрузиться в работу. Но завтрашний день вы проведете у меня, не правда ли, это решено?

— Целый день — пожалуй, много, сударь: нам надо спешить в Вену, но все утро мы будем к вашим услугам.

Каноник запротестовал, стал настаивать, и Консуэло сделала вид, что сдается, решив утром несколько ускорить адажио великого Баха, с тем, чтобы выбраться из приории не позднее двенадцати часов дня.

Когда вопрос коснулся ночлега, горячий спор

возник на лестнице между Бригитой и главным камердинером. Усердный Иосиф, стараясь угодить своему барину, приготовил для молодых музыкантов две хорошенькие келейки в недавно отремонтированном здании, занимаемом каноником и его свитой. Бригита же, напротив, упорно настаивала на том, чтобы поместить их в заброшенных кельях старинного монастыря. «Эта часть здания, — говорила она, — отделена от новой капитальными дверями и крепкими запорами».

— Как! — кричала экономка своим пронзительным голосом на гулкой лестнице. — Вы собираетесь поместить этих бродяг дверь в дверь с нами? Да разве вы не видите по их лицам, по их манерам, по их ремеслу, что это цыгане, авантюристы, скверные маленькие разбойники, которые сбегут отсюда до света, утащив с собой нашу серебряную посуду! Да еще неизвестно, не убьют ли они нас самих.

— Убьют! Эти-то дети! — воскликнул, смеясь, камердинер. — Вы с ума сошли, Бригита. Хоть вы и старая и дряхлая, а, пожалуй, сами еще обратите их в бегство, стоит вам только ощериться.

— Сами вы старый и дряхлый, слышите! — кричала в ярости старуха. — Говорю вам, они не

будут здесь ночевать, я этого не хочу! Ну да! С ними всю ночь не сомкнешь глаз!

— И совершенно напрасно: я глубоко уверен, что у этих детей не больше моего охоты беспокоить ваш почтенный сон. Но довольно об этом. Господин каноник приказал мне хорошенько позаботиться об его гостях, и я не упрячу их в эту лачугу, полную крыс, где гуляет ветер. Быть может, вы еще хотите уложить их там на голом полу?

— Я велела садовнику поставить для них две складные кровати. А вы считаете, что эта голь привыкла к пуховикам?

— Тем не менее эту ночь они будут спать на пуховиках, так как барин этого желает. А я, госпожа Бригита, признаю только его приказания. Предоставьте мне исполнять свои обязанности и помните, что ваш долг, так же как и мой, — повиноваться, а не приказывать.

— Правильно, Иосиф! — проговорил, смеясь, каноник, слышавший через полуоткрытую дверь передней весь этот спор. — А вы, Бригита, идите приготовьте мне туфли и оставьте нас в покое. До свиданья, юные друзья мои. Ступайте за Иосифом и спите хорошенько. Да здравствует музыка! Да здравствует завтрашний прекрасный день!

Долго еще после того, как наши путешественники расположились в своих хорошеньких келейках, доносилась до них воркотня экономки, словно зимний северный ветер завывал по коридорам. Когда же шум, свидетельствовавший о торжественном отходе ко сну каноника, совершенно затих, Бригита подошла на цыпочках к дверям юных гостей и заперла их, быстро повернув ключ в каждом замке. Иосиф, погрузившись в лучшую из когда-либо попадавшихся ему в жизни постелей, уже крепко спал. Консуэло также последовала его примеру, немало посмеявшись в душе над ужасом Бригиты. Дрожа от страха почти все ночи во время своего путешествия, она теперь в свою очередь приводила в трепет других. Она могла бы применить к себе басню о зайце и лягушках, но я не уверен, были ли известны Консуэло басни Лафонтена. Как раз в то время достоинство их оспаривалось величайшими умами мира: Вольтер осмеивал их, а Фридрих Великий, подражая, как обезьяна, своему философу, тоже относился к ним с глубочайшим презрением.

Глава 78

Ранним утром Консуэло разбудило восходящее солнце и веселое щебетанье тысячи птиц в саду. Девушка попробовала было выйти из своей комнаты, но «арест» не был еще снят: госпожа Бригита продолжала держать своих пленников под замком. Консуэло пришло в голову, что это, пожалуй, хитрая выдумка каноника: желая наслаждаться весь день музыкой, он прежде всего счел нужным обеспечить себя музыкантами. Молодая девушка, чувствовавшая себя в мужском костюме вполне свободно, стала куда смелее и приобрела известную ловкость; выглянув в окно, она убедилась, что вылезть из него не так уж трудно, ибо вдоль всей стены вились по крепким шпалерам старые виноградные лозы. И вот, спустившись тихонько и осторожно, чтобы не попортить чудесного монастырского винограда, она очутилась на земле и забралась в сад, смеясь в душе над удивлением и разочарованием Бригиты, когда та обнаружит, что все ее предосторожности ни к чему не привели. Консуэло опять увидела, уже при новом освещении, прелестные

цветы и роскошные плоды, которыми восхищалась накануне при лунном свете. Купаясь в косых лучах розового улыбающегося солнца, еще краше зацвели под свежим дыханием утра исполненные поэзии прекрасные творения земли. Атласно-бархатистый налет покрыл плоды, на всех ветвях кристальными бусинками повисла роса, от посеребренных газонов шел легкий пар, словно страстное дыхание земли, стремящееся достигнуть неба и слиться с ним в нежном, любовном порыве. Но ничто в этот таинственный час рассвета не могло сравниться со свежестью и красотой цветов, когда они, еще влажные от ночной росы, приоткрылись как бы для того, чтобы обнаружить сокровища своей чистоты, излить свои тончайшие ароматы. Только самый первый и чистый солнечный луч достоин был мельком взглянуть на них, на мгновение обладать ими. Цветник каноника мог служить источником наслаждения для любого садовода-любителя. Консуэло же он показался слишком симметрично разбитым, слишком ухоженным. И все же десятки сортов роз, редкие и прекрасные гибискусы, пурпуровый шалфей, до бесконечности разнообразная герань, благоухающий дурман с глубокими опаловыми чашечками,

наполненными амврозией богов, изящные ласточники (в их тонком яде насекомое, упиваясь негой, находит смерть), великолепные кактусы, подставлявшие солнцу свои яркие венчики на утыканных колючками стволах, и еще тысячи редких, великолепных, никогда не виданных Консуэло растений, названия и родины которых она не знала, надолго приковали ее внимание.

Исследуя различную форму растений, анализируя те чувства, которые, казалось, выражал весь их облик, она стала искать связь между музыкой и цветами и задумалась над тем, как эти два увлечения совмещаются в душе хозяина этого дома и сада. Ей уже и раньше приходило в голову, что гармония звуков отвечает гармонии красок. А гармонией гармоний ей казался аромат. Консуэло погрузилась в смутные сладкие мечтания, и в эту минуту ей чудилось, будто она слышит голоса, исходившие от каждого прелестного венчика, голоса, рассказывавшие ей о тайнах поэзии на языке, до сих пор ей неведомом. Роза говорила о страстной любви, лилия — о своей непорочности, пышная магнолия втихомолку поведала о чистых радостях святой гордости, а крошечная маргаритка шептала о прелестях простой, скромной жизни. Некоторые цветы громко и властно заяв-

ляли: «Я красива и царствую». Другие шептали еле внятно, но таким нежным, в душу проникающим голосом: «Я мала и любима». И все вместе качались в такт с утренним ветерком, образуя воздушный хор, который постепенно замирал среди умиленных трав и листвы, жаждавших уловить таинственный смысл происходящего.

Вдруг в эту идеальную гармонию ворвались пронзительные, ужасные, мучительные человеческие крики, нарушившие восхитительно созерцательное настроение Консуэло; крики неслись к ней из чащи деревьев, скрывавшей монастырскую ограду. Вслед за криками, замершими в деревенской тиши, послышался грохот экипажа, затем экипаж, по-видимому, остановился, и кто-то принялся колотить в решетчатые ворота, замыкавшие сад» с этой стороны. Но либо в доме все еще спали, либо никто не хотел ответить, — потому что приезжие долго стучали впустую, а пронзительные крики женщины, прерывавшиеся энергичной бранью мужчины, взывавшего о помощи, разбивались о монастырские стены, не вызывая в них отклика, как и в сердцах живущих под их сенью людей. Все окна фасада были так хорошо законопачены для охранения сна каноника, что ни единый звук не мог

проникнуть сквозь сплошные дубовые ставни, обитые кожей на конском волосе. Слуги, занятые во внутреннем дворике позади дома, не слышали криков, а собак в приории не имелось: каноник не любил этих назойливых стражей, которые под предлогом ограждения от воров нарушают покой своих хозяев. Консуэло попробовала было проникнуть в дом, чтобы дать знать о прибытии путешественников, оказавшихся, по-видимому, в бедственном положении, но все было так крепко заперто, что она отказалась от этой мысли и в волнении бросилась к решетчатым воротам, из-за которых доносился шум.

Дорожный экипаж, нагруженный доверху багажом и побелевший от пыли после долгого пути, стоял перед главной аллеей сада. Форейторы слезли с лошадей и старались расшатать негостеприимные ворота, а стоны и жалобы все неслись из экипажа.

— Откройте, если вы христиане, — кричали оттуда, — у нас тут умирает дама!

— Откройте! — закричала, высовываясь из окна кареты, женщина, черты лица которой были незнакомы Консуэло, но чье венецианское произношение поразило ее. — Госпожа моя умрет, если ей сейчас же не дадут приюта. Откройте,

коли вы не звери!

Консуэло, не думая о последствиях своего порыва, бросилась открывать ворота, но на них висел огромный замок, ключ от которого, вероятно, находился в кармане Бригиты. Звонок тоже не действовал благодаря потайной пружине. В этой спокойной местности, где жители отличались большой честностью, такие предосторожности принимались не против воров, а, по-видимому, против шума и беспокойства, причиняемых слишком поздними или слишком ранними посетителями. Несмотря на страстное желание помочь, Консуэло, не в силах ничего сделать, с горестью выслушивала брань горничной, которая, обращаясь к своей хозяйке, нетерпеливо выкрикивала по-венециански:

— Дуралей, увалень этакий! Открыть ворота не умеет!

Немецкие форейторы, более терпеливые и спокойные, старались помочь Консуэло, но так же безуспешно. Тут больная дама, высунувшись из окна кареты, крикнула громким голосом на ломаном немецком языке:

— А! Черт тебя побери! Да беги же за кем-нибудь, чтоб открыли! Мерзкая скотина!

Энергичное обращение дамы успокоило Консу-

эло относительно угрожавшей больной близкой смерти. «Если она близка к кончине, то во всяком случае к какой-то весьма буйной кончине», — подумала девушка и обратилась к путешественнице по-венециански:

— Я не из этого дома, меня здесь приютили только на ночь. Постараюсь разбудить хозяев, но этого так скоро и просто не сделаешь. Неужели, сударыня, вы в такой опасности, что не можете немного обождать, не приходя в отчаяние?

— Я рожаю, дурень! — закричала путешественница. — Мне некогда ждать! Беги, кричи, хоть разнеси все, а приведи людей и помоги мне войти сюда. За труды тебе хорошо заплатят…

Она снова принялась вопить, а у Консуэло задрожали колени: это лицо, этот голос были ей знакомы.

— Как зовут вашу хозяйку? — крикнула она горничной.

— А тебе что до этого? Беги же, негодный! — проговорила взволнованная горничная. — Если будешь медлить, ничего от нас не получишь!

— Да я ничего и не хочу от вас, — горячо возразила Консуэло, — но мне надо знать, кто вы. Если ваша госпожа музыкантша, ее примут здесь без всяких разговоров, а она, если я не ошибаюсь,

знаменитая певица.

— Иди, мальчик, — сказала роженица, находившая в себе силы в промежутках между схватками быть хладнокровной и энергичной. — Иди скажи жителям этого дома, что знаменитая Корилла может умереть, если какая-нибудь христианская душа или душа артиста не сжалится над ее положением. Я заплачу… скажи, что я щедро заплачу.

— София, — обратилась она к горничной, — прикажи положить меня на землю; я буду меньше мучиться, лежа на дороге, чем в этой адской карете. Консуэло уже мчалась к приории, твердо решив устроить оглушительный шум и во что бы то ни стало добраться до самого каноника. Девушка уже не думала удивляться или приходить в волнение от странной случайности, которая привела сюда ее соперницу, причину всех ее несчастий. Она хотела только одного — помочь ей. Стучать Консуэло не понадобилось: она встретила Бригиту — домоправительница каноника, привлеченная криками, выходила из дома в сопровождении садовника и камердинера.

— Хорошенькая история, нечего сказать! — сурово проговорила старуха, когда Консуэло изложила ей суть дела. — Не ходите туда, Андреас, не двигайтесь и вы с места, господин садовник.

Разве вы не видите, что все подстроено этими бандитами для того, чтобы нас ограбить и убить? Я ждала этого. Тревога эта — хитрость! Шайка злодеев шныряет вокруг дома, в то время как те, которых мы приютили, стараются под благовидным предлогом ввести их к нам. Ступайте за ружьями, господа, и будьте готовы прикончить эту мнимую роженицу с усами и в штанах. Ну хорошо! Пусть даже это роженица. Допустим! Она принимает наш дом за больницу, что ли? У нас тут нет акушерки, я лично ничего не смыслю в таких делах, а господин каноник не любит писка новорожденных. Как же дама могла пуститься в дорогу, зная, что ей время родить? А раз она это сделала, кто же виноват? Да можем ли мы избавить ее от страданий? Пусть родит в своей карете: ей там будет не хуже, чем у нас, где ничего не приспособлено для такого неожиданного подарка.

Эту речь, начатую для Консуэло, Бригита, брюзжа, продолжала, пока они шли по аллее, и закончила у ворот — уже для горничной Кориллы.

В то время как путешественницы после тщетных переговоров обменивались упреками и даже бранью с несговорчивой экономкой, Консуэло, надеясь на доброту каноника и слабость его к музыке, проникла в дом. Напрасно искала она

комнату хозяина — она только заблудилась в обширном помещении, закоулки которого были — ей неизвестны. Наконец она натолкнулась на Гайдна, разыскивавшего ее, и он сказал, что видел, как каноник направился к оранжерее. Они вместе бросились туда и вскоре увидели в сводчатой жасминной аллее почтенного хозяина: он шел им навстречу. Лицо его сияло весельем, как утро этого прекрасного осеннего дня. Взглянув на приветливого каноника, гулявшего в своем уютном стеганом ватном шлафроке по дорожкам, где его изящная нога мягко ступала по мелкому, пройденному граблями песку, Консуэло не сомневалась, что такое счастливое существо, с такой чистой совестью, столь удовлетворенное во всех своих желаниях, будет в восторге от возможности совершить доброе дело. Едва она заговорила, передавая просьбу бедной Кориллы, как появилась Бригита и перебила ее.

— Там у ворот, — начала старуха, — бродяга, певица из театра; выдает себя за знаменитость, а вид у нее и разговор распутной девки. Она уверяет, что сейчас родит, а кричит и бранится, как тридцать чертей вместе взятых. Хочет родить в вашем доме. Подумайте, подходящее ли это для вас дело?

У каноника вырвался жест отвращения, — очевидно, он собирался отказать.

— Господин каноник, — обратилась к нему Консуэло, — кто бы ни была эта женщина, она страдает, жизнь ее, быть может, в опасности, так же как и жизнь невинного создания, которого бог призывает в этот мир, — и религия повелевает вам принять его по-христиански и по-отечески. Не правда ли, вы не покинете несчастную, не допустите, чтобы она погибла, стеная, у вашей двери?

— А что, она замужняя? — холодно спросил каноник после минутного раздумья.

— Этого я не знаю; возможно. Но что до того? Господь посылает ей счастье быть матерью. Он один имеет право ее судить…

— Она сказала свое имя, господин каноник, — энергично вмешалась Бригита, — наверное, вы должны ее знать, вы же водитесь со всеми комедиантами Вены. Ее зовут Корилла.

— Корилла! — воскликнул каноник. — Она бывала в Вене, и я много о ней слышал; говорят, у нее прекрасный голос.

— Ну вот, ради ее голоса прикажите открыть ворота! Она лежит на песке, на самой дороге, — настаивала Консуэло.

— Но ведь это женщина легкого поведения, — возразил каноник. — Два года тому назад у нее была скандальная история в Вене.

— Помните, господин каноник, у вас есть немало завистников. Роди только в вашем доме погибшая женщина… в этом, поверьте, не усмотрят случайности, а дела милосердия и того меньше. Вам ведь известно, что у каноника Герберта есть виды на юбилярство и он уже отставил от должности одного молодого собрата под предлогом, будто тот небрежно относился к церковным службам ради дамы, которая всегда в эти часы у него исповедовалась. Господин каноник, такой бенефиции, как ваш, легче потерять, чем добыть.

Эти слова вдруг оказали решающее действие. Каноник воспринял их в святилище своего благоразумия, хотя притворился, что пропустил мимо ушей.

— В двухстах шагах отсюда есть постоялый двор, — проговорил он, — пусть эту даму отвезут туда. Она найдет там все, что ей надо, и ей будет там гораздо удобнее и приличнее, чем у холостяка. Ступайте, скажите ей это, Бригита, и, прошу вас, держите себя с ней вежливо, как можно вежливее. Укажите форейторам, где находится

постоялый двор. А вы, дети мои, — обратился он к Консуэло и Иосифу, — пойдемте со мной разбирать фугу Баха, пока нам готовят завтрак.

— Господин каноник, — начала взволнованно Консуэло, — неужели вы покинете…

— Ах! — воскликнул огорченно каноник. — Зачахла самая красивая из моих волкамерии! Говорил же я садовнику, что он недостаточно часто ее поливает. Самое редкое, самое дивное растение моего сада! Это нечто роковое! Взгляните, Бригита! Позовите-ка садовника, я его проберу.

— Раньше всего я прогоню знаменитую Корилллу, — ответила, удаляясь, Бригита.

— И вы согласны с этим? Вы это приказываете, господин каноник? воскликнула с негодованием Консуэло.

— Не могу поступить иначе, — ответил он кротко, но спокойным тоном, говорившим о непоколебимой решимости, — и желаю, чтобы об этом больше не было речи. Идемте же, я вас жду, начнем музицировать!

— Никакой музыки здесь для нас не может быть! — возбужденно ответила Консуэло. — Вы бесчувственный человек и неспособны понять Баха. Пусть погибнут ваши цветы и ваши пло-

ды! Пусть пропадут от мороза жасмин и ваши красивейшие деревья! Эта плодородная земля, приносящая вам все в таком изобилии, не должна была бы ничего родить, кроме терний, потому что вы бессердечны, вы похищаете дары неба и не умеете использовать их для гостеприимства!

В то время как Консуэло изливала свое возмущение, пораженный каноник озирался кругом, словно боясь, как бы проклятие небес, призываемое этой пылкой душой, не обрушилось на его драгоценные волкамерии и любимые анемоны. Высказав все, Консуэло бросилась к воротам, которые по-прежнему были на запоре, перелезла через них и последовала за каретой Кориллы, направлявшейся шагом к жалкому кабаку, без всякого основания награжденному каноником званием постоялого двора.

Глава 79

Иосиф Гайдн уже привык подчиняться внезапным решениям своего друга, но, более предусмотрительный и спокойный, чем Консуэло, он догнал ее лишь после того, как сбегал в дом за дорожной котомкой, нотами, а главное — за скрипкой, источником существования, утешительницей и веселой спутницей их путешествия.

Кориллу положили на скверную кровать в немецкой харчевне, такую короткую, что либо голова, либо ноги должны были висеть в воздухе. К несчастью, в этой жалкой лачуге не было женщин: хозяйка ушла на богомолье за шесть миль, а работница погнала корову на пастбище. Дома были старик и мальчик. Скорее испуганные, чем польщенные честью принимать у себя такую богатую путешественницу, они всецело предоставили свой домашний очаг в распоряжение приезжих, не думая о вознаграждении, которое могли за это получить. Старик был глух; пришлось ребенку отправиться за акушеркой в соседнюю деревню, отстоявшую чуть ли не на расстоянии мили; форейторы гораздо больше бес-

покоились о своих лошадях, которых нечем было накормить, чем о путешественнице. Предоставленная попечениям горничной, окончательно потерявшей голову, — она кричала почти так же громко, как ее госпожа, — роженица оглашала воздух стонами, напоминавшими скорее рычание львицы, чем вопли женщины.

Консуэло, охваченная ужасом и жалостью, решила не покидать несчастную.

— Иосиф, — сказала она своему товарищу, — вернись в приорию, хотя бы тебе и пришлось встретить там плохой прием: не следует быть гордым, когда просишь за других. Скажи канонику, что сюда нужно прислать белья, бульона, старого вина, матрацев, одеял — словом, все необходимое больному человеку. Поговори с ним кротко, но решительно и обещай, если понадобится, что мы придем к нему играть, лишь бы он оказал помощь этой женщине.

Иосиф отправился в приорию, а бедной Консуэло пришлось быть невольной свидетельницей отвратительной сцены, когда женщина без веры и сердца, богохульствуя и проклиная, переносит священные муки материнства. Целомудренная и благочестивая девушка содрогалась, видя эти муки, которых ничто не могло смягчить, ибо

вместо святой радости и набожного упования сердце Кориллы было полно злобы и горечи. Она не переставая проклинала свою судьбу, путешествие, каноника с его экономкой и даже ребенка, которого производила на свет. Она была так груба со своей горничной, что у той все валилось из рук. Наконец, совсем выйдя из себя, Корилла крикнула ей:

— Ну, погоди, я так же буду за тобой ухаживать, когда придет твой черед! Ведь я прекрасно знаю, что ты тоже беременна, и отправлю тебя рожать в больницу. Прочь с глаз моих! Ты меня только беспокоишь и раздражаешь.

София, в ярости и отчаянии, со слезами выбежала из комнаты, а Консуэло, оставшись наедине с возлюбленной Андзолето и Дзустиньяни, старалась успокоить и облегчить ее страдания. Неистовствуя и испытывая адские муки, Корилла все же сохранила какое-то звериное мужество, дикую силу, в которых сказывалась вся нечестивость ее пылкой, здоровой натуры. Когда боли на минуту отпускали ее, она снова делалась бодрой и веселой.

— Черт возьми! — обратилась она вдруг к Консуэло, совершенно не узнавая ее, так как видела девушку только издали или на сцене в костю-

мах, совсем не похожих на тот, который был на ней теперь. — Вот так приключение! А многие не поверят мне, если я расскажу, что родила в кабаке с таким доктором, как ты. Ты похож на цыганенка со своей смуглой мордочкой и большущими черными глазами. Кто ты? Откуда ты взялся? Как ты здесь очутился? И почему ты меня обихаживаешь? Ах, нет, не отвечай мне, я все равно не услышу, уж слишком я страдаю! Ah misera me! Только бы не умереть! О нет, я не умру! Не хочу умирать! Цыганенок, ты ведь не бросишь меня? Не уходи! Не уходи! Не дай мне умереть! Слышишь?

И вновь возобновились крики, прерываемые новым богохульством.

— Проклятый ребенок! — говорила она. — Так и вырвала бы тебя из утробы и швырнула б подальше!

— Ох! Нет! Не говорите так! — воскликнула, вся похолодев от ужаса, Консуэло. — Вы будете матерью, будете счастливы, когда увидите своего ребенка, не пожалеете, что страдали.

— Я? — проговорила с циничным хладнокровием Корилла. — Ты воображаешь, что я буду любить этого ребенка? Ах! Как ты ошибаешься! Великое счастье быть матерью, нечего сказать!

Как будто я не знаю, что это значит: страдать рожая, работать, чтобы кормить этих несчастных, не признаваемых отцами, видеть, как сами они страдают, не знать, что с ними делать, страдать, бросая их… ведь в конце-то концов все-таки их любишь… но этого я любить не буду. О! Клянусь богом! Я буду ненавидеть его, как ненавижу его отца!..

И Корилла, исступление которой, несмотря на внешнее хладнокровие и презрение, все возрастало, закричала в неистовой злобе, вызываемой у женщины жестокими страданиями:

— Ах! Проклятый! Да будь он трижды проклят, отец этого ребенка!

Она задыхалась, вопила, издавая нечленораздельные звуки, разорвала в клочки косынку, которая прикрывала ее грудь, клокотавшую от муки и злости; схватив за руку Консуэло, впившись в нее пальцами, судорожно сжатыми от боли, она не прокричала, а скорее прорычала:

— Да будь он проклят! Проклят! Проклят! Подлый, бесчестный Андзолето!

В эту минуту вернулась София и через четверть часа, умудрившись принять у своей госпожи ребенка, бросила на колени Консуэло первую попавшуюся тряпку из театрального гардероба,

выхваченную из наспех открытого сундука. Это был бутафорский плащ из выцветшего атласа, отделанный мишурной бахромой. В эту импровизированную пеленку благородная, целомудренная невеста Альберта завернула дитя Андзолето и Кориллы.

— Ну, синьора, успокойтесь, — проговорила добрым, искренним голосом бедная горничная, — родили вы благополучно, и у вас хорошенькая крошечная дочка.

— Девочка или мальчик — мне все равно, но я больше не страдаю, — ответила Корилла, приподнимаясь на локте и даже не глядя на ребенка. — Подай мне большой стакан вина!

Иосиф как раз принес из приории вина, и притом самого лучшего. Каноник великодушно исполнил просьбу Консуэло, и вскоре у больной было в изобилии все, что нужно в таких случаях. Корилла подняла своей сильной рукой поданный ей серебряный кубок и осушила его с непринужденностью маркитантки; затем, бросившись на чудесные подушки каноника, заснула с глубокой беспечностью, присущей железному организму и ледяной душе. Пока она спала, ребенка как следует спеленали, а Консуэло сходила на соседний луг за овцой, которая и стала первой кормилицей

новорожденной. Мать, проснувшись, приподнялась с помощью Софии, выпила стакан вина и на минуту призадумалась. Консуэло, держа на руках дитя, ждала пробуждения материнской нежности, но у Кориллы было на уме совсем иное. Взяв до мажор, она с серьезным видом пропела гамму в две октавы и захлопала в ладоши.

— Браво, Корилла! — воскликнула она. — Голос у тебя ничуть не пострадал, можешь рожать детей, сколько тебе заблагорассудится!

Затем она расхохоталась, поцеловала Софию и, сняв со своей руки бриллиантовое кольцо, надела ей на палец.

— Это чтоб утешить тебя за брань, — сказала она. — А где моя маленькая обезьянка? Ах! Бог мой! — воскликнула она, глядя на ребенка.

— Блондинка, на него похожа! Ну, тем хуже для него! Горе ему! Не распаковывайте столько сундуков, София! О чем вы думаете? Неужели вы вообразили, что я здесь останусь? Как бы не так! Вы дура и не знаете, что такое жизнь. Я намерена завтра же пуститься в путь. Ах, цыганенок, ты держишь ребенка совсем как женщина. Сколько тебе дать за заботы обо мне и за труды? Знаешь, София, мне никогда не служили лучше, никогда не ходили лучше за мной! Ты, значит, из Вене-

ции, дружочек? Приходилось тебе слышать мое пение?

Консуэло ничего не ответила. Впрочем, и ответь она, ее все равно не стали бы слушать. Корилла внушала ей отвращение. Она передала ребенка только что возвратившейся служанке кабака, по виду очень славной женщине, затем кликнула Иосифа, и они вместе вернулись в приорию.

— Я не давал обещания канонику привести вас к нему, — сказал по дороге Иосиф. — Кажется, он сконфужен своим поведением, хотя вид у него был очень милостивый и веселый; при всем своем эгоизме он не злой человек, он так искренне радовался, посылая все нужное Корилле.

— На свете столько черствых и скверных людей, — ответила Консуэло,

— что люди, слабые духом, внушают скорее жалость, чем отвращение. Я хочу загладить перед бедным каноником свою вину, ведь я так вспылила. Раз Корилла не умерла и, как говорится, мать и дитя чувствуют себя хорошо, а наш каноник способствовал этому сколько мог, не подвергая опасности свой драгоценный бенефиции, я хочу отблагодарить его. К тому же у меня есть свои причины остаться в приории до отъезда Корилы. О них я скажу тебе завтра.

Бригита отправилась на соседнюю ферму, и Консуэло, приготовившаяся было бесстрашно выступить против этого цербера, очень обрадовалась, что их встретил ласковый, услужливый Андреас.

— Пожалуйте, пожалуйте, друзья мои! — воскликнул он, проводя их в покои своего хозяина. — Господин каноник в ужасно грустном настроении духа, он почти ничего не кушал за завтраком и три раза просыпался во время полуденного отдыха. Сегодня у него было два больших огорчения: погибла его лучшая волкамерия и он потерял надежду послушать музыку. К счастью, вы вернулись, и, значит, одним огорчением стало меньше.

— Над нами он насмехается или над своим хозяином? — спросила Консуэло Иосифа.

— И то и другое, — ответил Гайдн. — Только бы каноник не сердился на нас, мы тогда повеселимся на славу.

Каноник не только на них не сердился, а, наоборот, встретил их с распростертыми объятиями, настоял, чтобы они позавтракали, а потом вместе с ними засел за клавесин. Консуэло заставила его постичь дивные прелюдии великого Баха и восхититься ими, а чтобы окончательно привести его

в хорошее расположение духа, пропела лучшие вещи своего репертуара, не стремясь изменить голос и не особенно беспокоясь о том, что он может догадаться о ее поле и возрасте. Каноник был склонен ни о чем не догадываться и вовсю наслаждался ее пением. Он действительно был страстным любителем музыки, и в его восторге было столько непосредственной искренности, что Консуэло невольно пришла в умиление.

— Ах! Дорогое дитя! Благородное дитя! Счастливое дитя! — восклицал растроганный каноник со слезами на глазах. — Ты превратил сегодняшний день в счастливейший день моей жизни! Но что будет со мной теперь? Нет! У меня не хватит сил перенести утрату такого наслаждения, и я зачахну от тоски. Больше я не смогу заниматься музыкой. В душе моей будет жить идеал, и меня загрызет тоска по нему. Я ничего уже теперь не буду любить, даже моих цветов…

— И будете очень неправы, господин каноник, — ответила Консуэло, ваши цветы поют лучше меня.

— Что ты говоришь? Мои цветы поют? Я никогда не слышал.

— Да потому, что вы их никогда не слушали. А я сегодня утром слушал их, постиг их тайну,

уловил их мелодию.

— Странное ты дитя! Гениальное! — воскликнул каноник, отечески целомудренно лаская темные кудри Консуэло. — Ты одет бедняком, а достоин всяческого поклонения. Но скажи мне, кто ты? Где научился ты тому, что знаешь?

— Случай, природа, господин каноник.

— Ох! Ты обманываешь меня, — с лукавым видом сказал каноник, у которого всегда было наготове шутливое словцо. — Ты, наверно, сын какого-нибудь Кафарелли или Фаринелли! Но послушайте, дети мои, — внезапно оживляясь, самым серьезным тоном прибавил он, — я не хочу расставаться с вами. Я беру на себя заботу о вас, оставайтесь со мной. У меня есть состояние, я поделюсь им с вами. Я стану для вас тем, чем был Гравина для Метастазио. Это будет моим счастьем, моей славой. Свяжите свою судьбу с моею, для этого надо только, чтобы вас посвятили в младшие клирики. Я выхлопочу вам какие-нибудь хорошие бенефиции, а после моей смерти вам останутся от меня в наследство недурные сбереженьица, которые я вовсе не намерен оставлять этой злючке Бригите.

В то время как каноник говорил, вдруг вошла Бригита и услышала его последние слова.

— А я не намерена дольше служить вам, — визгливо закричала она, плача от ярости, — довольно я жертвовала своей молодостью и своей репутацией неблагодарному хозяину!

— Твоей репутацией? Твоей молодостью? — не смущаясь, насмешливо перебил ее каноник. — Ну, ты себе льстишь, милая старушка, твоя «молодость» оберегает твою репутацию!

— Насмехайтесь, насмехайтесь, — возразила она. — Но приготовьтесь распроститься со мной. Я сию же минуту покину дом, где не могу установить никакого порядка, никакой благопристойности. Хотела я помешать вам делать безрассудства, расточать ваше имущество, унижать ваш сан, да вижу, что все это ни к чему. Ваша бесхарактерность и несчастная звезда толкают вас к погибели, и первые попавшиеся вам под руку скоморохи так ловко кружат вам голову, что того гляди оберут вас. Давным-давно каноник Гербер зовет меня к себе служить и предлагает условия гораздо лучше ваших. Я устала от всего, что здесь вижу. Рассчитайте меня! Я больше ни одной ночи не проведу под вашей кровлей.

— Так вот до чего дошло дело, — спокойно проговорил каноник. — Ну, хорошо, Бригита, ты доставляешь мне большое удовольствие; смотри

только, не передумай! Я никогда никого не выгонял, и мне кажется, служи у меня сам дьявол, я не выставил бы его за дверь, настолько я добродушен; но если бы дьявол покинул меня, я пожелал бы ему доброго пути и отслужил бы молебен после его ухода. Ступай же, укладывай свои вещи, Бригита; что до твоего расчета, то, милая моя, произведи его сама. Бери все, что пожелаешь, все, чем я владею, только бы ты поскорее убиралась отсюда!

— Ах, господин каноник, — проговорил Гайдн, взволнованный этой домашней сценой, — вы еще пожалеете о старой служанке, ведь она, по-видимому, очень привязана к вам...

— Она привязана к моему бенефицию, — ответил каноник, — а я буду жалеть только о ее кофе.

— Вы привыкнете обходиться без вкусного кофе, господин каноник, — твердо заявила строгая Консуэло, — и хорошо сделаете. А ты, Иосиф, молчи и ничего не говори в ее защиту. Я все ей скажу в лицо, потому что все это правда. Она злая и вредит своему хозяину. Сам он добрый человек, природа сотворила его благородным и великодушным, а из-за этой женщины он делается эгоистом. Она подавляет добрые порывы его души, и если он оставит ее у себя, то станет

сам таким же черствым, таким же бесчеловечным, как она. Простите, господин каноник, что я так говорю с вами. Вы столько заставляли меня петь и привели меня своим воодушевлением в такое восторженное состояние, что я, быть может, немного сам не свой. Если я и чувствую какое-то опьянение, то это ваша вина. Но смею вас уверить, что человек, находящийся в таком состоянии, всегда говорит истину, ибо опьянение это благородно и будит в нас лучшие чувства. В такие минуты у нас что на сердце, то и на языке, и сейчас с вами говорит мое сердце. Когда же я приду в спокойное состояние духа, я буду более почтителен, но менее искренен. Поверьте, я не гонюсь за вашим состоянием, я вовсе не желаю его, не нуждаюсь в нем! Когда я захочу, у меня будет больше вашего, а жизнь артиста подвергнута стольким случайностям, что, пожалуй, вы еще меня переживете и, быть может, я впишу вас в свое завещание в благодарность за то, что вы хотели оставить в мою пользу свое. Завтра мы уходим и, должно быть, больше никогда с вами не увидимся, но мы уйдем с сердцем, переполненным радостью, уважением, почтением и благодарностью к вам, если вы уволите госпожу Бригиту, у которой я прошу извинения за мой

образ мыслей.

Консуэло говорила с таким жаром, искренность и прямота так явно читались на ее лице, что слова ее поразили каноника, словно молния.

— Уходи, Бригита! — сказал он экономке с важным, решительным видом. — Истина говорит устами младенцев, а разум этого ребенка — могучая сила. Уходи, ибо сегодня утром ты заставила меня совершить дурной поступок и толкнула бы меня на подобные и в дальнейшем, потому что я слаб и подчас труслив. Уходи, ибо ты делаешь меня несчастным. Уходи, — прибавил он, улыбаясь, — ибо ты стала пережаривать мой кофе, а все сливки, в которые ты суешь свой нос, скисают.

Последний упрек оказался для Бригиты чувствительнее всех других, — уязвленная в самое больное место, гордая старуха лишилась языка. Она выпрямилась, кинула на каноника взгляд, исполненный сострадания, почти презрения, и удалилась с видом театральной королевы. Два часа спустя эта свергнутая королева покинула приорию, предварительно немножко пограбив ее. Каноник сделал вид, что ничего не заметил, и по блаженному выражению его лица Гайдн понял, что Консуэло оказала ему истинную услугу. Для того чтобы каноник не испытал ни малейше-

го сожаления, юная артистка сама приготовила ему за обедом кофе по венецианскому способу — как хорошо известно, лучшему в мире. Андреас тотчас же стал под ее руководством изучать это искусство, и каноник объявил, что в жизни своей не пробовал кофе вкуснее. После обеда снова занимались музыкой, послав предварительно справиться о здоровье Кориллы, которая, как доложили, уже сидела в кресле, присланном ей каноником. Чудесным вечером при луне они гуляли в саду. Каноник, опираясь на руку Консуэло, не переставал умолять ее принять священство и стать его приемным сыном.

— Берегитесь! — сказал ей Иосиф, когда они ушли к себе. — Этот добрый каноник не на шутку увлекается вами.

— В дороге ничем не надо смущаться, — отвечала она. — Я так же не стану священником, как не стала трубачом. Господин Мейер, граф Годиц и каноник — все они просчитались.

Глава 80

Консуэло, пожелав Иосифу покойной ночи, удалилась в свою комнату, не сговорившись с ним, как он предполагал, о том, чтобы уйти на заре. У нее были свои причины не спешить, и Гайдн ждал, что она сообщит их ему наедине; сам же он радовался возможности провести с ней еще несколько часов в этом красивом доме и пожить благодушной жизнью каноника, которая была ему по душе. Консуэло на следующее утро разрешила себе поспать дольше обычного и появилась только ко второму завтраку каноника. Старик имел обыкновение вставать рано и после легкой вкусной закуски прогуливался с требником в руках по своим садам и оранжереям, оглядывая растения, а потом шел немножко вздремнуть перед более плотным холодным завтраком.

— Наша путешественница чувствует себя хорошо, — объявил каноник своим юным гостям, как только они появились. — Я послал Андреаса приготовить ей завтрак. Она выразила большую признательность за наше внимание, и поскольку она собирается сегодня ехать в Вену (признаюсь,

вопреки всякому благоразумию), то просит вас навестить ее, чтобы вознаградить за вашу сердечную заботу. Итак, дети мои, скорее завтракайте и отправляйтесь туда. Наверное, она готовит вам какой-нибудь хороший подарок.

— Мы будем завтракать столько времени, сколько вы пожелаете, господин каноник, — ответила Консуэло, — но к больной не пойдем: мы ей больше не нужны, а в подарках ее не нуждаемся.

— Удивительное дитя! — сказал восхищенный каноник. — Твое романтическое бескорыстие, твое восторженное великодушие до того покорили мое сердце, что я никогда, кажется, не в силах буду расстаться с тобой! Консуэло улыбнулась, и они сели за стол. Завтрак был превосходный и тянулся добрых два часа. Но десерт оказался таким, какого никак не ожидал каноник.

— Ваше преподобие, — доложил Андреас, появляясь в дверях, — пришла тетушка Берта из соседнего кабака и принесла вам от роженицы большую корзину.

— Это серебро, которое я ей посылал. Примите его, Андреас, это ваше дело. Значит, дама решительно уезжает?

— Она уже уехала, ваше преподобие.

— Уже! Да она сумасшедшая! Эта сумасбродка хочет убить себя!

— Нет, господин каноник, — сказала Консуэло, — она не хочет и не убьет себя.

— Ну, Андреас, что вы стоите с таким торжественным видом? — обратился каноник к лакею.

— Дело в том, ваше преподобие, что тетушка Берта не отдает мне корзину. Она говорит, что передаст ее только вам; ей надо что-то вам сказать. — Это щепетильность или жеманство со стороны доверенного лица. Впустите ее, и покончим с этим.

Старуху ввели. Сделав несколько глубоких реверансов, она поставила на стол большую корзину, прикрытую кисеей. Каноник повернулся к Берте, а Консуэло торопливо протянула к корзине руку. Немного приподняв кисею, Консуэло поспешно опустила ее и тихо сказала Иосифу:

— Вот чего я ожидала, вот для чего я осталась! О да! Я была уверена:

Корилла должна была так поступить!

Иосиф, не успевший еще разглядеть, что было в корзине, с удивлением смотрел на свою спутницу.

— Итак, тетушка Берта, вы принесли мне вещи, которые я одолжил вашей постоялице? Прекрас-

но! Прекрасно! Я и не беспокоился о них, и мне незачем проверять, все ли цело.

— Ваше преподобие, — ответила старуха, — моя служанка все принесла, все передала вашим служителям, и все действительно в целости; на этот счет я вполне спокойна. Но меня заставили поклясться, что эту корзину я передам только вам в руки, а что в ней находится, вы знаете так же, как и я.

— Пусть меня повесят, если это мне известно, — проговорил каноник, небрежно протягивая руку к корзине, но рука его тотчас застыла, словно парализованная, а рот так и остался полуоткрытым от удивления, когда покрывало как бы само собой зашевелилось, сдвинулось и оттуда показалась крошечная детская ручонка, инстинктивно порывавшаяся схватить палец каноника.

— Да, ваше преподобие, — доверчиво, с довольным видом заговорила старуха, — вот она — цела и невредима, такая хорошенькая, веселенькая и так хочет жить!

Пораженный каноник совсем онемел. Старуха продолжала:

— Господи, ваше преподобие, да ведь вы же изволили просить у матери разрешения удочерить и воспитать младенца! Бедной даме не так-то

легко было на это решиться, но мы сказали ей, что дитя попадает в хорошие руки, и она, поручив его провидению, просила нас отнести его вам. «Скажите, пожалуйста, почтенному канонику, этому святому человеку, — говорила она, садясь в экипаж, — что я не стану долго злоупотреблять его милосердным попечением. Скоро я приеду за своей дочуркой и расплачусь с ним за все, что он на нее потратит. Раз он во что бы то ни стало сам хочет найти ей хорошую кормилицу, передайте ему от меня этот кошелек с деньгами: я прошу разделить их между кормилицей и маленьким музыкантом, так чудесно ухаживавшим за мной вчера, если, конечно, он еще не ушел». Что касается меня, она хорошо мне заплатила, ваше преподобие, я ничего больше не прошу и вполне довольна.

— Ах, вы довольны! — воскликнул трагикомическим тоном каноник. — Ну что ж, я очень рад, но извольте унести обратно и кушелек и эту обезьянку. Тратьте деньги, воспитывайте ребенка, это меня нисколько не касается.

— Воспитывать ребенка? Вот уж нет! Я слишком стара, ваше преподобие, чтобы взять на себя заботу о новорожденной. Она кричит по целым ночам. И моему бедному старику, хоть он и глух,

не очень-то было бы по вкусу такое соседство.

— А мне? По-вашему, я должен мириться с этим? Благодарю покорно! Ага!

Вы на это рассчитывали?

— Но раз ваше преподобие просили его у матери!

— Я? Просил? Откуда, черт побери, вы это взяли?

— Но раз ваше преподобие сегодня утром написали…

— Я писал? Где же мое письмо? Пожалуйста, пусть мне его покажут!

— Ну, я, конечно, не видала вашего письма, и притом у нас никто читать не умеет. Но господин Андреас приходил к родильнице с поклоном от вашего преподобия, и она нам сказала, будто он передал ей письмо. А мы, дураки, и поверили. Да кто бы мог не поверить?!

— Это гнусная ложь! Только беспутница может пойти на такие штуки! закричал каноник. — И вы — сообщники этой ведьмы. Нет! Нет! Забирайте эту мартышку, возвращайте ее матери, оставляйте у себя, делайте как знаете, я умываю руки. Если вы хотите вытянуть у меня денег, я готов их дать. Никогда не отказываю в милостыне ни авантюристам, ни плутам — это единственный способ

избавиться от них. Но взять в свой дом ребенка

— благодарю покорно! Убирайтесь к черту!

— Ну, что до этого, — возразила старуха очень решительно, — то я ни за что не возьмусь, не прогневайтесь, ваше преподобие. Я не соглашалась смотреть за ребенком. Знаю я, как кончаются такие истории. Вначале дают немножко золотых монет и обещают вам с три короба, а там

— поминай как звали, и ребенок остается на вашей шее. И никогда из таких детей ничего путного не выходит: они лентяи и гордецы уже по самой своей природе. Не знаешь, что с ними и делать. Если это мальчики, они становятся грабителями, а девочки кончают еще хуже. Ой, нет! Нет! Ни я, ни мой старик не хотим брать этого ребенка. Нам сказали, что ваше преподобие просили его отдать вашему преподобию, — мы поверили, вот и все. Извольте получить деньги, и мы в расчете. А что мы ее сообщники, так уж простите, ваше преподобие, мы этих штук не знаем. Вы, верно, шутите, коли упрекаете нас в том, что мы вам его навязываем. Покорная слуга вашего преподобия! Ухожу домой. У нас сейчас паломники, возвращающиеся после исполнения обета, и они, ей-богу, умирают от жажды.

Старуха несколько раз поклонилась и уже на-

правилась было к выходу, но потом вернулась и сказала:

— Совсем было и забыла: ребенок должен называться вроде бы Анджелой, но только по-итальянски. Ох, честное слово, не помню теперь, как это они мне сказали.

— Анджолина, Андзолета? — спросила Консуэло.

— Вот-вот, именно так, — подтвердила старуха и, еще раз поклонившись канонику, спокойно удалилась.

— Ну, как вам нравится эта выходка? — проговорил изумленный каноник, обращаясь к своим гостям.

— Я нахожу, что она достойна той, которая ее придумала, — ответила Консуэло, вынимая из корзины ребенка, начинавшего уже ворочаться, и осторожно заставляя его проглотить несколько ложечек теплого молока, оставшегося после завтрака в японской чашке каноника.

— Что же, эта Корилла какой-то дьявол? — спросил каноник. — Вы раньше знавали ее?

— Только по слухам, но теперь я знаком с нею прекрасно, так же как и вы, господин каноник.

— Знакомство, без которого я охотно обошелся бы. Но что нам делать с этим несчастным,

брошенным ребенком? — прибавил он, с состраданием глядя на крошку.

— Отнесу-ка я его к вашей садовнице, — сказала Консуэло. — Вчера я видел, как она кормила грудью чудесного мальчугана месяцев пяти-шести.

— Ну, ступайте, — сказал каноник, — или лучше позовем ее сюда. Она нам укажет и кормилицу с какой-нибудь соседней фермы… только не в слишком близком соседстве от нас. Ведь один бог знает, какое зло может принести духовному лицу интерес к ребенку, подобным образом свалившемуся с облаков в его дом.

— На вашем месте, господин каноник, я был бы выше таких пустяков. Не стал бы я ни предвидеть нелепых клеветнических предположений, ни интересоваться ими. Я не слушал бы глупых сплетен, жил бы так, как будто их и не существует, и поступал бы всегда, не считаясь со злословием. Какой же толк от мудрой, достойной жизни, если она не обеспечивает спокойствия совести и не предоставляет свободы делать добрые дела? Подумайте, господин каноник, вам доверили ребенка. Если вдали от ваших глаз за ним будут плохо смотреть, если он захиреет, умрет, вы этого никогда себе не простите.

— Что ты там говоришь, будто ребенка мне

доверили! Да разве я давал на это согласие? Разве каприз или плутовство людей могут налагать на нас подобные обязательства? Ты увлекаешься, дитя мое, и мелешь вздор.

— Нет, дорогой господин каноник, — возразила Консуэло, все более и более оживляясь, — не мелю я вздора. Злая мать, бросившая своего ребенка, не имеет на него никаких прав и не может ничего вам предписывать. Приказывать вам имеет право только тот, кто располагает судьбой рождающегося ребенка, перед кем вы вечно будете ответственны, а это бог. Да, бог возымел особое милосердие к невинному крошечному созданью, внушив его матери смелую мысль — доверить его вам. Это он, по странному стечению обстоятельств, привел в ваш дом, наперекор вашему желанию и вопреки всей вашей осторожности, это дитя и толкнул его в ваши объятия. Ах, господин каноник! Вспомните святого Викентия, подбиравшего на ступеньках домов несчастных, покинутых сирот, и не отталкивайте сироту, которую вам посылает провидение. Мне кажется, что, поступив иначе, вы навлечете на себя несчастье. И свет, даже в злобе своей обладающий каким-то инстинктом справедливости, пожалуй, стал бы говорить, — и этому бы поверили, — что

у вас были причины удалить ребенка. Тогда как если вы оставите его у себя, никто не сможет допустить иных причин, кроме присущего вам милосердия и любви к ближнему.

— Ты не знаешь, что такое свет, — сказал, смягчаясь и начиная уже колебаться, каноник. — Ты — маленький дикарь по своему прямодушию и добродетели. В особенности ты не знаешь, что такое духовенство, а Бригита, злая Бригита, прекрасно отдавала себе отчет в своих словах, говоря вчера, что некоторые завидуют моему положению и добиваются, чтобы я его потерял. Я обязан своими бенефициями покровительству покойного императора Карла, который соблаговолил взять меня под свое крылышко и предоставил мне их. Императрица Мария-Терезия своим покровительством также способствовала тому, что я стал пенсионером раньше времени. Но то, что мы считаем дарованным нам церковью, никогда не бывает безусловно обеспечено за нами. Над нами, над монархами, благоприятствующими нам, всегда имеется еще властелин — церковь. Она по своей прихоти объявляет нас «правоспособными» даже тогда, когда мы еще ни на что не способны, и она же, когда ей нужно, признает нас «неправоспособными» даже после того, как мы

оказали ей величайшие услуги. Глава епархии, то есть епископ со своим советом, стоит только рассердить их и восстановить против себя, могут обвинить нас, привлечь к своему суду, судить и лишить всего, ссылаясь на распутство, безнравственность или на то, что мы служим примером соблазна, — и все это с целью вырвать у нас те блага, которые даны были нам раньше, и вручить их новым любимцам. Небо свидетель, что жизнь моя так же чиста, как жизнь этого младенца, вчера родившегося! Не будь я во всех отношениях чрезвычайно осторожен с людьми, одна моя добродетель не смогла бы защитить меня от злобных наветов. Я не очень-то умею льстить прелатам: моя беспечность, а быть может, до некоторой степени и родовая гордость всегда тому препятствовали. Есть у меня и завистники в капитуле…

— Но ведь за вас великодушная Мария-Терезия, благородная женщина, нежная мать, — возразила Консуэло. — Будь она вашим судьей, вы пришли бы и сказали ей с правдивостью, присущей только правде: «Королева, я колебался одно мгновение между боязнью дать оружие в руки врагов и потребностью проявить наибольшую добродетель моего звания — любовь к ближнему; с одной стороны, я видел клевету, интриги,

могущие погубить меня, с другой — несчастное, покинутое небом и людьми крошечное существо, которое могло найти убежище только в моем сострадательном сердце и чье будущее зависело лишь от моей заботливости. Я предпочел рискнуть своей репутацией, своим покоем и своим состоянием ради дела веры и милосердия». О! Я не сомневаюсь, что, скажи вы все это Марии-Терезии, всесильная Мария-Терезия дала бы вам вместо приории дворец и вместо канониката — епископат. Разве не осыпала она почестями и богатством аббата Метастазио за его стихи? Чего бы не сделала она за добродетель, если так вознаграждает талант! Нет, господин каноник, оставьте у себя в доме эту бедняжку Анджолину. Садовница ваша выкормит ее, а позже вы воспитаете ее в духе веры и добродетели. Мать воспитала бы дьявола для ада, а вы сделаете из нее ангела для рая!

— Ты вертишь мной как хочешь, — взволнованно проговорил растроганный каноник и покорно принял ребенка, которого его любимец положил ему на колени. — Ну, хорошо, завтра же утром окрестим Анджелу, ты будешь ее крестным… Не уйди отсюда Бригита, мы заставили бы ее быть твоей кумой и потешились бы над ее

злобой. Позвони, пусть приведут кормилицу, и да свершится все по воле божьей. Что же касается кошелька, оставленного Кориллой (ого! пятьдесят венецианских цехинов)... нам он ни к чему. Я беру на себя все теперешние и будущие расходы на ребенка, если его не потребуют обратно. Возьми эти золотые: ты вполне их заслужил за свою удивительную доброту и великодушие.

— Золотые в уплату за доброе сердце! — закричала Консуэло, с отвращением отталкивая кошелек. — Да еще золотые Кориллы, полученные ценою лжи и, быть может, распутства! Ах, господин каноник, даже вид их мне омерзителен! Раздайте их бедным; это принесет счастье нашей бедняжке Анджеле.

Глава 81

Быть может впервые в жизни каноник плохо спал эту ночь. Он испытывал странное беспокойство и возбуждение. Голова его была полна аккордов мелодий и модуляций, поминутно обрывавшихся вместе с чутким сном; просыпаясь, он каждый раз стремился, помимо воли и даже с какой-то досадой, снова поймать эти звуки, снова связать их, но это ему не удавалось. Он запомнил наиболее яркие фразы, пропетые Консуэло, они звучали в его голове, отдавались в диафрагме; и вдруг на самом красивом месте музыкальная нить обрывалась, — он сто раз мысленно пытался ее восстановить и никак не мог припомнить ни единой ноты. Утомленный этим воображаемым пением, он тщетно силился избавиться от него, но оно все звучало в его ушах, и ему даже чудилось, будто в такт с ним колеблется и пламя камина на пурпуровом атласе постельных занавесок. Легкий треск горящих поленьев тоже как будто порывался повторять эти проклятые фразы, но конец их продолжал оставаться непроницаемой тайной для утомленного мозга каноника. Ему

все казалось, что, вспомни он хоть один отрывок целиком, — и он избавится от навязчивых воспоминаний. Но уж так устроена музыкальная память: она мучает и донимает нас, пока мы не насытим ее тем, чего она жаждет.

Никогда музыка не производила такого сильного впечатления на каноника, хотя всю свою жизнь он был страстным ее любителем. Никогда ни один человеческий голос не волновал его душу так, как голос Консуэло. Никогда облик человека, его разговор и манеры не казались ему исполненными такого обаяния, какое исходило на протяжении этих полутора суток от лица, слов и осанки Консуэло. Догадывался каноник о том, что мнимый Бертони женщина или нет? И да — и нет. Как это объяснить? Надо сказать, что мысли пятидесятилетнего каноника были так же чисты, как его нравы, а нравы — целомудренны, как у юной девушки. В этом отношении наш каноник был святой человек. Таким был он всегда, и самое удивительное то, что, будучи незаконным сыном развратнейшего из всех известных истории королей, он почти без труда соблюдал обет целомудрия. Флегматичный от природы, — мы называем теперь такие натуры бесстрастными, — он был воспитан в соответ-

ствии с нормами поведения, предписанными каноникам, и так обожал благоденствие и спокойствие, так мало был приспособлен к тайной борьбе, на которую толкают грубые страсти и тщеславие духовных лиц, — короче говоря, так жаждал покоя и счастья, что его главным и единственным принципом в жизни было жертвовать всем ради спокойного пользования бенефицием: любовью, дружбой, честолюбием, энтузиазмом и, если понадобится, то и добродетелью. С ранних лет он приучил себя подавлять все чувства без усилий и почти без сожалений. Несмотря на столь отвратительный эгоизм, он оставался добрым, гуманным, сердечным и восторженным во многих отношениях, так как по природе был добр, а поступать вопреки положительным качествам своей натуры ему почти никогда не требовалось. Независимое положение всегда позволяло ему иметь друзей, быть — терпимым, любить искусство. Любовь ему была запрещена, и он убил в себе любовь, как самого опасного врага покоя и благополучия. Но ведь любовь божественна и, стало быть, бессмертна, — поэтому, когда нам кажется, что мы ее убили, мы на самом деле только заживо похоронили ее в своем сердце. Любовь может дремать там долгие годы в тиши до то-

го дня, когда ей заблагорассудится проснуться. Консуэло появилась в осень жизни каноника, и его долгая душевная апатия сменилась томностью, нежной, глубокой и более устойчивой, чем можно было предполагать. Бесстрастное сердце каноника не умело трепетать и волноваться за любимое существо, но оно могло таять, как лед на солнце, быть преданным, покорным, забыть себя, познать то терпеливое самоотречение, какое мы с удивлением встречаем у эгоиста, когда любовь берет его приступом.

Итак, наш бедный каноник был влюблен. В пятьдесят лет он любил впервые и любил ту, которая никогда не могла полюбить его. Он слишком хорошо это знал и вот почему хотел себя убедить, против всякой очевидности, что его чувство не любовь, раз оно внушено не женщиной.

Относительно этого он был в полном заблуждении и по своей наивности принимал Консуэло за мальчика. В бытность свою каноником в венском соборе он в детской школе перевидал немало красавцев мальчиков. Не раз слышал он тонкие серебристые голоса, почти женские по своей чистоте и гибкости. Голос Бертони был в тысячу раз чище и гибче. «Но ведь это голос итальянский, — думалось канонику, — и к тому

же Бертони — исключительная натура; он из тех скороспелых детей, у которых способности, дарование, талант граничат с чудом». И вот, страшно гордясь и восторгаясь тем, что на большой дороге нашел такое сокровище, каноник уже мечтал, как он оповестит об этом общество, как введет юношу в моду, поможет ему добыть и состояние и славу. Он был охвачен порывом отеческой любви и благожелательной гордости. И его совесть от этого отнюдь не должна была страдать, так как ему и в голову не приходила мысль о греховной, извращенной любви, подобно той, какую приписывали Гравине по отношению к Метастазио; каноник понятия не имел о такой любви, никогда не думал о ней, даже не верил в ее существование: его чистому и здравому уму все это казалось странными домыслами злоречивых людей.

Никто бы не поверил, что человек с таким насмешливым умом, большой балагур, столь проницательный и даже тонкий во всем, что касалось общественной жизни, мог быть до того детски чист душой. А между тем целый мир идей, влечений и чувств был ему совершенно незнаком.

Он заснул с радостным чувством, строя тысячи планов насчет своего юного любимца, мечтая

проводить жизнь среди самых святых наслаждений музыкой и умиляясь при мысли, что будет развивать, немного умеряя, добродетели, сверкающие в этой великодушной, пылкой душе. Но, поминутно просыпаясь в каком-то странном волнении, преследуемый образом чудесного ребенка, то беспокоясь и боясь, как бы тот не захотел освободиться от его уже немного ревнивой любви, то нетерпеливо ожидая утра, чтобы серьезно повторить ему предложения, обещания и мольбы, которые мальчик, казалось, выслушивал смеясь, каноник, удивленный всем происходящим в нем, строил тысячу предположений, кроме единственного верного.

«Видно, самой природой мне предназначено было иметь много детей и страстно любить их, — говорил он себе в простоте душевной, — раз одна мысль об усыновлении приводит меня сейчас в столь возбужденное состояние. Но впервые в жизни я обнаруживаю в себе подобные чувства: в течение дня я прихожу в восторг от одного, чувствую симпатию к другому и жалость к третьему. Бертони! Беппо! Анджолина! Итак, я вдруг стал семейным человеком; а ведь я всегда жалел родителей, которым приходится столько беспокоиться о детях, и благодарил бога за то, что мой

сан обязывает меня к одиночеству и покою. Уж не чудесная ли музыка, которою я сегодня так долго наслаждался, привела меня в неведомое до сих пор возбуждение? Нет, скорее это великолепный кофе по-венециански, я просто из жадности выпил целые две чашки… Все это так вскружило мне голову, что я в течение целого дня почти не вспоминал о своей волкамерии, высохшей по вине этого Пьера! I mio cor si divide… Ну вот, опять эта проклятая фраза преследует меня! Черт бы побрал мою память!.. Что сделать, чтобы заснуть!.. Четыре часа утра, неслыханное дело!.. Прямо заболеть можно!..»

Блестящая мысль пришла наконец на помощь добродушному канонику. Он встал, взял письменный прибор и решил поработать над своей знаменитой книгой, так давно задуманной и все еще не начатой. Для этого ему понадобился справочник канонического права. Не просмотрел он и двух страниц, как мысли его стали путаться, глаза смыкаться, книга тихонько сползла с перины на ковер, а свеча погасла от блаженного сонного вздоха, вырвавшегося из могучей груди благочестивого отца, и он заснул наконец сном праведника и проспал до десяти часов утра.

Но, увы! Каким горьким было его пробуждение,

когда еще онемевшей от сна рукой он небрежно развернул записку, положенную Андреасом на ночной столик, рядом с чашкой шоколада.

«Мы уходим, достопочтенный господин каноник, — писал Бертони, — непреклонный долг призывает нас в Вену, а мы боялись, что не сможем устоять против Ваших великодушных настояний. Не сочтите нас неблагодарными, мы никогда не забудем ни Вашего гостеприимства, ни Вашего великого милосердия к брошенному ребенку. Мы скоро отблагодарим Вас за все это. Не пройдет и недели, как Вы нас увидите. Соблаговолите отложить до того времени крестины Анджелы и верьте в почтительную и нежную преданность смиренных детей, пользовавшихся Вашим покровительством.

Бертони, Беппо».

Каноник побледнел, вздохнул и позвонил.

— Они ушли? — спросил он Андреаса.

— До рассвета, ваше преподобие.

— А что они сказали уходя? Позавтракали они по крайней мере? Сказали, в какой день вернутся сюда?

— Никто не видел их, когда они уходили, ваше преподобие. Ушли, как пришли, — перелезши через ограду. Проснувшись, я нашел их комнаты

пустыми; записка, которую вы держите в руках, лежала на столе, а все двери и калитки были так же заперты, как я их оставил вчера вечером. Но ни единой булавки они с собой не унесли, ни до единого плода не дотронулись, бедняжки…

— Еще бы! — воскликнул каноник; глаза его были полны слез.

Чтобы разогнать грусть каноника, Андреас попробовал было предложить ему составить меню обеда.

— Подай мне что хочешь, Андреас, — проговорил он душераздирающим голосом и со стоном снова упал на подушку.

Вечером того же дня Консуэло и Иосиф под покровом темноты вошли в Вену. Честный парикмахер Келлер, которого посвятили в тайну, принял их с распростертыми объятиями и приютил у себя благородную путешественницу, предоставив ей все, что мог. Консуэло была очень мила с невестой Иосифа, огорчаясь в глубине души тому, что у девушки нет ни красоты, ни грации. На следующее утро Келлер причесал растрепавшиеся кудри Консуэло, а его дочь помогла ей переодеться в женское платье и проводила до дома, где жил Порпора.

Глава 82

Радость Консуэло, которой, наконец, довелось обнять своего учителя и благодетеля, сменилась тягостным чувством, и скрыть его ей было нелегко. Еще года не прошло с тех пор, как она рассталась с Порпорой, однако этот год неопределенности, огорчений и печали оставил на озабоченном челе маэстро глубокие следы страданья и дряхлости. У него появилась болезненная полнота, развивающаяся у опустившихся людей от бездействия и упадка духа. В глазах еще светился прежний оживлявший их огонек, но краснота одутловатого лица свидетельствовала о попытках потопить в вине свои горести или с его помощью вернуть вдохновение, иссякшее от старости и разочарований. Несчастный композитор, направляясь в Вену, мечтал о новых успехах и благосостоянии, а его встретила холодная почтительность. Он был свидетелем того, как более счастливые соперники пользовались монаршей милостью и увлекали публику. Метастазио писал драмы и оратории для Кальдара, для Предиери, для Фукса, для Рейтера и для Гассе. И Метаста-

зио, придворный поэт (poeta cesareo), модный писатель, новый Альбани, любимец муз и дам, прелестный, драгоценный бог гармонии, — словом, Метастазио, тот из поваров драматургии, чьи блюда были наиболее вкусны и легче всего переваривались, не написал ни одной пьесы для Порпоры и даже не пожелал дать ему каких-либо обещаний на этот счет. А между тем у маэстро, по-видимому, еще могли появиться новые идеи, и, несомненно, за ним оставались ученость, замечательное знание голосов, добрые неаполитанские традиции, строгий вкус, широкий стиль, смелые музыкальные речитативы, не имевшие себе равных по грандиозности и красоте. Но у него не было приверженной ему публики, и он тщетно добивался либретто. Он не умел ни льстить, ни интриговать. Своей суровой правдивостью он наживал себе врагов, а его тяжелый характер всех от него отталкивал.

Он внес раздражение даже в ласковую, отеческую встречу с Консуэло.

— А почему ты так поспешила покинуть Богемию? — спросил он, взволнованно расцеловав ее. — Зачем ты явилась сюда, несчастное дитя? Здесь нет ни ушей, способных тебя слушать, ни сердец, способных тебя понять. Здесь нет для тебя

места, дочь моя! Твоего старого учителя публика презирает, и если хочешь пользоваться успехом, ты последуй примеру других и притворись, будто вовсе не знаешь его или презираешь, подобно тем, кто обязан ему своим талантом, своим состоянием, своей славой.

— Как? Вы и во мне сомневаетесь? — воскликнула Консуэло, и глаза ее наполнились слезами. — Вы, значит, не верите ни в мою любовь к вам, ни в мою преданность и хотите излить на меня подозрительность и презрение, зароненные в вашу душу другими? О дорогой учитель! Вы увидите, что я не заслуживаю такого оскорбления. Вы увидите! Вот все, что я могу вам сказать.

Порпора нахмурил брови, повернулся к ней спиной, несколько раз прошелся по комнате, затем вернулся к своей ученице. Видя, что она плачет, и не зная, как и что сказать ей поласковей и понежнее, он взял из ее рук носовой платок и с отеческой бесцеремонностью стал вытирать ей глаза, приговаривая:

— Ну полно! Полно! Старик был бледен, и Консуэло заметила, как он с трудом подавил в своей широкой груди тяжкий вздох. Но он поборол волнение и, придвинув стул, сел подле нее.

— Ну, — начал он, — расскажи мне про свое

пребывание в Богемии и объясни, почему ты так внезапно оттуда уехала. Говори же! — прибавил он несколько раздраженным тоном. — Разве мало найдется чего мне рассказать? Ты там скучала? Или Рудольштадты нехорошо обошлись с тобой? Впрочем, они тоже могли оскорбить тебя и извести. Богу известно, что это единственные люди во всей вселенной, в которых я еще верил, но богу также известно, что все люди способны на всякое зло.

— Не говорите так, друг мой, — остановила его Консуэло, — Рудольштадты — ангелы, и говорить о них я должна бы не иначе, как стоя на коленях, но я принуждена была покинуть их, принуждена была бежать, даже не предупредив их, не простившись с ними.

— Что это значит? Разве ты можешь в чем-нибудь упрекнуть себя по отношению к ним? Неужели мне придется краснеть за тебя и пожалеть, что я послал тебя к этим славным людям?

— О нет! Нет! Слава богу, маэстро, мне не в чем себя упрекнуть, и вам не придется за меня краснеть.

— Так в чем же дело? Консуэло знала, как необходимо быстро и коротко отвечать Порпоре, когда он желал познакомиться с каким-нибудь

фактом или мыслью; в двух словах она сообщила, что граф Альберт предложил ей руку и сердце, а она не могла дать ответ, не посоветовавшись предварительно со своим приемным отцом.

Злобная и ироническая гримаса искривила лицо Порпоры.

— Граф Альберт! — воскликнул он. — Наследник Рудольштадтов, потомок богемских королей, владелец замка Ризенбург! И он хотел жениться на тебе, на цыганочке? На тебе, самой некрасивой из нашей школы, дочери неизвестного отца, на комедиантке без гроша и без ангажемента? На тебе, босиком просившей милостыню на перекрестках Венеции?

— На мне, на вашей ученице! На мне, вашей приемной дочери! Да, на мне, на Порпорине! — ответила Консуэло со спокойной и кроткой гордостью. — Ну, конечно, такая знаменитость, такая блестящая партия! Действительно, описывая тебя, я забыл сказать об этом, — прибавил с горечью маэстро. — Да, последняя и единственная ученица учителя без школы, будущая наследница его лохмотьев и его позора. Носительница имени, уже забытого людьми! Есть чем хвастаться и сводить с ума сыновей знатнейших семейств! — По-видимому, учитель, — сказала

Консуэло с грустной и нежной улыбкой, — мы еще не так низко пали в глазах хороших людей, как вам хочется думать, ибо несомненно, что граф хочет на мне жениться, и я явилась сюда, чтобы с вашего разрешения дать ему свое согласие или при вашей поддержке отказать ему.

— Консуэло, — ответил Порпора холодным и строгим тоном, — я не люблю всех этих глупостей. Вы должны бы прекрасно знать, что я ненавижу романы пансионерок или приключения кокеток. Никогда не поверил бы я, что вы способны вбить себе в голову подобный вздор, и мне просто стыдно за вас. Возможно, что молодой граф Рудольштадт немного увлекся вами, а деревенская скука и восторг, вызванный вашим пением, и привели к тому, что он слегка приударил за вами, но откуда у вас взялась дерзость принять это всерьез и в ответ на это нелепое притворство разыгрывать роль принцессы в романе? Вы возбуждаете во мне жалость, а если старый граф, если канонисса, если баронесса Амелия знают о ваших притязаниях, то мне стыдно за вас, повторяю: я за вас краснею!

Консуэло знала, что не следует ни противоречить Порпоре, когда он вспылит, ни прерывать его во время наставлений. Она предоставила ему

излить свое негодование, а когда он высказал все, что только мог придумать наиболее обидного и наиболее несправедливого, она рассказала ему правдиво и с полнейшей точностью обо всем, что произошло в замке Ризенбург между ней и графом Альбертом, графом Христианом, Амелией, канониссой и Андзолето. Порпора, дав волю своему раздражению и нападкам, умел также слушать и понимать и с самым серьезным вниманием отнесся к ее рассказу. А когда Консуэло кончила, он задал ей еще несколько вопросов, чтобы, ознакомившись с подробностями, вникнуть в интимную жизнь семьи и разобраться в чувствах каждого из ее членов. — В таком случае... — проговорил он наконец, — ты хорошо поступила, Консуэло. Ты вела себя умно, с достоинством, мужественно, как и следовало от тебя ожидать. Это хорошо. Небо покровительствовало тебе, и оно вознаградит тебя, избавив раз и навсегда от этого негодяя Андзолето. Что касается молодого графа, я запрещаю тебе думать о нем. Такая судьба не для тебя. Никогда граф Христиан не позволит тебе вернуться к артистической карьере, уж будь в этом уверена. Я лучше тебя знаю неукротимую дворянскую спесь. Если же ты на этот счет не заблуждаешься (что было бы и

ребячливо и глупо), то я не думаю, чтобы ты хотя минуту колебалась в выборе между жизнью великих мира сего и жизнью людей искусства. Что ты об этом думаешь? Отвечай же! Черт возьми! Ты словно меня не слышишь!

— Прекрасно слышу, учитель, но вижу, что вы ровно ничего не поняли из того, что я вам рассказала.

— Как я ничего не понял? Что ж, по-твоему, я перестал теперь даже понимать? — И черные глазки маэстро снова злобно засверкали.

Консуэло, знавшая Порпору как свои пять пальцев, видела, что не надо сдаваться, если она хочет, чтобы ее выслушали.

— Нет, вы меня не поняли, — возразила она уверенным тоном, — вы, видимо, предполагаете во мне тщеславие, которого у меня нет. Я вовсе не завидую богатству великих мира сего, будьте в этом уверены, и никогда не говорите мне, дорогой учитель, что оно играет какую-либо роль в моих колебаниях. Я презираю преимущества, полученные не личными заслугами. Вы воспитали меня в таких принципах, и я не могла бы изменить им. Но в жизни все же есть «нечто», кроме денег и тщеславия, и это «нечто» настолько ценно, что может возместить и упоение славой

и радости артистической жизни. Это — любовь такого человека, как Альберт, это — семейное счастье, семейные радости. Публика — властелин тиранический, капризный и неблагодарный. Благородный муж — друг, поддержка, второе «я». Полюби я Альберта так, как он меня любит, я перестала бы думать о славе и, вероятно, была бы более счастлива.

— Что за глупые речи! — воскликнул маэстро. — С ума вы сошли, что ли?

Да вы просто ударились в немецкую сентиментальность! Бог мой, до какого презрения к искусству вы дошли, графиня! Вы сами только сейчас говорили, что «ваш» Альберт, как вы позволяете себе его называть, внушает вам больше страха, чем влечения, и вы вся холодеете от ужаса подле него; кроме того, вы рассказали мне еще много другого, что я, с вашего позволения, прекрасно слышал и понял. А теперь, когда вы снова обрели свободу — это единственное благо артиста, единственное условие для его развития, вы являетесь ко мне и спрашиваете, не нужно ли вам повесить себе камень на шею, чтобы броситься на дно колодца, где обитает ваш возлюбленный ясновидец? Ну и прекрасно! Поступайте, как вам угодно, я больше не вмешиваюсь в ваши дела, и

мне больше нечего вам сказать. Не стану я терять времени с особой, которая не знает сама, что она говорит и чего хочет! У вас нет здравого смысла. Вот и все. Слуга покорный.

Высказав это, Порпора уселся за клавесин и стал импровизировать, сильной, умелой рукой подбирая сложнейший аккомпанемент. Консуэло, отчаявшись на этот раз серьезно обсудить с ним интересующий ее вопрос, придумывала, как бы привести его хотя бы в более спокойное расположение духа. Ей это удалось, когда она начала петь национальные песни, выученные в Богемии; оригинальность мелодий привела в восторг старого маэстро. Потом она потихоньку уговорила Порпору показать ей свои последние произведения. Она пропела их с листа с таким совершенством, что маэстро снова стал восхищаться ею, снова почувствовал к ней нежность. Бедняга, возле него не было талантливых учеников, а к каждому новому лицу он относился с недоверием. Сколько же давно не испытанной радости доставило ему исполнение Консуэло, понявшей своей прекрасной душой его мысли и передавшей их своим красивым голосом! Он был до того растроган, прослушав, как его талантливая и всегда покорная Порпорина исполняет

созданные им произведения именно так, как он их задумал, что даже заплакал радостными слезами и, прижимая ее к сердцу, воскликнул:

— О, ты первая певица в мире! Голос твой стал вдвое крепче и сильнее, и ты сделала такие успехи, словно я ежедневно в течение всего этого года занимался с тобой. Еще, еще, дочка, пропой мне эту тему. Ты мне даешь минуты давно не испытанного счастья!

Они скудно пообедали за маленьким столиком у окошка. Порпора был очень плохо устроен. Его комната, мрачная, темная, всегда в беспорядке, выходила на угол узкой и пустынной улицы. Консуэло, видя, что он пришел в хорошее расположение духа, решилась заговорить с ним об Иосифе Гайдне. Единственно, что она скрыла от учителя, это свое длинное пешее путешествие с молодым человеком и странные приключения, породившие между ними такую нежную, чистую дружбу. Она знала, что ее учитель, по своему обыкновению, отнесется недоброжелательно ко всякому желающему брать у него уроки, о ком отзовутся с похвалой. И потому она с самым равнодушным видом рассказала Порпоре, что, подъезжая к Вене, разговорилась в экипаже с одним бедным юношей и он с таким почтением

и восторгом говорил о школе Порпоры, что она почти обещала ему замолвить о нем словечко перед самим маэстро.

— А кто этот молодой человек? — спросил Порпора. — К чему он готовит себя? Конечно, в артисты, раз он бедняк? Благодарю за таких клиентов! Больше я не намерен учить никого, кроме сынков аристократов. Эти по крайней мере платят, хоть и ничему не выучиваются, но зато гордятся нашими уроками, воображая, что выходят из наших рук с какими-то познаниями. А артисты все неблагодарные подлецы, предатели, лгуны... Лучше и не заикайся мне об этом. Не желаю, чтобы кто-либо из них переступил порог этой комнаты. А случись это, я моментально вышвырну его за окно! Консуэло пробовала было рассеять его предубеждение, но старик так упорно стоял на своем, что она отказалась от своего намерения и, высунувшись немного из окна в тот момент, когда учитель повернулся к ней спиной, сделала сначала один, а потом другой знак рукой. Иосиф, бродивший по улице в ожидании условленного сигнала, понял на основании первого знака, что надо отказаться от какой-либо надежды попасть в число учеников Порпоры; второй знак говорил о том, что ему не следовало

появляться раньше, чем через полчаса.

Консуэло перевела разговор на другое, чтобы Порпора забыл об ее словах. Прошло полчаса, и Иосиф постучал в дверь. Консуэло пошла отпирать и, притворяясь, будто не знает Иосифа, вернулась доложить маэстро, что к нему явился наниматься слуга.

— Покажись-ка! — крикнул Порпора дрожавшему юноше. — Подойди сюда.

Кто тебе сказал, что я нуждаюсь в слуге? Никакого слуги мне не нужно.

— Если вы не нуждаетесь в слуге, — ответил Иосиф, совсем растерявшись, но стараясь, по совету Консуэло, держаться молодцом, — это крайне для меня прискорбно, сударь, ибо я очень нуждаюсь в хозяине.

— Можно подумать, что я один могу дать тебе заработок! — возразил Порпора. — Ну посмотри на мою квартиру и мебель — считаешь ли ты, что мне нужен лакей для уборки?

— Да, конечно, сударь, он очень был бы нужен вам, — ответил Гайдн, разыгрывая доверчивого простака, — ведь здесь ужасный беспорядок!

С этими словами он тут же принялся за дело и стал убирать комнату с такой аккуратностью и хладнокровием, что Порпора расхохотался. Ио-

сиф все поставил на карту, ибо, не рассмеши он своим усердием хозяина, тот, пожалуй, заплатил бы ему палочными ударами.

— Вот чудак, хочет служить мне помимо моей воли! — проговорил Порпора, глядя на его старание. — Говорят тебе, идиот, у меня нет средств платить слуге. Ну что? Будешь еще продолжать усердствовать?

— За этим, сударь, дело не станет. Лишь бы вы мне давали свои обноски да ежедневно по куску хлеба. Вот мне и довольно. Я так беден, что почту себя счастливым, если мне не придется просить милостыню.

— Но почему же тебе не поступить в богатый дом?

— Немыслимо, сударь: находят, что я слишком мал ростом и слишком уродлив. К тому же я ничего не смыслю в музыке, а знаете, теперь все вельможи хотят, чтобы их лакеи умели немного играть на скрипке или флейте для домашнего обихода. Я же никогда не мог вбить себе в голову ни единой музыкальной ноты.

— Ага! Ага! Ты ничего не смыслишь в музыке? Ну, так мне именно такой человек и нужен. Если ты удовольствуешься пищей и моими обносками, я тебя беру. Вот и дочери моей тоже понадобится

старательный малый для поручений. Посмотрим, на что ты годен. Умеешь чистить платье, мести пол, докладывать о посетителях и провожать их?

— Да, сударь, я все умею.

— Ну, хорошо, так начинай. Приготовь мне вот тот костюм, что лежит на кровати, так как я через час отправляюсь к посланнику. Консуэло, ты будешь меня сопровождать. Я хочу представить тебя синьору Корнеру, — ты его знаешь. Он только что вернулся с целебных вод со своей синьорой. У меня есть еще одна маленькая комнатка, я тебе ее уступаю; пойди туда, приоденься немного, пока я буду собираться.

Консуэло повиновалась, прошла через переднюю в предоставленную ей темную комнатку и облеклась в свое вечное черное платье с неизменной белой косынкой, прибывшее сюда на плечах Иосифа.

«Не очень-то роскошный туалет для посещения посольства, — подумала она, — но ведь в нем я дебютировала в Венеции, и, однако, это не помешало мне хорошо петь и иметь успех».

Переодевшись, она вышла в переднюю, где нашла Гайдна, с важностью завивавшего парик Порпоры, посаженный на палку. Взглянув друг на друга, оба чуть не прыснули.

— Как же это ты справляешься с таким великолепным париком? — спросила она тихо, чтобы не услышал Порпора, одевавшийся в соседней комнате.

— Ничего, — ответил Иосиф, — само собой выходит. Я часто видел, как это делает Келлер. А кроме того, сегодня он дал мне урок и еще поучит, чтобы я — и в завивке и в расчесывании волос достиг совершенства.

— Мужайся, бедный мой мальчик, — сказала Консуэло, пожимая ему руку, — учитель в конце концов смягчится. Дороги, ведущие к искусству, полны терний, но иногда удается срывать и прекрасные цветы.

— Спасибо за метафору, дорогая сестрица Консуэло. Будь уверена, я не паду духом, только бы ты, проходя мимо меня по лестнице или в кухне, бросала мне время от времени дружеское, подбадривающее словечко, и я все вынесу с радостью.

— А я помогу тебе выполнять твои обязанности, — сказала, улыбаясь, Консуэло. — Что же, ты думаешь, я не начинала, как ты? Девочкой я часто прислуживала Порпоре. Не раз я исполняла его поручения, взбивала для него шоколад, гладила брыжи. Вот для начала я поучу тебя, как надо чистить костюм, — я вижу, ты в этом ровно ни-

чего не смыслишь: ломаешь пуговицы и мнешь отвороты.

Тут она взяла из его рук щетку и, действуя ею проворно и ловко, показала, как надо чистить. Но, услышав, что идет Порпора, она быстро передала Иосифу щетку и в присутствии хозяина важно проговорила:

— Ну же, мальчик, поторапливайтесь!

Глава 83

Не в венецианское посольство повел Порпора Консуэло, а к посланнику, вернее, в дом его возлюбленной. Вильгельмина была красивой женщиной, увлекавшейся музыкой и находившей больше всего удовольствия и удовлетворения своему тщеславию в том, чтобы собирать у себя интимный кружок артистов и дилетантов, не компрометируя при этом чрезмерной пышностью сан дипломата, знатного синьора Корнера. Появление Консуэло в первую минуту вызвало удивление, даже сомнение, но стоило присутствующим убедиться, что это действительно Zingarela, прошлогоднее чудо из Сан-Самуэле, как их сомнение тотчас сменилось радостными возгласами. Вильгельмина, знавшая Консуэло совсем ребенком, когда та приходила к ней с Порпорой, за которым следовала по ногам, словно маленькая собачка, неся его ноты, впоследствии очень охладела к девушке, видя, каким огромным успехом пользуется юная артистка в аристократичесясих гостиных и как забрасывают ее венками на сцене. И не потому, что

возлюбленная Корнера была женщиной недоброй или снизошла до зависти к девушке, так долго слывшей уродом. Но Вильгельмина, как все выскочки, любила разыгрывать из себя знатную даму. Она пела у Порпоры самые прославленные арии; учитель считал ее только талантливой дилетанткой и разрешал исполнять все, что ей было угодно, в то время как бедная Консуэло корпела над пресловутым кусочком картона, заключавшим в себе весь метод пения знаменитого маэстро, на котором он по пять-шесть лет держал учеников, серьезно относившихся к занятиям. Итак, Вильгельмина не представляла себе, что можно питать к Консуэло иное чувство, кроме снисходительного участия. Угостив когда-то девочку конфетами или дав ей посмотреть книжку с картинками, чтобы та не скучала в ее передней, Вильгельмина теперь почитала себя одной из самых деятельных покровительниц юного таланта. И она находила очень странным и даже неприличным, что Консуэло, мгновенно поднявшись на вершину славы, не держала себя по отношению к ней смиренно, не заискивала и не была преисполнена благодарности. Она рассчитывала, что Консуэло мило и безвозмездно будет служить украшением ее маленьких собраний

для избранных, распевая для нее и вместе с ней так часто и так долго, как ей заблагорассудится; Вильгельмина хотела представить девушку своим друзьям, намекнув на помощь, оказанную ею при первых шагах Консуэло, и на то, что та чуть ли не ей обязана своим пониманием музыки. Но все сложилось иначе: Порпоре куда больше хотелось сразу предоставить Консуэло достойное положение в артистическом мире, чем угождать своей покровительнице Вильгельмине, — он втихомолку подсмеивался над претензиями этой особы. Он запретил Консуэло принимать от госпожи посланницы «с левой руки» приглашения, сперва уж слишком бесцеремонные, затем слишком повелительные. Маэстро сумел найти тысячу причин, чтобы не водить ее туда, и Вильгельмина, проникнувшись величайшей неприязнью к начинающей певице, принялась даже распространять мнение, будто Консуэло при своей наружности никогда не сможет иметь бесспорного успеха; да и голос у нее, хоть и приятный в гостиной, недостаточно

звучен для сцены, а как оперная певица она не оправдала надежд, возлагавшихся на нее с детства, и много еще других пакостей в подобном роде, известных во все времена и у всех наро-

дов. Но вскоре восторженные клики публики заглушили все эти нашептывания, и Вильгельмина, чванившаяся тем, что она такой тонкий ценитель музыки, такая просвещенная ученица Порпоры и такая великодушная женщина, не посмела продолжать тайную борьбу против самой блестящей ученицы маэстро, кумира публики. Она присоединила свой голос к голосу настоящих любителей музыки, восторгавшихся пением Консуэло, и если ей случалось порицать певицу за гордость и тщеславие, проявившиеся в том, что она не предоставила своего голоса в распоряжение «госпожи посланницы», то «госпожа посланница» позволяла себе шептать об этом на ухо лишь очень немногим. Теперь, когда она увидела Консуэло в скромном платьице прежних дней и когда Порпора официально представил ей свою ученицу, чего никогда раньше не делал, тщеславная и пустая Вильгельмина все простила и стала играть роль великодушной покровительницы. Целуя Консуэло в обе щеки, Вильгельмина подумала: «Должно быть, она потерпела крушение, сделала какое-нибудь безумство или, быть может, потеряла голос; давно что-то не было слышно о ней. Теперь она в нашей власти. Вот подходящий момент пожалеть ее, оказать под-

держку, проверить ее дарование и извлечь из него пользу».

У Консуэло был кроткий, миролюбивый вид. Вильгельмина, не находя в ней больше того высокомерного удовлетворения, которое она приписывала ей в Венеции, почувствовала себя легко и рассыпалась в любезностях. Несколько итальянцев, друзей посланника, находившихся в салоне Вильгельмины, присоединились к ней, забрасывая Консуэло комплиментами и вопросами, которые она сумела ловко и шутливо обойти. Но вдруг ее лицо стало серьезным и на нем отразилось легкое волнение, когда на другом конце гостиной, среди группы немцев, с интересом рассматривавших ее, она увидела лицо, уже однажды смутившее ее в другом месте. То был незнакомец, друг каноника, который так упорно разглядывал и расспрашивал ее три дня тому назад у священника в деревне, где она вместе с Иосифом Гайдном пела обедню. Незнакомец и теперь всматривался в нее с необыкновенным любопытством, и легко можно было догадаться, что он справляется относительно нее у своих соседей. Озабоченность Консуэло не ускользнула от внимания Вильгельмины.

— Вы смотрите на господина Гольцбауэра, —

сказала она. — Вы его знаете?

— Я его не знаю и не подозревала, что смотрю на него, — ответила девушка.

— Первый справа от стола, — сказала «посланница». — Теперь он директор придворного театра, а жена его — примадонна того же театра. Он злоупотребляет своим положением, угощая двор и венцев своими операми, которые, между нами говоря, никуда не годятся, — прибавила Вильгельмина совсем тихо. — Хотите, я вас с ним познакомлю? Он очень милый человек.

— Тысячу раз благодарю вас, синьора, — ответила Консуэло, — но я слишком мало значу здесь, чтоб быть представленной такой особе, и заранее уверена, что он не пригласит меня в свой театр.

— Почему же, дорогая моя? Разве ваш чудный голос, не имеющий равного в Италии, пострадал от пребывания в Богемии? Ведь говорят, что вы все время жили в Богемии, самой холодной и самой печальной стране на свете. Это очень вредно для легких, и я не удивлюсь, если вы на себе испытали последствия такого климата. Но это не беда, голос к вам вернется на нашем дивном венецианском солнце.

Вильгельмина что-то очень спешила определить состояние голоса Консуэло, но девушка

воздержалась от опровержения ее мнения, тем более что собеседница, задав вопрос, сама же на него ответила. Консуэло нисколько не задело великодушное предположение «посланницы», — она мучилась тем, что может вызвать неприязнь Гольцбауэра за несколько резкую и искреннюю оценку его музыкальных произведений, вырвавшуюся у нее тогда за завтраком у священника. Придворный маэстро не преминет, конечно, отомстить ей, рассказав, в каком обществе и при каких обстоятельствах он ее встретил, и Консуэло боялась, как бы этот рассказ, дойдя до ушей Порпоры, не вооружил учителя против нее, а главное — против бедного Иосифа.

Все произошло иначе: Гольцбауэр не заикнулся о приключении по причине, о которой будет сказано впоследствии, и не только не проявил какой-либо враждебности к Консуэло, но подошел к ней и посмотрел на нее лукавым взглядом, в котором сквозило одно лишь доброжелательство. Консуэло притворилась, будто не понимает этого взгляда. Она боялась, как бы он не подумал, что она просит его сохранить тайну, и была настолько горда, что спокойно шла навстречу всем последствиям их знакомства, каковы бы они ни были.

Ее отвлекло от этого происшествия лицо старика с суровым и высокомерным выражением, который, однако, усиленно стремился завязать разговор с Порпорой, но тот, верный своему дурному настроению, едва отвечал, ежеминутно порываясь избавиться от собеседника под каким-нибудь предлогом.

— Это прославленный маэстро Буонончини, — пояснила Вильгельмина, которая была не прочь перечислить Консуэло всех знаменитостей, украшавших ее гостиную. — Он только что вернулся из Парижа, где в присутствии короля исполнял партию виолончели в мотете собственного сочинения. Как вам известно, он долго гремел в Лондоне и после упорной борьбы с Генделем, театр против театра, в конце концов одержал над ним победу в опере.

— Не говорите так, синьора, — с живостью воскликнул Порпора, который только что отделался от Буонончини и, подойдя к двум женщинам, слышал последние слова Вильгельмины. — Не произносите подобного богохульства! Никто не победил Генделя, никто не победит его! Я знаю моего Генделя, а вы еще не знаете его. Он первый среди нас, и я признаюсь в этом, хотя в дни безумной юности я тоже имел смелость бороться с ним.

Я был побежден; так и должно было случиться, это справедливо. Буонончини, более счастливый, чем я, но не более скромный и не более знающий, восторжествовал в глазах дураков и благодаря ушам варваров. Не верьте же тем, кто вам говорит об этом триумфе. Он навеки сделает моего собрата Буонончини предметом насмешек, и Англия когда-нибудь будет краснеть за то, что предпочла его оперы операм такого гения, такого гиганта, как Гендель. Мода, fashion, — как там говорят, — дурной вкус, удачное местоположение театра, знакомства в театральном мире, интриги и больше всего талант чудесных певцов, исполнявших его произведения, — все это, по-видимому, взяло верх. Но зато в духовной музыке Гендель одержал над ним колоссальную победу… Что же касается господина Буонончини, его я не ставлю высоко. Не люблю я мошенников и открыто говорю, что успех своей оперы он так же «законно» украл, как и успех своей кантаты.

Порпора намекал на скандальный случай, взволновавший весь музыкальный мир. Буонончини, будучи в Англии, присвоил себе честь создания произведения, написанного Лотти за тридцать лет до этого, что последнему и удалось доказать самым блестящим образом после долгих

споров с наглым маэстро. Вильгельмина пробовала было защищать Буононччини, но ее защита только обозлила Порпору.

— Я вам говорю и утверждаю, — воскликнул он, не думая о том, что его может услышать Буононччини, — что Гендель даже в оперных своих произведениях выше всех композиторов прошедшего и настоящего. Сейчас докажу вам это. Консуэло, иди к клавесину и спой нам арию, которую я тебе укажу.

— Я умираю от желания услышать дивную Порпорину, — сказала «посланница», — но умоляю вас, пусть она не исполняет в присутствии Буононччини и господина Гольцбауэра произведений Генделя — им не польстит такой выбор…

— Ну конечно, — прервал Порпора, — это их живое осуждение, это их смертный приговор!

— В таком случае, маэстро, предложите ей спеть что-нибудь из ваших произведений, — попросила Вильгельмина.

— Ну разумеется! Вы знаете, что это не возбудит ни в ком зависти! Но я хочу, чтоб она пропела именно Генделя. Я этого хочу!

— Учитель, не заставляйте меня сегодня петь, — стала упрашивать Консуэло. — Я ведь только что с дальней дороги…

— Конечно, это значило бы злоупотреблять любезностью вашей ученицы, и я отказываюсь от своей просьбы, — вставила хозяйка дома. — В присутствии находящихся здесь ценителей, в особенности господина Гольцбауэра, директора императорского театра, не надо ее компрометировать. Будьте осторожны!

— Компрометировать! Да что вы говорите! — резко оборвал ее Порпора, пожимая плечами. — Я слышал ее сегодня утром и знаю, рискует ли она скомпрометировать себя перед вашими немцами.

Этот спор, к счастью, был прерван появлением нового лица. Все поспешили приветствовать его, и Консуэло, видевшая и слышавшая в детстве в Венеции этого тщедушного, высокомерного и самодовольного человека с женственным лицом, хотя и нашла его постаревшим, увядшим, подурневшим, смешно завитым и одетым с безвкусием престарелого селадона, все-таки сейчас же узнала в нем несравненного, неподражаемого сопраниста Майорано, известного под именем Кафарелли, или, скорее, — Кафариэлло, как его звали везде, за исключением Франции.

Невозможно было найти хлыща более дерзкого, чем этот милейший Кафариэлло. Женщины

избаловали его своим поклонением, а овации публики вскружили ему голову. В юности он был так красив, или, вернее, так мил, что дебютировал в Италии в женских ролях. Теперь, когда ему было под пятьдесят (а на вид казалось гораздо больше, как большинству сопранистов), трудно было без смеха представить себе его Дидоной или Галатеей; причудливость его облика дополняла манера корчить из себя храбреца и по всякому поводу возвышать голос, тонкий и нежный, природу которого трудно было изменить. Однако его жеманство и безграничное тщеславие имели и хорошую сторону. Кафариэлло слишком высоко ставил превосходство своего таланта, чтобы перед кем-либо рассыпаться в любезностях; он также слишком бережно хранил свое достоинство артиста и никогда не раболепствовал. Безрассудно смело держал он себя с знатнейшими особами, даже с монархами, и потому его не любили пошлые льстецы, видя в его дерзости укор себе. Настоящие ценители искусства прощали ему все, как гениальному виртуозу. Хотя его и упрекали во многих подлостях, однако вынуждены были признать, что в его артистической жизни бывали поступки и мужественные и великодушные. Невольно и неумышленно выказывал он прене-

брежение и известного рода неблагодарность по отношению к Порпоре. Он хорошо помнил, что в течение восьми лет учился у него и был обязан ему всеми своими познаниями, но еще лучше помнил тот день, когда его учитель сказал ему: «Теперь я ничему уже не могу тебя научить! Va, figlio mio, tu sei il primo musico del mondo» . И с этого дня Кафариэлло, который действительно был первым (после Фаринелли) певцом мира, перестал интересоваться всем, что не было им самим. «Раз я первый, — сказал он себе, — значит, я единственный. Мир создан для меня. Небо даровало таланты поэтам и композиторам только для того, чтоб пел Кафариэлло. Порпора первый учитель пения в мире только потому, что ему было суждено отшлифовать талант Кафариэлло. Теперь дело Порпоры кончено, его миссия завершена, и для славы, для счастья, для бессмертия Порпоры достаточно, чтобы Кафариэлло жил и пел».

Кафариэлло жил и пел, он был богат и знаменит, а Порпора был беден и покинут. Но Кафариэлло этим нисколько не тревожился и говорил себе, что он достаточно собрал золота и славы, и это вполне вознаграждает его учителя, давшего миру такое чудо.

Глава 84

Кафариэлло, входя в гостиную, сделал едва заметный общий поклон, но нежно и учтиво поцеловал руку Вильгельмины, после чего покровительственно-любезно поговорил со своим директором Гольцбауэром и с небрежной фамильярностью потряс руку своему учителю Порпоре. Колеблясь между негодованием, вызванным фамильярностью бывшего ученика, и необходимостью считаться с ним (ведь потребуй Кафариэлло поставить его оперу и возьми на себя главную роль, он мог поправить дела маэстро), Порпора принялся расточать ему похвалы и расспрашивать о его недавних победах в Париже, так тонко иронизируя при этом, что самодовольный певец не мог не поддаться обману.

— Франция! — воскликнул Кафариэлло. — Не говорите мне о Франции! Это страна мелкой музыки, мелких музыкантов, мелких любителей музыки и мелких вельмож. Представьте себе, этот мужлан Людовик Пятнадцатый, прослушав меня в нескольких концертах духовной музыки, вдруг передает мне через одного из своих знатнейших

вельмож… догадайтесь что… Какую-то скверную табакерку!

— Но, конечно, золотую и с ценными бриллиантами? — заметил Порпора, нарочно вынимая свою табакерку из фигового дерева.

— Ну конечно, — сказал тенор. — Но подумайте, какая дерзость: без портрета! Преподнести мне простую табакерку, словно я нуждаюсь в коробке для нюхательного табака. Фи! Какое мещанство! Я просто был возмущен!

— И надеюсь, — сказал Порпора, набивая свой хитрый нос, — ты хорошенько проучил этого ничтожного короля?

— Не преминул, черт побери! «Сударь, — сказал я важному придворному и открыл перед его ослепленным взором ящик, — вот тридцать табакерок, самая плохая из них стоит в тридцать раз больше, чем та, которую вы мне подносите, и к тому же, как видите, другие монархи не погнушались почтить меня своими миниатюрами. Скажите королю, вашему повелителю, у Кафариэлло, слава богу, нет недостатка в табакерках».

— Клянусь Бахусом! До чего, должно быть, смутился король! — воскликнул Порпора.

— Подождите, это еще не все! Вельможа имел дерзость мне ответить, что среди иностранцев

его величество дарует свой портрет только посланникам. — Этакий болван! Что ж ты ему на это ответил?

— Послушайте, сударь, — сказал я, — знайте, что из посланников всего мира не сделаешь одного Кафариэлло…

— Прекрасно! Чудесный ответ! О! Как я узнаю моего Кафариэлло. И ты так и не принял от него табакерки?

— Нет, черт возьми! — ответил Кафариэлло, рассеянно вынимая из кармана золотую табакерку, усыпанную бриллиантами.

— Не та ли это ненароком? — спросил Порпора, с равнодушным видом глядя на табакерку. — А скажи, видел ты там нашу юную саксонскую принцессу? Ту, которой я впервые поставил пальчики на клавесин в Дрездене, в те времена, когда ее мать, польская королева, оказывала мне честь своим покровительством. Это была милая маленькая принцесса.

— Мария-Жозефина?

— Да, жена наследного принца Франции.

— Видал ли я ее? Даже в интимном кругу. Это добрейшая особа. Ах! Какая прекрасная женщина! Мы с ней наилучшие друзья в мире, честное слово! Вот что она мне подарила. — И он показал

на своем пальце кольцо с огромным бриллиантом.

— Говорят, она смеялась от души над тем, как ты ответил королю по поводу его подарка.

— Конечно, она нашла, что я прекрасно ответил и что король, ее свекор, поступил как последний сквалыга.

— В самом деле? Она тебе это сказала?

— Она на это намекнула, передавая мне паспорт, который заставила подписать самого короля.

Все слушавшие этот диалог отвернулись, посмеиваясь исподтишка. Всего час тому назад Буонончини, рассказывая о пребывании Кафариэлло во Франции, описывал эту его беседу с наследной принцессой, которая, передавая ему паспорт, украшенный штамповой подписью монарха, заметила, что он действителен только в течение десяти дней, а это было равносильно приказу покинуть Францию в самый короткий срок.

Тут Кафариэлло, боясь, по-видимому, дальнейших расспросов об этом происшествии, переменил разговор.

— Ну как, маэстро, — обратился он к Порпоре, — много было у тебя за последнее время в Венеции

учеников, встречались ли среди них подающие надежды?

— Уж и не говори! — ответил Порпора. — После тебя небо было скупо, и школа моя бесплодна. Бог, сотворив человека, опочил. А Порпора, с тех пор как создал Кафариэлло, сложил руки и тоскует.

— Дорогой учитель, — продолжал Кафариэлло, в восторге от комплимента и принимая его за чистую монету. — Ты слишком снисходителен ко мне. Однако у тебя было несколько многообещающих учеников, когда я виделся с тобой в школе Мендиканти. Ты тогда уже выпустил Кориллу — ее, помнится, высоко оценила публика. Красивое существо, ей-богу!

— Красивое, и больше ничего.

— Правда? Больше ничего? — спросил Гольцбауэр, прислушивавшийся к разговору.

— Понятно, больше ничего, — авторитетным тоном повторил Порпора.

— Это полезно знать, — прошептал ему на ухо Гольцбауэр. — Она приехала сюда вчера вечером почти совсем больная, как мне передавали, и, однако, уже сегодня утром я получил от нее предложение взять ее на императорскую сцену.

— Это не то, что вам нужно, — проговорил Порпора. — Ваша жена поет… в десять раз лучше

нее. — Он хотел было сказать «не так плохо», но сумел вовремя сдержаться.

— Благодарю вас за высокое мнение, — ответил директор.

— Неужели у вас не было других учеников, кроме толстой Кориллы? — вновь заговорил Кафариэлло. — Венеция, значит, иссякла? Мне хотелось бы побывать там будущей весной с Тези.

— За чем же дело стало?

— Тези увлечена Дрезденом. Но неужели я не найду в Венеции ни одной мяукающей кошки? Я не очень требователен, да и публика бывает снисходительна, когда на первых ролях такой певец, как я, способный «вынести» всю оперу на своих плечах. Красивый голос, гибкий и развитой — вот все, что мне надо для дуэтов. А кстати, учитель, что ты сделал из маленькой чернушки, которую я у тебя видел?

— Мало ли я учил чернушек!

— О! У той был чудесный голос, и, помнится, прослушав ее, я тебе сказал: «Этот маленький уродец далеко пойдет». Я даже тогда, забавы ради, пропел ей кое-что. Бедная девочка заплакала от восторга.

— Ага! Ага! — сказал Порпора, глядя на Консуэло, покрасневшую, как нос маэстро.

— Как ее звали, черт возьми? — проговорил Кафариэлло. — Странное имя... Ну, ты должен помнить, маэстро; она была уродлива, как смертный грех!

— То была я, — отозвалась поборовшая свое смущение Консуэло, с улыбкой подходя к ним и почтительно приветствуя Кафариэлло.

Такой пустяк не был способен привести Кафариэлло в смущение.

— Вы! — воскликнул он игриво, беря ее за руку. — Лжете, вы прехорошенькая девушка, а та, о которой я говорю...

— О! Конечно, то была я, — перебила Консуэло. Посмотрите на меня хорошенько. Вы должны меня узнать — это та же самая Консуэло.

— Консуэло! Да! Да! Дьявольски трудное имя. Но я вас совсем не узнаю и очень боюсь, что вас подменили. Дитя мое, если, приобретя красоту, вы потеряли голос и талант, так много обещавший, то было бы лучше для вас остаться дурнушкой.

— Я хочу, чтобы ты ее услышал, — сказал Порпора, горевший желанием показать свою ученицу Гольцбауэру.

И он потащил Консуэло к клавесину несколько против ее воли, так как она давно уже не выступала перед такими знатоками и вообще совсем

не готовилась петь в тот вечер.

— Вы меня дурачите, — заявил Кафариэлло. — Это не та девушка, которую я видел в Венеции.

— Сейчас будешь сам судить, — ответил ему Порпора.

— Право, учитель, это жестоко: вы заставляете меня петь, когда у меня в горле еще сидит пыль от пятидесяти миль пути, — застенчиво протестовала Консуэло.

— Все равно пой! — отрезал маэстро.

— Не бойтесь меня, дитя мое, — обратился к ней Кафариэлло, — я умею быть снисходительным. Чтобы вы не трусили, я буду петь с вами, если желаете.

— При этом условии повинуюсь, — ответила она, — счастье, которое я испытаю, слыша вас, помешает мне думать о себе.

— Что бы нам спеть вместе? — спросил Кафариэлло Порпора. — Выбери нам дуэт.

— Сам выбирай, — ответил тот, — нет ничего, чего она не могла бы спеть с тобой.

— Ну, тогда что-нибудь твое, маэстро, мне хочется нынче порадовать тебя. И к тому же я знаю, у синьоры Вильгельмины имеются все твои произведения, переплетенные с восточной роскошью и украшенные позолотой.

— Да, — проворчал сквозь зубы Порпора. — Произведения мои одеты богаче меня.

Кафариэлло взял ноты, перелистал их и выбрал дуэт из «Эвмены» — оперы, написанной маэстро в Риме для Фаринелли. Он спел первое соло с благородством, совершенством, мастерством, которые мгновенно заставляли забыть все смешные стороны певца, поражали и приводили в восторг слушателей. Могучий талант этого необыкновенного человека влил новые силы в Консуэло и настолько вдохновил ее, что она в свою очередь пропела женское соло, как никогда не пела в жизни. Кафариэлло, не дожидаясь, пока она кончит, прервал ее пение бурными аплодисментами.

— Ah, сага! — восклицал он на разные лады. — Теперь-то я узнаю тебя! Это действительно то дивное дитя, на которое я обратил внимание тогда в Венеции. Но теперь, figlia mia , ты — чудо (un portento)! Это говорит тебе Кафариэлло!

Вильгельмина была несколько удивлена и немного смущена, увидев Консуэло еще на большей высоте, чем в Венеции. Несмотря на то, что выступление в ее венском салоне такого таланта было ей очень приятно, она не без огорчения и ужаса видела, что после столь виртуозного пения сама она уже не посмеет петь для своих

завсегдатаев. Тем не менее «посланница» шумно выражала свой восторг. Гольцбауэр, продолжая ухмыляться втихомолку, но опасаясь, что в его кассе не хватит денег, чтобы оплатить такой большой талант, проявлял среди всех этих восхвалений дипломатическую сдержанность Буонончини заявил, что Консуэло выше и г-жи Гассе и г-жи Куццони. Посланник пришел в такой восторг, что Вильгельмина даже перепугалась, особенно когда увидела, что он снимает с пальца кольцо с большущим сапфиром и надевает его на палец Консуэло, которая не решалась ни принять его, ни отказать. Неистово стали требовать повторения дуэта, но дверь распахнулась, и лакей доложил о приезде графа Годица. Все поднялись под влиянием невольного почтения, которое вызывает не самый знаменитый, не самый достойный, а самый богатый человек.

«Вот незадача! — подумала Консуэло. — Нужно же было мне встретить здесь разом, и даже прежде чем я успела предупредить их, двух лиц, видевших меня во время путешествия с Иосифом! Они, без сомнения, составили себе ложное представление и о моей нравственности и о моих отношениях с ним. Но в любом случае, добрый и честный Иосиф, какая бы клевета ни опутала

нашу дружбу, я никогда не откажусь от нее ни в сердце своем, ни на словах».

Граф Годиц, с головы до ног разукрашенный золотыми галунами и нашивками, подошел к Вильгельмине, и по тому, как он поцеловал руку содержанки, Консуэло поняла разницу между такой хозяйкой дома и гордыми патрицианками, встречавшимися ей в Венеции. С Вильгельминой были и милее, и любезнее, и веселее, но говорили быстрее, ступали менее тихо, сидели, скрестив ноги выше, грели спину у камина, — короче говоря, были иными, чем в светском обществе. Эта бесцеремонность казалась даже приятной, но в то же время в ней чувствовалось нечто оскорбительное, сразу бросившееся в глаза Консуэло, хотя это нечто, замаскированное светским обращением и вниманием, подобающим посланнику, и было почти неуловимо.

Граф Годиц выделялся своим уменьем тонко оттенять эту непринужденность, которая не только не оскорбляла Вильгельмину, а казалась ей доказательством особенного поклонения. Консуэло же было неприятно за эту бедную женщину, чье удовлетворенное мелкое тщеславие казалось ей жалким. Что касается ее самой, она нисколько не обижалась. Zingarella ни на что не претендовала,

не требовала даже, чтобы на нее смотрели; и ей было совершенно безразлично, насколько низко ей поклонятся. «Я являюсь сюда как исполнительница, певица, — говорила она себе. — Главное, чтобы были довольны моим пением; я предпочитаю сидеть незамеченной в своем уголке; но как покраснела бы эта женщина, примешивающая тщеславие к своей любви (если только она примешивает немного любви к тщеславию), заметив, сколько презрения и иронии кроется под всеми этими любезностями и комплиментами».

Консуэло снова заставили петь, превозносили ее до небес, и она в тот вечер буквально делила лавры с Кафариэлло. Каждую минуту она ждала, что с ней заговорит граф Годиц и ей придется выдерживать огонь его насмешливых похвал. Но странная вещь: граф Годиц не подошел к клавесину, у которого она стояла отвернувшись, чтобы он не мог видеть ее лица. И когда он справлялся о ее имени и возрасте, казалось, он впервые слышит о ней. Причина заключалась в том, что он не получил неосторожной записки, которую Консуэло, возбужденная путевыми приключениями, послала ему с женой дезертира. К тому же он был очень близорук, и так как в то время еще не было принято лорнировать в гостиных, то

он неясно различал бледное лицо певицы. Быть может, покажется странным, что, хвастаясь так своей меломанией, граф не полюбопытствовал посмотреть поближе на замечательную виртуозку. Но не надо забывать, что моравский вельможа любил только музыку, сочиненную им самим, любил только свою методу, только своих певцов. Большие таланты не внушали ему никакого интереса, никакой симпатии. Он их недолюбливал за их требовательность и претензии, и когда ему говорили, что Фаустина Бордони получает в Лондоне в год пятьдесят тысяч франков, а Фаринелли — сто пятьдесят тысяч, он пожимал плечами и уверял, что певицы в его росвальдском театре в Моравии, обучавшиеся у него, не уступают ни Фаринелли, ни Фаустине, ни синьору Кафариэлло, хотя стоят ему всего пятьсот франков. Важность Кафариэлло была ему особенно неприятна и невыносима потому, что в своем кругу господин граф Годиц отличался точно такими же странными и смешными повадками. Если хвастуны не нравятся скромным и разумным людям, они тем более непереносимы и отвратительны таким же хвастунам, как они сами. Всякий тщеславный человек ненавидит себе подобных и высмеивает порок, присущий ему самому. Слушая пение

Кафариэлло, никто не думал ни о богатстве, ни о любви к музыке графа Годица. Пока Кафариэлло бахвалился, не оставалось места для бахвальства графа Годица, — короче говоря, они мешали друг другу. Ни один салон не был настолько обширен и ни один слушатель настолько внимателен, чтобы вместить и удовлетворить двух людей, терзаемых такой «жаждой апробации» (френологический стиль наших дней).

Была и третья причина, помешавшая графу Годицу вспомнить «своего Бертони» из Пассау: он почти не глядел на него в Пассау, и теперь ему было бы очень трудно узнать его в новом, преображенном виде. Пред ним тогда была девочка, «довольно хорошо сложенная», как принято было в то время говорить о сносной наружности; он услышал ее красивый, свежий, гибкий голос и почувствовал, что перед ним — смышленое существо, легко поддающееся обучению. Больше он ничего не почувствовал, не угадал, да больше ему ничего и не нужно было для его театра в Росвальде. Он был богат и привык покупать без особенного разбора и мелочного обсуждения все, что ему подходило. Он захотел купить талант и самою Консуэло, как мы покупаем ножик в Шательро и стеклянные изделия в Венеции. Тор-

говая сделка не состоялась, и так как ни одной минуты он не был влюблен в нее, то ни минуты и не жалел об этом. Правда, он был несколько раздосадован при своем пробуждении в Пассау, но люди, много о себе мнящие, недолго страдают от подобной неудачи, они скоро о ней забывают: разве не им принадлежит весь мир, в особенности если они богаты? «Ну что ж, — сказал себе благородный граф, — одна неудача, а за ней сто удач».

Он пошептался с Вильгельминой во время исполнения Консуэло последней арии и, заметив, что Порпора кидает на него яростные взгляды, вскоре ушел, не получив никакого удовольствия в обществе этих педантичных и неотесанных музыкантов.

Глава 85

Первым побуждением Консуэло по возвращении в свою комнату было написать Альберту, но вскоре она обнаружила, что это не так легко сделать, как ей казалось. В первом же черновике она начала было ему описывать все приключения своего путешествия, но тотчас испугалась, что описание пережитых ею опасностей и испытаний слишком взволнует его. Она помнила, в какое безумное исступление пришел Альберт, когда она рассказала ему в подземелье о тех ужасах, которые пришлось ей пережить по дороге в замок. И Консуэло разорвала черновик. Она решила, что надо избавить эту глубокую душу, эту впечатлительную натуру от волнующих подробностей действительности, ограничившись одной преобладающей идеей, одним чувством, — написать несколько слов о любви и верности, в которой она ему поклялась. Но эти немногие слова следовало высказать очень твердо; малейшая неопределенность вызвала бы в нем невероятные страхи и муки. А как могла она утверждать, что в ней наконец пробудилась бесспорная любовь и

неколебимая решимость — то есть то, в чем нуждался Альберт, чтобы существовать, поджидая ее. Искренность и честность Консуэло не допускали полуправды.

Строго вопрошая свое сердце и совесть, она убедилась, что одержала победу над любовью к Андзолето и потому сильна и спокойна духом. Она чувствовала полное равнодушие ко всякому мужчине, кроме Альберта, никто не внушал ей ни любви, ни восторженности, — но любовь и глубокую восторженность она неизменно питала к Альберту и когда была подле него. Мало было победить воспоминание об Андзолето, устранить самое его присутствие, чтобы в душе девушки загорелась пламенная страсть к молодому графу: она не могла без ужаса вспомнить о душевной болезни бедного Альберта, об удручающем величии замка Исполинов, об аристократических предубеждениях канониссы, об убийстве Зденко, о мрачной пещере скалы Ужаса — словом, о всей печальной и странной жизни в Чехии, казавшейся ей теперь сном. Подышав вольным воздухом бродячей жизни в Богемских горах и снова окунувшись в музыкальную стихию подле своего учителя, Консуэло вспоминала о Чехии не иначе как о страшном сновидении. Хотя она и

не соглашалась с несуразными артистическими афоризмами Порпоры, но когда вернулась снова к жизни, так соответствующей ее воспитанию, дарованию, духовным запросам, ей показалось невозможным сделаться хозяйкой Ризенбурга.

Что же могла она сообщить Альберту? Что нового могла она обещать и подтвердить ему? Разве ею не владели та же нерешимость, тот же ужас, что и при бегстве из замка? Если она устремилась в Вену, а не в иное место, то только потому, что здесь ее ждало покровительство единственного законного авторитета, признаваемого ею в жизни. Порпора был ее благодетелем, ее отцом, ее поддержкой и учителем в самом святом смысле слова. Подле него она не чувствовала себя сиротой и не считала себя вправе распоряжаться собой только по велению своего сердца или рассудка. А Порпора осуждал, высмеивал и энергично отвергал мысль о браке, видя в нем убийство гениального таланта, принесение в жертву великого будущего ради романтической, утопической самоотверженности. В Ризенбурге тоже был старик, великодушный, благородный и нежный, который предлагал себя ей в отцы. Но разве меняют отца сообразно обстоятельствам? И раз Порпора говорил «нет», то разве могла Консу-

эло принять «да» графа Христиана?

Этого не могло, не должно было быть, и следовало ждать, что скажет Порпора, когда он лучше разберется в фактах и чувствах. Но что сказать несчастному Альберту сейчас, как поддержать в нем надежду, призвать к терпению, пока учитель либо подтвердит свое решение, либо изменит его? Поведать ему о первой вспышке негодования Порпоры — значило бы лишить Альберта всякого спокойствия; скрыть — равносильно обману, а этого она делать не хотела. Даже если бы жизнь этого благородного молодого человека зависела от лжи, то и тогда Консуэло не солгала бы. Есть люди, которых слишком уважают, чтобы обманывать хотя бы ради их спасения.

И вот она снова начала писать, но изорвала двадцать начатых писем, не доведя ни одного до конца. Как ни старалась она, на третьем же слове выходило так, что она или давала слишком смелые обещания, или, наоборот, высказывала сомнения, а это могло оказать на Альберта пагубное действие. Она легла в постель, страшно подавленная усталостью, грустью, беспокойством, и долго мучилась от холода и бессонницы, не в силах ни прийти к какому-либо решению, ни представить себе ясно свое будущее, свою

судьбу. В конце концов она все-таки заснула и проснулась так поздно, что Порпора, всегда рано встававший, уже успел уйти по делам. Как и накануне, она застала Гайдна за чисткой платья своего нового хозяина и за уборкой.

— Наконец-то, моя спящая красавица! — воскликнул юноша, завидев друга. — Я умираю от скуки, тоски и, пожалуй, больше всего от страха, когда между мной и этим свирепым профессором нет вас, моего ангелахранителя. Мне все кажется, что учитель проникнет в мои намерения, раскроет заговор и упрячет меня в свой старый клавесин, чтобы я там задохнулся от гармонического удушья. У меня на голове волосы становятся дыбом от твоего Порпоры, и я никак не могу разубедить себя, что это не старый итальянский черт! Ведь уверяют же, что дьявол в тех краях гораздо злее и хитрее нашего.

— Успокойся, друг мой, — ответила Консуэло, — наш хозяин только несчастлив. Он незлой человек. Постараемся дать ему хотя бы немного счастья, и он на наших глазах смягчится и станет прежним. Я помню, каким сердечным и жизнерадостным он был в годы моего детства. Его остроты и шутки всеми повторялись, но ведь тогда у него был успех, были друзья, были надежды. Если бы

ты знал его в то время, когда в театре Сан-Мозе шла его опера «Полифем»! Он брал меня с собой и ставил где-нибудь за кулисы, откуда я могла видеть только спины статистов и голову великана. Каким все это казалось мне и страшным и красивым из моего уголка! Сидя на корточках за картонной скалой или взобравшись на лестницу, с которой зажигают кинкеты, я едва дышала и невольно, подражая актерам, повторяла головой и руками все их жесты, все их движения. А когда маэстро вызывали и он в ответ на аплодисменты публики из партера по семь раз проходил перед занавесом вдоль рампы, учитель казался мне богом, до того в эти минуты он был прекрасен, горд и радостен. Увы! Порпора не так еще стар, а как он изменился, как удручен! Давай, Беппо, приниматься за работу; пусть, вернувшись, он застанет свою убогую квартиру более привлекательной. Начну с осмотра его тряпья, чтобы удостовериться, чего ему не хватает.

— Долго пришлось бы перечислять, чего ему не хватает, а что у него имеется — мигом увидишь, — ответил Иосиф. — Беднее и поношеннее его одежды разве только моя собственная.

— В таком случае я позабочусь и о твоей одежде; я твоя должница, Иосиф: всю дорогу ты и одевал

и кормил меня. Но сперва подумаем о Порпоре. Открой мне шкаф. Как! Всего один-единственный костюм — тот, в котором он был вчера у посланника?

— Увы, да! Коричневый костюм со стальными пуговицами, к тому же не особенно новый. Другой костюм до того изношен и порван, что на него больно смотреть. Он надел его уходя. Что же касается шлафрока, сомневаюсь, чтобы он вообще когда-нибудь существовал: я его тщетно ищу вот уже целый час.

Консуэло и Иосиф стали всюду рыться и наконец убедились, что шлафрок действительно существовал лишь в их воображении, так же как и пальто и муфта. Сорочек оказалось всего три, причем и те изодранные, манжеты совсем развалились; и в таком же приблизительно состоянии было все остальное.

— Иосиф, — сказала Консуэло, — вот чудесное кольцо, мне его подарили вчера за мое пение. Я не хочу его продавать, чтобы не привлекать к себе внимания; люди, подарившие его мне, могли бы, пожалуй, усмотреть в этом алчность. Но я могу его заложить и получить под него нужные нам деньги. Келлер честен и умен, он может оценить это драгоценное кольцо и, наверное, знает

ростовщика, который возьмет его в залог и даст за него порядочную сумму. Ступай же скорее и возвращайся.

— За этим дело не станет, — ответил Иосиф. — В доме Келлера живет еврей, нечто вроде ювелира. Он доверенное лицо многих знатных дам в подобных секретных делах, и через какой-нибудь час у вас будут деньги. Только слышите, Консуэло, мне лично ничего не надо. Вам самой необходимо приодеться. Завтра, а быть может, еще и сегодня вечером, вам придется появиться перед обществом, и, конечно, в платье, менее потертом, чем этот туалет, совершивший путешествие на моей спине.

— Наши счеты с тобой мы сведем позднее, и так, как я захочу, Беппо. Принимая от тебя услуги, я имею право требовать, чтобы ты не отказывался от моих. Ну, а теперь беги скорее к Келлеру!

Через час Гайдн действительно вернулся с Келлером и с тысячей пятьюстами флоринов. Консуэло объяснила Келлеру, что ей нужно; тот вышел и вскоре привел своего приятеля-портного, честного и проворного малого, который, сняв мерку с костюма Порпоры и других вещей его гардероба, пообещал в ближайшие дни доставить два новых костюма, хороший, стеганный на вате

шлафрок и даже белье и другие необходимые принадлежности туалета, которые он взялся заказать «достойным похвалы» мастерицам.

— Теперь, — сказала Консуэло Келлеру, когда портной ушел, — я требую полнейшей тайны. Учитель мой столь же горд, сколь и беден, и, несомненно, выбросил бы за окно все мои жалкие дары, заподозри он только, что они идут от меня.

— Как же вы умудритесь, синьора, — заметил Иосиф, — заставить его облечься в новый костюм и покинуть старый так, чтобы он этого не заметил? — О! Я его прекрасно знаю и ручаюсь вам, что он ничего не заметит. Я уж сумею за это взяться.

— А теперь, синьора, не подумаете ли вы о себе? — снова заговорил Иосиф, который, за исключением тех минут, когда они оставались с глазу на глаз, усвоил хорошую привычку говорить с Консуэло очень церемонно, чтобы не создать ложного представления об их дружбе. — Вы почти ничего не привезли с собой из Чехии, к тому же ваши наряды сшиты не по здешней моде. — Я было совсем и забыла об этом важном деле. Милый господин Келлер, будьте моим советчиком и руководителем.

— Охотно! — ответил Келлер. — Я кое-что в этом

смыслю, и если у вас не будет самого изысканного туалета, можете мне сказать, что я невежда и хвастун.

— Вполне полагаюсь на вас, милый Келлер; я хочу только предупредить вас, что люблю простоту, и вещи, бросающиеся в глаза, а также яркие цвета не идут ни к моей обычной бледности, ни к моим скромным вкусам.

— Вы меня обижаете, синьора, предполагая, что я нуждаюсь в таких указаниях. Разве ремесло мое не научило меня подбирать цвета к лицу, а в вашем лице разве я не вижу отражения вашего характера? Будьте покойны, вы останетесь довольны мною и вскоре сможете, если вам заблагорассудится, появиться при дворе, оставаясь по-прежнему и скромной и простой. Сделать человека красивее, не меняя его, — вот в чем искусство парикмахера и портного.

— Еще одно слово на ушко, дорогой господин Келлер, — проговорила Консуэло, отойдя с парикмахером подальше от Иосифа. — Прошу вас, оденьте во все новое с головы до ног и господина Гайдна, а на оставшиеся деньги преподнесите от моего имени вашей дочери красивое шелковое подвенечное платье. Надеюсь, что свадьба не за горами, ибо если я буду пользоваться здесь

успехом, то смогу быть полезной нашему другу и помогу ему приобрести известность. У него талант, и большой талант, будьте в этом уверены.

— Так у него в самом деле талант, синьора? Счастлив слышать от вас. Я всегда это подозревал. Да что я говорю? Я был убежден в этом с самого первого дня, когда заметил его маленьким певчим в школе.

— Он благородный юноша, — продолжала Консуэло, — и вы будете вознаграждены его благодарностью и верностью за все, что для него сделали. Я ведь знаю, Келлер, вы тоже человек достойный, у вас благородное сердце… А теперь скажите нам, — прибавила она, приближаясь с Келлером к Иосифу, — сделали вы то, что было условлено между нами относительно покровителей Иосифа? Идея была ваша, вы привели ее в исполнение?

— Ну конечно, синьора! — ответил Келлер. — Для вашего покорного слуги сказать — это значит сделать. Отправившись сегодня утром к моим клиентам, я предупредил сначала господина венецианского посланника (я не имею чести лично причесывать его, но завиваю его секретаря), затем господина аббата Метастазио, которого брею каждое утро, и его воспитанницу, девицу Мариан-

ну Мартинец, чья прическа тоже не минует моих рук. Она, так же как и он, живет в моем доме… то есть я живу в их доме, — ну, да это, впрочем, все равно. Напоследок я проник еще к двум-трем особам, знающим Иосифа в лицо, он и с ними рискует встретиться у маэстро Порпоры. К другим, не моим клиентам, я являлся под каким-нибудь предлогом, например, говорил так: «Я слышал, баронесса, что вы посылали поискать у моих коллег настоящего медвежьего сала для волос, и поспешил принести вам великолепное сало, я за него ручаюсь. Предлагаю его знатным лицам бесплатно, как образец, с тем чтобы они стали моими клиентами, если только будут довольны этим снадобьем»; или в таком роде: «Вот молитвенник, найденный в прошлое воскресенье в соборе святого Стефана, а так как я обслуживаю собор (или, вернее, школу при соборе), то мне поручили спросить ваше сиятельство, не ваша ли это книга». То была старая, ничего не стоящая книга в кожаном переплете с вытисненным на нем гербом. Взял я ее на скамье каноника, зная прекрасно, что никто не станет ее разыскивать… Наконец, когда мне удавалось под тем или иным предлогом привлечь к себе внимание, я начинал болтать с развязностью и остроумием, которое

прощают людям нашей профессии. «Мне, — говорил я, например, — много приходилось слышать о вашем сиятельстве от одного из моих друзей, искусного музыканта Иосифа Гайдна, вот почему я взял на себя смелость явиться в высокопочтенный дом вашего сиятельства». — «А, маленький Иосиф? — спрашивали меня. — Пленительный талант, юноша многообещающий». — «Да? В самом деле? — отзывался я в восторге от того, что мы перешли прямо к делу. — Так вас, ваше сиятельство, должно очень позабавить то, что с ним сейчас происходит, — удивительная вещь и небесполезная для него!» — «А что же с ним происходит? Я ничего не знаю». — «Да трудно придумать нечто более комичное и более интересное: он сделался лакеем». — «Как! Лакеем! Фи! Какое унижение! Какое несчастье для такого таланта! Он, значит, в ужасном положении? Надо ему помочь». — «Дело не в том, ваше сиятельство, — отвечал я, — на это заставила его решиться любовь к искусству. Он хотел во что бы то ни стало брать уроки у знаменитого маэстро Порпоры…» — «Ах, да! Понимаю: Порпора отказался выслушать его и допустить к себе. Гениальный человек, но очень капризный и угрюмый». — «Он великий человек, с великодуш-

ным сердцем, — отвечал я, согласно желанию синьоры Консуэло: ведь вы не хотите, чтобы во всей этой истории ваш учитель был предметом насмешек и порицания. — Будьте уверены, — прибавлял я, — он скоро раскусит способности юного Гайдна и позаботится о нем; но чтобы не рассердить старого меланхолика и пробраться к нему, не раздражая его, Иосиф не нашел ничего более остроумного, как поступить к нему в лакеи и притвориться, будто он ничего не смыслит в музыке». — «Идея трогательная, прелестная, — отвечали мне в полном умилении, — это героизм настоящего артиста. Однако он должен поторопиться и заслужить благосклонность Порпоры, прежде чем его узнают и скажут маэстро, что он уже замечательный артист, так как ведь молодого Гайдна любят и ему покровительствуют несколько лиц, как раз посещающих Порпору». — «Эти лица, — говорил я вкрадчивым тоном, — слишком добры, слишком великодушны, чтобы не сохранить маленькой тайны Иосифа, пока это необходимо; они притворятся, будто не знают его, и поддержат доверие к нему Порпоры». — «О! — восклицали в ответ на это. — Уж, конечно, не я предам славного, искусного музыканта Иосифа! Вы можете от моего имени заверить его в том,

а я прикажу своим слугам ни в коем случае не проговориться в присутствии маэстро». Тут меня отпускали либо с подарком, либо с заказом на медвежье сало, а что касается господина секретаря посольства, он чрезвычайно заинтересовался этим приключением и обещал угостить им за завтраком самого господина посланника Корнера, который особенно расположен к Иосифу, дабы господин посланник был настороже с Порпорой. Моя дипломатическая миссия закончена. Вы довольны, синьора?

— Будь я королевой, я немедленно назначила бы вас посланником, — ответила Консуэло. — Но посмотрите в окно, вот идет хозяин. Бегите, милый Келлер, он не должен вас видеть.

— А зачем бежать, синьора? Я примусь за вашу прическу, и подумают, что вы послали своего лакея Иосифа за первым встречным парикмахером.

— Он во сто раз умнее нас с вами, — сказала Консуэло Иосифу и предоставила свои черные кудри ловким рукам Келлера, тогда как Иосиф, надев фартук, снова вооружился метелкой; тем временем Порпора тяжело поднимался по лестнице, напевая музыкальную фразу из своей будущей оперы.

Глава 86

Порпора по природе был очень рассеян; поцеловав в лоб свою приемную дочь, он даже не заметил причесывавшего ее Келлера и принялся искать в своих нотах фразу, не выходившую у него из головы. Только увидев бумаги, обыкновенно разбросанные по клавикордам в невообразимом беспорядке, а теперь сложенные в симметрические стопы, он вышел из своего озабоченного состояния и закричал:

— Несчастный дурак! Он позволил себе прикоснуться к моим рукописям.

Вот они, лакеи! Валят все в кучу и думают, что убирают. Очень нужно мне было брать лакея, честное слово! Начались мои мучения!

— Простите ему, маэстро, — вмешалась Консуэло, — ваши ноты были в таком хаотичном состоянии…

— Я прекрасно разбирался в этом хаосе. Мог встать среди ночи и впотьмах, ощупью найти любой отрывок из своей оперы. А теперь я ничего не знаю, я потерянный человек; месяц пройдет, прежде чем я что-либо смогу найти!

— Нет, маэстро, вы все сейчас же найдете. Это, кстати сказать, моя вина, и хотя страницы и не пронумерованы, мне кажется, что я положила каждый листок на свое место. Взгляните-ка! Я уверена, что вам удобнее будет читать по тетради, чем по всем этим отдельным листкам, которые порыв ветра может унести в окно.

— Порыв ветра! Не принимаешь ли ты мою комнату за Фузинские лагуны?

— Ну, если не порыв ветра, так взмах метелки или веника.

— А зачем было убирать и мести комнату? Я в ней живу две недели и никому не позволял сюда входить.

«Я-то прекрасно это заметил», — подумал про себя Иосиф.

— Ну, маэстро, вам придется разрешить мне изменить этот обычай. Вредно спать в комнате, которая не проветривается и не убирается ежедневно. Я берусь каждый день аккуратно восстанавливать беспорядок, который вам по душе, после того как Беппо подметет и уберет комнату.

— Беппо! Беппо! Что это такое? Я не знаю никакого Беппо!

— Беппо — это он, — сказала Консуэло, указывая на Иосифа. — У него такое неблагозвучное имя,

что оно ежеминутно резало бы вам ухо. Я дала ему первое пришедшее мне в голову венецианское имя. Беппо — это хорошо, коротко и даже певуче.

— Как хочешь, — ответил уже мягче Порпора, перелистывая свою оперу, сшитую в одну тетрадь, и найдя ее в полном порядке.

— Согласитесь, маэстро, — сказала Консуэло, увидав, что он улыбается, — так ведь удобнее?

— А! Ты всегда права! — возразил маэстро. — Всю жизнь будешь упрямой.

— Вы завтракали, маэстро? — спросила Консуэло, освободившаяся наконец от Келлера.

— А сама ты завтракала? — ответил вопросом Порпора, нетерпеливо и вместе с тем заботливо.

— Я завтракала. А вы, маэстро?

— А этот мальчик, этот… Беппо, он ел что-нибудь?

— Он позавтракал. А вы, маэстро?

— Вы, значит, нашли здесь что перекусить. Я уже не помню, были ли у меня какие-нибудь припасы.

— Мы отлично позавтракали. А вы, маэстро?

— «А вы, маэстро!» «А вы, маэстро!» Да убирайся ты к черту с твоими вопросами! Какое тебе дело?

— Маэстро, ты не завтракал, — проговорила Консуэло, подчас позволявшая себе с венециан-

ской фамильярностью говорить Порпоре «ты».

— Ах! Я вижу, что в мой дом вселился дьявол. Она не оставит меня в покое! Ну иди и спой мне эту фразу: внимательно, прошу тебя.

Консуэло подошла к клавесину и пропела требуемую фразу; Келлер, рьяный любитель музыки, стоял на другом конце комнаты, полуоткрыв рот, не выпуская из рук гребень. Маэстро, недовольный фразой, заставил Консуэло повторить ее раз тридцать, требуя, чтобы она делала ударение то на одних, то на других нотах, и все добиваясь какого-то оттенка с упорством, которое могло сравниться только с терпением и покорностью Консуэло. В это время Иосиф, по данному ею знаку, пошел за шоколадом, который она сама приготовила, пока Келлер ходил по ее поручениям. Беппо принес шоколад и, угадав, чего хотела Консуэло, тихонько поставил его на пюпитр, не привлекая внимания учителя; Порпора тотчас же машинально взял его, налил себе в чашку и выпил с большим аппетитом. Вторая чашка была принесена и выпита таким же образом, да еще с хлебом, намазанным маслом. Консуэло, любившая поддразнить учителя и заметившая, с каким удовольствием он уплетает завтрак, сказала ему:

— Я прекрасно знала, маэстро, что ты не зав-

тракал.

— Правда, — ответил он спокойно. — Кажется, просто забыл. Со мной это часто случается, когда я сочиняю, и замечаю я это уже днем, почувствовав в желудке судороги и спазмы.

— И тогда ты пьешь водку, маэстро?

— Кто тебе сказал, дурочка?

— Я нашла бутылку.

— Какое тебе дело? Не запретишь же ты мне пить водку?

— Да, запрещу! Ты не пил в Венеции и хорошо себя чувствовал.

— Ты права, — с грустью произнес Порпора, — там мне казалось мне так ужасно; думалось, что здесь пойдет лучше. Между тем все здесь ухудшается — и положение мое, и здоровье, и образы… все… — И он закрыл лицо руками.

— Хочешь, я скажу, почему тебе так трудно здесь работать? — заговорила Консуэло, которой хотелось как-нибудь вывести учителя из подавленного состояния духа. — Да у тебя здесь нет твоего хорошего кофе повенециански, дающего столько сил и веселья. Ты возбуждаешь себя по способу немцев — пивом и настойками, а тебе это вредно.

— Еще раз ты права. Чудесный мой кофе по-ве-

нециански! О, это был неиссякаемый источник остроумных слов и великих идей! Гений и вдохновение живительной теплотой разливались по моим венам. Все, что пьешь здесь, либо наводит тоску, либо сводит с ума.

— Ну что ж, маэстро, пей свое кофе!

— Здесь? Кофе? Не хочу: с ним слишком много хлопот. Нужен камин, прислуга, посуда, которую моют, передвигают, бьют с резким грохотом, когда ты весь во власти гармонии. Нет, не надо. Уж лучше поставить бутылку на пол у своих ног; это и удобнее и скорее.

— Но бутылка тоже бьется. Я сегодня утром ее разбила, собираясь поставить в шкаф.

— Как! Ты разбила мою бутылку? Ах ты уродина! Не знаю, что меня останавливает, а то я охотно сломал бы палку о твою спину!

— Ну да! Вы это говорите уже целых пятнадцать лет, а пока ни разу не дали мне и щелчка, — я совсем не боюсь.

— Болтушка, будешь ты петь? Освободишь ты меня от этой проклятой фразы? Бьюсь об заклад, что до сих пор ты еще не знаешь ее, ты так рассеяна сегодня.

— Сейчас убедитесь, знаю я ее на память или нет, — сказала Консуэло, быстро захлопывая

тетрадь.

И она спела фразу так, как сама понимала ее, то есть совсем иначе, чем Порпора. Хотя она угадала с первого раза, что он запутался в своих замыслах и, разрабатывая тему, извратил основную мысль, но, зная характер своего учителя, не позволила себе дать ему совет: из духа противоречия он отверг бы его. Консуэло, однако, была убеждена, что если пропеть фразу по-своему, как бы с ошибкой, это произведет на него впечатление. Не успел он прослушать ее, как вскочил со стула, хлопая в ладоши, и закричал:

— Вот оно! Вот оно! Вот то, чего я хотел и никак не мог добиться!

Как, черт возьми, тебе это пришло в голову?

— Разве это не то, что вы написали? Или это случайность? Да нет, это же ваша фраза.

— Нет! Твоя, плутовка! — воскликнул Порпора: он был сама искренность и, несмотря на свою болезненную, безмерную любовь к славе, никогда бы ничего не прикрасил из тщеславия. — Это ты ее нашла! Ну, повтори. Она прекрасна, и я воспользуюсь ею.

Девушка пропела фразу несколько раз, и Порпора записал ее под диктовку Консуэло. Тут он прижал ученицу к своему сердцу и воскликнул:

— Ты дьявол! Я всегда говорил, что ты дьявол!

— Добрый дьявол, поверьте мне, маэстро! — ответила, улыбаясь, Консуэло.

Порпора, в восторге от того, что после целого утра бесплодных волнений и мук музыкального творчества фраза наконец удалась, стал машинально шарить по полу, стараясь нащупать горлышко бутылки. Не найдя ее, он принялся искать на пюпитре и по рассеянности хлебнул из стоявшей там чашки. Это был чудесный кофе, искусно и терпеливо приготовленный для него Консуэло одновременно с шоколадом; Иосиф, по новому знаку своего друга, только что принес его совсем горячим.

— О, нектар богов! О, друг музыкантов! — воскликнул Порпора, наслаждаясь кофе. — Какой ангел, какая фея принесла тебя из Венеции под своим крылом?

— Дьявол! — ответила Консуэло.

— Ты ангел и фея, милое мое дитя, — ласково проговорил Порпора. — Я прекрасно вижу, что ты любишь меня, заботишься обо мне, хочешь сделать меня счастливым. Даже этот бедный мальчик и тот интересуется моей судьбой, — прибавил он, заметив Иосифа; юноша, стоя на пороге передней, смотрел на него влажными,

блестящими глазами. — Ах, бедные мои дети, вы хотите скрасить такую жалкую жизнь! Безрассудные! Вы сами не знаете, что делаете! Я обречен на отчаяние, и несколько дней любви и благосостояния еще более заставят меня почувствовать ужас моей доли, когда эти чудные дни улетят.

— Я никогда не покину тебя, всегда буду твоей дочерью, всегда буду тебе служить! — воскликнула Консуэло, обнимая его за шею.

Порпора опустил свою плешивую голову на ноты и разрыдался. Консуэло и Иосиф тоже заплакали, а Келлер, из любви к музыке не хотевший уходить и, чтобы объяснить свое присутствие в передней, принявшийся приводить в порядок парик хозяина, увидев через полуоткрытую дверь эту раздирающую душу картину скорби маэстро, дочерней преданности Консуэло и захватившего Иосифа восторженного чувства к знаменитому старцу, выронил из рук гребень и, приняв в благоговейном умилении парик Порпоры за свой носовой платок, поднес его к глазам.

В продолжение нескольких дней Консуэло из-за простуды вынуждена была сидеть дома. Во все время своего длинного и полного приключений путешествия она не боялась перемены погоды, капризов осени, то знойной, то дождливой и хо-

лодной, в зависимости от местности, по которой они проходили. Легко одетая, в соломенной шляпе, не имея ни плаща, ни смены одежды, когда ей случалось попадать под дождь, она тем не менее ни разу даже не охрипла. Но едва она успела засесть в темную, сырую, плохо проветриваемую квартиру. Порпоры, как холод и недомогание ослабили ее энергию и повлияли на горло. Помеха эта очень раздражала Порпору. Он знал, что его ученице следовало торопиться, чтобы получить приглашение в итальянскую оперу, так как госпожа Тези, раньше стремившаяся ехать в Дрезден, теперь, казалось, начала колебаться, прельщенная настойчивыми просьбами Кафариэлло и блестящими предложениями Гольцбауэра, желавшего привлечь на императорскую сцену знаменитую певицу. С другой стороны, Корилла, лежа еще в постели из-за послеродовых осложнений, силилась с помощью друзей, найденных в Вене, склонить на свою сторону директора и ручалась, что в случае надобности сможет дебютировать уже через неделю. Порпора страстно желал, чтобы Консуэло получила приглашение и ради нее самой и ради успеха своей оперы, которую он надеялся провести на сцену вместе со своей ученицей.

Сама же Консуэло не знала, на что решиться. Взять на себя обязательство — значило отдалить минуту свидания с Альбертом, внести ужас и смятение в семью Рудольштадтов: те, конечно, не ожидали, что она снова появится на сцене. С их точки зрения это было бы равносильно отказу от чести войти в их семью, а для молодого графа это означало бы, что она предпочитает ему славу и свободу. С другой стороны, отказавшись от приглашения, она погубила бы последние надежды Порпоры, проявив, в свою очередь, такую неблагодарность, которая отравила бы ему жизнь, внесла бы в нее отчаяние, — словом, явилась бы для учителя ударом кинжала. Консуэло пугала необходимость сделать выбор: ведь любое решение наносило смертельный удар людям, дорогим ее сердцу; и ею овладевала мрачная тоска. Здоровый организм спас ее от серьезного недуга. Но в эти мучительные, страшные дни Консуэло, охваченная лихорадочной дрожью и тягостной слабостью, то сидя на корточках у жалкого огня, то бродя из одной комнаты в другую в хлопотах по хозяйству, жаждала тяжело заболеть, в надежде, что болезнь избавит ее от невыносимого положения.

Порпора, на время было просветлевший, снова

стал мрачным, раздражительным, несправедливым, как только увидел, что Консуэло — источник его надежд, поддержка его мужества — вдруг впала в уныние и нерешительность. Вместо того чтобы поддержать, ободрить девушку своим вдохновением, лаской, он относился к ней с болезненным раздражением, и это окончательно привело в ужас Консуэло. Старик, то безвольный, то буйный, то ласковый, то гневный, был снедаем той самой ипохондрией, которой вскоре суждено было погубить Жан-Жака Руссо: он всюду видел врагов, преследователей, неблагодарных, не замечая, что его подозрительность, его вспыльчивость и несправедливость вызывают и отчасти объясняют плохое к нему отношение людей, которых он в этом обвинял. Оскорбленные им сперва принимали его за сумасшедшего, затем объясняли его поступки злостью и наконец решали, что надо избавиться от него, обезопасить себя или даже отомстить ему. Между низким раболепством и угрюмой мизантропией есть нечто среднее, чего Порпора не понимал, да так никогда и не понял.

Консуэло, сделав несколько напрасных попыток и убедившись, что маэстро менее чем когда-либо склонен благословить ее на любовь

и брак, безропотно покорилась и уже не вызывала своего несчастного учителя на откровенные разговоры, которые только все более и более усиливали его предубеждение. Она перестала упоминать даже имя Альберта и готова была подписать всякий контракт, который будет угоден Порпоре. Оставаясь наедине с Иосифом, она открывала ему свою душу, и это приносило ей облегчение.

— Странная у меня судьба, — часто говорила она ему, — небо наделило меня талантом, душой, способной чувствовать искусство, потребностью к свободе, любовью к гордой, целомудренной независимости, но в то же время вместо холодного, свирепого эгоизма, который обеспечивает артистам силу, необходимую, чтобы пробить себе дорогу сквозь опасности и соблазны жизни, небесная воля вложила в мою грудь нежное, чувствительное сердце, бьющееся только для других, живущее только самопожертвованием. И вот под влиянием двух противоположных сил жизнь моя проходит втуне, и я никак не могу достичь цели. Если я рождена быть самоотверженной, пусть бог отнимет у меня склонность к поэзии, увлечение искусством и инстинкт свободы, превращающие мое самоотвержение в пытку, в муку. Если же

я рождена для искусства, для свободы, пусть он вынет из моего сердца жалость, чувство дружбы, заботливость, страх перед страданиями, причиняемыми другим, — словом, все то, что будет отравлять успех и мешать моей карьере.

— Если бы мне было позволено дать тебе совет, моя бедная Консуэло, — отвечал Гайдн, — я сказал бы: «Слушайся голоса своего таланта и заглуши голос сердца». Но теперь я хорошо узнал тебя, ты не сможешь этого сделать.

— Нет, не смогу! И, кажется, никогда не смогу! Но подумай, как я несчастна! Подумай, какая у меня сложная, странная и злосчастная судьба. Даже став на путь самоотвержения, я так запуталась, меня настолько раздирают противоречия, что я не могу идти туда, куда влечет меня сердце, не разбив этого сердца, жаждущего творить добро и правою и левою рукой. Посвяти я себя одному, я покидаю и обрекаю на гибель другого. У меня любимый муж, но я не могу быть его женой, ибо этим я убью моего любимого отца; с другой стороны, исполняя дочерний долг, я убиваю своего супруга! В Писании сказано: «Остави отца своего и матерь свою и следуй за мужем...» Но на самом деле я и не жена и не дочь. Закон не высказался относительно меня, и общество не позаботилось

о моей судьбе. Мое сердце само должно сделать выбор; однако в нем нет страстной любви, и при том положении, в каком я нахожусь, стремление к долгу и самопожертвованию не может руководить мною при выборе. Альберт и Порпора одинаково несчастны, обоим одинаково угрожает сумасшествие или смерть. Я одинаково необходима и тому и другому… Надо пожертвовать кем-либо из двух.

— А зачем? Выйди вы замуж за графа, почему бы Порпоре не жить подле вас? Таким образом вы бы вырвали его из лап нищеты, воскресили своими заботами и сразу проявили бы по отношению к обоим свое самопожертвование.

— О! Если бы это было возможным! Клянусь тебе, Иосиф, я отказалась бы и от искусства и от свободы! Но ты не знаешь Порпору, — он жаждет славы, а не благосостояния и беспечной жизни. Он живет в нищете, не замечая этого, страдает от нее, не зная, откуда идет это страдание. К тому же, постоянно мечтая о триумфах и поклонении, он не смог бы снизойти до того, чтобы примириться с чьим бы то ни было состраданием. Поверь мне, его бедственное положение в большей степени является следствием пренебрежения и гордости. Скажи он только слово, и у него найдутся друзья

и с радостью придут к нему на помощь. Но дело не только в том, что он никогда не обращал внимания на то, полон или пуст его карман (ты прекрасно видел, что это относится и к его желудку), — он предпочел бы, запершись в комнате, лучше умереть с голоду, чем пойти за милостями в виде обеда к своему лучшему другу. Ему казалось бы унизительным для музыки, если бы кто-нибудь мог заподозрить, что он, Порпора, нуждается в чем-либо, кроме своей гениальности, клавесина и пера. Вот почему посланник и его возлюбленная, которые так любят и почитают маэстро, даже не подозревают об его нужде. Они знают, что старик живет в небольшой невзрачной комнате, но думают, будто он поклонник сумрака и беспорядка. Ведь он сам говорит им, что не смог бы сочинять в другой обстановке. Я же знаю нечто совсем иное. Я видела, как он в Венеции влезал на крыши, ища вдохновения в небесах и шуме моря. Его принимают в потертом костюме, облезлом парике, продырявленных башмаках и считают, что так и надо. «Он любит неряшливость, — говорят люди, — это слабость стариков и артистов. Его лохмотья ему милы, а в новых башмаках, пожалуй, он и ходить не сумел бы». Порпора это подтверждает. А я в свои

детские годы видела его изысканно одетым, всегда надушенным, чисто выбритым, кокетливо потряхивающим над органом и клавесином кружевными манжетами. Но тогда он мог быть таким, никому не обязываясь. Так что Порпора никогда не согласился бы жить в праздности и безвестности где-то в Чехии, за счет своих друзей. Он не выжил бы и трех месяцев, не проклиная и не ругая всех, воображая, что существует заговор против его жизни и враги посадили его под замок, чтобы помешать ему издавать и ставить на театре свои произведения. Отряхнув прах от ног своих, он сбежал бы в одно прекрасное утро в свою мансарду, к своему изъеденному крысами клавесину, к своей пагубной бутылке и драгоценным манускриптам.

— А вы не предвидите возможности уговорить вашего графа Альберта переехать в Вену, в Венецию или в Дрезден, в Прагу — словом, в какой-нибудь музыкальный город? Ведь у вас будут огромные средства, и вы сможете поселиться где угодно, окружив себя музыкантами, заниматься искусством и предоставить тщеславию Порпоры свободу действий, не переставая заботиться о Нем. — Как можешь ты задавать мне подобный вопрос после того, как я рассказала тебе, какое

здоровье и характер у Альберта? Разве может вращаться в толпе злых и глупых людей, именуемой светом, человек, которому тягостно видеть равнодушное лицо! А с какой иронией, с какой холодностью и презрением отнесся бы свет к этому безупречно нравственному фанатику, ничего не понимающему ни в его законах, ни в его нравах, ни в его привычках. Альберта столь же опасно подвергать таким испытаниям, как и стараться, чтобы он позабыл меня, хотя я и пытаюсь это сейчас сделать.

— Однако любая беда покажется ему менее страшной, чем разлука с вами, уверяю вас. Если Альберт вас любит по-настоящему, он все перенесет. А если он не любит так сильно, чтобы все вынести и на все согласиться, он вас забудет.

— Вот почему я жду и ничего не решаю. Подбадривай меня, Беппо, и не оставляй меня, — пусть будет хоть одна душа, которой я могла бы излить свое горе и которую я могла бы просить помочь мне обрести надежду.

— О сестрица! Будь спокойна! — воскликнул Иосиф. — Если мне дано принести тебе хоть маленькое облегчение, я безропотно буду терпеть все вспышки Порпоры; готов даже выносить его побои, если это может отвлечь его от желания

мучить и огорчать тебя.

Разговаривая с Иосифом, Консуэло не переставала работать: готовила для всех обед, чинила тряпье Порпоры. Она добавила необходимую для маэстро мебель, приобретая незаметно одну вещь за другой. Прекрасное кресло, очень широкое и хорошо набитое волосом, заменило соломенный стул, на котором он давал отдых своим старческим, одряхлевшим костям. Сладко поспав в нем после обеда, он нахмурил брови и удивленно спросил, откуда взялось такое хорошее кресло.

— Хозяйка прислала его сюда; это старое кресло мешало ей, и я согласилась поставить его в угол, пока оно ей не понадобится.

Консуэло обновила также и тюфяки учителя, но он не сделал никаких замечаний относительно удобства кровати, сказав лишь, что последние ночи он стал гораздо лучше спать. Консуэло ответила, что это следует приписать кофе и воздержанию от водки. Однажды утром Порпора, надев превосходный шлафрок, с озабоченным видом спросил Иосифа, где он его разыскал. Иосиф, как было условленно с Консуэло, ответил, что, прибирая в старом сундуке, нашел на дне этот шлафрок.

— А я думал, что не привозил его сюда, — за-

метил Порпора. — Однако ж это тот самый, что был у меня в? Венеции, во всяком случае он того же цвета.

— А какой же еще? — вмешалась Консуэло, позаботившаяся о том, чтобы цвет нового шлафрока напоминал «покойный» венецианский.

— Но он мне казался более поношенным, — сказал маэстро, осматривая свои локти.

— Еще бы, — снова заговорила Консуэло, — я вставила новые рукава.

— А из чего же?

— Из подкладки.

— А! Женщины умеют из всего извлечь пользу…

Когда был принесен новый костюм и Порпора поносил его два дня, то, хотя костюм и был одного цвета со старым, маэстро удивился его свежести; особенно пуговицы, очень красивые, навели его на размышления.

— Это не мой костюм, — проворчал старик.

— Я велела Беппо отнести его в чистку: ты вчера вечером наделал на нем пятен. Его выутюжили, вот он и кажется более новым.

— Говорят тебе, это не мой костюм! — закричал Порпора, вспыхнув. Твой Беппо дурак! Мне подменили костюм.

— Его не могли подменить, я сделала на нем метку.

— А пуговицы? Не хочешь ли ты меня убедить, что и пуговицы те же?

— Я заменила их, сама пришила. Старые были совсем изношенные.

— Это твое воображение, они были еще очень хороши. Вот нелепость! Что я, селадон какой-нибудь, чтобы так рядиться и платить за пуговицы, наверное, не меньше двенадцати цехинов!

— Они и двенадцати флоринов не стоят, — возразила Консуэло, — я купила их по случаю.

— И это слишком много, — проворчал маэстро.

Вся одежда была подсунута маэстро таким же манером, при помощи ловких обманов, а Консуэло и Иосиф хохотали при этом, как дети. Несколько вещей проскользнуло незаметно благодаря озабоченности Порпоры; кружева и белье проникли тайком в его шкаф маленькими порциями, а когда он рассматривал их на себе с некоторым недоумением, Консуэло обыкновенно говорила, что это она так искусно все заштопала. Для большей правдоподобности она чинила у него на глазах кое-какое старье, а потом укладывала вместе с другими вещами.

— Ну вот что! — воскликнул однажды Порпора,

вырывая у нее из рук жабо, которое она штопала, — броська эти пустяки! Артистка не должна погрязать в домашнем хозяйстве, и я не желаю видеть, как ты, согнувшись в три погибели, сидишь с иглой в руках. Сейчас же спрячь, иначе я швырну все это в печку. Не хочу также видеть, как ты стряпаешь у плиты и вдыхаешь дым. Ты что, хочешь потерять голос? Хочешь стать судомойкой? Хочешь, чтобы я проклял себя?

— Не проклинайте себя, — ответила Консуэло, — вещи ваши теперь в порядке, а голос мой восстановился.

— В добрый час! — ответил маэстро. — В таком случае ты завтра поешь у графини Годиц, вдовы маркграфа Байрейтского.

Глава 87

Маркграфиня Байрейтская, вдова маркграфа ГеоргаВильгельма, урожденная княгиня Саксен-Вейсенфельд, а во втором браке графиня Годиц, «была когда-то хороша, как ангел. Но с тех пор она очень изменилась, и надо было чрезвычайно внимательно всматриваться в ее лицо, чтобы найти следы былой прелести. Она отличалась высоким ростом и, по-видимому, обладала когда-то хорошей фигурой. Чтобы сохранить ее, она сделала несколько выкидышей, убив своих детей в зародыше. У нее было длинное лицо и длинный нос, который ее очень безобразил, — графиня его отморозила, и он приобрел весьма неприятный цвет, напоминающий бурак. Ее большие карие глаза с красивым разрезом были унылы и утратили прежнюю живость. За неимением бровей она носила накладные, очень густые и черные, как чернила. Рот большой, но приятный и красивой формы, зубы ровные, белые, точно слоновая кость; кожа на лице, хоть и гладкая, все же дряблая и серо-желтая. Вид у маркграфини был добродушный, но несколько жеманный. То была

Лаиса своего века. Нравилась она только своей наружностью, ума же у нее не было и тени».

Если, дорогой читатель, вы найдете, что портрет сделан несколько жестоко и цинично, не пеняйте на меня. Он слово в слово написан собственной рукой принцессы, известной своими несчастьями, своими семейными добродетелями, своей гордостью и злостью, принцессой Вильгельминой Прусской, сестрой Фридриха Великого и женой наследного принца Байрейтского, племянника нашей графини Годиц. У принцессы был самый злой язык из всех когда-либо порожденных королевской кровью, но вообще ее портреты написаны мастерски, и, читая их, трудно им не верить.

Консуэло, причесанная Келлером и одетая благодаря его усердию и заботам с элегантной простотой, вошла с Порпорой в салон маркграфини, и оба уселись за клавесином, стоявшим в углу, чтобы не стеснять общество. Порпора оказался настолько пунктуален, что в салоне еще никого не было и лакеи зажигали последние свечи. Маэстро стал пробовать клавесин, но не успел он взять несколько аккордов, как в салоне появилась удивительно красивая дама и подошла к нему с приветливой грацией. Порпора поклонился ей с

большим почтением и назвал ее принцессой, а Консуэло приняла ее за маркграфиню и, согласно обычаю, поцеловала ей руку. Холодная, бледная рука принцессы пожала руку девушки с сердечностью, редко встречаемой среди великих мира сего, и молодая дама сразу пленила сердце Консуэло. Принцесса казалась на вид лет тридцати. Фигура ее была изящна, но не совсем правильна; в ней замечалось даже некоторое искривление — по-видимому, следствие тяжких физических страданий. Она была очень хороша собою, но ее преждевременно поблекшее скорбное лицо было бледно до чрезвычайности. Туалет ее был очень изящен, но прост и до суровости благопристоен. Все ее прекрасное существо дышало добротой, грустью и робкой стыдливостью, а в голосе слышались кротость и нежность, тронувшие Консуэло. Прежде чем юная певица сообразила, что ошиблась, появилась настоящая маркграфиня. Ей было за пятьдесят, и если портрет, помещенный в начале этой главы и набросанный за десять лет до описываемых событий, был сильно преувеличен, то этого никак нельзя было сказать в то время, когда ее увидела Консуэло. Даже при большой доброжелательности трудно было поверить, что графиня Годиц слыла когда-то одной из красавиц

Германии, хотя она и гримировалась и одевалась с умелым, очень изысканным кокетством. Со зрелым возрастом формы ее расплылись, но маркграфиня упорно не замечала этого и продолжала выставлять напоказ обнаженную грудь и плечи с гордостью, подобающей разве античной статуе. Голова ее была убрана цветами, бриллиантами и перьями, как у молодой женщины, а наряд сверкал драгоценными камнями.

— Мама, — проговорила принцесса, введшая в заблуждение Консуэло, — вот молодая особа, о которой нам говорил Порпора; она доставит нам удовольствие и Даст возможность послушать чудную музыку его новой оперы.

— Но это еще не основание для того, чтобы вы держали ее так за руку, — ответила маркграфиня, оглядывая Консуэло с головы до ног. — Ступайте, сударыня, и садитесь у клавесина! Рада вас видеть; вы нам споете, когда все общество будет в сборе. Маэстро Порпора, приветствую вас! Прошу меня извинить, если я не займусь вами: я только сейчас заметила, что в моем туалете кое-чего не хватает. Дочь моя, побеседуйте немного с маэстро Порпорой; это человек большого таланта, я его уважаю.

Проговорив это хриплым, словно у солдата,

голосом, толстая маркграфиня тяжеловесно повернулась и удалилась в свои покои. Не успела она выйти, как ее дочь, принцесса, подошла к Консуэло и снова с чувствительной, трогательной благосклонностью взяла ее за руку, как бы желая показать, что она протестует против грубости матери. Затем она стала беседовать с Консуэло и Порпорой, простым и милым обхождением выказывая свой интерес к этой беседе. Консуэло тем более тронул этот ласковый прием, что при появлении некоторых лиц она заметила в обращении принцессы холодность и сдержанность, застенчивую и в то же время гордую, от которой она, очевидно, отрешилась исключительно для маэстро и его ученицы.

Когда салон был почти полон, вошел обедавший вне дома парадно одетый граф Годиц и, словно посторонний, подошел к своей благородной супруге, осведомился о ее здоровье и поцеловал у нее руку. Маркграфиня имела слабость считать себя особой нежного сложения. Она полулежала на кушетке, поминутно нюхая флакон с солями. Приветствовала и принимала гостей она с видом, казавшимся ей томным, а в сущности, пренебрежительным; короче говоря, она была настолько смешна, что Консуэло, снача-

ла возмущенная ее грубостью, кончила тем, что в душе стала потешаться над нею и собиралась от души похохотать, описывая ее своему другу Беппо.

Принцесса подошла к клавесину и при каждом удобном случае, когда мать не глядела на нее, обращалась к Консуэло то с каким-нибудь замечанием, то с улыбкой. Благодаря этому Консуэло уловила сценку, раскрывшую ей тайну сокровенных семейных отношений. Граф Годиц подошел к падчерице, взял ее руку, поднес к губам и продержал так несколько секунд, очень выразительно при этом смотря на нее. Принцесса отдернула руку, сказав несколько холодных, учтивых слов. Граф пропустил их мимо ушей, но не спускал глаз с падчерицы.

— Ну что, мой прекрасный ангел, — проговорил он, — все так же грустна, все так же сурова, все так же недоступна? Можно подумать, что вы собираетесь идти в монастырь!

— Очень возможно, что там я и кончу свои дни, — вполголоса ответила принцесса. — Светское общество отнюдь не внушило мне большого влечения к его утехам.

— Общество боготворило бы вас, было бы у ваших ног, если бы только вы не стремились своей

суровостью держать его на расстоянии. Что же касается монастыря — неужели в ваши годы и с вашей красотой вы могли бы примириться с его ужасами?

— В годы, когда я была веселее и красивее, чем ныне, — ответила она, — я выносила ужас более суровой неволи, разве вы забыли? Однако, граф, прекратите разговор со мной: мама смотрит на вас.

Граф немедля покинул свою падчерицу, подошел к Консуэло и с важностью поклонился ей; потом, сказав ей несколько слов о музыке вообще, он открыл ноты, положенные Порпорой на клавесин, и, притворившись, будто ищет какое-то место, по поводу которого хочет получить от нее объяснение, нагнулся над пюпитром и тихо проговорил:

— Вчера утром я видел дезертира, и жена его передала мне вашу записку. Я прошу красавицу Консуэло забыть некую встречу, а взамен ее молчания я забуду некоего Иосифа, только что замеченного мной в передней.

— Некий Иосиф — талантливейший артист; ему недолго еще оставаться в передней, — ответила Консуэло. — Он мой брат, мой товарищ, мой друг. Мне нечего краснеть за свои чувства к нему

и нечего скрывать в этом отношении. Единственно, о чем я могу молить ваше сиятельство, это быть немного снисходительным к моему голосу и оказать небольшое покровительство Иосифу в будущих его музыкальных дебютах.

Замеченные Консуэло ревность и супружеское иго, довлевшие над графом, успокоили девушку относительно последствий приключения в Пассау.

— Моя поддержка Иосифу обеспечена, а вашим чудесным голосом вы уже привели меня в восторг. Но я льщу себя надеждой, что некая шутка с моей стороны никогда не была принята вами всерьез.

— Я не тщеславна, господин граф, а к тому же знаю, что женщине не следует хвалиться, когда она стала предметом подобной шутки.

— Оставим это, синьора, — сказал в заключение граф; вдовствующая маркграфиня не спускала с него глаз, и ему не терпелось переменить собеседницу, чтобы не возбудить подозрений супруги. — Надеюсь, что знаменитая Консуэло сумеет простить веселую шутку, допущенную мною в путешествии, а в будущем она может рассчитывать на уважение и преданность графа Годица.

Он положил ноты обратно на клавесин и направился, улыбаясь с приторной любезностью, навстречу особе, о которой доложили с большой торжественностью. В комнату вошел маленький человечек, которого можно было принять за переодетую женщину, до того он был румян, завит, разодет, мил и надушен. Именно о нем Мария-Терезия говорила, что хотела бы оправить его в перстень; о нем же она сказала, что сделала из него дипломата, не имея возможности сделать что-либо лучшее. То был всесильный первый министр Австрии, любимец и даже, как уверяли, возлюбленный императрицы, — короче говоря, не кто иной, как знаменитый Кауниц, государственный муж, который держал в своей белой руке, украшенной многоцветными перстнями, все хитроумные нити европейской политики.

Он, казалось, с серьезным видом выслушивал так называемых серьезных людей, подходивших к нему потолковать о серьезных делах. Но вдруг он прервал свою речь на полуслове.

— Кто это там у клавесина? — спросил он графа Годица. — Не та ли это девочка, о которой мне говорили, любимица Порпоры? Бедняга Порпора! Мне бы хотелось что-нибудь сделать для него, но он так требователен, так взбалмошен; все

артисты или боятся, или ненавидят его. Когда заговоришь о нем, то словно показываешь голову Медузы. Одному он говорит, что тот поет фальшиво, другому — что его произведения никуда не годятся, третьему — что успехом он пользуется только благодаря интригам. И он хочет, чтобы с таким ехидным языком его слушали и отдавали справедливость его таланту! Черт возьми! Не в лесной же глуши мы живем! Откровенность у нас не в моде, и с правдой далеко не уедешь. А девочка эта совсем недурна, мне нравятся такие лица. Она совсем юная, не правда ли? Говорят, она пользовалась большим успехом в Венеции. Порпора должен привести ее завтра ко мне.

— Он хочет, чтобы вы дали ей возможность спеть в присутствии императрицы, — сказала принцесса, — и я надеюсь, вы не откажете ему в такой милости. Я лично тоже прошу вас об этом.

— Нет ничего легче, как устроить, чтобы ее послушала императрица, а раз ваше высочество желает, я постараюсь посодействовать ей. Но в театре есть некто более могущественный, чем императрица. Это госпожа Тези! И если бы даже императрица взяла эту девушку под свое покровительство, я сомневаюсь, чтобы условие было подписано без верховного одобрения Тези. — Го-

ворят, вы ужасно балуете этих дам, господин граф, и если бы вы не были столь снисходительны, они не пользовались бы такой властью.

— Что поделаешь, принцесса! Каждый — хозяин в своем доме. Ее величество прекрасно понимает, что, вмешайся она в дела оперы со своими указами, там все пошло бы вкривь и вкось. А ее величество желает, чтобы опера была хороша и доставляла всем удовольствие; но возможно ли это, если у примадонны в день дебюта объявится насморк, а тенор, вместо того чтобы в сцене примирения броситься в объятия баса, даст ему пощечину! Довольно с нас и того, что мы ублажаем господина Кафариэлло. Мы счастливы с тех пор, как госпожа Тези и госпожа Гольцбауэр ладят между собой. Если нам бросят на театральные подмостки яблоко раздора, это окончательно смешает наши карты.

— Но третий женский голос совершенно необходим, — заметил венецианский посланник, горячо покровительствовавший Порпоре и его ученице, — и вот появляется дива…

— Если она дива, тем хуже для нее. Она возбудит зависть госпожи Тези, — ведь и та дива и желает быть единственной. Приведет она в бешенство и госпожу Гольцбауэр, также жаждущую быть

дивой…

— Ну, ей-то далеко до этого, — вставил посланник.

— Но она очень хорошего происхождения. Это особа из знатной семьи, лукаво заметил г-н Кауниц.

— Во всяком случае она не в состоянии взяться сразу за две роли. Так что ей придется предоставить какому-нибудь меццо-сопрано исполнять в операх ее партии.

— У нас есть некая Корилла, предлагающая свои услуги, красивейшее существо в мире.

— Ваше сиятельство уже видели ее?

— В первый же день ее приезда. Но слышать ее не слышал: она была больна.

— Вы сейчас услышите ученицу Порпоры и, не задумываясь, отдадите ей предпочтение.

— Очень возможно. И признаюсь даже, что ее лицо менее красивое, чем у той, мне кажется более приятным. У нее очень кроткий и приличный вид. Но мое предпочтение ничего не даст бедняжке! Ей надо понравиться госпоже Тези, не раздражая в то же время госпожу Гольцбауэр, а до сих пор, несмотря на нежнейшую дружбу этих двух дам, все, что одобряла одна, энергично отвергала другая.

— Да, трудное решение! Тяжкая задача! — проговорила несколько иронически принцесса, видя, какое значение придают два государственных мужа закулисным интригам. — Наша маленькая любимица против госпожи Кориллы. Бьюсь об заклад, что господин Кафариэлло положит свою шпагу на одну из чашек весов. Когда Консуэло спела, все в один голос заявили, что со времен г-жи Гассе не слыхали ничего подобного, а г-н фон Кауниц, подойдя к ней, торжественно произнес:

— Сударыня, вы поете лучше госпожи Тези. Но да будет это сказано вам всеми нами по секрету, ибо, если подобное мнение выйдет за пределы этого дома, вы пропали: вам в этом сезоне не дебютировать у нас. Будьте же осторожны, очень осторожны, — прибавил он, понижая голос и усаживаясь подле нее. — Придется вам преодолеть большие препятствия, и победительницей вы можете стать, только проявив много ловкости.

Тут великий Кауниц, входя во все подробности театральных интриг и вводя Консуэло до мелочей во все треволнения труппы, прочел ей целый трактат дипломатической науки в применении к закулисному миру.

Консуэло слушала его, широко открыв от удивления свои большие глаза, и так как в течение

своей речи он раз двадцать повторил «моя последняя опера», «опера, поставленная мной месяц тому назад», то она вообразила, что, верно, ослышалась, когда о нем докладывали, и лицо, столь посвященное в перипетии театральной карьеры, должно быть, директор оперного театра или модный маэстро. Благодаря этому она почувствовала себя непринужденно и стала говорить с ним, как с человеком своей профессии. Непринужденность придала ей больше наивности и хорошего расположения духа, чем дозволило бы почтение, подобающее имени всесильного первого министра. Г-н фон Кауниц нашел ее очаровательной. В течение целого часа он занимался исключительно ею. Маркграфиня была в большом негодовании от подобного нарушения приличий. Она ненавидела вольность больших дворов, привыкнув к церемонной торжественности малых. Но изображать маркграфиню у нее больше не было никакой возможности: она перестала ею быть. Императрица допускала ее к себе и даже обходилась с ней довольно благосклонно, оттого что маркграфиня отреклась от лютеранства и перешла в католичество. Такой лицемерный поступок при австрийском дворе извинял всякий неравный брак, даже всякое

преступление. В этом отношении Мария-Терезия следовала примеру отца и матери, принимавших всех, кто, желая избежать преследования и глумления в протестантской Германии, переходил в лоно римской церкви. Но хоть маркграфиня и стала католичкой, она ничего не значила в Вене, а фон Кауниц был все.

Как только Консуэло пропела третью арию, Порпора, хорошо знакомый с этикетом, сделал ей знак, свернул ноты и вышел вместе с ней через маленькую боковую дверь, не обеспокоив своим уходом благородных особ, соблаговоливших внимать ее божественному пению.

— Все идет как по маслу, — проговорил маэстро, потирая руки, когда они очутились на улице в сопровождении Иосифа, несшего факел, — Кауниц, старый дурак, знает толк в музыке; благодаря ему ты далеко пойдешь!

— А кто он такой, этот Кауниц? Я его не видела, — сказала Консуэло.

— Как не видела, путаная голова? Да ведь он с тобой говорил больше часа.

— Не тот ли маленький человечек в розовом жилете с серебром, наболтавший мне столько сплетен, что мне казалось, будто я слушаю старую билетершу?

— Он самый. Что же тут удивительного?

— А я нахожу это очень удивительным, — ответила Консуэло, — у меня было совсем иное представление о государственных людях.

— Потому что ты не видишь, как движется государственная машина, а если бы ты видела, то удивилась бы, как могут государственные люди быть чем-либо иным, кроме старых сплетниц. Ну, не будем больше об этом говорить — займемся лучше нашим ремеслом на этом маскараде шутов. — Увы, маэстро, — задумчиво промолвила девушка, пересекая большую площадь у вала и направляясь к своему убогому жилищу, — я как раз спрашиваю себя: во что обращается наше ремесло среди этих равнодушных и лживых масок?

— А во что ты хочешь, чтобы оно обратилось? — возразил Порпора своим резким, отрывистым голосом. — Оно не может обратиться ни в то, ни в иное: при любых условиях, счастливых или тяжелых, торжествующее или презираемое, оно всегда остается самим собою — самым прекрасным, самым благородным ремеслом на земном шаре.

— О да! — сказала Консуэло, беря учителя под руку и замедляя его обычно торопливый шаг. — Я понимаю, что величие и достоинство нашего

искусства не могут быть ни унижены, ни возвышены из-за легкомысленных или безвкусных капризов, которые управляют миром; но почему позволяем мы унижать свою личность, почему подвергаем себя презрению профанов или их поощрению, порой еще более унизительному? Раз искусство священно, не священны ли и мы, его жрецы и левиты? Почему не живем мы в своих мансардах, радуясь, что понимаем и умеем чувствовать музыку, зачем нужно бывать в их салонах, где нас слушают, перешептываясь, где нам аплодируют, думая о другом, и где стыдятся признать нас хоть на минуту людьми, после того как мы перестали фиглярничать, точно скоморохи?

— Эх! Эх! — проговорил Порпора, останавливаясь и стуча палкой по мостовой. — Что за глупое тщеславие, что за ложные идеи бродят нынче у тебя в голове! Что мы такое и зачем нам быть чем-либо иным, а не скоморохами? Они так зовут нас из презрения. А не все ли равно? Ведь мы скоморохи по склонности, по призванию, по воле неба, — точно так же, как они вельможи по прихоти случая, по принуждению или по выбору дураков! Ну да! Скоморохи! А это не каждому дано! Ну-ка, пусть попробуют: посмотрим, как они за это возьмутся, эти пигмеи, воображающие себя

невесть чем! Пусть-ка маркграфиня Байрейтская облечется в плащ трагической актрисы, обует свои уродливые толстые ножищи в котурны и сделает два-три шага на сцене, — воображаю, что за странную принцессу увидим мы пред собой! А что, ты думаешь, она делала при своем маленьком дворе в Эрлангене в те времена, когда воображала, будто царствует там? Она изображала королеву и лезла из кожи вон, чтобы играть роль, которая была ей не по силам. Рождена она маркитанткой, а по странной случайности судьба сделала из нее высочество. И что же? Она заслужила тысячу свистков, изображая высочество навыворот. А тебя, глупое дитя, бог сотворил королевой! Он возложил на твое чело венец красоты, разума и силы. Очутись ты среди народа свободного, разумного, чуткого (предположим, что такой существует) — и ты королева, ибо тебе стоит лишь появиться и спеть, чтобы доказать, что ты королева милостью божьей. Но все это не так. Мир устроен иначе. Он таков, каков есть; что с этим поделаешь? Знай: им управляют каприз, заблуждение и безумие. Разве мы можем это изменить? Большинство повелителей безобразно, бесчестно, глупо и невежественно. Вот и нужно либо покончить с собой, либо приспособиться к

такому положению вещей. Не имея возможности быть монархами, мы становимся актерами и — царствуем! Мы передаем язык небес, недоступный простым смертным, мы облекаемся в одежды царей и великих людей, выходим на подмостки, восседаем на бутафорском троне, разыгрываем комедию. Мы скоморохи! Клянусь богом, свет все видит и ничего не смыслит. Он не замечает, что мы настоящие владыки земли и только наше царство истинно, в то время как их царство, их могущество, их деятельность, их величие — пародия, над которой смеются ангелы на небе, а народы ненавидят и втихомолку проклинают. Самые могущественные монархи приходят смотреть на нас, учиться в нашей школе и, восхищаясь нами в душе, как образцом истинного величия, стараются подражать нам, когда появляются потом перед своими подданными. Да, мир выворочен наизнанку; это прекрасно чувствуют те, кто им повелевают, и если они не вполне отдают себе в этом отчет, если они в этом не признаются, то нетрудно заметить по их презрению к нам и нашему ремеслу, что они чувствуют инстинктивную зависть к нашему действительному превосходству. О! Когда я бываю в театре, мне все становится ясно! Музыка

открывает мне глаза, и я вижу за рампой настоящий двор, настоящих героев, великие порывы, в то время как истинные скоморохи и жалкие комедианты с важностью восседают в ложах на бархатных креслах. Свет — комедия, вот что несомненно; и вот почему я говорил тебе сию минуту: благородная дочь моя, пройдем с достоинством через этот жалкий маскарад, именуемый светом… Черт побери этого дурака! — закричал маэстро, отталкивая Иосифа, который, страстно желая услышать восторженную речь учителя, незаметно приблизился и толкнул его локтем.

— Он наступает мне на ноги, заливает меня смолой своего факела! Пожалуй, подумаешь, что он понимает, о чем мы говорим, и хочет почтить нас своим одобрением!

— Иди справа от меня, Беппо, — сказала девушка, делая Гайдну знак. Ты своей неловкостью выводишь из себя маэстро. — И, обращаясь к Порпоре, продолжала: — Все, что вы говорите, друг мой, — благородный бред. Это ничего не поясняет мне, а опьянение гордостью не облегчает даже самой маленькой сердечной раны. Меня мало трогает, что, родившись королевой, я не царствую. Чем больше я вижу великих мира сего, тем больше внушают они мне сожаления.

— Ну, не то ли я тебе говорил?

— Да, но не об этом я вас спрашивала. Они жаждут что-то изображать собой и властвовать. В этом их безумие и их ничтожество. Но раз мы выше, лучше и умнее их, зачем же противопоставляем мы свою гордость их гордости, свою царственность их царственности? Если мы обладаем достоинствами более значительными, если владеем сокровищами более завидными и более драгоценными, к чему ведем мы с ними эту жалкую борьбу, ставя нашу доблесть и наши силы в зависимость от их капризов, зачем низводим себя до их уровня?

— Этого требуют достоинство, святость искусства, — воскликнул маэстро, — они превратили подмостки, именуемые миром, в поле сражения, а нашу жизнь — в мученичество. И вот мы должны сражаться, должны проливать кровь из всех наших пор, чтоб доказать им, умирая в муках, изнемогая от их свистков и презрения, что мы — боги или по меньшей мере законные короли, а они — подлые смертные, наглые и низкие узурпаторы!

— О маэстро, как вы их ненавидите! — воскликнула удивленная Консуэло, дрожа от ужаса. — А между тем вы склоняетесь перед ними, льстите

им, щадите их и удаляетесь из салона через маленькую боковую дверь, почтительно подав им два или три блюда вашей гениальности.

— Да, да, — ответил маэстро, потирая руки с горьким смехом, — я насмехаюсь над ними, раскланиваюсь перед их бриллиантами и орденами, подавляю их двумя или тремя своими аккордами и поворачиваю им спину в восторге, что могу уйти, спеша избавиться от их глупых физиономий.

— Итак, — снова заговорила Консуэло, — значит, апостольская миссия искусства — битва?

— Да, битва: слава храброму!

— Насмешка над дураками?

— Да, насмешка: слава умному человеку, умеющему сделать ее кровавой!

— Средоточие гнева, непрерывная злоба?

— Да, и гнев и злоба: слава энергичному человеку, который поддерживает их в себе непрестанно и никогда не прощает!

— И ничего больше?

— Ничего больше в этой жизни! Слава для истинного гения приходит только после смерти.

— Ничего больше в этой жизни? Уверен ли ты в этом, маэстро?

— Я уже сказал тебе!

— В таком случае это очень мало, — вздохнув,

промолвила Консуэло и подняла глаза к звездам, блестевшим в чистом голубом небе.

— Как очень мало? Ты смеешь говорить, жалкая душа, что этого мало?

— закричал Порпора, снова останавливаясь и с силой тряся руку ученицы, в то время как Иосиф от страха выронил факел.

— Да, мало, — спокойно и твердо ответила Консуэло, — я уже говорила вам то же самое в Венеции при очень для меня тяжелых и решающих для моей жизни обстоятельствах. С тех пор я не переменила мнения. Мое сердце не создано для борьбы, оно не может вынести тяжесть ненависти и гнева. В душе моей нет уголка, где могли бы приютиться злопамятство и месть. Прочь, злобные страсти! Подальше от меня, пламенные волнения! Если я могу добиться славы и гениальности, только отдав свою душу, то прощайте навсегда, гениальность и слава! Венчайте лаврами другие головы, воспламеняйте другие сердца! От меня вы не получите даже сожаления!

Иосиф, ожидая, что Порпора разразится, как всегда, когда ему долго противоречили, ужасной и в то же время комичной вспышкой гнева, уже схватил Консуэло за руку, чтобы отдернуть ее от учителя и предохранить от одного из тех

яростных жестов, какими тот часто грозил ей, но которые, правда, никогда ничем не кончались… кроме улыбки или слез. Однако и этот шквал пронесся, подобно другим. Порпора топнул ногой, глухо прорычал, как старый лев в клетке, сжал кулаки, в запальчивости подняв их к небу, потом сейчас же опустил руки, тяжело вздохнул, склонил голову на грудь и зашагал по направлению к дому, упорно храня молчание. Отважное спокойствие Консуэло, ее стойкое прямодушие невольно внушили ему уважение. Он, быть может, с горечью задумывался над своим поведением, но не хотел сознаться: слишком он был стар, слишком была уязвлена, ожесточена его артистическая гордость, чтобы он мог стать другим. И только когда Консуэло поцеловала его, пожелав покойной ночи, он с глубокой грустью посмотрел на нее и проговорил упавшим голосом:

— Итак, все кончено! Ты больше не артистка, потому что маркграфиня Байрейтская — старая негодяйка, а министр Кауниц — старая сплетница!

— Нет, маэстро, я этого вовсе не говорила, — ответила, смеясь, Консуэло, — я сумею весело отнестись к грубым и смешным сторонам света; для этого мне не надо ни досады, ни ненависти,

довольно моей чистой совести и хорошего расположения духа. И теперь и всегда я буду артисткой. Я вижу другую цель, другое назначение искусства, чем соревнование в гордости и месть за унижение. У меня иная побудительная причина, и она меня поддержит.

— Но какая же, какая? — закричал Порпора, ставя на стол в передней подсвечник, поданный Иосифом. — Я хочу знать: какая?

— Моя побудительная причина — заставить людей понять искусство, полюбить его, не возбуждая страха и ненависти к личности артиста.

Порпора, пожал плечами.

— Юношеские мечты, они были знакомы и мне! — проговорил старик.

— Ну, если это мечта, — возразила Консуэло, — то торжество гордости также мечта, и из двух я предпочитаю свою. Затем у меня есть еще вторая побудительная причина — желание слушаться тебя, угождать тебе.

— Ничему, ничему не верю! — закричал Порпора, беря сердито подсвечник и поворачиваясь к девушке спиной; но уже взявшись за ручку своей двери, он вернулся и поцеловал Консуэло, которая, улыбаясь, ожидала этого.

В кухне, примыкавшей к комнате Консуэло,

была маленькая лестница, ступеньки ее вели на крышу к крошечной террасе в шесть квадратных футов. Тут Консуэло, выстирав жабо и манжеты Порпоры, обычно сушила их. Сюда же она взбиралась иногда вечером поболтать с Иосифом, когда учитель рано засыпал, а ей еще не хотелось спать. Не имея возможности заниматься в своей комнате, слишком низкой и тесной, чтобы поставить в ней стол, и боясь, расположившись в передней, разбудить своего старого друга, она взбиралась на террасу помечтать в одиночестве, глядя на звезды, или поведать своему товарищу» такому же самоотверженному и покорному рабу, как она сама, о маленьких происшествиях дня. В тот вечер им было о чем рассказать друг другу. Консуэло закуталась в плащ, накинула на голову капюшон, чтобы не простудить гордо, и поднялась к Беппо, ожидавшему ее с великим нетерпением. Их ночные беседы на крыше напоминали ей разговоры с Андзолето в детстве. Правда, луна была не такая, как в Венеции, не было и живописных венецианских крыш, ночей, пылающих любовью и надеждой; то была немецкая ночь, мечтательная, холодная немецкая луна — туманная, суровая, — словом, здесь была нежная и благодетельная дружба без

опасностей и трепета страсти.

Когда Консуэло рассказала все, что ее заинтересовало, оскорбило и позабавило у маркграфини, наступил черед говорить Иосифу.

— Ты из придворных тайн видела только конверты и печати с гербами, — начал он, — но так как лакеи имеют обыкновение читать письма своих господ, то в передней я узнал содержание жизни великих мира сего. Не стоит тебе передавать и половины злословия, излитого на вдовствующую маркграфиню. Ты содрогнулась бы от ужаса и отвращения. Ах! Если бы светские люди знали, как о них отзываются лакеи! Если бы в этих великолепных салонах, где они важно, с таким достоинством восседают, они услышали, что говорится за стеной об их нравах, об их душевных свойствах! Когда Порпора только что на валу развивал перед нами свою теорию борьбы и ненависти против великих мира сего, он был не совсем на высоте. Горести помутили его рассудок. Ах! Как ты права: он действительно унижает свое достоинство, ставя себя на одну доску с этими вельможами и воображая, что подавляет их своим презрением! Да, маэстро не слышал злословия лакеев в передней, а не то он понял бы, что личная гордость и презрение к другим,

прикрытые внешним почтением и покорностью, свойственны душам низким и развращенным. Но Порпора был очень хорош, очень своеобразен, очень мужествен, когда, стуча палкой по мостовой, кричал: «Мужество! Ненависть! Бичующая ирония! Вечное мщение!» Твоя же мудрость была прекраснее его бреда, и она тем более поразила меня, что я только что перед тем слышал, как лакеи — угнетенные, развращенные, робкие рабы — тоже жужжали мне в уши с глубокой ненавистью: «Мщение, хитрость, вероломство, вечная злоба, вечная ненависть — вот чего достигают наши хозяева, которые мнят, будто они выше нас, разоблачающих их мерзости!» Я никогда не был лакеем, Консуэло, но раз став им (подобно тому, как ты стала мальчиком во время нашего путешествия), я, как видишь, поразмыслил над обязанностями, каких требует мое теперешнее положение.

— И хорошо поступил, Беппо, — ответила Порпорина. — Жизнь — большая загадка, и не надо пропускать ни одного мельчайшего факта, не объяснив себе его и не поняв. Так познается жизнь. А скажи мне, узнал ли ты что-нибудь относительно принцессы, дочери маркграфини, единственной среди всех этих жеманных, накрашенных и

легкомысленных особ, которая показалась мне естественной, доброй и серьезной?

— Слыхал ли я о ней? Конечно! И не только сегодня вечером, но и раньше, много раз от Келлера, который причесывает экономку принцессы и знает много кое-чего об ее хозяйке. То, что я тебе расскажу, не сплетни передней, не лакейское злословие — это истинная, всем известная, но страшная история; хватит ли у тебя мужества ее выслушать?

— Да, меня интересует эта женщина, она носит на челе печать злого рока. Я услышала из ее уст несколько слов, из которых заключила, что она жертва людской несправедливости.

— Лучше скажи: жертва подлости и ужасающей извращенности! Принцесса Кульмбахская (это ее титул) была воспитана в Дрездене своей теткой, польской королевой; там Порпора с ней познакомился и, кажется, даже давал ей уроки, так же как и ее двоюродной сестре, великой дофине Франции. Юная принцесса Кульмбахская была красива и умна. Воспитанная строгой королевой вдали от распутной матери, она, казалось, должна была всю свою жизнь прожить счастливой, уважаемой женщиной. Но вдовствующая маркграфиня, ныне графиня Годиц, не пожелала этого.

Она вызвала дочь к себе и вздумала сватать ее то за одного родственника, тоже маркграфа Байрейтского, то за другого — принца Кульмбахского, ибо это княжество — Байрейт-Кульмбах — насчитывает больше принцев и маркграфов, чем подвластных деревень и замков. Но сватовство было только притворством. Красота и целомудрие принцессы возбудили в ее матери ужасную зависть. Ей хотелось унизить дочь, отнять у нее любовь и уважение отца, Георга-Вильгельма (третьего маркграфа), — не моя уж вина, если их так много в этой истории. Однако среди всех этих маркграфов для принцессы Кульмбахской не нашлось ни одного. Тогда мать обещала одному придворному своего мужа, Вобсеру, четыре тысячи дукатов в награду за то, что он обесчестит ее дочь, и сама ввела этого негодяя ночью в комнату принцессы. Слуги были предупреждены и подкуплены, дворец оказался глух к воплям девушки, мать держала дверь… Консуэло, ты содрогаешься, а между тем это еще не все. Принцесса Кульмбахская родила близнецов. Маркграфиня взяла их на руки, показала своему супругу и пронесла по всему дворцу, крича: «Смотрите все, эта развратница произвела на свет вот этих детей!» Во время этой ужасной сцены близнецы погиб-

ли почти на руках маркграфини. Вобсер имел неосторожность написать маркграфу, требуя от него четыре тысячи дукатов, обещанных ему маркграфиней. Он ведь заработал их, обесчестив принцессу! Несчастный отец, уже и так наполовину идиот, тут окончательно превратился в слабоумного и вскоре после этой катастрофы умер от ужаса и горя. Вобсеру пригрозили другие члены семьи, и он сбежал. Польская королева приказала заключить принцессу Кульмбахскую в Плассенбургскую крепость. Едва оправившись после родов, она была туда водворена, провела в суровом заключении несколько лет и поныне оставалась бы в заточении, если бы католические священники, пробравшись в тюрьму, не обещали ей покровительства императрицы Амелии при условии отречения принцессы от лютеранства. Жажда вернуть себе свободу заставила принцессу уступить их увещеваниям. Но полную свободу она получила только после смерти польской королевы. Своей независимостью она прежде всего воспользовалась для того, чтоб вернуться к вере своих отцов. Молодая маркграфиня Байрейтская, Вильгельмина Прусская, оказала ей радушный прием при своем маленьком дворе. Здесь принцесса благодаря своим добродетелям,

кротости и уму заслужила всеобщее уважение. Душа ее разбита, но все еще прекрасна. Несмотря на то, что принцесса, как лютеранка, не пользуется благосклонностью венского двора, никто не смеет издеваться над ее несчастьем. Никто, даже лакеи, не решается злословить о ней. Здесь она проездом по какому-то делу, постоянная же ее резиденция — Байрейт.

— Вот почему, — заметила Консуэло, — она столько говорила мне об этом городе и так уговаривала поехать туда. О! Какая история, Иосиф! И что за женщина графиня Годиц! Никогда, никогда больше Порпора не затащит меня к ней, никогда больше не буду я для нее петь!

— Тем не менее там можно встретить самых непорочных, самых уважаемых придворных дам. Так уж, говорят, повелось в мире. Имя и богатство все покрывают, лишь бы вы посещали церковь, и к вам отнесутся здесь с величайшей терпимостью.

— Очевидно, венский двор крайне лицемерен, — проговорила Консуэло.

— Между нами будь сказано, боюсь, что наша великая Мария-Терезия тоже немного лицемерна, — понижая голос, ответил Иосиф.

Глава 88

Несколько дней спустя, после того как Порпора много хлопотал, много интриговал на свой лад, то есть угрожал, бранился или рассыпал налево и направо насмешки, маэстро Рейтер (бывший учитель и враг юного Гайдна) провел Консуэло в императорскую капеллу, где в присутствии Марии-Терезии певица спела партию Юдифи в оратории «Освобожденная Бетулия» (стихи Метастазио, а музыка того же Рейтера). Консуэло была восхитительна, и Мария-Терезия соблаговолила остаться ею довольной. По окончании духовного концерта Консуэло была приглашена вместе с другими певцами (Кафариэлло в том числе) в одну из зал дворца к столу с угощением, за которым председательствовал Рейтер. Едва уселась она между маэстро и Порпорой, как внезапный и вместе с тем торжественный шум заставил вздрогнуть всех гостей, исключая Консуэло и Кафариэлло, увлеченных спором о темпе одного исполненного хора.

— Решить этот вопрос сможет только сам маэстро, — сказала Консуэло, оборачиваясь к Рейтеру.

Но она не нашла ни Рейтера справа от себя, ни Порпоры слева: все встали из-за стола и торжественно вытянулись в ряд. Консуэло очутилась лицом к лицу с очаровательной женщиной лет тридцати, одетой в черное, как требовал этикет при посещении церкви, и окруженной семью детьми, из которых одного она держала за руку. «То был наследник престола, юный цесаревич Иосиф II, а прелестная женщина с легкой походкой, любезным и умным выражением свежего, энергичного лица была Мария-Терезия.

— Ecco la Giuditta? — спросила императрица, обращаясь к Рейтеру.

— Я очень довольна вами, дитя мое, — прибавила она, осматривая Консуэло с головы до ног. — Вы доставили мне истинное удовольствие, я никогда так живо не чувствовала всей величавости стихов нашего

дивного поэта, как в ваших гармонических устах. У вас прекрасное произношение, а это я ценю выше всего. Сколько вам лет? Вы ведь венецианка, не правда ли? Ученица знаменитого Порпоры, которого я с удовольствием здесь вижу? Вы хотите поступить на императорскую сцену? Вы созданы, чтобы на ней блистать, и господин фон Кауниц покровительствует вам.

Закидав Консуэло всеми этими вопросами, не ожидая ее ответов и поочередно глядя то на Метастазио, то на Кауница, сопровождавших императрицу, Мария-Терезия сделала знак одному из своих камергеров, и тот преподнес Консуэло довольно ценный браслет. Прежде чем она сообразила поблагодарить императрицу, та, с царственным величием мелькнув, как метеор, перед взором юной певицы, была уже на другом конце зала. Она удалялась со своим царственным выводком принцев и эрцгерцогинь, даря благосклонными и милостивыми словами каждого из музыкантов, попадавшихся ей на пути, и оставляя позади себя словно сверкающий след во всех этих взорах, ослепленных ее славой и могуществом.

Один лишь Кафариэлло сохранил или сделал вид, что сохраняет хладнокровие. Он возобновил спор на том же месте, где его прервал. А Консуэло положила браслет в карман, даже не подумав поглядеть на него, и продолжала как ни в чем не бывало отстаивать свое мнение, к великому удивлению и возмущению других музыкантов, очарованных появлением императрицы и не представлявших себе, как можно в тот день думать о чем-либо ином. Излишне говорить, что

только Порпора всей душой — и инстинктивно и принципиально — составлял исключение в этом хоре неистового низкопоклонства. Он умел, не роняя достоинства, склоняться перед монархами, но в глубине души насмехался над рабами, презирал их. Когда Кафариэлло спросил Рейтера, каков должен быть темп хора, о котором у них с Консуэло шел спор, тот с лицемерным видом поджал губы и только после повторных вопросов холодно ответил:

— Признаюсь, сударь, я не слышал вашего разговора. Когда я вижу Марию-Терезию, я забываю весь мир и долго после того, как она исчезнет, пребываю в таком волнении, что не в силах думать о самом себе.

— По-видимому, та исключительная честь, которую синьора только что снискала для нас, не вскружила ей голову, — вставил находившийся здесь г-н Гольцбауэр, пресмыкавшийся перед императрицей несколько сдержаннее, чем Рейтер. — Для вас, синьора, совершенно естественно говорить с коронованными особами. Можно подумать, что вы ничего иного не делали всю свою жизнь.

— Я никогда не говорила ни с одной коронованной особой, — спокойно ответила Консуэло,

не улавливая в словах Гольцбауэра злой насмешки, — и ее величество не оказала мне этого благодеяния: задавая мне вопросы, императрица, казалось, лишила меня чести отвечать ей, быть может для того, чтобы избавить меня от волнения.

— А тебе, по-видимому, хотелось поговорить с императрицей? — насмешливо бросил Порпора.

— Никогда к этому не стремилась, — наивно ответила Консуэло.

— Очевидно, у синьоры больше беспечности, чем честолюбия, — заметил Рейтер с ледяным презрением.

— Маэстро Рейтер, — доверчиво и наивно обратилась к нему Консуэло, вам, может быть, не понравилось, как я спела вашу вещь?

Рейтер признался, что никогда никто лучше не исполнял ее даже в царствование «августейшего и незабвенного Карла VI».

— В таком случае, — сказала Консуэло, — не упрекайте меня в беспечности. Я стремлюсь к тому, чтобы угождать своим повелителям, стремлюсь к тому, чтобы хорошо выполнять свое дело. Какие же еще стремления могут быть у меня? Всякое иное было бы и смешным и неуместным с моей стороны. — Вы слишком скромны, си-

ньора, — возразил Гольцбауэр, — нет границ стремлениям человека, обладающего таким талантом, как ваш.

— Принимаю ваши слова за изысканный комплимент, — ответила Консуэло, — но я поверю, что немного угодила вам, только в тот день, когда вы пригласите меня на императорскую сцену.

Гольцбауэр, попав впросак, несмотря на свою осторожность, закашлялся, чтобы иметь возможность не отвечать, и вышел из положения, любезно и почтительно склонив голову. Потом, возвращаясь к первоначальному разговору, сказал:

— Вы в самом деле обладаете беспримерными спокойствием и бескорыстием. До сих пор вы даже не взглянули на браслет, подаренный вам ее величеством!

— Ах, правда! — согласилась Консуэло, вынимая браслет из кармана и передавая его соседям, которым было любопытно поглядеть на него и оценить.

«Будет на что купить дрова для учителя, если эту зиму не получу ангажемента, — подумала Консуэло, — самая маленькая пенсия была бы нам гораздо нужнее всяких украшений и безделушек».

— Ее величество божественно прекрасна! — проговорил Рейтер, с умилением вздыхая и искоса сурово поглядывая на Консуэло.

— Да, она мне показалась очень красивой, — ответила девушка, совершенно не понимая, почему Порпора толкает ее локтем.

— Показалась! — повторил Рейтер. — Как вы требовательны!

— Я едва имела время ее рассмотреть. Она прошла так быстро.

— Но ее ослепительный ум! Эта гениальность, проявляющаяся в каждом слове, которое слетает с ее уст!

— Я не успела расслышать, что она говорит: это было так мимолетно!

— Значит, вы из стали или из алмаза, синьора! Уж не знаю, что нужно для того, чтоб вы взволновались.

— Я была очень взволнована, исполняя партию вашей Юдифи, — ответила Консуэло, умевшая порой быть лукавой и начинавшая понимать, как недоброжелательно относятся к ней венские маэстро.

— Эта девушка, при всей своей наивности, вовсе не глупа, — шепотом сказал Гольцбауэр маэстро Рейтеру.

— Школа Порпоры, — ответил тот, — презрение и насмешка.

— Если не принять мер, то старинный речитатив и выдержанный стиль osservato заполонят нас еще больше прежнего, — продолжал Гольцбауэр, — но будьте покойны, у меня есть средства помешать этому «порпорианству» повысить голос.

Когда все встали из-за стола, Кафариэлло сказал на ухо Консуэло:

— Видишь ли, дитя мое, все эти люди — сущие мерзавцы. Тебе трудно будет здесь что-либо сделать. Они все против тебя, а если бы только посмели, то были бы и против меня.

— Что же мы им сделали? — спросила с удивлением Консуэло.

— Мы — ученики самого великого учителя в мире. Они и их креатуры наши естественные враги. Они восстановят против тебя Марию-Терезию, и все, что ты говорила, будет ей передано со злобными добавлениями. Ей будет доложено, что ты не считаешь ее красавицей, а подарок ее нашла мизерным. Я хорошо знаю все их происки. Однако мужайся! Я буду защищать тебя от всех и против всех и полагаю, что мнение Кафариэлло в музыкальном мире стоит, конечно, мнения

Марии-Терезии.

«Я попала в довольно скверное положение: с одной стороны — злоба, с другой — безумие», — подумала, уходя, Консуэло. В глубине же души воскликнула, обращаясь к учителю и к жениху: «О Порпора! Я сделаю все возможное, чтобы вернуться на сцену. О Альберт, я надеюсь, что мне это не удастся!»

Весь следующий день маэстро Порпора был занят в городе делами; находя, что его ученица немного бледна, он посоветовал ей поехать за город на прогулку с женой Келлера, предлагавшей Консуэло присоединиться к ней, когда только она пожелает.

Не успел маэстро выйти за дверь, как девушка обратилась к Иосифу:

— Беппо, ступай поскорее найми экипаж: поедем проведать Анджелу и поблагодарить каноника. Мы обещали сделать это раньше, но моя простуда послужит извинением.

— А в каком костюме явитесь вы к канонику? — спросил Беппо.

— Вот в этом самом, — ответила она, — нужно же, чтобы он знал, кто я, и примирился с моим естественным состоянием.

— Чудесный каноник! Я очень рад, что снова

его увижу.

— Я тоже.

— Бедный, славный каноник! Мне грустно подумать…

— О чем?

— О том, что он совсем потеряет голову.

— Почему? Разве я богиня? А я и не знал.

— Вспомните, Консуэло, он ведь уже на три четверти был без ума от вас, когда мы расстались с ним.

— А я тебе говорю: как только он узнает, что я женщина, и увидит меня такой, как я есть, он сразу возьмет себя в руки и станет тем, чем сотворил его господь, — благоразумным человеком.

— Правда, одежда кое-что значит. Когда вы снова превратились здесь в барышню, после того как я за две недели привык обращаться с тобой как с мальчиком… я почувствовал какой-то страх, какую-то неловкость, в которой не могу сам разобраться. И, конечно, во время путешествия… если бы мне было позволено влюбиться в вас… Но сейчас ты скажешь, что я несу вздор…

— Конечно, Иосиф, ты несешь вздор, да к тому же еще теряешь время на болтовню. Ведь нам надо проехать десять миль, чтобы добраться до приории и вернуться оттуда. Теперь восемь часов

утра, а мы должны быть дома в семь вечера, к ужину учителя.

Три часа спустя Беппо и его спутница сошли у ворот приории. День был чудесный. Каноник меланхолически созерцал свои цветы. Увидев Иосифа, он радостно вскрикнул и бросился ему навстречу, но вдруг остолбенел, узнав своего дорогого Бертони в женском платье.

— Бертони, мое любимое дитя, — воскликнул он с целомудренной наивностью, — что значит это переодевание? И почему ты являешься ко мне в таком наряде? Ведь теперь же не масленица…

— Уважаемый друг, ваше преподобие, простите меня, — ответила Консуэло, целуя ему руку, — я вас обманула. Никогда не была я мальчиком. Бертони никогда не существовал, а когда я имела счастье познакомиться с вами, вот тогда действительно я была переодета.

— Мы полагали, — заговорил Иосиф, боявшийся, чтобы изумление каноника не сменилось неудовольствием, — что вы, господин каноник, не были введены в заблуждение нашим невинным обманом. Эта хитрость была придумана отнюдь не для того, чтобы провести вас, — то была необходимость, вызванная обстоятельствами; и мы всегда думали, что вы, господин каноник, ве-

ликодушно и деликатно закрывали на это глаза.

— Вы так думали? — смущенно и со страхом спросил каноник. — А вы, Бертони… то есть я хочу сказать — сударыня, вы также это думали?

— Нет, господин каноник, — ответила Консуэло, — ни одной минуты я этого не думала. Я прекрасно видела, что ваше преподобие нисколько не подозревает истины.

— Вы воздаете мне справедливость, — сказал каноник голосом несколько строгим и вместе с тем глубоко печальным. — Я не умею идти на сделки со своей совестью, и, угадай я, что вы женщина, никогда не стал бы так настаивать, чтобы вы у меня остались. Действительно, в соседней деревне и даже между моими слугами ходили смутные слухи, подозрения, но они вызывали у меня только улыбку, до того упорно я заблуждался на ваш счет. Говорили, будто один из маленьких музыкантов, певших в храмовый праздник, — переодетая женщина. А потом уверяли, что это просто злобная выдумка сапожника Готлиба, желавшего испугать и огорчить священника. Да, наконец, я сам с уверенностью опровергал этот слух. Как видите, я совершенно поддался обману, трудно было бы более удачно провести человека.

— В этом моя большая вина, но обмана ни-

какого не было, господин каноник, — твердо, с полным достоинством ответила Консуэло. — Не думаю, чтобы я хоть на минуту уклонилась от должного к вам уважения и приличий, каких требует от меня порядочность. После долгого пути пешком я очутилась ночью на дороге, без крова, изнемогая от жажды и усталости. Вы не отказали бы в гостеприимстве нищей. Мне вы оказали его во имя музыки, и я музыкой уплатила свой долг. Если я не ушла от вас на следующий же день, то это произошло благодаря непредвиденным обстоятельствам, заставившим меня выполнить долг, который я считала выше всякого другого. Мой враг, моя соперница, моя преследовательница упала словно с облаков у вашей двери. Она оказалась в беспомощном положении, о ней некому было позаботиться, и потому она имела право на мое участие. Вы помните остальное, ваше преподобие, и прекрасно знаете, что если я воспользовалась вашим доброжелательством, то не для себя. И вы, надеюсь, не забыли, что я удалилась тотчас же, как выполнила свой долг. А если сегодня я вернулась, чтобы лично поблагодарить вас за милости, которыми вы осыпали меня, то к этому побудила меня честность, обязывавшая вывести вас из заблуждения и объясниться с ва-

ми, ибо это необходимо и для вашего и для моего достоинства.

— Все это очень таинственно и совершенно необычайно, — произнес наполовину побежденный каноник, — вы говорите, что несчастная, ребенка которой я усыновил, была вашим врагом, вашей соперницей… А кто вы сами, Бертони, — простите, это имя все вертится у меня на языке, — скажите, как отныне я должен звать вас?

— Меня зовут Порпорина, — ответила Консуэло, — я ученица Порпоры, певица. Из театра.

— А! Прекрасно! — сказал каноник с глубоким вздохом. — Я должен был сам об этом догадаться по тому, как вы сыграли свою роль. Что же до вашего дивного музыкального таланта, мне не приходится больше ему удивляться. Вы прошли хорошую школу. Могу ли я задать вам вопрос: господин Беппо — ваш брат… или ваш муж?

— Ни то, ни другое: он мой брат по духу, и только брат, господин каноник. Поверьте, не будь я так же целомудренна душой, как ваше преподобие, я не осквернила бы своим присутствием святости вашего жилища.

Надо сказать правду, голос у Консуэло был неотразимо привлекателен, и каноник поддался его очарованию, как всегда поддаются искренности

чистые, правдивые сердца. Он почувствовал, как с души его словно скатился тяжелый камень, и, медленно прогуливаясь со своими юными друзьями, кротко попросил Консуэло рассказать ему о себе, не в силах бороться с возродившимся расположением к обоим музыкантам. Она вкратце рассказала ему, не называя имен, о главных обстоятельствах своей жизни: о помолвке с Андзолето у постели умирающей матери, об измене жениха, о ненависти Кориллы, об оскорбительных замыслах Дзустиньяни, о советах Порпоры, об отъезде из Венеции, о привязанности к ней Альберта, о предложении семьи Рудольштадт, о собственной своей нерешительности и сомнениях, о бегстве из замка Исполинов, о встрече с Иосифом Гайдном, об их путешествии, о своем ужасе и сочувствии у одра больной Кориллы, о своей благодарности за покровительство, оказанное каноником ребенку Андзолето, наконец о приезде в Вену и даже о встрече накануне с Марией-Терезией.

Иосиф до этого не знал всей истории Консуэло. Она никогда не говорила ему об Андзолето, и то немногое, что она сказала о своей бывшей любви к этому негодяю, не особенно задело его за живое, но ее великодушие по отношению к Корилле и забота о ребенке произвели на него такое сильное

впечатление, что он отвернулся, скрывая слезы. Каноник также не мог не прослезиться. Рассказ Консуэло, сжатый и искренний, произвел на него такое впечатление, словно он прочел прекрасный роман; вообще же он никогда не читал ни одного романа. Первый раз в жизни он услышал подлинную драму, приобщившую его к бурным людским переживаниям. Чтобы внимательно слушать Консуэло, каноник сел на скамейку и, когда она кончила, воскликнул:

— Если все рассказанное вами — истина, а я думаю и, как мне кажется, чувствую это в своем сердце по воле всевышнего, то вы святая… святая Цецилия, вернувшаяся на землю! Откровенно признаюсь вам: у меня никогда не было предрассудков по отношению к театру, — прибавил он после минутного молчания и раздумья, — и вы убеждаете меня в том, что и там можно спастись, как в любом другом месте. Несомненно, если вы останетесь такой же целомудренной и великодушной, как были до сих пор, то, дорогой мой Бертони, заслужите царства божия! Говорю вам то, что думаю, дорогая моя Порпорина!

— Теперь, ваше преподобие, — сказала, вставая, Консуэло, — прежде чем я прощусь с вами, расскажите мне о маленькой Анджеле.

— Анджела здорова и отлично себя чувствует, — ответил каноник. — Моя садовница чрезвычайно заботится о девочке, и я постоянно вижу, как она гуляет с ней в цветнике. Девочка вырастет среди цветов, сама как цветок, на моих глазах, а когда наступит время позаботиться о воспитании ее души в христианском духе, я дам ей образование. Положитесь на меня, дети мои. То, что мною было обещано перед лицом всевышнего, будет свято выполнено. По-видимому, ее мать не станет оспаривать у меня этих забот, ибо, живя в Вене, она ни разу даже не справилась о своей дочери.

— Она могла это сделать и окольным путем, без вашего ведома, — заметила Консуэло. — Я не могу допустить, чтобы мать была до такой степени равнодушна. Но Корилла домогается приглашения на императорскую сцену. Она знает, что ее величество очень строга и не оказывает покровительства людям с запятнанной репутацией. И вот она старается скрыть свои грехи хотя бы до подписания контракта. Будем же хранить ее тайну!

— Но ведь Корилла ваша соперница! — воскликнул Иосиф. — И говорят, она восторжествует над вами благодаря своим интригам и уже распускает по городу слух, будто вы любовница графа Дзустиньяни. Об этом шла речь в посольстве; как

рассказывал мне Келлер… Там негодовали на эту клевету, но боялись, что Корилла сумеет убедить Кауница, который охотно слушает скабрезные сплетни и не перестает восторгаться красотой Кориллы.

— И она говорила такие вещи! — вырвалось у Консуэло, покрасневшей от негодования. Потом, успокоившись, она прибавила: — Так должно было быть, этого следовало ожидать…

— Но ведь стоит сказать одно слово, чтобы рассеять эту клевету, возразил Иосиф. — И это слово будет сказано мной. Я скажу, что…

— Ты ничего не скажешь, Беппо: это и подло и бесчеловечно. Вы также ничего не станете говорить, господин каноник, и, даже явись подобное желание у меня, вы, конечно, удержите меня от этого. Не правда ли?

— Истинно христианская душа! — воскликнул каноник. — Но подумайте сами, это не может очень долго оставаться в тайне. Достаточно кому-нибудь из слуг или крестьян, знающих об этой истории, пустить слушок, и через какие-нибудь две недели станет известно, что целомудренная Корилла произвела на свет незаконного ребенка и в довершение всего еще бросила его. — Не позже двух недель я или Корилла подпишем контракт. Я

не хотела бы одержать победу с помощью мести. До тех пор, Беппо, ни слова, или я лишаю тебя моего уважения и дружбы. А теперь прощайте, господин каноник. Скажите, что простили меня, протяните мне еще раз по-отечески руку, и я удалюсь, прежде чем ваши слуги узнают меня в таком виде.

— Пусть мои слуги говорят, что им угодно, а бенефиции пусть провалится к черту, если так угодно небу! Я получил недавно наследство, дающее мне мужество пренебрегать громами епархиального епископа. Дети мои, не принимайте меня за святого! Я устал повиноваться и принуждать себя. Хочу жить честно, но без всяких дурацких страхов. С тех пор как подле меня нет призрака Бригиты, а особенно с тех пор, как я обладаю независимым состоянием, я чувствую себя храбрым, как лев. Ну, идемте теперь со мной завтракать, а там окрестим Анджелу и займемся музыкой до обеда.

И он потащил их к себе в приорию.

— Эй, Андреас! Иосиф! — крикнул он, входя в дом. — Идите поглядите на синьора Бертони, превратившегося в даму. Что, не ожидали, не правда ли? И я также. Ну, скорее удивляйтесь вместе со мной и живо накрывайте на стол!

Завтрак был превосходен, и наши юнцы убедились, что если в образе мыслей каноника и произошли большие перемены, то это совершенно не коснулось его привычки хорошо покушать. Затем в монастырскую часовню принесли ребенка. Каноник сбросил свой стеганный на вате шлафрок, облачился в рясу и стихарь и совершил обряд крещения. Консуэло и Иосиф были восприемниками и за девочкой утвердили имя Анджелы. Остаток дня был посвящен музыке, а затем настало время распрощаться. Каноника очень огорчил отказ его друзей пообедать с ним. Но он в конце концов согласился с их доводами и утешил себя мыслью, что увидит их в Вене, куда вскоре собирался переехать на зиму.

Пока запрягали лошадей, он повел их в оранжерею полюбоваться новыми растениями, которыми он обогатил свою коллекцию. Надвигались сумерки; каноник, у которого было очень тонкое обоняние, не пройдя и нескольких шагов под стеклянной крышей своего прозрачного дворца, воскликнул:

— Я чувствую какое-то необычайное благоухание. Не зацвел ли уж ванилевый шпажник? Нет, это не его аромат. А стрелица совсем не пахнет… У цикламенов запах менее чистый, менее ост-

рый. Что же здесь творится? Не погибни, увы, моя волкамерия, я сказал бы, что вдыхаю ее благоухание. Бедное растение! Уж лучше не думать о Нем. Вдруг каноник вскрикнул от удивления и восторга: он увидел перед собой в ящике самую красивую волкамерию из всех когда-либо виденных им в жизни, покрытую гроздьями белых с розовым маленьких роз, нежный аромат которых наполнял всю оранжерею и заглушал другие запахи, несшиеся со всех сторон.

— Что за чудо? Откуда это предвкушение рая? Этот цветок из сада Беатриче? — воскликнул он в поэтическом восторге.

— Мы со всевозможными предосторожностями привезли волкамерию с собой в экипаже, — ответила Консуэло, — позвольте вам преподнести ее как искупление за ужасное проклятие, сорвавшееся однажды с моих уст, в чем я буду раскаиваться всю жизнь.

— О дорогая дочь моя! Что за дар! И с какой деликатностью он поднесен! — проговорил растроганный каноник. — О бесценная волкамерия, ты получишь особенное имя» как у меня в обычае давать великолепным экземплярам моей коллекции: ты будешь называться Бертони, чтоб освятить память существа, уже не существующе-

го, которое я полюбил с нежностью отца.

— Дорогой мой отец, — сказала Консуэло, пожимая ему руку, — вы должны привыкнуть любить своих дочерей так же, как и сыновей. Анджела не мальчик…

— И Порпорина также моя дочь, — сказал каноник, — да, моя дочь! Да! Да! Моя дочь! — повторял он, попеременно глядя то на Консуэло, то на волкамерию Бертони полными слез глазами.

В шесть часов Иосиф и Консуэло были уже дома. Экипаж они оставили при въезде в предместье, и ничто не выдало их невинного приключения. Порпора только удивился, почему у Консуэло не разыгрался аппетит после прогулки по прекрасным лугам, окружающим столицу империи. Завтрак каноника был так вкусен, что Консуэло наелась в тот день досыта, а свежий воздух и движение дали ей прекрасный сон, и на другой день она почувствовала себя и в голосе и такой бодрой, какой ни разу еще не была в Вене.

Глава 89

Неуверенность в будущем, а быть может, желание оправдать или объяснить то, что творится в ее сердце, побудили наконец Консуэло написать графу Христиану и разъяснить ему свои отношения с Порпорой, сообщить об усилиях маэстро, стремящегося вернуть ее на сцену, и о своей надежде, что его хлопоты ни к чему не приведут. Она откровенно рассказала старому графу, сколь многим обязана своему учителю, как должна быть ему предана и покорна. Затем, делясь своим беспокойством относительно Альберта, она настоятельно просила научить ее, что написать молодому графу, чтобы успокоить его и не лишить надежды. Письмо заканчивалось так: «Я просила Вас, граф, дать мне время проверить себя и принять решение. Так вот, я решила сдержать свое слово: клянусь перед богом, что у меня хватит силы воли замкнуть свое сердце и разум для всякой вредной фантазии или новой любви. А между тем, если я вернусь на сцену, я как будто нарушу данное мной обещание, откажусь от самой надежды его выполнить. Судите

же меня или скорее судьбу, мной управляющую, и долг, мной руководящий. Уклониться — значит совершить преступление. Я жду от Вас совета более мудрого, чем мое собственное разумение; едва ли оно будет противоречить моей совести».

Запечатав письмо, Консуэло поручила Иосифу отправить его; у нее стало легче на душе, как это бывает всегда, когда человек, оказавшийся в тяжелом положении, находит способ выиграть время и отдалить решительную минуту. И она собралась нанести вместе с Порпорой визит очень известному и весьма восхваляемому придворному поэту, господину аббату Метастазио; этому визиту ее учитель придавал огромное значение.

Знаменитому аббату было тогда около пятидесяти лет. Он был очень красив собой, обходителен, чудесный собеседник, и Консуэло, наверное, почувствовала бы к нему расположение, если бы перед тем как они направились к дому, где в разных этажах обитали придворный поэт и парикмахер Келлер, не произошел у нее с Порпорой следующий разговор.

— Консуэло, — начал маэстро, — сейчас ты увидишь совершенно здорового человека с живыми черными глазами, румяного, с розовыми, всегда улыбающимися губами; но ему во что бы то ни

стало хочется слыть человеком, которого гложет изнурительная, тяжелая и опасная болезнь; он ест, спит, работает и толстеет, как всякий другой, а уверяет, будто у него бессонница, отсутствие аппетита, угнетенное состояние духа, упадок сил. Смотри же не попади впросак и, когда он начнет при тебе жаловаться на свои недуги, не вздумай говорить ему, что он не похож на больного, очень хорошо выглядит или что-нибудь в этом роде, ибо он жаждет, чтобы его жалели, беспокоились о нем и заранее оплакивали. Упаси тебя бог также заговорить с ним о смерти или о ком-нибудь умершем: он боится смерти и не хочет умирать. Но вместе с тем не сделай глупости и не скажи ему уходя: «Надеюсь, что ваше драгоценное здоровье скоро поправится», — так как он желает, чтобы его считали умирающим, и будь он в состоянии уверить, что уже мертв, он был бы в восторге, при условии, однако, что сам этому не будет верить.

— Вот уж глупейшая мания у великого человека, — заметила Консуэло.

— Но о чем же с ним говорить, если нельзя заикнуться ни о выздоровлении, ни о смерти?

— Говорить надо о его болезни, задавать ему тысячу вопросов, выслушивать все подробности о его недомогании, о переносимых муках, а в

заключение сказать, что он недостаточно заботится о своей особе, не думает о себе, не щадит себя, слишком много работает. Таким способом мы заслужим его расположение.

— Однако ведь мы идем к нему с просьбой написать либретто, которое вы переложите на музыку, а я буду исполнять, не так ли? Как же мы можем советовать ему не писать и в то же время упрашивать как можно скорее написать для нас поэму?

— Все устроится само собой во время разговора. Надо только уметь кстати ввернуть словечко.

Маэстро хотел, чтобы его ученица понравилась поэту, но по присущей ему язвительности, как всегда, не мог удержаться и допустил ошибку, высмеяв Метастазио: у Консуэло сразу пробудилось предубеждение к аббату и то внутреннее презрение, которое отнюдь не вызывает расположения у людей, жаждущих, чтобы им льстили и поклонялись. Неспособная к лести и притворству, она положительно страдала, заметив, как Порпора потворствует слабостям поэта и в то же время жестоко издевается над ним, делая вид, будто благоговейно сочувствует его воображаемым недугам. Не раз она краснела и хранила тягостное молчание, несмотря на знаки учителя,

призывавшего ученицу вторить ему.

Консуэло начинала уже приобретать известность в Вене. Она выступила в нескольких салонах, а предположение, что ее могут пригласить на императорскую сцену, несколько волновало музыкальный мир. Метастазио был всемогущ. Стоило Консуэло завоевать расположение поэта, вовремя польстить его самолюбию, и он мог поручить Порпоре переложить на музыку свое либретто «Attilio Regolo», написанное за несколько лет до этого. Итак, крайне необходимо было, чтобы ученица порадела за своего учителя, ибо сам учитель совсем был не по вкусу придворному поэту.

Метастазио был итальянцем, а итальянцы редко ошибаются относительно друг друга. Он в достаточной мере обладал чуткостью и проницательностью, отлично знал, что Порпора очень умеренный поклонник его драматического таланта и не раз сурово отзывался (основательно или нет) о его трусости, эгоизме и притворной чувствительности. Ледяную сдержанность Консуэло и отсутствие интереса к его болезни поэт истолковал по-своему, истинной же причины неприятного ощущения, вызванного почтительной жалостью, он не угадал. Он усмотрел в

этом нечто почти оскорбительное для себя и, не будь он рабом вежливости и обходительности, наотрез отказался бы выслушать ее пение. Однако, поломавшись, — ссылаясь на возбужденное состояние своих нервов и боязнь чересчур взволноваться, — он все же согласился прослушать певицу. Метастазио слышал уже Консуэло, когда та исполняла ораторию «Юдифь», но надо было дать ему представление о ней и как об оперной певице. Поэтому-то Порпора и настаивал на ее пении.

— Но как же быть, как петь, когда приходится опасаться, как бы музыка не взволновала его? — прошептала ему Консуэло.

— Наоборот, надо взволновать его, — также шепотом ответил маэстро.

— Он очень рад, когда его выводят из апатии, так как после сильных переживаний на него находит поэтическое вдохновение.

Консуэло спела арию из «Ахилла на Скиросе», лучшего драматического произведения Метастазио, положенного на музыку Кальдара в 1736 году и поставленного на сцене во время свадебных торжеств Марии-Терезии. Метастазио был так же поражен ее голосом и умением петь, как и в первый раз, когда услышал ее, но он решил

замкнуться в натянуто-холодном молчании, как это сделала она, когда он говорил о своих недугах. Однако это ему не удалось, ибо, вопреки всему, достойный поэт был истинным художником, а прекрасное исполнение Консуэло задело самые чувствительные струны его сердца, пробудило воспоминания о больших триумфах, и здесь уже не было места неприязни.

Аббат Метастазио пробовал было бороться с всемогущими чарами искусства. Он кашлял, ерзал в кресле, как человек, отвлекаемый болями, но тут ему, видимо, пришло на память нечто более волнующее, чем воспоминания о славе, и он разрыдался, закрыв платком лицо. Порпора, сидя за креслом Метастазио, делал знаки Консуэло не щадить его чувствительности и с лукавым видом потирал руки.

Слезы, обильные и искренние, вдруг примирили девушку с малодушным аббатом. Едва окончив арию, она подошла к нему, поцеловала его руку и проговорила с искренней сердечностью:

— Ах, сударь, как я была бы горда и счастлива, что мое пение так растрогало вас, если бы меня не мучила совесть. Я боюсь, что повредила вам, и это отравляет мое счастье!

— О! Дорогое дитя мое! — воскликнул совершен-

но покоренный аббат. — Вы не представляете, не можете себе представить, какое благо вы доставили мне и какое причинили зло! Никогда до сих пор я не слышал женского голоса, до того похожего на голос моей Марианны. А вы так напомнили мне ее манеру петь, ее экспрессию, что мне казалось, будто я слышу ее самое. Ах! Вы разбили мое сердце!

И он снова зарыдал.

— Их милость говорит о прославленной певице, которая всегда должна служить для тебя образцом, — о знаменитой, несравненной Марианне Булгарини, — пояснил своей ученице Порпора.

— О, Romanina! — воскликнула Консуэло. — Я слышала ее ребенком в Венеции. Это было моим первым впечатлением в жизни, и я этого никогда не забуду!

— Вижу, что вы слышали ее и в вас живет неизгладимая память о ней, проговорил Метастазио. — Ах, дитя! Подражайте ей во всем — ее игре, ее пению, ее доброте, ее благородству, ее силе духа, ее самоотверженности! О, как она была хороша в роли божественной Венеры в первой опере, написанной мною в Риме! Ей я обязан своим первым триумфом.

— А она обязана вашей милости своими наи-

большими успехами, — заметил Порпора.

— Это правда, мы содействовали успеху друг друга. Но я никогда не мог вполне расквитаться с ней. Никогда столько любви, столько героической самоотверженности и нежной заботливости не обитало в душе смертной! Ангел моей жизни, я буду вечно оплакивать тебя и вечно жаждать, чтобы мы соединились! туг аббат снова залился слезами. Консуэло была чрезвычайно взволнована. Порпора делал вид, что он также растроган, но, вопреки его желанию, лицо его выражало иронию и презрение. От Консуэло не ускользнуло это, и она собиралась упрекнуть его в недоверии или черствости. Что касается Метастазио, он заметил лишь тот эффект, который стремился вызвать — трогательное восхищение Консуэло. Он был поэтом до мозга костей — то есть охотнее проливал слезы на людях, чем наедине в своей комнате, и никогда так сильно не чувствовал своих привязанностей и горестей, как в те моменты, когда красноречиво говорил о них. Охваченный воспоминаниями, он рассказал Консуэло о той поре своей юности, когда Romanina играла такую большую роль в его жизни, рассказал, сколько услуг оказывала ему благородная подруга, с каким поистине дочерним вниманием относилась

к его престарелым родителям, поведал о чисто материнской жертве, которую она принесла, расставаясь с ним и отправляя его в Вену искать счастья. Дойдя до сцены прощания, он передал в самых изысканных и трогательных выражениях, как его Марианна, с истерзанным сердцем, подавив рыдания, убеждала покинуть ее и думать только о самом себе.

— О! Если бы Марианна могла угадать, какое будущее ждало меня вдали от нее, если бы она могла предвидеть все муки, всю борьбу, весь ужас томления, все превратности судьбы, наконец страшную болезнь — все, что должно было выпасть здесь на мою долю, она отказалась бы и за себя и за меня от такой ужасной жертвы! — воскликнул аббат. — Увы! Я был далек от мысли, что то было прощание перед вечной разлукой и что нам не суждено больше встретиться на земле!

— Как? Вы больше не виделись? — спросила Консуэло с глазами, полными слез, ибо речь Метастазио необыкновенно покоряла слушателей. — Она так и не приехала в Вену?

— Так никогда и не приехала! — ответил Метастазио с подавленным видом.

— Неужели у нее не хватило мужества навестить вас здесь после такого самопожертвова-

ния? — снова воскликнула Консуэло, на которую Порпора тщетно кидал свирепые взгляды.

Метастазио ничего не ответил; казалось, он был погружен в свои думы. — Но она ведь может еще приехать сюда? — продолжала простодушно Консуэло. — И она, конечно, приедет. Это счастливое событие вернет вам здоровье.

Аббат побледнел, и на лице его изобразился ужас. Маэстро изо всех сил стал кашлять, и Консуэло вдруг вспомнила, что Romanina умерла больше десяти лет назад, тут она поняла, какую сделала огромную оплошность, напомнив о смерти этому другу, жаждущему, по его словам, только одного — соединиться в могиле со своей возлюбленной. Она закусила губы и почти тотчас же удалилась вместе со своим учителем, который, по обыкновению, вынес из своего посещения только неопределенные обещания да массу любезностей.

— Что ты наделала, дурочка! — напал он на Консуэло, как только они вышли.

— Большую глупость, сама вижу. Я совсем позабыла, что Romanina давно умерла. Но неужели вы думаете, учитель, что человек, который так любит и убивается, дорожит жизнью? Мне скорее думается, что горе о потере любимой — един-

ственная причина его болезни, и если некий суеверный ужас и заставляет его бояться смертного часа, он все же искренне утомлен жизнью.

— Дитя, — сказал Порпора, — жить никогда не надоедает, когда ты богат, в чести, обласкан и здоров. Если же у человека за всю жизнь не было никогда иных забот и иной страсти, как пользоваться этими благами, то, проклиная свое существование, он лжет и разыгрывает комедию.

— Не говорите, что у него не было других страстей. Он любил Марианну, и я понимаю, почему он назвал этим дорогим именем свою крестницу и племянницу Марианну Мартиец…

Консуэло чуть не прибавила: «ученицу Иосифа», но вдруг спохватилась. — Договаривай, — сказал Порпора, — свою крестницу, племянницу или свою дочь.

— Ходит такая молва, но что мне до этого?

— По крайней мере это доказало бы, что милый аббат, расставшись со своей возлюбленной, довольно скоро утешился. Но когда ты его спросила (да просветит господь твой разум!), почему его дорогая Марианна не явилась к нему сюда, он ничего тебе не ответил. Так вот я отвечу за него. Romanina действительно оказала ему ве-

личайшие услуги, какие только мужчина может принять от женщины. Она его хорошо кормила, давала ему приют, одевала, помогала, поддерживала при всяких обстоятельствах. С ее помощью он получил звание poete cesareo . Она была служанкой, другом, сиделкой, благодетельницей его престарелых родителей. Все это безусловно верно. У Марианны было великодушное сердце. Я ее хорошо знал. Но верно также и то, что она страстно желала соединиться с ним, поступив на императорскую сцену. А еще вернее, что господин аббат не только не похлопотал о ней, а так и не допустил до этого. Правда, между ними существовала самая нежная в мире переписка. Не сомневаюсь, что послания поэта были шедеврами. Они будут напечатаны, и он это прекрасно знал. Но, уверяя свою diletissima amica , что он горит желанием соединиться с ней и неустанно работать над осуществлением их мечты, хитрая лиса устраивал дело таким образом, чтобы злополучная певица не застигла его врасплох с его прославленной и доходной любовью — третьей Марианной (ибо это имя было счастливой звездой его жизни) — высокородной и всемогущей графиней д'Алтан, фавориткой последнего императора. Говорят даже, что их любовь завершилась

тайным браком. Вот почему я нахожу неуместными его вопли о бедной Romanina, которой он предоставил умирать с горя, в то время как сам сочинял мадригалы в объятиях придворных дам.

— Вы все истолковываете и излагаете с жестоким цинизмом, дорогой учитель, — сказала опечаленная Консуэло.

— Говорю, как всегда, ничего не выдумывая. Я только повторяю общее мнение. Поверь, не все комедианты попадают на сцену. Это старинная поговорка.

— Общественное мнение не всегда наиболее верное и никогда не бывает самым милосердным. Да, маэстро, я не могу поверить, чтобы человек с таким именем и талантом был только комедиантом. Я видела его неподдельные слезы, и если даже он может упрекнуть себя в том, что слишком скоро забыл свою первую Марианну, то его раскаяние только лишний раз подтвердило искренность его теперешних сожалений. Во всем этом я предпочитаю видеть скорее слабость, чем низость. Его сделали аббатом. Его осыпали милостями. Двор отличался набожностью. Его связь с актрисой произвела бы большой скандал. Он вовсе не хотел изменять Булгарини, обманывать ее, а боялся, колебался, стремился выиграть время…

тут она умерла…

— А он возблагодарил провидение, — добавил безжалостный маэстро. — Теперь же наша императрица шлет ему ящички и кольца, украшенные его вензелем из бриллиантов, ручки для перьев из ляпис-лазури с лавровыми листочками из бриллиантов, массивные золотые вазы с испанским табаком, печатки из крупного цельного бриллианта, и все это так ярко сверкает, что глаза поэта не перестают слезиться…

— Да разве это может утешить его? Ведь он разбил сердце Булгарини.

— Весьма возможно, что нет. Но желание добиться всего этого побудило его поступить так. Жалкое тщеславие! Мне трудно было удержаться от смеха, когда он показывал нам свой золотой подсвечник с золотым колпачком, на котором по повелению императрицы было выгравировано:

«Perche possa risparmiare i suoi occhi» .

Действительно, как трогательно! Потому-то бедняга и восклицал так высокопарно: «Affettuosa espressione valutabile piu assai dell'oro!» — Ох, несчастный человек! — со вздохом произнесла Консуэло.

Она вернулась домой в очень печальном настроении и с ужасом невольно сопоставила

поведение Метастазио по отношению к Марианне со своим собственным по отношению к Альберту.

«Ждать и, не дождавшись, умереть — неужели это судьба людей, испытывающих страстную любовь? Заставлять ждать и убивать — неужели это удел тех, кто гонится за призраком славы?» — говорила она себе.

— О чем ты так задумалась? — спросил ее маэстро. — Мне кажется, все идет хорошо и, несмотря на твою оплошность, ты покорила Метастазио.

— Не велика победа над слабой душой, — ответила она, — и мне кажется, что тот, у кого не хватило мужества устроить на императорскую сцену Марианну, вряд ли найдет его для меня.

— Метастазио в вопросах искусства теперь руководит императрицей.

— Метастазио в вопросах искусства посоветует императрице только то, что, видимо, будет угодно ей; и сколько бы ни говорили о фаворитах и советниках ее величества… я видела лицо императрицы и говорю вам, маэстро, что Мария-Терезия слишком большой политик, чтобы иметь любовников, и слишком властная натура для того, чтобы иметь друзей.

— Ну, тогда надо завоевать самое императри-

цу, — озабоченно проговорил Порпора. — Тебе надо как-нибудь утром спеть в ее покоях и добиться разговора с ней. Уверяют, что она любит людей только добродетельных. Если Мария-Терезия действительно обладает тем орлиным взором, какой ей приписывают, она поймет, какова ты, и окажет тебе предпочтение. Я пущу в ход все, для того чтобы она увидела тебя с глазу на глаз.

Глава 90

Однажды утром Иосиф натирал полы в передней Порпоры; он совершенно упустил из виду, что перегородка тонка, а сон маэстро чуток, и машинально стал напевать вполголоса какую-то музыкальную фразу, пришедшую ему в голову, сопровождая пение ритмическим движением щетки. Порпора, недовольный, что его разбудили раньше времени, нервно заворочался в кровати, пытаясь снова заснуть, однако, преследуемый звуком красивого свежего голоса, поющего верно и легко грациозную, прекрасно отделанную музыкальную фразу, маэстро накинул шлафрок и, очарованный мелодией и в то же время немножко сердясь на артиста, не дождавшегося его пробуждения и бесцеремонно явившегося к нему сочинять свои арии, встал и поглядел в замочную скважину. Каково же было его удивление: пел Беппо, пел и мечтал, следуя за своей музыкальной идеей и продолжая с озабоченным видом уборку комнаты.

— Что ты там поешь? — громовым голосом обратился к юноше маэстро, внезапно открывая

дверь.

Иосиф растерялся, словно человек, вдруг разбуженный от сна, чуть было не бросил щетку с метелкой и не выбежал со всех ног из дома. Хотя Гайдн давно уже потерял надежду стать учеником Порпоры, он все-таки считал за счастье слушать, как Консуэло занимается с маэстро, и пользоваться втихомолку, в отсутствие учителя, уроками своего великодушного друга. Поэтому он ни за что на свете не хотел быть выгнанным и поспешил солгать, чтобы рассеять подозрения.

— Что я пою? — повторил он смущенно. — Да я сам не знаю, маэстро.

— Разве поют то, чего не знают? Ты лжешь!

— Уверяю вас, маэстро, право не знаю! Вы так меня напугали, что я уже забыл. Конечно, я страшно виноват: не следовало петь подле вашей комнаты. Очень уж я рассеян; мне показалось, что я где-то далеко отсюда и в полном одиночестве! Тогда я сказал себе: теперь ты можешь петь, никого нет, кто бы тебе сказал: «Замолчи, невежда: поешь фальшиво. Замолчи, скотина: ты так и не мог научиться музыке».

— Кто сказал тебе, что ты поешь фальшиво?

— Да все говорили.

— А я говорю тебе, — закричал строгим голосом

маэстро, — что ты поешь не фальшиво. Кто же пробовал учить тебя музыке?

— Ну… например, маэстро Рейтер, которого бреет мой друг Келлер; и Рейтер прогнал меня с урока, говоря, что как я есть осел, так им и останусь.

Иосифу достаточно хорошо были известны антипатии маэстро, чтобы знать, какого невысокого мнения тот был о Рейтере; он даже рассчитывал войти в милость к Порпоре, если Рейтер дурно отзовется при нем о своем бывшем ученике. Но Рейтер во время своих редких посещений этого дома, встречая Иосифа в прихожей, даже не снисходил до простого кивка.

— Маэстро Рейтер сам осел, — сквозь зубы пробормотал Порпора. — Но дело не в этом, — добавил он уже громко, — я хочу знать, откуда ты выудил свою музыкальную фразу.

И маэстро пропел мелодию, которую по рассеянности Иосиф заставил его прослушать десять раз подряд.

— Ах, эту! — протянул Гайдн: ему показалось, что маэстро уже несколько лучше настроен, хоть он и боялся еще верить этому. — Я слышал, как ее пела синьора.

— Консуэло? Моя дочь? А я этого не знаю. Ах!

Так ты, значит, подслушиваешь у дверей?

— О нет, сударь! Но музыка разносится из комнаты в комнату и доходит до кухни — невольно слышишь…

— Мне не нравится прислуга с такой памятью, прислуга, которая будет распевать на улице наши не изданные еще произведения. Сегодня же уложишь свои вещи и вечером отправишься искать себе место.

Приговор маэстро как громом поразил бедного Иосифа, и он, заплакав, пошел на кухню. Скоро к нему явилась Консуэло и, выслушав рассказ о его злоключениях, успокоила его и обещала все уладить.

— Как, маэстро? — обратилась она к Порпоре, подавая ему кофе. — Ты собираешься выгнать бедного мальчика, трудолюбивого и добросовестного, только за то, что ему в первый раз в жизни удалось спеть не сфальшивив? — Говорю тебе, что этот малый интриган и наглый лгун. Его подослал ко мне какой-нибудь недруг, дабы выведать мои еще не изданные произведения и присвоить их себе раньше, чем они увидят свет. Ручаюсь, что этот плут знает уже наизусть мою новую оперу и за моей спиной переписывает мои рукописи. Сколько раз предавали меня подобным

образом! Сколько своих замыслов находил я в красивых операх, привлекавших всю Венецию, в то время как слушатели мои зевали, говоря: «Этот старый пустомеля Порпора потчует нас новинками, затасканными на всех перекрестках». И вот дуралей себя выдал: сегодня утром он спел отрывок, который может исходить только от господина Гассе. Его я хорошо запомнил, запишу и из мести помещу в свою новую оперу, чтобы отплатить Гассе за шутки, которые он не раз проделывал со мной.

— Берегитесь, маэстро, фраза эта, может быть, уже напечатана. Вы ведь не знаете на память всех современных произведений.

— Но я слышал их и говорю тебе, что эта фраза слишком выдающаяся, я не мог не обратить на нее внимания.

— В таком случае, маэстро, большое спасибо. Горжусь похвалой: фраза эта моя!

Консуэло лгала: музыкальная фраза, о которой шла речь, только этим утром родилась в голове Гайдна, но Консуэло приготовилась и уже успела выучить мелодию наизусть, чтобы не попасть впросак перед недоверчивым, пытливым учителем. Порпора не преминул попросить ее спеть злополучную фразу. Консуэло тотчас же испол-

нила ее и заявила, что накануне, желая угодить Метастазио, попробовала положить на музыку первые строфы его красивой пасторали:

Gia riede la primavera
Col suo fiorito aspetto;
Gia il grato zeffiretto
Scherza fra 1'erbe e i fior.
Tornan le frondi algli alberi
L'herbette al prato tornano.
Sol non ritorna a me
La pace del mio cor[note 2]

— Много раз повторяла я свою первую фразу, — прибавила она, — когда услышала, как маэстро Беппо, словно настоящая канарейка, распевает в передней эту самую фразу вкривь и вкось. Это вывело меня из терпения, и я попросила его замолчать. Но через час он опять принялся твердить мою мелодию на лестнице в таком искаженном виде, что отбил у меня всякую охоту продолжать свое сочинительство.

— А почему он так хорошо поет ее сегодня? Что же случилось с ним во время сна?

— Сейчас объясню, учитель: я обратила вни-

---

note notes: Note2

Природа вся в цвету, И веет тихий ветер И шелестит в лесу. Деревья зеленеют И травка на лугу, Лишь я в печальном сердце Покоя не найду (итал.).

мание, что у малого красивый и даже верный голос, а поет он фальшиво благодаря недостатку слуха, развития и памяти. И вот я, забавы ради, занялась постановкой его голоса: заставила его петь гаммы по твоему методу, чтобы убедиться, выйдет ли из него какой-нибудь толк даже при недостатке музыкальности.

— Толк должен выйти при любой музыкальности! — воскликнул Порпора. Не существует фальшивых голосов, и никогда слух, упражняемый…

— Это самое и я думала, — прервала его Консуэло, стремившаяся как можно скорее прийти к намеченной цели, — так оно и вышло. Мне удалось, при помощи системы твоего первого урока, внушить этому дуралею то, что во всю жизнь он не мог даже заподозрить, учась у Рейтера и у всех этих немцев. После этого я пропела ему мелодию, и она впервые дошла до его слуха по-настоящему. Тут он и сам немедленно пропел ее и так поразился, пришел в такой восторг, что, пожалуй, всю ночь потом не сомкнул глаз. Это явилось для него просто откровением. «О, синьора! — говорил он мне. — Если бы меня так учили, я, пожалуй, смог бы научиться, как и всякий другой, но признаюсь, я никогда и ничего не в состоянии был понять

из того, чему обучали меня в певческой школе святого Стефана».

— Так он действительно был в певческой школе?

— Его оттуда с позором выгнали; тебе стоит только спросить о нем у маэстро Рейтера, и тот тебе скажет, что это прощелыга, лишенный каких бы то ни было музыкальных способностей, из которого ровно ничего нельзя сделать.

— Ну, ты, иди-ка сюда! — закричал Порпора Иосифу, проливавшему за дверью горькие слезы. — Стань подле меня, я хочу убедиться, понял ли ты вчерашний Урок.

Тут лукавый маэстро принялся объяснять Иосифу основы музыки многословно, педантично и запутанно, — словом, по тому способу, который Порпора в насмешку приписывал немецким маэстро.

Если бы Иосиф, знавший слишком много, чтобы не понять этих основных начал, несмотря на все старания маэстро сделать их неясными, обнаружил свою смышленость, все бы пропало. Но юноша был достаточно хитер и не попал в ловушку: он выказал явную тупость, которая в конце концов успокоила старика.

— Я вижу, что ты очень недалек, — сказал он,

вставая и продолжая притворяться, что, однако, не ввело в заблуждение ни Консуэло, ни Иосифа. — Берись за свою метлу и старайся больше не петь, если хочешь оставаться у меня в услужении.

Но прошло два часа, и Порпора не удержался: его снова захватила любовь к делу, которым он занимался столько лет, не имея соперников: в маэстро заговорил преподаватель пения, и он позвал Иосифа, чтобы заняться с ним. Старик изложил ему те же основы, но на этот раз с той ясностью, с той могучей глубиной логики, которая все проясняет, все ставит на место, — словом, с той невероятной простотой, на какую способен только гений. На этот раз Гайдн догадался, что может уже проявить понятливость, а Порпора был в восторге от своего успеха. Хотя маэстро преподал ему то, что он долго изучал и знал в совершенстве, урок представлял для Иосифа огромный интерес и принес ему несомненную пользу: он постиг, как надо преподавать. В часы, когда Порпора не нуждался в его услугах, Иосиф, стремясь не потерять своей скудной клиентуры, давал несколько уроков в городе; он решил тотчас же применить полученные указания.

— В добрый час, господин профессор, — сказал

он Порпоре в конце урока, продолжая притворяться простачком, — я предпочитаю вот такую музыку той, и мне кажется, что я смогу выучиться ей. Ну, а то, о чем вы говорили сегодня утром, так непонятно, что я согласился бы скорее вернуться в певческую школу, чем ломать себе голову над этой музыкой.

— А между тем тебя именно этому и обучали в певческой школе. Да разве есть две музыки, олух? Музыка едина, как един господь бог!

— Ох! Прошу извинения, сударь! Есть музыка маэстро Рейтера — она надоедает мне, а вот ваша совсем наоборот.

— Много чести для меня, господин Беппо, — смеясь, сказал Порпора (комплимент пришелся ему по вкусу).

Начиная с этого дня Гайдн стал брать у Порпоры уроки, и вскоре они приступили к изучению итальянской школы и основ лирической композиции, чего так жаждал достойный юноша и к чему так мужественно стремился. Он делал такие быстрые успехи, что маэстро одновременно был очарован, удивлен, а подчас даже испуган. Когда Консуэло замечала, что у маэстро могут пробудиться прежние подозрения, она учила своего друга, как надо вести себя, чтобы их рассеять. Нем-

ного непонятливости и притворная рассеянность были порой необходимы, — тогда гениальность и страсть к преподаванию пробуждались в Порпоре, как случается всегда с высокоодаренными людьми: препятствия и борьба делают их более энергичными и сильными.

Часто Иосифу приходилось притворяться вялым или упрямым; разыгрывая роль лентяя, он легче добивался драгоценных уроков, при одной мысли лишиться которых приходил в отчаяние. Удовольствие перечить и потребность подчинять себе подзадоривали сварливую, воинственную душу старого профессора, и никогда Беппо не получал таких познаний, как в те минуты, когда он почти вырывал их у раздраженного и иронически настроенного маэстро вместе с четкими, красноречивыми и пылкими выводами.

В то время как дом Порпоры был ареной таких, казалось, пустячных происшествий, следствия которых, однако, сыграли огромную роль в истории искусства, ибо гений одного из самых плодовитых и знаменитых композиторов прошлого века получил здесь свое развитие и свою санкцию, вне дома Порпоры совершались события, имевшие более непосредственное влияние на жизнь Консуэло. Корилла, весьма деятельная

в борьбе за собственные интересы, умелая, а потому и способная выйти победительницей, день ото дня отвоевывала позиции и, уже совсем оправившись после родов, вела переговоры о своем поступлении на императорскую сцену. Искусная певица, но посредственная в музыкальном отношении артистка, она гораздо больше, чем Консуэло, нравилась директору и его жене. Оба прекрасно понимали, что ученая Порпорина отнесется свысока, хотя и не выкажет этого, как к операм маэстро Гольцбауэра, так и к таланту его супруги. Они также хорошо знали, что крупные таланты, выступая с плохими партнерами в ничтожных произведениях, не соответствующих их вкусам и насилующих их совесть, не всегда умеют передать тот рутинный подъем, тот наивный жар, какие развязно вносят посредственности в исполнение самых низкопробных опер, кажущихся тягостной какофонией — так они плохо разучены и плохо поняты их партнерами.

И даже когда, проявив чудеса воли и таланта, они высоко поднимаются и над своей ролью и над своим окружением, это завистливое окружение не чувствует к ним благодарности. Композитор, догадываясь об их душевных муках, дрожит и боится, как бы искусственное воодушевление

вдруг не остыло и не подорвало его успеха. Даже удивленная публика испытывает безотчетное смущение, угадывает чудовищную аномалию, сочувствует гениальному актеру, порабощенному вульгарной идеей, рвущемуся из тесных оков, в которые он позволил заковать себя, и, чуть не вздыхая, аплодирует его мужественным усилиям. Г-н Гольцбауэр прекрасно отдавал себе отчет в том, как мало Консуэло ценила его музыкальные произведения. К несчастью, она однажды сама сообщила ему об этом. Переодетая мальчиком, считая, что имеет дело с одним из тех лиц, которых встречаешь во время путешествия в первый и последний раз, она высказалась откровенно и никак не предполагала, что вскоре ее судьба артистки будет в руках незнакомца, друга каноника. Гольцбауэр не забыл этого и, оскорбленный до глубины души, спокойный, сдержанный, вежливый, поклялся закрыть ей путь к артистическому поприщу, но так как ему не хотелось, чтобы Порпора, его ученица и те, кого он называл их партией, могли обвинить его в мелочной мстительности и низкой обидчивости, он только своей жене рассказал о встрече с Консуэло и о разговоре за завтраком в доме священника. Эта встреча, казалось, не оставила никакого следа в

памяти господина директора, по-видимому он забыл даже физиономию маленького Бертони и совершенно не подозревал, что этот странствующий певец и Порпорина могли быть одним и тем же лицом.

Консуэло терялась в догадках об отношении к ней Гольцбауэра.

— Очевидно, костюм и прическа совсем изменили мое лицо во время нашего путешествия, — делилась она своими мыслями с Беппо, оставшись с ним наедине, — раз этот человек, так приглядывавшийся ко мне своими ясными, проницательными глазами, совершенно не узнает меня здесь.

— Граф Годиц также не узнал вас, увидя в первый раз у посланника, заметил Иосиф, — и, быть может, не получи он вашей записки, так бы никогда и не признал вас.

— Прекрасно! Но у графа Годица привычка смотреть на людей каким-то поверхностным, небрежно-гордым взглядом, поэтому он, в сущности, никого не видит. Я уверена, что тогда, в Пассау, он так бы и не догадался, что я женщина, не сообщи ему этого барон Тренк. Гольцбауэр же, как только увидел меня здесь и вообще каждый раз, как мы встречаемся, глядит на меня с

таким вниманием и любопытством — совсем как тогда, в доме священника. Спрашивается, почему он великодушно сохраняет в тайне мое сумасбродное приключение, которое могло бы повредить моей репутации, перетолкуй он его в дурную сторону, и даже могло поссорить меня с учителем, считающим, что я прибыла в Вену без всяких потрясений, препятствий и романтических происшествий? А в то же время этот самый Гольцбауэр втихомолку поносит и мой голос и мою манеру петь, вообще всячески злословит на мой счет, чтобы только не приглашать меня на императорскую сцену. Он ненавидит и хочет отстранить меня, но, имея в руках самое мощное против меня орудие, почему-то не пускает его в ход. Я просто теряюсь в догадках! Разгадка скоро была обнаружена Консуэло. Но раньше, чем читать о дальнейших ее приключениях, надо припомнить, что многочисленная и сильная партия работала против нее. Корилла была красива и доступна, и могущественный министр Кауниц часто навещал ее; он любил вмешиваться в закулисные интриги, а Мария-Терезия, отдыхая от государственных дел, забавлялась его болтовней на эту тему и, в душе смеясь над маленькими слабостями великого человека, сама находила

удовольствие в театральных сплетнях: они напоминали ей в миниатюре, но с откровенным бесстыдством, то, что представляли в ту эпоху три самых влиятельных двора Европы, управляемые интригами женщин, — ее собственный двор, двор русской царицы и двор г-жи Помпадур.

Глава 91

Известно, что Мария-Терезия давала аудиенцию раз в неделю каждому, желающему с ней говорить. Этот лицемерно-отеческий обычай еще и поныне сохранился при австрийском дворе, а сын Марии-Терезии, Иосиф II, свято придерживался его. Помимо того, Мария-Терезия очень легко давала особые аудиенции лицам, желавшим поступить к ней на службу, да и вообще никогда не бывало государыни, к которой было бы легче проникнуть.

Порпора получил наконец аудиенцию. Он рассчитывал, что императрица, увидев открытое лицо Консуэло, быть может, проникнется особым расположением к ней. По крайней мере маэстро надеялся на это. Зная, как требовательна императрица в отношении нравственности и благопристойности, он говорил себе, что Мария-Терезия, без сомнения, будет поражена скромностью и непорочностью, которыми дышало все существо его ученицы.

Их ввели в одну из маленьких гостиных дворца, куда был перенесен клавесин; через полчаса

вошла императрица. Она принимала высокопоставленных особ и была еще в парадном туалете — такой, какой ее изображают на золотых цехинах; в парчовом платье, в императорской мантии, с короной на голове и с маленькой венгерской саблей сбоку. Императрица была действительно красива в таком виде, но отнюдь не величественна и не идеально царственна, как описывали ее придворные, а свежа, весела, с открытым счастливым лицом, с доверчивым смелым взглядом. То был и вправду «король» Мария-Терезия, которую венгерские магнаты в порыве энтузиазма возвели на престол с саблей в руке; но на первый взгляд это был скорее добрый, чем великий король. В ней не было кокетства, и простота ее обращения говорила о ясности души, лишенной женского коварства. Когда она пристально смотрела на кого-нибудь, особенно когда с настойчивостью допрашивала, можно было уловить в этом смеющемся приветливом лице лукавство и даже холодную хитрость. Но хитрость была мужская, если хотите, императорская, без желания поддеть.

— Вы мне дадите сейчас послушать вашу ученицу, — сказала она Порпоре, — я уже осведомлена, что у нее большие познания, великолепный

голос, и я не забыла, какое удовольствие она доставила мне при исполнении оратории «Освобожденная Бетулия». Но предварительно я хочу поговорить с ней наедине. Мне надо спросить ее кое о чем, и так как, я думаю, она будет чистосердечна, я надеюсь, что смогу оказать ей покровительство, которого она у меня просит.

Порпора поспешно вышел, прочитав в глазах ее величества желание остаться совсем наедине с Консуэло. Он удалился в соседнюю галерею, где ужасно продрог, ибо двор, разоренный расходами на войну, соблюдал чрезвычайную экономию, а характер Марии-Терезии еще этому способствовал.

Очутившись с глазу на глаз с дочерью и матерью императоров, героиней Германии и самой великой женщиной Европы того времени, Консуэло, однако, не почувствовала ни робости, ни смущения. Беспечность ли артистки делала ее равнодушной к воинственному великолепию, блиставшему вокруг Марии-Терезии и отражавшемуся на самом ее туалете, или благородство и искренность души придавали ей моральную силу, только Консуэло ждала спокойно, без всякого волнения, пока ее величеству угодно будет обратиться к ней с вопросом.

Императрица опустилась на диван, слегка поправила усыпанную драгоценными камнями перевязь, которая давила на ее белое круглое плечо и врезалась ей в кожу, и начала так:

— Повторяю, дитя мое, я очень высокого мнения о твоем таланте и не сомневаюсь в том, что ты прекрасно училась и много знаешь в своем деле, но как тебе, наверное, известно, в моих глазах талант не имеет значения без хорошего поведения, и я ценю чистую, благочестивую душу выше гениальности.

Консуэло стоя почтительно выслушала это вступление, однако оно нисколько не поощрило ее воздать хвалу самой себе, а так как она вообще питала смертельное отвращение к хвастовству своими добродетелями, которым следовала не задумываясь, она молча ждала, чтобы императрица спросила ее более определенно о ее принципах и намерениях. А между тем тут-то ей и представлялся удобный случай обратиться к монархине с ловко составленным мадригалом о своем ангельском благочестии, о своих высоких добродетелях и о невозможности плохо вести себя, имея перед глазами такой образец, как сама императрица. Бедной Консуэло даже и в голову не пришло воспользоваться таким моментом. Чуткие души

боятся оскорбить великого человека банальной похвалой. Но хотя монархи и не заблуждаются относительно природы расточаемой им грубой лести, тем не менее они привыкли упиваться ею, — она является частью этикета, выражением глубокого почитания их величия. Марию-Терезию удивило молчание молодой девушки, и она снова заговорила, уже менее ласково и не таким ободряющим тоном:

— Насколько мне известно, моя милая девочка, вы особа довольно легкого поведения и живете в недозволенной близости с молодым человеком вашей профессии, — позабыла его имя, — хоть вы и не замужем.

— Могу ответить вашему величеству только одно, — промолвила наконец Консуэло, взволнованная несправедливостью этого грубого обвинения, — я не помню, чтобы сделала в своей жизни что-либо такое, что помешало бы мне выдержать взгляд вашего величества с искренней гордостью и благодарной радостью.

Марию-Терезию поразило выражение достоинства и силы, появившееся в тот момент на лице Консуэло. Пять-шесть лет назад императрица, несомненно, отнеслась бы к этому сочувственно, но теперь Мария-Терезия была уже королевой

до мозга костей, и сознание своего могущества приучило ее к какому-то упоению властью, когда хочется, чтобы все пред тобой гнулось и ломалось. Мария-Терезия желала быть и как государыня и как женщина единственным сильным существом в своем государстве. И поэтому ей показались оскорбительными и гордая улыбка и смелый взгляд юной девушки, ничтожного червяка. Она собиралась было позабавиться Консуэло как рабыней, из любопытства заставив ее рассказать о себе.

— Я спросила вас, сударыня, как имя молодого человека, живущего с вами у маэстро Порпоры, а вы мне не ответили, — снова проговорила императрица ледяным тоном.

— Его зовут Иосиф Гайдн, — не смущаясь, проговорила Консуэло.

— Итак, из любви к вам он поступил в услужение к маэстро Порпоре в качестве лакея, причем маэстро Порпора не подозревает действительных побуждений молодого человека, а вы, зная их, поощряете его.

— Меня оклеветали перед вашим величеством: этот молодой человек никогда не был влюблен в меня (Консуэло была уверена, что говорит правду), я даже знаю, что он любит другую. А если

мы и обманываем немного моего почтенного учителя, то вызывается это причинами невинными и, быть может, весьма уважительными. Только любовь к искусству могла заставить Иосифа Гайдна поступить в услужение к Порпоре, и коль скоро ваше величество удостаивает взвешивать поступки своих самых незначительных подданных, а я считаю невозможным что-либо скрыть от вашей всевидящей справедливости, то уверена, что вы, ваше величество, оцените мою искренность, как только пожелаете снизойти до рассмотрения моего дела.

Мария-Терезия была слишком проницательна, чтобы не почувствовать правду. Она еще не утратила идеализма, присущего юности, хотя уже скатывалась по роковому пути неограниченной власти, гасящей мало-помалу веру в самых великодушных сердцах.

— Вы кажетесь мне правдивой и целомудренной, дитя, но я замечаю в вас большую гордость и недоверие к моему материнскому сердцу. И я боюсь, что ничего не смогу для вас сделать.

— Если я имею дело с материнским сердцем Марии-Терезии, — ответила Консуэло, растроганная словами императрицы (их банального оттенка бедняжка, увы, не поняла), — то я готова

стать пред этим сердцем на колени и молить его, но если это…

— Продолжайте, дитя мое, — промолвила Мария-Терезия, которой почему-то безотчетно хотелось, чтобы это оригинальное создание упало перед ней на колени, — выскажите до конца свою мысль.

— Если же я имею дело с правосудием вашего императорского величества, то, сознавая себя столь же невинной, как чистое дыхание, не способное заразить воздух, которым дышат сами боги, я чувствую в себе всю гордость, необходимую, чтобы быть достойной вашего покровительства.

— Порпорина, — проговорила императрица, — вы умная девушка, и ваша оригинальность, оскорбительная для любой иной женщины, мне по душе. Я уже сказала вам, что считаю вас искренней и тем не менее знаю, что у вас есть в чем исповедаться передо мной. Почему вы колеблетесь? Хотя ваши отношения и чисты — я не хочу в этом сомневаться, — но вы любите Иосифа Гайдна. Ведь ради того, чтобы чаще видеться с ним, — допустим, даже ради заботы об его музыкальных успехах у Порпоры, — вы отважно рискуете самым священным, самым важным в нашей женской доле — своей репу-

тацией. Но, быть может, вы боитесь, что ваш учитель, ваш приемный отец не согласится на ваш брак с бедным, неизвестным музыкантом? Быть может, — хочу верить всему, что вы говорили, — молодой человек любит другую и вы с присущей вам гордостью скрываете свою любовь и великодушно жертвуете своей репутацией, не извлекая из этого самопожертвования никакого личного удовлетворения? Так вот, милая девочка, будь я на вашем месте, представься мне случай, как вам сейчас, — случай, какой, быть может, никогда не повторится, — я открыла бы сердце своей государыне и сказала бы ей: «Вы все можете и хотите мне добра, вам вручаю я свою судьбу; уничтожьте все препятствия. Одним своим словом вы можете изменить намерения и моего опекуна и моего возлюбленного. Вы можете осчастливить меня, вернуть мне всеобщее уважение и поставить меня в такие условия, что я посмею надеяться поступить на императорскую сцену». Вот какое доверие вы должны были бы питать к материнской заботливости Марии-Терезии, и мне прискорбно, что вы этого не поняли.

«Я прекрасно понимаю, великая государыня, — думала про себя Консуэло, — что по какому-то странному капризу избалованного ребенка-дес-

пота тебе хочется, чтобы Zingarella обняла твои колени, ибо тебе кажется, что ее колени не хотят сгибаться перед тобой; а это для тебя случай небывалый. Но ты не дождешься этой забавы, разве только докажешь мне, что заслуживаешь моего уважения».

Все это и многое другое промелькнуло в ее голове, пока Мария-Терезия читала ей наставления. Консуэло сознавала, что играет судьбой Порпоры, зависящей от фантазии императрицы, а будущность учителя стоит того, чтобы немного смириться. Но ей не хотелось смиряться понапрасну. Ей не хотелось разыгрывать комедию с коронованной особой, которая, конечно, умела это делать не хуже ее самой. Она ждала, чтобы Мария-Терезия показала себя действительно великой, и тогда готова была искренне преклониться перед нею.

Когда императрица кончила свое поучение, Консуэло сказала:

— Я отвечу на все, что ваше величество соблаговолило мне высказать, если вашему величеству угодно будет мне приказать.

— Да, говорите, говорите же, — настаивала императрица, раздосадованная самообладанием девушки.

— Итак, ваше величество, в первый раз в своей жизни я слышу из ваших царственных уст, что моя репутация пострадала из-за присутствия Иосифа Гайдна в доме моего учителя. Я считала себя слишком незаметной, чтобы стать предметом обсуждения общества, а если бы мне сказали, когда я отправлялась во дворец, что сама императрица заинтересовалась моей особой и не одобряет моего образа жизни, я подумала бы, что мне это приснилось. Мария-Терезия прервала ее. В словах Консуэло ей почудилась ирония.

— Вы не должны удивляться, — проговорила она несколько напыщенно, что я вхожу во все малейшие подробности жизни людей, за которых отвечаю перед богом.

— Как не удивляться тому, что вызывает восхищение! — ловко ответила Консуэло. — Возвышенные поступки велики своей простотой, но они так редки, что, столкнувшись с ними впервые, невольно поражаешься.

— Вам надо понять, — продолжала императрица, — почему я особенно интересуюсь вами, как и всеми артистами, которыми люблю украшать свой двор. Театр во всех других странах — школа соблазна, очаг всяких мерзостей. Я имею притязание, несомненно похвальное, хоть, возможно,

и невыполнимое, обелить перед людьми и нравственно очистить перед богом сословие актеров, предмет слепого презрения и даже церковного отлучения у многих народов. В то время как во Франции церковь закрывает перед ними двери, я хочу, чтобы здесь церковь приняла их в свое лоно. Я допускала в свою Итальянскую оперу, в Театр французской комедии, в Национальный театр лишь людей испытанной нравственности или лиц, твердо решивших изменить свое поведение. Надо вам сказать, что я женю своих артистов и даже бываю восприемницей их крошек при крещении, твердо решив всевозможными милостями поощрять законное рождение детей и супружескую верность. «Жаль, мы этого не знали, — подумала Консуэло,

— а то попросили бы ее величество быть крестной матерью Анджелы вместо меня».

— Ваше величество сеет, чтобы собрать урожай, — сказала она вслух.

— Будь я грешна, я почитала бы за счастье приобрести в лице вашего величества исповедника такого же милосердного, как сам господь бог. Но…

— Продолжайте, продолжайте, — высокомерно проговорила Мария-Терезия.

— Я хотела сказать, — снова заговорила Консуэло, — что не проявила никакой особенной самоотверженности по отношению к Иосифу, ибо не имела понятия об обвинениях, возводимых на меня из-за его пребывания в том доме, где я живу.

— Понимаю, — сказала императрица, — вы все отрицаете!

— Как могу я сознаться в том, чего нет, — ответила Консуэло, — я совсем не влюблена в ученика Порпоры и не имею ни малейшего желания выйти за него замуж.

«А будь это иначе, — подумала она про себя, — я не хотела бы получить его сердце по императорскому указу».

— Итак, вы не хотите выходить замуж? — спросила императрица, поднимаясь. — Тогда заявляю вам, что положение незамужней не дает всех желательных для меня гарантий чести. К тому же молодой особе не приличествует появляться в некоторых ролях и изображать страсти, не имея санкции брака и покровительства мужа. От вас зависело снискать мое расположение и добиться того, чтобы я предпочла вас вашей сопернице — госпоже Корилле; хотя мне и говорили о ней много хорошего, но ее итальянское

произношение гораздо хуже вашего. Однако госпожа Корилла замужем и имеет ребенка, а это создает ей условия, более заслуживающие моего одобрения, чем те, в которых вы упорно желаете оставаться.

— Замужем? — невольно прошептала сквозь зубы бедная Консуэло; она была потрясена тем, какую добродетельную особу добродетельнейшая и проницательнейшая императрица предпочла ей.

— Да, замужем, — ответила императрица повелительным тоном, уловив в голосе Консуэло сомнение насчет ее избранницы. — Она недавно произвела на свет ребенка, которого препоручила почетному и ревностному служителю церкви, господину канонику, дабы он воспитал дитя в христианском духе. И, без всякого сомнения, это достойное лицо не взяло бы на себя такой тяжелой обязанности, не заслуживай мать ребенка его полного уважения.

— Я также в этом нисколько не сомневаюсь, — ответила девушка. Последние слова императрицы особенно возмутили Консуэло, но она утешалась хоть тем, что каноник заслужил одобрение, а не порицание за усыновление ребенка, к которому она сама его понудила.

«Вот как пишется история и как все доходит до королей! — сказала она себе, когда императрица с величественным видом вышла из гостиной, слегка кивнув ей головой на прощанье. — Что ж, — утешала она себя, — даже в самом плохом есть что-то хорошее, а заблуждения людей подчас дают хорошие результаты. У каноника не отнимут его прекрасной приории, не лишат Анджелу ее доброго каноника, Корилла исправится, раз за это дело берется императрица, — а я все-таки не стала на колени перед женщиной, которая вовсе не лучше меня!»

— Ну что? — закричал сдавленным голосом Порпора, ждавший ее в галерее, дрожа от холода и в волнении нервно потирая руки. — Надеюсь, мы победили?

— Напротив, дорогой учитель, мы с вами потерпели поражение, — ответила Консуэло.

— С каким спокойствием ты это говоришь, черт тебя побери!

— Здесь не нужно так говорить, маэстро. Черт не в милости при дворе!

Когда переступим порог последней двери дворца, я все расскажу вам.

— Ну что? — нетерпеливо спросил Порпора, когда они были уже на валу.

— Помните, как мы с вами выразились относительно великого министра Кауница, выйдя от маркграфини?

— Мы тогда решили, что это старая сплетница. И что же? Он вам навредил?

— Вне всякого сомнения. А теперь, скажу я вам, ее величество императрица австрийская и королева венгерская — такая же сплетница.

Глава 92

Консуэло рассказала Порпоре только то, что ему надлежало знать, не распространяясь о причинах, навлекших на нашу героиню немилость Марии-Терезии. Остальное огорчило бы маэстро, обеспокоило бы и, пожалуй, вооружило бы против Гайдна, ничего при этом не исправив. Не хотела Консуэло также говорить и своему юному другу о том, о чем умолчала перед Порпорой. Она не без основания пренебрегла теми неопределенными обвинениями, которые, видимо, были переданы императрице двумя-тремя недоброжелателями и не получили в обществе никакого отклика. Корнеру же Консуэло нашла нужным все рассказать. Он посмотрел на дело так же, как она, и, чтобы злоба не могла взрастить эти семена клеветы, принял очень разумные и великодушные меры: посланник уговорил Порпору переехать вместе с Консуэло в его дворец, а Гайдн поступил на службу в посольство в качестве одного из секретарей. Таким образом старый маэстро избавлялся от нужды, Иосиф продолжал оказывать ему кое-какие личные услуги, что да-

вало ему возможность часто видеться с учителем и брать у него уроки, а Консуэло была ограждена от злобных обвинений.

Несмотря на эти предосторожности, не Консуэло, а Корилла была приглашена на императорскую сцену. Консуэло не сумела понравиться Марии-Терезии. Великая королева, забавляясь закулисными интригами, о которых ей рассказывали Кауниц и Метастазио, изощряясь в изящном остроумии, желала играть роль олицетворенного венценосного провидения для своих актеров, а те разыгрывали перед нею кающихся грешников и демонов, обращенных на путь истинный. Само собой разумеется, что в числе этих лицемеров, получавших за свое мнимое благочестие маленькие пенсии и мелкие подачки, не было ни Кафариэлло, ни Фаринелли, ни Тези, ни г-жи Гассе, короче говоря — никого из великих виртуозов, которыми поочередно наслаждалась Вена: этим многое прощалось за их талант и известность. Второстепенных же мест в театрах обыкновенно добивались люди, старавшиеся подладиться под ханжеские и назидательные прихоти императрицы. И ее величество, вносившая во все дух политической интриги, поднимала дипломатическую суетню по поводу брака и обращения

кого-либо из них. Из «Мемуаров» Фавара (интереснейшего романа, действительно разыгравшегося за кулисами) видно, насколько трудно было посылать в Вену певцов и оперных актрис, поставка которых была поручена автору. Их хотели заполучить по дешевой цене и требовали к тому же, чтобы они были целомудренны, как весталки. Мне кажется, этому привилегированному остроумному поставщику Марии-Терезии после усердных поисков так-таки и не удалось найти в Париже ни одной подходящей кандидатки; правда, это делает больше чести искренности, чем добродетели наших «оперных девиц», как их тогда называли.

Итак, Марии-Терезии хотелось, чтобы развлечения в ее империи носили поучительный характер, достойный ее добродетельного величия. Монархи всегда играют комедию, а великие монархи, быть может, больше чем другие. Порпора это беспрестанно утверждал, и он не ошибался. Великая императрица, ярая католичка, примерная мать, без всякого отвращения разговаривала с проституткой, наставляла ее, вызывала на необычайные признания, и все это ради того, чтобы привести кающуюся Магдалину к стопам Спасителя. Личная шкатулка ее величества — по-

средница между грехом и раскаянием — была в руках императрицы верным и чудодейственным средством для спасения многих заблудших душ. И Корилла, плачущая и поверженная к ее ногам, если не фактически (я сомневаюсь, чтобы она могла переломить свою необузданную натуру для такой комедии), то в докладах императрице г-на Кауница, ручавшегося за эту новоиспеченную добродетель, должна была неминуемо взять верх над такой решительной, гордой и мужественной девушкой, как непорочная Консуэло. Мария-Терезия ценила в своих театральных любимцах лишь ту добродетель, творцом которой считала одну себя. Добродетель же, развивавшаяся или сохранившаяся сама по себе, мало ее интересовала. Императрица не верила в нее, хотя ее собственная добродетель и должна была пробуждать в ней такую веру. Наконец, манера Консуэло держать себя задела ее: императрица сочла ее вольнодумкой и резонеркой. Zingarella проявила слишком много самонадеянности и заносчивости, претендуя на уважение и признание ее нравственности без вмешательства императрицы. Когда Кауниц, притворявшийся беспристрастным, но в то же время вредивший Консуэло в пользу Кориллы, спросил ее величество, соблаговолила ли она

принять просьбу «этой девочки», Мария-Терезия ответила: «Мне не понравились ее убеждения. Больше не говорите мне о ней». И этим все было сказано. Голос, лицо, само имя Порпорины были совершенно забыты.

С первого же слова Порпора ясно понял причину немилости, в которую впал. Консуэло была вынуждена ему сказать, что императрица считает невозможным ее поступление на императорскую сцену из-за того, что она незамужняя.

— А Корилла? — воскликнул Порпора, узнав о ее принятии на сцену. Разве императрица уже успела выдать ее замуж?

— Насколько я могла понять или догадаться из слов ее величества, Корилла слывет здесь вдовой.

— О да, конечно, трижды вдова! Десять раз! Сто раз вдова! — воскликнул Порпора с горьким смехом. — Но что скажут, когда узнают правду и будут свидетелями новых бесчисленных случаев ее вдовства? А ребенок, которого, как я слышал, она оставила под Веной у одного каноника? Она хотела приписать младенца графу Дзустиньяни, а тот посоветовал ей препоручить его отеческим ласкам Андзолето! Ну и потешится она с товарищами, рассказывая им об этом с присущим ей

цинизмом, и нахохочется в тиши своей спальни над тем, как ловко провела императрицу!

— Но если императрица узнает правду?

— Императрица не узнает. Монархи, кажется мне, окружены ушами, которые служат как бы преддверием к их собственным ушам. Многое не доходит до императорского слуха, в их святилище проникает лишь то, что эти стражи пожелают пропустить. К тому же, — добавил Порпора, — у нее всегда останется в запасе покаяние, а господину Кауницу будет поручено следить за выполнением наложенной на нее эпитимии.

Бедный маэстро изливал свою желчь в этих язвительных шутках, но был глубоко опечален. Он терял надежду на постановку своей новой оперы, тем более что либретто к ней писал не Метастазио, этот присяжный пиит придворной поэзии. Порпора, видно, догадывался, что Консуэло не проявила достаточной ловкости, не сумела заслужить милости императрицы, и высказал ей по этому поводу свое неудовольствие. К довершению несчастья, заметив однажды, как восторгается и гордится Порпора быстрыми успехами, достигнутыми под его руководством Иосифом Гайдном, венецианский посланник имел неосторожность открыть маэстро правду относительно юноши и

показать первые прелестные опыты музыкального творчества его ученика, начинавшие ходить по рукам и обратившие уже на себя внимание любителей музыки. Тут маэстро раскричался, что его обманули, и пришел в неистовую ярость. К счастью, он не обвинил Консуэло в соучастии в этой хитрости, а г-н Корнер, видя, какую вызвал бурю, поспешил искусной ложью пресечь в старике всякое подозрение на этот счет. Но он не мог помешать изгнанию Иосифа на несколько дней из комнаты учителя, и понадобилось все влияние Корнера, обусловленное его покровительством старику и оказанными им услугами, чтобы маэстро смилостивился над юношей. Однако Порпора долго не мог забыть обмана и, говорят, находил удовольствие в том, что заставлял Иосифа оплачивать уроки унизительной лакейской службой, в данном случае совершенно ненужной, раз к его услугам были посольские лакеи. Гайдн не унывал и кротостью, терпением и преданностью в конце концов обезоружил своего сурового учителя; всегда прилежный и внимательный на уроках, Иосиф получил от него все, что хотел и мог воспринять, к тому же и Консуэло постоянно подбадривала и наставляла юношу.

Но гениальный Гайдн мечтал об иных му-

зыкальных путях, чем те, по каким шли его предшественники композиторы; будущий отец симфонии поверял Консуэло свои мечты об инструментальной партитуре огромных масштабов. Эти масштабы, кажущиеся нам теперь такими естественными, несложными и скромными, сто лет тому назад могли почитаться утопией безумца или же началом новой эры, возвещенной гением. Иосиф еще сомневался в себе и не без ужаса делился потихоньку с Консуэло своими честолюбивыми замыслами. Сначала они немного пугали и Консуэло. До сих пор инструментовка играла второстепенную роль и, отделенная от человеческого голоса, отличалась простотою приемов. Однако в юном товарище певицы было столько спокойствия, столько неизменной мягкости, в его убеждениях чувствовалась такая подлинная скромность и такое безусловно добросовестное стремление к истине, что Консуэло не могла считать его самонадеянным, верила в его мудрость и решила поддерживать в его начинаниях.

Именно в ту пору Гайдн написал серенаду для трех инструментов и с двумя своими друзьями исполнял ее под окнами «любителей», желая заинтересовать их своими произведениями. Начал

он с Порпоры, старый маэстро, не зная ни имени автора, ни исполнителей, подошел к окну, с удовольствием слушал и бурно аплодировал. На этот раз посланник, посвященный в тайну и также слушавший серенаду, оказался осторожнее и не выдал молодого композитора. Порпора не желал, чтобы ученики, бравшие у него уроки пения, отвлекались чем-либо иным.

В это же самое время Порпора получил письмо от своего ученика, великолепного контральтиста Уберто, носившего имя Порпорино и состоявшего на службе у Фридриха Великого. Этот знаменитый артист не был, как другие ученики профессора, чрезмерно ослеплен собственным успехом и не забыл, чем обязан своему учителю. Порпорино никогда не стремился изменить то, что приобрел, — манеру петь звучно и свободно, без фиоритур, придерживаясь разумных традиций маэстро, — и это неизменно обеспечивало ему успех. Особенно хорошо удавались ему адажио. Порпора питал к своему бывшему ученику слабость, которую ему с трудом удавалось скрывать перед фанатическими поклонниками Фаринелли и Кафариэлло. Маэстро соглашался, что искусство, блеск и гибкость голоса этих великих виртуозов изумительны и сразу возбуждают

большой восторг у слушателей, падких на все необыкновенное. Но под сурдинку он говорил, что его Порпорино ни за что не станет потворствовать дурным вкусам и хотя поет всегда одним и тем же способом, но голос его не может надоесть. И, по-видимому, в Пруссии пение Порпорино действительно вызывало непреходящий восторг, ибо он блистал там в течение всей своей музыкальной карьеры и умер в преклонных годах, прожив в этой стране более сорока лет.

В своем письме Уберто сообщал, что произведения Порпоры пользуются большим успехом в Берлине, и если бы учитель захотел приехать к нему, его новые оперы будут приняты и поставлены на тамошней сцене, — он в этом уверен. Он очень убеждал Порпору покинуть Вену, где артисты обречены на постоянные интриги разных партий; в то же время он просил «завербовать» для прусского двора выдающуюся певицу, которая смогла бы вместе с ним исполнять оперы маэстро. Порпорино с большой похвалой отзывался о просвещенном вкусе своего короля и о почетном покровительстве, какое тот оказывает музыкантам. «Если этот план Вам улыбается, — писал он в конце письма, — скорее отвечайте мне и сообщите свои условия. Ручаюсь, что через три

месяца я доставлю Вам службу, которая даст Вам наконец спокойное существование. Что касается славы, дорогой учитель, то достаточно нам будет спеть написанное Вами так, чтобы Вас оценили, и, надеюсь, слух об этом дойдет до Дрездена».

Последняя фраза заставила Порпору навострить уши, как старую боевую лошадь: то был намек на успех Гассе и его певцов при саксонском дворе. Мысль добиться такой же славы, как у его соперника на севере Германии, улыбалась маэстро, к тому же в данную минуту он питал жгучую злобу к Вене, венцам и их двору, — поэтому без всяких колебаний он ответил Порпорино, уполномочивая его на хлопоты в Берлине. Он сообщил ему свои условия, стараясь быть как можно скромнее, дабы не потерпеть неудачи. О Порпорине маэстро отозвался в письме с самой большой похвалой и подчеркнул, что она не только по имени, но и по образованию, и по таланту, и по сердцу может считаться истинной сестрой Порпорино. Ангажемент ей он просил устроить на наилучших условиях. Все было сделано без ведома Консуэло, — она узнала об этом уже после того, как маэстро отправил письмо. Само слово «Пруссия» напугало бедную девушку, а имя великого Фридриха привело в содрогание.

Со времени приключения с дезертиром Консуэло представляла себе этого столь прославленного монарха не иначе как в образе людоеда и вампира. Порпора очень бранил ее: она проявила, по его мнению, слишком мало радости, узнав о возможности нового ангажемента, а так как Консуэло не могла рассказать об истории Карла и о подвигах господина Мейера, то, опустив голову, предоставила учителю журить ее. Однако, подумав, она нашла в новом проекте некоторое облегчение: благодаря ему откладывалось ее возвращение на сцену, так как дело могло еще провалиться, да и Порпорино требовалось по крайней мере три месяца на устройство его. До тех пор она могла мечтать о любви графа Альберта и разобраться в своих чувствах к нему, могла честно и искренне выполнить взятое на себя обязательство — обдумать тщательно и без принуждения, хочет ли она выходить за него замуж, или считает брак с ним невозможным. Консуэло решила, прежде чем сообщать что-либо хозяевам замка Великанов, обождать ответа графа Христиана на свое первое письмо. Но ответа все не было, и Консуэло начала думать, что старый Рудольштадт поставил крест на этом неравном браке и постарался уговорить Альберта отказаться от него, как вдруг Келлер

передал ей украдкой короткое письмецо такого содержания:

«Вы обещали мне писать и сделали это косвенно, сообщив моему отцу о своем затруднительном положении. Вижу, что над Вами тяготеет иго, но я счел бы преступным для себя избавить Вас от него; по-видимому, добрый мой отец боится для меня последствий Вашего подчинения Порпоре. Но раз Вы пишете моему отцу, с каким сожалением и ужасом относитесь к принуждению принять то или иное решение, — я ничего теперь не боюсь: это доказывает, что Вам не легко произнести приговор, который обрек бы меня на вечное отчаяние. Да, Вы сдержите слово и попробуете полюбить меня! Не все ли мне равно, где Вы и чем заняты, какое положение создает Вам в обществе призрачная слава, не все ли равно, как долго и в силу каких препятствий я буду вдали от Вас, если в сердце моем живет надежда и Вы позволяете мне надеяться! Несомненно, я очень страдаю, но я в состоянии еще больше страдать, не падая духом, пока Вы не погасили во мне искры надежды.

Я жду и умею ждать! Не бойтесь напугать меня, замедлив с ответом. Не пишите мне под влиянием страха или жалости — я не хочу ничем быть им обязан. Взвесьте мою судьбу в своем сердце и

мою душу в своей душе, а когда настанет время и Вы будете уверены в себе, будь то в келье монахини или на подмостках театра, если Вы велите мне никогда не беспокоить Вас или явиться к Вам… я, по Вашему желанию, буду у Ваших ног или замолчу навсегда.

Альберт».

— Благородный Альберт! — воскликнула Консуэло, целуя письмо. — Чувствую, что люблю тебя, да и невозможно было бы не любить! И без колебаний сознаюсь тебе в этом. Своим обещанием я вознагражу постоянство и самоотверженность твоей любви.

Она тут же принялась было за письмо, но, услышав голос Порпоры, поспешно спрятала на груди и письмо Альберта и начатый ему ответ. В течение всего дня она не смогла выбрать ни одной свободной минуты, ни одного укромного местечка. Казалось, угрюмый старик догадался об ее желании остаться наедине и задался целью помешать ей. Когда наступила ночь, Консуэло немного успокоилась и поняла, что такое важное решение требовало более продолжительной проверки своих чувств. Не следовало подавать Альберту надежды, которая могла и не осуществиться. Сотню раз перечла она письмо молодого графа

и увидала, что он равно боится как горестного отказа, так и поспешного обещания. Консуэло решила обдумать ответ в течение нескольких дней. Казалось, сам Альберт этого требовал.

Жизнь Консуэло в то время в посольстве протекала очень спокойно и размеренно. Чтобы не давать повода злобным наветам, Корнер с присущей ему деликатностью никогда не появлялся в ее комнате и никогда не приглашал ее, даже вместе с Порпорой, к себе. Встречался он с нею только у Вильгельмины, где Консуэло охотно пела в интимном кругу и где посланник мог говорить с нею, не компрометируя ее. Иосиф также был принят в салоне Вильгельмины в качестве музыканта. Кафариэлло бывал там часто, граф Годиц иногда, а аббат Метастазио изредка. Все трое очень скорбели о неудаче Консуэло, но ни один не имел ни мужества, ни настойчивости отстоять ее. Порпора возмущался и с трудом скрывал это. Консуэло старалась смягчить его и убедить относиться снисходительно к людским недостаткам и слабостям. Она побуждала его работать, и благодаря ей в душе маэстро время от времени мерцали проблески надежды и энтузиазма. Девушка поддерживала в нем раздражение против светского общества, и он не стал возить ее туда

петь. Она радовалась, что о ней забыли великие мира сего, вызывавшие в ней ужас и отвращение, серьезно занималась, предавалась сладким мечтам и ухаживала за своим старым учителем, а ее дружба с Гайдном приобрела теперь спокойный, безмятежный характер. И если природа не создала ее для жизни тихой и уравновешенной, говорила себе ежедневно Консуэло, то еще меньше она была приспособлена для волнений, порождаемых тщеславием, и для деятельности, основанной на честолюбии. Правда, она мечтала раньше и теперь продолжала мечтать о жизни более кипучей, о радостях любви более пылких, о более широком умственном кругозоре. Но мир искусства, рисовавшийся ее воображению таким чистым, таким открытым и благородным, оказался до того омерзительным, что она предпочла жизнь безвестную и замкнутую, теплые дружеские отношения и работу в одиночестве. Консуэло не приходилось вновь обдумывать предложение Рудольштадтов. Их великодушие, нерушимая любовь сына, снисходительное чувство отца не вызывали никаких сомнений. Ей не нужно было обращаться ни к своему уму, ни к совести — они говорили в пользу Альберта. На этот раз без всяких усилий она восторжествовала

над воспоминаниями об Андзолето. Победа над любовью дает силы для других побед, и Консуэло не боялась больше соблазна, ей не опасны были никакие чары. И все же страсть к Альберту не разгоралась в ее душе с достаточным пылом. В глубине ее сердца жило в таинственном спокойствии представление о совершенной любви, и надо было еще и еще вопрошать его… Сидя у окна, простодушная девушка часто смотрела на проходящих мимо городских молодых людей — молодцеватых студентов, благородных вельмож, меланхолических артистов, гордых всадников, — и всех подвергала она целомудренному и по-детски серьезному разбору. «Посмотрим, — говорила она себе, — насколько своенравно и легкомысленно мое сердце. Способна ли я влюбиться вдруг, безумно и неудержимо, с первого взгляда, как многие из моих школьных подруг, хваставшие этим или исповедовавшиеся друг перед другом в моем присутствии? Неужели правда, что любовь — волшебная молния, поражающая наше существо, неужели она отрывает нас от спокойного неведения или от привязанностей, в которых мы поклялись? Способен ли взгляд хоть одного из этих мужчин, иногда поднимающих свои взоры к моему окну, взволновать и очаро-

вать меня? Вот хотя бы этот рослый человек с горделивой походкой, неужели он благороднее и красивее Альберта? А тот, другой, с красивыми волосами, в изящном костюме, разве заслоняет во мне образ моего жениха? Наконец, хотела бы я оказаться на месте вон той разодетой дамы, едущей в своей коляске вместе с надменным господином, который держит ее веер и подает ей перчатки? Разве что-либо вызывает во мне дрожь, краску, трепет или мечты? Нет!.. Право же, нет! Говори, мое сердце, выскажись, — вопрошаю тебя и даю тебе свободу. Увы! Я едва знаю тебя. С минуты рождения у меня было так мало времени заняться тобой. Я не приучила тебя к искушению, предоставляла свою жизнь твоей власти, не разбирая, насколько благоразумны твои порывы. Тебя разбили, мое бедное сердце, а теперь, когда сознание одержало победу над тобой, ты не смеешь жить, ты не умеешь ответить. Говори же, проснись и выбирай! А, ты все остаешься спокойным и ничего не хочешь? — Нет, ничего! — Тебе больше не нужен Андзолето? — Нет, не нужен! — Тогда, значит, ты призываешь Альберта? Мне кажется, ты говоришь „да“!» И Консуэло ежедневно отходила от окна, бодро улыбаясь, с кротким и мягким блеском в глазах.

Спустя месяц, чувствуя себя совершенно спокойной, она ответила Альберту не спеша, чуть ли не щупая пульс при написании каждой буквы:

«Я люблю только Вас и почти уверена, что Вас люблю. Дайте мне помечтать о возможности нашего брака. Мечтайте и Вы о нем. Найдемте вместе способ не огорчать ни Вашего отца, ни моего учителя и будем счастливы, не становясь эгоистами».

К этой записке она присоединила коротенькое письмо графу Христиану, где рассказала ему, какую ведет спокойную жизнь, и сообщала о передышке, создавшейся вследствие новых планов Порпоры. Она просила старого графа найти способ обезоружить маэстро и сообщить ей об этом через месяц. Таким образом, до выяснения дела, затеянного в Берлине, ей остается еще целый месяц, чтобы подготовить Порпору.

Консуэло, запечатав оба письма, положила их на стол и заснула. Чудесный покой снизошел на ее душу, давно она не спала таким крепким, безмятежным сном. Проснулась она поздно и поспешила встать, чтобы повидаться с Келлером, обещавшим прийти в восемь часов за письмом. А было уже девять. Консуэло принялась поспешно одеваться и вдруг с ужасом увидела, что письма

на том месте, куда она его положила, нет. Всюду искала она его и не находила; наконец вышла посмотреть, не ждет ли ее Келлер в передней, но ни Келлера, ни Иосифа там не было. Возвращаясь к себе, чтобы снова приняться за поиски письма, она увидела приближавшегося Порпору, который строго смотрел на нее.

— Что ты ищешь? — спросил он.

— Я потеряла листок.

— Ты лжешь: ты ищешь письмо.

— Маэстро…

— Замолчи, Консуэло! Ты еще не умеешь лгать, не учись этому.

— Маэстро, что ты сделал с письмом?

— Я передал его Келлеру.

— А почему?.. Почему ты его передал Келлеру?

— Да потому что он за ним пришел. Ведь ты ему приказала вчера. Не умеешь ты притворяться, Консуэло, или у меня тоньше слух, чем ты думаешь.

— Скажи наконец, что ты сделал с моим письмом? — решительным тоном спросила Консуэло.

— Я же тебе сказал. Почему ты меня еще об этом спрашиваешь? Я нашел очень неприличным, что молодая и порядочная девушка, какой, я предполагаю, ты рассчитываешь всегда оставаться,

тайно передает письма своему парикмахеру. А чтобы этот человек не мог дурно подумать о тебе, я со спокойным видом отдал ему письмо, поручив от твоего имени его отправить. По крайней мере он не подумает, что ты скрываешь от своего приемного отца какую-то преступную тайну.

— Ты прав, маэстро, ты хорошо поступил… прости меня!

— Прощаю. Не будем больше об этом говорить.

— И… ты прочел мое письмо? — прибавила Консуэло ласково и боязливо.

— За кого ты меня принимаешь? — грозно воскликнул Порпора.

— Прости меня за все, — проговорила Консуэло, становясь перед ним на колени и порываясь взять его руку, — позволь открыть тебе мою душу…

— Ни слова больше!.. — вскричал маэстро, отталкивая ее, и прошел к себе в комнату, с шумом захлопнув за собой дверь.

Консуэло надеялась, что после этой гневной вспышки ей удастся его успокоить и решительно объясниться с ним. Она чувствовала себя не в силах высказаться до конца и добиться благоприятного результата, но Порпора отказался от всяких объяснений, и его суровость была непоколебима и тверда. В остальном же он относился

к ней по-прежнему дружески и с этого дня стал даже как бы веселее и добрее душой. Консуэло увидала в этом хорошее предзнаменование и с упованием ждала письма из Ризенбурга.

Порпора не солгал: он сжег письма Консуэло, не прочитав их, но сохранил конверт и вложил в него свое письмо к Христиану. Он думал этим смелым поступком спасти свою ученицу и избавить старика Рудольштадта от жертвы, превышающей его силы. Он считал, что исполнил по отношению к нему долг верного друга, а по отношению к Консуэло — долг энергичного и разумного отца. Маэстро не предвидел, что мог нанести смертельный удар графу Альберту. Едва зная его, он полагал, что Консуэло все преувеличивает и молодой человек не так уж влюблен и не так болен, как она воображала. Наконец, как все старики, он считал, что любовь не вечна, а горе никого не убивает.

Глава 93

В ожидании ответа, которому не суждено было прийти, раз Порпора сжег ее письма, Консуэло продолжала вести спокойный, полный труда образ жизни. Ее появление в доме Вильгельмины привлекло туда несколько выдающихся лиц, и ей доставляло большое удовольствие с ними встречаться. В числе их был барон Тренк, внушавший ей истинное расположение. Он был настолько деликатен, что при первой встрече отнесся к ней не как к старой знакомой, а после того, как она спела, просил быть представленным ей в качестве почитателя, глубоко тронутого ее пением. Когда Консуэло увидала красивого, великодушного молодого человека, спасшего ее так мужественно от г-на Мейера и его шайки, первым ее побуждением было протянуть ему руку. Барон, не желавший, чтобы она из чувства признательности поступила неосторожно, поспешил почтительно поддержать Консуэло, как бы для того, чтобы проводить на место, и тут в знак благодарности слегка пожал ей руку. Потом она узнала от Иосифа, у которого барон Тренк

брал уроки музыки, что он всегда с интересом справлялся и с восторгом говорил о ней, но из чувства необычайной деликатности никогда не спрашивал, чем вызвано было ее переодевание, почему предприняли они такое полное приключений путешествие, каковы были их отношения друг к другу во время этого странствования и в настоящее время.

— Не знаю, что он об этом думает, — добавил Иосиф, — но, уверяю тебя, ни об одной женщине он не говорит с большим почтением и уважением, чем о тебе.

— В таком случае, друг, я разрешаю тебе, если хочешь, рассказать ему всю нашу историю, а так же и мою, не называя фамилии Рудольштадт. Мне нужно безусловное доверие и уважение человека, которому мы обязаны жизнью и который так благородно во всех отношениях вел себя со мной. Несколько недель спустя, едва успев выполнить свою миссию, г-н фон Тренк был внезапно отозван Фридрихом и однажды утром явился в посольство, чтобы наскоро проститься с г-ном Корнером. Консуэло, спускаясь по лестнице, встретилась с ним в галерее. Так как они были одни, он подошел к ней, взял ее руку и нежно поцеловал.

— Позвольте мне, — сказал он, — в первый и, быть может, в последний раз высказать вам чувства, переполняющие мое сердце. Мне не нужно было слышать от Беппо вашей истории, чтобы проникнуться уважением к вам. Есть лица, в которых не ошибаешься и с первого же взгляда угадываешь большой ум и великое сердце. Знай я тогда, в Пассау, что наш милый Иосиф так беспечен, я защитил бы вас от легкомысленных поползновений графа Годица; я их предвидел и сделал все возможное, но не мог внушить ему, что он метит впустую и только поставит себя в смешное положение. Впрочем, добряк Годиц сам рассказал мне, как вы над ним посмеялись; он бесконечно благодарен вам за то, что вы сохранили все в тайне. Я же никогда не забуду о романтическом приключении, которое дало мне счастье узнать вас, и если бы мне пришлось даже заплатить за это своим состоянием и своей будущностью, я все-таки буду считать тот день одним из лучших в своей жизни. — Неужели вы думаете, господин барон, что это приключение может иметь какие-то последствия?

— Надеюсь, что нет, но при прусском дворе все возможно.

— Вы внушаете мне большой страх к Пруссии, а

между тем, знаете, господин барон, возможно, что в недалеком будущем мы с вами там встретимся. Идут переговоры о приглашении меня в Берлин.

— В самом деле? — воскликнул Тренк, и лицо его вдруг просияло. — Ну, дай бог, чтобы этот проект осуществился. В Берлине я смогу быть вам полезен, и вы должны рассчитывать на меня как на брата. Да, я люблю вас как брат, Консуэло! И, будь я свободен, я, быть может, не смог бы побороть в себе чувства более пылкого… Но вы также не свободны, и узы священные, вечные… не позволяют мне завидовать счастливцу, добивающемуся вашей руки. Кто бы он ни был, сударыня, знайте — он найдет во мне друга, если пожелает, и защитника против предрассудков общества, как только это ему понадобится… Увы! И передо мной, Консуэло, стоит ужасная преграда, отделяющая предмет моей любви от меня. Но тот, кто любит вас, — мужчина, и он может свалить преграду, в то время как любимая мною женщина, стоящая выше меня по положению, не обладает ни властью, ни правом, ни силой, ни возможностью помочь мне в разрушении этой преграды.

— Стало быть, я ничего не смогу сделать ни для нее, ни для вас? сказала Консуэло, впервые

сожалея о бессилии своего скромного положения. — Кто знает! — с жаром воскликнул барон. — Возможно, вы будете в состоянии сделать больше, чем думаете, если не для нашего союза, то хотя бы для облегчения тяжести нашей разлуки. Хватит ли, однако, у вас мужества пренебречь некоторой опасностью ради нас?

— О! Я сделаю это с радостью! Ведь и вы подвергали опасности свою жизнь, чтобы спасти меня!

— Прекрасно! Я буду на вас рассчитывать! Не забывайте своего обещания, Консуэло! Быть может, я неожиданно напомню вам о нем…

— В какую бы минуту моей жизни это ни случилось, я никогда не забуду своего обещания, — ответила она, протягивая ему руку.

— Тогда дайте мне какую-нибудь малоценную вещицу, которую я мог бы вам послать в случае надобности, ибо мне предстоит серьезная борьба, — я это чувствую, и обстоятельства могут так сложиться, что моя подпись и даже печать способны будут скомпрометировать и ее и вас.

— Хотите взять ноты, которые я как раз несу знакомым по поручению моего учителя? Им я достану другие, а на этих сделаю знак, чтобы признать их, когда понадобится.

— Почему бы и нет? Ноты действительно можно

скорее всего послать, не возбуждая подозрений. И на случай, если придется воспользоваться ими несколько раз, я разорву их на отдельные листы. А вы на каждом из них сделайте значок.

Консуэло, прислонившись к перилам лестницы, написала на каждом листке имя Бертони. Барон свернул их в трубочку и унес, поклявшись нашей героине в вечной дружбе.

Как раз в ту пору г-жа Тези захворала, и это грозило приостановкой спектаклей на императорской сцене, так как она исполняла главные роли. В крайнем случае ее могла заменить Корилла. Она пользовалась немалым успехом и при дворе и в городе, ее красота и вызывающее кокетство кружили головы добродушным немецким вельможам, и никто не думал предъявлять большие требования к ее немного хриплому голосу и несколько истеричной игре. Все казалось великолепным у такой красавицы — ее белоснежные плечи как бы выводили чудесные рулады, ее круглые обольстительные руки пели всегда верно, ее великолепные позы преодолевали самые

смелые трели. Несмотря на музыкальный пуризм, которым здесь так кичились, многие, как и в Венеции, подпадали под очарование томных очей, и госпожа Корилла сумела в своем будуаре

обработать несколько умных голов, сделавшихся восторженными поклонниками ее предстоящих выступлений.

Итак, она смело взялась временно заменить г-жу Тези, но затруднение заключалось в том, что надо было найти заместительницу для нее самой. О пискливом голосе г-жи Гольцбауэр нечего было и думать. Приходилось допустить появление Консуэло или довольствоваться кем попало. Порпора суетился как дьявол. Метастазио, выражая величайшее недовольство ломбардским произношением Кориллы и негодуя на то, что она, вопреки смыслу и действию оперы, всеми силами старалась затирать другие роли, не скрывал своего отвращения к ней и симпатию к добросовестной и умной Порпорине. Кафариэлло, ухаживавший за г-жой Тези (уже от всей души ненавидевший Кориллу за то, что она осмелилась оспаривать у нее «эффектные выходы» и первенство красоты), смело высказался за приглашение Консуэло. А Гольцбауэр, ревниво оберегавший честь своего театра, но в то же время боявшийся влияния, которое Порпора, попав за кулисы, несомненно сумеет приобрести, просто терял голову.

Скромное поведение Консуэло привлекло к ней столько приверженцев, что трудно было

уже дольше вводить в заблуждение императрицу. Благодаря всему этому Консуэло получила приглашение. Ей, однако, были предложены жалкие условия, в надежде, что она откажется. Порпора сразу на них согласился, по обыкновению не переговорив со своей ученицей. В одно прекрасное утро Консуэло узнала, что ангажирована на шесть спектаклей. Не имея возможности избавиться от этого и не понимая в то же время, почему после полуторамесячного ожидания она не получает никаких вестей от Рудольштадтов, Консуэло по настоянию Порпоры, вынуждена была отправиться на репетицию «Антигона» Метастазио (музыка Гассе).

Консуэло уже прошла свою роль с Порпорой. Конечно, для маэстро было мукой изучать с нею произведение соперника, самого неблагодарного из всех учеников, врага, которого он теперь особенно ненавидел. Но, не говоря о том, что через все это надо было пройти, чтобы раскрыть двери своим собственным произведениям, Порпора был слишком добросовестным преподавателем, обладал слишком честной душой артиста, чтобы не вложить в это изучение всего своего знания и усердия. Консуэло всеми силами помогала ему, и это одновременно и восхищало его и приводило

в отчаяние. Вопреки своему желанию, бедная девушка была в восторге от Гассе, и душа ее испытывала больший подъем от нежных и страстных мелодий Sassone, чем от величественных и подчас немного холодных и сухих произведений своего учителя. Привыкнув при изучении с ним других композиторов свободно отдаваться своему восторгу, она на этот раз была принуждена сдерживаться, видя, как он бывает грустен и удручен после этих занятий.

Когда Консуэло вышла на сцену репетировать с Кафариэлло и Кориллой, она была так взволнована, хотя и знала прекрасно свою партию, что ей стоило большого труда приступить к сцене Исмены с Береникой, начинавшейся словами:

No, tutto, o Berenice, Tu non apri il tuo cor... Корилла ответила следующей фразой:

... E ti par poco, Quel che sai de'miei casi? На этом месте Кориллу прервал громкий хохот Кафариэлло, и она, повернувшись и яростно глядя на него, спросила:

— Что вы находите тут смешного?

— Ты так чудесно это сказала, моя толстая Береника! — ответил, еще громче смеясь, Кафариэлло. — Трудно было сказать искреннее.

— Это слова так забавляют вас? — спросил

Гольцбауэр, который был не прочь передать Метастазио, как сопраниста потешается над его стихами.

— Слова-то прекрасны, — сухо ответил Кафариэлло, хорошо знавший, с кем имеет дело, — но они здесь так кстати, что я не мог удержаться от смеха.

И он, надрываясь от хохота, повторил, обращаясь к Порпоре:

… E ti par poco, Quel che sai de tanti casi? Корилла понимала, какая кровная обида заключается в намеках на ее поведение; дрожа от ярости, ненависти и страха, она чуть не бросилась на Консуэло и готова была ее искалечить, но у юной певицы был такой кроткий и спокойный вид, что она не посмела ее тронуть. К тому же слабый свет, проникавший на сцену, упал на лицо ее соперницы, и Корилла остановилась пораженная: какие-то смутные воспоминания зашевелились в ее мозгу, какой-то странный ужас охватил ее. В Венеции она никогда не видела Консуэло ни вблизи, ни днем. Во время родовых мук она едва могла рассмотреть лицо цыганенка Бертони, суетившегося вокруг нее, да так и не поняла, почему он столь трогательно заботится о ней. Она попыталась было припомнить все происшедшее, но так как

ей это не удавалось, то в течение всей репетиции она испытывала беспокойное и неприятное ощущение. Совершенство, с каким Консуэло провела свою партию, немало способствовало ее дурному настроению, а присутствие Порпоры, ее бывшего учителя, слушавшего ее, как строгий судья, молча и почти презрительно, превратило для нее репетицию в настоящую пытку. Г-н Гольцбауэр был не менее уязвлен, когда маэстро стал критиковать его темп, а верить ему поневоле приходилось, так как Порпора однажды присутствовал на репетиции, которой дирижировал сам Гассе во время первой постановки своей оперы в Дрездене. Нужда в добром совете заставила Гольцбауэра смириться и скрыть досаду. Маэстро провел всю репетицию, давал указания каждому артисту, сделал замечание даже самому Кафариэлло, а тот, желая поднять престиж Порпоры перед другими, притворился, будто с почтением слушает его. Кафариэлло стремился унизить в тот день дерзкую соперницу г-жи Тези и готов был на все, даже играть роль покорного и скромного ученика. Ведь и у актеров, и у дипломатов, и на сцене, и в кабинете монархов самыми лучшими и самыми некрасивыми делами движут скрытые пружины, а подоплека этих дел самая мелочная

и пустая.

Вернувшись после репетиции домой, Консуэло застала Иосифа в радостном настроении, которого он, однако, пытался не показывать. Когда им удалось поговорить наедине, она узнала, что старый каноник переехал в Вену, и первой его мыслью было вызвать своего милого Беппо; угощая юношу прекрасным завтраком, каноник буквально закидал его вопросами, с нежностью справляясь о дорогом его сердцу Бертони. Они уже сговорились, каким образом завязать знакомство с Порпорой, чтобы иметь возможность видеться по-семейному, честно и открыто. На следующий же день каноник представился Порпоре как покровитель Иосифа Гайдна и как ярый поклонник самого маэстро, явившийся поблагодарить за уроки, которые маэстро соблаговолил давать его юному другу. Консуэло сделала вид, будто встречает его впервые, а вечером маэстро с обоими учениками уже дружески обедал у каноника. Только стоицизм, — а в те времена даже самые крупные музыканты не могли им похвастаться, — мог помешать Порпоре сразу проникнуться симпатией к доброму канонику, угощавшему таким прекрасным обедом и так высоко ценившему его произведения. После обе-

да занялись музыкой. Затем они стали видеться почти ежедневно.

Это успокаивающе действовало на Консуэло, начинавшую уже волноваться по поводу молчания Альберта. Каноник был человеком нрава веселого, непорочным и в то же время свободомыслящим, превосходным во многих отношениях, справедливым и притом просвещенным в разных областях. Словом, это был прекрасный друг и чрезвычайно милый собеседник. Его общество оживляло и подбадривало маэстро, тот воспрянул духом, а следовательно, и у Консуэло стало легче на душе.

Однажды, когда не было репетиций (за два дня до представления «Антигона»), Порпора отправился за город с одним из своих коллег, а каноник предложил Иосифу и Консуэло нагрянуть всем вместе в приорию, чтобы захватить врасплох оставленных там слуг и, свалившись к ним как снег на голову, самим убедиться, хорошо ли ухаживает садовница за Анджелой и не обходится ли садовник небрежно с волкамерией. Молодые люди охотно согласились присоединиться к этой увеселительной прогулке. Экипаж каноника нагрузили пирожками и бутылками (нельзя же проехать четыре мили, не нагуляв аппетита) и,

сделав небольшой крюк, подъехали к приории. На некотором расстоянии от нее они оставили экипаж и пошли пешком, так как хотели явиться возможно неожиданнее.

Волкамерия чувствовала себя превосходно: она находилась в тепле, и корни ее были свежи. С наступлением холодов она перестала цвести, но ее красивые листья, нимало не тронутые увяданием, мягко ниспадали на обнаженный ствол. Оранжерея содержалась в полном порядке, голубые хризантемы, не боясь зимы, казалось, смеялись за стеклянными перегородками. И Анджела, прильнув к груди кормилицы, начинала уже смеяться, когда с нею заигрывали. Каноник очень разумно запретил злоупотреблять этим, так как насильственный смех развивает у таких малюток совершенно ненужную нервозность.

Сидели они, непринужденно болтая, в хорошеньком домике садовника. Каноник, закутавшись в меховую шубу, грел ноги у очага, где пылали сухие корни и сосновые шишки. Иосиф играл с прелестными детьми красивой садовницы, а Консуэло, сидя посреди комнаты с маленькой Анджелой на руках, смотрела на нее со смешанным чувством нежности и скорби: ей казалось, что этот ребенок принадлежит ей

больше, чем кому бы то ни было, и таинственный рок связывает его судьбу с ее собственной. Вдруг дверь отворилась, и перед ней, словно видение, вызванное ее грустными мечтами, предстала Корилла.

Впервые после родов Корилла почувствовала если не прилив материнской любви, то все-таки нечто вроде угрызений совести и украдкой явилась проведать своего ребенка. Она знала, что каноник живет в Вене. Приехав вслед за ним через полчаса, Корилла не наткнулась на его экипаж близ приории, так как каноник сошел не у самых ворот. Никого не встретив, она с опаской пробралась садами до домика, где, по ее сведениям, жила у своей кормилицы Анджела, ибо Корилла все-таки навела кое-какие справки на этот счет. Актриса очень потешалась над замешательством и христианским смирением каноника, но была в полном неведении относительно участия в этом приключении Консуэло, — поэтому она с удивлением, к которому примешались ужас и смятение, увидела свою соперницу. Не зная и не смея догадываться, какое дитя та укачивает, она чуть было не обратилась в бегство. Консуэло, инстинктивно прижавшая ребенка к груди, точно куропатка, прячущая птенца под крыло при

приближении коршуна, Консуэло, служившая в том же театре и способная на следующий день представить всю эту комедию совсем не в том виде, в каком изображала ее Корилла, наконец Консуэло, смотревшая на нее с омерзением, потрясла ее своим присутствием так, что Корилла, словно прикованная, остановилась посреди комнаты. Однако Корилла была слишком опытной актрисой, — она быстро пришла в себя и обрела дар слова. Ее тактика заключалась в том, чтобы, оскорбляя других, самой избежать унижения. И тут же, входя в роль, она наглым, резким тоном обратилась к Консуэло на венецианском наречии:

— Черт возьми! Бедная Zingarella! Что ж, этот дом — приют подкидышей, что ли? Ты явилась сюда, чтоб взять или оставить своего детеныша? Видно, у нас с тобой одно счастье, одна удача. Без сомнения, у наших детей и отец один и тот же, ведь наши с тобой приключения начались в Венеции одновременно. И я убедилась, сокрушаясь за тебя, что красавец Андзолето бросил труппу в прошлом сезоне, плюнув на ангажемент, вовсе не для того, чтобы погнаться за тобой, как все думали.

— Сударыня, — ответила Консуэло, бледная,

но спокойная, — имей я несчастье быть в таких же близких отношениях с Андзолето, как вы, и вследствие этого счастье стать матерью (так как это всегда счастье для женщины, умеющей чувствовать), дитя мое не было бы здесь.

— А! Понимаю! — продолжала та с мрачным огнем в глазах. — Он был бы воспитан в вилле Дзустиньяни. У тебя нашлось бы ума, у меня его, к сожалению, не хватило: ты уверила бы милого графа, что его честь требует признания ребенка. Но ты не имела несчастья, как уверяешь, быть любовницей Андзолето, а Дзустиньяни был настолько счастлив, что не оставил тебе доказательств своей любви. Говорят, Иосиф Гайдн, ученик твоего учителя, утешил тебя во всех твоих злоключениях, и, без сомнения, дитя, которое ты укачиваешь…

— Ваше, сударыня! — воскликнул Иосиф, прекрасно понимавший теперь венецианское наречие, становясь между Консуэло и Кориллой; один вид его заставил отступить наглую женщину. — Вам это свидетельствует Иосиф Гайдн; к вашему сведению, он присутствовал, когда вы производили на свет этого ребенка.

Лицо Иосифа, не встречавшегося с ней с того злосчастного дня, вдруг воскресило в ее памяти

все обстоятельства, которые она тщетно силилась припомнить, и в цыганенке Бертони она увидела черты цыганочки Консуэло. У нее невольно вырвался возглас удивления, и с минуту в душе ее шла борьба между стыдом и досадой. Но вскоре цинизм взял свое, и из ее уст снова посыпались оскорбления.

— По правде сказать, дети мои, я вас не узнала! — воскликнула она неприятно елейным тоном. — Оба вы были очень милы, когда я встретила вас в разгаре ваших приключений, а переодетая Консуэло была действительно красивым мальчиком. Так, значит, здесь, в этом святом доме, провела она благочестиво в обществе толстого каноника и молоденького Иосифа целый год, убежав из Венеции? Ну, Zingarella, не беспокойся, дитя мое! У каждой из нас своя тайна, и императрица, желающая все знать, ничего не узнает ни об одной из нас!

— Предположим даже, Корилла, что у меня есть тайна, — холодно проговорила Консуэло, — но она в ваших руках только с сегодняшнего дня, а я владела вашей в тот день, когда в течение часа говорила с императрицей за три дня до подписания вами ангажемента.

— И ты дурно говорила обо мне? — закричала

Корилла, краснея от злости.

— Скажи я ей то, что знаю о вас, вы не были бы приглашены, а раз вы получили ангажемент, то, очевидно, я не захотела воспользоваться случаем.

— Почему же ты этого не сделала? Уж очень ты глупа, должно быть! — воскликнула Корилла, чистосердечно расписываясь в своей невероятной испорченности.

Консуэло и Иосиф, переглянувшись, не могли не улыбнуться друг другу. Улыбка Иосифа была исполнена презрения к Корилле, но ангельская улыбка Консуэло возносилась к небу.

— Да, сударыня, — ответила она, подавляя Кориллу своей кротостью,

— я именно такая, как вы сказали, и считаю это благом для себя.

— Не такое уж это благо, бедняжка, раз я приглашена на сцену, а ты нет! — возразила взволнованная и несколько озадаченная Корилла. — Мне говорили в Венеции, что у тебя не хватает ума и ты плохо ведешь свои дела! Это единственно верное из всего, что рассказывал о тебе Андзолето. Но что поделаешь! Не моя вина, что у тебя такой характер… На твоем месте я сказала бы все, что знала о Корилле, а себя выставила бы

целомудренной, святой… Императрица поверила бы: ее нетрудно убедить… я бы вытеснила всех своих соперниц. Ты же этого не сделала!.. Это просто смешно, и мне жаль тебя, ты не умеешь устраиваться.

На этот раз презрение взяло верх над негодованием. Консуэло и Иосиф разразились смехом, а Корилла, почувствовав в своей сопернице то, что ей показалось бессилием, потеряла свою задорную язвительность, которою вооружилась было на первых порах. Она придвинула стул к очагу и собралась продолжать разговор, намереваясь выведать сильные и слабые стороны своих противников. В этот момент она очутилась лицом к лицу с каноником, которого она до сих пор не видела, так как благочестивый отец, руководясь инстинктивной осторожностью духовного отца, сделал знак дебелой кормилице и ее двум детям заслонить его, пока он не разберется в происходящем.

Глава 94

После грязного намека на отношения Консуэло и толстого каноника, который несколько минут назад Корилла высказала, ей показалось теперь, что перед нею — голова Медузы. Но она успокоилась, вспомнив, что говорила на венецианском наречии, и поздоровалась с каноником на немецком языке с той смесью смущения и наглости, какими отличаются взгляд и лицо женщины легкого поведения. Каноник, обычно такой вежливый и любезный, тут, однако, не только не встал, но даже не ответил на ее поклон. Корилла, расспрашивавшая о нем в Вене, слышала от всех, что он чрезвычайно хорошо воспитан, большой любитель музыки, человек, не способный педантично читать наставления женщине, особенно певице, и все собиралась повидаться с ним и пустить в ход свои чары, чтобы помешать ему дурно говорить о ней. Но если в подобных делах она обладала сметливостью, которой не хватало Консуэло, то вместе с тем ей присущи были и беспечность и безалаберность, граничащие с распущенностью, ленью и даже, хотя это может

показаться здесь неуместным, нечистоплотностью. У грубых натур все эти слабости цепляются одна за другую. Расхлябанность души и тела парализует склонность к интригам. У Кориллы, по природе своей способной на вероломство, редко хватало энергии довести интригу до конца. Она откладывала со дня на день посещение каноника, и теперь, когда он оказался таким холодным и строгим, видимо смутилась.

И вот, стремясь смелой выходкой поправить дело, она обратилась к Консуэло, продолжавшей держать на руках Анджелу:

— Послушай, почему ты не дашь мне поцеловать мою дочку и положить ее у ног господина каноника, чтобы…

— Госпожа Корилла, — прервал ее каноник тем сухим, насмешливо-холодным тоном, каким он обыкновенно прежде говорил «госпожа Бригита», — будьте добры, оставьте этого ребенка в покое. — И с большой изысканностью, хотя и немного медленно, он продолжал по-итальянски, не снимая шапочки, надвинутой на уши: — Вот четверть часа, как я вас слушаю, и хотя не очень знаком с вашим провинциальным наречием, все же понял достаточно, и скажу вам, что вы самая наглая негодяйка, какую я встречал в жизни. Но

все-таки я думаю, что вы скорее глупы, чем злы, и более подлы, чем опасны. Вы ничего не смыслите в прекрасном, и было бы потерей времени заставить вас понять его. Одно могу вам сказать: говоря с этой девушкой, этой девственницей, этой святой, как вы сейчас в насмешку назвали ее, вы оскверняете ее! Не говорите же с ней! Что касается ребенка, рожденного вами, вы, прикасаясь к нему, бесчестите его. Не прикасайтесь же! Ребенок — священное существо. Консуэло это сказала, и я понял ее. Только по ходатайству и благодаря уговорам этой самой Консуэло я дерзнул взять на свое попечение вашу дочь, не испугавшись того, что в один прекрасный день ее скверные инстинкты, которые она рискует унаследовать от вас, заставят меня раскаяться в этом. Мы сказали себе, что милость божья дает возможность всякому существу знать и творить добро, и мы обещали себе преподать ей добро и помочь ей творить его легко и радостно. Останься ребенок у вас, все было бы совсем иначе. Будьте же добры с сегодняшнего дня не считать Анджелу своей дочерью. Вы покинули ее, уступили, отдали, — она больше вам не принадлежит. Вы передали известную сумму денег — как плату за ее воспитание…

Он сделал знак кормилице, и та, предупрежденная им за несколько минут до того, вынула из шкафа перевязанный и запечатанный мешочек, тот самый, который прислала Корилла канонику вместе с дочерью и который никогда не был открыт. Каноник взял его и, бросив к ногам Кориллы, прибавил:

— Нам с ним нечего делать, он нам совсем не нужен. А теперь я прошу вас оставить мой дом и никогда, ни под каким предлогом здесь не появляться. С этим условием, а также при обещании, что вы никогда не позволите себе открыть рта относительно обстоятельств, заставивших нас войти в сношения с вами, мы, со своей стороны, обещаем вам абсолютное молчание по поводу всего, что вас касается. В противном случае, предупреждаю вас, у меня больше средств, чем вы думаете, довести всю правду до сведения ее императорского величества, и тогда очень возможно, что ваши лавровые венки и восторженные овации ваших театральных поклонников сменятся на несколько лет монастырем для кающихся грешниц.

Сказав это, каноник встал, сделал знак кормилице взять на руки ребенка, а Консуэло с Иосифом — удалиться в глубь комнаты. Затем он указал

Корилле пальцем на дверь, и та в ужасе, бледная и дрожащая, вышла словно помешанная, не зная, куда идет, и не понимая, что вокруг нее происходит. Каноник, изгоняя ее чуть ли не с проклятием, был охвачен негодованием честного человека, и это придавало его словам необычайную силу. Консуэло и Иосиф ни разу не видели его таким. Привычка считать себя авторитетом, никогда не покидающая священника, и манера держаться по-королевски повелительно, в известной мере унаследованная им и выдававшая в нем в эту минуту побочного сына Августа II, сообщали канонику, — о чем он, быть может, даже и не подозревал, — какое-то непередаваемое величие. Корилла, не привыкшая к тому, чтобы мужчина с подобным спокойствием говорил ей суровую правду, почувствовала такой страх, какого не внушал ей еще ни один взбешенный любовник своими оскорблениями, полными мести и презрения. Суеверная итальянка, она и в самом деле испугалась этого духовного лица и его анафемы; как безумная пустилась она бежать через сад, а каноник, утомленный усилием, столь несвойственным его веселому и доброму нраву, опустился на стул, бледный, едва дыша.

Бросившись ему на помощь, Консуэло неволь-

но продолжала следить взглядом за злосчастной Кориллой, удалявшейся поспешной, неверной походкой. Она видела, как Корилла в конце аллеи споткнулась и упала на траву, то ли оступившись, то ли оттого, что не имела уже сил держаться на ногах. Добрая девушка считала, что актриса получила более суровый урок, чем у нее самой хватило бы сил ей дать; оставив каноника на попечении Иосифа, Консуэло побежала к своей сопернице, бившейся в жестоком нервном припадке. Не в силах успокоить Кориллу и не смея привести ее обратно в приорию, она старалась удержать ее, чтобы та не каталась по земле и не обдирала себе руки о песок. Несколько минут Корилла была как сумасшедшая. Но когда она увидела, кто оказывает ей помощь и старается ее утешить, она вдруг успокоилась и только мертвенно побледнела. Сжав губы, устремив в землю потухший взор, она хранила упорное молчание. Однако она позволила проводить себя до экипажа, ждавшего ее у ворот, и, не проронив ни единого слова, села в него, поддерживаемая своей соперницей.

— Вы очень плохо себя чувствуете? — спросила Консуэло, испуганная ее ужасным видом. — Дайте я провожу вас часть пути, потом вернусь обратно пешком.

Вместо всякого ответа Корилла грубо оттолкнула девушку, потом секунду как-то загадочно смотрела на нее и, вдруг зарыдав, закрыла лицо рукой, а другой махнула кучеру, чтобы он ехал; сама же, не желая видеть своего великодушного врага, спустила штору.

На следующий день, к началу последней репетиции «Антигона», Консуэло была на своем посту и ожидала Кориллу. Примадонна приказала передать через своего слугу, что опоздает на полчаса. Кафариэлло послал ее ко всем чертям и, объявив, что не намерен зависеть от такой дуры и не станет ее ждать, притворился, будто собирается уйти. Г-жа Тези, бледная и больная, пожелала присутствовать на репетиции, чтобы позабавиться над Кориллой. Она велела принести себе диван и улеглась на него за первой кулисой, изображавшей подобранный занавес, что на театральном жаргоне зовется «плащом арлекина». Тези стала успокаивать своего друга и сама решила упорно ждать Кориллу, уверенная, что та медлит, желая избежать ее критики. Наконец появилась Корилла, более бледная и изможденная, чем даже г-жа Тези, и та, увидев ее в таком состоянии, порозовела и приободрилась. Вместо того чтобы, как обычно, сбросить с себя накидку

и шляпу с величественной развязностью, Корилла в изнеможении опустилась на деревянный позолоченный трон, забытый в глубине сцены, и угасающим голосом обратилась к Гольцбауэру:

— Господин директор, заявляю вам, что я страшно больна, совсем без голоса и провела ужасную ночь…

— С кем? — томно спросила Тези у Кафариэлло.

— И поэтому, — продолжала Корилла, — я совершенно не в состоянии репетировать сегодня и петь завтра, разве только снова возьму роль Исмены, а роль Береники вы дадите другой.

— Да думаете ли вы о том, что говорите, сударыня? — воскликнул Гольцбауэр, словно громом пораженный. — Можно ли накануне спектакля, назначенного самим двором на определенный час, представлять какие-либо отговорки? Это немыслимо, и я ни в коем случае не могу на это согласиться.

— А все-таки вам придется с этим согласиться, — возразила Корилла уже своим обычным, далеко не кротким голосом. — Я приглашена на вторые роли, и в моем контракте нет пункта, обязывающего меня исполнять первые. Только любезность заставила меня заменить госпожу Тези, чтобы не прерывать развлечений двора.

Я слишком плохо себя чувствую и не могу сдержать свое обещание, а насильно петь вы меня не заставите.

— Милая моя, тебя заставят петь приказом, — вмешался Кафариэлло, — и ты споешь плохо, как мы и предвидели. Это небольшое несчастье прибавится ко всем тем, которые тебе привелось по своему желанию переносить в жизни. Но раскаиваться поздно. Надо было думать раньше. Слишком ты понадеялась на свои силы. Ты провалишься; но нам-то всем какое до этого дело! Я спою так, что забудут о самом существовании роли Береники. Порпорина также своей маленькой ролью Исмены вознаградит публику, и все будут довольны, за исключением тебя. Это послужит тебе уроком, которым ты, не знаю уж, воспользуешься или не воспользуешься в следующий раз.

— Вы очень ошибаетесь насчет причины моего отказа, — уверенным тоном ответила Корилла. — Не будь я больна, вероятно, я спела бы свою партию не хуже кого угодно. Но так как я не в состоянии петь, то споет ее некто, способный петь гораздо лучше, чем кто-либо из выступавших до сих пор в Вене, и это произойдет не позже завтрашнего дня. Таким образом, спектакль состоится в свое время, а я с удовольствием снова

буду исполнять партию Исмены: она меня не утомляет.

— Вы, стало быть, рассчитываете, — сказал удивленный Гольцбауэр, что госпожа Тези настолько поправится к завтрашнему дню, что будет в состоянии спеть свою партию?

— Я прекрасно знаю, что госпожа Тези еще долго не сможет петь, — проговорила Корилла так громко, что с трона, где она восседала, ее могла слышать Тези, возлежавшая на диване в десяти шагах от нее. — Смотрите, как она изменилась: на нее просто страшно смотреть! Но я сказала, что у вас есть великолепная Береника, несравненная, превосходящая всех нас. Вот она! — прибавила Корилла, поднимаясь, и, взяв за руку Консуэло, вывела ее на самую середину встревоженной взволнованной группы, образовавшейся вокруг певицы.

— Я? — воскликнула Консуэло, которой казалось, что она видит сон.

— Ты! — закричала Корилла, судорожным движением толкая ее к трону.

— Вот ты и царица, Порпорина! Вот ты и на первом месте! И я возвожу тебя на него. Я! Это был мой долг по отношению к тебе. Помни это!

Гольцбауэр, в полном отчаянии, рискуя не вы-

полнить своей обязанности и, быть может, даже лишиться места директора, не мог отвергнуть эту неожиданную помощь. Он прекрасно видел по тому, как Консуэло провела роль Исмены, что она будет на высоте и в партии Береники. Несмотря на отвращение к Консуэло и к Порпоре, в данную минуту он мог бояться только одного: что юная певица не согласится взять на себя эту роль.

И она действительно очень настойчиво от нее отказывалась. Дружески пожимая руку Кориллы, она шепотом умоляла актрису не приносить ей жертвы, так мало нужной ее самолюбию, но являвшейся, с точки зрения ее соперницы, самым ужасным из всех искуплений, самым страшным самоунижением, к какому та могла себя принудить. Корилла осталась непреклонной в своем решении.

Госпожа Тези, испуганная грозящим ей серьезным соперничеством, очень хотела попробовать голос и снова взяться за свою роль, хотя бы даже с риском для жизни, ибо она была не на шутку больна, но не решилась на это: тогда на императорской сцене не разрешались капризы, с которыми теперь так терпеливо мирится добродушный владыка нашего времени — публика. Двор ожидал увидеть нечто новое в роли Берени-

ки: ему об этом было доложено, и императрица на это рассчитывала.

— Ну, соглашайся! — сказал Кафариэлло Порпорине. — Это первый умный поступок Кориллы за всю ее жизнь; воспользуемся же им!

— Но я роли не знаю, я не проходила ее, — говорила Консуэло, — не смогу же я выучить ее к завтрашнему дню.

— Ты слышала ее, следовательно, знаешь и завтра споешь, — проговорил, наконец, громовым голосом Порпора. — Ну, нечего гримасничать, и пусть эти споры прекратятся! Больше часа мы потеряли на болтовню. Господин дирижер, прикажите скрипкам начинать. А ты, Береника, марш на сцену! Не нужно нот, долой ноты! Кто был на трех репетициях, должен знать все роли на память. Говорю тебе: роль ты знаешь.

No, tutto, o Berenice, Tu non apri il tuo cor… пела Корилла, снова став Исменой.

«А теперь, — подумала эта женщина, судившая о тщеславии Консуэло по своему собственному, — она и думать забудет о моих делишках».

Консуэло, чья феноменальная память и необычайная легкость усвоения были прекрасно известны Порпоре, действительно спела свою партию без единой запинки в мелодии или в

тексте. Г-жа Тези была так поражена ее игрой и пением, что почувствовала себя гораздо хуже и после первого же действия приказала отвезти себя домой.

На следующий день Консуэло нужно было к пяти часам приготовить себе костюм, пройти наиболее серьезные места своей роли и вообще внимательно повторить всю партию. Успех она имела такой, что императрица, выходя из театра, сказала:

— Что за чудесная девушка! Надо непременно выдать ее замуж; я позабочусь об этом.

Со следующего же дня начали репетировать «Зенобию» на текст Метастазио и музыку Предиери. Корилла опять настояла на том, чтобы Консуэло исполняла главную роль. Вторую роль на этот раз взяла на себя г-жа Гольцбауэр, и так как она была музыкальнее Кориллы, то оперу разучили лучше, чем первую. Метастазио был в восторге, видя, что его лира, заброшенная и забытая во время войны, снова входит в милость при дворе и производит фурор в Вене. Он почти перестал думать о своих хворях и, побуждаемый благосклонностью Марии-Терезии и своим долгом писателя творить новые лирические драмы, готовился, изучая греческие трагедии

и латинских классиков, к созданию одного из тех шедевров, которые итальянцы в Вене, а немцы в Италии бесцеремонно ставили выше трагедий Корнеля, Расина, Шекспира, Кальдерона, — словом, говоря откровенно и без ложного стыда, — превыше всего.

Но мы не станем больше злоупотреблять в нашем рассказе — и без того достаточно длинном и перегруженном подробностями — давно уже истощившимся, быть может, терпением читателя и делиться с ним своими мыслями относительно гениальности Метастазио. Читателю это мало интересно. Мы только сообщим ему, что Консуэло втихомолку говорила по этому поводу Иосифу:

— Милый мой Беппо, ты не можешь себе представить, до чего мне трудно играть эти роли, считающиеся такими возвышенными, такими трогательными! Правда, рифмы хороши и петь их легко, но что касается персонажей, произносящих все это, то не знаешь, где взять, уж не говорю, подъема, а просто сил удержаться от смеха, изображая их. До чего же нелепо получается, когда, следуя традиции, мы пытаемся передать античный мир средствами современности: выводятся на сцену интриги, страсти, понятия о нравственности, которые, пожалуй, были бы очень уместны

в мемуарах маркграфини Байрейтской, барона Тренка, принцессы Кульмбахской, но в устах Радамиста, Береники или Арсинои являются просто нелепой бессмыслицей. Когда, поправляясь после болезни, я жила в замке Великанов, граф Альберт часто читал мне вслух, чтобы усыпить меня, но я не спала и слушала затаив дыхание. Читал он греческие трагедии Софокла, Эсхила и Эврипида, читал их по-испански, медленно, но ясно, без запинки, несмотря на то, что тут же переводил их с греческого текста. Он так хорошо знает древние и новые языки, что казалось, будто он читает чудесно сделанный перевод. По его словам, он стремился переводить как можно ближе к подлиннику, чтобы в его добросовестной передаче я могла постичь гениальные произведения греков во всей их простоте. Боже! Какое величие! Какие картины! Сколько поэзии! Какое чувство меры! Какого исполинского размаха люди! Какие характеры, целомудренные и могучие! Какие сильные ситуации! Какие глубокие, истинные горести! Какие душераздирающие и страшные картины проходили перед моими глазами! Еще слабая, возбужденная сильными переживаниями, вызвавшими мою болезнь, я была так взволнована его чтением, что воображала себя то Антиго-

ной, то Клитемнестрой, то Медеей, то Электрой, воображала, что переживаю эти кровавые мстительные драмы не на сцене, при свете рампы, а в ужасающем одиночестве, у входа в зияющие пещеры или при слабом свете жертвенников, среди колоннад античных храмов, где оплакивали мертвых, составляя заговоры против живых. Я слышала жалобные хоры троянок и пленниц Дардании. Эвмениды плясали вокруг меня… что за странный ритм! Какие адские песнопения! Воспоминание об этих плясках еще и теперь вызывает у меня дрожь и наслаждение. Никогда, осуществляя свои мечты, я не буду переживать на сцене тех волнений, не почувствую в себе той мощи, какие бушевали тогда в моем сердце и в моем сознании. Тогда впервые почувствовала я себя трагической актрисой и в голове моей сложились образы, которых не дал мне ни один художник. Тогда я поняла, что такое драма, трагические эффекты, поэзия театра. В то время как Альберт читал, я мысленно импровизировала мелодии и воображала, что произношу все мною слышанное под аккомпанемент. Я несколько раз ловила себя на том, что принимала позы и выражение лица героинь, чьи слова произносил Альберт, и часто, бывало, он останавливался в

испуге, думая, что видит перед собой Андромаху или Ариадну. О, поверь, я большему научилась и больше постигла за месяц этого чтения, чем постигну за всю свою жизнь, вызубривая драмы господина Метастазио. И если бы музыка, написанная композиторами, не была преисполнена чувства правды, которое отсутствует в действии, мне кажется, я изнемогла бы от отвращения, изображая великую герцогиню Зенобию, беседующую с ландграфиней Аглаей, и слушая, как фельдмаршал Радамист ссорится с венгерским корнетом Зопиром. О, как все это фальшиво, чудовищно фальшиво, милый мой Беппо! Фальшиво, как наши костюмы, фальшиво, как белокурый парик Кафариэлло в роли Тиридата, фальшиво, как пеньюар а ля Помпадур на госпоже Гольцбауэр в роли армянской пастушки, как облаченные в розовое трико икры царевича Деметрия, как декорации, которые мы видим вблизи и которые похожи на пейзажи Азии не больше, чем аббат Метастазио на старца Гомера.

— Теперь я понимаю, — отвечал Гайдн, — почему сочинение ораторий навевает на меня больше вдохновения и надежды на успех, чем создание оперы, хотя я и чувствую потребность писать для театра, если вообще решусь когда-нибудь на

это. Мне кажется, что композитор может развернуться во всем блеске своего таланта и увлечь воображение слушателей в высшие сферы музыки только в симфонии, где ему не мешают дешевые и обманчивые эффекты сцены, где душа говорит с душой и музыкальные образы воспринимаются не зрительно, а слухом.

Беседуя так в ожидании, пока все соберутся на репетицию, Иосиф и Консуэло ходили рядышком вдоль большой декорации заднего плана, изображавшей в тот вечер реку Араке; на самом деле то был огромный кусок полотна синего цвета, натянутый между двумя другими большими полотнами, размалеванными желтыми пятнами и представлявшими собой якобы Кавказские горы. Известно, что эти декорации заднего плана, приготовленные для спектакля, помещаются друг за другом таким образом, чтобы по мере надобности их можно было поднять с помощью блока. В проходах, отделяющих их одну от другой, во время представления снуют актеры, дремлют или обмениваются понюшками табаку статисты, сидя или лежа в пыли, под медленно стекающими из плохо заправленных кенкеток каплями деревянного масла. Днем по этим темным, узким проходам прогуливаются актеры, повторяя роли

или разговаривая друг с другом о своих делах. Подчас они подслушивают чужие секреты, перехватывают сложные интриги, пользуясь тем, что говорящие не видят их из-за какого-нибудь морского залива или городской площади. По счастью, Метастазио не стоял на другом берегу Аракса в то время, когда неопытная Консуэло изливала Гайдну свое негодование артистки.

Репетиция началась. Это была вторая репетиция «Зенобии», и она шла так хорошо, что оркестранты даже аплодировали, ударяя, как обычно, смычками по своим скрипкам. Музыка Предиери была очаровательна, и Порпора дирижировал с гораздо большим подъемом, чем оперой Гассе. Роль Тиридата была одной из коронных ролей Кафариэлло, и он не находил ничего предосудительного в том, что, нарядив его в одежду сурового парфянского воина, его заставили ворковать, как Селадон, и говорить, как Клитандр. Консуэло хотя и чувствовала, что ее роль фальшива и напыщенна для античной героини, но по крайней мере самый характер изображаемого ею персонажа был ей по душе. Она даже находила в переживаниях своей героини сходство с душевным состоянием, которое испытала сама, когда очутилась между Альбертом и Ан-

дзолето. И, позабыв о необходимости передавать то, что мы называем теперь «местным колоритом», Консуэло жила только общечеловеческими чувствами и превзошла самое себя в арии, столь созвучной ее личным переживаниям:

Voi leggete in ogni core;
Voi sapete, o giusti Dei,
Se son puri i vod miei,
Se innocente e la pieta[note 3]

В это мгновение ее охватил настоящий душевный трепет, и она сознавала, что триумф ею заслужен. Она уже не нуждалась в поощрении Кафариэлло, а певец, над которым на этот раз не тяготело присутствие Тези, искренне восхищался Консуэло; теперь она была уверена в себе, уверена, что произвела неотразимое впечатление на публику своим исполнением и что способна произвести такое впечатление при любых обстоятельствах и при любых слушателях. Она совершенно примирилась со своей ролью, с оперой, с товарищами, с самой собой — одним словом, примирилась с театром. И, несмотря на то, что за час до этого проклинала свое положение, она почувствовала такое глубокое, такое внезапное и

---

note notes: Note3

И вы знаете, о боги, Как чисты мои желанья И безвинно состраданье (итал.).

могучее вдохновение, что только артист в состоянии понять, сколько веков труда, разочарований и страданий может оно искупить в один миг.

Глава 95

В качестве ученика, да к тому же полуслуги Порпоры, Гайдн, жаждавший слушать музыку и изучать самую технику композиции опер, получил позволение бывать за кулисами, когда пела Консуэло. Уже два дня он замечал, что Порпора, сначала недоброжелательно относившийся к его присутствию в театре, теперь разрешал ему с добродушным видом находиться там, даже прежде, чем он успевал раскрыть рот и попросить об этом. Дело в том, что в голове профессора возникла новая идея. Мария-Терезия, разговаривая о музыке с венецианским посланником, снова вернулась к своей матримониальной мании, как выражалась Консуэло. Ее величество сказала, что ей было бы очень приятно, если бы талантливая артистка обосновалась в Вене, выйдя замуж за молодого музыканта, ученика Порпоры. Сведения о Гайдне она почерпнула от того же посланника; и так как Корнер очень хвалил юношу, говоря, что у него громадные музыкальные способности, а главное — что он усердный католик, ее величество поручила своему собеседнику устроить этот брак,

обещая прилично обеспечить юную пару. Мысль эта улыбалась г-ну Корнеру: он нежно любил Иосифа и уже давал ему ежемесячно семьдесят два франка, чтобы юный музыкант мог спокойно продолжать занятия. Корнер горячо ратовал за него перед Порпорой, и старик, боясь, как бы Консуэло не настояла на своем — не оставила бы сцену, выйдя замуж за дворянина, — наконец после долгих колебаний и упорного сопротивления дал себя убедить (ибо, конечно, маэстро предпочел бы, чтобы его ученица жила, не зная ни брака, ни любви). Желая во что бы то ни стало добиться своей цели, посланник решил показать Порпоре произведения Гайдна и открыл ему, что серенада для трио, понравившаяся маэстро, сочинена Беппо. Порпора признал, что это произведение говорит о большом таланте, что он мог бы дать юному композитору хорошее направление, а также помочь ему писать для голоса и что, наконец, будущность певицы, вышедшей замуж за композитора, имеет все основания сложиться весьма удачно. Чрезвычайная молодость этой пары и скудные средства вынудят их работать, не питая при этом никаких тщеславных надежд, и таким образом Консуэло будет прикована к театру. И маэстро сдался. Он, как и Консуэло, не получал

ответа из замка Великанов. Он боялся, что это молчание как-нибудь помешает его планам, а также опасался какой-либо выходки молодого графа. «Если бы мне удалось даже не выдать замуж, а только обручить ее с другим, — думалось старику, — тогда уже нечего было бы бояться».

Труднее всего было уговорить Консуэло. Убеждать ее — значило бы внушить ей мысль о сопротивлении. Неаполитанская хитрость подсказала маэстро, что сила обстоятельств должна незаметно изменить образ мыслей девушки. Она питала дружбу к Беппо, тогда как Беппо, хотя и победил любовь в своем сердце, относился к Консуэло так пылко, проявлял столько восхищения и преданности, что Порпора легко мог допустить страстную влюбленность юноши. Маэстро решил не вмешиваться в отношения Иосифа с Консуэло, дать юноше возможность добиться взаимности и, сообщив ему в удачный момент планы императрицы и свое собственное согласие, придать смелости его красноречию и жара его убеждениям. Словом, он вдруг перестал грубо обращаться с ним, унижать его и предоставил юным друзьям полную свободу, льстя себя надеждой, что таким образом дела пойдут скорее, чем если бы он вмешался открыто.

Почти не сомневаясь в успехе своей затеи, Порпора сделал большую ошибку: он подверг репутацию Консуэло злословию. Стоило только два раза кряду увидеть за кулисами подле нее Иосифа, чтобы весь театральный люд заговорил о ее нежных отношениях с молодым человеком; бедная Консуэло, доверчивая и неосторожная, как все правдивые и целомудренные души, не предвидела опасности и не подумала оберегать себя. И вот со дня репетиции «Зенобии» все насторожились, развязались языки. За каждой кулисой, за каждой декорацией актеры, хористы и всякого рода служащие обменивались злостными или игривыми, порицающими или благожелательными замечаниями о неприличии зарождающейся интриги или о целомудрии счастливой помолвки.

Консуэло вся ушла в свою роль, в свои артистические переживания и ничего не видела, не слышала, не предчувствовала. Мечтательный Иосиф, всецело поглощенный оперой, репетировавшейся на сцене, и той, которую он вынашивал в своей музыкальной душе, иногда, правда, и слышал какие-то мельком брошенные слова, но не понимал их, ибо был слишком далек от каких бы то ни было надежд. Когда к нему мимоходом

долетал двусмысленный намек или язвительное замечание, он поднимал голову и оглядывался кругом, ища, к кому это относится, и, не находя никого, глубоко равнодушный к подобного рода злословию, снова погружался в свои думы.

В антрактах оперы часто ставилась какая-нибудь интермедия-буфф, а в тот день репетировали «Антрепренера с Канарских островов» — сценки Метастазио, очень веселые и забавные. Корилла, исполняя в них роль примадонны, требовательной, властной и взбалмошной, была замечательно естественна, и успех, которым она обыкновенно пользовалась в этой остроумной безделке, несколько утешал ее в том, что она пожертвовала большой ролью Зенобии.

Когда репетировали последнюю часть интермедии, Консуэло, ожидая, пока приступят к третьему акту, вся во власти бурных переживаний своей роли, зашла в глубь сцены и очутилась между двух декораций — страшной долиной, «изрезанной горами и пропастями», фигурировавшей в первом акте, и прекрасной рекой Араксом, «окаймленной радующими взор холмами», которая должна была появиться в третьем акте, чтобы дать отдых глазам «чувствительного» зрителя. Консуэло быстро прохаживалась взад

и вперед, когда к ней подошел Иосиф и подал веер, оставленный ею на суфлерской будке; она тут же с удовольствием стала им обмахиваться. Влечение сердца, равно как и преднамеренное подстрекательство Порпоры невольно побуждали Иосифа разыскивать свою подругу; Консуэло же, привыкшая относиться к нему с доверием и изливать ему свою душу, неизменно с радостью встречала его. И вот эту взаимную симпатию, которой не стыдились бы и ангелы на небесах, судьба решила превратить в источник бедствий… Мы знаем, что читательницы романов любопытны, спешат узнать самое волнующее и требуют от нас только сердечных перипетий, — умоляем их немного потерпеть.

— Ну, друг мой, — сказал Иосиф, улыбаясь и подавая руку Консуэло, мне кажется, ты уже не так недовольна драмой нашего знаменитого аббата и нашла в мелодии молитвы то открытое окно, через которое гениальный дух, владеющий тобой, вырвался наконец на простор!

— Ты, значит, находишь, что я молитву спела хорошо?

— Разве ты не видишь, как у меня покраснели глаза?

— Ах да! Ты плакал! Это хорошо! Прекрасно!

Очень рада, что заставила тебя плакать.

— Точно это впервые. Но, милая Консуэло, ты становишься именно такой актрисой, какой Порпора хочет тебя видеть. Тебя охватила лихорадка успеха. Когда, бывало, ты пела, шагая по тропинкам Богемского Леса, ты видела мои слезы и сама плакала, умиленная красотой своего пения. Теперь другое дело: ты смеешься от счастья и трепещешь от гордости, видя вызываемые тобой слезы. Ну, мужайся, Консуэло! Ты теперь prima donna в полном смысле этого слова!

— Не говори мне этого, друг мой, я никогда не буду такой, как она…

— и Консуэло указала жестом на Кориллу, певшую на сцене по ту сторону декорации.

— Не пойми меня дурно, — возразил Иосиф, — я хочу сказать, что тобой овладел бог вдохновения. Напрасно твой холодный рассудок, твоя суровая философия и воспоминание о замке Великанов боролись с духом Пифона. Он проник в тебя и полонил. Признайся, ведь ты задыхаешься от удовольствия. Твоя рука дрожит в моей, твое лицо возбуждено, и я никогда еще не видал у тебя такого взгляда, как в эту минуту. Нет! Когда граф Альберт читал тебе греческие трагедии, ты не была так взволнована, преисполнена такого

вдохновения, как сейчас!

— Боже, какую ты причиняешь мне боль! — воскликнула Консуэло, вдруг бледнея и вырывая свою руку из рук Иосифа. — Зачем ты произносишь здесь его имя? Имя это священно и не должно раздаваться в этом храме безумия. Это грозное имя ужасно, как удар грома, оно уносит в ночную тьму все иллюзии и все призраки золотых снов!

— Так вот, Консуэло, сказать тебе? — снова заговорил Иосиф после минутного молчания. — Никогда ты не решишься выйти замуж за этого человека.

— Замолчи! Замолчи! Я обещала ему!..

— Если же ты сдержишь обещание, ты никогда не будешь счастлива с ним. Покинуть театр? Отказаться от артистической карьеры? Упустила момент! Ты только что вкусила такую радость, что воспоминание о ней способно отравить всю твою жизнь.

— Ты меня пугаешь, Беппо. Почему именно сегодня ты говоришь мне подобные вещи?

— Не знаю, я говорю словно помимо своей воли. Твое возбужденное состояние действует на мой мозг, и мне кажется, что, вернувшись домой, я напишу нечто великое. Пусть даже не великое,

все равно! Но в эти минуты я чувствую себя гениальным…

— Как ты весел и спокоен, а я от твоих слов, опьяненная гордостью и счастьем, испытываю острую муку, и мне одновременно хочется и смеяться и плакать.

— Ты страдаешь, в этом я уверен, ты и должна страдать. В тот момент, когда проявляется твоя сила, мрачные мысли охватывают и леденят тебя.

— Да, правда. Что же это значит?

— Это значит, что ты артистка, а взяла на себя какой-то долг, жестокое обязательство, противное богу и тебе самой, — отказаться от искусства!

— Вчера еще мне казалось, что это не так, а сегодня я согласна с тобой. Но у меня расстроены нервы, такие волнения ужасны и гибельны. Я всегда отрицала влияние нервов и их власть, всегда выходила на сцену, сохраняя спокойствие, внимание и скромность. Сегодня я собой не владею, и если бы в эту минуту мне надо было играть, я была бы способна и на гениальные безумства и на жалкие сумасбродства. Узда моей воли вырывается из моих рук. Надеюсь, завтра я буду иною, ведь это волнение имеет что-то общее с бредом и агонией.

— Бедный друг, боюсь, что отныне всегда будет так, или, вернее, надеюсь на это, ибо ты будешь действительно великой только в огне такого волнения. Я слышал от всех музыкантов, от всех актеров, с которыми мне приходилось встречаться, что без этого бредового состояния или этого смятения они ни на что не способны, и вместо того чтобы с годами успокоиться, привыкнуть, они при каждом проявлении своей гениальности делаются все более и более впечатлительными, все более и более возбужденными.

— Это великая тайна, — проговорила, вздыхая, Консуэло. — Не думаю, чтобы тщеславие, зависть, низкая жажда успеха могли овладеть мной так внезапно и в один день перевернуть все во мне вверх дном. Нет, уверяю тебя, когда я пела молитву Зенобии и дуэт с Тиридатом, где страсть и мощь Кафариэлло захватывали меня, как ураган, я забыла и о публике, и о соперниках, и о себе самой — я была Зенобией, я думала о бессмертных богах Олимпа с чисто христианским жаром и пылала любовью к этому самому добряку Кафариэлло, на которого, после того как опустится занавес, я не могу смотреть без смеха. Все это очень странно, и я начинаю думать, что драматическое искусство — вечная ложь, и бог в наказание присылает на

нас безумие, побуждающее верить в искусство и считать, что мы делаем высокое дело, вызывая иллюзии и в других. Нет, непозволительно человеку злоупотреблять всеми страстями и волнениями действительной жизни, превращая их в игру! Богу угодно, чтобы мы сохраняли нашу душу здоровой и сильной для настоящей любви, для полезных дел, а когда мы ложно понимаем его волю, он карает нас безумием.

— Бог! Бог! Воля божья! Вот где тайна, Консуэло! Кто может постичь его намерения относительно нас? Разве вложил бы он в нас с колыбели потребность, непреодолимое влечение к определенному искусству, если бы запрещал нам служить тому, к чему мы призваны? Почему с детства не любил я играть со своими сверстниками? Почему, как только был предоставлен самому себе, я стал заниматься музыкой с такой страстью, что ничто не могло меня оторвать от нее, с такой усидчивостью, какая убила бы другого ребенка моих лет? Отдых меня утомлял, труд вливал в меня жизненные силы. То же было и с тобой, Консуэло. Ты мне сто раз говорила об этом; когда один из нас передавал другому историю своей жизни, казалось, что он слышит рассказ о себе самом. Поверь, во всем рука божья, и всякая сила, всякое

призвание к чему-либо есть воля господа, даже если нам неясна его цель. Ты родилась артисткой; кто помешает тебе — убьет тебя или сделает жизнь твою хуже смерти.

— Ах, Беппо! — воскликнула Консуэло, смущенная и почти растерянная. Я знаю, что бы ты сделал, будь ты действительно моим другом!

— Что же я должен был бы сделать, дорогая Консуэло? Разве моя жизнь не принадлежит тебе?

— Ты должен был бы убить меня завтра же, как только опустится занавес, и я в первый и последний раз в своей жизни проявлю себя истинной и вдохновенной артисткой!

— Ах! Я предпочел бы убить твоего графа Альберта или себя, — с грустной улыбкой промолвил Иосиф.

В эту минуту Консуэло подняла глаза на стоявшие перед нею кулисы и окинула их озабоченно-печальным взглядом. Внутренность театра днем настолько не похожа на ту, какою она кажется издали при вечернем освещении, что тот, кто не видел ее, даже не может себе этого представить. Нет ничего грустнее, мрачнее и страшнее этого пустынного зала, погруженного во мрак и тишину. Появись в одной из театральных лож, закрытых, словно могилы, какая-нибудь челове-

ческая фигура, она показалась бы привидением, и самый бесстрашный актер попятился бы от ужаса. Слабый, тусклый свет, падающий сверху из слуховых окон в глубине сцены, косо стелется по лесам, сероватым лохмотьям, пыльным подмосткам. На сцене глаз, лишенный перспективы, не может привыкнуть к тесноте помещения, где должно действовать столько людей, столько страстей, изображая величественные движения, внушительные массовые сборища, необузданные порывы; такими они будут казаться зрителям, а на самом деле они заучены, точно размерены, чтобы не запутаться, не смешаться, не наткнуться на декорации. Но если сцена кажется маленькой и жалкой, то, наоборот, высота помещения, отведенного для стольких декораций и машин, кажется громадной, когда она освобождена от всех этих полотен, изображающих облака, архитектурные карнизы или зеленые ветви, скрывающие от зрителя подлинную высоту помещения. Эта высота, действительно несоразмерная, заключает в себе нечто суровое, и если, попав на сцену, нам кажется, что мы в темнице, то, глядя наверх, мы думаем, будто очутились в готическом храме, но в храме разрушенном или недостроенном — так все там тускло, бесформенно, причудливо, нескладно…

Лестницы, необходимые механику, висят без всякой симметрии, переплетаясь по прихоти случая и протягиваясь без видимой причины к другим лестницам, которых не различишь среди всяких бесцветных мелочей. Груды досок, неизвестного назначения декорации, с изнанки кажущиеся бессмысленно размалеванными, веревки, свитые точно иероглифы, обломки, которым названия не подберешь, блоки и колеса, словно предназначенные для каких-то неведомых пыток, — все вместе взятое напоминает сны, которые снятся перед пробуждением, когда видишь какие-то несуразности и делаешь напряженные усилия понять, где находишься. Все туманно, все расплывчато, все, кажется, готово рассеяться. Вот виден человек, спокойно работающий на балках, и кажется, что он повис на паутине. Его можно принять и за моряка, карабкающегося по снастям корабля, и за гигантскую крысу, подтачивающую и грызущую прогнившие срубы. Слышны слова, доносящиеся неизвестно откуда. Они произносятся в восьмидесяти футах над вами, и необычная звучность эха, притаившегося во всех углах этого фантастического купола, доносит их до вашего уха отчетливо или неясно, смотря по тому, сделаете ли вы шаг вперед или шаг в сторону, отчего ме-

няются акустические условия. Ужасающий шум, за которым следует продолжительный свист, внезапно потрясает подмостки. Что это? Рушатся своды? Трещит и падает хрупкий балкон, погребая под своими обломками бедных рабочих? Нет, это чихнул пожарный или кошка бросилась в погоню за добычей через пропасти этого висячего лабиринта. Пока вы не привыкнете ко всем этим предметам и ко всем этим шумам, вам страшно: вы не знаете, в чем дело, не знаете, против каких невероятных призраков вам нужно вооружиться самообладанием. Вы ничего не понимаете, а то, чего нельзя распознать глазом или сознанием, то, что неопределенно и неизвестно, приводит в смятение логику чувств. Попав в первый раз в подобный хаос, благоразумнее всего представить себе, что вас ожидает какой-то безумный шабаш в таинственной лаборатории алхимика

Почти невозможно передать словами тайны, которые художник наглядно живописует своею кистью и представляет нашему взору. Созерцая картины внутренней жизни в созданиях Рембрандта, Тенирса, Герарда Доу, самый заурядный зритель вспомнит и сам какую-нибудь картину из действительной жизни, никогда, однако, не производившую на него поэтического впечат-

ления. Для того чтобы воспринять поэтически эту реальность и мысленно превратить ее в картину Рембрандта, надо обладать тем даром чувства живописного, которое свойственно лишь немногим человеческим организмам. Но чтобы словесным описанием создать эту картину в чужом воображении, нужно обладать такою силой таланта, что, должно признаться, я поддаюсь в данном случае своей фантазии без всякой надежды на успех. Даже гению, одаренному такой силой и притом высказывающемуся в стихах (попытка еще более удивительная), это не всегда удается. Я сомневаюсь, чтобы в наш век какой-либо писатель-художник мог достичь хотя бы приблизительно таких результатов. Перечитайте стихотворение под названием «Индийские колодцы» — это гениальное произведение или плод разыгравшейся фантазии, в зависимости от того, связывают ли вас с поэтом узы симпатии или нет. Что касается меня, то при первом чтении оно меня возмутило. Беспорядочность и разгул фантазии в описании претили мне. Но после прочтения в мозгу моем упорно держались картины этих колодцев, подземелий, лестниц и пропастей, куда меня завел поэт. Все это продолжало грезиться мне и во сне и наяву: не было сил вырваться

оттуда, словно я был заживо погребен. Я испытывал такое угнетение, что мне страшно было перечитать эти стихи — из боязни обнаружить небезупречного писателя в столь великом живописце и поэте. Между тем в моей памяти долго сохранялись последние восемь строф, которые во все времена и для всякого вкуса будут иметь глубокий, возвышенный и безупречный смысл, независимо от того, будем ли мы воспринимать их сердцем, слухом или умом. (Прим. автора.).

Взгляд Консуэло рассеянно бродил по странному сооружению, и впервые в этом беспорядке она обнаружила поэзию. В обоих концах прохода, образованного задними декорациями, помещались глубокие черные кулисы, где от времени до времени, словно тени, проскальзывали какие-то человеческие фигуры. Вдруг она увидела, что одна из этих фигур остановилась, словно в ожидании, и, как ей показалось, поманила ее.

— Это Порпора? — спросила она Иосифа.

— Нет, — ответил тот, — это, наверно, кто-нибудь пришел предупредить тебя, что начинают репетировать третий акт.

Консуэло прибавила шагу, направляясь к человеку, чье лицо она не могла разглядеть, так как он отступил к стене. Но когда она была в трех шагах

от него и собиралась было обратиться к нему с вопросом, он быстро проскользнул мимо соседних кулис в глубь сцены, за задние декорации.

— Кто-то, по-видимому, следил за нами, — сказал Иосиф.

— И, по-видимому, сбежал, — добавила Консуэло, пораженная поспешностью, с какою этот человек скрылся. — Не знаю почему, но он испугал меня.

Консуэло вернулась на сцену и прорепетировала последний акт; к концу ее снова охватило прежнее восторженное вдохновение. Уже собравшись уходить, она захотела надеть накидку, но, ослепленная внезапным потоком света, — над ее головой внезапно открыли слуховое окно, и косой луч заходящего солнца упал прямо перед нею, — не смогла сразу найти накидку. Из-за внезапного перехода от окружавшего ее мрака к свету она в первую минуту ничего не видела и два-три шага сделала наугад, как вдруг очутилась возле того самого человека в черном плаще, который напугал ее за кулисами. Видела она его неясно, но ей показалось, что она узнает его. С криком бросилась она к нему, но он уже исчез, и она напрасно искала его глазами.

— Что с тобой? — спросил Иосиф, подавая ей

накидку. — Ты наткнулась на какую-нибудь декорацию?

Ушиблась?

— Нет, — ответила она, — я видела графа Альберта.

— Графа Альберта? Здесь? Ты в этом уверена? Возможно ли?

— Это возможно! Это несомненно! — воскликнула Консуэло, увлекая его за собой.

И она осмотрела все кулисы, обежав их бегом и не пропустив ни единого уголка. Иосиф помогал ей в поисках, уверенный, однако, что она ошиблась. А в это время Порпора с нетерпением звал ее, чтобы отвезти домой. Консуэло не нашла никого, кто хоть сколько-нибудь напоминал бы Альберта. Когда же, выйдя наконец из театра со своим учителем, она увидела всех, кто одновременно с нею был на сцене, то заметила несколько плащей, довольно похожих на тот, который поразил ее.

— Все равно, — шепотом сказала она Иосифу, указавшему ей на это, — я его видела, он был здесь.

— Просто у тебя была галлюцинация, — возразил Иосиф. — Будь то на самом деле граф Альберт, он заговорил бы с тобой, а ты уверяешь, что этот

человек два раза убегал при твоем приближении.

— Я не говорю, что это действительно он, но я его видела и теперь думаю, как ты, — то было видение. Должно быть, с ним случилось какое-нибудь несчастье. О! Как бы мне хотелось сейчас же уехать, бежать в Богемию! Я уверена, что он в опасности, он зовет меня, он меня ждет!

— Вижу, бедная моя Консуэло, что, помимо всего прочего, он еще наградил тебя своим безумием. Твое возбужденное состояние во время репетиции предрасположило тебя к таким видениям. Опомнись, умоляю тебя, и будь уверена: если граф Альберт в Вене, он еще сегодня, живехонький, прибежит к тебе.

Надежда ободрила Консуэло. Она ускорила шаг, увлекая за собой Беппо и оставив позади старого Порпору; маэстро на этот раз ничего не имел против того, что она забыла о нем и занялась разговором с юношей. Но Консуэло так же мало думала об Иосифе, как и о маэстро. Она бежала, вся запыхавшись, добралась до дома, тотчас же поднялась в свою комнату и никого не нашла. Иосиф справился у прислуги, не спрашивал ли кто Консуэло в ее отсутствие. Никого не было и никто не пришел: Консуэло напрасно прождала

целый день. Вечером и до самой поздней ночи она разглядывала всех запоздалых прохожих, проходивших по улице. Ей все казалось, что кто-то направляется к ее двери и останавливается. Но все проходили мимо, один распевая, другой по-стариковски кашляя, и терялись во мраке.

Консуэло легла спать, убежденная в том, что ей просто привиделось. На следующее утро, успокоившись, она призналась Иосифу, что в сущности не рассмотрела ни одной черты лица человека, о котором шла речь. Общее впечатление от фигуры, покрой плаща и манера его носить, бледность, чернота на подбородке — это могло быть и бородой и падавшей от шляпы тенью, сгущенной благодаря странному освещению театра, — все это смутно напоминало Альберта, и Консуэло, обладавшая пылким воображением, убедила себя, будто видела молодого графа.

— Если бы мужчина, какого ты мне не раз описывала, очутился в театре, — сказал Иосиф, — его небрежная одежда, длинная борода, черные волосы не могли бы не привлечь внимания повсюду снующих людей. А я всех расспрашивал, не исключая и швейцаров театра, которые не пропускают за кулисы ни единого человека, не известного им лично или не имеющего на это

разрешения. Но никто в тот вечер не видел за кулисами никого постороннего.

— Ну, тогда мне, очевидно, показалось. Я была взволнована, вне себя, думала об Альберте и ясно себе его представила. Кто-то появился передо мной, и я вообразила, будто это Альберт. Неужели моя голова так ослабела? Несомненно, крик вырвался у меня из глубины сердца, и со мной произошло нечто весьма необычайное и очень нелепое.

— Забудь об этом, — посоветовал Иосиф, — не утомляй себя пустыми мечтами. Повторяй свою роль и думай о завтрашнем дне.

Глава 96

Днем Консуэло увидела из своих окон весьма необычную группу людей, направлявшихся к площади. То были коренастые, здоровенные, загорелые люди, с длинными усами, с голыми ногами, обутыми в подобие античных котурн с перекрещивающимися ремнями, в остроконечных шапках, с четырьмя пистолетами за поясом, с обнаженными руками и шеей, с длинным албанским карабином в руках; на них были накинуты широкие красные плащи.

— Это что, маскарад? — спросила Консуэло навестившего ее каноника. Но у нас ведь не масленица, насколько мне известно.

— Насмотритесь на них хорошенько, — ответил каноник, — ибо нам с вами не скоро придется увидеть их снова, если богу будет угодно продлить царствование Марии-Терезии. Поглядите, с каким любопытством, хотя и не без примеси отвращения и страха, рассматривает их народ. Вена видела, как они стекались сюда в тяжкие и горестные для нее дни, и тогда она встречала их более радостно, чем сегодня; теперь она сму-

щена и пристыжена тем, что обязана им своим спасением.

— Это не те ли словенские разбойники, о которых мне так много рассказывали в Богемии, где они натворили столько бед? — спросила Консуэло.

— Да, они самые, — ответил каноник, — это остатки тех шаек рабов и кроатских разбойников, которых знаменитый барон Франц фон Тренк, двоюродный брат вашего друга, барона Фридриха фон Тренка, освободил, или, скорее, поработил с невероятной смелостью и ловкостью, дабы создать из них регулярные войска МариинТерезии. Смотрите, вот он, этот наводящий ужас герой, этот Тренк — Опаленная Пасть, как прозвали его наши солдаты, знаменитый партизан, самый хитрый, самый предприимчивый, самый необходимый в печальные годы войны, величайший хвастун и величайший хищник своего века, — но в то же время самый смелый, самый сильный, самый энергичный, самый сказочно отважный человек новейших времен! Это он, Тренк-грабитель, дикий пастырь кровожадной стаи голодных волков. Франц фон Тренк, почти шести футов роста, был еще выше, чем его прусский кузен. Ярко-красный плащ, застегнутый у шеи рубиновым

аграфом, распахиваясь, обнаруживал у него за поясом целый музей турецкого оружия, усыпанного драгоценными камнями. Пистолеты, кривые сабли, кортики — все было тут, чтобы придать ему вид самого ловкого и решительного убийцы. Вместо султана на его шапке красовалось как бы древко маленькой косы и на нем — четыре отточенных лезвия, спускавшиеся почти до лба. Он был страшен. Взрыв бочонка с порохом изуродовал его лицо, придав ему нечто дьявольское. «Нельзя смотреть на него без содрогания», — гласят все мемуары того времени.

— Так вот это чудовище, этот враг человечества! — проговорила Консуэло, с ужасом отводя в сторону глаза. — Богемия долго будет помнить его поход: сожженные, разрушенные города, замученные старики и дети, опозоренные женщины, истощенные контрибуциями деревни, опустошенные поля, уведенные или истребленные стада, повсюду разорение, отчаяние, убийство и пожар… Бедная Богемия! Вечное поле брани, театр самых разных трагедий!

— Да, бедная Богемия! Жертва всяких неистовств, арена всяких битв, — добавил каноник. — Франц фон Тренк возобновил в ней свирепые насилия времен Яна Жижки. Непобеди-

мый, как и Жижка, он никому не давал пощады. И страх перед его именем был так велик, что его авангарды брали приступом города в то время, когда он сам находился еще в четырех милях от них, в схватке с другими врагами. Про него можно сказать, как говорили про Атиллу: «Трава уж никогда не вырастает там, где ступил его конь». Побежденные будут проклинать его до четвертого поколения. Франц фон Тренк скрылся вдали, но долго еще Консуэло и каноник видели, как его кроатские гусарывеликаны проходили мимо их окон, ведя под уздцы его великолепных коней в богатых попонах.

— То, что вы видите, может дать вам лишь некоторое представление о его богатстве, — заметил каноник. — Мулы, телеги, нагруженные оружием, картинами, драгоценными камнями, слитками золота и серебра, беспрестанно тянутся по дорогам, ведущим к его имениям в Славонии. Там прячет он сокровища, которых хватило бы на выкуп трех королей. Ест он на золотой посуде, похищенной им у прусского короля в Заарау, причем он едва не похитил и самого короля. Одни уверяют, что он опоздал на четверть часа, а другие — что король был в его руках и дорого заплатил за свою свободу. Подождем! Быть может,

Тренк-грабитель уже не долго будет пользоваться такой славой и таким богатством. Говорят, ему грозит уголовный процесс, самые ужасные обвинения тяготеют над его головой, а императрица смертельно боится его; и говорят также, что те из его кроатов, которые не удосужились, как это принято, выйти в отставку, будут зачислены в регулярные войска и зажаты в кулак на прусский манер. Что касается его самого… я довольно печального мнения об ожидающем его при дворе приеме и наградах.

— Ведь пандуры, говорят, спасли австрийскую корону?

— Несомненно. От границ Турции до границ Франции они навели ужас, взяли приступом наиболее упорно защищавшиеся крепости, выиграли самые отчаянные битвы. Всегда первые в атаке, первые у укрепленных мостов, первые у брешей крепостей, они приводили в восхищение наших самых крупных генералов, а врагов обращали в бегство. Французы всюду отступали перед ними, да и сам великий Фридрих, говорят, побледнел, как простой смертный, от их воинственных криков. Нет таких быстрых рек, непроходимых лесов, тинистых болот, отвесных скал, того града пуль и моря пламени, которых не преодолели

бы они во всякие часы ночи, в самые суровые времена года. Да! Поистине, скорее они спасли корону Марии-Терезии, чем старая военная тактика всех наших генералов и все хитрости наших дипломатов. — В таком случае их преступления останутся безнаказанными и их грабежи будут санкционированы.

— Наоборот, возможно, они будут чрезмерно наказаны.

— Трудно отделаться от людей, оказавших подобные услуги.

— Простите, — ядовито заметил каноник, — когда больше в них не нуждаются…

— Но разве им не было дозволено производить любые насилия как во владениях империи, так и во владениях союзников?

— Конечно, им все было дозволено, поскольку они были необходимы.

— А теперь?

— А теперь, когда в них нет больше необходимости, им ставят в вину то, что раньше было дозволено.

— А где душевное величие Марии-Терезии?

— Они осквернили храмы!

— Понимаю, господин каноник: Тренк погиб!

— Тес! Об этом можно говорить только шепо-

том.

— Видела пандуров? — громко спросил запыхавшийся Иосиф, входя в комнату.

— Без особенного удовольствия, — ответила Консуэло.

— Ну, а ты их не узнала?

— Да я вижу их впервые.

— Нет, Консуэло, не в первый раз ты их видишь. Мы уже встречали их в Богемском Лесу.

— Слава богу, насколько помнится, ни одного из них я не встречала.

— Значит, ты забыла сарай, где мы провели ночь на сене и вдруг заметили человек десять-двенадцать, спавших вокруг нас?

Тут Консуэло вспомнила ночь, проведенную в сарае, и встречу с этими свирепыми людьми, которых она тогда, так же как Иосиф, приняла за контрабандистов. Но иные волнения, которых она не разделяла и о которых даже не догадывалась, запечатлели в памяти Иосифа все обстоятельства той грозовой ночи.

— Так вот, эти мнимые контрабандисты, не заметившие нашего присутствия и покинувшие сарай до рассвета со своими мешками и тяжелыми узлами, и были пандуры, — сказал Иосиф. — У них было такое же оружие, такие же лица, усы

и плащи, какие я только что видел; провидение без нашего ведома спасло нас от самой страшной встречи, какая только могла произойти у нас в пути.

— Вне всякого сомнения, — сказал каноник, которому Иосиф не раз рассказывал подробности их путешествия, — эти достойные малые, набив себе карманы, своевольно освободились от службы, как это у них в обычае, и направлялись к границе, предпочитая сделать крюк, чем идти с добычей по имперским владениям, где они всегда рискуют попасться. Но будьте уверены, что не всем им удается благополучно добраться до границы. В продолжение всего пути они не перестают грабить и убивать друг друга, и только сильнейшие из них, нагрузившись добычей товарищей, достигают своих лесов и пещер.

Приближался час представления. Это отвлекло Консуэло от мрачных воспоминаний о пандурах Тренка, и она отправилась в театр. Собственной уборной для одевания у нее не было, — до сих пор г-жа Тези уступала ей свою. Но на этот раз, обозленная успехами Консуэло и уже ставшая ее заклятым врагом, Тези унесла с собой ключ, и примадонна этого вечера была в большом затруднении, не зная, где приютиться. Такие

маленькие козни в большом ходу в театре, они раздражают и приводят в волнение соперницу, которой хотят насолить. Она теряет время на розыски уборной, боится не найти ее, — а время идет, и товарищи бросают ей на ходу: «Как! Еще не одета? Сейчас начинают!» Наконец, после бесконечных просьб и бесконечных усилий, раздражении и угроз, она добивается, чтобы открыли какую-нибудь уборную, где нет даже самого необходимого. Хотя костюмерше и заплачено, но костюм или не готов, или плохо сидит. Горничные, помогающие одеваться, к услугам всякой другой, кроме жертвы, обреченной на это маленькое истязание. Колокольчик звенит, бутафор визгливым голосом кричит по коридорам: «Синьоры, синьорины, сейчас начинают!» — страшные слова, которые дебютантка не может слышать без содрогания. Актриса не готова, она торопится, у нее лопаются шнурки, она рвет рукава, криво надевает мантилью, а диадема ее упадет при первом шаге, сделанном на сцене. Вся трепещущая, негодующая, изнервничавшаяся, почти в слезах, она должна появиться с небесной улыбкой на устах. Голос ее должен звучать чисто, громко, уверенно, а тут сжимается горло и сердце готово разорваться… О! Все эти цветы, дождем

сыплющиеся на сцену в минуту триумфа, заключают в себе тысячи шипов!

К счастью, Консуэло встретила Кориллу, и та, взяв ее за руку, сказала:

— Идем в мою уборную. Тези надеялась проделать с тобой ту же штуку, какую на первых порах выкинула со мной. Но я помогу тебе хотя бы для того, чтобы ее взбесить. По крайней мере отомщу ей. А ты, Порпорина, ты так идешь в гору, что я рискую оказаться побежденной всюду, где буду иметь несчастье встретиться с тобой. Ты тогда, конечно, забудешь, как я веду себя теперь, а будешь помнить лишь то зло, которое я тебе сделала. — Зло? Да какое же зло вы мне сделали, Корилла? — переспросила Консуэло, входя в уборную своей соперницы и начиная одеваться за ширмой, в то время как немецкие горничные хлопотали вокруг обеих артисток, которые без опаски могли говорить между собой по-венециански. — Право, уж не знаю, какое зло вы мне сделали, что-то не помню.

— Уже одно то, что ты говоришь мне «вы», словно презирающая меня герцогиня, доказывает твою злобу.

— Да я, право, не припомню, какие ты мне причиняла неприятности, — проговорила Консуэло,

пересиливая отвращение, вызванное дружественным обращением к женщине, так мало имевшей с ней общего.

— И ты говоришь правду? — спросила Корилла. — Неужели ты до такой степени забыла бедного Дзото?

— Я была свободна и вольна его забыть, — ответила Консуэло, подвязывая к ноге королевский котурн с мужеством и присутствием духа, которые дает подчас увлечение любимым делом, и, решив попробовать голос, вывела блестящую руладу.

Корилла, желая не отставать от нее, ответила другой руладой, но, вдруг оборвав ее, бросила горничной:

— Да не затягивайте же меня так, черт возьми! Уж не думаете ли вы, что одеваете нюрнбергскую куклу? Эти немки, — продолжала она по-венециански, — совсем не знают, что такое плечи. Позволь им только, они сделают тебя квадратной, как их вдовствующие герцогини. Порпорина, не давай закутывать себя до ушей, как в прошлый раз, — это было просто нелепо.

— Ах, моя милая, таков приказ императрицы. Он известен этим девицам, и из-за таких пустяков я не хочу бунтовать.

— Пустяки! Это наши-то плечи? Хороши пустяки!

— Я не говорю о тебе, ты сложена лучше всех женщин на свете, а я...

— Лицемерка! — вздыхая, проговорила Корилла. — Ты на десять лет моложе меня, и скоро мои плечи будут держаться только былой славой.

— Это ты лицемерка, — возразила Консуэло; ей ужасно надоел этот разговор. И, чтобы прервать его, она, причесываясь, стала петь гаммы и рулады.

— Замолчи! — остановила Корилла певицу, невольно прислушиваясь к ее пению. — Ты вонзаешь мне в горло тысячу кинжалов... Ах! Я охотно уступила бы тебе всех своих возлюбленных, так как уверена, что найду других, но с твоим голосом и твоей манерой петь я никогда не смогу соперничать. Замолчи, а то меня разбирает желание задушить тебя!

Консуэло, прекрасно видя, что Корилла шутит только наполовину и под ее насмешливой лестью скрывается настоящая мука, умолкла, но минуту спустя Корилла снова заговорила:

— Как ты выводишь эту руладу?

— Ты хочешь спеть так же? Я тебе уступаю, — ответила Консуэло, смеясь с присущим ей пора-

зительным добродушием, — давай я тебя научу. Введи ее куда-нибудь в свою партию, а я изобрету для себя какую-нибудь другую руладу.

— И та будет еще более блестяща. Ничего я от этого не выиграю.

— Ну, так я никакой рулады не буду делать, тем более что Порпора против этого, и сегодня я получу от него одним упреком меньше. Возьми! Вот моя рулада! — И, вынув из кармана сложенный лоскуток бумаги, на котором была написана музыкальная фраза, она передала его поверх ширмы Корилле; певица тут же принялась разучивать руладу. Консуэло ей помогла, пропев несколько раз, и наконец обучила актрису. Одевание шло своим чередом.

Но прежде чем Консуэло накинула на себя платье, Корилла стремительно отодвинула ширму и бросилась ее целовать за то, что она пожертвовала своей руладой. Этот порыв благодарности был не совсем искренен. К нему примешивалось вероломное желание увидеть фигуру своей соперницы в корсете, чтобы обнаружить какой-нибудь скрытый недостаток. Консуэло не носила корсета. Ее стан, гибкий, как тростник, и девственные благородные формы не нуждались в помощи искусной корсетницы. Она поняла намерение

Кориллы и улыбнулась.

«Можешь сколько угодно рассматривать меня, можешь проникать в мое сердце, — подумала она, — ничего фальшивого ты там не найдешь».

— Значит, ты совсем больше не любишь Андзолето, Zingarella? — спросила Корилла, невольно снова принимая суровый тон и враждебный вид.

— Совсем больше не люблю, — ответила, смеясь, Консуэло.

— А он очень любил тебя?

— Совсем не любил, — снова проговорила Консуэло, так же уверенно, с тем же прочувствованным, искренним прямодушием.

— Он так и говорил мне! — воскликнула Корилла, глядя на нее своими голубыми глазами, ясными и горящими, и надеясь уловить сожаление и растравить старую рану соперницы.

Консуэло не могла похвастать лукавством, но она принадлежала к числу тех прямодушных натур, которые обладают особым складом в борьбе против коварных замыслов. Она почувствовала удар и выстояла. Андзолето она больше не любила, а муки самолюбия были ей незнакомы, и она предоставила торжествовать тщеславной Корилле.

— Андзолето сказал тебе правду, — ответила

она, — он не любил меня.

— А ты, стало быть, тоже никогда его не любила? — допрашивала Корилла, скорей удивленная, чем обрадованная таким признанием.

Консуэло почувствовала, что ей не следует быть откровенной наполовину. Корилла стремилась добиться правды, надо было ее удовлетворить, и Консуэло ответила:

— Я очень его любила.

— И ты так просто признаешься в этом? Значит, у тебя нет гордости, бедняжка!

— У меня хватило ее, чтобы излечиться.

— То есть ты хочешь сказать, что у тебя хватило твердости духа, чтобы утешиться с другим. Скажи мне, с кем, Порпорина? Не может же это быть Гайдн, у которого нет ни гроша за душой!

— Это не было бы помехой. Но так, как предполагаешь ты, я ни с кем не утешилась.

— Ах, знаю. Я и забыла, что ты претендуешь…

Только не говори подобных вещей здесь, моя милая, а то ты станешь посмешищем!

— Да я и не стану говорить, если меня не спросят, а спрашивать себя я не каждому позволю. Эту вольность я допустила с тобой, Корилла, но если ты не враг мне, то не злоупотребляй этим.

— Вы притворщица! — закричала Корилла. —

Вы очень умны, хотя и разыгрываете наивную. Настолько умны, что я почти готова была поверить, будто вы так же невинны, как я была в двенадцать лет. Однако ж это невозможно! Ах, как ты ловка, Zingarella! Ты сможешь уверить мужчин во всем, в чем захочешь.

— Я и не стану ни в чем их уверять, ибо не позволю им вмешиваться в мои дела настолько, чтобы меня расспрашивать.

— Это умнее всего: люди всегда злоупотребляют нашей откровенностью и, едва успев вырвать у нас признание, унижают нас своими упреками. Вижу, что ты знаешь, как себя вести. Хорошо делаешь, не желая внушать страстей, — таким образом избежишь и хлопот и бурь, будешь действовать свободно, никого не обманывая. Играя в открытую, ты скорей найдешь любовников, скорей разбогатеешь. Но для этого нужно больше мужества, чем есть у меня. Нужно, чтобы тебе никто не нравился и чтобы тебе не хотелось быть любимой, так как наслаждаешься сладостью любви, только прибегая к предосторожностям и лжи. Восхищаюсь тобой, Zingarella! Чувствую к тебе огромное уважение, ибо, несмотря на свою юность, ты побеждаешь любовь, — так как нет ничего более пагубного, чем любовь, для нашего

спокойствия, голоса, для долговечности нашей красоты, нашего состояния, наших успехов, не правда ли? О да, я знаю это по опыту! Если бы я всегда могла довольствоваться холодным ухаживанием, то не перенесла бы столько страданий, не потеряла бы двух тысяч цехинов и двух верхних нот. Признаюсь тебе смиренно: я — бедное существо, несчастное от рождения. Всякий раз, когда дела мои были в самом блестящем состоянии, я делала какую-нибудь глупость и все портила. Мною овладевала безумная страсть к какому-нибудь бедняку — и тут уж прощай все блага! Было время, когда я могла выйти замуж за Дзустиньяни, — да, я могла это сделать. Он обожал меня, а я его не выносила; участь его была в моих руках. Мне понравился этот подлый Андзолето… и я потеряла свое положение. Послушай, ты будешь давать мне советы, будешь мне другом, не правда ли? Удерживай меня от увлечений, от легкомысленных поступков! И для начала… надо тебе признаться, что вот уже неделя, как я влюблена в человека, который заметно теряет благоволение двора и в ближайшее время будет более опасен, чем полезен. Человек этот миллионер, но может быть разорен по мановению руки. Да, я хочу развязаться с ним, прежде чем он потащит

меня за собой в пропасть... Ну вот, дьявол хочет изобличить меня во лжи! Я слышу, он идет сюда, и уже огонь ревности запылал на моем лице. Хорошенько задвинь ширму, Порпорина, и не шевелись: я не хочу, чтобы он видел тебя.

Консуэло поспешила тщательно задвинуть ширму. Ей не надо было просьбы Кориллы, она и так не пожелала бы попасться на глаза ее любовникам. Мужской голос, довольно звучный, хотя и лишенный свежести, без малейшей фальши напевал в коридоре. Для виду постучали, но вошли, не дожидаясь разрешения.

«Ужасное ремесло! — подумала Консуэло. — Нет, я не позволю себе увлечься опьянениями сцены: слишком уж гнусна ее закулисная сторона».

Она забилась в угол, униженная тем, что попала в такое общество и впервые погрузилась в бездну разврата, о которой до сих пор не имела понятия; она вознегодовала и ужаснулась тому, как ее поняла Корилла.

Глава 97

Заканчивая наспех одеваться из боязни быть застигнутой врасплох, Консуэло услышала такой диалог на итальянском языке:

— Что вам тут нужно? Я ведь не разрешила вам входить в мою уборную. Императрица нам запретила под страхом самых строгих взысканий принимать в уборных мужчин, кроме товарищей, и то когда в этом является неотложная необходимость по театральным делам. Видите, чему вы подвергаете меня! Не понимаю, почему так плохо поставлен надзор за уборными!

— Запретов не существует для людей, которые щедро платят, моя красавица. Только трусы встречают на своем пути отпор или доносы. Ну, принимайте меня получше или, черт побери, вы больше меня не увидите.

— Это самое большое удовольствие, какое вы можете мне доставить. Уходите! Ну, что же вы не уходите?

— Ты, по-видимому, так искренне этого желаешь, что я останусь, чтобы тебя взбесить.

— Предупреждаю, что сейчас вызову режиссе-

ра, и он избавит меня от вас.

— Пусть явится, если ему надоела жизнь. Ничего не имею против. — С ума вы, что ли, сошли? Говорят вам, что вы меня компрометируете, заставляете нарушить правило, недавно введенное приказом ее величества, подвергаете риску большого штрафа, быть может даже увольнения.

— Штраф я берусь уплатить твоему директору палочными ударами. Что же касается твоего увольнения, лучшего я и не желаю — сейчас же увезу тебя в свои поместья, и мы с тобой превесело заживем там.

— Поехать с таким грубияном? Никогда! Ну, выйдем вместе, раз вы упорно не желаете оставить меня одну.

— Одну! Одну! Прелесть моя! Вот в этом-то я и хочу убедиться раньше, чем вас покинуть. Вот ширма, по-моему занимающая слишком много места в такой комнатушке. Мне кажется, отшвырни я ее добрым пинком к стене, я оказал бы вам услугу.

— Погодите, сударь, погодите: там одевается дама. Вы хотите убить или ранить женщину, этакий разбойник!

— Женщина! Ну, это другое дело, но я хочу взглянуть, нет ли у нее шпаги!

Ширма заколебалась…

Консуэло, уже совершенно одетая, набросила на плечи плащ и, в то время как открывали первую створку ширмы, попыталась толкнуть последнюю и проскользнуть в дверь, находившуюся от нее в двух шагах. Но Корилла, угадавшая намерение девушки, остановила ее, сказав:

— Останься, Порпорина: не найди он тебя здесь, он был бы способен вообразить, что здесь был мужчина, и убил бы меня.

Перепуганная Консуэло решила было показаться, но Корилла, уцепившись за ширму, помешала ей. Быть может, она надеялась, возбудив ревность своего возлюбленного, так воспламенить его страсть, чтобы он не обратил внимания на трогательную прелесть ее соперницы.

— Если там дама, — заявил он, смеясь, — пусть она мне ответит. Сударыня, вы одеты? Можно засвидетельствовать вам свое почтение?

— Сударь, — ответила Консуэло, заметив, что Корилла делает ей знаки, — соблаговолите приберечь изъявления своего почтения для другой, а меня избавьте от них. Я не могу показаться вам.

— Значит, это наилучший момент на вас поглядеть, — проговорил возлюбленный Кориллы, делая вид, что намеревается раздвинуть ширму.

— Подумайте, прежде чем действовать! — принужденно смеясь, остановила его Корилла. — Как бы вместо полураздетой пастушки вы не наткнулись на почтенную дуэнью!

— А, черт побери!.. Да нет же! Ее голос слишком свеж, ей никак не больше двадцати лет, а будь она некрасива, ты бы показала мне ее!

Ширма была очень высока, и, несмотря на свой огромный рост, возлюбленный Кориллы не мог заглянуть поверх, разве только сбросив со стульев туалеты актрисы. Притом с того момента, как его перестала беспокоить мысль о присутствии за ширмой мужчины, он находил игру забавной.

— Сударыня! — воскликнул он. — Если вы стары и уродливы, молчите, и я пощажу ваше убежище, но если, черт возьми, вы молоды и красивы, не давайте Корилле себя оклеветать. Скажите только слово, и я войду, хотя бы мне пришлось применить силу.

Консуэло ничего не ответила.

— Нет, ей-богу, я не позволю водить себя за нос! — закричал любопытный посетитель после минутного ожидания. — Будь вы стары или плохо сложены, вы бы так спокойно не признались в этом; но, видно, вы прекрасны как ангел, поэтому и смеетесь над моими сомнениями. Так

или иначе, я должен вас увидеть, ибо вы либо чудо красоты, способное внушить страх самой красавице Корилле, либо настолько умны, что сознаете свое безобразие, и я рад буду встретить первый раз в жизни некрасивую женщину без претензий.

Он схватил руку Кориллы всего двумя пальцами и согнул ее, как соломинку. Она громко вскрикнула, притворяясь, будто он причинил ей невероятную боль. Но он не обратил на это ни малейшего внимания, и, когда ширма открылась, перед глазами Консуэло предстала ужасная физиономия барона Франца фон Теренка. Богатейший и изысканнейший штатский костюм заменил его дикое одеяние воина, но по гигантскому росту и большим черно-багровым пятнам, испещрявшим его смуглое лицо, трудно было тотчас же не узнать неустрашимого и безжалостного предводителя пандуров. Консуэло невольно вскрикнула от ужаса и, бледнея, опустилась на стул. — Не бойтесь меня, сударыня, — проговорил барон, опускаясь на одно колено, — простите мою смелость, в которой я должен был бы раскаяться, но, увидев вас, я не в силах это сделать. Позвольте мне верить, что только из жалости ко мне вы отказывались показаться, прекрасно зная, что,

увидев вас, я не могу не влюбиться. Не огорчайте меня мыслью, что я страшен вам. Я в достаточной мере уродлив, сам это сознаю. Но если война превратила довольно красивого молодого человека в чудовище, — поверьте, это еще не значит, что она сделала его злым.

— Злым? Да, это, конечно, было бы невозможно! — ответила Консуэло, поворачиваясь к нему спиной.

— Как видно, — ответил барон, — вы дитя довольно дикое, а ваша кормилица, наверно, изобразила вам меня в своих россказнях вампиром, как это делают здесь все старухи. Но молодые ко мне более справедливы: они знают, что если я и суров с врагами родины, то дамам легко меня приручить, когда они берут на себя этот труд.

И, наклонившись к Консуэло, которая притворилась, будто смотрится в зеркало, он метнул ее изображению сладострастный и в то же время свирепый взгляд, грубому очарованию которого поддалась Корилла. Консуэло увидела, что только рассердившись сможет избавиться от него.

— Господин барон, — сказала она, — не страх внушаете вы мне, а отвращение, омерзение. Вы любите убивать — я не боюсь смерти; но я ненавижу кровожадных людей, а вас я знаю. Я только

что приехала из Богемии, где видела следы вашего пребывания…

Барон изменился в лице и проговорил, пожимая плечами и оборачиваясь к Корилле:

— Что еще за чертовка? Баронесса Лесток, стрелявшая в меня в упор из пистолета, и та казалась не такой разъяренной. Не задавил ли я по неосторожности, несясь галопом, ее любовника у какого-нибудь куста? Ну, красотка моя, успокойтесь — я пошутил с вами. Если вы такого несговорчивого нрава, откланиваюсь. Впрочем, я заслужил это, на минуту отвлекшись от моей божественной Кориллы.

— Ваша божественная Корилла, — ответила та, — очень мало заботится о том, внимательны вы или нет, и просит вас удалиться: сейчас будет делать обход директор, и если вы не желаете вызвать скандал.

— Ухожу, — сказал барон, — я не хочу огорчать тебя и лишать публику удовольствия, так как ты потеряешь чистоту голоса, если начнешь плакать. После спектакля буду ждать тебя в своем экипаже у выхода из театра. Решено, не так ли?

И он, насильно расцеловав ее в присутствии Консуэло, вышел. Корилла тут же бросилась на шею к товарке и стала благодарить за то, что она

так решительно отвергла пошлые любезности барона. Консуэло отвернула голову, — красавица Корилла, осквернённая поцелуями этого человека, внушала ей почти такое же отвращение, как он сам.

— Как можете вы ревновать такое отталкивающее существо? — сказала она ей.

— Ты в этом ничего не смыслишь, Zingarella, — ответила, улыбаясь, Корилла. — Барон нравится женщинам более высокопоставленным и якобы более добродетельным, чем мы с тобой. Сложен он превосходно, а в лице его, хотя и попорченном шрамами, есть нечто притягательное, против чего ты не устояла бы, вздумай он убедить тебя, что красив. — Ах, Корилла! Не лицо Тренка главным образом меня отталкивает. Душа его еще более отвратительна! Ты, стало быть, не знаешь, что у него сердце тигра…

— Это-то и вскружило мне голову! — беззастенчиво ответила Корилла.

— Выслушивать комплименты всяких изнеженных пошляков — подумаешь, великая радость! А вот укротить тигра, повелевать львом лесов, водить его на поводу, заставлять вздыхать, плакать, рычать и дрожать того, чей взгляд обращает в бегство войска и чей удар сабли сносит

голову быка с такой легкостью, словно это цветок мака, — удовольствие более острое, чем все испытанное мною до сих пор! У Андзолето было нечто в этом роде: я любила его за злость; но барон злее. Тот был способен избить свою любовницу, а этот в состоянии ее убить. О! Я предпочитаю его!

— Бедная Корилла! — промолвила Консуэло, бросая на нее взгляд, полный сожаления.

— Ты жалеешь меня за то, что я люблю его, и ты права, но у тебя больше оснований завидовать этой любви. А впрочем, лучше питать ко мне сожаление, чем отбивать у меня Тренка.

— О, будь покойна! — воскликнула Консуэло.

— Синьора, начинают! — крикнул бутафор у дверей.

— Начинаем! — прокричал громкий голос на верхнем этаже, где были уборные хористок.

— Начинаем! — повторил другой, мрачный и глухой, голос внизу лестницы, ведущей в глубь театра. И последние слоги, передаваясь слабым эхом от кулисы к кулисе, достигли, замирая, будки суфлера, который стукнул три раза об пол, чтобы предупредить дирижера оркестра; тот, в свою очередь ударил смычком по пульту, и после мгновенного затишья раздались гармоничные звуки увертюры; в ложах и партере все умолкло.

С первого же акта «Зенобии» Консуэло ожидал тот полнейший, неотразимый успех, который Гайдн предсказывал ей накануне. Самые великие таланты не всякий день выступают на сцене с одинаковым блеском. Даже допустив, что силы их ни на минуту не ослабевают, не все роли, не все ситуации одинаково способствуют проявлению их блестящих способностей. Впервые Консуэло встретилась с образом, где могла быть сама собой и могла проявить всю чистоту своей души, всю силу, нежность и неиспорченность, не прибегая к помощи искусства и внимательного изучения роли, чтобы отождествиться с чуждой ей личностью. Она могла забыть этот ужасный труд, отдаться переживаниям минуты, вдохновляться патетическими и глубокими порывами, которые сообщались ей сочувственно настроенной и наэлектризованной публикой. В этом она нашла столь же неизъяснимое удовольствие, какое уже испытала, — правда, в меньшей степени, — на репетиции, о чем она чистосердечно призналась тогда Иосифу. И теперь не овации публики опьянили ее радостью, а счастье, что она сумела проявить себя, победоносная уверенность в том, что она достигла совершенства в своем искусстве. До сих пор Консуэло всегда с

беспокойством спрашивала себя, не могла ли она при своем даровании лучше исполнить ту или иную роль. На этот раз она почувствовала, что проявила всю свою мощь, и, почти равнодушная к восторженным крикам толпы, в глубине души аплодировала самой себе.

После первого акта она осталась за кулисами, прослушала интермедию и подбодрила искренними похвалами Кириллу; актриса действительно была прелестна в своей роли. Но после второго акта Консуэло почувствовала, что ей нужен минутный отдых, и поднялась в уборную. Порпора был занят в другом месте и не пошел за нею, а Иосиф, внезапно приглашенный благодаря тайному покровительству императрицы исполнять партию скрипки в оркестре, понятно, остался на своем месте.

Итак, Консуэло вошла одна в уборную Кириллы, от которой та передала ей ключ, выпила стакан воды и на минуту бросилась было на диван. Но вдруг воспоминание о пандуре Тренке почему-то встревожило ее, и, подбежав к двери, она заперла ее на ключ. Однако, казалось, не было никаких оснований беспокоиться о том, что он явится сюда. Перед поднятием занавеса он направился в зрительный зал, и Консуэло даже видела его

на балконе среди своих самых восторженных поклонников. Тренк страстно любил музыку. Он родился и получил воспитание в Италии, говорил по-итальянски так же мелодично, как истый итальянец, недурно пел и, «родись он в иных условиях, мог бы сделать карьеру на сцене», как утверждают его биографы. Каков же был ужас Консуэло, когда, возвращаясь к дивану, она увидела, что злополучная ширма задвигалась, приоткрылась и из-за нее показался проклятый пандур!

Она бросилась к двери, но Тренк опередил ее и, прислонившись спиной к замку, проговорил с отвратительной улыбкой:

— Успокойтесь, моя прелесть! Раз вы пользуетесь уборной совместно с Кориллой, вам следует привыкнуть к встречам с любовником этой красотки; ведь вы не могли не знать, что второй ключ находится у него в кармане. Вы угодили в самое логовище льва… О! Не вздумайте только кричать! Никто не явится. Всем известно, что Тренк — человек хладнокровный, что у него сильный кулак и он мало ценит жизнь дураков. Если ему беспрепятственно, вопреки императорскому запрету, позволяют входить сюда, то ясно, что между всеми вашими фиглярами нет ни одного

смельчака, который решился бы взглянуть ему прямо в глаза. Ну, чего вы бледнеете и дрожите? Неужели вы так мало уверены в себе, что не в состоянии выслушать трех слов, не потеряв головы? Или вы считаете меня человеком, способным изнасиловать, оскорбить вас? Вы наслушались бабьих сплетен, дитя мое! Тренк не такой уж злой, как о нем говорят, и именно чтобы убедить вас в этом, он и хочет минутку побеседовать с вами.

— Сударь, я не стану слушать — вас, прежде чем вы не откроете дверь, — ответила, набравшись решимости, Консуэло. — Только при этом условии я разрешу вам говорить со мной. Если же вы будете продолжать держать меня взаперти, я решу, что этот мужественный и сильный человек не уверен в себе и боится встречи с моими товарищами-фиглярами.

— А, вы правы, — сказал Тренк, открывая настежь дверь. — Если вы не боитесь схватить насморк, я предпочитаю дышать чистым воздухом, чем задыхаться в мускусе, которым Корилла пропитала всю эту комнатушку. Вы даже оказываете мне услугу.

Сказав это, он вернулся к Консуэло и, схватив ее за руки, принудил сесть на диван, а сам стал перед ней на колени, не выпуская ее рук, кото-

рых она не могла бы высвободить, не вступив с ним в борьбу, бессмысленную и пожалуй, даже опасную для ее чести. Барон, казалось, ждал и как бы вызывал сопротивление, которое разбудило бы в нем необузданные инстинкты и заставило бы его забыть всякую деликатность, всякую почтительность. Консуэло это поняла и безропотно покорилась необходимости войти в такую постыдную, двусмысленную сделку. По ее смуглой, бескровной щеке скатилась слеза, которую она не могла удержать. Барон увидел ее, но она не смягчила, не обезоружила его — напротив, жгучая радость блеснула из-под его кровавых век, вывороченных и оголенных ожогом.

— Вы очень несправедливы ко мне, — заговорил он ласкающим, нежным голосом, в котором чувствовалась лицемерная радость. — Вы ненавидите меня и не хотите выслушать мои оправдания, хотя совсем меня не знаете. А я не стану, как дурак, мириться с вашим отвращением. Час тому назад мне было безразлично, но с тех пор, как я слышал божественную Порпорину, с тех пор, как я ее обожаю, я чувствую, что надо жить для нее или умереть от ее руки!

— Избавьте меня от этой смешной комедии… — проговорила с негодованием Консуэло.

— Комедии? — прервал ее барон. — Постойте, — сказал он, вытаскивая из кармана пистолет, который тут же зарядил и подал ей, вы будете держать это оружие в своей прелестной ручке, и если я невольно оскорблю вас хоть словом, если по-прежнему буду ненавистен вам — убейте меня, коли вам это заблагорассудится. А другую ручку я решил не выпускать до тех пор, пока вы не позволите мне поцеловать ее. Но этой милостью я хочу быть обязанным только вашей доброте, я буду молить вас о ней и терпеливо ждать под дулом смертоносного оружия, которое вы можете обратить против меня, когда моя настойчивость станет вам невыносима.

Тут Тренк действительно вложил в правую руку Консуэло пистолет, а левую удержал силой, продолжая стоять перед нею на коленях с неподражаемой фатовской самонадеянностью.

Консуэло почувствовала себя очень сильной и, держа пистолет так, чтобы его можно было употребить в дело при малейшей опасности, улыбаясь, сказала:

— Можете говорить, я вас слушаю.

В то время, как она произносила эти слова, ей показалось, что в коридоре раздались шаги и даже чья-то тень мелькнула в дверях. Но тень

тотчас же исчезла, потому ли, что пришелец удалился, или потому, что вообще все это было плодом воображения. Теперь, когда Консуэло угрожала только огласка, появление всякого лица, и безразличного и могущего оказать помощь, было скорее страшно, чем желательно. Если она будет молчать, барона, застигнутого на коленях перед нею в комнате с открытой дверью, неминуемо примут за явно преуспевшего ее поклонника, а если она закричит, будет звать на помощь, барон, несомненно, убьет первого, кто покажется. С полсотни подобных случаев украшало путь его частной жизни, и жертвы его страстей не слыли от этого ни менее порядочными, ни менее поруганными. Имея это в виду, Консуэло оставалось только желать, чтобы объяснение скорее кончилось, и надеяться своим личным мужеством вразумляюще подействовать на Тренка, не прибегая к помощи свидетелей, которые могли бы по-своему комментировать и истолковывать эту странную сцену.

Тренк угадал отчасти ее мысль и слегка прикрыл дверь.

— Право, сударыня, — сказал он, возвращаясь к ней, — было бы безумием подвергать себя злословию проходящих; спор должен кончиться у нас с

глазу на глаз. Выслушайте же меня. Вы боитесь и вам мешает дружба с Кориллой, это мне понятно. Честь ваша, ваша незапятнанная репутация мне дороже этих драгоценных минут, когда я без свидетелей любуюсь вами. Я прекрасно знаю, что эта пантера, в которую я был влюблен еще час тому назад, обвинила бы вас в предательстве, застань она меня здесь у ваших ног. Но она не получит этого удовольствия. Я высчитал время. Ей еще минут десять придется развлекать публику своим кривлянием, и я успею сказать вам, что если любил ее, то забыл уже об этом, как о первом сорванном мною яблоке. Не бойтесь отнять у нее сердце, которое больше не принадлежит ей и откуда отныне ничто не может изгнать ваш образ. Вы одна, сударыня, властны надо мной, вы одна можете располагать моей жизнью. Что же заставляет вас колебаться? У вас, говорят, есть любовник, — одним щелчком я избавлю вас от него! Вы под постоянным надзором старого опекуна, злого и ревнивого, — я увезу вас из-под самого его носа! Вы подвергаетесь в театре тысячам интриг. Правда, публика вас обожает, но публика неблагодарна и изменит вам в первый же день, когда вы охрипнете. Я несметно богат и в состоянии сделать вас принцессой, чуть ли не королевой

— в стране дикой, но где я могу в мгновение ока воздвигнуть вам дворцы и театры, более грандиозные и красивые, чем дворцы венского двора. Если вы нуждаетесь в публике, я одним мановением вызову ее из-под земли, притом преданную, покорную, верную, не чета венской. Я некрасив — знаю; но шрамы, украшающие мое лицо, более почтенны и славны, чем белила и румяна, покрывающие бледные лица ваших скоморохов. Я суров с моими рабами, неумолим по отношению к врагам, но кроток со своими хорошими слугами, и те, кого я люблю, наслаждаются радостью, славой, богатством. Наконец, я бываю подчас свиреп, вам сказали правду: не может человек, столь храбрый и сильный, не пользоваться своим могуществом, когда месть и гордость призывают его к этому. Но женщина чистая, застенчивая, кроткая и прелестная, как вы, может обуздать мою силу, сковать мою волю и держать меня под башмаком, точно ребенка. Попробуйте: доверьтесь мне на какое-то время тайком от всех, а когда узнаете меня, вы увидите, что можете вручить мне заботу о своем будущем и последовать за мной в Славонию. Вы улыбаетесь, название этого края созвучно со словом раб. Так вот, божественная Порпорина, я буду твоим

рабом! Взгляни на меня и привыкни к моему безобразию, которое твоя любовь могла бы украсить! Скажи только слово, и ты увидишь, что красные глаза Тренка-австрийца могут проливать радостные слезы, слезы умиления, так же как и красивые глаза Тренка-пруссака, моего дорогого кузена, которого я люблю, хотя мы и дрались с ним во враждебных лагерях и хотя ты, как уверяют, была неравнодушна к нему. Но тот Тренк — ребенок, а я — пусть еще молод (мне только тридцать четыре года, хотя лицо мое, опаленное порохом, и кажется вдвое старше) — однако уже пережил возраст капризов и могу дать тебе долгие годы счастья. Говори, говори же, скажи «да», и ты увидишь, что любовь может преобразить меня и превратить Тренка с обожженной пастью в светозарного Юпитера! Ты не отвечаешь мне, трогательное целомудрие удерживает тебя, не правда ли? Ну, хорошо! Не говори ни слова, дай мне только поцеловать твою руку, и я уйду с душой, полной веры и счастья. Видишь, я не такой грубиян, не такой тигр, каким меня изобразили тебе. Я прошу у тебя только невинной милости и молю тебя о ней на коленях, а ведь я мог бы одним дуновением сокрушить тебя и, несмотря на твою ненависть, испытать счастье, которому

позавидовали бы сами боги!

Консуэло с удивлением рассматривала этого страшного человека, так увлекавшего женщин. Она старалась постигнуть чары, которые в самом деле, несмотря на его безобразие, могли действовать неотразимо, будь это лицо хорошего человека, воодушевленного движениями сердца; но то было безобразие отчаянного сластолюбца, а страсть его — только донкихотство дерзкого, самонадеянного фанфарона.

— Вы все сказали, господин барон? — спокойно спросила Консуэло.

Но она тут же покраснела и побледнела, когда славонский деспот бросил ей на колени целую пригоршню крупных бриллиантов, огромных жемчужин и очень ценных рубинов. Она быстро поднялась, сбросив на пол все эти драгоценности, которые должны были достаться Корилле.

— Тренк! — воскликнула она, охваченная сильнейшим негодованием и презрением. — При всей твоей храбрости ты последний трус: сражался ты только с ягнятами и ланями, которых безжалостно истреблял. Выступи против тебя настоящий мужчина, ты убежал бы, как лютый, но трусливый волк. Твои славные шрамы, я знаю, получены тобой в подвале, где ты среди трупов

искал золота побежденных. Твои дворцы и твое маленькое царство — кровь благородного народа, и только деспотизм навязывает тебя ему в качестве соотечественника; это — гроши, вырванные у вдов и сирот, золото предательства, грабеж церквей, где ты, притворяясь, падаешь ниц и творишь молитву (ведь к довершению всех своих великих достоинств ты еще и ханжа!). Твоего двоюродного брата Тренка-пруссака, так нежно тобою любимого, ты предал и собирался умертвить. Женщин, которых ты прославил и осчастливил, ты изнасиловал, предварительно убив их мужей и отцов. Твоя только что сымпровизированная нежность ко мне не что иное, как каприз пресыщенного развратника. Рыцарское изъявление покорности, которое ты проявил, отдавая свою жизнь в мои руки, — это тщеславие глупца, воображающего себя неотразимым, а та пустая милость, о которой ты просишь, была бы для меня пятном, которое можно смыть только самоубийством. Вот мое последнее слово, пандур с обожженной пастью! Прочь с моих глаз! Беги, ибо если ты не освободишь моей руки, которую уже четверть часа леденишь в своей, я очищу землю от негодяя, размозжив тебе голову!

— И это твое последнее слово, исчадие ада? —

воскликнул Тренк. — Ну, хорошо же! Горе тебе! Пистолет, который я гнушаюсь выбить из твоей дрожащей руки, заряжен только порохом. Одним маленьким ожогом больше или меньше — что за важность! Этим не запугаешь человека, закаленного в огне. Стреляй, наделай шума! Мне только того и нужно. Я буду рад найти свидетелей своей победы, так как теперь уже ничто не сможет избавить тебя от моих объятий: своим безумием ты зажгла во мне огонь страсти, который могла бы сдержать, будь ты немного поосторожней.

Говоря так, Тренк схватил в свои объятия Консуэло, но в то же мгновение дверь отворилась, и человек, чье лицо было закрыто черным крепом, опустил руку на пандура, который сразу согнулся и зашатался как тростник в бурю, и с силой бросил его на пол. Это было делом нескольких секунд. Ошеломленный в первое мгновение, Тренк поднялся и, дико вращая глазами, с пеной у рта, выхватил шпагу и бросился на своего врага, который направлялся к двери, по-видимому чтобы исчезнуть. Консуэло также устремилась к выходу. Ей показалось, что по росту и силе руки этот замаскированный человек не кто иной, как граф Альберт. Она увидела его в конце коридора, где очень крутая витая лестница вела на улицу.

Тут он остановился, подождал Тренка, быстро нагнулся — так, что шпага барона царапнула стену, и, схватив его в охапку, бросил через плечо вниз по лестнице, головой вперед. Консуэло слышала, как великан покатился, и с криком: «Альберт!» — кинулась было вслед за своим избавителем. Но он исчез раньше, чем у нее хватило сил сделать три шага. Страшная тишина воцарилась на лестнице.

— Синьора, через пять минут начинают, — отеческим тоном обратился к ней бутафор, вынырнув из театрального люка, выходившего на ту же площадку. — Каким образом эта дверь оказалась открытой? — прибавил он, глядя на дверь лестницы, с которой был сброшен Тренк. — Право, ваша милость рисковали схватить насморк в коридоре.

Он закрыл и запер дверь на ключ, как полагалось, а Консуэло ни жива ни мертва вернулась в уборную, выбросила за окно пистолет, валявшийся под диваном, засунула ногой под мебель драгоценности Тренка, сверкавшие на ковре, и отправилась на сцену, где наткнулась на Корилу, еще красную и запыхавшуюся от бесконечных выходов на аплодисменты, только что доставшиеся на ее долю после интермедии.

Глава 98

Несмотря на страшное волнение, Консуэло и в третьем акте превзошла себя. Она не ожидала такого успеха, не рассчитывала больше на него, выйдя на сцену с отчаянной решимостью провалиться с честью, считая, что во время своей мужественной борьбы лишилась вдруг и голоса и сноровки. Это ее не пугало: что значили даже тысячи свистков по сравнению с опасностью и позором, от которых она только что избавилась благодаря какому-то чудесному вмешательству. За этим чудом последовало другое. Добрый гений Консуэло, казалось, покровительствовал ей: голос ее звучал как никогда, пела она с еще большим мастерством и играла с большим подъемом и страстью, чем когда-либо. Все ее существо было до крайности возбуждено, и ей казалось, что вот-вот в ней что-то порвется, как чересчур натянутая струна. И это лихорадочное возбуждение уносило ее в волшебный мир: она делала все точно во сне, и ее даже удивляло, что она находила в себе для этого реальные силы.

Впрочем, радостная мысль поддерживала ее

всякий раз, когда она боялась ослабеть. У нее теперь не было сомнений, что Альберт здесь. Он в Вене. По крайней мере со вчерашнего дня. Он наблюдает за нею, следит за всеми ее движениями, оберегает ее, иначе кому же приписать нежданную помощь, только что ей оказанную, и ту почти сверхъестественную силу, которой должен был обладать человек, чтобы победить Франца фон Тренка, славонского геркулеса? И если в силу одной из тех странностей, которых так много в характере молодого графа, он не хочет говорить с нею и как будто старается быть ею не замеченным, тем не менее он явно по-прежнему страстно любит ее, раз оберегает так заботливо и защищает с такой энергией.

«Ну, хорошо, — блеснула в голове Консуэло мысль, — если господу угодно, чтобы силы мне не изменили, пусть Альберт видит меня на высоте в моей роли и пусть из того уголка зала, откуда он, без сомнения, в эту минуту следит за мной, насладится моей победой, одержанной отнюдь не интригами или шарлатанством».

Не забывая о своей роли, она искала его глазами, но нигде не могла найти; она продолжала свои поиски и когда отступила за кулисы, но так же безуспешно. «Где бы он мог быть? — ло-

мала она себе голову. — Где он спрятался? Быть может, он убил пандура наповал, сбросив его с лестницы? И принужден теперь скрываться от преследований? Попросит ли он убежища у Порпоры? Встретит ли она его на этот раз, вернувшись в посольство?»

Все недоумения исчезали, как только она снова появлялась на сцене: словно по волшебству, забывала она обстоятельства своей действительной жизни, и ее охватывало лишь чувство какого-то смутного ожидания, восторга, страха, благодарности, надежды… И все это было в ее роли и выливалось в чудесных звуках, полных нежности и правды.

По окончании спектакля ее стали без конца вызывать, и императрица первая бросила ей из своей ложи букет, к которому был прикреплен ценный подарок. Двор и венцы последовали примеру своей государыни, засыпав певицу цветами. Консуэло увидела, как среди всех этих благоухающих эмблем восторга к ее ногам упала зеленая ветка, невольно привлекшая ее внимание. Как только занавес опустился в последний раз, она ее подняла. То была кипарисовая ветка. Тут она забыла обо всех победных венках и стала искать объяснения этого знака скорби и ужаса, этой по-

гребальной эмблемы, быть может выражавшей последнее прости. Смертельный холод сменил в ней лихорадочное волнение, непреодолимый ужас застлал ей, как облаком, глаза. Ноги Консуэло подкосились, и ее почти без чувств отнесли в карету венецианского посланника, где Порпора тщетно старался добиться от нее хотя бы одного слова. Губы ее похолодели, а безжизненная рука держала под плащом кипарисовую ветку, точно принесенную к ней ветром смерти. Спускаясь по театральной лестнице, она не заметила кровавых следов, да и мало кто обратил на них внимание в сутолоке разъезда.

В то время как Консуэло возвращалась в посольство, погруженная в свои мрачные думы, довольно печальная сцена происходила в артистической при закрытых дверях. Незадолго до окончания спектакля служащие театра, раскрывая все двери, наткнулись на окровавленного барона фон Тренка, лежавшего без чувств у подножия лестницы. Его перенесли в одну из зал, предоставленных артистам, и, во избежание огласки и смятения, потихоньку предупредили директора, театрального доктора и полицию, чтобы те явились констатировать свершившийся факт. Таким образом, и труппа и публика

покинули зрительный зал и театр, не узнав о происшествии, и только кое-кто из служителей искусства, государственные чиновники и несколько сострадательных свидетелей постарались оказать помощь пандуру и добиться от него объяснений.

Корилла, ожидавшая карету любовника и уже несколько раз посылавшая на розыски свою горничную, наконец потеряла терпение и решила пойти сама, рискуя отправиться домой пешком. Она встретила г-на Гольцбауэра, и тот, зная об ее отношениях с Тренком, повел ее в фойе, где она увидела своего любовника с проломленным черепом и со столькими ушибами на теле, что он не мог пошевельнуться. Корилла огласила все помещение воплями и стенаниями. Гольцбауэр удалил лишних свидетелей и велел закрыть двери. Примадонна на все вопросы не могла ни сказать что-либо, ни сделать какие-то предположения, которые могли бы помочь выяснению дела. Наконец Тренк, придя немного в себя, признался, что, проникнув без разрешения за кулисы театра, чтобы поглядеть поближе на танцовщиц, спешил уйти оттуда до окончания спектакля, но, не зная всех переходов этого лабиринта, оступился на первой же ступеньке проклятой лестницы,

неожиданно упал и скатился до самого низа. Этим объяснением удовлетворились и отнесли Тренка домой, где Корилла так ревностно за ним ухаживала, что даже лишилась из-за этого благосклонности графа Кауница, а впоследствии и благоволения ее величества. Но она отважно пожертвовала всем этим, и Тренк, чей железный организм выносил и более жестокие испытания, отделался недельным недомоганием и лишним шрамом на голове. Он не заикнулся ни перед кем о своем злоключении и только дал себе слово, что Консуэло дорого заплатит за него. Он и осуществил бы это, конечно, самым жестоким образом, если бы приказ об аресте не вырвал его из объятий Кориллы и не бросил, едва оправившегося от падения и еще дрожавшего от лихорадки, в военную тюрьму .

То, что глухая народная молва довела до ушей каноника, начало оправдываться. Богатства пандура возбудили во влиятельных людях и ловкачах жгучую, неутолимую алчность, и он пал жертвой этой алчности. Обвиненный во всевозможных преступлениях, и совершенных им и навязанных ему людьми, заинтересованными в его гибели, он начал испытывать на себе всякие проволочки, притеснения, наглые нарушения

закона, утонченные несправедливости долгого и скандального процесса. Скупой, несмотря на свое тщеславие, и гордый, невзирая на свои пороки, он не пожелал ни платить за усердие своих покровителей, ни подкупить совесть своих судей. Мы оставим барона на время в темнице, где после какой-то буйной выходки он, к великому своему негодованию, оказался прикованным за ногу. Стыд и позор! Именно за ту самую ногу, в которую попал осколок бомбы, взорвавшейся во время одного из самых его доблестных боевых подвигов. У него тогда выскоблили пораженную гангреной кость, и, едва оправившись, он снова был на коне, дабы с геройской выдержкой продолжать службу. И вот на этот ужасный шрам наложили железное кольцо с тяжелой цепью. Рана раскрылась, и он выносил новые муки уже не за службу Марии-Терезии, а за то, что слишком хорошо служил ей когда-то. Великая государыня не имела ничего против Тренка, подавлявшего и раздиравшего злополучную и опасную Богемию, едва ли могущую, вследствие национальной розни, быть оплотом против врагов; «король» Мария-Терезия, не нуждаясь больше ни в преступлениях Тренка, ни в жестокостях пандуров для того, чтобы прочно сидеть на престоле, начинала находить

их поступки чудовищными, непростительными и даже делала вид, что никогда не знала об их варварствах, — совсем как великий Фридрих, притворявшийся, будто не имеет понятия об утонченных жестокостях, тяжелейших цепях и пытках голодом, которыми несколько позже терзали другого барона фон Тренка, его красавца пажа, блестящего ординарца, спасителя и друга нашей Консуэло. Льстецы, донесшие до нас слух об этих возмутительных происшествиях, приписывали всю их гнусность мелкому офицерству и темному чиновничеству, чтобы смыть пятно с памяти монархов. Но монархи эти, якобы так плохо осведомленные о злоупотреблениях в своих тюрьмах, на самом деле настолько хорошо знали о всем происходящем там, что, например, Фридрих Великий собственноручно сделал рисунок цепей, которые Тренк-пруссак целых девять лет влачил в своем магдебургском склепе. И хотя Мария-Терезия прямо и не приказывала заковать искалеченную ногу Тренка-австрийца, своего доблестного пандура, однако она всегда оставалась глуха и к его жалобам и к его оправданиям. К тому же при постыдном дележе богатств Тренка, учиненном ее приближенными, она сумела выделить себе львиную долю и отказать в правосудии

его наследникам.

Вернемся же к Консуэло, ибо долг романиста обязывает нас лишь бегло касаться деталей, принадлежащих истории. Однако нам кажется невозможным совершенно исключить приключения нашей героини из событий, происходивших в ее время и на ее глазах. Узнав о несчастии пандура, Консуэло не вспоминала больше о нанесенных ей оскорблениях и, глубоко возмущенная несправедливостью по отношению к нему, помогла Корилле снабдить его деньгами в момент, когда ему было отказано в средствах, которые смогли бы смягчить суровость его заточения. Корилла, умевшая тратить деньги гораздо быстрее, чем добывать их, как раз была без гроша в тот день, когда посланный ее любовника тайно явился просить у нее нужную сумму. Консуэло была единственным лицом, к помощи которого эта женщина из инстинктивного чувства доверия и уважения решилась прибегнуть. Консуэло тотчас же продала подарок, брошенный ей императрицей на сцену по окончании «Зенобии», и передала Корилле деньги, похвалив ее при этом за то, что она не оставляет в горе несчастного Тренка. Мужество, с каким Корилла служила своему любовнику до тех пор, пока это было

возможно (на этой почве она сошлась даже с баронессой, его главной любовницей, к которой страшно ревновала), внушили Консуэло какое-то уважение к этому испорченному, но не окончательно развращенному созданию, сохранившему еще добрые побуждения сердца и бескорыстные порывы великодушия.

— Падем ниц перед промыслом божьим, — говорила она Иосифу, подчас упрекавшему ее за близость с Кориллой. — Человеческая душа даже в заблуждении сохраняет нечто благостное и великое, к чему чувствуешь уважение и в чем находишь с радостью те священные следы, которые являются как бы печатью божьей десницы. Там, где можно пожалеть, найдется что и простить, а где есть что простить, будь уверен, добрый мой Иосиф, там есть и что полюбить. Бедная Корилла в сущности животное, но иногда поступает как ангел. Видишь ли, я чувствую, что если останусь артисткой, то должна привыкнуть без ужаса и гнева смотреть на все эти печальные мерзости, среди которых протекает жизнь погибших женщин; ведь и они, эти падшие, колеблются между жаждой добра и влечением ко злу, между опьянением и раскаянием. И даже, признаюсь, мне кажется, что роль сестры милосердия по-

лезнее для моей добродетели, чем жизнь более чистая, чем более льстящие честолюбию знакомства, чем благодушное существование людей сильных, счастливых, уважаемых. Чувствую, что сердце мое создано наподобие рая доброго Иисуса, где больше радости, больше привета дается одному обращенному грешнику, чем тысяче торжествующих праведников. Мое призвание жалеть, помогать, утешать, сочувствовать. Имя, данное мне матерью при крещении, налагает на меня этот долг. У меня, Беппо, ведь нет другого имени. Общество не дало мне право с гордостью носить фамильное имя, и если, по мнению света, я унижаю себя, отыскивая крупинки чистого золота среди грязи чужих дурных нравов, то ведь я совершенно не обязана отдавать ему в чем-либо отчет. Я только Консуэло — ничего больше. И этого достаточно для дочери Розамунды, ибо Розамунда была бедной женщиной, и о ней отзывались еще хуже, чем о Корилле, а я должна была и могла ее любить, какой бы она ни была. Ее не почитали, как Марию-Терезию, но она не приказала бы приковать за ногу Тренка, чтобы умертвить его в муках, а самой завладеть его деньгами. Корилла также не сделала бы этого, однако, вместо того чтобы драться за нее, этот

самый Тренк, которому она помогает в несчастье, частенько бивал ее. Иосиф! Иосиф! Господь своим величием превосходит всех наших монархов; и раз Мария-Магдалина восседает на почетном месте, рядом с непорочной девой, то, пожалуй, и Корилла при том дворе будет иметь преимущество перед Марией-Терезией. А о себе скажу: если бы мне пришлось в дни, которые мне еще предстоит провести на земле, сидеть на пиру праведников, среди нравственного благоденствия, то я считала бы, что сбилась с пути спасения. О, благородный Альберт смотрел на это так же, как я, и, конечно, не стал бы порицать меня за мое хорошее отношение к Корилле.

Консуэло говорила все это своему другу Беппо через две недели после первого представления «Зенобии» и происшествия с бароном фон Тренком. Шесть представлений, на которые ее пригласили, были уже закончены. Г-жа Тези снова появилась в театре. Императрица при посредстве посланника Корнера потихоньку обрабатывала Порпору и продолжала ставить брак Консуэло с Гайдном условием ее поступления на императорскую сцену по окончании ангажемента Тези. Иосиф ничего не знал об этом. Консуэло ничего не предчувствовала. Она думала только об Аль-

берте, который больше не появлялся и не давал о себе знать. В голове у нее бродило множество предположений, множество противоположных решений. Девушка даже прихворнула от пережитого нервного потрясения и всех этих колебаний. Она не покидала своей комнаты с тех пор, как покончила с театром, и без конца смотрела на кипарисовую ветку, сорванную, как ей казалось, с одной из могил в гроте Шрекенштейна.

Беппо, единственный друг, которому она могла раскрыть свое сердце, сначала хотел было разубедить ее в том, что Альберт приезжал в Вену. Но когда она показала ему кипарисовую ветку, он глубоко задумался над этой тайной и в конце концов сам уверовал в то, что молодой граф принимал участие в приключении Тренка.

— Послушай, — сказал он, — мне кажется, я понял, что происходит. Действительно, Альберт приезжал в Вену. Он тебя видел, слышал, наблюдал за всеми твоими поступками, следовал за тобой по пятам. В тот день, когда мы с тобой беседовали на сцене у декорации, изображающей реку Араке, он мог быть по ту сторону декорации и слышать, как я сожалел, что тебя похищают с подмостков на пороге славы. У тебя самой при этом вырвались какие-то восклицания. Из них

он мог заключить, что ты предпочитаешь блеск карьеры печальной торжественности его любви. На следующий день он видел, как ты вошла в уборную Кориллы, и раз он все время наблюдал за тобой, то он мог заметить, как туда же за несколько минут перед этим вошел пандур. Он так долго не являлся к тебе на помощь потому, что считал твой приход добровольным, и только поддавшись искушению подслушать у двери, понял, как необходимо его вмешательство.

— Прекрасно! Но почему действовать так таинственно, почему скрывать под крепом свое лицо? — промолвила Консуэло.

— Ты знаешь, как подозрительна венская полиция. Быть может, его оговорили при дворе или у него были политические причины, чтобы прятаться; возможно, что лицо его было знакомо Тренку. Кто знает, не видал ли граф Альберт его в Чехии во время последних войн, не бросал ли ему вызова, не грозил ли, не заставил ли его выпустить из рук какого-нибудь захваченного им неповинного человека? Граф Альберт мог тайно совершать в своей стране великие подвиги храбрости и человеколюбия, в то время как его считали спящим в пещере Шрекенштейна. И если он совершал эти подвиги, разумеется, он не

стал бы рассказывать о них тебе. Ты же сама не раз отзывалась о нем как о самом смиренном, самом скромном из людей. И он поступил мудро, закрыв лицо, в то время как расправлялся с пандуром, ибо если сегодня императрица наказывает пандура за то, что он опустошил ее дорогую Чехию, то, поверь, это вовсе не значит, что она будет склонна оставить безнаказанным открытое сопротивление, оказанное ее пандуру в прошлом со стороны богемца.

— Ты совершенно прав, Иосиф, и твои слова наводят меня на размышления. Многое теперь начинает меня страшно беспокоить. Альберта могли узнать, арестовать, и это так же осталось бы неизвестным публике, как падение с лестницы Тренка. Увы! Быть может, он в эту минуту в тюрьме Арсенала, рядом с темницей Тренка. И горе это он терпит из-за меня!

— Успокойся, я этого не думаю. Граф Альберт, должно быть, сейчас же покинул Вену, и ты вскоре получишь от него письмо из Ризенбурга.

— У тебя такое предчувствие, Иосиф?

— Да, я предчувствую это. Но, если уж хочешь знать все, что я думаю, так, мне кажется, письмо это будет совсем иным, чем ты ожидаешь. Я убежден, что он не будет больше настаивать

на великодушной дружеской жертве, которую ты собиралась принести ради него, покинув артистическую карьеру, отказался от мысли жениться на тебе и скоро вернет тебе свободу. Если он так умен, благороден, справедлив, как ты говоришь, он должен посовеститься вырвать тебя из театра, который ты страстно любишь. Не отрицай, я ведь прекрасно это видел, и он, слушая «Зенобию», должен был понять это не хуже меня. Итак, он откажется от жертвы, превышающей твои силы, — я перестал бы его уважать, поступи он иначе.

— Но перечти же его последнюю записку. Вот она, Иосиф. Ведь он говорит в ней, что будет так же любить меня на сцене, как и в свете или в монастыре. Разве он не мог допустить мысли — женившись, предоставить мне свободу?

— Говорить и делать, думать и жить — не одно и то же. В страстных мечтаниях все кажется возможным, но когда действительность вдруг предстает перед глазами, мы с ужасом возвращаемся к прежним взглядам. Никогда не поверю, чтобы какой-нибудь знатный человек мог без отвращения видеть, как его супруга переносит капризы и оскорбления публики. Попав — конечно, впервые в своей жизни — за кулисы, граф

увидел в поведении Тренка по отношению к тебе печальный пример бед и опасностей, ожидающих тебя на театральном поприще. И он должен был уйти в отчаянии, но, правда, излечившись от своей страсти и отрешившись от пустых мечтаний. Прости, что я так говорю с тобой, сестрица Консуэло. Это мой долг, ибо разрыв с графом Альбертом — твое счастье. Ты почувствуешь это позднее, хотя сейчас глаза твои и полны слез. Будь справедлива к своему жениху и не обижайся переменой, происшедшей в нем. Когда он говорил тебе, что не питает отвращения к театру, он идеализировал его, и все это рухнуло при первом же испытании. Он понял тогда, что либо сделает тебя несчастной, вырвав из театра, либо, следуя за тобой туда, отравит собственное существование.

— Ты прав, Иосиф. В твоих словах — истина, я это чувствую; но дай мне поплакать. Сердце сжимается у меня вовсе не от обиды, что меня покинули и гнушаются мной, а от утраченной веры в любовь, в ее могущество, которые я идеализировала так же, как граф Альберт идеализировал мою театральную жизнь. Теперь он осознал, что, избрав такой путь, я не могу быть достойна его, по крайней мере в глазах света. А я должна признать, что любовь не настолько сильна, что-

бы победить все препятствия, отречься от всех предрассудков. — Будь справедлива, Консуэло, и не требуй большего, чем сама могла бы дать. Ты его не настолько любила, чтобы без колебаний и печали отречься от своего искусства, — не ставь же в вину графу Альберту, что он не смог порвать со светским обществом без ужаса и душевной муки.

— Но как бы втайне я ни печалилась (теперь могу уже сознаться в этом), я решилась всем ему пожертвовать, а он наоборот…

— Подумай, ведь страсть пылала в нем, а не в тебе. Он молил, а ты соглашалась, насилуя себя. Он прекрасно видел жертву с твоей стороны и почувствовал, что не только имеет право, но обязан избавить тебя от любви, которой ты не вызывала и в которой душа твоя не нуждается.

Разумный довод Иосифа убедил Консуэло в мудрости и великодушии Альберта. Она боялась, предаваясь горестным чувствам, страдать от уязвленного самолюбия; итак, она согласилась с объяснениями Гайдна, покорилась и успокоилась. Но по странности, так свойственной человеческому сердцу, едва обретя свободу следовать своему влечению к театру безраздельно и без угрызений совести, она испугалась одиночества,

разврата и ужаснулась открывающегося перед нею будущего, полного тяжелой борьбы. Подмостки — это костер. Актер на сцене приходит в такое возбужденное состояние, что все жизненные волнения по сравнению с этим кажутся холодными и бледными. Но когда, разбитый усталостью, он сходит с подмостков, то со страхом думает, как он прошел через это огненное испытание, и к желанию снова вернуться на сцену примешивается ужас. Мне кажется, что акробат является типичным представителем этой тяжелой, исполненной горения и опасностей жизни. Он испытывает нервное, страшное удовольствие на веревках и лестницах, где совершает чудеса, превосходящие человеческие силы. Но, спустившись с них победителем, он едва не лишается чувств при одной мысли, что ему надо снова взобраться на них, снова видеть перед собой смерть и торжество — этот двуликий призрак, непрестанно парящий над его головой.

Замок Ризенбург и даже Шрекенштейн, этот кошмар ее многих ночей, показались Консуэло сквозь завесу свершившегося изгнания потерянным раем, обителью покоя и чистоты, которые до конца дней будут жить в ее памяти как нечто величественное и достойное почитания.

Она прикрепила кипарисовую ветку — последнее воспоминание, последний дар пещеры гуситов — к распятию, принадлежавшему ее матери, и таким образом, соединив две эмблемы — католичества и ереси, она мысленно вознеслась к религии единой, вечной и абсолютной. В ней почерпнула она чувство покорности пред своими собственными страданиями и веру в промысл божий, руководящий Альбертом и всеми людьми, добрыми и злыми, среди которых ей отныне придется идти одной, без наставника в жизни.

Глава 99

Однажды утром Порпора позвал Консуэло в свою комнату раньше обычного. Вид у него был сияющий, он держал в одной руке объемистое письмо, в другой — очки. Консуэло затрепетала, задрожала всем телом, вообразив, что это наконец ответ из Ризенбурга. Но вскоре она поняла, что ошиблась. Письмо было от Уберто-Порпорино. Знаменитый певец сообщал своему учителю, что все условия ангажемента Консуэло приняты и он посылает ему подписанный бароном фон Пельницем, директором берлинского королевского театра, контракт, на котором не хватает только подписи Консуэло и самого маэстро. К документу было приложено очень дружеское и очень почтительное письмо барона, в котором тот предлагал Порпоре принять участие в конкурсе на должность дирижера капеллы прусского короля, представив вместе с тем для просмотра и испытания все свои новые оперы и фуги, какие пожелает привезти. Порпорино выражал радость, что скоро будет петь с партнершей по сердцу, «сестрой по Порпоре», и горячо упрашивал учи-

теля бросить Вену и приехать в прелестный Сан-Суси, местопребывание Фридриха Великого.

Письмо это чрезвычайно обрадовало Порпору, но вместе с тем вызвало в нем колебания. Ему казалось, что судьба наконец начинает улыбаться ему и милость обоих монархов (в то время столь необходимая для карьеры артиста) сулит ему благоприятные перспективы. Фридрих призывал его в Берлин. Мария-Терезия открывала ему заманчивые перспективы в Вене. В обоих случаях Консуэло предстояло быть орудием его славы: в Берлине — выдвигая на сцену его произведения, в Вене — выйдя замуж за Иосифа Гайдна.

Итак, настала минута вручить свою судьбу в руки приемной дочери. Он предложил ей на выбор — замужество или отъезд. Обстоятельства изменились, и он далеко не так горячо предлагал ей руку и сердце Беппо, как сделал бы это еще накануне. Ему надоела Вена, а мысль, что его будут ценить и чествовать во враждебном лагере, улыбалась ему как маленькая месть, причем он преувеличивал впечатление, какое все это могло произвести на австрийский двор. Наконец Консуэло перестала с некоторых пор говорить с ним об Альберте, словно отказавшись от него, а Порпора предпочитал, чтобы она вовсе не выхо-

дила замуж.

Консуэло тотчас же положила конец его колебаниям, объявив, что никогда не выйдет замуж за Иосифа Гайдна по многим причинам, и прежде всего потому, что сам он никогда и не думал на ней жениться, так как помолвлен с дочерью своего благодетеля, Анной Келлер.

— В таком случае, — сказал Порпора, — нечего и раздумывать. Вот твой контракт. Подпиши его, и будем собираться в путь-дорогу, ибо здесь нам надеяться не на что, раз ты не подчиняешься матримониомании императрицы. Ведь покровительство ее можно было получить только такой ценой, а после решительного отказа мы станем для нее хуже дьяволов. — Дорогой учитель, — ответила Консуэло с твердостью, какой еще никогда не проявляла по отношению к нему, — я готова повиноваться вам, как только совесть моя успокоится по поводу одного вопроса. Обязательства любви и глубокого уважения связывают меня с Рудольштадтом. Не скрою от вас, что, невзирая на ваше недоверие, упреки и насмешки, все три месяца, которые мы с вами провели здесь, я упорно не связывала себя никакими контрактами, могущими служить помехой этому браку. Но после решительного письма, написанного мною

полтора месяца тому назад, — оно прошло через ваши руки, — что-то произошло и, как я полагаю, побудило семью Рудольштадтов отказаться от меня. Каждый новый день убеждает меня, что данное мною слово возвращено мне и я свободна всецело посвятить вам и свои заботы и свой труд. Как видите, я иду на это без сожалений и колебаний. Однако после написанного мною письма совесть моя не может быть спокойна, пока я не получу на него ответа. Жду я его каждый день, и в ближайшее время ответ должен прийти. Позвольте мне подписать ангажемент с Берлином только по получении…

— Эх! Бедное дитя мое, — прервал ее Порпора, с первых же слов своей ученицы понявший, что ей следует отвечать, — долго пришлось бы тебе его ждать. Ответ прислан мне уже месяц тому назад…

— И вы мне его не показали! — воскликнула Консуэло. — И вы оставляли меня в такой неизвестности! Учитель! Ты очень странный человек! Какое же может быть у меня доверие к тебе, если ты так обманываешь меня?

— Чем же я обманул тебя? Письмо адресовано мне, и в нем было приказано показать его тебе только тогда, когда я увижу, что ты излечилась

от своей безумной любви и способна внимать благоразумию и благопристойности.

— Именно в таких выражениях оно и составлено? — спросила, краснея, Консуэло. — Невозможно, чтобы граф Христиан или граф Альберт могли так назвать мою дружбу, столь спокойную, скромную и гордую!

— Слова тут ни при чем, — сказал Порпора, — светские люди всегда выражаются изысканно, уж мы сами должны понимать их. Старый граф ни в какой мере не желал иметь невестку из актрис, и, узнав, что ты появилась здесь на подмостках, он заставил сына отказаться от такого унизительного брака. Альберт образумился, и тебе возвращают слово. С удовольствием вижу, что тебя это не огорчает. Все, стало быть, к лучшему. Едем в Пруссию.

— Маэстро, покажите мне письмо, и я тотчас же подпишу контракт.

— Ах да! Письмо, письмо! Но зачем оно тебе? Ты только огорчишься. Есть безумства, которые надо прощать и другим и себе самой. Забудь — и все.

— Нельзя забыть одним усилием воли, — возразила Консуэло, — размышление помогает нам, причины многое разъясняют. Если Рудольштадты отталкивают меня с презрением, я скоро

утешусь. Если же мне возвратили свободу, уважая меня и любя, я утешусь иначе, и мне будет легче. Покажите письмо. Чего вам опасаться, раз и в том и в другом случае я вас послушаю?

— Ну хорошо! Я тебе его покажу, — проговорил хитрый профессор, открывая свою конторку и делая вид, будто ищет письмо.

Он открыл все ящики, перерыл все свои бумаги и, конечно, не нашел там никакого письма, так как никакого письма не получал. Он даже притворился, будто раздражен, не находя его. Консуэло же на самом деле потеряла терпение и принялась за поиски; маэстро предоставил ей заниматься этим. Она перевернула вверх дном все ящики, пересмотрела все бумаги, но найти письмо оказалось невозможным. Порпора сделал вид, что припоминает содержание письма, и сымпровизировал версию, очень вежливую и решительную. Консуэло никак не могла заподозрить своего учителя в таком систематическом притворстве. Будем думать, к чести старого профессора, что в данном случае он был не особенно находчив, но и не много надо было, чтобы убедить такое искреннее существо, как Консуэло. В конце концов она решила, что Порпора в минуту рассеянности раскурил этим письмом трубку.

Выйдя затем в свою комнату, чтобы помолиться и поклясться над кипарисовой веткой, «несмотря ни на что», в вечной дружбе к графу Альберту, она спокойно вернулась и подписала двухмесячный контракт с берлинским театром, срок которого наступал в конце месяца. Времени было более чем достаточно для приготовлений к отъезду и для самого путешествия. Когда Порпора увидел на документе подпись, он расцеловал свою ученицу и торжественно провозгласил ее артисткой.

— Это день твоей конфирмации, — сказал он, — и если бы в моей власти было заставлять давать обеты, я внушил бы тебе отказаться навсегда от любви и брака, ибо ты теперь жрица бога гармонии. Музы — девственницы, и та, которая посвящает себя Аполлону, должна была бы нести обет весталок…

— Мне не следует давать обет безбрачия, — ответила Консуэло, — хотя в данную минуту, мне кажется, для меня ничего не было бы легче, как дать этот обет и сдержать его; но взгляды мои могут перемениться, и тогда мне пришлось бы раскаяться в решении, которого я не смогла бы уже нарушить. — Ты, стало быть, раба своего слова? Да, ты, кажется, отличаешься в этом отношении от остального рода человеческого, и если

бы в жизни тебе пришлось дать торжественное обещание, ты бы его выполнила.

— Маэстро, мне думается, что я уже это доказала, так как с тех пор, как существую, я всегда находилась во власти какого-нибудь обета. Мать научила меня этому роду религии и подавала мне пример, сама фанатически соблюдая данные обеты. Когда мы с ней путешествовали, она, приближаясь к какому-нибудь большому городу, обыкновенно говорила: «Консуэлита, будь свидетельницей: если дела мои здесь будут удачны, я даю обет пойти босиком в часовню, пользующуюся славой наибольшей святости в этом крае, и молиться там в течение двух часов». И вот, когда дела бедняжки бывали (по ее мнению) хороши, то есть ей удавалось заработать своим пением несколько талеров, мы всегда совершали паломничество, какова бы ни была погода, как бы далеко ни находилась почитаемая часовня. То было благочестие ни особенно просвещенное, ни особенно возвышенное, но на эти обеты я смотрела как на нечто священное. И когда моя мать на смертном одре взяла с меня слово, что я не буду принадлежать Андзолето иначе, как повенчавшись с ним, она знала, что может умереть спокойно, веря моему обету. Позднее я дала

обещание графу Альберту не думать ни о ком другом, кроме него, и всеми силами души стараться полюбить его так, как он хотел. Я не изменила своему слову и, не освободи он меня сейчас от него, могла бы остаться ему верна на всю жизнь.

— Оставь ты своего графа Альберта, о нем больше нечего думать, и, если уж тебе надо быть всегда во власти какого-нибудь обета, скажи, каким ты свяжешь себя по отношению ко мне?

— О учитель! Доверься моему благоразумию, моим нравственным устоям и моей преданности тебе. Не требуй от меня клятв, ведь этим налагаешь на себя страшное ярмо. Страх нарушить обет отравляет радость хороших побуждений и добрых дел.

— Я не понимаю таких отговорок, — возразил Порпора полу строгим, полушутливым тоном, — ты давала обеты всем, кроме меня. Не будем касаться того, которого потребовала от тебя мать. Он принес тебе счастье, бедное дитя мое. Не будь его, ты, пожалуй, попалась бы в сети этого негодяя Андзолето. Но поскольку ты могла без любви, а только по доброте сердечной надавать потом таких серьезных обещаний этому Рудольштадту, совершенно для тебя постороннему человеку, было бы очень дурно с твоей стороны, если бы

в такой день, как сегодня — день счастливый и достопамятный, когда тебе возвращена свобода и ты обручилась с богом искусства, — ты не захотела дать самого маленького обета своему старому профессору и лучшему другу.

— О да! Лучший друг мой, благодетель, опора моя, отец! — воскликнула Консуэло, порывисто бросаясь в объятия Порпоры, который был так скуп на ласковые слова, что только два-три раза в жизни открыто высказал ей свою отеческую любовь. — Я могу без страха и колебаний дать вам обет посвятить себя вашему счастью и славе до последнего моего вздоха!

— Мое счастье — это слава, Консуэло. Ты же знаешь, — проговорил Порпора, прижимая ее к своему сердцу. — Другого я себе не представляю. Ведь я не похож на тех старых немецких мещан, чье счастье заключается лишь в том, чтобы иметь при себе внучку для набивания их трубок и приготовления им сладких пирожков. Мне, слава богу, не нужно ни туфель, ни лечебных настоек. Когда мне понадобится только это, я не позволю тебе посвящать мне свое время, да и теперь ты слишком усердно ухаживаешь за мной. Нет, ты прекрасно знаешь, не такая преданность мне нужна: я требую, чтобы ты была

настоящей, великой артисткой. Обещаешь ли ты мне это? Обещаешь ли побеждать в себе лень, нерешительность, отвращение, какие чувствовала вначале? Обещаешь отклонять любезности и комплименты кавалеров, которые гоняются за актрисами — одни потому, что льстят себя надеждой обратить их в хороших хозяек, а, заметив в них противоположные наклонности, без церемонии их бросают; другие — потому, что разорены, но за удовольствие иметь карету и хороший стол готовы пожертвовать кастовыми предрассудками и живут за счет своих дражайших половин, путем бесчестия добывающих средства к жизни? И еще, обещаешь ли, что не дашь вскружить себе голову какому-нибудь теноришке с сочным голосом и курчавыми волосами, вроде негодяя Андзолето, который может гордиться только своими икрами и чей успех объясняется наглостью?

— Обещаю, даю вам торжественную клятву! — ответила Консуэло, добродушно смеясь над поучениями Порпоры, всегда помимо его воли, немного язвительными, но к которым она давно привыкла. — И даже больше, — прибавила она, снова становясь серьезной, — клянусь, что, пока я живу, вам никогда не придется пожаловаться на мою неблагодарность!

— О, столько я не прошу, — ответил с горечью маэстро, — это не под силу человеческой природе. Когда ты станешь певицей, известной всем народам Европы, в тебе проснутся тщеславие, честолюбие, жажда любви — все, от чего не смог предохранить себя ни один великий артист. Ты захочешь добиться успеха любой ценой. Ты не станешь добиваться его терпеливо или рисковать им ради дружбы или культа истинной красоты. Ты подчинишься игу моды, как все. В каждом городе будешь петь то, что больше всего нравится, не обращая внимания на дурной вкус публики и двора. Короче говоря, ты сделаешь себе карьеру и, несмотря на все, будешь великой, ибо нет иного способа быть великой для толпы. Только бы ты не забывала, когда тебе придется предстать перед судом небольшого кружка стариков вроде меня, что надо хорошо петь и выбирать достойные произведения! Только бы перед великим Генделем и старым Бахом ты сделала честь и методу Порпоры и себе самой — вот все, о чем я прошу тебя, вот все, на что надеюсь! Ты видишь, я не такой отец-эгоист, каким, без сомнения, некоторые из твоих поклонников меня считают. Я не требую от тебя ничего, что не послужило бы для твоего же успеха и твоей же славы.

— А я совершенно не забочусь о своей выгоде, — ответила растроганная и опечаленная Консуэло. — Успех может невольно опьянить меня, но я не в состоянии хладнокровно думать о том, чтобы всю свою жизнь поставить в зависимость от успеха, — ведь в таком случае я как бы своими руками стала увенчивать бы себя лаврами. Я хочу славы для вас, учитель мой! Вопреки вашему недоверию, я хочу вам показать, что только для вас Консуэло работает и разъезжает. И чтобы сейчас же убедить вас в том, что вы ее оклеветали, она клянется вам, раз вы верите ее клятвам, доказать все, что сейчас говорила!

— А чем же ты поклянешься мне? — спросил Порпора с нежной улыбкой, в которой все-таки проглядывало еще недоверие.

— Седыми волосами священной головы Порпоры! — ответила Консуэло, обнимая и благоговейно целуя учителя в лоб.

Беседа их была прервана появлением графа Годица, о котором доложил громадный гайдук. Лакей, испрашивая для своего барина позволение засвидетельствовать почтение маэстро Порпоре и его воспитаннице, смотрел на Консуэло с таким вниманием, недоумением и замешательством, что даже удивил ее. Однако ей не удалось

припомнить, где она видела это добродушное, несколько странное лицо. Граф был принят и изложил свою просьбу в самых изысканных выражениях. Он едет в свое имение Росвальд в Моравии и, стремясь сделать приятное своей супруге маркграфине, готовит к ее приезду сюрприз в виде великолепного празднества. Ввиду этого он предлагает Консуэло спеть три вечера подряд в Росвальде и просит также, чтобы Порпора согласился сопровождать ее и помог ему в устройстве концертов, спектаклей и серенад, которыми он собирается угощать маркграфиню.

Маэстро сослался на только что подписанный контракт и обязательство быть в назначенный день в Берлине. Граф пожелал взглянуть на контракт, а так как он всегда прекрасно относился к Порпоре, то старик охотно доставил ему это маленькое удовольствие и посвятил во все подробности, предоставив Годицу обсуждать условия контракта, разыгрывать роль знатока, давать советы. После этого граф стал настаивать на своей просьбе, уверяя, что времени имеется больше, чем надо, чтобы, исполнив ее, попасть к сроку в Берлин.

— Вы можете покончить со своими приготовлениями в три дня, — заявил он, — и отправиться

в Берлин через Моравию.

Правда, это было не совсем по пути, но, вместо того чтобы медленно двигаться через Чехию, страну мало благоустроенную и разоренную недавней войной, маэстро со своей ученицей могли очень скоро и удобно доехать до Росвальда в экипаже, который граф отдавал в их распоряжение, обещая позаботиться и о подставах, причем брал на себя все дорожные хлопоты и издержки. Граф предложил им таким же образом перевезти их из Росвальда в Пардубиц, если бы они пожелали спуститься по Эльбе до Дрездена, или в Хрудим — если бы они решили ехать через Прагу. Все, что он предлагал, действительно сокращало время их путешествия, а довольно кругленькая сумма, которую он к этому добавил, давала им возможность остальную часть пути проделать в лучших условиях. И Порпора согласился, несмотря на слегка недовольную мину Консуэло, хотевшую отклонить предложение. Сделка состоялась, и отъезд был назначен на последний день недели.

Когда Годиц, почтительно поцеловав руку Консуэло, оставил их вдвоем, она стала упрекать маэстро в том, что он так скоро позволил себя уговорить. Хотя ей нечего было опасаться дерзких выходок графа, она продолжала относиться

к нему неприязненно и отправлялась в его поместье без всякого удовольствия. Ей не хотелось рассказывать Порпоре о приключении в Пассау, но она напомнила ему его собственные насмешки над музыкальным творчеством графа.

— Разве вы не видите, — сказала она, — что я буду обречена исполнять его музыкальные творения, а вам придется с серьезным видом дирижировать кантатами и, пожалуй, даже целыми операми его изделия? Так-то вы заставляете меня держать обет верности культу прекрасного!

— Полно тебе! — смеясь, ответил Порпора. — Я вовсе не стану проделывать это так серьезно, как ты думаешь; наоборот, я предвкушаю удовольствие хорошенько потешиться, и так, что патриций-маэстро ровно ничего не заподозрит. Проделать такие вещи серьезным образом перед почтенной публикой поистине было бы кощунством и позором, но позабавиться позволительно; и артист был бы очень несчастлив, если бы, зарабатывая себе на хлеб, не имел права посмеяться втихомолку над теми, кто дает ему заработок. К тому же ты увидишь там свою прелестную принцессу Кульмбахскую, которую ты так любишь. Она вместе с нами посмеется над музыкой своего отчима, хотя ей вовсе не до смеха.

Пришлось покориться, начать укладываться, делать необходимые покупки, прощальные визиты. Гайдн был в отчаянии. Но в это время неожиданное счастье, великая артистическая радость свалилась на него и отчасти вознаградила или, вернее, вынудила его отвлечься от горести предстоящей разлуки. Исполняя серенаду своего сочинения под окном чудесного мима Бернадоне, знаменитого арлекина театра у Каринтийских ворот, он привел в изумление этого милого и умного актера, завоевав вместе с тем его симпатию. Иосифа пригласили в дом и стали спрашивать имя автора только что исполненного прекрасного, оригинального трио. Узнав, что это он, подивились его юности и таланту и тут же вручили ему либретто балета «Хромой бес». Гайдн немедленно принялся писать к нему музыку, стоившую ему стольких усилий, что, будучи уже восьмидесятилетним старцем, он не мог вспомнить об этом труде без смеха. Консуэло старалась рассеять его грусть, то и дело заговаривая с ним о «Буре», которая, по настоянию Бернадоне, должна была вызывать у слушателей ужас, а Беппо, в жизни не видевший моря, никак не мог себе его представить. Консуэло описывала ему бушующее Адриатическое море, напевала жалобные стоны

волн и смеялась вместе с ним над эффектами подражательной гармонии, для усиления которой в театре раскачивают руками голубые полотна, натянутые от одной кулисы до другой.

— Слушай, — сказал в утешение Порпора своему ученику, — работай ты хоть сто лет с лучшими инструментами в мире, прекрасно зная шум моря и ветра, тебе все-таки не передать божественной гармонии природы. Музыка не в состоянии этого сделать. Композитор наивно заблуждается, передавая звуковые фокусы и эффекты. Музыка выше этого, ее область — душевные волнения. Цель музыки — возбуждать эти волнения и вдохновляться ими. Представь себе переживания человека, находящегося во власти шторма. Представь себе зрелище страшное, величественное, мощное, грозящее опасностью! Представь, что ты, музыкант, то есть человеческий голос, человеческий вопль, живая потрясенная душа, мечешься, подхваченный этим бедствием, этой сумятицей, растерянностью, этими ужасами… Передай в звуках свои смертельные муки, — и слушатели, каковы бы они ни были, будут переживать их вместе с тобой. Им будет казаться, что они видят море, слышат скрип корабля, крики матросов, отчаянные вопли пассажиров… Что сказал бы ты о

поэте, который, желая изобразить битву, сообщил бы тебе в стихотворной форме, что пушка делает «бум-бум», а барабан «план-план»? Это была бы подражательная гармония, более близкая к происходящему, чем изображение величественных картин природы, но это не была бы поэзия. Даже живопись, это наиболее описательное из всех искусств, не является рабски подражательной. Напрасно пытался бы художник изобразить темно-зеленое море, черное грозовое небо, разбитый остов корабля, — если он не сумеет вложить в это чувство ужаса, поэзию ансамбля, картина его выйдет бесцветной, будь она так же ярка, как вывеска пивной. Итак, молодой человек, прочувствуй сам великое бедствие и таким путем ты заставишь и других почувствовать его.

Маэстро все еще давал ему свои отеческие наставления, когда в запряженный экипаж, стоявший во дворе посольства, уже укладывали вещи. Иосиф внимательно слушал поучения учителя, черпая их, так сказать, из самого источника. Но когда Консуэло в накидке и меховой шапочке бросилась ему на шею, он побледнел, подавил готовый вырваться крик и, не в силах видеть, как она сядет в экипаж, убежал и забился в заднюю комнатку парикмахерской Келлера, чтобы

скрыть от всех свои слезы.

Метастазио полюбил Иосифа, помог ему усовершенствоваться в итальянском языке и своими добрыми советами и великодушной заботой несколько облегчил юноше разлуку с Порпорой. Но долго еще Иосиф грустил и горевал, прежде чем свыкся с отсутствием Консуэло.

Она также была огорчена и жалела о таком милом, таком верном друге; но по мере того как путешественники продвигались в глубь Моравских гор, к ней снова возвращались мужество, пыл и поэтическая впечатлительность. Новое солнце всходило над ее жизнью. Освобожденная от всяких уз, от всякого господства, чуждого ее искусству, она считала, что обязана всецело отдаться ему. Порпора, к которому вернулись былые надежды и веселое настроение молодости, приводил ее в восторг своим красноречием; и благородная девушка, не переставая любить Альберта и Иосифа, как двух братьев, которых она надеялась вновь обрести на лоне божьем, почувствовала себя легкой, словно жаворонок, поднимающийся с песней к небу на заре прекрасного дня.

Уже на втором перегоне Консуэло узнала в слуге, который сопровождал ее и, сидя на козлах,

расплачивался с проводниками или распекал за медлительность форейторов, того самого гайдука, который доложил им о прибытии графа Годица, когда владелец Росвальда приезжал предложить ей увеселительную поездку в свое поместье. Этот высокий, крепкий парень, все смотревший на нее украдкой и, по-видимому, желавший и в то же время боявшийся с нею заговорить, в конце концов обратил на себя ее внимание.

Однажды утром Консуэло завтракала на уединенном постоялом дворе у подножья гор, а Порпора, пока отдыхали лошади, пошел прогуляться, в надежде придумать какой-нибудь музыкальный мотив. Внезапно она повернулась к сопровождавшему их слуге, когда тот подавал ей кофе, и строго и сердито в упор посмотрела на него. И у гайдука появилось на лице такое жалобное выражение, что она не могла удержаться от смеха. Апрельское солнце сверкало на снегу, еще покрывавшем горы, и наша юная путешественница была в чудесном настроении.

— Увы! Ваша милость, стало быть, не удостаиваете узнать меня, — заговорил наконец таинственный гайдук, — я же всегда узнал бы вашу милость, будь вы переодеты в турка или в прусского ефрейтора, а между тем видел-то я

вашу милость всего какую-нибудь минуту, зато в какую минуту моей жизни!

С этими словами он поставил на стол принесенный им поднос и, приблизившись к Консуэло, степенно перекрестился, а затем опустился на колени и поцеловал пол у ее ног. — А! — воскликнула Консуэло. — Дезертир Карл, не так ли?

— Да, синьора, — ответил Карл, целуя протянутую ему руку, — по крайней мере мне так велели называть вас, хотя я все же не могу разобрать хорошенько, кто вы — мужчина или дама.

— Правда? Откуда же берутся такие сомнения?

— Да потому что я видел вас мальчиком, а с тех пор — хоть и признал вас сразу — вы стали настолько походить на молоденькую девушку, насколько раньше походили на мальчика. Но это ничего не значит: будьте кем хотите; вы мне оказали помощь, которую я никогда в жизни не забуду. И прикажи вы мне броситься вниз вон с той вершины, я брошусь, раз вам это доставит удовольствие.

— Мне ничего не надо, милый мой Карл, кроме того, чтобы ты был счастлив и наслаждался своею свободой. Ты ведь свободен и, полагаю, снова полюбил жизнь?

— Свободен, да, — проговорил Карл, покачивая

головой, — но счастлив ли?.. Я схоронил мою бедную жену.

Глаза отзывчивой Консуэло стали влажными при виде того, как слезы заструились по квадратным щекам бедного Карла.

— Ах! — сказал он, шевеля рыжими усами, с которых слезы скатывались, как дождь с куста. — Она слишком исстрадалась, бедняжка! Горе, которое она испытала, когда меня вторично увезли пруссаки, длинное путешествие пешком, когда она уже была очень больна, потом радость свидания со мной — все это подорвало ее силы, и она умерла через неделю по прибытии в Вену, где я ее разыскивал, а она благодаря вашей записке нашла меня с помощью графа Годица. Этот великодушный вельможа послал ей своего доктора и оказал ей поддержку, но ничего не помогло: она, понимаете, устала жить и отправилась отдыхать на небо, к милосердному господу богу.

— А твоя дочка? — спросила Консуэло, думая навести его на более утешительные мысли.

— Дочь? — переспросил он с мрачным, несколько растерянным видом. Прусский король убил и ее.

— Как убил? Что ты говоришь?

— Да разве не прусский король убил ее мать,

причинив ей столько горя?

Ну вот и дочка ушла вслед за матерью. С того самого вечера, когда они видели, как меня избили в кровь, связали и увели вербовщики, а сами остались полумертвыми на дороге, малютку не переставала трясти лихорадка. Усталость и нужда в пути доконали ее. Когда вы повстречали их на мосту при въезде в какую-то австрийскую деревушку, у них тогда уже два дня ни крошки во рту не было. Вы дали им денег, сообщили о моем спасении, вы все сделали, чтобы их утешить и излечить, — они рассказывали мне, — но было слишком поздно. После того как мы встретились, им становилось все хуже и хуже, и именно в тот момент, когда мы могли быть счастливы, их обеих унесли на кладбище. Не осела еще земля на могиле моей жены, как пришлось разрывать ее, чтобы опустить туда наше дитя. И вот теперь по милости прусского короля Карл один-одинешенек на свете!

— Нет, бедный мой Карл, ты не всеми покинут, у тебя остались друзья, которым всегда будут близки твои несчастья и твое доброе сердце.

— Да, я знаю. Есть на свете добрые люди, и вы из их числа. Но что мне теперь нужно, когда у меня больше нет ни жены, ни ребенка, ни отчизны!

Ведь я никогда не буду чувствовать себя в безопасности на родине. Эти разбойники, которые два раза приходили за мной, слишком хорошо знают мои горы. Оставшись один на свете, я сразу же стал справляться, нет ли у нас сейчас войны, не предвидится ли она в скором времени. В моей голове крепко засела мысль сражаться против Пруссии, чтобы убить как можно больше пруссаков. О! Святой Венцеслав, покровитель Чехии, уж направил бы мою руку, и я уверен, что ни одна пуля, вылетев из моего ружья, не пропала бы даром! Я говорил себе: авось бог поможет мне встретить в каком-нибудь ущелье прусского короля, и тогда… будь он закован в латы, как сам архангел Михаил… придись мне даже гнаться за ним, как собаке по следу волка… Но я узнал, что мир упрочился надолго. И тогда все мне опостылело, и я отправился к его сиятельству графу Голицу, чтобы поблагодарить его и попросить не представлять меня императрице, как он намеревался сделать. Я хотел было покончить с собой, но граф был так добр ко мне, а принцесса Кульмбахская, его падчерица, которой он по секрету рассказал всю мою историю, наговорила мне столько прекрасных слов относительно долга христианина, что я решил жить и поступил к ним на службу,

где, по правде сказать, меня слишком хорошо кормят и слишком хорошо обращаются со мной за то немногое, что мне приходится делать.

— А теперь скажи мне, дорогой Карл, как мог ты меня узнать? — спросила Консуэло, отирая глаза.

— Ведь вы же приезжали однажды петь к моей новой хозяйке, маркграфине. Я видел, как вы прошли вся в белом, и тотчас же признал вас, хоть вы и превратились в барышню. Видите ли, я не очень-то хорошо помню места, по которым проходил, имена людей, с которыми встречался, а вот лица я никогда не забываю. Я только было перекрестился, как увидел, что за вами идет юнец, — я узнал в нем Иосифа, — но вместо того, чтобы быть вашим хозяином, каким я видел его в минуту своего освобождения (ведь тогда малый был одет получше вас), он превратился в вашего слугу и остался в передней. Он не узнал меня, а так как господин граф запретил мне хоть единым словом обмолвиться кому бы то ни было о том, что со мной случилось (я так никогда и не узнал и не спрашивал почему), я не заговорил с добрейшим Иосифом, хотя мне и очень хотелось броситься ему на шею. Почти сейчас же он ушел в другую комнату. Мне же было приказано оставаться в той, где я находился, — а хороший

слуга исполняет то, что ему ведено. Но когда все разъехались, камердинер его сиятельства, пользующийся его полным доверием, сказал мне: «Карл, ты не разговаривал с этим маленьким лакеем Порпоры, хотя и узнал его, и хорошо сделал. Господин граф будет тобой доволен. Что же касается барышни, которая пела сегодня…» — «О! Я ее тоже узнал! — воскликнул я. — И тоже ничего не сказал». — «Ну, и опять-таки ты хорошо поступил, — прибавил камердинер. — Господин граф не хочет, чтобы знали, что она ездила с ним в Пассау». — «Это меня не касается, — возразил я, — но могу ли я спросить тебя-то, как освободила она меня из рук пруссаков?» Тогда Генрих (а он ведь там был) рассказал мне, как все произошло, как вы бежали за каретой господина графа и как, когда вам нечего было уже бояться за самих себя, вы настаивали на том, чтобы он освободил меня. Вы также кое-что говорили об этом моей бедной жене, а она передала мне. Умирая, жена благословляла вас, препоручала вас богу. «Эти бедные дети, — сказала она, — с виду такие же несчастные, как и мы, отдали мне все, что имели, и плакали так, как будто мы им родные». Ну, и вот, когда я увидел, что Иосиф служит у вас, и мне было поручено отнести ему деньги от его си-

ятельства, у которого он как-то вечером играл на скрипке, я вложил в конверт несколько дукатов — первые заработанные мною в этом доме. Он не узнал об этом, да и меня не признал. Но если мы вернемся в Вену, я сделаю так, чтобы он никогда не нуждался, пока я зарабатываю.

— Иосиф больше не служит у меня, мой милый Карл; он мой друг и теперь уже не нуждается: он музыкант и легко будет зарабатывать себе на жизнь. Не обделяй же себя ради него.

— Что касается вас, синьора, то я так мало могу сделать, чтобы доказать вам свою благодарность: ведь, говорят, вы великая актриса; но имейте в виду, если когда-нибудь вам понадобится слуга, а вы не будете в состоянии ему платить, обратитесь к Карлу и рассчитывайте на него. Он будет служить вам даром, и для него будет счастьем, что он может работать на вас.

— Ты уже достаточно заплатил мне своей признательностью, а твоей самоотверженности мне не надо.

— Вот и господин Порпора вернулся. Помните, синьора: я имею честь вас знать только как слуга, предоставленный в ваше распоряжение моим хозяином.

На следующий день наши путешественники,

поднявшись рано утром, не без затруднений добрались к полудню до замка Росвальд. Он был расположен высоко, на склоне самых красивых гор в Моравии, и так хорошо защищен от холодных ветров, что здесь уже чувствовалась весна, в то время как вокруг за полмили от замка царила еще зима. Хотя погода по тому времени и стояла прекрасная, дороги были еще очень мало удобны для езды. Но графа Годица ничто не могло остановить и невозможное было для него шуткой; он уже прибыл и распорядился, чтобы сотня землекопов выровняла дорогу, по которой на следующий день должен был проследовать величественный поезд его благородной супруги. Быть может, он выказал бы себя более благонамеренным и заботливым супругом, поехав вместе с нею, но главная суть заключалась вовсе не в том, чтобы она по дороге не сломала себе ноги и руки, а в том, чтобы задавать в честь ее празднество. Живая или мертвая, вступая во владение росвальдским дворцом, она должна была встретить пышный прием и не менее пышные увеселения.

Не успели переодеться наши путешественники, как граф приказал подать им роскошный обед в гроте из мха и раковин, где большая печь, скрытая меж искусственных скал, распростра-

няла приятную теплоту. На первый взгляд место это показалось Консуэло очаровательным. Вид, открывавшийся из грота, был действительно великолепен. Природа ничего не пожалела для Росвальда. Крутые живописные горы, вечнозеленые леса, обильные источники, чудесный пейзаж, необъятные луга — всего этого, с комфортабельным замком в придачу, было совершенно достаточно, чтобы получилась идеальная загородная резиденция. Но вскоре Консуэло заметила, какими причудливыми затеями граф ухитрился исказить божественную природу. Грот был бы прелестен, если бы его не портили окна, делавшие его похожим на несуразную столовую; так как каприфолий и вьюнки едва начинали пускать почки, двери и оконные рамы были увиты искусственной листвой и цветами, — и это создавало претенциозную безвкусицу; среди раковин и сталактитов, несколько пострадавших от зимних холодов, проглядывали штукатурка и замазка, с помощью которых они были вделаны в скалы, а от жара печки, испарявшей остатки сырости из свода, влага капала на головы гостей в виде грязного нездорового дождя; но граф как будто и не замечал этого. Порпору это раздражало, и он два-три раза брал шляпу, не решаясь, однако,

несмотря на большое желание, нахлобучить ее на голову. Особенно боялся он, чтобы Консуэло не схватила насморк, и торопился покончить с едой, мотивируя свою поспешность тем, что сгорает от нетерпения познакомиться с произведениями, которыми ему предстоит дирижировать на следующий день.

— О чем вы так беспокоитесь, дорогой маэстро? — сказал ему граф, большой любитель покушать и охотник до бесконечности рассказывать, как он заказал и приобрел те или иные роскошные и редкие предметы своей сервировки. — Таким искусным и опытным музыкантам, как вы, нужно не больше получаса, чтобы войти в курс дела. Музыка моя проста и естественна. Я не принадлежу к тем композиторам-педантам, которые стремятся поразить вас искусными, причудливыми гармоническими сочетаниями. В деревне требуется простая музыка, пасторальная. Я поклонник только безыскусственных и легких песен; они по вкусу и маркграфине. Увидите, все пойдет как по маслу. Притом мы не теряем времени. Пока мы завтракаем, мой дворецкий подготавливает все согласно моим приказаниям: хористы будут на месте и все музыканты на своем посту.

В то время как его сиятельство говорил, ему доложили, что два иностранных офицера, путешествующие в здешних местах, просят разрешения войти и приветствовать графа, желая получить от него разрешение осмотреть дворец и сады Росвальда.

Граф привык к такого рода посещениям, и ничто не могло доставить ему большего удовольствия, как самому служить cicerone любопытным посетителям, показывая им прелести своей резиденции.

— Пусть войдут! Милости просим! — воскликнул он. — Поставьте приборы и проведите их сюда.

Несколько минут спустя вошли два офицера. На них была прусская форма. Тот, что шел первым и являлся как бы ширмой, за которой, казалось, пытался укрыться его товарищ, был небольшого роста, с довольно хмурым лицом. Его длинный толстый нос, лишенный благородства, еще больше подчеркивал некрасивый, запавший рот и почти полное отсутствие подбородка. Некоторая сутуловатость придавала стариковский вид его фигуре, затянутой в неуклюжий форменный мундир, придуманный Фридрихом. А между тем человеку этому было никак не больше сорока

лет. У него была очень смелая походка, а когда он снял отвратительную шляпу, закрывавшую лицо до самого носа, обнаружился большой, умный лоб мыслителя, подвижные брови и удивительно ясные и живые глаза. Взгляд этих глаз преображал его, как солнечные лучи, что окрашивают и придают красоту самым мрачным прозаическим ландшафтам. Казалось, он вырастал на целую голову, когда сверкали глаза на его бескровном изможденном и беспокойном лице.

Граф Годиц принял гостей скорее сердечно, чем церемонно, не теряя времени на пространные приветствия, велел поставить два прибора и начал с истинно патриархальным добродушием потчевать их самыми вкусными блюдами. Годиц был добрейший человек, и тщеславие не только не развращало его сердца, но даже способствовало развитию в нем таких качеств, как доверчивость и великодушие. Рабство царило еще во владениях Росвальда, и все чудеса его были созданы без особых затрат — оброчным трудом и барщиной, но он усыпал ярмо своих рабов цветами и лакомствами. Он заставлял их забывать о необходимом, в избытке раздавая мишурные подачки, и, убежденный в том, что только в удовольствии счастье, так увеселял их,

что они и не помышляли о свободе.

Прусский офицер (в сущности, он был один, ибо другой как бы представлял собою только его тень) сначала как будто был удивлен, даже несколько шокирован бесцеремонностью графа и напустил на себя сдержанную учтивость, но тут граф сказал:

— Господин капитан, прошу вас отбросить всякие стеснения и чувствовать себя как дома. Я знаю, что в армии Фридриха Великого вы приучены к суровой дисциплине, и нахожу ее чудесной на своем месте, но здесь вы в деревне, а если в деревне не веселиться, к чему же и приезжать сюда! Я вижу, вы люди воспитанные, с хорошими манерами. Как офицеры прусского короля, вы, несомненно, выказали большие познания в военных науках и проявили беззаветную храбрость. И я считаю, что вы делаете честь моему дому своим пребыванием в нем. Прошу вас без церемоний располагать им и оставаться до тех пор, пока вам будет приятно.

Офицер как умный человек тотчас же сдался и, в том же тоне поблагодарив хозяина, налег на шампанское; однако это ни на йоту не заставило его потерять хладнокровие и не помешало оценить превосходный пирог, относительно которого он

пустился в гастрономические рассуждения, не внушившие Консуэло, весьма умеренной в пище, высокого мнения о нем. Но ее поразил, хотя и не очаровал, его огненный взгляд; она почувствовала в нем нечто высокомерное, испытующее, недоверчивое, что было ей не по сердцу.

Во время завтрака офицер сообщил графу, что его имя барон фон Кройц, он уроженец Силезии, куда послан за приобретением лошадей для кавалерии. Попав в Нейс, он не мог противостоять желанию посмотреть столь восхваляемые сады и дворец Росвальда, — вот почему он перебрался утром через границу, причем и здесь, пользуясь случаем, закупил некоторое количество лошадей. Он даже выразил желание осмотреть конюшни, если у графа имеются лошади для продажи. Путешествует он верхом и вечером уезжает обратно.

— Этого я не допущу, — сказал граф. — В данную минуту у меня нет лошадей на продажу. Мне самому их не хватает для сооружения в моих садах задуманных мною новых украшений. Но мне хотелось бы как можно дольше быть в вашем обществе.

— Когда мы приехали сюда, мы узнали, что вы с часу на час ждете графиню Годиц; нам не хотелось бы быть вам в тягость, и, услышав о

ее приближении, мы тотчас же исчезНем. — Я только завтра жду маркграфиню,

— ответил граф, — она прибудет сюда с дочерью своей, принцессой Кульмбахской. Вам, верно, известно, господа, что я имел честь заключить благородный брак…

— С вдовствующей маркграфиней Байрейтской, — несколько резко перебил его барон фон Кройц, казалось менее ослепленный этим титулом, чем ожидал граф.

— Она тетка прусского короля, — с некоторой напыщенностью проговорил Годиц.

— Да, да, я знаю, — ответил прусский офицер, беря большую понюшку табаку.

— И так как графиня удивительно милая и любезная дама, — продолжал граф, — то я не сомневаюсь, что она будет бесконечно рада принять и угостить храбрых слуг короля, своего именитого племянника.

— Мы были бы очень тронуты такой великой честью, — сказал, улыбаясь, барон, — но у нас нет времени этим воспользоваться. Долг настойчиво призывает нас нести службу, и мы сегодня же распростимся с вашим сиятельством; а пока мы были бы счастливы полюбоваться вашим прекрасным поместьем: у нашего повелителя короля

нет ведь ни одной резиденции, которая могла бы с ним сравниться.

Этот комплимент вернул пруссаку расположение моравского вельможи. Встали из-за стола. Порпора, более заинтересованный репетицией, чем прогулкой, хотел было от нее уклониться.

— Нет! Нет! — настаивал граф. — И прогулка и репетиция — все произойдет одновременно; вот увидите, маэстро!

Граф предложил руку Консуэло и, проходя с нею вперед, сказал:

— Извините, господа, что я завладел единственной присутствующей среди нас в эту минуту дамой: это уж право хозяина! Будьте добры следовать за мной: я буду вашим проводником.

— Осмелюсь вас спросить, сударь, — сказал барон Кройц, впервые обращаясь к Порпоре, — кто эта милая дама?

— Я, сударь, итальянец, — ответил бывший не в духе Порпора, — я плохо понимаю немецкий язык и еще меньше французский.

Барон, до сих пор говоривший с графом по-французски, согласно обычаю того времени, существовавшему между людьми светского общества, повторил свой вопрос по-итальянски.

— Эта милая дама, не проронившая в вашем

присутствии ни единого слова, не маркграфиня, не вдовствующая графиня, не княгиня и не баронесса, — сухо ответил Порпора. — Она итальянская певица, не лишенная таланта.

— Тем интереснее мне с нею познакомиться и узнать ее имя, — возразил барон, улыбаясь резкости маэстро.

— Это Порпорина, моя ученица, — ответил Порпора.

— Я слышал, что она очень талантливая особа, — заметил пруссак, — ее с нетерпением ожидают в Берлине. Раз это ваша ученица, значит, я имею честь говорить со знаменитым Порпорой.

— К вашим услугам, — с неменьшей сухостью проговорил Порпора, нахлобучивая на голову шляпу, которую приподнял в ответ на глубокий поклон барона фон Кройца.

Барон, видя, до чего малообщителен старик, пропустил его вперед, а сам пошел за ним в сопровождении следовавшего за ним поручика. Порпора, у которого словно и на затылке были глаза, каким-то образом увидел, что оба смеются, поглядывая на него и говоря о нем на своем языке. Это еще меньше расположило маэстро в их пользу, и он не подарил их ни единым взглядом во все время прогулки.

Глава 100

Вся компания сошла по небольшому, но довольно крутому спуску к речке, прежде представлявшей собой красивый поток, чистый и бурный; но так как надо было сделать ее судоходной, ее русло выровняли, аккуратно срезали берега и замутили прозрачную воду. Рабочие и сейчас были заняты очисткой речки от огромных камней, сваленных в нее зимней непогодой и придававших ей еще кое-какую живописность, но и их спешили удалить. Здесь гуляющих ожидала гондола — настоящая гондола, выписанная графом из Венеции и заставившая забиться сердце Консуэло, напомнив столько милого и так много горького. Все разместились в гондоле и отчалили… Гондольеры были также настоящие венецианцы, говорившие на своем родном наречии, — их выписали вместе с гондолой, как в наши дни выписывают негров при жирафе. Граф Годиц, много путешествовавший, воображал, что знает все языки, но как ни самоуверенно, как ни громко и выразительно отдавал он приказания своим гондольерам, те с трудом поняли бы их, если бы Консуэло не слу-

жила переводчиком. Им велено было спеть стихи Тассо, но бедняги, охрипшие от снегов севера, оторванные от своей родины, показали пруссакам довольно жалкий образец своего искусства. Консуэло пришлось подсказывать им каждую строфу, и она обещала своим землякам прорепетировать с ними те отрывки, которые им на следующий день предстояло исполнить перед маркграфиней. После пятнадцатиминутного плавания, покрыв за это время расстояние, которое можно было пройти в три минуты, если бы бедному, сбитому с пути потоку не устроили тысячу предательских изгибов, путники дошли до «открытого моря». То был довольно обширный бассейн, куда гондола пробралась сквозь кущи кипарисов и елей и где, против ожидания, было действительно довольно красиво. Однако любоваться этим видом не пришлось. Надо было перейти на крошечный кораблик, снабженный решительно всем: мачтами, парусами, канатами. Это была превосходная модель корабля, оснащенного по всем правилам, но он едва не пошел ко дну из-за слишком большого количества матросов и пассажиров. Порпора очень озяб. Ковры были влажны; хотя граф, прибывший накануне, произвел тщательный осмотр «флота», суденышко, по-видимому,

давало течь. Всем было не по себе; исключение составляли только Консуэло, которую начинало не на шутку забавлять сумасбродство хозяина, и граф, который благодаря счастливому своему характеру никогда не придавал значения маленьким неприятностям, сопровождавшим его увеселения.

Флот, соответствовавший адмиральскому судну, встав под его команду, проделал разные маневры, которыми граф, вооруженный рупором и стоя на корме, руководил самым серьезным образом, причем выходил из себя, когда дело шло не так, как ему хотелось, и тут же заставлял повторять все сначала. Затем все суда двинулись вперед под звуки духовых инструментов, страшно фальшививших, и это окончательно вывело из себя Порпору.

— Ну, куда бы уж ни шло заставлять нас мерзнуть и простуживаться,

— ворчал он сквозь зубы, — но до такой степени терзать нам уши — это слишком.

— Паруса на Пелопоннес! — отдал команду граф, и весь флот пошел к берегу, усеянному крошечными постройками наподобие греческих храмов и древних гробниц.

Вошли в маленькую бухточку, скрытую в ска-

лах, и в десяти шагах от берега были встречены залпом из ружей. Двое матросов упали при этом «замертво» на палубу, а маленький, очень легкомысленный юнга, сидевший высоко на канатах, громко вскрикнув, спустился, или, скорее, ловко соскользнул на палубу и стал по ней кататься, вопя, что он ранен, и закрывая руками голову, в которую якобы попала пуля.

— Сейчас, — сказал граф Консуэло, — вы мне потребуетесь для маленькой репетиции, которую я хочу проделать со своим экипажем. Будьте добры на минуту изобразить маркграфиню и прикажите этому умирающему ребенку, так же как и тем двум убитым, которые, кстати сказать, просто по-дурацки упали, — подняться, моментально выздороветь, взяться за оружие и защищать ее высочество от дерзких пиратов, засевших вон там.

Консуэло тотчас согласилась взять на себя роль маркграфини и сыграла ее с гораздо большим благородством и грацией, чем сделала бы это сама г-жа Годиц. Убитые и умирающие привстали и, стоя на коленях, поцеловали ей руку. Тут же им было приказано графом не прикасаться на самом деле своими губами вассалов к благородной руке ее высочества, а целовать собственную руку,

делая вид, что приближают губы к ее руке. Затем убитые и умирающие бросились к оружию, проявляя при этом бурный энтузиазм. Маленький скоморох, изображавший юнгу, вскарабкался, как кошка, обратно на мачту и выстрелил из легкого карабина по бухте пиратов. Флот сомкнулся вокруг новой Клеопатры, и маленькие пушки произвели ужасающий шум. Граф, боясь испугать Консуэло, предупредил ее, и она не была введена в заблуждение, когда началась эта нелепая комедия. Но прусские офицеры, по отношению к которым он не нашел нужным проявить такую же любезность, видя, как после первых выстрелов упали два человека, бледнея, прижались друг к другу. Тот, что все молчал, казалось, очень испугался за своего капитана, чье смятение также не укрылось от спокойного, наблюдательного взора Консуэло. Однако не испуг отразился на лице капитана, а, наоборот, возмущение, даже, пожалуй, гнев, — как будто эта шутка оскорбила его лично, казалась обидной для его достоинства пруссака и офицера. Годиц не обратил на это никакого внимания, а когда загорелся бой, оба офицера уже громко хохотали и как нельзя лучше отнеслись к потехе. Они даже сами взялись за шпаги и, фехтуя, как бы приняли участие в этой сцене.

Пираты, одетые греками, вооруженные пищалями и пистолетами, заряженными порохом, выйдя на своих легких челнах из-за красивых маленьких рифов, сражались как львы. Им дали возможность броситься на абордаж, и тут их всех перебили, чтобы добрая маркграфиня имела удовольствие их воскресить! Единственная жестокость, проявленная при этом, состояла в том, что некоторые из пиратов были сброшены в воду. Вода в бассейне была чрезвычайно холодна, и Консуэло пожалела было их, но тотчас же увидела, что это доставляет им удовольствие и они даже хвастают перед товарищами-горцами своим умением плавать.

Когда флот, возглавляемый «Клеопатрой» (ибо корабль, на который должна была вступить маркграфиня, на самом деле носил это громкое имя), победил, он, конечно, увел в плен флот пиратов и под звуки победной музыки (по мнению Порпоры, годной только для похорон дьявола) отправился обозревать берега Греции. Затем подошли к неизвестному острову, где виднелись землянки и экзотические деревья, прекрасно акклиматизировавшиеся или искусно сделанные, ибо в этом трудно было разобраться, до того настоящее и поддельное на каждом шагу сме-

шивалось друг с другом. У берега острова были пришвартованы пироги. Туземцы бросились в них с невероятно дикими криками и поплыли навстречу флоту: они везли дикие цветы и плоды, только что срезанные в теплицах графской резиденции. Дикари были взъерошены, татуированы, курчавы, похожи больше на дьяволов, чем на людей. Костюмы их были не очень-то выдержаны. Одни из дикарей были украшены перьями, как перуанцы, другие закутаны в меха, как эскимосы. Но этому не придавалось значения, лишь бы они были поуродливее и порастрепаннее, чтобы их можно было принять по меньшей мере за людоедов. Эти уроды много кривлялись, а их предводитель, великан с приклеенной бородой до пояса, выступил с речью, которую на языке дикарей сочинил сам граф Годиц. То было сочетание каких-то хрипящих и режущих ухо слогов, расположенных как попало, чтобы изобразить причудливый варварский говор. Граф, заставив предводителя произнести свою тираду без ошибки, взялся сам перевести эту замечательную речь Консуэло, все еще игравшей роль маркграфини до появления супруги графа.

— Вот о чем идет речь, сударыня, — начал граф, подражая приветствиям короля дикарей, — это

племя людоедов; у них в обычае пожирать всех иноплеменников, высадившихся на их остров, но это племя так восхищено и покорено вашей волшебной красотой, что слагает к ногам вашим свою жестокость и предлагает вам быть королевой этих неведомых земель. Соблаговолите ступить на них без страха; и хотя они бесплодны и не возделаны, тем не менее цветы цивилизации вскоре зацветут под вашими стопами.

Причалили к берегу под песни и пляски юных дикарок. Чучела, набитые соломой, изображавшие невиданных и свирепых зверей, с помощью вделанных в них пружин вдруг преклонили колена, приветствуя появление Консуэло на острове. Затем недавно посаженные деревья и кусты повалили, дернув за веревки, скалы из картона обрушились, и появились домики, убранные цветами и листьями. Пастушки, гнавшие настоящие стада (у Годица в них не было недостатка), поселяне, хотя и одетые по последней моде оперного театра, но весьма неопрятные вблизи, даже прирученные косули и лани явились выразить верноподданнические чувства новой государыне и приветствовать ее.

— Завтра вам придется играть перед ее высочеством, — обратился граф к Консуэло. — Вам

будет доставлен костюм языческой богини, весь в цветах и лентах, и вы будете вот в этой пещере. Маркграфиня войдет сюда, и вы ей споете кантату (она у меня в кармане), в которой выражена мысль, что вы уступаете маркграфине свои божественные права, ибо там, где она соблаговолит появиться, может быть только одна богиня.

— Посмотрим кантату, — проговорила Консуэло, беря из рук графа его произведение.

Ей не стоило большого труда прочесть и пропеть с листа наивную, навязшую на зубах мелодию, где слова и музыка вполне соответствовали друг другу. Оставалось только выучить их наизусть. Две скрипки, арфа и флейта, спрятанные в глубине пещеры, аккомпанировали ей вкривь и вкось. Порпора заставил их повторить. Через каких-нибудь четверть часа все пошло на лад. Не только эту роль должна была исполнять на празднестве Консуэло, и не единственной была эта кантата в кармане графа Годица. К счастью, произведения его были коротки: нельзя было утомлять маркграфиню слишком большой дозой музыки.

Корабли, стоявшие у острова дикарей, снова подняли паруса и теперь причалили к китайскому берегу: башни, казавшиеся фарфоровыми,

беседки, сады карликовых деревьев, мостики, джонки и чайные плантации — все было налицо. Ученые и мандарины, довольно хорошо костюмированные, явились приветствовать маркграфиню на китайском языке, а Консуэло, переодевшись во время перехода в трюме одного из кораблей супругой мандарина, спела куплеты на китайском языке, также сочиненные графом Годицем в свойственном ему стиле:

Пинг-панг-тионг Хи-хан-хонг. Песенка — благодаря сокращениям, свойственным этому удивительному языку, — означала следующее:

«Прекрасная маркграфиня, великая принцесса, кумир всех сердец, царите вечно над вашим счастливым супругом и над вашей ликующей росвальдской империей в Моравии».

Покидая «Китай», гости разместились в роскошных паланкинах и на плечах несчастных китайских рабов и дикарей поднялись на вершину небольшой горы, где оказался город лилипутов. Дома, леса, озера, горы

— все доходило вам до колен или до щиколотки, и надо было нагнуться, чтобы увидеть внутри домов мебель и хозяйственную утварь, по величине соответствовавшие всему остальному. На городской площади, под звуки дудочек, варганов

и бубен, плясали марионетки. Люди, манипулировавшие марионетками и исполнявшие музыку лилипутов, были спрятаны под землей, в ямах, специально для этого вырытых.

Спустившись с горы лилипутов, граф Годиц и его гости очутились на небольшом пустыре, размером в какую-нибудь сотню шагов, загроможденном огромными скалами и могучими деревьями, предоставленными своему естественному росту. Это было единственное место, которое граф не испортил и не изуродовал. Он удовольствовался тем, что оставил его таким, каким нашел. — Долго ломал я себе голову над тем, как использовать это глубокое ущелье, — поведал он своим гостям, — и все не мог придумать, каким способом избавиться от громадных скал и какую форму придать этим великолепным, но беспорядочно растущим деревьям. Вдруг меня осенила мысль окрестить это место пустыней, хаосом. Я представил себе, какой получится эффектный контраст, когда, отойдя от этих ужасов природы, попадешь в роскошный, находящийся в прекрасном состоянии цветник. Чтобы дополнить иллюзию, я вам сейчас покажу нечто очень интересное.

С этими словами граф завернул за огромную

скалу, возвышавшуюся у дорожки (нельзя же было, на самом деле, не провести в страшной пустыне хотя бы одной гладенькой, усыпанной песком дорожки), и Консуэло очутилась у входа в обитель пустынника, высеченную в скале, над которой возвышался грубо обтесанный деревянный крест. Оттуда вышел пустынник. То был добродушный крестьянин, чья поддельная длинная седая борода плохо гармонировала с молодым лицом, сиявшим румянцем юности. Он произнес прекрасную проповедь (неправильные выражения тут же поправлялись графом), дал свое благословение и поднес Консуэло кореньев и молока в деревянной чашке.

— Я нахожу, что пустынник слишком юн, — заметил барон фон Кройц, — вы могли бы, пожалуй, поместить сюда настоящего старца.

— Это не понравилось бы маркграфине, — простодушно пояснил граф Годиц. — Она весьма справедливо находит, что старость приносит мало веселья и на празднествах надо видеть только молодых актеров. Избавляю читателей от дальнейшей прогулки. Не было бы конца, если бы я стал описывать различные страны, жертвенники друидов, индийские пагоды, крытые дороги и каналы, девственные леса, подземелья, где можно

было видеть высеченное на скалах изображение мистерии страстей господних; искусственные пещеры с бальными залами, Елисейские поля, могилы, водопады, серенады наяд и шесть тысяч фонтанов, которые, как впоследствии рассказывал Порпора, он должен был «переварить». Были тут еще тысячи других прелестей, о которых подробно и с восторгом передают нам мемуары того времени: например, полутемный грот, куда можно было проникнуть лишь разбежавшись, — в глубине его находилось зеркало, которое, отражая в полумраке ваш собственный образ, неминуемо должно было страшно пугать вас; монастырь, где, под страхом пожизненного заточения, вас обязывали клясться в вечной покорности и вечном обожании маркграфини; дерево, с которого благодаря спрятанному в ветвях насосу лились на вас чернила, кровь или розовая вода, — в зависимости от того, хотели вас чествовать или издеваться над вами; словом, масса прелестного, таинственного, остроумного, непонятного, главное — стоящего бешеных денег; всего, что Порпора имел дерзость находить невыносимым, идиотским, возмутительным. Только ночь положила конец этой прогулке вокруг света, во время которой гости то верхом, то в крытых

носилках, на ослах, в каретах или в лодках отмахали добрые три мили.

Привычные к холоду и усталости прусские офицеры хоть и посмеивались над ребяческими забавами и «сюрпризами» Росвальда, однако не были так поражены смехотворной стороной этой чудесной резиденции, как Консуэло. Дитя природы, она родилась среди полей, привыкла, с тех пор как у нее открылись глаза, смотреть на все созданное богом не в лорнет и не через газовое покрывало; а барон фон Кройц, не являясь новичком в аристократическом обществе, привыкшем к роскошному убранству и модным украшениям, все-таки был человек своего круга и своего времени. Он не питал отвращения ни к гротам, ни к уединенным беседкам в парке, ни к статуям. В общем, барон развлекался с величайшим благодушием, смеялся и острил, и когда его спутник, входя в столовую, почтительно выразил ему сочувствие по поводу того, что пришлось поскучать во время несносной прогулки, возразил ему:

— Скучать? Мне? Да нисколько. Я двигался, нагулял себе аппетит, насмотрелся на тысячу безумств, отдохнул от серьезных дел, — нет, нет, я не потерял даром времени.

Все были крайне удивлены, увидев в столовой

одни лишь стулья, стоящие вокруг пустого места. Граф попросил своих гостей сесть и приказал лакеям подавать.

— Увы! Ваше сиятельство, — заявил лакей, которому надлежало отвечать, — у нас не было ничего достойного предложить такому почтенному обществу, и мы даже не накрыли на стол.

— Вот это мило! — воскликнул хозяин с наигранной свирепостью и, помолчав немного, добавил: — Ну, хорошо! Если люди отказывают нам в ужине, взываю к аду и требую, чтобы Плутон прислал ужин, достойный моих гостей! Сказав это, он трижды постучал об пол, и пол немедленно ушел куда-то вбок, а в образовавшемся отверстии показалось ароматное пламя; затем при звуках веселой и причудливой музыки под локтями гостей появился роскошно сервированный стол.

— Недурно! — промолвил граф, приподнял скатерть и дальше уже продолжал говорить под столом: — Одно только меня очень удивляет: ведь господину Плутону известно, что в моем доме нет даже воды, а между тем он не прислал ни одного графина.

— Граф Годиц, — ответил из глубины хриплый голос, достойный преисподней, — вода — боль-

шая редкость в аду, ибо все наши реки пересохли с тех пор, как глаза ее высочества маркграфини зажгли страстью самые недра земли; тем не менее, если вы требуете воды, мы пошлем одну из Данаид на берег Стикса, быть может, она найдет там воду.

— Пусть поспешит, но главное — дайте ей бочку без пробоин.

И сейчас же из прекрасной яшмовой чаши, стоявшей посреди стола, забил фонтан горной воды, который в течение всего ужина рассыпался снопом бриллиантов, загоравшихся, отражая множество свечей. Столовый сервиз был шедевром роскоши и безвкусицы, а вода Стикса и «адский» ужин послужили графу поводом для бесконечной и неостроумной игры слов, всяких намеков и вздорной болтовни, но все прощалось ему ради его наивной ребячливости. Вкусный сытный ужин, поданный юными сильфами и более или менее хорошенькими нимфами, привел в веселое настроение барона фон Кройца. Однако он не обращал почти никакого внимания на красивых крепостных хозяина пира; бедные крестьянки были одновременно горничными, любовницами, хористками и актрисами своего барина, он был их преподавателем красивых дви-

жений, танцев, пения и декламации. Консуэло еще в Пассау получила представление о том, как вообще он вел себя с ними. И, припоминая, какую славную участь сулил он ей тогда, она дивилась почтительной непринужденности, выказываемой им теперь. По-видимому, ему было совсем не стыдно, и он не чувствовал никакой неловкости за свой промах. Консуэло прекрасно знала, что на другой день, при появлении маркграфини, все примет иной оборот: она будет обедать с учителем в своей комнате и не удостоится чести быть допущенной к столу ее высочества. Но это нисколько не смущало ее. Однако она даже не подозревала, что ужинает с особой неизмеримо более высокой и особа эта ни за что на свете не пожелает ужинать на следующий день с маркграфиней, — а это обстоятельство очень позабавило бы ее в ту минуту.

Барон фон Кройц, улыбавшийся довольно холодно при виде доморощенных нимф, выказал несколько больше внимания Консуэло после того, как, заставив ее прервать молчание, вызвал на разговор о музыке. Он был просвещенным, почти страстным любителем этого дивного искусства и говорил о нем с большим пониманием; речи барона, вкусный ужин, тепло, наполнявшее ком-

наты, благотворно подействовали на угрюмое настроение Порпоры.

— Было бы желательно, — сказал маэстро барону, перед тем учтиво похвалившему его произведения, не называя его по имени, — чтобы государь, которого мы постараемся развлечь, оказался таким же хорошим ценителем, как вы.

— Уверяют, — ответил барон, — что мой государь довольно сведущ в этой области и истинный любитель искусств. — Так ли это, господин барон? — спросил маэстро, который вообще не мог не противоречить всем и во всем. — Я не очень льщу себя этой надеждой. Короли — первые во всех областях знания, по мнению своих подданных, но часто случается, что подданные знают гораздо больше, чем они.

— В военном деле, так же как в инженерном и в науках, прусский король понимает больше любого из нас, — горячо заметил поручик, — а что касается музыки, несомненно…

— Что вы ровно ничего об этом не знаете, как и я, — сухо перебил его капитан Кройц. — Маэстро Порпора в этом отношении может полагаться только на самого себя.

— А мне в сфере музыки королевское достоинство никогда не внушало особенного дове-

рия, — снова заговорил маэстро, — и когда я имел честь давать уроки владетельной принцессе Саксонской, ей, так же, как всякому другому, я не спускал ни единой фальшивой ноты.

— Как! — сказал барон, иронически глядя на своего спутника. — Неужели и венценосцы берут когда-нибудь фальшивые ноты?

— Точно так же, как и простые смертные, сударь, — ответил Порпора. Однако должен признать, что владетельная принцесса проявила большие способности и очень скоро перестала фальшивить, позанимавшись со мной.

— Так, значит, вы простили бы кое-какие фальшивые ноты нашему Фрицу, если бы он дерзнул взять их при вас?

— При условии, чтобы он исправился впоследствии.

— Но головомойки вы ведь ему все-таки не задали бы? — смеясь, вмешался в разговор граф Годиц.

— Задал бы, даже если бы он снял за это с плеч мою собственную голову, — ответил, бравируя, старый профессор, которого небольшое количество выпитого шампанского сделало экспансивным.

Консуэло была надлежащим образом предупре-

ждена каноником о том, что Пруссия представляет собой большое полицейское управление — малейшее слово, произнесенное шепотом на границе, переносится в несколько минут благодаря какому-то таинственному и безошибочному эху в кабинет самого Фридриха — и что никогда не следует обращаться к пруссаку, особенно к военному или чиновнику, со словами «как вы поживаете», не взвесив каждого слога и предварительно не отмерив семь раз, прежде чем отрезать, как говорится в пословице. Вот почему ей не особенно понравилось, что ее учитель впал в свой обычный насмешливый тон, и она постаралась дипломатически загладить его неосторожность.

— Если бы даже король Пруссии и не был первым музыкантом своего века, — сказала она, — ему позволительно пренебрегать искусством, ничтожным, конечно, по сравнению с его познаниями в других областях.

Но она не подозревала, что Фридрих жаждал быть великим флейтистом не меньше, чем великим полководцем и великим философом. Барон фон Кройц заметил, что раз его величество смотрит на музыку как на искусство, достойное изучения, то, вероятно, и посвятил ему должное

внимание и серьезный труд.

— Э! — сказал, все больше и больше оживляясь, Порпора. — Внимание и труд ничего не открывают в музыке тому, кого небо не наградило врожденным талантом. Музыкальность отнюдь не является уделом всех людей, и легче выиграть сражение и назначить пенсии литераторам, чем похитить у муз священный огонь. Говорил же нам барон Фридрих фон Тренк, что, когда его прусское величество сбивается с такта, виноваты его придворные. Но, положим, со мной подобного не случится!

— Так барон Фридрих фон Тренк говорил это? — спросил барон фон Кройц, и глаза его вдруг загорелись жгучей злобой. — Ну, хорошо, — проговорил он, усилием воли подавив ее и переходя на безразличный тон,

— бедняга теперь, должно быть, потерял охоту шутить, ибо до конца своих дней заключен в Глацскую крепость.

— Неужели! — воскликнул Порпора. — А что же он сделал?

— Это государственная тайна, — ответил барон, — но все заставляет предполагать, что он обманул доверие своего государя.

— Да, — прибавил поручик, — он продал ав-

стрийцам планы укреплений Пруссии, своего отечества.

— О! Это невозможно! — вырвалось у побледневшей Консуэло. Хотя девушка с величайшим вниманием следила за каждым своим движением, за каждым словом, она не смогла удержаться от горестного восклицания.

— Это и невозможно и неверно! — закричал с негодованием Порпора. Те, кто уверили в этом короля, гнусно солгали!

— Полагаю, что вы не желаете косвенно уличать и нас во *лжи*, — проговорил поручик, тоже бледнея.

— Надо быть до нелепости щепетильным, чтобы понять это таким образом, — отрезал барон фон Кройц, бросая на своего спутника суровый, повелительный взгляд. — Разве это нас касается? И какое нам дело до того, что маэстро Порпора так горячо относится к своему молодому другу?

— И буду так же горячо относиться к нему даже в присутствии самого короля, — заявил Порпора. — Я скажу королю» что его обманули и что нехорошо с его стороны было поверить этому, а Фридрих фон Тренк — достойный, благородный молодой человек, не способный на подлость.

— А я думаю, учитель, — прервала его Консу-

эло, которую все больше и больше тревожила физиономия капитана, — вы не будете столь многоречивы, когда удостоитесь чести предстать пред королем Пруссии. Я слишком хорошо знаю вас и потому уверена, что ни о чем другом, как о музыке, вы говорить с ним не станете.

— Синьора, кажется, чрезвычайно осторожна, — снова заговорил барон, — а между тем, по-видимому, она была очень дружна в Вене с молодым бароном фон Тренком.

— Я, сударь, почти не знаю его, — ответила Консуэло с отлично разыгранным равнодушием.

— Но если благодаря какой-нибудь непредвиденной случайности сам король спросил бы вас о том, что думаете вы о предательстве этого Тренка?.. — пытливо глядя на нее, спросил барон.

— Я бы ответила ему, господин барон, что не верю ни в чье предательство, ибо вообще не могу понять, как можно предавать, — промолвила Консуэло, спокойно и скромно парируя его инквизиторский взгляд.

— Вот прекрасные слова, синьора! И в них проявилась прекрасная душа!

— вырвалось у барона, чье лицо сразу прояснилось.

Тут он… говорил о другом и очаровал собесед-

ников изяществом и силою своего ума. В течение всего ужина, когда он обращался к Консуэло, лицо у него становилось добрым, доверчивым, чего она не замечала раньше.

Глава 101

Когда кончали десерт, призрак, закутанный во все белое, с опущенным на лицо покрывалом, явился гостям и произнес: «Следуйте за мной». Консуэло, вынужденная при репетировании этой новой сцены еще раз исполнить роль маркграфини, встала первая и в сопровождении прочих гостей поднялась по большой лестнице замка. Призрак, шедший впереди, открыл вверху лестницы большую дверь, и все очутились в темной старинной галерее, в конце которой мерцал слабый свет. Пришлось идти по этой галерее под звуки медленной торжественной и таинственной музыки, исполняемой словно обитателями незримого мира.

— Господин граф, ей-богу, ни в чем нам не отказывает! — воскликнул Порпора восторженным тоном, в котором сквозила ирония. — Мы слышали сегодня музыку турецкую, флотскую, музыку дикарей, китайскую, лилипутскую и вообще всякого рода диковинную музыку, но эта так превзошла их, что ее действительно можно назвать музыкой с того света!

— И вы еще не все слышали! — воскликнул граф, в восторге от комплимента.

— От вашего сиятельства всего можно ожидать — сказал барон так же иронически, как и профессор. — Но после этого, по правде сказать, не знаю, что же еще вы можете нам показать.

В конце галереи призрак ударил по инструменту, напоминавшему восточный там-там, послышался какой-то заунывный звук, после чего приподнялся большой занавес и открылся вид на зрительный зал, разукрашенный и иллюминированный так, как ему надлежало быть на следующий день. Не стану его описывать, хотя тут и было бы уместно сказать:

«Сколько фестонов, сколько висюлек!»

Занавес поднялся. Сцена изображала ни более, ни менее как Олимп. Богини оспаривали одна у другой сердце Париса, и состязание между тремя главными из них составляло все содержание пьесы. Она была написана по-итальянски, что заставило Порпору шепотом сказать Консуэло:

— Язык дикарей, китайский, лилипутский — ничто не сравнится с этой галиматьей.

И стихи и музыка были сфабрикованы графом. Актеры и актрисы стоили своих ролей. После получаса метафорических изречений и поз,

выражающих сожаление по поводу отсутствия богини, самой очаровательной и самой могущественной из всех, но не удостоившей принять участие в состязании красоты, Парис наконец решается отдать первенство Венере, а та, взяв яблоко и спустившись по ступенькам со сцены, кладет его у ног маркграфини, признавая себя недостойной обладать им и принося извинения в том, что осмелилась в присутствии ее сиятельства даже домогаться победы. Венеру должна была изображать Консуэло, а так как это была главная роль и в конце надо было спеть очень эффектную каватину, то граф Годиц, не имея возможности поручить ее на репетиции какой-либо из своих корифеек, решился сам провести ее — отчасти, чтобы не провалить репетиции, а отчасти, чтобы Консуэло вникла в дух, тонкость и красоту роли. Он был до того комичен, изображая всерьез Венеру, и так напыщенно распевал пошлости, понадерганные из дрянных модных опер и, по его мнению, переделанные им в партитуру, что никто не мог удержаться от смеха. Но он был слишком захвачен муштровкой своей труппы, слишком воодушевлен восхитительной выразительностью своей игры, чтобы заметить веселое настроение слушателей. Ему неистово аплоди-

ровали, а Порпора, дирижировавший оркестром, затыкая себе втихомолку время от времени уши, объявил, что все чудесно — и либретто, и партитура, и голоса, и музыканты, а превыше всего — временно исполнявший роль Венеры.

Решили, что Консуэло в тот же вечер и на следующее утро просмотрит вместе с учителем этот шедевр. Он был не длинен и не труден для изучения, и оба были уверены, что на следующий вечер окажутся на той же высоте, что пьеса и труппа. Затем прошли в бальный зал, который не был еще готов, так как танцы назначены были только через день, а празднества должны были продолжаться целых два дня и состоять из непрерывного ряда разнообразных увеселений.

Пробило десять часов вечера. Стояла ясная погода, ярко светила луна. Прусские офицеры настаивали на том, чтобы в ту же ночь перебраться через границу, ссылаясь на высочайший приказ, не позволявший им ночевать в чужой стране. И графу пришлось уступить; отдав приказание седлать лошадей, он увел своих гостей распить прощальный кубок — то есть выпить кофе и отведать прекрасных настоек в изящном будуаре, куда Консуэло не сочла удобным с ними идти. Она простилась со всеми и, тихонько посовето-

вав Порпоре быть осторожнее, чем за ужином, направилась в свою комнату, находившуюся в другой части замка.

Но вскоре она заблудилась в закоулках этого большого лабиринта и очутилась в какой-то молельне, где сквозной ветер задул ее свечу. Боясь еще больше запутаться и провалиться в какую-нибудь западню с «сюрпризами», которыми изобиловал замок, она решила ощупью идти назад, пока не доберется до освещенной части здания. В суматохе, вызванной приготовлениями к такой массе бессмысленных затей, в этом богатейшем доме очень мало заботились о необходимом удобстве. Здесь были дикари, призраки, небожители, пустынники, нимфы, боги веселья и игр, но ни одного слуги, который подал бы свечу, ни единого здравомыслящего существа, к которому можно было бы обратиться за справкой.

Вдруг ей послышалось, что кто-то осторожно пробирается в темноте, как бы желая проскользнуть незамеченным. Это показалось ей подозрительным, и она не решилась ни окликнуть идущего, ни назвать себя, тем более что, судя по тяжелым шагам и дыханию, это был мужчина. Она подвигалась дальше вдоль стены, несколько встревоженная, как вдруг услышала недалеко

от себя звук отворяемой двери, и лунный свет, проникнув в галерею, упал на высокую фигуру и блестящий костюм Карла. Она сейчас же окликнула его.

— Это вы, синьора? — проговорил он изменившимся голосом. — Вот уж сколько часов я ищу случая поговорить с вами минутку, да теперь, пожалуй, что и опоздал!

— Что тебе надо сказать мне, милый Карл, и почему ты так взволнован?

— Выйдите из коридора, синьора, я поговорю с вами в совершенно уединенном месте, где, надеюсь, никто нас не услышит.

Консуэло пошла вслед за Карлом и очутилась на открытой террасе, которая венчала башенку, прилепившуюся к стене замка.

— Синьора, — с опаской поглядывая по сторонам, заговорил дезертир, впервые приехавший утром в Росвальд и не лучше Консуэло знавший местных людей, — вы ничего не говорили сегодня такого, что могло бы навлечь на вас неудовольствие прусского короля и пробудить в нем недоверие и в чем вам пришлось бы в Берлине раскаиваться, если бы король узнал обо всем досконально?

— Нет, Карл, ничего такого я не говорила. Я

знаю, что всякий незнакомый пруссак — опасный собеседник, и потому взвешивала каждое свое слово. — Ах! Как порадовали вы меня этим ответом, — я так беспокоился!

Два-три раза я подходил к вам на корабле, когда вы катались по озеру, — я разыгрывал роль одного из пиратов, которые делали вид, будто идут на абордаж, — но вы меня не узнали, я ведь был переряжен. Сколько ни смотрел я на вас, сколько ни делал знаков, вы ни на что не обращали внимания, и мне не удалось перемолвиться с вами хотя бы единым словом. Этот офицер был постоянно возле вас. Все время, пока вы плавали по озеру, он ни на шаг от вас не отходил. Он словно догадывался, что вы служите для него как бы щитом, и прятался за вас на тот случай, если бы какая-нибудь шальная пуля таилась в одном из наших безвредных ружей.

— Что ты хочешь этим сказать, Карл? Не понимаю! Кто этот офицер? Я его не знаю.

— Мне незачем говорить вам: скоро вы сами узнаете, раз едете в Берлин.

— Но почему же теперь делать из этого тайну?

— Да потому, что это ужасная тайна, и мне нужно еще в течение часа не выдавать ее.

— У тебя какой-то особенно взволнованный

вид, Карл. Что с тобой происходит?

— О! Нечто огромное! У меня в сердце ад!

— Ад? Можно подумать, что у тебя на уме какие-то злые намерения?

— Быть может!

— В таком случае я хочу, чтобы ты откровенно признался мне во всем, Карл. Ты не имеешь права скрывать что-либо от меня! Ты ведь обещал мне быть беззаветно преданным и покорным.

— Эх, синьора! Что вы сказали! Да, правда, я обязан вам больше чем жизнью, ибо вы сделали все, чтобы сохранить мою жену и дочку, но они были обречены, они погибли… И нужно отомстить за их смерть!

— Карл! Именем твоей жены и ребенка, которые молятся за тебя на небесах, приказываю тебе говорить. Ты задумал какое-то безумное дело. Ты хочешь отомстить? Ты вне себя при виде этих пруссаков. — Вид их доводит меня до безумия, приводит в ярость… Но нет! Я спокоен! Я истый праведник! Видите ли, синьора, бог, а не ад толкает меня на это! Ну, близок час! Прощайте, синьора! Быть может, мы никогда больше не увидимся, так прошу вас, раз вы едете через Прагу, закажите обедню по мне в часовне святого Иоанна Непомука, одного из самых великих по-

кровителей Чехии.

— Карл, вы скажете, вы признаетесь мне в преступных замыслах, которые терзают вас, или я никогда не буду за вас молиться и, наоборот, призову на вас проклятье вашей жены и дочери — этих ангелов, которые теперь в лоне милосердного Иисуса Христа. Как вы можете надеяться получить прощение на небе, если сами не прощаете на земле? У вас под плащом карабин, Карл, и вы здесь подкарауливаете этих пруссаков…

— Нет, не здесь, — проговорил, дрожа и уже немного колеблясь. Карл. Я не хочу проливать кровь ни в доме моего хозяина, ни на ваших глазах, добрая моя святая праведница, но там… Понимаете, среди гор, в лощине, есть дорога, которую я хорошо изучил, так как был там, когда они проезжали по ней сюда нынче утром… Но я оказался в лощине случайно, при мне не было оружия, да и его я не сразу узнал. Но сейчас он снова проедет по этой дороге, там буду и я. Мигом проберусь туда парком и опережу его, хотя у него и добрый конь… И вы изволили верно сказать, синьора, — карабин при мне, мой славный карабин, и в нем славная пуля для его сердца! Карабин заряжен, — ведь я не шутил, когда выслеживал его, переодетый пиратом. Случай казался мне

довольно удачным, и я раз десять нацеливался в него, но вы были там, все время там, и я не выстрелил. А вот сейчас вас не будет, и он не сможет прятаться за вашей спиной, как трус… Ведь он трус! Я-то хорошо его знаю! Я видел, как однажды во время битвы он побледнел и увильнул от сражения, яростно требуя, однако, от нас, чтобы мы шли против своих земляков, против своих чешских братьев! О! Какой ужас! Ведь я чех по крови, по сердцу, а такое не прощается! И хотя я и бедный чешский крестьянин, выучившийся в своих лесах только владеть топором, но он сделал из меня прусского солдата, и благодаря его капралам я умею метко целиться из ружья!

— Карл! Карл! Замолчите! Вы бредите. Вы не знаете этого человека, я уверена в этом. Его зовут барон фон Кройц. Бьюсь об заклад, что вы не знаете его имени и принимаете за другого. Он не вербовщик и не сделал вам ничего худого.

— Это не барон фон Кройц, нет, синьора, и я прекрасно его знаю. Больше сотни раз видел я его на парадах, — это великий вербовщик, великий учитель тех, кто похищает людей, и разрушитель семейных очагов, великий бич Чехии, мой личный враг!.. Он враг нашей церкви, нашей религии и всех наших святых! Он осквернил

своими нечестивыми насмешками статую святого Иоанна Непомука на Пражском мосту! Он выкрал из пражского дворца барабан, сделанный из кожи Яна Жижки, великого воителя своего времени, — барабан этот служил предостережением от врага, он являлся оплотом страны и ее честью. О нет! Я не ошибаюсь, я хорошо знаю этого человека! К тому же святой Венцеслав только что явился мне в часовне, когда я там молился. Видел я его, как вижу вас, синьора, и он сказал мне: «Это он, порази его в сердце». Я поклялся в этом святой деве на могиле своей жены, и я должен сдержать клятву… А! Смотрите, синьора, ему подают лошадь к крыльцу. Этого-то я и ждал! Иду… Молитесь за меня, ибо рано или поздно я поплачусь за свой поступок головой; но это не беда, только бы бог помиловал мою душу.

— Карл! — воскликнула Консуэло, чувствуя в себе прилив какой-то необыкновенной силы. — Я считала тебя человеком великодушным, добрым и богобоязненным, а теперь вижу, что ты безбожник, изверг и подлец! Кто бы ни был человек, которого ты собираешься убить, я запрещаю тебе идти за ним и причинить ему какое бы ни было зло. Дьявол принял облик святого с целью помутить твой разум, и господь, в наказание за

принесенную тобой святотатственную клятву на могиле твоей жены, допустил, чтобы дьявол опутал тебя своими сетями. Ты подлый, неблагодарный человек! Вот что я скажу тебе: ты не думаешь о том, что твой хозяин, граф Годиц, осыпавший тебя благодеяниями, такой честный, такой добрый, такой ласковый к тебе, будет обвинен за твое преступление и поплатится за него головой.

Спрячься в какой-нибудь подвал, ибо ты недостоин смотреть на свет божий, Карл. Наложи на себя эпитимию за то, что у тебя могла явиться подобная мысль! Знаешь, я вижу в эту минуту подле тебя твою жену. Она плачет и старается удержать твоего ангела-хранителя, готового уступить тебя духу зла…

— Жена! Жена! — закричал растерявшийся, побежденный Карл. — Я не вижу ее! Жена! Если ты здесь, скажи мне слово, сделай так, чтобы еще раз я мог увидеть тебя, а там — умереть!..

— Видеть ее ты не можешь: в сердце твоем — преступление, в глазах

— ночь. Стань на колени, Карл! Ты можешь еще искупить свой грех! Дай мне ружье, оскверняющее твои руки, и молись!

С этими словами Консуэло взяла карабин,

отданный ей без всякого сопротивления, и поспешила убрать его подальше от Карла, пока тот в слезах опускался на колени. Потом она ушла с террасы, чтобы поскорее запрятать куда-нибудь оружие. Она чувствовала себя совсем разбитой: ей стоило больших усилий овладеть воображением этого фанатика, вызвав в нем призраки, имевшие над ним такую власть. Каждая минута была дорога; тут уж было не до внушения ему более гуманной и просвещенной философии. Она говорила все, что приходило ей в голову, быть может воодушевленная чем-то, вызывавшим симпатию к исступленному состоянию несчастного человека, которого она хотела во что бы то ни стало спасти от безумного поступка. Притворно браня Карла, она в то же время жалела его за возбуждение, которое он не в силах был побороть.

Консуэло торопилась спрятать злополучный карабин и сейчас же вернуться к Карлу, чтобы удержать его на террасе, пока пруссаки не отъедут подальше. Отворяя маленькую дверь, ведущую с террасы в коридор, она вдруг очутилась лицом к лицу с бароном фон Кройцем. Он приходил в свою комнату за плащом и пистолетами. Консуэло успела только поставить карабин поза-

ди себя в угол, образуемый дверью, и броситься в коридор, закрыв за собою дверь, отделявшую ее от Карла. Она испугалась, как бы вид врага снова не привел беднягу в ярость.

Стремительность движений и волнение, заставившее ее прислониться к двери, точно из боязни потерять сознание, не ускользнули от проницательных глаз фон Кройца. Держа свечу и улыбаясь, он остановился перед Консуэло. Лицо барона было совершенно спокойно, однако Консуэло показалось, что рука его дрожит, вызывая довольно сильное колебание свечи. Позади него стоял смертельно бледный поручик с обнаженной шпагой в руке. Все это, а также и то, что окно комнаты, куда барон приходил за своими вещами, выходило, как она впоследствии убедилась, на террасу башенки, позволило Консуэло предположить, что от обоих пруссаков не ускользнуло ни одно слово из ее разговора с Карлом.

Барон поклонился ей чрезвычайно любезно, с необычайным спокойствием, в то время как она, в ужасе от своего положения, позабыла ответить на его поклон и даже лишилась дара речи; Кройц взглянул на нее скорее с участием, чем с удивлением.

— Дитя мое, — ласково сказал он, взяв ее за

руку, — успокойтесь! Вы очень взволнованы. Мы, очевидно, напугали вас своим внезапным появлением у двери в тот момент, когда вы открыли ее. Но знайте, что мы ваши покорные слуги и друзья. Надеюсь, мы с вами увидимся еще в Берлине и, быть может, сможем быть вам в чем-либо полезны.

Барон потянул было немного к себе руку Консуэло, как бы желая в первый момент поднести ее к губам, но ограничился тем, что слегка пожал ее. Он еще раз раскланялся и удалился в сопровождении младшего офицера, который, казалось, даже не видел Консуэло, до того он был растерян и вне себя. Его состояние подтвердило уверенность молодой девушки, что поручик знал об опасности, только что угрожавшей его начальнику.

Но кем же мог быть человек, ответственность за чью жизнь таким тяжким бременем ложилась на другого, и кого Карл стремился убить, видя в этом высшую справедливую месть? Консуэло вернулась на террасу, чтобы, продолжая наблюдать за Карлом, выпытать его тайну. Но она застала его в обморочном состоянии и, не в силах поднять такого колосса, спустилась позвать на помощь слуг. — Ну, это ничего! — сказали они, направляясь к указанному ею месту. — Видно, он малость

хватил сегодня вечером медовой шипучки; сейчас мы снесем его на кровать.

Консуэло хотела было пойти наверх вместе с ними: она боялась, как бы Карл, очнувшись, не выдал себя; но ей помешал граф Годиц, проходивший мимо. Он взял ее под руку, обрадовавшись тому, что она еще не легла спать и он может показать ей новое зрелище. Пришлось идти за ним на крыльцо, и тут она увидела над одним из пригорков парка, в той стороне, куда указывал Карл, как на цель своих устремлений, большую светящуюся арку, словно парившую в воздухе, на которой смутно вырисовывались буквы из цветного стекла.

— Какая прекрасная иллюминация! — рассеянно промолвила она.

— Это тонкая любезность, скромный почтительный прощальный привет только что покинувшему нас гостю, — пояснил Годиц. — Он через четверть часа будет у подножия холма, в лощине, которую нам отсюда не видно, и там, как по волшебству, над его головой засветится триумфальная арка.

— Господин граф! — воскликнула Консуэло, выйдя из своей задумчивости.

— Кто это лицо, только что уехавшее отсюда?

— Вы узнаете позднее, дитя мое.

— Если я не должна спрашивать, умолкаю, господин граф. Однако у меня есть кое-какие подозрения, что на самом деле это не барон фон Кройц.

— Я ни на минуту не был введен в заблуждение, — заметил Годиц, немного прихвастнув при этом. — Тем не менее я отнесся с благоговейным уважением к его инкогнито. Я знаю, что это его мания и он считает оскорблением, если его не принимают за того, за кого он себя выдает. Вы заметили, что я обращался с ним, как с простым офицером, а между тем…

Графу смертельно хотелось все выболтать, но светские приличия не позволили ему произнести имя, по-видимому столь священное.

Он избрал нечто среднее и, подавая Консуэло свою зрительную трубу, сказал:

— Взгляните, как удачно сделана эта импровизированная арка. До нее отсюда не меньше полумили, а я уверен, что в мою превосходную зрительную трубу вы сможете прочесть, что на ней написано. В каждой букве по двадцать футов, хотя они и кажутся вам совсем крохотными. Но все-таки вглядитесь хорошенько…

Консуэло посмотрела и без труда разобрала над-

пись, раскрывшую ей тайну всей этой комедии:

«Да здравствует Фридрих Великий!»

— Ах! Господин граф! — воскликнула она с тревогой. — Опасно подобному лицу путешествовать таким образом, да, пожалуй, еще опаснее принимать его у себя!

— Я вас не понимаю, — сказал граф, — мы живем в мирное время. Никому теперь не пришло бы в голову причинить ему малейшее зло, и уж никто не счел бы непатриотичным оказать такому гостю почтительный прием.

Консуэло погрузилась в свои думы. Годиц вывел ее из этого состояния, сказав, что у него к ней нижайшая просьба. Он боится злоупотребить ее добротой, но это такое важное дело, что он все-таки принужден решиться затруднить ее. После многих разглагольствований он наконец проговорил с таинственным и серьезным видом:

— Дело вот в чем: не согласились бы вы взять на себя роль призрака?

— Какого призрака? — спросила Консуэло, все мысли которой были заняты исключительно Фридрихом и событиями того вечера.

— Призрака, который приходит во время десерта за маркграфиней и ее гостями, чтобы проводить их по галерее преисподней в театральный

зал, где их должны встретить олимпийские боги. Венера на сцене появляется не сразу, и вы имели бы время сбросить за кулисами саван призрака, под которым на вас будет надет великолепный наряд матери Амура — из розового атласа, весь в обтяжку, с очень маленькими фижмами, с бантами в серебряных и золотых блестках; волосы не напудрены, украшены жемчугом, перьями и розами, — туалет очень скромный и неподражаемый по изяществу. Увидите сами! Ну что, согласны вы изображать призрак? Ведь тут надо выступать с большим достоинством, и к тому же ни одна из моих маленьких актрис не дерзнула бы сказать ее высочеству: «Следуйте за мной». Слова эти очень нелегко произнести; и я решил, что только гениальная личность может оказаться тут на высоте. Что вы думаете об этом?

— Слова чудесные, и я с огромным удовольствием беру на себя роль призрака, — смеясь, ответила Консуэло.

— Да вы просто ангел! Настоящий ангел! — воскликнул граф, целуя ей руку.

Но увы! Столь долгожданный день, празднество, блестящее празднество, мечта, лелеемая графом в течение целой зимы и заставившая его предпринять для ее осуществления несколько

путешествий в Моравию,

— все это пошло прахом, как и страстная, мрачная месть Карла… На следующий день к полудню все было готово. Росвальдцы были во всеоружии; нимфы, гении, дикари, карлики, великаны, мандарины, призраки, дрожа от холода, ждали, каждый на своем месте, момента, чтобы начать действовать. Горная дорога была очищена от снега и усыпана мхом и фиалками. Многочисленные гости, съехавшиеся из соседних замков и даже из довольно отдаленных городов, составляли достойную свиту хозяину замка, как вдруг, увы, нежданная, словно громовой удар, весть разом все перевернула! Гонец, прискакавший во весь опор, сообщил: «Карета маркграфини опрокинулась в ров, ее высочество при этом повредила себе два ребра и вынуждена остановиться в Ольмюце, куда ее высочество и просит графа пожаловать». Толпа рассеялась. Граф в сопровождении Карла, который уже успел прийти в себя, вскочил на лучшего своего коня и помчался, сказав предварительно несколько слов дворецкому. «Забавы», «ручьи», «часы», «реки» снова облеклись в свои меховые сапоги и суконные кафтаны и отправились на работы по хозяйству, вперемежку с «китайцами», «пиратами», «друидами» и «лю-

доедами». Гости уселись в экипажи, и карета, в которой приехал Порпора со своей ученицей, снова была предоставлена в их распоряжение. Дворецкий, согласно полученному приказу, вручил им условленную сумму и настоял, чтобы они ее приняли, хотя она и была заработана ими только наполовину. В тот же день они покатили по пражской дороге. Профессор был в восторге от того, что избавился от разноплеменной музыки и многоязычных кантат хозяина замка, а Консуэло, поглядывая в сторону Силезии, горевала, что, уезжая в противоположную сторону от глацского узника, не имеет ни малейшей надежды облегчить его тяжелую участь.

В тот же день барон фон Кройц, переночевав в деревне неподалеку от моравской границы, отправился оттуда утром в большой дорожной карете в сопровождении своих пажей, ехавших верхом, и свитского экипажа, в котором находился его чиновник и дорожная казна; приближаясь к городу Нейсу, он вступил в разговор со своим офицером, или, вернее сказать, адъютантом, бароном фон Будденброком. Надо заметить, что, недовольный бестактностью, проявленной офицером накануне, барон впервые со времени отъезда из Росвальда заговорил с ним.

— А что это была за иллюминация? — начал он. — Я издали заметил ее над холмом, у подножия которого мы должны были проезжать, огибая парк этого графа Годица.

— Государь, — ответил, дрожа, Будденброк, — я не заметил иллюминации.

— Напрасно! Человек, сопровождающий меня, должен все видеть.

— Ваше величество должны простить меня, принимая во внимание смятение, в какое повергло меня намерение этого злодея…

— Вы ничего не понимаете! Этот человек — фанатик, несчастный католический ханжа, ожесточенный проповедями, которые богемские священники произносили против меня во время войны; окончательно же вывело его из себя какое-то, по-видимому, личное горе. Вероятно, это крестьянин, увезенный в мою армию, один из тех дезертиров, которых мы иногда вылавливали, несмотря на принятые ими предосторожности…

— Ваше величество, можете быть уверены, что завтра же этот злодей будет снова схвачен.

— Вы уже отдали приказание, чтоб его выкрали у графа Годица?

— Пока еще нет, государь, но как только приеду в Нейс, сейчас же пошлю за ним четырех людей,

очень ловких и очень решительных…

— Запрещаю вам; напротив, соберите сведения об этом человеке, и если действительно его семья стала жертвой войны, как это можно было понять из его бессвязных речей, то вы позаботитесь о выдаче ему тысячи талеров и сообщите силезским вербовщикам, чтобы те навсегда оставили его в покое. Слышите? Его зовут Карлом, он очень высокого роста, чех, в услужении у графа Годица. Всех этих данных совершенно достаточно, чтобы легко разыскать его, узнать его фамилию и его положение.

— Слушаю, ваше величество.

— Надеюсь! А какого вы мнения об этом профессоре музыки?

— Маэстро Порпоре? На меня он произвел впечатление дурака, человека самонадеянного, с очень неприятным характером.

— А я вам говорю, что это человек выдающийся в области искусства, чрезвычайно умный и одаренный занятной иронией. Когда он достигнет вместе со своей ученицей прусской границы, вы вышлете ему хороший экипаж.

— Слушаю, ваше величество.

— И пусть он сядет в него один. Вы слышите? Один! И это должно быть предложено ему очень

почтительно.

— Слушаю, ваше величество.

— А дальше…

— А дальше вашему величеству угодно, чтоб его доставили в Берлин?

— Вы сегодня просто рехнулись! Я хочу, чтобы его доставили в Дрезден, а оттуда в Прагу, пожелай он этого, и даже в Вену, если таковы его намерения; и все это за мой счет. Раз я отвлек такого уважаемого человека от занятий, я обязан доставить его туда, откуда взял, не вводя ни в какие издержки. Но я желаю, чтобы ноги его не было в моих владениях: он слишком умен для нас.

— Какие же будут приказания вашего величества относительно певицы?

— Ее отвезут под конвоем, захочет она этого или нет, в Сан-Суси и отведут ей помещение в замке.

— В замке, государь?

— Что вы? Оглохли, что ли? В квартире Барберини.

— Ас Барберини, государь, как же мы поступим?

— Барберини уже отбыла из Берлина. Она уехала. Вы этого разве не знали?

— Не знал, государь.

— Что же вы, наконец, знаете? И как только эта девица приедет, сейчас же доложите мне об этом, в какой бы час дня или ночи это ни было. Вы меня поняли? Вот первые приказы, которые вы велите вписать в реестр за номером один заведующему моей дорожной казной: пособие Карлу, отправка обратно Порпоры, передача Порпорине всех почестей и доходов Барберини. Ну, вот мы и у городских ворот! Развеселись же, Будденброк, и постарайся быть чуточку менее глупым, когда мне снова вздумается путешествовать с тобой инкогнито!

Глава 102

Порпора и Консуэло прибыли в Прагу с наступлением темноты. Стояла довольно холодная погода. Луна заливала своим светом старинный город, сохранивший религиозный и воинственный дух своего прошлого. Наши путешественники въехали через так называемые Росторские ворота и, проехав часть города, расположенную на правом берегу Влтавы, благополучно добрались до середины моста. Тут карету сильно тряхнуло, и она сразу остановилась.

— Господи Иисусе Христе! — воскликнул возница. — Вот тебе и на! Нужно же было лошади упасть перед статуей! Плохая примета! Да поможет нам святой Иоанн Непомук!

Консуэло, видя, что лошадь запуталась в постромках и кучеру придется немало времени провозиться над тем, чтобы поднять ее и привести в порядок сбрую — лопнуло несколько ремней, — предложила своему учителю выйти из экипажа, размять ноги и согреться. Порпора согласился, и Консуэло подошла к перилам моста, желая ознакомиться с окружающей местностью.

С этого места два разных города, расположенные амфитеатром и составляющие Прагу, — один — так называемый «новый», построенный в 1348 году Карлом IV, и другой — «старый», основанный в глубочайшей древности, — казались двумя черными каменными грядами; над ними там и сям, на более возвышенных местах, поднимались стройные шпили старинных зданий и мрачные зубцы укреплений. Влтава, темная и быстрая, устремлялась под мост очень строгого стиля — место действия стольких трагических событий в истории Чехии, а луна, отражаясь в водах Влтавы, бледными бликами освещала голову высокочтимой статуи святого Непомука. Консуэло стала всматриваться в лицо святого ученого, казалось, с грустью взиравшего на волны. Легенда о святом Непомуке прекрасна, а имя его почитает каждый, кто ценит независимость и верность. Исповедник императрицы Иоанны отказался выдать тайну ее исповеди, и пьяница Венцеслав, пожелавший узнать помыслы своей жены, не имея возможности что-либо выведать у знаменитого ученого, приказал утопить его под Пражским мостом. Предание гласит, что в тот момент, когда Непомук исчез под водой, пять звезд загорелись над едва закрывшейся пучиной,

словно венец мученика еще с минуту носился по волнам. В память этого чуда пять металлических звезд были вделаны в каменные перила моста на том самом месте, откуда был сброшен Непомук.

Мать Консуэло, Розамунда, женщина очень набожная, всегда с теплым чувством вспоминала легенду об Иоанне Непомуке, и в числе святых, чьи имена она каждый вечер заставляла произносить чистые уста своего ребенка, неизменно значилось имя этого главного покровителя путешественников, покровителя тех, кто подвергается опасности, и сверх того — «защитника доброго имени». Подобно тому как бедняки мечтают о богатстве, идеалом цыганки на старости лет стало доброе имя — сокровище, о котором она отнюдь не помышляла в юные годы. Благодаря такой перемене Консуэло была воспитана в принципах чрезвычайной чистоты. И в эту минуту она вспомнила молитву, с какой когда-то обращалась к — этому апостолу чести; взволнованная видом мест, свидетелей его трагического конца, она инстинктивно опустилась на колени среди богомольцев, которые в те времена днем и ночью склонялись у изображения святого. Тут были женщины, паломники, старики, нищие, было и несколько цыган — гитаристов и завсегдатаев

больших дорог. Однако набожность паломников не поглощала их настолько, чтобы помешать им протянуть руку Консуэло. Она щедро раздала им милостыню, с радостью вспоминая те времена, когда сама была не лучше обута и не более горда, чем все эти люди. Щедрость ее растрогала паломников, и они, потихоньку посовещавшись между собой, поручили одному из своих сказать Консуэло, что споют ей древний церковный гимн блаженному Непомуку, дабы святитель отклонил плохое предзнаменование, из-за которого девушке пришлось сделать остановку на мосту. Они уверяли, будто музыка и латинские слова гимна сочинены во времена Венцеслава Пьяного.

Suscipe quas dedimus,
Johannes beate!
Tibi preces supplices, noster advocate:
Fieri, dum vivimus, ne sinas infames
Et nostros post obitum coelis infer manes[note 4].

Порпора с интересом прослушал их и решил, что гимну не больше ста лет; но другой гимн, исполненный паломниками, показался ему проклятием, призываемым на голову Венцеслава его

---

note notes: Note4

Иоанн преподобный! Ты наш заступник святой, и к тебе мы взываем: Да не впадем мы во грех, на земле пребывая, К праведным нас сопричти после тихой кончины (лат.).

современниками, и начинался он так:

Saevus, piger imperator, Malorum clarus patrator… etc Хотя преступления Венцеслава и были совершены в отдаленные времена, казалось, бедные чехи находили неиссякаемое удовольствие, проклиная в лице этого тирана ненавистный титул «императора», сделавшийся для них символом чужеземного владычества. Австрийские часовые охраняли ворота, расположенные по обоим концам моста. Им было приказано непрестанно ходить от ворот к середине моста. Тут они сходились у статуи святого, поворачивались друг к другу спиной и продолжали свою невозмутимую прогулку. Они слышали гимны, но так как были не столь сведущи в церковной латыни, как пражские богомольцы, то полагали, конечно, что слушают славословия Францу Лотарингскому, супругу Марии-Терезии.

Наивные песнопения при лунном свете, среди красивейшего в мире ландшафта, навеяли грусть на Консуэло. Ее путешествие до сих пор было удачным, веселым, и эта внезапная грусть являлась как бы естественной реакцией. Кучер, приводивший в порядок экипаж с чисто немецкой медлительностью, — всякий раз, как что-то ему не нравилось, повторял: «Вот уж плохая

примета!» — и это в конце концов не могло не подействовать на воображение Консуэло. А всякое тяжелое настроение, всякая продолжительная задумчивость наталкивали ее на мысль об Альберте. Тут ей припомнился один вечер, когда он, услыхав, как канонисса в своей молитве громко взывает к святому Непомуку, охранителю доброго имени, заметил: «Хорошо вам, тетя, молиться ему, когда вы с присущей вам осторожностью обеспечили примерной жизнью свое доброе имя, но мне не раз приходилось слышать, как запятнанные пороками души призывали чудодейственную помощь этого святого лишь для того, чтобы скрыть от людей свои беззакония. Вот так ваши религиозные обряды столь же часто служат прикрытием грубого лицемерия, сколь и защитой невинности». В этот миг Консуэло почудилось, что в вечернем ветерке и в мрачном ропоте волн Молдавы она слышит голос Альберта. Консуэло подумала: что сказал бы о ней Альберт, если бы увидел ее сейчас распростертой перед этой католической статуей; пожалуй, он счел бы ее безнравственной. И она, словно испугавшись, поднялась с колен. Как раз в этот момент Порпора сказал ей:

— Ну, садимся в карету, все в порядке.

Она пошла за ним и собиралась уже сесть в экипаж, когда тяжеловесный всадник, сидевший на еще более тяжеловесной лошади, вдруг остановил коня, слез с него и, подойдя к Консуэло, стал разглядывать ее с невозмутимым любопытством, показавшимся ей весьма дерзким.

— Что вам нужно, сударь? — сказал Порпора, отстраняя его. — На дам так не смотрят. Быть может, это и принято в Праге, но я не намерен подчиняться вашему обычаю.

Толстяк, укутанный в меха, высвободив подбородок и продолжая держать лошадь под уздцы, ответил Порпоре по-чешски, не замечая, что тот совершенно его не понимает. Но Консуэло, пораженная голосом всадника, наклонилась, чтобы при свете луны рассмотреть черты его лица, и вдруг, бросившись между ним и Порпорой, воскликнула:

— Вы ли это, господин барон фон Рудольштадт?!

— Да, это я, синьора, — ответил барон Фридрих, — я, брат Христиана и дядя Альберта. Я самый. А это действительно вы! — проговорил он, тяжко вздыхая.

Консуэло была поражена его печальным видом и холодностью, проявленной при встрече с ней.

Он, всегда так рыцарски-любезно обращавшийся с ней, не поцеловал ей руки и даже не подумал прикоснуться к своей меховой шапке, чтобы приветствовать ее, а удовольствовался только тем, что, глядя на нее с растерянным видом, все повторял:

— Да, это вы, действительно вы.

— Расскажите же, что происходит в Ризенбурге? — с волнением спросила Консуэло.

— Расскажу, синьора, жду не дождусь обо всем рассказать вам.

— Так говорите же, господин барон! Расскажите мне о графе Христиане, о госпоже канониссе, о…

— Да, да, сейчас расскажу, — ответил Фридрих, теряясь все больше и больше и как будто совсем ошалев. — А граф Альберт? — снова спросила Консуэло, испуганная его поведением и растерянным видом.

— Да! Да! Альберт… увы! Да! — бормотал барон. — Сейчас расскажу вам о нем…

Но он так ничего и не сказал и, несмотря на все расспросы девушки, оставался почти столь же нем, как статуя Непомука.

Порпора начинал терять терпение: маэстро прозяб и жаждал поскорее добраться до хорошего убежища, к тому же он был немало раздосадован

этой встречей, которая могла произвести сильное впечатление на Консуэло.

— Господин барон, — обратился он к нему, — завтра мы засвидетельствуем вам свое почтение, а теперь разрешите нам отправиться поужинать и обогреться... Мы нуждаемся в этом больше, чем в приветствиях, — прибавил старик сквозь зубы, влезая в карету, куда он уже втолкнул Консуэло против ее воли.

— Но, друг мой, — проговорила она, волнуясь, — дайте мне узнать...

— Оставьте меня в покое! — грубо оборвал он ее. — Этот человек идиот, если только он не мертвецки пьян, и, проведи мы на мосту хоть целую ночь, он не был бы способен изречь ни одного разумного слова.

Консуэло была в страшной тревоге.

— Вы безжалостны, — сказала она маэстро в то время, как карета съезжала с моста в старый город. — Еще миг, и я узнала бы то, что интересует меня больше всего на свете...

— Вот как! Значит, все по-прежнему? — сердито проговорил Порпора. Этот Альберт так и будет вечно торчать у тебя в голове? Хорошенькую, нечего сказать, заполучила бы ты семейку — такую веселенькую, такую благовоспитанную, судя

по этому дуралею, у которого шапка, по-видимому, приклеена к голове, ибо он, увидав тебя, даже не удостоил чести приподнять ее.

— Это семья, о которой вы еще недавно были такого высокого мнения, что отправили меня туда, как в спасительную гавань, наказывая как можно больше уважать и любить всех ее членов. — Что касается последней части моего наказа, ты, как я вижу, даже слишком хорошо его выполнила…

Консуэло собиралась было возразить, но успокоилась, заметив барона Фридриха, едущего верхом рядом с каретой: он, видимо, решил сопровождать их. Когда она выходила из кареты, старый барон стоял у подножки; протягивая ей руку, барон любезно просил ее принять его гостеприимство, ибо он приказал кучеру везти их не на постоялый двор, а к себе в дом. Напрасно пытался Порпора отказаться от этой чести, — барон настаивал, а Консуэло, сгоравшая от нетерпеливого желания выяснить свои тревожные опасения, поспешила согласиться и войти с хозяином в зал, где их ждал жарко натопленный камин и хороший ужин.

— Как видите, синьора, — обратился к ней барон, указывая на три прибора, — я рассчитывал вас встретить.

— Это очень удивляет меня, — ответила Консуэло, — мы никому не сообщали о нашем приезде, да и сами два дня тому назад думали быть тут не раньше чем послезавтра.

— Все это удивляет меня не меньше, чем вас, — уныло промолвил барон. — А баронесса Амелия? — спросила Консуэло: ей было неловко, что она до сих пор не подумала о своей бывшей ученице.

Лицо барона омрачилось, и его румяные щеки, немного посиневшие от холода, стали вдруг такими бледными, что Консуэло пришла в ужас. Но он довольно спокойно ответил: — Дочь моя в Саксонии, у нашей родственницы. Она будет очень сожалеть, что не видела вас.

— А другие члены вашей семьи, господин барон, — продолжала спрашивать Консуэло, — не могла бы я узнать…

— Да, вы все узнаете… — перебил ее Фридрих. — Все узнаете… Кушайте, синьора, вы, наверное, голодны.

— Я не в состоянии есть, пока вы не успокоите меня. Господин барон, ради бога, скажите мне, не оплакиваете ли вы утрату кого-нибудь из близких?

— Никто не умер, — ответил барон таким уны-

лым тоном, словно сообщал ей о том, что вымер весь их род.

И он принялся разрезать мясо с такой же медлительной торжественностью, с какою проделывал это в Ризенбурге. У Консуэло не хватало больше мужества задавать ему вопросы. Ужин показался ей смертельно длинным. Порпора, скорее голодный, чем встревоженный, силился поддерживать разговор с хозяином дома, а тот старался отвечать ему так же любезно и даже расспрашивал о его делах и планах. Но это, очевидно, было не под силу барону. Он то и дело отвечал невпопад или снова спрашивал о том, на что только что получил ответ. Он все нарезал себе громадные куски, доверху наполняя свою тарелку и стакан, но делал это только по привычке. Он не ел и не пил; уронив вилку на пол и уставившись в скатерть, он словно находился в невероятном изнеможении. Консуэло, наблюдавшая за ним, прекрасно видела, что он не пьян. Она спрашивала себя: что могло вызвать эту внезапную расслабленность? Несчастье, болезнь или старость? Наконец, после двух часов такой пытки, барон, видя, что ужин закончен, сделал знак слугам удалиться, а сам, с растерянным видом порывшись в карманах, после длительных поисков извлек наконец рас-

печатанное письмо и подал его Консуэло. Оно было от канониссы, она писала:

«Мы погибли, брат! Больше нет никакой надежды. Доктор Сюпервиль наконец приехал из Байрейта. Несколько дней он щадил нас, а затем объявил мне, что нужно привести в порядок семейные дела, так как, быть может, через неделю Альберта уже не будет в живых. Христиан, которому я не решилась сообщить этот приговор, еще надеется, хотя и слабо; он совсем упал духом, и это приводит меня в ужас: я далеко не уверена, что смерть племянника — единственный грозящий мне удар. Фридрих, мы погибли! Переживем ли мы вдвоем такие бедствия? Относительно себя я ничего не могу сказать. Да будет воля божья, но я не чувствую в себе силы устоять перед таким ударом. Приезжайте, братец, и постарайтесь привезти нам немного бодрости, если она еще сохранилась в Вас после Вашего собственного горя — горя, которое мы считаем своим и которое довершает несчастья нашей словно проклятой семьи. Какие же мы совершили преступления, чем заслужили такую кару? Избави меня бог потерять веру и покорность воле его, но, право же, бывают минуты, когда я говорю себе: „Это уж слишком!“ Приезжайте же, братец, мы ждем

Вас, Вы нам нужны. И тем не менее не покидайте Праги до одиннадцатого. У меня к Вам странное поручение. Мне кажется, что, поддаваясь этому, я схожу с ума. Но я уже перестала понимать, что у нас творится, и слепо подчиняюсь требованиям Альберта. Одиннадцатого числа в семь часов вечера будьте на Пражском мосту у подножия статуи. Остановите первую проезжающую карету и особу, которую Вы увидите в ней, везите к себе, и, если эта особа сможет в тот же вечер выехать в Ризенбург, Альберт, быть может, еще будет спасен. Во всяком случае он уверяет, что ему снова откроется вечная жизнь. Я не знаю, что он под этим подразумевает. Но его откровения в течение этой недели относительно самых непредвиденных для нас всех событий сбылись таким непостижимым образом, что я больше не могу сомневаться: у него либо дар пророка, либо он ясновидящий. Нынче вечером Альберт призвал меня и своим угасшим голосом, который теперь можно скорее угадывать, нежели слышать, поручил мне передать Вам то, что я в точности воспроизвела здесь. Будьте же одиннадцатого числа в семь часов у подножия статуи, и кем бы ни оказалось лицо, которое Вы найдете в карете, как можно скорее везите его сюда».

Прочитав письмо, Консуэло стала не менее бледной, чем барон, внезапно вскочила, но тотчас же снова упала на стул и несколько минут просидела не шевелясь, беспомощно опустив руки и стиснув зубы. Вскоре, однако, силы вернулись к ней, и она сказала барону, опять впавшему в какое-то оцепенение:

— Господин барон, готова ваша карета? Что касается меня, то я готова, едемте!

Барон машинально поднялся и вышел. У него хватило сил заранее обо всем подумать: карета была приготовлена, лошади ждали во дворе, но сам он уже скорее походил на автомат и, не будь Консуэло, не подумал бы об отъезде.

Едва барон вышел из комнаты, как Порпора схватил письмо и быстро пробежал его. В свою очередь он тоже побледнел, не смог произнести ни слова и в самом тяжелом, подавленном состоянии стал расхаживать перед камином. Маэстро имел основания упрекать себя в происходящем. Правда, он этого не предвидел, но теперь говорил себе, что должен был предвидеть. И, терзаемый угрызениями совести, охваченный ужасом, озадаченный удивительной силой предвидения, открывшей больному способ снова увидеть Консуэло, он думал, что ему снится странный и

страшный сон…

Но так как он был человеком на редкость положительным в некоторых отношениях, обладавшим упорной волей, то вскоре стал обдумывать, возможно ли осуществить только что принятое Консуэло внезапное решение и каковы будут его последствия. Старик страшно волновался, бил себя по лбу, стучал каблуками, хрустел всеми суставами пальцев, вычислял, обдумывал и наконец, вооружившись мужеством и пренебрегая возможностью вспышки со стороны Консуэло, сказал своей ученице, встряхнув ее, чтобы заставить опомниться:

— Ты хочешь ехать туда — согласен, но я еду с тобой. Ты желаешь видеть Альберта; быть может, ты спасешь его, но отступать немыслимо, и мы отправимся в Берлин. В нашем распоряжении всего два дня. Мы рассчитывали провести их в Дрездене, а теперь отдыхать там не придется. Нам надо быть у прусской границы восемнадцатого, иначе мы нарушим договор. Театр открывается двадцать пятого. Если ты не окажешься в это время на месте, я принужден буду уплатить значительную неустойку. У меня нет половины нужной суммы, а в Пруссии того, кто не платит, бросают в тюрьму. Попадешь же туда — о тебе

забывают, оставляют на десять-двадцать лет: умирай там от горя или старости, уж как тебе угодно. Вот что ждет меня, если ты забудешь, что из Ризенбурга надо выехать четырнадцатого, не позднее пяти часов утра.

— Будьте спокойны, маэстро, — решительным тоном ответила Консуэло,

— я уже думала обо всем этом. Только не огорчайте меня в Ризенбурге, — вот все, о чем я вас прошу. Мы выедем оттуда четырнадцатого в пять часов утра.

— Поклянись!

— Клянусь, — ответила она, нетерпеливо пожимая плечами. — Раз вопрос идет о вашей свободе и жизни, не понимаю, зачем вам нужна моя клятва. Барон вернулся в эту минуту в сопровождении старого, верного и толкового слуги, который закутал его в шубу, точно ребенка, и свел в карету. Они быстро добрались до Берауна и на рассвете были уже в Пильзене.

Глава 103

Путь от Пильзена до Тусты, как ни спешили они, потребовал у них много времени, ибо дороги были скверные, пролегали они по почти непроходимым пустынным лесам, проезд по которым был далеко не безопасен. Наконец, делая в час чуть ли не по одной миле, добрались они к полуночи до замка Исполинов. Никогда еще Консуэло не приходилось так утомительно, так уныло путешествовать. Барон фон Рудольштадт, казалось, был близок к параличу, в такое безразличное и неподвижное состояние он впал. Не прошло и года с тех пор, как Консуэло видела его настоящим атлетом; но здоровье этого железного организма в значительной мере зависело от силы его воли. Он всю жизнь повиновался только своим инстинктам, и первый же удар неожиданного несчастья сокрушил его. Жалость, которую он вызывал в Консуэло, еще больше усиливала ее тревогу. «Неужели в таком же состоянии найду я всех обитателей Ризенбурга?» — думалось ей.

Подъемный мост был опущен, решетчатые ворота стояли открытыми настежь, слуги ожи-

дали во дворе с горящими факелами. Никто из трех путешественников не обратил на все это ни малейшего внимания. Ни у одного из них не хватило духу спросить об этом слуг. Порпора, видя, что барон едва волочит ноги, повел его под руку, а Консуэло бросилась к крыльцу и быстро стала подниматься по ступеням.

Тут она столкнулась с канониссой, и та, не теряя времени на приветствия, схватила ее за руку со словами:

— Идемте: время не терпит! Альберт ждет не дождется. Он точно высчитал часы и минуты, объявил, что вы въезжаете во двор, — и через какую-нибудь секунду мы услышали стук колес вашей кареты. Он не сомневался в вашем приезде, но говорил, что, если случайно что-либо задержит вас в пути, — будет уже поздно. Идемте же, синьора, и, ради бога, не противоречьте ни одной из его фантазий, не противьтесь ни одному из его чувств. Обещайте ему все, о чем он будет просить вас, притворитесь, что любите его. Лгите, увы, если это понадобится. Альберт приговорен, настает последний его час. Постарайтесь смягчить его агонию! Вот все, о чем мы вас просим.

Говоря это, Венцеслава увлекала за собой Консуэло в большую гостиную. — Значит, он встал?

Выходит из своей комнаты? — торопливо спрашивала Консуэло.

— Он больше не встает, ибо больше не ложится, — ответила канонисса. — Вот уже месяц, как он сидит в кресле в гостиной и не хочет, чтобы его беспокоили, перенося на другое место. Доктор сказал, что не надо ему перечить в этом отношении, так как он может умереть, если его станут двигать. Синьора, мужайтесь: сейчас вы увидите страшное зрелище! — И, открыв дверь гостиной, канонисса прибавила: — Бегите к нему, не бойтесь его испугать: он ждет вас и видел, как вы ехали, более чем за две мили отсюда.

Консуэло бросилась к своему жениху, бледному как смерть, действительно сидевшему в кресле у камина. Это был не человек, а призрак. Лицо его, все еще прекрасное, несмотря на изнурительную болезнь, приобрело неподвижность мрамора. На его губах не появилось улыбки, в глазах не засветилось радости. Доктор держал его руку, считая пульс, словно в сцене «Стратоники», и, посмотрев на канониссу, тихонько опустил ее, как бы говоря: «Слишком поздно».

Консуэло опустилась перед Альбертом на колени; он глядел на нее пристально и молча. Наконец ему удалось пальцем сделать знак кано-

ниссе, научившейся угадывать все его малейшие желания, и та взяла обе его руки, поднять которые у него уже не хватало сил, и положила их на плечи Консуэло, потом опустила голову девушки на его грудь. И, так как голос умирающего совсем угасал, он прошептал ей на ухо только два слова: «Я счастлив!»

Минуты две прижимал он к груди голову любимой, прильнув губами к ее черным волосам, затем взглянул на тетку и чуть заметным движением дал ей понять, чтобы и она и отец также поцеловали его невесту.

— О! От всей души! — воскликнула канонисса, горячо обнимая Консуэло. Затем она взяла девушку за руку и повела к графу Христиану, которого Консуэло еще не заметила.

Старый граф, сидевший в кресле против сына, у другого угла камина, казался почти таким же изнемогшим и умирающим. Однако он еще вставал и делал несколько шагов по гостиной, но нужно было каждый вечер относить и укладывать его на кровать, которую он велел поставить в соседней комнате. Старый Христиан в ту минуту держал в одной руке руку брата, а в другой руку Порпоры. Он выпустил их и горячо несколько раз поцеловал Консуэло. Капеллан замка, желая

сделать удовольствие Альберту, в свою очередь подошел и поздоровался с ней. Он тоже походил на призрак и, несмотря на все увеличивающуюся полноту, был бледен как смерть. Он был слишком изнежен беспечной жизнью, и нервы его не могли переносить даже чужое горе. Канонисса оказалась энергичнее всех. Лицо ее покрылось густым румянцем, а глаза лихорадочно блестели. Один Альберт казался спокойным. Весь облик его выражал ясность прекрасного умирания. В его физической слабости не было ничего, что говорило бы об упадке духовных сил. Он был сосредоточен, но не подавлен, как его отец и дядя.

Среди всех этих людей, сокрушенных болезнью или горем, спокойствие и здоровье доктора выделялись особенно ярко. Сюпервиль был француз, когда-то состоявший врачом при Фридрихе, в то время еще наследнике престола. Предугадав одним из первых деспотический и недоверчивый нрав наследного принца, он перебрался в Байрейт и поступил на службу к сестре Фридриха, маркграфине Софии-Вильгельмине Прусской. Честолюбивый и завистливый, Сюпервиль обладал всеми качествами царедворца. Посредственный врач, несмотря на известность, приобретенную при этом маленьком дворе, он был светским

человеком и проницательным наблюдателем, довольно хорошо разбиравшимся в нравственных причинах болезней. Поэтому-то он усиленно и уговаривал каноницсу выполнять все желания племянника и возлагал некоторые надежды на возвращение той, из-за которой умирал Альберт. Но как ни старался он с момента появления Консуэло прислушаться к пульсу больного, всматриваясь в его лицо, — он только удостоверился в том, что момент упущен, и уже стал подумывать об отъезде, чтобы не быть свидетелем сцен отчаяния, предотвратить которые было не в его силах.

Доктор решил, однако, вмешаться в деловые интересы семейства — не то из выгоды, не то по врожденной любви к интригам. Заметив, что никто из членов растерявшейся семьи не думает использовать момента, он подвел Консуэло к окну и сказал ей по-французски:

— Мадемуазель, врач — тот же исповедник. И я очень скоро узнал тайну страсти, от которой умирает этот молодой человек. Как врач, привыкший смотреть в глубь вещей и не особенно доверять отклонениям от законов физического мира, признаюсь, я не могу верить в странные видения и исступленные откровения молодого графа. По крайней мере, поскольку дело каса-

ется вас, я просто объясняю себе это тем, что у него была с вами тайная переписка, из которой он знал о вашем путешествии в Прагу и вашем скором приезде сюда. — И, несмотря на отрицательный знак Консуэло, продолжал: — Я не задаю вам никаких вопросов, мадемуазель, и в моих предположениях нет ничего для вас обидного. А вам бы лучше довериться мне и видеть во мне человека, преданного вашим интересам.

— Я не понимаю вас, сударь, — ответила Консуэло с искренностью, не разубедившей, однако, придворного медика.

— Вы сейчас поймете меня, мадемуазель, — хладнокровно проговорил он.

— Семья молодого графа до сегодняшнего дня всеми силами восставала против вашего брака с ним. Но сопротивлению их пришел конец. Альберт умирает, и так как он хочет оставить вам свое состояние, они теперь не будут возражать против того, чтобы церковный обряд закрепил его навсегда за вами.

— Ах! Какое мне дело до состояния Альберта! — воскликнула пораженная Консуэло. — Что общего между тем, о чем вы говорите, и положением, в котором я его застаю? Я, сударь, приехала сюда не делами заниматься, — я приехала, чтоб

попытаться его спасти. Неужели нет никакой надежды?

— Никакой! Болезнь его всецело мозговая, такого рода недуги разбивают все наши предположения и не поддаются никаким усилиям науки. Месяц тому назад молодой граф после двухнедельного исчезновения, которого никто не смог мне объяснить, вернулся домой пораженный внезапной неизлечимой болезнью. Все жизненные функции у него были уже приостановлены. Вот целый месяц, как он не в состоянии проглотить никакой пищи, — и это редкое явление природы (случающееся только у душевнобольных), что он может до сих пор поддерживать себя несколькими каплями воды днем и несколькими минутами сна ночью. Вы видите его: все жизненные силы истощены в нем; максимум еще два дня, и он перестанет страдать. Запаситесь же мужеством, не теряйте головы. Я готов поддержать вас и помогу вам добиться цели. Консуэло продолжала удивленно смотреть на доктора, но тут канонисса по знаку больного прервала их беседу и подвела девушку к Альберту. Подозвав Сюпервиля, Альберт говорил ему что-то на ухо дольше, чем, казалось, позволяла его слабость. Доктор то краснел, то бледнел. Канонисса с беспокойством наблюдала

за ними, горя нетерпением узнать, о каких своих желаниях говорит ему Альберт.

— Доктор, — шептал Альберт, — все, что вы только что сказали этой девушке, я слышал (Сюпервиль, говоривший на другом конце гостиной и так же тихо, как в эту минуту беседовал с ним больной, смутился, и его твердое убеждение в невозможности существования дара ясновидения было до того поколеблено, что ему стало казаться, будто он сходит с ума). Доктор, — продолжал умирающий, — вы ничего не понимаете в этой душе и вредите моим планам, задевая ее щепетильность. Она ничего не смыслит в ваших денежных соображениях и всегда отказывалась и от моего титула и от моего состояния; любви ко мне она никогда не чувствовала. Одна жалость может заставить ее уступить. Обратитесь же к ее сердцу. Конец мой ближе, чем вы предполагаете. Не теряйте времени. Я не смогу возродиться счастливым, если не сойду в ночь отдохновения, назвавшись ее мужем.

— Что вы хотите сказать этими последними словами? — спросил Сюпервиль, занятый в ту минуту анализом сумасшествия своего больного.

— Вам не понять их, — с усилием произнес Альберт, — а она поймет. Ограничьтесь тем, чтобы

передать их ей точно.

— Послушайте, господин граф, — сказал, несколько повышая голос, Сюпервиль, — я вижу, что не смогу ясно передать ваших мыслей. Вы же говорите лучше, чем за всю последнюю неделю, и я в этом усматриваю благоприятный признак. Поговорите сами с мадемуазель. Одно ваше слово убедит ее лучше всех моих речей. Вот она здесь, рядом, пусть займет мое место и выслушает вас.

Сюпервиль действительно уже ничего не понимал из того, что до сих пор казалось ему понятным; к тому же он считал, что достаточно сказал Консуэло и обеспечил себе ее благодарность, в случае если она добьется состояния; перед тем, как он ушел, Альберт сказал ему в качестве напутствия: — Подумайте о том, что вы мне обещали. Минута настала: поговорите с моей семьей. Устройте так, чтобы они согласились и не колебались больше. Говорю вам — время не терпит…

Альберт настолько устал от усилия, какого стоил ему разговор с Сюпервилем, что, когда Консуэло приблизилась к нему, он прислонил свой лоб ко лбу любимой и так замер, словно умирая. Его белые губы посинели, и перепуганному Порпоре показалось, что он уже умер.

В это время Сюпервиль, собрав в другом конце комнаты графа Христиана, барона, канониссу и капеллана, горячо уговаривал их. Один только капеллан сделал робкое с виду возражение, говорившее, однако, об упорной настойчивости священника.

— Если ваши сиятельства потребуют, — сказал он, — я благословлю этот брак, но так как граф Альберт не причастен благодати, следовало бы, чтобы он предварительно через покаяние и соборование примирился с церковью. — Соборование! Господи, да неужели дело дошло уже до этого?

— произнесла, сдерживая стон, канонисса.

— Да, дошло, — ответил Сюпервиль, который как светский человек и философ-вольтерьянец с презрением относился и к самому капеллану и к его возражениям, — и нельзя терять ни минуты, если господин капеллан настаивает на подобном условии и желает мучить больного мрачной обстановкой предсмертного обряда.

— А не думаете ли вы, доктор, что обряд более радостный и желанный может вернуть его к жизни? — спросил граф Христиан, в котором происходила борьба между благочестием и отцовской любовью.

— Я ни за что не ручаюсь, — ответил Сюпервиль, — но смею сказать, что возлагаю на это большие надежды… Было время, когда ваше сиятельство давали свое согласие на этот брак…

— Я всегда был согласен на него, никогда не был против, — прервал его граф, намеренно повышая голос. — Маэстро Порпора, опекун молодой девушки, написал мне, что он никогда не даст своего согласия на ее брак с моим сыном и что его воспитанница сама отказывается от него. Увы! Это и нанесло смертельный удар молодому графу, — прибавил он, понизив голос.

— Вы слышите, что говорит отец? — прошептал Альберт на ухо Консуэло. — Но пусть угрызения совести не мучают вас. Я поверил тому, что вы покидаете меня, и поддался отчаянию, но с неделю назад ко мне вернулся разум, — они зовут это безумием, — и я читал в сердцах, находящихся вдали от меня, подобно тому как другие читают распечатанные письма. Одновременно я увидел прошедшее, настоящее и будущее. Я наконец узнал, Консуэло, что ты была верна своей клятве, делала все возможное, чтобы полюбить меня, и действительно любила в течение нескольких часов. Но нас обоих обманули. Прости своему учителю так же, как я прощаю ему.

Консуэло поискала глазами Порпору. Он не мог слышать слов Альберта, но, смущенный тем, что сказал граф Христиан, в волнении ходил подле камина. Она посмотрела на него с глубоким упреком, и маэстро так ясно почувствовал свою вину, что в немой запальчивости ударил себя по лбу кулаком. Альберт знаком показал Консуэло, чтобы она подвела к нему маэстро и помогла протянуть ему руку. Порпора поднес эту ледяную руку к своим губам и зарыдал. Совесть мучила его, нашептывала, что он убил человека, но раскаяние искупило его безрассудство.

Альберт опять показал знаком, что хочет слышать, какой ответ его родные дают Сюпервилю, и он расслышал их слова, хотя те говорили так тихо, что Консуэло и Порпора, стоявшие подле него на коленях, не могли уловить ни единого звука.

Капеллан отбивался от едкой иронии доктора. Канонисса старалась, смешивая суеверие с терпимостью, христианское милосердие с материнской любовью, примирить идеи, непримиримые с католическими догматами. Спор вертелся только вокруг формальности, а именно: капеллан не считал возможным совершать таинство брака над еретиком, пока тот, по крайней мере, не обещает немедленно принять католичество.

Сюпервиль, не останавливаясь перед ложью, уверял, что граф Альберт якобы обещал ему, обвенчавшись, исповедовать любую религию. Капеллан не поддавался обману. Наконец граф Христиан, преисполненный спокойной твердости и простой логики человеколюбия, поборов, как всегда, после долгой нерешительности свою бесхарактерность, прекратил домашние распри и положил конец спору.

— Господин капеллан, — сказал он, — нет такого закона, который определенно запрещал бы вам венчать католичку с еретиком. Церковь допускает подобные браки. Считайте же Консуэло правоверной, а сына моего еретиком и немедленно обвенчайте их. Вы ведь знаете, что обручение и исповедь — не более как обряды, освященные обычаем, и могут быть обойдены в некоторых крайних случаях. Этот брак может вызвать благоприятный поворот в состоянии здоровья Альберта, а когда он выздоровеет, мы с вами подумаем об его обращении.

Капеллан никогда не противился воле старого Христиана, — в делах совести он был для него большим авторитетом, чем сам папа римский. Оставалось только убедить Консуэло. Один Альберт подумал об этом, и, притянув к себе лю-

бимую, он смог без посторонней помощи обнять ее шею своими высохшими, ставшими легкими, как тростник, руками.

— Консуэло, — прошептал он, — в эту минуту я читаю в твоей душе: ты готова отдать свою жизнь, чтобы воскресить мою. Это уже невозможно, но ты в состоянии простым усилием воли спасти меня для вечной жизни. Я ненадолго уйду от тебя, а там снова вернусь на землю путем нового рождения. И если теперь, в последний час, ты покинешь меня, я вернусь сюда в отчаянии, с тяготеющим надо мной проклятием. Как тебе известно, преступления Яна Жижки еще не вполне искуплены, и одна ты, сестра моя Ванда, можешь очистить меня в этой фазе моей жизни. Мы — брат и сестра, а любовниками мы можем стать только после того, как смерть еще раз пройдет между нами. Но мы должны поклясться друг другу быть мужем и женой. Согласись произнести эту клятву, и я смогу возродиться спокойным, сильным и свободным, как другие люди, и избавиться от воспоминаний о моих прежних существованиях, составляющих мою пытку, мое наказание в течение уже стольких веков. Такая клятва не свяжет тебя со мной в этой жизни, которую я покидаю через час, но она соединит нас в вечности. Это будет как

бы печатью, которая поможет нам узнать друг друга, когда тень смерти ослабит ясность наших воспоминаний. Соглашайся! Будет совершен католический обряд, и я иду на это, так как он один может узаконить в представлении людей наше обладание друг другом. Мне необходимо унести в могилу эту санкцию. Брак без одобрения родителей, на мой взгляд, — брак несовершенный. А сам обряд имеет мало значения для меня. Наш союз будет так же неразрывен в наших сердцах, как он священен в наших мыслях. Соглашайся же! — Я согласна! — воскликнула Консуэло, прижимая губы к холодному, бескровному челу своего жениха.

Эти слова были услышаны всеми.

— Ну, поспешим, — сказал Сюпервиль и решительно стал торопить капеллана, который тут же позвал слуг и немедленно принялся готовить все для совершения обряда. Граф, несколько оживившись, подошел и сел подле сына и Консуэло. Добрая канонисса поблагодарила невесту за ее согласие, причем даже стала перед нею на колени и поцеловала ей руки. Барон Фридрих тихо плакал, казалось, не понимая даже, что происходит вокруг него. В мгновение ока был сооружен алтарь перед камином гостиной. Слуг отпустили.

Те решили, что дело идет только о соборовании и состояние здоровья больного требует, чтобы было как можно тише и как можно больше чистого воздуха. Порпора с Сюпервилем были свидетелями. Альберт вдруг почувствовал такой прилив сил, что смог произнести ясным и звучным голосом решительное «да» и брачную формулу. Семья стала горячо надеяться на выздоровление.

Едва успел капеллан произнести над головами новобрачных последнюю молитву, как Альберт поднялся, бросился в объятия отца; так же стремительно и с необычайной силой обнял он тетку, дядю и Порпору. Затем снова опустился в кресло, прижал к своей груди Консуэло и воскликнул:

— Я спасен!

— Это последнее проявление жизненных сил, последние предсмертные конвульсии, — сказал, обращаясь к Порпоре, Сюпервиль, который несколько раз во время венчания щупал пульс умирающего и вглядывался в его лицо.

И в самом деле, руки Альберта раскрылись, вытянулись и упали на колени. Старый Цинабр, в продолжение всей болезни спавший у ног своего хозяина, поднял голову и три раза отчаянно взвыл. Взгляд Альберта был устремлен на Консуэло, рот его оставался полуоткрытым — как

бы для того, чтобы говорить с ней; легкий румянец появился на его щеках, затем тот особый оттенок, та невыразимая, неописуемая тень, что медленно сползает от лба к губам, покрыла его белой пеленой. В течение минуты лицо его принимало различные выражения все более и более суровой сосредоточенности и покорности, пока не застыло в величавом спокойствии и строгой неподвижности.

Безмолвие ужаса, царившее над трепещущей семьей, было нарушено голосом доктора, произнесшим с унылой торжественностью слова, на которые нет ответа:

— Это смерть!

Глава 104

Граф Христиан упал в кресло, словно сраженный громом; канонисса истерически зарыдала и бросилась к Альберту, точно надеялась своими ласками оживить его. Барон Фридрих пробормотал несколько бессвязных и бессмысленных слов, словно человек, впавший в тихое помешательство. Сюпервиль подошел к Консуэло, чья напряженная неподвижность пугала больше, чем бурное отчаяние других.

— Не заботьтесь обо мне, сударь, — сказала она ему. — И вы, друг мой, — убеждала она Порпору, обратившего в первую минуту все свое внимание на нее. — Лучше уведите несчастных родственников. Займитесь ими, думайте только о них, а я останусь здесь. Мертвым нужны лишь почтение и молитва. Графа и барона увели без всякого сопротивления с их стороны. Канониссу, холодную и неподвижную как труп, унесли в ее комнату, куда за ней для оказания помощи пошел Сюпервиль. Порпора, не зная сам, что с ним творится, спустился в сад и зашагал там как сумасшедший. Он задыхался. Его чувствитель-

ность была как бы заключена в броню сухости, скорее внешнюю, но с которой он уже свыкся как с привычкой. Сцены смерти и ужаса поразили его впечатлительное воображение, и он долго бродил при лунном свете, преследуемый зловещими голосами, певшими над самым его ухом страшное погребальное песнопение «Dies irae» .

Консуэло осталась одна подле Альберта, ибо не успел капеллан приступить к молитве за усопших, как свалился без чувств, и его также пришлось унести. Бедняга во время болезни Альберта упорно просиживал с канониссой подле него все ночи напролет и окончательно выбился из сил.

Графиня Рудольштадт, стоя на коленях у трупа своего мужа, держа его ледяные руки в своих, положив голову на переставшее биться сердце, погрузилась в глубокое, сосредоточенное размышление. Она не чувствовала в эту прощальную минуту того, что принято называть горем. По крайней мере она не испытывала той безысходной печали, которая неизбежна при потере существа, нужного нам каждую минуту для нашего счастья. Любовь ее к Альберту не носила характера такой близости, и смерть его не создавала осязательной пустоты в ее жизни. К на-

шему отчаянию при потере тех, кого мы любим, нередко тайно примешивается любовь к самому себе и малодушие перед новыми обязанностями, налагаемыми на нас их утратой. Отчасти такое чувство законно, но только отчасти, и с ним должно бороться, хотя оно и естественно. Ничто подобное не могло примешаться к торжественной печали Консуэло. Жизнь Альберта была чужда ее жизни во всех отношениях, кроме одного — он удовлетворял в ней потребность в восхищении, уважении и симпатии. Она примирилась с мыслью жить без него, отрешилась от всякого проявления любви, которую еще два дня назад считала уже потерянной. В ней остались только потребность и желание быть верной священной памяти о нем. Альберт уже раньше умер для нее, и теперь он был не более, а в некоторых отношениях, пожалуй, даже менее мертв, так как Консуэло, долго общаясь с такой необыкновенной душой, путем размышлений и мечтаний сама пришла к поэтическому верованию Альберта в переселение душ. Это верование ее главным образом зиждилось на отвращении, которое она питала к идее богамстителя, посылающего человека после смерти в ад, и на христианской вере в вечную жизнь души. Альберт, живой,

но предубежденный против нее обманчивыми внешними признаками, изменивший любви к ней или снедаемый подозрениями, представлялся ей точно в тумане, живущим новой жизнью, такой неполной в сравнении с той, которую он хотел посвятить возвышенной любви и непоколебимому доверию. А Альберт, в которого она снова может верить, которым может восторгаться, Альберт, умерший на ее груди, не умер для нее. Да разве не жил он полной жизнью, пройдя под триумфальной аркой прекрасной смерти, которая ведет либо к таинственному временному отдыху, либо к немедленному пробуждению в более чистом и более благоприятном окружении? Умереть, борясь со своей собственной слабостью, чтобы возродиться сильным, умереть, прощая злым, чтобы возродиться под влиянием и покровительством великодушных сердец, умереть истерзанным искренними угрызениями совести, чтобы возродиться прощенным и очищенным, с врожденными добродетелями, — да разве все это не является чудесной наградой?

Консуэло, посвященная Альбертом в учение, источником которого были гуситы старой Чехии и таинственные секты былых веков (а те имели связь с серьезными толкователями мыслей

самого Христа и его предшественников), Консуэло, уверенная, что душа ее супруга не сразу оторвалась от ее души, чтобы воспарить в недосягаемых фантастических эмпиреях, примешивала к новому восприятию мира кое-какие суеверные воспоминания своего отрочества. Она верила в привидения, как верят в них дети народа. Не раз ей во сне являлся призрак матери, покровительствовавший ей и охранявший от опасности. То было своего рода верование в вечный союз умерших душ с миром живых, ибо суеверие простодушных народов, по-видимому, существовало всегда как протест против мнения законодателей от религии об окончательном исчезновении человеческой сущности, либо поднимающейся на небо, либо спускающейся в ад.

И Консуэло, прижавшись к груди трупа, не представляла себе, что Альберт мертв, и не сознавала всего ужаса этого слова, этого зрелища, этой идеи. Она не верила, что духовная жизнь могла так скоро исчезнуть и этот мозг, это сердце, переставшее биться, угасли навсегда.

«Нет, — думала она, — божественная искра, быть может, еще тлеет, прежде чем раствориться в лоне бога, который приемлет ее для того, чтобы отослать в жизнь вселенной под новым обликом.

Быть может, существует еще какая-нибудь таинственная, неведомая жизнь в этой едва остывшей груди. Да и где бы ни находилась душа Альберта, она видит, она понимает, она знает, что происходит вокруг его бренных останков. Быть может, в моей любви он ищет пищи для своей новой деятельности, в моей вере — силы, побуждающей искать в боге стремление к воскресению».

И, погруженная в эти неясные думы, она продолжала любить Альберта, открывала ему свою душу, обещала свою преданность, повторяла клятву в верности, только что данную ему перед богом и его семьей; словом, она продолжала относиться к нему и мысленно и в сердце своем не как к покойнику, которого оплакивают, ибо расстаются с ним, а как к живому, чей сон охраняют до тех пор, пока не встретят с улыбкой его пробуждение.

Придя в себя, Порпора с ужасом вспомнил о том, в каком состоянии он оставил свою воспитанницу, и поспешил к ней. Он был удивлен, застав ее совсем спокойной, как будто она сидела у изголовья больного друга. Маэстро хотел было уговорить, убедить ее пойти отдохнуть.

— Не говорите ненужных слов пред этим уснувшим ангелом, — ответила она. — Идите

отдохните сами, дорогой мой учитель, а я здесь отдыхаю.

— Ты, стало быть, хочешь уморить себя? — с каким-то отчаянием проговорил Порпора.

— Нет, друг мой, я буду жить, — отвечала Консуэло, — и выполню свой долг и перед ним и перед вами, но в эту ночь я не покину его ни на минуту.

Так как в доме ничего не делалось без приказания канониссы, а слуги относились к молодому графу с суеверным страхом, то никто из них в течение ночи не посмел приблизиться к гостиной, где Консуэло оставалась одна с Альбертом; Порпора же и доктор все время переходили из графских покоев то в комнату канониссы, то в комнату капеллана. Время от времени они «заходили осведомить Консуэло о состоянии несчастных родных Альберта и справиться относительно нее самой. Им было совершенно непонятно ее мужество.

Наконец под утро все успокоилось. Тяжелый сон одолел сильнейшую скорбь. Доктор, выбившись из сил, пошел прилечь. Порпора уснул в кресле, прислонившись головой к краю кровати графа Христиана. Одна Консуэло не чувствовала потребности забыться. Погруженная в свои думы, то усердно молясь, то восторженно мечтая,

она имела только одного бессменного товарища — опечаленного Цинабра; верный пес время от времени смотрел на своего хозяина, лизал его руку и, отвыкнув уже от ласки этой иссохшей руки, снова покорно укладывался, положив голову на неподвижные лапы.

Когда солнце, поднимаясь из-за деревьев сада, озарило своим пурпурным светом чело Альберта, в гостиную вошла канонисса; ее приход вывел Консуэло из задумчивости. Граф не смог подняться с постели, но барон Фридрих машинально пришел помолиться перед алтарем вместе с сестрой и капелланом; затем стали говорить о погребении, и канонисса, находя снова силы для житейских забот, велела позвать горничных и старого Ганса.

Тут доктор и Порпора потребовали, чтобы Консуэло пошла отдохнуть, и она покорилась, побывав предварительно у постели графа Христиана, который взглянул на нее, словно не замечая. Нельзя было сказать, спит он или бодрствует. Глаза его были открыты, дышал он ровно, но в лице отсутствовало всякое выражение.

Консуэло, проспав несколько часов, проснулась и спустилась в гостиную; сердце ее страшно сжалось, — она увидела комнату опустевшей.

Альберта уложили на пышные носилки и перенесли в часовню. Его пустое кресло стояло на том же месте, где Консуэло видела его накануне. Это было все, что осталось от Альберта в этой комнате, бывшей в течение стольких горьких дней жизненным центром всей семьи. Даже и собаки его здесь не было. Весеннее солнце оживляло печальные покои, и с дерзкой смелостью свистели в саду дрозды.

Тихонько прошла Консуэло в соседнюю комнату, дверь в нее была полуоткрыта. Граф Христиан продолжал лежать, оставаясь как бы безучастным к страшной утрате. Его сестра, перенесшая на него всю заботу, какую до этого уделяла Альберту, неусыпно ухаживала за ним. Барон бессмысленно смотрел на пылавшие в камине поленья; только слезы, невольно катившиеся по его щекам, которых он и не думал утирать, говорили о том, что, к несчастью, он не лишился памяти.

Консуэло подошла к канониссе и хотела поцеловать ей руку, но та отдернула руку с непреодолимым отвращением. Бедная Венцеслава видела в молодой девушке бич, причину гибели племянника. Первое время она с негодованием относилась к проекту их брака и всеми силами восставала против него, а потом, увидев, что

нет возможности заставить Альберта от него отказаться и что от этого зависит его здоровье, рассудок и самая жизнь, даже желала этого брака и торопила его с таким же пылом, какой вначале вносила в свой ужас и отвращение. Отказ Порпоры, непобедимая страсть Консуэло к театру, — а маэстро не побоялся приписать ей это чувство, — словом, вся льстивая и пагубная ложь, которой были полны несколько его писем к графу Христиану, — в них он ни разу не заикнулся о письмах, написанных самою Консуэло и уничтоженных им, — все это сильно огорчало отца Альберта и приводило в страшное негодование канониссу. Она возненавидела и стала презирать Консуэло. По ее словам, она могла бы простить девушке, что та свела с ума Альберта роковой любовью, но была не в силах примириться с ее бесстыдной изменой ему. Она не подозревала, что истинным убийцей Альберта был Порпора. Консуэло прекрасно все понимала и могла бы оправдаться, но она предпочла принять на себя все укоры, чем обвинить своего учителя и подвергнуть его опасности потерять уважение и дружбу этой семьи. К тому же она догадывалась, что если Венцеслава накануне и могла благодаря материнской любви отрешиться от злобы и отвращения к ней, то

все вернулось к ней теперь, когда оказалось, что жертва была принесена напрасно. Каждый взгляд бедной старухи, казалось, говорил ей: «Ты погубила наше дитя, не сумела вернуть ему жизнь, а теперь нам остался только позор заключенного с тобой брака».

Это немое объявление войны ускорило выполнение решения, которое уже раньше приняла Консуэло, — решения утешить насколько возможно канониссу в ее последнем несчастье.

— Смею ли я просить ваше сиятельство назначить мне время для разговора с вами с глазу на глаз? — покорно проговорила она. — Я должна уехать завтра до восхода солнца и не могу покинуть замка, не высказав вам со всею почтительностью своих намерений.

— Ваших намерений! Впрочем, я уже догадываюсь о них, — колко заметила канонисса. — Успокойтесь, синьора, все будет в порядке, и к правам, следуемым вам по закону, отнесутся с полнейшим уважением.

— Напротив, сударыня, я вижу, что вы совершенно не понимаете меня, возразила Консуэло. — И я хочу как можно скорее…

— Ну, хорошо! Раз я должна испить и эту чашу, — перебила ее канонисса, поднимаясь, —

пусть это будет сейчас, пока у меня еще есть мужество. Следуйте за мной, синьора. Старший брат мой, по-видимому, дремлет. Господин Сюпервиль, который дал мне обещание еще день поухаживать за ним, будет так любезен подежурить вместо меня подле него полчаса.

Она позвонила и приказала позвать доктора. Потом, обернувшись к барону, сказала:

— Братец, ваши заботы излишни, так как к Христиану до сих пор не вернулось сознание его горя. Оно, быть может, и не вернется, к счастью для него и к несчастью для нас! Возможно, что то состояние, в котором он находится, — начало конца. У меня нет никого на свете, кроме вас, братец; позаботьтесь же о своем здоровье, и без того очень подорванном мрачным бездействием, в которое вы впали. Вы привыкли к свежему воздуху и движению — ступайте прогуляйтесь, захватите с собой ружье; ловчий будет сопровождать вас с собаками. Я знаю прекрасно, что это не рассеет вашего горя, но по крайней мере принесет пользу здоровью — в этом я уверена. Сделайте это для меня, Фридрих. Это докторское предписание, это просьба вашей сестры. Не отказывайте мне! В данную минуту вы этим можете наиболее утешить меня, ибо последняя надежда

моей печальной старости — это вы!

Барон поколебался, но кончил тем, что уступил. Приехавшие с ним слуги подошли к нему, и он, как ребенок, дал увести себя на свежий воздух. Доктор освидетельствовал графа Христиана; старик словно окаменел от горя, хотя и отвечал на его вопросы и, казалось, с кротким и равнодушным видом узнавал всех.

— Жар не очень большой, — тихо сказал Сюпервиль канониссе, — если к вечеру он не усилится, то, быть может, все и обойдется благополучно.

Несколько успокоенная, Венцеслава поручила ему наблюдать за братом, а сама увела Консуэло в обширные покои, богато убранные в старинном вкусе, где Консуэло никогда еще не бывала… Тут стояла большая парадная кровать, занавеси которой не раздвигались более двадцати лет. На ней скончалась Ванда Прахалиц, мать графа Альберта, это были ее покои.

— Здесь, — торжественно проговорила канонисса, закрыв предварительно дверь, — нашли мы Альберта ровно тридцать два дня тому назад, после его исчезновения, длившегося две недели. С той минуты он больше не входил сюда и не покидал кресла, в котором вчера вечером скончался.

Сухие слова этого посмертного бюллетеня были

произнесены с горечью и вонзались, как иглы, в сердце бедной Консуэло. Затем канонисса сняла с пояса связку ключей, с которой никогда не разлучалась, подошла к большому шкафу резного дуба и открыла обе его дверцы. Консуэло увидала в нем целую гору драгоценностей, потускневших от времени, причудливой формы, большей частью старинных, украшенных алмазами и ценными камнями.

— Вот фамильные драгоценности, — сказала канонисса, — принадлежавшие моей невестке до ее брака с графом Христианом, затем те, что достались нам от моей бабушки и были подарены мной и братьями невестке, и, наконец, эти, купленные ей супругом. Все это принадлежало сыну ее Альберту, а отныне принадлежит вам, как его вдове… Возьмите их и не бойтесь, никто здесь не станет оспаривать их у вас. Мы ими не дорожим. Они нам ни к чему. Что же касается документов на материнское наследство моего племянника, через час они будут в ваших руках. Все в порядке, как я вам уже сказала, а ждать документов на отцовское наследство вам, увы, быть может, не долго придется. Такова была последняя воля Альберта. Данное мною слово было равносильно в его глазах духовному завещанию.

— Сударыня, — ответила Консуэло, с отвращением захлопывая дверцы шкафа, — я порвала бы такое духовное завещание, а вас прошу взять обратно данное вами слово. Эти драгоценности нужны мне не больше, чем вам. Мне кажется, моя жизнь была бы навек осквернена ими. Если Альберт и завещал их мне, то, конечно, думая, что я, сообразно его чувствам и привычкам, раздам их бедным. Но я не сумела бы как следует распорядиться его благородным даянием. У меня нет ни административных способностей, ни необходимых знаний для действительно полезного распределения этих богатств. У вас, сударыня, к этим качествам присоединяется христианская душа, такая же великодушная, как у Альберта, вам и надлежит употребить это наследство на дела милосердия. Уступаю вам все свои права, если таковые действительно у меня имеются, чего я не знаю и знать никогда не пожелаю. Молю вас только об одной милости — никогда больше не оскорблять моей гордости подобными предложениями.

В лице канониссы что-то изменилось. Слова Консуэло невольно вызвали в ней уважение к девушке, но, не решаясь еще восхищаться ею, старуха попробовала было настаивать.

— Что же вы думаете делать? — спросила она, пристально глядя на Консуэло. — У вас ведь нет состояния?

— Извините, сударыня, я достаточно богата: довольствуюсь малым и люблю труд.

— Так вы намерены вернуться… к тому, что вы называете своим трудом? — Как ни убита я горем, сударыня, но вынуждена это сделать, и совесть моя не может протестовать, — на это у меня есть серьезные причины.

— И вы не желаете иным путем поддерживать свое новое положение в обществе?

— Какое положение, сударыня?

— То, какое приличествует вдове Альберта.

— Я никогда не забуду, сударыня, что я вдова благородного Альберта, и поведение мое всегда будет достойно супруга, которого я потеряла.

— Однако графиня фон Рудольштадт снова появится на подмостках!

— Другой графини фон Рудольштадт, кроме вас, госпожа канонисса, нет и никогда не будет, если не считать, конечно, вашей племянницы, баронессы Амелии.

— Не в насмешку ли надо мной вы заговорили о ней, синьора? — воскликнула канонисса; имя Амелии подействовало на нее, словно ожог. —

Что означает этот вопрос, сударыня? — спросила Консуэло с удивлением, в искренности которого не могла усомниться Венцеслава. — Ради бога, скажите мне, почему я не вижу здесь молодой баронессы? Боже мой! Неужели она также скончалась?

— Нет, — с горечью сказала канонисса, — дай бог, чтобы это было так!

Не будем больше говорить об Амелии, речь идет не о ней.

— Однако, сударыня, я принуждена напомнить вам то, о чем не подумала раньше, а именно, что она является единственной и законной наследницей поместий и титулов вашей семьи. Вот что должно успокоить вашу совесть в вопросе о порученных вам Альбертом драгоценностях, раз закон не разрешает вам распорядиться ими в свою пользу.

— Ничто не может отнять у вас право на вдовью часть и на титул, они предоставлены вам предсмертной волей Альберта.

— Ничто не может помешать мне и отказаться от этих прав, и я отказываюсь. Альберт прекрасно знал, что я не желаю быть ни богатой, ни графиней.

— Но общество не дает вам права от этого от-

казываться.

— Общество, сударыня! Ну вот о нем именно мне и хотелось поговорить с вами. Общество не поймет ни любви Альберта, ни снисходительности его семьи к такой бедной девушке, как я. Оно поставило бы ему это в упрек и считало бы пятном в вашей жизни. А для меня это было бы источником насмешек и, быть может, даже позора, так как, повторяю, общество не поймет того, что у нас здесь происходит. Стало быть, обществу никогда и не следует этого знать, как не знают и ваши слуги, ибо мой учитель и господин доктор — единственные посторонние свидетели нашего тайного брака — еще не разгласили его и не разгласят. За молчание учителя я вам ручаюсь, а вы можете и должны заручиться молчанием доктора. Будьте же спокойны на этот счет, сударыня! От вас будет зависеть унести тайну с собою в могилу, и никогда благодаря мне баронесса Амелия не заподозрит, что я имею честь быть ее кузиной. Забудьте же о последнем часе графа Альберта, — это мне надо помнить о нем, благословлять его и молчать. У вас и без того довольно причин для слез, зачем прибавлять к ним горе и унижение, напоминать вам о существовании вдовы вашего чудесного племянника!

— Консуэло! Дочь моя! — воскликнула, рыдая, канонисса. — Оставайтесь с нами! У вас великая душа и великий ум! Не покидайте нас!..

— Этого жаждало бы мое всецело преданное вам сердце, — ответила Консуэло, с восторгом принимая ее ласки, — но я не могу ничего поделать, ибо в противном случае наша тайна была бы обнаружена или заподозрена, что сводится к одному и тому же, а я знаю, что честь семьи вам дороже жизни. Позвольте же мне, вырвавшись немедленно и без колебаний из ваших объятий, оказать вам единственную услугу, которая в моей власти!

Слезы, пролитые канониссой в конце этой сцены, облегчили страшную тяжесть, подавлявшую ее. То были первые ее слезы после смерти племянника. Она приняла жертву Консуэло, и доверие, с каким старушка отнеслась к ее решению, доказало, что она наконец оценила благородство характера девушки. Венцеслава рассталась с ней, спеша поделиться результатом разговора с капелланом и переговорить с Порпорой и Сюпервилем о необходимости хранить вечное молчание.

Заключение Консуэло почувствовала себя свободной и посвятила весь день обходу замка, сада и окрестностей, чтобы еще раз увидеть

места, напоминавшие ей о любви Альберта. В благоговейном порыве она добралась до самого Шрекенштейна и присела на камень в той страшной пустыне, где так долго смертельно страдал Альберт. Но вскоре мужество покинуло ее, воображение разыгралось, и ей почудилось, будто из-под скалы доносится глухой стон. Она даже не посмела признаться себе, что явственно слышит этот стон. Так как Альберта и Зденко уже не было в живых, такой обман слуха мог быть лишь чем-то болезненным, губительным. И Консуэло поспешила уйти оттуда. Подходя в сумерки к замку, она встретила барона Фридриха, который уже стал крепче держаться на ногах и немного оживился во время страстно любимой им охоты. Сопровождавшие его охотники загоняли дичь, стремясь вызвать в нем желание ее подстрелить. Он все еще целился верно, добычу же подбирал вздыхая.

«Вот он будет жить и утешится», — подумала молодая вдова.

Канонисса ужинала или делала вид, что ужинает, в комнате брата. Капеллан, вставший с постели, чтобы пойти в часовню помолиться у тела покойного, попробовал было сесть за стол, но у него был жар, и в самом начале ужина он по-

чувствовал себя плохо. Сюпервиль был голоден, и необходимость бросить горячий суп и вести каноника в его комнату невольно вызвала у него восклицание, в котором чувствовалась досада:

— Бывают же такие слабые, лишенные мужества люди! Здесь только двое мужчин — канонисса и синьора!

Вскоре он вернулся, решив не принимать особенно близко к сердцу нездоровье бедного священника, и вместе с бароном воздал должное ужину. Порпора, страшно подавленный, хотя он и скрывал это, был не в состоянии открыть рот ни для разговоров, ни для еды. А Консуэло думала лишь о последнем ужине за этим самым столом, когда она сидела с Альбертом и Андзолето…

Затем вместе с учителем она занялась приготовлением к отъезду. Лошади были заказаны на четыре часа утра. Порпора не хотел было ложиться, но сдался на просьбы и уговоры приемной дочери, боявшейся, как бы он тоже не захворал. Желая убедить его, Консуэло уверила, что сама также уснет. Перед тем как разойтись по своим комнатам, они отправились к графу Христиану. Он спокойно спал, и Сюпервиль, жаждавший поскорее покинуть эту печальную обитель, уверял, что у старика нет больше жара.

— Это правда, сударь? — испугавшись опрометчивости доктора и отозвав его в сторону, спросила Консуэло.

— Клянусь вам, — ответил он, — на этот раз он спасен; однако должен предупредить вас, что вообще он не особенно-то долго протянет. В этом возрасте не чувствуют так остро горя в первую минуту, но несколько позже тоска и одиночество его доконают. Это только отсрочка. Итак, будьте настороже, ведь не серьезно же, в самом деле, отказались вы от своих прав? — Очень серьезно, уверяю вас, сударь, — ответила Консуэло. — И меня очень удивляет, что вы никак не можете поверить такой простой вещи.

— Вы разрешите мне, сударыня, сомневаться в этом до смерти вашего свекра. А пока вы сделали большую ошибку, отказавшись от драгоценностей и титула. Ну, ничего! У вас есть на это свои причины, в которые я не вхожу, но думаю, что такая уравновешенная особа, как вы, не может поступить легкомысленно. Я дал честное слово хранить семейную тайну и буду ждать, когда вы меня от него освободите. В свое время и в своем месте мои показания будут вам полезны. Можете на них рассчитывать. Вы всегда найдете меня в Байрейте, если богу угодно будет продлить мою

жизнь, и в надежде на это, графиня, целую ваши ручки.

Сюпервиль простился с канониссой, уверил, что ручается за жизнь больного, написал последний рецепт, получил крупную сумму денег, показавшуюся ему, однако, ничтожной по сравнению с той, какую он надеялся вытянуть у Консуэло, служа ее интересам, и в десять часов вечера покинул замок, поразив и приведя в негодование Консуэло своим корыстолюбием. Барон отправился спать, чувствуя себя гораздо лучше, чем накануне.

Канонисса велела поставить для себя кровать подле Христиана. Две горничные дежурили в этой комнате, двое слуг — у капеллана и старый Ганс — у барона.

«К счастью, нищета и лишения не усугубляют их горя, — подумала Консуэло. — Но кто же будет подле Альберта в эту мрачную ночь, под сводами часовни? Я — раз это моя вторая и последняя брачная ночь!»

Она выждала, пока все стихло и опустело в замке, и когда пробило полночь, засветила маленькую лампу и пошла в часовню.

В конце ведущей в нее галереи она наткнулась на двух слуг замка. Сначала ее появление очень их испугало, но затем они признались ей, почему

они тут. Им велено было отдежурить четверть ночи у тела господина графа, но страх помешал им, и они предпочли дежурить и молиться у дверей.

— Какой страх? — спросила Консуэло; ее оскорбило, что такой великодушный хозяин уже не возбуждает в своих слугах иного чувства, кроме ужаса.

— Что поделаешь, синьора, — ответил один из слуг; им и в голову не приходило, что перед ними вдова графа Альберта, — у нашего молодого барина были непонятные знакомства и сношения с миром духов. Он разговаривал с умершими, находил скрытые вещи, не бывал никогда в церкви, ел вместе с цыганами... словом, трудно сказать, что может случиться с тем, кто проведет нынешнюю ночь в часовне. Хоть убейте, а мы не остались бы там. Взгляните на Цинабра! Его не впускают в священное место, и он целый день пролежал у двери, не евши, не двигаясь и не воя. Он прекрасно понимает, что там его хозяин и что он мертв. Потому-то пес ни разу и не просился к нему. Но как только пробило полночь, тут он стал метаться, обнюхивать, скрестись в дверь и подвывать, словно чувствуя, что хозяин его там не один и не лежит покойно.

— Вы жалкие глупцы! — с негодованием от-

ветила Консуэло. — Будь у вас сердце потеплее, умишко ваш не был бы так слаб! — и она вошла в часовню, к великому изумлению и ужасу трусливых сторожей.

Днем Консуэло не хотела видеть Альберта. Она знала, что он окружен всей пышностью католической обрядности, и боялась разгневать его душу, продолжавшую жить в ее душе, принимая хотя бы внешнее участие в обрядах, которые он всегда отвергал. Консуэло ждала этой минуты. Приготовившись к мрачной обстановке, какою должна была окружить покойного католическая церковь, она подошла к катафалку и стала глядеть на Альберта без страха. Она сочла бы оскорблением дорогих, священных останков проявить чувство, которое было бы так тяжело умершим, если бы они могли узнать о нем. А кто может нам поручиться, что их душа, оторвавшись от трупа, не видит нашего ужаса и не испытывает из-за этого горькой скорби? Боязнь мертвых — отвратительная слабость. Это самое обыденное и жестокое кощунство. Матери этой боязни не знают.

Альберт лежал на ложе из парчи, украшенном по четырем углам фамильными гербами. Голова его покоилась на подушке черного бархата,

усеянного серебряными блестками. Из такого же бархата был сооружен балдахин. Тройной ряд свечей освещал его бледное лицо, спокойное, чистое, мужественное; казалось, будто он мирно спит. Последнего из Рудольштадтов, по обычаю их семьи, одели в древний костюм его предков. На голове была графская корона, сбоку — шпага, в ногах — щит с гербом, а на груди — распятие. Длинные волосы и черная борода довершали его сходство с древними рыцарями, чьи изваяния, распростертые на могилах его предков, покоились вокруг. Пол был усыпан цветами, и благовония медленно сгорали в позолоченных курильницах, стоявших по четырем углам его смертного ложа…

В течение трех часов Консуэло молилась за своего супруга, созерцая его величественное спокойствие. Смерть, придав его лицу несколько более темный оттенок, мало изменила его, и Консуэло, любуясь его красотой, порою забывала, что он перестал жить. Ей чудилось даже, что она слышит его дыхание, а когда она отходила на минуту, чтобы подбросить благовоний в курильницы и сменить свечи, ей казалось, будто она слышит слабый шорох и видит легкое колебание занавесей и драпировок. Тотчас же она

возвращалась к нему, но, глядя на холодные уста и угасшее сердце, отрешалась от мимолетных безумных надежд.

Когда часы пробили три, Консуэло поднялась и поцеловала в губы своего супруга; это был ее первый и последний поцелуй любви.

— Прощай, Альберт! — проговорила она громко, охваченная религиозным экстазом. — Ты теперь, без сомнения, читаешь в моем сердце. Нет больше туч между нами, и ты знаешь, как я тебя люблю. Ты знаешь, если я и покидаю твои священные останки и предоставляю их твоей семье, которая завтра придет взирать на тебя, и покидаю, уже не падая духом, то это не значит, что я расстаюсь с вечной памятью о тебе и перестаю думать о твоей нерушимой любви. Ты знаешь, что не забывчивая вдова, а верная жена уходит из твоего дома и уносит тебя навеки в своей душе. Прощай, Альберт! Ты верно сказал: «Смерть проходит между нами и, по видимости, разлучает нас только для того, чтобы соединить в вечности». Преданная вере, которую ты преподал мне, убежденная, что ты заслужил любовь и благодать твоего бога, я не плачу о тебе, и никогда в моих мыслях не явишься ты мне в ложном и нечестивом образе покойника. Нет смерти, Аль-

берт! Ты был прав, сердце мое чувствует так, раз теперь я люблю тебя больше, чем когда-либо!

Когда Консуэло произносила последние слова, опущенные сзади занавеси балдахина вдруг заколебались, приоткрылись, и в них показалось бледное лицо Зденко. В первую минуту она испугалась, привыкнув смотреть на него как на своего смертельного врага. Но в глазах Зденко светилась кротость, и, протягивая ей поверх смертного ложа свою грубую руку, которую она не колеблясь, пожала, он, улыбаясь, сказал:

— Бедняжка моя! Помиримся над его ложем сна! Ты доброе божье создание, и Альберт доволен тобой. Поверь, он счастлив в эту минуту; он так хорошо спит, милый Альберт! Я простил его, ты видишь. Я снова пришел к нему, как только узнал, что он спит. Теперь уж больше я его не покину, уведу его завтра в пещеру, и там мы снова будем говорить с ним о Консуэло — Consuelo de mi alma. Иди отдохни, детка! Альберт не один: Зденко тут, всегда тут. Ему ничего не нужно. Ему так хорошо со своим другом. Несчастье отвращено, зло уничтожено, смерть побеждена… Трижды счастливый день настал… «Обиженный да поклонится тебе!..»

Консуэло была больше не в силах выносить

детскую радость несчастного безумца. Она нежно с ним простилась и когда открыла дверь часовни, Цинабр бросился к своему старому другу и, радостно лая, стал без конца обнюхивать его.

— Бедный Цинабр, иди! Я спрячу тебя под кровать твоего хозяина, — говорил Зденко, лаская его с такой нежностью, словно он был его ребенком. — Иди, иди, мой Цинабр! Вот мы все трое и соединились! Больше уж не расстанемся!

Консуэло отправилась будить Порпору. Потом на цыпочках вошла в комнату Христиана и стала между его кроватью и кроватью канониссы.

— Это вы, дочь моя? — спросил старик, не выказывая при этом никакого удивления. — Очень счастлив вас видеть. Не будите моей сестры, — она, слава богу, хорошо спит. Идите отдохните вы. Я совсем покоен. Сын мой спасен; скоро и я поправлюсь.

Консуэло поцеловала его седые волосы, его морщинистые руки и скрыла от него свои слезы, которые могли, быть может, вывести его из заблуждения. Она не решилась поцеловать канониссу, заснувшую наконец впервые после месяца бессонных ночей.

«Бог положил предел и горю в самой чрезмерности его, — подумала Консуэло. — О! Если б эти

несчастные могли подольше оставаться во власти благодетельной усталости!»

Полчаса спустя решетка подъемного моста замка Великанов опустилась за Порпорой и Консуэло, чье сердце разрывалось на части оттого, что ей пришлось покинуть этих благородных стариков. И она даже не подумала, что грозный замок, где за столькими рвами и решетчатыми воротами было скрыто столько богатств и столько страданий, стал достоянием графини фон Рудольштадт…

Те из наших читателей, которые слишком устали, следуя за Консуэло среди ее бесконечных приключений и опасностей, могут теперь отдохнуть. Те же, менее многочисленные, конечно, у которых еще хватает мужества, узнают из следующего романа о продолжении странствований Консуэло и о том, что случилось с графом Альбертом после его смерти.